

Ромен Роллан Очарованная душа

ВВЕДЕНИЕ

В своем обращении «К читателю „Кола Брюньона“», написанном в мае 1914 года, я говорил о «десятилетней скованности в доспехах „Жан-Кристофа“, которые сначала были мне впору, но под конец стали слишком тесны для меня». Необходимо было переменить обстановку. И я так и поступил, отдавшись работе над книгой, пронизанной «вольной галльской веселостью»; она была закончена раньше других произведений, начатых задолго до нее.

В числе этих произведений был задуманный мною роман в несколько трагической атмосфере «Жан-Кристофа»¹ (сегодня я могу смело опустить смягчающее слово «несколько», ибо вот уже двадцать лет, как трагизм стал еще более грозно тяготеть над миром). Этим романом и была «Очарованная душа». Книга эта уже начинала проступать в глубине первозданного хаоса творчества.

Предисловие к последней книге «Жан Кристофа» помечено октябрём 1912 года. В те же дни вечно ищущая мысль продиктовала мне:

«Следует расширить границы добра и зла».

И моя мысль искала нового поприща в изображении «противоборства двух поколений современности – поколения мужчин и поколения женщин, каждое из которых достигло различного уровня в своем развитии... Не существует (а быть может, никогда и не существовало) такого положения, когда бы развитие женщин и мужчин одной эпохи шло параллельно. Поколение женщин всегда либо опережает на целый век поколение мужчин своего времени, либо отстает от него... Женщины наших дней завоевывают себе независимость. Для мужчин это уже вопрос прошлого...».²

Главная героиня «Очарованной души», Аннета Ривьер, принадлежит к авангарду того поколения женщин, которому во Франции пришлось упорно пролагать себе дорогу к независимому положению в борьбе с предрассудками и злой волей своих спутников-мужчин. В конце концов была одержана решительная победа (во всех областях, за исключением политики, где в романских странах все еще продолжается ожесточенное сопротивление старшего поколения мужчин). Но борьба для передового отряда была трудной, особенно трудной она была для тех женщин, бедных и одиноких, которые, подобно Аннете, не побоялись превратностей, связанных с внебрачным материнством.

Зато жизнь, полная испытаний и мужественного одиночества, когда каждая из редких в то время женщин-борцов ничего не знала о других своих соратницах и должна была рассчитывать лишь на себя, выковала характеры более свобододолюбивые и стойкие, чем у большинства мужчин того же поколения...

Достигнутая победа не могла не замедлить продвижения вперед тех, кто следовал за первой шеренгой. Ибо лишь ценой испытаний и преодоления препятствий представители рода человеческого – мужчины и женщины – продвигаются вперед... Слава богу, испытаний и препятствий всегда было достаточно в жизни моей духовной дочери и спутницы Аннеты. До последнего дня Аннета Ривьер³ «стремится к морю... Никакого застоя! Вся жизнь в

¹ «Через страдания – к радости» (нем.).

² «Для всех времен» (нем.).

³ Я подготовлял другие работы – драму и роман на современные темы – в несколько трагической атмосфере «Жан-Кристофа» («К читателю „Кола Брюньона“»). – Р.Р.

движении. Всегда вперед! Даже в смерти волна несет нас... Даже в смерти мы будем впереди...»⁴

Эта Река жизни, к истокам которой я припал, возникла предо мною еще в октябре 1912 года, но должна была ждать девять лет, прежде чем прийти в движение. Ибо океан войны, долго кативший свои кровавые волны, начиная с 1914 и вплоть до 1920 года, наполнял мою душу глубокой печалью и скорбью о погибших. Мой разум был захвачен борьбой, отражением которой явились «Лилюли» и «Клерамбо». Этот период завершился в 1919–1920 годах духовным и физическим кризисом, обновившим мою душу и тело.

В 1921 году моя прежняя жизнь умерла и была отброшена, «как пустая оболочка... Умрем, Кристоф, чтобы родиться вновь!» И невольным символическим актом, подтверждающим это, явился мой отъезд из Парижа, где я до тех пор сохранял свое жилище: я навсегда покинул Францию и поселился за ее пределами.

Запись, которую я сделал в те дни, относится к задуманному мною произведению, но ее вполне можно было применить, хотя я об этом и не подозревал, и к моей жизни.

«События – всего лишь внешние поводы. Они, в лучшем случае, освобождают пружину, которая была сжата медленным давлением внутренней необходимости».

Отъезд из старого дома, из старого квартала, из моего старого родного края, где были выношены произведения довоенной поры, перевернул страницу... «Прощай, прошлое!..» Открывалась новая глава.

Я покинул Париж в конце мая 1921 года, а уже в первой половине июня, в Вильневе, записывал:

«Начат новый роман, „Аннета и Сильвия“. Чувство огромного удовлетворения. Незнакомое существо поселяется во мне, и я проникаюсь его жизнью, его мыслями и его судьбой».⁵

Этот доставлявший мне наслаждение труд продолжался на одном дыхании с 15 июня по 18 октября 1921 года, когда роман «Аннета и Сильвия» был закончен.

В уже приводившейся выше записи говорится:

«Обычно принято писать историю событий человеческой жизни. Это глубоко ошибочно. Истинная жизнь – жизнь внутренняя».

И предисловие к первому изданию «Аннеты и Сильвии» обещает «повесть о духовном мире одной женщины; о долгой жизни, прожитой в согласии с совестью, жизни, богатой радостями и печалью, не свободной от противоречий, полной заблуждений и вечно стремящейся не к Истине, ибо она недоступна, а к внутренней гармонии, которая и есть для нас высшая Истина».

Внутренняя жизнь Аннеты отличается, скажем, от жизни Жан-Кристофа не только потому, что это жизнь женщины, и к тому же еще женщины другого поколения,⁶ но и потому, что Аннета, неспособная освободиться от порывов страсти с помощью непрерывного процесса духовного творчества, который повелевает и обуздывает, куда более беспомощна перед лицом бурлящих в ней подспудных сил.

Никто из окружающих не подозревает о таящейся в недрах ее души буре страсти. Сама Аннета долгое время не замечает опасности. Внешне ее существование напоминает пруд, дремлющий в глуши Медонского леса.⁷ Но интерес произведения и заключается в том, что в

⁴ Заметки 1912 года. – Р.Р.

⁵ Ривьер по-французски – река.

⁶ Последний том «Очарованной души» («Провозвестница»).

⁷ Существо это развивалось настолько независимо от моей воли, что уже в процессе работы мне пришлось изменить образ, который я стремился нарисовать по собственному вкусу; оно продиктовало мне совсем иные черты и свойства характера, неожиданные поступки, резкие душевные повороты, – совсем так, как это бывает в

душе уравновешенной, порядочной и рассудительной женщины, неведомо для нее самой, незримо живет любовное начало, не признающее границ Fas и Nefas.⁸

Это любовное начало последовательно принимает несколько обликов.

Сперва смутная любовь к отцу – чувство тревожное и значительное и значительно более сильное, чем в этом отдает себе отчет сама Аннета; чувство это проявляется неожиданно после смерти отца и обнаружения его тайных связей. Затем страстная привязанность к сестре – привязанность, которая подвергается испытанию во время мимолетного появления прекрасного Париса, превратившего сестер в соперниц (после короткой вспышки ревности сначала одна, потом другая уступает любимого человека сестре). Позднее – любовь матери к сыну, занимающая особое место среди множества других грозных порывов страсти, которая в браке и вне брака ищет неосуществимой гармонии. Сын так и не узнает всей силы этой любви, ибо Аннета, которая в других одиноких битвах обрела способность владеть своими чувствами, позволяет пробиваться наружу лишь слабому отблеску горящего в ее душе пламени. Теперь она – и только она – знает о том мире страстей, который пылает в ее груди и до которого людям нет дела. Несколько лет спустя, в годы войны, – вспышка страстного сострадания к человечеству, оскорбляемому, ненавидимому и попираемому звериными инстинктами, рожденными шовинизмом, и – как реакция на все это – проявление самоотверженной любви к попавшему в плен раненому врагу, которого осыпает бранью одичавшая толпа. Наконец, когда жизнь Аннеты уже клонится к закату, душа ее, стремящаяся к Бесконечному, раскрывается во всей своей бездонной глубине.⁹

Я воспроизвожу здесь лишь основные линии развития образа героини, определившиеся с первого же дня работы над произведением; некоторые стороны замысла переделывались и исправлялись¹⁰ на протяжении последовавших затем десяти лет труда, перемежавшегося с работой над другими произведениями, которые обогатили первоначальный замысел книги.

Но в главном характер героини остался неизменным, бесконечная, безбрежная Река ее внутренней жизни с начала и до конца несет воды невидимо для всех, даже для взгляда самых близких людей, так что и самые близкие не подозревают о быстрине ее и стремнинах. Один лишь сын в какой-то мере ощутит их благодаря душевному взаимопониманию, но, несмотря на связывающее их кровное родство и, наконец, возникшую глубокую нежность, мать не открывает даже самому любимому существу тайны своей глубоко скрытой духовной жизни.

Таким образом, жизнь Аннеты развивается в двух параллельных плоскостях, и посторонним ведома лишь жизнь внешняя. Что касается жизни внутренней, то в ней Аннета всегда остается одна.

Одна, среди пламени, окутанная священным покрывалом. Для чего пылает этот вечный огонь, который, порою кажется, горит без цели, изменяет свое направление, но сам пребывает неизменным, поддерживает жизнь и в то же время служит источником мук? Почти на пороге смерти Аннета найдет, наконец, ответ на этот вопрос – ответ, который заставит ее понять и принять это горение.

жизни, когда любимая женщина вдруг оказывается для тебя незнакомкой. – Р.Р.

⁸ Кристоф умирает, достигнув пятидесятилетнего возраста, и канун 1914 года. Он был немного старше меня. Аннета умирает почти шестидесяти лет, в обстановке наших сегодняшних битв. Она вместе со своей сестрой принадлежит к поколению, родившемуся между 1875 и 1880 годами. Ася и Марк принадлежат к поколению 1900-х годов. – Р.Р.

⁹ Напоминающий галлюцинацию сон, описанный на первых страницах «Аннеты и Сильвии». – Р.Р.

¹⁰ Дозволенного и Недозволенного (лат.) – «Fas ac Nefas» – первоначальный, позднее снятый подзаголовок произведения.

Когда, на склоне дней, она вновь обозревает Реку своей жизни, ее поражает несоответствие между силой пламени и горючим материалом, питавшим его. Каждый из тех, на кого была направлена ее любовь, призречен. Воистину ею владели чары: в этом ключ к книге и смысл ее названия, которое я намеренно оставил загадочным. «Очарованная душа» на протяжении всей жизни сбрасывает призрачные покровы, которые ее окутывают. Каждый раз, освобождаясь от покрова, она ощущает себя нагой. И новый покров заменяет сброшенный. Каждый том произведения – новое воплощение великой Мечты.

«Очарованная», лихорадочно вырываясь из-под власти грез, все время переходит от одной грезы к другой, вплоть до последней (последней ли?), – когда агония окончательно обрывает нить, связывающую Аннету с миром живых.

Но если все преходяще, если все-наваждение, остается все же важнейшая сила – способность мечтать и грезить, остается Великий чародей – жизненный порыв, который постоянно творит и возрождает. Он – в ней. Он – источник ее жизни. Аннета, как и Жан-Кристоф, хотя и в совершенно ином плане, принадлежит к великой когорте творческих натур.¹¹ Она создает живые существа, реже – произведения. «Она никогда не пишет ради того, чтобы писать. Она делает это лишь в те редкие минуты, когда задыхается, утратив все, что поддерживает жизнь, и когда она вынуждена питать свой внутренний огонь собственным естеством; и тут она испускает дикие вопли поэзии, исторгнутые из ее души страстью».¹² Она – дочь, сестра, возлюбленная, мать, она – «вселенская Мать», которая, приобщившись в последние дни своей болезни к радостям и страданиям всех живущих, выражает свое чувство в лепете, где слышится угасающее блаженство:

«Дитя мое, дитя мое. Мир! Разве не лучше тебе было в моем лоне? Зачем ты появился на свет?...».¹³

В начале романа Аннета еще не имеет никакого представления о бездне своей души, где бьет ключом источник жизни. Первая книга – «Аннета и Сильвия» – лишь указывает на пробуждение от блаженного сна, от сладости оцепенения без сновидений, в котором Аннета пребывала до смерти отца.

Сон этот грубо обрывается кошмаром смерти. Сердце в отчаянии устремляется навстречу иллюзиям нелепой любви; неосознанный, безотчетный порыв чувств мечется и бьется, словно обезумевшая птица, и сердце, не рассуждая, делает выбор. Но великая Иллюзия не бесплодна: она дает жизнь ребенку.

В книге «Лето» собственно и начинается произведение, начинается подлинная жизнь, для которой «Аннета и Сильвия» служила лишь весенней прелюдией. Многие на этой прелюдии и остановятся, подобно тому как они остановились на книге «Заря» в романе «Жан-Кристоф»; так поступят те, кто ищет в музыке не откровения, а ухода от жизни, кто

¹¹ Краткое жизнеописание, изложенное выше, полностью взято из заметок, сделанных мною в июне 1921 года, за несколько дней до начала работы над книгой. – Р.Р.

¹² Самым существенным из этих «исправлений» первоначального замысла является бунт души, которая (в последнем томе «Провозвестница» – против упоительности головокружения, вызываемого созерцанием бездны Бесконечного, – я имею в виду мужественный возглас: «Как знать?», который, окончательно не удушая, тем не менее обуздывает и направляет мистические устремления души. Здесь слышны отзвуки ожесточенной битвы, внутренние перипетии которой я мог бы проследить на протяжении многих лет по своим заметкам; исход этой битвы определяется лишь накануне развязки произведения: он звучит в вопле осиротевшей матери, которая в ночи сбрасывает с себя очарование умиротворяющих звуков флейты: «Нет, я не хочу пастушеской свирели!...» (25 марта 1933 года). – Р.Р.

¹³ «Что значит „создавать“ для Аннеты? Рожать или рождаться. Натура, подобная ей, должна непрерывно созидать либо вынашивать, – другими словами, подготавливать будущее рождение. Если она этого не делает, она несчастна, она в тревоге, она во власти разрушительных сил... Созидать или разрушать – разрушать самое себя...» (Заметки от 22 июня 1922 года). – Р.Р.

пользуется ею, как повязкой для глаз. Однако подлинный смысл «Очарованной души», как и «Жан-Кристофа», в том и состоит, чтобы сорвать одну за другой все повязки.

В то время как незрячая красавица Аннета бьется в тенетах своих иллюзий – иллюзии ребенка, иллюзии возлюбленного, иллюзии жизни вдвоем, – суровая рука ее судьбы, которую называют случаем и которая оказывается мудрее здравого смысла, превращает благосостояние и беззаботную жизнь героини в руины и заставляет ее переступить порог *vita nuova*¹⁴ Заметки, относящиеся к августу 1921 года, гласят:

«Бедность для Аннеты играет ту же роль, что жизнь на чужбине для Кристофа. Она заставляет ее взглянуть на мир другими глазами и помогает проникнуть в лживую сущность современного общества, которую Аннета при всей своей честности не замечала, пока сама была частью этого общества.

День, когда Аннета начинает трудом добывать свой хлеб, знаменует для нее начало эры подлинных открытий. В числе этих открытий нет любви. Нет и материнства. Инстинкт материнства жил в ней уже раньше, и жизнь недостаточно полно удовлетворяла его. Но с того дня, как Аннета переходит в лагерь нищеты, ей открывается мир.

И прежде всего – чудовищная бесполезность жизни, девяти десятых жизни, которую современное общество сделало столь уродливой... (Особенно жизнь женщин...).

Есть, спать и рожать: да, к этому сводится полезная часть жизни. А все остальное? Колесо вертится. Но вертится оно вхолостую... Действительно ли мужчина создан для того, чтобы мыслить? Пожалуй, можно сказать, что он себя в этом убедил, что он внушил себе эту обязанность и выполняет ее, как все остальные, освященные временем обычаи. Но он не мыслит. Он, словно пес, дремлет на цепи своих каждодневных занятий, своих удовольствий и огорчений... Что же сказать о женщинах?..»

В книге «Лето» Аннете открывается «то, что таится под оболочкой современной цивилизации, с ее роскошью, ее искусством, суетой и шумихой...

Как редко люди, жизнь которых – осуществление закона Необходимости!.. О, до чего непрочно здание человеческого общества! Оно держится лишь силой привычки. И рухнет сразу...»

Здесь Аннета впервые предвещает грядущее землетрясение, которое через пятнадцать лет всколыхнет Европу и мир великими войнами и Революциями!

Бедность, эта мистическая невеста *Poverello*¹⁵ Ассизи, не только наполняет душу братскими чувствами к обездоленному люду. Она выявляет новую светлую мораль. Не ту, прежнюю, урезанную и чахлую мораль запретов и молитв, судилищ и исповедален, которая является сторожевым псом разделенного социальными перегородками общества, а новую мораль Труда... Труд – это единственный титул истинного благородства! Это – мощь и радость человека-творца, другими словами – единственного существа, которое живет по-настоящему, единственного существа, которое принадлежит к вечным силам. Труд проявляется в каждом – скромном и великом – творческом деянии, направленном на благо человеческого общества. Действовать, действовать в общих интересах – в этом одном и заключается Добродетель в высоком смысле слова. Все остальное относится к области «малой добродетели».

Аннета, отныне вступившая на этот великий, тернистый, но прямой путь, жадно ищет себе спутника. Двое возлюбленных, которых она встречает в «Лете», доказывают ей невозможность сочетания двух важнейших полюсов оси ее жизни: Сострадания и Истины. Слабый (Жюльен) не выносит обнаженной правды, для него ее нужно вуалировать. Сильный (Филипп) лишен чувства доброты, он ступает по телам поверженных. Аннета не соглашается принести им в жертву ни Истины, ни Сострадания. И она вновь остается в одиночестве на

¹⁴ Запись от 2 июля 1921 года. – Р.Р.

¹⁵ Последний том – «Роды» («Провозвестница», том второй часть III). – Р.Р.

своей трудной стезе. К тому же в это время она считает себя покинутой сыном, почти ненавидимой им (ибо страсть ее всегда и все преувеличивает). Она на краю нравственной гибели.

Но и на этот раз, как и во многих других случаях, Аннету спасает удивительная сопротивляемость и гибкость ее натуры.¹⁶ В то самое мгновение, когда она изнемогает, из бездн отчаяния поднимается вихрь жизни, который обновляет и укрепляет ее душу. Страдание изливается в стихах. И вот душа свободна. Обессиленная Аннета погружается в сон. Наутро, когда она пробуждается, страдание умерло. Все вокруг нее осталось прежним. И все обновилось. Она родилась заново.

«Сострадание. Истина. Я ничем не пожертвовала. Я снова одна. Я сохранила свою цельность. Я постигла жизнь, я знаю ей цену, и я знаю, чего мне это стоило. Да здравствует жизнь! Я бросаю вызов богу!»

Это – равновесие в бою, мгновение насыщенное и мимолетное. Оно возможно в час, когда Аннета находится в расцвете сил и здоровья и чувствует себя хозяином положения. Лето ее жизни в зените...

«Белокурая Аннета, сильная северная женщина, разделяет иллюзии норманнов, бороздивших своими ладьями морские просторы; они следят за тем, как нос их судна разрезает волны, и радуются своему стремительному бегу, они чувствуют себя вольными, подобно огромным птицам, что летят вслед за ними... Быстрее! Смелее! Наперерез морским валам!... Но близится равноденствие. Остерегайтесь бурь и сломанных крыльев!». ¹⁷

Наступает война. Этим кончается книга.

Работа над книгой «Лето» продолжалась с 11 июля по 5 ноября 1922 года; она была вновь продолжена и завершена в первом полугодии 1923 года.

Прошло два года, прежде чем я возобновил работу над произведением. Но я возобновил ее с той же строки, с того же возгласа, на котором оно было прервано, и слова: «Я бросаю вызов богу». Она унаследовала эти свойства от отца, но у него богатство натуры обратилось в эгоистическое легкомыслие; у Аннеты же оно сочетается с избытком жизненных сил, и это защищает ее от приступов меланхолии, к которой ее мог предрасположить характер матери, склонной к депрессии и бесплодным размышлениям. Но страстная натура дочери, которая на все накладывает свой отпечаток, преобразует эту мрачную и расслабляющую склонность в бурные взрывы отчаяния, не разрушающие, однако, этой сильной души; сотрясая, они лишь обновляют ее. (Запись 1922 года). – Р.Р. – ни разу не были мною забыты. Дух, словно птица на краю утеса, ждет мгновения, чтобы устремиться вниз.

Запись от 10 января 1925 года гласит:

«Ночью мне внезапно приоткрылся выход, через который можно спастись... Я ощущал себя загнанным в тупик войны и хотел избавиться от ее давящего гнета, который тяготеет над пацифизмом такой книги, как „Клерамбо“. Аннету, „бросившую вызов богу“, которую вовсе не смутили жестокости войны, этой бушующей стихии, внезапно преобразили неожиданная встреча с партией подвергающихся оскорблениям военнопленных и неожиданный порыв страсти.

До сих пор она пассивно воспринимала все, что считала законом природы, хотя в ней самой жил закон ее собственной натуры, натуры более возвышенной, которую ей и надлежало противопоставить натурам озверевших людей. Едва, в результате ее решительного выступления в защиту военнопленных, произошло столкновение, как исчезло угнетающее ее тягостное чувство, которое проистекало не столько из самой бесчеловечности войны, сколько из ее собственного приятия этой бесчеловечности».

¹⁶ Новой жизни (итал.).

¹⁷ Бедняка (итал.).

Pax enim populi belli privatio,
Sed virtus est, quae ex animi fortitudine oritur

18

Силе следует противопоставить еще более мощную силу, а не слабость, не отречение!

Братская близость с человеком, стоящим у порога смерти, с тяжело раненным Жерменом, эта дружба, более глубокая, чем любовь, решительно толкает Аннету от грез к действию. Ладья ее жизни, которая до сих пор была неподвижна, ныне летит с теми, кто находится в ней, – с ее сыном, чья судьба уже вырисовывается вдаль, – к грозным стремнинам. Жермен, этот светлый ум, в ком способность все понимать парализовала волю к действию, умирая, постигает главную ошибку своей жизни.

«Его вина заключалась в том, что он все понимал. Она заключалась в том, что он бездействовал... Все понимать – и действовать...»

И он говорит Аннете:

«Будьте тверже? Голое вашего сердца надежнее, чем все мои „за“ и „против“. У вас есть сын. Внушите ему, что недостаточно все взвешивать, все любить. Надо отдавать чему-либо предпочтение! Хорошо быть справедливым. Но истинная справедливость не пребывает в неподвижности перед своими весами, глядя, как колеблются их чаши. Она судит и приводит приговор в исполнение».¹⁹

Это завещание Жермена, это наследие, которое Аннета должна передать сыну, тяжким грузом давит на ее плечи, ибо следовать велениям «истинной справедливости» в эпоху угнетения и всеобщей низости – значит роковым образом обречь себя в жертву. И ответственность Анкеты тем более велика, что в конце книги она, пережив мучительную неизвестность, становится «отцом и матерью» своего сына. Он сделал выбор.²⁰ И теперь ей предстоит сделать выбор за него. Во время важного разговора в конце книги, когда мать и сын делятся своими тайными помыслами, делятся своим презрением к обществу, породившему войну и навязывающему мир (мир лживый, чреватый новыми войнами), и говорят о своем неприятии этого мира, как и этой войны, Аннета с ужасом читает в мыслях Марка решимость принести себя в жертву, и материнская любовь, вопреки ее собственной вере, пытается переубедить сына. Но Марк так уверен в Аннете, в незыблемости ее веры, что он передает решение в ее руки. И мать не способна обмануть доверие сына. События – заключение перемирия – отодвигают развязку, и все же совершенно ясно, что она всего лишь отсрочена и в один из грядущих дней жертва должна будет взойти на костер... «Warte nur!...».²¹ На последней странице Аннета стремится укрыть свой пророческий дар плотными покровами Мечты, живущей в недрах ее существа, – великой Мечты, которая служит ей прибежищем и рождает в ней иллюзию, будто она приобщается к всеобщей иллюзии. Но Аннета хорошо понимает, что после пробуждения...

«скоро, скоро...» ее ожидает участь *Mater dolorosa*.²²

¹⁸ Заметки 1921 года.

¹⁹ Там же.

²⁰ Ибо мир – это не отсутствие войны, А добродетель, порожденная душевной мощью (лат.). Эта мысль Спинозы служит эпиграфом к книге «Мать и сын». – Р.Р.

²¹ Запись от 24 января 1926 года. – Р.Р.

²² Марк говорит ей: «Ты – мой отец и моя мать. Я принадлежу лишь тебе». (Запись от 2 декабря 1922 года.). – Р.Р.

Трехлетний перерыв отделяет эту книгу от трех частей «Провозвестницы». Я писал книгу «Мать и сын» с 24 октября 1925 года по 20 мая 1926 года. Работа над «Провозвестницей» была начата 11 ноября 1929 года и продолжалась до 7 апреля 1933 года. Но произведение не переставало зреть в горячке страстей и событий.²³

Не только Аннета и Марк следили за развитием судеб мира и в бессонные ночи вновь и вновь приходили к решению принести себя в жертву – в ожидании находился и сам автор. Ибо, хотя и не оставалось сомнения в неизбежности жертв в эту безжалостную эпоху, когда «жизнь не представляла опасности лишь для трусов» (как говорит Аннета, которая «нередко ночами заранее оплакивала смерть своего сына»), но для вас, молодые люди (старики не стоят того, чтобы о них говорили), существовала и всегда существует возможность выбрать себе форму жертвы. Нужно только решить: какая жертва будет не самой прекрасной (прошли те времена, когда говорили: «Нам нет дела до деяния, лишь бы поведение было прекрасным!»), но самой действенной, а значит, и необходимой для рождения нового человечества.

Я мысленно обращался в эти годы к двум величайшим социальным начинаниям – начинаниям, осуществлявшимся в Индии и в СССР.²⁴ Я восхищался и тем и другим. Как только я познакомился с ними, я с первого же дня выступил в защиту СССР и Ганди против их врагов. Но в силу исторического предопределения они шли разными путями. И я, подобно Марку, из всех сил старался стать связующим звеном между обеими армиями и содействовать созданию единого фронта двух великих Революций – свободного духа и организованных масс пролетариата, – направленного против сплоченных сил общественной и политической реакции, против империалистического капитализма и фашистских режимов, которые угрожают приостановить на века поступательное движение человечества.²⁵

Чтобы достичь успеха в попытке установить гармонию вовне – между двумя противоположными принципами: пассивным Неприятием, характерным для гандистской Индии, и организованным революционным насилием, – следовало прежде всего попытаться достичь этой гармонии в самом себе. Два эти принципа вели между собой в моем сознании «тот поединок духа», завершение которого я взвалил на плечи юного Марка; освободившись от этого бремени, я постиг «неотвратимое приближение часа великой битвы между нашими внутренними богами – той Илиады, которую творит и ведет на наших глазах и нашими руками человечество».²⁶ Нежная и сильная натура Марка Ривьера, «этого юного существа,

²³ «Подожди немного!..» (нем.)

²⁴ Скорбящей матери (лат.).

²⁵ Основной замысел и наброски многих глав «Провозвестницы» восходят к 1922 году – к началу работы над «Очарованной душой». Таковы, возвращение Жюльена, которого переродило зло, причиненное им Аннете; образ старого друга-итальянца; некоторые страницы, относящиеся к женитьбе Марка.

Эпизод, посвященный Мессине, ждал своей очереди со времени землетрясения 1908 года; в своей записи от 8 апреля 1906 года, которая, как оказалось, предвосхитила события, автор предполагал использовать стихийную катастрофу в качестве эпилога большого романа (может быть, «Жан-Кристофа»). Но большинство заметок и основная часть работы над «Провозвестницей» относятся к 1929–1930 годам. К описанию смерти Аннеты автор возвращался – я переделывал его – раз двадцать. – Р.Р.

²⁶ Моя «Жизнь Ганди» написана одновременно с первыми частями «Очарованной души» (последняя страница этой работы и посвящение к ней помечены мартом 1922 года, опубликована же эта книга годом позже), а «Опыт о мистических учениях и о деятельности новой Индии» (I. «Жизнь Рамакришны»; II. «Жизнь Вивекананда»; III. «Всемирное евангелие») был написан между окончанием книги «Мать и сын» и началом работы над книгой «Провозвестница» – 1927–1928 годах – и опубликован в 1929 году.

С другой стороны, мои решительные выступления в защиту Советской Революции – возражение Гастону Риу: «Европа, объединись или умри!» и «Прощание с прошлым» – помечены 1 января и 15 июня 1931 года. – Р.Р.

четвертованного, растерзанного, привязанного к хвостам четырех лошадей», воплощает отчаянное усилие вкусить «черный мел диссонансов», который, по знаменитому выражению Гераклита, таит в себе «самую прекрасную гармонию». Он не может достичь этого в жизни, но он этого добивается своей смертью. Чело Марка окружено трагическим ореолом преждевременной гибели: в этом юном сознании, в этой быстро промелькнувшей жизни преломляется катастрофическое развитие духовной жизни Европы. В действительности существует не один Марк. Мне знакомы и другие. И мне известно, что в Марке они узнали себя. Они – лучшие люди нашего времени – ставят и разрешают либо подвигом своей жизни, либо ценой своей смерти великую проблему человеческого сознания, над решением которой бьется каждая эпоха: проблему примирения интересов личности с интересами общества. Примирение это может быть достигнуто лишь в результате отказа от того, что составляло смысл существования и предмет гордости прошедшей – и превзойденной – эпохи, в результате отказа от бесплодного индивидуализма (бесплодного не по природе своей, но вследствие вырождения) «аристократов духа»; сторонясь неизбежных битв современности, страшая дисциплины, которой требуют эти битвы, «аристократы духа» облачаются в горделивые доспехи независимости разума – разума абстрактного, бескровного, далекого от жизни. Для того чтобы спасти свою душу от сухотки, которая разъедает ее, человек должен погрузиться в кипящие пучины общественного бытия, а этого можно добиться, лишь поставив себя на службу обществу, находящемуся в движении и в борьбе.

Марк приходит к этому, лихорадочно прокладывая себе путь через ярмарку на площади, куда более жестокою и тлетворною, чем та, которая описана в «ЖанКристофе», ибо Марк живет в обстановке «гибнущего мира». Обливаясь кровью, Марк вытравляет со своего тела родимые пятна лжи. Он обличает ложь и падает на пороге новой эры, приход которой подготовлен суровой и беспощадной Исповедью всей его жизни.

Но самая его смерть означает рождение... *Stirb und werde!*²⁷ Он вновь поднимается и живет в сердцах двух женщин, которые служили ему опорой, – в сердце возлюбленной и в сердце матери. Аннета продолжает восхождение с той самой ступеньки, на которой остановилась нога ее сына.

И сын идет вперед вместе с матерью. Он – в ней. Аннета говорит об этом Асе:

«Законы мира опрокинуты. Я его родила. А теперь он, в свою очередь, рождает меня».²⁸

Такова мысль – двойной смысл – подзаголовка последнего тома «Провозвестницы»: «Роды». Рождение новой эпохи ценой добровольной жертвы поколения. И рождение Матери Сыном.

Таким образом Аннета идет дальше своего погибшего сына. Она отважно вступает в битву и вовлекает в нее сына своего сына и всех своих детей – по крови и духу. И вот, наконец, Река, ее символическое имя, достигает устья! В своем широком и, кажется, безбрежном ложе волны ее жизни катятся вперед, сливаясь с волнами великой Армии, прокладывающей себе путь сквозь стену угнетения. *In tyrannos!*²⁹

Но Очарованная Душа, которая «даже в смерти идет впереди», выходит за пределы сегодняшних битв, за пределы развалин и бастионов, завоеванных или воздвигаемых ею. В своих последних мечтах Очарованная Душа становится Созидающей Силой, которая своим божественным млеком намечает во мраке ночи собственные Млечные Пути. Она сливается с

²⁷ В частности, я попытался это сделать в своих обращениях, адресованных Международному конгрессу против империалистической войны и фашизма, происходившему в Амстердаме в 1932 году. Р.Р.

²⁸ «Провозвестница». – Р.Р.

²⁹ Умри и возродись! (нем.)

Судьбой в ее повелительном движении вперед, постигая в свой последний час, что «все горести ее жизни были лишь отражением» этого поступательного движения Судьбы.

Мне хотелось бы, чтобы в этой последней части симфонии – *Via sacra*³⁰ – в общем звучании слились лейтмотивы всего моего творчества: заря ребенка; смех Жорж и внучатой племянницы Кола – Сильвии и «*Durch Leiden Freude*»³¹ Бетховена (идея, которую двое мудрых героев моей книги выражают: один, Жюльен, словами: «Через страдания – к истине» (восклицание умирающей Аннеты: «Страдать – значит постигать»), другой, граф Бруно, словами: «Через свет – к любви» («*Per chiarita carita*»)); две переплетающиеся музыкальные фразы – «Озарение» и «Как знать?», эти красочные мелодии пастушеской свирели и гобоя, который пробуждал от сна Монтеня;

Мечта (кантата «*fur alle Zeit*»³² и Действие (лозунг сегодняшнего дня).

Произведение выполняет это грандиозное намерение, слишком обширное для рук человеческих, в меньшей степени, чем того требует пылкое устремление эпохи, которая всеми силами старается осуществить это намерение.

Симфония – это концерт, исполняемый оркестром столетий. Нам дано услышать лишь один отрывок, а затем мы передаем смычок другим, прежде чем разноголосые звуки успеют слиться в единый аккорд. Но, едва заслышав эти первые разноголосые звуки, мы ждем уже аккорда.

Каково бы ни было это произведение, оно – музыка. Как и «Жан-Кристоф», я посвящаю его Гармонии, королеве Грез, Грезе моей жизни.

Ромен Роллан

1 января 1934 года.

КНИГА ПЕРВАЯ АННЕТА И СИЛЬВИЯ

*Любовь, первородная дочь Земли,
Любовь, что позже нашу Мысль создала...
Риг-Веда*

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ

Вновь собираясь в путь, не такой долгий, каким был путь Жан-Кристофа, хотя мне и предстоит немало переходов я остановок, напоминая читателям дружескую просьбу, с которой я как-то обратился к ним, когда мой музыкант был на распутье. В предисловии к «Бунту» я предупреждал их, чтобы они воспринимали каждую книгу как отдельную главу создаваемого произведения, идея которого развивается в ходе изображаемых событий. Я привел старинное речение: «Конец венчает жизнь, а вечер-день» и добавил: «Когда дойдем до конца пути, тогда судите о наших усилиях».

Конечно, мне хотелось бы, чтобы каждая книга представляла собой законченное целое, чтобы о каждой судили, как о самостоятельном произведении искусства. Но не спешите судить об идее всего романа, прочитав лишь одну книгу. Когда я пишу роман, то выбираю существо, родственное мне по духу (или, пожалуй, оно выбирает меня). И этому избранному существу я предоставляю свободу действий, стараюсь, чтобы на него не влияла моя

³⁰ «Провозвестница». – Р.Р.

³¹ Против тиранов! (лат.)

³² Священной жизни (лат.).

личность. Тяжелое это бремя-личность, которую терпишь больше полувека.

Искусство оказывает нам божественное благодеяние, избавляя нас от этого бремени, позволяя нам вбирать души других, преображаться для иных существования (наши индийские друзья сказали бы: «для иных из наших существования», ибо в каждом – все...).

Итак, сроднившись ли с Жан-Кристофом, с Кола или с Аннетой Ривьер, я становлюсь просто-напросто поверенным их мыслей. Слушаю их, вижу их поступки и смотрю на все их глазами. Они постепенно познают свое сердце и сердце других людей, а вместе с ними познаю и я; когда они оступаются, спотыкаюсь и я; стоит им воспрянуть духом, я тоже поднимаю голову, и мы снова пускаемся в путь. Не утверждаю, что это – путь лучший. Но зато – это наш путь. Есть ли, нет ли причины для существования Кристофа, Кола и Аннеты, но Кристоф. Кола и Аннета существуют. А существование само по себе уже немаловажная причина.

Никаких спорных положений, никаких теорий в книге не ищите. Примите ее как повесть о духовном мире одной женщины; о долгой жизни, прожитой в согласии с совестью, жизни, богатой радостями и печалью, не свободной от противоречий, полной заблуждений и вечно стремящейся не к Истине, ибо она недоступна, а к внутренней гармонии, которая и есть для нас высшая Истина.

Р.Р.

Август, 1922 год

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Она сидела у окна, спиной к свету, и лучи заходящего солнца падали на ее плечи, на сильную шею. Она только что пришла. Впервые за много месяцев Аннета весь день пробыла на воздухе, бродила, упивалась внешним солнцем. Солнце, не разбавленное тенью безлистных деревьев, пьянило, как вино, и согревало воздух, еще прохладный, хоть зима и была на исходе. В голове шумело, сердце колотилось, и свет потоком заливал глаза. Баgreц и золото под сомкнутыми веками. Золото и баgreц во всем теле. Она притихла, замерла в кресле – на миг впала в забытие.

В чаще леса – пруд; на нем блик солнца, будто глаз. Кольцом стоят деревья, в мох укутаны стволы. Захотелось окунуться. Она разделась. Ледяная рука воды тронула ее ноги, колени. Приятное оцепенение. Вот она в баgreно-золотом пруду разглядывает свое тело... Смутное, неуловимое чувство стыда, словно кто-то увидел ее, подстерег. Скорее спрятаться, – и она заходит в воду все глубже, до самого подбородка. Вода змеится вокруг; это словно живые тиски; мясистые лианы обвивают ноги. Аннета пробует выпутаться и вязнет в тине. На поверхности дремлет солнечный блик.

Она раздраженно отталкивается пятками от дна и выплывает. Вода побурела, потускнела, помутнела. А на ее блестящей чешуе по-прежнему солнце... Аннета цепляется за лапу ивы, склонившейся над прудом, – только бы выбраться из вязкой грязи. Мохнатая ветвь крылом прикрывает нагие плечи, бедра. Смеркается, и ветерок холодит шею...

Она приходит в себя. Всего лишь несколько секунд назад она впала в забытие. Солнце прячется за холмы Сен-Клу. Прохладно по-вечернему.

Аннета совсем очнулась, вскочила, ее чуточку знобит, и она досадливо хмурит брови: рассержена, что позволила себе забыться; и вот она усаживается перед горящим камином у себя в комнате. Уютно горит огонь, который развели, чтобы полюбоваться им, рассеять тоску, а не ради тепла; стояла ранняя весна, и в комнату вливался мягкий воздух, а вместе с ним – певучая и сонная болтовня птиц, вернувшихся из далеких стран. Аннета размышляет. Но сейчас ее глаза открыты. Она вступила в свой привычный мир. Она в своем собственном доме. Она – Аннета Ривьер. Она склонилась к огню, бросающему алые отсветы на ее молодое лицо, поглаживает ногой черную кошку, греющую грудку у золотистых головней, и снова оживает ее печаль, от которой она ненадолго отрешилась; она вспоминает черты (исчезнувшие было из ее сердца) того, кого она потеряла. Она в глубоком трауре; скорбные

морщинки еще видны на лбу, в уголках губ, и веки чуть припухли от недавних слез, но когда эта сильная, свежая девушка, налитая соками жизни, как сама обновленная природа, не красавица, зато хорошо сложенная, с густой копной белокурых волос и золотистым загаром на шее, девушка, в каждом взгляде, в лице которой – прелесть юности, пытается накинута на глаза, посмеявшиеся отвлечься, и на округлые плечи развеявшееся покрывало скорби, она напоминает молоденькую вдовушку, увидевшую, что от нее убегает тень любимого.

Аннета и правда в сердце своем была вдовой, но тот, чью тень пытались удержать ее руки, был ее отцом.

Она потеряла его полгода назад. Поздней осенью Рауля Ривьера, человека нестарого (ему не было и пятидесяти), в два дня унес приступ уремии.

Он уже несколько лет возился со здоровьем, которое прежде не берег, однако не ждал, что так внезапно сойдет со сцены. Ривьер, парижский архитектор, бывший питомец Римской академии художеств, красавец мужчина, хитрый и обуреваемый страстями, на редкость могучими, пользовавшийся успехом в салонах, захваленный в деловых кругах, всю жизнь загребал заказы, почести и всяческие блага, не подавая вида, что их домогается. Лицо типичного парижанина, примелькавшееся на фотографиях, прейскурантах и карикатурах, широкий выпуклый лоб, голова, чуть наклоненная вперед, как у быка, готового забодать, глаза круглые, навывкате, дерзкий взгляд, пышные светлые волосы, подстриженные бобриком, усы над смеющимся чувственным ртом; во всем облике – ум, дерзость, обаяние и бесстыдство. Его знал весь Париж-Париж искусства и наслаждений. И не знал никто. Он был человеком двуликим, прекрасно применялся к обществу, извлекал из него выгоду, но свою личную жизнь от всех утаивал. Он был человеком ненасытных страстей, всемогущих пороков, которые сам в себе взращивал, стараясь, однако, не обнаруживать ничего такого, что отпугнуло бы заказчиков, – пускал в храм своей души (*fas ac nefas*) лишь избранных, не считался ее светскими вкусами и моралью, сообразуя, однако, с ними образ своей жизни и официальное положение. Никто его не знал – ни друзья, ни враги... Враги? Да их у него и не было. Завистники – пожалуй, но он сметал их с пути; впрочем, они не таили зла на него: он опрокидывал их, а потом с таким искусством льстил им, что они улыбались ему и чуть что не извинялись, как те робкие людишки, которые улыбаются вам, когда вы наступаете им на ногу. Его ловкость и хитрость одерживали верх – они помогали ему сохранить хорошие отношения и с конкурентами, которых он вытеснял, и с женщинами, которых бросал.

Не так удачлив был он в семейной жизни. Жена оказалась до того бестактна, что страдала от его неверности, – он считал, что за четверть века супружеской жизни пора было бы ей привыкнуть, а она все не смирялась.

Г-жа Ривьер, замкнутая, правдивая, держалась чуть надменно, и это было в стиле ее красоты – красоты лионки; чувства ее были сильны, но не бурны, и не ей было удержать его; к тому же ей недоставало счастливого таланта – такого удобного – закрывать глаза на то, чему ты не в силах помешать.

Чувство собственного достоинства не позволяло ей жаловаться, однако она не скрывала, что все знает, что мучается. Он был мягкосердечен (во всяком случае, таким он себя считал), и ему не хотелось думать обо всем этом, но его раздражало, что она не преодолевает своего эгоизма. Годами жили они, как чужие, но по молчаливому согласию скрывали это от окружающих, и даже их дочь, Аннета, никогда не отдавала себе отчета в отношениях родителей. Она и не старалась вникать в их разногласия, это было ей неприятно. В юности у людей много своих забот. Им не до чужих дел...

Рауль Ривьер привлек дочь на свою сторону – в этом проявилась вся его изворотливость. Разумеется, он ничего для этого не предпринимал – победило искусство. Ни слова упрека, ни намек на не правоту г-жи Ривьер. Он вел себя по-рыцарски: пусть дочь сама разбирается. Она так и сделала: ведь на нее тоже действовало обаяние отца. И как не обвинять ту, которая, став его женой, по неразумию сама испортила себе жизнь! В неравной борьбе бедная г-жа Ривьер была обречена заранее. Она сама себе нанесла поражение: умерла первая. Рауль стал единственным владельцем поместья и сердца дочери. Пять последних лет

Аннета жила под нравственным влиянием обожаемого отца, который баловал ее и, не помышляя о том, что творит, расточал ей все свое обаяние. Он был так щедр оттого, что ему не на кого было тратить: два года он почти не выходил из дому – удерживали предвестники болезни, которой суждено было его унести.

Итак, ничто не нарушало той душевной близости, которая соединяла отца и дочь и заполняла сердце Аннеты, ее дремлющее сердце. Ей шел двадцать четвертый год, но сердце ее, казалось, было моложе: оно не спешило. А может быть, как все те, перед кем раскинулось долгое будущее, она, чувствуя, что в ней бурлят еще скрытые силы жизни, копила их и пока не придавала им значения.

Она была похожа и на отца и на мать: от него унаследовала черты лица и обольстительную улыбку, которая у него обещала больше, чем он думал дать, а у нее, такой чистой, обещала гораздо больше, чем она хотела; от матери – внешнее спокойствие, уравновешенность, строгую нравственность, несмотря на вольнодумие. Особую прелесть придавали ей обаяние отца и сдержанность матери. Нельзя было понять, какой же характер в ней преобладает. Ее истинная натура еще была загадкой и для других и для нее самой. Никто не догадывался о ее сокровенном внутреннем мире. То была Ева, дремлющая в саду. В ее душе теснились какие-то желания, неясные ей самой. Ничто их не пробуждало, потому что не было толчка. Казалось, стоит ей протянуть руку, и она сорвет их. Но она и не пыталась, усыпленная их ласковым рокотом. Пожалуй, и не хотела пытаться... Кто знает, до каких пределов доходит самообман? Стараешься не обнаруживать в себе то, что тревожит... Она предпочитала не ведать о море своей души. У Аннеты, которую все знали, Аннеты, которая знала себя, премилой девушки, очень уравновешенной, рассудительной, аккуратной, сдержанной, с сильной волей, со своим собственным суждением обо всем, не было случая проявить свой характер, пойти наперекор правилам, установленным светом или семьей.

Аннета не пренебрегала светскими обязанностями, развлечения, до которых она была большая охотница, ей не надоедали, но она ощущала потребность в занятиях более серьезных. Она прилежно училась, посещала лекции, изучала естественные науки, сдавала экзамены, добиваясь ученой степени.

Ее живой ум жаждал знаний, она любила точные исследования, особенно в естествознании, к которому имела большие способности, – может быть, потому, что ее здоровая натура, инстинктивно стремясь к равновесию, испытывала потребность противопоставить строгую, научную методичность и логическое мышление беспокойной прелести той внутренней жизни, которую она боялась всколыхнуть и которая, помимо ее воли, стучалась у дверей, когда бездействовал ум. В ее жизни все было ясно, точно, систематично, и пока это ее вполне удовлетворяло. Не хотелось размышлять о том, что ждет впереди. Замужество совсем не привлекало ее. И она не желала о нем думать.

Отец посмеивался над ее предубеждениями, но оспаривать их не собирался: так ему было удобнее.

Уход из жизни Рауля Ривьера потряс до основания все стройное сооружение, в котором он был главной опорой, хотя Аннета этого и не понимала.

Она знала смерть в лицо. Узнала пять лет тому назад, когда ее покинула мать. Но черты лица смерти не всегда одинаковы. Г-жа Ривьер, несколько месяцев пролежавшая в больнице, ушла молча, как и жила, сохранив тайну предсмертного страха, как хранила она тайну своих горестей, и в юной душе Аннеты, правдивой и эгоистичной, вместе с тихой печалью, похожей на первый весенний дождик, осталось чувство облегчения, в котором не признаешься себе, и мимолетные угрызения совести, которые очень скоро были по молодости лет беспечно забыты.

Иначе умирал Рауль Ривьер. Он был застигнут врасплох, когда упивался счастьем, когда воображал, что наслаждаться им будет еще долго, и отнюдь не философски ушел из жизни. Он принял смерть и муки с криками возмущения. В ужасе боролся он до последнего вздоха, задыхаясь, как измыленная лошадь, во весь опор берущая подъем. Страшные эти картины отпечатались, словно на воске, в разгоряченном воображении Аннеты. По ночам ее

преследовали видения. Она лежала в темноте у себя в комнате и, задремав или вдруг проснувшись, с такой яркостью снова видела предсмертные муки и лицо умирающего, что сама воплощалась в него: ее глаза становились его глазами; ее дыхание – его дыханием; она уже не могла различить их; глаза ее отвечали призыву тускнеющего взгляда. Она сама чуть было не погибла.

Но молодость так сильна и гибка! Пусть до предела натянута тетива – тем дальше отлетит стрела жизни. Ослепительно яркие, безумные образы померкли оттого, что слишком были ярки, и мрак заволок память. Черты лица, голос, светлый облик того, кто исчез, – все исчезло; Аннета до изнеможения пыталась удержать в душе его тень, но уже не видела ее. Ничего не видела, кроме себя самой. Одной себя... Одинокой. Ева в раю пробуждалась без спутника, без того, к кому так привыкла, чей образ не старалась определить, но о ком думала, сама того не ведая, с какой-то влюбленностью. И вдруг рай утратил безопасность. В него прокрались беспокойные дуновения извне: и дыхание смерти, и дыхание жизни. Аннета открыла глаза и, как первобытные люди в ночи, с тревогой почувствовала, что ее со всех сторон подстерегают неведомые опасности, что с ними предстоит борьба. Все дремавшие в ней силы вдруг собрались воедино, построились, насторожились.

Одинокая ее душа наполнилась какими-то страстными порывами.

Равновесие нарушилось. Учение и занятия стали ей совсем не нужны. Казалось нелепым, что прежде она отводила им такое большое место. Другая же область жизни – та, которую опустошило горе, – представляла перед ней во всей своей неизмеримой шири. Удар всколыхнул все чувства: вокруг раны, нанесенной смертью любимого спутника жизни, – тайные, неведомые силы любви; их притягивала образовавшаяся пустота, и они устремлялись туда из глубин ее существа. Она же, удивленная этим вторжением, пыталась дать ему иное объяснение; упрямо старалась она сосредоточить все эти силы вокруг того, кого оплакивала, – все эти силы, все эти жгучие, ненасытные вожделения Природы, внешние влажные дуновения которой омывали ее, и смутное, властное сожаление о счастье – утраченном, а не желанном ли? – и руки, простертые в небытие, и замирающее сердце, которое тянулось к прошедшему – а не к будущему ли? Кончилось тем, что скорбь ее стала таять в непостижимом смятении чувств: в печали, в желаниях, в безотчетном томлении – все это и снедало ее и возмущало...

В тот вечер, на исходе апреля, возмущение вдруг овладело ею. Ее светлый ум восстал против неясных грез, которые он оставлял без контроля несколько слишком долгих месяцев и опасность которых предвидел. Он хотел отогнать их, но это было не так-то просто: его не слушались, он отвык управлять... Аннета бежала от взгляда огня, пылавшего в камине, от коварного нападения ночи, уже спустившейся на землю; она встала, зябко повела плечами и, накинув отцовский халат, зажгла свет.

Тут был кабинет Рауля Ривьера. Из отворенного окна сквозь молодую реденькую листву деревьев, во мраке виднелась Сена, а в ее темных и будто неподвижных водах отражались дома, окна которых светились на том берегу, да блики зари, угасавшей над холмами Сен-Клу. Рауль Ривьер, который обладал изысканным вкусом, хотя и остерегался растрачивать его ради пошлого шаблона или смехотворных причуд своих богатых заказчиков, купил в предместье Парижа на Булонской набережной приглянувшийся ему старинный особняк в стиле Людовика XVI – и не перестроил. Ограничился тем, что сделал его комфортабельным. Деловой кабинет должен был служить и для дел любовных. И, судя по всему, это свое назначение он выполнял. Не одну милую просительницу принимал здесь Ривьер, но об этом никто и не подозревал, ибо в комнате был отдельный выход – прямо в сад. Однако уже два года он им не пользовался; единственной его посетительницей была Аннета.

Здесь И вели они самые душевные разговоры. Аннета прохаживалась по комнате, наводила порядок, наполняла водой вазы с цветами, двигалась неугомонно, а потом вдруг застывала с книгой в руках, примостившись в любимом уголке, на диване, и молча смотрела на муаровую ленту реки или, не прерывая рассеянного чтения, рассеянно болтала с отцом. А

он, ее беспечный и утомленный отец, сидел тут же и, не поворачивая головы, украдкой следил насмешливыми своими глазами за каждым движением Аннеты; этот старый балованный ребенок привык к общему поклонению, а потому поддразнивал дочь, острил, засыпал ласковыми, шутливыми, требовательными, тревожными вопросами, только ради того, чтобы сосредоточить помыслы Аннеты на себе и увериться, что она действительно слушает его. И в конце концов она, покоренная и обрадованная тем, что отец не может обойтись без нее, бросала все и занималась только им. Тогда он успокаивался и, завоевав внимание дочери, делился с ней своими тайнами, перебирал воспоминания, приносил ей в дар все богатства своего блестящего ума во всем его разнообразии. Понятно, он старался выбирать самые лестные для себя случаи и преподносил их *ad usum Delphini*³³ своей дофине, до тонкости понимая и ее затаенное любопытство и непреодолимую брезгливость: он ей рассказывал лишь то, о чем она хотела бы послушать. Аннета не пропускала ни слова и гордилась его доверием. Ей приятно было думать, что отец рассказывает ей гораздо больше, чем рассказывал матери. Воображала, что она единственная хранительница тайн его личной жизни.

Но после смерти отца у нее на хранении оказалось еще кое-что – все его бумаги. Аннета и не пыталась разобраться в них. Они не принадлежали ей – так внушала ей почтительная любовь. Другое чувство подсказывало: надо поступить иначе. Во всяком случае, надо было решить их участь: Аннета, единственная наследница, тоже могла исчезнуть – нельзя, чтобы семейные бумаги попали в чужие руки. Значит, надо поскорее их просмотреть, тогда и будет ясно, уничтожить их или хранить. Так решила Аннета уже несколько дней тому назад. Но, когда по вечерам она входила в комнату, где все говорило о присутствии дорогого отца, у нее доставало мужества лишь на одно: часами сидеть, там, не шелохнувшись. Она боялась, что, читая письма из прошлого, вплотную соприкоснется с действительностью...

И все же это было необходимо. В тот вечер она решилась. Она с тревогой чувствовала, как нынешней, такую теплой ночью, в неге, разлитой вокруг, тает ее печаль, и ей захотелось утвердить свое право на умершего.

Она подошла к шкафчику из розового дерева, скорее предназначенному для кокетки, чем для дельца, – в этом шкафчике времен Людовика XV, в ящиках, которые возвышались этажами в семь-восемь рядов и превращали его в очаровательный миниатюрный домик, предвосхитивший форму американских небоскребов, и хранил Ривьер груды писем и свои бумаги. Аннета опустилась на колени, выдвинула нижний ящик; она совсем вынула его из шкафа, чтобы получше разглядеть все, что в нем было, и, снова усевшись у камина, поставила ящик на колени и наклонилась над ним. В доме ни звука. Она жила вместе со старой теткой, которая вела хозяйство и в счет не шла: тетя Викторина, личность неприметная, сестра отца, всю жизнь прожила в заботах о нем и находила это вполне естественным, теперь же она заботилась об Аннете, по-прежнему играла роль домоправительницы и, как старые кошки, прижившиеся к дому, стала в конце концов частью обстановки, к которой была привязана, конечно, не меньше, чем к своей родне. Спозаранку она удалялась к себе в комнату; ее пребывание где-то наверху и мерное шарканье ее войлочных туфель не нарушали раздумий Аннеты – так в доме не замечаешь кошки.

Аннета стала читать с любопытством и некоторой тревогой. Но любовь к порядку и стремление к покою, требовавшие, чтобы и в ней и вокруг нее все было ясно, четко, заставляли ее брать и разворачивать письма не спеша, спокойно и хладнокровно, и это, хотя бы некоторое время, поддерживало в ней самообман.

Сначала она прочитала письма от матери. Грустный их тон сразу же воскресил в ее памяти давнишнее чувство, не всегда доброжелательное, иногда чуть раздраженное, с примесью жалости, вызванное тем, что она считала, с присущей ей рассудительностью,

³³ Здесь: в смягченном виде (лат.).

привычным нытьем безусловно больного человека: «Бедная мама!..» Но мало-помалу, вчитываясь, она впервые заметила, что для такого душевного состояния у матери были причины. Аннету встревожили некоторые намеки на неверность Рауля. Она слишком пристрастно относилась к отцу и пропустила их, прикидываясь, будто ничего не поняла. Благоговейная любовь к отцу вооружила ее превосходными доказательствами для отвода глаз. Однако она видела, какая глубокая душа была у г-жи Ривьер, как оскорблена была ее любовь, и укоряла себя, что совсем не знала свою мать, что сделала еще тягостнее ее жизнь, полную самопожертвования.

В том же ящике, рядышком, лежали еще пачки писем (иные развязались и перемешались с письмами матери) – Рауль по своему легкомыслию хранил их вместе – так он сочетал свою сложную семейную жизнь и переписку с женщинами.

И тут спокойствие, которое Аннета внушала себе, подверглось тяжкому испытанию. Со всех этих листков раздавались голоса, совсем по-иному говорившие о близости, уверенные в своей власти, – не то что голос бедной г-жи Ривьер; они утверждали, что имеют права владеть Раулем. Аннета была возмущена. Она поддалась первому побуждению, скомкала письма и швырнула в горящий камин. Но тотчас же выхватила.

Растерянно смотрела она на листки, уже изгрызенные пламенем, из которого она вовремя их вытащила. Да, были у нее основания не вмешиваться в прошлые нелады между родителями, а еще больше было у нее оснований не узнавать о любовных связях отца. Но сейчас эти основания уже не играли роли. Она почувствовала личное оскорбление. Она сама не знала, по какому праву, отчего, почему. Она сидела неподвижно, поникнув, морща нос, нагнув голову, сжав губы от досады, и, напоминая разъяренную кошку, дрожала от желания швырнуть в огонь гнусные бумажонки, которые комкала в кулаке.

Но вот рука разжалась, и Аннета, поддавшись искушению, посмотрела на них. И вдруг решилась – раскрыла ладонь, расправила письма, тщательно разгладила пальцем смятые листки... И прочла – прочла все.

С омерзением (но в то же время словно завороченная) следила она, как мелькают перед ней любовные связи отца, о которых она и понятия не имела. Пестрые, причудливые вереницы. Свои вкусы и в любви и в искусстве Рауль «менял, как перчатки». Аннета узнавала имена дам из своего круга и с неприязнью вспоминала, как ей когда-то улыбалась, как ласкала ее какая-нибудь избранница отца. Другие стояли не на такой высокой ступени общественной лестницы, их орфография была не менее вольна, чем чувства, которые они изливали. Аннета еще крепче сжала губы, но ее умственный взор, острый и насмешливый, как умственный взор отца, видел всех этих потешных особ с кудряшками на лбу; видел, как, высунув кончик языка, склонившись над бумагой, впопыхах строчили они послание. Все эти романы – одни подлиннее, другие покороче, а в общем – все недолгие – тянулись чередой, сменяя и вытесняя друг друга. Аннета была благодарна им за это, но оскорблена и полна презрения.

Открытия не кончились. Еще одна связка писем – они были сложены отдельно, в другом ящике, и перевязаны тщательнее, чем другие (тщательнее, чем письма матери) – говорила о более продолжительной связи. Даты были помечены небрежно, но сразу было видно, что переписка велась долгие годы. Письма были написаны двумя почерками: те письма, что пестрели ошибками, со строчками, бежавшими вкривь и вкось, прерывались на половине связки; другие же сначала выводила детская рука с помощью взрослого, потом почерк укрепился; переписка шла все последние годы, больше того (и это было особенно тяжело Аннете), – последние месяцы жизни ее отца. И эта корреспондентка, кравшая у нее часы священной для нее поры, право на которую, как она воображала, имела только она одна, – эта самозванка вдвойне самозванка, называла в письмах ее отца – «отцом»!..

Аннете стало нестерпимо больно. Гневным жестом она сбросила с плеч халат отца. Письма выпали из рук; она откинулась на спинку кресла и сидела без слез, с пылающими щеками. Она не анализировала своих чувств.

Она была в таком смятении, что не могла рассуждать. И все же в этом смятении она

думала об одном: «Он обманул меня!...».

Она снова взяла эти проклятые письма и уже не выпускала до тех пор, пока не впитала в себя все, до последней строчки. Она читала, и ноздри ее раздувались, а рот был сомкнут: ее сжигал скрытый огонь ревности, и еще какое-то темное чувство зарождалось в ней. Ни разу не подумала она, что, проникая в святая святых этой переписки, овладевая тайнами отца, она поступает против совести. Ни разу не усомнилась в своем праве... (В своем праве! Голос рассудка умолк. Говорила совсем другая сила – деспотическая!) Наоборот, она считала, что затронуты ее права – да, ее права затронуты отцом!

И все же она овладела собой. На миг она словно мельком увидела, как несообразна ее требовательность. Пожала плечами. Какие права были у нее на отца? Разве он был ей что-то должен? Властно говорили чувства: «Да».

Бесполезно спорить! Аннета поддалась нелепо досаде, мучилась от уколов ревности и в то же время испытывала горькую радость от натиска жестоких сил, которые, впервые в жизни, острыми иглами вонзались в ее тело.

Часть ночи прошла за чтением. И когда, наконец, она решила лечь, под ее смежившимися веками еще долго мелькали строчки и слова, от которых она вздрагивала, пока крепкий сон молодости не одолел ее; она лежала теперь неподвижно, глубоко дыша, успокоенная, облегченная той растратой сил, которая свершилась в ней.

На другое утро Аннета все перечитала, она и в следующие дни не раз перечитывала письма, – только они и занимали ее мысли. Теперь мало-помалу она могла представить себе эту жизнь-вторую жизнь, которая шла параллельно ее жизни: мать-цветочница, Рауль снабдил ее деньгами, чтобы она открыла магазин; дочь-модистка или портниха (точных сведений не было).

Одна звалась Дельфиной, а другая (молодая) Сильвией. Судя по фантастически небрежному стилю, в непосредственности которого была своя прелесть, они походили друг на друга. Дельфина, вероятно, была премилая женщина, и хоть она прибегала к некоторым уловкам, которые то тут, то там проскальзывали в письмах, но не очень донимала Ривьера своими требованиями. Ни мать, ни дочь не воспринимали жизнь трагически. Впрочем, они были уверены, что Рауль любит их. Вероятно, это и было лучшим средством сохранить его любовь. Дерзкая их уверенность оскорбляла Аннету не меньше, чем то, с какой удивительной бесцеремонностью они обращались к ее отцу.

Сильвия особенно занимала ее ревнивое внимание. Другой не было в живых, и Аннета из гордости притворялась, будто ее ничуть не трогает близость Дельфины и ее отца; она уже забыла, как была оскорблена еще несколько дней назад, когда узнала о всех его привязанностях. Теперь, когда она вступила в борьбу с привязанностью более глубокой, всякие другие соперники ее не пугали. Напрягая мысль, Аннета старалась представить себе образ незнакомки: ведь она, хоть Аннета и презирала ее, была ей лишь наполовину чужой. Веселая бесцеремонность, спокойное «ты» в письмах, – чувствовалось, что Сильвия распоряжается ее отцом, будто он ее безраздельная собственность, – все это возмущало Аннету, она старалась пристально рассмотреть несносную незнакомку, чтобы ее уничтожить. Но самозванка избегала ее взгляда. Она будто говорила:

«Он – мой, во мне течет его кровь».

И чем сильнее негодовала Аннета, тем крепче утверждалась в ней эта близость. Она слишком долго противодействовала и мало-помалу привыкла к борьбе и даже к своей противнице. Кончилось тем, что она больше не могла обходиться без нее. Утром, просыпаясь, она тотчас же начинала думать о Сильвии, и теперь лукавый голосок соперницы твердил:

«Во мне течет твоя кровь».

И она так отчетливо слышала ее, так живо привиделась ей как-то ночью незнакомая сестра, что Аннета в полусне протянула руки, чтобы обнять ее.

На другой день Аннету, рассерженную и сопротивлявшуюся, но побежденную, охватило неотступное желание увидеть сестру. И она отправилась на поиски Сильвии.

Адрес был в письмах. Аннета пошла на бульвар Мэн. Миновал полдень.

Оказалось, что Сильвия в мастерской. Аннета не решилась пойти туда. Она выждала еще несколько дней и снова отправилась к Сильвии после обеда, под вечер. Сильвия еще не вернулась домой, а может быть, снова вышла, никто точно не знал. Каждый раз нервное нетерпение целый день держало Аннету в напряжении, в ожидании; она возвращалась разочарованная, и малодушие втайне подсказывало ей, что лучше отказаться. Но она была из тех людей, которые никогда не отказываются от принятого решения, не отказываются, как бы упорно ни было сопротивление и как бы ни страшились они того, что может случиться.

И она снова пошла как-то на исходе мая, около девяти вечера. На этот раз сказали, что Сильвия дома. Шестой этаж. Она поднялась одним духом – не хотела, чтобы осталось время на раздумье, чтобы можно было чем-то оправдать свое отступление. У нее захватило дыхание. Она остановилась на площадке. Она не знала, что ждет ее.

Длинный общий коридор, без ковра, вымощен плитам. Справа и слева две полуотворенные двери: жильцы громко переговаривались. На красных плитах рдели лучи заходящего солнца – они падали из двери налево. За нею и жила Сильвия.

Аннета постучалась. Не прерывая болтовни, ей крикнули: «Войдите!» Она толкнула дверь: отблеск золотистого заката ударили ей в лицо. Она увидела – полураздетая девушка, в юбке, с голыми пухлыми плечами и босыми ногами в розовых стоптанных шлепанцах ходит по комнате, повернувшись к ней гибкой спиной. Она что-то искала на туалетном столике и болтала сама с собой, припудривая пуховкой нос.

– Ну! В чем дело? – спросила она сюсюкая, потому что рот у нее был полон шпилек.

И тут же ее отвлекла ветка сирени в кувшине с водой: она уткнулась носом в цветы и замурлыкала от удовольствия. Подняла голову, взглянула смеющимися глазами в зеркало и увидела Аннету, – озаренная солнечными лучами, та нерешительно остановилась позади нее на пороге. Сильвия ахнула, повернулась к ней, и, закинув голые руки, проворно заколола шпильками растрепанные волосы, потом подошла, протягивая объятия, но вдруг отдернула руки и любезным, гостеприимным жестом, но сдержанно, пригласила Аннету войти. Аннета вошла; она пыталась что-то сказать, но не могла выговорить ни слова. Сильвия тоже молчала. Предложила стул, накинула поношенный халат в голубую полоску и села напротив, на кровать. Обе смотрели друг на друга и выжидали – кто начнет...

Как они были различны! Они изучали друг друга проницательным, оценивающим взглядом, без снисхождения, стараясь узнать, выпытать: «Какая же ты?»

Перед Сильвией стояла Аннета – высокая, свежая, широколицая, чуточку вздернутый нос, крутой лоб тетки под копной вьющихся каштановых волос с золотистым отливом, густые брови; широко раскрытые голубые глаза были чуть навывкате и иногда как-то странно темнели от сердечного волнения; рот большой, губы выразительные, со светлым пушком в уголках, обычно сомкнуты, и в их выражении – что-то готовое к отпору, сдержанное, решительное, но какая же всепобеждающая, застенчивая и светлая улыбка преображает все лицо, когда они раскрываются; подбородок и щеки полные, но не толстые, словно литые, шея, плечи, руки – цвета густого меда; прекрасная упругая кожа, омываемая здоровой кровью. Немного тяжеловата талия, чуть грузен торс, а груди – широкие, пышные; опытный взгляд Сильвии, ощупывая их под тканью, задержался на гармоничной линии прекрасных плеч и шеи, на этой золотистой, округлой колонне, на самой совершенной линии тела Аннеты. Она умела одеваться, костюм был тщательно продуман, – по мнению Сильвии, чересчур уж тщательно; волосы аккуратно заложены, ни одного завитка не выбивается, ни одной лишней прядки. И Сильвия спрашивала себя:

«А нутро у нее такое же?»

Перед Аннетой стояла Сильвия – почти одного роста с ней (да, пожалуй, не ниже), но тоненькая, с узкой талией, с маленькой, не по фигуре, головкой, в халате, накинутом на полуголое тело, с небольшой грудью, но все-таки пухлая и плечи у нее полные, а бедра узкие, и сидит она, чуть покачиваясь, сложив руки на округлых коленях. Подбородок и лоб у нее тоже округлые, носик вздернутый, волосы светло-каштановые, очень тонкие и растут

низко на висках, на щеках кудряшки, а на затылке и на белой, очень белой и изящной шее непослушные завитки. Комнатное растение. Профили у нее были асимметричные: правый томный, sentimentalный – кошечка спит; левый хитрый, настороженный – кошечка кусается. Разговаривая, она вздергивала верхнюю губку, так что обнажались острые клычки. И Аннета подумала: «Худо будет, если она вцепится!»

Как они были различны! И все же обе с первого взгляда узнали друг в друге отца – его взгляд, светлые глаза, его лоб, складка в уголках рта...

Аннета, оробевшая, напряженная, овладела собой и произнесла свою фамилию холодным от волнения тоном, Сильвия, не прерывая ее, не сводила с нее глаз, а потом преспокойно сказала, вздергивая губку в недоброй улыбке:

– Я и так это знала.

Аннета вздрогнула.

– Каким образом?

– Видела вас – и часто-с отцом...

Она запнулась перед последним словом. Может быть, из злорадного чувства ей и хотелось сказать: «С моим отцом». Но она этого не сказала из насмешливого сострадания к Аннете, читавшей по ее губам. Аннета все поняла, отвела глаза, вспыхнула от унижения.

Сильвия ничего не упустила из виду: она смаковала ее смущение. Она продолжала говорить с важностью, не спеша. Рассказала, что на похоронах была в церкви, забила в уголок и все видела. Она вела рассказ певучим голосом, произнося слова чуть в нос и не обнаруживая никакого волнения.

Но если она умела видеть, то Аннета умела слышать. И когда Сильвия кончила, Аннета подняла глаза и спросила:

– Вы очень любили его? Ласково посмотрели друг на друга сестры, но это был лишь миг. Тень ревности скользнула в глазах Аннеты, и она продолжала:

– Он очень любил вас.

Ей искренне хотелось доставить Сильвии удовольствие, но в голосе, помимо воли, прозвучала досада. А Сильвии показалось, что она уловила покровительственную интонацию. Ее лапки выпустили коготки, и она сказала с живостью.

– О да: он меня очень любил! Помолчала, а затем со снисходительным видом выпалила:

– Вас он тоже очень любил! Он часто говорил мне об этом.

Руки Аннеты сильные, большие и нервные руки, дрогнули, пальцы сжались. Сильвия смотрела на них. Чувствуя, как подступает к горлу комок, Аннета спросила:

– Он часто говорил с вами обо мне?

– Да, часто, – подтвердила Сильвия с невинным видом.

Вероятно, это была не правда. Но Аннета не знала, что такое лицемерие, и верила людям; вот почему слова Сильвии ранили ее в самое сердце...

Итак, отец говорил с Сильвией о ней, они говорили о ней вместе! Она же до самого последнего дня ничего не знала, была так уверена, что он доверяет ей, а он обманул, он все утаивал от нее; она даже не знала о существовании сестры! Непостоянство, несправедливость подавили ее. Она почувствовала, что побеждена. Но показывать это ей не хотелось; она поискала оружие, нашла его и сказала:

– Вы очень редко видели его за последние годы.

– За последние годы – да, – поневоле уступила Сильвия. – Разумеется.

Он же болел. Его взаперти держали.

Наступило враждебное молчание. Обе улыбались, обе сдерживали досаду.

Аннета – суровая и надменная, Сильвия – двуличная, ласковая, жеманная.

Они считали очки, прежде чем продолжать игру. Аннету утешало, что она все же получила преимущество – хоть и незначительное, но в глубине души ей было стыдно за свои дурные мысли, и она постаралась повести разговор более сердечным тоном. Она сказала, что ей хотелось бы сблизиться с той, в ком возродилась «частица» отца. Но, помимо своей воли,

она установила различие между ними, подчеркнула, что она – в привилегированном положении. Рассказала Сильвии о последних годах Рауля и не могла удержаться – дала ей понять, что была ближе отцу. Сильвия воспользовалась паузой и удружила Аннете – вспомнила, как был к ней привязан отец. И одна невольно завидовала роли другой и старалась похвастаться своей ролью. Говоря или слушая (не желая слушать и все же слыша), они осматривали друг друга с головы до ног. Сильвия снисходительно сравнивала свои длинные голени, тонкие щиколотки, босые ножки, болтавшие шлепанцами, с грузными ногами и широкими щиколотками Аннеты. Аннета, рассматривая руки Сильвии, отмечала, как заросли лунки ее слишком розовых ногтей. Встретились не просто две девушки; то были две семьи-соперницы. И хотя казалось, что они непринужденно ведут беседу, взгляд их и язык разили мечом, они с неприязнью следили друг за другом. Звериным чутьем ревности каждая сразу, с первого же взгляда, вызнала всю подноготную другой, обнаружила тайные изъяны ее души, пороки, о которых та, быть может, и не подозревала. Сильвия видела в душе Аннеты сатанинскую гордость, упрямство, взбалмошность, которые, вероятно, еще не проявили себя. Аннета видела в душе Сильвии черствость и улыбающуюся двуличность. Позже, полюбив друг друга, сестры старались забыть то, что тогда увидели. А сейчас неприязнь заставляла их все рассматривать через увеличительное стекло. Временами они ненавидели друг друга. Аннета, чуть не плача, думала: «Как все это дурно, как дурно! Я должна показать пример».

Она оглядела скромную каморку, посмотрела на окно, на тюлевую занавеску, на крышу и трубы соседнего дома, залитого лунным светом, на ветку сирени в кувшине с отбитым краем.

Холодно, хотя душа ее пылала, Аннета предложила Сильвии дружбу и помощь... Сильвия выслушала с рассеянным видом, усмехнулась недоброй усмешкой, промолчала... Аннета была смертельно оскорблена, и, с трудом скрывая, как уязвлена ее гордость и какая нежность зарождается в ее душе, она внезапно поднялась. На прощание они обменялись пустыми любезностями. И Аннета вышла, опечаленная, разгневанная.

Она уже миновала коридор, выложенный плитками, уже спустилась с первой ступени лестницы, когда Сильвия, потеряв по дороге одну туфельку, подбежала к ней сзади и обхватила руками ее шею. Аннета обернулась, вскрикнула от душевного волнения. В порыве чувства сжала Сильвию в объятиях. Сильвия тоже вскрикнула и засмеялась оттого, что Аннета с такой силой обняла ее. Они горячо поцеловались. Слова любви. Нежный шепот.

Благодарность, обещание скоро увидеться...

Наконец они расстались. Аннета, смеясь от счастья, очутилась внизу – она не помнила, как спустилась. Услышала наверху мальчишеский свист, будто кто-то звал собаку, и голосок Сильвии:

– Аннета! Она подняла голову и на самом верху в круге света увидела рожицу Сильвии, крикнувшей со смехом:

– Лови! И в лицо Аннете полетели брызги воды и мокрая ветка сирени – ее бросила Сильвия вместе с воздушными поцелуями...

Сильвия убежала. Аннета, закинув голову, все искала сестру глазами, но ее и след простыл. Она сжала в руках мокрую ветку сирени и поцеловала ее.

До дома было далеко, да и не совсем безопасно ходить по иным улицам в такой поздний час, но Аннета все же вернулась пешком. Ей хотелось танцевать. А дома она не легла, пока не поставила сирень в вазу у своей кровати, – так была она счастлива, так возбуждена. Вскочила и переставила ветку в кувшин с водой, совсем как было у Сильвии. Затем опять улеглась, но лампу не загасила, потому что ей не хотелось расставаться с нынешним днем. А часа через три она вдруг проснулась среди ночи. Цветы были на месте. Ей не приснилось, в самом деле она виделась с Сильвией... И она снова заснула с милым образом в душе.

Дни покатались в жужжании пчел, строящих новый улей. Так вьется рой вокруг молодой царицы. Вокруг милой своей Сильвии Аннета создавала новое будущее. Старый

улей был заброшен. Его царица мертва. Восторженная душа, стараясь скрыть дворцовый переворот, прикидывалась, будто любовь к отцу она перенесла на сестру, что обретет ее в Сильвии. Но Аннета знала, что с прежней любовью она простилась навеки.

Повелительно звала ее новая любовь, созидаящая и разрушающая... Воспоминания об отце были безжалостно отброшены. Его вещи были почтительно удалены в благоговейный полумрак комнат, – там уж некому было их трогать. Халат спрятан в старый шкаф. Аннета запрягла его, потом снова вытащила, постояла в нерешительности, прижалась к нему щекой и вдруг, вспомнив все, отшвырнула. Нет логики в любви! Кто же из них изменил?

Она была поглощена только что обретенной сестрой. Она совсем не знала ее! Но когда полюбишь, не известные тебе черты привлекают особенно. Прелесть тайны примешивается к тому, что уже знаешь. Видела она Сильвию мельком, и ей хотелось удержать в памяти лишь то, что ей понравилось.

Потихоньку от самой себя она допускала, что и это нечто весьма неопределенное. Но стоило ей попытаться беспристрастно воспроизвести то, что было для нее сомнительным в облике Сильвии, как она тотчас же слышала топот маленьких шлепанцев в коридоре и голые руки Сильвии будто обвивались вокруг ее шеи.

Сильвия должна была прийти. Она обещала... Аннета готовилась к приему. Куда она проведет ее? В свою милую комнату. Сильвия сядет вот тут, на ее любимом месте, у растворенного окна. Аннета смотрела на все ее глазами, радовалась, что покажет ей свой дом, безделушки, деревья, одетые в нежную листву, и холмы, усыпанные цветами. При мысли, что Сильвия теперь разделит с ней уют и комфорт, она наслаждалась ими, испытывая свежее чувство новизны. Но вот она подумала, что Сильвия станет сравнивать свое жилье с булонским домом. Радость омрачилась. Неравенство в их положении тяготило Аннету, будто в этом была и ее вина. Но ведь она в силах все исправить, она заставит Сильвию воспользоваться благами, которые судьба предоставила ей, Аннете... Да, но, значит, за ней будет еще одно преимущество. Аннета предчувствовала, что предстоит борьба. Она помнила насмешливое молчание Сильвии в ответ на ее первое приглашение.

Надо было посчитаться с ее щепетильностью. Как же быть? Мысленно Аннета перебрала несколько планов. Но ни один не годился. Раз десять она передвигала мебель в комнате; с детским удовольствием выставила напоказ самые ценные вещи, потом унесла и оставила лишь самые простые. Обдумала все до мелочей: где поставить на этажерке цветы, где – портрет... Только бы Сильвия не пришла, пока все не будет готово! Но Сильвия и не думала торопиться, у Аннеты времени было вдоволь, и она ставила и переставляла, передвигая все снова и снова. Она находила, что Сильвия очень медлит, и пользовалась этим, кое-что исправляя в своих планах. Бессознательная комедия! Она обманывала себя, придавая значение пустякам. Все это волнение, расстановка и перестановка вещей были просто предлогом, чтобы отвлечься от иного волнения, от горячих мыслей, нарушавших обычный порядок ее рассудочной жизни.

Предлог изжил себя. На этот раз все было готово. А Сильвия не шла. – Аннета не раз уже принимала ее в своем воображении. Она устала от ожидания... Однако нельзя же было снова идти к Сильвии! Ну вот, она придет и вдруг прочтет в скужающих глазах Сильвии, что без нее прекрасно обходятся! Уже самая эта мысль терзала гордую душу Аннеты. Нет, лучше никогда не видеть ее, чем так унижаться! Однако... Она принимает решение, спешит, одевается, – она пойдет за своей забывчивой Сильвией. Но не успела она застегнуть перчатки, как решимость уже оставила ее, ноги у нее подкосились, она села на стул в прихожей, сама не зная, что же делать...

И в тот миг, когда Аннета, не снимая шляпы, уныло уселась у двери, не зная, идти ли, нет ли, в этот самый миг позвонила Сильвия!..

Не прошло и десяти секунд, как отзвучал звонок, а дверь уже распахнулась. Такая быстрота и восторженное выражение глаз Аннеты ясно показали Сильвии, как ее ждали. И еще на пороге, не успели сестры обменяться словом, две рожицы прижались друг к другу. Аннета в порыве радости потащила Сильвию через весь дом; она не выпускала ее руки, не

сводила с нее глаз, смеялась громко, без причины, как счастливый ребенок...

И все вышло не так, как она себе представляла. Ни одна заготовленная фраза не пригодилась. Она не усадила Сильвию в свой излюбленный уголок.

Обе уселись спиной к окошку на диван, рядышком, глядя друг другу в глаза, болтали наперебой, а взгляды их говорили:

(Аннета): «Наконец-то! Да ты ли это?»

(Сильвия): «Вот видишь, я и пришла...»

Сильвия, разглядывая Аннету, спросила:

– Вы собрались уходить? Аннета мотнула головой: объяснять не хотелось.

Сильвия все поняла, наклонилась и шепнула:

– Не ко мне ли ты собралась? Аннета привскочила и, прижавшись щекой к плечу сестры, сказала:

– Злючка!

– Почему? – спросила Сильвия, целуя уголком губ золотистые брови Аннеты.

Аннета не ответила. Сильвии был известен ответ.

Она улыбнулась, лукаво следя за Аннетой, а та избегала ее взгляда.

Непокорная душа! Настроение у Аннеты упало. Вдруг путами ее связала робость. Они притихли, и старшая сестра прильнула к плечу младшей, очень довольной, что так быстро удалось взять в свои руки власть...

Потом Аннета подняла голову, и обе, поборов волнение, стали болтать, как закадычные подруги.

На этот раз враждебных намерений не было. Напротив, они жаждали излить свои души... Впрочем, не до конца! Они знали, что у каждой есть свое, сокровенное, – то, что нельзя показать. Даже когда любишь? Вот именно, когда любишь! Да что же это, поточнее? Они чувствовали взаимное доверие, но затаились, они прощупывали границы того, что любовь другой могла бы вытерпеть. И не одно признание, сначала откровенное, посреди фразы меняло русло и премило оборачивалось ложью. Друг друга они не знали, были друг для друга по многим чертам неразгаданной загадкой; два характера, два мира, несмотря ни на что, чуждые. У сестры Сильвия (она думала об этом больше, чем хотела) пустила в ход все свое обаяние. А пленять она умела. Аннета была ею очарована, и в то же время ее коробили некоторые ужимки и манеры Сильвии, – ей было от них не по себе. Сильвия это замечала, но и не думала вести себя иначе; старшая сестра, независимая и наивная, бурная и сдержанная, привлекала ее и отпугивала (хотя, слушая ее болтовню, никто не догадался бы об этом). Прехитрыми и пренаблюдательными были и та и другая, они не пропускали ни взгляда, ни мысли.

Они еще не были уверены друг в друге. В них была и недоверчивость и готовность излить и отдать друг другу душу. Однако отдать, не получая ничего взамен, не хотелось! В сестрах сидел бесенок гордыни. В Аннете он был посильнее. Но и любовь двигала ею сильнее. И скрыть этого она не могла. Она терпела поражение, отдавая больше, чем ей хотелось бы, и Сильвии это нравилось. Так представители двух договаривающихся сторон, горя желанием столкнуться, действуют с мудрой осмотрительностью и, следя за поведением друг друга, осторожно идут к цели.

Поединок был неравен. Сильвия очень скоро поняла, какая властная и жертвенная любовь владеет Аннетой. Поняла лучше, чем сама Аннета. Она испытывала ее, играла мягкой лапкой как ни в чем не бывало. Аннета чувствовала, что побеждена. Она была и пристыжена и обрадована.

Сильвия попросила показать ей весь особняк. Аннета не предложила этого сама – побоялась, что сестру уязвит благоденствие, которое ее окружало; у нее отлегло от сердца, когда она увидела, что Сильвия чувствует себя здесь как дома. С довольным видом ходила она взад и вперед, смотрела, трогала, будто была у себя дома. Аннета была озадачена изумительной бесцеремонностью сестры, и в то же время ее любящее сердце радовалось.

Проходя мимо постели Аннеты, Сильвия легонько шлепнула по подушке. Внимательно

осмотрела туалетный столик, зорким взглядом пробежала по всем флаконам, рассеянно заглянула в библиотеку, пришла в восторг от занавесок, разбранила одно кресло, присела на другое, сунула нос в полуоткрытый шкаф, пощупала шелковое платье и, проделав круг, вернулась в спальню Аннеты, уселась в низенькое кресло около кровати, болтая без умолку. Аннета предложила ей чаю, но Сильвия предпочла глоток сладкого вина. Сильвия сосала бисквит и поглядывала на Аннету, а та что-то хотела сказать, но все не решалась, и Сильвия чуть не выпалила:

«Да говори же!»

И вот Аннета порывисто и резко, оттого что сдерживала свои чувства, предложила Сильвии поселиться у нее. Сильвия молча улыбнулась, проглотила бисквит и, обмакивая в малагу вместе с пальцами последний кусочек, снова мило улыбнулась, поблагодарила глазами и полным ртом, покачала головой, будто разговаривая с малым ребенком; потом уронила:

– Душечка...

И отказалась.

Аннета твердо стояла на своем, повелительно, чуть не силой вынуждала ее согласиться. Теперь отмалчивалась Сильвия. Она извинялась – полунамеками, вкрадчивым голосом, даже застенчиво, но не без лукавства. (Она ведь горячо полюбила старшую сестру – порывистую, нежную, правдивую!..).

Она твердила:

– Не могу.

Аннета спрашивала:

– Да почему же? И, наконец, Сильвия сказала:

– У меня есть друг! Аннета в первую секунду ничего не поняла. А потом поняла все и была сражена. Сильвия, посмеиваясь, наблюдала за сестрой, а немного погодя тихонько поднялась и ушла, расцеловав ее и пошептав что-то ласковое.

Воздушный замок Аннеты рухнул. На душе было тяжело. Смутно от сумятицы чувств. В иные она предпочитала не вникать – они жгли ее и порою комком подступали к горлу. Она считала себя свободной от предрассудков, но мысль, что милая ее сестра... Да, все это было слишком тяжело! Сколько слез она пролила... Отчего? Как все глупо! Не ревность ли это снова? Да нет же!

Она передернула плечами и встала. Не хотелось больше ни о чем думать.

И она думала без конца... Она мерила большими шагами комнаты, чтобы отвлечься. Заметила, что проделывает по квартире тот круг, который проделала сестра. Думала лишь о ней. О ней и о том, другом... Ревность это ясно. Нет, нет, нет, да нет же! Она сердито топнула ногой. Не желала допускать ревность... Но допустила, нет ли, а на душе было скверно. Она пыталась все объяснить с точки зрения нравственности. И объяснила. Уязвлена была ее чистота. В ее сложной натуре, богатой противоречиями, которым не доводилось еще сталкиваться, была и пуританская строгость. Впрочем, не религиозное ханжество мешало ей. Воспитана она была отцом-скептиком и вольнодумкой-матерью вне всяких влияний религии и привыкла все обсуждать. Бесстрашно подвергала критике любые социальные предрассудки.

Свободную любовь допускала в теории, допускала – и получалось отлично.

Рано, разговаривая с отцом или однокурсниками, она защищала права свободной любви, и к требованиям этих прав даже почти не примешивалось желание, свойственное молодости, – казаться передовой: она вполне искренне считала, что свобода в любви законна, естественна и даже благоразумна.

Никогда ей не приходило в голову осуждать хороших девушек-парижанок, которые живут, как им хочется: она смотрела на них куда доброжелательней, чем на дам своего, буржуазного круга... Что же ее сейчас так огорчило? Ведь Сильвия пользовалась своим правом... Правом? Нет, не ее это право! Пусть другие, но только не она! Позволительно это тем, кто стоит не так высоко. К своей сестре и к самой себе Аннета

предъявляла – правильно ли, нет ли, – да, правильно! – более строгие требования. Полюбить на всю жизнь – вот что казалось ей высшим благородством сердца.

Сильвия пала, и сестра сердилась на нее за это! «Полюбить на всю жизнь?

Не тебя ли?.. Ревнивица, ты лжешь себе!..» И чем больше она ревновала Сильвию, тем сильнее любила. Ведь ни на кого так не сердилась, как на того, кого любишь!

Обаяние милой ее сестры потихоньку делало свое дело. Бесполезно сердиться, исправлять Сильвию, надо принимать ее такой, какая она есть. И мало-помалу Аннету стало терзать другое чувство: любопытство. Помимо воли, ум ее старался представить себе, как живет Сильвия. Она об этом слишком много думала. Она поставила себя на ее место. И смутилась, решив, что это было бы не так уж плохо. Досада и недовольство собой заставили ее еще суровее относиться к Сильвии. Она все сердилась на сестру и не разрешила себе навестить ее.

Аннета не подавала признаков жизни, но это нисколько не беспокоило Сильвию. Она распознала нрав старшей сестры и чувствовала, что Аннета вернется. Ожидание не тяготило ее. У нее было чем заполнить свое сердце.

Прежде всего – Друг, который, правда, занял лишь уголок сердца и то ненадолго, ну и еще всякая всячина! Она очень полюбила Аннету. Но ведь прожила же она без нее почти двадцать лет! Можно и еще несколько недель подождать. Она догадывалась, что происходит в душе сестры. Это ее забавляло, примешивались и отголоски враждебности. Две породысоперницы. Два класса. Сильвия в гостях у Аннеты украдкой сравнивала свою и ее жизнь, свои и ее условия. Думала:

«Все равно, и у меня, знаешь ли, есть крохотные преимущества. Есть то, чего нет у тебя... Ты думала меня удержать, – как же, так и удержишь!.. Да, да, криви свой ротик, дуйся!.. Я, значит, оскорбила твою благопристойность. Ах, какой удар. Аннета, бедняжка!..»

И она хохотала, представляя себе разочарованное выражение лица Аннеты и посылая ей воздушные поцелуи. Она ничуть не огорчалась, хотя и знала, что Аннета мучается, что ей тяжело все это проглотить. И, словно уговаривая капризного ребенка съесть полную ложку, лукаво и задорно шептала:

«А ну-ка, малыш, открой ротик! Глотай!..»

Но дело было не только в оскорбленном чувстве благопристойности.

Сильвия отлично сознавала, что задела Аннету в другом, в чем та и не сознается. И плутовка лукавила, ибо увидела, что она – хозяйка положения, что она будет вертеть сестрой как угодно. «Бедняжка Аннета! Попробуй, отбейся!..» Сильвия была уверена, совершенно уверена, что возьмет верх над сестрой. Она издевалась, но все же была растрогана и мысленно шептала сестре:

«Знаешь, злоупотреблять я этим не стану...»

Злоупотреблять не станет? А почему бы и не попробовать? Ведь злоупотреблять забавно! Жизнь – война. Все права – победителю! Раз побежденный пошел на это, значит, ему так выгодно!

«Довольно! Там будет видно».

Как-то в понедельник утром она отправилась в город и, проходя по улице Севр, вдруг увидела, что чуть впереди в том же направлении идет Аннета. И она пошла вслед за Аннетой, забавы ради, чтобы понаблюдать за ней.

Аннета, как всегда, шла большими шагами. Сильвия – семенящими, легкими шажками, словно приплясывая; она подсмеивалась над мальчишеской, спортивной походкой сестры, но оценила красоту стройного, сильного ее тела.

Аннета высоко держала голову и о чем-то раздумывала, не глядя вокруг.

Сильвия догнала ее и теперь шагала рядом, но так, чтобы Аннета не заметила. Шла с ней в ногу и, поглядывая исподтишка на старшую сестру, казалось, побледневшую, словно чем-то огорченную, не поворачивая головы и чуть шевеля губами, шепнула:

– Аннета.

Услышать ее в уличном шуме было немыслимо. Сама Сильвия едва себя слышала. Но

Аннета услышала. А может быть, до ее сознания дошло, что двойник-пересмешник уже несколько минут молча сопровождает ее? Она вдруг заметила смеющийся профиль – губы уморительно шевелятся без слов, искоса смотрит насмешливый узенький глаз... И остановилась в порыве бурной радости, которая однажды так удивила, так обворожила Сильвию. Внезапно протянутые руки! Восторг, охвативший все существо. Сильвия подумала:

«Сейчас подпрыгнет...»

Но все тотчас же прошло. Аннета овладела собой и чуть ли не холодно сказала:

– Добрый день, Сильвия.

Однако щеки ее порозовели, и, несмотря на свою сдержанность, она не устояла перед взрывом хохота сестры, которая была в восторге от своей шалости. Аннета тоже рассмеялась.

– Как ты меня провела! Сильвия подхватила ее под руку, и они продолжали путь, дружно идя в ногу.

– Ты долго шла рядом? – спросила Аннета.

– Да с полчаса! – заявила, не колеблясь, Сильвия.

– Неужели? – изумилась доверчивая Аннета.

– Я следила за каждым твоим движением. Все заметила. Все, все. Ты шла и разговаривала сама с собой.

– Ну уж это не правда, не правда! – отнекивалась Аннета. – Ах ты, лгунишка!

Они прижались друг к другу. Стали делиться впечатлениями. Обе радовались встрече. Сильвия, с восхищением рассказывая о выставке белья в магазине «Бон-Марше», где она уже успела побывать и куда Аннета только собиралась, вдруг шепнула на ухо сестре, в оглушительном шуме улицы, которую они переходили, лавируя между экипажами с ловкостью истинных дочерей Парижа:

– А ведь ты так меня и не поцеловала! Порывистое движение Аннеты – и они чуть не погибли. Они выбрались на тротуар и на ходу расцеловались.

Шагали, прильнув друг к другу, по более тихой улице, которая вела... Куда же она вела?..

– Куда мы идем? Сестры остановились; смешно получилось – болтали, болтали и заплутались. Сильвия, ухватившись за руку Аннеты, сказала:

– Позавтракаем вместе! Аннета не соглашалась (все неожиданное и восхищало и чуть смущало ее: она была методична), уверяла, будто дома ее ждет тетка. Но Сильвию такие пустяки не смущали: она завладела Аннетой и не отпустила бы ни за что. Она заставила ее позвонить тетке по телефону и повела в молочную, где часто бывала. Скромный завтрак, которым угощала Сильвия свою сестру, сравнительно с ней богачку (и все это понимавшую), привел девушек – Аннету особенно – в чудесное настроение. Аннета находила, что все превкусно. Она восторгалась хлебом, хорошо поджаренными котлетами. А под конец подали землянику со сливками, и они лакомились, подбирая ее с ложечки языком.

Впрочем, их языки больше были заняты разговором, чем едой. Хотя они и болтали о каких-то пустяках, но их души, их голоса, их сияющие взгляды сливались. У инстинкта свои пути – они короче и лучше. Еще не пришло время затрагивать важные вопросы. Сестры кружили вокруг да около, кружили весело, как осы, что, жужжа, облетят раз десять вокруг тарелки, пока не усядутся спокойно. Но им спокойно не сиделось...

Сильвия поднялась и сказала:

– Теперь пора на работу.

Аннета озадаченно посмотрела на нее, как ребенок, у которого неожиданно отнимают сладкое. И сказала:

– Было так хорошо! Мне этого мало.

– И мне, – ответила, смеясь, Сильвия. – Когда увидимся?

– Поскорее, и чтобы побыть подольше... А то так скоро все кончилось...

– Тогда сегодня же вечером. Приходи за мной к шести часам в мастерскую.

Аннета смутилась.

– А разве мы будем с тобой одни? Ее тревожило, не встретится ли она с ним.

Сильвия прочла ее мысль.

– Да, да, будем одни, – ответила она снисходительно, с оттенком иронии. И преспокойно объяснила, что ее друг уехал на два-три дня домой, в провинцию.

Аннета покраснела оттого, что Сильвия отгадала ее мысли. Она уже не помнила, что еще накануне утром решила осудить ее за безнравственность.

Все вопросы нравственности были забыты. Она думала об одном: «Сегодня вечером его не будет».

– Какое счастье! Весь вечер проведем вместе.

Сказав это, она захлопала в ладоши. А Сильвия сделала ножкой па, будто собралась танцевать, и воскликнула, соорудив забавную рожицу:

– Все довольны-предовольны!

Но, сразу же напустив на себя важность, потому что вошел какой-то посетитель, сказала:

– До свиданья, дорогая! И понеслась стрелой.

Они встретились несколько часов спустя, когда из мастерской вылетел шумный рой ветрениц. Девушки болтали без умолку, украдкой поглядывая по сторонам, шли семенящей походкой, поправляя прическу перед карманным зеркальцем и у витрин, то и дело оборачиваясь, и их любопытные, живые глаза, обведенные синевой, впивались в Аннету, – отошли чуть подальше, семеня, украдкой поглядывая по сторонам, болтая без умолку, и снова обернулись – поглядеть на Сильвию обнимавшую Аннету. И Аннете стало неприятно: она поняла, что Сильвия обо всем разболтала.

Она повела сестру обедать к себе, в булонский дом. Сильвия сама напросилась. А чтобы тетка не «охала» и не «ахала», решено было по дороге, что Сильвия будет представлена как подруга. Впрочем, это ничуть не помешало Сильвии после обеда, когда престарелая дама, покоренная ласковой плутовкой, удалялась к себе, как бы в шутку сказать ей: «тетя».

Светлый летний вечер; они вдвоем в большом саду. Нежно обнялись и идут мелкими шажками, вдыхая пряный аромат, который льют цветы на склоне знойного дня. Из душ, подобно аромату цветов, изливались тайны. В этот раз Сильвия отвечала на вопросы Анкеты, не очень скрытничая. Она рассказывала о своей жизни с самого детства; и прежде всего – об отце. Теперь они говорили о нем, не стесняясь, не ревнуя друг к другу; он принадлежал им обеим, и они говорили о нем со снисходительной, чуть иронической улыбкой, – как о большом ребенке, забавном, обаятельном, несерьезном, не очень благонаправном (все мужчины такие!)... На него они не сердились...

– А знаешь, Аннета, был бы он благонаправным, меня бы здесь не было...

Аннета сжала ей руку.

– Ай, потише! И Сильвия стала рассказывать о цветочной лавочке – как она, когда была маленькой, сидела под прилавком, среди разбросанных цветов, слушая, о чем болтает мать с покупателями, и как первые ее грезы переплетались с укладом жизни в Париже, затем о смерти Дельфины (Сильвии было тогда тринадцать лет), о годах учения у портнихи, подруги матери, приютившей ее, о том, как через год умерла ее покровительница, здоровье которой изнашивалось в работе (в Париже изнашиваются быстро!), и о том, в каких только не пришлось ей побывать передрягах. Она описывала свои злключения и горькие испытания с веселой усмешкой, в уморительных тонах. Мимоходом давала меткие определения людям, дополняя рассказ каким-нибудь штрихом, черточкой, словцом, гримаской. Рассказывала она не все – жизнь научила ее многому, – кое о чем умалчивала, кое о чем, быть может, ей было неприятно вспоминать. Зато она подробно рассказала о своем друге – последнем друге. (Были, вероятно, и другие страницы в ее жизни – она их утаила.) Он – студент-медик; встретились они на балу в их квартале (она готова была отказаться от обеда, лишь бы потанцевать!). Не очень красив, но премил, высокий брюнет, смеющиеся глаза с прищуром,

раздувающиеся ноздри, как у породистого пса, веселый, сердечный... Она описывала его без всякого воодушевления, но с симпатией, хвалила его достоинства, подшучивала над ним, довольная своим выбором. Сама себя прерывала, смеялась при иных воспоминаниях, – и о которых рассказывала, и о которых умалчивала. Аннета превратилась в слух, примолкла, – ее и смущало и интересовало все это; порой она робко вставляла несколько слов. Сильвия рассказывая, одной рукой держала ее руку, а другой ласково перебирала ее пальцы, словно четки. Она понимала, что Аннета смущена, ей это нравилось, и она забавлялась смущением сестры.

Девушки сидели на скамейке под деревьями; стало совсем темно, и они не видели друг друга. Сильвия – настоящий бесенок – воспользовалась этим и поведала о чуточку легкомысленных и очень нежных сценках, чтобы окончательно смутить старшую сестру. Аннета догадалась о ее хитрости; она не знала, улыбаться ли, бранить ли сестру; хотелось побранить, но сестричка была уж очень мила! Ее голосок звучал так весело – право, ничего порочного не было в ее жизнерадостности! Аннета с трудом переводила дыхание, стараясь не показать, в какое смятение повергли ее любовные истории Сильвии. А Сильвия, чувствуя, как дрожат от волнения пальцы сестры, умолкла, очень довольная этим, придумывая новую каверзу; наклонилась к Аннете и вполголоса, как ни в чем не бывало, спросила, нет ли у нее друга. Аннета вздрогнула (она этого не ожидала) и покраснела. Проницательные глаза Сильвии старались разглядеть ее лицо, защищенное темнотой, но ничего не было видно: наконец она провела пальцами по щеке Аннеты и сказала, заливаясь смехом:

– Да ты просто пылаешь! Аннета принужденно смеялась, и щеки ее разгорелись еще жарче. Сильвия бросилась ей на шею.

– Глупышка ты моя, дурочка, какая же ты прелесть! Нет, до чего ты смешная! Не сердись на меня! Ведь я хохотунья! Очень я люблю тебя! Ну, полюби хоть капельку свою Сильвию! В ней хорошего мало. Но какая есть, такая есть, и вся твоя. Сестричка. Птичка моя! Дай я поцелую твой клювик, сердечко мое!..

Аннета с такой силой обняла ее, что Сильвия чуть не задохнулась. Она отбивалась и говорила тоном знатока:

– Обниматься ты умеешь! Кто тебя научил! Аннета резким движением прикрыла ей рот рукой.

– Не надо так шутить! Сильвия поцеловала ее в ладонь.

– Прости, больше не буду.

Прижавшись щекой к плечу сестры, она благоразумно замолчала и принялась слушать ее, глядя на прозрачную полоску сумеречного неба, прорезанного ветвями деревьев, на лицо Аннеты, которая, склонившись к ней, о чем-то тихо говорила.

Аннета открывала ей сердце. Теперь рассказывала она – рассказывала о том полном счастье, которое выпало на ее долю в юности, в ее уединении, о заре жизни маленькой Дианы, пылкой, но не смущаемой страстями, которая имеет все, чего ни пожелает, ибо все, чего бы она ни пожелала сегодня, завтра же осуществляется. И она так уверена в грядущем дне, что заранее упивается его медвяным ароматом и не торопится срывать цветы.

Она поведала о безмятежном эгоизме тех лет, бедных событиями, до краев полных нектаром грез. Она говорила о той душевной близости, о всепоглощающей нежности, которые так роднили ее с отцом. И, странное дело, рассказывая о себе, она открывала себя: до сих пор ей не приходилось анализировать прошлое! И от этого она иногда терялась. Порой она прерывала рассказ: ей трудно было высказать мысли словами, порой она высказывала их взволнованно, горячо, образно. Сильвия не все понимала, ей было забавно, она слушала рассеянно, но следила за выражением лица сестры, за ее движениями, за интонацией.

Аннета поведала о том, как мучила ее ревность, когда она узнала о второй семье отца, существование которой он от нее утаил, и о том, как она была потрясена, обнаружив, что у нее есть соперница, есть сестра.

Она говорила горячо, откровенно и не умолчала даже о том, чего стыдилась; вся страстность ее проснулась, как только она вспомнила, и она сказала:

– Я тебя возненавидела! Сказала с такой запальчивостью, что даже умолкла, пораженная звуком своего голоса. Сильвия, взволнованная гораздо меньше, но очень заинтересованная, почувствовала, как под ее щекой дрожит рука Аннеты, и подумала:

«Она у меня с огоньком!»

Аннета продолжала свою исповедь, и стояла она ей дорого. А Сильвия думала:

«Чудачка, ну зачем она все мне рассказывает!»

И в то же время почувствовала, что в душе ее растет уважение к странноватой старшей сестре – конечно, уважение насмешливое, но полное бесконечной нежности, и она ласково потерлась щекой о родную ладонь...

Аннета довела рассказ до той поры, когда влечение к сестре-незнакомке овладело ею целиком, несмотря на внутреннее ее сопротивление, и когда она впервые увидела Сильвию. Но здесь прямо у нее не совладала с сердечным волнением. Она попробовала продолжать, умолкла и, отказавшись от попыток, сказала:

– Не могу больше...

Стало тихо. Сильвия улыбалась. Она приподнялась и, прильнув щекой к щеке сестры, ущипнула ее за подбородок.

– Какая ты увлекающаяся! – шепнула Сильвия.

– Я? – переспросила, смешавшись, Аннета.

Сильвия вскочила со скамьи, встала перед сестрой и, нежно прижав ее голову к своей груди, сказала:

– Бедная... бедная моя Аннета!..

С того дня сестры стали видеться часто. Не проходило недели, чтобы они не встречались. Сильвия являлась под вечер на Булонскую набережную, неожиданно для Аннеты. Аннета навещала Сильвию реже. По молчаливому согласию они устраивались так, что Аннета не встречалась с «другом» Сильвии. В определенный день сестры завтракали в молочной; их забавляло, что они назначают друг другу свидание то в одном, то в другом уголке Парижа. Они радовались, когда им случалось бывать вместе. Это стало для них потребностью. В те дни, когда они не виделись, время тянулось медленно, старой тетке не удавалось вызвать Аннету на разговор, а Сильвия скучала и высмеивала своего приятеля, который был тут ни при чем. Только мысль о том, сколько расскажут они друг другу при встрече, скрашивала ожидание. Но порой она не выдерживала, и никогда Аннета не была так счастлива, как однажды вечером: уже пробило десять часов, когда Сильвия позвонила у двери и вошла, говоря, что она не могла дожидаться завтрашнего дня и явилась поцеловать ее. Аннета стала удерживать сестру, но Сильвия клялась, что в ее распоряжении всего лишь пять минут, и убежала, проболтав целый час без передышки.

Аннете хотелось, чтобы сестра жила в ее доме, пользовалась ее благосостоянием. Но Сильвия упорно отклоняла все предложения: она вбила себе в голову – в свою упрямую головенку, – что не примет никакой денежной помощи. Зато она без смущения принимала наряды или брала деньги «взаймы» (занимала, но забывала возвращать). Раз два она даже стянула кое-что... о, ничего ценного! Но, разумеется, она никогда не прикоснулась бы к деньгам! Ведь деньги – святыня! Другое дело безделушка, какое-нибудь дешевенькое украшение... Против этого она не могла устоять. Аннета заметила ее сорочки замашки и даже растерялась. Почему Сильвия не попросила? С какой радостью она отдала бы ей все это! Она старалась ничего не замечать. Она любила обмениваться с сестрой лифчиком, блузкой, бельем: этим питалась нежность Аннеты. Сильвия учила сестру искусству наряжаться, и под влиянием ее вкуса менялся более строгий вкус Аннеты. Не всегда получалось удачно, ибо Аннета, обожавшая сестру, подражала ей и, теряя чувство меры, одевалась не в своем стиле, – Сильвии, которую все это очень забавляло, приходилось охлаждать ее рвение. Сильвия была поосмотрительней и, не говоря лишних слов, заимствовала у Аннеты ее благородную сдержанность, хорошие манеры и то, как надо произносить некоторые слова, как двигаться, но перенимала она все это до того тонко, что со стороны могло показаться, будто подлинник копирует ее.

И все же, несмотря на всю их близость, Аннете удалось узнать лишь об одной стороне жизни сестры. Сильвия охраняла свою независимость и давала это почувствовать. В сущности, она не вполне освободилась от классовой неприязни к Аннете: ей хотелось показать Аннете, что распоряжаться ею нельзя, что она приходит к сестре лишь потому, что ей так нравится. Да и ее самолюбие было задето тем, что сестра не совсем одобряет ее поведение. Особенно ее любовную связь. Правда, Аннета старалась и с этим примириться, но не могла скрыть, как ее тяготит разговор о романе Сильвии.

Она или избегала его, или, если и принуждала себя говорить о друге Сильвии с искренним желанием сделать сестре приятное, то в ее тоне чувствовалась неуловимая натянутость, – Сильвия это подмечала и мигом переводила разговор на другую тему. Аннета огорчалась. От всего сердца она хотела, чтобы Сильвия была счастлива, счастлива на свой лад. Лад этот был не совсем по душе Аннете, но она не хотела показывать вида. И, конечно, показывала. Человек больших страстей не умеет притворяться.

Сильвия сердилась и мстила: умалчивала обо всем. И вот совершенно случайно Аннета узнала, что в жизни сестры произошли немаловажные события – и уже несколько недель назад.

По правде говоря, никак нельзя было заставить Сильвию признать, что они важны; они и в самом деле, вероятно, проскользнули мимо ее сознания – такая была у нее гибкая натура, а может быть, она из самолюбия уверяла, что все это пустяки. Аннета случайно узнала, что с «некоторых пор» (невозможно установить, когда именно: ведь это «давнишняя история»!). Друга уже нет и в помине, связь порвана. Сильвию это не особенно печалило. Аннету – гораздо больше. Правда, она ничуть не сожалела о случившемся. Она попыталась – и очень неуклюже – выведать, что же произошло, Сильвия пожимала плечами, смеялась, твердила:

– Да ничего не произошло. Просто прошло.

Аннета должна была бы радоваться, но слова сестры ее огорчали. Какое странное ощущение! До чего же она нелепая! И само это словечко «прошло»... о целом мире чувств! Да еще произносит со смехом!..

А вслед за этим значительным событием (значительным для нее) Аннета сделала еще одно открытие. Как-то раз она сказала, что встретит сестру у входа в мастерскую, и Сильвия преспокойно ответила:

– А я уже там не работаю...

– Что ты! – удивилась Аннета. – С каких это пор?

– Да с некоторых... (Как всегда, уклончиво! Произойти это могло и вчера и в прошлом году!).

– Что же случилось?

– Случилось кое-что... что случается ежегодно (как в песенке о Мальбруке: «На пасху иль на троицу...»). После скачек наступает мертвый сезон. Хозяйки звереют, находят уйму предлогов и самым благородным образом вышвыривают нас за дверь.

– Где же ты работаешь?

– И там и тут. Хожу, бегаю, понемногу подрабатываю.

Аннета – удрученно:

– Осталась без места, а мне не сказала! Сильвия прикинулась, будто она из тех, кому «все нипочем», кто ко всему привык! Небрежно, со снисходительной ужимочкой (радуясь в глубине души, что из-за нее так волнуются), она созналась, что на скорую руку мастерит дешевые костюмы для магазинов готового платья, подрубают детские платьица, шьет мужские кальсоны (рассказала об этом в шутиливом тоне). Но Аннете было не до смеха. Она вела дальше свое дознание и выпытала у сестры, что та обивает пороги в поисках места и что подчас берется за изнурительную, препротивную работу. Вот когда Аннета поняла, почему «с некоторых пор» она стала замечать, что ее сестричка побледнела... Вот почему Сильвия не приходила по несколько дней, придумывая нелепые предлоги, пускалась на глупую ложь, а сама, вероятно, полночи шила, не смыкая глаз и не покладая рук.

Сильвия продолжала рассказывать нарочито шутиливо, с наигранным безразличием о

пустячных своих неприятностях. Но она видела, что губы сестры дрожат от гнева. И Аннета вдруг вспыхнула:

– Какая подлость! Нет, я не могу, не могу я больше этого выносить! И ты еще смеешь говорить, что любишь меня, что ты сама хотела подружиться со мной, прикидываешься другом, а скрываешь все самое важное, все, что близко тебя касается!..

(Вздернутая губка Сильвии изобразила: «Вот еще, ничего тут нет важного!..» Но Аннета не дала сестре говорить, поток прорвался.).

– ...Я доверяла тебе, думала, что ты мне расскажешь о своих горестях, неприятностях, как рассказываю тебе обо всем я, что все у нас будет общим... А ты от меня таишься, словно мы – чужие, и я ничего не знаю, ничего! Ведь случайно выяснилось, что тебе сейчас трудно, что ты ищешь места, что у тебя плохо со здоровьем; ты готова приняться за любую работу, лишь бы ни о чем не говорить мне, хотя знаешь, что помочь тебе было бы для меня счастьем... Как это гадко, как гадко! Ты меня обидела. Нет откровенности – нет дружбы! Но я этого больше не потерплю!.. Довольно!..

Для начала ты переедешь ко мне и останешься здесь, пока не кончится безработица.

(Сильвия покачала головой.).

– Переедешь, не спорь! Послушай, Сильвия, иначе я с тобой не помирюсь! Скажи только «нет», и мы больше не увидимся – никогда в жизни...

Сильвия и не подумала извиняться, объясняться – она улыбалась и упрямо твердила:

– Нет, милочка, не перееду.

Ей доставляло большое удовольствие волнение Аннеты, а та уже не владела собой, чуть не плакала, готова была побить сестру. Сильвия подумала:

«Как же она хорошеет, когда волнуется!» у Она не сдавалась. Пусть Аннета видит, что и у нее есть воля.

Лицо Аннеты пылало от гнева, и она повторяла, умоляя, настаивая:

– Останься! Ты останешься... Мне так хочется... Хорошо? Останешься?

Останешься? Ведь ты согласна? Отвечай же!..

Упрямец вызывающе улыбнулась и ответила:

– Не останусь, милочка.

Аннета, вскипев, вскочила:

– Между нами все кончено.

Повернувшись спиной, подошла к окошку, будто уже не замечая Сильвию. А та чуть подождала, тоже поднялась и сказала вкрадчивым голосом:

– До свиданья, Аннета? Аннета, не оборачиваясь, уронила:

– Прощай.

Ее руки были судорожно сжаты. Одно движение – и, кто знает, чем бы все кончилось! Она расплакалась бы, раскричалась... Но она не двинулась, смотрела надменно, холодно. Сильвия чуть смешалась: с затаенной тревогой, но все же посмеиваясь, она вышла и, затворяя за собой дверь, показала Аннете нос.

Особенно гордиться (немного-то она гордилась, впрочем) тем, что дала отпор, было нечего. Не очень гордилась своей вспышкой и Аннета. Она была подавлена, понимала, что отрезала пути к отступлению: надо было терпеливо, искусно завоевать Сильвию, а она чуть не выгнала ее! Сильвия не вернется – это несомненно. Аннета поставила перед ней дилемму, закрыла для сестры дверь своего дома. И себе запретила отворить ее. Нельзя же после всего сказанного бежать за Сильвией! Признать себя побежденной! Гордость не позволяла ей сделать это. И неоспоримая правда. Ведь Сильвия поступила так дурно... Нет, ни за что она не пойдет к ней!

И, надев шляпку, она отправилась прямо к Сильвии.

Сильвия только что пришла. Она размышляла: пыталась разобраться в своем затруднительном положении. Признавала, что все глупо, но выхода не видела, ибо не Допускала мысли, что ее может поработить воля Аннеты, не допускала мысли, что Аннету может поработить ее воля. В сущности, она считала, что Птичка права. Но сдаваться не

хотелось. Сильвия была равнодушна к земным благам. Блага, которыми владела Аннета, искушали ее, возбуждали зависть, хоть и подсознательно. Попробуй побороть себя, даже когда ты независтлива – почти совсем независтлива! Да и можно ли побороть себя, когда твое молодое тело жаждет радостей, можно ли не думать о том, как бы ты распорядилась состоянием, как воспользовалась бы им, – гораздо лучше, чем тупицы, которым оно с неба в рот упало! И хоть она и не признавалась себе, но была немного зла на Аннету. Впрочем, если тут и была вина Аннеты, то она всячески старалась, чтобы Сильвия простила ее.

Но Сильвия как раз и не считала нужным прощать. А в этом ведь не признаешься! Каждый из нас в тайниках своей души выпестивает пять-шесть чудовищневеличек. Этим не хвастаются, их будто и не замечают, но отделаться от них никто не спешит. Правильнее было бы сказать себе, что ее искушали блага, которых у нее нет, но ей хотелось поважничать, прикинуться, будто она их презирует. Вот поважничала, а ничего хорошего не получилось. Нет, Сильвия, решительно не испытывала удовольствия от своей победы, щегольнуть было нечем: победила, зато поплатилась собственной шкурой! И все складывалось особенно тяжело потому, что и в самом деле положение у нее было мало приятное. Сильвии нелегко было выпутаться из беды. Безработных появилось очень много, и, разумеется, предприниматели этим пользовались. Здоровье у нее было не блестящее. От изнуряющей жары (стоял знойный июль), бессонных ночей, плохого питания, противной воды, выпиваемой залпом, она заболела катаром кишечника и дизентерией и теперь очень ослабла. Крыша над ее комнатой накалилась от солнца, и Сильвия, опустив жалюзи, полураздевшись, чувствовала, как у нее горит все тело: ей хотелось дотронуться до чего-нибудь прохладного, охладить руки, и она думала о том, как сейчас было бы хорошо очутиться в доме на Булонской набережной; она была обделена другими богатствами, зато щедро одарена чувством смешного и потешалась над собственной глупостью. Неплохо потрудились! А ведь они с Аннетой в сущности были всегда и во всем заодно!

Заупрямились обе... Господи, какая чепуха! Ни одна не уступит!..

Она-то знала, что никогда не уступит, пусть уж так дурочкой до конца и останется; она усмехалась, вздергивая побледневшую верхнюю губку, как вдруг до нес из коридора донеслись стремительные шаги Аннеты. Она сразу их узнала, вскочила.

«Вернулась!.. Аннета, родная!»

Не ждала она сестру... Конечно, Аннета лучше ее!

Аннета уже вошла. Ее лицо пылало от волнения, от жары, от быстрой ходьбы. Она еще не знала, как поступит, но стоило ей войти – и все для нее стало ясным. Она задохнулась от духоты, стоявшей в раскаленной полутемной каморке, и снова ее охватил приступ ярости. Она шагнула к Сильвии, – та кинулась ей на шею, – своими нервными руками сжала ее влажные плечи и, не отвечая на ее поцелуи, раздраженно сказала:

– Я увожу тебя отсюда... Одевайся... И не спорь!

Сильвия, однако, спорила, уже просто по привычке.

Делала вид, что противится. Но не мешала. Аннета распоряжалась по-своему, одевала ее, натягивала ботинки, застегивала блузку, сердито нахлобучила ей на голову шляпку, вертела ее, как пакет. Сильвия твердила: «Не надо, не надо», – возмущенно покрикивала для вида, но была в восторге от того, что с ней так обращаются. И, когда Аннета одела ее, схватила руки сестры, расцеловала их крепко – даже зубы оттиснулись – и, смеясь от радости, сказала:

– Госпожа Буря... Ничего не поделаешь! Подчиняюсь... Увози!..

И Аннета ее увезла. Она схватила ее за руки своими сильными руками и держала, как в тисках. Они сели в авто. Когда приехали, Сильвия сказала Аннете:

– Теперь признаюсь: до смерти хотелось к тебе!

– Зачем же ты так упрячилась? – спросила Аннета, сердитая, счастливая.

Сильвия взяла Аннету за руку, согнула ее указательный палец и постучала им по своему выпуклому лбу.

– Да, там упрямыства немало! – сказала Аннета.

– Похож на твой, – заметила Сильвия, показывая в зеркале на крутые их лбы.

Обе улыбнулись друг другу.

– Нам-то известно, в кого они, – добавила Сильвия.

Комната ждала Сильвию давным-давно. Аннета, еще не ведая о существовании Сильвии, приготовила клетку для будущей подруги. Подруга так и не появилась; только два-три раза промелькнула ее тень. Самобытная натура Аннеты, ее манера вести себя то с холодком, то с горячей сердечностью, порывистость и неожиданная резкость, поражавшая в сдержанной ее натуре, странности, какая-то неосознанная требовательность, властность, тлевшие в ее душе и вспыхивавшие даже в те часы, когда она готова была пожертвовать собой со страстной покорностью, – все это отпугивало от нее сверстниц, которые, несомненно, уважали ее и, говорят, попадали под ее влияние, но – осторожно, на расстоянии. Первой завладела клеткой дружбы Сильвия. Вошла она туда, разумеется, без волнения, зная, что без труда выйдет, – выйдет, когда ей вздумается. Перед Аннетой она нисколько не робела. И комната, в которой она водворилась, ничуть ее не удивила. Тогда, в первый свой приход, она по некоторым мелочам – в них сказывалась предусмотрительная заботливость – и по тому, как неловко, смущенно держалась сестра, показывая комнату, догадалась, что все это предназначается для нее.

Теперь же Сильвия, признав себя побежденной – на свое счастье, – не оказывала ни малейшего сопротивления. Она еще чувствовала слабость после острого кишечного заболевания, и Аннета так баловала свою выздоравливающую сестричку, что та утопала в блаженстве. Был призван врач; он нашел, что Сильвия малокровна, посоветовал переменить климат, пожить на высокогорном курорте. Но сестры не спешили покинуть свое общее гнездышко; они очаровали доктора и вынудили его сказать, что в конце концов и в булонском доме неплохо и что даже в некотором отношении, пожалуй, лучше восстановить силы больной в полном покое здесь, прежде чем подстегнуть их живительным горным воздухом.

И вот Сильвия может вволю нежиться в постели. Давно этого не бывало!

Какое наслаждение спать вдоволь, наверстывать все упущенные сны, а самое чудесное – просто лежать, вытянувшись на отличных тонких простынях, до упоительного онемения во всем теле, искать ногой прохладное местечко в постели! И мечтать, мечтать!.. О, ее мечты не улетали в заоблачную высь!

Они кружились на месте, как муха на потолке. В них не было стройности. Они двадцать раз плели одно и то же – какой-нибудь случай, план на будущее, мастерская, возлюбленный, шляпка. И вдруг все погружалось в стоячую воду сна...

– Послушай, Сильвия, да послушай же!.. (Она противилась сквозь сон.).

Так нельзя... Очнись!

Полуоткрыв глаза, Сильвия видела лицо сестры, склонившейся над ней, и бормотала, с усилием выговаривая слова:

– Аннета! Разбуди меня!

– Сурок! – говорила Аннета и, смеясь, тормозила ее.

Сильвия разыгрывала из себя девочку:

– Ах, мамочка! Что же со мной? Все сплю и сплю! Любовь Аннеты была так велика, что она по-матерински восторгалась сестрой. Она присаживалась на постель, и ей чудилось, что милая головка, которую она прижимает к груди, – головка ее дочери. Сильвия не противилась и жаловалась потихоньку:

– Как бы так сделать, чтобы никогда не работать?

– Ты и не будешь больше работать.

– Вот еще что придумала! – возмущалась Сильвия.

Сон ее как рукой снимало, и, высвободившись из объятий сестры, она приподнимала встрепанную голову и впивалась в Аннету подозрительным взглядом.

– Ну вот, все воображает, что ее хотят задержать насильно! Ступай отсюда, детка! – говорила Аннета, смеясь. – Уходи, если так велит тебе сердце! Никто тебя не держит!

– Тогда остаюсь! – говорил дух противоречия.

И Сильвия ныряла в постель, устав от напряжения.

Так, в праздности, прошло всего лишь несколько дней, и Сильвия пресытилась сном; настала пора, когда ее уже нельзя было удержать на месте.

Она целыми днями слонялась, полуодетая, в Аннетиных туфлях, в которых тонули ее босые ноги, в Аннетином халате, который она подбирала наподобие тоги, с голыми руками и икрами; она переходила из комнаты в комнату, все рассматривая и все обследуя. У нее не особенно сильно было развито понятие о «твоем». (О «моем» – дело другое!) Сестра ей сказала: «Ты – дома», – и она поймала ее на слове. Она повсюду рылась. Все перетрогала.

Часами плескалась в ванной комнате. Осмотрела каждый уголок. Однажды Аннета увидела, что сестра уткнулась в ее бумаги, – впрочем, они надоели Сильвии быстро. Как-то озорница устроила набег на комнату тетки, ошеломила старушку, перевернула все вверх дном, сдвинула с места все вещи, приласкалась к их владелице (которая с трепетом следила за каждым ее движением), оставила все в беспорядке и, приведя в умиление и негодование старую деву, убежала.

Дом был наполнен неумолчным щебетаньем, бессвязной болтовней – ей не было конца. Где угодно, в каком угодно виде, присев ли на подлокотник кресла, расчесывая ли волосы с гребенкой в руке, остановившись ли вдруг на ступеньке лестницы, выходя ли утром в банном халате из ванной, – все равно сестры говорили, говорили, говорили, и раз начатый разговор велся целыми часами, даже целыми днями. Они забывали, что пора ложиться спать; напрасно тетка сердилась, покашливала, стучала наверху в пол; они старались говорить потише, задыхаясь от смеха, но через пять минут – взрыв!

Снова гобоем звенел тоненький голосок Сильвии, а ему вторили радостные или возмущенные восклицания Аннеты, как всегда закусившей удила, – у этой девчонки, Сильвии, был особый дар по пустякам выводить ее из равновесия. Сверху тетка стучала еще сердитей. Тогда решали: пора «вздремнуть». Но они тянули время, пока раздевались. Комнаты у них были смежные, сестры не затворяли дверей и, то и дело переступали порог, болтали – и в одних нижних юбках и сняв нижние юбки; они переговаривались бы и со своих кроватей всю ночь напролет, если б сон, как это бывает в молодости, вдруг не застигал их и не прекращал болтовни. Он слетал на них мигом, будто ястреб на цыпленка. Они падали на подушки, полуоткрыв рот, не договорив фразы. Аннета лежала на постели разметавшись, сон у нее был тяжелый, часто беспокойный, горячечный, полный видений; она сбивала простыни, она говорила во сне, но никогда не просыпалась. Сильвия спала чутко, тихонько похрапывая (если б вы сказали ей об этом, она оглядела бы вас с видом оскорбленного достоинства), просыпалась, вслушивалась, посмеиваясь, в бессвязные речи сестры, иногда вставала, ходила вокруг кровати, где лежала распростертая Аннета и горой поднимались сбитые простыни. Сильвия склонялась над ней и при свете ночника (Аннета не могла спать без огня) с любопытством вглядывалась в отяжелевшие, непроницаемые черты, в необычайно страстное, подчас трагическое лицо спящей, потонувшей в океане снов. Сильвия ее не узнавала.

«Аннета? Ты ли это, сестра?..»

Ей хотелось сейчас же разбудить ее, обвить руками ее шею.

– Волчонок, ты тут?..

Но она была уверена, что волчонок тут, и не пробовала будить сестру.

Она была не так чиста душой, как старшая неистовая сестра, была зауряднее ее, играла с огнем, но не обжигалась.

Они подолгу разглядывали друг друга, когда одевались и раздевались: любопытно было делать сравнения. У Аннеты были приступы дикой стыдливости, забавлявшие Сильвию, более вольную и вместе с тем какую-то более понятную. Часто Аннета становилась холодной, чуть ли не надменной; иногда на нее находила вспыльчивость, иной раз она плакала без причин. Завидное лионское равновесие, которым она прежде так гордилась, изменило ей. И всего важнее было то, что она об этом и не жалела.

Теперь они во многом откровенно признавались друг другу. Воспроизводить все это не стоит. Девушки, подружившись, в своих беседах – и это совершенно естественно – преспокойно договариваются до самых невероятных вещей, но в их устах все звучит почти невинно; когда же об этом рассказывают другие, вся невинность теряется. В бессвязных разговорах проявлялось различие их натур: добродушная, безвредная аморальность и беспечность одной и глубокий, страстный, беспокойный, заряженный электричеством строгий мир другой. Бывали столкновения: легкомыслие и веселая игривость, с какими Сильвия, смакуя, говорила о любовных делах, сердили Аннету. Она была смелой в душе, сдержанной на словах: казалось, ей было неприятно слышать то, что отвечало ее собственным мыслям. Иногда она замыкалась в угрюмом молчании и сама плохо понимала, отчего Сильвия понимала все гораздо лучше. За две недели совместной жизни она узнала Аннету глубже, чем Аннета знала себя.

Однако это не означало, что ее умственные способности были выше среднего уровня самой простой девушки-парижанки. У нее был на редкость трезвый и дальновидный практический ум; только она не извлекла из него то, что могла бы извлечь, предпочитав подчиняться своим прихотям; во всем же остальном она ничем не отличалась от девушек своего круга. Правда, все ее занимало, но ничто глубоко не интересовало, если не считать мод, а где уж модам быть глубокими! К искусству же – музыке, живописи, литературе – она относилась, как относится человек самый посредственный; иногда до нее просто ничего не доходило. Аннету часто коробил ее вкус.

Сильвия замечала это и говорила:

– Уф! Опять я попала впросак... Ну, скажи, что сейчас модно в свете?

(О картине она говорила, как говорят о шляпке.).

– Чем нужно восторгаться? Мне бы только это узнать, а там все пойдет не хуже, чем у других...

Но Сильвия не всегда была так миролюбиво настроена: случалось, что она с пеной у рта отстаивала героя какого-нибудь бульварного романа или пошлый романс, видела в нем последнее слово в области искусства или чувств. Она все же вынудила старшую сестру признать достоинство или, скорее, признать будущее за одним из тех жанров, которые Аннета до сих пор упорно отрицала, хоть и совсем не знала: Сильвия была без ума от кино и смотрела все фильмы без разбора.

Случалось, что Сильвия не могла понять красоту книги, которую они обе читали, но иные страницы воздействовали на нее сильнее, чем на Аннету, – ведь Сильвия лучше знала жизнь, сестру же ее неприкрытая правда приводила в замешательство. А жизнь и есть Книга Книг. Не всякому дано прочесть ее. Каждый носит ее в себе, и написана она вся, от первой до последней строчки. Но разберешься ты в ней лишь в тот день, когда суровый учитель.

Опыт, научит тебя ее языку. Сильвия училась ему с малолетства и читала бегло. Аннета начала учиться поздно. Усваивала она медленно, зато знания ее были глубже.

Лето в том году стояло на редкость знойное. К середине августа пышные деревья в саду пожелтели. Душными ночами Сильвия вытягивала губы, всасывая воздух. Силы у нее восстановились, но была она еще бледненькой и плохо ела. Она всегда была плохим едоком, и если б ей дали волю, не обедала бы, а довольствовалась в иные дни мороженым и фруктами. Но Аннета была начеку. Но Аннета сердилась. Много забот было у Аннеты. И вот она в конце концов решила отправиться в горы, хоть и откладывала поездку с недели на неделю, в глубине души надеясь, что удастся ее избежать. Ей хотелось, чтобы сестра принадлежала только ей все лето.

Отправились они на курорт в Гризон. О нем Аннета сохранила чудесное воспоминание, была там давнымдавно – прелесть какая гостиница, совсем простая, а вокруг умиротворяющие душу пейзажи в пасторальном стиле, от всего веет старой Швейцарией. Правда, за несколько лет все изменилось.

Появился рой гостиниц. Возник целый городок вычурных отелей. В луга врезались автомобильные дороги, а в лесах слышно было лязганье трамвая. Аннете хотелось бежать.

Но ведь они целые сутки проторчали в душном вагоне, утомились; не знали, куда теперь поехать; хотелось одного – вытянуться, лежать не двигаясь: хоть и все здесь изменилось, зато воздух по-прежнему был чист, словно хрусталь, и Сильвия лакомила им, как лакомила мороженым, которое слизывала из стаканчика, стоя у тележки продавца среди гомона парижских улиц. Решили так: останутся на несколько дней, пока не спадет жара. А потом привыкли. И нашли, что тут хорошо.

Сезон был оживленный. Посмотреть игру в теннис слеталась неутомимая молодежь разных национальностей. Устраивались вечера с танцами, спектакли. Жужжащий улей бездельничал, флиртовал, щеголял. Анне га обошлась бы без этого. Но Сильвия веселилась от всей души, сияла от удовольствия, и это передалось Аннете. Настроение у сестер было отличное, и не хотелось отказываться от развлечений, до которых так падка молодежь.

Были они молоды, веселы, каждая была по-своему привлекательна, и их сразу окружили поклонники. Аннета похорошела. Спортивные игры на воздухе подчеркивали ее прелесть. Она была прекрасно сложена, сильна, любила ходить, увлекалась спортом, была блестящей партнершей в теннисе – верный глаз, сильные ноги, проворные руки, молниеносные ответные удары. Обычно жесты ее были скупы, но в нужную минуту она горячилась, и ее отдачи ошеломляли. Сильвия приходила в восторг, хлопала в ладоши, когда видела прыжки Аннеты, гордилась сестрой. Она восхищалась искренне – ведь в этой области она даже не пыталась состязаться с ней: хрупкая парижанка не была создана для спортивных игр, да они и мало ее привлекали – столько надо было двигаться! Она находила, что куда приятнее – и, главное, благоразумнее, – оставаться зрительницей. Времени она даром не теряла.

Она создала вокруг себя кружок придворных и царила там с такою непринужденностью, будто только это и делала всю жизнь. Лисичка переняла у молодых светских дам, за которыми наблюдала, высокомерие, жеманство и все, что легко заимствовать. На вид – недотрога, очаровательная рассеянность, а ушки на макушке: ничто не ускользало от ее внимания. Но лучшей ее моделью по-прежнему оставалась Аннета. Чутье у нее было верное, и она умела не только перенимать многие и многие мелочи, но, перенимая, придавать им блеск, чуть видоизменяя и даже иногда доводя их до противоположности – о, только чтобы показать, как изысканно такое пустячное отступление от светских правил! Она была неглупа и никогда не выходила за пределы той области, где чувствовала под ногами твердую почву. Ее манеры, поведение, тон были просто безукоризненны. Благовоспитанная девица с изысканной оригинальностью речи и манер, Аннета не могла удержаться от смеха, слушая, как сестра с очаровательной самоуверенностью выкладывает перед своими поклонниками сведения, обрывками которых она накануне ее напичкала. Сильвия хитро ей подмигивала: не стоит углублять беседу. Несмотря на ум и хорошую память, Сильвия могла нечаянно попасть впросак, но она не допускала этого, бдительно следила за своими границами. К тому же она умела выбирать партнеров.

Почти всех их, молодых спортсменов-иностранцев, – англосаксов, румын, – гораздо больше коробили ошибки в игре, чем ошибки в языке. Любимцем женского кружка был один итальянец. Он носил звонкую фамилию, был отпрыском старинного ломбардского рода (род угас давным-давно, но ведь фамилия не исчезает); он принадлежал к тому типу, который так часто встречается среди золотой молодежи Апеннинского полуострова и для которого характерны не столько национальные черты, сколько черты эпохи: в нем видишь любопытную помесь американца с Пятой авеню и итальянца-кондотьера XV века, что, в общем, иногда придает внешности величавость (величавость оперного артиста). Туллио, красивый малый, высокий, статный, хорошо сложенный, с пламенным взглядом, круглой головой и бритым лицом, жгучий брюнет с крупным, хищным носом, раздувающимися ноздрями и тяжелой челюстью, ходил мягкой походкой, расправив плечи. Надменность, заискивающая учтивость и грубость – все это смешалось в его манерах. В общем, мужчина неотразимый. Женские сердца падали к его ногам – наклоняйся и подбирай. Но он не давал

себе труда наклоняться. Он ждал, чтобы сердца эти ему поднесли.

Вероятно, именно потому, что Аннета не предложила ему своего сердца, Туллио и остановил на ней свой выбор. Он – первоклассный теннисист – оценил физические качества сильной девушки, а разговаривая с нею, узнал, что она вообще любит спорт; их вкусы сходились – верховой ездой, греблей Аннета увлекалась до страсти, которую она вносила во все свои поступки.

Он крупным своим носом почуял, что избыток энергии переполняет девичье тело, и возжелал им овладеть. Аннета, угадав его намерения, была и пленена и оскорблена. Силы плоти, стесненные годами полузатворнической жизни, пробуждались в пламени чудесного лета, в кругу молодежи, помышлявшей лишь об удовольствиях, в азарте спортивных игр. Последние недели, проведенные с Сильвией, их вольные беседы, какая-то безграничная нежность, переполнявшая Аннету, – все это повергало в смятение и тело ее и душу, которые она сама так плохо, так мало знала. Ненадежно был защищен ее дом от налета страстей. Аннета впервые ощутила, что такое острота чувственного влечения. Стыд, возмущение охватили ее, будто она получила пощечину. Но влечение не стало от этого меньше. Надо было бежать, она же гордо шла вперед с холодным видом и трепещущим сердцем. А он прикрывал свое вожелание безукоризненной почтительностью, стал еще обаятельнее и увлекся еще сильнее, когда увидел, что она поняла его, что она противится ему. И вот начался другой матч, поиному азартный! Они бросили друг другу дерзкий вызов, они вступили в ожесточенное единоборство, хотя никто этого не замечал. Когда он и учтиво и властно склонялся перед нею и целовал ей руку, когда она улыбалась ему надменно и обольстительно, – она читала в его глазах:

«Ты будешь моей».

И ее сомкнутые губы отвечали:

«Никогда!»

Зорким взглядом следила Сильвия за поединком, она забавлялась, но горела желанием принять в нем участие. Какое участие? Право, она и сама не знала. Ну просто хотелось поразвлечься и, конечно, – само собой разумеется, – выручить Аннету. Он – прелесть. Аннета – тоже прелесть. Как красит ее сильное чувство! Какая испепеляющая гордость! Бычок, готовый ринуться в бой; то вдруг залиют ее щеки волны румянца, то отхлынут, и Сильвия словно видела, как они пробегают по всему ее телу, будто дрожь... А мужчина с головой ушел в игру...

«Ничего не выйдет, мой мальчик, – твоей она не будет, да, да, не будет, если не захочет!.. А может быть, хочет? Или не хочет? Решайся, Аннета! Он увлечен. Добивай его! Глупышка! Не знает, как... Хорошо, мы ей поможем...»

Похвалы, которые Сильвия расточала Аннете, сблизили ее с Туллио. Они вдвоем восхищались ею. Итальянец был бесспорно влюблен в Аннету. Сильвия сияла и, сверкая глазами, все больше входила в роль. Она искусно расхваливала Аннету и не менее искусно пускала в ход свои чары и уже не могла остановиться. Напрасно она уговаривала себя:

«Теперь уgomонимся. Довольно. Слишком далеко зашли...»

Все было тщетно; оставалось одно: предоставить им свободу действия...

Это было презабавно! И, конечно, этот болван тотчас воспламенился. До чего же глупы мужчины! Он воображал, что с ним любезны из-за его прекрасных глаз... Правда, глаза у него были прекрасные... Как же он теперь поступит? Рыбешка мечется между двумя крючками. Уж не хочет ли он проглотить обеих сразу? На что он решится? «А ну, приятель, выбирай!»

Она ничего не делала, чтобы облегчить ему выбор, она стушевывалась перед Аннетой. Аннета-перед ней. Но Аннета инстинктивно удвоила усилия, чтобы затмить Сильвию. Сестры нежно любили друг друга. Сильвия гордилась, что Аннету расхваливают, Аннета гордилась тем, какое впечатление производит Сильвия. Они советовались друг с другом. Следили, чтобы у каждой был туалет к лицу. Умело, по контрасту, выделяли лучшее во внешности друг друга. На вечерах в гостинице привлекали всеобщие взоры. Но эти взоры

невольно разжигали соперничество между ними. И хоть они запрещали себе это, но во время танцев одна сестра невольно оценивала успех, которым пользовалась другая. Особенно у того, кто, право, занимал их мысли теперь гораздо больше, чем им хотелось... Он стал занимать их мысли гораздо больше с тех пор, как сам перестал понимать, которая же больше занимает его мысли. У Аннеты портилось настроение, когда она видела, как Туллио увивается вокруг сестры. Обе прекрасно танцевали, каждая в своем стиле. Аннета старалась утвердить свое превосходство. И, конечно, танцевала лучше – на взгляд знатоков. Но Сильвия держалась непринужденней, танцевала с большим увлечением, а когда она поняла намерение Аннеты, то стала просто неотразимой. И Туллио не устоял. Аннета увидела, что покинута, и ей было больно. В одну прекрасную летнюю ночь Туллио протанцевал несколько раз подряд с Сильвией, а потом оба вышли, болтая и смеясь. Аннета не владела собой. Она тоже вышла из зала. Она не решилась пойти следом за ними и попыталась разглядеть их из окна галереи, выходящей в сад; и она увидела их; увидела, что они идут по аллее, прижавшись друг к другу, что они целуются.

Но это не так огорчило ее, как то, что случилось потом. Аннета поднялась в свою комнату и села, не зажигая света; внезапно к ней вбежала радостная Сильвия, разохалась, увидев, что сестра сидит одна в потемках, принялась гладить ей руки, чмокать в щеки; как всегда, наговорила уйму всяких милых пустячков; когда же Аннета, сказав, что ей пришлось уйти, потому что у нее вдруг началась мигрень, спросила сестру, как прошел вечер и гуляла ли она с Туллио, Сильвия с невинным видом ответила, что не гуляла, что понятия не имеет, куда делся Туллио, что вообще Туллио ей надоел, к тому же она не любит слишком красивых мужчин, а он еще и фатоват, да и смугловат... И она стала укладываться спать, напевая вальс.

Аннета не сомкнула глаз. Сильвия спала отлично. Она и не подозревала о буре, которую сама же вызвала. Аннета очутилась во власти демонов, сорвавшихся с цепи. Все, что произошло, было катастрофой. Катастрофой вдвойне. Сильвия стала ее соперницей. И Сильвия ей лгала. Любимая ее Сильвия! Сильвия-радость ее, надежда!.. Все рухнуло. Она больше не может ее любить... Не может любить? Но разве может, разве может она не любить ее? О, как внедрилась в нее эта любовь, сильнее, чем она думала! Но разве можно любить то, что презираешь? Ах да, предательство Сильвии еще не все! Что-то еще случилось... «Что-то еще... еще... Но что же это такое?»

А! Тут замешан человек, которого Аннета не уважала, которого Аннета не любила и которого теперь любит. Любит? Нет! Которого хочет покорить.

Гордость и ревность терзали ее, требовали, чтобы она пленила его, чтобы вырвала из рук другой, а главное, чтобы не позволила той, другой, вырвать его из ее рук... (Другая – вот чем стала Сильвия для Аннеты!).

И часа не спала Аннета в ту ночь. Простыни жгли кожу. А с соседней кровати доносилось легкое посапывание – там спали сном невинности.

Когда утром они очутились лицом к лицу, Сильвия сразу увидела, что все изменилось, но она не поняла, что же произошло. Аннета, с кругами под глазами, бледная, суровая, надменная, но до странности похорошевшая (и похорошевшая и подурневшая – будто на призыв вдруг поднялись все затаенные ее силы). Аннета, в броне гордости, холодная, враждебная, замкнутая, посмотрела на Сильвию, послушала, как та болтает, по обыкновению, о всяких пустяках, невинтно поздоровалась и вышла из комнаты... Сильвия запнулась на полуслове и тоже вышла, не сводя глаз с Аннеты, спускавшейся по лестнице.

Она все поняла. Аннета увидела Туллио, сидевшего в холле, и направилась прямо к нему. Он тоже понял, что положение изменилось. Она села рядом с ним. Заговорила о вещах, самых незначительных.

Высоко держа голову, полная презрения, Аннета смотрела в одну точку и старалась не встречаться с ним взглядом. Но у него не было сомнения: ее взгляд стремился к нему. Словно избегая слишком яркого света, ее глаза, полузакрытые голубоватыми веками, спрашивали:

«Хочешь, чтобы я была твоей?»

А он рассматривал свои ногти, с самодовольным видом говорил какие-то глупости и, поглядывая, как кот, на ее тело, на упругие груди, допытывался:

«Ты ведь тоже этого хочешь?»

«Я хочу, чтобы хотел ты», – был ответ.

Сильвия не колебалась. Покружила по холлу, подошла и села между Аннетой и Туллио. Аннета была возмущена, взгляд выдал ее – один взгляд: его было достаточно. Она посмотрела на сестру в упор, и Сильвия прочла в ее взгляде презрение. Она прищурила глаза и прикинулась, будто ничего не заметила, но ошетичилась, как кошка, через которую пропустили электрический ток: она улыбалась, а готова была кусаться. Начался поединок – поединок втроем, притворно любезный. Сильвия, казалось, перестала существовать для сестры: Аннета не обращала внимания на ее слова, разговаривала через голову с Туллио, который чувствовал себя неловко; а если старшей сестре все-таки приходилось выслушивать младшую, потому что та трещала без умолку, Аннета улыбкой или ироническим замечанием подчеркивала погрешности языка, которыми еще пестрила речь Сильвии (листочке пока не удалось выхолотить их из своего лексикона).

Сильвия была смертельно оскорблена и видела в Аннете уже не сестру, а соперницу; она думала:

«Подожди, ты у меня попляшешь».

Приподняв губу, она оскалила клычки:

«Око за око, зуб за зуб... Нет, два око за око...»

И ринулась в бой.

Как неосторожна была Аннета! Чувство собственного достоинства не обременяло Сильвию: всякое оружие было для нее приемлемо – лишь бы выиграть. Аннета, закованная в латы гордости, сочла бы себя униженной, если б Туллио заметил даже намек на ее чувство. Сильвию же не стесняли такие мелочи; пусть кавалер увидит, как они состязаются: это ему польстит.

«Что же ты предпочитаешь? Нравится ли тебе великолепное презрение, или нравится, чтобы тобой восхищались?..»

Она знала: мужчина – животное тщеславное. Туллио был падок на лесть.

Сильвия на нее не скупилась. С простодушным, спокойным бесстыдством плутовка расхваливала совершенства молодого курортного Гаттамелаты: его фигуру, ум и одежду. Одежду главным образом – она угадала, что ею он дорожит больше всего. А он обожал похвалу. Разумеется, он сам знал, что красив, ну, а громкое имя отчасти заменяло ум. Но вот костюм был его собственным творением, и он не мог равнодушно отнестись к одобрению всеведущей парижанки. Сильвия, глядя на него взглядом знатока, посмеивалась про себя над его простоватым вкусом и любовью к ярким сочетаниям, а восхищалась всем – с головы до пят. Аннета сгорала от стыда и гнева – сестра хитрила так явно, что она спрашивала себя:

«Как он переносит все это?»

А он переносил отлично. Туллио упивался лестью. Сильвия, осматривая его сверху донизу, перешла от оранжевого галстука к лиловому поясу, к зеленым в золотистую полоску носкам и тут сделала передышку: у нее были свои соображения! Восторгаясь изяществом ног Туллио (он ими очень гордился), она выставила свои прехорошенькие ножки. Шаловливо и кокетливо приблизила она их к ногам Туллио, стала сравнивать, приоткрывая свои до колен. Потом повернулась к Аннете, откинувшейся на качалке с презрительным видом, и произнесла с чарующей улыбкой:

– Душечка, а ну-ка покажи свои ножки! И рывком подняла подол ее платья – показались топорные лодыжки бочонком, сильные, но не изящные ноги. Только на две секунды. Аннета вырвалась из коварных коготков, и они, вполне довольные собой, спрягались. Туллио все видел...

На этом Сильвия не успокоилась. Все утро она изошрялась в сравнениях, делала их как бы нечаянно, но они были не в пользу Аннеты. Будто взывая к утонченному вкусу Туллио,

она то и дело просила его взглянуть на воротничок, блузку или шарфик, привлекала его внимание к тому, что у нее было всего красивее, а у Аннеты – всего хуже. Аннета дрожала и с непроницаемым видом еле сдерживалась, чтобы не задушить ее. Сильвия, как всегда обворожительная, между двумя предательскими выходками прижимала пальчики к губам и посылала Аннете воздушный поцелуй. Но временами молнии их взглядов скрещивались.

(Аннета). «Презираю тебя!»

(Сильвия). «Возможно. Но любит он меня!»

«Нет! Нет!» – возмущалась Аннета.

«Да! Да!» – твердила Сильвия.

Они переглядывались с недобрым задором.

Аннета не в силах была долго скрывать неприязнь под улыбкой, как змею под цветами. Еще немного – и она закричала бы. Внезапно она покинула поле битвы. Ушла с высоко поднятой головой, напоследок бросив на Сильвию взгляд-вызов. Насмешливые глаза Сильвии ответили:

«Поживем – увидим».

Битва продолжалась на другой день и во все последующие дни под взглядами забавлявшейся публики: вся гостиница заметила, что сестры ведут борьбу, и досужие язвительные глаза подстерегали их; заключались пари.

Соперницы были так поглощены своей игрой, что не обращали внимания на игру других.

Дело в том, что для них это уже не было игрой. Сильвия тоже увлеклась серьезно. Какая-то злая сила смущала сестер, возбуждала их чувственность. Туллио, гордый своей победой, не прилагал никаких усилий, чтобы разжечь огонь. Он действительно был красив, неглуп, и он сам горел страстью, которую разжег; стоило быть завоеванным. Он-то хорошо это знал.

По вечерам сестры-соперницы встречались у себя в комнате. Они ненавидели друг друга. Однако притворялись, будто не знают об этом. Их кровати стояли рядышком, бок о бок, и быть рядом по ночам стало бы невыносимо, если бы они все сказали друг другу; не избежали бы они и публичной огласки, которой боялись. Они устраивались так: выходили и входили в разное время, больше не разговаривали, притворяясь, будто не видят друг друга, ну, а если это было просто невозможно, холодно произносили: «доброе утро», «добрый вечер», словно ничего и не произошло. Всего честней, всего разумней было бы объясниться. Но они не хотели. Не могли. Если страсть овладела женщиной, не может быть и речи о честности; о рассудке – тем более.

Страсть стала для Аннеты отравой. Поцелуй, который однажды вечером на повороте аллеи Туллио, пользуясь своей властью, насильно запечатлел на губах гордой девушки, не защитившейся вовремя, прорвал плотину страсти.

Она была оскорблена этим, ожесточена, она боролась с собой. Но она не знала, как сопротивляться, – ведь поток страсти захватил ее впервые. Горе обороняющимся сердцам! Когда в них вторгается страсть, самое целомудренное становится самым доступным...

В одну из тех бессонных ночей, которые так ее терзали, Аннета задремала, хоть и думала, что бодрствует. Ей приснилось, будто она лежит в постели с открытыми глазами, но не в силах двинуться, точно связана по рукам и ногам. Она знает, что Сильвия рядом притворяется спящей и что должен прийти Туллио. Вот она услышала, как в коридоре скрипнул пол, крадущиеся шаги все ближе, ближе. Аннета увидела: Сильвия приподнимается с подушки, из-под простыни показались ее ноги; она встает, скользит к двери, которую кто-то приоткрыл. Аннета тоже хочет встать, но не может.

Сильвия, будто услышав, оборачивается, возвращается, подходит к постели, смотрит на Аннету, наклоняется, вглядывается в ее лицо. Да ведь это совсем, совсем и не Сильвия; даже не похожа на нее; и все же это Сильвия; у нее злой смех, острые зубы; длинные черные волосы, без завитков, прямые, жесткие упали Аннете на лоб, когда Сильвия наклонялась, попали в рот, в глаза. У Аннеты на языке привкус конского волоса, его терпкий запах. Лицо

соперницы все ближе, ближе. Сильвия откинула одеяло. Аннета чувствует, что острое колено вдавливается ей в бедро. Она задыхается. В руке у Сильвии нож; холодное лезвие щекочет горло Аннете, она отбивается, кричит... Она очнулась – сидит на постели в тихой своей комнате, простыни сбиты. Сильвия безмятежно спит. Аннета, унимая сердцебиение, прислушивается к мерному дыханию сестры и все еще содрогается от ненависти и ужаса...

Она ненавидела... Кого же? И кого же любила? Она осуждала Туллио, не уважала его, боялась и совсем, совсем не доверяла ему. И вот из-за этого человека, которого она не знала еще две недели назад, из-за этого ничтожества, она готова возненавидеть сестру, ту, которую любила больше всего на свете, которую и сейчас любит... (Нет! Да! Которую любила всегда...).

Ради этого человека она готова была, не задумываясь, пожертвовать своей жизнью. Да как же... как же все это случилось?

Она ужаснулась, но могла сделать лишь одно: установить, как всеильно наваждение. Минутами проблеск здравого смысла, пробужденная ирония, возврат былой нежности к Сильвии приподнимали ее голову над течением. Но достаточно было одного ревнивого взгляда, достаточно было увидеть Туллио, перешептывающегося с Сильвией, – и Аннета снова тонула...

Она сдавала позиции, и это было ясно. Поэтому-то страсть ее и бушевала. Она была неловка. Не могла скрывать, что ее достоинство уязвлено.

Туллио, этот добрый принц, согласен был не делать выбора между ними, он соизволил бросить платок обеим. Сильвия проворно подняла его; Сильвия не церемонилась; она выжидала, она знала, что потом Туллио затанцует под ее дудку. Ее несколько не встревожило бы, если бы этот донжуан украдкой сорвал несколько поцелуев у Аннеты. Пусть неприятно, но и вида показывать не надо. Ведь это можно скрыть. Аннета не умела так вести себя. Она не допускала половинчатости, и явно было, как противна ей двойственная игра Туллио.

Туллио охладил к ней. Серьезная страсть его стесняла, она «осточертела» ему (в этом слове, как и многие иностранцы, он видел особый, столичный шик). Немного серьезности в любви – хорошо. Но не слишком, не то получается какая-то повинность, а не удовольствие. Он представлял себе страсть в виде примадонны: с чувством исполнив каватину, она возвращается на сцену и, простирая руки, кланяется публике. Но страсть Аннеты, по-видимому, не считалась с тем, что публика существует. Играла она лишь для себя. Играла плохо...

Аннета была так искренна, так искренне было ее увлечение, что она неспособна была думать о том, как навести на себя лоск, как скрыть печать терзаний и тревог на лице и все следы дневных забот, которые женщина, следящая за своей внешностью, смягчает или стирает не один раз в день. Она просто подурнела, увидев, что побеждена.

Торжествующая Сильвия, уверенная, что партия выиграна, смотрела на Аннету, выбитую из колеи, с удовлетворением и насмешкой, приправленной издевкой, а в глубине души жалела сестру.

«Что, получила? Добилась своего? Хорош у тебя вид!.. Бедная, побитая собачонка...»

И Сильвии хотелось ее поцеловать. Но стоило ей приблизиться, и выражение лица у Аннеты делалось таким враждебным, что задетая Сильвия повертывалась к ней спиной, бормоча:

«Как хочешь, моя милая!.. Дело твое! Устраивайся сама! Я-то добрая!..

Но каждый за себя, и к черту всех!.. Ну, а если эта дуреха страдает, то сама и виновата! Она всегда до смешного серьезна, к чему это?»

(Так о ней думали все.).

Аннета в конце концов отстранилась от борьбы. Сильвия вместе с Туллио устроили вечер живых картин, где Сильвия должна была показать все свои прелести и кое-что в придачу... (Она изображала парижанку-чародейку; лоскуток материи – и она превращается в своих двойников, вереницу двойников, причем каждый красивее оригинала, но, прибавляя к

нему новое, они делают его очаровательнее всех предыдущих, ибо в нем заключаются все они.) Если бы Аннета попыталась соревноваться с ней, то потерпела бы полное поражение. Она это знала отлично; она предвидела свое поражение; как же стала бы она жить после! Она отказалась участвовать в вечере, сославшись на нездоровье – плохой вид служил ей оправданием. Туллио и не пытался ее уговаривать. Но когда Аннета отказалась, ее замучила мысль, что она сложила оружие. Даже безнадежная борьба – сама по себе надежда.

Теперь полдня Туллио и Сильвия проводили вдвоем, с глазу на глаз. Аннета заставляла себя ходить на все репетиции, чтобы быть им помехой. Но им ничто не мешало. Она, пожалуй, их даже подзадоривала, – особенно бесстыдницу Сильвию, заставлявшую повторять раз десять ту сцену, когда одалиску, млеющую от наслаждения, похищает корсар байроновского типа, – мрачно сверкают его глаза, он скрежещет зубами, вид роковой и хищный, – ягуар, готовый к прыжку. Туллио вел свою роль так, словно вот-вот предаст огню и мечу весь «Палас-отель». А Сильвия вела роль так, что ей могли позавидовать двадцать тысяч гурий, выщипывающих бороду пророку в раю.

Наступил вечер представления. Аннета, забившаяся в последний ряд кресел, к счастью, позабытая восхищенной публикой, не могла досидеть до конца. Она ушла измученная. Голова у нее горела. Во рту было горько. Она думала все об одном: о своих страданиях. Поруганная страсть терзала ей душу.

Аннета вышла на лужайку, зеленевшую вокруг гостиницы, но не было сил уйти совсем; она бродила около освещенного зала. Солнце уже закатилось.

Стемнело. Звериный инстинкт заставил Аннету ревниво следить за той дверью, из которой, конечно, они оба выйдут. Боковая дверка сделана для актеров; не пересекая зала, они могут пройти в костюмерную, в другое крыло дома. И правда, они вышли; остановились в тени на лужайке, заговорили. Аннета притаилась за деревьями и услышала, как смеется, как хохочет Сильвия...

- Нет, нет, только не сегодня! А Туллио настаивал:
- Почему же?
- Во-первых, хочется спать.
- Выспаться успеете!
- Нет, нет, люблю поспать!
- Так, значит, завтра ночью.
- Но и завтра будет то же самое! И, кроме того, ночью я не одна. Меня стерегут!
- Значит, никогда? Тут озорница Сильвия расхохоталась.
- Но я ведь и днем не боюсь! – ответила она. – А вы что, боитесь?

Больше Аннета не могла слушать. Шквалом налетели ярость, отвращение, отчаяние, и она убежала в темноту, куда-то вдаль. Наверное, было слышно, как она бежит, потеряв голову, как ломаются ветки, – так убегает затравленный зверь. Но Аннету больше не тревожило, что ее услышат. Она уже ни с чем не считалась. Она бежала, бежала... Куда? Она и сама не знала. И так никогда и не узнала. Бежала во мраке, стонала. Ничего не видела перед собой. Сколько она бежала? Пять минут, двадцать минут, час? Этого она так никогда и не узнала. Бежала, пока не споткнулась о корни, не упала во весь рост, не ударилась лбом о ствол дерева... И тут она закричала, завывала, как раненое животное, прижавшись ртом к земле.

Мрак вокруг. Небо черное, ни луны, ни звезд. Земля не дышит, не прошелестит букашка. Тишина. Только журчит ручей, струясь по голышам, у ствола сосенки, о которую Аннета расшибла лоб. Да из глубины ущелья, разрезавшего высокое обрывистое плато, поднимается яростный рев потока.

Его стоны вторят стонам измученной женщины.словно то извечный вопль земли...

Она кричала и ни о чем не думала. Судорожные рыдания, сотрясая тело, разрядили тоску, тяжесть которой давила ее столько дней. Разум молчал. И вдруг тело ее, изнемогая, перестало стелать. Прорвалась вся скорбь ее души. Аннета поняла, что покинута. Одинока и предана. Круг ее мыслей дальше не простирался. Не было сил собрать их разбредшееся

стадо. Даже подняться не хватало сил. Она припала к земле... Ах, если бы земля расступилась!.. Поток рокотал, говоря и думая за нее.

Он омыл ее раны. И наступила минута, – а их, вероятно, прошло немало в муках и душевной слабости, – и вот истомленная Аннета стала медленно подниматься. Ссадина на лбу ныла довольно сильно: боль отвлекала мысли.

Аннета омочила в ручье расцарапанные руки, приложила их к израненному, горящему лбу. И потом долго сидела, сжав виски и глаза мокрыми ладонями, ощущая, как проникает в нее ледяная чистота. И горе ее осталось где-то далеко позади. Она, как посторонняя, внимала его стонам и уже не понимала своего иступления. Она думала:

«Почему? Для чего? Да стоит ли из-за этого огорчаться?..»

Поток вторил во мраке:

«Безумье, безумье, безумье... все тщета... все суета...»

Аннета горестно улыбалась:

«Чего же я хотела? И сама не знаю... Где же оно, большое счастье?»

Пусть его берет кто хочет!.. Оспаривать не стану...»

И вдруг перед ней встали, вдруг налетели на нее призраки этого счастья, которого она все-таки жаждала, и жгучие порывы тех желаний, которые, хоть и отвергал их разум, все еще владели ее телом и которым суждено было еще долго владеть им. И вслед за ними, за их ожесточенным натиском, зазвучал гадкий отголосок ревности... Она выдержала их приступ молча, согнулась, будто под порывом вихря, потом подняла голову и громко заговорила:

– Я была не права... Сильвию он полюбил сильнее... И это справедливо.

Она больше, чем я, создана для любви. И она гораздо красивее. Я знаю это и люблю ее. Люблю, потому что она такая. Значит, ее счастье должно стать моим счастьем. Я эгоистка... Но только почему, почему она мне солгала?

Все остальное неважно! Почему она обманула меня? Почему чистосердечно не сказала, что любит его? Почему все делала назло мне, как враг? Да и во всех ее черточках, которые я старалась не замечать, есть что-то не очень чистое, не очень порядочное, не очень красивое! Но тут нет ее вины. Как она могла в этом разобраться? Ведь какую жизнь с самого детства ей пришлось вести! Вправе ли я упрекать ее? Разве я была искренна?.. И то, что было во мне, разве было чище?.. То, что было! То, что есть!.. Ведь я отлично знаю, что это по-прежнему во мне...

Она передохнула. И добавила:

– Ну, пора с этим кончать! Ведь я – старшая. А я безумствую!.. Пусть Сильвия будет счастлива!

Но, сказав «нун», она на некоторое время словно застыла. Она внимала тишине и все раздумывала, покусывая кончики исцарапанных пальцев. Потом еще раз вздохнула, поднялась и молча пустилась в путь.

Аннета возвращалась в темноте. Луне пора было всходить, но она еще была далеко, хотя уже чувствовалось, что она выбирается из пучины мрака за самым горизонтом. Слабое сияние бахромой повисло над вершинами гор, они замыкали плато, словно края – чашу; все отчетливее вырисовывались на светящемся фоне их черные силуэты. Аннета шла не спеша и всей грудью, теперь, как прежде вздымавшейся ровно, вдыхала запах скошенных трав.

Вдали кто-то быстро шел по дороге. Сердце ее застучало. Она остановилась. Она узнала шаги и заторопилась навстречу. И там, вдали, тоже слышали ее шаги. Встревоженный голос позвал:

– Аннета! Аннета не ответила: она не могла, она была слишком потрясена; зажурчал ручеек радости, – осадок от всех горестей, все, все исчезло. Она не ответила, но пошла еще быстрее, быстрее. А та, другая, уже бежала. И повторяла голосом, полным тоски:

– Аннета! В неясном фосфорическом сиянии луны, которая всходила за темной стеной гор, из светлеющего мрака показалась маленькая серенькая фигурка. Аннета крикнула:

– Родная!..

И бросилась вперед. Как слепая-с протянутыми руками...

Они так спешили, что столкнулись. Обнялись. Прильнули губами друг к другу...

– Аннета!

– Сильвия!

– Сестра моя! Любимая!

– Сестричка! Любовь моя! Руки гладили в темноте щеки и волосы, дотрагивались до затылка, шеи, плечей, обретали свое, утраченное.

– Родная! – воскликнула Сильвия, почувствовав, что у Аннеты голые плечи. – Ты без пальто! Тебе нечем прикрыться!..

Аннета заметила, что на ней действительно вечернее платье; ей вдруг стало холодно, она вздрогнула.

– Безумная, просто безумная! – кричала Сильвия, укутывая сестру своей накидкой, она на ощупь почувствовала, что платье ее разорвано. – Порвала... Как же так? Что случилось? Волосы разметались по щекам... А это еще что? Что у тебя на лбу? Да ты упала, Аннета?..

Аннета не отвечала. Не в силах больше сдерживаться, она припала лицом к плечу Сильвии и заплакала. Сильвия усадила ее у дороги. Луна, преодолев преграды гор, осветила израненный лоб Аннеты, и Сильвия покрыла его поцелуями.

– Скажи мне, что ты сделала? Скажи, что произошло? Мое сокровище, мой родной волчонок, я так испугалась: поднялась к нам в комнату, а тебя там нет!.. Я тебя звала... Ищу тебя целый час... Ах, какой это был ужас!.. Я так боялась, так боялась... Даже не могу сказать, чего боялась... Почему ты ушла? Почему убежала?

Аннета не хотела отвечать.

– Сама не знаю, – говорила она, – мне стало не по себе, захотелось... походить, подышать...

– Нет, ты говоришь не правду. Аннета, скажи мне все!

Она склонилась над ней и тихонько добавила:

– Душенька, не из-за него?..

Аннета прервала ее:

– Нет! Нет! Но Сильвия настаивала:

– Не лги! Скажи правду! Скажи! Скажи своей сестренке! Из-за него?

Аннета вытерла глаза и сказала, стараясь улыбнуться:

– Да нет же, уверяю тебя... Было немного тяжело, это верно... Так все глупо... Но с этим теперь покончено. Я счастлива, что он тебя любит.

Сильвия подскочила, всплеснула руками и со злостью выпалила:

– Так, значит, из-за него!.. Но ведь я-то ни чуточки, ни чуточки не люблю этого красавчика!..

– Нет, любишь...

– Нет! Нет! Нет! Сильвия затопала ногами.

– Забавно было кружить ему голову, я просто играла, но он для меня – ничто, ничто по сравнению с тобой... Ах, все поцелуи мужчины не вознаградят меня за одну твою слезинку!

Аннета была вне себя от счастья.

– Правда? Правда? Сильвия бросилась ей в объятия.

Когда они немного успокоились, Сильвия спросила Аннету:

– Теперь сознавайся: ты тоже любила его?

– Тоже? А, вот видишь! Ты и проговоришься, что любишь его!..

– Да нет же, говорят тебе, нет, я тебе запрещаю... Я не желаю больше о нем слышать. Кончено, кончено.

– Кончено, – повторила Аннета.

Они возвращались по дороге, залитой лунным сиянием, улыбаясь, в восторге, что снова обрели друг друга. Вдруг Сильвия остановилась и, грозя кулаком луне, воскликнула:

– Скотина!.. Он мне за все заплатит!..

И обе расхохотались при этом не очень добропорядочном заявлении, ибо молодость никогда не теряет своих прав.

– А знаешь, что мы сделаем? – добавила коварная Сильвия. – Вернемся, сейчас же уложим вещи и завтра, завтра утром уедем с первой почтовой каретой. Он выйдет к столу во время завтрака – никого... Птички упорхнули!

А потом... (Она прыснула.) Я и забыла!.. Я назначила ему свидание в десять часов в лесу, на горе... Он проищет меня все утро...

Она расхохоталась еще звонче. И Аннета тоже.

Пресмешное выражение лица будет у разочарованного, разъяренного Туллио. Шалуны! Все горести остались позади.

– Однако, – проговорила Аннета, – пожалуй, не очень это хорошо, дорогая, так себя компрометировать.

– Вот еще! Для меня это ровно ничего не значит, – возразила Сильвия.

– Я с этим не считаюсь... А впрочем, пора бы мне, – продолжала она, ласково покусывая руку Аннеты, легонько теребившую ее за ухо, – пора бы поумнеть, теперь, когда я стала твоей сестрой. И я поумнею, обещаю тебе...

Но, знаешь ли, хоть ты и старшая сестра, а ведь ты была не умнее меня.

– Ты права, – произнесла покаянным тоном Аннета. – И боюсь, что временами я вела себя еще глупее... Ах, странное у нас сердце! – продолжала она, прижимаясь к сестре. – Никогда не знаешь, что же там в душе делается: что-то изнутри поднимается и, кажется, сейчас унесет тебя... А куда?

– Вот поэтому-то, – ответила Сильвия, крепко обнимая ее, – я и люблю тебя! У тебя это здорово получается!

Они уже были у входа в гостиницу. Крыши блестели под лунным светом.

Сильвия обвила руками шею Аннеты и шепнула ей на ухо горячо, с непривычной для себя серьезностью:

– Ах ты, сестра моя старшая! Никогда не забуду, как ты намучилась этой ночью, как ты мучилась из-за меня... Да, да, не отрицай! У меня было время обо всем подумать, когда я бежала, когда искала тебя, дрожа от горя... Если бы что-нибудь случилось... Что случилось бы со мной!.. Я бы не вернулась.

– Родная, – взволнованно ответила Аннета, – ты не виновата, ты ведь не знала, что делаешь мне больно.

– Знала, очень хорошо знала, что мучаю тебя, и даже, – послушай, Аннета! – и даже мне это доставляло удовольствие!

У Аннеты упало сердце, но она подумала, что ведь она тоже упивалась бы, видя, как Сильвия страдает, и что готова была заставить ее мучиться еще больше. И она сказала об этом. Они сжали друг друга руки.

– Но что же это такое было, что же это такое? – спрашивали они друг друга, пристыженные и подавленные, хотя их и утешало сознание, что они обе одинаковы.

– Это – любовь, – проговорила Сильвия.

– Любовь, – машинально повторила Аннета. И в тревоге спросила:

– Так это и есть любовь?

– И знаешь ли, – заметила Сильвия, – это только начало.

Аннета запальчиво Объявила, что больше не хочет любить.

Сильвия посмеивалась над ней. Но Аннета повторяла вполне серьезно:

– Больше не хочу! Не создана я для любви.

– Ах, вот как! – рассмеялась Сильвия. – Не повезло тебе, бедненькая моя Аннета. Да ведь ты-ты перестанешь любить, когда перестанешь жить!

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Первые – пасмурные и тихие – дни октября. Воздух застыл. Не спеша сеет прямой теплый дождь. Пряный, сильный запах мокрой земли, спелых плодов в подвале, виноградного сока в давильнях...

У открытого окна на даче Ривьеров, в Бургундии, друг против друга сидели сестры и шили. Они склонили головы над работой и, казалось, вот-вот стукнутся своими крутыми чистыми лбами. Лоб у них совсем одинаковый – выпуклый, только у Сильвии он поуже, у Аннеты пошире, у одной капризный, у другой упрямый, – козочка и бычок. Но когда они поднимали головы, глаза их обменивались понимающим взглядом. А языки отдыхали, неугомонно протрезвонив столько дней подряд. Они еще раз переживали лихорадку переезда, свои восторги, залпом высказанные слова и все то, что узнали и познали за много дней, ибо теперь они по-настоящему привязались друг к другу и им хотелось все взять друг у друга и все отдать. А пока они молчали, раздумывая о спрятанной добыче.

Но напрасно хотелось им все увидеть и всем обладать: в конце концов они так и остались загадкой друг для друга. И в самом деле, всякое существо для всякого существа – загадка, и в этом есть своя прелесть.

Сколько же в каждой из них таится такого, чего никогда не постичь другой! Тщетно они говорили себе (ибо они это знали):

«Что значит взаимопонимание? Понимать – это объяснять. А когда любишь, нет нужды объяснять...»

И все же это имеет большое значение! Ведь если не понимаешь, то не можешь обладать целиком. А любить, как любили они друг друга? Каждая любила по-своему. Обе дочери Рауля Ривьера унаследовали от отца живительные жизненные силы, – они лежали под гнетом у одной, были рассеяны у другой.

Различие их натур особенно проявлялось в любви. Легкомысленная и ласковая Сильвия, веселая, шаловливая, самоуверенная, но по сути очень рассудительная, быстро воспламенялась, однако никогда не теряла головы; шелестя крылышками, летала лишь вокруг своей голубятни. Темный демон любви притаился в Аннете, и о его существовании она узнала только за последние полгода; она его подавляла, старалась его упрятать, потому что сама его страшилась: инстинкт подсказывал ей, что другие не правильно судили бы о нем. Эрос в клетке, с завязанными глазами, беспокойный, алчный и голодный, молча бьется о решетку мира и медленно грызет стены своей темницы-сердца! Жгучее жало впивалось непрерывно, безмолвно и незаметно, тревожило рассудок Аннеты; она все время ощущала его, впад в раздражающее оцепенение, в котором было что-то чувственное; мурашки пробегали у нее по коже, как бывало, когда она прикасалась к жесткой материи, когда ей мешала одежда или когда она проводила рукой по неровному дереву мебели, по холодящей шершавой стене. Она словно жевала терпкую кору ветки, и тогда на нее находило какое-то самозабвение и забвение времени; у нее бывали провалы в сознании, и она не могла бы сказать, сколько это продолжалось – четверть ли секунды, час ли? И сразу собиралась с мыслями; ей становилось стыдно, она подозрительно ловила незримый взгляд Сильвии, которая прикидывалась, что работает, а сама лукаво следила за ней украдкой. Сестры молчали. Обе сидели, как ни в чем не бывало, а горячие волны крови приливали к щекам Аннеты. Сильвия, мало что понимая, вынюхивала своим носиком ее внутреннюю жизнь, которая, задремав на солнце, то вдруг успокаивалась, то одичало извивалась, как уж под листьями: Сильвия считала, что старшая сестра-чудачка, что она не в своем уме, право – на людей не похожа... И не страстные порывы, не горячность и не то, что она угадывала в тревожных мыслях Аннеты, особенно удивляли ее, но то серьезное, чуть ли не трагическое начало, которое во все вносила сестра...

Трагическое? Ну что за выдумки! Серьезное? Ради чего серьезничать? Все идет своим чередом. Так все и надо принимать. Сильвию вовсе не беспокоили тысячи фантазий, которые ей лезли в голову. Они приходят и уходят.

Все, что хорошо и приятно, – просто и естественно, а что плохо и неприятно, – тоже свойственно жизни. Хорошее ли, нехорошее ли, а изволь глотать, и я глотаю мигом! Зачем разводиться антимионии? Ох уж эта запутавшаяся Аннета! Дебри горячих и холодных мыслей, пряжа страхов и желаний, пучки страстных и целомудренных чувств перемешиваются во всех закоулках души... И кто только все это распутает? Но, как бы там ни было, чудная,

странная, непостижимая Аннета очень занимала Сильвию, интриговала ее, притягивала к себе. И за это она еще сильнее любила сестру.

Молчание затягивалось, оно бывало насыщено тревожащими тайнами. И Сильвия вдруг прерывала его, начинала тараторить. Быстро, быстро, вполголоса, наклонившись над самым шитьем, будто ругая его, она цедила сквозь зубы бессмысленные словечки, несла тарабарщину-все слова оканчивались на «и», получалось «ки-ки-ки-ки», – точь-в-точь болтовня зяблика, стрекожущего от радости. Но вдруг она напускала на себя важный вид, словно говоря: «Кто, я? Я ничего!». Или же, перекусывая нитку, напевала тоненьким гнусавым голоском преглупый романс, в котором говорилось о цветах, о пташках-щебетуньях, какую-нибудь легкомысленную песенку и, лукаво разыгрывая благовоспитанную девочку, вдруг отчетливо произносила грубейшую непристойность. Аннета подсказывала, полусмеясь, полусердясь.

– Замолчи. Замолчи же, наконец!

И становилось легко. Атмосфера разряжалась. Неважно, что за слова были сказаны! Голоса, как руки, восстанавливают связь. Снова соединяешься.

«Где пропадала? Остерегайся молчания! Знаешь ли ты, что минута забвения может мигом нас разлучить? Поговори со мной! Я говорю с тобой. Я держусь за тебя.

Держи меня крепче!»

И они держались друг за друга. Они твердо решили, что бы ни случилось, не покидать друг друга. Что бы ни случилось, ничто не коснется главного: «Я – это я. Ты – это ты. Уговорились. По рукам. Теперь уже нельзя отречься». То было взаимное самопожертвование, молчаливое соглашение, как бы духовный союз, сильный тем, что никакое внешнее принуждение – ни письменное обязательство, ни религиозное или гражданское воздействие – не тяготело над ним. Ну что из того, что они такие разные?

Ошибается тот, кто думает, будто самые крепкие союзы основаны на сходстве или же на противоположности. Ни на том, ни на другом, а на внутреннем решении: «Я выбрала, я хочу, и я даю обет», – решении, прошедшем через горнило жизненного опыта и отчеканенном двойной твердой волей, как у этих двух крутолобых девушек. «Ты – моя, и теперь я уже не властна ни вернуть тебя, ни взять обратно себя... Впрочем, ты свободна: люби, кого хочешь, делай, что тебе нравится, вытворяй, что угодно, грешь, если тебе заблагорассудится (знаю, что ты этого не сделаешь, но даже если итак), – это не нарушает нашего договора... Кто как хочет, пусть так и толкует». Если бы Аннета по своей добросовестности и дерзнула довести до конца свою мысль, ей пришлось бы признаться себе, что она далеко не уверена в нравственной стойкости Сильвии, в ее будущих поступках.

А Сильвия, смотревшая на все трезво, не дала бы руку на отсечение, что Аннета в один прекрасный день не выкинет что-нибудь сногшибательное. Но все это касалось других и к ним обоим не имело никакого отношения. Обе верили друг в друга, вполне доверяли друг другу. Пусть все остальные устраиваются, как им угодно! Отныне они с закрытыми глазами заранее все прощали друг другу – лишь бы поступки их не отражались на их взаимной любви.

Все это, пожалуй, не было очень уж нравственно.

Ну и пусть! Будет еще время вести нравственный образ жизни когда-нибудь потом.

Аннета была чуть-чуть педанткой, жизнь знала по книгам, – что не помешало ей, однако, познать ее позже (ведь жизнь, разумеется, звучит по-иному, чем в книгах), – и теперь она вспоминала прекрасные строки Шиллера:

*О мои дети! Мир исполнен зла
И помыслов лукавых. Каждый любит
Лишь самого себя. Не прочны связи,
Которые удача нам сплетает.
Единый миг – и сеть разорвалась.
Верна одна природа. Лишь она*

*Стоит на верном якоре, в то время
Как все кругом, в кипящем море жизни,
Теряет путь. Приязнь дарует друга,
Удача нам соратников приносит,
Лишь брата нам рождение дает.
Его не даст нам счастье. Вместе с счастьем
Приходит друг. И часто в мире этом,
Вражды и злобы полно, он двулик.*

Сильвия, конечно, не знала этих строк! Она, наверное нашла бы, что для выражения такого простого чувства не требуется столько непонятных слов. Но, взглянув на поникшую голову Аннеты, отложившей работу, на сильную ее шею, густые волосы, собранные в Узел, Сильвия подумала:

«Сестра все еще мечтает, опять пошли сумасбродства – Когда это кончится? Какое счастье, что я здесь! При мне она не очень развернется...»

Ведь у младшей было убеждение, вероятно преувеличенное, в превосходстве своего разума и опыта. И она твердила себе:

«Буду ее охранять».

Но она сама нуждалась в опеке. Она была не менее сумасбродна. Только она все свои выходки знала наперед и смотрела на них, как домовладелец смотрит на жильцов. Хоть и сдает им помещение, но не даром. Да и потом:

«Делай что хочешь, будь что будет!» Когда все это касается только тебя – пустяки. Выпутаться всегда можно... А вот охранять сестру-это чувство новое и необыкновенно приятное.

Да, но... Аннета сидела с поникшей головой; она отложила работу, она лелеяла точно такое же чувство. Она думала:

«Моя дорогая, безрассудная сестренка! Какое счастье, что я появилась вовремя около нее, чтобы руководить ею!...»

И она строила планы будущего Сильвии, заманчивые планы, но о них она не совещалась с Сильвией.

И, вдоволь намечтавшись о счастливом будущем Друг друга (а заодно, конечно, и своем собственном), сестры восклицали:

– Ах ты! Иголка сломалась!

– Да и ничего больше не видно! И они, бросив работу, выбегали подышать воздухом; шли под дождиком, укрываясь одним плащом, по саду, под плакучими ветвями деревьев, ронявших прядями листву; в беседке из виноградных лоз срывали янтарную гроздь и уплетали – мокрые ягоды вкуснее – и говорили, говорили... Вдруг умолкали, вдыхая осенний ветер, запах (так бы и съела его!) перезревших плодов, палого листа, вбирая в себя неяркий свет октябрьского дня, угасавший с четырех часов, слушая тишину оцепеневших, задремавших полей, тишину земли, пившей дождь, тишину ночи...

И, держась за руки, они мечтали вместе с трепещущей природой, которая боязливо и пылко лелеет надежду о весне – загадке будущего...

Они привыкли вместе коротать эти серенькие октябрьские дни, затканые туманом, будто опутанные паутиной, и это стало для них такой необходимостью, что они спрашивали себя, как же до сих пор они без этого обходились.

А ведь обходились и будут обходиться! В двадцать лет жизнь не замыкается, как бы дорог ни был тот, с кем тебе хорошо вдвоем, – особенно жизнь существ таких окрыленных. Им надо испытать силы в воздушных просторах. Сколь непреклонно ни утверждалась воля их сердца, инстинкт их крыльев сильнее. Аннета и Сильвия нежно говорили:

– Как мы могли так долго жить друг без друга? Однако не признавались себе:

«А ведь рано или поздно придется (какая обида!) жить друг без друга!»

Ведь никто другой не может жить за вас и на вашем месте, да и вы не захотели бы

этого. Конечно, потребность во взаимной нежности была глубока, но у каждой была еще и другая потребность, более сильная, исходившая из самых истоков существа обеих дочерей Ривьера: потребность в независимости. Уйма различных черт была у них, но они обладали одной одинаковой чертой, именно этой (и нельзя сказать, что им повезло). Они хорошо это знали; она даже была одной из причин – они, правда, не отдавали себе в этом отчета-того, что они так сильно полюбили друг друга, ибо каждая в другой узнавала себя. Но в таком случае чего же стоил их план – основать совместную жизнь?! Каждая лелеяла мечту, что будет охранять жизнь сестры, но сознавала, что сестра, как и она сама, не согласится на это. То была сладостная мечта, их игрушка. Им хотелось, чтобы игра продолжалась как можно дольше.

А ей не суждено было долго продолжаться.

Если бы они были просто двумя независимыми державами! Но у этих республик-крошек, дороживших своей свободой, как и у всех республик, помимо их воли, были деспотические наклонности. Каждая стремилась подчинить своим законам другую – ей казалось, что они лучше. Аннета, склонная к самоосуждению, бранила себя, вторгнувшись в область господства сестры, но все повторялось сызнова. В ее цельном и страстном характере, вопреки ее желанию, было что-то властное. Натура ее могла под покровом нежной любви на время смягчиться, но она упорствовала. Нужно сознаться, что если Аннета и старалась примениться к воле Сильвии, то Сильвия нисколько не старалась облегчить сестре задачу. Она поступала так, как приходило ей в голову, а за двадцать четыре часа в ее голове рождалось не меньше двадцати четырех желаний, которые не всегда совпадали. Аннета, методичная, любившая порядок, сначала смеялась, но потом стала терять терпенье – так быстро менялись причуды сестры. Она прозвала Сильвию: «Вьюн», «Я хочу... А собственно, чего я хочу?». А Сильвия ее прозвала: «Шквал», «Госпожа повелительница» и «Полдень ровно в двенадцать» – пунктуальность сестры ее раздражала.

Они нежно любили друг друга и все же вряд ли могли бы долго вести одинаковый образ жизни. Вкусы их и привычки были различны. Они так любили друг друга, что Аннета снисходительно внимала Сильвии, охотнице чуточку посплетничать, очень тонко умевшей все подметить, еще лучше – услышать, но не очень тонко выразить. А Сильвия прикидывалась, будто слушает с интересом, хотя незаметно позевывала («Довольно! Ну довольно же!...»), когда Аннета которой хотелось разделить с ней удовольствие, читала вслух прескучные вещи.

– Боже, да это дивно, дорогая! Или пускалась в нелепые рассуждения о жизни, о смерти, об общественном строе...

(«Чепуха!.. Как бы не так!.. Делать людям нечего!«).

– А ты как думаешь, Сильвия! – спрашивала Аннета.

(«Да ну тебя!» – думала Сильвия.).

– Думаю, как ты, дорогая! И все это ничуть не мешало им восхищаться друг другом. Но только немного стесняло, когда они разговаривали.

А чем заполнить время, когда они совсем одни в унылом доме, на самой опушке леса, когда перед ними обнаженные поля, а над ними низкое осеннее небо, сливающееся в тумане с голой равниной? Напрасно Сильвия говорила и сама верила, будто обожает деревню, – сельские развлечения ей быстро прискучили; здесь у нее не было дела, не было цели, она слонялась как тень. Природа, природа!.. Скажем откровенно: природа наводила на нее скуку. Нет! Препротивные тут края... Просто невыносимы все эти напасти: ветер, дождь, грязь (грязь на парижских улицах, напротив, ей нравилась); за ветхими перегородками шмыгали мыши, пауки забирались в комнаты, на зимние квартиры, а это ужасное зверье – комары – по ночам трубили и пировали на ее руках и ногах. Много слез она пролила из-за них, от досады и раздражения. Аннету же радовали вольные просторы и уединенная жизнь с любимой сестрой; она не скучала, смеялась над комариными укусами и, позвав Сильвию с собой на прогулку, шагала по грязи, не примечая, что сестра недовольна, насупилась. Порыв ветра с дождем пьянил ее; она забывала о Сильвии. Шла большими шагами по вспаханной земле или

по лесной тропинке, встряхивая мокрые ветви; не скоро вспоминала она о покинутой сестре.

А Сильвия, надувшись, с сокрушением рассматривала в зеркале свое припухшее лицо, умирала от скуки и думала:

«Когда же мы вернемся?»

И все-таки среди тысячи и одного намерения у младшей Ривьер было одно доброе, стойкое намерение, и ничто не могло его изменить, а деревенский воздух лишь придал ему новизну. Она любила свое ремесло. Любила по-настоящему. Она принадлежала к крепкой семье парижских рабочих; труд, иглолка и наперсток были ее потребностью, ей хотелось занять свои пальцы и мысли. У нее был врожденный вкус к шитью: она испытывала физическое наслаждение, часами ощупывая материю, легкую ткань, шелковый муслин, делая складки, сборки, щелкая пальцем по банту из лент. Да и умишко ее, который, слава богу, и не пытался понимать идеи, загромаждавшие умную голову Аннеты, знал, что тут, в своей области, в царстве тряпок, и у него есть идеи, которыми можно заинтересовать кого угодно. Так что ж, прикажете отказаться от этих идей? Говорят, что самое большое удовольствие для женщины – носить красивые платья! Для женщины, по-настоящему даровитой, еще большее удовольствие их творить. И, раз вкусив это удовольствие, уже нельзя от него отрешиться. В изнеженной праздности держала Сильвию сестра, и когда прекрасные пальцы Аннеты скользили по клавиатуре, Сильвия с тоской вспоминала лязг больших ножниц и стук швейной машины. Если бы кто-нибудь преподнес ей все произведения искусства на свете, они не заменили бы ей милого безголового манекена, который драпируешь, как вздумается, вертишь и перевертываешь, перед которым приседаешь, которого исподтишка теребишь или, подхватив, кружишься с ним в танце, когда закройщица выйдет. Только несколько слов роняла Сильвия, но по ним нетрудно было угадать ход ее мыслей, и Аннета сердилась, когда видела, как загораются глаза сестры, понимала, что мысленно Сильвия уже за работой.

И вот когда они вернулись в Париж и Сильвия заявила, что она переедет к себе домой и возьмется за постоянную работу, Аннета вздохнула, но не удивилась. Сильвия ждала, что ее решение примут в штыки, поэтому вздох и молчание сестры растрогали ее сильнее, чем любые слова. Она подбежала к Аннете, сидевшей в кресле, опустилась перед нею на колени, обняла, поцеловала.

– Не сердись на меня, Аннета!

– Дорогая, – ответила Аннета, – твое счастье – мое счастье, ты ведь знаешь.

Но ей было тяжело. Сильвии тоже.

– Не моя это вина, – сказала она, – я так тебя люблю, верь мне.

– Знаю, девочка, верю.

Она улыбалась, но еще раз глубоко вздохнула. Сильвия, стоя на коленях, ладонями сжала ее лицо, приникла к нему:

– Не смей вздыхать! Глупышка! Если будешь так вздыхать, я не уйду.

Ведь я не живодерка.

– Конечно, нет, дорогая... Я не права, больше не буду... Да я и не упрекаю тебя. Просто тяжело расставаться.

– Ра-сставаться... Новое дело! Глупышка! Будем видеться, каждый день видеться. Ты придешь. Я приду. Комнату мою ты сохранишь. Уж не надумала ли ты отнять ее у меня? Нет, нет, она моя, не отдам. Только устану-приеду понаслаждаться. Или так: вечер, ты меня не ждешь, я прихожу в неурочный час, у меня ключ, вбегаю и застаю тебя врасплох... Смотри не вздумай проказничать! Вот увидишь, сама увидишь, мы еще больше подружимся, и все у нас пойдет еще лучше. Расстаться! Да разве я брошу тебя, разве я могу обойтись без моей расчудесной Аннеты?

– Ах, подлиза, нахальная девчонка! – воскликнула Аннета, смеясь. – Ловко заговариваешь зубы! Врунишка ты, мошенник!

– Аннета! Перестань браниться! – строго заметила Сильвия.

– Ну, хорошо. Пусть только – врунишка... Так можно?

– Это еще туда-сюда, – сказала Сильвия великодушно.

Она бросилась Аннете на шею, стала душить ее в объятиях.

– Я, по-твоему, врунишка, я, по-твоему, врунишка! Держись, проглочу!

Нежностью и хитростью добилась она у Аннеты прощения. Попросила сестру помочь ей открыть свою собственную мастерскую. Двухлетней «девчушке» хотелось стать хозяйкой, выйти из подчинения и получить в подчинение не только свой манекен. Аннета пришла в восторг, что можно дать ей денег. Вместе составили смету; обсуждали без конца, как все устроить в новом жилье, бегали несколько дней в поисках квартиры, потом выбирали мебель и материю для обивки, потом все перевозили, потом получили согласие городских властей, вечерами составляли список заказчиц, строили план за планом, обдумывали шаг за шагом; захлопотались так, что Аннета в конце концов вообразила, будто обзаводится хозяйством вместе с Сильвией. И ей не приходило в голову, что жизнь их отныне пойдет разными путями.

Заказчицы у Сильвии не замедлили появиться. Аннета, отправляясь в гости, надевала самые красивые платья, сшитые милой ее портнихой, и расхваливала сестру. Ей удалось направить к ней несколько молодых женщин своего круга. Кроме того, Сильвия без зазрения совести воспользовалась адресами заказчиц своих старых хозяек. Впрочем, она была разумна и не торопилась расширять сферу своей деятельности. Спешить нечего. Жизнь длинна. Времени много. Она любила работу, но не до мании, как иные человекомуравьи, – особенно женского пола, – которые на ее глазах изнуряли себя трудом. Ей хотелось уделить место и удовольствию. Работа тоже удовольствие. Но не единой работой существуешь. «Всего понемножку» – таков был девиз Сильвии, не любившей излишеств, но лакомки и выдумщицы.

Жизнь ее скоро стала так заполнена, что для Аннеты у нее оставалось не слишком много времени. Все же часть его, что бы ни случилось, Сильвия посвящала сестре: обет свой она выполняла. Но для сердца Аннеты части было мало. Она не умела отдавать себя наполовину, на треть, на четверть.

Ей суждено было узнать, что мир в чувствах своих подобен мелкому торговцу, – он ими торгует в розницу. Долго не понимаешь этого, а еще дольше с этим примиряешься. Пока она брала первые уроки.

Она молча страдала, видя, как мало-помалу отстраняется от жизни Сильвии. Сильвия никогда больше не бывала одна ни дома, ни в мастерской.

А скоро она уже не бывала одна и когда не работала. Снова обзавелась другом. Аннета отступила. Любовь к сестре теперь оберегала ее и от вспышек ревности, и от строгого осуждения, как бывало прежде. Но не оберегала от тоски. Сильвия все же так любила сестру, что, несмотря на свое легкомыслие, сознавала, как огорчает ее; и время от времени она вырывалась из хоровода своих дел и делишек и внезапно, в час работы или свидания, бросала все, даже самые неотложные дела, и мчалась к Аннете. Вихрем налетала нежность. И вихрь нежности налетал на Сильвию с неменьшей силой, чем на Аннету. Но вихрь улета; и когда он перебрасывал Сильвию от Аннеты к делам или, скорее, к удовольствиям, Аннета, благодарная урагану ласковой болтовни, сумасшедших признаний, смеха и объятий, врывавшемуся к ней, вздыхала, еще больше томясь от одиночества и от душевного смятения.

Однако это не означало, что она жила в праздности. Дни у Аннеты были заполнены не меньше, чем у Сильвии.

Жизнь ее, двойственная жизнь – духовная и светская, прерванная смертью отца, – снова вошла в свою колею. Умственные запросы, вытесненные за последний год велениями сердца, пробудились с новой силой. И отчасти оттого, что ей хотелось заполнить пустоту, образовавшуюся после ухода Сильвии, отчасти оттого, что интеллект богато одаренного человека созревает в испытаниях жизни, полной страстей, ее потянуло к научным занятиям, и она сама удивилась тому, что разбирается в научных вопросах лучше, чем прежде. Она увлекалась биологией и вынашивала план диссертации о происхождении эстетического чувства и его проявлениях в природе.

Она восстановила и светские связи, вернулась в тот круг, который прежде посещала с

отцом. Теперь это доставляло ей особое удовольствие.

Ее пытливому уму, ставшему более зрелым, было приятно, когда у тех, кого она, казалось бы, превосходно знает, неожиданно обнаруживались такие черты, о которых она и не подозревала. Немало удовольствий доставляла ей и совсем иная область – в одних она признавалась себе, другие же от себя утаивала: она получала удовольствие от того, что нравилась, и от темных сил вожделения (и отвращения), которые возникают в нас, и от взаимного влечения умов и тел, скрывающегося под обманчивой шелухой слов, и от приглушенных инстинктов обладания, которые порой всплывают на ровную и однообразную поверхность салонных мыслишек и как будто тут же исчезают, а на самом деле клокочут в глуби.

Светские развлечения и научные занятия заполняли лишь небольшую часть ее времени. А по-настоящему жизнь бывала насыщена, когда Аннета оставалась наедине с собой. В долгие вечера и в часы ночи, когда сон бросает душу, а вместе с ней и горячечные мысли в мир бодрствования, будто вал, что, отхлынув, оставляет на берегу мириады живых существ, выхваченных из черных пучим океана, Аннета созерцала прилив и отлив внутреннего своего моря и берег, усеянный его дарами. То был период весеннего равноденствия.

Не все силы, разбушевавшиеся в Аннете, были для нее новостью; пока мощь их приумножалась, умственный взор ее проникал в них иступленно и зорко. От их противоречивых ритмов сердце томилось, замирало... Нельзя уловить, есть ли в этом сумбуре какой-нибудь внутренний порядок. Неистовый взрыв чувственности, раскатом летнего грома всколыхнувший сердце Аннеты, надолго оставил отголосок. Хотя воспоминание о Туллио и стерлось, но внутреннее равновесие было нарушено. Спокойное течение жизни, без всяких событий, вводило Аннету в обман: можно было вообразить, будто ничего и не происходит, и беспечно повторять возглас сторожей, раздающийся дивными ночами в Италии: «Tempo sereno!».³⁴ Но жаркая ночь снова вынашивала грозы, и неустойчивый воздух трепетал от тревожных дуновений.

Вечное смятение. Души умершие, оживающие сталкивались, встречались в этой пылкой душе... С одной стороны, опасное отцовское наследие, забытые, заснувшие вожделения вдруг поднимались, словно волна из глуби морской. С другой – силы, идущие им наперекор: душевная гордость, страстное стремление к чистоте. И еще одна страсть – стремление к независимости, которая так властно вмешивалась в ее отношения с Сильвией и которой были суждены – Аннета с тревогой это предчувствовала – другие, более трагические, столкновения с любовью. Эти движения души занимали ее, заполняли ее досуг в долгие зимние дни. Душа, словно куколка, прятаясь в коконе, сотканном из затуманенного света, грезилась о будущем и прислушивалась к себе, грезящей...

И вдруг почва уходит из-под ног. Какие-то провалы в сознании, как бывало нынешней осенью, в Бургундии, пустоты, в которые низвергаешься...

Пустоты? Нет, не пусто там, но что же происходит в глубинах? Странные явления, неприметные, а может быть, и не существовавшие еще десять месяцев назад, возникшие в дни летней встряски, повторялись все чаще. У Аннеты было смутное чувство, что бездны в сознании зияют порой и по ночам, когда она спит тяжелым сном, словно загнипнотизированная. Она выбиралась оттуда, будто появившись издалека, и ничего не помнила, однако ж ее преследовала неотвязная мысль, точно видела она что-то очень значительное, какие-то миры, нечто неопишное, – то, что выходит за пределы, допускаемые, постигаемые разумом что-то животное и что-то сверхчеловеческое, поражающее нас в чудовищах, созданных древнегреческими скульпторами, в пастях химер на водостоках соборов. Ком глины, липнущей к пальцам. Чувствовалась живая связь с неведомым миром снов. Было тоскливо, стыдно, тяжело; унижало и терзало жгучее ощущение, будто ты в сообщничестве, но не можешь понять, в каком же. Все тело на

³⁴ «Ясно!» (итал.)

несколько дней пропитывалось противным запахом. Словно она, сберегая тайну, пронесла ее среди нестойких впечатлений дня, и ее прятали за семью замками гладкий безмятежный лоб, безразличный взгляд, устремленный внутрь, и руки, благоразумно скрещенные на груди, – спящее озеро.

Аннета вечно витала в грезах – и на шумной улице, и в университете, и в библиотеках, где она усердно занималась, и в гостиных, за пустой светской болтовней, которую оживляют легкий флирт и легкая ирония. На вечерах замечали, что у девушки отсутствующий взгляд, она рассеянно улыбается – не столько тому, что ей говорят, сколько тому, о чем она рассказывает сама себе; что она наугад подхватывает чьи-нибудь слова и отвечает невпопад, прислушиваясь к никому неведомому пению птиц, спрятанных в клетке ее души.

Однажды так громко распелся мирок ее души, что она, изумившись, заслушалась, а ведь рядом ее радость, Сильвия, смеялась, оглушала милой своей болтовней, что-то рассказывала... О чем же она говорила? Сильвия все подметила, расхохоталась, встряхнула сестру за плечи:

– Ты спишь, спишь, Аннета? Аннета отнекивалась.

– Да, да, вижу: спишь стоя, как старая извозчицья кляча. Что же ты делаешь по ночам?

– Плутовка! А скажи-ка, что ты сама делаешь?

– Я-то? Хочешь знать? Прекрасно! Сейчас расскажу. Скучно не будет.

– Не надо, не надо! – со смехом твердила Аннета, окончательно пробудившись.

Она зажала сестре рот рукой. Но Сильвия отбилась, обхватила руками голову Аннеты, заглянула в глаза:

– Прекрасные у тебя глаза, лунатик. Ну, показывай, что там внутри...

О чем ты мечтаешь, Аннета? Скажи, скажи! Скажи, о чем! Рассказывай!

Рассказывай же!

– Что же тебе рассказать?

– Скажи, о чем ты думала.

Аннета оборонялась, но в конце концов ей всегда приходилось сдаваться. Сестрам доставляло огромное удовольствие – в этом проявлялась их нежность, а быть может, эгоизм, – все друг другу рассказывать. Это им не надоедало. И тут Аннета начинала распутывать свои грезы, скорее для собственного успокоения, чем для Сильвии. Она пересказывала, чуть запинаясь, очень серьезно, очень добросовестно, чем ужасно смешила Сильвию, все свои безрассудные мысли, наивные, искренние, шальные, дерзкие, иной раз даже...

– Ах, Аннета, Аннета! Ну, договаривай, раз на то пошло! – восклицала Сильвия, прикидываясь, будто негодует.

Вероятно, и ее внутренняя жизнь была не менее странной (не менее и не более, чем у всех нас), но она над этим не задумывалась и ничуть этим не интересовалась, ибо, как и подобает существу практичному, она раз и навсегда уверовала лишь в то, что видит и что осязает, в трезвую и низменную мечту, которая облечена в плоть всего земного, и отстранялась от всего, что могло смутить ее покой, считая, что это чепуха.

Она хохотала до упаду, слушая сестру. Вот так Аннета, кто бы мог подумать! С невиннейшим видом, вполне серьезно говорит порой сногшибательные вещи! А от самых простых, всем известных вещей иной раз смущается. И поверяет их Сильвии с преважным видом – смех да и только! Бог знает, какие нелепые мысли приходят ей в голову! Сильвия считала, что сестра у нее хорошая, сумасбродная и черт знает до чего нескладная. Ужасно любит ломать себе голову над всем, о чем стоит только «петь, как поется!»

– Как петь, – говорила Аннета, – когда во мне звучите полдюжины мелодий?

– Да это превесело, – замечала Сильвия, – совсем как на празднике в честь Бельфорского Льва.

– Ужас! – восклицала Аннета, затыкая уши.

– А я это обожаю. Три-четыре карусели, тиры, звон трамваев, шарманка, бубенцы, свистульки, все кричат, ничего не разберешь, стараешься перекричать других, все ревет, все

гогочет, все грохочет, все веселит сердце...

– Ты у меня простолюдинка!

– Положим, ваше аристократство, ты сама такая же, только что призналась! Ну, а не нравится – бери пример с меня. Порядок у меня во всем.

Каждая вещь на своем месте. Всему свой черед!

И она говорила правду. Какой бы сумбур ни царил у нее в комнате на площади Денфэр или в ее умишке, она все живо расставляла по местам. Мигом навела бы порядок в самом беспросветном беспорядке. Умела сочетать все свои, такие разноречивые, запросы – и духовные, и материальные, и близкие, и чуждые обыденной жизни. И для каждого – свой ящик. Аннета говорила:

– Ты – настоящий комод... Вот ты что!

(И показывала на заветный шкафчик времен Людовика XV, где лежали письма отца.).

– Да, – с лукавым видом отвечала Сильвия, – «он» похож на меня.

(Не о шкафчике шла речь.).

– А главное, именно я и есть «всамделишная»...

Ей хотелось позлить Аннету. Но Аннета больше не «попадалась на удочку». Ей уже не хотелось владеть всем наследием отца. Свою долю его черт она унаследовала... И уступила бы их охотно. В иные дни эти жильцы порядком мешали!

Как это случилось, она и сама не знала, но за последний год логика начала ей изменять, стали оступаться крепкие ноги, прежде твердо стоявшие в мире реального; она не могла представить себе, как теперь обретет все это снова. Дорого бы она дала, чтобы ей впору пришлось туфельки Сильвии, уверенно, без колебаний стучавшие по земле каблучками. Она чувствовала, что оторвалась от той каждодневной, каждоминутной жизни, которую ведут все вокруг. В противовес сестре она жила своим внутренним миром и ее почти не захватила жизнь мира, освещенного солнцем. Конечно, и он бы захватил ее, если б она не попала в могучую западную чувственного влечения, а мечтатели попадают в нее куда как скоро и куда как неловко. Опасный час близился. Силки были расставлены...

Только удержать ли надолго и этим силкам душу – большую, вольнолюбивую?

Но пока она кружила вокруг да около, разумеется, не думая об этом, а если б и подумала, то отпрянула бы с гневом и возмущением. Все равно! С каждым шагом она все ближе подходила к западне.

Пришлось признаться себе: еще год назад она держалась с мужчинами спокойно, ровно, по-товарищески, ну, разумеется, чуточку кокетливо, мило, но равнодушно – ничего от них не желала, не боялась их; теперь же смотрит на них совсем иными глазами. Она наблюдала за ними, она жила в тревожном ожидании. После встречи с Туллио она утратила весь свой душевный покой-покой безмятежный, завидный.

Теперь они знала, что без них ей не обойтись, и отцовская улыбка трогала ее губы, когда она вспоминала свои ребяческие рассуждения о браке.

Осиное жало страсти осталось в ее теле. Целомудренная и темпераментная, наивная и искушенная, Аннета прекрасно понимала все свои желания; она заточала их в глубь своего сознания, но они заявляли о своем присутствии, приводя в смятение все ее мысли. Деятельность ума была нарушена. Способность мыслить была парализована. Когда она занималась – читала или писала, – то чувствовала, что теперь воспринимает все гораздо хуже.

Сосредоточиться на чем-нибудь могла только ценой невероятных усилий; быстро уставала, раздражалась. И напрасно старалась: узел ее внимания тотчас же развязывался. Все, о чем только она ни размышляла, заволакивалось тучами. Те цели, которые она поставила перед собой на пути к познанию, ясно очерченные – отлично очерченные и отлично освещенные, – терялись в тумане. Прямая дорога, которая шла к ним, вдруг обрывалась. Аннета, приуныв, думала:

«Никогда мне до них не добраться».

Было время, когда она гордо утверждала, что женщины наделены такими же

умственными способностями, как и мужчины, а теперь униженно говорила себе:

«Я ошиблась».

Она изнывала от тоски и, раздумывая, пришла к выводу (может быть, правильному, может быть, не правильному), что некоторые изъяны женского ума, пожалуй, можно объяснить тем, что у женщин веками не вырабатывалось той привычки к отвлеченному мышлению, к активной деятельности ума объективного, не засоренного ничем личным, которая нужна настоящей науке, настоящему искусству, а также тем – такое объяснение еще вероятнее – что женщина втайне одержима всемогущими священными инстинктами, заложенными в нее природой, тем, что этот щедрый вклад обременяет. Аннета чувствовала, что быть одной – значит быть неполноценной, неполноценной и умственно, и физически, и в сфере чувств. О двух последних областях она старалась раздумывать поменьше: слишком усердно они напоминали о себе.

Для нес наступила та пора, когда больше нельзя жить без спутника. И особенно женщине, ибо любовь пробуждает в ней не только возлюбленную, она пробуждает в ней мать. Женщина не отдает себе в этом отчета: оба чувства сливаются в одно. Аннета еще не задумывалась ни над тем, ни над другим, но всем сердцем стремилась отдать себя существу, которое будет и сильнее ее и слабее, которое обнимет ее и прикинется к ее груди. И думая об этом, Аннета изнемогала от нежности: если бы кровь ее превратилась в молоко, она всю кровь свою отдала бы ему... Пей! Пей, любимый мой!

Отдать все!.. Нет, нет! Все отдать она не может. Это ей не дозволено... Все отдать! Ну да – свое молоко, свою кровь, свою плоть и свою любовь... Но ведь не все же! Не свою же душу! Не свою же волю! И на всю жизнь?.. Нет, нет, она знала: ни за что так не сделает. Не могла бы, даже если бы захотела. Нельзя отдать то, что не наше, – свою свободную душу. Свободная душа мне не принадлежит. Я принадлежу своей свободной душе. Нельзя ею распоряжаться. Спасать свою свободу – не только наше право, а наш священный долг.

В рассуждениях Аннеты не было широты, в этом сказывалось наследие матери, но Аннета все переживала страстно, бурная ее кровь словно горячила самые отвлеченные мысли... Ее «душа»!.. «Протестантское» слово! (Она так говорила, часто повторяла это выражение!) Разве у дочери Рауля Ривьера была только одна душа? У нее было целое полчище душ, и две-три сами по себе прекрасные души: в этом скопище порой не уживались...

Однако внутренняя борьба велась в области бессознательного. У Аннеты еще не было случая испытать на деле свои противоречивые страсти. Их борьба пока была игрой ума, азартной, волнующей, но не опасной; ничего не нужно было решать, можно было позволить себе роскошь мысленно предпринимать тот или иной шаг.

Сколько они с Сильвией хохотали, обсуждая одну из таких проблем нашего сердца, которыми упивается юное сердце в пору праздности и ожидания, пока жизнь сама сразу все не решит за тебя, ничуть не заботясь о прекрасных твоих воздушных замках! Сильвия очень хорошо понимала раздвоенность в чувствах Аннеты, но для нее самой ни в чем не было противоречия; и Аннете нужно поступать так, как поступает она: нравится тебе – люби, а не нравится – будь свободной...

Аннета покачивала головой:

– Нет!

– Что нет? Объяснять она не хотела.

Сильвия, посмеиваясь, спрашивала:

– Считаешь, что это подходит только мне? Аннета отвечала:

– Да нет, дорогая. Ты ведь знаешь, что я люблю тебя такой, какая ты есть.

Но Сильвия не ошибалась. Аннета из любви к ней отказывалась осуждать (тихонько вздыхая) свободную любовь Сильвии. Однако она не допускала мысли, что может поступать так сама. Сказывались не только пуританские убеждения матери, для которой это было бы позором. Цельность ее натуры, полнота ее чувства не позволяли ей разменивать любовь на мелочи. Несмотря на невнятный, но могучий зов чувственности, жившей своей жизнью,

Аннета в ту пору не могла без возмущения подумать о том, что бывает такая любовь, когда твоё существо, чувства твои, сердце, ум, уважение к себе, уважение к другому, священный порыв души, охваченной страстью, не пируют все вместе. Отдать тело и приберечь душу – нет, об этом не может быть и речи... Это предательство! Итак, оставалось одно решение: выйти замуж, полюбить на всю жизнь. Могла ли сбыться эта мечта у такой девушки, как Аннета?

Могла или нет, а помечтать не возбранялось. И она мечтала. Она вышла на опушку леса своей юности в тот прекрасный миг, когда, нежась напоследок в тени, под покровом грез, вдруг видишь, на равнине, залитой солнцем, длинные, нехоженные дороги, убегающие вдаль. На которой же останется след твоих ног? Не спеши выбирать: время терпит. Ум, помедлив, со смехом выбирает все. Счастливая девушка, не ведающая житейских забот, озаренная светом любви, собравшая целые охапки надежд, видит, что сердцу ее предлагаются на выбор десятки жизней, и, даже не спросив себя: «Какую же предпочесть?» – берет весь сноп: ей хочется вдохнуть его аромат. Аннета любила представлять себе картину будущего, и ее избранником был то один, то другой, то третий, она отбрасывала надкусанный плод, пробовала другой, снова брала тот, что бросила, и тут же отведывала еще один – и все не выбирала. Пора колебаний, беспечная восторженная пора! Но и в эту пору человек скоро начинает узнавать, что такое усталость, удручающий упадок сил, а иногда и сомнение без надежд.

Так мечтала Аннета о своей жизни – о предстоящих ей жизнях. Она поверяла свои неясные чаяния одной лишь Сильвии. А Сильвию забавляло, что сестра растревожена, истомилась и ничего не может решить. Все это ей было не очень понятно, ибо она привыкла (и хвасталась этим, приводя Аннету в негодование) сначала принимать решение, а потом уж выбирать. Но решаться сразу. Будет еще время выбрать.

– По крайней мере, – говорила она с самодовольной усмешкой, – знаешь, о чем идет речь!

Аннета пользовалась большим успехом в свете. За ней ухаживали почти все молодые люди. Поэтому девушки, – а многие были красивее Аннеты, – недолгоблывали ее. Особенно их уязвляло, что Аннета как будто и не старалась понравиться. Она казалась рассеянной, какой-то отсутствующей и ничего не делала, чтобы возбудить интерес у мужчин, волочившихся за нею, или польстить их самолюбию. Спокойно пристроится, бывало, где-нибудь в уголке гостиной, позволяет им подходить, будто и не замечает их присутствия, улыбается, слушает (но никто не знал, слышит ли); ее ответы не выходят за рамки самой обычной любезности. И все же мужчины окружали ее, старались понравиться, все – и светские львы, и блестящие собеседники, и просто милые молодые люди.

Завистницы уверяли, что Аннета притворяется, что ее безразличие-прием опытной кокетки; они начали замечать, что с некоторых пор Аннета стала одеваться не в своем чересчур уж строгом стиле, а элегантно и нарядно, и что оригинальные туалеты придают яркость, как они говорили, ее бесцветной, некрасивой внешности. Злые языки добавляли, что вокруг нее увиваются поклонники не ее прекрасных глаз, а ее состояния. Искусство изящно одеваться, впрочем, не было заслугой Аннеты; то было творчество Сильвии, ее вкуса, ее выдумки. Конечно, Аннета была «хорошей партией», кружок ее вздыхателей, разумеется, принимал это в расчет, поэтому он изъяслял ей нежные чувства с особым уважением, но только такую роль и играло это обстоятельство. Была бы она бесприданницей – поклонников у нее не стало бы меньше, только ухаживали бы они за ней смелее.

Сила ее обаяния заключалась в другом. Аннета не была кокеткой, но за нее действовали инстинкты. Могучие и неодолимые инстинкты. Могучие и неодолимые инстинкты сами знали, что нужно делать, и действовали наверняка, потому что воля ее держалась в стороне. Пока Аннета улыбалась, замирая и словно погружаясь в свой внутренний мир, плывя по ласковым волнам неясных своих грез, все видя и слыша в каком-то сладостном полусне, плоть говорила за нее; непреодолимое очарование исходило от ее глаз, губ, от всего ее свежего, сильного тела, от молодого ее существа, отягченного любовным томлением, как

глициния – цветами. Велико было ее обаяние, и никому (кроме женщин) и в голову не приходило, что она некрасива.

Она говорила мало, но стоило ей обронить слово в пустой болтовне, как открывался широкий кругозор ее незаурядного ума. Поэтому к ней стремились те, кто ищет в женщине душу, и желали ее те, кто отгадал, что в дремлющем ее теле (спящей заводи) покоится сокровищница неизведанных наслаждений.

Она как будто ничего не видела, а на самом деле видела отлично. Таково свойство женщин. У Аннеты вдобавок была богатая интуиция: она часто бывает свойственна натурам сильным и жизнедеятельным; благодаря ей мы без слов и жестов сейчас же начинаем понимать тот безмолвный язык, на котором разговариваем друг с другом. Когда Аннета казалась рассеянной, это означало, что она прислушивается к голосу своей интуиции. Темный лес сердец!.. И они и она охотились. Выслеживали. Аннета некоторое время шла то по одному, то по другому следу и, наконец, сделала выбор.

Молодые люди, среди которых она могла выбирать, были представителями той крупной буржуазии, образованной, деятельной, передовой (по крайней мере все они так думали), к которой принадлежал и Рауль Ривьер. Недавно отшумел ураган, поднятый делом Дрейфуса. Он сблизил инакомыслящих – их объединило общее для всех инстинктивное стремление к социальной справедливости. Это инстинктивное стремление, как выяснилось потом, оказалось не очень устойчивым. Социальная несправедливость свелась для Ривьера к одной лишь этой несправедливости. И таких, как Ривьер, были тысячи: беззакония, творившиеся на свете, не мешали ему спокойно спать; он даже умудрился без зазрения совести заключить превыгодные сделки с султаном – в те времена, когда его величество, не моргнув глазом, изволило под боком у снисходительной Европы учинить первую армянскую резню, и тем не менее он был глубоко искренне возмущен пресловутым делом Дрейфуса.

Нельзя слишком много требовать от людей! Раз в жизни они сразились за справедливость – и уже выбились из сил. Зато они раз в жизни были справедливы – так будем же им признательны! Они и сами себе признательны за это. Круг Ривьера, те семьи, отпрыски которых увивались сейчас за Аннетой, нисколько не сомневались в том, что они немало преуспели в защите права и что в приумножении своей славы они не нуждаются. Раз и навсегда люди эти возомнили себя сторонниками прогресса и сложили руки.

Успокоенные к тому же международным положением в то переходное время, когда социальная борьба почти заглушила национальные распри, не считая застарелой англофобии, этой головни, разгоревшейся в дни Англобурской войны и еще чадившей, наделенные умеренными патриотическими чувствами, весьма не воинственными, склонные к терпимости и благодушию, ибо принадлежали к партии-победительнице и были хорошо обеспечены, – они составляли ту часть общества, которая, по-видимому, жила припеваючи, проповедовала свободную мораль с налетом какого-то неопределенного гуманизма, а вернее – утилитарную, полную скептицизма, без особых принципов, но и без особых предрассудков... (Доверяться чрезмерно не следовало!..) В их рядах насчитывалось несколько католиков-либералов, немало протестантов, еще больше евреев, костяк же составляла добропорядочная французская буржуазия, чуждая религии и заменившая ее политикой; носила она самые разнообразные ярлычки, но не совсем отрешилась от республиканского духа, который, продержавшись тридцать лет, приобрел наиболее удобную форму – форму консерватизма. Были тут и поклонники социализма – молодые, богатые и образованные буржуа, покоренные красноречием и примером Жореса. Еще длился медовый месяц социализма и республики.

Аннета никогда серьезно не интересовалась политикой. Так богата была ее внутренняя жизнь, что у нее не оставалось для этого времени. Но была пора, когда она, как и другие, горячо принимала к сердцу дело Дрейфуса.

Любовь к отцу заставляла ее на все смотреть его глазами. По велению сердца, из свободолюбия, заложенного в ее натуре, ей суждено было всегда принимать сторону угнетенных. Вот почему она познала минуты сильного волнения, когда Золя и Пикар

бесстрашие напали на лютого Зверя – на общественное мнение, сорвавшееся с цепи. И когда она проходила мимо тюрьмы «Шерш-Миди», вероятно, и у нее, как у многих девушек, сердце громко стучало от тревоги за того, кто там томился. Но она не отдавала себе отчета в этих чувствах; Аннета не могла заставить себя внимательно проанализировать дело Дрейфуса. Политика внушала ей отвращение; она попробовала было приглядеться к ней, но тотчас же отпрянула – так стало ей скучно и противно, а почему – в этом она даже не пыталась разобраться. Она всегда смотрела правде в глаза и видела, что каждая сторона, в общем, убога и нечистоплотна почти в равной степени. А сердцу, не такому ясновидящему, как ее глаза, все хотелось поверить, что партия, которая ратует за идеи справедливости, должна состоять из людей самых справедливых. И Аннета упрекала себя в том, что от лени – так ей казалось – не разузнала получше об их деятельности. Вот почему она относилась к ним с каким-то выжидательным доброжелательством, не более, – так, слушая новое музыкальное произведение, поручкой которому служит имя знаменитого композитора, невольно проникаешься к нему благоговением, хотя и не понимаешь его, заранее готов поверить, что оно прекрасно, и, быть может, только значительно позднее откроешь его для себя.

Аннета, человек с чистым сердцем, верила в незапятнанность ярлыков, не ведая, что нет большего обмана, чем в торговле идеями. Она еще верила в жизнеспособность иных наспех сфабрикованных «измов», этикетки на которых возглашали о различных политических настроениях, и ее привлекали те, которые возвещали о партиях передовых. Она заблуждалась, в глубине души надеясь, что именно там и встретит спутника жизни. Она привыкла к вольному воздуху и тянулась к тем, кому, как и ей, претили застарелые предрассудки, заплесневелые привычки и спертый воздух в здании прошлого.

Она и не думала чернить это старинное жилье. Ведь оно было хранилищем мечты целых поколений. Но воздух там был скверный. Если кому угодно, пусть там и остается! А ей нужен чистый воздух. И она глазами искала друга, который помог бы ей перестроить дом, сделать его просторным и светлым.

В гостиных собиралось немало молодых людей, казалось бы, способных понять ее, помочь ей. Многие – с ярлыком и без ярлыка – отличались смелостью взглядов. Но, к несчастью, их смелость шла иными путями. «Жизненный порыв», по выражению одного философа, у них был ограничен. Сразу он никогда не распространяется во все стороны. Редко, крайне редко встречаешь умы, которые освещают все вокруг и идут вперед. Большинство тех, кому удалось зажечь светоч (а таких немного), озаряют своим факелом только часть, крохотную часть пути, лежащего перед ними, вокруг же царит непроглядная тьма. И даже можно сказать, что, продвигаясь вперед, почти всегда платишься тем, что в другом направлении отступаешь. Революционер в политике иногда бывает бездарным консерватором в искусстве. А если он и отбросил горсточку своих предрассудков (из тех, которых придерживался меньше всего), то еще крепче цепляется за оставшиеся.

Ни в одной области с такой силой не обнаруживалось в ту пору, до чего неровен ухабистый путь в будущее, как в моральной эволюции полов. Женщина, стараясь порвать с ошибками прошлого, вступала на одну из тропинок, ведущих к новому обществу, и редко удавалось ей встретиться с мужчиной, который тоже стремился бы к новым формам жизни. Он выбирал иной путь. И если их крутым дорогам и суждено было на миг скреститься на вершине горы, то они поворачивались друг к другу спиной. Такое различие целей особенно изумляло в ту эпоху во Франции, где умственное развитие женщин прежде отставало, а вот уже несколько лет готовилось сделать скачок, в чем мужчины тогда не отдавали себе отчета. Да и женщины не всегда ясно представляли себе это, пока в один прекрасный день не наталкивались на стену, отделявшую их от попутчиков. Удар был страшен. Аннете привелось – и это обошлось ей дорого – столкнуться с таким печальным недоразумением.

Души целым роем витали вокруг Аннеты, и ее глаза, ее рассеянные глаза, которые неприметно оглядывали каждую, только что сделали выбор. Но ничего не сказали. Ей хотелось подольше притворяться перед самой собой, будто она все еще колеблется. Когда

тебя больше не мучит нерешительность, так приятно мысленно повторять: «Ведь я еще ничем не связана» – и напоследок широко распахнуть врата надежды.

Их было двое – два молодых человека лет двадцати восьми – тридцати.

Марсель Франк и Рожэ Бриссо – между ними и колебалась Аннета, строя планы на будущее, хотя отлично знала, кто именно ее избранник. Оба принадлежали к состоятельным буржуазным семьям, были изысканны, учтивы, умны, но и среда, окружавшая их, и характеры были у них совсем разные.

В Марселе Франке, наполовину еврее, было то обаяние, которое нередко порождается смешанным браком лучших представителей двух рас. Рост средний, фигура тонкая, стройная, изящная, матовый цвет лица, синие глаза, нос с горбинкой, светлая борода; удлиненный, чуть-чуть лошадиный профиль напоминал профиль Альфреда де Мюссе. Такой же умный, ласковый взгляд-то нежный, то дерзкий. Его отец, богатый коммерсант, занимавшийся торговлей сукном, оборотистый делец и увлекающийся человек, имевший пристрастие к современному искусству, поддерживавший молодую журналистику, покупавший полотна Ван-Гога и таможенного чиновника Руссо, женился на красавице тулузке, – она получила вторую премию в театральном училище и некоторое время была на первых ролях у Антуана и Пореля. Иона Франк, человек напористый, сначала взял ее приступом, потом вступил с ней в законный брак; тогда она покинула сцену, несмотря на шумный успех, и с большим так-том стала вести одновременно и дела мужа, и свой литературный салон, хорошо известный в мире искусств. Супруги жили в согласии: по безмолвному сговору они сквозь пальцы смотрели на поведение друг друга, во имя общих интересов все так ловко устраивали, что избегали пересудов, и воспитали единственного сына в атмосфере взаимной дружбы – насмешливой, но снисходительной. Марсель Франк усвоил мысль, что труд и удовольствие гармонируют, что в мудром их сочетании и состоит искусство жить. И он изучал это искусство так же глубоко, как всякое другое, и стал его тонким знатоком. Служил он в управлении национальных музеев и давно уже славился как искусствовед. Его медлительный, пронизательный, дерзкий и в то же время снисходительный взгляд умел читать не только по картинам, но и по живым лицам. И лучше всех вздыхателей Аннеты умел читать в ее душе. Она это хорошо знала. Иной раз только очнется от туманных своих грез или, говоря об одном, начнет думать совсем о другом – и вдруг взглядом встретится с его любопытным взглядом, как будто говорившим ей:

«Аннета, вижу вас всю – нагишом».

И вот что странно: она, целомудренная Аннета, ничуть не смущалась. Ей хотелось спросить:

«Что ж, я вам нравлюсь?»

Они обменивались понимающими улыбками. Пусть срывает с нее покровы, ей было все равно: она знала, что никогда не будет ему принадлежать.

Марсель читал это в ее душе, но встревожен не был. Думал:

«Поживем – увидим!»

Ибо он знал другого.

Другой, Рожэ Бриссо, был его товарищем по лицу. Франк отлично понимал, что Аннета отдает предпочтение Бриссо. Во всяком случае, пока...

«Ну, а дальше?... Посмотрим!..» Бриссо был хорош собой: открытое, красивое, простодушное лицо, веселые карие глаза, правильные, грубоватые черты, полные щеки, крепкие зубы, чисто выбрит, над умным лбом по-юношески густая грива черных волос, расчесанных на боковой пробор. Высок, широк в плечах; ноги длинные, руки мускулистые; легкая походка, порывистые движения. Говорил он хорошо, очень хорошо, голос у него был душевный, мелодичный, низкий и звучный, который так всем нравился, который нравился ему самому. В учении он соперничал с Франком, был на редкость способен, схватывал все на лету, привык к тому, что занятия идут у него успешно, однако не меньше наук любил упражнения, развивающие мускулатуру. Бывая в Бургундии, – земли его родителей, леса и виноградники граничили с усадьбой Ривьеров, – ходил без усталости, охотился, ездил верхом. И

Аннета не раз встречалась с ним, гуляя в тех краях. Но тогда она мало думала о спутнике, любила бродить одна; да и Рожэ, попав на вольные просторы, вырвавшись из Парижа на несколько месяцев, разыгрывал юного Ипполита: притворялся, будто ему веселее проводить время с конем и собакой, чем с девушкой. Встречались молча, обменивались поклоном и взглядами. Но и это не прошло бесследно. Осталось приятное воспоминание, бессознательное влечение двух физически хорошо подобранных существ.

Родители Рожэ думали об этом не раз. Не только юная пара, – казалось, и имения были созданы для того, чтобы соединиться. Однако, пока был жив Рауль Ривьер, отношения хотя и были добрососедскими, но холодноватыми и отчужденными. Презабавно было то, что Ривьер, который никогда не поступался своим свободолобием, брал заказы на архитектурные работы в аристократических и реакционных кругах, из хитрости кадил им и (на сей раз без метафоры) хаживал к обедне, если было нужно для дела, чтобы обратить на себя внимание, за что и прослыл среди радикальных республиканцев, у себя в провинции, реакционером, даже клерикалом (что очень его потешало). А Бриссо были столпами радикализма. Все представители рода, принадлежавшего к судейскому сословию, – адвокаты и прокуроры – кичились тем, что уже больше века род их – приверженец республики (и так оно и было во времена Первой Республики, но все они по забывчивости не упоминали, что их предок, бывший член Конвента, был награжден орденом Лилии, когда вернулись Бурбоны), верили в республику, как иные веруют в господ бога, и воображали, будто они – носители всех ее традиций: положение обязывает!

Поэтому-то Бриссо и считали своим долгом сурово порицать Рауля Ривьера и держались от него на расстоянии; такое отношение, впрочем, ничуть не огорчало Рауля, ибо он не ждал от них заказов. Но вот началось знаменитое дело Дрейфуса, и Ривьер – это было ясно для всех – очутился неожиданно для себя в прогрессивной партии. И мигом его обелили; поставили крест на прошлом; открыли в нем высокие общественные и республиканские качества, – он их в себе и не подозревал, но, вероятно, не преминул бы извлечь из них выгоду, если б смерть не спутала все его планы.

На планах Бриссо это не отразилось. Эти убежденные республиканцы, которые на протяжении века умело сочетали благоговейное отношение к своим принципам с благоговейным отношением к своим выгодам, были богаты и, разумеется, стремились стать еще богаче. Было известно, что Ривьер оставил дочери изрядное состояние. Недурно было бы присоединить бургундское ее имение к владениям Бриссо. Правда, единомышленники Бриссо отводят второстепенное место расчету на богатство, хотя это – первое, что приходит им в голову: когда речь идет о браке, утверждают они, прежде всего следует принимать в соображение, что представляет собой сама девушка. В данном случае девушка удовлетворяла всем требованиям. То, что было известно о ней, укрепляло Бриссо в их мнении: и ее положительный характер, и то, что говорили о ее преданности отцу. Изумительные способности, простота. Превосходно держится в обществе. Уравновешенна. Неглупа. Здорова. Правда, находили что-то неестественное в ее занятиях в Сорбонне, в ее исследованиях, диссертации. Но полагали, что образованная, скупающая девушка придумала себе такое развлечение и что все это до первого ребенка. Кстати, неплохо показать всем, что они, Бриссо, поклонники просвещения, даже просвещения женщин, лишь бы оно не было помехой. Аннета, слава богу, была бы не первой образованной женщиной в семье. Г-жа Бриссо, мать Рожэ, и его сестра, мадемуазель Адель, слыли – для этого были известные основания – и не только сердечными, но и умными женщинами, участвовали и в духовной и в деловой жизни мужчин Бриссо. Образование Аннеты служило порукой, что по крайней мере тут нечего опасаться веяний клерикализма, а это так важно! Вообще в новой семье ее нежно опекали бы, и это оберегало бы ее от всяких пагубных увлечений. Их дорогой девочке так легко будет слиться воедино с теми, чью фамилию она будет носить, – она осиротела и как же будет счастлива, когда попадет под крылышко второй матери и сестры постарше, которые только одного и хотели: руководить ею. Ведь дамы Бриссо – а были они весьма наблюдательны – находили, что Аннета пресимпатична, благовоспитанна, мягка, вежлива,

сдержанна, робка (по их мнению, это не являлось недостатком), холодновата (а это уже было почти добродетелью).

Итак, Рожэ с согласия всего своего семейства – вопрос предварительно обсудили – стал ухаживать за Аннетой. Он ничего не утаивал от своих, всегда был уверен, что его одобряют. Все близкие обожали этого взрослого ребенка. Платил он тем же. В семье Бриссо царило взаимное преклонение.

Правда, некоторая иерархия соблюдалась, но каждый расценивался высоко.

Право же, нельзя было не признать, что все они наделены незаурядным умом, приятной внешностью, богатством. И они – люди благовоспитанные – признавали это, даже весьма охотно, но не показывали этого людям, которых считали недостойными себя. Впрочем, кто мог бы сомневаться во всем этом, видя, какой спокойной уверенностью дышат их лица! Они были уверены в себе и всего увереннее в Рожэ. Он был их любимцем, гордостью и, пожалуй, не без оснований. Никогда еще древо рода Бриссо не приносило такого сочного плода. Рожэ был наделен лучшими чертами своего рода, а если и обладал его недостатками, то они не раздражали: он был так мил, так молод, что их не замечали. А талантов у него была пропасть: все ему легко давалось, особенно ораторское искусство. Красноречие было ленным владением Бриссо. В их роду уже прославился один адвокат, у них у всех была врожденная склонность к витийству. Было бы несправедливо утверждать, будто им нужно говорить, чтобы думать, как говорунам-южанам. Но одно бесспорно – говорить им было нужно. В пышных фразах словно расцветали все их способности – Бриссо зачали бы от молчания. Отец Рожэ, в прошлом один из знаменитейших болтунов, прославивших трибуну палаты депутатов, – избиратели сыграли с ним плохую шутку, не избрав вторично, – задыхался от красноречия, замкнувшегося в своей скорлупе, и Рожэ, которому в ту пору было шесть лет, наивно говорил, когда они вдвоем сидели у камина:

– Папа, произнеси-ка для меня речь! Теперь он делал это сам. Первые же выступления молодого человека на собраниях адвокатов и в суде создали ему блестящую репутацию. Под стать всем Бриссо, он отдал свои дарования на службу политике. Превосходным трамплином были для него митинги по поводу дела Дрейфуса; он бросился в бой, он наговорился всласть. Юношеский пыл, смелость, красивые слова, лившиеся потоком, прекрасная внешность – все привлекало к нему симпатии восторженных дрейфусисток и молодежи. Семейство Бриссо, – а оно только и думало, как бы не отстать по дороге прогресса, и больше всего боялось, как бы не сделать слишком рано лишний шаг вперед, – осторожно разведая почву, наставило своего наследника, свою гордость и надежду, на путь социализма, однако весьма благомысленного. Впрочем, и самого Рожэ чутье влекло на этот путь. Он, как все лучшие представители молодежи того времени, подпал под обаяние Жореса и старался перенять приемы великолепного оратора, речи которого были полны пророческих предначертаний и всяческих иллюзий. Он провозгласил, что долг народа и интеллигенции – сблизиться. И это стало темой весьма красноречивых его выступлений. Если народ, у которого просто не хватало на это досуга, многого и не понял, зато это скрасило досуг молодых представителей буржуазии. Рожэ – ему помогла подписка и узкий круг друзей – основал кружок, газету, партию. Сам же он потратил на это уйму времени и немножко денег. Все Бриссо умели рассчитывать, умели и тратить с толком.

Им льстило, что их чадо – вожак нового поколения. И они подготовляли почву для приближающихся выборов. Для Рожэ было намечено местечко в будущей палате депутатов. И он об этом знал, Рожэ привык, что в него с самого детства верят все близкие, и уверовал в себя; он толком не знал, какие же у него убеждения, однако несколько в них не сомневался. Никакого высокомерия. Он был полон самодовольства и ничуть не скрывал этого.

Ему везло во всем; он привык к этому, ему казалось, что это вполне естественно; он и не думал этим гордиться и был бы потрясен, если бы удача ему изменила: устоям, которые он свято чтит, был бы нанесен сокрушительный удар. Он был такой славный! Эгоистом он был, сам того не ведая, и отнюдь не закоренелым, а каким-то наивным, был добряком, красавцем, мог бы давать другим, но намеревался от других только брать и не представлял

себе, что кто-то может ему в чем-либо отказать; простой, славный, сердечный, требовательный юноша все ждал, что к его ногам падет весь мир. Право же, он был весьма привлекателен.

И Аннета увлеклась. Хотя она и составила о нем довольно верное суждение, но оно не помешало ей полюбить его еще сильнее. Ее умиляли его слабости, они были ей бесконечно дороги. Ей казалось, что именно из-за них в нем столько ребяческого, – больше, чем мужественного. И эта двойственность радовала ее сердце. Ей нравилось, что Рожэ ничего не скрывает: сразу было видно, какой он. Его наивное восхищение собою говорило о том, какая у него непосредственная натура.

С Аннетой он был особенно откровенен оттого, что влюбился в нее. Пылко, безудержно. Он не знал половинчатости в чувствах. А вот видел все лишь наполовину.

Любовь к ней вспыхнула как-то вечером, в одной из гостиных, – он был в ударе и блистал красноречием. Аннета не проронила ни слова. Но она была чудесной слушательницей. (Так по крайней мере ему казалось.) В ее умных глазах он читал свои собственные мысли и находил, что они стали еще яснее, еще возвышеннее. Ее улыбка радовала его – значит, он хорошо говорил, а еще более глубокую радость доставляло ему сознание, что она разделяет его мысли. А как прекрасна была его слушательница! Какой замечательный ум, какая возвышенная душа светилась в ее пристальном и выразительном взгляде, в ее проникновенной улыбке! Он говорил один, а ему казалось, что он разговаривает с нею. Во всяком случае, теперь он говорил только для нее и чувствовал, что этот мысленный диалог – таинственный, безмолвный – возвышает его...

Аннета, по правде говоря, и не слушала. Она была так умна, что быстро схватила главную мысль Рожэ и с привычной рассеянностью следила лишь за красивыми, гладкими фразами. Но она воспользовалась тем, что он был поглощен собственными речами, и решила получше его рассмотреть: глаза, рот, руки и как, когда он говорит, у него двигается подбородок, как раздуваются красивые ноздри, словно у заржавшего жеребца, и какая милая у него манера произносить некоторые буквы, и что же все это выражает – и внешне и внутренне...

Смотреть она умела. Видела, как ему хочется, чтобы им восхищались, видела, как ему нравится, что он нравится, и то, что она считает его красивым, умным, красноречивым, удивительным. Она не находила, – нет, пожалуй, чуть-чуть, совсем чуточку! – что он смешон. Напротив, была полна умиления.

(«Да, милый, ты хорош собой, ты чудный, умный, красноречивый, удивительный... Тебе хочется, чтобы я улыбнулась? Вот, милый, я даже два раза тебе улыбнулась... и смотрю на тебя так ласково... Ты доволен?»).

И в глубине души она смеялась, видя, как он счастлив, как торжествует, – еще громче заливается, словно вешняя пташка.

Он смаковал похвалы, пил их, не разбавляя, не подбавляя к ним ни капли собственной иронии, жаждал еще, никогда не пресыщался. И, упиваясь своим пеньем, сливал с ним и ту, которая им любовалась. Он вообразил, что она – воплощение всего, что было в нем самого лучшего, чистого, гениального, и стал обожать ее.

А та, чьей души с первых же взглядов коснулась любовь, почувствовала, что тонет в его обожании, и совсем перестала сопротивляться. Исчезла даже ласковая ирония, которой она прикрывала, будто латами, свое трепещущее сердце, и она подставила страсти свою незащищенную грудь. Как жаждала она любви! Как сладостно утолить жажду (она предвкушала это), прильнув к губам того, кто ей так нравился! А то, что он предвосхитил ее желание и так пылко тянулся к ней губами, наполняло ее какой-то восторженной благодарностью.

Пламя разбушевалось. Каждый воспламенялся от страсти другого и питал ее своею страстью. И чем пламеннее было чувство влюбленных, тем большего они ждали друг от друга и тем больше старались превзойти взаимные ожидания. Это очень утомляло. Но у них в запасе были нерастраченные силы молодости.

А пока силы Аннеты дремали в бездействии. Им не давали воли. На нее нахлынуло чувство Рожэ. Она тонула. Он не позволял ей передохнуть. Натура у него была общительная, безудержная, и его потребностью было все высказать, всем поделиться: мыслями о будущем, о настоящем, о прошлом.

Как пространно он говорил! Это было его свойство. А к тому же он хотел все узнать, все присвоить. Он вторгался в тайны Аннеты. Аннета, отступая, напоследок с трудом защищалась. Все это ее отчасти возмущало, отчасти радовало и забавляло; не раз пыталась она рассердиться на Рожэ за этот натиск, но завоеватель был так мил! И она с наслаждением шла на уступки; она не сопротивлялась насилию чужой воли («Et cognovit lam» – он совсем ее не знал!..), а втайне подчас вся горела то от негодования, то от удовольствия.

Да, не очень благоразумно без сопротивления отдать себя целиком.

Иногда, забыв обо всем на свете, поверишь свои тайны, а потом тот, кому ты доверился, обернет их против тебя же. Но Аннета и Рожэ мало об этом заботились. В ту пору их любви ничто друг в друге не могло им разонравиться, ничто не могло поразить. Все то, что поверял любимый, не только ничуть не удивляло любящую, но, казалось, совпадало с ее невысказанным мнением. Рожэ теперь не следил за собой – следил еще меньше, чем прежде, и Аннета слушала его откровенные признания снисходительно, однако, помимо воли, все запоминала до мелочей.

Радостно было, что у них столько общего в прошлом, а еще радостнее, что и настоящее и прошлое утопают в мечтах о будущем, – их будущем, ибо хотя Аннета и ничего еще не сказала, ничего не обещала, но на ее согласие так полагались, так рассчитывали, так его требовали, что она в конце концов и сама вообразила, будто уже дала его. Полуприкрыв свои счастливые глаза, она слушала, как Рожэ (он принадлежал к тем, кто наслаждается завтрашним днем больше, чем нынешним) с неиссякаемым воодушевлением описывал блистательную жизнь, богатую мыслями, заполненную полезной деятельностью, приуготовленную... Кому? Ему, Рожэ. Ну и ей, разумеется, тоже, ведь она отныне – частица Рожэ. И она не сердилась, что от ее личности ничего не остается, она слишком была поглощена чудесным своим Рожэ, – не могла его наслушаться, на него наглядеться, нарадоваться. Он много говорил о социализме, справедливости, человеколюбии, об освобожденном человечестве. Поистине был великолепен. На словах душевное его благородство было безгранично. Это волновало Аннету. Ей казалось отрадной мысль, что и она примет участие в его деятельности во имя всесильного добра. Рожэ никогда не спрашивал ее, что она об этом думает. Подразумевалось, что она думает так же, как и он. Да и не могла она думать иначе. Он говорил за нее. Он говорил за них обоих – ведь он говорил лучше.

Он ронял:

– Вот что мы сделаем... У нас будет...

Она ничего не оспаривала. Напротив, чуть ли не благодарила. Планы были так необъятны, так расплывчаты, так бескорыстны, что просто не было причин считать себя обделенной. Рожэ стал для нее светом, стал для нее свободой... Пожалуй, в этом было что-то неопределенное. Аннете, пожалуй, и хотелось, чтобы все было поточнее. Но ведь все это придет позже, ведь сразу всего не выразишь. Продлим же удовольствие. Будем сегодня наслаждаться неоглядными планами на будущее...

Больше всего она наслаждалась, глядя на его очаровательное лицо, чувствуя, как жадно тянутся друг к другу их влюбленные тела, по которым внезапно пробегали электрические токи, огонь желаний, плававший в них обоих, сильных силою непорочной молодости, здоровых, крепких, горячих.

Всего красноречивей был Рожэ, когда внезапно умолкал. И тогда слова, отзвучав, рисовали перед ними упоительные картины, а глаза встречались: им казалось, будто они вдруг прикоснулись друг к другу. Налетал такой порыв страсти, что захватывало дыхание. Рожэ больше не думал ни оболящать, ни говорить. Аннета больше не думала ни о будущем человечества, ни даже о своем будущем. Они забывали обо всем, обо всем, что их окружало:

о том, что они в гостях, о том, что вокруг люди. В эти секунды они сливались в единое целое, словно воск на огне. Ничего не существовало, кроме их влечения друг к другу – этого закона природы, единого, всепоглощающего и чистого, как огонь. У Аннеты темнело в глазах, щеки у нее вспыхивали, а немного погодя, поборов головокружение, она с трепетной и томительной уверенностью думала о том, что придет день и она поддастся соблазну...

Ни для кого их страсть уже не была тайной. Они не могли ее скрывать.

Пусть Аннета молчала – глаза говорили за нее. Они так красноречиво выражали согласие и без слов, что, по мнению всех, да и самого Рожэ, она как бы уже безмолвно связала себя обещанием.

И лишь семейство Бриссо не теряло из виду, что Аннета еще далека от этого. Признания Рожэ Аннета выслушивала с явным удовольствием, но ответа не давала, уклонялась, ловко переводила разговор на какую-нибудь возвышенную тему, а простачок Рожэ приносил добычу в жертву ради миража и, очертя голову и млея, пускался в рассуждения. Аннета отмалчивалась.

Бриссо – люди, умудренные опытом, – два-три раза подмечали ее маневр и решили сами взяться за дело. Конечно, они ничуть не сомневались в согласии Аннеты: ведь для нее такая блестящая партия-счастье. Но, знаете ли, надо считаться с прихотями взбалмошных девиц! Бриссо знали жизнь. Знали все ее ловушки. То были хитрые французские провинциалы. Если решение вопроса задерживается, надо пойти навстречу – так советует предусмотрительность. И обе дамы Бриссо пустились в путь.

Существовала особая улыбка, которую в кругу их знакомых, в Париже, звали улыбкой Бриссо: умильная и елейная, приветливая и снисходительная, шутливая, вместе с тем осторожная, все предугадывающая, изливающая благоволение, но совершенно безразличная; она сулила щедрые дары, только дары эти так и оставались посулами. Обе дамы Бриссо улыбались именно такой улыбкой.

Госпожа Бриссо, мать Рожэ, высокая, представительная дама, широколицая, толстощекая, жирная, грузная, с внушительной осанкой и пышным бюстом, говорила вкрадчиво и такие преувеличенно лестные вещи, что Аннете, всегда такой искренней, становилось не по себе. Лестила она не только Аннете (которая это скоро, и с облегчением, заметила). На похвалы вообще не скупилась. И вечно все пересыпала шутками – так Бриссо из вежливости проявляли присущую всем им самоуверенность, желая показать, что относятся к этой своей черте с добродушной иронией, принимают этот дар благодушества.

У сестры Рожэ, мадемуазель Бриссо, тоже высокой и полной, волосы были такие светлые, даже обесцвеченные, что казались чуть ли не белыми, как у альбиноски. Вдобавок – слой рисовой пудры на щеках и подмазанные губы.

Она подделывалась под пастели времен Людовика XV. Натье написал бы с нее Фебу Бургундскую – жеманную, бесцветную и дородную. Мать называла крепкую девицу «бедной крошкой», ибо мадемуазель Бриссо, хоть и чувствовала себя великолепно, решила, созерцая в зеркало свои бледные ланиты, что здоровье у нее слабое, но не сочла выгодным холить себя. Зато воспользовалась предлогом, чтобы показать, какая она стойкая и как она презирает изнеженных представительниц своего пола, которые стенают из-за пустячной царапины. И правда, она была просто изумительна-деятельна, неумоима, все читала, всюду бывала, все знала, разбиралась в живописи, понимала музыку, рассуждала о литературе, ежедневно вместе с г-жой Бриссо наносила визиты, входившие в число тех двухсот – трехсот визитов, которые им надлежало сделать за определенный промежуток времени, в свою очередь, принимала визитеров, давала обеды, посещала концерты, театры, заседания палаты и выставки, не поддавалась усталости и не жаловалась на нее, – только, если выпадал подходящий случай, вздыхала, но тотчас же мужественно пересиливала себя; однако, истязая свою плоть, она умела и поддерживать силы – любила плотно покушать (как все семейство) и спала крепко, без снов. Она была хозяйкой и своего сердца и своего тела. Она не спеша готовила почву для своего замужества с неким политическим деятелем лет сорока, который сейчас был губернатором одной из крупных заморских колоний. Она и не подумала

поехать туда за ним. Отказаться от Парижа и фамилии Бриссо она намеревалась лишь в том случае, если осласливленный избранник предложит ей во Франции положение, достойное ее. Вообще же постаралась, чтобы в высоких сферах его не забыли. Они вели задушевную и деловую переписку. Этот роман на расстоянии длился уже не один год. Придет время, и она выйдет замуж. Она не спешила. Муж будет уже в летах.

Тем лучше – так считала мадемуазель Бриссо. Голова у нее была светлая.

Да и у всех Бриссо голова была на плечах. А у мадемуазель Бриссо она была в высшей степени склонна к политике. Мадемуазель Бриссо, по словам ее мамы, была настоящей Эгерией. Г-жа Бриссо восторгалась познаниями мадемуазель Бриссо. Мадемуазель Бриссо восторгалась хозяйственностью и умом г-жи Бриссо. В их отношениях было много показного, жеманного. При Аннете они то и дело целовались. Ведь это было так мило!

Однако с некоторых пор они стали умеренно восхвалять друг друга – они льстили теперь Аннете. Они рассыпались в комплиментах ей, ее дому, туалетам, вкусу, уму, красоте. Они так захваливали Аннету, что ей это было неприятно; однако нельзя совсем равнодушно относиться к тому, что другие о тебе лестного мнения, особенно если они, эти другие, в твоих глазах посланцы того, кого ты нежно любишь. Да и как было не поверить похвалам: ведь дамы Бриссо то и дело упоминали имя Рожэ, о чем бы ни зашел разговор. В похвалы ему они вплетали похвалы Аннете; шутливо и назойливо намекали на то, какое впечатление произвела на него Аннета, на то, что знают, о чем она ему говорила, – он тотчас же все с восхищением им пересказывал (все пересказывал; Аннета и сердилась и тем не менее была тронута). Они рисовали, не жалея красок, его блестящее будущее, и голос у г-жи Бриссо звучал проникновенно, когда она высказывала надежду, даже уверенность, что Рожэ найдет – да, собственно, уже и нашел – достойную подругу жизни. Они не называли ее, но все было понятно. Все эти уловки были видны издали невооруженным глазом. Так нарочно и делалось. Напоминало это саленную игру в фанты: разговор затевался ради одного слова, которое у каждого вертелось на языке, но которое нельзя было вымолвить.

Казалось, г-жа Бриссо с улыбкой подстерегает это слово, готовое слететь с губ Аннеты, чтобы провозгласить:

«Фант!»

Аннета улыбалась, открывала рот. Но слово не слетало...

Бриссо приглашали Аннету на семейные вечера в свою квартиру на улице Прованс. Она познакомилась с самим Бриссо-отцом – высокий, тучный, хитрые глазки, глядящие из-под густой чащи бровей, лицо красное, седая бородка, повадки стряпчего-ловкача, притворы; его избитые остроты и любезности просто удручали Аннету. Он тоже попытался было поиграть в салонную игру, но все время садился в лужу со своими иносказаниями. Они испугнули Аннету. Г-жа Бриссо сделала знак мужу не вмешиваться. Тогда он вышел из игры, стал следить за ней втихомолку, посмеивался и был вполне согласен, что это не его забота – гораздо лучше справятся женщины.

Госпожа Бриссо искусно повела дело: сначала она пригласила вместе с Аннетой всего лишь трех-четырех близких друзей, потом – двух, потом одного, потом – никого, кроме нее. И Аннета очутилась одна лицом к лицу с четверкой Бриссо. «В кругу семьи», – с елейным видом говорила г-жа Бриссо материнским, многообещающим тоном. Аннета чувствовала, что она в западне, но не убегала, – так хорошо было ей около Рожэ. Из любви к нему она снисходительно относилась к его родным, закрывала глаза на все то, что в их среде ее глухо раздражало. Тонкое женское чутье предупредило дам Бриссо (хоть и велико было их самолюбие, но оно никогда не вредило их интересам): по молчаливому соглашению они стусевались – меньше говорили, взвешивали свои слова, часто оставляли влюбленных наедине, не вмешивались в их разговоры. Но лучшим защитником дела Рожэ был он сам. Он становился все влюбленней, все больше тревожила его Аннетина сдержанность, которая не так уж волновала бы его, если б мать и сестра не указали ему на нее, и никогда он не был так обаятелен, как с той поры, когда поколебалась его самоуверенность. Он больше не разглагольствовал, его красноречие угасло. Впервые в жизни он старался читать в душе

другого.

Он сидел рядом с Аннетой, и его покорный, горящий, ненасытный взгляд молил живую загадку, пытался ее разгадать. Аннета наслаждалась и его смятением, и несвойственной ему робостью, и тем, с каким боязливым ожиданием он подстерегает каждое ее движение. Она колебалась. В иные минуты она готова была согласиться, произнести решительное слово. И все же не произносила. В последнюю секунду инстинктивно отстранялась, сама не зная почему; вдруг начинала избегать признания в любви, которое собирался сделать Рожэ, и согласия. Она вырывалась из рук...

Но вот западня захлопнулась. Мать и дочь Бриссо обычно вслушивались в бесплодный разговор, притаившись в одной из соседних комнат. Иногда с деловым видом проходили по гостиной, улыбались. Бросали несколько приветливых слов, но не останавливались. А влюбленные продолжали долгую свою беседу.

Однажды вечером они рассеянно перелистывали альбом, чтобы иметь предлог сблизить головы, обменивались вполголоса своими мыслями и вдруг замолчали; Аннета тотчас почувствовала опасность. Она хотела было вскочить, но рука Рожэ обвилась вокруг ее талии, а жадные губы прильнули к ее полуоткрытым губам. Она попыталась защититься. Но как защищаться от самой себя! Ее губы вернули поцелуй, а хотели его избежать. И все же она вырывалась, но тут, с другого конца гостиной, затрубил растроганный голос г-жи Бриссо:

– Ах, милая моя дочь!

И она стала звать:

– Адель!.. Господин Бриссо!..

И не успела ошеломленная Аннета оглянуться, как ее окружило все семейство Бриссо – сияющее, умиленное. Г-жа Бриссо осыпала ее поцелуями, прикладывала к глазам носовой платочек и твердила:

– Любите же его! Мадемуазель Бриссо повторяла:

– Сестричка! А г-н Бриссо, как всегда, промахнулся:

– Наконец-то! Сколько времени даром потеряли!..

Пока все это происходило, Рожэ стоял перед Аннетой на коленях, целовал ее руки, робким, пристыженным взглядом просил о прощении и твердил:

– Не отказывайте! Аннета, словно окаменев, принимала поцелуи; мольба глаз, которые она так любила, путами связала ее. Она сделала последнее усилие, попробовала сопротивляться:

– Да ведь я ничего еще не сказала! Но в глазах Рожэ мелькнуло такое искреннее отчаяние, что она не могла это перенести: заставила себя улыбнуться; и когда лицо Рожэ засветилось от счастья, то ее лицо тоже засияло от радости, которую она ему даровала. Она сжала его голову руками.

Рожэ вскочил, крича от восторга. И они поцеловались под благословляющим взглядом родителей поцелуем обручения.

Когда вечером Аннета осталась дома наедине с собой, то почувствовала, что сражена. Больше она себе не хозяйка. Она отдала себя... Отдала себя!

Жизнь свою отдала... Сердце сжималось от тоски.

Аннета преувеличивала прочность уз, принять которые только что согласилась. Она была не из тех современных девиц, которые при женихе, мило кокетничая, говорят о разводе. Она не давала одной рукой, чтобы Другой отнять. Больше она не принадлежала себе. Принадлежала всем этим Бриссо.

И вдруг ей показалось, что все Бриссо – ее враги. Все то, на что за последние недели она насмотрелась, предстало теперь перед ней в ярком свете: и все их старания сблизиться с нею, чтобы опутать ее, и заговор против ее свободы, и, наконец, эта комедия вынудили дать согласие, застали ее врасплох... (Уж не был ли соучастником и Рожэ, сам Рожэ?) И она ошетибилась, как зверек во время облавы, который видит, что его теснят со всех сторон, чувствует, что сейчас погибнет, и вот-вот ринется, наклонив голову, на загонщиков, чтобы проложить себе путь или умереть, но зато отомстить. В первый раз все, что ей так претило в

Бриссо, но о чем до сих пор она старалась не думать, показалось ей таким пошлым, гадким, невыносимым... Даже сам Рожэ!.. Никогда не станет она жить, замкнувшись в мирке этого человека, этой семьи, этого круга интересов, которые не были ее интересами, которые никогда ими не будут. Она решила порвать...

Порвать? Но как же! Ведь она только что связала себя обещанием! Согласится ли Рожэ? Нужно, чтобы согласился! Ему не помешать ей... И Аннета возненавидела его, подумав, что он, пожалуй, станет противиться. Сейчас уже не шли в счет страдания другого: без колебания она разбила бы его сердце, только бы вернуть себе свободу. А потом представились ей его умоляющие глаза, и ее сердце дрогнуло... Но все равно! Эгоизм погибающего, инстинкт самосохранения пересилили все, пересилили нежность, пересилили жалость! Надо было спастись. И горе тому, кто преградил бы ей выход!

Всю ночь напролет она ворочалась с боку на бок, ее истомила лихорадочная бессонница, она заранее переживала встречу с Рожэ. Она сказала, она перебрала все слова, которые он скажет ей, а она – ему. Пыталась убедить его, спорила, выходила из себя, жалела его, ненавидела. Очнулась на заре – измученная, но полная решимости. Она пойдет к Рожэ... Впрочем, нет! Напишет ему – так будет легче выразить до конца, что хочется, и никто не прервет ее. Все будет кончено. А чтобы Бриссо и не пытались снова завладеть ею, она уедет из Парижа – на несколько дней скроется в какой-нибудь гостинице за городом. Аннета встала, написала письмо – тысячу раз передумала все слова, а потом торопливо начала собираться.

Сборы были в разгаре, когда явился Рожэ. Она и не подумала, что надо охранять вход в дом, не ждала, что он придет так рано. Рожэ вошел, горя любовью и нетерпением, – он опередил слугу, докладывавшего о его приходе. Он принес цветы. Был полон счастья и благодарности. И был так нежен, так молод, так обаятелен, что Аннета, увидев его, не нашла в себе сил поговорить с ним. Все ее мудрые решения были позабыты, с первого же взгляда у нее снова отняли сердце. С удивительной недобросовестностью, свойственной любящим, она тотчас нашла ровно столько же доводов в пользу замужества, сколько минуту назад находила против. Она пыталась бороться, но радость сияла в ее глазах, обведенных кругами после всего, что пережила она ночью. Она смотрела на своего Рожэ, который впивался в нее восхищенным взглядом, и думала:

«Однако ведь я решила... Ведь я должна, однако, решить... А что же я решила?»

Но где тут знать, когда существует на свете этот взгляд, выпивающий до дна твою душу! Думать? Как тут думать, как тут обрести себя вновь!

Она сама ничего не знала, она гибла... А пока – до чего же хорошо, когда тебя так любят! Лишь одно она и могла сделать – для этого понадобилось невероятное усилие: попросить Рожэ не торопиться со свадьбой. И выражение лица Рожэ сразу стало таким разочарованным, таким удрученным, что у Аннеты не хватило мужества продолжать. Разве можно огорчать родного своего мальчика? И она поспешила приласкать его, успокоить, сказать, что любит его; она робко попыталась настаивать на отсрочке, но он так рьяно воспротивился, будто дело шло о его жизни. Наконец, после нежных препирательств, они согласились уступить друг другу наполовину и решили, что поженятся в середине лета.

А потом Рожэ уехал. Аннета посмотрела в зеркало на свое растерянное лицо и снова заколебалась. Как выпутаться! Она взглянула на вещи, приготовленные было к отъезду.

– Поработала! Пожала плечами, засмеялась. Что за прелесть этот Рожэ!

Снова спрятала в комод одежду и всякие мелочи, которые собиралась уложить в чемодан.

«И все же, – думала она, – я не хочу, не хочу!..»

Вспылив, уронила рубашки. Бух! Вслед полетели туалетные щетки... Она отшвырнула ногой ворох одежды, рассердилась...

Потом стала поднимать – нагнулась до полу. Но, не закончив уборки, вдруг почувствовала усталость и уселась прямо на паркет – гордиться силой воли было нечего.

– Полно! – заметила она, вытянувшись на ковре. – Впереди у меня целых четыре

месяца, – успею переменить решение...

Зарылась лицом в подушки и, лежа на животе, принялась считать дни...

Бриссо благоразумно пошли навстречу желанию Аннеты отложить свадьбу: они боялись, что, поспешив, испортят дело. Но сочли необходимым пока окружить Аннету заботами. Нельзя предоставлять ее самой себе: девушка со странностями, как бы не выскользнула из рук.

Приближалось Вербное воскресенье. Бриссо пригласили Аннету провести Пасху в их бургундском имении. Аннета приняла приглашение неохотно: было соблазнительно и страшно-страшно, что отягчит цепи, которые уже связывали ее, страшно, что совсем потеряет себя или все разорвет, страшны были и всякие другие вещи, поопаснее, в которых ей не хотелось разбираться.

Она и не пыталась расстаться с влюбленностью и нерешительностью, которыми убаюкивала себя, – все это немного тяготило ее, но была в этом и своя прелесть. Хотелось, чтобы такое состояние продолжалось долго, долго. Но она хорошо понимала, что это вредно и что она не имеет на это права... перед Рожэ.

В конце концов она решилась откровенно сказать о своих тревогах сестре. Она еще и словом не обмолвилась Сильвии о своей любви к Рожэ, а ведь поверяла ей все: часто рассказывала о других своих вздыхателях. Да, но других-то она не любила! А вот имя Рожэ утаивала.

Сильвия разахалась, назвала ее «тихоней» и хохотала как сумасшедшая, когда Аннета попыталась объяснить ей причину своей нерешительности, своих сомнений, терзаний.

– Ну, а твой птенчик хорош собой? – спросила она.

– Да, – ответила Аннета.

– Любит он тебя?

– Да.

– И ты его любишь?

– Люблю.

– Что же тебя удерживает?

– Ах, все это так сложно! Как бы это объяснить? Я его люблю... Очень люблю... Он премилый!

(Она принялась с увлечением описывать его под насмешливым взглядом Сильвии. Вдруг замолкла.).

– Очень, очень люблю его... И в то же время не люблю... В нем есть что-то... Не буду я жить вместе с ним... Никогда не буду... И потом...

Потом он чересчур уж меня любит. Так и съел бы меня.

(Сильвия расхохоталась.).

– Правда, так всю и съел бы, всю мою жизнь, мысли мои, воздух, которым Я дышу... О, мой Рожэ любит поесть! Одно удовольствие видеть его за столом. Аппетит у него хороший. Но я-то не хочу, чтобы меня съели.

Она тоже смеялась от души, и Сильвия смеялась, обняв ее за шею и сидя у нее на коленях. Аннета продолжала:

– Ужасно вдруг почувствовать, что тебя, вот так, живьем, проглотили, что не осталось у тебя ни капельки своего, что ты не можешь больше ни капельки своего сохранить... А он этого даже и не подозревает. Любит меня до сумасшествия, но, по-моему, он, знаешь ли, и не старается меня понять, даже не думает об этом. Пришел, взял, унес...

– Чертовски приятно! – вставила Сильвия.

– У тебя одни глупости на уме! – сказала Аннета, обнимая ее.

– А что же у меня должно быть на уме?

– Замужество. Это дело важное.

– Важное? Положим, не такое уж важное!

– Что? Отдать всю себя, ничего не сохранить – и это не важно?

– Да кто об этом говорит? Только сумасшедшие!

– Но он хочет завладеть всем! Сильвия хохотала, извиваясь, как рыбешка.

– Ах ты. Птичка! Преглупенькая! Простачок-дурачок!..

(Ничего сложного, казалось ей, тут нет: говори, что хочется, отдавай, что хочется, а все остальное сохраняй да помалкивай! Она, любя, трунила над мужчинами и их требованиями. Не очень-то они хитры!).

Да, но ведь и я-я тоже не хитра, – сказала Аннета.

– Уж это так! – воскликнула Сильвия. – Ты все принимаешь всерьез.

Аннета с сокрушенным видом согласилась.

– Просто несчастье какое-то! Хотелось бы мне быть такой, как ты. Вот ведь выпало человеку счастье!

– Давай меняться! Уступи мне свое! – предложила Сильвия.

Аннета совсем не хотела меняться. Сильвия ушла, приободрив ее.

И все же Аннета не понимала себя! Была сбита с толку.

«Занятно! – раздумывала она. – Я хочу все отдать. И хочу все сохранить!..»

На другой день – то был канун отъезда, – когда она, уложив все нужное в чемодан, опять начала мучить себя, пришел неожиданный гость и усилил ее тревогу, которую она вдруг осознала яснее. Ей доложили о Марселе Франке.

Он любезно и учтиво поговорил о чем-то, а потом намекнул на помолвку – Рожэ не делал из нее тайны. Мило поздравил Аннету; в его тоне и глазах было что-то ласково-насмешливое, сердечное. Аннета чувствовала себя с ним непринужденно, как с прозорливым другом, которому не нужно все говорить и от которого нечего скрывать, потому что понимаешь его с полуслова. Заговорили о Рожэ, которому Марсель Франк завидовал – и с улыбкой признался в этом. Аннета знала, что он говорит правду, что он влюблен в нее. Но это им ничуть не мешало. Она спросила, какого он мнения о Рожэ, – молодые люди были хорошо знакомы. Марсель рассыпался в похвалах, но она настаивала, чтобы он рассказал о нем не такие общеизвестные вещи; поэтому Марсель шутя ответил, что описывать Рожэ не к чему, – ведь она знает его так же хорошо, как и он. И, говоря это, он в упор смотрел на нее таким пронизательным взглядом, что Аннете стало не по себе и она отвела глаза.

Потом она тоже в упор посмотрела на него, подметила его тонкую усмешку, доказывавшую, что они поняли друг друга. Разговор зашел о пустяках, как вдруг Аннета прервала его и озабоченно спросила:

– Скажите откровенно: вы находите, что я не права?

– Никогда не осмелюсь заявить, что вы не правы, – ответил он.

– Без любезностей, пожалуйста! Только вы и можете сказать мне правду.

– Вы же знаете, что положение у меня особенно щекотливое.

– Знаю. Но ведь я знаю и то, что оно не повлияет на искренность наших суждений.

– Благодарю! – сказал он.

Она продолжала:

– Вы считаете, что Рожэ и я – мы не правы?

– Считаю, что вы ошибаетесь.

Она опустила голову. Помолчав, сказала:

– И я так считаю.

Марсель не ответил. Он все смотрел на нее и все улыбался.

– Почему вы улыбаетесь?

– Уверен был, что вы так думаете.

Аннета вскинула на него глаза.

– Теперь скажите, какое у вас мнение обо мне?

– Ничему оно вас не научит.

– Зато поможет лучше во всем разобраться.

– Вы влюбленная бунтарка, – ответил Марсель. – Вечно влюбленная (простите!) и вечно бунтующая. У вас потребность отдавать себя и потребность сохранять себя...

(Аннета привскочила – не удержалась.).

– Я обидел вас?
– Ничуть, ничуть, напротив! Как это правильно! Ну, говорите же дальше!
– Вы – сама независимость, – продолжал Марсель, – но жить в одиночестве не можете. Таков закон природы. Вы чувствуете его острее других, потому что вы жизнедеятельнее.
– Вот вы меня понимаете! Понимаете лучше, чем он. Но...
– Но любите вы его.

В тоне ни капли горечи. Они по-приятельски смотрели друг на друга и, улыбаясь, думали о том, до чего же любопытная штука человеческая натура.

– Да, не легко, – сказала Аннета, – не легко жить вдвоем.
– Ошибаетесь, было бы совсем легко, если бы люди на протяжении веков не умудрялись осложнять жизнь, мешая друг другу. Надо покончить с этим, только и всего. Но, разумеется, нашему милейшему Рожэ, как и всякому добропорядочному, косному французу, не постичь этой мысли. Все они считали бы, что пришла их гибель, если бы вдруг им перестало мешать прошлое. «Где нет помех, там нет улады», особенно когда тот, кому мешают, сам мешает своему ближнему.

– А как все же вы смотрите на брак?
– Как на разумный союз выгод и утех. Жизнь – это виноградник, которым пользуются сообща; возделывают его и собирают виноград вместе. Но распивать вино всегда вдвоем, с глазу на глаз, никто не обязан. Идут на взаимные уступки: друг у друга просят и отдают друг другу гроздь утех, которой владеет каждый, но благоразумно позволяют друг другу побывать на сборе и в ином месте.

– Уж не ратуете ли вы за свободу адюльтера?
– Устарелое, допотопное выражение! Я ратую за свободу любви – самую насущную из всех свобод.

– Ну, она-то мне меньше всего нужна, – возразила Аннета. – Для меня брак не перекресток, на котором отдаешь себя любому встречному. Я отдаю себя одному человеку. И если б я перестала его любить или полюбила другого, то ушла бы в тот же день; я и себя не поделила бы между ними и не потерпела бы дележа.

Марсель иронически пожал плечами, словно говоря: «Да важно ли это?..»

– Видите, мой друг, – заметила Аннета, – вот и оказалось, что вы мне еще более чужды, чем Рожэ.

– Значит, и вы приверженица старой доброй системы, провозглашающей:

«Да помешаем же друг другу»?

– Брачный союз оттого только и возвышен, что зиждется на единолюбии, на верности двух сердец, – возразила Аннета. – Что же от него останется, не считая кое-каких практических преимуществ, если и это утратится?

– Тоже вещь немаловажная, – заметил Марсель.

– Недостаточная, чтобы возместить жертвы, которые ты приносишь, – сказала Аннета.

– Если вы так рассуждаете, то чего же вы плачетесь? Надевайте оковы, от которых вас пытались избавить.

– Свобода, к которой я стремлюсь, – возразила Аннета, – не есть свобода сердца. Я чувствую, мне достанет сил сохранить его безупречным по отношению к тому, кому я его отдала.

– Вы вполне уверены? – с невозмутимым видом спросил Марсель.

Вполне уверена Аннета не была! И ей знакомо было сомнение. Сейчас говорила дочь своей матери, а не вся Аннета. Но ей не хотелось соглашаться, да еще в споре с Марселем. Она сказала:

– Мне так хочется.

– Капризничать в таких делах! – заметил Марсель со своей тонкой усмешкой. – Ведь это же все равно, что взять да и постановить: огню красному стать огнем зеленым. Любовь – это маяк с меняющимися огнями.

Но Аннета упрямо твердила:

– Не для меня! Я так не хочу! Она отлично чувствовала, как насущна для нее и потребность в перемене и потребность оставаться неизменной – два пламенных врожденных влечения, присущих сильной натуре. Но возмущалось по очереди то, которому, казалось, угрожает большая опасность.

Марсель, хорошо знавший гордую и настойчивую девушку, вежливо поклонился. Аннета, которая судила о себе так же верно, как судил о ней он, произнесла чутьчуть сконфуженно:

– В общем, мне не хотелось бы...

После этой уступки, на которую она пошла в силу правдивости своей натуры, Аннета продолжала увереннее, чувствуя, что она теперь в своей сфере:

– Но мне хотелось бы, чтобы, принеся в дар друг другу верную любовь, каждый сохранил бы право жить так, как подскажет ему душа, идти своим путем, искать свою правду, отстаивать, если придется, поле своей деятельности, – словом, соблюдать закон своей духовной жизни и не поступаться им во имя закона, соблюдаемого другим, пусть даже самым дорогим на свете существом, ибо никто не имеет права приносить себе в жертву душу другого, ни свою душу – другому. Это – преступление.

– Все это прекрасно, милый мой друг, – сказал Марсель, – но, знаете ли, все эти разговоры о душе не по моей части. Вероятно, это скорее по части Рожэ. Боюсь, впрочем, что в данном случае он понимает ее совсем не так. Я не вполне ясно представляю себе, могут ли Бриссо постичь в своем семейном кругу, что возможен какой-то иной «духовный» закон, кроме закона, охраняющего их, Бриссо, благополучие, политическое и личное.

– Кстати, – заметила, смеясь, Аннета, – завтра я уезжаю к ним в Бургундию на две-три недели.

– Что ж, вот у вас и будет случай сравнить свои и их идеалы, – подхватил Марсель. – Они ведь тоже великие идеалисты! Впрочем, может быть, я и заблуждаюсь. Думаю, что вы столкнетесь. В сущности, вы просто созданы друг для друга.

– Не дразните! – воскликнула Аннета. – Вот возьму и вернусь оттуда законченной Бриссо.

– Черт возьми! Веселенькая будет история! Не делайте этого, пожалуйста! Бриссо ли, не Бриссо, а нашу Аннету сохраните.

– Увы! Хотела бы я ее утратить, да боюсь, не удастся, – заметила Аннета.

Он откланялся, поцеловал ей руку.

– Как все-таки жаль!..

Он ушел. И Аннете тоже стало жаль, однако не того, о чем жалел Марсель. Он правильно разбирался в ней, но понимал ее не больше, чем Рожа, который совсем в ней не разбирался. Понять ее могли бы более «верующие» души – более свободно верующие, чем души почти всех молодых французов.

Те, кто верует, веруют в духе католицизма, а это означает подчинение и отречение от свободного полета мысли (особенно когда речь идет о женщине). А те, кто свободно мыслит, редко задумываются о сокровенных потребностях души.

На следующий день Аннета приехала на маленькую бургундскую станцию, где ее ждал Рожэ. Стоило ей увидеть его – и все сомнения улетучились.

Рожэ так обрадовался! Она не меньше. Она была бесконечно благодарна дамам Бриссо: они придумали какую-то отговорку и не явились встречать.

Ясный весенний вечер. На фоне золотого округлого горизонта нежно зеленела волнистая лента – светлая молодая листва; – и розовели вспаханные поля. Заливались жаворонки. Шарабан несли по гладкой дороге, звеневшей под копытами горячей лошади; свежий ветер хлестал Аннету по румяным щекам. Она приникла к молодому своему спутнику, а он правил, и смеялся, и говорил ей что-то, и вдруг наклонялся, срывал с ее губ поцелуй на лету.

Она не противилась. Она любила, любила его! Но это не мешало ей сознавать, что она вот-вот снова начнет осуждать его и осуждать себя. Одно дело осуждать, другое дело

любить. Она любила его, как любила воздух, небо, аромат лугов, как некую частицу весны... Отложим раздумья до завтра! Она взяла отпуск на нынешний день. Насладимся чудесным часом! Он не повторится! Ей казалось, будто она парит над землей вместе с любимым.

Доехали они слишком быстро, хотя от последнего поворота шагом взбирались по тополевой аллее, а когда остановились, чтобы передохнула лошадь, то долго сидели молча, крепко обнявшись, под защитой высокой ограды, заслонявшей фасад замка.

Бриссо обласкали ее. Осторожно навели разговор на воспоминания об ее отце, нашли какие-то душевные слова. В первый вечер, проведенный в кругу семьи, Аннета поддалась ласке: была благодарна, растрогана, – так долго ей не хватало домашнего уюта! Она тешилась иллюзией. Каждый из Бриссо старался по-своему быть милым. Сопротивляемость ее ослабла.

А ночью она проснулась, услышала, как в тиши старого дома скребется мышь, и ей сразу представилась мышеловка; она подумала:

«Попалась я...»

Ей стало тоскливо, она попробовала успокоить себя:

«Ну вот, ведь я не хочу этого, вовсе я и не попалась...»

От волнения испарина покрыла ее плечи. Она сказала себе:

«Завтра поговорю с Рожэ серьезно. Надо, чтобы он узнал меня. Надо честно обсудить, сможем ли мы жить вместе...»

Наступил завтрашний день, и она так рада была видеть Рожэ, так хорошо было тонуть в его горячей любви, вдыхать вместе с ним пьянящие нежные запахи, доносившиеся из внешних далей, мечтать о счастье (быть может, неосуществимом, – но – кто знает? Кто знает? Быть может, оно совсем рядом... только протяни руку...), что отложила объяснения до следующего дня... И потом опять до следующего... И потом опять до следующего...

И каждую ночь ее охватывала тоска, такая острая, что ныло сердце.

«Надо, надо поговорить... Надо для самого Рожэ... С каждым днем он привязывается ко мне все больше, привязываюсь и я. Не имею права молчать. Ведь это значит обманывать его...»

Господи, господи, какой же она стала слабовольной! А ведь прежде слабой не была. Но дуновения любви подобны тем знойным ветрам, от которых ты изнываешь, сгораешь, падаешь с ног; ты чувствуешь, как замирает сердце, теряешь силы, изнемогаешь в какой-то странной истоме. Боишься двигаться. Боишься думать. Душа, притаившаяся в грезах, страшится яви. Аннета хорошо знала, что стоит шевельнуться – и разобьешь мечту...

Но пусть мы не двигаемся – за нас движется время, и дни в беге своем уносят иллюзию, которую так хотелось бы удержать. Тщетно ты будешь следить за собой – если вы вместе с утра до вечера, то в конце концов проявишь себя, всю свою сущность.

И семья Бриссо показала себя без прикрас. Улыбка была вывеской. Аннета вошла в дом. Увидела занятых делами, прескучных буржуа, которые с алчным удовольствием управляли своими имениями. Тут помина не было о социализме. Взывали только к декларации прав собственника, а не к другим бессмертным принципам. Несдобровать было тому, кто на нее посягал. Их сторожа только и делали, что, не зная отдыха, привлекали всех к ответственности. Да и Бриссо самолично вели за всем строжайший надзор – источник их радостей и горестей. Они словно из засады шли с боем на свою прислугу, на фермеров, виноградарей и на всех соседей. Неуживчивость, сутяжничество, присущие их роду и всем провинциалам, пышным цветом расцвели в семье. Папаша Бриссо весело смеялся, когда ему удавалось поймать в ловушку того, кого он подсиживал. Но не он смеялся последним: противник был вылеплен из той же – из бургундской – глины, его нельзя было застичь врасплох; на другой день, в отместку, он устраивал какой-нибудь подвох на свой лад. И все начиналось сначала.

Конечно, Аннету не втягивали во все эти дразги; Бриссо обсуждали их в гостиной или за столом, когда Рожэ и Аннета, казалось, были поглощены друг другом. Но внимание у Аннеты было острое, и она следила за всем, о чем говорилось вокруг. Да и Рожэ вдруг

прерывал нежную беседу и вступал в общий разговор, который велся с воодушевлением. Тут все начинали горячиться; говорили, не слушая друг друга; об Аннете забывали. Или утверждали, будто она – свидетельница событий, о которых она и понятия не имела. Так все и шло, но вдруг г-жа Бриссо вспоминала о присутствии той, которая слушает их, она пресекала спор, улыбалась ей сладенькой своей улыбочкой и переводила разговор на путь, усеянный цветами. И все, как ни в чем не бывало, опять становились приветливыми, милыми. Забавное смешение показной добродетели и вольных шуточек было характерно для стиля их разговоров – под стать тому, как сочетались в замке жизнь на широкую ногу и скаредность. Весельчак Бриссо любил побалагурить. Девушка Бриссо любила поговорить о поэзии. На эту тему рассуждали здесь все. Воображали, будто знают толк в поэзии. Вкус же их устарел лет на двадцать. О всех видах искусства суждения у них были незыблемые. Зиждилились они на мнении, проверенном должным образом и высказанном «нашим другом таким-то» – членом академии, притом сплошь украшенным орденами. Нет на свете умишек трусливей – даже у людей с весом, – чем у таких представителей крупной буржуазии, которые почитают себя людьми передовыми и в области искусства и в области политики, но которые не являются людьми передовыми ни в той, ни в другой области, ибо и в той и в другой области они выступают – и делают это вполне сознательно – лишь после того, как другие выиграли за них сражение.

Аннета чувствовала, как далека она всем им. Приглядывалась, прислушивалась и думала:

«Да какое мне дело до всех этих субъектов?»

Мысль, что мамаша или дочка вздумают ее опекать, уже не возмущала, а смешила Аннету. Она спрашивала себя, что подумала бы Сильвия, если бы ее одарили такой семейкой. Вот бы ахала, вот бы смеялась!

И порой Аннета, оставшись одна в саду, тоже смеялась. Случалось, Рожэ услышит, удивится и спросит:

– Что вас так насмешило? Она отвечала:

– Ничего, милый. Сама не знаю. Так, чепуха...

И она старалась принять свой обычный благонравный вид. Но пересилить себя не могла – смеялась еще звонче, и даже в лицо г-же Бриссо. Просила извинения, а дамы Бриссо говорили снисходительно, но с легкой досадой:

– Она еще совсем дитя! Ну, пусть себе посмеется! Но не всегда ей бывало смешно. Ее чудесное настроение вдруг омрачалось. Целыми часами, озаренными радостью, была она полна нежности и доверия к Рожэ, но вдруг без всякого перехода, без всякой причины на нее нападали хандра, сомнение, тоска. Душевная неуравновешенность, возникшая нынешней осенью, не только не прошла, а, пожалуй, усилилась за эти месяцы взаимной любви.

Лавиной обрушивались какие-то удивительно разноречивые настроения: Аннета раздражалась, язвила, зло подтрунивала, смотрела недоверчиво и надменно, сердилась – и не объяснить было, отчего. Немало усилий делала Аннета, чтобы перебороть себя. Ничего хорошего не получалось: она замыкалась в каком-то тревожном, враждебном молчании. Рассудок по-прежнему был ясен, – вот почему ее поражали такие быстрые смены настроения, и она укоряла себя. И, однако, почти все оставалось по-прежнему. Зато, сознавая свои недостатки, она – и это скорее шло от разума, чем от души, – начинала снисходительно относиться к недостаткам всех этих «чучел».

(Опять!.. Невежа!.. «Простите, больше не буду!...») Ведь они были родственниками Рожэ, а раз она принимала Рожэ, то должна была принимать и их. Вопрос заключался лишь в том, принимает ли она Рожэ. Господи, да разве важно, разве важно все остальное, когда защищаешься вдвоем?

Только вдвоем ли? Защитит ли ее Рожэ? Прежде чем спрашивать себя, принимает ли она Рожэ, надо узнать, примет ли ее искренне, с открытым сердцем сам Рожэ, когда увидит ее такой, какая она есть на самом деле.

Потому что до сих пор он видел только ее рот и ее глаза. А вот то, о чем она –

настоящая Аннета – размышляла, чего хотела, он, казалось, не очень-то стремился знать: находил, что куда удобнее ее выдумывать.

Однако Аннета тешила себя надеждой, что любовь поможет им, когда они смело заглянут друг другу в душу, надеждой решить так:

«Я беру тебя. Беру тебя со всем, что есть в тебе.

Беру тебя со всеми твоими недостатками, твоими страстями, твоими потребностями, с твоим законом жизни. Ты есть то, что ты есть. Со всем, что есть в тебе, я и люблю тебя».

Она-то знала, что готова пойти на все во имя любви.

Последние дни она подолгу наблюдала за Рожэ своими большими глазами, которые все подмечали, благо этого никто не остерегался. Рожэ стал очень неосмотрителен: он проявлял себя более типичным Бриссо, чем ей хотелось, с увлечением защищал то, что было выгодно его родичам, вникал во всякие распри, внося во все дух крючкотворства. Некоторые черточки, говорившие о жестокости его характера, о его мелочности, ей претили. Но ей не хотелось судить его строго, как она судила бы кого-нибудь другого. Она считала, что все это в нем наносное. Рожэ во многом представлялся ей малым ребенком, который слепо подчиняется своим родным, следует их примеру с благоговейной доверчивостью; ей казалось, что ум у него несмелый вопреки его выпенным речам. Хотя она и начинала постигать, как неосновательны все его проекты улучшения общественного строя, и уже не была одурачена его идеализмом на словах, однако не сердилась на него, ибо знала, что он не хотел ее обмануть, что одурачен он сам; она даже готова была с мягкой иронией устранить с его дороги все, что могло бы развеять иллюзию, жизненно важную для него. Даже его откровенный эгоизм, который порой так раздражал Аннету, теперь уже не отпугивал ее, казался ей безвредным. В сущности все его недостатки были недостатками, порожденными слабостью. И забавно было то, что порисоваться он любил именно силой... Закаленный человек... Aes triplex...³⁵ Бедненький Рожэ! Это просто трогательно!

Аннета тихонько посмеивалась над ним, но берегла для него целую сокровищницу снисходительности. Она очень любила его. Несмотря ни на что, считала его добрым, великодушным, увлекающимся. Так нежная мать, чья рука не карает родное дитя за грешки, в ее глазах совсем не страшные, находит, что дитя за них не отвечает, и готова еще больше жалеть его и лелеять. Да и к тому же Аннета смотрела на Рожэ не только глазами снисходительной матери! У нее были глаза влюбленной, а они очень пристрастны.

Говорила плоть. Громко звучал ее голос. Разум мог говорить все, что ему угодно, – можно так прислушиваться к его голосу, что даже хула разжигает страсть. Да, Аннета все видела. Но как тот, кто, склонив голову и прищурив глаза, видит, до чего гармонично сочетаются все линии ландшафта, так и Аннета, видя неприятные черты Рожэ, смотрела на них под таким углом зрения, что они смягчались. Она была близка к тому, чтобы полюбить в нем даже все самое гадкое: ведь еще больше отдаешь себя, полюбив недостатки того, кого любишь; когда же любишь то, что в другом прекрасно, не отдаешь, а берешь. Аннета размышляла:

«Люблю тебя за то, что ты несовершенен. Ты рассердился бы, когда б узнал, что я вижу. Прости! Ничего я и не видела... А вот я не похожа на тебя: хочу, чтобы ты увидел меня во всем моем несовершенстве! Будь, чем ты есть, – это я и ценю. В моем несовершенстве больше меня самой, чем во всем прочем. Если ты берешь меня, то возьми именно такой. Возьмешь? Да ты ведь не хочешь меня узнавать. Когда же ты потрудишься рассмотреть меня?»

Рожэ не спешил. Аннета не раз тщетно пыталась увлечь его на этот опасный путь, а он словно его избегал; но вот однажды, когда они гуляли, Аннета вдруг умолкла, остановилась, взяла его за руки и сказала:

– Нам нужно поговорить, Рожэ.

³⁵ Буквально – трижды медь... (лат.)

– Поговорить? – повторил он, смеясь. – Но, по-моему, мы только и делаем, что говорим.

– Я не про то, – ответила она, – не про ласковые речи: поговорим серьезно.

На его лице мелькнул испуг.

– Не бойтесь, – заметила она. – Мне хочется поговорить с вами о себе.

– О вас? – сказал он, просияв. – Что может быть приятнее!

– Подождите, подождите! – остановила она его. – Выслушайте меня, и тогда вы, пожалуй, этого не скажете!

– Ничего нового я не услышу. Столько дней мы провели вместе и разве не обо всем сказали друг другу?

– Я лишь успевала соглашаться, – возразила Аннета со смехом. – Ведь только вы и говорите.

– Вот злючка! – сказал Рожэ. – Разве я говорю не о вас?

– Да, и обо мне. Даже за меня говорите.

– Вы находите, что я много говорю? – с простодушным видом спросил Рожэ.

Аннета прикусила губу.

– Нет, нет, Рожэ, милый, мне нравится, когда вы говорите. Но когда вы говорите обо мне, я сижу и слушаю; все это до того прекрасно, до того прекрасно, что я думаю: «Пусть будет так». Но ведь это не так.

– Вы – первая женщина на свете, которая сетует, что портрет ее прекрасен.

– Я предпочитаю, чтобы в нем было сходство. Ведь не прекрасный портрет намерены вы, Рожэ, повесить у себя в доме? Я – живая, я – женщина, у которой свой мир желаний, страстей, мыслей. Уверены ли вы, что она может войти в ваш дом со всеми своими пожитками?

– Принимаю ее с закрытыми глазами.

– Откройте их, прошу вас.

– Я вижу вашу ясную душу, она отражается на вашем лице.

– Милый, хороший мой Рожэ! Вам ничего не хочется видеть.

– Я люблю вас. Мне этого достаточно.

– Я тоже люблю вас. И мне этого недостаточно.

– Недостаточно? – переспросил он упавшим голосом.

– Нет. Мне нужно видеть.

– Что вам хочется видеть?

– Хотелось бы видеть, какая у вас любовь ко мне.

– Я люблю вас больше всех на свете.

– Разумеется! Мельчить не в вашем характере. Но я не спрашиваю, сколько у вас любви ко мне, а спрашиваю, какая она... Да, я знаю, что я – ваша желанная, но что именно желали бы вы сделать из своей Аннеты?

– Свою половину.

– Вот как!.. Дело в том, друг мой, что я не половина. Я – Аннета, вся целиком.

– Так принято говорить. Я хочу сказать, что вы – это я и что я – это вы.

– Нет, нет, не будьте мною! Пусть мною, Рожэ, буду я.

– Мы соединяем наши жизни, и разве отныне у нас не будет единая жизнь?

– Вот это меня и тревожит. Боюсь, что одинаковой жизни у нас не будет.

– Что вас смущает, Аннета? Что у вас на душе? Вы любите меня, не правда ли? Любите. Это главное! Об остальном не тревожьтесь. Остальным займусь я. Вот увидите: я все так устрою, – вместе с моими родными, которые станут вашими родными, мы так устроим вашу жизнь, что вам останется лишь одно: позволить носить себя на руках.

Аннета, опустив голову, чертила на земле ногой вензеля. Она улыбалась.

«Милый мальчик! Ничего-то он не понимает...»

Затем подняла глаза на Рожэ, тот спокойно ждал ответа.

– Рожэ, взгляните на меня. Ведь правда, у меня сильные ноги?

- Сильные и красивые, – ответил он.
- Не в этом дело... – сказала она, погрозив пальцем. – Ведь правда, я – неутомимый ходонок?
- Несомненно, – подтвердил он, – и это меня восхищает.
- Неужели вы думаете, что я соглашусь, чтобы меня носили на руках? Вы очень, очень добры, и я благодарю вас, но позвольте мне ходить самой! Я не из тех, кто боится дорожной усталости. Отнять ее у меня, значит отнять вкус к жизни. Мне иногда кажется, что вы и ваши родные – все вы собираетесь действовать и выбирать за меня, что вы, Рожэ, со всеми удобствами расставляете по предназначенным для этой цели полочкам свою жизнь, их жизнь, мою жизнь-все будущее. Но я бы этого не хотела. Я этого не хочу. Я чувствую, что я в начале пути. Я ищу. Я знаю, что мне необходимо искать, искать себя.
- Выражение лица у Рожэ было ласковое и насмешливое.
- Что же вы будете искать? Он считал, что все это – ребяческая прихоть. Она это почувствовала и сказала взволнованно:
- Не насмехайтесь! Я не представляю собой ничего особенного, ничего не воображаю о себе... Но все же я знаю, что я существую, что мне дана жизнь – коротенькая жизнь... Жизнь не длинна, и живешь только раз. Я имею право... Нет, не право, если хотите, – это звучит эгоистично... Мой долг не упускать ее, не швыряться ею...
- Его это не растрогало, наоборот – обидело:
- Значит, по-вашему, вы швыряетесь ею? Разве упустите ее? Разве она не получит хорошего, превосходнейшего применения?
- Конечно, получит... Но какое же? Что вы мне предлагаете?
- Он снова стал с жаром описывать свою политическую карьеру, будущее, о котором мечтал, свои чаяния – личные и общественные – во всем их величии. Она послушала его; потом мягко остановила в самом разгаре речи, ибо эта тема ему никогда не надоедала.
- Да, Рожэ, – сказала она. – Конечно. Это очень, очень интересно. Но по правде сказать – вы только не обижайтесь! – я не верю так же твердо, как вы, в то дело, которому вы себя посвятили.
- Что? Вы в него не верите? Да ведь вы же верили, когда я говорил вам о нем в начале нашего знакомства в Париже...
- Я несколько изменила свое мнение, – ответила она.
- Что заставило вас его переменить? Нет, нет, это невозможно... Вы опять его перемените. Моя великодушная Аннета не может стать безучастной к народному делу, к обновлению общества!
- Да я к нему и не безучастна, – сказала она. – Я безучастна только к политическим проблемам.
- Одно с другим связано.
- Не совсем.
- Победа одного повлечет за собой победу другого.
- Сомневаюсь.
- Однако это единственный способ служить прогрессу и народу.
(Аннета подумала: «Служа самому себе». Но ей стало стыдно.).
- А я вижу и другие.
- Какие же?
- Самый старый и пока еще самый лучший. Способ тех, кто следовал за Христом: отдавать все, бросать все и вся во имя служения людям.
- Утопия!
- Да, пожалуй. Вы не утопист, Рожэ. Я так думала на первых порах. Я разуверилась в этом теперь. В политической деятельности вами руководит практическая жилка. Вы очень талантливы, и я убеждена, что вы добьетесь успеха. В деле вашем я сомневаюсь, зато не сомневаюсь в вас. Перед вами великолепная карьера. Я предсказываю вам, что вы будете лидером партии, признанным оратором, сколачивающим в парламенте большинство,

министром...

– Полно, перестаньте! – воскликнул он. – «Макбет, ты станешь королем!»

– Да, я, пожалуй, вешунья... для других. Но вот досада – не для себя.

– А ведь тут все ясно! Если я стану министром, то и на вас это отразится... Скажите откровенно, разве вы этому не обрадуетесь?

– Чему? Если стану министершей? Господи! Да ни чуточки! Простите, Рожэ, – за вас, конечно, я порадуюсь. И если я буду с вами, то, конечно, постараюсь как можно лучше играть свою роль, счастлива буду помочь вам... Но (вы ведь хотите, чтобы я была откровенна, не правда ли?) сознаюсь: такая жизнь не заполнила бы, отнюдь не заполнила бы моей жизни.

– Это вполне понятно. Женщина, созданная для того, чтобы стать спутницей жизни политического деятеля, – возьмите, например, такую замечательную женщину, как моя мать, – этим не ограничится. Истинное ее назначение – у очага. Ее призвание-материнство.

– Знаю, ведь никто и не оспаривает, что это наше призвание, – проговорила Аннета. – Но (я боюсь вам это сказать, боюсь, что вы меня не поймете)... я еще не знаю, что мне даст материнство. Я очень люблю детей.

Думаю, что к своим буду очень привязана... (Вам не нравится это слово?

Да, вам кажется, что я холодна.) Быть может, буду обожать их... Возможно. Не знаю... Но мне не хочется рассуждать о том, чего я не чувствую.

И, откровенно говоря, это «призвание» во мне еще не совсем проснулось. А сейчас, пока жизнь не разбудила во мне того, что мне неизвестно, я считаю, что женщина ни в каком случае не должна всю свою жизнь отдавать любви к ребенку... (Не хмурьтесь!) Я убеждена, что можно очень любить своего ребенка, добросовестно исполнять домашние обязанности, однако надлежит беречь богатство своего «я» во имя того, что важнее всего на свете.

– Важнее всего?

– Во имя своей души.

– Не понимаю.

– Как заставить другого постичь твою внутреннюю жизнь? Слова так туманны, так неясны, нелепы! Душа... Смешно говорить о своей душе! Что это значит? Не объяснишь, что. Но она есть. Это – я сама, Рожэ. Самое во мне правдивое, самое сокровенное.

– Разве вы не отдадите мне все самое свое правдивое, самое сокровенное?

– Все отдать не могу, – сказала она.

– Значит, вы меня не любите?

– Нет, Рожэ, люблю. Но все отдать никто не может.

– Это не любовь. Когда любишь, нет и мысли, что надо сберечь что-то для себя. Любовь... любовь... любовь...

И он разразился длиннейшей речью. Аннета слушала, как он восхваляет в выпрепных словах полную отдачу самого себя, радость самопожертвования ради счастья любимого человека. И думала:

«Милый, зачем ты все это говоришь? Воображаешь, будто я этого не знаю? Воображаешь, будто я не могла бы принести себя в жертву тебе, если понадобилось бы, и не обрела бы в этом радости? Но при одном условии: чтобы ты этого не требовал... Почему ты требуешь? Почему ты ждешь этого так, словно это твое право? Почему нет у тебя веры в меня, в мою любовь?»

Наконец он замолчал, и она сказала:

– Все это великолепно. Я не способна, как вы знаете, так блистательно выражать свои мысли. Но при случае, может быть, я была бы способна это почувствовать...

– Может быть! При случае! – воскликнул он.

– Вы находите, что этого мало, не правда ли? А ведь это больше, чем вам кажется... Но я не люблю обещать больше (а вдруг окажется даже меньше?) того, что могу выполнить. Заранее не знаю... Нужно доверять друг другу. Мы люди порядочные. Мы любим друг друга, Рожэ. Будем делать друг для друга все, что можно.

– Все, что можно!.. – всплеснув руками, снова воскликнул он.

Аннета улыбнулась.

– Согласны вы доверять мне? – продолжала она. – Я вынуждена призвать вас к этому. Просить придется о многом...

– Говорите! – осторожно ответил он.

– Я вас люблю, Рожэ, но хочу быть правдивой. С детства я жила довольно замкнутой, но очень привольной жизнью. Отец предоставлял мне полнейшую независимость, которой я не злоупотребляла, потому что она казалась мне естественной и потому что она была здоровой. Я привыкла рассуждать, и теперь мне трудно обойтись без этого. Я отдаю себе отчет в том, что немного отличаюсь от большинства девушек моего класса. И все же, мне кажется, и чувствую то же, что чувствуют и они; только я осмеливаюсь сказать об этом, яснее сознаю все это... Вы просите, чтобы я соединила свою жизнь с вашей. Я тоже хочу этого. Самое сокровенное желание каждой из нас – найти спутника, милого сердцу. И мне думается, Рожэ, что вы могли бы им стать... если... если бы вы захотели...

– Если бы я захотел! – воскликнул он. – Да вы шутите. Только этого я и хочу.

– Если бы вы по-настоящему захотели стать спутником моей жизни. Я не шучу. Подумайте!.. Ведь соединить наши жизни не означает покончить с той или с другой... А что мне предлагаете вы? Правда, вы этого не сознаете, потому что люди давным-давно привыкли к такому неравенству. А для меня оно – новость... Вы входите в мою жизнь не только со своей любовью. Входите со своими близкими, друзьями, знакомыми, со своей родней, со своей карьерой, со своим будущим, ясным для вас, со своей партией и ее догматами, со своей семьей и ее традициями – с целым миром, который принадлежит вам, с целым миром, который и есть вы сами. А мне, которая тоже обладает своим миром и которая тоже сама есть целый мир, вы говорите:

«Бросай свой мир! Отшвырни его и входи в мой!» Я готова войти, Рожэ, но войти вся целиком. Принимаете вы меня всю целиком?

– Но я же и хочу обладать всем, – ответил он, – а вот вы только что сказали, что отдать мне все не можете.

– Вы меня не хотите понять. Я говорю: «Принимаете ли вы меня свободной? И принимаете ли всю целиком?»

– Свободной? – переспросил осмотрительный Рожэ. – Во Франции все свободны с тысяча семьсот восемьдесят девятого года...

(Аннета улыбнулась: «Вывернулся!»).

– Нужно же, наконец, договориться. Ясно, что, выйдя замуж, вы тотчас перестанете быть совсем свободной. Другими словами, возьмете на себя некоторые обязательства.

– Не очень-то я люблю это словечко, – сказала Аннета, – хотя смысл его меня не пугает. Радостно, охотно приняла бы я на себя часть забот и трудов того, кого я люблю, – те обязанности, которые приходится исполнять в совместной жизни. И чем тягостнее были бы они, тем стали бы мне дороже, потому что мне помогла бы любовь. Но и ради этого я не откажусь от тех обязанностей, которые требует от меня моя личная жизнь.

– Какие же это еще обязанности? Судя по тому, что вы мне рассказали и что, мне кажется, знаю я сам, жизнь ваша, дорогая моя Аннета, жизнь ваша, до сих пор такая тихая, такая скромная, как будто не предъявляла к вам особых требований. Чего же ей угодно сейчас? Вы подразумеваете свои занятия? Вам хотелось бы их продолжать? Я считаю, признаюсь вам, что такой род деятельности обманывает ожидания женщин. Если, конечно, нет призвания. По-моему, в семейной жизни это помеха... Впрочем, не думаю, что вы обременены сим даром богов. Слишком вы земная, уравновешенная.

– Нет, речь идет не о призвании. Тогда это было бы просто: возьми и следуй ему... Просьбу, требование (как вы говорите), которое предъявляет мне жизнь, не так легко выразить яснее: это не очень определенное требование, но зато необычайно широкое. Речь идет о праве, которым должна пользоваться всякая живая душа: праве изменять.

– Изменять! Изменять любви! – снова воскликнул Рожэ.

– Даже если душа вечно хранит верность, – а я стремлюсь к любви на всю жизнь, – она имеет право изменять... Я понимаю, Рожэ: вас пугает само слово «изменять». Меня оно тоже тревожит. Когда нынешний час прекрасен, так хотелось бы затаить дыхание!.. Жаль, что нельзя остановить время навеки!.. Но ведь мы не имеем права это делать... да и не можем, впрочем. На месте не останавливаются. Живешь, идешь, тебя подталкивает что-то, надо, надо двигаться вперед! Любовь от этого не пострадает. Ее уносят с собой: ведь она может длиться всю жизнь, но всю жизнь она не заполняет. Подумайте, Рожэ, милый, что, любя вас, я ведь могу вдруг почувствовать (и уже чувствую), что задыхаюсь в кругу вашей деятельности и ваших мыслей. Я не стану осуждать путь, избранный вами, но зачем же принуждать меня идти по нему? Не находите ли вы справедливым дать мне волю, чтобы я растворила окно, если мне не хватит воздуха, и даже дверь (о, я не уйду далеко!), чтобы у меня была своя маленькая область деятельности, свои духовные запросы, свои собственные привязанности, чтобы не оставалась я в заточении где-то на одной точке земного шара, с куцым кругозором, а старалась расширить его, чтобы я могла переменить обстановку, уехать... (Я говорю: если так будет нужно... ведь я еще не знаю. Но, во всяком случае, я должна чувствовать, что вольна так поступать, вольна этого захотеть, вольна дышать, вольна... вольна быть вольной... даже если я никогда не стану пользоваться своей волей.) Простите, Рожэ, но, может быть, вы находите, что потребность эта-чепуха, ребячество? Вы не правы, уверяю вас, это сама суть моего существа, дыхание, без которого нельзя жить. Отнимите у меня все это, и я умру... Во имя любви я сделаю все... Но принуждение для меня убийственно. Самая мысль о принуждении меня возмущает... Нет, союз двух существ не должен оборачиваться для них цепями. Он должен цвести пышным цветом. Хотелось бы мне, чтобы мы не ревновали друг друга к свободной, деятельной жизни, чтобы счастьем нашим было помогать друг другу. Будет ли это счастьем для вас, Рожэ? Будете ли вы любить меня такой – свободной, свободной от вас?

(«Тогда я была бы тебе еще ближе!..» – думала в это время она.)

Рожэ слушал ее озабоченно, раздраженно, чуть обиженно, как слушал бы всякий мужчина на его месте. Аннете следовало бы взяться за дело поискусней. Но она так стремилась быть откровенной, так боялась ввести его в обман, что подчеркивала как раз то, что, по ее мнению, было ему всего неприятней. И если бы чувство Рожэ было глубже, он понял бы это. А Рожэ, – не говоря уже о том, как уязвлено было его самолюбие, – обуревало двойственное чувство: он не хотел принимать всерьез женский каприз и испытывал досаду при виде этого духовного бунта. Он не воспринял тревожного призыва, обращенного к его сердцу. Он понял одно: над ним нависла какая-то непостижимая опасность и его, собственника, ущемляют в правах.

Был бы он неопытней в обращении с женщинами, он затаил бы обиду и наобещал бы, наобещал, наобещал... все, чего хотелось Аннете. «Обещания влюбленного – пустые слова! Зачем же на них скупиться?» Но хоть и были у Рожэ недостатки, были у него и достоинства: этот, как говорится, «добрый малый» слишком был полон собой, чтобы хорошо изучить женщин, с которыми вдобавок мало имел дела. Скрыть досаду он не мог. Аннета ждала великодушных речей, но с разочарованием заметила, что, слушая ее, он думает лишь о себе.

– Признаюсь, Аннета, – начал он, – я никак не пойму вашей просьбы. Вы говорите о нашем браке так, словно для вас он тюрьма; у меня такое впечатление, что вы только и думаете, как бы из нее вырваться. В окнах моего дома решеток нет, и он так построен, что в нем легко дышится. Нельзя жить, распахнув двери настежь, а мой дом создан для того, чтобы его не покидали. Вы говорите, что вам хотелось бы уходить из него, завести свою личную жизнь, своих знакомых, своих друзей и даже, если я понял вас правильно, иметь возможность бросить, когда вам вздумается, семейный очаг, отправиться на поиски бог его знает чего – чего-то, что вам не удалось обрести дома, – а потом вернуться, когда заблагорассудится... Несерьезно это, Аннета! Вы это до конца не продумали. Да разве супруг потерпит такое положение, столь унижительное для него, столь двусмысленное для его супруги?

Рассуждения эти были, пожалуй, не лишены здравого смысла. Но бывают минуты, когда один лишь здравый смысл без участия сердца – бессмыслица.

Аннета, чуть уязвленная, сказала надменным и холодным тоном, скрывавшим ее волнение:

– Рожэ, нужно верить женщине, которую любишь; нельзя, женившись на ней, оскорблять ее, думая, будто она меньше вас оберегает вашу честь. Уж не воображаете ли вы, что такая женщина, как я, могла бы повести себя двусмысленно, унижить вас? Всякое ваше унижение было бы унижением и для нее. И чем была бы она свободней, тем больше чувствовала бы, что долг ее – оберегать ту сторону вашей жизни, которую вы ей доверили. Нужно относиться ко мне с большим уважением. Или вы не доверяете мне?

Он почувствовал, что высказывать сомнения опасно, что это только отдалит ее, и, подумав, что, пожалуй, не стоит придавать слишком большое значение всем этим женским выдумкам, что будет время и потом все это обсудить (если она вспомнит), вернулся к первой своей мысли: все превратить в шутку. Итак, он счел за благо предупредительно сказать:

– Я доверяю вам во всем, Аннета! Верю вашим прекрасным глазам. Поклянись мне только, что всегда будете любить меня, что будете любить меня одного! Большого я у вас не прошу.

Но эта маленькая Корделия не могла примириться с тем, что ее собеседник так легкомысленно уклоняется от прямого ответа, от которого зависела вся ее жизнь, и отказалась обещать невозможное:

– Нет, Рожэ, я не могу, не могу поклясться вам в этом. Я очень люблю вас, но не могу обещать то, что от меня не зависит. Я обманула бы вас, а я никогда не стану вас обманывать. Обещаю одно: ничего от вас не скрывать. И если я разлюблю вас или полюблю другого, вы узнаете об этом первый, – даже раньше того, другого. И вы поступите так же! Будем, Рожэ, правдивыми!

Но это было ему совсем не по душе. Правда стесняет, поэтому она не была завсегдатаем в доме Бриссо. Только постучится у порога, а ей спешат сказать:

«Никого нет!»

И Рожэ не преминул сделать так же. Он воскликнул:

– Милая, до чего вы хороши! Право же, поговорим о чем-нибудь другом!..

Аннета вернулась с прогулки разочарованная. Ведь она так надеялась на откровенный разговор! Правда, предвидела сопротивление, но рассчитывала, что сердце Рожэ озарит его рассудок. И больше всего огорчало ее не то, что Рожэ не понял ее, а то, что он и не старался понять. Словно не видел для нее во всем этом ничего трагического. Он был человек поверхностный и все мерил своей меркой. А ничто не могло больше огорчить женщину со сложным внутренним миром.

Аннета не ошибалась. Ее слова озадачили, уязвили Рожэ, но он не предполагал, как они серьезны, считал, что они останутся без последствий. Он раздумывал о том, что Аннете приходят в голову странные, немного парадоксальные мысли, что она «оригиналка», был этим недоволен. Его мать, его сестра умудрялись быть женщинами необыкновенными и не быть «оригиналками». Но нельзя же было требовать таких талантов от всех. У Аннеты были другие достоинства, которые Рожэ, пожалуй, особенно и не превозносил, но которыми (следует признаться) он дорожил сейчас гораздо больше.

В предпочтении этом тело играло более заметную роль, чем разум, но и разум играл тут роль. Рожэ очень нравилось, как она горячится под влиянием первого порыва, – нравилось, когда это не задевало его. Он не тревожился. Аннета со всей прямоотой сказала, что любит его. Он был убежден, что она с ним не расстанется.

Он и не догадывался, какая внутренняя драма разыгрывается перед ним.

На самом деле Аннета до того любила его, что не могла примириться с его заурядностью. Ей хотелось верить, что она ошибается. Она еще не раз пыталась поговорить с ним, вкладывала в это всю душу. Рожэ не признавал за ней права на независимую жизнь, но какое же место по крайней мере оставлял он ей в своей жизни? Снова и снова приходил он к

тем же обескураживающим заключениям. В своем наивном эгоизме Рожэ водворял ее за обеденный стол, в гостиную и в постель. Он был так мил, что собирался рассказывать ей о своих делах, а ей только и останется с ним соглашаться. Он уже не собирался признавать за женой права коллеги, который стал бы критиковать его политическую деятельность и мог бы изменить ее, больше того: он не позволил бы ей заниматься общественной деятельностью, отличной от его деятельности. Ему казалось вполне естественным (так велось испокон веков), что любящая жена должна отдать мужу всю свою жизнь, а взамен получить лишь частицу его жизни. В глубине его души таилась уверенность в своем превосходстве, исстари свойственная мужчине, который мнит, будто все, что отдает он, по существу своему гораздо ценнее. Впрочем, Рожэ в этом не сознавался: ведь он был славным малым и учтивым французом. Случалось, Аннета в подтверждение некоторых прав жены приводила в пример права мужа.

– Разные это вещи, – с усмешкой говорил Рожэ.

– Почему? – вопрошала Аннета.

Рожэ ловко уклонялся от ответа. Не так опасно поколебать убеждение, которое не обсуждается. А убеждения у Рожэ были косные. И Аннета избрала не правильный путь, когда хотела заставить его усомниться в себе. Уступчивость ее и то, как она старалась прийти к соглашению после тщетной попытки внушить ему свои взгляды, Рожэ истолковал как новое доказательство своей власти над ней. И становился все самоувереннее, проникался самомнением. Аннета, случалось, вдруг вспылит, ее голос дрогнет от возмущения. И Рожэ тотчас осекался, переводил разговор, применял тот метод, который, по его мнению, был так удачен: со смехом обещал все, что она от него хотела. Говорят, что дело не в словах. А для Рожэ все это были одни слова. И Аннете было и обидно и больно.

Вставали и другие, более важные вопросы. Опасность угрожала дружбе Аннеты и Сильвии. Было ясно, что всякая независимая девушка вряд ли была бы принята в этой среде, а швея тем более. Тщеславные, чопорные Бриссо ни за что не допустят, чтобы у них или у невестки была такая позорящая их имя родственница. Пришлось бы утаить ее. А Сильвия не согласилась бы, Аннета тоже. Каждая была по-своему горда, и сестры гордились друг другом. Аннета любила Рожэ, ее тянуло к нему сильнее, чем она себе признавалась, но никогда ради него она не пожертвовала бы Сильвией. Слишком она любила ее. И пусть любовь эта потускнела, но Аннета не забывала, что в иные минуты, именно благодаря ей она постигала всю глубину страсти (знала об этом она одна, даже Сильвия не совсем об этом догадывалась). В те часы, когда и Рожэ и Аннета все откровенно поверяли друг другу, она рассказала ему многое. Рожэ как будто заинтересовался, растрогался. Да, но при условии, что все это прошлое. Ему было совсем не по душе такое компрометирующее родство. И втайне он даже решил заставить ее порвать с Сильвией, исподволь, так, будто он здесь и ни при чем. Не желал он ни с кем делить привязанность своей жены. Своей жены... «Эта собака принадлежит мне». Он, как и вся его семья, очень дорожил тем, что ему принадлежало.

И чем дольше гостила у них Аннета, тем больше превращалась в их собственность – так пошло с той минуты, как они начали выказывать ей свою благосклонность. Бриссо все прибирали к рукам. Каждый день в тысяче мелочей обнаруживалась домашняя тирания дам Бриссо. У них было «готовое», как говорится, мнение обо всем – шла ли речь о хозяйстве, о светских развлечениях, о делах житейских или о величайших проблемах жизни духовной. Раз и навсегда привешивался, приклеивался ярлык. Все было расписано: что подобает восхвалять, что следует отвергать, особенно много следовало отвергать. Что только не подвергалось остракизму!

Сколько людей, вещей, мнений и действий осуждалось, чему только не выносился приговор бесповоротный и окончательный! Тон и улыбка были такие, что и спорить не хотелось. Весь вид их говорил (они часто и на самом деле так говорили): «Тут не может быть двух мнений, душечка».

А когда Аннета пыталась доказать, что у нее есть свое мнение, они роняли:

– Душечка, вы, право, забавны! И она умолкала.

С ней уже обращались, как со своей, но девица была вышколена неважно, следовало ее поучить всему, что принято в их кругу. И все Бриссо ее учили, в каком порядке у них расписаны дни, месяцы и времена года, какие у них знакомые тут, в провинции, какие у них знакомые в Париже, какие родственные связи, какие визиты, обеды, – бесконечная была цепь светских повинностей, от которых дамы стонут и которыми они очень гордятся, ибо вечная суэта хоть и утомляет их, но создает иллюзию, будто они служат какому-то делу. Бессмысленная эта жизнь, двуличность, вечные условности были нестерпимы для Аннеты. Все, очевидно, отводилось заранее: и трудам и удовольствиям, ибо и у них были свои удовольствия, только время им отводилось заранее!.. Да здравствуют непредвиденные осложнения, нарушающие уклад жизни! Но нечего было надеяться, что даже осложнения могут нарушить уклад здешней жизни. Аннета чувствовала, что ее замуровали словно камень в стене! Песком и известью. Римский цемент. Замешен семейством Бриссо...

Она преувеличивала незыблемость уклада их жизни.

В этой жизни, как и во всем, играли роль случай, непредвиденные обстоятельства. Дамы Бриссо на словах были страшнее, чем на деле; им хотелось главенствовать, но не так уж невозможно было провести их за нос, – надо было только найти их слабую струнку и сыграть на ней. Лстить им, кадить. И девушка хитрая, оценив их правильно, решила бы так: «Говорите, что хотите! А я буду поступать по-своему».

Вероятно, им никогда не удалось бы подавить такую непреклонную волю, какая была у Аннеты. Но Аннета жила сейчас в том нервном возбуждении, которое охватывает женщин, когда они так долго всматриваются в предмет, занимающий их помыслы, что теряют представление об его подлинной сущности. Стоило днем каким-то словом встревожить ее, и вечером ее воображение вылепляло чудовище. Ее ужасала борьба, которую ей неустанно предстояло вести, и она твердила, что никогда не защитит ей себя от них всех. Она чувствовала, что не очень сильна, сомневалась в своей энергии. Боялась за свой характер; боялась неожиданных колебаний, из-за которых все не приходил в равновесие ее беспокойный ум, внезапных, необъяснимых перемен настроения. И, конечно, все это происходило оттого, что слишком сложна была ее одаренная натура; лишь постепенно, с годами, суждено ей было вновь обрести покой, а до тех пор она жила под вечной угрозой, что какая-то сила вотвот застанет ее врасплох, и тогда она поддастся гневу, истоме, вожделению, раздумью, – поддастся коварным, роковым случайностям, устроившим засаду за поворотом минуты, под глыбами камней, лежащих на пути...

И, в сущности, она была в таком смятении оттого, что усомнилась в своей любви. Сама ничего не понимала... Не то разлюбила, не то любила по-прежнему. Разум и сердце ее – разум и чувства ее – вели борьбу. Разум все видел слишком ясно: он уже не заблуждался. А вот сердце – нет, и плоть ее разбушевалась, потому что теряла желанного; страсть рокотала:

«Не желаю отступаться!»

Аннета чувствовала, как бунтует ее плоть, и это ее унижало; силы ее души стойко противодействовали, взывали к ее оскорбленной гордости. Она говорила:

«Я разлюбила его...»

И теперь она, с неприязнью вглядываясь в Рожэ, искала повод, чтобы разлюбить его.

Рожэ ничего не замечал. Он окружал Аннету вниманием, цветами, нежной заботой. Ведь он считал партию выигранной. Ни на секунду не подумал он о том, что гордая, дикая душа, скрытая от взоров, наблюдает за ним, горит желанием отдать себя, но лишь тому, кто скажет ей таинственный пароль, означающий, что они родственны друг другу. А он все не произносил его.

Напротив, говорил какие-то необдуманные слова, которые ранили Аннету в самое сердце, хоть она и не показывала вида. А через минуту он уже не помнил, о чем говорил. Аннета же, которая будто ничего и не слышала, могла бы повторить дословно все, что он сказал, и десять дней и десять лет спустя. Оставалось яркое воспоминание, открытая рана. И происходило это помимо ее воли, ибо она была великодушна и упрекала себя в том, что ничего не в силах забыть. Впрочем, и самая добрая женщина на свете, простив тем, кто

причинил ей душевную боль, не забывает о ней никогда.

Шли дни, и все чаще рвалась тонкая ткань, вытканная любовью. Никто этого не замечал. Ткань по-прежнему была натянута, но даже от легкого дуновения тревожно колыхалась.

Аннета, наблюдая за Рожэ в семейном кругу, видела, как много в нем черт, присущих всей семье, как он резок, как черствы иные его слова, как он презирает простых людей, и размышляла:

«Он выцветает. Пройдет несколько лет – и от всего того, что я любила в нем, и следа не останется».

Но она еще любила его, поэтому ей и хотелось избежать горького разочарования, унижительных пререканий, которые – это она предвидела – возникнут, если они соединят свои жизни.

За два дня до Пасхи решение было принято. Тягостная ночь. Пришлось побороть влечение к нему, растоптать упрямую надежду, которая все не желала умирать. В мечтах Аннета уже свила гнездо для себя и Рожэ. Сколько было грез о счастье – таких, о которых тихонечко нашептываешь себе! И от них отказаться! Признать, что ошиблась! Твердить себе, что не создана для счастья!..

Она твердила себе об этом, потому что упала духом.

Другая на ее месте ни за что не отвергла бы его. Почему же она не может принять его? Почему же не в силах пожертвовать частицей своего «я»?

Да, она была не в силах сделать это! Как нелепо устроена жизнь! Не прожить без взаимной любви, а тем более не прожить без независимости. И то и другое – святыня. И то и другое необходимо, как воздух. Как их совместить? Тебе говорят: «Пожертвуй собой! А если не можешь пожертвовать собой, какая же это любовь?..» Но почти всегда те, кто создан для большой любви, всех неудержимей стремятся к независимости, ибо все чувства их сильны. И если они приносят в жертву любви гордость свою, то чувствуют, что унижены в своей любви, что бесчестят свою любовь. Нет, совсем не так это просто, как пытаются нам внушить проповедники самоуничтожения или проповедники гордыни – христиане и нищезанцы. Не сила в нас противодействует слабости, не добродетель – пороку, а две силы, две добродетели, два долга выступают друг против друга. Единственной на свете истинной моралью, которая соответствует жизненной истине, была бы мораль, проповедующая гармонию. Но человеческое общество знает пока лишь одну мораль, проповедующую угнетение и самоотречение, сдобренные ложью. Аннета лгать не могла.

Что же делать? Скорее, любой ценой выйти из двусмысленного положения!

Она убедилась, что их совместная жизнь невозможна, значит, надо порвать, и немедленно!

Порвать!.. Она представила себе, как будет поражена вся семья, как будет возмущена... Все это пустяки... Но как огорчится Рожэ! Лицо любимого всплыло перед ней во мраке... И когда она увидела его, поток страсти вновь отбросил все остальное. То жаром, то холодом обдавало Аннету, и, лежа на спине в постели, не шевелясь и не смыкая глаз, она старалась обуздать свое сердце.

«Прости меня, Рожэ, родной мой! – умоляла она. – Ах, если бы я могла избавить тебя от этой муки! Но не могу, не могу!»

И тут она почувствовала такой прилив любви, такие угрызения совести, что готова была броситься к Рожэ, упасть на колени перед его кроватью, поцеловать ему руки, сказать ему:

«Сделаю все, что ты хочешь...»

Как! Она все еще любила его? Она возмутилась...

«Нет, нет! Я больше не люблю его!..»

Она лгала себе в исступлении:

«Больше не люблю его!..»

Тщетно! Она все еще любила его. И так сильно никогда еще не любила.

Вероятно, это было не самое ее возвышенное чувство. (Но что такое возвышенное

чувство? И что такое невозвышенное?) Нет, и самое возвышенное и самое невозвышенное! Тело и душа! Если б было так: перестала уважать, перестала и любить! Как было бы хорошо! Но когда страдаешь по милости того, кого любишь, от любви не избавляешься, с горечью сознаешь, что разлюбить бессильна!.. Чувства Аннеты были оскорблены, и она страдала оттого, что ей не доверяли, в нее не верили, оттого, что неглубока была любовь Рожэ. Она так страдала, так горько было ей видеть, что погибло столько надежд, которые она вынашивала, никому о них не рассказывая!

Именно оттого, что так горячо любила она Рожэ, и было для нее так важно заставить его согласиться на ее самостоятельность. Ей хотелось вступить в брачный союз, чтобы стать не просто женой, обезличенной, бездеятельной, а свободным и верным товарищем. Он же не придавал этому ровно никакого значения. И она снова почувствовала, как ей обидно, как негодует ее оскорбленная любовь...

«Нет, нет! Не люблю его больше! Не должна, не хочу больше любить...»

Но тут Аннета не выдержала, и не успел отзвучать крик возмущения, как она заплакала, во мраке, в тишине... Увы! Она слушала холодный голос рассудка... сгорала... Не хотелось ей себе признаваться, но с какой радостью она всем пожертвовала бы ему, всем, что принадлежало ей, даже независимостью, если б заметила хоть одно благородное движение его души, если б он попытался, только попытался пожертвовать собой, а не стремился лишь к тому, чтобы принести ее в жертву себе! Ведь она и не позволила бы ему жертвовать собой. Она ничего не требовала бы у него, кроме великодушия, кроме этого доказательства настоящей любви. Но хоть он и любил ее по-своему, однако на такое доказательство чувств был не способен. Ему это и в голову не приходило. Он счел бы желания Аннеты просто-напросто женским капризом, который нельзя принимать всерьез, в котором нет смысла. Ну чего ей еще желать? Черт знает из-за чего заплакала! Потому что любит его! Как же быть?

«Вы любите меня, не правда ли? Любите. Это главное!..»

Да, она не забыла эти слова!

Аннета улыбнулась сквозь слезы. «Милый Рожэ!

Надо его принимать таким, какой он есть. Нечего на него сердиться. Но себя мы не переделаем. Ни он, ни я. Вместе жить мы не можем...»

Она вытерла глаза.

«Итак, нужно с этим покончить...»

Миновала бессонная ночь (Аннета задремала на заре и проспала часа два), и она встала полная решимости. С рассветом к ней вернулось спокойствие. Она оделась, причесалась аккуратно, хладнокровно, отгоняя все, что могло пробудить в ней сомнение, тщательнее, внимательнее, чем обычно, следя за каждой мелочью туалета.

Около девяти часов в дверь весело постучал Рожэ. Он звал ее на прогулку – так повелось у них по утрам.

И они пошли: за ними, прыгая, бежала большая собака. Свернули на дорогу, уходившую в чащу леса. Все зеленело, и сквозь молодую листву пробивались солнечные лучи. С ветвей струилось пение птиц. На каждом шагу – взлет, хлопанье крыльев, шелест листьев, шуршанье веток, растерянный бег зверьков через лес. Собака возбужденно рывкала, обнюхивала землю, кружила. Дрались сойки. На макушке дуба ворковали два диких голубка. А где-то вдали куковала кукушка-то поближе, то подальше, без усталости повторяя свою старую-престарую шутку. Весна была в самом разгаре...

Рожэ расшумелся, развеселился, хохотал, дразнил собаку и сам напоминал большого резвого пса. Аннета молча шла чуть позади. Думала:

«Вот тут... Нет, вон там, на повороте...»

Она смотрела на Рожэ. Внимала лесу... Как все переменилось бы сразу, если б она заговорила! Миновали поворот. Она промолчала. Потом окликнула:

– Рожэ! Неуверенно, глухо прозвучал ее голос – и оборвался... Рожэ не услышал. Он ничего не замечал. Стоял впереди нее и, наклонившись, срывал фиалки; болтал, болтал без умолку. Аннета повторила:

– Рожэ! На этот раз в ее голосе звучала такая мука, что он тревожно обернулся. И, только сейчас заметив, как смертельно побледнело ее строгое лицо, подошел... Ему стало страшно. Она сказала:

– Рожэ, нам придется расстаться.

Изумление, испуг исказили его лицо. Он тихо спросил:

– Что вы сказали? Что вы сказали? Она повторила твердо, стараясь не смотреть на него:

– Нам придется расстаться, Рожэ, придется, как это ни печально. Я убедилась, что не могу, не могу стать вашей женой...

Ей не удалось договорить. Он прервал ее:

– Нет, нет, это не правда! Замолчите, замолчите! Вы сошли с ума!..

– Я уезжаю, Рожэ, – сказала она.

– Уезжаете? Не пущу! – крикнул он и, схватив ее за руки, сжал до боли.

И вдруг увидел такое гордое, такое волевое и холодное лицо, что сразу понял: все погибло; тогда он выпустил ее руки, стал просить прощения, требовать, молить:

– Аннета! Девочка моя! Оставайтесь, оставайтесь!.. Нет, это невозможно!.. Да что же произошло? Чем я провинился?

Суровое лицо вновь смягчилось от жалости.

– Присядем, Рожэ... – промолвила она.

Он послушно сел рядом с ней на холмике, поросшем мохом; его глаза, не отрываясь, смотрели на нее, звали к каждому ее слову.

– Успокойтесь, нам нужно объясниться... Прошу вас, успокойтесь! Поверьте, что и мне очень трудно сохранять спокойствие... Я заставляю себя говорить...

– А вы не говорите! – сказал он. – Это просто безумие!..

– Так надо.

Он хотел было зажать ей рот рукой. Она отстранилась. Решение ее, очевидно, было так непоколебимо, несмотря на все душевное смятение, что Рожэ это понял, отказался от борьбы и слушал подавленно, растерянно, уже не смея на нее взглянуть.

Аннета, голос которой звучал бесстрастно, холодно, угрюмо, хотя то и дело пресекался, два-три раза умолкала, чтобы перевести дыхание, но сказала все, что решила сказать, в ясных, обдуманных, тактичных выражениях, казавшихся от этого еще неумолимей. Ей искренне хотелось испытать, могут ли они жить вместе. Вначале она надеялась, хотела этого всей душой. И увидела, что это неосуществимая мечта. Многое их разделяет. Слишком велика разница в среде, в образе мыслей. Она берет вину на себя; теперь она твердо уверена, что замужество не для нее. Ее взгляды на жизнь, на независимость женщин не совпадают со взглядами Рожэ. Быть может, Рожэ и прав. Почти все мужчины, а может быть, и женщины, придерживаются его мнения. Она, вероятно, не права. Но права ли, нет ли, а такой уж у нее характер. К чему же причинять горе другому и самой себе? Она не создана для жизни вдвоем. Она возвращает Рожэ его обязательства и снова получает свободу. Да ведь они ничем и не были связаны. Никакой фальши в их отношениях не было. И расстаться они должны без фальши, как друзья.

Она говорила, не отводя глаз от былинки, зеленевшей у ее ног, она боялась посмотреть на Рожэ. Но она слышала его прерывистое дыхание, и договорить ей было нелегко. Договорила и решила на него взглянуть. Тут была потрясена и она. Лицо у Рожэ было такое, будто он тонул: он побагровел, дышал с шумом, у него не было сил кричать. Он как-то неловко взмахнул судорожно сжатыми руками и, с трудом вздохнув, простонал:

– Нет, нет, не могу, не могу...

И вдруг разрыдался.

С пашни, с лесной опушки, донесся голос крестьянина, скрип плуга. Аннета растерялась, схватила Рожэ за руку, повела в глубь леса, подальше от дороги. Он совсем обессилен, шел покорно и все твердил:

– Не могу, не могу... Что же со мной станется?

Она ласково просила его замолчать. Но его охватило отчаяние: уязвленная любовь,

уязвленное самолюбие, мысль о том, что всем будет известно о его унижении, что счастье, о котором он так мечтал, теперь несбыточно, – все смешалось; взрослый ребенок, избалованный жизнью, никогда ни в чем не выдавший отказа, был подавлен своим поражением; то была катастрофа, крушение всех его надежд, он терял уверенность в себе, он терял почву под ногами, ему не за что было ухватиться. Аннета, растроганная его отчаянием, говорила:

– Друг мой... друг мой... не плачьте! У вас, перед вами чудесная жизнь... Я не нужна вам.

А он все твердил:

– Я не могу обойтись без вас. Я ничему больше не верю... Не верю больше, что жизнь мне удалась...

И молил, упав на колени:

– Останьтесь! Останьтесь!.. Я буду делать все, что вы хотите... все, что захотите...

Аннета отлично знала, что он не сдержит обещания, но душа ее смягчилась. Она ласково ответила:

– Нет, друг мой, хоть вы это и говорите искренне, но сдержать свое слово не можете, а если и сдержите, то это будет вам в тягость, да и мне также; жизнь наша превратилась бы в одно сплошное препирательство...

Он понял, что ему не поколебать ее решения, и залился слезами, как ребенок, прильнув к ее ногам. Сердце Аннеты дрогнуло от любви и от жалости. Ее воля никла. Она хотела дать отпор, но не устояла перед его слезами. О себе она больше не думала, думала только о нем. Она ласкала милую голову, припавшую к ее коленям, шептала нежные слова. Она приподняла своего безутешного взрослого мальчика, своим платком вытерла ему глаза, снова взяла за руку, заставила идти. Он был совсем без сил, позволял ей делать с собой все, что ей хотелось, и все время плакал. Они шли, и ветки хлестали их по лицу. Шли лесом, ничего не замечая, не зная, куда идут. Аннета чувствовала, как ширится в ней смятение и любовь. Она говорила, поддерживая Рожэ:

– Не плачьте! Милый мой... Мальчик мой... Не терзайте мою душу... Я этого не вынесу... Не плачь! Я люблю вас... Люблю тебя, мой бедный маленький Рожэ...

А он твердил, всхлипывая:

– Не любите...

– Нет, люблю тебя, люблю, ты никогда так не любил меня, в тысячу раз больше люблю... Ради тебя я на все готова... Да, готова на все... Ведь ты мой, Рожэ! Так они шли, и вдруг лес поредел, – они очутились у забора, окружавшего имение Ривьеров, у старого их дома. Знакомые места...

Аннета взглянула на Рожэ. И внезапно в нее вторглась страсть. Испепеляющий шквал. Чувства охмелели, будто от пьянящего запаха акации... Она подбежала к двери, не выпуская руку Рожэ. Они вошли в пустой дом. Ставни были закрыты. После яркого света оба словно ослепли. Рожэ наткнулся на мебель. Он ничего не видел, ни о чем не думал, он послушно шагнул – пылающая рука вела его в темноте по первому этажу дома. Аннета не колебалась, жребий был брошен... В самой дальней комнате, комнате сестер, там, где от прошедшей осени еще оставался аромат их тел, она подошла с ним к широкой кровати, на которой обе они тогда спали, и, изнемогая от жалости и страсти, отдалась ему.

Когда утих порыв страсти и они пришли в себя, их глаза уже привыкли к темноте. В комнате стало словно светлее. Из щелей в ставнях, приплясывая, тянулись полосы света, будто напоминая, что там, за стенами, ясный день. Рожэ покрывал поцелуями нагое тело Аннеты; он пылко благодарил ее...

Но, выговорившись, вдруг умолк, прильнул к Аннете, прижался к ней лицом... Аннета лежала молча, неподвижно – и думала... В саду, в кусте роз у стены, жужжали пчелы... И Аннета слышала, как слышишь песнь, замирающую вдали, что любовь Рожэ улетает...

Он уже не так сильно любил ее. Рожэ и сам со стыдом и досадой чувствовал это, но допустить этого не желал. В глубине души он был поражен, что Аннета так поступила.

Смешная требовательность мужчины! Его влечет к женщине, а когда она доверчиво и искренне отдается ему, он готов расценить ее поступок, исполненный душевного благородства, как неверность!

Аннета склонилась к нему, приподняла его голову, молча долгим взглядом посмотрела ему в глаза, грустно улыбнулась. А он почувствовал, что ее взгляд проник ему в самую душу, но попытался ввести ее в заблуждение.

Решил, что лучше всего прикинуться пылким и влюбленным.

– Теперь, Аннета, вам не уйти, – сказал он. – Я обязан жениться на вас.

Аннета снова печально улыбнулась. Она так хорошо читала в его сердце.

– Нет, друг мой, – заметила она, – ничуть не обязаны.

Он опомнился:

– Мне хочется...

Она в ответ:

– Я уезжаю.

Он спросил:

– Почему? И не успела она ответить, как он понял, отчего она уезжает.

Однако счел своим долгом отговорить ее. Она прикрыла ладонью его рот. Он поцеловал ладонь страстно, гневно... ведь он так любил ее! Он стыдился своих мыслей. Уж не заметила ли она?

А мягкая, нежная ладонь прижалась к его губам, словно говоря:

«Ничего не заметила...»

Порой издали долетал звон сельского колокола... Они долго молчали, наконец Аннета вздохнула. Итак, на этот раз все кончено...

– Пора уходить, Рожэ... – негромко сказала она.

Объятия разомкнулись. Он опустился на колени перед постелью, прижался лбом к оголенным ногам Аннеты. Словно хотел доказать ей:

«Я твой».

Но ему не удавалось отогнать какие-то непрощенные мысли. Он вышел из комнаты – Аннета осталась одна и принялась одеваться. Он ждал ее в палисаднике, облокотившись о забор, и, рассеянно слушая шум лесов и полей, упивался воспоминанием о том, что сейчас совершилось. Тягостные мысли исчезли. Он блаженствовал; удовлетворены были и самолюбие и чувственность. Он был горд собой. Подумал:

«Бедная Аннета!»

Но тут же спохватился:

«Милая Аннета!»

Она вышла из дома. Спокойная, как всегда. Но только очень бледная...

Кто бы мог сказать, что пережила она в те мгновения, пока оставалась одна: вспышки ли страсти, тоску ли, отчаяние? Рожэ ничего не приметил, он занят был только собой. Он пошел навстречу, снова попытался уговорить ее. Она приложила палец к губам: не надо! У живой изгороди, опоясывавшей сад, сорвала ветку боярышника, разломила ее надвое, полветочки протянула ему. А когда выходила из ворот, прильнула губами к губам Рожэ.

Возвращались молча по лесной тропинке. Она попросила его не прерывать молчания. Он держал ее за руку. Был очень нежен. Она улыбалась, полузакрыв глаза. Теперь он вел ее. И уже забыл, как плакал здесь час назад...

А в чаще леса собачий лай вспугивал дичь...

Она уехала наутро. Предлогом было письмо, внезапная болезнь какой-то престарелой родственницы. Но Бриссо нельзя было провести. Они все видели лучше Рожэ и последнее время подозревали, что упустят Аннету. Но им приличествовало не показывать вида, будто они допускают такую возможность, и прикинуться, будто отъезд не вызывает у них никаких сомнений. До последней минуты разыгрывался фарс на сюжет нежданной разлуки и скорой встречи. Аннете была тяжела эта вынужденная роль, но Рожэ попросил ее объявить о своем решении попозже, написать из Парижа. И Аннета созналась себе, что ей было бы очень

неприятно сообщить семейству Бриссо о нем устно. Потому-то, расставаясь, они улыбались, разговаривали с искусственным оживлением, обнимались, но не было во всем этом сердечности.

Снова Рожэ вез Аннету в шарабане, но теперь уже на станцию. Обоим было грустно; Рожэ, как подобает порядочному человеку, снова просил ее выйти за него замуж; сказал, что обязан жениться на ней, – ведь он был джентльмен. Джентльменского в нем было даже слишком много. Уж теперь, по его мнению, он был вправе показать Аннете свою власть, на благо ей самой. Он считал, что Аннета, отдавшись ему, потеряла чувство собственного достоинства, что отныне положение их не совсем одинаково и что он должен настаивать на браке. Аннета отлично понимала, что если они теперь поженятся, то он найдет себе в тысячу раз больше оправданий, чем прежде, лишая ее самостоятельности. Конечно, она была признательна ему за то, что он так настойчив, тактичен. Но... она отказала ему... Рожэ втайне негодовал. Не мог понять ее. (Он воображал, что прежде понимал!) И строго ее осудил. Но себя не выдал. Она все подметила со смешанным чувством печали, иронии и, как всегда, нежности. (Ведь во всем этом был Рожэ!).

Когда подъезжали к станции, она положила руку, затянутую в перчатку, на руку Рожэ. Он вздрогнул.

– Аннета!

– Простим друг другу! – сказала она.

Он хотел ответить, но не мог. Они не разнимали рук. И не смотрели друг на друга. Но они сдерживали слезы, набегавшие на глаза, и оба знали об этом...

Приехали на станцию – надо было следить за собой. Рожэ усадил Аннету в вагон. В купе были люди. Пришлось ограничиться обычными любезностями, но они не могли наглядеться друг на друга – хотелось запечатлеть в памяти милое лицо.

Паровоз свистнул. Они сказали:

– До свидания! А подумали:

«Прощай навеки!»

Поезд ушел. Рожэ возвращался домой под вечер! Он был опечален и сердит. Сердит на Аннету. Сердит на себя. Его мучила тоска. Он испытывал – о стыд! – чувство облегчения.

Он остановил лошадь на пустынной дороге и, изнемогая от презрения к себе, от презрения и от любви к себе, горько заплакал.

Аннета возвратилась домой в Булонский лес и стала жить затворницей.

Письмо к Бриссо ушло, и она порвала связь с миром. Никто из друзей не знал, что она вернулась. Писем она не распечатывала. Целыми днями не выходила из квартиры. Старая тетка никогда не понимала ее и, привыкнув ко всему, ничуть не тревожилась и не нарушала ее уединения. Жизнь внешне словно прекратилась. Зато другая – внутренняя жизнь – стала еще напряженнее. В безмолвии порой неистовствовала раненая страсть. Аннете нужно было остаться одной, чтобы жить только ею. После бурных вспышек она чувствовала себя надломленной, обескровленной; губы пересыхали, лицо пылало, руки и ноги леденели. Потом она надолго впадала в оцепенение, грезилась в тяжелом полусне. Грезилась она наяву и не пыталась руководить своими мыслями. Ею овладели какие-то смутные ощущения, и не было им числа...

Мрачная печаль, горькая нежность, привкус пепла во рту, несбыточные мечты, внезапно вспыхнувший луч воспоминаний, от которого сердце готово было выпрыгнуть из груди, приступы уныния, муки уязвленной гордости и страсти, предчувствие гибели, ощущение чего-то непоправимого, рокового, против чего тщетны все усилия, – все это сначала подавляло, потом стало просто навевать тоску, потом понемногу вылилось в какое-то безразличие, окрашенное уходящей печалью, и в ней было что-то удивительно приятное.

Она не понимала, что с ней...

Как-то ей приснилось, что она в лесу, отягченном набухшими почками.

Будто она совсем одна. Она бежала по лесной чаще. Ветки цеплялись за ее платье; не пускал мокрый кустарник; вот она вырвалась, но разорвала платье, ей стыдно – ведь она

полуголая. Нагнулась, прикрылась юбкой, разодранной в клочья. И вот она видит: перед ней на земле круглая корзина, под грудой листьев, освещенных солнцем, – не желтых и не золотых, а серебристых, белых, как кора березы, белых, как тонкое-претонкое полотно.

Она взволнованно всматривается, опускается на колени. Вдруг под полотном что-то шевельнулось. Сердце у нее колотится, она протягивает руки – и просыпается... Волнение не утихло... Она не могла понять, что с ней...

Настал день, когда она поняла все. Больше она не была одинока. В ней пробуждалась жизнь, новая жизнь...

Шли недели, а она вынашивала в себе целую вселенную.

«... Любовь, ты ли это? Любовь, покинувшая меня в тот час, когда я вообразила, будто овладела тобою, не ты ли сейчас во мне? Крепко-крепко я держу тебя, и ты не уйдешь, о родной мой пленник, крепко держу я тебя, ты – в моем чреве. Мсти! Поглоти меня! Крошка моя, грызи мое чрево! Пей мою кровь! Ты – это я. Ты – моя мечта. На земле я тебя не нашла и создала тебя из самой себя... Вот когда, Любовь, я завладела тобой! Я воплотилась в того, кого люблю!..»

КНИГА ВТОРАЯ ЛЕТО

To strive, to seek, not to sin, and not to yield.

Стремиться, искать, не находить, но и не сдаваться.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

В комнате с прикрытыми ставнями царил полумрак. Аннета в белом пеньюаре сидела на кровати, ее только что вымытые волосы были распущены по плечам. В открытое окно вливался послеполуденный жар золотого августовского дня. Здесь словно чувствовалось сонное оцепенение Булонского леса, дремавшего на солнце где-то за окнами. И Аннета испытывала такое же состояние тихого блаженства. Она способна была часами лежать, не двигаясь, ни о чем не думая, не чувствуя потребности о чем-нибудь думать. Ей было достаточно сознания, что она не одна, что теперь их двое, и она даже не пыталась разговаривать с тем крохотным человечком, который жил в ней, – она была уверена, что он чувствует то же, что и она, и, значит, они без слов понимают друг друга. При мысли о нем волна нежности поднималась в ней. Потом, сонно улыбаясь, Аннета снова погружалась в свое блаженное забытие.

Но в то время как душа дремала, ощущения сохраняли удивительную остроту, мгновенно отзываясь на тончайшие вибрации воздуха и света. Вот из сада повеяло сладким ароматом клубники – и Аннета уже с наслаждением вдыхает его, ощущает вкус ягод на языке. От ее слуха не ускользает ни один звук, и все тешит его – шелест листьев, тронутых ветерком, скрип песка под чьей-то ногой, голос на улице, звон колокола, зовущего к вечерне. Вдали, как огромный муравейник, гудит Париж. Париж 1900 года...

Лето всемирной выставки. Марсово поле напоминало огромный чан, в котором бродят на солнце тысячи гроздей человеческого винограда... Это чудовищное кипение было настолько близко, что Аннета слышала и ощущала его, и вместе с тем достаточно далеко, так что она чувствовала себя в безопасности и еще больше наслаждалась прохладой и мирной тишиной своего уголка. «О суeta суeta! Истинное счастье здесь, внутри меня!..»

Рассеянным и чутким, как у кошки, ухом Аннета ловила один за другим все звуки и лениво следила, как они замирают. Вот внизу у входной двери звякнул звонок, и она узнала мелкие шажки Сильвии, которая, как всегда, не шла, а взбегала по лестнице. Аннете хотелось быть одной. Но счастье ее было так прочно, что она знала: кто бы ни пришел, он ничем не сможет омрачить его.

Сильвия узнала новость только неделю назад. Она с весны не имела от Аннеты никаких вестей. Занятая своим новым романом, хотя и не очень глубоко волновавшим ее, она не замечала долгого молчания Аннеты. Когда же с романом было покончено и он уже не занимал ее мыслей, у Сильвии нашлось время подумать о сестре, и она забеспокоилась. Решив справиться у тетки, что с Аннетой, она пошла в их дом на Булонской набережной и была очень удивлена, узнав, что Аннета вернулась – и так давно! Она хотела было хорошенько разбранить сестру за невниманье, но Аннета приготовила ей еще и другой сюрприз: скрывая волнение, она сразу рассказала Сильвии все без утайки. Сильвии стоило больших усилий дослушать до конца. Как! Аннета, благоразумная Аннета могла сделать такую глупость, да еще потом отказалась выйти замуж, – нет, это неслыханно, этого нельзя допустить! Новоявленная Лукреция была возмущена. Она накинулась на Аннету, назвала ее сумасшедшей. Аннета отнеслась к этому спокойно и кротко. Было ясно, что ее ничем не проймешь. Сильвия видела, что с этой упрямницей ей не сладить.

Она готова была ее прибить! Но можно ли было долго сердиться на эту милую девушку, которая слушала ее с обезоруживающей улыбкой! И потом – тайное очарование материнства...

Сильвия кляла это материнство как несчастье, но она была женщина, и оно вызывало в ней невольное умиление...

Однако она и сегодня пришла с твердым намерением «расшевелить» Аннету, сломить наконец ее нелепое упорство, заставить ее потребовать брака, а иначе... «иначе я рассержусь!» Она вихрем влетела в комнату. От нее пахло порохом и рисовой пудрой. И, так сказать, для разбега, не успев даже поздороваться с Аннетой, она стала ругать «сумасбродов, которые проводят дни взаперти в темной комнате». Но, взглядевшись в счастливые глаза Аннеты, которая протянула ей обе руки, Сильвия не выдержала и поцеловала сестру. Впрочем, она и после этого продолжала ее бранить:

– С ума сошла! С ума сошла! Совсем спятила! Полюбуйтесь на нее: распустила волосы, нарядилась в белое платье – ангел да и только... Вот ошибется, кто этому поверит!.. Хороша недотрога! Дрянная девчонка!..

Она трясла Аннету за плечи. А та с усталым и довольным видом терпеливо сносила все. Сильвия вдруг замолчала, не докончив тирады, взяла сестру обеими руками за голову, откинула ей волосы со лба:

– Смотрите, свежа, как роза! Никогда еще у нее не было такого чудесного цвета лица. И какой победоносный вид! Есть чему радоваться! И тебе не стыдно?

– Ни капельки! – ответила Аннета. – Я никогда еще не была так счастлива. Я чувствую в себе столько сил, мне так хорошо! Только теперь жизнь моя полна, и ничего мне больше не нужно. Мне так давно хотелось иметь ребенка – еще тогда, когда я сама была ребенком. Да, мне и семи лет не было, а я уже мечтала об этом.

– Врешь! – возразила Сильвия. – Не далее, как полгода назад ты говорила мне, что никогда не чувствовала призвания к материнству.

– Неужели? Я так говорила? – в замешательстве спросила Аннета. – Ах да, да, правда!.. Ну что же, я и тогда не лгала и теперь не лгу... Как бы тебе объяснить? Я не выдумываю. Я это хорошо помню.

– Знаю, и со мной так бывает, – заметила Сильвия. – Всякий раз, как мне кто-нибудь приглянется, я начинаю воображать, что всю жизнь только о таком и мечтала.

Аннета недовольно поморщилась.

– Нет, ты не понимаешь! Во мне заговорила теперь моя подлинная душа.

И мне всегда нужно было именно это, только я не смела себе признаться, пока не пришло время: боялась обмануться. А теперь... О, теперь я вижу, что это еще чудеснее, чем я ожидала!.. И в нем я нашла себя, всю целиком. Я ничего больше не хочу...

– Когда тебе нужен был Рожэ или Туллио, ты тоже ничего больше не хотела, – язвительно заметила Сильвия.

– Ах, ты ничего, ничего не понимаешь!.. Разве можно сравнивать? Когда я любила

(ведь вы называете это любовью), не я хотела, а что-то во мне, чему я должна была покоряться... И как же я страдала от этой силы, которая мною завладела, которой я не могла противиться! Сколько раз я молила бога освободить меня! И вот в самом деле пришло избавление-это он, он, мой малышечка, пришел мне на помощь, когда я билась в тисках той муки, которую называют любовью. Он пришел и спас меня... Ох ты, мой маленький спаситель!..

Сильвия расхохоталась. Она ровно ничего не поняла из объяснений сестры. Но одно ей было понятно и без объяснений: материнский инстинкт, проснувшийся в Аннете. И это сближало сестер. Они принялись с умилением болтать о маленьком незнакомце (кто это будет, мальчик или девочка?) и о тысяче вещей, пустячных и в то же время таких важных, связанных с его появлением на свет, – вещей, о которых женщины никогда не устают говорить.

Так сестры разговаривали долго, пока Сильвия не спохватилась, что она пришла собственно затем, чтобы как следует отчитать Аннету, а вовсе не подпевать ей. И она сказала:

– Аннета, будет тебе дурить! Всею свое время. Рожэ обязан жениться на тебе. И ты должна этого потребовать.

Аннета устало отмахнулась от нее.

– Опять ты за свое! Ведь я же тебе сказала, что Рожэ мне это предлагал, но я сама не захотела.

– Мало ли что! Если человек сделал глупость, он должен это признать и суметь ее исправить.

– А я не имею ни малейшего желания что-либо исправлять.

– Да почему же? Ведь ты была влюблена в Рожэ. Я уверена, что ты и сейчас еще влюблена. Что произошло между вами?

Аннета не отвечала. Сильвия продолжала допытываться, без всякого стеснения высказывала догадки об интимных причинах разрыва с Рожэ. Аннета наконец сделала резкое движение. Сильвия взглянула на нее и оторопела: губы Аннеты были злобно сжаты, брови нахмурены, глаза смотрели сердито.

– Ты что?

– Ничего, – отрезала Аннета и порывисто отвернулась.

Сильвия разбредила рану, о которой Аннете хотелось забыть. В силу каких-то глубоко скрытых и противоречивых свойств ее натуры, ей самой непонятных, она, радуясь тому, что у нее будет ребенок, в то же время сердилась на человека, который дал ей этого ребенка. Она не прощала себе неожиданного порыва чувственности и нежности, который отдал ее во власть этому человеку, – не прощала и ему того, что он воспользовался ее слабостью. Это инстинктивное возмущение и было истинной причиной (причиной, которую она скрывала не только от других, но и от себя самой) ее бегства от Рожэ, ее решения не встречаться с ним больше. В глубине души она его ненавидела. Ненавидела за то, что полюбила. Но так как у нее был честный ум, она подавляла в себе эти, по ее мнению, дурные инстинкты. Зачем же Сильвия вынуждает ее сейчас снова разбираться во всем?..

Посмотрев на сестру, Сильвия перестала к ней приставать, и Аннета успокоилась. Сейчас ей уже было стыдно за те чувства, которые она в себе заметила и невольно выдала Сильвии. Пытаясь обмануть себя, она сказала спокойно:

– Я не хочу выходить замуж. Я не создана для таких тесных уз. Ты мне на это скажешь, что миллионы женщин приноравливаются к ним, что я слишком серьезно смотрю на брак. Что поделаешь, такова уж я – все принимаю всерьез. Когда я отдаюсь, то отдаюсь вся – и скоро начинаю задыхаться: мне кажется, что я тону с камнем на шее. Может быть, я недостаточно сильный человек, не умею постоять за себя! Слишком тесные узлы, как лианы, высасывают из меня энергию, и мне ее не хватает для своей личной жизни. Чтобы нравиться любимому человеку, я изо всех сил стараюсь быть такой, какой ему хочется меня видеть. А это всегда кончается плохо: если изменяешь самой себе, насилуя свою натуру, то перестаешь

себя уважать, и жизнь становится неспособна, а если бунтуешь, — причиняешь страдания другому... Нет, Сильвия, я — эгоистка, и мне надо жить одной.

(Аннета не лгала, говоря это, — она просто приводила те доводы, которые заслоняли истину от нее самой.).

— Не смей меня! — возразила Сильвия. — Разве такая женщина, как ты, способна прожить без любви?

— Ненавижу ее! — сказала Аннета. — Но больше она уже меня не настигнет, нет! Теперь у меня есть защита.

— Вот так защита! — воскликнула Сильвия. — Ни от чего он тебя не защитит, это тебе придется его защищать. Ты не хочешь связывать себя браком, а подумала ты, как тебя свяжет этот живой комочек, какая это обуза?

— Это счастье! Как вспомню, что скоро он будет лежать у меня на руках! Мои руки так долго тосковали по этой ноше!

— Ты жизни не знаешь, потому так и говоришь. Кто его растить будет?

— Я.

— А как же отец! Ведь он имеет права на ребенка.

Новая судорога гнева пробежала по лицу Аннеты... Права! Права на ее ребенка!.. Да, это и его ребенок, ребенок того мужчины, зачатый в мгновение слепой страсти; отец позабыл об этом мгновении, а ее оно связало на всю жизнь! «Ни за что!.. Ребенок мой, мой!» Вслух она сказала:

— Сын будет мой и больше ничей!

— Он выберет, кого захочет.

— Я знаю, кого он выберет!

— Обольстительница!.. А если он все-таки упрекнет тебя потом, что ты его лишила отца?

— Я заполню его сердце так, что в нем не останется даже самого маленького местечка для кого-нибудь другого.

— Ты чудовищная эгоистка!

— Ну да, я же тебе говорила.

— И будешь за это наказана!

— Что ж, если я не заставлю себя полюбить, тем хуже для меня! Но нет такой силы, которая помешала бы мне любить его и отняла бы его у меня.

— Если он тебе вправду так дорог, ты должна прежде всего думать о его будущем. Немало женщин ради ребенка выходят замуж за тех, кто им не по душе...

— Ну, знаешь, Сильвия, это просто возмутительно! — сказала Аннета. — Ставить мне в пример женщин, которые из любви к ребенку обрекают себя на жизнь, полную лжи, а то и ненависти! Ты мне напоминаешь ту мать, которая говорила дочери, что ради нее она не ушла от мужа, хотя их семейная жизнь была адом. А дочка ей ответила: «Так ты думала, что ад — подходящий семейный очаг для ребенка?»

— Ребенку нужен отец.

— А как же тысячи детей вырастают без отцов? Сколько таких, которые совсем не знали отца или лишились его в раннем детстве, и мать одна воспитывала их! И что же, разве они от этого хуже? Ребенку нужна любовь — вот и все. Почему ты думаешь, что ему будет недостаточно моей любви?

— Ты слишком надеешься на свои силы, Аннета. Знаешь ли ты, что тебя ждет?

— Знаю, знаю! Детские ручонки будут обнимать мою шею.

— А ты подумала, какой ценой люди заставят тебя платить за это? Уж лучше бы тебе быть замужней женщиной, которая изменяет мужу с кем угодно, но только не «девушкой-матерью», как они это называют! Пойти на все тяготы и муки материнства, не запасшись сперва штампом законного брака, — да это же никогда не прощается женщине вашего круга!.. Случись со мной — это куда ни шло! Такие, как я, могут распоряжаться своим телом, как хотят, — это никого не беспокоит. А твоим буржуа это даже на руку: смотри, как они,

например, в «Луизе», славят свободную любовь девушек из народа! Но девушка буржуазного круга – это заповедник! Ты их собственность. Тебя можно приобрести только по контракту, заключенному у нотариуса. Ты не смеешь отдаться свободно, сказав: «Это мое право». Боже упаси, как можно! До чего мы дойдем, если собственность начнет восставать против своего владельца и заявлять: «Я свободна. Приди, сеятель!..»

Даже сердясь, Сильвия не способна была говорить серьезно.

– Общепринятая мораль создана мужчинами, – сказала Аннета с улыбкой.

– Это я знаю. Они осуждают женщину, которая посмела рожать детей вне брака и не посвятила всю жизнь отцу своих детей. И для многих женщин брак – рабство, потому что они не любят мужей. Они тоже предпочли бы быть одинокими и свободными и сами растить своих детей, но у них на это не хватает мужества. А я постараюсь, чтобы у меня его хватило.

– Бедная дурочка! – В голосе Сильвии звучало сострадание. – Ты жила до сих пор, как за каменной стеной, предрассудки и привилегии той буржуазии, которая держала тебя взаперти, защищали тебя от жестокостей жизни.

Стоит тебе вырваться на волю – обратно больше не впустят. А тогда ты узнаешь, что такое жизнь!

– Да, Сильвия ты права: до сих пор я пользовалась в жизни привилегиями. Значит, справедливо, что теперь пришел мой черед узнать те страдания, которые выпали на нашу долю.

– Слишком поздно! К ним надо привыкать с детства. А в твоём возрасте это уже невозможно... Счастье еще, что ты богата и не будешь терпеть нужды. Но есть другие мучения – нравственные... Из твоего клана ты будешь изгнана, все тебя осудят, каждый день ты будешь страдать от мелких обид и уколов... А сердце у тебя гордое и нежное. Оно будет истекать кровью.

– И пусть! Когда счастье приходится покупать дорогой ценой, оно еще слаще. Я хочу нормального человеческого счастья, честного и чистого, вот и все! И не боюсь людских толков.

– А если от них будет страдать твой малыш?

– Неужели они посмеют? Ну что ж, тогда мы будем вдвоем воевать с этими трусами!

Аннета выпрямилась и тряхнула волосами, как лев гривой.

Сильвия, глядя на нее, пыталась сохранить суровую мину, но не выдержала – расхохоталась и, пожимая плечами, сказала со вздохом:

– Бедная сумасбродка!..

Аннета спросила с вкрадчивой нежностью:

– Ведь ты-то нас поддержишь? Да? И Сильвия, неистово целуя ее, погрозила стене кулаком.

– Пусть только посмеют тебя тронуть! Она ушла. Утомленная спором, Аннета вернулась к своим мечтам. Одна победа – над сестрой – одержана! Но этот разговор оставил в ее душе смутное беспокойство, – мучило одно слово, оброненное Сильвией. Неужели ее ребенок когда-нибудь упрекнет ее?..

Она легла на спину и, сложив руки на животе, прислушивалась к тому, что творилось у нее внутри: маленький начинал уже шевелиться. И Аннета – как это часто бывало теперь – принялась беседовать с ним без слов. Спрашивала, хорошо ли это, что она решила владеть им одна; настойчиво молила его ответить, права ли она, доволен ли он ее решением. Она ведь не хочет делать ничего такого, в чем он мог бы упрекнуть ее потом! И малыш, разумеется, отвечал, что она поступила правильно, что он доволен. Говорил, что ни с кем не хочет делить ее и, если она решила всецело посвятить себя ему, она должна быть свободна и жить с ним вдвоем. Она и он...

Аннета смеялась от радости. Сердце ее было так переполнено, что слова замирали на губах. Голова у нее отяжелела, и, усталая, захмелевшая от счастья, она скоро уснула.

Когда беременность Аннеты начала уже становиться заметной, Сильвия заставила сестру уехать из Парижа. Подходила осень, и все знакомые, проводившие лето за городом,

скоро должны были возвратиться. Вопреки опасениям Сильвии Аннета и не подумала протестовать. Людские толки ее не пугали, но сейчас все, что могло вызвать внутренний разлад, было для нее нестерпимо. Ничто не должно было нарушать ее душевный покой!

Сильвия увезла ее на Лазурный берег, но Аннета там не осталась. Все в этом месте мешало ей сосредоточиться. Близость моря рождала какое-то тягостное беспокойство. Аннета чувствовала себя хорошо только на суше; она способна была восхищаться океаном, но не могла жить в близком соседстве с ним. Она испытывала на себе его властное очарование, но дыхание его не было для нее благотворно: оно будило слишком много тайных томлений, поднимало со дна души то, чего Аннета не хотела признавать. Нет, только не сейчас! Еще не время, нет!.. Иногда от людей приходится слышать, что они не любят того или иного, потому что боятся его полюбить (а не значит ли это, что они уже любят?) Аннета остерегалась моря, потому что остерегалась самой себя, той опасной Аннеты, от которой она во что бы то ни стало хотела убежать.

Она поехала дальше на север и близ озер Савойи, в маленьком городке у подножия гор, решила поселиться на всю зиму. Сильвии она написала уже после того, как обосновалась тут. Ремесло Сильвии не позволяло ей отлучаться из Парижа, она могла приезжать к сестре лишь изредка и ненадолго, и ее тревожило, что Аннета одна в такой глуши. Аннета же в этот период своей жизни более всего стремилась быть одна, и никакое место не казалось ей достаточно уединенным. Она от души наслаждалась своим тихим убежищем. Чем богаче становилась ее внутренняя жизнь, тем сильнее она ощущала потребность в мирной, безоблачной тишине вокруг. Сильвия напрасно думала, что Аннете в ее положении тяжело быть заброшенной среди чужих людей. Прежде всего в душе Аннеты был такой запас нежности, что никто не казался ей чужим, а так как дружелюбие всегда вызывает ответное доброе чувство, то и она для других недолго оставалась чужой. Впрочем, местные жители любопытством не отличались и не старались поближе познакомиться с ней. Проходя мимо, здоровались, перекидывались несколькими приветливыми словами с порога дома или через изгородь. Отношение к Аннете было самое доброжелательное. Разумеется, на такого рода доброжелательность в трудную минуту особенно полагаться нельзя, но и то уже хорошо, что она скрашивает жизнь в ее обычном течении. Для Аннеты эта равнодушная приветливость незнакомых славных людей, которые не лезли к ней в душу, была приятнее, чем деспотическое попечение родных и друзей, присваивающих себе право угнетать нас своей опекой.

Середина ноября... Сидя под окном, Аннета шила и смотрела на луга, покрытые первым снегом, на деревья в белых париках. Но взгляд ее то и дело возвращался к письму. Это было извещение о браке Рожэ Бриссо с девушкой из парижских политических сфер (Аннета ее знала)... Да, Рожэ не терял времени. Дамы Бриссо, возмущенные бегством Аннеты, поспешили состряпать другой брак, прежде чем неудача Рожэ станет известна. А Рожэ с досады согласился и одобрил их выбор. Аннета понимала, что ей ни удивляться, ни сетовать на это не приходится. Она даже старалась уверить себя, что рада за беднягу Рожэ. Однако новость взволновала ее больше, чем она это себе представляла. Столько воспоминаний еще теснилось в ее душе и теле! И в этом теле зачиналась теперь новая жизнь, пробужденная им, Рожэ... Где-то в темной глубине оживали волнения тех дней... «Нет, нет, Аннета, не давай им всплыть!» Она с отвращением вспоминала пережитую любовную горячку. Даже мысль о былых взрывах чувственности утомляла, вызывала в ней брезгливый протест. И враждебное чувство к отцу ее ребенка...

(Сейчас она уже не скрывала этого от себя.) Отголосок первобытной ненависти самки к оплодотворившему ее самцу...

Она шила, шила, она хотела забыть обо всем. Так бывало часто: когда на горизонте появлялась грозная туча и ее мучило беспокойство, она хваталась за работу, как верующий – за четки. Она шила, и мысли ее приходили в порядок.

Вот и сегодня она этого добилась. Полчаса усердного безмолвного труда – и тревога улеглась, улыбка снова осветила лицо Аннеты. Когда она подняла голову от шитья, в глазах

ее уже было умиротворенное выражение. Она промолвила вслух:

– Что ж, пусть будет так! Солнце играло на снегу. Аннета отложила работу, оделась для прогулки. В последнее время у нее немного отекали ноги, но она заставляла себя ходить, и эти прогулки на воздухе доставляли ей большое удовольствие: ведь она гуляла не одна, а со своим малышом. Он уже давал о себе знать. Особенно по вечерам он заполнял ее тело и тихонько толкался повсюду, словно говоря:

«Боже, как тут тесно! Будет этому когда-нибудь конец или нет?»

И снова засыпал. Днем на прогулке он вел себя примерно. Можно было подумать, что это его глазами мать смотрит вокруг, – так ново казалось ей все. Какая свежесть красок! Природа словно только что нанесла их на полотно. Хороши были и краски на щеках Аннеты. Ее сердце билось сильнее, разгоняя кровь по телу. Она упивалась запахами, и все казалось ей вкусным. Когда ее никто не видел, она набирала в ладони снег и глотала его.

Какая прелесть... Она вспоминала, что в детстве делала то же самое, стоило няне отвернуться... Она сосала и влажные обледенелые стебли тростника – от этого в горле начиналась сладкая, обессиливающая дрожь, и от наслаждения Аннета таяла, как таяли снежинки у нее на языке...

Побродив час-другой за городом по заснеженным дорогам, под серым сводом зимнего неба, одна – и не одна, потому что он был тут, в ней, она шла домой с красными, исхлестанными ветром щеками и блестящими глазами, прислушиваясь к щебетанью весны внутри себя. По дороге заходила в кондитерскую: она не могла устоять перед искушением поесть сладкого – шоколаду или меду (малыш был такой лакомка!). А потом, к концу дня, шла в церковь и садилась перед алтарем, который был, как мед, темно-золотой. И она, Аннета, никогда не соблюдавшая религиозных обрядов, неверующая (так она думала), сидела здесь до тех пор, пока церковь не запирали, и мечтала, молясь и любя. Наступал вечер, лампы над престолом, тихо покачиваясь, собирали в темноте последние отблески света. Аннета сидела в каком-то оцепенении, немного зябла в легком шерстяном плаще и согревалась только мыслями о своем солнце. В сердце была священная тишина. Ей рисовалась в мечтах жизнь ее ребенка, полная сладости и покоя, укрытая теплом ее любящих рук.

Ребенок родился в один из первых дней нового года. Сын. Сильвия приехала как раз вовремя, чтобы его принять. Несмотря на боли, исторгавшие у Аннеты по временам стоны (но не слезы), она была сосредоточенно внимательна, заинтересована и немного разочарована, с удивлением замечая, что чувствует себя скорее сторонним наблюдателем события, чем главным действующим лицом. Ожидаемого великого чувства она в себе не находила. С той минуты, как начинаются роды, женщина – в западне. Этой западни никак не избежать, надо идти до конца. И тогда покоряешься и напрягаешь все силы, чтобы это как можно скорее кончилось. Сознаешь все ясно, но энергия души и тела целиком уходит на то, чтобы перетерпеть боль. О ребенке совсем не думаешь. В это время не до нежностей и не до восторгов. Эти чувства, раньше наполнявшие сердце, отходят сейчас на задний план. Роды – поистине «труд»,³⁶ тяжелый, напряженный труд, работа тела и мускулов, в которой нет ничего красивого и благотворного... до той минуты освобождения, когда чувствуешь, что из тебя вдруг выскользнуло маленькое тельце... Наконец-то!

В сердце тотчас снова вспыхивает радость. Стуча зубами, обессиленная, чувствуя, что погружается куда-то на дно ледяного океана, Аннета протягивает оледеневшие руки, чтобы схватить и прижать к своему разбитому телу его живой плод – возлюбленного сына!

Теперь она раздвоилась. Нет больше двух в одной, как прежде. Есть частица, оторвавшаяся от нее и существующая отдельно в пространстве, подобно маленькому спутнику планеты, есть какая-то новая малая величина, психологическое значение которой огромно. И удивительное дело: в этой новой паре, которая возникла благодаря расщеплению

³⁶ Слово «travail» по-французски означает и «труд» и «роды».

одного существа, большой ищет опоры в маленьком чаще, чем маленький – в большом. Крик ее младенца своей беспомощностью придавал Аннете сил. Какими богатыми делает нас любимое существо, когда оно не может обойтись без нас! Из своих отвердевших сосков, которые жадно сосал маленький детеныш, Аннета с наслаждением вливала в тело сына потоки молока и надежды, распиравших ей грудь.

И вот начался первый волнующий цикл этой *vita nuova* – открытие мира; оно старо, как мир, но его вновь переживает каждая мать, склоненная над колыбелью. Неумоимо бодрствуя над своим спящим красавцем, Аннета с бьющимся сердцем подстерегала его пробуждение. У него были сапфировые глаза, похожие на две темные фиалки и такие блестящие, что Аннета гляделась в них, как в зеркало. Что видел этот взгляд ребенка, неопределенный и бездонный, как великое небесное око, в котором неизвестно что скрыто – пустота или глубина, но в ясной синеве которого заключен целый мир?.. И какие внезапные тени отбрасывают на это чистое зеркало облака страданий, неведомых страстей, тайных бурь, неизвестно откуда налетающих? «Что это, тени моего прошлого или твоего будущего? Лицевая или обратная сторона той же медали? Мой сын, ты – это я в прошлом. А я – это ты в будущем. Но какой ты будешь? И что такое я сейчас?» – спрашивала Аннета у своего отражения в глазах маленького сфинкса. И, наблюдая час за часом, как его сознание всплывает из бездны, она, сама того не зная, наблюдала в этом гомункуле повторяющийся вновь и вновь процесс рождения человечества.

Одно за другим отворял свои окна в мир маленький Марк. На ровной поверхности его расплывчатого взгляда уже начинали мелькать более четкие отблески, – как стаи птиц, ищущие, где бы сесть. Через несколько недель на этом живом кусте расцвел первый цветок: улыбка. А там принялись щебетать поселившиеся в его ветвях птицы... Забыт трагический кошмар первых дней! Забыт ужас перед неведомым миром, вопль существа, которое грубо оторвали от материнской плоти и голым, истерзанным выволокли на яркий свет!.. Маленький человечек успокоился и вступил во владение жизнью. Она ему нравилась. Он исследовал ее, ощупывал и жадно пробовал ртом, глазами, ножками, ручками. Он радовался своей добыче и с восторгом развлекался звуками, которые издавала его флейта. Еще новое открытие: голос! Он заслушивался сам себя. Еще большее удовольствие доставляло это пение его матери. Аннета упивалась им. Она слушала слабый голосок, похожий на лепет ручейка, и от его звуков у нее таяло сердце. Даже когда этот голосок поднимался до пронзительного крика, резавшего уши, она испытывала сладострастное наслаждение:

– Кричи, кричи громче, милый! Заявляй о своих правах!

И он заявлял о себе с энергией, которая не нуждалась в поощрении.

Криками на все лады он выражал свою радость, гнев и разные прихоти. Аннета, как неопытная мать и никуда не годная воспитательница, только умилялась и была не в силах устоять против этих деспотических требований.

Она готова была вставать десять раз в ночь, только бы малыш не плакал. И она позволяла этой жадной пиявке сосать себя с утра до вечера. Это и ребенку не шло на пользу, а ей подавно – она чувствовала себя очень плохо.

Весной, навестив сестру, Сильвия заметила, что Аннета похудела, и это ее встревожило. Аннета по-прежнему казалась очень счастливой, но в ее счастье чувствовалось что-то лихорадочное. Каждое ласковое слово вызывало у нее слезы. Она признавалась, что недосыпает, что не умеет требовать от людей услуг и безоружна перед практическими трудностями, с которыми сталкивается в уходе за ребенком и заботах о его здоровье. Аннета говорила это, притворно смеясь над своим малодушием, но в тоне ее уже не было прежней счастливой уверенности. Ее поразило открытие, что она вовсе не так крепка и вынослива, как думала. Она никогда раньше не болела и потому не знала предела своих сил, воображала, что может тратить их без оглядки. А сейчас оказывалось, что запас их невелик и нельзя безнаказанно переходить границы. Какая же это хрупкая штука – человеческая жизнь!

В другое время Аннета не стала бы терзаться этой мыслью, но теперь, когда жизнь ее раздвоилась, когда от ее хрупкой жизни зависит другая, еще более хрупкая... Боже! Что

будет, если она умрет? В бессонные ночи Аннета снова и снова возвращалась к этой страшной мысли. Она слушала, как спит ребенок, и стоило ей уловить малейшую перемену – немного учащенное дыхание, стон или минутное затишье, – как у нее замирало сердце. Закравшаяся в сердце тревога поселялась там надолго. Аннета не знала больше священного, бездумного покоя ночных часов; когда, отдыхая от движения и мыслей, тело и душа грезит без сна, подобно водяным цветам, которые тихо покачиваются на поверхности ночного пруда. Сердце способно оценить райское блаженство покоя только после того, как его утратило. Отныне Аннета настороже, каждое мгновение приносит ей новые тревоги и сомнения. Даже в том, что казалось всего надежнее, она с трепетом чувствует опасность...

Сильвию трудно было обмануть. За мужественной веселостью Аннеты, подшучивавшей над своей слабостью, она угадала физическое недомогание и тоску, какую испытывает животное вне стада. Она решила, что Аннете надо уехать отсюда и поселиться в каком-нибудь деревенском домике, в нескольких часах езды от Парижа. Тогда она, Сильвия, сможет ее навещать почти каждый день, и вместе с тем возвращение Аннеты не вызовет толков.

Аннета не прочь была вернуться, но открыто – в Париж, к себе домой. Она слушать не хотела никаких возражений. Напрасно Сильвия доказывала ей, что это безрассудно, что она рискует потерять покой. Аннета заартачилась. Гордость не позволяла ей прятаться от людей из страха перед общественным мнением. Все то счастливое время, пока она носила ребенка, она не думала, что скажут люди. Она жила наедине со своим счастьем – ни для чего другого не оставалось места. Теперь ее счастье было все так же велико, но ей хотелось поведать о нем миру, ей было тяжело, что она должна его скрывать. Это оскорбляло ее. Как! Прятать от людей, как что-то постыдное, ее сокровище, ее гордость! Ведь это все равно что отречься от него!

«Отречься от тебя, мое солнышко! – Она страстно поцеловала сына. – Мне не следовало уезжать. Я должна была объявить о тебе всем в первый же день. Нет, довольно играть в прятки! Я покажу им тебя и скажу: „Смотрите, какой он у меня красавец! Скажите сами, вы, другие матери, – ведь такого нет ни у кого из вас?“»

Она вернулась в Париж и там осталась. Дочь Рауля Ривьера хорошо понимала, что не так-то легко будет заставить общество примириться с ее поступком! Она, как отец, презирала мнение «света», но не научилась у отца ловко обходить светские правила и предрассудки, делая вид, что подчиняется им. Нет, она намерена была с ними бороться и победить.

Первый опыт был довольно удачен. Старшая тетушка Викторина в отсутствие Аннеты оставалась хранительницей дома – это уже много лет было ее обязанностью. Маленькой женщине перевалило за шестьдесят, но у нее был свежий цвет лица и щеки гладкие, без единой морщинки, обрамленные плотно прилежавшими буклями в папильотках. Тихая, кроткая и безобидная, до крайности боязливая, она умела оградить себя от всего, что могло бы нарушить ее покой. Аннета с детства привыкла видеть тетушку всегда в хлопотах по хозяйству. Старушка избавила ее от всех домашних забот, следила, чтобы в доме было чисто и уютно, надзирала за кухней (она и сама любила вкусно поесть), – словом, была на положении преданной старой служанки, которой не стесняются, потому что она стала как бы предметом домашней обстановки, чем-то вроде мебели. С мнением тетушки не считались, впрочем, она и не имела своего мнения. За тридцать лет жизни в доме брата тетушка Викторина могла бы насмотреться и послушаться странных вещей, но она ничего не видела, ничего не слышала. Только насильно можно было бы заставить ее увидеть то, чего она не хотела замечать, а Рауль был далек от этого! В тесном кругу друзей он называл тетушку Викторину глухонемым стражем своего серала. Он открыто смеялся над ней, вышучивал и дразнил, называл «толстой дурищей» и часто доводил до слез, а потом всячески умасливал, звонко чмокал в обе щеки и позволял себя баловать, как старого мальчика. Она вспоминала о нем, как о человеке с золотым сердцем, более того – как о святом, что могло бы немало позабавить Рауля Ривьера в могиле, если бы этого ненасытного любителя земных радостей могло что-либо развеселить в ненавистном ему подземном мире!

Тетушка Викторина была столь же высокого мнения и о племяннице: Аннете нетрудно было внушить ей такое мнение. Став хозяйкой дома, Аннета стала и предметом того поклонения, каким эта старая домашняя кошка окружала прежнего хозяина. Надо было только не разрушать ее иллюзий. И Аннета долго медлила, прежде чем на это решилась, долго скрывала от тетki свою историю. Отъезд из Парижа она объясняла нездоровьем и желанием попутешествовать. Это было маловероятно, но тетушка как будто поверила: она хоть и была любопытна, но боялась новостей, которые могли бы ее взволновать. Однако нельзя было дольше оставлять ее в неведении. И, когда ребенок родился, Сильвия взялась сообщить об этом тетушке. Бедную старуху чуть удар не хватил. Ей было очень трудно понять, что произошло, – ведь она никогда ни с чем подобным не сталкивалась! Она писала племяннице отчаянные письма, полные неясных намеков и такие сумбурные, что можно было подумать (так уверяла Аннета – молодость безжалостна!), будто это сама тетушка Викторина только что разрешилась от бремени. Аннета утешала ее, как умела. Сильвия была убеждена, что старая дама покинет дом Аннеты. Но такая мысль меньше всего могла прийти в голову тетушке Викторине. Душа ее металась в безысходной растерянности. Тетушка была совершенно не способна дать какой-нибудь совет – ей самой нужен был советчик! Она умела только плакать и жаловаться. Но так как слезы не помогут, а жить все-таки надо, то в конце концов тетушка стала смотреть на беду, случившуюся с Аннетой, как на посланное небом испытание. Она уже начинала к нему привыкать, тем более что отсутствие Аннеты как бы отдаляло прискорбное событие. Но вот Аннета известила ее, что возвращается в Париж.

Входя в дом, Аннета волновалась. На вокзале встретила ее только Сильвия. Тетушка не могла на это решиться. Когда она, сходя с лестницы, услышала стук входной двери, то поспешно вернулась наверх, убежала к себе в комнату и заперлась. Аннета застала ее там в слезах. Обнимая ее, тетушка твердила:

– Бедная моя девочка!.. Но как же... как же это?..

Аннета, стараясь скрыть волнение, сказала с напускной уверенностью, быстро и весело:

– Потом все расскажу, успеется! А сейчас идем обедать.

Старушка позволила увести себя в столовую. Она продолжала хныкать, а Аннета ее уговаривала:

– Полно, полно, тетя, милая! Плакать не надо...

Тетушка тщетно искала в памяти все, что собиралась сказать. Она заранее приготовила солидный запас жалоб, наставлений, упреков, вопросов, восклицаний. Но это из всего этого запаса она ничего не могла вспомнить и только глубоко вздыхала. Аннета сразу показала ей малыша, который спал блаженным сном, откинув головку, и при виде этого нежного пухленького тельца тетушка пришла в экстаз и молитвенно сложила руки; ее сердце старой няни тотчас дало обет верно служить новому главе дома. И с этого часа тетушка Викторина, помолодев, впряглась в колесницу своего маленького кумира. Время от времени она вспоминала, что ведь он все-таки навлек позор на их дом, и опять приходила в смятение. Но Аннета, продолжая болтать с притворной беззаботностью, уголком глаза наблюдала за милой старушкой и, заметив, что у нее снова вытянулось лицо, спрашивала:

– Ну, что еще? Успокойся же, наконец! Тетушка раздражалась бессвязными жалобами.

– Ну да! – говорила Аннета, похлопывая ее по рукам. – Ну да! Но чего бы ты собственно хотела? Чтобы мы лишились нашего дорогого мальчика?

(Она хорошо знала, что делает, вкрадчиво подчеркивая слово «нашего».).

Суеверная тетушка в ужасе протестовала:

– Ради бога, Аннета, перестань! Ты накличешь беду... Как это можно говорить такие вещи?

– Ну тогда не делай кислой мины! Раз наш мальчик явился на свет, – что же делать? Будем его любить и радоваться на него, ничего больше не остается.

Тетушка могла бы, конечно, спросить:

«Да, но зачем он появился?»

Однако у нее уже не хватало духу жалеть об этом. Разумеется, этого требовала

нравственность, этого требовали общество и религия. Да и для ее чести и спокойствия (пожалуй, в особенности для спокойствия) было бы лучше, если бы не было этого ребенка. Где-то глубоко-глубоко, на самом дне души, шевелилось тайное сожаление, в котором тетушка и себе самой не признавалась:

«О господи, лучше бы несчастная девочка мне ничего не рассказывала!»

Примирить столько противоречивых мыслей было невозможно, и в конце концов тетушка Викторина решила больше ни о чем не думать. Повинуясь инстинкту старой наездки, которая всю жизнь выращивала чужих цыплят, она покорила обстоятельствам.

Однако Аннете не пришлось особенно этому радоваться. Бывают победы, которые приносят больше неприятностей, чем выгод. Очень скоро через тетушку в дом стали проникать волновавшие Аннету людские толки. Г-жа Викторина была болтлива, любопытна и жадно прислушивалась ко всему, что говорили соседи о ее племяннице. Она возвращалась домой бегом, в слезах и все пересказывала Аннете. Аннета ласково журила тетушку, но глупые сплетни все-таки расстраивали ее. Когда старушка приходила домой, Аннета – с невольным содроганием спрашивала себя:

«Что еще она мне расскажет?»

Она запретила тетушке говорить с ней об этом, но когда тетушка Викторина молчала, было еще хуже: она донимала Аннету многозначительными намеками и недомолвками, вздохами, унылой миной. И в душе Анкеты накапливалось возмущение против ядовитого общественного мнения, с которым она пыталась не считаться.

Будь Аннета благоразумнее, она избегала бы всяких возможностей сталкиваться с ним. Но она была слишком живым человеком, чтобы вести себя благоразумно. Люди становятся благоразумными только после того, как обожгутся из-за своего безрассудства. И такова уж человеческая натура: презирая мнение света, Аннета, однако, сгорала от желания узнать, что говорится за ее спиной. Каждое утро она дрожала при мысли, что день принесет ей отголоски неприятных пересудов, но в те дни, когда они до нее не доходили, готова была сама бежать узнавать их. Впрочем, ее избавляли от этого труда. От родни – двоюродных братьев и сестер, с которыми она поддерживала только официальные родственные отношения, – приходили негодующие письма в нестерпимо назидательном тоне. Их выступления в роли ее судей и защитников фамильной чести должны были бы скорее смешить, чем возмущать Аннету, которая знала всю подноготную этих аристархов, так как отец охотно посвящал ее в тайны семейной хроники. Но Аннета не смеялась; получив такое письмо, она хваталась за перо и строчила язвительный ответ, который, озлобляя родственников, давал им еще лишний повод осуждать ее – и теперь уже беспощадно.

Эти суровые цензоры нравов могли хотя бы объяснить свое вмешательство родственными правами. Конечно, они ими злоупотребляли, но эти права были по крайней мере узаконены обычаем. А с какой стати к ней были так жестоки люди совершенно посторонние, которым уж ровно никакого ущерба не было от того, что она жила как хотела? Встретив как-то на улице одну приятную светскую даму, в салоне которой она бывала прежде, Аннета остановилась, чтобы перекинуться с нею несколькими любезными словами. Но та, меряя ее любопытным взглядом, слушала с холодной вежливостью, почти не отвечала и скоро ушла. Другая знакомая, которой Аннета написала, потому что ей нужно было что-то узнать у нее, не ответила на письмо. Аннета все-таки продолжала эти опыты: она обратилась к подруге своей матери, старой даме, которую очень уважала, и попросила разрешения навестить ее. Дама всегда проявляла к ней самые нежные чувства, но на сей раз Аннета получила от нее путаное письмо, в котором дама выражала сожаление, что не может ее принять, так как уезжает из Парижа... Все эти уколы обострили чувствительность Анкеты. Она стала бояться новых обид, но, как ни странно, терзавший ее нервы страх толкал ее навстречу неприятностям, заставлял бросать людям вызов.

Так, например, вышло у нее с Люсиль Кордье. Они были давно знакомы, и в том кругу, где обе вращались, Люсиль больше всех нравилась Аннете.

Между ними не было особой близости, но они всегда охотно встречались. И вот Аннета

узнала от тетки, что сестра Люсиль только что вышла замуж.

Люсиль ее об этом не известила, но Аннета все-таки написала ей поздравительное письмо. Люсиль хранила молчание. Причина была ясна, и Аннете не следовало упорствовать. Но она упорствовала из какой-то странной потребности лишний раз убедиться в том, что и так хорошо знала, и сделать себе больно.

Она отправилась к Люсиль. Из гостиной слышался шум голосов. Аннета, уже входя, вспомнила, что у Люсиль сегодня приемный день. Но отступить было поздно... В гостиной шел оживленный разговор. Здесь было человек десять, почти все – знакомые Аннеты. При ее появлении все смолкли.

Только на несколько секунд. Аннета, взволнованная, как человек, который бросается в бой, вошла с улыбкой и, не глядя по сторонам, направилась прямо к Люсиль. Та в замешательстве встала ей навстречу. Люсиль была миниатюрная блондинка с хитрым и умильно ласковым выражением прищуренных глаз, с хорошеньким, но помятым личиком, которому немного выступающие вперед зубы придавали сходство с мышиною мордочкой. Люсиль была умна, делала вид, что любит людей и страстно увлекается идеями, на самом же деле была глубоко равнодушна и к идеям и к людям. Осторожная, не очень искренняя, слабохарактерная, она хотела всем нравиться, а главное – старалась со всеми ладить и ко всему приспособляться. Поведение Аннеты ее лично ничуть не возмущало. Своим любопытным остреньким носиком Люсиль заранее чуяла всякий скандал и тешилась им. То, что случилось с Аннетой, казалось ей просто глупым приключением и только развлекло ее, но она считалась с мнением света и потому была сейчас в затруднительном положении. Когда Аннета написала ей, что вернулась в Париж, Люсиль подумала:

«Какая неприятность! Что же ей ответить?»

Ей не хотелось обижать Аннету, но она не хотела и рисковать своей репутацией в свете. Не зная, на что решиться, она со дня на день откладывала ответ. Собиралась повидать Аннету – не сейчас, а через некоторое время («ведь это не к спеху!»), и так, чтобы никто не узнал. Это не мешало Люсиль за глаза высмеивать Аннету и, говоря о ней с другими, принимать вид оскорбленной добродетели.

Внезапное появление Аннеты в ее гостиной («нет, это уж слишком!»). вынуждало Люсиль принять решение немедленно. Она гораздо больше сердилась на Аннету за то, что та сыграла с ней такую скверную штуку, чем за то, что та родила незаконного ребенка. («Хоть двух, пожалуйста, – только меня пусть оставят в покое!...»).

В ее глазах вспыхнул на миг злой огонек, но она пожала протянутую руку Аннеты и ответила на ее улыбку медовой улыбкой, которая была хорошо знакома Аннете, – против ее обольстительной нежности никто не мог устоять. Но так было только в первую минуту. Быстрые глаза и настороженный слух Люсиль мгновенно уловили иронию в настроении окружающих. Лицо ее сразу приняло ледяное выражение, и, сказав Аннете из вежливости несколько слов, она с деланным оживлением возобновила прерванную беседу.

Все остальные, словно по молчаливому уговору, тоже принялись болтать.

Аннету не вовлекали в общий разговор, и она почувствовала себя отверженной. Однако она не сдалась. Она знала, как слабохарактерна Люсиль. И, во всеоружии своей гордой улыбки, усевшись среди гостей, которые делали вид, что не замечают ее, и оживленно обменивались пустыми фразами, стала осматриваться по сторонам. Встречаясь с нею взглядом, все начинали моргать глазами и смотрели в сторону. Только одна дама не успела отвести глаза, устремленные на Аннету с злобным выражением. Аннета узнала широкое румяное лицо Марии-Луизы де Бодрю, дочери богатого нотариуса и жены судейского чиновника, семья которого издавна поддерживала с семьей Ривьеров внешне дружеские отношения, но втайне недолюбливала их. В этой дородной даме воплотились самые устойчивые черты ее класса – крупной буржуазии: любовь к порядку, честности, отсутствие любознательности, черствость сердца и в особенности ума; все узаконенные добродетели, твердая вера, часто формальная, очищенная от всяких сомнений и мыслей, словно ее выпотрошили на прилавке мясника, и культ собственности, всех видов собственности: своей

семьи, своего имущества, своей страны, своей религии, своей морали, своих традиций, своих антипатий – словом, своего пассивного и компактного «я», подобного глыбе, заслоняющей солнце. Рядом с ней нет места для бочки Диогена! Всем Бодрю особенно ненавистна была всякого рода независимость – религиозная, нравственная, умственная, политическая и социальная. Она внушала им органическое отвращение, и для всех ее видов у них было одно общее название: «анархизм», которое они произносили как бранное слово. Этот «анархизм» они всегда чувствовали в семье Ривьеров. И Мария-Луиза, как и все ее родные, относилась к Аннете с инстинктивным недоверием. Она не прощала ей той свободы, которая предоставлена была Аннете в юности ее воспитателями. Быть может, в ее нелестном мнении об Аннете была и крупинка зависти. Открыто высказывать это мнение ей мешало одно: богатство Ривьеров. Богатство внушает людям уважение, оно – самая надежная опора общественного порядка. Но это лишь при условии, если не поколеблена его основа, законная семья. За этим следят столпы общества, и лучше их не гневить. Аннета посягнула на священнейшие законы морали, и сторожевой пес проснулся. Он пока еще молчал – он никогда не рычит в обществе, но глаза говорили за него. Во взгляде Марии-Луизы де Бодрю Аннета прочла злобное презрение. Но она спокойно посмотрела на толстошекую защитницу нравственности и, поздоровавшись с ней дружеским кивком головы, заставила ее ответить. Задыхаясь от досады, что не может воспротивиться этому насилию, Мария-Луиза поклонилась, вознаградив себя только тем, что бросила на Аннету весьма суровый взгляд. Аннета отнеслась к этому равнодушно – она уже не смотрела на Марию-Луизу.

Глаза ее, обжевав гостиную, снова остановились на Люсиль.

Без всякого смущения она вмешалась в разговор; перебив Люсиль, сделала какое-то замечание и та была вынуждена ответить. Пришлось беседующим принять Аннету в свой круг. Ее поневоле слушали – впрочем, не только из вежливости, а с интересом и не без удовольствия, потому что Аннета была остроумна. Но слушали, не отвечая, с притворной рассеянностью, и тут же заводили речь о другом. Разговор замирал, лишь время от времени вспыхивая на минуту, перескакивая с одного на другое. Скоро Аннета заметила, что она одна разглагольствует среди общего молчания; она слушала свой голос, как голос постороннего человека. Аннета была женщина чуткая, впечатлительная и гордая, и от нее не ускользнула ни одна из этих унижительных подробностей. С детства привыкнув понимать лживый язык салонов, да и самой им пользоваться, она под этим намеренным невниманием, двусмысленными усмешками и неискренней учтивостью угадывала желание оскорбить ее. И она страдала, но смеялась и продолжала разговор. А окружающие думали:

«Ну и апломб у этой девушки!»

Люсиль, чтобы отделаться от Аннеты, воспользовалась тем, что одна из дам собралась уходить, и пошла ее проводить в переднюю. Аннета осталась одна среди группы людей, твердо решивших не замечать ее. Не желая длить это мучение, она собиралась встать и тоже уйти. Но тут с другого конца гостиной к ней направился Марсель Франк. Он пришел давно, однако Аннета была так поглощена своими усилиями скрыть охватившее ее отчаяние, что не заметила его. А Марсель, с насмешливым состраданием наблюдая за ней, удивлялся ее дерзости и думал:

«Чего ради ей взбрело на ум прийти сюда и дразнить этих скотов? Бедная фантазерка!.. Вот умора!..»

Он решил ее выручить. Подошел, приветливо поздоровался. Глаза Аннеты засветились благодарностью. А вокруг все молчали, у всех были замкнутые, настороженные лица...

– А, великая путешественница! – сказал Марсель. – Наконец-то вы вернулись! Ну что, вволю нагляделись на «лазурь средиземных вод»?

Он хотел направить разговор в безопасное русло. Но Аннета (какой бес подтолкнул ее? Что это было – гордость, бессознательная бравада или просто искренность?) весело ответила:

– Лазурь я уже несколько месяцев созерцаю только в глазах моего малыша.

Легкий ветер насмешки всколыхнул все общество. Одни усмехались, другие исподтишка переглядывались. А Мария-Луиза де Бодрю в негодовании встала. Вся красная,

выпятив пышную грудь, так бурно вздымавшуюся от желчного презрения, что трещал лиф, она оттолкнула стул и, ни с кем не простясь, вышла. Температура в гостиной сразу понизилась на несколько градусов. Аннета осталась в своем углу одна с Марселем Франком. Он посмотрел на нее с насмешливой жалостью и пробормотал:

– Какая вы неосторожная!

– А в чем вы видите неосторожность? – спросила Аннета громко и внятно.

Взглядом она словно искала чего-то у себя под ногами. Через минуту она спокойно и неторопливо встала и пошла к выходу, прощаясь со всеми холодными поклонами, на которые ей отвечали так же холодно.

Кто увидел бы ее на улице, когда она шла своей плавной походкой, с высоко поднятой головой и светски бесстрастным видом, тот ни за что не угадал бы, какая гроза бушует в ее раненом сердце. Только вернувшись домой, запершись в своей комнате наедине с ребенком, она дала волю горьким слезам. Потом, крепко прижав к себе малыша, вызывающе засмеялась.

В Париже было немало людей интеллигентных, которые с почетом приняли бы Аннету в свой круг, – особенно в той среде, которую дочь архитектора Ривьера должна была бы хорошо знать: в среде артистов, далеких от филистерства светского общества и лишенных его предрассудков, хотя в этих людях силен дух семейных традиций и даже в свободные союзы они вносят буржуазные добродетели. Но Аннета до сих пор мало встречалась с женами артистов. Ей, при ее сдержанности и здравом, уравновешенном уме, чужда была всякая богема и не очень нравились манеры и разговоры этих дам, хотя она и отдавала должное их неоспоримым достоинствам: мужеству, чистосердечию, жизненной закалке. А в обыденной жизни, надо прямо сказать, близость между людьми зиждется не столько на уважении, сколько на одинаковых склонностях и привычках. Притом Рауль Ривьер давно растерял своих прежних приятелей. Как только успех открыл ему доступ в мир богатства и почестей, этот человек с ненасытными аппетитами порвал с *baud aurea mediocritas*.³⁷ Он был умен и потому общество людей труда ценил выше, чем общество парижских салонов и клубов, о котором в тесном кругу отзывался с жестокой иронией. Тем не менее он обосновался именно в этом светском обществе, ибо здесь находил более обильный подножный корм. Он все же ухитрялся делать тайные вылазки в другое, весьма смешанное, общество, где удовлетворял свою страсть к удовольствиям и потребность в неограниченной свободе, которая была ему нужна, так как он вел двойное, а то и тройное существование. Об этом мало кто знал, дочери же была известна только его светская и деловая жизнь.

Круг знакомых Аннеты состоял главным образом из богатых и довольно благовоспитанных представителей крупной буржуазии, которая, как новый господствующий класс, ценой больших усилий создала себе, в конце концов, какое-то слабое подобие традиций и вместе с другими атрибутами власти купила и просвещенность. Но просвещенность эта напоминала свет лампы под абажуром, и более всего буржуазия боялась, как бы не сместился или не расширился освещенный кружок на столе, ибо малейшая перемена могла поколебать ее уверенность в себе. Аннета же, инстинктивно стремившаяся к свету, искала его, где могла, искала в своих университетских занятиях, которые в ее среде считали оригинальничаньем. Однако свет, исходивший из аудиторий и библиотек, был искусственно смягчен, – это были лучи не прямые, а преломленные. Аннета обрела там смелость мысли, но смелость чисто отвлеченную, которая даже у ее наиболее одаренных товарищей-студентов уживалась с полнейшей практической беспомощностью и робостью при столкновении с реальной действительностью. Была еще одна завеса, заслонявшая от глаз Аннеты жизнь вне ее мирка: богатство. Вопреки воле Аннеты этот барьер отгораживал ее от великой человеческой общины. Аннета не сознавала даже, до какой степени она отгорожена от мира. Такова оборотная сторона богатства: это-загон для привилегированных, но все-таки

³⁷ Не золотой серединой (лат.).

загон, окруженное забором пастбище.

Мало того, теперь, когда нужно было выйти из него на волю, Аннета, давно предвидевшая такую возможность и думавшая о ней без всякого страха, уже не хотела выходить. Осуждать ее за это может только тот, кто не прощает людям отсутствия логики. Человек, а женщина в особенности, состоит не из цельного куска, тем более в том переходном возрасте, когда к мятежным порывам и жажде нового уже примешивается парализующая их консервативная сила привычек. Одним взмахом не освободишься от предрассудков своей среды и крепко укоренившихся потребностей. На это не способны даже самые вольнолюбивые души. Человека одолевают сожаления, сомнения, ничем не хочется жертвовать, все хочется сохранить. Честная Аннета не хотела лгать, она искренне жаждала любви и свободы, и все-таки ей жаль было лишиться преимуществ прежней жизни. Она готова была порвать со своей социальной средой, но не могла стерпеть того, что общество само ее изгоняло. Она не мирилась с положением отверженной. Ее молодая гордость, которую жизнь не успела еще сломить, вставала на дыбы при мысли, что надо искать прибежища в другой среде, хотя и более достойной, но менее привилегированной и блестящей. Это в глазах светского общества значило признать себя побежденной. Ей казалось, что легче остаться одинокой, чем быть деклассированной.

Эта на первый взгляд мелочная и суетная забота была не лишена оснований. В борьбе между защитниками классовых условностей и бунтовщиком, дерзко восставшим против них, весь класс объединяется против неосторожного, выбрасывает его за борт, принуждает бежать и подстерегает каждый его неверный шаг, стараясь этим оправдать его изгнание.

Ведь так же точно действует и мать-природа: как только какое-нибудь из ее творений проявит признаки слабости и окажется беззащитной и доступной добычей, пауки тотчас опутают его паутиной. И в этом нет ничего противоестественного, никакого тайного коварства! Таков закон природы. В ее царстве никогда не прекращается охота. И каждый в свой черед бывает либо охотником, либо дичью... Аннета теперь была дичью.

Охотники появились и начали действовать с простодушной откровенностью. К Аннете пришел в гости ее приятель. Марсель Франк.

Она была дома одна. Ребенка тетушка Викторина вывезла на обычную прогулку. Аннета, немного утомленная, отдыхала у себя в комнате. Она никого не хотела видеть, но когда ей подали визитную карточку Марселя, она обрадовалась и приняла его. Она была ему благодарна за то, что он поддержал ее в гостиную Люсиль. Правда, поддержал осторожно, не компрометируя себя, но Аннета большего и не требовала.

Она приняла его без церемоний, как старого друга, полулежа на кушетке, в утреннем пеньюаре. С тех пор как она стала матерью, она утратила ту любовь к порядку, ту подтянутость и требовательность к своему туалету, над которой всегда подтрунивала Сильвия. Марсель ничуть не жалел об этом. Он находил, что Аннета похорошела: свежая, приятная полнота, нежная томность, влажный блеск подобревших от счастья глаз. Аннета болтала с ним охотно и непринужденно, — ее радовало, что она вновь обрела проницательного друга, которому когда-то поверяла все свои сомнения; ей нравились в Марселе его деликатность и живой ум, она чувствовала к нему доверие. Франк, как всегда, понимал ее с полуслова, говорил с ней сердечно, но Аннета с самого начала почуяла в его обращении поразивший ее новый оттенок фамильярности.

Они вспоминали свою последнюю встречу перед злосчастной поездкой Аннеты в Бургундию, к Бриссо, и Аннета признала, что Марсель верно предсказал тогда ее будущее. Она имела в виду только несостоявшийся брак с Рожэ, но вдруг покраснела при мысли, что Марсель может понять ее иначе и в душе посмеется над ней. А Марсель сказал лукаво:

— Да вы и сами это знали не хуже меня! И с видом сообщника стал подшучивать над тем оборотом, какой приняла вся эта история. Аннета испытывала чувство неловкости, но старалась скрыть его под маской иронии.

А Марсель разошелся:

— Да, вы это знали лучше меня! Мы, мужчины, просто смешны, когда воображаем,

будто женщинам нужно учиться у нас нашей хваленой мудрости. Мы попадаемся на их удочку, когда они вкрадчивым голосом, глядя на нас широко открытыми милыми глазками, робко спрашивают, что им делать. Они сами это отлично знают и просто потакают нашей мании: мы ведь очень любим поучать. А между тем не мы женщинам, а они нам могли бы давать уроки!

Когда я предсказывал, что Бриссо не удастся поймать вас в свои сети, я никак не думал, что вы выпутаетесь из этих сетей таким блестящим образом. Это я называю настоящей смелостью. Браво! Ну еще бы уж если вы на что-нибудь решились... Хвалю, хвалю за бесстрашие!

Аннета слушала его в замешательстве. Странно! Она решилась защищать свое право поступать так, как поступила. Еще недавно в гостиную Люсиль она готова была отстаивать это право перед целым светом. А теперь ее коробили похвалы Марселя и его новый тон! Это оскорбляло ее целомудрие и чувство собственного достоинства. Она сказала:

– Не хвалите меня! Я не такая смелая, как вы думаете: я не хотела того, что произошло. У меня и в мыслях этого не было...

Но ее гордость и совесть не мирились с ложью, и она тут же поправила себя:

– Нет, это неверно! Конечно, я думала об этом. Но не потому, чтобы хотела, а потому, что боялась этого. И одно мне до сих пор непонятно: как я могла пойти навстречу тому, чего боялась, чего вовсе не хотела?

– Ну, это естественно, – сказал Марсель. – То, чего мы боимся, всегда притягивает нас. Когда боишься чего-нибудь, это еще вовсе не значит, что в глубине души ты этого не желаешь. Но осмелиться на то, что тебя страшит, способен далеко не всякий. А вы осмелились. Вы не побоялись совершить ошибку. Жизнь нельзя прожить, не делая ошибок. Ведь ошибаться – значит познавать. А познавать необходимо... Но мне все же думается, дорогая моя, что, проявив такую смелость, вы должны были принять некоторые предосторожности. Ваш партнер очень виноват в том, что взвалил на вас такую обузу.

Аннета, слегка задетая, возразила:

– Для меня это вовсе не обуза.

Марсель, подумав, что Аннета из великодушия хочет оправдать Рожэ, сказал:

– Так вы его все еще любите?

– Кого? – спросила Аннета.

– Ну, теперь ясно, что больше не любите! – со смехом заметил Марсель.

– Я люблю своего ребенка, – сказала Аннета. – Все остальное для меня уже прошлое. А о прошлом никогда нельзя знать наверное, было оно или нет. Его перестаешь понимать. Это печально...

– Но в этом тоже есть своя прелесть, – отозвался Марсель.

– Я ее совсем не чувствую. Смаковать ощущения не в моем характере, – сказала Аннета. – А вот мой сын – это настоящее, и это на всю жизнь.

– Это настоящее нас вытесняет, и придет день, когда вы для него, в свою очередь, станете прошлым.

– Что поделаешь! Впрочем, мне приятно думать даже о том, что меня будут топтать его маленькие ножки.

Марсель стал подсмеиваться над ее страстной любовью к сыну. Аннета сказала:

– Где вам меня понять! Вы же не видели моего Марка – это настоящее чудо! Да если бы и увидели, не сумели бы его оценить. Вы годны только на то, чтобы судить о картинах, о скульптуре, о всяких бесполезных игрушках. А единственное в мире чудо-тельце ребенка – вы не способны увидеть по-настоящему. Не стоит и описывать его вам...

Но она все-таки принялась его описывать – подробно, любовно. Она сама смеялась над своими восторженными, пылкими преувеличениями, но ничего не могла с собой поделать. Ее отрезвил снисходительно-насмешливый взгляд Марселя.

– Я вам надоела... Простите!.. Вам это непонятно?

О нет. Марсель понимал. Марсель способен был понять все! Что ж, каждому свое. О

вкусах не спорят...

– Итак, давайте подведем итог, – сказал он. – Вы родили ребенка, что называется, под кустом и, следовательно, выступили против установленного порядка и законного брака. Притом вы ничуть не раскаиваетесь и бросаете вызов всем устоям общества.

– Каким устоям? – спросила Аннета. – Я никого и ничего не задеваю.

– Как? А общественное мнение, а традиции, а кодекс Наполеона?

– Мне нет дела до мнения других!

– Вот это-то и есть самый дерзкий вызов, этого-то люди никогда и не прощают!.. Ну хорошо, пусть так. Все порвано, вы отошли от своего клана.

А дальше что? Что вы намерены делать теперь?

– То же, что делала до сих пор.

Марсель посмотрел на нее скептически.

– А что? Вы думаете, я не смогу жить, как прежде?

– Не стоит!.. И кроме того...

Марсель вместо доказательства напомнил ей о визите к Люсиль: вряд ли она может надеяться занять прежнее положение в свете. Аннета и сама это понимала, ей незачем было это объяснять. Больно уязвленная, она не имела ни малейшего желания делать новые попытки. Но ее удивляло, что Марсель так настойчиво это подчеркивает. Обычно он бывал тактичнее. Она сказала:

– В конце концов мне сейчас все равно – у меня есть ребенок!

– Но не можете же вы ограничить свою жизнь воспитанием ребенка?

– По-моему, это значит не ограничить, а сделать ее шире, богаче. В сыне я вижу целый мир, мир, который будет расти, и я буду расти вместе с ним.

Марсель с большим азартом, но и с не меньшей иронией стал ей доказывать, что этот мирок не сможет удовлетворить такую жадную и требовательную натуру, как у нее. Аннета слушала его, сдвинув брови, испытывая саднящую боль в сердце, и мысленно с возмущением протестовала:

«Нет! Не правда!»

Все же она не могла отделаться от некоторого беспокойства: она помнила, что Марсель уже раз оказался дальновиднее ее. Однако зачем он так старается убедить ее? Чего ради он из кожи лезет, доказывая, что ей следует пользоваться завоеванной свободой и не бояться жизни вне общества?

(Он называл это «быть выше буржуазных условностей»).

В Аннете жили две или даже три Аннеты, и обычно говорила одна, а другие слушали. Но в эту минуту заговорили две разом: одна – пылкая и сентиментальная, легко поддававшаяся обманчивым впечатлениям, другая – насмешливая и трезвая наблюдательница скрытых пружин человеческого сердца.

У этой второй Аннеты были зоркие глаза, она видела Марселя насквозь. Роли переменились. Раньше он читал ее тайные мысли. Теперь (с каких это пор? Да после происшедшей с ней «метаморфозы»)... теперь она, Аннета, обрела способность угадывать тайные побуждения других людей. Новизна их (по правде говоря, не всегда одинаково любопытная) занимала ее и отвлекала от забот.

Она лежала, заложив руки за голову, и смотрела в потолок, но в то же время сквозь полуопущенные ресницы искоса наблюдала за ораторствовавшим Марселем. Она заранее знала, что он скажет, знала, что сейчас произойдет, но не мешала ему из чуточку насмешливого любопытства, за которое она себя упрекала.

«Но он же сам сейчас сказал, что надо все увидеть и познать! Да, познавать... изучать...»

И она изучала своего друга...

«О, я его отлично понимаю!.. Аннета упала, как плод с дерева, а он думает, что ее недурно было бы подобрать. Он для того и тряс тихонько дерево, чтобы плод поскорее оторвался и упал. Он хочет воспользоваться моей растерянностью... А ведь он меня любил!..»

Да, любил... Хороши же эти мужчины!.. Как вкрадчиво он воркует!.. Уже становится нежен... А сейчас он... Берегись, Аннета! Держу пари, что сейчас начнется...»

Она вдруг увидела совсем близко белокурую бородку наклонившегося над ней Марселя, его губы, уже готовые целовать... Она решила избавить его от унижения. И, как раз вовремя поднявшись, положила Марселю руки на плечи и слегка оттолкнула его от себя со словами:

– Прощайте, мой друг! Марсель заглянул ей в глаза, пронизательно и с тайным лукавством изучавшие его лицо, и улыбнулся. Он был разочарован.

Но это была честная борьба. Он не скрывал от себя, что ему только что самым хладнокровным образом дали отставку. И все-таки был уверен, что Аннета к нему равнодушна. Вот и пойми тут что-нибудь! Эта странная девушка ускользала от него.

Марсель больше не приходил, и Аннета не звала его. Они оставались друзьями, но сердились друг на друга. Именно потому, что Марсель был ей небезразличен, Аннеты так задело то, что она прочла в его мыслях. Она не оскорбилась: обычная история, слишком даже обычная!.. Нет, Аннета была не в обиде на Марселя. Но она не могла забыть!.. Бывает, что разум прощает, а сердце не в силах с этим согласиться... Быть может, тайная досада Аннеты отчасти объяснялась тем, что вольное обращение к ней Марселя еще острее, чем нелюбезный прием в салоне Люсиль, заставило ее почувствовать перемену в ее положении. Она увидела, что не может больше рассчитывать на знаки уважения, которые общество оказывает своим членам, покорно соблюдающим условности и внешние приличия. Отныне она лишена защиты. Ей придется самой себя защищать.

Она никого не принимала. Сильвии она боялась рассказать о пережитых неприятностях: ведь Сильвия это предсказывала и теперь стала бы торжествовать. Аннета все сохраняла в тайне и, уединившись от всех, решила жить только для ребенка.

Когда маленький Марк под вечер, после визита Марселя, вернулся с прогулки, она встретила его с иступленным восторгом. Увидев мать, он, улыбаясь, потянулся к ней и задрыгал всеми четырьмя лапками. А она набросилась на него, как голодная волчица на добычу, осыпала жадными поцелуями, делая вид, что откусывает кусочки от его тела: брала в рот его ножки и, раздвывая, щекотала его губами всего сверху донизу...

– Ам! Вот я тебя съем!.. И тот дурак смел уверять, что мне тебя будет недостаточно! – восклицала она, словно призывая ребенка в свидетели. – Как тебе нравится такая наглость?.. Это тебя-то недостаточно, тебя, моего повелителя, моего маленького боженьки!.. Ну скажи, что ты мое божество!.. А я, что же я тогда? Мать бога!.. Весь мир – наш. Нам доступно все, что можно сделать вдвоем!.. Мы можем все увидеть, все иметь, все испытать, испробовать, все сотворить!..

Они и в самом деле творили все, – разве открывать и творить не одно и то же? На нашем славном французском языке «находить» означает то же, что «изобретать». Люди находят то, что изобретают, и открывают то, что создают, о чем мечтают, что вылавливают в реке грез. Для матери и ребенка началась эпоха великих открытий. Первые слова малыша, его попытки исследовать окружающий мир, который он словно измерял ручками и ножками...

Каждое утро Аннета и ее сын отправлялись завоевывать этот мир. И она наслаждалась не меньше, а то и больше, чем он. Она словно переживала сызнова свое детство, но теперь во всей полноте сознания, а значит, и во всей полноте радости. Немало радовался и ее сынок! Он был красивый ребенок, толстенький, крепыш, этаким аппетитный розовый поросенок.

(Сильвия говорила: «Хоть сейчас на вертел – чего еще ждать?») В его упругом и пухлом тельце чувствовался избыток сосредоточенной энергии, как в резиновом мячике, который вот-вот запрыгает. Каждое новое соприкосновение с жизнью приводило его в бурный восторг. Беспредельная сила воображения, которой одарен ребенок, обогащала его открытия, и радость неумолчно звенела в нем. Аннета ни в чем ему не уступала, и можно было подумать, что между ними происходит состязание – кто сильнее обрадуется и наделает больше шуму. Сильвия называла Аннеты сумасшедшей, но и она на ее месте вела бы себя

точно так же. После неугомонной возни наступали часы полнейшего покоя и блаженного изнеможения. Малыш, утомленный бегом, сразу сладко засыпал. Аннета тоже от усталости валилась с ног, но боролась с дремотой, чтобы как можно дольше любоваться спящим ребенком.

Она подавляла порывы нежности, и любовь ее, как свеча, заслоненная рукой, чтобы не разбудить спящего, горела тихим и долгим пламенем, поднимаясь к небу. Она молилась, как некогда Дева Мария у яслей... Молилась на своего сына...

То были чудесные, озаренные радостью месяцы. Но уже не такие ясные, как в прошлом году. Не такие безоблачные. В счастье Аннеты было что-то преувеличенно-восторженное и беспокойное.

Такая сильная и здоровая натура, как Аннета, должна была творить, постоянно творить, вкладывая в это все силы души и тела. Творить или хотя бы вынашивать будущие творения. Это потребность непреодолимая, и такие люди находят счастье только в ее утолении. Каждый период творчества имеет свой предел, свою линию взлета и неизбежно наступающего затем снижения. Аннета уже прошла через высшую точку этой кривой. Однако творческий порыв матери длится еще довольно долго после рождения ребенка. Кормление продолжает процесс перехода крови матери в кровь ребенка, и невидимые узы связывают два тела. Полнота творческих сил ребенка возмещает упадок этих сил в душе матери. Мелеющая река стремится принять в себя воды выходящего из берегов ручья. Она бурлит, сливаясь с ним, но ручей бежит дальше, обгоняя ее, а она остается позади. Ребенок Аннеты уже уходил от нее, и она едва поспевала за ним.

Еще язык его не справлялся с целой фразой, а ум уже имел свои тайники, свои запретные ящички, и ключ к ним он прятал от всех. Бог его знает, что он там прятал! Вероятно, свои суждения о людях, обрывки мыслей, беспорядочное нагромождение образов, ощущений, любимых слов. Он еще не знал, что означают эти слова, но ему нравился их звук, и он твердил их в своих певучих монологах, не имевших ни начала, ни продолжения, ни конца.

У него было отчетливое сознание, что он что-то скрывает, хотя он, быть может, еще и не знал, что именно. И чем больше окружающие старались узнать, о чем он думает, тем больше он хитрил, стараясь, чтобы они этого не узнали. Ему даже доставляло удовольствие сбивать их с толку: язычок его, такой же беспомощный, как ручонки, еще путал слова, а он уже пробовал лгать, морочить взрослых. Ведь как приятно доказывать и себе и другим свои права, потешаться над тем, кто хочет проникнуть в мир, тебе одному принадлежащий! Этот живой комочек, едва появившись на свет, уже безошибочным чутьем понимал, что такое «мое» и «твое»: «У меня есть хороший табак, но ты его не получишь». У него были в запасе только обрывки мыслей, но он уже воздвигал стены, чтобы скрыть их от глаз матери. Аннета, недалековидная, как все матери, была горда тем, что он умеет так твердо говорить «нет!», что в нем так рано проявляется самостоятельная личность. Она с важностью заявляла:

– У него железная воля! И воображала, что это железо выковано ею. Но против кого же?

Прежде всего против нее самой, ибо для этой крохотной личности она была «не я», а чужой мир, – правда, живой, теплый, мягкий и полный молока, мир, который был полезен, в котором хотелось господствовать. Но все-таки – мир внешний. «Этот мир – не я, но он мне принадлежит. А я-я ничуть ему не принадлежу!...»

Нет, он ей не принадлежал! И Аннета уже начинала это чувствовать: кроха желала принадлежать только себе самой. Сын нуждался в ней, но и она нуждалась в нем, – малышу подсказывал это инстинкт. Быть может, инстинкт, подкрепленный эгоцентризмом, говорил ему, что мать нуждается в нем гораздо больше, чем он в ней, а значит, он имеет право этим злоупотреблять. И ведь это было верно! Он ей был гораздо нужнее, чем она ему...

«Ну что ж, справедливо это или нет, – эксплуатируй меня, маленькое чудовище! Все равно, как ни старайся, ты не сможешь долго обходиться без меня. Ты в моей власти. Вот я

тебя кладу в ванночку. Протестуй, рыбка моя, сколько хочешь!.. Смотрите, какая негодующая мина! Этот человечек разевает рот, словно задыхается от оскорбленного достоинства, видя, что с ним обращаются, как с вещью. А вот я тебя все-таки переверну и еще раз!.. Боже, какая музыка!.. Ты будешь певцом, сыночек! Ну-ка, возьми еще раз верхнее „до“!.. Bravo! Ты поешь, а я тебя заставляю плясать... Ну не безобразие ли так пользоваться твоей беспомощностью? Ах, гадкая мама!.. Бедный мальчик!.. Ничего, ты ей отомстишь, когда вырастешь... А пока протестуй! Вот не посмотрю на все твое достоинство и поцелую твой задик!..»

Он брыкался. Она заливалась смехом. Он был у нее в руках, но что толку? Ведь она распоряжалась только раковиной, а улитка уползала от нее в глубь своего убежища. И с каждым днем все труднее становилось поймать ее. Это была охота, увлекательная, как любовная борьба. Но все же охота, борьба, не дававшая передышки. Приходилось все время быть начеку.

Тысячи постоянных мелочных забот, которых требует ребенок, заполняют день. При всей своей несложности и однообразии они не оставляют места ни для чего другого. Ни на чем вне его, его одного, ум не может сосредоточиться. Самая быстрая мысль десять раз обрывается. Ребенок вытесняет все, этот кусочек мяса заслоняет от вас горизонт. Аннета об этом не жалела. Да у нее и времени не оставалось для сомнений.

Она жила в состоянии постоянного утомления и озабоченности, и это состояние, вначале для нее спасительное, с каждым днем все заметнее переходило в смутное чувство изнеможения. В такие периоды жизни у человека тают силы, а душа блуждает, как лунатик, и, вдруг проснувшись, не знает, куда идти. Однажды Аннета проснулась с ощущением этой усталости, накопившейся за много месяцев. И неуловимая тень омрачила радость, которая жила в ней.

Ей хотелось верить, что это только физическое переутомление. И, чтобы убедить себя в том, что счастье ее неизменно, она стала проявлять его слишком бурно. В особенности на людях: она словно боялась, что другие заметят то, чего она не хотела видеть. А когда она оставалась одна, после неумеренной веселости наступал упадок сил. Что это было – печаль?

Нет. Непонятное томление, глухое беспокойство, чувство какой-то неудовлетворенности, которое она старалась отогнать. Аннета ничего не ожидала от внешнего мира – пока она еще обходилась без него, – но она страдала оттого, что какие-то стороны ее натуры не находили себе применения. Бездействовала уже давно и какая-то часть ее умственных способностей, а это нарушало внутреннее равновесие. Лишенная общения с людьми, предоставленная всецело себе самой, Аннета чувствовала, что душу ее начинает щемить тоска, и пыталась заглушить ее чтением, надеясь, что книги заменят ей людей. Но книги лежали раскрытыми все на той же странице: мозг ее отвык от усилий, разучился следить за разворотом цепи слов. Вечная забота о ребенке, беспрестанно врываясь в ее мысли, нарушала их ход, отвлекала внимание, только раскачивала дремлющее, ослабленное сознание, как привязанную у берега лодку, которая пляшет на волнах и не может ни двинуться вперед, ни стоять на месте. Вместо того чтобы бороться с этим, Аннета сидела взаперти, предаваясь сонным мечтам над раскрытой книгой, или старалась заглушить тоску взрывами бурной нежности и дурашливой болтовней с ребенком. Наблюдая, как она тщетно пытается истратить на малыша весь запас своей разносторонней душевной энергии, Сильвия говорила ей:

– Тебе следует чаще выходить, делать гимнастику, много гулять, как прежде.

Аннета, чтобы отделаться от нее, обещала чаще выходить, – и не двигалась с места. На то была причина, которую она хранила про себя: она боялась встреч с прежними знакомыми и обидных проявлений холодной отчужденности. Такова была внешняя причина, которую она приводила самой себе. В другое время ее ничуть не трогали бы эти мелочные обиды. Теперь же у нее появилось стремление избегать всякого соприкосновения с людьми – признак неврастения. Но тогда почему бы не уехать из Парижа, не поселиться в деревне, как ей советовала Сильвия? Аннета не возражала против этого, но ничего не предпринимала:

нужно было на что-то решиться, а ей не хотелось выходить из своего сонного оцепенения.

И она мирилась с тем, что дни уплывали без малейших волнений, бездеятельные и тихие, как море в штиль перед отливом. То был перерыв, кажущаяся остановка в вечном ритме жизни. Дыхание приостановилось. Радость уходит на цыпочках. Бесшумными шагами приближается горе. Его еще нет, но уже *nescio quid*³⁸ предупреждает: «Не шевелись!.. Оно у дверей!»

Горе пришло. Но совсем не то, какого ждали. Напрасно пытаемся мы заранее представить себе грядущее счастье или горе. То и другое приходит всегда в совсем ином, неожиданном обличье.

Однажды ночью, когда Аннета витала где-то между небом и землей, на грани счастья и душевного мрака, плыла в царство сна, не сознавая, находится ли она по ту или по эту его сторону, она вдруг почувствовала опасность.

Еще не зная, какая это опасность и откуда эта опасность надвигается, мать собиралась с силами, чтобы броситься на помощь к спавшему рядом мальчику. Сознание ее, настороженное и во время сна, уже подсказало ей, что ребенку что-то угрожает. Она преодолела дремоту и с беспокойством прислушалась. Да, она не ошиблась, не могла ошибиться! Ведь даже в глубоком сне она чувствовала всегда малейшую перемену в дыхании любимого малыша.

Он дышал часто и неровно, и Аннета в силу какой-то таинственной телесной связи с ним почувствовала, что и ей стало трудно дышать. Она зажгла свет и склонилась над колыбелью. Мальчик не проснулся, но сон его был беспокоен, он метался. Мать утешило то, что личико у него не было красно.

Потрогав его, она заметила, что кожа суха, а ручки и ножки холодные. Она укрыла его потеплее, и он как будто успокоился. Еще несколько минут она наблюдала за ним, потом потушила свет, мысленно уверяя себя, что это пустая тревога. Но скоро дыхание ребенка опять участилось и стало прерывистым. Аннета, сколько могла, обманывала себя.

«Нет, он дышит ничуть не тяжелее, это мне так кажется от волнения...»

И она заставляла себя лежать неподвижно, как будто внушая ребенку свою волю. Но сомнений уже быть не могло – ребенок дышал все чаще, начиналось удушье. Вдруг он закашлялся и, проснувшись, заплакал. Аннета вскочила, взяла его на руки. Мальчик весь горел, личико было бледно, губы приняли лиловатый оттенок. Аннета обезумела. Разбуженная тетушка Викторина тоже всполошилась. Вдобавок ко всему в тот день телефон у них был выключен из-за ремонта сети, и невозможно было вызвать врача. А поблизости не было ни одной аптеки. Дом их на Булонской набережной стоял уединенно, и у служанки не было ни малейшей охоты идти по пустынным улицам в такой поздний час. Приходилось ждать до утра. А признаки болезни становились все заметнее. Было от чего потерять голову! И Аннета была близка к этому, но, понимая, что голову терять нельзя, она ее не теряла.

Тетка хныкала, металась, как муха под абажуром. Аннета сурово сказала ей:

– От твоего оханья пользы мало. Помоги мне, а если ты ни на что не способна, ступай спать, и оставь меня в покое! Я одна буду его спасать.

И ошеломленная тетка взяла себя в руки. Понаблюдав за ребенком, она на основании многолетнего опыта рассеяла одно из самых страшных опасений Аннеты: это был не круп. Аннету все еще мучили сомнения, и тетушку, вероятно, тоже: ведь так легко ошибиться. Да если это и не круп, мало ли других смертельных болезней? То, что они ничего об этих болезнях не знали, еще усиливало страх. Но, хотя у Аннеты душа леденела от ужаса, она делала как раз то, что нужно, и делала спокойно. Ничего не зная, слушаясь лишь материнского инстинкта, она наилучшим образом ухаживала за ребенком (как сказал ей врач на другой день): не давала ему долго лежать в одном положении, перекладывала, старалась облегчить удушье. Любовь подсказывала ей то, чего не могли подсказать ни опыт, ни

³⁸ Что-то (лат.).

знания, – ведь она испытывала те же мучения, что и ее мальчик. Она страдала даже сильнее – от чувства ответственности...

Мало сказать, ответственности! Тяжкое горе, а в особенности болезнь любимого человека, часто делает нас суеверными, и мы виним себя в его страданиях. Аннета не только упрекала себя в том, что была неосторожна и недостаточно оберегала ребенка, – нет, она уже открывала в себе какие-то преступные задние мысли: мысль, что она устала от ребенка, тень бессознательного сожаления о том, что вся жизнь отдана ему... Чувствовала ли она действительно по временам такую усталость и сожаления и подавляла ли их в себе? Очевидно, да, раз они сейчас вспоминались ей... Впрочем, как знать, не выдумала ли она это из присущей нам всем потребности – в тех случаях, когда мы бессильны помочь делом, – лихорадочно искать причины несчастья и зачастую обращать против себя всю силу своего отчаяния?..

Аннета винила не только себя, но и могущественного врага – неведомого бога. Осторожно, мерными движениями поднимая мальчика, чтобы ему легче было дышать, она смотрела на его распухшее личико и мысленно горячо просила у него прощения за то, что родила его на свет, вырвала из мирного небытия и бросила в жизнь, обрекла в жертву страданиям, случайностям, злым прихотям какой-то неведомой, слепой силы! Ощетинившись, как зверь, защищающий вход в свое логово, она чуяла приближение могучих богов-истребителей, готовилась отбить у них своего детеныша и заранее рычала на них, оскалив зубы. Подобно всякой матери, когда ее сыну грозит опасность, она превратилась в Ниобею, которая, чтобы отвлечь на себя смертельную стрелу, бросает яростный вызов убийце...

Между тем никто из окружающих не догадывался о той немой борьбе за сына, которую вела Аннета.

Утром пришел врач. Он похвалил ее за то, что она не растерялась и сумела оказать ребенку первую помощь, сказал, что часто чрезмерное беспокойство любящей матери только вредит больному. Но Аннета из всего сказанного доктором запомнила одно, что в Париже сейчас свирепствуют грипп и корь и что сын ее, возможно, схватил воспаление легких. Значит, она виновата перед ребенком – зачем не послушалась совета уехать из Парижа!

Она беспощадно осуждала себя. Это раскаяние принесло по крайней мере ту пользу, что вытеснило из сознания Аннеты все другие упреки, которые она делала себе, и таким образом как бы уменьшило размеры ее вины.

Услышав печальную новость, тотчас примчалась Сильвия, и теперь у маленького больного не было недостатка в сиделках. Но Аннету невозможно было отогнать от его постели. Она почти не спала, оставаясь бессменно днем и ночью на своем посту. Пот, выступавший на маленьком тельце, смачивал и ее кожу, от его удушья ее бросало в жар. Боль перемесила мать и сына в одно тесто. И ребенок как будто понимал это: в те минуты, когда он корчился, со страхом ожидая нового приступа кашля, глазки его с укором и мольбой искали глаза матери. Он, казалось, говорил:

«Вот мне опять будет больно! Тот сейчас придет! Спаси меня!»

И она отвечала, прижимая его к себе:

«Да, да, я тебя спасу! Не бойся! Он тебя не тронет».

Тем не менее припадок наступал, ребенок задыхался. Но он страдал не один, мать корчилась вместе с ним, пытаясь разорвать душившую его петлю.

Он чувствовал, что она борется за него, что великая защитница его не покинет. И уверенность, звучавшая в ее ласковом голосе, прикосновения ее пальцев вселяли в него надежду, говорили ему:

«Я здесь».

Он плакал и колотил ручонками по воздуху, но знал: она победит того, безымянного.

И она побеждала. Болезнь сдавалась. Петля растягивалась. Трепеща всем телом, птенчик отдавался во власть спасительных материнских рук. Как легко дышалось обоим после такого мучения! Струя воздуха, вливавшаяся в ротик ребенка, освежала и горло

матери, наполняла ее грудь блаженством.

Такие передышки бывали недолги и чередовались с ухудшениями. Борьба продолжалась, истощая силы. Ребенку стало лучше, но вдруг наступил резкий рецидив, причина которого была неясна. Самоотверженные сиделки пришли в отчаяние-каждая винила себя в каком-нибудь недосмотре, который помешал выздоровлению. Аннета мысленно твердила:

«Если он умрет, я покончу с собой».

За это время она отвыкла от сна. В те часы, когда ребенку нужна была ее помощь, она крепилась. Но когда он засыпал и ее немного успокоенное сердце могло бы дать себе роздых, мысли начинали метаться еще сильнее, как телеграфные провода под напором сильного ветра. Аннета не решалась закрыть глаза из боязни остаться наедине со своим обезумевшим мозгом.

Снова зажигала лампу и пыталась привести в порядок мысли, от которых у нее голова шла кругом. Это был спор с самой собой, с ребяческими, нелепыми, суеверными фантазиями – во всяком случае такими они представлялись ее трезвому уму, привыкшему мыслить логически. Ей казалось – беда нависла над ней потому, что слишком полно было ее счастье, и, для того чтобы сын выжил, она должна заплатить за это каким-нибудь другим несчастьем.

Это была смутная, но крепко укоренившаяся вера в жестокий закон расплаты, вера, которая восходит к отдаленному прошлому человечества. Но первобытные племена, чтобы умилостивить свирепого бога-торгаша, который ничего не дает даром и все продает только за наличные, приносили ему в жертву первенцев, покупая такой ценой уверенность, что у них не отнимется все остальное, чем они дорожили в жизни. Аннета, наоборот, готова была отдать и жизнь и все, что у нее было, как выкуп за своего первенца.

– Возьми все, возьми – только пусть он будет жив! – говорила она богу.

Но тут же приходила мысль:

«Как это глупо! Ведь услышать меня некому...»

Все равно-древний атавистический инстинкт искал вокруг присутствия ревнивого бога. И, упорно, яростно торгуясь с ним, она твердила:

«Заключим договор! Я плачу наличными. Отдай мне ребенка и бери взамен, что хочешь!»

Как будто для того чтобы оправдать это суеверие, судьба поймала Аннету на слове. Однажды утром тетушка Викторина пошла к нотариусу за деньгами, которые Аннета давно должна была от него получить, и вернулась в слезах. В это утро Аннета была счастлива: она, наконец, могла быть спокойна за жизнь сына. Только что ушел доктор, сказав ей, что мальчик выздоровеет. Аннета была вне себя от радости, но еще дрожала, не смея окончательно поверить своему неожиданному счастью. И в эту самую минуту открылась дверь, и ей сразу бросилось в глаза расстроенное лицо тетки.

Сердце у нее екнуло, она подумала:

«Какая новая беда пришла?»

У старушки от волнения заплетался язык. Наконец она сказала:

– Контора закрыта. Мэтр Греню скрылся.

Все состояние Аннеты было доверено этому нотариусу. Сперва Аннета ничего не поняла, затем (объясните это, если можете!)... затем лицо ее просветлело, и она подумала с облегчением:

«Только-то!...»

Вот она, спасительная беда! Враг взял с нее выкуп за сына...

Через минуту она уже пожала плечами, удивляясь своей глупости. И все же продолжала мысленно говорить с ним:

«Ну, теперь довольно с тебя? Ты удовлетворен? Вот я и расплатилась! Ничего я тебе больше не должна!»

Она улыбнулась...

«Бедные люди! Цепляясь за свою долю счастья и видя, что она все ускользает и

ускользает от них, они пытаются заключить договор со слепой природой, которую создают в воображении по своему образу и подобию.

По своему образу и подобию? Неужели я похожа на эту природу, завистливую, хищную, жестокую? Кто знает? Кто может сказать: „Я не таков?“»

Аннета была разорена. Она сначала не представляла себе размеров катастрофы. В первую минуту еще можно было заблуждаться. Но когда она хладнокровно обдумала положение, она вынуждена была признать, что наказана по заслугам.

Она умела разбираться в деловых вопросах – у нее, как и у отца, был трезвый, практический ум; цифры ее не пугали. Когда ведешь свой род от крестьян или мелких буржуа, сметливых и предприимчивых, то заглушить в себе практическую жилку можно, лишь сознательно стремясь к этому.

При жизни отца Аннета была избавлена от всяких материальных забот, а потом она переживала затяжной душевный перелом и, всецело поглощенная внутренней жизнью, была в плену у своих страстей. Такому, не совсем нормальному, состоянию «одержимости» способствовали ее праздность и обеспеченность. Она отстранялась от забот о своем наследстве с отвращением, в котором было что-то нездоровое. Да, именно нездоровое, ибо идеалист, презирующий богатство как паразитизм, забывает, что он имеет на это право лишь в том случае, если отказался от своего богатства. Когда же идеализм вырастает на почве, удобренной богатством, и, питаясь им, делает вид, что презирует его, – это худший вид паразитизма.

Чтобы избавиться от скучной обязанности вести свои денежные дела, Аннета передала все состояние в руки нотариуса, милейшего мэтра Греню. Это был старый друг их семьи, человек уважаемый, известный своей честностью, признанный знаток своего дела. Он в течение тридцати лет вел все дела Ривьера. Правда, Рауль в делах никогда ни на кого всецело не полагался.

При всем доверии к нотариусу он тщательно проверял каждый документ. Но, принимая эти предосторожности, он все же доверял мэтру Греню. А уж если человек с таким чутьем, как Рауль Ривьер, доверял кому-нибудь, значит, тот заслуживал доверия! И мэтру Греню можно было доверять, насколько вообще можно доверять человеку в нашем обществе (с соблюдением всех предосторожностей).

Нотариусу в семьях своих клиентов приходится быть чем-то вроде светского духовника, и мэтр Греню был посвящен во многие семейные тайны Ривьеров. Мало что из похождений Рауля и огорчений г-жи Ривьер оставалось ему неизвестным. Он с готовностью выслушивал обоих: ее – сочувственно, его – снисходительно. Жене он был советчиком и ценил ее добродетели, а мужу – приятелем и одобрял его пороки (с галльской точки зрения, такие пороки ведь тоже своего рода добродетели). Поговаривали, что мэтр Греню сам охотно принимал участие в изысканных развлечениях Рауля. Мэтр Греню был седоватый человек лет шестидесяти: щедушный, розовощекий, с утонченными манерами. Шутник и краснбай, славный малый, превосходный актер, он любил разглагольствовать и, для того чтобы привлечь внимание слушателей, начинал всегда тихо, замирающим голосом, чуть дыша, а затем, когда вокруг воцарялось сочувственное молчание, голос его постепенно достигал такой звучности, которой мог бы позавидовать любой кларнет, и не утихал, пока мэтр Греню не изложит всего, что имел сказать. Этот старомодный нотариус, у которого была страсть ко всему новомодному, этот старый буржуа и почтенный *paret familias*,³⁹ гордившийся тем, что в числе его клиентов были актрисы, прожигатели жизни и веселые «девочки», любил напоминать всем о своем возрасте и, даже хватая иной раз через край, разыгрывал из себя старца, но ужасно боялся, что ему поверят, и втайне старался изо всех сил доказать, что он еще хват и всех молодых за пояс заткнет.

Мэтр Греню знал Аннету с детства и близко принимал к сердцу ее интересы. Он считал

³⁹ Отец семейства (лат.).

вполне естественным, что после смерти родителей она доверила ему все свое состояние. И первое время он, из профессиональной честности, добросовестно держал ее в курсе всех дел и ничего решительно не предпринимал без ее согласия. Но Аннете это вскоре надоело. Тогда он стал брать от нее доверенности на заключение всяких сделок и давал весьма беглые отчеты (которые Аннета не очень-то слушала). Позднее между ними было решено, что так как Аннета, уезжая из Парижа, часто не оставляет своего адреса, то мэтр Греню будет вести ее дела самостоятельно, не советуясь с ней. И все наладилось отлично: нотариус сам вел все дела, доходы Аннеты шли к нему, а она получала от него столько денег, сколько ей было нужно. В конце концов мэтр Греню, чтобы иметь законное право распоряжаться деньгами Аннеты, догадался получить от нее общую доверенность.

Так все и шло... Аннета уже больше года не видела мэтра Греню, а он каждые три месяца аккуратно посылал ей условленные суммы. Жила она уединенно, в обществе не бывала, не читала газет и о событиях узнала значительно позже, чем оно произошло. Старик Греню зарвался. Он не был корыстолюбив, но увлекся спекуляциями; чтобы увеличить вклады своих клиентов, он поместил их в рискованные предприятия – и деньги пропали. Пытаясь вернуть потерянное, он окончательно разорил клиентов. Ничего не говоря Аннете, он спекулировал не только всеми ее наличными деньгами и переданным в его распоряжение движимым имуществом, но, пользуясь разными уловками, которые допускал не совсем точный текст доверенности, заложил оба ее дома – на Булонской набережной и в Бургундии. Увидев, что все пропало, нотариус сбежал. Ему было стыдно перед людьми, что он дал себя провести, и стыд этот был для него, пожалуй, тяжелее бесчестья.

В довершение всего Аннета, поглощенная болезнью ребенка, уже несколько недель не распечатывала писем и потому не ответила ни на извещения кредиторов, которым Греню заложил ее дома, ни на повестки судебного пристава. У малыша тогда был рецидив болезни, и Аннета совсем потеряла голову. Не обращая внимания на то, что письма адресованы лично ей, а не ее поверенному, она, не читая, отсылала их нотариусу; тот их тоже не читал – по той простой причине, что был «в бегах»... Когда же мальчик, наконец, стал выздоравливать и Аннета могла подумать о своем положении, делу уже был дан законный ход, а так как Аннета вовремя не уплатила кредиторам, они имели право продать заложенные дома. Очнувшись от своего бесчувствия, Аннета храбро встретила ошеломляющий удар. К ней сразу вернулись вся ее энергия и унаследованная от отца деловая сметка, заменявшая ей опыт. В этой борьбе она проявила решительность и ясный ум, которые восхищали судью, что, однако, не помешало ему решить дело не в ее пользу, ибо, при всей ее правоте, закон в этом случае был не на ее стороне. Аннета с самого начала поняла, что проиграла дело, но, хладнокровно допуская возможность поражения, она считала, что это несправедливо, и не могла сдаться без боя. К тому же дело теперь шло об имуществе ее ребенка! И она защищала его с упорством несговорчивой и хитрой крестьянки, которая, не желая сдвинуться с места, загораживает дорогу на свое поле и, хотя знает, что захватчики все равно ворвутся, старается выиграть время. Но что она могла сделать? Не имея возможности уплатить кредиторам долг и не желая просить помощи у родственников или бывших друзей (которые, по всей вероятности, отказали бы ей, да еще в унижительной форме), Аннета не могла помешать продаже заложенных домов. Вся ее изобретательность и упрямая энергия помогли ей только добиться краткой отсрочки, но не было никакой надежды, что по истечении срока решение суда будет отменено.

В такой беде было бы вполне простительно пасть духом. Сильвия, например, хотя сама ничуть не пострадала, не переставала то плакать и причитать, то возмущаться и твердить, что надо судиться, судиться и судиться... Аннета же, наоборот, благодаря этой истории, казалось, вновь обрела душевное равновесие. Обрушившееся на нее испытание словно освежило воздух, рассеяло атмосферу вялой сентиментальности, которая последние два-три года расслабляла ее душу. Убедившись, что ничего изменить нельзя, Аннета примирилась с обстоятельствами без ненужных жалоб и ропота. Она не стала для облегчения души обвинять во всем Греню, как это делала Сильвия, обрушивавшая на голову нотариуса

страшные проклятия. Старик сам потерпел крушение. Она, Аннета, тоже. Но у нее были молодые руки, и она умела плавать. Она думала об этом, пожалуй, не без удовольствия. Как это ни странно, разорение вызывало в душе Аннеты, наряду с огорчением, и то любопытство, что толкает нас навстречу опасности, и даже тайную радость при мысли, что ей предстоит испытать свои неиспользованные силы. Рауль понял бы ее – ведь и у него на вершине успеха бывало иной раз искушение уничтожить дело всей жизни, чтобы иметь удовольствие все создать наново.

Из дома на Булонской набережной надо было выезжать. Усадьба в Бургундии была спешно продана за смехотворно низкую цену. Было ясно, что денег, вырученных от продажи всего имущества, едва хватит на уплату долга и судебных издержек, а если что и останется, – прожить на эти деньги Аннета с теткой не смогут. Надо было искать новых средств к существованию.

И прежде всего – сократить расходы и жить как можно скромнее. Начались поиски жилья. Сильвия нашла для сестры квартиру на пятом этаже того дома, где сама жила на антресолях. Комнаты в новой квартире были окнами во двор, маленькие, но удобные, место тихое. О том, чтобы перевезти сюда всю мебель, нечего было и думать. Аннета решила взять только самое необходимое. Но тетушка Викторина со слезами умоляла сохранить все. Аннета доказывала ей, что неразумно в их положении платить еще лишние деньги за хранение мебели и что надо отобрать только часть, но тетушка цеплялась за каждую вещь. Наконец Аннета сама решительно отобрала все, что нужно было перевезти на новую квартиру, и сверх того оставила только несколько вещей, особенно дорогих старушке, остальное продала.

Сильвию поражала такая «бесчувственность» Аннеты. Однако не следует думать, что мужественная девушка совсем не огорчалась. Она любила этот дом, который ей предстояло покинуть... Столько воспоминаний! Столько грез! Но она их гнала прочь, хорошо понимая, что нельзя безнаказанно давать им волю. Их было слишком много, они заполнили бы ее целиком, а ей сейчас нужны были все силы.

Только один раз она уступила их натиску, очень уж неожиданному. Это было как-то днем, незадолго до переезда. Тетушка ушла в церковь, а Марк был у Сильвии. Оставшись одна в доме, где во всем уже чувствовалась близость отъезда, Аннета стояла на коленях на скатанном до половины ковре и складывала снятый со стены гобелен. Она была поглощена делом, и, в то время как ее проворные руки работали, голова была занята всякими расчетами, связанными с переселением. Но, видимо, и для воспоминаний нашлось место: взгляд ее, рассеянно блуждавший где-то далеко от окружающего, вдруг, как сквозь туман, заметил рисунок на гобелене, который она складывала. И она узнала его. Это был бледный, почти уже стершийся узор.

Крылья бабочек или цветочные лепестки? Не все ли равно! Но на этом узоре часто останавливались ее глаза в детстве, и на этой канве они сейчас вышивали картины минувших дней. Эти картины внезапно выступили из мрака...

Руки Аннеты замерли, мозг еще некоторое время упорно, но уже без всякой связи, нанизывал цифры, потом перестал. Аннета, соскочив на пол, положила голову на свернутый ковер, согнула колени, закрыла лицо руками... и, подняв парус, отдалась на волю ветра и волн. Она странствовала не в одном месте... Такое множество нахлынуло воспоминаний (пережитое? Или мечты?) – как было в них разобраться?... Головокружительная симфония одного мгновения тишины! В ней заключено гораздо больше, чем содержание одной жизни. Когда работает мысль, сознанию кажется, что ему подвластен весь наш внутренний мир, а на самом деле ему дано увидеть лишь гребень волны в тот миг, когда его золотит луч солнца. Только мечте доступна эта зыбкая глубина с ее бурным ритмом, неисчислимые семена, несомые вихрем веков, мысли тех, кто дал нам жизнь, и тех, кому дадим жизнь мы, гигантский хор надежд и сожалений: обращенных к прошлому или будущему...

Невыразимая гармония, секунда озарения, которая рождается иногда от одного толчка.

В душе Аннеты ее пробудил букет поблекших цветов на гобелене...

Очнувшись после долгой тишины, Аннета торопливо вскочила и дрожащими, неловкими руками принялась быстро свертывать голебен, уж не глядя на него. Она даже и этого дела не dokonчила и, бросив в сундук гобелен, только наполовину свернутый, выбежала из комнаты... Нет, она не хотела оставаться наедине с такими мыслями! Лучше насильно отогнать их. Будет время погоревать о прошлом когда-нибудь позднее, когда она и сама уже станет прошлым... Да, позднее, на закате жизни. А сейчас она была слишком озабочена будущим. Надо было нести это бремя. Мечты были впереди...

«Не буду думать о том, что позади. Нельзя оглядываться...»

Она шла по улице, решительно выпрямившись, все ускоряя шаг и сосредоточенно глядя куда-то в пространство. Годы... годы... Жизнь впереди, жизнь ее ребенка, ее новая жизнь... Она думала об Аннете будущих дней.

Это видение стояло у нее перед глазами и в вечер переезда на новую квартиру. Сильвия тотчас после закрытия мастерской побежала наверх к сестре – она думала, что Аннете тяжело, и хотела отвлечь ее от грустных мыслей. Но Аннета хлопотала в тесном новом жилье, ничуть не устав после утомительного дня. Она пробовала разместить в слишком узких стенных шкафах белье и платья; так как ей это не удавалось, она, стоя на табуретке и держа в руках простыни, обдумывала новый план и оглядывала битком набитые полки. При этом насвистывала, как мальчишка, вагнеровскую фанфару, которую, сама того не замечая, забавно перевирали. Наблюдавшая за ней Сильвия сказала:

– Ну и молодчина же ты, Аннета! (Это было сказано не совсем искренне.).

– Почему? – спросила Аннета.

– Будь я на твоём месте – да я с ума бы сошла от злости!

Аннета только рассмеялась и, поглощенная своим делом, жестом остановила Сильвию.

– Ага! Кажется, придумала!.. – воскликнула она.

И, сунув руки и голову в шкаф, принялась рыться там, что-то вынимать и перекладывать.

– Ну вот и вышло по-моему!.. Теперь ты у меня в порядке!

(Это она обращалась к шкафу, битком набитому, убранному, покоренному.).

Она прыгнула с табуретки, гордая своей победой.

– Сильвия, горячка ты такая! – Она взяла Сильвию за подбородок. – В детстве мы все строили домики из косточек домино. Ты разве бесилась, когда домик рассыпался?

– Еще бы! Я швыряла домино на землю!

– А я говорила: «Бух! Ну ничего, построю Другой!..»

– Ты еще скажешь, что нарочно толкала стол!..

– Может, и толкала – не поручусь, что нет.

– Анархистка! – сказала Сильвия.

– Скажите, пожалуйста! А ты не анархистка? Нет, Сильвия не была анархисткой. Она любила посмеяться над властью и порядком, но считала, что они нужны... хотя бы для других! Нет, впрочем, и для себя тоже: что за удовольствие бунтовать, если над тобой нет власти? Ну, а порядок – Сильвия всегда за него ратовала. Существующий порядок она ругала только потому, что он был ей не по вкусу. Но что он был для всех установлен, это она одобряла. Порядок Должен быть!

С тех пор как и она упорядочила свою жизнь, стала хозяйкой и самостоятельно вела свои дела, она стояла за прочно установленный порядок. Аннета с удивлением сделала это открытие. И оно было не единственным. Человека по-настоящему узнаешь, только наблюдая его в повседневной деятельности, в которой естественно выявляются его силы, склонности и внутренние побуждения... Раньше Аннета видела Сильвию только в периоды беспечной праздности. Можно ли судить о кошке, пока она только нежится на мягкой подушке? Ее надо видеть на охоте, когда спина ее выгнута дугой, а глаза горят зеленым огнем.

Сейчас Аннета видела Сильвию в ее сфере, на маленьком участке, который она выкроила себе в парижских джунглях. Молодая хозяйка мастерской принялась за дело

серьезно, и никто не мог с ней сравниться в умении его вести. Аннета имела полную возможность наблюдать ее вблизи, так как первые недели после переезда завтракала и обедала у Сильвии: они решили вести общее хозяйство, пока Аннета не наладит окончательно свои дела.

Аннета в свою очередь старалась быть полезной сестре и помогала ей в мастерской. Таким образом, она видела Сильвию в любое время дня, в обществе заказчиц, мастериц, с глазу на глаз. И открывала в ней черты, которых не знала раньше, – или, может быть, эти черты выявились только за последние два-три года?..

Ласковая Сильвия не могла больше под чарующими улыбками скрыть от проницательных глаз Аннеты некоторую жесткость и рассудочность своей натуры – даже в минуты увлечений она трезво все взвешивала. У Сильвии был небольшой штат мастериц, которым она командовала превосходно. Благодаря своей тонкой наблюдательности и способности пленять людей, она подобрала подходящих девушек и сумела привязать их к себе. Ее главная помощница, Олимпия, гораздо старше и опытнее ее, превосходная работница, была несообразительна и не умела защищать свои интересы. В Париже эта провинциалка чувствовала себя затерянной, ее обирали, над ней издевались все-мужчины и женщины, хозяева и товарки. У нее хватало ума это сознавать, но не хватало силы воли для того, чтобы давать отпор, и потому она искала кого-нибудь, кто не надувал бы ее и, пользуясь ее трудом, избавил бы от необходимости распоряжаться собой. Сильвии ничего не стоило подчинить себе и ее и остальных. Нужно было только следить, чтобы чувство соперничества, которое она разжигала в мастерицах, не нарушало их согласия: нужно было, ловко пользуясь этим соперничеством, поощрять их усердие и, по примеру мудрых правительств, создавать союз соперниц, основанный на преданности общему делу. Работницы Сильвии гордились своей маленькой мастерской, жаждали отличиться перед молодой хозяйкой, и это подчиняло их ее коварной власти. Она часто заставляла их работать до изнеможения, но при этом сама подавала пример, и никто не жаловался. Легкий выговор, веселая насмешка, вызывавшая взрыв смеха, подгоняли выбившуюся из сил упряжку, заставляли ее держаться до конца. Девушки восторгались хозяйкой и ревновали ее друг к другу. Она же, поощряя в них эти чувства, сама оставалась равнодушной. По вечерам, когда девушки уходили, она говорила о них с сестрой тоном холодного безразличия, который возмущал Аннету.

Впрочем, в случае нужды, когда они заболели или попадали в беду, она не оставляла их без помощи. Но она забывала о них, больных или здоровых, когда их не видела. Ей некогда было думать об отсутствующих. Некогда было долго любить кого-нибудь. У нее было столько дела, что не оставалось свободной минуты: туалет, хозяйство, еда, шитье, примерки, болтовня, любовь, развлечения. И все было точно рассчитано – все вплоть до тех часов молчания (всегда коротких) между дневной сутолокой и ночным отдыхом, когда она оставалась наедине с собой. Ни единого уголка для мечты.

Сильвия и к себе самой присматривалась со стороны такими же любопытными, трезвыми глазами, как к другим. Внутренняя жизнь была сведена к минимуму: все выражалось в действиях и словах. Сильвии была совершенно чужда свойственная Аннете потребность исповедоваться самой себе. Аннета даже терялась, наблюдая эту душу, где все было наружу. Ни единого укромного уголка! А если он и был (он есть во всяком сердце), дверь в него была наглухо закрыта. Сильвию не интересовало, что таится там, в глубине, за этой дверью. Ей нужно было одно – полновластно управлять своим мирком, наслаждаться всем, и работой и радостями жизни, да так, чтобы все было в свое время, чтобы ничего не упустить, а значит, без страстей, без крайностей, ибо вечная деятельная суэта и «порхание» не уживаются с великими страстями и даже исключают их возможность. Можно было не опасаться, что Сильвия когда-либо потеряет голову от любви!

В сущности она и любила-то по-настоящему одну только Аннету. И как это было странно! Почему она любила эту рослую девушку, с которой у нее не было ничего или почти ничего общего?

А потому, что это «почти ничего» было нечто очень важное, может быть, самое главное: голос крови... Не всегда люди одного поколения придают значение кровному родству, но когда придают, – какая это скрытая сила!

Голос крови нашептывает нам:

«Тот, другой, – это тоже я. Содержание то же, но отлито в другую форму. Это я в ином виде. Я узнаю себя в другой душе...»

И хочется тогда отвоевать себя у этого узурпатора.

Здесь действует влечение двоякого – нет, тройкого – рода. Нас влекут и сходство, и противоположность, и еще третья приманка, далеко не самая слабая: радость покорения другого человека...

Как много общих черт было у Аннеты и Сильвии!

Гордость, независимость, сильная воля, дисциплинированный ум, чувственность. Но у одной все было обращено внутрь, у другой – наружу.

Они представляли собой словно два полушария одной души. Они были созданы из одних и тех же элементов, но каждая, по каким-то непонятным причинам, коренившимся в особенностях их натур, отвергала вторую свою половину, желала видеть только одну – ту, что была на поверхности, или ту, что была скрыта в глубине. Сближение сестер теперь, когда они жили вместе, грозило поколебать привычное представление каждой о самой себе. Их взаимная привязанность приобрела оттенок враждебности. И чем крепче была привязанность, тем острее становилась скрытая вражда, ибо ни одна из сестер не могла подчинить себе другую, и обе это чувствовали. Аннета лучше Сильвии умела читать в своих мыслях и была честнее, поэтому она осуждала и обуздывала себя. Прошло то время, когда ее властная и требовательная любовь стремилась поглотить Сильвию. Сильвия же все еще не отказалась от тайного желания подчинить себе старшую сестру. И она ничуть не сетовала на то, что обстоятельства дали ей возможность верховодить, подчеркивать свое превосходство перед Аннетой. Надо же было ей вознаградить себя за неравенство их судьбы в молодости! Этим неосознанным чувством, в такой же мере, как и нежной любовью к сестре, объяснялось тайное удовлетворение, которое Сильвия испытывала оттого, что Аннета работала в ее мастерской, под ее началом. Ей хотелось завербовать Аннету навсегда. И она поручала ей принимать заказчиц, делать рисунки для вышивок на белье. Она старалась ее убедить, что, работая в мастерской, Аннета будет иметь прочный заработок, а впоследствии даже сможет стать совладелицей.

Аннета угадывала желание Сильвии, но вовсе не намерена была ему покориться. Она либо пропускала мимо ушей ее предложения, либо, когда Сильвия очень уж приставала к ней, отвечала, что она не создана для этого ремесла. Тогда Сильвия иронически осведомлялась, для какого же ремесла она считает себя созданной. Это задевало Аннету. Когда человека, которому никогда не приходилось трудиться ради куска хлеба, нужда заставляет искать работу, ему тяжело оттого, что он не знает, на что годен и годен ли вообще на что-нибудь, несмотря на свое образование. Однако нужно было на что-то решиться. Аннета не хотела жить на средства сестры.

Конечно, Сильвия не дала бы ей этого почувствовать, она помогала ей охотно. Но, с удовольствием тратя деньги на нужды Аннеты, она помнила, сколько истрачено: ее правая рука всегда знала, что дает левая. Еще лучше это знала сама Аннета. Ей была нестерпима мысль, что Сильвия, подсчитывая свой приход и расход, записывает (мысленно, разумеется) в дебет истраченное на нее, Аннету... Проклятые деньги! Казалось бы, какие могут быть счета между двумя любящими сердцами? В любви Аннеты и Сильвии их не было, а в жизни были. Не одна любовь управляет жизнью. Ею управляют и деньги.

Эту истину Аннета раньше слишком плохо знала. Но теперь она быстро ее усвоила.

Ничего не говоря Сильвии, она принялась искать работу. Прежде всего она решила пойти к начальнице того коллежа для девушек, который она окончила. Г-жа Абрагам когда-то благоволила к способной и богатой ученице, дочери влиятельного человека, и Аннета рассчитывала на ее сочувствие. Эта замечательная женщина, одна из первых поборниц

женского образования во Франции, обладала редкими качествами – энергией и здравым смыслом, а их дополняло (или порой, в зависимости от обстоятельств, умеряло) трезвое политическое чутье, которому могли бы позавидовать многие мужчины. Интересы своего коллежа г-жа Абрагам принимала гораздо ближе к сердцу, чем свои собственные. Она была свободомыслящая женщина и даже не скрывала (конечно, не выставляя его напоказ) некоторого презрения к клерикалам, которое не могло ей повредить, ибо в ее коллеже учились девушки из кругов радикальной буржуазии и молодые еврейки. Однако надо сказать, что отвергнутую христианскую мораль ей заменяла гражданская, не очень-то устойчивая и обоснованная, но тем не менее узкая и требовательная (впрочем, это естественно: чем произвольнее догма, тем она суровее). Аннета благодаря своему положению в свете была в дружеских отношениях с начальницей и говорила с ней свободно и откровенно. Она любила высмеивать пресловутую общепризнанную мораль, и г-жа Абрагам, женщина скептического ума, охотно и с улыбкой слушала тирады непочтительной девчонки. Да, она улыбалась – но только когда они разговаривали с глазу на глаз при закрытых дверях. Как только дверь открывалась, г-жа Абрагам вспоминала о своем звании и официальном положении, и к ней возвращалась твердая, как железо, вера в заповеди светского кодекса, выработанного несколькими резонерами, блюстителями нравственности. Можно сказать, что совесть госпожи начальницы в своем естественном состоянии была равнодушна к условной морали; когда же совесть эта облекалась в привычную броню официальности, она сурово порицала поведение Аннеты. А г-жа Абрагам о нем уже знала: история Аннеты обошла все парижские салоны.

Но о разорении Аннеты г-жа Абрагам еще ничего не знала. И когда Аннета пришла к ней, она не сочла нужным откровенно высказать ей свое мнение. Сперва надо было узнать, с какой целью пришла Аннета и нельзя ли извлечь из этого какую-нибудь пользу для коллежа. Поэтому г-жа Абрагам встретила бывшую ученицу приветливо, хотя и немного сдержанно. Но как только она узнала, что Аннета пришла к ней в качестве просительницы, г-жа Абрагам вспомнила о скандале и улыбка ее стала ледяной. Принять деньги от особы предосудительного поведения еще можно, но помогать ей – неприлично. Г-же Абрагам было не трудно найти предлог для отказа беззастенчивой претендентке: она сказала, что коллежу не требуются учителя. А когда Аннета попросила рекомендовать ее начальницам каких-либо других учебных заведений, г-жа Абрагам не пожелала дать ей хотя бы неопределенные обещания. Большая дипломатка в тех случаях, когда она имела дело с людьми, высоко вознесенными колесом фортуны, она сразу оставляла всякую дипломатию, когда это колесо сбрасывало их вниз. А это серьезная ошибка: ведь те, кто сегодня внизу, могут снова очутиться наверху. Хороший дипломат должен принимать в расчет будущее. Но для г-жи Абрагам существовало только настоящее, а в настоящий момент Аннета шла ко дну. Это было печально, однако г-жа Абрагам не имела обыкновения спасать утопающих.

Она не скрывала своей холодности. Аннета продолжала говорить с ней спокойно и непринужденно, как равная с равной, что теперь было уже совсем неуместно, и г-жа Абрагам, чтобы ее «осадить» и напомнить о разнице в их положении, объявила, что по совести не может никуда ее рекомендовать.

Аннета вскипела и уже готова была вслух высказать свое возмущение, но гнев ее быстро утих, сменившись презрением. Ее вдруг охватило ребяческое желание созорничать, как когда-то, – так и подмывало поиздеваться над начальницей. Она сказала, вставая:

– Во всяком случае, не забудьте обо мне, если вздумаете ввести в коллеже курс новой морали!

Огорошенная этой явной дерзостью, г-жа Абрагам посмотрела на нее и ответила сухо:

– Нам достаточно старой.

– Ну, ее не мешало бы немного расширить!

– А что именно вы хотели бы включить?

– Сущий пустяк, – спокойно ответила Аннета, – искренность и человечность.

Госпожа Абрагам, задетая за живое, отпаривала:

– И, разумеется, право на свободную любовь?

– Нет, право иметь ребенка.

Выйдя от г-жи Абрагам, Аннета пожала плечами при мысли о своей бесполезной бравате. Какая глупость!.. К чему наживать себе врагов?.. Все-таки она невольно рассмеялась, вспомнив сердитую физиономию противницы.

Женщина не может отказать себе в удовольствии посрамить другую женщину.

Впрочем, эта другая, г-жа Абрагам, сменит гнев на милость, как только она, Аннета, отвоюет себе положение в обществе. А она его отвоюет!

Аннета побывала и в других учебных заведениях, но нигде не оказалось свободных вакансий. Не было их только для женщин. Латинские демократии созданы для мужчин. Иногда они включают в свои программы феминизм, но относятся к нему недоверчиво. Мужчины ничуть не торопятся дать оружие в руки своим соперницам – женщинам, которые и сейчас еще, на заре XX века, остаются угнетенными. Но такое положение скоро изменится благодаря стойкости женщин Севера. Только под нажимом общественного мнения всех других стран у нас скрепя сердце согласятся признать трудящуюся женщину, которая хочет пользоваться всеми правами.

В двух-трех местах Аннета могла бы получить постоянную работу, если бы этому не помешала ее щепетильность. Там готовы были закрыть глаза на ее двусмысленное положение, если бы она сама захотела дать какое-нибудь правдоподобное объяснение: сказать, что она вдова или разведена. Но Аннета из какой-то нелепой гордости в ответ на вопросы говорила правду. И после нескольких неудач она больше не обращалась в коллежи. Не пошла она и в университет, хотя оставила там по себе добрую память и нашла бы людей, достаточно свободомыслящих, которые не осудили бы ее и помогли найти работу. Но Аннета боялась новых обид. Она была еще новичком в царстве нищеты. Гордость ее не успела натереть себе мозоли...

Начались поиски частных уроков. Аннета не хотела ни о чем просить знакомых из буржуазного круга, предпочитая скрывать от них свои невзгоды. Она обратилась к нелегально существовавшим тогда в Париже конторам по найму – вернее сказать, по эксплуатации. Но Аннета была недостаточно ловка, не умела показать себя с выгодной стороны. Она держалась надменно, сердила людей своей разборчивостью: позволяла себе привередничать, вместо того чтобы соглашаться на любую работу, как множество несчастных женщин, которые, не запасшись достаточным количеством рекомендации и дипломов, готовы обучать чему угодно и работать с утра до вечера за жалкие гроши.

Наконец через заказчиц Сильвии Аннета получила несколько уроков с иностранками. Она учила говорить по-французски американок, которые были с ней любезны, предлагали иной раз прокатиться в экипаже, но платили до смешного мало и даже не понимали, что следует платить дороже. Они, не задумываясь, платили сто франков за пару ботинок, а Аннета получала у них всего один франк за урок (в то время нетрудно было найти преподавательницу, которая брала и по пятьдесят сантимов!)... Аннета, хотя и не имела возможности выбирать, вначале не соглашалась на такую постыдно низкую оплату, но после долгих поисков не нашла ничего лучшего. Зажиточная буржуазия готова тратить сколько угодно на обучение своих детей в привилегированных школах, так как эти затраты делаются на глазах у общества, зато домашних учителей она гнусно эксплуатирует. Ведь этого никто не узнает, и тут имеешь дело с людьми обездоленными, которые не станут артачиться: один откажется, так на его место найдется десяток других, которые будут умолять, чтобы их взяли.

Одинокой и неопытной Аннете трудно было защищаться, но она обладала практической жилкой Ривьеров, а гордость не позволяла ей соглашаться на унижительные условия, на которые шли другие. Аннета была не из тех кротких овечек, которые охают да вздыхают, но соглашаются. Она не охала – и не соглашалась. И, сверх ожидания, такая тактика имела успех. Люди трусливы. Аннета говорила «нет» с высокомерным спокойствием, которое делало невозможным всякий торг. С ней не смели обходиться так, как

с другими, и предлагать мизерную плату. Но и ей платили немногим больше. Приходилось тяжело трудиться, чтобы прокормить себя и сына. Ученики ее жили далеко и в разных концах города, а в Париже тогда еще не было ни автобусов, ни метро. К вечеру у Аннеты ныли ноги. Ботинки от такой ходьбы быстро снашивались. Но у нее было крепкое здоровье, и ей доставляло удовлетворение то, что она сама зарабатывает свой хлеб. Этот труд ради куска хлеба был для Аннеты интересным и новым переживанием. Всякий раз как она выходила победительницей из столкновения с эксплуататорами, она бывала очень довольна своим днем, подобно тем игрокам, что радуются выигрышу, забывая о ничтожности ставки. Она училась узнавать людей. То, что она видела в них, не всегда радовало глаз. Но в жизни все надо узнать! Ока познакомилась с миром безвестного труда. Правда, сближения настоящего, глубокого не было, ибо если богатство разобщает людей, то и бедность разобщает их не меньше. Каждый поглощен своим трудом и заботами. И каждый видит в другом не столько товарища по несчастью, сколько конкурента, отнимающего у него какую-то долю благ земных.

Такое чувство Аннета замечала в женщинах, с которыми ей приходилось конкурировать, и оно ей было понятно: ведь по сравнению с этими женщинами она могла считаться счастливой. Если она и работала, чтобы не быть сестре обузой, то все же у нее была сестра, и ей не грозили ужасы нищеты. Она не испытывала лихорадочной неуверенности в завтрашнем дне. Ребенок был ей утешением в жизни, и никто не покушался отнять его у нее. Как же можно было сравнивать ее судьбу с судьбой хотя бы той женщины, историю которой ей довелось узнать, – учительницы, уволенной за то, что она, как и Аннета, имела смелость стать незамужней матерью? Правда, вначале ее терпели на службе, поставив условием, чтобы она скрывала, что у нее есть ребенок. Она была сослана, как опальная, на работу в деревенскую глушь и вынуждена была расстаться со своим малышом. Но когда он заболел, она не выдержала и помчалась к нему. Тайна ее открылась, и добродетельные жители деревни стали грубо издеваться над ней. А университетское начальство, разумеется, санкционировало «приговор народа», вышвырнув на улицу мать с ребенком как нарушителей кодекса морали. Вот у кого Аннете приходилось отбивать жалкий кусок хлеба! Она не предлагала своих услуг там, где домогалась работы эта женщина. Но ее всегда предпочитали другим именно потому, что, меньше нуждаясь в работе, она не гналась за ней так настойчиво, как они. Люди не уважают тех, кто голоден. И несчастные, остававшиеся за бортом, видели в Аннете захватчицу, которая их обкрадывает. Они сознавали, что несправедливы к ней, но, когда человек сам является жертвой несправедливости, ему надо на ком-нибудь выместить обиду. Аннета наблюдала теперь самую страшную борьбу, борьбу трудящихся не с природой, не с обстоятельствами, не с богачами, чтобы вырвать у них кусок хлеба, – нет, борьбу тружеников между собой, вырывание друг у друга крох, падающих со стола богачей или скарредного Креза-государства... Вот что делала тяжкая нищета! А для женщин она была еще тяжелее, в особенности для женщин того времени, еще не сплотившихся: они вели между собой войну первобытных дикарей, один на один. Вместо того, чтобы объединить свои силы, они их дробили...

Аннета крепилась, хотя сердце ее часто обливалось кровью, и, несмотря ни на что, весело шла вперед, побуждаемая новизной своей неблагодарной задачи, запасом сил, искавших применения, и мыслью о своем малыше, озарявшем радость ее дни...

Марк целый день проводил в мастерской Сильвии. Тетушка Викторина умерла вскоре после переезда. Она не могла пережить разлуки со старым домом, старой мебелью и привычками полувековой мирной жизни. А так как Аннета с утра до вечера не бывала дома, Сильвия брала малыша к себе. Заказчицы и мастерицы ласкали его как домашнего котенка. Он лазил повсюду на четвереньках, обследовал каждый уголок или сидел под столом и подбирал крючки, лоскутки, разматывал клубки ниток. Его пичкали сладостями и осыпали поцелуями. Марку в то время шел уже четвертый год. Он был, как Аннета, светлый шатен, еще бледненький после тяжелой болезни. Для этого мальчугана жизнь представляла непрерывную смену впечатлений. Сильвия могла бы припомнить впечатления своего

раннего детства, когда она, забравшись под стол матери, подслушивала разговоры заказчиц. Но взрослым, взирающим на мир с высоты своих ходуль, открывается совсем иное поле зрения – они уже не видят того, что улавливают глаза ребенка. Да и розовым ушкам Марка было что послушать в мастерской, когда у женщин развязывались языки, дерзкие, бесстыдные и насмешливые! Сильвия и ее паства не грешили чрезмерной чопорностью. Под смех и пересуды иголка живее снует в пальцах... Присутствие мальчика никого не смущало: «Что он понимает?..»

Вероятно, он и в самом деле не понимал, но он все впитывал в себя, ничего не пропускал мимо ушей. Дети все подбирают, все ощупывают, все исследуют. Беда тому, что валяется без присмотра и попадет к ним в руки! Забравшись под стул, Марк совал в рот все, что падало сверху: крошки печенья, пуговицы, косточки. Точно так же подхватывал он всякое слово, – правда, еще не понимая, но для того, чтобы понять. И эти слова он пережевывал, заучивал, напевал...

– Ах ты, поросенок!..

Ученица вырывала у мальчика ленту, которую он сосал или в азарте исследования засовывал себе в нос. Но нельзя было вырвать у него подслушанные и проглоченные слова. Пока он еще ими не пользовался – что ему было с ними делать? Но ни одно не пропадало даром.

Извлеченный из-под стола или юбок, где он с любопытством наблюдал движения ног и пленных пальцев, зажатых в ботинках, и вынужденный занять позицию, которая в мире взрослых считается нормальной и приличной, он смиренно и послушно сидел на низенькой скамеечке у ног Сильвии – или другой женщины, потому что его тетюшка редко сидела спокойно на одном месте. Он терся щекой о теплую ткань юбки и, запрокинув голову, глядя снизу вверх, видел склоненные лица, прищуренные глаза с бегающими зрачками, живыми и блестящими, зубы с пузырившейся меж них слюной, перекусывавшие нитку или закусившие нижнюю губу, а повыше – трепещущие ноздри с красными жилками. Или наблюдал, как бегают иголки в пальцах. По временам чья-нибудь рука щекотала его под подбородком, рука с наперстком на пальце, и наперсток охлаждал шею... От малыша и тут, как всегда, ничто не ускользало; теплота или свежесть этой чужой руки, покрывающий ее мягкий пушок, розоватые отблески и янтарные тени на коже, запах женского тела... Конечно, он подмечал все бессознательно. В многостороннем и многогранном сознании ребенка, воспринимающего мир, мимоходом запечатлевалось все, словно на фотографической пленке... Женщины в мастерской и не подозревали, что они с ног до головы отпечатывались на этой чувствительной пластинке. Но Марк их воспринимал не целиком, а как бы по кусочкам, и некоторых кусочков не хватало – как в игре-головоломке, где части картинки перемешаны. Отсюда – необъяснимые привязанности Марка, разнообразные и пылкие, но преходящие. Окружающие считали их просто капризами, однако дело тут было не столько в его непостоянстве, сколько в том, что ребенка привлекал не человек, а что-нибудь одно в этом человеке. Трудно сказать, что именно нравилось ему в той или иной из окружающих его женщин. Как настоящий котенок, он любил не людей, а скорее их мягкие руки, ласкавшие его. Он любил мастерскую, как совокупность этих ласк, она была его домашним очагом. Марк был откровенный эгоист и с полным правом на это: маленькому созидателю нужно было прежде всего создать свое «я». Да, он был чистосердечным эгоистом, даже в своей любви. Он ластился к взрослым, потому что хотел понравиться и потому что находил в этом удовольствие. И притом ластился не ко всем, а только к своим избранникам.

С первых же дней ему больше всех полюбилась Сильвия. Он инстинктом, как домашнее животное, сразу понял, что она божество этого очага, хозяйка и госпожа, которая раздает пищу, поцелуи, которая «делает погоду» и, значит, угождать ей выгодно. А еще выгоднее быть ее любимцем. И мальчик быстро подметил, что эта привилегия ему дана. Впрочем, он ничуть не сомневался, что заслуживает ее, и принимал как должное, но все же с некоторым удовлетворением приятные и лестные знаки внимания со стороны верховной владычицы мастерской. Сильвия его баловала, ласкала, восторгалась его ухватками,

словечками, его умом, красотой, его глазами, носом, ртом.

Она и всех посетительниц заставляла им восхищаться, хвастала им так, как будто это она произвела его на свет. Правда, иной раз она обзывала его «поросенком» и «негодным мальчишкой», утирала ему нос, давала шлепка, но когда это делала она, он не обижался и даже не находил в этом ничего особенно неприятного (что не мешало ему громко протестовать). Не всякий удостоивается шлепков от руки королевы! От девушек в мастерской, от какой-нибудь мелкой сошки он бы этого ни за что не потерпел, боже упаси! К тому же Сильвия и сама по себе, без своего скипетра, нравилась ему. В беспорядочной груде впечатлений, нагроможденных в его душе, больше всего было от Сильвии. Он любил зарываться в ее юбки и, уткнувшись головой ей в живот, слушать как бы сквозь тело Сильвии ее смех и голос; или, вскарабкавшись к ней на колени, охватив ручонками ее шею, тереться носом, губами и глазами о нежную щеку, о светлые завитки около уха, которые так хорошо пахли. Для ребенка осязание – то же, что для взрослого – глаза.

Оно – талисман, который раздвигает перед ним стены и помогает ткать мечту о том, что он как будто видел, мечту о жизни. Маленький Марк ткал свою мечту. И, еще не зная, что такое эти светлые завитки, щека, голос и смех, эта Сильвия, не зная, что такое «я» и «мое», он уже думал:

«Это мое».

Аннета приходила домой только вечером, всегда очень голодная. Целый день она странствовала в мире без любви, как в безводной пустыне, и жила мыслью об источнике, из которого напьется вечером. Она слышала его журчанье, она уже заранее предвкушала, как припадет к нему губами. И порой на улице какой-нибудь прохожий, когда она улыбалась, вспоминая своего ребенка, думал, что эта красивая женщина улыбается ему. Как лошадь, почуявшая близость стойла, она, подходя к дому Сильвии, ускоряла шаг, а добравшись, несмотря на усталость, бегом поднималась по лестнице и смеялась от счастья. Дверь открывалась, она влетала в комнату и набрасывалась на мальчугана: сжимала его в объятиях, тискала, бешено целовала в глаза, в нос, в шейку, куда попало, шумно выражая свою радость и горячую нежность. А Марк, который до ее прихода был занят игрой, или, удобно усевшись на мягком пуфе, степенно рисовал мелом палочки, или развлекался тем, что путал нитки разных цветов, бывал недоволен ее вторжением. Эта большая, стремительная женщина вбегала так неожиданно, хватала его так бесцеремонно, вертела, кричала что-то ему прямо в уши, душила поцелуями... Нет, это ему совсем не нравилось! Им распоряжались против его воли – это было возмутительно! Он никак не мог с этим примириться. Если он сердито отбивался, она еще неистовее начинала целовать и тормозить его, и при этом сколько крику, сколько смеха!.. Марку все в ней не нравилось: бесцеремонность, шумливость, резкость... Он очень хорошо понимал, что мать его любит, восторгается им, он даже согласен был – пусть целует! Но надо же вести себя приличнее! И откуда только она взялась такая? Вот тетя Сильвия и ее девушки были гораздо лучше. Они играли с ним и тоже смеялись и шумели, но никогда не вопили так неистово, не хватали его так грубо, не душили поцелуями! Он не понимал, почему Сильвия, так хорошо умевшая задавать головомойки своим подчиненным, не научит приличным манерам эту невоспитанную особу, отчего тетушка не пытается оградить его от этих вольностей. А Сильвия, напротив, обходилась с Аннетой ласково и как с равной – с другими она так не разговаривала. Она все твердила Марку.

– Ну будь же ласковее! Поцелуй маму! Да, эта женщина – его мама, он это, конечно, знал, но это еще не причина так вести себя! Он понимал, что Аннета тоже некая домашняя власть. Он еще очень хорошо помнил теплоту ее груди, он сохранял еще в жадном ротике сладкий вкус ее молока, а в своем теле птенчика – золотистую тень укрывавшего его крыла. И еще недавно, когда он был так болен и невидимый враг сжимал ему горло, над ним все ночи напролет склонялась голова всемогущей защитницы... Да, да, все это было так! Но сейчас она ему больше была не нужна. Если он и хранил где-то в глубине памяти все эти воспоминания вместе с множеством других, они уже не имели для него никакого значения. Когда-нибудь потом, может быть... Там видно будет... А теперь каждый миг приносил ему

новые дары неба – только успевай собирать! Дети – народ неблагодарный. *Mens momentanea...*⁴⁰ Неужели вы думаете, что у них есть время вспоминать то, что их радовало вчера? Им дорого только то, что тешит их сегодня.

Аннета сделала большую ошибку, позволив другим затмить себя сегодня к стать мальчику приятнее и даже нужнее. Почему это мама, вместо того чтобы целый день шататься бог знает где, а вечером появляться так некстати и набрасываться на него, не возится с ним постоянно, не ухаживает за ним, как Сильвия и все девушки? А если так – тем хуже для нее! И Марк только снисходительно терпел бурные ласки Аннеты, отвечая на дождь нелепых вопросов влюбленной матери неохотными и равнодушными «да», «нет», «здравствуй», а потом, вытирая щеку, спасался бегством от этого ливня и возвращался к своим играм или на колени к Сильвии.

Аннета не могла не видеть, что Марк любит Сильвию больше, чем ее.

Сильвия видела это еще лучше. Они вместе смеялись над этим, и обе как будто не придавали этому ни малейшего значения. Но втайне Сильвия была польщена, а Аннета ревновала... Они не хотели сознаваться в таких чувствах даже самим себе. Сильвия была добрая девушка и заставляла неласкового мальчишку целовать Аннету. Эти вынужденные поцелуи доставляли Аннете мало радости, зато Сильвия была довольна. Она не признавалась себе, что обкрадывает сад бедняка, а потом с царской щедростью предлагает ему несколько плодов из его же сада. Таких вещей люди себе не говорят, чтобы не растрезвожить докучливую совесть, но тем больше они тешатся ими втихомолку. И Сильвия без всякого сознательного коварства любила при сестре подчеркивать свою власть над ребенком, ласки его доставляли ей больше удовольствия, когда при этом бывала Аннета. Аннета с притворной шутливостью говорила небрежно:

– С глаз долой – из сердца вон! Но в душе ей было не до шуток. Здесь не было места иронии. У Аннеты только ум был насмешливый, а любила она слепо, как любят животные. Тяжело было ей, женщине в полном смысле этого слова, скрывать свои чувства. Но ведь ее бы подняли на смех, если бы она открыла им свое бедное, изголодавшееся по любви сердце. И она при Сильвии и девушках притворялась равнодушной и пресыщенной, болтала о событиях дня, о людях, которых встречала, рассказывала о том, что слышала, делала и говорила сегодня, – словом, обо всем, что было ей безразлично (ох, как безразлично!..).

Зато ночью, когда Аннета, вернувшись к себе, оставалась одна с ребенком, она могла без удержу отдаваться своему горю. Да и не только горю, но и радости, страстным порывам любви. Здесь некого было остерегаться, не от кого прятать свои чувства. Здесь ее сын принадлежал ей одной, она владела им безраздельно. И она немного злоупотребляла этим, утомляя малыша своей бурной нежностью. Маленький дипломат, понимая, что здесь, вдали от Сильвии, он беспомощен, скрывал свое недовольство: до завтра нужно было как-то ладить с этой сумасбродной матерью. Он придумывал уловку: делал вид, будто ему ужасно хочется спать. Долго притворяться не приходилось – Марк засыпал быстро после полного впечатлений дня. А до этого он лежал на руках у матери с закрытыми глазами – казалось, в полном изнеможении, как обреченный на заклание ягненок. И Аннета волей-неволей должна была укладывать его в постель, прервав его лепет. А маленький комедиант в полусне, от которого он постепенно просыпался, пока его несли вниз, украдкой забавлялся, глядя сквозь ресницы на доверчивую маму, созерцавшую его с безмолвным обожанием. В такие минуты он сознавал свое превосходство и был ей за это благодарен. Иной раз он даже порывисто обнимал Аннету ручонками за шею, когда она стояла на коленях у его кровати. Эта неожиданная ласка вознаграждала ее за все. Но случалось это не часто, – Марк был скуп на нежности. И Аннета ложилась спать, не утолив голода. Засыпала она не скоро, долго ворочалась с боку на бок, прислушиваясь к дыханию ребенка, а в голове лихорадочно сновали мысли...

⁴⁰ Душа, живущая мгновением (лат.).

Она твердила себе: «Он даже не поцеловал меня как следует... Он меня не любит...» И сердце ее больно сжималось. Но тут же она одергивала себя:

«Что я выдумываю!»

Надо было тотчас отогнать эту мысль, – разве можно жить с нею? Нет, это не правда!.. Как может она обвинять своего славного сыночка?.. И она торопливо перебирала воспоминания, отыскивая все, что было в них лучшего, все проблески нежности у ребенка, его ласковые словечки. Вспоминая их, она готова была вскочить с постели и кинуться опять целовать мальчика... «Нет, не надо его будить, тес!.. Какое легкое дыхание!.. Сокровище ты мое!.. Как хорошо нам будет вместе, когда ты подрастешь!»

Настоящее было довольно уныло, и Аннета, чтобы скрасить его, рисовала себе будущую близость с сыном, такую, как ей хотелось. Ей нужен был кумир, чтобы на служение ему тратить те силы, что с некоторых пор опять бродили в ней и не давали покоя.

Это была уже не та тревожная грусть, не то нервное беспокойство, которые мучили ее перед болезнью Марка и от которых ее отвлекла его болезнь. Прошли те бездейственные дни, когда она чувствовала себя опустошенной, – ни сил, ни интереса к чему бы то ни было, штиль перед отливом...

Теперь в океане наступал новый прилив. Он уже возвещал о себе ревом волн, вздымавшихся в ночной тишине. Материнство на время утолило страсти, а постоянная физическая усталость от трудовой жизни была той плотиной, которая сдерживала их. Но, скопляясь где-то в глубине, они бились об эту преграду, как волны о скалы. Рост души человеческой идет спиралью, и душа Аннеты сейчас была близка к состоянию, которое она уже раз пережила, лет пять назад, в промежутках между знойным летом в Гризонском отеле и той весной, когда она полюбила Рожэ Бриссо. Да, состояние было близкое к тому, прежнему, но не совсем то. Возвращаясь к прошлому, мы только кружим над ним, не спускаясь. Аннета за эти годы созрела. В ее волнении уже не было слепой чистоты молодой девушки. Она стала женщиной, и ее желания были остры и отчетливы. Она теперь знала, куда они влекут ее, – именно потому она и не хотела к ним прислушиваться. Воля ее созрела так же, как ее тело. Внутренняя жизнь стала богаче, и все переживания имели чувственный оттенок.

Итак, новое появление этих знакомых и пугающих страстей, как душный полдень, предвещало грозу. Гнетущая тишина таила в себе близкие тревоги.

Она пришла на смену беззаботной радости, беспечным печалям юного утра.

До сих пор тени, набегавшие порой на лицо Аннеты, быстро рассеивались.

Теперь она все время была в напряжении. Если она на людях забывала следить за собой, если ее не отвлекало присутствие ребенка, она была молчалива и между бровями у нее появлялась резкая складка. Поймав себя на этом, она бесшумно исчезала из комнаты. И если бы кто-нибудь, обеспокоенный ее отсутствием, вздумал ее искать, он нашел бы Аннету в ее квартире – она убирала, стелила постель, переворачивала матрац, чистила мебель или вытирала окна, суетясь больше, чем нужно, но не заглушая этим душевного смятения. Она часто задумывалась во время работы, стоя с тряпкой в руке на стуле или облокотясь на подоконник. В такие минуты она забывала не только о прошлом, но и о настоящем, о живых и о мертвых, даже о ребенке. Она смотрела и ничего не видела, она слушала, не слыша, она думала без мыслей. Пламя, горящее в пустоте. Парус на ветру в открытом море.

Она чувствовала, как мощное дыхание этого ветра пронизывает ее, и корабль содрогается всеми своими мачтами... Постепенно из бесконечности выступали лики вещей, ее окружавших. В окно, у которого она стояла, доносились со двора знакомые звуки; она узнавала певучий голосок своего мальчика. Но и он не нарушал ее грез наяву, только придавал им другую окраску... Он был, как пение птицы в летний день... О сердце, залитое солнцем, какой запас любви еще хранится в тебе! Полными пригоршнями черпать жизнь!.. Но улов был слишком тяжел... Душа не могла его удержать и погружалась в огненную бездну, где не было ни пения, ни голоса ее ребенка, ни ее, Аннеты, – ничего, только могучий жаркий трепет...

Аннета пробуждалась от своих грез, стоя все на том же месте у окна.

Но по ночам неотвязные сны, исчезнувшие было после рождения Марка, теперь возвращались, непрерывно сменяя друг друга. Аннета катилась из одного в другой, как с этажа на этаж. А утром вставала разбитая и словно сожженная, пережив в одну ночь десять ночей. И не хотела вспоминать того, что ей снилось...

Окружающие замечали, что у нее озабоченное лицо, рассеянный взгляд.

Им была непонятна резкая перемена в Аннете, но они не тревожились, объясняя ее внешними причинами – материальными затруднениями. А между тем тревожная перемена была началом глубокого обновления. Аннета этого не сознавала и переживала ее как период своеобразной беременности, более томительной, чем бремя будущего материнства. Да это и было своего рода материнство – рождение скрытой души. Она, как семя, зарыта в глубине человеческого пережня, хранящего в себе отбросы поколений. Извлечь ее оттуда – дело целой долгой жизни. Да, целая жизнь уходит на это рождение человека. И часто акушеркой бывает смерть.

Аннета испытывала тайный страх перед неведомым существом, которое когда-нибудь вырвется из нее на свободу. В припадках страха и стыда она замыкалась в себе, вся уходила в свою бурную внутреннюю жизнь, оставаясь наедине с пребывающим в ней новым человеком. Отношения между ними были враждебные. Атмосфера была насыщена электричеством, и в этой предгрозовой тиши то срывались, то снова замирали вихри. Аннета чувала опасность.

Напрасно старалась она отодвинуть в тень то, что ее смущало. В тени или не в тени – это все же оставалось в ней, в ее смятенной душе. А знать, что твоя душа сверху донизу заселена неведомым существом, – это не очень-то успокоительно!..

«Ведь это все – я... Но чего „оно“ хочет от меня? Чего я сама хочу?»

Она отвечала себе:

«Тебе нечего больше желать. У тебя есть то, чего ты хотела».

Усилием воли Аннета обращала весь пыл своей любви на ребенка. Эти порывы материнской страсти не приносили ей счастья. Ненормальная, чрезмерная, болезненная (ибо это были неудачные попытки перевести на иной путь совершенно другие инстинкты, обмануть которые было нельзя), страсть эта могла привести только к разочарованию. Она отталкивала ребенка. Марк восставал против такого насилия над ним и уже не скрывал от матери возмущения. Она ему докучала своими нежностями, и он высказывал это в коротеньких гневных монологах, которых Аннета, к счастью, не слышала. Зато их как-то раз подслушала Сильвия и разобрала его, хохоча при этом во все горло. Марк, стоя в углу за дверью, разговаривал со стенкой. Размахивая руками, он решительно и сердито твердил:

– Надоела мне эта женщина! Надоела!..

Желая рассказать историю чьей-нибудь жизни, мы описываем ее события.

Мы думаем, что это и есть жизнь. Но это только ее оболочка. Жизнь-это то, что происходит внутри нас. События извне влияют на нее лишь тогда, когда они отмечены и, я бы даже сказал, порождены ею. Именно так бывает в большинстве случаев. Десятки событий происходят за месяц вокруг нас, но мы на них никак не отзываемся, потому что они не имеют для нас значения. Но уж если какое-нибудь из них нас сильно затронет, можно поручиться, что мы шли ему навстречу и встретили его на полдороге. Если толчок приводит в действие какую-то пружину внутри нас, значит пружина эта была натянута и ожидала толчка.

К концу 1904 года душевное напряжение Аннеты стало ослабевать, и эта внутренняя перемена, казалось, была связана с некоторыми переменами, которые в то время происходили вокруг нее.

Сильвия выходила замуж. Ей было двадцать шесть лет, она уже достаточно насладились радостями свободы и находила, что пора вкушать и радостей семейной жизни. Она выбирала мужа осмотрительно, не спеша. От любовных связей она не требовала прочности – лишь бы доставляли удовольствие! А муж должен быть из прочного,

добротного материала. Конечно, Сильвии хотелось, чтобы он ей, кроме того, нравился. Но ведь нравиться можно по-разному. Когда выбираешь человека в мужа, увлечься им вовсе не обязательно. Сильвия в этом деле руководствовалась доводами рассудка и даже деловыми соображениями. Ее предприятие процветало. Мастерская под вывеской «Сильвия. Платья и пальто» заслуженно пользовалась прекрасной репутацией и завоевала себе избранную клиентуру в кругах средней буржуазии: здесь шили изящно, со вкусом и по умеренным ценам. Мастерская, преуспевая, достигла того предела, который Сильвия не могла перешагнуть одна, своими силами. Ей нужен был компаньон, который помог бы перейти эту черту, который расширил бы дело, присоединив к ее дамской швейной мастерской портняжную.

Никого не посвящая в свои планы, она стала искать подходящего человека. Наконец окончательно сделала выбор. И, сделав выбор, решила выйти замуж за своего избранника. А любовь? Любовь, говорила себе Сильвия, придет потом, будет время и для нее! Она не выйдет за человека, которого не сможет полюбить. Но любовь – не главное. На первом месте дело!

Ее избранника звали Леопольд Сельв, и в первую же минуту их знакомства молодая хозяйка мастерской придумала для новой фирмы название, которое будет красоваться на вывеске: «Сельв и Сильвия». Однако, хотя для женщины звучное имя имеет немалое значение, Сильвия была не так глупа, чтобы удовольствоваться только этим: Сельв был прекрасной партией.

Этот не очень молодой (на вид ему было добрых тридцать пять лет) и довольно видный мужчина – как говорится, «неладно скроенный, да крепко сшитый», цветущий рыжеватый блондин, служил старшим закройщиком у известного парижского портного. Он хорошо знал свое ремесло, много зарабатывал, к тому же был человек степенный, не гуляка. Сильвия навела справки. И дело было решено – пока только в голове Сильвии. Она еще не спросила, согласен ли Сельв. Но это ее меньше всего беспокоило: она знала, что добьется своего.

Сельв вовсе не домогался чести стать ее мужем. Этот веселый малый, ничуть не честолюбивый, изрядный эгоист, дороживший своими удобствами и привычками, решил остаться холостяком. Он не собирался бросать свое место, хотя и скромное, но доходное и не обременявшее его ответственностью у хозяина, который знал ему цену. Но Сильвия быстро опрокинула все его планы и нарушила его покой. Они встретились (встреча была ею заранее подстроена) на одной осенней выставке, куда и он и она пришли, чтобы ознакомиться с модами. Сильвию окружили поклонники – молодые люди, пламенно влюбленные в нее, и она направо и налево расточала улыбки, сыпала острыми и веселыми словечками, не обращая на Сельва никакого внимания.

Затем, когда он (не без горечи) оценил ее любезность и остроумие, предназначавшиеся не для него, Сильвия неожиданно удостоила его благосклонного внимания. Теперь она обращалась только к нему – остальные отошли на задний план. Такой внезапный поворот подкупил Сельва, тем более что он приписал его своим личным качествам. Это был ловкий ход со стороны Сильвии – и Сельв попался. Прощай все его благие намерения!

Через некоторое время Сильвия попросила Аннету прийти к ней вечером, после обеда, в час, когда в мастерской уже обычно никого не бывало.

– Я тебя просила прийти, потому что жду одного человека, – сказала она.

Аннета удивилась:

– А я для чего нужна? Разве ты не можешь одна его принять?

– Так будет приличнее, – с важностью возразила Сильвия.

– Поздновато ты вспомнила о приличиях!

– Лучше поздно, чем никогда, – отозвалась Сильвия все с той же невозмутимой серьезностью.

– Да что ты меня дурачишь? Так я этому и поверила!

– Ну и не верь! Аннета погрозила ей пальцем:

– А кто же этот другой? Кого ты собираешься морочить?

– Вот он идет!

Сельв позвонил. Он, видимо, был недоволен тем, что застал Сильвию не одну, но, как человек благовоспитанный, постарался это скрыть. Нелегко произвести выгодное впечатление в обществе двух молодых и бойких женщин, которые кого угодно смутят, особенно когда они заодно. Сельв чувствовал, что его изучают две пары глаз. После нескольких довольно тяжеловесных комплиментов, часть которых он из вежливости уделил Аннете, он заговорил о делах, о своем ремесле, о своей жизни очень занятого человека. Аннета великодушно притворялась заинтересованной, задавала вопросы. Сельв стал доверчивее, у него развязался язык. Он говорил о трудностях, которые мешали ему пробить себе дорогу, о своих невзгодах и успехах и всячески старался показать себя с наилучшей стороны. Он производил впечатление человека простодушного, доброго и довольного собой. Сельв вел игру в открытую, тогда как Сильвия, более осторожная, раньше чем выложить свои карты на стол, старалась заглянуть в карты партнера. Аннета, скоро отодвинутая на задний план, наблюдала за этой игрой и дивилась не столько ловкости сестры, сколько ее выбору. Сильвии нетрудно было бы сделать более выгодную партию. Но она вовсе к этому не стремилась. Слишком красивые и блестящие мужчины не внушали ей доверия. Разумеется, она не вышла бы за дурака или уроды. Золотая середина, толковый помощник, а не верховод – вот что ей было нужно! Она понимала, что в браке каждая сторона должна давать, а хочет брать: это как предложение и спрос. Ей требовалось только одно: она была сама себе госпожа и такой хотела остаться. А ему чего было нужно? Чтобы его полюбили ради него самого, за красивые глаза? Бедняга! Не мог же он так много воображать о себе – ведь он знал, что некрасив и даже непривлекателен. Но все-таки он хотел, чтобы женщина вышла за него по любви... Ну не смешно ли? Думая об этом, Сельв пожимал плечами, мысленно посмеиваясь над такой слабостью, ибо при всем своем простодушии он был неглуп, знал жизнь и к женщинам относился скептически, как большинство французов. Но потребность любви в человеке так сильна! Ах, эта глупая потребность сердца!.. «А почему меня нельзя полюбить? Я не хуже других!..» Так Сельв переходил от смирения к самодовольству. Он добивался любви, точно милости. Это была плохая тактика...

И как он ничего не умел скрыть! Плутовка Сильвия отлично это подметила.

Когда его большие голубые глаза навывкате спрашивали: «Вы меня любите?..» – она, помня, что неуверенность питает любовь, отвечала умильными взглядами, которые не говорили ни да, ни нет.

Когда сестры остались одни, Аннета сказала Сильвии:

– Нехорошо, что ты так с ним заигрываешь!

– А почему? – возразила Сильвия, смотрясь в зеркало. – Игра стоит свеч.

– Значит, это серьезно?

– Очень серьезно.

– Вот не могу себе представить, что ты выйдешь замуж!

– Напрасно! Я думаю проделать это даже не раз и не два...

– Не люблю, когда ты шутишь такими вещами!

– Ах, ты ходячая Армия спасения! Чем же тогда шутить? Ну, ну, госпожа Бут (Сильвия произносила «Бот»⁴¹), не хмурь свои красивые брови! Я не собираюсь пока менять мужа, сначала еще надо его испробовать. Я хочу выйти замуж надолго. Но если брак окажется непрочным, – что ж, придется искать другого!

– Я не за тебя беспокоюсь! – сказала Аннета.

– Вот как! Ну что ж, спасибо и за то, что беспокоишься о нем. Значит, он тебя пленил?

– Сильвия, он тебе не пара. Но он славный малый, – жаль, если ты ему испортишь жизнь.

Сильвия улыбалась своему отражению в зеркале.

⁴¹ Бут – фамилия основательницы Армии спасения.

– Эка важность, подумаешь! Люди всегда портят друг другу жизнь. Конечно, ему придется страдать!.. Бедняга! Не хотела бы я быть в его шкуре... Ну, ну, я шучу, не беспокойся за него! Неужели ты думаешь, что я не знаю качеств моего Адониса? Он ничем не блещет, но на него можно положиться – уж я-то кое-что в этом смысле. Конечно, я не стану ему этого говорить: мужчину никогда не следует баловать, а то он начнет воображать, что имеет на тебя какие-то права. Но я знаю все его качества. Я не так глупа, чтобы его обижать, – ведь это значило бы вредить самой себе!

Конечно, не поручусь, что не буду его бесить (это ему полезно – пусть немножко похудеет!), но изводить его буду не чересчур, а ровно столько, сколько необходимо. Разумеется, только в том случае, если мне не на что будет жаловаться, а иначе пусть сам на себя пеняет: я в долгу не останусь, всегда плачу наличными! Я честно торгую: надуваю покупателей ровно настолько, чтобы можно было прокормиться, не больше. Но если они пробуют надуть меня, – ну, тогда я уже не стесняюсь!

– Что за женщина! Никогда нельзя заставить ее говорить серьезно! – воскликнула Аннета.

– Если о всех серьезных вещах говорить серьезно, тогда и жизнь станет неумолимой! – сказала Сильвия.

Леопольд скоро опять пришел, и Сильвия не стала его томить. Она быстро обозрела позиции противника и, не выходя из-за оборонительных укреплений, проверила его вооружение, амунисию и провиант, а тогда уже добровольно сдалась. Она без всякого труда незаметно внушила ему свою идею, и Леопольд до конца жизни сохранил иллюзию, что это у него первого явилась мысль открыть большую мастерскую «Селив и Сильвия».

Свадьбу решили сыграть в середине января – сезон, когда работы у портных меньше. Последние недели перед свадьбой были веселым временем и для работниц мастерской – сияющий Леопольд угощал всю компанию, водил в театр и кино. Эти девушки так любят повеселиться! Когда одна из них выходит замуж, им кажется, что она словно приносит в их общий дом счастье.

И каждая, встречая этого дорогого гостя, шепчет ему мысленно:

«Смотри же, не забудь! Следующая очередь – моя!..»

Всеобщая радость заразила и Аннету. Казалось, она должна была бы сейчас еще живее почувствовать, как неудачно сложилась ее жизнь. А между тем она спрашивала себя, куда девались все ее горести: они соскользнули с нее, как сорочка с бедер. О молодость, горе тебе нипочем!.. Нельзя сказать, чтобы брак Сильвии приводил Аннету в восторг. Она нежно любила сестру, и ей было немного грустно при мысли, что они теперь уже не будут так близки. И потом досадно было, что такая хорошенькая девушка выходит за довольно простоватого парня. Не о таком муже для Сильвии мечтала Аннета. Но что за дело людям до чужой мечты! И они правы... Каждый бывает счастлив по-своему.

Сильвия была довольна. Любовь Леопольда и его явное восхищение льстили ее тщеславию и мало-помалу покоряли ее сердце. Она говорила сестре, что ценит степенность и серьезность своего жениха – он будет ее надежным товарищем и ни в чем не станет ее стеснять. Правда, изменять ему она не собирается, но никогда нельзя поручиться за будущее, а Леопольд тем хорош, что не станет строго требовать у нее отчета в поведении, – в этом она уверена. Леопольд не стремился узнать прошлое Сильвии, он ей верил, и Сильвия была ему за это благодарна.

Жизнь оставила Леопольду мало иллюзий и сделала его терпимым. Она научила его, что лучшее правило поведения – бладушный эгоизм честного скептика, доброго и нетребовательного, который не ждет от других того, чего сам не может дать.

У Сильвии было больше общего с Леопольдом, чем с Аннетой. Аннету она, конечно, любила сильнее. Но, будь Аннета мужчиной (так, смеясь, говорила Сильвия), она бы ни за что не вышла за нее замуж. Нет, нет, это плохо кончилось бы!.. А с Сельвом она чувствовала себя в безопасности. Это чувство спокойной умеренности избавляло ее от необходимости размышлять о женихе: она думала о свадьбе, о подвенечном наряде, который себе сошьет, о

своим будущим хозяйством и грандиозных коммерческих проектах. И эти мысли рождали чувство полного удовлетворения.

Свадьба состоялась в солнечный зимний день. Потом Сельв повез всех в Венсенский лес. Устраивались веселые пикники. Аннета охотно принимала в них участие. В другое время ей был бы неприятен вульгарноватый пошиб этого шумного веселья. Сейчас она его не замечала. Она развлекалась вместе со славными юношами и девушками, для которых это были часы блаженного отдыха среди дней тяжелого труда. Она участвовала в играх и всех пленила своей живостью и заразительной веселостью. Сильвия привыкла видеть сестру холодной и высокомерной и сейчас с удивлением наблюдала, как она от души веселится. Вот она играет в жмурки: с завязанными глазами, красная от возбуждения, улыбаясь во весь рот и выставив вперед подбородок, как будто хочет поймать на лету солнечный луч, она идет большими шагами, спотыкаясь, раскинув руки, как крылья, и хохочет во все горло!..

Не один человек, глядя на красивое, сильное тело этой страстной женщины, вероятно, думал: «Кого она покорит? Кто покорит ее?..» Но Аннета, казалось, думала только об игре... Куда девались все заботы, еще вчера ее угнетавшие? Где ее сосредоточенный, напряженный, ушедший внутрь взгляд?

Да, в ней несомненно была какая-то душевная гибкость!.. Сильвия ставила себе в заслугу, что сумела отвлечь Аннету от забот, и радовалась этому.

Но Аннета хорошо знала, что причина ее нового настроения гораздо глубже.

Не от свадебного веселья у нее стало легче на душе, а наоборот: она была так весела на свадьбе потому, что ее тревога улеглась.

Но что же произошло? Произошло нечто странное, и не сразу, – только проявилось оно, это новое, внезапно, в один прекрасный день.

Это было за несколько недель до свадьбы Сильвии, в воскресное утро.

Аннета сидела полуодетая перед зеркалом у своего туалетного столика. По воскресеньям она любила одеваться медленно, не торопясь, – ведь в другие дни нужно было рано уходить из дому. Ей лень было двигаться – сказывалась накопившаяся усталость. Марк, как только встал, убежал к тетке. Он живо интересовался предстоящей свадьбой и смешил Сильвию своими замечаниями, которые делал тоном бывалого человека. Леопольд его баловал: чтобы угодить Сильвии, он ухаживал и за ее собачонкой. И Марк, польщенный, гордый таким вниманием к нему взрослого мужчины, проводил весь день внизу, а к матери возвращался неохотно. Аннета замечала это с горечью и унынием. Но в то воскресное утро усталость была сильнее горя, и к ней примешивалось какое-то тайное чувство, не лишенное приятности. Аннета по привычке все-таки вздохнула. Но она наслаждалась этой приятною усталостью, сознанием, что сегодня можно, слава богу, отдыхать, вытянувшись в кресле... Воскресенье! Прежде Аннета не умела ценить его по-настоящему.

«Устала я! Устала! Как хорошо, что не надо никуда идти!.. Спать бы и спать – тысячу лет!.. Сидеть вот так, хотя и в неудобной позе, не делая ни одного движения. Точно ты зачарована и боишься разбить чары. Не буду двигаться! Как хорошо!..»

Она смотрела в окно, на крышу напротив. Из трубы пекарни поднимался дым. Завиваясь светлыми кольцами на ветру и приплясывая, он весело бежал к голубому небу. Глаза Аннеты смеялись, душа уносилась ввысь и вместе с этими прихотливыми арабесками дыма плясала в воздухе, освободившись от земной тяжести. Душа ее была открыта солнцу и ветру. Аннета вполголоса напевала... И вдруг ей вспомнился взгляд молодого человека, который с восхищением смотрел на нее вчера в омнибусе. Она его не знает и, конечно, никогда больше не увидит. Но этот взгляд, который она перехватила, неожиданно повернув голову (а он думал, что она его не видит), так простодушно говорил ей о ее красоте, что оставил в ее сердце чувство живой радости... Она притворялась перед собой, будто не знает, откуда эта радость... Но когда зеркало отразило ее улыбку, она вдруг увидела себя глазами того, кто ее когда-нибудь полюбит... Где вы, заботы?.. Они еще жужжали где-то, но далеко, очень далеко, да и то лишь время от времени...

«Нет, довольно, довольно! К чему?.. Со всем этим нужно покончить!»

Такие мысли для Аннеты были не новы. Она уже двадцать раз твердила себе то же самое. Но нечего было ожидать, что она выполнит свое решение.

Разум – хороший советчик, да в его советах много ли проку? Сердце можно убедить лишь доводами сердца.

Сейчас и в таких доводах не было недостатка. Сейчас Аннета готова была признать нелепой страстность своей материнской любви. Но признавала она это потому, что в ней воскресли другие потребности, которые она до сих пор в себе подавляла. Она больше не могла, не хотела их отвергать.

И, как только она их безмолвно признала, она почувствовала себя освобожденной. Голос вострепнувшей молодости говорил ей:

«Ничего не потеряно. Ты еще имеешь право на счастье. Жизнь твоя только начинается...»

Мир вокруг ожил. Она снова обрела вкус ко всему. Даже в тусклые дни бывали просветы. Аннета не строила никаких планов на будущее. Она просто радовалась при мысли об этом отвоеванном будущем, каким бы оно ни было... Да, да, она молода, молода, как этот юный, наступающий год... Вся жизнь перед ней... Она никогда не пресытится ею!

Начало февраля – чудесная пора. В Париже она полна очарования. Весна чувствуется пока только в небе и в сердце, но уже все вокруг кажется каким-то удивительно чистым, все светло и ясно, как радость просыпающегося ребенка. Наступает самое прекрасное время года. Птиц еще не видно, но в воздухе уже слышен их полет: кажется, что стоишь на верхушке башни, уходящей в ясное небо, и видишь тучи крыльев, стаи ласточек, которые перелетают через моря и летят к нам. И вот они уже здесь, они поют в моем сердце!..

Как всякий здоровый человек, Аннета любила все времена года. Она легко принаравливалась к ним, она словно вбирала в себя часть их скрытых сил. Весна, пора обновления, наполняла ее радостным возбуждением.

Ходьба, работа – все доставляло ей удовольствие. Она возвращалась домой приятно усталая и с отличным аппетитом. Все ее живо занимало, опять проснулся интерес к умственной жизни, ко всему, что она забросила за последние четыре года, – к музыке, книгам. Несмотря на утомление, она выходила иногда и по вечерам, бежала на другой конец Парижа, чтобы послушать концерт, на который достала билет. У Сильвии тяжело проходило начало беременности, и она завидовала сестре.

Во время вечерних прогулок за Аннетой не раз увязывались мужчины.

Рассеянная, поглощенная своими мечтами, она их долго не замечала, но вдруг от беседы с самой собой ее отвлекало ощущение, что кто-то следует за ней по пятам. Очнувшись, она с любопытством оглядывала субъекта, который что-то ей нашептывал, пожимала плечами или делала недовольную гримасу и шла дальше, ускоряя шаг и бормоча про себя:

– Вот старый дурак!

«Дурак» часто бывал не старый, а молодой. И тогда Аннета думала:

«Лет через десять и Марк, пожалуй, будет делать то же самое...»

И останавливалась, возмущенная. Юноша встречал гневный взгляд, предназначавшийся будущему Марку, и отставал. А она уже снова улыбалась, представляя себе на месте этого юноши своего Марка, взрослого, красивого, – как-никак это было забавно и тешило ее материнское самолюбие. Но она тут же спохватывалась и начинала мысленно себя бранить... Мало того, она бранила Марка!

– Шалопай! – ворчала она. – Вот вернись домой, надеру тебе уши!

(И она так и делала.).

Эти маленькие приключения забавляли Аннету только вначале. Когда же они стали учащаться...

«Нет, это становится невыносимо! Неужели женщине нельзя спокойно пройти по улице? Стоит тебе без всякой задней мысли взглянуть направо или налево или улыбнуться – и тебя уже подозревают в том, что ты ищешь любви! Знаю я ее, эту любовь, довольно я на

нее насмотрелась! Мужчины уверены, что мы без них жить не можем! Эти олухи не понимают, что можно быть счастливой без них, счастливой просто так, оттого что хорошая погода, оттого что ты молода и у тебя есть то небольшое, что тебе нужно!.. Ну и пусть себе воображают что угодно. Разве я о них думаю! О таких думать?.. Да неужели они никогда не пробовали посмотреть на себя со стороны?»

Но она-то на них смотрела! И в своем блаженном опьянении свободой никак не склонна была их идеализировать. Она спрашивала себя: как можно увлечься мужчиной? Право же, это некрасивое животное! Надо совсем потерять голову, чтобы им прельститься!.. И дочь Ривьера, как истая француженка классического типа, здоровая духом и читавшая Рабле и Мольера, вспоминала слова, которые Дорина говорит Тартюфу.

Она смеялась над любовью. (Ах, как она хитрила с собой!..) Она дразнила ее, а любовь между тем притаилась в ее сердце и, делая вид, что дремлет, ждала своего часа. Эти перепалки были только подготовкой к настоящей атаке. Враг подступал. Враг – и вместе друг...

Ну можно ли было этого ожидать? Кто угодно – только не он... Какая ирония судьбы!

Жюльену Дави было лет тридцать – почти столько же, сколько Аннете.

Это был молодой человек среднего роста, немного сутулый. Если бы не довольно красивые карие глаза, кроткие и серьезные, светившиеся тихой лаской для тех, кто умел его приручить, его грустное лицо было бы непривлекательно. Шишковатый лоб, перерезанный складкой, большой нос, торчащие скулы, черная борода и мягко очерченные губы, скрытые под чересчур длинными усами (Жюльен как будто задался целью прятать все, что было в нем лучшего), цвет лица желтоватый, как старая слоновая кость, – видно было, что человек питается больше книгами, чем солнцем. Лицо выражало и ум и сердечность, но было какое-то тусклое, неподвижное, – жизнь и страсти еще не наложили на него своего отпечатка. В общем, Жюльен Дави представлял собой фигуру нескладную и унылую.

Он был еще наивнее и неопытнее Аннеты, а она и после своего короткого, но бурного романа была не слишком искушена в делах любви. Правда, унаследованное от отца чутье и откровенности Сильвии, которые иногда стоили бесед королевы Наваррской, не дали ей остаться в неведении. Но такие уроки плохо усваиваются, если сердце не познало всего на собственном опыте. Слова не то, что действительность. И бывает, что, столкнувшись в жизни с тем, о чем мы только недавно прочли в книгах, мы его не распознаем. Несмотря на всю осведомленность Аннеты, ей, в сущности, еще только предстояло узнать почти все. А Жюльену – все.

Жюльен до сих пор не знал любви. У нас во Франции неохотно говорят о таких «девственниках», и в народе они служат мишенью для вольных шуток, ибо народ наш хотя и умен, но довольно крепко держится за старые формы мышления. Между тем таких «невинных» много. Этому способствуют религиозные убеждения, нравственный пуританизм или врожденная, иногда болезненная, застенчивость, а чаще всего тяжелый труд, поглощающий все молодые годы, бедность, отвращение к любви пошлой и уважение к той настоящей, которая придет (а она не приходит), – и при этом во всех случаях, вероятно, холодный темперамент, свойственное северянам медленное пробуждение сердца (медленность эта, впрочем, вовсе не исключает в будущем сильных страстей, – напротив: сердце их накапливает и хранит в запасе). Да, таких людей много, и счастье молодости проходит, ничего не уделив им. Праведники эти стоят в стороне с пустыми руками.

Жюльен почти все в жизни познавал только умом.

Он вырос в семье бедных и трудолюбивых буржуа.

Вся семья состояла из трех человек. Отец, учитель, умер рано, замученный работой: мать всецело посвятила себя сыну, который платил ей такой же самоотверженной любовью. Он был религиозен и, несмотря на свои либеральные убеждения, соблюдал все обряды как верующий католик. Он вел жизнь, полную неустанный труда, однообразную, скрашенную лишь холодной радостью умственной работы и удовлетворением привычек. Ни малейшего интереса к политике, отвращение к общественной деятельности, культ жизни внутренней,

замкнутой в кругу семьи. То было честное и скромное сердце, знавшее цену смиренных и стойких добродетелей и в глубине своей – поэтическое.

Жюльен служил преподавателем в лицее. С Аннетой он познакомился еще в университете, когда ей и ему было по двадцать лет. Его с первого же дня влекло к ней.

Но тогда она, богатая, окруженная поклонением, сиявшая молодостью, эгоистичная, как все счастливые люди, равнодушная и далекая, внушала Жюльену робость. Товарищи его были смелее и захватили то место подле Аннеты, которое ему так хотелось занять. Жюльен им завидовал, но не пытался соперничать с ними: он считал себя ниже других, всегда помнил, что он невзрачен, неловок, плохо одет. Он не умел выражать свои чувства, и у людей создавалось неверное представление о его уме и искренности. Сознание, что он некрасив, парализовало Жюльена еще и потому, что он был чуток ко всему прекрасному, и красота Аннеты тайно волновала его. Он считал ее красавицей и не обладал смелостью своих товарищей, которые, ухаживая за ней, между собой развязно обсуждали все достоинства и недостатки ее внешности – слишком густые брови, выпуклые глаза, короткий нос.

Жюльен не замечал таких подробностей. Но он единственный из всех окружавших Аннету молодых людей чувствовал внутреннюю гармонию этой живой формы, понимал ее смысл. Ведь всякая форма есть выражение какого-то внутреннего содержания, однако большинство людей замечает только ее внешние особенности. Для Жюльена глаза, лоб, густые брови Аннеты составляли одно целое с силой ее характера и живостью ума. Он смотрел на нее издали, охватывая всю одним взглядом. И с первого взгляда понял Аннету верно, гораздо вернее, чем потом, когда, познакомившись с ней поближе, старался узнать ее. У Жюльена был тот дальнзоркий ум, который вблизи видит плохо. Иногда люди этого типа бывают гениальны, но они на каждом шагу спотыкаются о то, что у них под ногами.

Жюльен и Аннета встретились снова однажды утром в библиотеке св. Женевьевы, в большом двусветном зале на первом этаже. Они не виделись почти десять лет, и Жюльен успел благоразумно изгнать из своих мыслей образ Аннеты, а в это утро она вдруг снова появилась перед ним. Он поднял глаза от книги и в нескольких шагах от себя, по другую сторону стола, увидел ее, занятую чтением. На красивых каштановых волосах – меховая шапочка, пальто накинуто на плечи (время было еще зимнее, перед Пасхой, а зал не отапливался, и в большие окна дул с площади ледяной ветер. Жюльен сидел в пальто с поднятым воротником. А у Аннеты шея была открыта, и ей было не холодно). Облокотясь на стол и подперев рукой щеку, Аннета сидела в своей привычной позе, так хорошо ему знакомой, – склонив голову, подавшись немного вперед и сдвинув светлые брови, она пробежала глазами страницы и покусывала кончик карандаша. Жюльен смотрел на нее с тем же волнением, как когда-то, в двадцать лет. Но он не помышлял о том, чтобы подойти и заговорить с нею.

Аннета читала с таким же увлечением, с каким она делала все, но ее в это время занимала не одна, а много разных мыслей. Идеи, которые она искала в книгах и которые ее серьезно интересовали, редко представляли перед нею без свиты образов, имевших с ними очень мало общего. Она гнала эти образы прочь, но время от времени они возвращались и назойливо стучали в мозг. Даже мыслящая женщина никогда не может целиком сосредоточиться на том, что читает: слишком силен поток собственных дум и ощущений. Аннета часто прерывала чтение, чтобы на минутку «открыть им шлюзы».

И вот когда она, оторвавшись от книги, рассеянно обводила взглядом зал, глаза ее встретились с глазами наблюдавшего за ней Жюльена. В первое мгновение ей показалось, что это тоже из образов прошлого, только что мелькавших перед ней. Но, тотчас очнувшись (так по утрам, просыпаясь, она одним скачком возвращалась от сна к яви), она встала и, обрадованная встречей, протянула Жюльену через стол руку.

Жюльен, смущенный, неловкий, подошел и сел рядом. Начался разговор.

Впрочем, поддерживать его пришлось одной Аннете. Жюльен говорил очень мало, он был ошеломлен такой неожиданной удачей. Аннета тоже была рада: счастливое прошлое встало перед ней. Жюльен играл в нем очень незначительную роль, он был лишь

обыкновенным звеном в цепи. Шествие воспоминаний быстро развернулось – и вот уж Жюльен оказался где-то далеко позади.

А он воображал, что все еще видит себя в весело блестящих глазах Аннеты, и от волнения не сознавал, что отвечает ей. Он старался (и как неумело!) скрыть свое восхищение. Он находил, что Аннета стала еще красивее, чем была, и при этом как-то человечнее и проще, в ней чувствовалось что-то новое... Что же именно? Жюльен ничего не слышал о ней вот уже шесть лет, с тех пор как умер ее отец. История Аннеты была ему неизвестна, так как он мало с кем встречался и парижские сплетни до него не доходили. Он спросил Аннету, живет ли она все там же, на Булонской набережной.

– Как, вы ничего не знаете? Я уже давно оттуда перебралась... Да, да, меня выставили из моего дома...

Жюльен не понял. Она объяснила ему коротко, с веселой беспечностью, что разорилась и сама в этом виновата, так как не занималась своими денежными делами...

– Поделом мне! – добавила она.

И заговорила о другом. Ни слова о себе, о своей жизни. Не потому, чтобы она хотела скрыть, – нет, просто это никого не касалось. Если бы Жюльен стал настойчиво расспрашивать ее, задавал вопросы, она сказала бы правду. Но он ничего не спросил, – смелости не хватало, и к тому же он был поглощен одной мыслью: значит, она бедна теперь, так же бедна, как он!.. Жаркий ветер надежды уже ворвался в его душу.

Чтобы скрыть волнение, он с товарищеской бесцеремонностью заглянул в брошюру, которую Аннета только что отложила в сторону:

– Что вы читаете? Перелистал страницы. Это был научный журнал. Перед Аннетой лежала их целая кipa.

– Вот, – сказала Аннета, – стараюсь снова войти в курс дела. Это нелегко. Я потеряла пять лет. Приходится давать уроки, чтобы прокормиться, и для занятий не остается времени. Сейчас Пасха, уроков нет, я свободна – вот и пытаюсь наверстать потерянное, глотаю двойными порциями! Видите, – она указала на раскрытые журналы, – хочу все это одолеть. Но слишком много материала, я не успеваю, – ведь всему надо переучиваться. За то время, что я пропустила, столько накопилось нового! В статьях ссылаются на труды, о которых я понятия не имею... Боже мой, как быстро наука идет вперед! Но я догоню, вот увидите! Я не хочу отставать в дороге – я не калека. Столько замечательных открытий! Я все хочу знать...

Жюльен слушал с жадностью. Из всего, что она говорила, он запомнил одно: она живет своим трудом, ей нелегко достается кусок хлеба – и все-таки она бодра и весела. Аннета теперь поднялась в его глазах на такую высоту, которой прежняя Аннета никогда не достигала. И она увлекала его за собой, заражала той любовью к жизни, которой он до сих пор не знал.

Из библиотеки вышли вместе. Жюльен был горд тем, что с ним такая красивая дама, и все еще не мог опомниться от радости: он не думал, что Аннета так хорошо его помнит. Ведь в былые времена она, казалось, почти его не замечала. А вот сейчас она напоминала ему всякие мелочи, которые он успел забыть. Осведомилась об его матери. Жюльен был этим так тронут, что смущение его начало таять. Теперь уже он стал рассказывать о себе, но дело подвигалось туго, язык у него был деревянный. Аннета слушала с добродушной иронией – ей все время хотелось подсказать ему нужные слова.

Только что он разговорился и вновь обрел уверенность в себе, как она стала прощаться. Жюльен успел спросить, когда она придет в библиотеку, и с радостью услышал ответ: «Да, завтра».

Жюльен вернулся домой в смятении. Ему было стыдно за себя, но он утешался мыслью, что завтра поправит дело. А сегодня ему хотелось думать только о чуде этой дружбы. Аннета, томившаяся в среде, куда ее втянула Сильвия, тоже была рада встрече с товарищем тех лет, когда она жила напряженной умственной жизнью. Правда, бойкостью он не отличался – о нет! – но он серьезный, симпатичный, славный малый... Однако какой замороженный!..

Ей и на следующий день не пришлось переменить мнение о Жюльене. Он оттаивал только дома, наедине с собой. Но стоило ему увидеть Аннету, как у него опять отнялся язык. Это его самого поразило. Он собирался сказать ей так много (готовился к этому разговору, как к лекции) – и все вдруг куда-то улетучилось, когда он встретил взгляд Аннеты. То, что он говорил, было лишь безвкусным экстрактом признаний, которые он разогревал в себе... Ему самому было скучно слушать, как он мямлил. Уверенность вернулась к нему только тогда, когда речь зашла уже не о нем, а о достижениях науки. Тут он заговорил четко, ясно и даже оживился. Аннете только того и надо было. Стремясь пополнить свои знания, она засыпала Жюльена вопросами, на которые он отвечал охотно, потому что у Аннеты был быстрый ум, и если живое воображение часто увлекало ее на ложный путь, достаточно было одного слова, чтобы она все поняла и мысли ее приняли нужное направление... Жюльену нравилось ее внимательное лицо, глаза, которые так впивались в него, словно желая на лету схватить его мысль, и вдруг светлели: это значило, что она поняла... Радость обмена мыслями, которые, подобно невидимому солнцу, освещают огромные горизонты! Радость идти вместе путями новых открытий, путями, где он был ей проводником! Каким наслаждением для обоих была эта беседа в сосредоточенной тишине зала, полного книг, храма мысли!

Наслаждение для Жюльена, но не для соседей! Ибо он говорил уже во весь голос, забыв, что вокруг люди. Аннета с улыбкой остановила его и встала, собираясь уходить. Он вышел с ней, но на улице, где перед ним не было письменного стола и книг, опять стал таким же беспомощным и жалким, как накануне. Аннета пробовала вызвать его на разговор о самом себе – напрасный труд! И все-таки Жюльен никак не мог расстаться с ней, вздумал провожать ее до дома. Он держался натянуто, как человек, внутренне сжавшийся, был резок от застенчивости, а временами даже становился невежлив... Словом, он был невыносим! И Аннета с легким раздражением думала:

«О господи, как бы поскорее от него отделаться?»

Жюльен заметил ее молчаливость, насмешливые складки в углах рта. Он вдруг остановился и сказал огорченно:

– Простите, я вам надоел!.. Да, знаю, знаю – я такой скучный человек!.. Не умею говорить, отвык... Это оттого, что я всегда один. Мать у меня хорошая, очень хорошая, но с ней я не могу делиться мыслями. Многие из этих мыслей только встревожили бы ее, она их не поймет... И мне за всю жизнь не пришлось встретить человека, которому они были бы интересны... Да я этого уже и не жду... Вы были так добры, терпеливо слушали меня, и вот мне захотелось вам рассказать... Но это невозможно, невозможно передать, это надо хранить про себя... Никому не интересно... И мужчина должен уметь молчать... Жить молча... Простите, что наскучил вам...

Аннета была тронута. В его словах звучало искреннее волнение. Эта смесь скромности и грустной гордости поразила ее, под холодной сдержанностью она угадывала тяжелое разочарование и оскорбленное чувство. И, увлеченная одним из тех душевных порывов, которым она никогда не могла противиться, почувствовав к Жюльену нежное сострадание, она сказала горячо:

– Нет, нет, не жалейте ни о чем! Это я вас должна благодарить. Очень хорошо, что вы так говорили со мной... то есть пытались говорить, – тут же поправила она себя с едва заметной насмешкой, в которой на этот раз не было ничего обидного. – Да, да... это нелегко, когда человек не привык... А мне нравится, что вы не привыкли о себе говорить!.. Слишком много на свете болтунов! Впрочем, я, может быть, вас приучу... Вы не против? Ведь у вас нет никого, с кем вы могли бы говорить по-настоящему!

Волнение помешало Жюльену ответить. Но в глазах его Аннета прочла робкую благодарность. И, хотя ей давно пора было домой, она повернула обратно, чтобы еще несколько минут погулять с ним. Она говорила с Жюльеном, как добрый товарищ, как мать, сердечно и просто, и этот тон действовал на него подобно прикосновению прохладной руки к пылающему лбу. Да, он был больно ушиблен, этот взрослый мальчик, такой угрюмый на вид, и нуждался в очень бережном обращении... Сейчас он начал оживать...

Однако пора было идти домой. Аннета спросила, не хочет ли он иногда встречаться с нею. Оба решили, что ту работу, которую они делали в библиотеке, можно с таким же успехом делать в Люксембургском саду или...

– А почему бы не у меня?

И, пригласив его прийти в одно из ближайших воскресений, Аннета умчалась, не дожидаясь ответа...

Ах, как красноречив мог бы он быть сейчас, а ее уже не было!.. Жюльен стал припоминать все сначала, восторгался добротой Аннеты. И так как этот человек с уравновешенным умом не способен был соблюдать меру в делах сердца, то от уверенности, что любви его суждено остаться неразделенной, он без всякой последовательности перешел к надежде, что, быть может...

Аннета не догадывалась о том, что происходит в душе Жюльена. Невзрачная наружность ее нового приятеля казалась ей верной порукой, что она в него не влюбится, и у нее даже возникла смешная уверенность, будто и Жюльену это обстоятельство мешает влюбляться. Она его уважала, она жалела его, а жалость рождала чувство симпатии. Отраднo было сознавать, что она делает добро другому человеку, и от этого он был ей еще приятнее. Ей и в голову не приходило подозрение относительно истинных чувств Жюльена, а тем более своих чувств к нему.

Она забыла о своем приглашении, но в следующее воскресенье Жюльен напомнил ей о нем, придя навестить ее, и она встретила его с удивлением и непритворной радостью. А Жюльен, всю неделю ожидавший этой минуты, думавший только о ней, не заметил удивления Аннеты – он видел одну только ее радость, и эта радость его воодушевила. В этот день была скверная погода, и Аннета не собиралась выходить из дому. Она не ждала, что кто-нибудь придет, и была одета небрежно, по-домашнему. В комнате царил беспорядок – об этом постарался малыш. Как бы вы ни любили порядок, дети заставят вас отказаться от этой привычки, точно так же, как от многих прекрасных планов, которые вы строили без них. Жюльен, все относя к себе, увидел в этом живописном беспорядке, конечно, не искусственный эффект, а доказательство, что его принимают запросто, как друга, как своего человека. Он вошел с бьющимся сердцем, но, твердо решив на этот раз произвести выгодное впечатление, напустил на себя важность и апломб. Это к нему совсем не шло. Притом Аннете было неприятно, что он ее застал в таком виде, и она досадовала на нежданного гостя, на его бесцеремонное вторжение. Как только Жюльен заметил холодность Аннеты, его самоуверенность испарилась. Наступило неловкое молчание. Жюльен не решался больше вымолвить ни слова. Аннета ждала с надменно-иронической миной...

«Не воображай, мой милый, что я и сегодня буду тебя выручать!..»

Но, увидев уголком глаза, какой несчастный, пришибленный вид у «завоевателя», она вдруг почувствовала весь комизм положения и громко расхохоталась. Натянutosть сразу исчезла, она заговорила с ним потоварищески.

Жюльен был озадачен – он ничего не понял, но с облегчением перешел тоже на естественный тон, и, наконец, дружеская беседа завязалась.

Аннета рассказывала о своей работе. Оба пришли к заключению, что не созданы для того дела, которым занимаются. Жюльен страстно увлекался наукой, которую преподавал, но...

– Они же не способны ничего понять! Сидят, как сонные мухи, и хлопают глазами. Разве только у двухтрех мелькнет иной раз что-то в глазах, остальные – это какая-то тяжелая глыба скуки! Бьешься с ней в поте лица, пока удастся (и то не всегда) сдвинуть ее на одно мгновение с места, а потом она опять падает на дно. Попробуйте-ка выудить ее оттуда! Учить их – все равно, что рыть колодезь!.. Конечно, несчастные ребятишки не виноваты! Они, как и мы, – жертвы мании демократизма, в угоду которой требуется вдальблывать в головы всех детей одинаковое количество знаний, хотя они не достигли еще того возраста, когда могут что-нибудь понимать! И потом экзамены! Это нечто вроде сельскохозяйственных конкурсов – на них взвешивают результат трудов учителя,

начинающего детские мозги смесью исковерканных слов и сырых, бесформенных сведений, смесью, от которой большинство наших учеников спешит освободиться, как только сдаст экзамены, и которая на всю жизнь внушает им отвращение.

– А я детей обожаю, – сказала Аннета, смеясь. – Даже самых никудышных. Ни одного не могу равнодушно видеть, – так и хочется схватить и унести к себе... Но, увы, приходится довольствоваться одним! И этого хватит, как по-вашему?

(Она указала на разбросанные по всей комнате вещи, но Жюльен ничего не понял и только глупо ухмылялся.).

– ...Да, жаль! Когда я встречаю малыша, который мне нравится, мне хочется его украсть. А нравятся мне все. Даже в самых некрасивых детях есть что-то такое свежее, весеннее... безмерность надежд! Но что я могу для них сделать? И разве мне дадут что-нибудь сделать? Ведь я и вижу-то их мельком. Мне их доверяют на час – потом бегу к другим. И мои маленькие ученики переходят из рук в руки. Что одна рука сделает, то другая уничтожает. Так ничего и не получается. Несформировавшиеся души, фигурки без души, умеющие танцевать бостон и падекатр. Взрослым некогда об этом подумать – ведь мы не живем, а мчимся. Все мчатся. Не жизнь, а скаковое поле! Никогда никаких остановок. Умирают на бегу, да они уже и так мертвецы, эти несчастные, не разрешающие себе ни единого дня передышки!

Они не дают передохнуть и нам, тем, кто этого хочет...

Жюльен очень хорошо понимал ее. Уж ему-то не надо было объяснять, как убийственна суета мирская и как прекрасны покой и уединение! Еще больше сблизило его с ней то, что она сказала затем: что, к счастью, среди этого потопа есть еще островки, где можно укрыться, – чудесные стихи, а главное – музыка. Поэзией Жюльен не увлекался: язык ее был ему недоступен, и он относился к ней с каким-то недоверием, как многие люди мысли, которые часто создают свою поэзию, но не чувствуют глубокой и трепетной музыки слов. Зато другая музыка, – язык звуков, – им доступна. Жюльен сказал Аннете, что он любит музыку, но, к несчастью, не имеет возможности ходить на концерты, – не хватает времени и денег.

– У меня тоже мало и того и другого, – заметила Аннета. – Но я все-таки хожу.

У Жюльена не было такого запаса жизненной энергии. После трудового дня он сидел дома, в четырех стенах. И он не умел играть ни на одном инструменте. В комнате Анкеты он увидел пианино.

– Вы играете?

– Да, но не так-то это легко! – сказала Аннета со смехом. – Разве он даст спокойно посидеть за пианино?

Удивленный и смутно встревоженный, Жюльен спросил, кто же ей мешает играть. Аннета насторожилась: на лестнице топотали детские ножки. Она бросилась открывать дверь:

– А вот и он! Сейчас увидите это чудовище! Она впустила Марка, – он прибежал от тетки.

Жюльен все еще ничего не понимал.

– Это мой мальчуган... Ну поздоровайся же, Марк!

Жюльен свалился с небес на землю. Аннета никак не думала, что это его так поразит. Она продолжала весело болтать, удерживая Марка, который пытался улизнуть:

– Как видите, я все же не теряла времени даром.

У Жюльена не хватило духу ответить что-нибудь – он только изобразил на лице вымученную и довольно глупую улыбку. Он всеми силами старался скрыть свое волнение. Марку удалось вывернуться из рук матери, так и не поздоровавшись с гостем. (Он находил эту церемонию нелепой и всегда от нее увиливал, предоставляя матери «говорить всякие пустяки», – он отлично знал, что через минуту она забудет о его проступке и заговорит о чем-нибудь другом: «Эти женщины такие бестолковые!..») Спрятавшись в складках портьеры, в четырех шагах от Жюльена, мальчик стоял, крутя в пальцах шнур, и сурово

разглядывал «чужого». Он очень быстро, на свой детский лад (и не так уж неверно), оценил положение. Жюльен ему не понравился, и мнение это было бесповоротно. Дело было решено раз и навсегда.

Жюльена это упорное разглядывание еще больше смутило; он пытался поддерживать разговор с Аннетой и в то же время не переставал думать о своем. Из-за этого он только путался и в словах и в мыслях. Все-таки понемногу он успокоился. Правда, не совсем. Он ни минуты не сомневался, что Аннета замужем: она держала себя так уверенно! А где ж муж? Жив или умер? Аннета не носила траура... Нет, Жюльен не мог успокоиться!.. Куда же девался этот человек? Задать такой вопрос прямо он не решался. После всяких окольных маневров он, наконец, рискнул небрежно, как бы вскользь (ему, впрочем, казалось, что это было сделано очень ловко), вернуть в разговор вопрос:

– И давно вы живете одна? Аннета возразила:

– Прежде всего я не одна. – И указала на своего мальчика.

Жюльен так ничего и не узнал. Но из ее ответа можно было заключить, что она живет вдвоем с ребенком, и говорила она об этом весело, поэтому Жюльен решил, что она овдовела давно, очень давно, и больше не горюет.

Логика человека пристрастного угодливо подсказывала ему как будто неопровержимый вывод:

«Итак, господин Мальбрук скончался...»

Что ж, царство ему небесное, этому мужу! Он уже не опасен! Жюльен бросил на его гроб горсть земли и, повернувшись к малышу, деланно улыбнулся. Теперь Марк начинал ему нравиться.

Но зато Марку он вовсе не нравился. Жюльену строение атомных тел было куда понятнее, чем детская душа. Марк сразу почувствовал, что ласковость его неискренна. Он повернулся к гостю спиной и проворчал:

– Не хочу, чтобы он надо мной смеялся! Аннету очень забавляли тщетные попытки Жюльена умиловить ее сына. Она сочла своим долгом загладить невежливость Марка и стала расспрашивать Жюльена, как он живет, слушая его ответы сперва немного рассеянно, потом с живым интересом. И Жюльен, которому уютный полумрак всегда придавал смелости и уверенности, теперь рассказывал о себе откровенно. Он был простодушен, не рисовался никогда – почти никогда, несмотря на желание нравиться. Во всем, что он с такой искренностью говорил, чувствовалась чистота души, необычная для парижанина его лет. О том, что ему дорого, он говорил с большим душевным так-том, под которым угадывалось с трудом сдерживаемое волнение. В эти минуты полной непринужденности, ободренный сочувственным вниманием Аннеты, он раскрывал свое подлинное «я», и отблеск душевной красоты оживлял его лицо. Аннета смотрела на него пристально, с чувством, совсем не похожим на прежнее приветливое безразличие.

С этого дня они стали встречаться каждое воскресенье, а иногда и в будни, когда выдавались свободные часы. Предлогом для посещений Жюльену служили книги, которые он давал читать Аннете, объясняя ей то, в чем ей трудно было разобраться. Марку он делал довольно дорогие подарки, но выбирал их неудачно, и его маленький враг ничуть не был за них благодарен, – Марк находил, что эти игрушки слишком детские и унижают его достоинство. Однако ничто не могло поколебать великодушия и щедрости Жюльена, который твердо решил не замечать того, что его смущало. Так одинокие люди, которые раньше недоверчиво сторонились всех, с той минуты, как они кого-нибудь полюбили и отрешились от своего недоверия, уже не способны и не хотят ни в чем разбираться: они отдаются всей душой. Жюльен, изошряясь в самообмане, приукрашивал и толковал так, как ему было выгодно, те впечатления, которые он уносил с собой после каждой встречи с Аннетой, – все, что она говорила, все, что ее окружало (при этом он бессознательно приукрашал и себя!). Невнимательность Аннеты, ее рассеянные реплики, даже ее молчаливость, когда ей бывало с ним скучно, – все делало ее в глазах Жюльена еще более желанной и трогательней. И, открывая в ней все новые и новые черты, он дополнял

созданный им образ Аннеты. Он варьировал его десятки раз, и, хотя портрет уже почти совсем не был похож на первоначальный, Жюльен оставался верен своей любви: он готов был менять свой идеал столько раз, сколько раз менялся в его глазах облик любимой женщины.

Аннета угадала, наконец, чувства Жюльена. Сначала эта любовь ее смешила, потом тронула: Аннета была ему благодарна за нее, даже очень благодарна («Самый красивый мужчина на свете может дать только то, что имеет... Спасибо тебе, мой милый Жюльен!...»), но потом она стала ее слегка тревожить. Аннета честно предостерегала себя, что не следует допускать, чтобы Жюльен вступил на этот опасный путь... Но ему это доставляло столько радости, а ей не было неприятно!.. Аннета была чутка к нежности, живо и охотно откликалась на нее. Даже, пожалуй, слишком охотно. Она это признавала. Любовь и восхищение, которые она читала в глазах Жюльена, были для нее как ласка, которую ей хотелось ощущать снова и снова... Да, она понимала, что, пожалуй, это не совсем хорошо с ее стороны. Но это так естественно! Ей было трудно лишиться себя этой радости. Нужно было сделать некоторое усилие – и она его сделала, но ничего у нее не вышло.

Все, что она говорила для того, чтобы отдалить от себя Жюльена (вправду ли она говорила то, что нужно?), только еще больше привязывало его к ней. Она решила, что это судьба и против судьбы не пойдешь... Она смеялась над собой, а Жюльен с беспокойством спрашивал себя, не над ним ли она смеется...

«Лицемерка! Лицемерка! И тебе не стыдно?...»

Нет, ей не было стыдно. Можно ли противиться счастью другого сердца, безраздельно тебе преданного? Ведь это счастье скрашивает и твою жизнь.

И какой от него вред? Чем оно опасно, если она совершенно спокойна, владеет собой и хочет только добра, только добра другому человеку?

Аннета не знала, что одной из потайных дорожек, которыми любовь коварно прокрадывается в сердце, часто бывает гордое и радостное сознание, что ты нужен другому человеку. Такое чувство особенно легко покоряет сердце настоящей женщины, ибо оно удовлетворяет, во-первых, ее потребность делать добро (это она признает), во-вторых, ее тщеславие (это она отрицает). Оно настолько сильно, что женщина с благородным сердцем часто избирает не того, кто ей мил, но может обойтись без нее, а того, кто любим ею меньше, но нуждается в опеке, И разве не в этом сущность материнства? Ах, если бы взрослый сын всю жизнь оставался ее маленьким птенчиком!.. Женщина с материнским сердцем, – Аннета была именно такой, – любит наделять мужчину, чья любовь вызывает к ней, воображаемыми достоинствами, которых у него нет. Она инстинктивно старается замечать только то хорошее, что есть в нем. У Жюльена было много достоинств, и Аннета радовалась, видя, как исчезает его робость и раскрывается подлинная душа, умиленно счастливая, как счастлив бывает выздоравливающий. Она твердила себе, что этого человека до сих пор никто не понимал, даже родная мать, о которой он постоянно говорил и к которой она уже начинала его ревновать. Да и сам он, бедный, не знал себя!.. Кто бы мог подумать, что под этой шершавой оболочкой скрывается такая нежность, такая тонкость чувств!.. (Аннета преувеличивала.) Ему нужна вера в других, вера в себя, а ее нет. Ему нужно, чтобы кто-то в него поверил, тогда придет и вера в себя. Ну хорошо, она, Аннета, в него верит! Она верила в Жюльена потому, что Жюльену это было необходимо. И в конце концов это стало нужно и ей... Жюльен расцветал на глазах, как цветок в лучах солнца. А быть для другого солнцем – приятно... «Расцветай, сердце!..» О чем сердце она говорила – о сердце Жюльена или о своем? Она и сама уже этого не знала.

Ибо она тоже расцветала от сознания, что делает счастливым Жюльена. Душа, богатая любовью, умирает, если не может питать собой голодных... Отдавать! Вечно отдавать всю себя!..

Аннета отдавала себя даже слишком щедро. Перед нею нельзя было устоять. Жюльен уже не скрывал своей страсти. И Аннета поздно вато спохватилась, что и ей грозит опасность...

Когда она увидела, что в ее жизнь готова вторгнуться любовь, она сделала попытку защищаться: решила не принимать всерьез чувств Жюльена. Но она уже не верила себе, а ее тактика сделала Жюльена настойчивее, и признания его становились все более пылкими.

Тут уже Аннета испугалась. Она умоляла его не любить ее, быть ей только добрым другом...

– Но почему? – спрашивал Жюльен. – Почему?

Она не хотела объяснять... Она инстинктивно боялась любви, потому что еще живо помнила пережитые страдания и предчувствовала новые муки. Она и призывала любовь и гнала ее прочь. Она жаждала ее – и бежала от нее. Она была искренна, когда противилась Жюльену, а в глубине сердца хотела, чтобы он сломил ее сопротивление...

Эта борьба длилась бы еще долго, если бы одно событие не ускорило развязку.

У Аннеты с мужем сестры установились простые и дружеские отношения.

Он был славный малый, хотя и грубоватый, но прямодушный и не лишенный других душевных качеств. Аннета его ценила, а Леопольд относился к ней с несколько даже преувеличенным уважением. С первых же дней знакомства он видел в Аннете существо иной породы, чем он сам и Сильвия, и робел перед нею. Тем более был он благодарен Аннете за ее дружеское расположение. В дни его ухаживания за Сильвией Аннета была его союзницей. Она не раз приходила к нему на помощь, когда его невеста, уверенная в своей власти, злоупотребляла ею и начинала над ним насмехаться. Да и теперь еще Аннета незаметным образом играла роль посредницы, когда между супругами бывали недоразумения или когда Сильвия от скуки изводила мужа неожиданными капризами, причудами и взбалмошными выходками. В таких случаях Леопольд, ничего не понимая, шел к Аннете поверять свои горести, и она брала на себя миссию образумить Сильвию. Во время этих бесед Леопольд рассказывал свояченице о себе многое такое, чего он жене не говорил. Сильвии это было известно, и она подшучивала над Аннетой, а та принимала ее шутки благодушно и весело. Отношения между этими тремя людьми были самые искренние и простые. Леопольд никогда не выражал недовольства тем, что сестра жены и ее мальчик, который часто очень мешал взрослым, занимали такое место в его доме. Он даже считал, что Сильвия недостаточно помогает сестре, восторгался мужеством Аннеты и баловал ее сына. Аннета знала от Сильвии о таком отношении к ней Леопольда и была ему за это благодарна.

Период беременности Сильвии был нелегким временем для всех окружающих, а в особенности для ее мужа. Частые ссоры отталкивали Леопольда от жены. Сильвия вовсе не хотела от него избавиться. Все дело было в том, что ее сильно тяготила беременность. Она нисколько не берегла себя и не хотела ничего менять в своем образе жизни. Но от этого ей становилось еще хуже. Долгие месяцы беременности проходили у нее совсем не так, как у Аннеты: для той они были нескончаемой грезой, тихим блаженством, которое слишком скоро кончилось. Сильвия же не способна была предаваться мечтам. Она стала раздражительна, не желала отказываться от своих обязанностей, прав, удовольствий. В конце концов сильное нервное переутомление расстроило ее здоровье и, естественно, отразилось на характере.

Когда человек мучается, у него является потребность мучить других.

Сильвия мучилась, страдала, и ее возмущало, что муж не страдает вместе с ней. Она старалась этого добиться: изводила его злобными и вздорными придирками, постоянными сменами настроения и даже – вот так неожиданность! – ревнивою влюбленностью, которая, однако, не мешала ей постоянно осыпать его попреками. Бывали дни, когда Леопольд просто терялся и не знал, что делать.

Аннета была всегда рядом, всегда готова выслушать его жалобы. Он поднимался к ней наверх, чтобы излить душу. Терпеливо выслушав его, она всегда умела его утешить и развеселить, так что он сам часто смеялся над своими маленькими неприятностями. Эти беседы создавали между ними сообщничество, как между людьми, связанными только им известными тайнами. И в присутствии Сильвии они иногда лукаво переглядывались. Оба были честны и потому ничуть не остерегались возникшей между ними близости, хотя и

невинной, но небезопасной. Аннета находила удовольствие в этом дружеском поддразнивании и невинном кокетстве, не видя в нем ничего рискованного.

А Леопольду только того и надо было – он давно испытывал на себе обаяние силы и жизнерадостности, исходившее от Аннеты. Она же в то время была вся поглощена открытием, что Жюльен ее любит; эта любовь сладко волновала ее, и весь остальной мир был для нее словно в тумане. Когда после встречи с Жюльеном она слушала Леопольда и даже что-то ему отвечала, улыбка ее предназначалась Жюльену. А Леопольд, конечно, этого не мог знать.

Он знал, чего ему хочется. И, как порядочный человек, боролся с собой. Но и порядочный человек – только человек, и ему не следует играть с огнем.

В одно майское воскресенье они отправились вчетвером – Сильвия, Аннета, Леопольд и маленький Марк на прогулку в сторону Со. Походив не дольше часа, Сильвия утомилась и, сев у подножия холма, сказала:

– Ну, вы, молодежь, карабкайтесь наверх, если есть охота. А мы подождем вас здесь.

Она осталась внизу с мальчиком, а Леопольд и Аннета бодро пошли дальше. Аннета была весела, оживленна, держала себя с Леопольдом, как добрый товарищ... С этим простым человеком она отдыхала от душевного напряжения, в котором ее держала любовь Жюльена и его разговоры о высоких материях. Тропинка вилась вдоль длинного забора какой-то большой усадьбы, а с другой стороны тянулся откос, поросший цветущим кустарником. Поднимаясь, они видели сквозь просветы в изгороди сбегающие по склонам плодовые сады в белоснежном и розовом пуху цветов. Синева неба была необычайного, нежно-зеленого оттенка, и по ней пробегали суетливые облачка. Веселый ветер шаловливо кусался, как резвый щенок. Аннета шла впереди, напевая, и рвала цветы. Леопольд шагал за ней по пятам. Он видел, как – она нагибалась и ее крепкая грудь натягивала легкую ткань, видел ее голые руки, голую шею, порозовевшую от резкого ветра, и раковинку маленького уха в пене пушистых завитков. Кончик уха алел, как капля крови. Справа от них тянулся крутой откос, а дорога впереди была похожа на узкий коридор, откуда вырывался сильный ветер и бил им прямо в лицо. Аннета, не оборачиваясь, окликнула своего спутника. Леопольд не отвечал. Она, наклонясь, продолжала собирать цветы и что-то шутливо говорила ему. Но так как он молчал, Аннета вдруг в этом молчании почуяла опасность. Бросив цветы, она быстро выпрямилась, но не успела обернуться и вдруг чуть не упала: Леопольд сзади навалился на нее и грубо обнял.

Она почувствовала на затылке его учащенное дыхание, и жадные губы стали целовать ее в шею, в щеки. Она вмиг вся напряглась, изогнулась и – откуда взялись силы! – яростно оттолкнула обнимавшего ее мужчину. Он невольно разомкнул руки, и теперь они стояли лицом к лицу – она и ее обидчик. Глаза Аннеты сверкали гневом. Однако Леопольд не хотел выпустить из рук добычу. И между ними завязалась ожесточенная борьба двух животных, полных ненависти друг к другу, ожесточенная, но короткая. Аннета, которой инстинктивное возмущение придавало силы, так толкнула Леопольда, что он едва удержался на ногах. Он стоял перед ней, вдвойне униженный, побагровев и тяжело дыша. Они мерили друг друга сердитыми взглядами. Ни один не говорил ни слова... Аннета быстро вскарабкалась по откосу, пролезла через пролом в изгороди на другую сторону и побежала вниз. Леопольд, сразу отрезвев, стал звать ее. Но она держалась от него в двадцати шагах, не давая ему подойти ближе. Они спускались с холма, разделенные изгородью, поглядывая друг на друга недоверчиво, враждебно и смущенно. Леопольд не своим голосом умолял Аннету вернуться, простить его. Аннета делала вид, что не слышит, но она слышала, и смятение, звучавшее в его голосе, смягчило ее. Она пошла медленнее...

– Аннета! – умолял Леопольд. – Аннета! Не убегайте!.. Я вас не трону... Видите, я стою на месте, я не подойду ближе... Я вел себя как скотина. Мне стыдно, ужасно стыдно... Ругайте меня сколько хотите, но не убегайте! Ей-богу, я вас больше пальцем не трону!.. Я сам себе противен... Видите, я на коленях прошу у вас прощения!

И он неуклюже опустился на колени. Вид у него был жалкий и смешной.

Аннета, суровая, неподвижная, слушала, стоя к нему вполоборота и не глядя на него. Но, невольно посмотрев в его сторону, она увидела, как унижен этот человек, и была глубоко тронута. В ее горячем сердце чувства других людей находили такой отклик, как будто это были ее собственные чувства. Стыд, мучивший Леопольда, вызвал краску на ее щеках. Она повернулась к нему лицом и сказала:

– Встаньте! Леопольд поднялся, Аннета инстинктивно отступила на несколько шагов. Леопольд сказал:

– Вы все еще меня боитесь! Вы никогда мне этого не простите?

– Не будем больше говорить об этом, – сухо ответила Аннета.

Они сошли вниз, на дорогу. Аннета была нема и холодна. Но Леопольд не мог молчать: он был очень расстроен и пытался оправдываться. Однако бедняга красноречием не отличался, не умел выражаться изящно. Он все только повторял с досадой:

– Я – свинья! Аннета, все еще взбудораженная, подавляла усмешку.

Чувства ее с трудом приходили в равновесие. Ей было и противно и смешно вспоминать эту сцену. Она не простила ее Леопольду, но вместе с тем не могла не пожалеть этого человека, который, шагая рядом с ней, так униженно каялся и все бормотал бессвязные извинения. Аннета слушала его с раздражением, состраданием, иронией. Он всячески старался объяснить «это гадкое безумие, которое охватывает тело...» Да, ей такое безумие тоже было знакомо!.. Говорить это Леопольду, конечно, не следовало, но у него был такой несчастный вид, что она невольно сказала:

– Знаю. С кем этого не бывает! Ну да ладно, забудем!

Они шли дальше молча, с тяжестью на душе, хмурые и смущенные. Когда они уже подходили к месту, где оставили Сильвию, Аннета сделала движение, словно хотела протянуть Леопольду руку, но не протянула и только сказала:

– Я все забыла.

У Леопольда стало легче на душе, однако он все еще беспокоился. Он спросил, как нашаливший мальчишка:

– Вы ничего не расскажете? Аннета усмехнулась с легкой жалостью.

Нет, она ничего не сказала, но зоркие глаза Сильвии с первого взгляда все прочли на их лицах. Она не задала ни одного вопроса. На обратном пути во время шумной болтовни, которой все трое старались прикрыть свое смятение, Сильвия внимательно наблюдала за сестрой и мужем.

С этого дня Аннета и Леопольд не оставались больше наедине. Ревнивая жена следила за ними. Да Аннета и сама теперь остерегалась Леопольда.

Она не умела скрыть своего недоверия, и обиженный Леопольд затаил молчаливую злобу.

У Аннеты открылись глаза. Нельзя было больше по-прежнему доверять людям, доверять самой себе. Нельзя было идти в жизни своей дорогой весело, как бывало, не обращая внимания на то, что невольно будишь в других желания, которых сама не разделяешь. В современном обществе, при современных нравах ее положение одинокой, молодой и свободной женщины не только обрекало ее на приставания мужчин, но и оправдывало их в глазах всех.

Никто не допускал, что она, так смело порвав с условностями, хочет замкнуться в своем мнимом вдовстве, храня верность неизвестно кому. Сама она, обманывая себя, видела цель своей жизни в материнстве. И материнское чувство, несомненно, горело ярким пламенем в ее душе. Но и другой огонь по-прежнему горел в ней. Она старалась о нем забыть, потому что боялась его. При этом она воображала, что никто другой его не увидит. Но она ошибалась: огонь, помимо ее воли, вырывался наружу. И если не она сама, так другие рисковали стать его жертвами. Случай с Леопольдом только что доказал это. Это было противно, это возмущало! Не ослепленные миражом глаза того, кто не любит, видят в акте любви нелепое и отвратительное скотство. Именно таким было покушение Леопольда в глазах Аннеты.

Но совесть ее была беспокойна: ведь это она разожгла в нем похоть. Она припоминала свое необдуманное кокетство, поддразнивания, всякие женские уловки... Что ее толкало на это? Та подавленная сила желаний, тот внутренний огонь, который надо либо питать, либо угашать в себе. Угашать его мы не можем, не должны! Ведь он – солнце жизни, без него она была бы погружена во мрак. Но пусть же это солнце не уподобляется колеснице Аполлона, отданной в неумелые руки Фазтона, пусть не губит того, что оно должно живить! Пусть свершает в небе положенный ему путь!..

Значит, брак? Аннета долго отстраняла от себя этот вывод, но сознание угрожавших ей опасностей привело ее к мысли, что брак, основанный на любви и уважении, на спокойной дружбе, будет той плотиной, которая сдержит демонов страсти и защитит ее от преследований мужчин. И чем больше она убеждала себя в этом, тем слабее противилась мольбам Жюльена. Да и все, словно сговорившись, склоняло ее к этому браку: перспектива материальной обеспеченности и душевного покоя, потребность в семейном очаге, влечение сердца. Ей хотелось уступить мольбам Жюльена, и она находила все новые основания полюбить его. Впрочем, ей не нужны были никакие основания – она уже и так его любила. Уже шла в ней созидательная работа, превращающая избранника сердца в дивное видение мечты. Жюльен ее в этом опередил. Но у Аннеты и воображение было богаче, и душа страстнее, она очень скоро зашла дальше, чем он.

Не сдерживая себя больше, она дала волю своей непосредственной и горячей натуре. Она не прибегала к хитростям, которыми другие женщины, более ловкие, прикрывают свое поражение, делая вид, что сердце их не покорено. Аннета открыто принесла свое сердце в дар – она сказала о своей любви Жюльену. И с этого дня Жюльен утратил покой.

Он мало знал женщин. Женщины его и влекли к себе и смущали. Не стараясь их узнать, он позволял себе смело судить о них. Одних идеализировал, других строго осуждал. А те, что не подходили ни под одну из этих категорий, не возбуждали в нем никакого интереса. Люди очень молодые (Жюльен оставался таким благодаря своей неопытности) всегда скоры на выводы. Поглощенные собой и своими желаниями, они видят в других только то, что им хочется видеть.

В любви духовной, как и в плотской, всякий мужчина, простодушный или хитрый, думает только о себе и никогда – о любимой женщине. Он не хочет знать, что она живет своей отдельной жизнью. Он мог бы это понять именно через любовь. И любовь действительно учит этому тех немногих, кто способен усвоить ее уроки, но и то лишь на горе им и тем женщинам, которых они любят, потому что истина открывается им всегда слишком поздно. Веками люди наивно удивляются и сетуют на неизбывное одиночество души человеческой, постигаемое на горьком опыте любви. Несбыточная мечта о слиянии сердец – извечная ошибка людей. Ибо разве «любить» не значит «любить другого»? Жюльен был не такой эгоист, как Рожэ Бриссо, но, не испытав настоящей любви, он так же мало, как и тот, способен был отрешиться от себя. И еще меньше знал женщин. В этот мир Жюльена нужно было осторожно ввести за руку.

Аннета и от природы не отличалась расчетливостью и осторожностью, да и любовь не только не научила ее этому, а, напротив, сделала еще доверчивее и щедрее. Сейчас, когда она была уверена, что любит и любима, она ничего не скрывала от Жюльена. Она чувствовала, что ничто в любимом человеке не может оттолкнуть ее, – так зачем и ей прикрашиваться для него?

Здоровая духом, она не стыдилась быть такой, какой она создана. Пусть тот, кто ее любит, видит ее такой, какая она есть! Она хорошо знала наивность Жюльена, его робость и неискушенность в делах любви и думала об этом с удовольствием, с насмешливой нежностью. Ей нравилось, что она первая открывает ему тайны женского сердца.

Раз она неожиданно пришла к нему на квартиру. Дверь открыла мать Жюльена, старая дама, седая, гладко причесанная, со спокойным лицом и внимательными, строгими глазами. Недоверчиво оглядев Аннету, она с холодной учтивостью провела ее в маленькую гостиную, чистенькую и холодную, где мебель стояла в чехлах. Выцветшие семейные фотографии и

снимки с музейных картин окончательно замораживали атмосферу в этой комнате.

Аннета сидела одна и ждала. В соседней комнате пошептались, затем в гостиную торопливо вошел Жюльен. Он был и рад ей, и немного растерян, не знал, что сказать, и, отвечая Аннете, смотрел не на нее, а куда-то в сторону. Они сидели на неудобных стульях с прямыми спинками, мешающими принять непринужденную позу. Их разделял стол, один из тех салонных столиков, на которые нельзя облокотиться и о ножки которых больно стучаешься коленями. В холоде, исходившем от навощенного пола без ковра, от мертвых лиц под стеклами, напоминавших гербарий, застывали слова на губах и невольно хотелось понизить голос. Эта гостиная положительно леденила душу. Аннета думала: неужели Жюльен продержит ее здесь до самого ухода? Наконец она попросила его показать свой рабочий кабинет. Отказать было неудобно, да Жюльен и сам хотел этого. Но у него был такой нерешительный вид, что Аннета спросила:

– Вам это неприятно? Он запротестовал и повел ее к себе, заранее извиняясь за беспорядок в комнате. Беспорядка у него было гораздо меньше, чем у Аннеты в день его первого посещения, но здесь беспорядок был какой-то унылый, бескрасочный. Комната служила Жюльену и кабинетом и спальней. Книжки, известная гравюра, на которой изображен Пастер, груды бумаг на стульях, трубка на столе, студенческая кровать. На стене над кроватью Аннета заметила небольшое распятие с буквой веточкой. Усевшись в неудобное кресло, она, чтобы расшевелить хозяина, стала вспоминать их студенческие годы. Она говорила свободно, без всякого жеманства, о вещах, им обоим известных. А Жюльен был рассеян, смущен ее приходом и вольным разговором. Его, видимо, беспокоило то, что происходило в соседней комнате. Смущение его передалось Аннете, но она держалась стойко и в конце концов заставила его забыть о том, что скажут. Он оживился, и оба смеялись от всего сердца. Только когда Аннета собралась уходить и Жюльен пошел провожать ее, он снова почувствовал себя неловко. Они прошли по коридору мимо комнаты его матери. Дверь была полуоткрыта, но г-жа Дави притворилась, что не видит их, – из деликатности или для того, чтобы не прощаться с Аннетой. Женщины с первого взгляда стали врагами. Г-жа Дави была шокирована приходом этой смелой девицы, ее свободными манерами, звонким голосом, смехом, ее живостью: она почуяла опасность. Аннета же, очутившись в их доме, поняла, что между нею и Жюльеном всегда будет незримо стоять его мать, и ушла с враждебным чувством к ней. Проходя мимо комнаты старой дамы, она заметила, что та повернулась спиной к двери, и потому нарочно говорила и смеялась очень громко. При этом она ревниво подумала:

«Я отниму его у тебя!»

На следующей неделе Жюльен пришел к ней в гости вечером, после обеда.

Он в первый раз поговорил с матерью об Аннете, и ему хотелось укрепиться в своем решении. В этот вечер они были одни; Марка Леопольд повел в цирк. Около одиннадцати Жюльен собрался уходить, и Аннета решила проводить его, чтобы пройти пешком и подышать прохладным воздухом ночи. Но когда они дошли до его дома, Жюльен встревожился при мысли, что Аннета будет возвращаться одна. Страх его только рассмешил Аннету, но он непременно хотел проводить ее, и она не протестовала, потому что ей хотелось подольше побыть с ним. Они пошли обратно, выбирая самую длинную дорогу, и не заметили, как очутились на высоком берегу Сены. Была теплая июньская ночь. Они сели на скамью. Шумели тополя над темной рекой, на воде играли красные и золотые огни фонарей. Небо казалось далеким, звезды были такие бледные, словно город-пиявка высосал из них всю кровь.

Внизу было светло, а наверху, где сидели Аннета и Жюльен, царила темная ночь. Оба молчали (слова уже не могли выразить их чувств) и не поднимали глаз, но каждый читал в душе другого. Сердцу Аннеты было горячо от желаний, которые она угадывала в Жюльене. Он сидел неподвижно, скованный робостью, не смея даже взглянуть на Аннету. А она, не поворачивая головы, улыбалась в темноте и, любуясь красными отблесками на воде, видела не их, а Жюльена. Он никогда не решится!.. И вдруг она наклонилась и поцеловала его...

Домой Жюльен вернулся опьяненный любовью и благодарностью, но в мозгу у него засело коварное жало глухого беспокойства... Злые слова матери о «бедных и беззащитных девушках, которые охотятся за мужьями», он сразу же с гневом вырвал из памяти, но кончик занозы остался под кожей. Ему было стыдно за себя. Он мысленно просил у Аннеты прощения. Он знал, что оскорбительное подозрение было ложно. Он свято верил Аннете. И все-таки его что-то мучило. Каждая новая встреча с ней усиливала эту тревогу. Независимость Аннеты, непринужденные манеры, свободомыслие и смелость суждений, особенно в вопросах морали, спокойное отрицание всяких предрассудков – все пугало Жюльена. Его кругозор был тесен, как его костюмы, нравом он был несколько угрюм, склонен к суровости. Аннета же, наоборот, отличалась широкой терпимостью и жизнерадостностью. Жюльен не понимал, что она может в своей личной жизни быть такой же суровой пуританкой, как он, а к другим подходить с иной меркой, их собственной, и проявлять к ним ироническую снисходительность. Терпимость и юмор были чужды Жюльену, смущали его. Аннета это заметила, и когда он судил о чем-либо несправедливо, с чрезмерной прямолинейной строгостью, она не пыталась навязывать ему свою точку зрения: она подсмеивалась над этой наивной непримиримостью, которая ей даже отчасти нравилась. Ее насмешливые улыбки тревожили Жюльена еще больше, чем ее речи. У него создавалось впечатление, что о некоторых вещах Аннета знает больше, чем он. Это так и было.

Жюльен спрашивал себя: насколько больше? И что она, в сущности, знает?

Какого рода опыт она успела приобрести?

Этого человека с тонкой духовной организацией, но скудными жизненными силами, так же как и его мать (ее недоброжелательные замечания этому способствовали), безотчетно тревожила здоровая, цветущая Аннета, излучавшая жизнерадостность. Она вызывала в нем и страстное влечение и робость. Во время их прогулок вдвоем он казался себе таким жалким заморышем рядом с ней. Еще больше смущала его великолепная непринужденность Аннеты в любой обстановке. Если бы Аннета заметила его смущение, оно бы ей понравилось, но Жюльену оно казалось унижительным. Аннета ничего не замечала. Она была вся поглощена тем, что пело у нее внутри. Ей не приходило в голову, что никто этой песни сердца не слышит, и она не понимала тревожных взглядов Жюльена, когда он мысленно спрашивал себя:

«Кому и чему она улыбается?»

Аннета в эти минуты казалась ему такой далекой!..

Он по-прежнему – нет, больше прежнего – ценил высокие качества ее ума, душевную энергию. И в то же время Аннета оставалась для него опасной загадкой. Его раздирали два противоположных чувства: непобедимое влечение к ней – и смутное недоверие, как бы остаток первобытного инстинкта, возвращающего мужчину и женщину наших дней к изначальной вражде полов, для которых плотская любовь была своего рода борьбой. Это недоверие, инстинкт самозащиты, пожалуй, сильнее всего в таких мужчинах, как Жюльен, – с острым умом, но недостаточным опытом. Так как они не знают женщин, они считают их либо проще, чем они есть, либо воплощением коварства.

Аннета еще усиливала колебания Жюльена, так как она то говорила ему все, то все таила в себе, переходила от пылкой откровенности к замкнутости и иногда во время прогулок почти всю дорогу молчала... Ах, это страшное молчание (какой мужчина не страдал от него!), когда душа подруги, которая шагает рядом с тобой, уходит в какие-то неведомые области, навек для тебя недоступные!.. Конечно, не всегда под этим молчанием скрываются глубокие тайны. Бывает и так, что глубина их оказывается тебе по пятки... Но ведь завеса молчания непроницаема, глаз не видит сквозь нее ничего, и мучитель-мозг имеет полную возможность строить самые жуткие предположения. Такому человеку, как Жюльен, никогда не придет в голову, что эти тайны – лишь его фантазия, а женщина часто молчит потому, что чувствует, как мало мужчина ее понимает. В иные дни Аннета при Жюльене бывала молчалива, иронически и устало мирясь с тем, что он неверно понимает ее. Она знала, что он любит выдуманную им Аннету, а настоящую не мог бы полюбить...

«Что ж... Если тебе так хочется... Ладно! Пусть я буду не такой, какая я есть, а такой, какой кажусь тебе...»

Но эта молчаливая покорность недолго длилась. Как только Аннета поняла, что откровенные объяснения могут быть опасны (так как Жюльен не способен правильно их понять) и что дипломатичнее было бы отмалчиваться, она заговорила. Молчать, чтобы избавить Жюльена от лишних терзаний, – да, на это она была согласна. Но молчанием своим обманывать его – нет!

Если сказать правду для нее опасно, так именно потому нельзя молчать!

Чем больше был риск, тем сильнее была ее гордая решимость пойти ему навстречу. При мысли о предстоящем испытании любви у нее сильнее билось сердце. Если Жюльен выдержит испытание, она еще крепче полюбит его. А если нет?.. Но он непременно выдержит! Ведь она ему дорога! Будь что будет!

Она вела честную игру. Но некоторые мужчины предпочитают, чтобы их партнерша плутовала. Сильвия (она знала о любви Жюльена и предполагаемом браке) наставляла Аннету:

– Боже тебя упаси рассказать ему всю правду! Конечно, кое-что придется сказать: все равно, когда будете регистрировать брак, он из бумаг узнает... Но всегда можно подать правду в подходящем виде. Если он тебя любит, он на все закроет глаза. И не вздумай только открывать их ему.

Это было бы верхом глупости! После свадьбы будет время обо всем потолковать...

Сильвия говорила как человек, умудренный опытом. Она заботилась о благе сестры (да и о своем тоже, ибо была не прочь поскорее удалить Аннету из своего дома) и считала, что вовсе не обязательно говорить людям правду, а в особенности жениху. Довольно с него, что его любят! История Аннеты, в сущности, довольно невинного свойства, но мужчины слабы, они не выносят правды. Им надо преподносить ее маленькими дозами...

Аннета слушала Сильвию спокойно, а выслушав, заговаривала о чем-нибудь другом. Возражать сестре она считала бесполезным, так как все равно решила делать по-своему. У Сильвии – свои взгляды, у нее – свои. Аннета предпочитала не говорить Сильвии того, что думала. Сильвия остается Сильвией, ничего не поделаешь! Несмотря ни на что, Аннета все-таки ее любила... Попробовал бы кто-нибудь другой говорить ей подобные вещи, – каким взглядом она бы его смирila!

«Бедная Сильвия! Она судит о мужчинах по тем, которых встречала в жизни! А мой Жюльен совсем другой породы. Он меня любит такой, какая я есть. Он полюбит и ту Аннету, какой я была в прошлом. Мне незачем от него что-либо скрывать. Перед ним я ни в чем не виновата. Если я и причинила кому зло, так только самой себе...»

Она понимала, как опасна может быть откровенность, но верила в великодушие Жюльена. И, решив сказать ему все, завела разговор о своем прошлом. До этого она и Жюльен с присущей обоим целомудренной сдержанностью всегда избегали этой темы. Но Аннета не раз читала в глазах Жюльена мучивший его вопрос, который он боялся задать, – вопрос о том, что он и хотел и не хотел узнать.

Она ласково прикрыла своей ладонью руку Жюльена и сказала:

– Друг мой, я так ценю вашу милую деликатность!.. Я вам так благодарна за нее!.. Я вас люблю... И я должна наконец рассказать вам о себе то, чего вы не знаете. Я не безгрешна.

Жюльен сделал испуганный жест, словно протестуя против того, что она собиралась сказать, и, быть может, желая ее остановить. Аннета усмехнулась:

– Не пугайтесь! Я не такая уж великая грешница. По крайней мере мне так думается. Но, может быть, я к себе слишком снисходительна. Свет на эти вещи смотрит иначе. Судите сами, я полагаюсь на ваш приговор. Если вы скажете, что я виновата, значит, так оно и есть.

И она начала рассказывать. Втайне тревожась больше, чем ей хотелось показать, она заранее обдумала, что и как сказать Жюльену. Но хотя она считала, что это очень просто, говорить об этом оказалось нелегко. Чтобы преодолеть чувство неловкости, она старалась казаться равнодушной. Хотя в душе она была очень взволнована, в ее словах иногда даже

прорывалась легкая ирония: таков был ее способ самозащиты... Но Жюльен всего этого не понял. Он усмотрел в тоне Аннеты только неприличное легкомыслие и отсутствие нравственного чутья.

Прежде всего она сказала ему, что не была замужем. Жюльен именно этого боялся и даже, по правде говоря, в глубине души был в этом уверен. Но он все-таки надеялся услышать от нее, что это не так. И когда Аннета сама подтвердила его догадки, так что сомнений больше быть не могло, Жюльен пришел в ужас. Поверхностный либерализм не мешал ему оставаться в душе правоверным католиком, и ему не чужда была идея греха. Он тотчас подумал о матери: она с этим ни за что ни примирится! Предстояла борьба.

Жюльен был страстно влюблен. Несмотря на боль, которую ему причинила исповедь Аннеты, несмотря на то, что ее былой «грех» был для него настоящим ударом, он любил эту женщину и, чтобы обладать ею, готов был повести борьбу с матерью. Но он был слаб и нуждался в поддержке – Аннета должна была помочь ему. Чтобы выдержать бой, ему надо было собрать все силы.

Воодушевить его могла бы только иллюзия – ему необходимо было идеализировать Аннету. И если бы Аннета была хитрее, она бы приняла это в расчет и помогла ему.

Она видела, какое горе причинило Жюльену ее признание. И хотя она была к этому готова, ей было больно за него. Но она не считала возможным щадить его: если они решают жить вместе, каждый должен нести долю испытаний и даже ошибок другого. Она и не подозревала, какая борьба происходит в душе Жюльена, да если бы и подозревала, все равно верила бы, что любовь победит.

– Бедный мой Жюльен, – сказала она, – я вас огорчила! Простите. Мне тоже тяжело... Вы были обо мне лучшего мнения. Вы меня ставили высоко, слишком высоко... А я только слабая женщина... Но одно скажу: если я и обманывала себя, то других я никогда не обманывала. Я была искренна. Я всегда была честным человеком...

– Да, да, я в этом нисколько не сомневаюсь, – с живостью оказал Жюльен. – Он вас обольстил, не правда ли?

– Кто? – спросила Аннета.

– Ну, этот негодяй... Простите!.. Этот человек, который вас бросил...

– Нет, его вы напрасно вините! – сказала Аннета. – Я сама виновата.

Этим словом «виновата» Аннета хотела только дать ему понять, что она от всей души жалеет о горе, которое ему причинила, а Жюльен жадно ухватился за это слово. В своем смятении он цеплялся за мысль, что Аннета – обманутая жертва и что она раскаивается... Ему страстно хотелось верить в это «раскаяние»: оно некоторым образом вознаграждало его за испытанное разочарование, оно было для его раны бальзамом, который если и не исцелял, то во всяком случае делал ее менее мучительной. Раскаяние Аннеты давало ему моральное превосходство над нею, хотя к чести его надо сказать, что он не стал бы злоупотреблять этим. И, наконец, так как Жюльен был убежден, что Аннета совершила «грех», то не сомневался в том, что ее долг «раскаяться». Он сросся с этими христианскими понятиями. Самые свободомыслящие христиане не могут от них отрешиться.

Но Аннета принадлежала к другой породе людей. Ривьеры могли быть чисты или нечисты с точки зрения христианской морали, но если они оставались чистыми, они делали это вовсе не в угоду незримому богу или его слишком зримым представителям с их скрижалями закона, а просто из любви к чистоте, которую они понимали как чистоту и красоту душевную. А если они бывали «нечисты», они находили, что это их личное дело, дело их совести, а не совести других. Аннета не считала себя обязанной отдавать кому-либо отчет в своих поступках. Ее исповедь Жюльену была добровольным даром любви. Порядочность ее требовала, чтобы она рассказала ему историю своей жизни, но открывать ему свою внутреннюю жизнь она была не обязана: она сделала это добровольно. И вот сейчас она видела, что Жюльен предпочел бы, чтобы она приукрасила правду. Но она была слишком горда, чтобы придумывать лживые оправдания, да и не считала нужным оправдываться.

Напротив, поняв, чего от нее хочет Жюльен, она поспешила объяснить ему, что сама отдалась любовнику.

Потрясенный Жюльен не хотел ничего слушать.

– Нет, нет, не верю! – сказал он. – Вы это говорите из великодушия!

Вы берете на себя вину, чтобы защитить этого презренного человека.

– Да я не вижу тут никакой вины! – просто возразила Аннета.

Ее слова поразили Жюльена, он отказывался их понять.

– Вы стараетесь его оправдать...

– Мне не в чем его оправдывать. Тут никто не виноват.

Жюльен не сдавался.

– Аннета, умоляю вас, не говорите таких вещей!

– Да почему же?

– Вы сами знаете, что это дурно.

– Нет, не знаю.

– Как! Вы ни о чем не жалеете?

– Жалею только, что я вас огорчила. Но поймите, милый друг: ведь тогда мы с вами были даже мало знакомы, я могла свободно располагать собой, у меня были обязанности только по отношению к самой себе.

Он подумал: «А этого разве мало?» – но вслух не решился ничего сказать.

– Все-таки вы жалеете, что так поступили? – спросил он настойчиво. – Признаете, что это была ошибка?

Он не смел ее осуждать. Но ему так хотелось, чтобы она сама себя осудила!

– Быть может, и ошибка.

– Быть может? – уныло повторил Жюльен.

– Не знаю, – сказала Аннета.

Ей было ясно, чего он добивается от нее... Что ж, может быть, она и ошиблась, если отдаться искреннему порыву любви и жалости – это ошибка.

Да, может быть... «Я могу в душе сожалеть об искреннем заблуждении, но я ни перед кем не обязана оправдываться. Мое сердце одно несло свое горе, пережило его в молчании и одиночестве, так и теперь оно одно будет знать о своих сожалениях. Никого это не касается. Сожаления?.. Будем же искренни до конца! Я ни о чем не жалею!» Помолчав и подумав, она ответила на вопрос Жюльена:

– Нет, я не считаю это ошибкой.

Пожалуй, на этот раз онахватила через край, возмущенная бессознательным фарисейством Жюльена... Бедный Жюльен! Но даже в эти минуты, когда она любила его всего сильнее, Аннета не сдалась, не выразила раскаяния, которого он ждал... «Я бы рада сказать то, чего он хочет, да не могу!.. Ведь это не правда...» О чем жалеть? Она имела право сделать то, что сделала, и потом – это же дало ей счастье! Правда, она за него дорого заплатила, но оно ей досталось, это счастье: ребенок. И она одна знала, что этот дар не только ее ничуть не бесчестил, как утверждает глупое общественное мнение, а сделал ее чище, надолго освободил от сердечных бурь, дал ей мир и покой... Нет, ни за что она не сделает такой низости!

Не станет она, для того чтобы не утратить любовь будущую, клеветать на любовь прошедшую! Она и сейчас еще была благодарна Рожэ, этому орудию судьбы, так мало достойному той любви и того пламени жизни, которое он заронил в ней...

Жюльен чутьем ревнивца угадал ее мысли.

– Ага, вы все еще его любите?

– Нет, мой друг, не люблю.

– Но вы на него даже не сердитесь!

– А за что же мне на него сердиться?

– Вы все еще думаете о нем?

– Я думаю о вас, Жюльен!

– Но вы же его до сих пор не забыли?

– Не могу я забыть того, кто дал мне радость, хотя этой радости больше нет. Не браните меня за это, теперь вы мне дороже всех!

Чувство справедливости у Жюльена было достаточно развито; он оценил прямоту Аннеты и в душе признавал ее благородство. Для него это было неожиданное явление – новая женщина, чья необычайная нравственная высота раскрывала ему новый мир. Но другие стороны его души восстали. Задет был инстинкт самца. Громко заговорили католические и буржуазные предрассудки. Образ Аннеты в его душе был загрязнен унижающими ее подозрениями.

Вместо того чтобы еще больше верить женщине, которая так честно и прямо сказала ему о своем прошлом, он, узнав, что она когда-то проявила слабость, не мог больше быть уверенным в ней. Он уже сомневался, что Аннета будет ему верна. Он думал о том, другом, который обладал ею, от которого она имела ребенка. Он жив... Жюльен боялся быть обманутым. Боялся быть смешным. Он чувствовал себя глубоко несчастным и униженным и не мог простить.

Поняв, какая борьба идет в душе Жюльена, увидев, какая опасность грозит ее надеждам, Аннета затрепетала. Ведь эта любовь, которую она внушила Жюльену, и ее захватила глубоко. Всю силу своей нежности, всю жажду счастья она сосредоточила на Жюльене. В сущности, она и тут обманулась, хотя только наполовину: Жюльен был ее достоин, он обладал многими положительными чертами, за которые можно было его любить. Они с Аннетой были очень разные люди, но могли бы ужиться, если бы постарались понять друг друга и проявили некоторую терпимость. Конечно, это было бы мм нелегко, но разве не стоило заплатить такими небольшими страданиями за большую любовь? Аннета могла бы благотворно влиять на Жюльена, она стала бы для него источником силы и веры в жизнь – веры, которая, как мощный ветер, надув его паруса, привела бы его туда, куда он без нее никогда не доплыл бы. А чуткая нежность Жюльена, его уважение к женщине, его нравственная чистота и даже наивная религиозность, чуждая Аннете, оказали бы на нее благотворное влияние, привели бы в равновесие ее страстную натуру, дали бы ей надежное мирное и тихое пристанище в жизни и любовь, на которую можно положиться...

Горе сердцам, которые из-за недоразумений, преувеличенных любовью, бросают свое счастье на ветер и знают это, упрекают себя, будут упрекать себя всю жизнь, но крепко держатся за то, что их разделяет! Именно потому, что они слишком сильно любят, они не идут на моральные уступки. А между тем они, хотя и с презрением, сделали бы такие уступки тем, кто им безразличен!..

Аннету мучило то, что она вызвала такую бурю в душе Жюльена. Прав ли он? Аннета не считала свои суждения непогрешимыми. Она всегда старалась понять и чужую точку зрения. Характер ее еще не совсем сложился.

Нравственный инстинкт был очень силен, но убеждения не выработались окончательно, и она считала себя вправе их пересматривать. Она очень рано поняла, как фальшива мораль окружавшего ее общества. Она ни в чем не находила опоры, кроме своего разума, а он часто уводил ее от истины. И она искала. Искала таких человеческих мыслей, в атмосфере которых можно дышать. И когда она встречала честную душу, как у Жюльена, она жадно старалась узнать ее поближе, проверяя, не откликнется ли та на ее зов.

Эта мятежница жаждала веры в кого-нибудь! И она все искала, искала себе духовной родины... Как ей хотелось обрести с Жюльеном общую родину, признать ее законы, даже если бы они ее осуждали! Но одного желания мало. Она не могла мириться с тем, чего хотел Жюльен, – это было что-то неестественное!

Она сказала ему ласково:

– Вижу, что и вы меня осуждаете, как осудил свет. Я вас не упрекаю.

Меня восхищают блюстители нравственности и строгость их законов. У них свое место в мире, и я знаю: эти законы пустили крепкие корни в людях вашей породы. Естественно, что вы им подчиняетесь. Я уважаю ваши убеждения... Но поймите, дорогой мой: я не могу,

как бы ни старалась, раскаясь в поступке, за который все меня порицают, – не могу, потому что он дал мне моего ребенка... Жюльен, друг мой, как отречься от того, что стало мне единственным утешением, самой чистой радостью, какой мне, может быть, не пошлет больше судьба? Не пытайтесь же ее заклеить, а лучше, если любите меня, разделите со мной мое счастье! В нем нет ничего для вас оскорбительного!..

Она говорила – и чувствовала, что Жюльен ее не понимает, что ее слова только еще больше раздражают его. На душе у нее было очень тяжело. Что же делать? Лгать ему? Нет, достаточно унижительно уже и то, что она могла подумать о таком выходе... Но как допустить, чтобы расширилась трещина в их отношениях, которые ей так дороги? Она ощущала эту трещину, как рану в сердце. И перед каждым свиданием с Жюльеном она с ужасом спрашивала себя, что прочтет сегодня на его лице...

Жюльен, как многие мужчины, когда они уверены, что их любят, низко пользовался этим и сознательно мучил Аннету. Теперь уже он проверял свою власть над нею. Он уже меньше дорожил Аннетой, так как был уверен, что она дорожит им...

А она все понимала, все! Она кляла себя за то, что обнаружила перед Жюльеном свою слабость. И продолжала ее обнаруживать. Она суеверно твердила себе: если это суждено, она будет женой Жюльена, что бы она ему ни говорила, а если нет, то она все равно его потеряет...

Но в глубине души ей хотелось верить, что этой покорностью она умиловит судьбу и Жюльен смягчится...

«Вот я отдаюсь в твои руки. Неужели ты за это будешь меньше любить меня?..»

В уме Жюльена шла усиленная работа. Он любил Аннету (нет, желал ее!). все так же сильно, и как знать... (Впрочем, он не хотел ничего знать.).

Словом, он по-прежнему хотел, чтобы она стала его женой. Но теперь он был уверен, что и мать ни за что не даст на это согласия и сам он на это не решится. Причин было много: и горькая обида, и оскорбленное мужское самолюбие, и то, что он осуждал Аннету за «безнравственность», и страх:

«что скажут люди?», и ревность, смешанная с отвращением... Все-таки он старался не раздувать в себе этих чувств. «Ладно, ладно, знаю, но не лезьте вперед!..» Ум его прибегал ко всяким уверткам, чтобы удовлетворить и тайные доводы против брака и его желания... Аннета вела себя в прошлом как женщина без предрассудков, как сторонница свободной любви.

Он этого не одобрял, нет! Но, собственно говоря, если она такова, почему бы ей не сойтись и с ним, раз она его любит?

Он не высказал ей этого так грубо, напрямик. Он стал ссылаться на всякие непреодолимые препятствия к их браку. Когда Аннета опровергала одни доводы, он изобретал другие: говорил о сопротивлении матери, с которой им необходимо будет жить вместе, о том, что у него очень трудное материальное положение, а Аннета привыкла к роскоши, к светской жизни (он умышленно забывал, что бедняжке вот уже два года приходилось бегать по урокам!), о различии их характеров и темперамента. (Этот последний аргумент был выдвинут в самом конце, к ужасу и отчаянию Анкеты, которая уже воображала, что все преграды ею сметены.) Жюльен с упрямой неискренностью старался себя очернить, чтобы доказать ей, что он для нее неподходящий муж. Аннета не знала, плакать ей или смеяться. Больно было слушать, как он выискивал всякие предлоги, чтобы увильнуть. Но она, забыв гордость, делала вид, что не понимает этого, изо всех сил старалась находить возражения, отчаянно боролась, чтобы только не дать ему уйти.

А он и не думал уходить. Он не отказывался брать. Он отказывался давать...

Когда цель его усилий и маневров стала ей, наконец, ясна, когда она поняла, чего он от нее добивается, она была не столько возмущена, сколько подавлена. У нее уже не было сил возмущаться. Стоило ли продолжать борьбу? Так вот чего он хочет!.. Это он-то, Жюльен!.. Жалкий человек!.. Неужели он себя не знает? Не знает, что привязало ее к нему? Ведь она его любит только за нравственную стойкость и чистоту. Вот уж кому не к лицу, совсем не к

лицу роль донжуана, волокиты, ветреного любовника!

(Даже в горе Аннета сохраняла чувство юмора и трезвую способность ума подмечать в жизни наряду с трагическим и смешное.).

«Мой милый! – мысленно говорила она Жюльену со смешанным чувством нежности, жалости и отвращения. – Мой милый, ты мне больше нравился, когда строго осуждал меня! Тебе на это давали право твои понятия о любви, узкие, но возвышенные. А сейчас ты это право утратил. Что мне делать с той жалкой любовью, которую ты мне сейчас предлагаешь, с любовью без доверия? Раз нет доверия, нас ничто больше не связывает...»

Любовь бывает разная: там, где одна расцветает, другая вянет. Плотская любовь обходится без уважения. Любовь, основанная на уважении, не может унизиться до простого наслаждения.

«Нет! – мысленно восклицала Аннета в порыве возмущения. – Я скорее стану любовницей первого встречного, если он мне понравится, но только не твоей! Ведь я тебя люблю!..»

С Жюльеном такие отношения были бы для нее позорны и унизительны. Все или ничего!

И скрытым домогательствам Жюльена был дан мягкий, но решительный отпор, сильно задевший его. Строго осуждая друг друга, они все же не могли разлюбить, не могли примириться с тем, что счастья не будет. Втайне стремясь и вызывая друг к другу, даже предлагая себя, они не в силах были произнести то слово, что соединило бы их: Жюльену мешало духовное бессилие, которым, за редкими исключениями, отличаются мужчины (и это смеет утверждать мужчина!), то малодушие, в котором они никогда не признаются;

Аннете мешала непреодолимая женская гордость, в которой женщины тоже не хотят сознаваться. Ибо и мужчины и женщины так искалечены условной моралью нашего общества, основанного на господстве мужчины, что и те и другие забыли, какими их создала природа. Не всегда слабее те, кого у нас называют слабым полом. В женщине гораздо больше органических сил, сил земли. И хотя она и опутана сетями, расставленными ей мужчиной, она всегда остается пленницей непокоренной...

Жюльен смутно угадывал истинные причины упорства Аннеты и нимало не сомневался в ее внутренней честности. Но он не мог победить свое малодушие, он считался с мнением людей, которых уважал меньше, чем Аннету. Он примирился бы с прошлым Аннеты, если бы не голос света (он убедил себя, что это голос его совести). У него не хватало храбрости жениться на женщине, которую он избрал, и свою трусость он называл чувством чести, но он не мог до конца обмануть себя и сердился на Аннету за то, что и она не хотела его обманывать. Оставалось только порвать с нею, но и на это он не мог решиться. И когда Аннета говорила, что им надо расстаться, он цеплялся за нее, колебался, мучился сам и мучил ее. Он не хотел жениться – и не хотел отказываться от Аннеты. Это была жестокая игра. Он то поддерживал в ней надежду, то больно ранил ее сердце. Когда Аннета бывала с ним особенно нежна, он замыкался в себе и отталкивал ее, а когда она, покорившись необходимости, хотела уйти, становился нежен.

Аннета тяжело переживала муки оскорбленной любви. Сильвия заметила, что ее что-то грызет, и в конце концов вырвала у нее признание. Она видела Жюльена и сразу его раскусила.

– Он из тех, которые не решатся, пока их не заставишь. Способов есть много, добейся от него согласия. Потом он сам же будет тебе благодарен.

Но для Аннеты была нестерпима мысль, что Жюльен впоследствии может винить ее (хоть бы мысленно) и жалеть, зачем женился на ней. Когда уже нельзя было не видеть, что это человек безнадежно слабохарактерный и нечего ждать от него какого-либо твердого решения, от которого эта неустойчивая душа не стала бы потом отречься, Аннета порвала с ним сразу.

Она написала ему, что не хочет больше длить бесполезные мучения. Она страдает, он страдает, а ведь жить-то надо! Она должна работать для сына, у него тоже есть свое дело в

жизни, и она слишком долго его отвлекала от этого дела. Зачем изматывать силы? Этих сил не так уж много! Если они не могут дать друг другу счастье, так не надо по крайней мере делать друг друга несчастными! Надо перестать встречаться! Она благодарила его за все.

Жюльен не ответил на письмо. Наступило молчание... В душе его боролись обида, сожаление и неудовлетворенная страсть...

Их любовь не была тайной ни для кого из окружающих. Заметил ее и Леопольд и не сумел скрыть от Сильвии свое раздражение. Тягостное воспоминание о его бесславном покушении оставило в душе Леопольда невольную досаду на Аннету, и, хотя с тех пор прошло несколько месяцев, досада эта не только не улеглась, а напротив, стала острее, так как теперь он уже мог лгать самому себе, будто забыл, чем она вызвана. Сильвию, которая и без того была настороже, поразило странное поведение мужа. Она стала за ним наблюдать – и теперь больше не сомневалась: он ревновал Аннету! По какой-то удивительной логике сердца Сильвия злилась за это не на него, а на Аннету и была близка к тому, чтобы возненавидеть сестру. Такие крайности отчасти объяснялись тяжелым физическим состоянием Сильвии. Но беда была в том, что, даже когда состояние это прошло, чувства, вызванные им, остались.

В октябре Сильвия родила девочку. Все радовались. Аннета чувствовала к ребенку такую страстную нежность, как будто это был ее собственный. Но Сильвии очень было неприятно видеть свою дочку на руках у Анкеты. Она больше не пыталась скрыть враждебность, которую до тех пор в себе подавляла. Последние несколько недель Аннета, выслушивая оскорбительные замечания сестры, объясняла их нездоровьем, но теперь она уже не могла сомневаться в том, что Сильвия ее разлюбила. Она молчала, стараясь ни в чем не перечить сестре. Она все еще надеялась, что их бывшая нежная дружба вернется.

Сильвия встала с постели. Отношения между сестрами внешне оставались прежними, и посторонние не замечали никакой перемены. Но Аннета чувствовала в Сильвии холодную враждебность, и ей было больно. Хотелось взять Сильвию за руки и спросить:

«Что с тобой? За что ты сердишься? Дорогая, скажи!»

Но она не решалась: взгляд Сильвии леденил ее. Она инстинктивно чувствовала, что если Сильвия заговорит, то будет сказано непоправимое.

Уж лучше молчать. Аннета чуяла в обращении сестры сознательное желание оскорбить, уязвить ее. С этим невозможно было бороться.

Однажды Сильвия объявила Аннете, что ей нужно поговорить с ней. У Анкеты сильно забилося сердце, она мысленно спрашивала себя:

«Что-то она мне скажет?»

Сильвия не сказала ей ничего обидного, ни словом не заикнулась о причинах своего раздражения. Она завела речь о том, что Аннете надо выйти замуж.

Аннета попробовала осторожно уклониться от этой темы. Но Сильвия настойчиво сватала ей одного приятеля Леопольда. Он был немножко маклер, немножко журналист, человек, не лишенный некоторого «блеска», со светскими манерами и разнообразными (слишком разнообразными!) доходами: он перепродавал автомобили, сочинял рекламы, занимался посредничеством, вербуя для разных предприятий клиентуру в светских салонах и клубах и получая комиссионные от обеих сторон. Насколько же изменилось отношение Сильвии к сестре, если она могла сватать ей такого человека! Аннету задело это сознательное неуважение к ней, свидетельствовавшее о полном отсутствии любви. Она жестом остановила Сильвию, расписывавшую достоинства кандидата. Сильвия рассердилась и ворчливо спросила, какого же еще мужа ей нужно. Аннета ответила, что никакого, что она хочет жить одна и быть самостоятельной. На это Сильвия возразила, что сказать легко, но надо еще уметь быть самостоятельной.

– Разве я не умею?

– Ты? Сильно сомневаюсь!

– Ты ко мне несправедлива. Я могу сама прокормить себя.

– Да, с помощью других! В тоне, каким это было сказано, еще больше, чем в словах,

чувствовалось желание оскорбить. Аннета вспыхнула, но промолчала – она не хотела доводить дело до ссоры.

С этого дня дурное настроение Сильвии проявлялось уже открыто. Все давало повод к вспышкам: малейшее возражение во время разговора, какая-нибудь деталь туалета, опоздание Аннеты к обеду, шумная беготня маленького Марка по лестнице. Совместные прогулки прекратились. Если они уговаривались поехать куда-нибудь в воскресенье всей семьей, Сильвия уезжала вдвоем с Леопольдом, не предупредив сестру, а потом ее же винила в том, что она якобы не пришла вовремя. Или в последнюю минуту задуманная прогулка отменялась.

Аннета видела, что ее присутствие тяготит Сильвию. Она робко намекнула, что думает поискать квартиру в другом квартале поближе к своим ученикам. Она надеялась, что против этого громко запротестуют, что ее будут уговаривать остаться. Но ее как будто и не слышали.

Аннета проявила малодушие – осталась. Она цеплялась за этого близкого ей человека, чувствуя, что теряет его. Ей тяжело было расстаться не только с Сильвией: она привязалась к маленькой Одетте. Не одну тяжкую обиду стерпела она молча, делая вид, что ничего не замечает. Но стала приходить реже.

Однако Сильвия считала, что и это слишком часто. Она все еще не пришла в нормальное состояние, ее мучила болезненная ревность. Раз, когда Аннета весело играла с Одеттой, не обратив внимания на сухое требование Сильвии оставить ребенка в покое, Сильвия, выйдя из себя, вскочила, вырвала у нее девочку и крикнула:

– Убирайся! В ее взгляде было столько враждебности, что потрясенная Аннета спросила:

– Да что я тебе сделала, скажи, пожалуйста? Не смотри на меня так, это ужасно! Ты хочешь, чтобы я ушла? Чтобы совсем ушла и никогда больше не приходила?

– Наконец-то догадалась! – сказала Сильвия злобно.

Аннета побледнела:

– Сильвия! Но та с холодной яростью продолжала:

– Ты живешь на мои деньги. Ну ладно, пускай. Но довольно и этого! А мой муж и моя дочь – только мои. От них руки прочь, понятно?

Аннета побелевшими губами тоскливо твердила:

– Сильвия! Сильвия!..

Но вдруг и она вышла из себя и крикнула:

– Жалкая женщина!.. Больше ты меня никогда не увидишь!

Она бросилась к двери и убежала.

А Сильвия, хотя в душе ей было стыдно за свою грубость, засмеялась фальшивым смехом:

– Да, как же! Сегодня прибежит!

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Аннета выбежала от Сильвии с твердым намерением никогда больше сюда не возвращаться. Она плакала. Она сгорала от стыда и задыхалась от гнева. Женщины с таким бурным характером, как она и Сильвия, разлюбив друг друга, неминуемо должны были дойти до ненависти.

Аннете казалось немыслимым оставаться с Сильвией под одной крышей.

Если бы можно было, она переехала бы на другой же день. К счастью для нее, пришлось подчиниться необходимости: надо было предупредить домовладельца об отказе от квартиры, найти новую. В первом порыве гнева Аннета готова была отвезти всю мебель на какой-нибудь склад и пока поселиться в гостинице. Но сейчас было не время сорить деньгами. Сбережения у нее были очень скудные – она тратила почти все, что зарабатывала. До сих пор она никогда не обращалась за помощью к сестре, но сознание, что в случае

нужды есть к кому прибегнуть, придавало ей уверенности, избавляло от неотвязной заботы о завтрашнем дне. Теперь же, когда она вздумала подсчитать, сколько ей нужно на жизнь, она с огорчением убедилась, что одного ее заработка не хватит. До сих пор расходы были меньше, потому что они с Сильвией, живя в близком соседстве, вели общее хозяйство. Весь гардероб мальчика состоял из подарков Сильвии, да и для Аннеты она шила платья в своей мастерской, беря с нее только деньги за материю. Прибавьте к этому, что Аннета пользовалась вещами Сильвии, всем тем, что могло служить им обоим. Потом – мелкие подарки, совместные воскресные прогулки, те скромные удовольствия, что окрашивают однообразие будней. Кроме того, Сильвия пользовалась кредитом у торговцев их квартала, а это давало возможность и Аннете оттягивать платежи. Теперь надо было сообразоваться с тем, что за все придется платить наличными. Начало предстояло трудное: переезд, уплата вперед за новую квартиру, расходы на устройство. И надо было решить самый главный вопрос: кто будет смотреть за ребенком? Сложный вопрос! Чтобы прокормить себя и его, ей нужно работать, а значит, уходить из дому – но на кого же тогда оставлять малыша? Аннета понимала, что никогда не справилась бы с этими затруднениями, если бы они встали перед ней раньше, когда Марк был еще совсем мал. Но как же справляются с ними другие женщины? Аннета жалела этих несчастных и презирала себя.

Отдать мальчика в закрытую школу, с пансионом?

Он был уже в таком возрасте, что мог поступить в лицей. Но Аннета ни за что не хотела запереть его в какой-либо из этих зверинцев. После всего, что она слышала о закрытых учебных заведениях (в наше время порядки там немного улучшились), да и чутьем угадывала в физической и моральной атмосфере этой общей свалки, она считала преступлением бросить туда ребенка. Она уверила себя, что Марку будет там тяжело. А между тем – как знать? – быть может, он был бы рад попасть туда и избавиться от нее. Но какая мать может себе представить, что она в тягость собственному ребенку? Аннета не соглашалась отдать его даже на полупансион. Она твердила себе, что у мальчика слабое здоровье, что он нуждается в особой диете, что за его питанием надо следить самой. Но прибегать домой в те часы, когда Марку полагалось есть, было очень утомительно, иногда ей требовалось как раз в эти часы идти на другой конец Парижа. Приходить, уходить, постоянно быть в движении! Того, что она зарабатывала уроками, на жизнь не хватало. Постоянно бывали какие-нибудь экстренные расходы, которых она не предвидела. Мальчик рос быстро, а Аннете хотелось бы, чтобы он не вырос из своих костюмчиков, как боб не вырастает из своего стручка: ведь так трудно было его одевать! Не могла она не обновлять и своего гардероба – этого требовала если не ее гордость, так ее профессия. Следовательно, приходилось искать добавочных заработков: переписку на дому, переводы, редактирование переводов (труд неблагодарный, плохо оплачиваемый), секретарскую работу в учреждениях один-два дня в неделю. За это платили мало, но все вместе могло давать порядочный приработок. Приходилось хвататься за любую работу. Аннета так и делала. Ее ненавидели за это изголодавшиеся конкурентки, с которыми она теперь снова сталкивалась в погоне за куском хлеба. «Но с сентиментальностями кончено! – говорила себе Аннета. – Надо идти своей дорогой. В нашей жизни никто не оборачивается, чтобы поднять упавших». Порой она мельком замечала искаженное злобой лицо, враждебный взгляд отесненной соперницы, которой она в другое время охотно помогла бы. Но сейчас нельзя, надо поспеть первой! Теперь Аннета знала, где искать работу, и умела избирать самый короткий путь к ней. Ее диплом и ученая степень давали ей преимущество перед другими. И она знала, что преимущество ей дает еще и уверенность в себе, глаза, голос, костюм, умение пленять нанимателей. Когда нужно было выбрать между ней и другими кандидатками, наниматели редко колебались. А оставшиеся за бортом не прощали ей этого.

Аннета распределяла свой день разумно и строго. Ни минуты на праздные размышления! Жить изо дня в день! Каждый день был заполнен до краев.

Первые недели она прожила в постоянном трепете, не зная, сможет ли прокормить себя и сына. Затем она приспособилась к новой жизни, успокоилась и даже начала находить

удовольствие в преодолении трудностей. Конечно, в те редкие минуты, когда необходимость действовать не держала ее в напряжении, по вечерам, когда она опускала голову на подушку, в мозгу ее теснились мысли о том, как свести концы с концами, и всякие заботы: «А что, если я свалюсь?.. Заболею?.. Нет, не хочу об этом думать! Спать, спать!..» К счастью, она за день очень уставала, и сон не заставлял себя долго ждать. А там наступал новый день, в котором не было места подобным страхам и всяким «если», не было места всему тому, что отнимает у человека силы, расстраивает нервы, иссушает душу. Труд и нужда ставили все на свое место, указывали, что необходимость, а что роскошь.

Необходимостью был хлеб насущный. Роскошью – потребности сердца...

Ну, могла ли Аннета раньше представить себе, что когда-нибудь они будут казаться ей чем-то второстепенным!.. А сейчас было именно так. Пусть прислушиваются к ним те, у кого много свободного времени! А у нее времени в обрез, едва хватает на все. На каждое действие одна мысль – не больше!

Она ощущала полноту сил, она была в безопасности, как прочно сидящая в воде лодка, пущенная по волнам.

Аннете шел тридцать третий год, ее энергия еще не иссякла. Она убеждалась, что не только не нуждается в опеке, но без чужой поддержки стала еще сильнее. Суровая жизнь ее закалила. И первым благодеянием, которое эта жизнь ей оказала, было освобождение от навязчивых мыслей о Жюльене, от любовной тоски, то глухой, то неистовой, отравившей ей предыдущие годы. Она вдруг увидела всю приторность своих сентиментальных мечтаний, этой нежности, мягкости, лицемерно скрываемой чувствительности: ей теперь и вспоминать о них было противно. Нет, воевать с беспощадной жизнью, выдерживать ее ранящие прикосновения, поневоле и самой быть жесткой – это хорошо, это живет и укрепляет! Возрождалась к жизни значительная часть ее души, лучшая, быть может, и, конечно, более здоровая.

Аннета больше не уходила в мечты и не мучила себя... Она не тревожилась даже о здоровье сына. Когда он заболел, она делала все нужное, но не беспокоилась заранее и не вспоминала об этом потом. Она была ко всему готова, смела и верила в себя. И это оказалось лучшим средством от всех бед. За первые годы упорного труда она ни одного дня не болела. Да и мальчик не давал ей больше никогда повода к серьезному беспокойству.

Ее умственная жизнь была теперь так же строго ограничена, как и жизнь сердца. Почти не оставалось времени для чтения. Казалось, это должно было бы ее огорчать... Нисколько! Ум ее заполнял пустоту из собственного запаса. У него хватало работы: надо было разобраться во всех сделанных открытиях. А за первые месяцы новой жизни Аннета сделала множество открытий. Можно сказать, все было для нее открытием. Однако что же, собственно, изменилось в ее жизни? Что было ново? Труд? Но она уже знала его и раньше (так ей казалось). И город и люди были сегодня те же, что и вчера...

А между тем все в один день переменилось. С того часа, как Аннета начала погоню за куском хлеба, началось для нее и подлинное открытие мира.

Любовь и даже материнские чувства не были открытием. Они были заложены в ней, а жизнь только выявила какую-то малую долю того и другого. Но едва Аннета перешла в лагерь бедняков, ей открылся мир.

Мир представляется нам разным, в зависимости от того, откуда мы на него смотрим – сверху или снизу. Аннета как бы шла сейчас по улице, между длинными рядами домов: на улице видишь только асфальт, грязь, угрожающие твоей жизни автомобили, поток пешеходов. Видишь небо над головой (изредка ясное), если у тебя есть время поглядеть вверх. А все остальное исчезает из поля зрения: все содержание прежней жизни, общество, беседы, театры, книги, все, что тешило сердце и ум. Знаешь хорошо, что оно есть, и, быть может, еще любишь все это, но приходится думать о другом: смотреть под ноги и вперед, осторожно лавировать, шагать быстро. Как спешат все люди!.. Но, глядя сверху, видишь только ленивое колыхание этой реки; она кажется спокойной, потому что мы не замечаем ее быстрого течения.

Погоня, погоня за хлебом!..

Аннета и раньше тысячу раз думала о мире труда и нужды, о той жизни, какую теперь вела и она. Но ее тогдашние мысли не имели решительно ничего общего с тем, что она думала сейчас, когда стала частицей этого мира...

Прежде она верила в демократическую истину о правах человека и считала несправедливым, что массы обманным образом лишены этих прав. Теперь ей казалось несправедливым (если еще можно было говорить о справедливости и несправедливости) то, что правами пользуются привилегированные. Не существует никаких прав человека! Человек ни на что не имеет права. Ничто ему не принадлежит. Приходится все решительно отвоевывать сызнова каждый день. Так заповедал господь: «В поте лица твоего будешь есть хлеб твой». А права – это хитрая выдумка изнемогшего борца, который хочет закрепить за собой трофеи былой победы. Права Человека – это накопленная сила вчерашнего дня. Но единственное реально существующее право – это право на труд. Завоевания каждого дня... Как неожиданно предстало пред Аннетой это зрелище – поле битвы за существование! Но оно ничуть не устрасило ее. Мужественная женщина принимала бой, как необходимость, находила это в порядке вещей. Она была к нему готова, она была молода и полна сил. Победит – тем лучше! Будет побеждена – тем хуже для нее! (Но такая не будет побеждена!..) Аннета не отвергала жалости, она отвергала лишь слабость. Первейший долг человека – не быть малодушным!

Этот закон труда по-новому все объяснял. Аннета проверяла свои прежние верования, и на обломках старой морали воздвигалась новая мораль – искренности и силы, а не фарисейства и слабости... Рассматривая в свете этой новой морали мучившие ее сомнения, в особенности то, которое она таила на самом дне души: «Имела ли я право родить ребенка?» – Аннета отвечала себе:

«Да, если я смогу его вырастить, если сумею сделать из него человека. Сумею – значит, я хорошо поступила. А не сумею – значит, плохо. Вот единственная мораль, остальное вселицемерие...»

Этот окончательный приговор удваивал ее силы и радость борьбы...

Вот о чем размышляла Аннета, шагая по улицам Парижа, спеша с одной работы на другую. Ходьба как-то подстегивала мысли. Сейчас, когда ее день был строго распределен, мечты опять предъявили свои права. Но теперь это были мечты бодрые, светлые, четкие, без всякого тумана. Чем меньше времени она им уделяла, тем настойчивее они заполняли каждую свободную минутку, подобно плющу, который, разрастаясь, покрывает стены. Свои новые, более широкие понятия об истинной человеческой морали Аннета проверяла опытом каждого дня. Труд и бедность открыли ей глаза. По-новому обнажалась перед ней ложь современной жизни, которой она не замечала, пока сама была ею опутана, чудовищная бесполезность этой жизни – девяти десятых этой жизни, в особенности женской... Есть, спать, рожать... Впрочем, последнее – как раз та десятая часть, которая полезна. А все остальное?

Так называемая цивилизация? То, что именуют умственной деятельностью?..

Да создан ли действительно человек, *vulgus umbratum*,⁴² для того, чтобы мыслить? Он хочет себя в этом убедить, он внушил себе эту идею и держится за нее, как за все, освященное традицией. На самом же деле он никогда не мыслит. Не мыслит, читая газету, сидя за письменным столом, вертясь в колесе повседневной работы. Колесо вертится вместе с ним – и все впустую. Мыслят ли девушки, которых она, Аннета, обучает? Что они понимают в тех словах, которые слышат, читают, говорят? К чему сводится их существование? Кое-какие сильные и мрачные инстинкты тлеют под ворохом мишуры. Желать и наслаждаться... Мысль – тоже мишура, которой они украшают себя. Кого люди обманывают? Самих себя... Что кроется под оболочкой современной цивилизации с ее

⁴² Скопище теней (лат.).

роскошью, ее искусством, суетой и шумихой? Ах эта шумиха! Она – одна из масок цивилизации, надеваемых для того, чтобы думали, будто она стремится к какой-то цели! Какой цели? Она летит вперед только для того, чтобы забыться... Под ее оболочкой – пустота. А люди кичатся ею. Они кичатся этой мишурой, пустыми словами, побрякушками. Как редки люди, жизнь которых – осуществление закона необходимости! Тысячелетний зверь ничего не понимает и не внимлет голосу своих богов и мудрецов: для него они только еще одна побрякушка. Он не выходит из замкнутого круга желаний и скуки... До чего непрочно здание человеческого общества! Оно держится лишь силой привычки. Оно рухнет сразу...

Трагические мысли. Но они не омрачали горячей души Аннеты. Ведь радость и горе рождаются в человеке не под влиянием отвлеченных идей, а по каким-то глубоким внутренним причинам. Душа немощная может зачахнуть от тоски и под безоблачным небом, а душа здоровая и сильная бодро выдерживает шквалы, укрываясь за тучами, как солнце, и твердо веря, что буря минет. Иногда Аннета приходила домой разбитая, и будущее казалось ей беспросветным. Она ложилась в постель, засыпала – а проснувшись среди ночи, способна была беспечно смеяться, вспоминая забавный сон. Или иной раз сидит она вечером, согнувшись над работой, и, пока пальцы делают свое дело, мозг делает свое. Вдруг ей придет в голову какая-нибудь смешная мысль – и вот уже ей весело! Она старается сдержать смех, чтобы не разбудить Марка. Она твердит себе: «Какая я глупая!» – и утирает глаза.

А на душе уже легче. Эти ребяческие внезапные переходы от печали к веселью были спасительным наследием предков. Когда сердце заволакивали тучи, вдруг налетал ветер радости и разгонял их.

Нет, Аннете не нужны были ни развлечения, ни книги! У нее было что читать в собственной душе. А самой увлекательной книгой был ее сын.

Ему скоро должно было исполниться семь лет. Перемену обстановки он перенес гораздо легче, чем можно было ожидать: ведь каждая перемена, к лучшему она или к худшему, все-таки перемена. Малыш и сам при этом менял кожу, подобно змейке... Как дети неблагодарны! Марк теперь отлично обходился без ласк и баловства Сильвии (а она-то была так уверена в своей власти над ним!). Дня через два он перестал и вспоминать тетку.

Взрослые неверно себе представляют, что нравится и что не нравится детям. Из того нового, что появилось в его жизни. Марка больше всего радовал лицей, куда мать посылала его скрепя сердце, да еще те часы, когда он оставался в квартире один и когда некому было им заниматься.

Аннета поселилась на густо населенной улице Монж.

Крутая лестница, тесная квартирка на шестом этаже, шум города. Зато из окон открывался широкий вид, простор над крышами, и Аннете больше ничего не нужно было. Шум ей не мешал: как истая парижанка, она привыкла к шуму и движению, она в них почти нуждалась. Ей даже как-то лучше мечталось среди этой сутолоки. Да и характер ее, может быть, изменился с наступлением зрелости. Полнота физической жизни и регулярный труд придали ей уверенности в себе; она обрела то душевное равновесие, которое раньше посещало ее не всегда, а если посещало, то ненадолго.

Часть квартиры – окнами на улицу – состояла из комнаты Аннеты, служившей одновременно и гостиной (вместо кровати здесь стоял диван), комнатухи Марка и фонаря, выходившего на угол двух улиц. По другую сторону коридора, в котором было темно даже среди бела дня, находились столовая окнами во двор и кухня, где почти все пространство было занято плитой и раковиной.

Дверь из комнаты матери в комнату сына всегда оставалась открытой, и Марк был еще слишком мал, чтобы протестовать. Он был в переходном возрасте между бесполом детством и первым неясным пробуждением в мальчике мужчины: он вышел из детства и еще не достиг зрелости. Марк иногда воскресным утром по-прежнему забирался в постель к матери и в торжественные дни позволял ей одевать себя. Правда, в другое время у него бывали приступы даже чрезмерной стыдливости, всякие причуды и в особенности периоды

скрытности, когда он не терпел вмешательства в свои дела. Он потихоньку закрывал дверь в свою комнату. Аннета ее опять открывала. Он не мог сделать ни одного движения, чтобы она не услышала. Это было невыносимо. Оставалось только не шевелиться – тогда она о нем забывала, но ненадолго, ненадолго!..

К его удовольствию, Аннета мало сидела дома: ей нужно было выходить.

Лицей, в котором учился Марк, находился поблизости. Аннета отводила туда сына по утрам, а когда бывала свободна (что случалось редко), то и днем.

Но приходиться за ним в лицей она не могла – в эти часы она давала уроки.

Марк возвращался домой один, и мать это беспокоило. Попробовала она уговориться с соседями, чтобы служанка, которую они посылали в лицей за своим мальчиком, приводила домой и Марка. Но Марку это не нравилось, и он постоянно удирал, не дождавшись служанки. Гордый собой, но немного труся в душе, он шел домой один и запирался в пустой квартире. Пока не вернулась мать, бывало так хорошо! Аннета бранила его за своеволие и независимость. Но, не признаваясь себе в этом дурном чувстве, она была довольна, что у него нет товарищей. Она не доверяла товарищам, боялась, как бы ей не испортили сына... Ее сына! Значит, она была твердо уверена, что он принадлежит ей? Конечно, она старалась умерить эгоизм своей любви. Когда Марк был еще совсем мал, она испытывала слепую и жадную потребность как бы поглотить, растворить в себе это крохотное существо.

Сейчас было уже не так – сейчас она признавала в нем личность. Но она убедила себя, что у нее есть ключ к душе мальчика, что она лучше его самого знает, в чем его счастье и чего он хочет. Она стремилась лепить эту душу по образу и подобию того бога, которому тайно поклонялась. Как большинство матерей, считая себя неспособной создать в жизни то, чего хочет, она мечтала, что это будет создано тем, в ком течет ее кровь.

(Вечная мечта Вотана, которая вечно остается неосуществимой!).

Однако, чтобы формировать душу сына, нужно было крепко держать ее в руках. Не дать ему вырваться!.. И Аннета делала для этого, что могла, делала больше, чем следовало! А Марк с каждым днем все дальше отходил от нее. Она в унынии замечала, что все меньше и меньше понимает его. Хорошо знала она только одно: его тело, состояние его здоровья, его болезни, все малейшие их симптомы – тут чутье никогда ее не обманывало. Это дорогое, хрупкое тельце было у нее на глазах, она его касалась, мыла, ухаживала за ним... Казалось, его можно видеть насквозь... Но что кроется в его душе? Она пожирала глазами мальчика, обнимала ненасытными руками, он весь принадлежал ей...

– Боже! Как я тебя люблю, звереныш! А ты любишь меня?

Марк вежливо отвечал:

– Люблю, мама.

Но что было у него на уме?

В семь лет Марк не обнаруживал ни единой семейной черты. Напрасно изучала его Аннета, ища хоть какого-нибудь сходства, стараясь убедить себя, что оно есть... Нет, он не походил на нее: не тот лоб, не тот разрез глаз. Он не унаследовал от Ривьеров и характеры ной формы рта, особенно заметной у Аннеты: губы у них были несколько выпячены, – казалось, напор внутренней силы, напряжение воли приподнимает их, как дрожжи поднимают тесто. Единственное, что Марк взял от матери, – цвет глаз, – терялось среди всего чужого. Но откуда же это чужое? От отца? От семьи Бриссо? Тоже нет! Во всяком случае, пока это было незаметно, и Аннета ревниво твердила про себя:

«Никогда!»

Но разве ей так уж неприятно было бы увидеть в лице сына какую-нибудь черту Рожэ? Разве это не доставило бы ей тайной радости? Вспоминая человека, которому она когда-то отдалась, Аннета, не сознавая себе в этом, испытывала не только горечь, но и тоску. Тосковала она, впрочем, не столько по настоящему Рожэ, сколько по тому, которого она себе выдумала, и в сущности этому-то, созданному ее мечтой, Рожэ она и отдалась когда-то. Если бы она увидела его вновь в сыне, она испытала бы чувство своеобразной гордости, как будто, взяв от Рожэ ту форму, которую любила, и вселив в нее свою душу, она одержала над ним

победу. Да, она хотела бы, чтобы Марк наружностью походил на Рожэ, а душой – на нее.

Однако Марк был не похож ни на отца, ни на мать. Лицу Рожэ недоставало своеобразия и выразительности, свойственных Ривьерам, но оно отличалось красотой простых и правильных черт; это была книга, в которой легко было читать. А выражение детского лица Марка было неуловимо. Как его разгадать?

Красивые и тонкие, но не правильные черты, узкий лоб, женственный подбородок, немного прищуренные глаза, нос... Откуда у него такой нос, длинный и острый, с тонкими ноздрями? А большой, немного кривой рот с узкими и бледными губами? Все в этом лице было неопределенно, изменчиво: оно напоминало неподвижную на вид, но зыбкую почву... Конечно, характер мальчика еще не сформировался, в нем ничего еще не определилось. Но в каком направлении пойдет это формирование? Или так все и останется неопределенным?

Со времени перенесенной им тяжелой болезни этот ребенок на первый взгляд казался (а может быть, и был?) нервным и впечатлительным. Но при более внимательном наблюдении он поражал спокойной сдержанностью, равнодушным и замкнутым выражением лица. Никакой строптивости, угрюмости; никогда от него не услышишь «нет!».

– Хорошо, мама...

Но затем оказывалось, что он совершенно не принял во внимание того, что ему говорили: он просто не слушал... В самом деле не слушал? Трудно сказать! Он смотрел на Аннету, ожидая, что будет дальше. А она смотрела на него и думала: «Маленький сфинкс!» Он был сфинксом для всех, тем более, что сам себя не знал. Он и для себя был такой же загадкой, как для матери. Невелика забота! В семь лет мы уже не стремимся и еще не пытаемся познать себя. Зато Марк стремился узнать ее, свою госпожу и рабу. И времени для этого у него было достаточно, потому что Аннета целыми днями держала его при себе. Мать и сын наблюдали друг друга. Но ей это наблюдение ничего не давало.

Аннета ошибалась, думая, что мальчик не похож ни на кого из ее близких. Свойствами своего ума он удивительно напоминал деда, Рауля Ривьера.

Но Аннета очень мало знала отца, хотя и была уверена, что знает его хорошо. Она была слишком очарована им и поэтому за всю жизнь так и не разглядела настоящего Рауля. Иногда у нее мелькали кое-какие догадки, в особенности после того, как она прочла его знаменитую переписку. Но она не позволяла себе думать об этом. Ей хотелось сохранить об отце нежные и благоговейные воспоминания, пусть омраченные на мгновение и приукрашенные. К тому же она знала Рауля только таким, каким он был в последние годы жизни. Но если бы старик Ривьер мог вернуться с того света и со свойственной ему зоркостью рассмотреть своего незаконнорожденного внука, он сказал бы:

«Я начинаю жить снова».

Это было не совсем так. Ничто никогда не повторяется. В Марке ожили только некоторые черты деда.

Коварная игра природы! Через голову Аннеты эти два сообщника протягивали друг другу руки. И поразительнее всего было то, что прямодушная Аннета среди других черт передала внуку от деда замечательное умение притворяться. Делалось это не из необходимости лгать людям. Рауль Ривьер чувствовал себя достаточно сильным, у него было достаточно снисходительного презрения к своим современникам, и он ничуть не побоялся бы показаться им во всей своей наготе. Такое желание бывало у него часто, и все потом повторяли его жестокие и насмешливые словечки... Нет, то была не лживость, а потребность развлекаться, безнаказанно паясничать.

Чувство юмора, озорное желание играть роль, гримировать свои чувства, мистифицировать людей. У малыша такая наследственная черта проявлялась, конечно, в невинной форме. Это неустойчивая и очень сложная душа, в сущности совсем не проказливая и не легкомысленная, попала при рождении в оболочку с определенными наследственными чертами и пользовалась тем оружием, которым снабдила ее природа. Точно так же, если бы она попала в тело животного, покрытого шерстью или перьями, она пустила бы в ход свой клюв, когти, крылья. Но ее облекли в ветхие обноски старика Ривьера,

и она инстинктивно переняла лукавство и хитрость деда.

В обществе взрослых Марк был всегда начеку и умел подмечать в них все, что его касалось: на это была направлена вся его природная наблюдательность. И если он угадывал, каким его считают взрослые, он инстинктивно входил в эту роль, если только у него не являлось желания противоречить. А такое желание появлялось, когда его раздражали или когда ему хотелось позабавиться.

Одним из его любимых занятий было мысленно разбирать на части эти живые игрушки, отыскивать в них скрытые пружины, слабые места, испытывать их, играть ими, пускать их в ход. Это было не так уже трудно: взрослые были довольно примитивны и притом доверчивы, в особенности его мать.

Она возбуждала в нем любопытство. У нее была какая-то тайна. Намеки на эту тайну Марк слышал в мастерской Сильвии, когда сиживал у ног мастериц, не обращавших на него внимания. Он не очень-то много понимал, но тем интереснее и таинственнее казались ему их слова, и он пытался истолковать их. Гадал, фантазировал... У этого насторожившегося зверька с блестящими глазами голова постоянно работала.

Теперь, когда он часто сидел дома вдвоем с матерью (иногда по несколько дней, потому что у него было слабое здоровье, он легко простуживался зимою, и мать постоянно дрожала над ним), Аннета была главным предметом его наблюдений: распевал ли он, играл или мастерил что-нибудь – он в то же время с любопытством следил за матерью. У ребенка ум такой же быстрый и неутомимый, как его резвые ножки. Хотя бы он стоял к вам спиной, он все равно вас видит, словно у него на затылке глаза, и его кошачьи ушки, как флюгер, повертываются на звук голоса во все стороны. И пусть его внимание подобно вращающемуся маяку, пусть он и гонится сразу за несколькими зайцами, он никогда не теряет следа и не унывает, зная, что завтра начнет снова... Заяц, за которым охотился Марк, легко попадался. Увлекающаяся, любвеобильная, общительная Аннета не скряжничала: она расточала себя без оглядки.

Она то обращалась с Марком, как с маленьким, – и тогда он обижался и находил ее смешной; то разговаривала с ним, как с взрослым товарищем, равным ей по уму, – и мальчику становилось скучно, он про себя называл ее «надоедой». Иногда она при нем начинала думать вслух, произносить целые монологи, как будто он способен был что-нибудь понять! Тогда Марк решал, что она чудачка, и наблюдал за ней сердито и насмешливо. Он не понимал ее, но это ведь никому не мешает судить другого человека.

Марк придумал себе очень удобную манеру, которая годилась для всех случаев: наглуго и рассеянную вежливость благовоспитанного мальчика, который делает вид, будто слушает то, что он обязан слушать, но ничуть этим не интересуется (у него свои дела) и только ждет, чтобы взрослые поскорей замолчали. Иногда он в угоду матери разыгрывал ласкового и нежного сына. Он знал, что мать сейчас же так и загорится радостью. Аннета всем сердцем откликалась на его ласку, а он испытывал к ней снисходительное презрение за то, что она так легко попадает на эту удочку.

Когда же она вела себя не так, как он ожидал, он злился, но уважал ее больше.

Марк был не способен долго выдерживать роль.

Дети для этого слишком гибки и неустойчивы. Он изображал любящего сына и умилял Аннету нежностями, а через минуту бесстыдно показывал свое равнодушие к ней, и Аннета терялась, не знала, что думать.

Случалось, что, не стерпев разочарования и досады (особенно в те редкие минуты, когда у нее являлось смутное подозрение, что Марк упорно разыгрывает какую-то роль), Аннета со свойственной ей вспыльчивостью (да простят ее современные педагоги!) в раздражении шлепала его... Конечно, это было против всех правил и оскорбляло ребенка. В глазах англосаксонки Аннета, разумеется, навеки себя этим позорила. Но нам, старым французам, такие вещи не в диковинку... «Qui bene amat...».⁴³ Поговорку эту можно всегда

⁴³ Кто горячо любит... «тот строго наказывает» (лат.).

услышать в буржуазных семьях, где еще не совсем забыли латынь.

Всем нам в детстве взрослые таким способом доказывали свою любовь. И мы, как и сын Аннеты, в глубине души считали, что в трех случаях из четырех шлепки получены за дело. Но если мы, как Марк, и не переставали любить ту, которая нас ими награждала, то, по правде говоря, после этих шлепков она несколько теряла свой авторитет в наших глазах. Быть может, именно поэтому мы, как и Марк, чаще давали ей повод шлепать нас.

Отшлепанному представлялся удобный случай изображать из себя несчастную жертву. И Аннета, рассказывая в том, что злоупотребила своей силой, чувствовала себя виноватой. Приходилось умилять Марка. А он только и ждал, чтобы она первая подошла.

Торжество слабости! Этим оружием особенно умеют пользоваться женщины.

Но здесь в роли женщины оказывался ребенок. Это дитя, у которого еще не обсохло на губах материнское молоко, было более чем наполовину женственно, обладало хитростью и уловками девочек. Аннета была безоружна перед маленьким плутом. В столкновениях с ним она представляла сильный пол, этот глупый сильный пол, который стыдится своей силы и готов, кажется, просить за нее прощения. Борьба была неравная. Малыш издевался над нею.

Не надо думать, что Марк был просто хитрый комедиант, потешавшийся над людьми. В нем, так же как в его деде, уживались противоположные черты. Очень немногие способны были увидеть то, что скрывалось за шутовской маской старого Ривьера, ту драму, которую таят иногда под веселым цинизмом и жаждой наслаждений некоторые «завоеватели». В душе Рауля были темные провалы, куда никому не разрешалось заглянуть. Такие тайны скрываются за галльским смехом гораздо чаще, чем мы думаем, но люди хранят их про себя. У Аннеты они тоже были, и никогда она не посвящала в них отца.

Однако и его тайн она не знала точно так же, как теперь не знала души сына. Каждый из них оставался всегда замкнутым в себе. Странная стыдливость! Люди меньше стыдятся выставлять напоказ свои пороки и низменные аппетиты (а Рауль даже щеголял ими!), чем обнаруживать свою душевную трагедию.

У Марка была своя трагедия. У ребенка, который растет один, без братьев и товарищей, достаточно досуга, чтобы блуждать в погребках жизни.

А погреба Ривьеров были глубоки и обширны. Мать и сын могли бы там встретиться, но они не видели друг друга. Нередко, думая, что они очень далеко друг от друга, они шли рядом, минуя один другого, потому что оба брели в потемках, с завязанными глазами: Аннете мешал видеть демон страсти, все еще владевший ею, мальчику — эгоизм, естественный в его возрасте. Но Марк был еще только у входа в пещеру и не искал выхода, как искала его Аннета, натываясь на стены. Он притаился на одной из первых ступенек и грезил о будущем. Еще неспособный понять жизнь, он уже творил ее в мечтах.

Ему не пришлось далеко идти, он скоро наткнулся на страшную стену, перед которой душа человеческая встает на дыбы, объята ужасом: он увидел близко смерть. Стена эта росла, а болезнь ее опоясывала. Тщетно было искать выхода. Стена была сплошная — ни единого просвета. Не было надобности говорить Марку, что тут стена: он тотчас почуял ее в темноте и зафыркал, как лошадь, весь ошестинившись. Он ни с кем не говорил о смерти, и никто не говорил ему о ней. Все как будто условились молчать об этом.

Аннета, как все нынешние молодые женщины, была плохим педагогом. Когда она еще была молоденькой девушкой, она слышала вокруг много разговоров о педагогике и сама охотно с усиленной серьезностью рассуждала о ней, придавая методам воспитания гораздо больше значения, чем матери прежних времен, растившие детей вслепую. Но когда у нее родился ребенок, она оказалась безоружной против тысячи и одной неожиданностей, преподнесенных ей жизнью, и во многих случаях не знала, на что решиться. Она строила теории, но не применяла их или отвергала после первых же опытов, и в конце концов, положившись на инстинкт, предоставила всему идти своим чередом.

Религия была одним из тех вопросов, которые особенно ее заботили: она не знала, как

практически решить его для своего ребенка. Большинство подруг ее юности, девушки из богатой республиканской буржуазии, были воспитаны религиозными матерями и нерелигиозными отцами, но не страдали от столкновения двух мировоззрений: в светском обществе они отлично уживаются, как и многие другие противоречия, ибо здесь ни одно чувство не имеет третьего измерения. Аннета тоже ходила в церковь – по обязанности, как в лицей. К первому причастию она готовилась, точно к экзамену, добросовестно, но без всякого душевного волнения. Торжественные богослужения, на которых она присутствовала в церкви их богатого прихода, были в ее глазах чем-то вроде светских развлечений. Порвав со своей средой, она забросила и все религиозные обязанности.

Современное общество (а церковь – одна из его опор) сумело так извратить и опошлить великие человеческие чувства, что Аннета, хранившая в душе сокровища веры, которых с избытком хватило бы на сотню святош, считала себя неверующей. Было это потому, что она отождествляла религию с бормотанием молитв и устарелой экзотикой церковных обрядов. Религия была роскошью для богачей и утешительным обманом для глаз и сердец бедняков, утверждающим существующий порядок, а следовательно, их нищету.

С тех пор как Аннета перестала ходить в церковь, она ни разу не ощущала в этом потребности. Она не сознавала, что ее страстные порывы, самобичевания, бурные разговоры со своей совестью – это те же богослужения.

Она не хотела внушать своему сыну то, без чего сама прекрасно обходилась. Быть может, у нее и не возник бы даже этот вопрос, если бы (какой парадокс!) его не подняла Сильвия. Да, Сильвия, которая была не религиознее парижского воробья и в то же время не считала бы себя порядочной замужней женщиной, если бы дело обошлось без благословения церкви. И она находила неприличным, что Аннета не крестила сына. Аннета была другого мнения, но все-таки согласилась сделать это, чтобы Сильвия могла стать крестной матерью Марка, – и больше об этом не думала. Так обстояло дело, пока не появился Жюльен. То, что Жюльен был верующий и соблюдал все обряды, не сделало верующей Аннету, но внушило ей некоторое уважение к этим обрядам, и она задумалась над вопросом, которому до тех пор не придавала значения: что делать с Марком? Посылать его в церковь? Учить тому, во что она не верила сама? Она задала этот вопрос Жюльену, и он возмутился. Он стал горячо убеждать ее, что ребенку надо открыть божественные истины.

– Но если для меня это не истины? Значит, я должна лгать, когда Марк начнет задавать мне вопросы?

– Нет, не лгать, но не мешать ему верить, потому что это нужно для его блага.

– Нет, обман не может быть для него благом! И, когда он узнает, что я его обманывала, сможет ли он меня уважать? Не вправе ли он будет упрекать меня? Он перестанет мне верить, и, как знать, не помешает ли эта навязанная ему религия его дальнейшему разумному развитию?

Тут Жюльен насупился, и Аннета поспешила переменить разговор.

Но как же все-таки быть? Ее друзья, протестанты, советовали ей заставить Марка изучать все религии, и пусть сам выбирает, когда ему минет шестнадцать лет! Аннета хохотала: какие странные понятия о религии! Как будто это предмет, по которому сдают экзамен.

Ока так ничего и не решила. Гуляя с Марком, заходила в церковь, садилась в уголке, и они любовались лесом уходящих ввысь каменных колонн, бликами света, просачивавшегося в эту чащу сквозь цветные стекла, взлетом сводов и белыми хорами. Они наслаждались тихим, монотонным пением.

Здесь душа словно омывалась в грезах и сосредоточенности...

Марку, пожалуй, нравилось сидеть так, держа мать за руку, слушать и тихонько перешептываться с нею. Было тепло, уютно, почти сладострастное блаженство разливалось по телу...

Да, если бы это продолжалось не слишком долго! Ему быстро надоедала дремотная, разнеживающая тишина. Он испытывал потребность двигаться, он думал о конкретных

вещах. Мозг его работал: наблюдал, подмечал. Марк видел, что все в церкви молятся, а его мать – нет. И делал выводы про себя, не высказывая их вслух. Он вообще задавал вопросы редко, гораздо реже, чем другие дети: он был очень самолюбив и боялся, что его сочтут глупым.

Но однажды он все-таки спросил:

– Мама, что такое бог? Аннета ответила:

– Не знаю, милый.

– Так что же ты знаешь? Она засмеялась и притянула его к себе:

– Вот, например, знаю, что люблю тебя.

Ну, это для Марка была не новость, ради этого не стоило ходить в церковь!

Натура у него была не очень впечатлительная, и он не имел ни малейшей склонности ко всем тем смутным волнениям сердца, которыми тешатся «эти женщины». Аннета чувствовала себя совершенно счастливой, когда ее мальчик был с нею, когда ей не очень докучали материальные заботы и удавалось урвать час от неотвязных трудов. Ей незачем было искать бога далеко – он был в ее сердце. Марк же мог бы сказать о себе, что у него в сердце только он, Марк, а все остальное – чепуха. Он требовал, чтобы все было ясно и точно. Кто такой этот бог в конце концов? Это тот человек, что стоит перед алтарем в чем-то похожем на женскую юбку и золоченом нагруднике? Или привратник у входа, с тростью, в коротких штанах и чулках, обтягивающих икры? Или намалеванные на стенах церкви люди – по одному в каждом приделе, – которые сладко улыбались, точь-в-точь как те дамы лизуны, которых он терпеть не мог?

– Мама, уйдем!

– Почему? Разве тут нехорошо?

– Хорошо... Но пойдем домой!

Однако что же такое бог?... Марк больше не приставал с этим вопросом к матери. Когда взрослые признаются, что они чего-нибудь не знают, значит это их не интересует... И Марк самостоятельно продолжал свои изыскания.

Слышанные не раз слова молитвы: «Отец наш небесный» (такое местопребывание казалось уже в те времена сомнительным наиболее развитым мальчикам, ибо небесам предстояло стать для них новой ареной спорта). Библия, которую он перелистывал с равнодушным любопытством, как всякие другие старые книги, вопросы, с небрежным видом заданные взрослым, и подхваченные на лету ответы: «Бог – это невидимое существо. Он создал мир...» Вот как!..

Но это было уж совсем не понятно! Впрочем, Марк был сыном своей матери: бог не занимал его воображения. Одним владыкой больше или меньше – не все ли равно!..

Марка интересовало другое: собственное существование, и то, что этому существованию угрожало, и то, что будет с ним после. Глупые разговоры, которые велись в мастерской у Сильвии, довольно рано привлекали его внимание к этим вопросам. Девушки любили страшные истории, от которых мурашки бегали по коже, и без умолку рассказывали о всяких несчастных случаях, внезапных смертях, болезнях, похоронах... Смерть возбуждала их. А у мальчика это слово вызывало инстинктивный животный страх, все в нем вставало на дыбы. Вот об этом ему очень хотелось расспросить мать! Но здоровая духом Аннета никогда не говорила о смерти и никогда не думала о ней. Не до того ей было тогда! Надо было прокормить себя и сына. Когда мысли с утра до ночи заняты здешним миром, то раздумывать о мире загробном – праздное занятие, недоступная роскошь. Только когда те, кого мы любим, уходят от нас в иной мир, этот неведомый мир занимает главное место в наших мыслях. А сын Аннеты был здесь, с нею. Правда, если бы она его лишилась, и жизнь и смерть потеряли бы для нее всякую цену. Эту страстную натуру не мог бы удовлетворить мир бесплотных теней, мир без любимого тела!

Марк видел, что мать сильна и смела, всегда занята и не разделяет его страхов, и ему было стыдно обнаружить перед ней свою слабость. Значит, надо самому с этим справиться. А это было не так-то просто! Но, разумеется, маленький человечек не занимался решением

сложных отвлеченных вопросов. Ход его размышлений был таков: смерть – это исчезновение других людей. Ну и пусть себе исчезают, это меня не касается. Но я сам – неужели я тоже могу исчезнуть?

Как-то раз Сильвия при нем сказала:

– Что поделаешь, все мы умрем!..

Марк спросил:

– А я? Сильвия засмеялась.

– Ну, у тебя еще довольно времени впереди!

– Сколько?

– Пока не состаришься.

Но Марк отлично знал, что хоронят и детей. И потом, когда он состарится, все равно он будет тот же Марк. И он, Марк, когда-нибудь умрет...

Это ужасно! Неужели никак нельзя спастись? Должно же быть что-нибудь, за что можно зацепиться, – ну вот как за гвоздь в стене? Должна же быть рука, за которую можно ухватиться... «Не хочу исчезнуть!..»

Потребность в такой руке, естественно, могла бы привести и его, как столько других, к богу, к этой протянутой на помощь руке, которую рисуют людям страх и отчаяние. Но мать, по-видимому, не искала такой опоры, и этого было достаточно, чтобы и Марк отбросил эту мысль. При всем своем критическом отношении к Аннете он был всецело под ее влиянием. Раз она, несмотря на то, что ожидало и ее, могла быть спокойна, значит и он считал своим долгом держаться так же стойко, как она. Этот нервный, хрупкий, трусоватый мальчуган все же недаром был сыном Аннеты. «Если она, женщина, не боится, так я и подавно не должен бояться». Но не думать об этом, как не думают взрослые, – вот этого он не мог! Мысль приходит и уходит, и нельзя ей помешать, особенно ночью, когда не спишь... Ну что ж, тогда не надо бояться думать о том, что делается с человеком, когда он умирает...

Конечно, Марк не мог это знать. Его оберегали от всяких мелочных впечатлений, связанных со смертью. Он видел ее только на некоторых картинах в музее. Цепеня от ужаса, он ощупывал свое тело... Как бы узнать, увидеть? Одно неосторожное слово приоткрыло ему бездну, куда он жаждал заглянуть.

Как-то летним днем он торчал без дела у окна, развлекаясь тем, что ловил мух и обрывал им крылья. Ему смешно было смотреть, как они дрыгают лапками. Он не думал, что делает им больно, он видел в этом просто забаву. Мухи были для него живые игрушки, и их ничего не стоило сломать...

За таким занятием застала его мать и с запальчивостью, которой она никогда не умела обуздывать, схватила за плечи и стала трясти, крича, что он дрянной, мерзкий мальчишка...

– Хорошо было бы, если бы тебе вот так переломали руки? Разве ты не понимаешь, что мухам так же больно, как тебе?

Марк притворно захихикал, но слова матери его поразили. Такая мысль ему и в голову не приходила. Значит, животные чувствуют то же, что и он!.. Он не склонен был жалеть их, но с этих пор он смотрел на них уже другими глазами, внимательно, тревожно и враждебно. Лошадь, свалившаяся на улице... Раздавленная, визжащая собака... Он жадно приглядывался к ним... Желание узнать было так сильно, что заглушало жалость.

Так как за эту гнилую, серую зиму без солнца и морозов мальчик очень похудел и частые простуды, легкие, но предательские, выпили весь румянец с его щек, то к Пасхе Аннета сняла на две недели комнату у крестьян в Бьеврской долине. В комнате этой была только одна широкая кровать, и они с Марком спали на ней вместе. Марку это не очень-то нравилось, но его мнения не спрашивали. Зато весь день он, к своему удовольствию, бывал один: Аннета уезжала в Париж по делам и поручала надзор за мальчиком хозяевам, а те за ним совсем не смотрели. Марк с утра убегал в поле. Он пристально вглядывался во все, ища и в живых существах, и в неодушевленных предметах чего-то, ему не известного, но близко его касающегося, ибо во всем, что совершалось в природе, ему чудилась какая-то незримая связь с его собственным существованием. Раз он, бродя по лесу, услышал издали крики

мальчишек. Обычно он не участвовал в их играх, потому что хотел верховодить, но был для этого недостаточно силен. А сейчас его потянуло к ним. Подойдя ближе, он увидел, что пятеро или шестеро мальчиков стоят вокруг искалеченной кошки. Ей кто-то перешиб хребет, и мальчишки забавлялись тем, что переворачивали ее, тыкали в нее палками, всячески мучили. Марк, не раздумывая ни минуты, кинулся на сорванцов и пустил в ход кулаки. Опомнившись от неожиданности, вся орава с гиканьем бросилась тузить его. Марку удалось убежать, но убежал он недалеко – остановился в нескольких шагах и спрятался за дерево. Он стоял, заткнув уши, а уйти не решался... Через минуту-другую он подошел ближе. Озорники подняли его на смех. Они кричали:

– Эй ты, трусишка! Что, испугался? Иди сюда, посмотри, как она околевает!

Он подошел, не желая, чтобы его сочли мокрой курицей. К тому же ему хотелось посмотреть. Животное с наполовину вырванным окровавленным глазом лежало на боку. Задняя часть тела, уже парализованная, была неподвижна, а бок еще вздымался от дыхания. Кошка пыталась приподнять голову и отчаянно хрипела. Она мучилась, а смерть не приходила. Мальчишки корчились от смеха. Марк смотрел молча, словно оцепенев. Вдруг он схватил камень и начал исступленно колотить животное по голове. Хриплый вой пронзил его уши. Но он колотил, колотил все сильнее, как бешеный. Все было кончено, а он еще колотил...

Мальчишки растерянно смотрели на него. Один попробовал пошутить, но Марк, еще сжимая камень в окровавленных пальцах, злобно уставился на него из-под нахмуренных бровей. Он был бледен как смерть, и губы у него дрожали. Мальчики обратились в бегство. Издали до Марка донеслись их смех и пение. Стиснув зубы, он пошел домой. Дома ничего не рассказал. Но ночью, в постели, вдруг вскрикнул. Аннета обняла его. Все его хрупкое тело дрожало...

– Тебе страшный сон приснился? Ну, ну, тише, родной, не бойся!..

А он думал:

«Я ее убил. Теперь я знаю, что такое смерть».

Какое-то жуткое чувство гордости тем, что он теперь знает, видел, что он своими руками отнял жизнь, и еще другое чувство, которого Марк не понимал, – смесь ужаса и влечения, то необъяснимое, что связывает убийцу с его жертвой, пальцы, липкие от крови, – с разmozженной головой... Чья это кровь?.. Несчастная кошка перестала дышать. А он, ее убийца, еще переживал ее предсмертные муки...

К счастью, в этом возрасте ум не бывает долго одержим одной и той же мыслью. Мысль, мучившая Марка, стала бы опасна, если бы он сосредоточился на ней. Но другие образы пронесли через мозг и проветрили его. Все же та мысль оставалась где-то в глубине и время от времени напоминала о себе мрачными вспышками, поднимающимися в сознании, как тяжелые пузырьки воздуха поднимаются на поверхность ручья с илистого дна. Под мягкой коркой души скрыто твердое ядро: мысль о смерти, о силе, которая уничтожает... «Меня убивают, и я тоже могу убить... Но я не хочу быть убитым...»

Эта гордость, это темное тщеславие укрепляли его, как стальная оковка... Откуда взялась эта сталь в его характере, как не от матери, которую он тем не менее презирал и за несдержанность, и за то, что ее любовью можно было играть? Марк знал, что от нее! Даже в те времена, когда он больше любил Сильвию, потому что она его баловала, он чутьем угадывал, что Аннета выше ее, и, быть может, пытался подражать матери. Но он считал нужным обороняться от захватнических стремлений этой женщины, которая слишком его любит и грозит заполнить собой всю его жизнь. И Марк по-прежнему был настроен против матери и держал ее на расстоянии. В ней он тоже видел врага.

Сильвия исчезла с их горизонта. Озлобление первых месяцев прошло, и она испытывала уже легкие угрызения совести при мысли о сестре, которой, должно быть, трудно теперь живется. Она ожидала, что Аннета обратится к ней за помощью; она не отказала бы ей, но сама предлагать не хотела. Аннета скорее дала бы себя разрезать на куски, чем стала бы просить о чем-нибудь Сильвию. Сестры упорствовали. Встречаясь, они

спешили пройти мимо. Но, увидев как-то раз на улице маленькую Одетту с одной из мастериц, Аннета не могла сдержать порыв нежности: она взяла девочку на руки и крепко расцеловала. Сильвия тоже, встретив Марка, когда он шел домой из школы (он сделал вид, что не замечает ее), остановила его и сказала:

– Ты что это, не узнаешь меня?

И, верите ли, этот звереныш сделал каменное лицо и оказал два слова:

– Здравствуй, тетя!

После разрыва матери с Сильвией он самостоятельно сделал некоторые выводы. И, справедливо или нет, счел нужным принять сторону матери...

«My country, right or wrong». ⁴⁴

У Сильвии от гнева даже дух захватило. Она спросила:

– Ну как у вас, все благополучно?

Марк ответил сухо:

– Да, все в порядке.

Сильвия смотрела, как он уходил, надутый и красный от напряжения. Он был чистенько и прилично одет. Сопляк! «Все в порядке»... Она готова была дать ему затрещину!

То, что Аннета сумела без ее помощи выпутаться из нужды, только усилило досаду Сильвии. Но она не упускала случая узнать что-нибудь о сестре и не отказалась от желания ею командовать. Если не на деле, то хоть мысленно! Ей было известно, какую строгую жизнь ведет Аннета, и она не понимала, зачем та обрекла себя на воздержание. Сильвия достаточно хорошо знала сестру и была уверена, что женщина ее склада не создана для душевного самоограничения и жизни без радостей. Как можно до такой степени насиловать свою природу? Кто принуждает ее к вдовой жизни? Не нашлось мужа, так ведь немало найдется друзей, которые рады были бы скрасить ей жизнь. Если бы Аннета пошла на это, Сильвия, быть может, меньше уважала бы ее, но сестра стала бы ей ближе.

Не одна Сильвия удивлялась. Аннета и сама не больше Сильвии понимала, что побуждает ее вести монашескую жизнь, откуда этот дикий страх, заставлявший ее избегать не только всякой возможности, но и самой мысли о тех естественных человеческих радостях, которых ей не может запретить никакая религия, никакие законы общественной морали. (В церковную мораль она не верила. И разве она не была сама себе госпожа?).

«Чего я боюсь?»

«Себя самой...»

Инстинкт не обманывал Аннету. Для женщины, буруеваемой страстями, желаниями, слепой чувственностью, не существует беспечных наслаждений, игры без последствий: малейший толчок может отдать ее в жертву силам, с которыми она уже не сможет совладать. Аннета помнила, какое нравственное потрясение вызвали в ней когда-то ее короткие столкновения с любовью. А сейчас ей грозила еще большая опасность! Сейчас она не устояла бы. Стоило ей дать себе волю, и страсть захватила бы ее всю, не оставив места вере, которая ей так была нужна... Какая вера? Вера в себя. Не гордость, нет, а вера в то непостижимое, то божественное, что заложено в душу и что она хотела неоскверненным передать сыну. Аннета понимала, что такая женщина, как она, если для нее исключена жизнь брачная с ее строгой упорядоченностью, должна выбирать одно из двух: либо полное нравственное самообуздание, либо полную покорность своим чувственным инстинктам. Все или ничего... Ну, тогда ничего!

Однако, вопреки этой гордой решимости, вот уже несколько месяцев на Аннету находили приступы злой, хватающей за горло тоски, когда она говорила себе:

«Даром пропадает жизнь!»

Опять на ее горизонте появился Марсель Франк.

⁴⁴ Плоха она или хороша, но это моя родина (англ.).

Случай столкнул его с Аннетой. Он о ней давно уже не думал, но и не забыл ее. За это время у него было немало любовных похождений. Они не оставили глубокого следа в его податливом сердце, – только мелкие морщинки вокруг лукавых глаз, словно следы коготков, да некоторую усталость и благодушное презрение к этим легким победам и к самому победителю. Как только он снова увидел Аннету, он испытал то знакомое ему по прошлым встречам впечатление душевной свежести и твердости, которое странным образом привлекало к ней этого пресыщенного скептика. Он внимательно изучал ее лицо: да, видимо, и для нее тоже эти годы не прошли даром! В глубине ее глаз мерцало что-то затаенное, след душевных потрясений. Но она казалась теперь спокойнее и увереннее в себе. И Франку снова стало жаль, что такая славная и здоровая духом подруга уже два раза ускользнула от него. Впрочем, еще не поздно! Никогда, казалось, они с Аннетой не были так близки к тому, чтобы найти общий язык.

Ни о чем ее не спрашивая, Марсель сумел узнать все о ее занятиях и материальном положении. Скоро он предложил ей довольно хорошо оплачиваемую работу: нужно было составить картотеку для каталога одной частной библиотеки, которую ему было поручено привести в порядок. Таким образом, у Марселя появился естественный предлог для того, чтобы проводить с Аннетой несколько часов в неделю. Они умудрялись и работать и беседовать одновременно. Между ними быстро установилась прежняя дружеская близость.

Марсель не спрашивал Аннету, как она жила все эти годы. Он рассказывал о себе, и это был лучший способ вызвать ее на откровенность, узнать ее мысли. Неистощимой темой разговора были его любовные похождения. Воспоминания о них тешили Марселя, и он охотно делился ими с Аннетой, а она слушала, забавлялась, иной раз слегка журила его. Марсель первый готов был посмеяться над собой, как смеялся над всем на свете. Смеялась и Аннета, слушая его нескромные признания, – в этом, как и во всем, что не касалось ее самой, проявлялось ее свободомыслие. А Марсель понимал ее иначе. Ему нравились ее веселый, живой ум и ее снисходительность. Он не находил в ней и следа прежней чопорности в вопросах морали, нетерпимости молодой девушки, кругозор которой ограничен ее добродетелью. В то время как они с Аннетой состязались в иронических суждениях, он думал: «Как чудесно было бы привязать к себе навсегда этого умного друга, делить с ней все, что еще предстоит в жизни!.. В какой форме? Да в какой ей будет угодно! Любовница, жена – пусть решает сама!» Марсель был человек без предрассудков. Он не придавал значения тому, что Аннета родила «незаконного» ребенка. И так же мало интересовало его, были ли у нее и после этого какие-нибудь романы. Он не стал бы ей докучать требовательностью и слежкой. Ее интимная жизнь не возбуждала в нем любопытства – у каждого могут быть свои тайны, каждый имеет право на известную свободу! Ему нужно было от Аннеты только одно: чтобы в их совместной жизни она была всегда весела и рассудительна, была ему добрым товарищем, делила его интересы и удовольствия (а под удовольствиями он разумел все: умственную жизнь; любовь и все остальное).

Марсель так много об этом думал, что, наконец, высказал Аннете свои мысли. Это было однажды вечером в библиотеке, когда они заканчивали работу и заходящее солнце сквозь деревья старого сада золотило коричневые переплеты книг. Аннета очень удивилась. Как, он опять о том же? Разве с этим еще не кончено?

– Друг мой, как это мило с вашей стороны! – сказала она. – Но не надо больше об этом думать.

– Нет, надо! – возразил Марсель. – А почему, собственно, не думать?

«А в самом деле, почему? – подумала Аннета. – Мне так приятно болтать с ним... Нет, нет это невозможно! Об этом не может быть и речи...»

Марсель сидит прямо против нее, по другую сторону стола, и его белокурая борода освещена солнцем. Потянувшись через стол, он берет руки Аннеты в свои и говорит:

– Ну, подумайте пять минут, хорошо? Я больше ничего вам не скажу...

Мы друг друга знаем... сколько лет уже? Двенадцать? Или пятнадцать? Значит, мне не нужно ничего объяснять. Все, что я мог бы сказать, вам и так понятно.

Аннета не пытается отнять руки, она улыбается и смотрит на Марселя.

Ясный взгляд ее устремлен на него, но Марселью не удается перехватить этот взгляд, потому что он уже где-то далеко. Аннета смотрит теперь внутрь себя. Она размышляет.

«Почему об этом нечего и думать?.. Обо всем следует думать! Почему это невозможно? Он мне не противен... Он красив, обаятелен, он довольно добрый, умный и приятный человек... Как мне легко жилось бы!.. Но ведь я не смогу жить, как он, жить с ним... Он людям нравится, и ему все на свете нравится, но он ничего не уважает: ни мужчин, ни женщин, ни любовь, ни Аннету...» (Она думала сейчас о себе, как о ком-то постороннем.) «Конечно, он не скупится на тонкие знаки внимания и светской почтительности, и, может быть, это как раз и доказывает его расположение ко мне... Но что этот милый скептик принимает всерьез? Он совсем не верит в человека и упивается своим неверием. Он ведет счет человеческим слабостям со снисходительным любопытством соглядатая. Я думаю, он был бы разочарован, если бы в один прекрасный день убедился, что человека есть за что уважать... Славный малый! Да, жизнь с ним была бы легкой, такой легкой, что потеряла бы для меня смысл...»

Дальше ей уже не хватает слов для выражения мыслей. Но мысли текут, хотя и не укладываются в слова, и решение крепнет.

Марсель выпустил ее руки. Он чувствует, что проиграл. Встав, он отходит к окну и, прислонясь к раме, с философским спокойствием закуривает папиросу. Он стоит за спиной Аннеты и наблюдает за ней. А она сидит неподвижно, не снимая со стола вытянутых рук, как будто Марсель все еще перед ней. Марсель видит ее красивые золотистые волосы, круглые плечи...

Все потеряно... И для кого же, для чего она бережет себя? Для какой-нибудь новой глупости, вроде истории с Бриссо?.. Нет, он знает, что сердце Аннеты не занято... Так в чем же дело? Ведь не каменная она! Ведь есть же у нее потребность любить и быть любимой!

Но у Аннеты сильнее всего потребность верить... Верить в то, что делаешь, к чему стремишься, чего ищешь или о чем мечтаешь. Несмотря на все разочарования, верить в себя и в жизнь!.. А Марсель убивает уважение ко всему. Аннете легче было бы утратить уважение людей, чем самой потерять веру в жизнь. Ведь только в ней она черпает силы. А без действенной силы Аннета ничто. Пассивное счастье для нее смерть. Самое существенное различие между людьми заключается в том, что одни в жизни активны, другие пассивны. А из всех видов пассивности самой страшной в глазах Аннеты была пассивность ума, который, подобно уму Марселя Франка, блаженно успокоился в неверии и, не тревожа себя больше сомнениями, с наслаждением отдается безучастию, ведущему в Ничто... «Да, это не самоубийство!.. — думает Аннета. — Нет, я не согласна... Что меня ждет впереди? Быть может, я не узнаю ни счастья, ни полного удовлетворения. Быть может, жизнь моя будет неудачна. Но, удачна она или нет, в ней есть порыв, стремление к цели!.. К неведомой? Обманчивой, быть может? Ну что же! Стремление ведь не иллюзия! И пусть я упаду на пути — только бы упасть на своем пути!..»

Аннета вдруг заметила, что оба они уже давно молчат и что Франка нет на месте. Она обернулась и, увидев его, с улыбкой встала.

— Простите меня. Марсель, милый! И пусть все останется, как есть!

Быть друзьями — это так хорошо!

— А по-другому не лучше? Она покачала головой: нет!

— Та-а-к... — протянул Марсель. — Вот я и в третий раз провалился на экзамене!

Аннета расхохоталась и, подойдя к нему, сказала лукаво:

— Хотите получить то, в чем я вам отказала на втором экзамене?

Обхватив руками шею Марселя, она целует его... Он нежен, этот поцелуй... Но ошибиться невозможно, он только дружеский...

И Марсель не обманывает себя. Он говорит:

— Ну что же, есть еще надежда, что лет через двадцать я получу то, в чем мне было отказано на третьем.

– Нет, – со смехом возразила Аннета. – Есть предельный возраст! Женитесь, мой милый! Вам стоит лишь выбрать: все женщины этого ждут.

– Только не вы!

– Я останусь старым холостяком.

– Вот увидите, судьба вас накажет, и вы выйдете замуж, когда вам стукнет пятьдесят.

– «Брат, надо умирать»... А до тех пор...

– До тех пор будете жить монахиней?..

– А знаете, в такой жизни есть своя прелесть...

Слова Аннеты о прелестях ее монашеской жизни были чистейшим фанфаронством. Вовсе не так уж хороша была эта жизнь, и Аннете часто бывало в ней тесно. Монахине такого сорта мало управлять одним монастырем и поклоняться одному богу. Монастырь Аннеты был ограничен стенами квартирки на шестом этаже, единственным богом ее был ребенок. Это было так мало и в то же время так безмерно много! Аннету это не удовлетворяло, но она пополняла нехватку мечтами. Этого добра у нее было достаточно. Повседневная жизнь ее казалась пуританской и бедной, но она вознаграждала себя в жизни воображаемой. Тут, в тиши, ничем не нарушаемое, длилось вечное Очарование.

Но как проникнуть вслед за ним в тайники души человеческой? Мечта ведь соткана не из слов; а чтобы другие тебя поняли, чтобы самому понять себя, нужно пользоваться словами, этой тяжелой и клейкой массой, которая сразу высыхает на пальцах!.. Аннета тоже, чтобы понять то, что происходило в ней, бывала иногда вынуждена тихонько пересказывать себе словами свои грезы. Такого рода пересказы неточны, их даже переделкой назвать нельзя: они подменяют мечту, но никак не отображают ее. Мозг, неспособный настигнуть душу в ее взлете, сочиняет сказки, и сказки его занимают, однако они дают обманчивое представление об этой великой феерии или внутренней драме...

Необозримое водное пространство, затопленная до краев долина, безбрежные реки огня, воды, облаков. Здесь еще смешаны все стихии, и тысячи течений перепутаны, как волосы, но единая сила свивает и развивает их длинные темные пряди, усеянные бликами света. Такова неумная сила души человеческой, и безмолвный пастух. Желание, властитель миров, гонит стадо ее грез на туманные пастбища Надежды. А непреодолимая сила тяготения увлекает их вниз по скату, то крутому, то предательски незаметному, и жадная бездна поглощает их.

Аннета ощущает в себе течение очарованной реки, наматывает и разматывает сплетения ее извилистых струй, отдается этому течению, играет с коварной силой, которая ее уносит... Когда же разум, внезапно пробудившись, пытается направлять эту игру, то Аннета, оторванная от своей грезы, уже ищет другую, чтобы в нее уйти. И вот она мудро создает ее из запечатлевшихся в памяти мгновений своей жизни, из образов прошлого, из романа, уже пережитого, или того, который, быть может, еще суждено пережить... И Аннета как будто верит, что великая Мечта продолжается. Но в то же время знает, что она улетела. Это ее не волнует. Как евангельский жених, Мечта вернется в час, когда ее не ждут.

Сколько есть женских душ, которые, подобно душе Аннеты, проявляют свои скрытые силы и устремления лишь в этой внутренней жизни грез! Тот, кто сумеет читать в их глубине, откроет там темные страсти, восторги, видения бездны. А между тем в мирном течении будней эти женщины – добродетельные мещанки, занятые своими делами, холодные, рассудительные, владеющие собой и даже в силу внутренней реакции (иногда слишком резкой, как у Аннеты), щеголяющие перед своими учениками или детьми холодной рассудочностью и склонностью к нравоучениям.

Но сын Аннеты не даст себя провести. Нет, этого мальчика ей не обмануть! У него зоркие глаза. Он умеет читать то, что кроется под словами.

И он тоже любит мечтать. Каждый день бывают часы, когда он чувствует себя королем: он один в квартире, наедине со своими мечтами. Аннета, – как всегда, неосторожная, – легкомысленно оставляет в распоряжении ребенка кучу сохранившихся у нее книг из библиотеки деда и ее собственной. Тут есть все, что хочешь. Вот уже несколько лет, как у

Аннеты нет времени совершать набеги на книжные полки. Этим занимается ее маленький сын.

Каждый день по возвращении из лицея, когда матери нет дома, он отправляется на охоту. Марк читает беспорядочно, что попадается под руку. Он рано научился читать быстро, очень быстро и галопом мчится по страницам в погоне за дичью. Это чтение очень мешает его школьным занятиям, и он считается плохим учеником, рассеянным, – он не знает уроков и небрежно относится к своим обязанностям. Учитель был бы очень удивлен, если бы юный браконьер рассказал ему, что глаза его добыли на охоте в заповедных лесах. Ему попадаются на полках и «классики», но здесь у них совсем иной аромат, чем в школе. Все, что Марк таким образом собирает на свободе в новом для него мире, имеет вкус чудесного запретного плода. Тут нет пока ничего, что могло бы загрязнить его воображение или даже грубо просветить его насчет некоторых вещей. В опасных местах глаза мальчика загораются, но бегут дальше, не замечая в западне приманки, тревожащей плотские инстинкты. Он беззаботно счастлив, горячее дыхание жизни обдаёт его лицо, и в этом лесу книг ноздри его чуют увлекательную опасность, извечную борьбу: любовь...

Любовь... Но что такое любовь для десятилетнего ребенка? Все то счастье, которого еще нет, но которое будет, и он его возьмет... Какое же оно будет? Из обрывков того, что он видел и читал, мальчик пытается создать его в своем воображении. Он не видит ничего – и видит все. Он хочет все. Все иметь. Все любить. (Быть любимым – вот в чем для него истинный смысл любви: «Я люблю себя. И меня должны любить... Но кто?..»).

То, что он хранит в памяти, ничуть не помогает ему. Все это слишком близко и потому неясно видно. В его возрасте прошлого еще не существует или оно так незначительно! Для него существует лишь настоящее – тема с тысячью вариаций...

Настоящее? Мальчик поднимает глаза и видит мать. За круглым столом, при жарком свете керосиновой лампы они сидят вдвоем. Вечером после обеда Марк учит (предполагается, что учит) уроки на завтра. Аннета чинит платье. Ни он, ни она не думают о том, что делают. Они отдаются привычной работе воображения, всегда готового им служить. Мечты текут, и Аннету уносит течением. А мальчик глядит на замечтавшуюся мать... Наблюдать за ней интересно, гораздо интереснее, чем учить уроки!..

Казалось, Марк не видит того, что происходит вокруг все эти годы, и не должен понимать переживания матери. А между тем от него ничто не ускользало! Любовь Жюльена к Аннете, любовь ее к Жюльену – все это он смутно угадывал. И, бессознательно ревнуя мать, радовался неудачному концу ее романа, как маленький каннибал, пляшущий вокруг столба пыток.

Мать осталась за ним. Это его собственность! Значит, он дорожил ею? Да, начал дорожить с тех пор, как другой хотел ее отнять у него. Он всматривался в нее – в ее глаза, губы, руки. Он упивался каждой черточкой со свойственной детям способностью находить в какой-нибудь детали целый мир... И не всегда они ошибаются... Тень от ресниц, изгиб рта были для него таинственными необозримыми ландшафтами, зачаровавшими душу. Взгляд его, как пчелка, порхал над полуоткрытым ртом Аннеты, влетал в эту алую дверь, вылетал обратно... Увлеченный исследованием, Марк забывал о той, кого изучал... На него находило блаженное оцепенение... Очнувшись от него, он вспоминал (брр!) о завтрашних уроках, о каком-нибудь нелюбимом товарище, о плохой отметке, которую скрыл от матери... А там опять его зачаровывал свет лампы в полумраке, тишина их комнаты среди гудевшего Парижа, ощущение, словно он на островке или плывет в лодке по морю в сладком ожидании берегов и того, что он там найдет, что увезет в своей лодке. В эту лодку, нагруженную сокровищами его надежд, всем тем, что он отвоюет у жизни, маленький викинг сажал и свою мать с ее изогнутыми бровями и красивыми пушистыми волосами... Как она вдруг становилась ему мила! Пылкость влюбленного соединялась в нем с божественной детской невинностью... По ночам он не спал, прислушиваясь к дыханию Аннеты... Эта таинственная жизнь волновала, захватывала его...

Так грезят они оба. Но Аннета уже в открытом море и привыкла к долгим плаваниям, а

Марк только что отчалил, и все для него ново. И потому, что все для него ново, он вглядывается пристальнее и часто видит дальше матери. У него бывают моменты удивительной серьезности. Правда, они недолги. Как у животных, его напряженно-внимательный взгляд вдруг начинает блуждать: он уже не видит никого! Но в те минуты, когда он сосредоточивает всю непочатую силу внимания и любви на матери, своей единственной подруге, замкнутой вместе с ним в этой знойной тишине. Он весь пропитывается ароматом ее души, он угадывает, не понимая, малейший ее трепет, и бывает минута озарения, когда он касается ее тайн.

Он скоро потеряет ключ к сердцу Аннеты. Пропадет интерес, а с ним и способность видеть. В душе ребенка борются свет и тень: свет – изнутри, тень – извне. Когда тело развивается, тень растет вместе с ним и заслоняет свет. Человек тянется вверх – и отворачивается от солнца. Он более всего кажется ребенком, когда в нем меньше всего детского. Когда он вырастает, его внутреннее зрение становится ограниченным. Сейчас Марк, нимало того не подозревая, еще обладал волшебной способностью ясновидения.

Никогда мать не была так близка ему, как в эту пору жизни. И должно было пройти много лет, прежде чем он снова ощутил такую же близость к ней.

Но сейчас влечение к матери победило в нем недоверие. Он не противился больше порывам нежности, заставлявшим его вдруг бросаться к ней на шею, приниматься лицом к ее груди. Аннета с восторгом убеждалась, что сын любит ее. А она уже потеряла было надежду на это...

Прошло несколько месяцев, упоительных, как юная и счастливая любовь.

Медовый месяц близости между матерью и сыном. Любовь эта, плотская, как всякая любовь, была безгрешной и божественно чистой. Живая роза...

Оно проходит, оно миновало, это неповторимо прекрасное время... Миновали годы тесной близости, замкнутой жизни вдвоем, строгой внутренней дисциплины. Щедрые годы... Аннета – в расцвете сил, безмятежная, непокоренная. Ребенок – во всем блеске и прелести своего детского мирка.

Но достаточно легкого колебания воздуха, чтобы нарушить гармонию душ.

Плотно ли заперты двери?..

Как-то воскресным утром Аннета была дома одна – Марк ушел с товарищем в Люксембургский сад играть в мяч. Аннета ничего не делала: она была рада, что в свободный день можно посидеть в кресле молча, не двигаясь.

Мысли ее перескакивали с одного на другое, и она покорно и устало отдавалась их течению. Постучали в дверь. Ей не хотелось открывать. Нарушить этот час покоя?.. Она не двинулась с места. Постучали еще раз, потом стали настойчиво звонить. Аннета неохотно поднялась, отперла дверь...

Сильвия! Они не виделись уже много месяцев... Первым чувством Аннеты была радость, и на ее сердечное приветствие Сильвия ответила тем же. Но затем они вспомнили старые обиды, вспомнили о своих натянутых отношениях, и обе смутились. Пошли вежливые вопросы о здоровье. Сестры по-прежнему говорили друг другу «ты», и тон разговора был такой же, как прежде, но не было прежней сердечности. Аннета думала: «Зачем она пришла? Что ей нужно?» А Сильвия не торопилась объяснить причину своего посещения. Болтая о том о сем, она, казалось, была занята какой-то тайной мыслью, которую не хотела высказать сразу. Но в конце концов все выяснилось.

Сильвия неожиданно сказала:

– Аннета, давай кончим это! Обе мы виноваты.

Но Аннета была горда и не признавала за собой вины. Уверенная – слишком уверенная – в своей правоте и не склонная забывать несправедливость, она сказала:

– Нет, я тебя ничем не обидела.

Сильвии не понравилось, что, хотя она сделала первый шаг, Аннета не идет ей навстречу. Она сказала с раздражением:

– Когда человек виноват, надо по крайней мере иметь мужество в этом сознаться.

– Виновата не я, а ты, – упрямо возразила Аннета.

Тут Сильвия окончательно рассердилась и в сердцах выложила все свои старые претензии. Аннета отвечала ей заносчиво. Они уже готовы были высказать друг другу самые жестокие истины. Сильвия, не отличавшаяся терпением, поднялась, собираясь уйти, но снова села и сказала:

– Деревянная башка! Никак не заставишь ее сознаться, что она не права!

– С какой стати я буду говорить не правду! – возразила неумолимая Аннета.

– Могла бы согласиться хоть из вежливости, чтобы не я одна оказалась во всем виновата!

Обе расхохотались.

Теперь они смотрели друг на друга уже весело и примиренно. Сильвия скорчила гримасу, Аннета ей подмигнула. Но обе еще не сложили оружия.

– Чертовка! – сказала Сильвия.

– Я ни в чем не виновата, – повторила Аннета. – Это ты...

– Ладно, не будем начинать все сначала!.. Слушай, я тебе скажу откровенно: права я или нет, я не пришла бы сюда по собственному почину. Я тоже не из забывчивых!..

И опять, полусмеясь, полусерьезно, со смесью злости и шутливости, она начала ревниво уверять, что Аннета хотела вскружить голову ее мужу. Аннета только плечами пожала.

– Словом, можешь мне поверить, я не пришла бы к тебе по своей воле! – заключила Сильвия.

Аннета воспросительно взглянула на нее. Сильвия пояснила:

– Это Одетта меня заставила.

– Одетта!

– Да. Она спрашивает, почему тетя Аннета больше не приходит к нам.

– Как! Неужели она меня не забыла? – удивилась Аннета. – Кто же ей обо мне напомнил?

– Не знаю... Она видела у меня твою фотографию. Кроме того, ее, видимо, очень взволновала встреча с тобой на улице. Или, может быть, она была у тебя дома? Ах ты интриганка! На вид недотрога, сухарь, а как умеет покорять сердца!

(Сильвия шутила не совсем искренне.).

Аннета вспомнила нежное тельце ребенка, которого она взяла на руки при случайной встрече, влажный ротик, прильнувший к ее щеке. Сильвия продолжала:

– Пришлось сказать, что мы с тобой в ссоре. Она спросила из-за чего.

Я ей ответила: «Не приставай!» Но сегодня утром, когда я подошла к ее кровати и хотела ее поцеловать, она вдруг говорит: «Мама, я не хочу, чтобы ты была в ссоре с тетей Аннетой». Я на нее прикрикнула: «Оставь меня в покое!» Вижу, девочка расстроена. Ну, я ее обняла и спрашиваю: «И что это ты выдумала? Разве тебе так понравилась эта тетя? На что она тебе? Ну хорошо, раз тебе так хочется, мы с нею помиримся». Она захлопала в ладоши: «А когда тетя Аннета к нам придет?» – «Когда ей вздумается». – «Нет, ты сейчас пойдешь к ней и позови ее...» И я пошла... Эта маленькая негодница делает со мной все, что хочет!.. Так ты приходи! Мы тебя ждем сегодня к обеду!

Аннета сидела, потупив глаза и не говоря ни «да», ни «нет». Сильвия возмутилась:

– Надеюсь, ты не заставишь себя упрашивать?

– Нет, – сказала Аннета, не пряча больше от сестры сияющих глаз, в которых стояли слезы.

Они крепко поцеловались. В приливе нежности, смешанной с досадой, Сильвия кинула Аннету за ухо. Аннета ахнула.

– Ах ты! Еще и кусаешься? А меня же называет сумасшедшей! Ты что, взбесилась?

– Да, да! Как же мне не беситься, когда ты отбила у меня и мужа и дочь!

Аннета от души расхохоталась.

– Мужа можешь оставить себе! За ним я не гонюсь.

– Я тоже. Но он мой, и я запрещаю его трогать!

– А ты повесь на него дощечку с надписью!

– Нет, я на тебя повешу дощечку с надписью! Урод! Что в тебе такого?

За что тебя все любят?

– Не выдумывай!

– Да, да, все! И Одетта, и этот простофиля Леопольд, и другие... Все решительно... И я тоже!.. Я тебя терпеть не могу. Хочу отделаться от тебя, а не удастся! Никакими силами! Ты держишь крепко!

Они взялись за руки и засмеялись, глядя друг другу в глаза уже с сестринской лаской.

– Ах ты, моя старушка!

– Да, это ты верно сказала! Они действительно постарели. И обе это заметили. Сильвия по секрету показала сестре фальшивый зуб, который она вставила, скрыв это от всех. У Аннеты на висках появилась седина, но она ее не прятала. Сильвия обозвала ее за это кокеткой.

Они опять были близки друг другу, как прежде... И подумать только, что, если бы не девочка, они никогда бы не увиделись больше!..

Вечером Аннета с Марком пришли к обеду. Одетта спряталась, ее не могли найти. Аннета отправилась на поиски и отыскала ее за портьерой. Она нагнулась, чтобы поднять девочку, присела на корточки и протянула руки, ласково, уговаривая ее. Одетта отвернувшись, упорно не поднимала глаз.

Потом в неожиданном порыве бросилась к ней на шею. За столом, где она имела счастье сидеть рядом со своей тетей, она от волнения не могла вымолвить ни слова и оживилась только к концу обеда, когда подали сладкое.

Взрослые пили за восстановленную дружбу, потом Леопольд в шутку предложил тост за будущий брак Марка и Одетты.

Марк обиделся – он метил выше, а Одетта приняла это всерьез. После обеда дети затеяли игру, но не поладили между собой. Марк обращался с девочкой пренебрежительно, и она была обижена. Скоро родители, занятые разговором, слышали шлепки и плач. Дерущихся разняли. Оба еще долго дулись. Одетта была взбудоражена впечатлениями дня. Пришло время укладывать ее, но она капризничала и не хотела идти спать. Аннета сказала, что отнесет ее в постельку, и девочка согласилась. Аннета раздела ее, уложила, целуя пухленькие ножки. Одетта была в восторге. Аннета сидела подле нее, пока она не уснула (этого не пришлось долго ждать), а когда вернулась в столовую и увидела Марка на коленях у Сильвии, шутя сказала сестре:

– Давай меняться! Хочешь?

– Идет! – ответила Сильвия.

Но в душе ни та, ни другая не хотели меняться. Между тем Марк, пожалуй, больше подошел бы Сильвии, а девочка – Аннете. Но свой ребенок всегда останется своим.

Зато детям идея обмена гораздо больше пришлась по вкусу. Услышав этот шуточный разговор, они стали приставать к родителям. И, чтобы доставить им удовольствие, те согласились. Каждую субботу вечером между матерями происходила мена: ночь субботы и весь воскресный день Одетта проводила у Аннеты, а Марк – у Сильвии. В воскресенье вечером детей возвращали по принадлежности. В этот период междуцарствия их безбожно баловали. И, разумеется, они возвращались домой неохотно, капризничали и всю свою нежность сберегали для той, которая только в праздничные дни была и матерью.

Одетта умиляла Аннету своими детскими ласками, маленькими тайнами, которые она ей поверяла, неутомимой болтовней. Всего этого Аннета была лишена. Марк, унаследовав пылкий темперамент матери, умел его сдерживать лучше, чем она. Он не любил откровенничать, в особенности с родными, потому что они могли злоупотребить его доверием. С чужими это не так опасно, они многое пропускают мимо ушей... А Одетта была, как Сильвия, экспансивна, ласкова, и притом сердечко у нее было любящее. Она выражала вслух то, что Аннете хотелось услышать. Заметив, как это ей приятно, маленькая плутовка

стала удваивать дозу нежностей. Она будила в душе Аннеты отголоски ее собственных переживаний в детстве. Так по крайней мере казалось Аннете, и отчасти за это она любила девочку. Слушая ее, она вспоминала свои детские годы, которые в жарком свете ее нынешних мыслей представлялись ей совсем иными.

Как радостны были эти воскресные утра! Малышка лежала на широкой кровати (для нее было праздником спать вместе с теткой, удобно примостившись в ее объятиях, а та безропотно терпела пинки ее ножек и боялась дышать, чтобы не разбудить девочку), наблюдала за одевавшейся Аннетой и чирикала, как воробышек. Оставшись полной хозяйкой в кровати, она вытягивалась поперек, чтобы закрепить за собой эту собственность, и за спиной Аннеты проказничала вовсю. Аннета, причесываясь перед зеркалом, только посмеивалась, когда видела в нем болтавшиеся в воздухе голые ножки и взлохмаченную черную головку на подушке. Шалости не мешали Одетте следить за каждым движением тетки, и она пускалась в забавные рассуждения насчет ее туалета. В этой болтовне проскальзывали иной раз совсем неожиданные серьезные замечания, заставлявшие Аннету насторожиться:

– Что ты сказала? Ну-ка повтори! Но Одетта не помнила, что сказала, и придумывала что-нибудь другое, уже не такое интересное. По временам на нее находили бурные порывы нежности.

– Тетя Аннета! Тетя Аннета!

– Ну что?

– Я тебя так люблю, так люблю!..

Аннету смешила горячность, с какой Одетта об этом заявляла.

– Не может быть!

– Ну да! Я тебя люблю до безумия!

(Конечно, к искренности Одетты примешивалась и доля актерства – это было у нее в крови.).

– Вот как!.. А лучше было бы без всякого безумия.

– Тетя Аннета! Я хочу тебя поцеловать.

– Сейчас. Подожди.

– Нет, я хочу сию минуту! Иди сюда!

– Хорошо.

И Аннета спокойно продолжала расчесывать волосы.

Одетта с досады кувыркалась в постели, разбрасывая во все стороны простыни.

– Ах, какая бесчувственная женщина! Аннета с хохотом роняла гребень и подбегала к кровати:

– Обезьянка! Где ты это подцепила? Одетта бешено целовала ее.

– Будет, будет!.. Ты меня задушишь!.. Уф!.. Ну вот, совсем растрепала прическу!.. Этак я никогда не кончу одеваться!.. Оставь меня в покое, разбойница!

В голосе девочки уже слышался испуг, она готова была расплакаться.

– Тетя Аннета, ты ведь меня любишь? Я хочу, чтобы ты меня любила! Ну, пожалуйста, люби меня!

Аннета прижимала ее к себе.

– Ах! – восторженно говорила Одетта. – Я с радостью отдам за тебя жизнь!

(Фраза из бульварного романа, который при ней читали вслух в мастерской.).

Если Марк бывал свидетелем таких сцен, он презрительно поджимал губы и с видом превосходства, засунув руки в карманы и подняв плечи, уходил из комнаты. Он презирал женскую болтливость и сентиментальность. Как это можно выбалтывать все, что чувствуешь! Марк говорил своему товарищу:

– Какие все женщины глупые! В глубине души Марку было обидно, что его мать осыпает Одетту нежными ласками. Сам он от этих нежностей отмахивался, но ему не нравилось, что их расточают кому-то другому.

Разумеется, он мог отплатить матери тем же – и он это делал: чтобы наказать ее за

неблагодарность, он был с Сильвией в десять раз ласковее, чем когда-либо с Аннетой. Однако, по правде говоря, как ни баловала его тетка, он был ею недоволен: она обращалась с ним, как с маленьким, а он этого не выносил. Каждое воскресенье Сильвия, желая доставить ему удовольствие, водила его в кондитерскую. К сладостям он, конечно, был равнодушен, но ему не нравилось, что она думает, будто это для него так важно. Это было оскорбительно. И потом он очень хорошо понимал, что тетюшка его ни в грош не ставит. Она ничуть его не стеснялась, и это давало Марку возможность удовлетворять свое любопытство, но самолюбие его страдало, так как он улавливал в этом оттенок пренебрежения. Да, ему было бы лестно, если бы Сильвия видела в нем настоящего взрослого мужчину, а не мальчишку. Наконец (в этом Марк неохотно себе признавался), наблюдая Сильвию в интимной обстановке, он утратил всякие иллюзии. Беспечная женщина и не подозревала обо всем, что пробуждается в чистой и беспокойной душе десятилетнего мальчика, о созданном его воображением сказочном образе женщины, о том, как болезненны первые разочарования. Сильвия при Марке совсем не следила за своими жестами и словами, как будто он был домашней собачкой или кошкой. (А в сущности мы ведь не знаем, не оскорбляет ли часто наше поведение и домашних животных!..) Инстинктивно ища самозащиты от разочарования, которое вызвал в нем его разбитый кумир, Марк приходил к скороспелым выводам, проникнутым очень наивным цинизмом, выводам, о которых лучше не говорить. Он усиленно разыгрывал перед самим собой (о других он тогда не думал) пресыщенного мужчину. И в то же время с волнением и слепой жадностью невинного ребенка впивал загадочное и чувственное очарование женщины. Женщина возбуждала в нем и отвращение и влечение.

Влечение, смешанное с отвращением... Какому мужчине оно не знакомо? В эту пору жизни в Марке сильнее говорило отвращение. Но даже отвращение имело острый привкус, по сравнению с которым все другие переживания его сверстников казались пресными. Одетту он презирал и считал, что дружба с такой маленькой девочкой унижает его достоинство.

Да, Одетта была маленькая девочка, но, как ни странно, в маленькой девочке уже проявлялась женщина. Вопреки теориям известных педагогов, которые делят детство на резко разграниченные периоды, приписывая каждому периоду какую-нибудь характерную черту, уже в детстве, уже в раннем детстве проявляются все задатки человека, становится ясен его двойной облик – настоящий и будущий (не говоря уже о Прошлом, огромном и непроглядном, определяющем собой тот и другой). Но, чтобы различить этот облик, надо быть очень внимательным: в предутреннем сумраке детства он возникает только проблесками.

Эти проблески у Одетты бывали заметны чаще, чем у большинства детей.

Она была скороспелка. Очень здоровая физически девочка таила в себе чувственные инстинкты, не соответствовавшие ее возрасту. От кого она унаследовала их? От Аннеты или от Сильвии? Аннете казалось, что она узнавала в этой девочке себя, какой она была в ее годы. Но она ошибалась: она была далеко не такой скороспелкой. Наблюдая Одетту, она вспоминала свое детство и в простоте души приписывала этому возрасту страсти, пережитые ею в четырнадцать-пятнадцать лет.

Душа Одетты походила на птичник, полный шума трепещущих крыльев.

Здесь птицами проносились первые неуловимые вспышки любви, рождая свет и тени. Минуты безмятежного довольства сменялись нервной взвинченностью; девочке иногда без причины хотелось плакать, а иногда громко смеяться.

На смену приходили усталость, вялое безразличие ко всему. А там, смотришь, неизвестно почему, чье-нибудь слово или жест, истолкованные ею по-своему, снова развеселят ее, и она счастлива!.. Изнемогая от счастья, опьяненная им, как дрозд, наглотавшийся винограду, она болтала, болтала... И вдруг – бац!.. Одетта исчезла, никто не знал, куда она девалась, а потом ее находили спрятавшейся в углу чулана, где она упивалась своей, неведомо откуда налетевшей, радостью, которую ей самой трудно было понять.

Словно стая птиц прилетали и улетали в ее душе, быстрее молнии сменяя одна другую...

Неизвестно, до какого момента дети вполне искренни в своих чувствах: эти чувства, существовавшие задолго до них, приходят к ним из неведомой дали прошлого, дети первые им удивляются и, словно стремясь проверить их, превращаются в актеров, изображающих эти переживания. Такая способность бессознательно раздваиваться – инстинктивное средство самозащиты, ибо она помогает им нести бремя, непосильное для их хрупких плеч.

На Одетту находили порывы влюбленности то в одного, то в другого, а иногда и вовсе ни в кого, и влюбленность эту она невольно выражала с некоторой театральностью, не всегда громогласно, иногда тихонько, в монологах, которые она произносила наедине, только для того, чтобы излить душу. Выражая свои чувства в словах и жестах, она как бы ослабляла их напор. Такие приливы нежности чаще всего бывали у нее к Аннете, или к Марку, или к обоим вместе, и часто, думая о Марке, она объяснялась в любви не ему, а Аннете, потому что Марк насмехался над ней. Марк ее презирал, и она его за это ненавидела. Она страдала от унижения и ревности и жаждала ему отомстить... Но как? Как сделать ему больно? Очень-очень больно? Чем его уязвить? Увы, коготки у нее были еще детские! Какая досада!.. Понимая, что она ничего не может ему сделать (пока!), Одетта притворялась равнодушной... Но очень обидно сознавать свое бессилие и трудно притворяться равнодушной, когда постоянно хочется то смеяться, то плакать! Такое самообуздание было не в характере Одетты, оно ее угнетало. Она впадала в апатию, пока властная детская резвость, потребность в веселье и движении не заставляли ее снова приниматься за игры.

Аннета наблюдала, угадывала (иногда дополняя воображением) эти приступы детского отчаяния и, вспоминая свои, жалела Одетту. Сколько она сама растратила сердечного жара, любя, желая, терзаясь, – и для кого, для чего? Зачем это было нужно? Какое несоответствие с той ограниченной целью, которую нам ставит природа! Как она расточительна, эта природа, и как наобум распределяет она способность любить! Одним дает слишком много, другим – слишком мало. Себя и Одетту Аннета причисляла к тем, кому дано слишком много, а сына своего – к обделенным. Тем лучше для него!

Бедный мальчик!..

Но мальчик был вовсе не такой уж бедный! Его духовная жизнь была не менее богата, чем у Одетты, в голове мысли бурлили так же неистово (только он их не высказывал), а чувства были не менее сильны, но сосредоточены на другом. Да, к тому, что занимало «этих женщин», он был глубоко равнодушен. Его волновали иные страсти. Более развитой умственно, чем Одетта, и гораздо меньше поглощенный жизнью чувств, просыпавшихся у него медленнее, чем у нее, этот мальчик, уже познавший прилив темных желаний, стремился, как настоящий мужчина, действовать и властвовать. Он мечтал о таких победах, по сравнению с которыми победа над женским сердцем (если бы в эту пору детства он мог думать о ней!) показалась бы ему жалкой. Мальчиков прошлых поколений увлекали солдаты, дикари, пираты, Наполеон, морские приключения. А Марк бредил автомобилями, аэропланами, радио. Идеи, занимавшие тогда мир, плясали вокруг него в головокружительном хороводе. Планету нашу сотрясала лихорадка движения; все мчалось, летело, рассекая воздух и воды, вертелось, кружилось. Чудеса неистового изобретательства преображали стихии. Не было больше границ человеческой мощи, а значит, не было преград и воле человека! Пространства и времени не существовало, они исчезли, вытесненные скоростью. Они, как и люди, больше не принимались в расчет. Одно имело значение: Воля, неограниченная Воля!

Марк имел очень слабое представление о зачатках современной науки. Он читал, ничего не понимая, научный журнал, который выписывала мать. Но он уже с рождения жил в атмосфере чудес науки. Аннета атмосферы этой не замечала, потому что она постигала науку путем схоластическим, она не вдыхала ее вместе с воздухом. Написанные мелом на доске цифры, геометрические фигуры, выводы – вот что была для нее наука. А Марку она представлялась сказочной силой. Именно потому, что разум его еще молчал и не связывал его, он отдавался восторгу воображения, такому же туманному и пламенному, как тот, что

надувал паруса аргонатов. Он мечтал о самых необычайных подвигах: прорыть туннель сквозь весь земной шар, подняться в воздух без аэроплана, соединить Марс с Землей, одним нажатием кнопки взорвать Германию или какоенибудь другое государство (ему было все равно какое). За таинственными словами «вольты», «амперы», «радий», «карбюратор», которые он употреблял с апломбом, но наобум, ему чудились сказки тысячи и одной ночи. Неужели же он с таких высот спустился бы на землю и унизился бы до мыслей о глупой девчонке?

Однако, хотя тело и мысль – близнецы, они никогда не шагают в ногу.

Всегда кто-нибудь из двух (не всегда один и тот же) отстаёт в росте, а другой спешит его опередить. Физически Марк был ещё ребенком, и в то время, как ум его витал в облаках, какая-то ниточка держала его на привязи, тянула вниз, где так весело играть! И порой он, за неимением лучшего, снисходил до детских забав, а то и без всякого высокомерия всей душой отдавался играм с «глупой девчонкой».

Это были приятные передышки. Однако они никогда не длились долго.

Одетта и Марк были слишком разные дети, и разница между ними была не только в возрасте и в том, что Одетта была девочка, – нет, все дело было в разнице темпераментов. Одетта, некрасивая, походившая больше на отца (только глаза у нее были, как у Аннеты), круглолицая, толстощекая и курносенькая, росла крепким, здоровым ребенком, и пылкость ее характера ничуть не нарушала равновесия, – наоборот, как бы давала естественный выход избытку жизненных сил. Одетта не болела ни одной из легких болезней детского возраста. В организме Марка, напротив, тяжелая болезнь, перенесенная им на первом году жизни, оставила заметный след. Правда, позднее врожденное здоровье взяло верх, но часть детства была испорчена постоянной борьбой организма с болезнями, в которой он нередко оказывался побежденным. Марк очень часто простужался, и малейшая простуда вызывала бронхит и жар. Самолюбие мальчика страдало от этого, так как он инстинктивно уважал только гордых и сильных людей.

В конце 1911 года, то есть через год после примирения сестер, Марк, как это часто с ним бывало зимой, схватил простуду, осложнившуюся инфлюэнцей и потому встревожившую родных. Одетта пришла к нему. Ей это запрещали, боясь, как бы она не заразилась, но она ухитрилась пробраться к нему вечером, когда обе матери были чем-то заняты в соседней комнате.

Она очень жалела Марка, и Марку на этот раз изменила его обычная сдержанность. Он был в сильной тревоге.

– Одетта, что они говорят?

(Он думал, что болезнь его опасна и от него это скрывают.).

– Не знаю. Ничего не говорят.

– А доктор?

– Доктор сказал, что это пустяки.

У Марка немного отлегло от сердца, но он все еще не верил.

– А ты правду говоришь? Нет, не верю! От меня скрывают... Я очень хорошо знаю, что у меня...

– Что? Марк молчал.

– Марк, что у тебя?

Но он замкнулся в гордом и враждебном молчании. Одетта всполошилась.

Она сразу поверила, что он тяжело болен, и ее беспокойство передалось Марку. Со свойственной ей склонностью к преувеличениям и мелодраматизму Одетта всплеснула руками:

– Ах, Марк, пожалуйста, не будь так болен! Я не хочу, чтобы ты умер!

Марк не имел ни малейшего желания умирать. Он любил, чтобы его жалели, но так много жалости он не требовал. Услышав от Одетты то, чего он сам боялся, он оцепенел от страха. Он не хотел это показывать, но не выдержал:

– Ага, значит, ты от меня скрывала! Ты знаешь, что я очень болен?..

– Нет, нет, я ничего не знаю, я не хочу, я не хочу, чтобы ты был так болен!.. Ох, Марк, не умирай! Если ты умрешь, я умру вместе с тобой!

Она с плачем бросилась к нему на шею. Марк был сильно взволнован и тоже заплакал, сам не зная, кого он жалеет, себя или Одетту. На шум прибежали обе мамы, разобрали их и увели Одетту. Но эта минута очень сблизила детей.

Впрочем, утром настроение у Марка уже изменилось. Тревога прошла, и он даже был зол на себя за то, что накануне оказался трусишкой (старшие, чтобы рассеять его страхи, посмеялись над ним). Он злился и на Одетту, которая своим дурацким волнением довела его до такого малодушия. И кроме того... он слышал ее смех, видел ее издали, пышущую здоровьем, и сердился на нее за это. Марк завидовал этому избытку здоровья и чувствовал себя униженным.

Долгое время после выздоровления его мучило то, что он выдал себя, осрамился перед двоюродной сестренкой. Еще неприятнее было сознание, что он и в самом деле тогда перепугался и Одетта это видела. А Одетта, успокоившись, все-таки коварно запомнила ту минуту. Она увидела тогда Марка без ходуль – просто трусливого маленького мальчика. Таким она его еще больше любила. Но он никак не мог ей это простить.

Марк поправился. Одетта расцвела. Прошлым летом она в первый раз пошла к причастию и очень этим гордилась. (В то время церковь, подобно Джоконде, искала невинные души и, почуяв своим длинным подозрительным носом дух времени, решила, что чистота и невинность сохраняются лишь до семилетнего возраста.) Отныне Одетта считала себя уже взрослой женщиной и, стараясь всем это доказать, сдерживала свою резвость, напоминая козленка на привязи. Но этот козленок каждую минуту мог одним прыжком вырваться у вас из рук... Дела Сильвии шли хорошо, она чувствовала себя счастливой.

Да и Аннета в семье сестры удовлетворяла свою потребность любви, уже не такую острую, как когда-то, умеренную испытаниями и годами.

Для нее, казалось, наступила безбурная полоса жизни.

Все говорило о прочном благополучии.

Стоял конец октября. В один из тех жарких и ослепительных дней, когда не затененный ни единым облачком солнечный свет кажется обнаженным, как и деревья, с которых облетела листва: в четвертом часу Аннета сидела у Сильвии. Окна, выходявшие во двор, были открыты, чтобы дать доступ в комнату лучам осеннего солнца, золотым и сладким, как мед. Обе женщины внимательно рассматривали и щупали образцы новых материй и, всецело погруженные в свое занятие, вели оживленный разговор. Одетта – ей уже исполнилось восемь лет, накануне праздновался день ее рождения – была в одной из дальних комнат по другую сторону коридора, которые выходили окнами на улицу. Она только что просунула в полуоткрытую дверь свой любопытный носик, желая узнать, что делают мать и тетка. Ее прогнали, строго приказав до обеда кончить уроки. Марк был в лицее и должен был прийти через полчаса.

Время текло неторопливо и ровно, без единой заминки, без малейшей ряби, и казалось, так будет продолжаться всю жизнь. Сестры чувствовали себя хорошо, но и не думали этому радоваться, это было естественно! Во дворе, в плюще, покрывавшем стену, весело чирикали воробьи. Осенние мухи жужжали от удовольствия, наслаждаясь последними теплыми днями и отогревая на солнышке цепенеющие крылья.

Сестры ничего не слышали... Ничего. И все-таки обе замолчали сразу, в одно и то же мгновение, как будто почувствовав, что порвалась тонкая ниточка, на которой держалось их счастье...

У входной двери раздался звонок.

– Неужели Марк? Нет, ему еще рано.

Опять звонок. Потом забарабанили в дверь... Есть же такие торопыги!..

Сейчас!..

Сильвия пошла открывать, Аннета за ней, в нескольких шагах. У двери запыхавшаяся привратница что-то кричала, размахивая руками. В первое мгновение они не поняли...

- Вы еще ничего не знаете, сударыня? Случилось несчастье... Маленькая барышня...
- Кто?
- Ваша Одетта... Бедная девочка!..
- Что? Что?
- Упала...
- Упала!
- Да, она внизу.

Сильвия взвыла. Оттолкнув привратницу, она стремглав помчалась вниз по лестнице. Аннета хотела бежать за нею, но у нее подкосились ноги, сильное сердцебиение мешало идти. Пришлось ждать. Она еще стояла наверху, перегнувшись через перила, когда с улицы донеслись дикие крики Сильвии...

Но что же случилось? Одетта была непоседа; готовя уроки, она постоянно вскакивала с места и всюду совала нос, и теперь она, вероятно, высунулась из окна посмотреть, не идет ли Марк, и слишком низко наклонилась... Бедная девочка не успела даже сообразить, что случилось...

Когда Аннета, шатаясь, сошла наконец вниз, она увидела толпу людей на улице, обезумевшую Сильвию и на руках у нее истерзанное тельце с безжизненно повисшими руками и головой – точь-в-точь зарезанный ягненок. Под темной шапкой волос не видно было разбитого черепа. Только из носу вытекло немного крови. Глаза, еще открытые, словно спрашивали... Ответ дала смерть.

Аннета упала бы на землю с криком ужаса, если бы ее не парализовало дикое исступление Сильвии, и воплях которой слышалась вся безмерность человеческих мук. Сильвия, стоя на коленях, почти легла грудью на ребенка, поднятого ею с мостовой. Она с неистовыми криками трясла его и звала, звала Одетту. Она проклинала – кого, что? Небо, землю... Она сходила с ума от ненависти и отчаяния...

Впервые увидела Аннета, что и сестра одержима сильными страстями.

Сильвия сама их в себе никогда не подозревала, так как жизнь до сих пор щадила ее, не давая им повода проявиться. Теперь Аннета узнавала в ней свою кровь.

Отчаяние сестры не позволяло Аннете дать волю своему. Чтобы поддержать Сильвию, она должна была быть сильной и спокойной, и она это сумела. Она взяла Сильвию за плечи. Та вырывалась и продолжала вопить, но Аннета наклонилась и подняла ее. И Сильвия, покорившись наконец этой властной нежности, затихла, подняла голову. Увидев столпившихся вокруг людей, она обвела их суровым взглядом и, не вымолвив ни слова, с ребенком на руках пошла к дому.

Она только что переступила порог, как шедшая за ней Аннета заметила на углу Марка, который возвращался из школы. И, как ни сильно было ее горе и любовь к несчастной девочке, сердце запрыгало у нее в груди:

«Какое счастье, что не он!»

Она побежала навстречу Марку, чтобы помешать ему увидеть. При первых же ее словах он побледнел и стиснул зубы. Аннета отвела его подальше от места, где произошло несчастье, и сказала, что Одетта сильно расшиблась.

Но он, со свойственным детям чутьем, понял, что она умерла. Судорожно сжав руки, он пытался отогнать эту страшную мысль. Однако, несмотря на волнение, он все время был занят собой, следил за своими движениями и выражением лица, за проходившими мимо людьми. Он смутился, заметив, что мать на улице без шляпы и что на них оглядываются. Эта неприятность отвлекла его и помогла успокоиться. Видя, что он держится стойко, Аннета рассталась с ним на полдороге, велев ему идти домой, а сама поспешила к Сильвии. Сильвия, в полном изнеможении упав на стул, сидела в углу у кровати покойницы, ничего не слыша и не понимая, дыша тяжело и шумно, как загнанная лошадь. Мастерицы хлопотали около девочки. Аннета обмыла маленькое тело Одетты, надела на нее чистое белье и уложила в постель, как в те далекие вечера (только вчера, а как бесконечно далеко было это время!), когда она приходила выслушивать поверяемые ей тихонько детские тайны! Сделав все, что

нужно, она подошла к Сильвии и взяла ее за руку.

Влажные и холодные пальцы лежали безвольно в ее руке. Аннета сжимала эти пальцы, из которых, казалось, ушла жизнь. У нее не хватало духу шептать сестре слова утешения, они все равно не прошли бы сквозь стену отчаяния.

Одно только физическое прикосновение, полное сестринской любви и сострадания, могло постепенно дойти до сердца Сильвии. Аннета обняла Сильвию, прижалась лбом к ее щеке. Слезы ее капали на шею и грудь сестры, словно для того, чтобы растопить ледяную кору, сковавшую это сердце. Сильвия молчала и не двигалась. Но пальцы ее уже начали слабо отвечать на пожатие Аннеты. Когда пришел Леопольд, Аннета оставила их вдвоем.

Она пошла домой к Марку и сказала ему всю правду. Но он уже знал ее.

Он скрывал свое волнение, потому что оно его пугало, и старался сохранять спокойный и уверенный вид. Это удавалось ему только до тех пор, пока он молчал. Стоило ему заговорить, как голос его дрогнул и оборвался.

Он убежал в другую комнату, чтобы выплакаться наедине. Аннета материнским чутьем угадывала тоску детского сердца при первом столкновении со смертью и не стала говорить с сыном на эту опасную тему. Она просто посадила его к себе на колени, как бывало в раннем детстве. Марк и не подумал обидеться на то, что с ним обращаются, как с малышом, и, словно ища спасения, прильнул к ее теплой груди. Так оба они успокоились, убаюкав свой страх сознанием, что они не одиноки, что они вдвоем могут от него защищаться. Потом Аннета заставила мальчика лечь спать, уговаривая его быть храбрым, как подобает мужчине, и не бояться, если ей придется на ночь уйти и оставить его одного. Марк обещал.

И Аннета поздно ночью опять пошла в дом, где произошла трагедия. Ей хотелось посидеть около умершей. Сильвия уже вышла из своего мрачного бесчувствия. Не вернулось к ней и бурное отчаяние первых минут. Но на нее тяжело было смотреть. Аннета, войдя, увидела, что она улыбается.

Должно быть, у нее помутилось в голове. Услышав шаги Аннеты, она подняла глаза, посмотрела на сестру и, подойдя к ней, сказала:

– Она уснула.

Взяв Аннету за руку, она подвела ее к кровати.

– Смотри, какая она хорошенькая! Сильвия говорила это, сияя от радости, но Аннета заметила в ее лице тень тайной тревоги. И, когда Сильвия через минуту опять сказала вполголоса: «Она сладко спит, правда?..» – Аннета, встретив лихорадочный взгляд, ожидавший ответа, ответила то, что от нее хотели услышать:

– Да, она спит.

Она прошла с Сильвией в соседнюю комнату. Там сидели Леопольд и одна из мастериц. Они пытались завязать разговор, чтобы отвлечь Сильвию. Но мысль ее металась, как раненая, перескакивала с одного на другое, ни на чем не задерживаясь. Она взялась за какое-то рукоделье, каждую минуту бросала его, потом брала снова и снова бросала, точно прислушиваясь к дыханию в соседней комнате, и все твердила:

– Как крепко она спит! При этом она обводила взглядом окружающих, чтобы их... нет, чтобы себя убедить в этом. Один раз, подойдя к кровати, она нагнулась над мертвой девочкой и стала говорить ей ласковые слова.

Для Аннеты было пыткой слушать это, ей хотелось, чтобы сестра замолчала.

Но Леопольд тихонько умолял ее не мешать Сильвии – пусть утешается иллюзией.

Иллюзия рассеялась сама собой. Сильвия вернулась на место, опять взялась за работу и ничего больше не говорила. Вокруг нее разговаривали, но она не слушала. Скоро умолкли и остальные. В комнате нависло унылое молчание... Вдруг Сильвия закричала. Это был протяжный крик без слов. Упав грудью на стол, она стала биться об него головой. Быстро убрали иголки и ножницы. Когда Сильвия смогла заговорить, она стала проклинать бога. Она в него никогда не верила, но надо же отвести душу! И, грозно сверкая глазами, она осыпала бога грубыми ругательствами...

Она скоро обессилела, и ее отнесли в постель. Она лежала неподвижно.

Аннета не отходила от нее, пока она не заснула.

Домой Аннета возвращалась совсем разбитая. Над улицами уже вставал белесый рассвет... Марк не спал. Она стала раздеваться, дрожа от холода.

Но в последнюю минуту, когда уже собиралась лечь в постель, она босиком, в одной рубашке бросилась в комнату сына. Слишком много она за этот день перестрадала, слишком, долго крепилась! Она страстно целовала мальчика в губы, в глаза, в уши и шею, целовала ему руки и ноги, твердя:

– Родной мой, маленький мой... Ты не оставишь меня, не оставишь?..

Марк был испуган, смущен, сильно взволнован. Он плакал вместе с нею, жалея больше себя, чем других. Но и других тоже. Сейчас он почувствовал горечь своей утраты, он оплакивал эту любовь, которую раньше отвергал. С нежностью и грустью он вспоминал тот вечер, когда был болен и Одетта пробралась к нему. И подумал:

«А все же умер не я! Я жив!...»

Аннета дрожала при мысли, что предстоит еще такой же день. У нее на это не хватило бы сил. Но все дальнейшее переживалось уже не с такой ужасающей остротой, как в первые часы. Когда страдание доходит до высшей точки, оно неизбежно начинает спадать. От него либо умирают, либо привыкают к нему.

Сильвия взяла себя в руки. Лицо ее было мертвенно-бледно, у носа и в углах рта залегли жесткие складки (они, хотя потом и сгладились немного, навсегда оставили след на лице Сильвии). Но она была спокойна, деятельна, занялась вместе с мастерицами кройкой и шитьем траурных платьев.

Она отдавала распоряжения, надзирала за всем, работала сама, движения ее рук были точны и так же уверенны, как и взгляд. Когда она примеряла Аннете платье, та боялась проронить слово, которое могло бы напомнить Сильвии о похоронах. Но Сильвия сама о них заговорила – спокойно, хладнокровно. Она никому не хотела поручить связанные с ними хлопоты и распорядилась всем до мелочей. Это искусственное спокойствие Сильвия сохраняла до конца похорон. И только выполнению религиозных обрядов воспротивилась с холодной, сосредоточенной злобой. Она не прощала богу смерть девочки!.. До этого несчастья Сильвия была безотчетно неверующей, но к религии относилась только безразлично, а не враждебно. Не признаваясь в этом, слегка посмеиваясь над собой, она даже была растрогана, когда увидела свою хорошенькую дочку в белом платье причастницы... А теперь она знала, что все – обман, да, да!.. Подлый бог!.. Никогда она не простит ему!

Аннета боялась, что нечеловеческие усилия, которые делает над собой Сильвия, разрешатся новым приступом отчаяния, когда она вернется домой с кладбища. Но ей не удалось остаться с сестрой. Сильвия резким тоном велела ей идти домой. Присутствие Аннеты было для нее нестерпимо: ведь у Аннеты есть сын!..

На другой день встревоженный Леопольд пришел к Аннете и рассказал, что Сильвия не ложилась всю ночь. Она не плакала, не жаловалась, страдала молча. Не щадя себя, она начала по-прежнему работать в мастерской.

Привычные обязанности требовали своего настоящего, чем сама жизнь.

Тяжелое душевное состояние Сильвии сказывалось только в некоторых мелочах: раз она криво скроила платье (таких промахов за нею никогда не водилось) и, не сказав ни слова, выбросила его. В другой раз порезала пальцы ножницами. По вечерам ее уговаривали лечь. Но она все ночи напролет сидела в постели без сна, не отвечая тем, кто с нею заговаривал.

И каждое утро до работы в мастерской она ходила на кладбище.

Так прошли две недели. Однажды Сильвия вдруг среди бела дня куда-то скрылась. Приходили заказчицы, ждали. Подошел час ужина – ее все не было. Пробило десять, одиннадцать. Муж боялся, что она в отчаянии покончила с собой. Наконец в час ночи она вернулась домой и эту ночь спала до утра. Узнать у нее ничего не удалось. Следующие вечера она опять где-то пропадала. Теперь она уже стала разговаривать с окружающими и, казалось, оттаяла, но упорно скрывала, куда ходит по вечерам. Мастерицы начали шушукаться. Добрый муж жалел ее и, пожимая плечами, говорил Аннете:

– Если даже она изменяет мне, я не могу на нее сердиться: она так настрадалась!.. Если это может ее отвлечь от навязчивых мыслей... что ж, пускай!

Аннета как-то подстерегла Сильвию, когда та выходила из дому, и осторожно дала ей понять, какое беспокойство и какие подозрения вызывают ее отлучки, как они огорчают ее близких. Сильвия сперва не хотела даже остановиться и проявила полное равнодушие к тому, что о ней могут подумать. Но, узнав о доброте мужа, она растрогалась и, уступив внезапной потребности излить душу, увела Аннету к себе в комнату. Здесь она заперла дверь и, сев рядом с сестрой, вполголоса, с таинственным видом, блестя глазами, рассказала ей, что каждый вечер посещает кружок спиритов, которые собираются у стола, и там она беседует со своей умершей дочкой.

Аннета, не смея выдать свои чувства, с ужасом слушала Сильвию, которая умиленно пересказывала ей ответы Одетты. Сильвию теперь уже не нужно было заставлять говорить – ей радостно было повторять вслух слова девочки, в эти слова она вкладывала всю душу. Аннета не решалась разрушить иллюзию, которой только и жила теперь сестра. А Леопольд – тот даже готов был поощрять Сильвию. В глазах этого простого и здравомыслящего человека самовнушение Сильвии было не хуже всякой другой религии. Аннета посоветовалась с врачом, и тот сказал, что не надо трогать Сильвию, пока она не изживет свое горе.

Теперь Сильвия ходила сияющая. Глядя на нее, Аннета мысленно спрашивала себя, не лучше ли священная материнская скорбь, чем эта нелепая радость, оскорбляющая таинство смерти. В мастерской Сильвия уже не скрывала своих сношений с потусторонним миром. Девушки расспрашивали ее о сеансах – ее рассказы доставляли им такое же удовольствие, как те романы, что печатаются в газетах. Заходя в мастерскую, Аннета слышала, как они оживленно обсуждали последнюю беседу Сильвии с умершей Одеттой. А раз она видела, как одна из учениц хихикала, пряча лицо за матерью, которая была у нее в руках. Сильвия, еще недавно столь чуткая к иронии и умело пускавшая ее в ход, теперь болтала, ничего не замечая, всецело поглощенная своей бредовой идеей.

На этом дело не кончилось. Однажды вечером, ничего не сказав Аннете, она повела на сеанс Марка. Она опять вспыхнула к нему восторженной любовью, и лицо ее светлело, когда он приходил. Не застав Марка дома, Аннета сразу догадалась, в чем дело. Но когда он вернулся поздно вечером взвинченный и расстроенный, она удержалась от расспросов. Ночью мальчик кричал во сне. Аннета встала и успокоила его, нежно глядя по голове.

Утром она сурово поговорила с Сильвией. Когда дело касалось ее сына, она не могла щадить сестру. На этот раз она не скрыла своего глубокого отвращения к ее опасным сумасбродствам и категорически запретила ей вовлекать в них ребенка. В другое время Сильвия отвечала бы не менее резко, но теперь она только загадочно усмехалась, потупив голову, чтобы не встречаться с гневным взглядом Анкеты. У нее не было прочной внутренней уверенности в истинности своих откровений, и она опасалась беспощадной критики сестры. Она не стала спорить с Аннетой и ничего не обещала – словом, вела себя, как нашкодившая кошка, которая лукаво и вкрадчиво слушает, как ее журят, а все-таки делает по-своему.

Она не решалась больше брать Марка с собой, но поверяла ему все, что слышала на спиритических сеансах, и очень трудно было помешать этим беседам, которые Марк хранил в тайне с такой же осторожностью, как и тетка. Она рассказывала Марку, что Одетта говорит с нею о нем. Это-то и привязывало Сильвию к мальчику: Одетта как бы завещала ей Марка. Она играла роль посредницы между обоими детьми, передавая каждому, что сказал другой. Марк, в сущности, ей не верил; критический ум, унаследованный от деда, защищал его от веры в такую бессмыслицу, но она волновала его воображение. Он слушал с любопытством и каким-то смутным отвращением. Увлекаясь этой нездоровой игрой, он в то же время строго осуждал Сильвию, распространяя свое презрение на всех женщин. Эта могильная атмосфера была опасна для мальчика его лет. Слишком рано было ему навязано знакомство с жуткой комедией жизни и смерти. Он как бы ощущал вокруг запах гниющих тел, он

задышался от этого запаха. И так как ум его не был настолько развит, чтобы защищать его, то бурные жизненные силы юности проявлялись в смутных инстинктах, которые бродили в нем, как звери в ночи.

Страшная стая! Можно подумать, что в силу какого-то закона эмбриологии психический организм человека в процессе развития проходит ряд самых низменных животных стадий, прежде, чем вознестись на высокую ступень ума и воли. К счастью, он короток, этот период, напоминающий о нашем происхождении от диких животных. Это – шествие призраков. Самое лучшее – дать им пройти как можно быстрее и, отойдя в сторону, ничем не пробуждать их темного сознания. Но период этот не безопасен, и самая любовная бдительность не может уберечь от него ребенка, ибо маленький Макбет один видит эти призраки. Всем другим, даже самым близким, место Банко кажется пустым. Взрослые слышат бодрый голос ребенка, смотрят в его невинное лицо, не замечая опасных теней, пробегающих в глубине ясных глаз. Да и сам он, любознательный наблюдатель, едва ли подозревает о них. Как ему распознать эти инстинкты жадности, жестокость и даже... склонность к преступлению, если они явились из чужого мира, в котором он не был рожден?

Нет ни одной порочной мысли, которая не коснулась бы его в этот период жизни, которой он не попробовал бы на вкус!

Две женщины опекали Марка, и обе не подозревали, каким нравственным уродом бывает в иные минуты этот баловень, который всегда у них на глазах.

Сильвия понемногу успокаивалась. Ее рассказы о спиритических сеансах уже не звучали так таинственно, она сообщала о них теперь без волнения, мельком, без всякой навязчивости. Скоро в тоне ее даже стала заметна какая-то принужденность, а там она и совсем перестала об этом говорить и больше не отвечала на расспросы... Разочаровалась ли она и не хотела в этом сознаваться? Или усталость ее одолела? Этого Сильвия никому не открыла. Но в долгих беседах, которые она по-прежнему вела с Марком, потусторонний мир занимал все меньше места и в конце концов отошел на задний план. Казалось, Сильвия снова обрела душевное равновесие. О пережитом испытании говорили постороннему глазу только некоторые перемены в ее наружности. Она постарела, и горе не только не одухотворило ее черты, а, напротив, придало им какую-то грубую телесность. Формы стали пышнее, в ней была та же грация, но больше блеска. Мощный инстинкт жизни победил мучительную тоску. И новые горести и радости, опадающие листья дней, пыль исхоженных дорог мало-помалу засыпали зияющую могилу в ее сердце.

Видимость бывает обманчива.

В семье Ривьеров жизнь опять шла обычным порядком. Но катастрофа оставила в сердцах трещину.

В жизни вселенной исчезновение ребенка – весьма малое событие. Смерть ходит среди нас и не должна была бы никого удивлять. С того дня, как мы приходим в мир, мы видим смерть за работой и привыкаем к мысли о ней. По крайней мере думаем, что привыкли. Мы знаем, что рано или поздно она придет и к нам и сделает свое дело. Мы предвидим горе. Но это не только горе, это нечто гораздо большее! Пусть каждый спросит себя, так ли это.

И большинство согласится, что чья-то смерть произвела переворот в его жизни. Это как смена эр: Ante, Post Mortem.⁴⁵ Исчез человек – и всей нашей жизни нанесен удар, весь мир живых, вчера бывший царством света, сегодня одевается мраком... Камешек, один камешек выпал из свода – и свод рушится! Небытие поглощает все, оно не знает пределов. Если одно малое «я» – ничто, то и всякое «я» теряет значение. Если того, что я любил, больше нет, то и я, любивший, тоже превратился в ничто, ибо я существую лишь в том, что люблю... И с его смертью внезапно обнаруживается нереальность всего, что живет и дышит вокруг нас. И все приходят к этому, но каждый по-своему: кто инстинктом, кто разумом, кто смотрит этому прямо в лицо, кто трусливо отводит глаза в сторону.

⁴⁵ До и после смерти (лат.).

От семейного дерева отломилась маленькая веточка – Одетта. Другие ветви продолжали расти и давать побеги. Но из четырех три росли искалеченными.

Меньше всего катастрофа отразилась на отце. В день похорон на него больно было смотреть, он напоминал загнанную и свалившуюся лошадь, у которой тяжело поднимаются грудь и бока. Но прошло две недели – и он уже был снова поглощен своими делами, властные жизненные потребности взяли верх над горем, он работал, ел за двоих, разъезжал – и забывал.

Из двух женщин Аннету скорее можно было принять за осиротевшую мать.

Она была безутешна. Чем больше стирался в окружающей жизни след погибшей девочки, тем ее скорбь становилась острее. Одетта была ее ребенком больше, чем ребенком Сильвии. Эта дочь, не созданная ею из своей плоти, но избранница ее души, на которую она изливала весь свой запас нежности, была ей ближе родного сына. Теперь она корила себя за то, что недостаточно сильно любила Одетту, что скупилась на ласки, которые были так нужны этому ненасытному сердечку. Она внушала себе, что должна хранить память о девочке, потому что другие понемногу забывают ее.

Сильвия проявляла теперь странную веселость, суетливую и беспокойную.

Говорила громко, пересыпала утомительный поток слов остротами и флиртными замечаниями, которые ее народец в мастерской встречал взрывами хохота, а Марк ловил на лету и тайно смаковал. Он тоже отбил от рук.

Стал хуже учиться, слонялся без дела, повесничал, не упускал случая подурочиться: это была реакция души, защищавшейся от овладевшего ею ужаса.

Но кто из окружающих мог угадать это? Ведь каждый из нас для других – закрытая книга. Тебя считают равнодушным, а между тем ты жаждешь открыться – и не можешь... «Нет общности страданий...»

Любовь к умершей делала Аннету несправедливой к живым. Она видела в них эгоистов, которые всячески цепляются за жизнь, столкнув воспоминания на дно души, и сердилась на них за это.

Но вот однажды в воскресенье, когда Марк отправился с Леопольдом на спортивные состязания, Аннета, придя к Сильвии, нашла входную дверь открытой. Из прихожей она слышала тяжкий долгий стон. Это Сильвия, сидя в своей комнате, говорила сама с собой и плакала. Аннета на цыпочках вышла опять на лестницу, закрыла входную дверь и позвонила. Сильвия ей отворила. У нее были красные глаза. Она пояснила, что это от насморка, и тотчас принялась болтать с шумной и грубоватой веселостью. Начала рассказывать один из скабрезных анекдотов, которых у нее всегда было в запасе множество. У Аннеты щемило сердце. Значит, все это только притворство?

Но это было притворство лишь наполовину. Сильвия прежде всего старалась обмануть себя. Отчаяние, глубокое, беспросветное, безысходное, довело ее до какого-то шутовского, наигранного презрения к жизни. У нее оставался один выход: забыть и носить маску беспечного цинизма, которая в конце концов подменила ее истинное лицо. «Все на свете – трын-трава и выеденного яйца не стоит. Честность, благородство – пустые слова!.. Не надо ничего принимать всерьез. Нет! Пользоваться жизнью и смеяться над ней!»

Одно необходимо – труд, потому что он потребность и потому что без него не проживешь...»

Еще многое сохранилось в этой разрушенной жизни. Инстинкты у Сильвии были сильнее разума. И хотя она как будто отметала все, Аннета и сын Аннеты крепко пустили корни в ее сердце. Они все трое были как бы слиты в одно существо. Впрочем, эта инстинктивная, почти животная любовь отлично уживалась в Сильвии с недобрыми чувствами. Сильвия, безжалостная к себе, была безжалостна и к Аннете. Она разговаривала с ней резко и насмешливо, потому что серьезность и нравственная требовательность Аннеты, ее безмолвная печаль, полная воспоминаний, раздражали Сильвию, как немой укор.

И это в самом деле был укор. Аннета была не настолько великодушна, чтобы щадить сестру. Правда, она видела, что Сильвия бежит от горя, как дичь от собаки, и жалела ее. Она

сетовала на слабость человеческую и в то же время презирала людей за то, что они, ради исцеления от горя, жертвуют самым дорогим и всегда готовы изменить своим священнейшим чувствам, чтобы усыпить жестокою неотвязную боль. Это так сильно уязвляло Аннету еще потому, что в ней самой громко говорила малодушная жажда жизни, и она осуждала себя за это.

Вот чем объяснялась ее суровая сосредоточенность в первые месяцы после несчастья, ее нетерпимость, пессимистическая и надменная, под которой она скрывала рану сердца...

После печальной зимы снова пришла Пасха. В одно воскресное утро Аннета бродила по Парижу. Небо было ярко, воздух недвижим. Погруженная в свое горе, Аннета слушала унылый перезвон колоколов. Звуки сплетались в звенящую сеть, оплетали ее душу, увлекали из потока беспечных лет на песчаный берег, где лежал распростертый мертвый бог. Она вошла в церковь. И с первой же минуты почувствовала, что ее душат слезы. Долго сдерживаемые, они хлынули теперь ручьями. Она дала им волю. Никогда еще ей не был так понятен трагический смысл этого дня Пасхи. Стоя на коленях в углу придела, низко опустив голову, она слушала орган, слушала пение, гимны радости... Ах, эта радость!.. Вот так же Сильвия смеется, а сердце плачет там, в глубине... Да, теперь она твердо знала: страдалец Христос мертв, он не воскрес! А скорбная любовь всех его близких, любовь сотен поколений тщетно стремится отрицать его смертность... Но насколько горестная правда выше мифа о воскресении, насколько больше в ней подлинной религиозности! Ах, этот вечный печальный самообман страстно любящего сердца, которое не может примириться с утратой любимого!..

Аннете не с кем было поделиться своими мыслями. И, замкнувшись в себе наедине с маленькой умершей, она спасала ее от второй и более страшной смерти: забвения. Она была тверда в этой борьбе с самой собой и с другими. А так как всякая попытка насильственного воздействия на чужие мысли вызывает противодействие, то люди, которых осуждала Аннета, чувствуя себя задетыми, суровее, чем следует, порицали ее. И отчуждение между ними и ею росло.

С Марком они стали почти совсем чужие. Марк все дальше и дальше отходил от Аннеты. Разлад этот назревал уже давно. Но до последнего времени мальчик скрывал свое отношение, был сдержан и осторожен. Все то долгое время, которое он прожил вдвоем с Аннетой, он остерегался спорить с нею: силы были неравны, а он прежде всего хотел, чтобы его оставили в покое.

И он покорно давал матери высказываться. Таким образом, она постепенно обнаруживала перед ним все свои слабости, а он не выдавал своих. Теперь, найдя союзницу в тетке, Марк уже не боялся раскрыть карты. Сколько раз, бывало, мать, сердясь на него за то, что при малейшей попытке узнать его мысли он, как улитка, уходит в свою раковину, говорила ему:

– Ну, вылезай из своей норки! Покажи хоть раз, что у тебя в башке!

Или ты не умеешь говорить?

О, он умел говорить – на этот счет Аннета могла быть спокойна! И теперь он говорил... Лучше бы он молчал, как прежде!.. Что это был за упрямый спорщик! Он больше не боялся противоречить матери. Нет, он придирался к каждому ее слову. И каким дерзким тоном он возражал ей!

Это началось как-то вдруг, сразу, и, несомненно, отчасти виновата была Сильвия, коварно поощрявшая бунт племянника. Но была и более глубокая причина поведения Марка. Перемена в нем объяснялась приближением половой зрелости. Мальчик за несколько месяцев словно переродился: у него обнаружился совсем другой характер, капризные, резкие манеры. Прежняя молчаливость находила на него только приступами, и это было уже не миролюбивое, вежливое, немного лукавое молчание ребенка, желающего нравиться, – теперь в нем чувствовались враждебность и строптивость. Его невежливость, доходившая до грубости, резкий тон, необъяснимая жестокость, какой он отвечал на материнскую нежность Аннеты, больно ранили ее сердце.

Достаточно вооруженная против света, она была безоружна против тех, кого любила.

Каждое грубое слово сына расстраивало ее до слез. Она этого не показывала, но Марк все отлично понимал. Все-таки он не изменил своего поведения: казалось, он старался делать матери назло.

Он, конечно, постыдился бы вести себя как с чужими людьми. Но мать была ему не чужая. Он был связан с нею, и еще как! Как живой плод, который, когда придет время, выходит из материнского чрева. Он создан из ее плоти, и, когда эта плоть становится его плотью, он разрывает ее.

В Марке было много черт, унаследованных не от матери и чуждых ей. Но, как это ни странно, не они были причиной разлада между ним и ею, а именно те черты, которые были у них общими. Ревнивая жажда независимости у Марка не была еще результатом ярко выраженной индивидуальности. В малейшем сходстве с матерью ему чудилось опасное посягательство. Защищаясь от него, он старался во всем отличаться от Аннеты. Что бы она ни говорила, что бы она ни делала, он говорил и делал все наоборот. Она была нежна – он разыгрывал бесчувственного, она была откровенна – он уходил в себя.

Ее горячности он противопоставлял холодность и резкость. И то, с чем Аннета боролась, то, что ее отталкивало (ах, как хорошо он знал ее натуру!), – все это его привлекало, и он спешил сообщить ей об этом. Так как мать стояла за нравственность, этот соплук щеголял аморальностью перед самим собой, а главное – перед другими.

– Нравственность-это выдумка! – объявил он как-то матери.

И доверчивая мать приняла это всерьез. Она приписывала все дурному влиянию Сильвии, которой нравилось вносить сумятицу в мозг этого юнца, так разумно воспитанного матерью. Бац – и горсть диких семян брошена на грядку, и разворошены тщательно выскобленные дорожки!.. Сильвия находила достаточно доводов, чтобы убедить себя, что она действует в интересах мальчика. «Бедняжка растет, как оранжерейное деревцо в тесной кадке!.. Вот мы его пересадим!..» И, при всей своей любви к сестре, она с острым и жестоким удовольствием краля у нее это сердце, ее побег.

Марк, как все дети, чуткий к тому, что его касалось, подметил тайный поединок между сестрами и, конечно, старался извлечь из него выгоду для себя. С тонким коварством он оказывал явное предпочтение Сильвии и радовался, видя, что мать ревнует. Аннета уже не скрывала своей ревности. И (с большим основанием, чем Сильвия) объясняла эту ревность тревогой за сына. Сильвия любила племянника, и у нее было достаточно здравого смысла: ее легковесная житейская мудрость стоила всякой другой, более тяжеловесной. Но мудрость эта не годилась для тринадцатилетнего мальчика, он извлекал из нее опасные уроки. Она обостряла в нем аппетит к жизни, а уважения не внушала. Когда же уважение к жизни исчезает слишком рано, – тогда беда! Сильвия никак не могла привить Марку хороший вкус – разве только умение одеваться. Она водила его в кино на дурацкие фильмы и в мюзик-холлы, а он приносил оттуда ужасающие куплеты и впечатления, которые оставляли мало места для серьезных мыслей. Это сказывалось на его занятиях. Аннета сердилась и запрещала Сильвии брать Марка с собой. Но то был лучший способ укрепить союз между теткой и племянником. Марк считал, что мать его тиранит, и скоро сделал открытие, что в наши дни роль угнетенного очень выгодна. Аннета же на горьком опыте узнала, что положение тирана не так уж безопасно и приятно.

Теперь Марк на каждом шагу давал ей почувствовать, что он – жертва, а она злоупотребляет своей властью. Ну что ж, пусть так! Аннета твердо решила употребить свою власть на то, чтобы образумить сына. Она не желала больше выносить его легкомыслие, наглую рисовку, непристойное зубоскальство. Чтобы его обуздать, она в противовес этой распушенности стала подчеркивать свои нравственные правила. А Марку это было на руку: он давно поджидал случая поговорить с матерью на эту тему.

Однажды, возражая против какого-то запрещения матери, он сослался на мнение тетки. Аннета вспыхнула и сказала, что Сильвия вправе думать и делать, что хочет, и судить ее не следует, но что годится для нее, то никак не годится для него и он не должен ей подражать. Не во всем она может служить примером.

Марк выслушал эту тираду и небрежно заметил:

– Да, но у нее по крайней мере есть муж...

В первую минуту Аннета не нашла, что ответить: она не хотела понять... Что такое он сказал? Нет, не может быть!.. Затем кровь бросилась ей в лицо. Она сидела неподвижно, руки ее, только что занятые работой, празднично лежали на коленях. Марк тоже не шелохнулся. Ему уже стало немного стыдно, и он ждал, что будет... Молчание длилось долго. Волна гнева прилила к горячему сердцу Аннеты. Но она дала ей схлынуть. Возмущение сменилось презрительной жалостью. Она иронически усмехнулась.

«Несчастный мальчик!» – подумала она и, наконец, сказала вслух, снова принимаясь за работу:

– Ты, очевидно, думаешь, что женщина, у которой нет мужа и которая сама работает, чтобы прокормить своего ребенка, менее достойна уважения?

Марк утратил всю свою самоуверенность. Он ничего не ответил, не извинился. Но он был расстроен.

В эту ночь Аннета не могла уснуть... Значит, напрасно она принесла себя в жертву! То, что ее осудил свет, было в порядке вещей! Но он, он, которому она отдала всю себя! И как он узнал? Кто внушил ему эту мысль?

Аннета не могла на него сердиться, но была удручена.

А Марк спал спокойно. У него были некоторые угрызения совести, но сон оказался сильнее их. Хорошо выспавшись, он забыл бы и думать о них, если бы тревожный взгляд матери не вызвал их снова. Марку было неприятно, что мать не забыла о вчерашнем. Но он не мог решиться сказать ей, что ему совестно. Его это мучило, и он, по детской логике, злился на мать.

Оба не обмолвились больше ни словом о вчерашней сцене. Но с этого дня что-то изменилось в их отношениях. В привычных поцелуях чувствовалась какая-то принужденность. Аннета перестала обращаться с Марком, как с ребенком...

Откуда Марк узнал? Разговоры в лицее заставили его задуматься над тем, почему он носит фамилию матери. Давнишние намеки, подслушанные когда-то в мастерской и тогда непонятные, теперь стали ему яснее. Запомнил он и несколько замечаний Сильвии, неосторожно высказанных в его присутствии... Мать была для него загадкой; она его раздражала, и вместе с тем его волновала окружающая ее атмосфера страстей, которых он не понимал, но чуял своим щенячьим нюхом... На всем этом он строил туманные и фантастические догадки, которые не вязались одна с другой. Марка сильно занимала тайна его рождения. Как узнать ее?.. Его оскорбительный ответ на замечание матери о Сильвии был отчасти ловушкой, которую он ей расставил... Неизвестное ему прошлое матери вызывало в нем смесь любопытства и злобы. Ни за что на свете не решился бы он спросить об этом Сильвию: подозревая, что мать в чем-то провинилась, он по-своему оберегал ее честь. Но он был обижен тем, что она скрывает от него какую-то важную тайну. Эта тайна стояла между ними, как кто-то третий.

Между ними и в самом деле стоял кто-то третий. Марк и не подозревал, что в иные минуты он вызывал в памяти Аннеты образ этого «третьего», своего отца... нет, хуже, – всех Бриссо!.. В глухой борьбе, которая завязалась между матерью и сыном, мальчик инстинктивно вооружался тем, что находил в себе противоположного Аннете. И, таким образом, он, сам того не зная, откапывал иногда и пускал в ход все черты, заимствованные из арсенала Бриссо: знаменитую снисходительную усмешку, самодовольство, легкомыслие и ханжество, неприязненное упорство, которого ничто не могло поколебать. В Марке эти черты проступали неясно, как тень, как отражение в воде. Но Аннета узнавала их и думала:

«Бриссо отняли его у меня!..»

Неужели Марк и в самом деле был ей чужой? Унаследованные от Бриссо черты, то, что служило ему оружием против нее, делали его чужим. Но рука, державшая это оружие, была плотью от плоти Аннеты. Здесь шла борьба между двумя существами, слишком родственными, слишком близкими друг другу, и борьба эта была попросту одной из тысячи

прихотей Любви и Судьбы.

У него не было друга. Этот тринадцатилетний мальчик целые дни проводил в классе с тремя десятками других детей, но держался в стороне от товарищей. Когда он был моложе, он охотно болтал, играл, бегал, шумел.

Но вот уже года два на него находили приступы молчаливости, стремление к одиночеству. Это вовсе не означало, что ему не нужны товарищи: он в них нуждался, пожалуй, больше прежнего. Да, именно так! Потребность эта была слишком сильна, он слишком многого от них требовал и слишком много мог дать... Этот весенний куст был весь в шипах! Самолюбие его всегда готово было встать на дыбы. Всякая мелочь больно задевала его, и он этого боялся, а главное – боялся, как бы этого не заметили другие; нельзя обнаружить свою слабость и тем дать врагу козыри в руки (ведь в каждом друге скрывается враг).

То, что он угадал (или, вернее, вообразил) относительно своего рождения и прошлого матери, держало его в нелепом состоянии какой-то угрюмой неловкости. Почерпнув из книг некоторые сведения, он понял, что он «внебрачный» ребенок. (В романтических книгах, которые он читал, употреблялось другое слово, грубее и выразительнее.) В конце концов незаконное рождение стало для Марка предметом гордости, и он уже готов был увидеть в этом обидном архаизме оттенок благородства. Он считал себя не таким, как все, интересным, одиноким, даже обреченным. Он не прочь был занять место среди демонических героев Шиллера и Шекспира, таких же незаконнорожденных, как и он. Это обстоятельство давало и ему право презирать «свет» и выражать свое презрение в высокомерных тирадах – конечно, *in petto*.⁴⁶

Но когда Марк оказывался в «свете», то есть в классе, среди товарищей, он был робок, подозрителен, угнетен своей тайной и боялся, как бы ее не узнали. Его странное поведение, «роковое» выражение лица, тонкий ломающийся голос, легко краснеющее девичье личико и задор молодого петушка – все привлекало внимание других мальчиков и вызывало насмешки.

Один из этих шалопаев даже стал полушутя, полусерьезно приставать к нему с гнусными предложениями. Марка это потрясло. Его ярость и омерзение были так сильны, что от волнения он ночью заболел. Он не хотел больше ходить в лицей, но как объяснить матери причину? Он решил, что сам, без ее помощи, заставит себя уважать. В смятении он твердил мысленно:

«Я его убью».

Марк был в том возрасте, когда у мальчиков пробуждаются половые инстинкты. Они его волновали и пугали. Мать, до странности целомудренная, ничего не видела и не знала. А он умер бы со стыда, если бы она узнала.

И, одинокий, презирая себя, теряя голову, он покорялся ужасным требованиям постыдного инстинкта... Что может сделать ребенок, бедный ребенок, отданный во власть этим стихийным силам? Жестокая мучительница-природа зажигает в теле тринадцатилетнего человека пожар, и огонь этот, не находя пищи, пожирает его самого... Если у мальчика хорошие задатки, он может спастись, впад в другую крайность: аскетическую экзальтацию души, которая часто разрушает тело. Молодежь того времени была счастливее своих отцов – она уже начала прибегать к мужественному искусству спорта.

Марк был бы рад последовать примеру других, но и тут природа была против него: она не наделила его нужными для этого физическими силами. Ах, как он завидовал здоровым и сильным! Как ревниво ими любовался! Его восхищение походило на ненависть... Никогда ему не быть таким, как они!..

Желания, всякие желания, чистые, нечистые, – полнейший хаос... Они терзали его, как злые духи... И он стал бы игрушкой судьбы, ничто не могло бы спасти его, если бы не

⁴⁶ Про себя (итал.).

заложенные в нем здоровая нравственность и честность, более того – бессознательное благородство, искра священного огня, результат трудов, мужества и долготерпения лучших представителей рода, то, что не выносит грязи и бесчестия, не допускает позорного падения, то, что помогает человеку распознавать обостренным чутьем все дурное и низкое и вытравлять его в себе, извлекая из самых сокровенных тайников мысли. А если он не всегда может уберечься от грязи, то всегда осуждает ее, осуждает, бичует и карает себя...

Да здравствует Гордость!.. Sanctus!..⁴⁷ Для таких натур, как Марк, гордость – залог душевного здоровья. Это – утверждение божественного начала в самой низменной натуре, это – источник спасения. Если бы не гордость, разве человек одинокий, не знающий любви, стал бы бороться с низменными желаниями? К чему было бы бороться, если бы он не верил, что должен оберегать какие-то высшие ценности и ради них победить или умереть?

Марк хотел победить. Победить то, что ему было и понятно и непонятно.

Победить нечто, еще не узнанное, но внушающее ему отвращение. Победить загадку жизни и то низменное, что есть в нем самом... Увы, и тут, как и во всем, он терпел бесчисленные поражения! Пытался работать, читать, взять себя в руки, но изменял себе, чувствовал, что распускается. Все то же проклятое слабоволие!.. Нет, сила воли у него есть, но она еще не развита, ее недостаточно, чтобы добиться того, чего он хочет, что поставил себе целью. То его мучает любопытство и желания, здоровые и нездоровые, и со всех сторон осаждают соблазны, то он впадает в какое-то бесчувствие и ничем не способен заняться, ни на чем сосредоточиться. Он упускает настоящее, забегая слишком далеко вперед. Его уже заботит будущее, выбор профессии. Он знает, что это надо решить как можно раньше, но он еще не может остановиться ни на чем, мечется между всеми возможностями, все ему интересно, – и в то же время безразлично, все влечет и отталкивает. Он сам не знает, чего хочет, он даже не способен хотеть или не хотеть. Внутренний механизм еще не налажен. Он бросается вперед – и вдруг застревает на месте или натывается на что-то и снова оказывается на дне.

Тогда он исследует дно. Этот страдающий мальчик скорее, чем кто бы то ни было, способен почувствовать пустоту и скуку эпохи, стремящейся навстречу гибели. Он испытывает острое ощущение, что у ног его зияет пропасть...

А мать ничего не замечает. Она видит перед собой подростка, в котором еще много ребяческого. Видит угрюмого, требовательного, строптивого, болезненнообидчивого ломаку и любителя громких фраз. То он щеголяет непристойными выражениями, то вдруг пугается малейшей скабрёзности. Больше всего раздражает Аннету его зубоскальство. Она и не подозревает, сколько горечи в этих насмешках. Она не догадывается, что это с его стороны вызов обиднице-судьбе. Мальчик остро чувствует себя обделенным: ведь он слаб, некрасив, он – бездарное ничтожество! Таким он себя считает и, окончательно пав духом, прибавляет к действительным своим недостаткам кучу выдуманных. Он словно ищет, чем бы еще себя унижить... Вот мимо проходят две молоденькие работницы. Они смеются – и Марк уверен, что смеются над ним. Ему и в голову не приходит, что девушки заигрывают с ним, что его покрасневшая рожица, рожица испуганной девочки, вовсе не кажется им такой уж некрасивой... Он читает в глазах учителей мнимую презрительную жалость к посредственному ученику... Он уверен, что те его товарищи, которые крепче и сильнее, презирают его за слабость и догадываются с его трусости. Из-за своей крайней нервности он бывает иногда малодушен и со свойственной ему честностью признается себе в этом и считает себя опозоренным. Чтобы себя наказать, он тайно от других затевает всякие опасные безрассудства, – при этом его прошибает холодный пот, но зато он чуточку реабилитирован в собственных глазах. Этот юный Никомед часто смеется над собой и своими поражениями. Но он зол на жизнь, сделавшую его таким, каков он есть, и больше всего зол на мать.

А мать не понимает, откуда эта враждебность. «Какой эгоист! Он думает только о

⁴⁷ Да святится (лат.).

себе...»

Только о себе? Но если он не будет думать о себе, что из него выйдет?

Если он не будет защищаться сам, кто же его защитит?

Так мать и сын живут рядом, одинокие, замурованные каждый в себе.

Время нежностей миновало. Аннета начинает повторять жалобу всех матерей.

– Он гораздо сильнее меня любил, когда был маленьким!

А Марк приходит к заключению, что матери любят детей для собственного удовольствия, что каждый любит только себя...

Нет, каждый из них хотел любить другого! Но когда человек в опасности, он вынужден думать о себе. О других он будет думать потом. Как спасешь другого, если не спасешься сам? А спастись самому невозможно, если другой висит у тебя на шее.

Когда сын стал ее чуждаться, Аннета, как и он, ожесточилась. Сознательно закрыв сердце для любви, раз не на кого было ее излить, она стремилась теперь утолять умственный голод и потребность действовать. Она работала весь день, по вечерам читала, а ночью крепко спала. Озлобленный Марк и завидовал этой спокойной женщине и презирал ее за здоровье, за то, что она, как ему казалось, не способна ничем терзаться.

А между тем Аннета страдала оттого, что ей не с кем делиться мыслями.

Она заполняла пустоту работой, искала забвения в деятельности... Но работа ради работы не заполняет пустоты в душе... И на что отдать бесполезные силы, которые она ощущала в себе?

Отдавать!.. Ах, эта потребность отдавать себя, жертвовать собой!..

Аннета встречала ее на каждом шагу, и часто она вызывала в ней только жалость, а иногда бывала просто нелепа. Наблюдательная Аннета постоянно изучала лица и характеры. Она отвлекалась от своих горестей, вникая в горести других людей. Впрочем, быть может, в этот период ее жизни, когда сердце ее окаменело (так она воображала), зрелище человеческих страданий, а в особенности поражений и отречений, возбуждало в ней скорее любопытство, чем жалость.

Среди женщин, которые, как и она, вели борьбу с обществом, пытаясь вырвать у него хотя бы скудные средства к существованию, было много загубленных не столько жестокостью жизни, сколько собственной слабостью и самоотречением. Почти все жертвовали собой ради какой-нибудь привязанности и не могли без этого жить. Можно было подумать, что в самоотречении весь смысл их жизни, но оно же сводило их в могилу...

Одна жертвовала собой ради старой матери или эгоистичного отца. Другая – ради пошляка-мужа или неверного любовника. Третья («Вот как я! – думала Аннета) – ради ребенка, который ее совсем не любит, который забудет ее, который завтра, быть может, от нее отвернется... Ну так что же?

Если даже быть обманутой, брошенной, забытой им – для меня радость!..

Если мне приятно получать от него колотушки!..» О насмешка, о самообман!.. «А другие женщины, те, которым не для кого жить, как еще нам завидуют! Им семью заменяют собака, кошка, птичка – у каждой свой кумир!

Уж если им непременно нужно кому-нибудь поклоняться, так лучше богу! По крайней мере высшее существо... У меня тоже есть свое божество, неведомый бог, моя собственная правда, и эта страсть, которая заставляет меня ее искать, может быть, тоже самообман? Но это я узнаю только тогда, когда приду к цели. Если даже это обман, то возвышенный, – он стоит жертв...»

Аннета восставала против бессмысленности некоторых жертв. «Нет, природа не хочет, чтобы лучший приносил себя в жертву менее достойному! А если она этого и хочет, зачем я буду ей подчиняться? Нет, нет, она этого не требует! Она учит нас отрекаться от себя во имя лучшего, высшего и сильнеешего...»

Жертвовать собой во что бы то ни стало, ради достойного или недостойного – пожалуй, даже лучше ради недостойного, потому что тогда эта жертва значительнее, тогда это жертва ради жертвы... Да, это согласно с представлением некоторых людей о божестве... Credo quia

absurdum....⁴⁸ Каков господин, таковы и слуги!.. Это тот самый бог, что уже на седьмой день почил от трудов, считая, что сделал все и сделал хорошо. Если бы люди его слушались, воз жизни остановился бы после первого оборота колеса. Весь прогресс в мире происходит против воли этого бога... Fiat⁴⁹

Будем толкать вперед свой воз! И даже под страхом, что он нас раздавит, я хочу, чтобы он двигался!

Одно печальное знакомство еще усилило возмущение Аннеты против бессмысленных жертв (что она знала о них?), которые люди более достойные приносят менее достойным.

Хлопоча в свое время о месте преподавательницы на курсах для иностранок в Нейи, она оказалась конкуренткой одной молодой женщины, и ей понравилось лицо этой женщины, грубоватое, но энергичное. Аннета пробовала завязать разговор, но та отнеслась к ней недоверчиво и, видимо, думала только о том, как бы устранить соперницу с дороги. В то время Аннета еще не привыкла к такого рода борьбе, глубоко ей противной, и не умела защищаться. Желая расположить к себе соперницу и приобрести нового друга, она даже уступила ей место. Та не выразила никакой благодарности, все ее мысли были заняты погоней за заработком. Она напоминала муравья, который вечно спешит, хлопочет, занят только накоплением. Аннета ее ничуть не интересовала.

После этой встречи Аннета потеряла ее из виду. А когда шесть лет спустя случай снова столкнул их, обе были уже не те, что прежде. Аннета теперь не склонна была проявлять великодушие к конкурентам или излишнюю щепетильность. Она говорила себе: «Такова жизнь, и я не могу ее изменить. Я хочу жить и в первую очередь должна думать о себе...»

Началась борьба. Она была недолгой. После первого же выпада противница Аннеты получила нокаут... Как она постарела за эти шесть лет! Аннету поразило столь быстрое разрушение. Она помнила брюнетку с розовыми щеками, на которых две-три родинки чернели, как изюминки в булке, крепкую, коренастую крестьянку с резкими, торопливыми движениями, с тонкими, суховатыми чертами, которые были бы довольно приятны, если бы не хмурое выражение и упрямый лоб. А теперь она увидела худое, морщинистое лицо, суровый взгляд, горькие складки у рта, впавшие щеки – молодая женщина увяла, как спаленная солнцем трава.

Обе – и Аннета и Рут Гильон – добивались места секретаря у одного инженера. Здесь нужно было работать два дня в неделю – разбирать деловую корреспонденцию и принимать посетителей. Аннета застала Рут в прихожей, они обменялись враждебными взглядами. Рут спросила:

– Вы насчет места? Оно обещано мне.

Аннета ответила:

– Мне оно не обещано, но я пришла предложить свои услуги.

– Напрасно. Место достанется мне.

– Напрасно или нет, но я поговорю. А там пусть берут, кого захотят.

Через несколько минут Аннету позвали в кабинет, и инженер выбрал ее.

Ее уже знали как добросовестную и толковую работницу.

Выходя, она наткнулась на Рут и с холодным видом прошла мимо. Та остановила ее, спросила:

– Приняты?

– Да.

Аннета видела, как вспыхнуло лицо Рут, и ожидала резких слов. Но Рут ничего не сказала. Она вышла вслед за Аннетой, спустилась вниз. На улице Аннета обернулась и бросила быстрый взгляд на побежденную соперницу.

⁴⁸ Верю, потому что нелепо (лат.).

⁴⁹ Да будет (лат.).

Убитый вид побежденной тронул ее. И, вопреки своему решению быть жесткой, она подошла к Рут и сказала:

– Мне очень жаль... Но что делать, жить-то надо!

– Ну, конечно! – отозвалась Рут. – Другим везет, а мне нет.

Она говорила уже совсем другим тоном – уныло, но без всякой неприязни. Когда Аннета хотела взять ее за руку. Рут отодвинулась.

– Полно, не огорчайтесь! Сегодня не повезло, завтра повезет.

– Нет, мне никогда не везет.

Аннета напомнила ей об их первой встрече, когда работу получила Рут.

Рут молчала и с мрачным видом шла рядом с Аннетой.

– Не могу ли я чем-нибудь вам помочь? – спросила Аннета.

Снова краска залила лицо Рут. От оскорбленного самолюбия или от волнения? Она сказала сухо:

– Нет.

Аннета настойчиво продолжала:

– Я была бы очень рада...

И дружески взяла ее под руку. Рут, захваченная врасплох, нервно прижала к себе ее руку и отвернулась, закусив губу. Потом сердито вырвалась и ушла.

Аннета дала ей уйти, но долго еще следила за ней глазами. Она понимала эту женщину. Да, мы не имеем права навязывать свою жалость тому, кто ее не просит...

Через несколько дней, войдя в молочную, Аннета увидела Рут Гильон, что-то покупавшую, и протянула ей руку. На этот раз Рут Гильон подала ей свою, но с ледяным видом. Впрочем, она пыталась быть любезной, сказала несколько обычных фраз. Аннета, довольная уже и этим скромным успехом, поддержала разговор. Они говорили о ценах на продукты. Аннета в душе была удивлена тем, что Рут истратила больше, чем она, на свежие яйца и сгущенное молоко. Рут, точно хвастаясь, платила деньги у нее на глазах.

Выходя, Аннета заметила:

– Как все стало дорого! И, как бы оправдываясь в том, что покупает яйца, добавила:

– Это для моего мальчика.

Рут все с тем же оттенком хвастовства отозвалась:

– А я покупаю для мужа.

Аннета, ничего не зная о жизни Рут, спросила:

– Что, он хворает?

– Нет, но у него очень слабое здоровье.

И с гордостью стала объяснять, как много заботы требует здоровье ее мужа. Зная, что она подозрительна и самолюбива, Аннета не задавала никаких вопросов и ждала, пока Рут сама станет откровеннее. Но Рут больше ничего не рассказала, и они уже стали прощаться, как вдруг Аннета вспомнила, что может предложить Рут работу – редактирование книги одной иностранки. Работу эту поручили ей, но у нее не было свободного времени.

Рут сразу стала с живостью благодарить ее, сказав, что деньги ей очень нужны. Аннета спросила ее адрес на случай, если для нее найдется еще какая-нибудь работа. Рут, казалось, была в нерешимости, ответила уклончиво. Тогда Аннета уже с раздражением сказала:

– Ведь это для вашей же пользы! Ну хорошо, тогда запомните на всякий случай, где живу я...

И она сказала ей свой адрес. Рут очень неохотно сообщила свой. Аннета, задетая за живое, решила больше не хлопотать о ней.

Однако спустя несколько недель Рут сама пришла к ней. Сначала извинилась за свою нелюбезность. И в этот день рассказала кое-что о себе (правда, немного).

Она была дочь богатого крестьянина, но с отцом поссорилась, так как он противился ее желанию уехать в Париж и стать учительницей. Отец больно задел ее самолюбие, и она поклялась, что, никогда не примет от него никакой помощи. Она хотела жить своим трудом. И надорвалась. Энергии у нее было много, но умственная работа ее утомляла. Она трудилась

над книгами, как лошадь на пахоте. Кровь прилиwała к голове, стучала в висках, часто приходилось бросать занятия. В конце концов у нее развилась неврастения, помешавшая ей держать экзамены. Пришлось ограничиться частными уроками. Она с трудом ухитрялась зарабатывать ими столько, чтобы кое-как прожить. Потом она влюбилась и вышла замуж за человека, который стал для нее лишней обузой. Впрочем, об этом она и словом не обмолвилась. Аннета узнала это позднее и не от нее, но была достаточно умна, чтобы уже во время первого посещения Рут угадать часть правды. Осторожно расспросив новую знакомую, она узнала, что ее муж – человек без определенных занятий. Рут объясняла, что он «интеллигент», «артист», «писатель», но так и осталось неясным, что же именно он пишет. Стихи? В поэзии Рут понимала не больше, чем любая провинциальная мешаночка, но относилась к ней с почтением.

Рут не стремилась познакомить Аннету со своим «артистом». Она держала его взаперти. Сама же с этого дня стала бывать у Аннеты чаще, даже слишком часто. В конце концов она начала надоедать ей доказательствами своей дружбы, приносила цветы, оказывала всякие знаки внимания, далеко не всегда удачные и только раздражавшие Аннету. Страстная душа Рут в своих чувствах не знала меры: все или ничего! У нее никогда не было подруги, она никогда никому до сих пор не открывала сердца. И решив подружиться с Аннетой, совершенно ею завладела. А той эта привязанность скоро стала в тягость, и она поняла, что и для мужа любовь Рут, должно быть, нелегкое бремя.

Наконец ей неожиданно удалось узреть сокровище Рут: в этом жалком, бесцветном субъекте с мутными голубыми глазами она сразу заподозрила тайного любителя абсента. Очень тщеславный, но не уверенный в себе и весьма недалекий, он явно волновался, не зная, какое впечатление произвел на гостью. Желу он совсем не любил, но находил, что очень удобно быть предметом нежных забот, и, делая унылую мину, томно жаловался на здоровье, с горечью распространялся о своем непризнанном таланте, о черной зависти собратьев по перу... Аннета своими пронизательными глазами видела его насквозь. С нею он был осторожен и, уловив иронию в ее молчании, быстро умерил свои иеремиады. Но Рут внимала ему с открытым ртом, неспособная ни на какую критику, гордая, как Артабан... «Пусть себе тешится своими иллюзиями! Ей нужно кого-нибудь любить, нужен муж, чтобы нянчиться с ним. У нее душа преданной служанки, она готова лежать у его ног...» Однако между Рут и ее мужем происходили иногда бурные ссоры.

Раз, поднимаясь по лестнице, Аннета услышала плачущий голос «поэта». Он стонал и охал, а Рут била его по щекам.

Аннета уже не сомневалась, что этот бездельник проматывает большую часть заработков Рут. Он пил, играл на скачках. Но Рут никогда не жаловалась. Она отказывала себе во всем, чтобы накопить денег на издание книжки его стихов. Но он не очень-то спешил их написать. И однажды, сосчитав свои сбережения, Рут обнаружила, что Жозе украл три четверти: он сам себя обокрал!

В тот день гордость ее была сломлена, и она откровенно рассказала Аннете о своем горе. Она не стала бы жаловаться, если бы дело шло о ней одной. Но столько лет она выбивалась из сил ради него (она сказала «ради его славы»), а он своими руками все разрушил!..

Одно признание влечет за собой другое. Скоро Аннета узнала почти все о тяжелой жизни Рут. Здоровье ее было надорвано, она таяла с каждым днем.

Она уже не могла больше скрывать от Аннеты свои мысли. Перед смертью у нее открылись глаза, она поняла, что этот человек – ничтожество, что он никогда не любил ее. Жозе теперь почти не бывал дома, он старался улизнуть – общество больной и печальной жены не доставляло ему никакого удовольствия.

Когда настали ее последние дни, Рут уже больше себя не обманывала.

Все-таки она с искренней гордостью уверяла, что ни о чем не жалеет, что готова была бы все пережить снова...

– Это меня убило. Но я этим жила.

Она ни во что не верила, ничего не ждала ни на этом, ни на том свете...

Рут умерла от кровоизлияния в мозг. Аннета была одна у постели умирающей.

Жозе, увидев, что конец близок, убежал и только через некоторое время с испуганным видом появился в комнате. Огорчение его длилось недолго.

Похныкав, он первым делом оказал:

– Господи, что же теперь будет со мной? Аннета ответила:

– Найдете себе другую, которая будет вас содержать...

Жозе посмотрел на нее с ненавистью.

Тем не менее он не возражал, когда Аннета из своего кармана заплатила за похороны.

Сидя у изголовья умершей, Аннета думала:

«Вот! Сколько в ней было гордости, силы воли, аскетической самоотверженности!.. А для чего? Что за нелепость! Отдать все такому скоту!..»

Бедная Рут! В ней было мало жестокости... Надо быть жестче!..»

То была реакция против обольщений сердца, проклятого сердца, которое только и делает, что обманывает нас!.. Ум и тело знают, чего хотят, а сердце слепо. Аннета говорила себе, что должна быть его поводырем... Она восстала против любви, против самоотречения, против доброты...

В жизни каждого из нас, как и в жизни общества; сменяются моды на чувства. Они не повторяются – можно сказать, что их неодинаковость является основным законом. Пока господствует та или иная мода, все свято следуют ей и с презрением относятся к нелепым устаревшим модам, твердо веря, что та, которой они следуют, есть и всегда будет самая лучшая. Аннета в этот период увлекалась модой на жестокость...

Но по какой моде ни одевайся, человек всегда остается тем, что он есть. Он не может обходиться без других людей. Самый гордый нуждается в привязанности. И чем неуголимее обстоятельства вынуждают его замыкаться в себе, тем скорее коварная злодейкамысль готова его предать.

Аннета казалась себе очень сильной. Сильной жизненным опытом, твердостью и умом, трезвой практичностью. Теперь она была уверена, что живет именно так, как хотела; конечно, приходится трудиться, но ведь и на это она пошла по доброй воле. Она больше не боялась остаться без работы, не нуждалась ни в чьей помощи. И ей было решительно все равно, нравится это людям или не нравится.

В последнее время Аннете приходилось конкурировать уже не с женщинами, а с мужчинами, потому что она стала давать уроки мальчикам, готовить их к вступительным и переходным экзаменам в лицее. С этим делом она справлялась хорошо, но вместе с ее успехами росла и вражда к ней тех, кто из-за нее оставался за бортом. Эти люди считали себя обворованными.

Тут уж было не до рыцарской галантности! Бесцеремоннее и грубее других были женатые мужчины: их подзуживали жены. Против Аннеты пускали в ход всякую клевету: чего только про нее не выдумывали, объясняя, какими способами она захватывает самые выгодные уроки! А она улыбалась строгой пленительной улыбкой и шла своей дорогой, презирая мнение людей.

Но на дне души незаметно скоплялась усталость от долгих лет беспощадного труда и борьбы. Ей давно пошел четвертый десяток. Годы протекали, ничто не могло удержать их. И глухое возмущение поднималось в душе Аннеты... Пропала жизнь, прошла без любви, без настоящего дела, без красоты, без могучей радости!.. А ведь она была создана для того, чтобы всем этим наслаждаться!..

Но к чему об этом думать? Слишком поздно!

Так ли это? Поздно ли?

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

У Соланж было круглое, простодушное личико, как у мадонн на старинных картинах,

немного старообразное и в то же время детское. Смеющиеся глаза, окруженные морщинками, милый носик и губки бантиком, тяжеловатый подбородок, нежная кожа и яркий румянец на щеках. Она любила рассуждать о серьезных вещах с усиленным глубокомыслием, таким забавным на этом добродушном смеющемся лице, с которого Соланж усердно старалась согнать веселое выражение. Говорила она всегда быстро, боясь потерять нить своих важных мыслей. И действительно, случалось, что она вдруг умолкала, не dokonчив фразы, с ощущением пустоты в голове:

«Что я хотела сказать?..»

И слушатели редко подсказывали, потому что они ее совсем не слушали.

Но болтовня ее никого не раздражала. Соланж была не из тех говорунов, которые настойчиво требуют внимания к своим нудным рассуждениям. Она была не спесива и готова даже кротко извиняться перед другими, что нагоняет на них скуку. Неспособная продумать до конца ни одной мысли, она имела наивную склонность к умствованиям и отличалась огромным усердием. Из ее усилий ничего путного не выходило: мысли застревали на полдороге, серьезные книги – Платон, Гюйо, Фулье – неделями, а то и месяцами лежали раскрытыми на той же самой странице. Книги, в которых излагались прекрасные и великие мысли, идеальные альтруистические проекты общественной помощи или новые системы воспитания, были для Соланж игрушками, которыми она тешила ум. Она быстро о них забывала, и они валялись по углам и под стульями, пока случайно не попадались ей опять на глаза. Эта добрая мешаночка, всегда приветливая, милая и хорошенькая, рассудительная и уравновешенная, чуточку чопорная, но никого этим не стеснявшая, – словом, очень приятная, искренне воображала себя женщиной с широкими умственными запросами, на самом же деле она только любила рассуждать об идеалах и тому подобных вещах в одних и тех же выражениях, всегда одинаково спокойно, тактично, благопристойно, гладко и совершенно бессодержательно.

Соланж была на три-четыре года моложе Аннеты и когда-то питала к ней ту необъяснимую симпатию, которая влечет людей безобидных и простых к опасным натурам. Правда, это обычно бывает любовь на расстоянии.

Действительно, в лице Соланж мало общалась с Аннетой, так как они учились в разных классах. Но достаточно было встреч в коридоре и некоторых отголосков жизни «старших», доходивших до маленькой Соланж, чтобы она стала издали робко обожать Аннету. А та об этом и не подозревала. По выходе из лицея Соланж совершенно забыла Аннету. Она вышла замуж и была счастлива – ей для счастья немного было нужно: только, чтобы муж не был ни уродом, ни человеком с сильными страстями, а Виктор Мутон-Шевалье, благодаря богу, не был ни тем, ни другим. Он был скульптором по профессии, но, имея ренту и богатую жену, отводил немного места в жизни мукам творчества. Не лишенный вкуса, он не испытывал, однако, особой потребности воплощать в своем искусстве что-либо иное или в иной форме, чем это делали его знаменитые собратья всех эпох. Ему чужды были честолубие и мелкие чувства (а быть может, и всякие другие), и потому он вполне удовлетворялся сознанием (во всяком случае, льстил себя надеждой), что его идеи с такой полнотой и совершенством выражены другими – Микеланджело, Роденом, Бурделем или менее крупными мастерами (он был эклектик и заимствовал от всех понемногу). При такой счастливой судьбе, в сущности, не стоило бы утруждать себя и творить самому, но лестная иллюзия, что и он – член великого братства художников, обостряла вкус к жизни. Виктор тешил себя мыслью, что и к нему люди питают то умиленное почтение, какое он считал своим долгом выказывать корифеям искусства, сожалея о невзгодах, которые они встречали на своем пути. Такие невзгоды знал и он – правда, больше понаслышке. И он силился придать своей веселой физиономии выражение суровой меланхолии, когда слушал «Патетическую сонату», которую усердно брэнчала на пианино его жена (ведь Бетховен тоже принадлежал к великому братству). Соланж дала ему все то, чего он искал в брачной жизни. Спокойная привязанность, нетребовательная доброта, кроткий и ровный характера терпимость, комнатный идеализм, который боится ветра и дурной погоды, склонность всем

восторгаться, которая делает жизнь такой удобной! Короче говоря, тайным идеалом Соланж и ее супруга было то, что можно выразить одним словом «покой». И денежные средства и душевные особенности обеспечивали им этот покой. Никакие материальные заботы не грозили им, и можно было не опасаться, что они впустят какую-либо иную заботу в свой мирный дом.

Однако они впустили в дом Аннету. Если бы они могли подозревать, какие бури таила в себе эта Frau Sorge,⁵⁰ они бы всполошились. Но об этом супруги Мутон-Шевалье так ничего и не узнали: они, как дети, играли с динамитом. Знай они, что держат в руках, они обезумели бы от страха.

Но, ничего не подозревая и вволю наигравшись, они без всяких дурных намерений любезно подбросили этот динамит в сад к друзьям. Они подбросили Аннету в сад Вилларов.

Встретившись с Аннетой, Соланж сразу убедилась, что в ней ожили прежние чувства: она снова влюбилась в Аннету. Ей, как и всем, была известна «недопустимая» история Аннеты. Но Соланж была добра, и если в чувствах ее не было глубины, зато не было в ней и чрезмерного ханжества, поэтому она не осуждала Аннету. Надо сказать, что она не совсем ее понимала. С той снисходительностью, которая была самой симпатичной чертой этой милой женщины, Соланж решила, что Аннета либо была обманута и брошена, либо имела серьезные причины поступить так, как она поступила. Во всяком случае, это ее личное дело и никого не касается. Решив так, Соланж пошла против течения. После встречи с Аннетой она все разузнала о ней и пришла в восторг от ее мужества и самоотверженности. Это было одно из тех очередных увлечений, которые на время вытесняли из сердца Соланж все другие чувства. Для ее мужа, с которым она поделилась своими восторгами, это был лишний повод к умилению – он умилялся благородному сердцу Аннеты, а заодно и благородству своей жены и своему собственному. (Восторгаться нравственной красотой ближнего – это лучший способ доказать свою собственную.) Оба супруга полны были самых благих намерений. Между ними было решено, что нельзя оставлять в одиночестве, без моральной поддержки эту бедную женщину, жертву общественной несправедливости. И супруги Мутон-Шевалье, одолев шесть этажей, пришли навестить Аннету. Они застали ее врасплох, в хлопотах по хозяйству, и этим она их еще больше растрогала. А ее холодность они приписали благородному чувству собственного достоинства. Они ушли только после того, как добились от Аннеты обещания, что она с мальчиком придет к ним запросто к обеду в ближайший вечер.

Аннета не очень-то радовалась этому возобновленному знакомству. Ее раздражала всякая пошлость и приторность. Годы душевного одиночества развили в ней чутье дикарки. Надолго удаляться от общества вредно; потом трудно бывает в него вернуться, слишком остро различаешь под цветами запах тления. В уютном мирке Мутон-Шевалье Аннете было как-то не по себе, их семейное счастье не вызывало в ней зависти. «Благодушный, благодушный, благодушный», – как говорит Мольер. «Нет спасибо, это не для меня!..» Аннета была в том состоянии, когда жаждешь ощутить резкое дыхание жизни...

И желанию ее суждено было исполниться! Добренькая Соланж скоро предоставила ей такую возможность.

Аннета одевалась, чтобы идти на обед к Соланж. В этот вечер ей предстояло встретиться там с друзьями четы Мутон-Шевалье, о которых Соланж успела прожужжать ей все уши, – врачом Вилларом, модным хирургом, пользовавшимся в Париже громкой известностью, и его прелестной молодой женой. Аннета волновалась: «А может, не пойти?..» Она уже хотела было послать Соланж записку с извинениями. Но Марк, которому наскучило сидеть дома с глазу на глаз с матерью, радовался всякой возможности пойти куда-нибудь, и Аннете не хотелось лишать его развлечения. Притом она находила свое волнение нелепым. «В чем дело? Что меня тревожит?..» Ее мучило дурное предчувствие. Какой вздор! Она

⁵⁰ Госпожа Забота (нем.).

пожала плечами. Победил трезвый ум, уживавшийся в ней с непокорными инстинктами. Аннета оделась и под руку с сыном отправилась к Соланж.

Суеверное предчувствие скоро оправдалось. В том, что наши предчувствия сбываются, нет никакого чуда. Ведь предчувствие – это предрасположение к чему-то, что мы боимся пережить. Следовательно, предупреждая нас о будущем переживании, инстинкт действует не как чародей, а скорее как искатель подземных родников, который по легкому сотрясению почвы узнает, что в этом месте подпочвенные воды прорывают земную кору.

На пороге гостиной предчувствие опять кольнуло Аннету. Но она только сдвинула брови и, войдя, сразу успокоилась. Еще раньше, чем Соланж представила ей Филиппа Виллара, она с первого взгляда решила, что он – неприятный человек. И почувствовала облегчение.

Филипп был далеко не красавец: мужчина небольшого роста, коренастый, с выпуклым лбом, нависшим над глазами стальной синевы, с сильно развитыми челюстями и остроконечной бородкой. Он хорошо владел собой, в его холодной учтивости было что-то властное. За столом он сидел рядом с Аннетой и, участвуя в общем разговоре, который поддерживала Соланж (по обыкновению перескакивая с одного предмета на другой), в промежутках беседовал со своей соседкой. Говорил он обо всем коротко, четко и решительно: никакой заминки ни в словах, ни в мыслях. Чем больше слушала его Аннета, тем больше росла в ней неприязнь к этому человеку. Отвечая ему, она старалась скрыть ее под маской холодного равнодушия. А он, казалось, не придавал большого значения тому, что она говорила, – вероятно, он судил о ней по глупым похвалам Соланж. Его манера держать себя граничила с невежливостью. Это никого не удивляло: все привыкли к его резкости. Но Аннету она раздражала. Делая вид, что не смотрит на Виллара, она искоса наблюдала за ним, изучала черту за чертой – и ни одна ей не нравилась.

Но общее впечатление не слагалось из отдельных наблюдений, и, окончив свой спокойный, хладнокровный осмотр, она вдруг ощутила прежнее беспокойство. Движение руки Филиппа, морщина на лбу... Да, она боялась этого человека! Она подумала: «Хоть бы он не смотрел на меня!»

Соланж заговорила об одном писателе, который, как она выразилась, «обладает даром вызывать слезы».

– Хорош дар! – заметил Филипп. – Слезы и в жизни теперь недорого стоят. А уж в искусстве нет ничего противнее слезливости!

Дамы шумно запротестовали. Г-жа Виллар сказала, что слезы – одно из утешений жизни, а Соланж – что это «алмазы, украшающие душу».

– Ну, а вы что же не возражаете? – спросил Филипп у Аннеты. – Тоже запасаетесь слезами от поставщиков?

– С меня своих довольно, я в чужих не нуждаюсь.

– Питаетесь, значит, из собственного запаса?

– А вы знаете средство избавить меня от них?

– Будьте жестки!

– Учусь! – ответила она.

Филипп искоса глянул на нее.

Разговор вокруг продолжался.

– Вот кого надо этому научить! – сказал Филипп Аннете, взглядом указывая на Марка, чье подвижное лицо простодушно выдавало чувства, которые возбуждала в нем соседка за столом, красивая г-жа Виллар.

– Боюсь, что он и так уж чересчур к этому склонен, – отозвалась Аннета.

– Тем лучше!

– Но не для тех, кто стоит у него на дороге.

– Пусть шагает через них!

– Вам легко говорить!

– А вы отойдите в сторонку, вот и все.

– Ну нет, это было бы противоестественно.
– Вовсе нет. Противоестественно как раз обратное – слишком сильно любить.
– Как? Своего ребенка?
– Кого бы то ни было, а своего ребенка в особенности.
– Но я ему нужна!
– Посмотрите на него! О вас ли он думает! Он готов отказаться от вас за одну крошку, которую моя жена позволит ему съесть из ее рук.

Лежавшие на скатерти пальцы Аннеты судорожно сжались... О, как она в эту минуту ненавидела Филиппа!.. Он смотрел на ее пальцы...

– Но я его создала и не могу отречься от него, – сказала она.
– Не вы его создали, – возразил Виллар. – Его создала природа. Вы были только ее орудием, и теперь она вас отбрасывает прочь.

– А я не дам себя оттеснить!
– Значит, война?
– Война! На этот раз он посмотрел ей прямо в лицо.
– Вы будете побеждены, – сказал он.
– Знаю. Так всегда бывает. Но все-таки мы еще поборемся!

Сквозь маску холодного безразличия ее глаза блестели веселым вызовом.

Но Виллар видел ее насквозь. Она себя выдала.

Филипп был сильный человек. Сильная воля была одним из основных свойств его одаренной натуры. Воля эта проявлялась в его работе врача, в его молниеносных диагнозах, она придавала уверенность его руке во время операций, а в личной жизни сказывалась во всех его поступках и решениях.

Привыкнув проникать взглядом в глубины человеческого тела, он сразу разгадал Аннету всю целиком, с ее страстями, гордостью, тревогами, с бурным ее темпераментом и стойкой душой. И Аннета почувствовала, что она поймана. Надвинув шлем и опустив забрало, она, кипя гневом, отгородилась ледяной броней от взглядов противника. По тому, как сжалось ее сердце, она знала теперь, что враг близко. Враг? Да, любовь!.. (Ох, как это опошленное слово далеко от той жестокой силы, которую оно обозначает!..) Заметив в Филиппе внезапно пробудившийся интерес к ней, Аннета противопоставила ему ироническую чопорность, плохо скрытую враждебность. Но это-то ее и выдало. Прямодушная и пылкая, она не умела притворяться. Даже враждебность выдавала ее с головой. Филипп понял все, он не делал больше попыток возобновить разговор: он узнал достаточно. И, с равнодушным видом рассказывая всем какой-то и смешной и горестный случай из своей практики, он украдкой измерял взглядом ту, которой ему предстояло овладеть.

Никто из присутствующих ничего не заметил. Супруги Мутон-Шевалье с сожалением констатировали, что Аннета и Филипп совсем не понравились друг другу: видно, очень уж разные натуры! Впрочем, знакомя Аннету с Вилларами, они рассчитывали больше на то, что она подружится с г-жой Виллар, так как «они просто созданы друг для друга». И с удовольствием отметили, что в этом они не ошиблись.

Нозми Виллар была миниатюрная креолка, с телом нежным и золотистым, как у жареного голубя. Все в ней было прелестно: узкое лицо с глазами лани, изящным носиком и губами, вытянутыми в трубочку, как будто они хотели схватить что-то, откровенно обнаженные молодые округлые груди безупречной формы, нежные руки, тонкая талия, маленькая ножка, хрупкое сложение. Нозми разыгрывала женщину-ребенка, иногда восторженную, иногда томную, легко переходящую от резвости и смеха к слезам и мило сюсюкающую. Она всем казалась существом слабым, впечатлительным, экспансивным и не особенно умным. На самом же деле все было наоборот. В этой женщине холодная расчетливость сочеталась с чувственностью, сильные страсти – с черствым сердцем. Она все подмечала, взвешивала, рассчитывала, неутомимо и неуклонно, а слабость ее была слабостью камыша, который гнется – и вдруг как распрямится да хлестнет вас! Под

оболочкой хрупкой эмали (Нозми одна знала, сколько усилий стоила эта художественная лакировка) она была создана из бетона. Ну, а ума ей было не занимать, у нее его было более чем достаточно, но она им пользовалась только для того, чтобы сохранить единственное, чем дорожила, чем ревниво желала владеть одна: мужа. Это был брак и по расчету и по взаимной страсти – каждый из них искал в нем удовлетворения своему тщеславию и чувственности. Нозми решила стать женой Филиппа задолго до того, как сделал выбор он, и даже до того, как и его знаменитых парижских друзей, одинаково увлекали и его изнурительная профессия, и шумная светская жизнь, находил время заводить многочисленные романы. Его репутация сердцееда немало способствовала тому, что Нозми влюбилась в него без памяти и решила во что бы то ни стало завладеть им и удержать для себя одной. Филипп не искал в любовницах ума. Ему нужны были женщины хорошо сложенные, здоровые, изящные и глупые. Он любил говорить: чем женщина глупее, тем она приятнее. Нозми была вовсе не глупа, но какое это имело значение? Когда женщина хочет пленить мужчину, она может не только сделать перед зеркалом такие глаза, какие ему нравятся, но и ум свой принаровить к его вкусу. Нозми опьянила Филиппа своим молодым телом и пылким обожанием – и жадно завладела им.

Но карьера любовницы – не синекура. Для нее нужен своего рода талант.

И никогда не знаешь покоя! Филипп после долгого периода любовной кабалы начал уставать. Нозми с поразительной быстротой угадывала признаки малейшей перемены в сердце своего мужа-любовника и всегда была начеку. Незаметно для Филиппа, благодаря своей ревливой бдительности, она умела колкой критикой и насмешками над предполагаемой соперницей отвлечь опасность и, пуская в ход всякие хитрости, разжигая в нем чувственность, снова заманивала в свои сети готового ускользнуть мужа. Вначале она видела в этом своего рода игру, но так было недолго. Еще больше, чем за Филиппом, приходилось следить за собой, быть всегда внимательной, всегда готовой исправить или замаскировать неминуемые изъяны, которые оставляет после себя каждое предательское мгновение жизни, каждый прожитый день и год. Нозми была женщиной уже не первой свежести, – краски тускнели, тонкие черты лица стали острее, суше, грудь располнела, и шея грозила потерять свою стройность. На помощь находившемуся в опасности прекрасному творению природы спешило искусство и не только спасало, а даже прибавляло ему очарования. Но зато вечное напряжение! Малейшая небрежность, минута слабости могли выдать ее тайну зоркому глазу повелителя, и Филипп не забыл бы того, что раз увидел. Только не дать захватить себя врасплох!.. Какую драму пережила Нозми однажды утром, когда у нее сломался верхний зуб! Она полдня укрывалась у зубного врача, а когда вернулась домой, Филипп увидел все ту же безмятежную улыбку и не заподозрил ничего, кроме измены (а это не так страшно, как сломанный зуб!..). Игру нужно было вести очень осторожно. Филипп был не из тех мужей, кого легко обмануть, всучив ему плохой тос-ар, – он был знатоком. У Нозми всегда сердце екало, когда он останавливал на ней взгляд, который она, подбадривая себя шуткой, называла «икс-лучами», взгляд, под которым она чувствовала себя, как солдат на смотре. Она спрашивала себя: «Заметил?..» Филипп замечал и знал все, но не показывал виду, что знает. Искусство, которое Нозми пускала в ход, в его глазах было как бы частью ее природных данных. Пока результат его удовлетворял, все было в порядке. Но горе ей, если эффект не удастся! Нозми и двух ночей не могла почивать на лаврах.

Приходилось каждый раз наново их завоевывать. И при этом надо было скрывать свою озабоченность. Чтобы нравиться повелителю, она должна была всегда казаться веселой, юной, сияющей. Иногда это бывало мучительно трудно! В минуты усталости, когда ее никто не видел, Нозми тяжело опускалась на диван, резкая складка появлялась между бровями, судорожная усмешка кривила густо накрашенные, словно кровоточащие губы... Но приступ слабости длился две-три минуты. Надо было быстро подтянуться. И она подтягивалась. Молодая, веселая, прелестная... А что ж? Она всегда будет такой, и Филипп принадлежит ей, она его не выпустит из рук!.. И, наконец, если тиран, без которого она жить не может, ей

изменит, она сумеет отомстить... Да, да! У нее есть свои секреты, и об этом можно будет поговорить, когда только он этого пожелает... А сейчас она смеется, и вовсе не притворно, — она довольна и собой и Филиппом, она уверена, что держит его крепко! И, конечно, как раз в этот час Филипп от нее и ускользнул! Не помогло ее искусство! Напрасны были все труды и усилия!

Всегда наступает минута, когда бдительность ослабевает. Даже Аргус — и тот уснул. Сердце возлюбленного, которое держали в плену, вырывается на волю, как зверь из клетки.

Природа любит нас одурачивать, когда это выгодно ей, старой сводне.

Ноэми единственный раз в жизни посмотрела на другую женщину без всяких ревнивых опасений. И этой женщиной была Аннета.

Ноэми всегда была уверена, что Филипп терпеть не может мыслящих и развитых женщин. Меньше всего ее могла тревожить мысль об Аннете. Судя по тем женщинам, которые до сих пор бывали ее соперницами, и по себе самой, Ноэми рисовала себе женщину, которая может отнять у нее мужа, миниатюрной, как она сама, скорее всего брюнеткой и, конечно, красивой, изящной, кокетливой, умеющей пользоваться своей красотой. Филипп не раз шутливо утверждал, что женщина создана исключительно на потребу мужчине, и в наше время должна быть чем-то вроде комнатной безделушки, не громоздкой, не занимающей много места, тщательно оберегаемой и служащей украшением гостиной и спальни. Он не любил крупных женщин и ценил грацию больше красоты. Он говорил, что духовного общения, когда у него бывает в нем потребность, он ищет у мужчин. От женщины же требует только одного — «одухотворенной плоти». Ноэми с ним не спорила: ведь она была именно такая женщина, о какой говорил Филипп. Аннета никак не подходила под эту мерку. Рослая и сильная, красивая, но несколько тяжеловесной красотой, когда ничто ее не воодушевляло, лишенная всякой грации (когда она не стремилась быть грациозной), — словом Юнона — телка, дремлющая на лугу, Аннета казалась Ноэми совсем не опасной. А тем, что она была с Филиппом холодна как лед, Аннета еще больше расположила к себе Ноэми. Со своей стороны, Аннета восхищалась Ноэми, так как была очень чувствительна к красоте и ее привлекали женщины, не похожие на нее. Разговаривая с Ноэми, она показала, что умеет, когда хочет, пленительно улыбаться. От Филиппа ничто не ускользнуло. И в нем рождалось влечение к этим двум лицам Аннеты, из которых один был обращен не к нему... (Так ли это?.. Любовь, когда мы гоним ее от себя, пускает в ход такие искусные маневры!..) Не давая Филиппу проникнуть в ее мысли, укрываясь от него за самой непривлекательной из своих масок, Аннета была все же не прочь показать ему сквозь ограду самый чарующий свой облик... И Филипп его увидел. Рассказывая хозяевам какую-то новость, он с другого конца гостиной наблюдал за женой, которая, сама того не зная, помогала ему. Аннета и Ноэми расточали друг другу любезности, которые у Ноэми всегда были наготове. Аннета при этом испытывала сложное чувство, не свободное от влечения к Филиппу.

Ухо ее все время ловило звуки резкого голоса, доносившегося с другого конца гостиной, и Филипп знал, что его слушают...

Она ненавидела его, ненавидела... В нем было воплощено то злое и сильное, что она подавляла в себе, хотела подавить: властная и суровая гордость, стремление господствовать, требования воли, ума и жадного, чувственного тела, страсть без любви, более сильная, чем любовь. Все это она давно ненавидела в себе и теперь ненавидела в нем. Но она вступила в неравный бой: против нее были двое — Филипп и она сама.

Филипп Виллар вышел из среды мелких буржуа Верхней Бургундии. Отец его, владелец типографии в маленьком провинциальном городке, был человек энергичный, живой, смелый и при своей энергии и неразборчивости в средствах мог бы преуспевать на более широком поприще. Однако для этого мало было дерзости — надо было еще уметь удержаться в определенных границах, а Виллар постоянно переходил эти границы. Ответственный редактор местной бульварной газетки, которая носилась по мутным волнам политики, республиканец-гамбеттист, ярый антиклерикал, воротила, усиленно орудовавший на выборах, он в конце концов превысил размеры диффамации и шантажа, допускаемые

законом (нет, обычаем!), и попал под суд. Осужденный, брошенный теми, кому он служил, он в довершение всего заболел и окончательно разорился. Имущество его пошло с молотка, и теперь, когда он никому уже не мог быть полезен и никому не был опасен, на него обрушилась разнузданная ненависть всего города. Он с волчьей яростью отбивался от болезни, нищеты, людской злобы. Отчаяние и ожесточение окончательно подточили его здоровье, и он умер, до последнего вздоха с неутолимой злостью проклиная прежних товарищей за измену. Сыну его в ту пору было уже десять лет, и он запомнил все.

Мать Филиппа, женщина неукротимого духа, крестьянка юрских плоскогорий, где люди привыкли к борьбе с бесплодной землей, иссушаемой резким ветром, работала, не жалея рук, поденщицей, прачкой, бралась за любой тяжелый труд, выносливая, как ломовая лошадь, жадная до денег, но честная, добросовестная и строгая к себе. Ее боялись, перед ней заискивали: все знали, что покойный муж поведал ей немало скандальных тайн. Правда, она свой опасный язык держала за зубами и никого не шантажировала, но все-таки она что-то знала и потому благоразумнее было платить ей за услуги, чем обходиться без них. В женщине этой, никогда в своей трудной жизни не знавшей колебаний и сомнений, горел мрачный огонь неистовой и неистощимой душевной энергии (ведь она была из тех мест, где в жилах людей есть примесь испанской крови), сочетавшейся с чисто галльской трезвостью ума. Такие люди ни во что не веруют, а действуют всегда так, как будто дело идет о спасении или гибели души.

Мать Филиппа любила только своего сына. И какая же это была жестокая любовь! От него она не скрывала того, о чем молчала при других: она видела в нем союзника. Все ее честолобивые надежды сосредоточены были на нем одном. Но, жертвуя собой, она требовала того же и от сына. Во имя чего он должен был принести себя в жертву? Во имя мести за себя. (Да, мести за себя и за нее – ведь это одно и то же!) Никаких нежностей, никакого баловства, а главное – никакого нытья. «Ограничивай себя во всем!

Придет время – всем натешись...» Когда сын приходил домой из школы (она одна знала, сколько ей понадобилось труда и дипломатии, чтобы добиться для него стипендии в школе, а потом и в лицее большого города!), приходил побитый или обиженный озорными сыновьями буржуа, унаследовавшими от отцов тайное недоброжелательство к этой семье, мать говорила ему:

– А ты постарайся со временем стать сильнее их! Тогда они будут лизать тебе ноги.

Она постоянно твердила Филиппу:

– Надейся только на себя! Больше ни на кого! И он ни на кого не рассчитывал и вскоре заставил себя уважать. Мать цеплялась за жизнь и сумела продержаться до того времени, когда Филипп, блестяще окончив лицей, подал заявление о приеме на медицинский факультет в Париже. Он как раз держал экзамены, когда мать слегла, заболев воспалением легких. Но она не написала ему о своей болезни, чтобы его не тревожить, пока он не сдаст всех экзаменов. И умерла без него. Своим неуклюжим почерком с завитушками, похожими на весенние побеги винограда, тщательно соблюдая все знаки препинания, она написала на чистом листке бумаги, аккуратно отрезанном от письма сына, который не сэкономил бумагу:

«Я умираю. Держись крепко, мой мальчик, не сдавайся!»

И Филипп не сдался. Приехав домой из Парижа, чтобы похоронить мать, он нашел небольшие сбережения, которые она откладывала для него изо дня в день. На эти деньги он прожил год. Потом, предоставленный самому себе, он тратил половину дня, а иногда и ночи, чтобы заработать то, что ему нужно было на жизнь и учение. Никакой труд его не страшил. Он набивал чучела, был натурщиком у скульптора, нанимался по воскресеньям помогать лакеям в загородных кафе, а в субботние вечера прислуживал в увеселительных заведениях. Ему случилось даже как-то зимой, в голодное утро, поработать в артели чистильщиком снега. Он не останавливался и перед наглым попрошайничеством, прибегал к благотворительной помощи, к унижительным займам, дающим право всякому ничтожеству из-за каких-то ста су, которые ты не можешь ему вернуть, обращаться с тобой грубо и пренебрежительно. (Правда, встретив его взгляд, кредиторы не отваживались на это больше,

но зато вознаграждали себя другим способом, мстили ему если не презрением, то ненавистью, обливали за спиной грязью.) Филипп дошел до того, что в течение нескольких месяцев (когда он работал как одержимый). брал деньги у одной уличной девки. И ничуть не стыдился: ведь это он делал не для себя (он не боялся лишений и не щадил себя), а для будущей карьеры. Конечно, и у него были всякие потребности – он хотел бы наслаждаться всем, – но он их подавлял в себе. Потом! Сперва – победить! А чтобы победить, надо выжить. Выжить во что бы то ни стало! Победа все смыкает. И она будет за ним! Филипп чувствовал в себе искру гения.

На него обратили внимание профессора, товарищи. Ему поручали разные научные работы, а потом люди, уже достигшие известности, ставили под ними свое имя, внося для приличия какие-нибудь поправки. Филипп позволял себя эксплуатировать, чтобы иметь право на покровительство тех, кто не давал дороги молодым, шедшим им на смену. Однако эти господа не очень-то спешили дать ему дорогу. Они относились к нему с уважением. Но уважение – это монета, которая освобождает от всякой другой расплаты. Его ценили, конечно, – отчего бы и нет! Но этим сыт не будешь. Несмотря на всю свою физическую выносливость горца, Филипп от переутомления и недоедания уже едва держался на ногах и тут он встретился с Соланж. Это было в одном из тех многочисленных благотворительных учреждений, которые она опекала с искренним, хотя и непостоянным великодушием и щедростью, – в детской клинике. Здесь Соланж увидела, как Филипп отдавал все силы спасению больных малышей, которые считались обреченными. С тем яростным упорством, с каким он добивался победы везде, где на победу был хотя бы один шанс, Филипп проводил ночи у их кроваток и выходил из этих битв за человеческую жизнь бледный, обессиленный, но с лихорадочно и вдохновенно блестящими глазами. После таких побед он даже как-то хорошел и бывал удивительно добр к только что спасенному маленькому пациенту. Любил ли он этих детей? Быть может. С уверенностью этого сказать нельзя. Но в борьбе с их болезнями последнее слово оставалось за ним!

Узнав о положении Филиппа, Соланж переживала, как это с нею часто бывало, период той «одержимости», когда предмет ее восторгов заслонял от нее все горизонты. Тому, кто хотел этим воспользоваться, следовало не терять времени. А Филипп никогда его не терял. Этот утопающий крепко ухватился за протянутую ему руку. Он завладел не только пальцами, но и всей рукой до самого плеча, завладел бы и всем остальным, если бы не сделал открытия, что Соланж, увлекшись кем-нибудь, вовсе не стремится к интимным отношениям. Она легко загоралась, но эти восторги ничуть не нарушали ее душевного покоя. В первый раз Филипп встретил женщину, которая заинтересовалась им бескорыстно. Милейшая Соланж находила источник радостей в себе самой. От других же она требовала только, чтобы они не разрушали иллюзий, которые она себе создает. В сущности, она вовсе не стремилась ближе узнать людей. Она не хотела видеть в другом человеке всего того, что могло бы ей не понравиться, и отмахивалась от этого под предлогом, что это «не истинное его „я“». А «истинным» она считала все, что было ей по душе. Так она сочиняла себе мир, населенный приятными, бесцветными людьми вроде нее. Филипп не мешал ей воображать его таким – к легкому презрению, которое внушала ему Соланж, примешивалась доля невольного уважения. Он терпеть не мог глупцов, а глупцами считал тех, кто видит мир не таким, каким он есть. Но доброта Соланж, которая действительно творила добро, а не только болтала о нем, была для него новостью.

Каковы бы ни были качества и недостатки человека, прежде всего они должны быть настоящими. Соланж была добра по-настоящему. Когда она узнала, как нуждается Филипп и как много он работает, она обещала выдавать ему пособие до тех пор, пока он не окончит университета и не сдаст выпускных экзаменов, и тем дала ему возможность спокойно работать. Она воспользовалась своими обширными связями и заставила одного из влиятельных профессоров медицинского факультета заинтересоваться Филиппом или, вернее (так как этот догадливый человек не мог еще раньше не заметить беспокоившие его способности голодного волчонка), проявить этот интерес открыто, а не держать его про себя

– intus et in cute.⁵¹ Наконец Соланж свела Филиппа с американским нефтяным королем, желавшим обессмертить свое имя чужими трудами, и это открыло Филиппу быстрый путь к славе, которую он завоевал себе сначала за океаном смелыми подвигами в больнице-дворце этого фараона.

В трудные для Филиппа годы учения случалось иногда, что Соланж совершенно забывала о нуждах своего протеже и по рассеянности несколько месяцев не посылала ему пособия. Богачи при всех своих благих намерениях неспособны понять, что другим людям приходится постоянно думать о деньгах. Деньги – забота бедняков. Соланж посылала Филиппу билеты на концерты. Чтобы напомнить этой очаровательной даме в ложе театра о задержанном пособии, нужно было порядком наглотаться стыда. То бывала иногда единственная пища, которую Филипп глотал за целый день. Соланж от удивления широко раскрывала глаза:

– Да неужели?.. Ах, милый друг, какая же я рассеянная!.. Как только вернусь домой...

Она обещала, опять забывала на день-два и наконец посылала деньги с самыми милыми извинениями. Филипп, бесясь от нетерпения и унижения, клялся, что скорее подохнет с голоду, чем снова попросит у нее денег. Но умереть – это легко тем, кому не хочется жить! А ему хотелось... И он напоминал Соланж о деньгах всякий раз, когда это бывало нужно. А она ничуть не сердилась на него. Если она и забывала часто («Вы знаете, сколько у меня забот!...»), то, когда ей напоминали, давала деньги всегда охотно...

Какие необычные отношения существовали между этим молодым и страстным мужчиной, изголодавшимся по всем земным благам, и женщиной, только чуточку старше его, красивой, изящной, ласковой – словом, что называется, лакомым кусочком! За эти годы они часто виделись наедине, и ни малейшего подозрительного оттенка не закралось в их дружбу! Соланж спокойно, поматерински, давала Филиппу советы, помогала ему разрешать вопросы туалета, светского этикета и практической жизни. Гордость Филиппа ничуть не страдала от этого, напротив – он и сам часто спрашивал у нее совета и даже поверял ей свои честолюбивые замыслы и свои разочарования. Он ничем не рисковал – Соланж была глуха ко всему дурному, ко всему грубо реальному.

Что за важность! Она его выслушивала, а затем говорила со своей доброй улыбкой:

– Вы просто хотите меня напугать! Но я вам не верю.

Она верила лишь тому, что не соответствовало действительности.

И Филипп, беспощадный ко всякой посредственности, делал исключение только для Соланж. Он попросту воздерживался от всяких суждений о ней.

Семь или восемь лет назад он вернулся из Америки в Париж, куда еще раньше дошла его слава, поамерикански шумная, но прочная и бесспорно заслуженная. Помощь его неизменной попечительницы Соланж, благодаря которой к наглым долларам прибавилось покровительство власть имущих, расчистила ему путь, несмотря на тройной барьер, воздвигнутый людской косностью, завистью и справедливыми притязаниями тех, кто давно ждал своей очереди выдвинуться. Бесспорны были их права или нет – Филипп шагнул через них. Он не принял бы незаслуженных почестей и преимуществ. Но, сознавая, что они им заслужены, он не останавливался ни перед чем, чтобы их добиться. Филипп настолько презирал людей, что не стеснялся в случае необходимости пользоваться их же презренным оружием для того, чтобы победить их. Он не брезгал газетной рекламой, раздирающей уши, как вой медных труб, которым некогда сопровождалось появление зубодеров на деревенских ярмарочных подмостках. Он стал неизменным посетителем модных выставок, генеральных репетиций, вернисажей, официальных торжеств. Не уклонялся от сенсационных интервью, писал и сам (защитить свои интересы лучше всего самому) и двумя-тремя выступлениями в печати доказал своим оппонентам, что владеет пером не хуже, чем ланцетом. Предостережение любителям! Никаких недомолвок! Филипп так протягивал человеку руку,

⁵¹ Внутри, под спудом (лат.).

словно хотел спросить: «Союз или война?». Он не давал ему никакой возможности прикрыться нейтралитетом.

И в то же время – бешеная работа, никаких поблажек ни себе, ни другим, никакого страха перед риском, блестящие достижения, которых нельзя было отрицать и которые всех врачей больницы сделали его горячими сторонниками; смелые доклады в академии, возбуждавшие ожесточенное недоверие уравновешенных умов, которые не любят, чтобы их будоражили; гомерические битвы, в которых почти всегда последнее, решающее слово оставалось за ним.

Филипп внушал ужас робким. Он ни во что не ставил человеческую личность, когда ему казалось, что дело касается интересов науки или человечества. Он готов был экспериментировать на преступниках, уничтожать уродов, кастрировать ненормальных, производить опасные опыты над живыми людьми. Он ненавидел всякую сентиментальность, не сочувствовал пациентам, не позволял им ныть и жаловаться. Их стоны и оханье его не трогали.

Но когда человека можно было спасти, он спасал его, хотя бы и жестокими способами: чтобы исцелить, резал по живому месту. У него было суровое сердце и нежные руки. Его боялись, но все непременно хотели лечиться у него. А он драл большие деньги с богатых, бедных же лечил бесплатно.

Филипп жил теперь широко, войдя во вкус роскоши. Он мог бы без сожаления в любой момент отказаться от нее, но считал, что, пока можно, надо все брать от жизни. На жену он смотрел, как на часть этой роскоши, и, наслаждаясь и той и другой, не требовал от них больше, чем они могут дать. Он не ждал от Ноэми участия в его умственной жизни и не пытался вовлечь ее в эту жизнь. Ноэми тоже за этим не гналась: она считала, что, владея всем, кроме его мыслей, владеет львиной долей. Филипп же был того мнения, что мужчина обязан отводить женщине не больше места в своей жизни, чем он отводил Ноэми: мыслящая жена – все равно что громоздкая мебель.

Но чем же в таком случае его сразу пленила Аннета?

Тем, что Аннета походила на него.

Тем, что у них было общего и что он один мог прочесть в ее душе. Когда они в первый раз скрестили взгляды, как клинки, когда прозвучали первые слова, как удар стали о сталь, Филипп сказал себе:

«Она смотрит на всех этих людей так же, как я. Мы с ней одной породы».

Одной породы? Факты говорили другое: Аннета спустилась вниз по социальной лестнице из тех сфер, куда Филипп как раз взбирался, напрягая все силы, и они встретились на одной из ступенек. Правда, в этот момент они оказались на одном уровне: оба чувствовали себя чужими в своей среде, ее врагами, оба как бы принадлежали к другой расе, некогда владевшей миром, а ныне лишенной власти, рассеянной по всему свету, почти уже исчезнувшей. В конце концов кому ведомы тайны поколений, их смены на земле, тайны той тысячелетней борьбы, в которой человечество как будто идет к окончательному торжеству посредственности?.. Но бывают внезапные подъемы, когда бывлой властитель мира на один день снова овладевает своей собственностью. Его ли это была собственность, или нет, Филипп предъявлял на нее права. Он признал Аннету своей и решил ею завладеть.

Аннета вернулась домой в плохом настроении, с тяжестью в голове и, не разговаривая с Марком, тотчас легла. Она чувствовала себя опустошенной.

Уснуть она не могла. Приходилось быть настороже и все время отгонять один образ: как только она впадала в сонное оцепенение, он появлялся перед ней. Чтобы забыть о нем, она пыталась думать о делах, но они утратили для нее интерес. Ища спасения от грозной опасности, она призвала на помощь союзника, о котором в другое время боялась и вспоминать, так как он мог расшевелить в ее душе пережитые волнения. Союзником этим был Жюльен и те мысли, которыми тоска и мечта окружили ими возлюбленного, – скорее воображаемого, чем действительного. Однако мысли о Жюльене возникли лишь на мгновение и были холоднее льда. Аннета хотела непременно удержать их. Но в руках у нее

остался лишь пучок увядших цветов. Внезапно выглянувшее яркое солнце выпило из них все соки. Пытаясь их оживить, Аннета своими лихорадочно горячими руками только окончательно засушила их. Она металась в постели, то и дело переворачивая подушку. Однако надо было поспать – утром ее ожидала работа. Она приняла порошок и погрузилась в забытие. Но, когда она через несколько часов проснулась, тревога все еще была тут, с нею. Аннете казалось, что и во время сна она ее не оставляла.

Волнение Аннеты не улеглось ни в тот день, ни в следующие. Она уходила и приходила, давала уроки, разговаривала, смеялась – все было, как всегда. Хорошо заведенная машина продолжала работать сама. Но душа была беспокойна.

В один серенький день, когда она шла по Парижу, все вдруг озарилось светом... По другой стороне улицы прошел Филипп Виллар... Аннета вернулась домой, окрыленная радостью.

Когда она попробовала отдать себе отчет в том, что вызвало эту радость, она так пала духом, как будто открыла у себя раковую опухоль...

Значит, опять, опять попалась! «Любовь? Любовь к мужчине, который будет для нее новым источником ненужных мучений, к человеку, ей почти незнакомому, но несомненно опасному и недоброму, мужу другой женщины... И ведь она его не любит, нет, потому что любит другого! Другого? Ну да, она все еще любит Жюльена! Как же она, любя Жюльена, могла влюбиться в другого?

А она влюблена, это ясно... Но как же, как же сердце может принадлежать двоим сразу? Нет, отдаться можно лишь одному целиком, безраздельно!»

Так она думала, ибо когда сердце Аннеты отдавалось, то отдавалось все... И сейчас она – казалась себе хуже проститутки: та отдает тело, а она сердце отдала двум сразу, – разве это не позорнее?

Была ли Аннета искренна, честна с самой собой? Несомненно. Она не понимала, что у нее не одно сердце, что в ней живет не одно существо. В дремучем лесу человеческой души растут рядом и высокие, строевые деревья мыслей и густые заросли желаний – двадцать различных пород. В обычное время, когда они дремлют, их и не различишь. Но стоит ветру пролететь по лесу, и ветви их сталкиваются... Столкновение страстей давно уже разбудило в Аннете ее многоликость. Она была человеком долга и неумной гордости, и страстно любящей матерью, и страстно влюбленной женщиной, влюбленной не в одного, а во многих... Она была как лес в бурю, разметавший руки по всему огромному небу, во все стороны... Но, униженная, почти угнетенная присутствием в себе этой силы, которая распоряжалась ею помимо ее воли, Аннета думала:

«К чему было укреплять в себе волю и бороться долгие годы, если достаточно одного мгновения, чтобы все рухнуло? И откуда она, эта сила?»

Аннета яростно отвергала эту неизвестную силу, как что-то чуждое. Неужели она не узнала в ней себя, свою подлинную натуру? Да, узнала, и это было всего тяжелее: от самой себя как убежишь?

Но Аннета была не такая женщина, чтобы покорно уступить роковой внутренней силе, которую она презирала. Она решила задушить в себе унижительную страсть. И напряженная работа помогла бы ей этого добиться, если бы не Ноэми.

Аннета получила от нее письмо – эта миниатюрная женщина писала крупным почерком, в котором под светской изысканностью чувствовались сухость и решительность. В нескольких любезных словах Ноэми приглашала Аннету к обеду. Аннета вежливо отказалась, написав, что очень занята. Ноэми вторично пригласила ее и на этот раз написала, что очень хочет увидеться с ней и просит прийти в любой вечер, когда Аннете удобно. Аннета, твердо решив не подвергать себя опасности, которую она предчувствовала, снова отклонила приглашение, ссылаясь на сильную усталость после рабочего дня. Она думала, что теперь окончательно отделалась от Ноэми. Но маленький Пандар, который в часы скуки и коварных проказ надевает одну из тысячи личин Амура, не давал покоя Ноэми, пока она не ввела Аннету в свою овчарню. И раз вечером, когда Аннета, вернувшись с уроков, готовила

обед (именно этот час всегда выбирают для своих посещений люди праздные), явилась Ноэми и принялась щебетать, пересыпая болтовню уверениями в вечной дружбе. Аннета, сконфуженная тем, что ее застали в такой обстановке, и невольно подкупленная нежностями той, в которой она бессознательно искала как бы отражения другого человека, решительно отказалась обедать у Вилларов, но вынуждена была обещать, что навестит Ноэми; при этом она осторожно спросила, в какое время наверняка можно застать Ноэми одну. Ноэми подметила нежелание Аннеты встречаться с ее супругом. Она объяснила это застенчивостью Аннеты и антипатией к Филиппу. Это еще больше расположило ее к новой приятельнице. Вернувшись домой, она имела Неосторожность рассказать Филиппу о своем посещении и с милым коварством всех верных подружек усердно расписала ему все, что, по ее мнению, могло окончательно уронить женщину в глазах Филиппа: беспорядок и нищенскую обстановку, запах чернил и кухни, Аннету у плиты. Филипп знал об ее мужественной борьбе, а еще лучше знал он запах бедности, поэтому рассказ жены навел его на совсем иные мысли – не те, на какие она рассчитывала.

Но он не стал их высказывать вслух.

И совсем не случайно несколько дней спустя Аннета, выходя от Ноэми, встретила на улице Филиппа, который шел домой. Так как она не искала этой встречи, она не сочла нужным бороться с охватившей ее тайной радостью. Они обменялись несколькими словами. В то время как они стояли и разговаривали, мимо прошла молодая женщина, и Филипп с ней поздоровался.

Аннета узнала талантливую актрису, которая в ту зиму играла Катюшу Маслову. Актриса эта очень нравилась ей, и Аннета посмотрела на нее с восхищением.

– Вы ее знаете? – спросил Филипп.

– Я видела ее в «Воскресении».

– А! – Филипп пренебрежительно скривил рот. Аннета удивилась:

– Неужели вам ее игра не нравится?

– Дело не в игре.

– Значит, в пьесе? Вы ее не любите?

– Нет, – сказал Филипп.

И, видя, что Аннета с любопытством ждет объяснения, продолжал:

– Пройдемся немножко, хотите? Это довольно бесцеремонно с моей стороны, но, право, всякие церемонии не для таких, как мы с вами.

Она шла рядом. Аннета была и смущена и довольна. Филипп заговорил о пьесе со смесью шутливости и раздражения, совсем так, как сам Толстой (поделом ему!) частенько разговаривал с тем, кого недолюбливал. Но вдруг его самого рассмешил этот суровый тон, и он сказал, перебив себя:

– Я не прав... Когда я смотрю пьесу, я одновременно вижу всех тех, кто ее смотрит, вижу ее как бы сквозь их мозговые оболочки. И зрелище получается не из красивых.

– У некоторых оно красиво, – возразила Аннета.

– Да, некоторые обладают даром приукрашивать убожество жизни. Это избавляет их от обязанности бороться с ним. Несчастья других доставляют этим милейшим идеалистам отрадные минуты, давая повод для безопасных эстетических и филантропических эмоций. Но еще лучшие минуты доставляют страдания людей пиратам, которые их эксплуатируют. Сентиментальностью прикрываются, как знаменем, всякие патриотические лиги и общества содействия увеличению народонаселения, ею оправдывают выпуски займов, колониальные войны и всякие филантропические затеи... Век слезливости!.. И вместе с тем не бывало века корыстнее и черствее! Век добрых хозяев (читали Пьера Ампа?), которые строят рядом с заводом церковь, кабак, больницу и публичный дом... Эти хозяева делят жизнь свою на две части: одна проходит в разглагольствованиях о цивилизации, прогрессе, демократии; другая – в гнусной эксплуатации и разрушении нашего будущего, в развращении нашего народа, истреблении других народов в Азии и Африке...

А после этого они идут в театр вздыхать над участью Масловой или дремлют после

обеда под сладкие мелодии Дебюсси... Нерадостно будет их пробуждение! Бешеная ненависть растет, накапливается! Катастрофа близка... Тем лучше! Их гнусные лекарства служат лишь для того, чтобы поддерживать болезни. Придется прибегнуть к хирургическому вмешательству!

– А больной-то при этом уцелеет?

– Я штурмую болезнь. Не уцелеет – тем хуже для него!

Это было сказано в пылу гнева. Аннета улыбнулась. Филипп искоса глянул на нее.

– Вас это не страшит?

– А я не больна, – сказала Аннета.

Он остановился и уже внимательно посмотрел на нее.

– Это видно. От вас так и веет здоровьем... С вами я отдыхаю от смрада физического и морального разложения. Нестерпимее всего моральное...

Простите мне эту желчную тираду! Я иду с заседания, где шайка тартюфов обсуждала вопрос об официальном содействии болезням, то есть о гигиене.

Я задышался от гнева и омерзения. И когда я увидел вас, такую гордую и здоровую духом, увидел ваши ясные глаза, вашу смелую осанку, у меня появилось эгоистическое желание надышаться тем свежим воздухом, который вас окружает. Ну, вот теперь мне легче. Спасибо!

– Ого! Вы уже и меня произвели в лекари! И это после всего, что вы тут о них наговорили?

– Вы не лекарь. Вы – лекарство. Кислород.

– Любопытный у вас подход к людям!

– Я их разделяю на две категории: вдыхание и выдыхание, то есть те, кто оздоравливает жизнь, и те, кто ее отравляет. Вторую категорию надо убивать.

– Кого еще вы собираетесь убивать?

– Еще! – подхватил Филипп. – Вы находите, что достаточно с меня убивать пациентов?

– Нет, нет, это у меня нечаянно вырвалось, – со смехом оправдывалась Аннета. – Старая классическая закваска... А можно узнать, кто это вас так рассердил сегодня?

– Не хочется и вспоминать об этом сейчас, когда мы вместе. Ну, я вам расскажу в двух словах. Дело идет о целом квартале опасных домов, которые со времен нечистоплотного короля Генриха, сулившего крестьянину куриный суп, являются рассадниками рака и туберкулеза. Результаты замечательные: за последние двадцать лет – восемьдесят процентов смертности! Я сообщил об этом Санитарному комитету и потребовал радикальных мер: эти дома государство должно выкупить у владельцев и снести. Сперва со мной как будто согласились, предложили подать докладную записку. Я ее написал, прихожу – оказывается, оракулы уже на попятный: «Ваш доклад, дорогой и уважаемый коллега, производит сильное впечатление... Замечательный документ... Надо будет об этом подумать... Посмотрим, посмотрим... Конечно, в этих домах умерло много людей, но действительно ли дома виноваты в их смерти?» Один показывает мне свидетельство (и когда только их успели сфабриковать?), в котором подкупленные домовладельцем родственники умерших удостоверяют, что покойник получил билет на кладбище, когда еще только сидел в пассажирском зале, или что рак был следствием несчастного случая. Другой не согласен с тем, что старые дома вреднее для здоровья, чем новые, и уверяет, что они просторнее и в них больше воздуха, а в пример приводит свой собственный дом... Твердят, что не надо крайностей: оздоровить дома – да, но снести – нет! Достаточно будет хорошей очистки, и домовладельцы берутся сами произвести дезинфекцию.

«Притом мы бедны, ни гроша за душой, где взять деньги для выкупа домов?»

Небось нашли бы деньги, если бы дело шло о новых пушках!.. А ведь рак убивает лучше всякой пушки... Наконец, в довершение балаган, один из авгуров заговорил о красоте: оказывается, лачуги, которые стоят со времен этой старой свиньи Генриха, необходимо сохранить для искусства и истории!.. Я и сам люблю искусство, вы у меня можете увидеть немало прекрасных картин и старых и новых мастеров. Но для меня древность не есть

признак красоты (если только речь идет не о какой-нибудь из наших прекрасных дам). И все равно, если даже в старом прошлом есть своя красота, я: не допущу, чтобы оно отравляло настоящее. Из всех видов лицемерия мне больше всего противно лицемерие так называемых эстетов, которые выдают свое бесплодие за высокое благородство. Насчет этого я тоже наговорил там достаточно резкостей... В разгаре дебатов один коллега незаметно делает мне знак, отводит в сторону и говорит: «Вы, видно, не знаете, что этот домовладелец, этот червь, который питается трупами своих жильцов, – близкий приятель председателя Главного комитета торговли и снабжения? Он командует на выборах и создает коалиции. Он один из тех „серых кардиналов“, которые царят во всяких демократических объединениях и на демократических бАннетах, невидимый глава грязной клики франкмасонов, этих „вольных каменщиков“, которые не строят, а расшатывают здание нашей республики. И этот Друг народа не желает, чтобы народ переселяли из его могилы...» Слушайте, слушайте дальше, самое интересное: все это делается под флагом филантропии. Под конец мне суют под нос петицию квартиронанимателей, весьма бойко написанную: протест против проекта их переселения в другие дома! Ну, скажите, что я могу поделать один против всех? Говорят, авгуры улыбаются. Что же, и я улыбался. Но я им заявил, что хорошую шутку не следует держать про себя, и, так как я не эгоист, я завтра же поделюсь ею с читателями «Матэн». Они подняли крик. Но я это сделаю.

Знаю, что будет! На меня накинута все эти масоны. И уж, конечно, не упустят случая и те наследники Гиппократы, которым недавно от меня досталось. Они знают, чем мне насолить. Ну ничего, будем драться! Ведь так вы сказали, госпожа воительница?.. Помните, тогда вечером у Соланж?..

Вам это, кажется, по душе?

– Да, бороться против несправедливости – это замечательно! Это я люблю. Как жаль, что я не мужчина!

– Для этого не нужно быть мужчиной. Ведь вот и вам тоже пришлось бороться...

– Да, и я на это ничуть не жалею. Но я не хочу задыхаться. Удел женщин – борьба в погребке. А вы – вы сражаетесь на открытом воздухе, на вершине горы.

– Эге! У вас раздуваются ноздри, как у боевого коня, почуявшего порох... Я так и знал... Я это заметил еще в тот вечер.

– В тот вечер вы насмеялись надо мной.

– Вовсе нет. Мне это все знакомо и близко – как же я мог бы над вами смеяться?

– Вы меня дразнили. И пробовали вызвать на откровенность...

– Да я сразу все увидел... И не ошибся.

– А все-таки сначала вы отнеслись ко мне с некоторым презрением.

– Черт возьми, как я мог думать, что у Соланж встречу такую, как вы?

– Ну, а вы-то сами? Вы как туда попали?

– Я – другое дело.

– Должно быть, вам нравится сентиментальность?

– Ага, теперь вы начинаете издеваться!.. Бедная Соланж! Не будем говорить о ней! Я знаю все, что вы могли бы о ней сказать. Но Соланж – это табу!

Аннета ничего больше не спросила, только посмотрела на него.

– Когда-нибудь я вам расскажу... Я ей многим обязан...

Они остановились. Пора было разойтись. Аннета сказала с улыбкой:

– Вы не такой злой, как кажется.

– А вы, может быть, не такая добрая!

– Значит, из нас двух получилась бы хорошая средняя величина.

Филипп заглянул ей в глаза:

– Хотите? Он не шутил. Кровь бросилась Аннете в лицо. Она не нашла ответа. Взгляд Филиппа приковал ее и не отпускал. Сказал он что-нибудь?

Или не сказал ничего? Она не знала, но на его губах она прочла: «Я хочу вас...»

Он поклонился и ушел.

Аннета осталась одна, вся в огне. Она шла, не замечая дороги, куда глаза глядят, и через десять минут очутилась снова на том же месте, где рассталась с Филиппом. Тут только она очнулась и увидела, что обошла Люксембургский сад. Голова ее горела, три слова стояли в мозгу так отчетливо, словно пылали огнем на черном фоне. Она сделала усилие, чтобы стереть их... Произнес ли он эти слова?.. Ей вспомнилось бесстрастное лицо Филиппа, и она попробовала в этом усомниться, но слова не исчезали.

Ее внутреннее сопротивление ослабло и вдруг сразу сломилось... Она подумала: «Значит, судьба... Ну что ж!.. Я знала, что так будет...» Час назад она восстала бы против таких мыслей, а сейчас почувствовала облегчение. Жребий был брошен...

Она пришла к себе с ясной головой. Лихорадочное волнение сменилось спокойной решимостью.

Она знала: если Филипп хочет, он своего добьется. Да и она ведь хочет того же. Она свободна, ничто ее не связывает... Ноэми? По отношению к Ноэми у нее есть только одна обязанность: не обманывать ее. И она обманывать не станет. Она открыто возьмет... Свое?.. Это чужого-то мужа?..

Но слепая страсть нашептывала ей, что Ноэми его у нее украла.

Аннета не делала ничего, чтобы ускорить неизбежное. Она не сомневалась, что Филипп придет. Она ждала.

И он пришел. Он выбрал такой час, когда ее можно было застать одну.

Идя отворять дверь, Аннета вдруг почувствовала, что ей страшно. Но она сказала себе: «Так нужно!» – и отперла. Только бледность выдавала ее волнение. Филипп вошел в комнату. Они стояли в нескольких шагах друг от друга, и Филипп исподлобья смотрел на нее с серьезным выражением. После некоторого молчания он сказал:

– Я люблю вас, Ривьер.

Слово «Ривьер» он произносил так, что в уме возникало представление о речной волне.

Дрожа и не двигаясь с места, Аннета ответила:

– А я не знаю, люблю ли я вас... Думаю, что нет... Знаю только одно: я ваша.

Улыбка осветила серьезное лицо Филиппа.

– Это хорошо, что вы не хитрите и не лжете. Я тоже сказал вам правду.

Он шагнул к ней. Аннета инстинктивно отступила и, наткнувшись на стену, беспомощно прижалась к ней спиной и ладонями обеих рук. Ноги у нее подкашивались. Филипп остановился и в упор посмотрел на нее.

– Не бойтесь! – промолвил он, и в его суровых глазах мелькнула нежность.

Спокойно, с оттенком презрения, тоном побежденного, который сдается, Аннета сказала:

– Чего вы хотите от меня? Вам нужно мое тело? Я вам в этом не откажу.

Вам только оно и нужно?

Филипп сделал еще шаг и сел в низенькое кресло у ее ног. Платье Аннеты касалось его щеки. Он взял ее руку, безвольно покорную, вдохнул ее запах, коснулся ее губами и, наклонясь, приложил эту руку сначала к своему лбу, потом к глазам.

– Вот чего я хочу.

Аннета ощутила под пальцами жесткую щетку коротко остриженных волос, выпуклость лба, биение пульса в виске. Этот властный человек отдавался под ее защиту... Она склонилась к нему, Филипп поднял голову. Это был их первый поцелуй.

В следующее мгновение он крепко обнял Аннету; Аннета упала подле него на колени, не сопротивляясь, едва дыша. Но Филипп, несмотря на свою страстность, не спешил воспользоваться победой. Он сказал:

– Хочу все. Ты мне нужна, как любовница, друг, товарищ, как жена... вся целиком.

Аннета высвободилась из его рук. Перед ней вдруг встал образ Ноэми.

Только что она вычеркнула ее из своих мыслей. Но когда Филипп сделал то же самое, она почувствовала что-то вроде возмущения. В ней было задето чувство франкмасонской солидарности, объединяющее всех женщин, даже соперниц, против мужчины, который в

лице одной оскорбляет их всех...

Она сказала:

– Этого вам хотеть нельзя. Вы принадлежите другой.

Филипп пожал плечами.

– Ничего ей не принадлежит.

– Ваше имя и верность.

– На что вам мое имя? Вы владеете всем остальным.

– Я за именем и не гонюсь, но верность мне нужна: я ее вам обещаю и требую ее от вас.

– Что ж, я принимаю ваше условие.

Но Аннета, только что требовавшая от него верности, вдруг возмутилась:

– Нет, нет! Вы хотите изменить той, которая много лет делит с вами жизнь, и обещаете верность мне, хотя видите меня всего в третий раз?

– Чтобы вас узнать, мне достаточно было вас увидеть даже не три раза, а меньше.

– Нет, вы меня не знаете.

– Знаю. Жизнь научила меня быстро разбираться в людях. Ведь она проходит, и ни одно мгновение не повторяется. Надо сразу решать, чего хочешь, или ничего не хотеть. Вы проходите мимо, Ривьер, и после я вас не возьму, я потеряю вас. Вот я вас и беру!

– А вдруг ошибетесь?

– Может, и ошибусь. Я знаю: желание нас ослепляет, и мы часто обманываемся. Но если бы мы отказались от желаний, вся жизнь была бы ошибкой.

Увидеть вас и не пожелать было бы такой ошибкой, которой я никогда не простил бы себе.

– Да что вы знаете обо мне?

– Больше, чем вы думаете. Мне известно, что вы были богаты и теперь бедны. Что у вас была счастливая молодость и что вы потеряли все, были изгнаны из вашей среды, но не пали духом и боролись. Уж я-то знаю, каково это, – вести такую борьбу: я сам в течение тридцати лет изо дня в день вел ее врукопашную и двадцать раз вот-вот готов был сдаться, хотя я ко всему привык и с колыбели узнал гнусную нищету. А у вас нежная кожа, вас в детстве баловали и ласкали. И все-таки вы держались стойко. Вы не сдались, не пошли ни на какой малодушный компромисс. Вы не старались увильнуть от борьбы каким-нибудь женским способом – прельщая мужчин или избрав честный выход: брак по расчету.

– А вы думаете, что мне так уж часто его предлагали?

– Если нет, значит, даже самые ограниченные мужчины понимают, что вы не из тех, кого покупают по контракту.

– Непродажная, да.

– Мне еще известно, что вы любили и родили ребенка, но не захотели стать женой его отца. Какие чувства вами руководили – это ваше дело. Для меня важно то, что вы посмели перед лицом трусливого света отстаивать свое право – не на наслаждение, а на труд, право иметь сына, и, несмотря на бедность, воспитали его сами, без чужой помощи. Вы не только отстаивали свои права – вы их осуществляли целых тринадцать лет. Я знаю по опыту, что такое тринадцать лет труда и постоянных забот, а между тем вы стоите предо мной несломленная, гордая, честная, без малейшего следа душевной усталости. Есть два вида поражения: полная апатия и горечь... От второй и я не спасся, а вы сумели избежать обеих... Мне, хорошо знакомому с борьбой за жизнь, ясно, чего стоит такая женщина, как вы. Эта серьезная улыбка, ясные глаза, спокойная линия бровей, эти неутомимые, честные руки, светлая гармония во всем, а внутри – палящий огонь, радостный трепет борьбы всегда, даже когда вы бываете побеждены... «Ничего, мы еще повоюем!..» Неужели вы думаете, что такой человек, как я, не способен оценить такую женщину, как вы, а оценив, не пойдет на все: чтобы завоевать ее?.. Ривьер, вы мне нужны. Я хочу, чтобы вы были моей. Послушайте, я не стану вас обманывать: хотя я и желаю вам добра, я не ради вас, а ради себя хочу любить вас. И со мной вас ждут не радости, а скорее новые испытания... Вы не знаете моей жизни... Сядьте вот здесь подле меня, моя прекрасная!..

Аннета села на пол и подняла глаза на Филиппа.

Он взял ее за руки и уже не выпускал их все время, пока говорил.

– Я завоевал себе имя, успех, у меня есть деньги и то, что они могут дать. Но вы не знаете, как я этого добился и как теперь удерживаю за собой. Я все вырывал силой и силой удерживаю. Я совершил насилие над своей судьбой, – если верно, что есть судьба. Я пробился вопреки обстоятельствам и воле людей. И никогда я не умел (да и не хотел) врачевать раны, нанесенные мною чужому самолюбию, не старался, чтобы люди простили мне мои удачи и растоптанные на ходу чужие интересы. Мои милейшие коллеги рассчитывали, что успех наконец подействует на меня как наркоз. Ничего подобного не случилось. Они чувствуют, что я человек им чужой и, сколько ни умамливай меня, не стану для них своим. Это потому, что я не могу забыть чудовищный обман и несправедливость, которые видел по ту сторону перегородки. У меня было достаточно времени, чтобы поразмыслить о лжи, царящей в нашем обществе, лжи, которую каста интеллигенции всегда охраняла как самый верный пес, вопреки всему тому, чего от нее ждут и что она сама себе приписывает. Не стоит говорить о тех немногих ловкачах, которые, замкнувшись в башне своего искусства и теорий, слышат за людей, ничего не уважающих, но, выходя из своей башни, весьма вежливо снимают шляпу перед царящей в мире глупостью. Я же совершаю неслыханное безумие: не желаю с нею заигрывать! Я даже сейчас собираюсь в поход против некоторых священных обманов, которые тяжелым грузом ложатся на плечи, и так уже согбенные нищетой, и обрекают тысячи людей на безысходные муки. Меня, конечно, встретит лаем цербер о трех пастях, имя которым: лицемерная мораль, лицемерный патриотизм, религиозное ханжество. Но об этом я вам расскажу потом... Меня тоже ждет поражение, я это знаю, но все-таки дерусь, потому что это нужно и еще потому, что люблю радость и муки борьбы... Теперь вы понимаете, почему ваши слова в тот вечер были для меня вестью, которую сердце подает сердцу... А вы этого и не подозревали! Да, ваши слова были предназначены для меня, и я хочу, чтобы губы, которые их произносили, тоже стали моими.

Аннета подставила ему губы. Он ласково сжал ее щеки своими сильными руками.

– Ривьер, вы мне нужны. Я не надеялся, что найду вас. А теперь вы моя, я вас не выпущу.

– Держите крепко! Смотрите, как бы я от вас не ускользнула!

– А я знаю, чем вас привязать: я предлагаю вам делить со мной мою трудную жизнь, опасности, борьбу с врагами.

– Да, вы меня знаете... Но как вы можете предлагать мне то, что отдали вашей Ноэми? Вы не имеете на это права!

– На что оно ей? Она ни о чем таком и слышать не хочет. Она изгоняет из жизни правду, труд и страдания.

Аннета молча посмотрела на Филиппа, и он прочел в ее глазах вопрос, которого она не задала.

– Вы думаете: «Так зачем же он на ней женился?...». Эта женщина всегда лжет, да, да, в ней все ложь, от корней волос до кончиков ногтей... А самое главное, я ведь именно за это ее и взял! Я ее почти люблю за это... Когда ложь – искусство, доведенное до совершенства, она стоит хорошего театра... Разве мы не знаем, что театр, что почти всякое искусство лжет? Исключение составляют разве только несколько чудачков, которые смущают своим поведением собратьев по ремеслу, и те утверждают, что эти люди не художники, что они только портят марку и сбивают цену...

Ну, а если в нашем обществе все ложь, так мы вправе требовать, чтобы ложь была хотя бы приятна. Поэтому я предпочитаю жить и общаться с тем, кто лжет красиво. Им меня не обмануть, я все вижу. Прелести Ноэми так же поддельны, как ее чувства. Но подделка удалась! Она делает честь Ноэми.

Я наслаждаюсь ею по вечерам, когда прихожу домой со своей живодежни, где вид и запах гнилого мяса оскорбляет глаз и отравляет дыхание. Ноэми – весело журчащий ручей, и

я в нем омываюсь. Пусть себе лжет! Какое это имеет значение? Если бы она вдруг вздумала говорить правду, ей нечего было бы сказать.

– Как вы жестоки! Она вас любит.

– Несомненно. Я ее тоже.

– А если вы ее любите, для чего вам я?

– Я люблю ее только так, как ей нужно.

– Это много.

– Много? Для нее, быть может. Но не для меня.

– Но смогу ли я дать вам то, что дает она?

– Вы? Вы не игрушка.

– А я жалею, что не могу быть игрушкой. Вся жизнь – игра.

– Да, но вы-то ведь верите в нее! Вы из тех игроков, которые очень серьезно относятся к игре.

– И вы тоже.

– Ну, я сознательно иду на серьезную игру.

– А кто вам сказал, что я на нее не иду?

– Вот и отлично, будем вместе играть серьезно!

– Нет, я не хочу счастья, построенного на развалинах. Я сама страдала и не хочу, чтобы из-за меня страдали другие.

– В жизни все покупается страданием. Таков уж закон природы – счастье всегда строится на развалинах. И все в конце концов превращается в развалины – по крайней мере все то, что построено!

– Не могу я на это решиться – сделать несчастной другую женщину. Бедная Ноэми!

– Она меньше жалела бы вас, если бы ей нужно было вас растоптать.

– Я тоже так думаю. Но она вас любит. А убить любовь – преступление.

– Хотите вы или нет, с этим все кончено. Вы ее убили одним своим появлением.

– Вы думаете только о себе!

– Когда любишь, всегда так бывает!

– Не правда! Вот я думаю и о себе, и о вас, и о женщине, которая вас любит, и обо всем, что вам дорого, и о том, что дорого мне. Я хотела бы, чтобы моя любовь для всех была радостью и благом.

– Любовь – поединок. Нельзя смотреть по сторонам, иначе ты погиб.

Смотрите прямо в глаза противнику, который стоит перед вами!

– Противнику? Это кому же?

– Мне.

– Ах, вам!.. Это меня не пугает. А вот Ноэми... Она мне не враг, она не сделала мне ничего дурного. Как я могу разбить ей жизнь?

– Что же, по-вашему, лучше ее обманывать?

– Обманывать? Нет, уж лучше разбить жизнь ей... или себе: отказаться от вас.

– Вы не откажетесь.

– Почему вы знаете?

– Такая женщина, как вы, не отступает из слабости.

– Почему из слабости? Может, это не слабость, а сила?

– Не вижу силы в отречении. Мы с вами любим друг друга. Я уверен, что вы не уйдете от меня.

– Не ручайтесь!

– Но ведь вы меня любите?

– Люблю.

– Значит?..

– Значит... Вы правы, я не могу... я не в силах от вас отказаться!

– Значит?..

– Значит, будь что будет!..

Они все еще ничего не сказали «ей».

Аннета давала себе клятву, что не будет принадлежать Филиппу, пока не поговорит с Ноэми. Но сила страсти взяла верх над ее решимостью. Страсти нельзя назначать час, она сама его выбирает. И теперь уже Аннета удерживала Филиппа от объяснения с женой. Ее страшила его неумолимость.

Филипп без зазрения совести мог бы обманывать Ноэми. Он не настолько ее уважал, чтобы считать себя обязанным сказать ей правду. Но если бы ему пришлось сказать правду, он сказал бы ее без всякой пощады. Когда им владела страсть, он становился страшным человеком, до ужаса безжалостным. Ничто, кроме его страсти, для него не существовало. Любовь его к Ноэми была любовью господина к дорого стоящей рабыне – в сущности, Ноэми ничем другим и не была для него. Как многие женщины, она с этим мирилась: когда рабыня держит в руках своего хозяина, что может сравниться с ее властью? Она – все, до того дня, когда становится ничем. Ноэми это понимала, но она твердо рассчитывала на свою молодость и красоту и надеялась, что так будет еще много лет. А там – хоть потоп!.. Кроме того, она была постоянно настороже. Она знала о мимолетных изменах Филиппа, но не придавала им большого значения, потому что правильно их расценивала: это были связи без завтрашнего дня. В отместку она тоже позволяла себе легкие «развлечения», скрывая это от мужа. Только один-единственный раз, когда неверность Филиппа причинила ей жгучую боль, она в бешенстве изменила ему по-настоящему. Это доставило ей мало удовольствия и даже было немного противно, но зато она поквиталась с мужем. После этого она стала к нему еще нежнее. И в его объятиях она со злорадным удовольствием говорила ему мысленно:

«А ведь я тебе изменяю, миленький! Да, да, ты теперь рогат! Так тебе и надо!..»

Боязнь, как бы Филипп не узнал правды, обостряла удовольствие. А Филипп не знал ничего определенного, никаких фактов, но читал по лицу жены, что она ему лжет, и понимал, что если она еще не изменила, то, во всяком случае, замышляет измену. Ноэми подмечала молнии во взглядах мужа. Эти руки способны были ее растерзать!.. Но она успокаивала себя мыслью, что он ничего не знает и никогда не узнает. И закрывала глаза с томностью кроткой голубки. Филипп говорил грубо:

– Посмотри на меня! Но она успевала уже придать глазам выражение спокойное и невинное. Он знал, что эти глаза лгут, и все же не противился их очарованию.

Он не сердился на Ноэми, но если бы застал ее с другим, переломал бы ей кости. Он никогда не ждал от этой женщины того, чего она не могла ему дать: искренности и верности. Так как она нравилась ему, то пока она ему нравилась, все было в порядке. Но он считал себя вправе порвать с нею, как только она перестанет ему нравиться.

Аннета была совестливее. Она, как женщина, лучше понимала, что творится в душе Ноэми. Может быть, Ноэми лжива и суетна, может быть, она неверна Филиппу, но она его любит! Нет, для Ноэми это была не игра, как уверял Филипп. Она вросла в него, словно часть его тела. Она вложила в свою любовь не только чувственность, но и всю глубину сердца, какое бы оно ни было, доброе или злое. Да, каково бы ни было это сердце, в любви имеет значение только одно: ее сила, этот властный магнит, который заставляет одного человека телом и душой вращаться в другого. Ноэми цеплялась за Филиппа, как за цель своей жизни, за то, чего она хотела, хотела, хотела столько лет! Женщина не всегда знает, почему она влюбилась.

Но когда она уже влюбилась, она не может оторваться. Слишком много растрачено ею сил и желаний, чтобы можно было их перенести на новый объект.

Она, как паразитическое растение, обвивается вокруг своего избранника.

И, чтобы ее отделить, пришлось бы резать по живому.

Ноэми начали мучить подозрения. Сначала едва заметные, словно на сердце тихонько кошки скребли. В их семейной жизни ничто не изменилось:

Филипп был такой же, как всегда, – резкий, неразговорчивый. Вечно он куда-то спешил, слушал ее, не слыша, и думал о чем-то своем со странным огнем в глазах. Он в это

время был всецело поглощен довольно неприятным делом — беспощадной полемикой в печати, которую сам же вызвал. Ноэми это знала и вовсе не жаждала, чтобы он посвящал ее в свои заботы. Когда он вот так бывал чем-нибудь увлечен, он ни о чем другом не мог думать и жены не замечал. Ей оставалось только ждать, предоставив ему поститься: после такого поста он возвращался к ней с еще большим аппетитом. Однако на этот раз пост что-то уж очень затянулся! Прежде Ноэми в таких случаях начинала для развлечения заигрывать с мужем, а Филипп, раздраженный тем, что его отвлекают от важных мыслей, давал ей резкий отпор. И хотя Ноэми очень громко возмущалась его нелюбезностью, она вовсе не сердилась; она была похожа на ребенка, играющего с хлопущей: чем больше треску, тем больше удовольствия... Но на этот раз (катастрофа!) хлопущая не разрывалась... Все ухищрения кокетства разбивались о полное равнодушие Филиппа.

Он их даже не замечал... Подозрение, как мышь, пробежало в душе Ноэми, вернулось, водворилось в ней прочно. Оно потихоньку грызло, грызло и добралось до тела. Наконец однажды Ноэми взвыла...

Как-то утром они лежали рядом в постели. У Филиппа глаза были открыты. Ноэми только что проснулась, но притворялась спящей и незаметно наблюдала за ним. Она инстинктом улавливала в его лице словно отражение другого лица (мысль без нашего ведома принимает форму того образа, который в ней живет). Ноэми тотчас ревниво насторожилась и, лежа неподвижно, стараясь дышать ровно, как дышат спящие, из-под опущенных ресниц так и впиалась взглядом в мужа. Жадно изучала она лицо этого человека, такого близкого и такого далекого, человека, который принадлежал ей и оставался всегда чужим. Его бедро касалось ее бедра, а между тем их разделяла пропасть... Да, да, она не ошиблась, у Филиппа какие-то новые заботы, и не деловые, нет!.. Заботы ли? Она увидела, что он улыбнулся... Он думал о другой!.. Чтобы вырвать его у этого призрака и испытать свою власть над ним, Ноэми застонала как бы во сне и обняла его обеими руками. Филипп холодно отодвинулся от прильнувшего к нему тела и, думая, что жена спит, тихо встал, оделся и вышел. Ноэми не шелохнулась... Но, как только Филипп закрыл за собой дверь, она вскочила с постели. Лицо ее исказилось, она била себя кулачками в грудь, с трудом сдерживая крики тоски и гнева.

С этой минуты она начала слежку. Напряженно, трепетно стерегла, разнюхивала. У нее чесались руки, она стгорала от желания разорвать на части соперницу... О, тихонько, без шума!.. Впиться когтями ей в сердце!.. Однако Ноэми не находила этого сердца. В чьей груди оно скрывалось?... С лихорадочным усердием охотника, отслеживающего в лесу зверя, она обследовала круг знакомых и, скрывая острые зубки под молодой улыбкой накрашенного рта, изучала каждую черточку в лице Филиппа, когда он находился в обществе женщин, подстерегала взгляды, жесты, оттенки голоса каждой из них. Она словно удерживала внутри себя на сворке насторожившихся псов, которые почуяли зверя... Но след всякий раз оказывался ложным. Зверь ускользал...

Странное ослепление, из-за которого Ноэми с самого начала устранила из поля своих наблюдений Аннету, продолжалось. За последние недели она совсем забыла об Аннете. Та не показывалась у них в доме: она чувствовала себя виноватой и не только не гордилась, но, наоборот, стыдилась своей тайной победы, своего украденного счастья. Она избегала Ноэми. Предлогов для этого нашлось бы достаточно, если бы Ноэми выразила желание увидеться с ней. А Ноэми такого желания не выражала, у нее было слишком много тревог, и ей было не до Анкеты.

Напрасно Ноэми старалась себя убедить, что прихоть Филиппа пройдет.

Явные симптомы его охлаждения не только не исчезали, но стали еще заметнее: равнодушное невнимание к словам, к выражению лица, к самому присутствию жены, полнейшее безразличие. Более того: когда Ноэми настойчиво пыталась напомнить ему о своем существовании, она замечала на его лице выражение скуки, досады и плохо скрытого отвращения, мину человека, который хочет избежать тягостного общения.

Ноэми трепетала от ярости и от боли, которую ей причиняла ее оскорбленная любовь. Она не могла больше скрывать от себя всей серьезности обрушившейся на нее беды. Она

сходила с ума. Притом еще нужно было постоянно делать усилия, чтобы не выдать себя... Всегда, всегда казаться веселой, уверенной, постоянно ловить его на приманку... на которую он и не смотрел! Ноэми изводила мысль о неуловимой, неизвестной сопернице. В ней поднималась бешеная ненависть к этой женщине... Хотелось биться головой о стену с досады, что она не может поймать ее... Напрасно следила она за всеми знакомыми женщинами. За всеми... кроме Аннеты. Меньше всего она подозревала Аннету.

Аннета сама себя выдала.

Как-то раз на улице, шагах в двадцати от себя, она заметила Ноэми, – та шла ей навстречу. Ноэми ее не видела, она шла, опустив голову и рассеянно глядя по сторонам. Ее красивое лицо было мертвенно-бледно и казалось постаревшим. В эту минуту она не следила за собой и не замечала никого вокруг. За последнее время она превратилась в маньячку, которая с подавленной яростью непрерывно вращает в уме жернова навязчивой идеи.

Аннета была поражена ее видом. Она могла бы незаметно пройти мимо Ноэми или повернуть обратно. Но, торопясь избежать встречи, она сделала промах: сошла с тротуара и перешла через улицу. Это нарушило движение пешеходов и привлекло внимание Ноэми. Она узнала Аннету и поняла, что та хотела уклониться от встречи с ней. Проводив ее глазами, она увидела, что Аннета, дойдя до противоположного тротуара, украдкой глянула на нее и отвернулась. В голове Ноэми ослепительной молнией вспыхнула догадка: это она!..

Ноэми остановилась, задыхаясь, вонзив ногти в ладони, сжав зубы и оцетинившись. Она напоминала разозленную кошку, выгнувшую спину. В эту минуту у нее были глаза убийцы. Взгляд прохожего напомнил ей, что она живет в мире, где надо притворяться и лгать, и что она на одну минуту изменила этому правилу. Ноэми вернулась к действительности. Но, пройдя десять шагов, не выдержала и разразилась злобным смехом. Враг найден...

Тайна у нее в руках!..

Аннета была очень расстроена встречей с Ноэми.

С того дня, как она отдалась Филиппу, ее не переставала мучить совесть. Не потому, что она считала грехом принадлежать любимому человеку.

Их связывала любовь настоящая, здоровая, сильная. Она не нуждалась ни в оправдании, ни в притворстве. Никакие общественные условности не могли взять верх над нею. В горячке страсти Аннета и мысли не допускала, что у нее есть какой-то долг перед Ноэми; подлинной женой Филиппа была она, Аннета, и она не признавала той, другой, которая неспособна была быть ему товарищем в его труде и борьбе, не сумела дать ему счастья. Однако эта уверенность не мешала Аннете помнить, что счастье ее добыто ценой чужого горя. Она уговаривала себя, что такая пустая и легкомысленная женщина, как Ноэми, не способна сильно страдать, что она легко откажется от Филиппа. Но чутье подсказывало обратное, и все, что она могла сделать, это просто перестать думать о Ноэми. В первые дни эгоизм счастья помог ей.

Однако после встречи с Ноэми это стало уже невозможно. Аннета обладала несчастной способностью отрешаться от себя и наперекор собственным чувствам проникаться чувствами других, в особенности их страданиями, которые она угадывала с первого взгляда.

Аннета пришла домой, потрясенная горем Ноэми, переживая его почти так же остро, как сама Ноэми. Она не могла больше отделяться рассуждениями, вооружаться правами любви. «Ноэми тоже любит. И страдает. Разве у любви страдающей меньше прав, чем у любви, причиняющей страдания?.. Никаких прав нет! Одной из нас придется страдать. Ей или мне!..»

«Ей!» Страсть к Филиппу не оставляла Аннете выбора... Но это было совсем не весело.

Она думала: «Надо хотя бы не отягчать ее горя! Это преступление – длить его так долго, как мы это делаем, давать ране гноиться, вместо того чтобы твердой рукой сделать операцию и перевязать. Мы уваливаем от честного признания и предоставляем Ноэми самой догадаться о своем несчастье – это и трусость и жестокость!»

Аннета в первый же день объявила Филиппу:

– Я не хочу прятаться.

Как она могла, откладывая со дня на день, допустить такое недостойное положение?.. В этом виновата была все та же ее душевная мягкость... Она говорила Филиппу не раз:

– Надо сказать ей.

Но когда Филипп решался, она его удерживала, боясь его грубой прямоты. Филипп бросал то, что разлюбил, как выжатый лимон. Старые узлы его стесняли. Он говорил:

– Давай покончим с этим! Аннета отвечала:

– Нет, нет, только не сегодня! Она понимала, какую боль он причинит Нозми. Боже, как тяжело убивать человеческую душу!

У Филиппа и без того было о чем подумать. Дни его проходили в ожесточенной борьбе с обрушившимися на него печатью и общественным мнением.

Аннета видела, что сейчас не время докучать ему своими заботами. Филипп затеял опасную кампанию. Он взял на себя почин в деле создания Лиги ограничения рождаемости. Ему было ненавистно бесстыдное лицемерие господствующей буржуазии, которая, ничуть не заботясь об улучшении гигиенических условий жизни и облегчении нужды трудящихся, заинтересована только в том, чтобы они размножались, поставляли ей пушечное мясо и рабочие руки для ее предприятий. Сами-то они, эти господа, не хотят иметь много детей, чтобы не усложнять себе жизнь и не нарушать ее благополучия. А то, что неумеренное деторождение упрочивает нищету, болезни, порабощение народа, их это не беспокоит. Они объявили деторождение религиозным и патриотическим долгом. Филипп не сомневался, что, выступая против этого, наживет себе врагов. Но опасность никогда не останавливала его. Он ринулся вперед. Ярость противников превзошла его ожидания.

Он стал ненавистен множеству людей: прежде всего – собратьям по профессии, жрецам науки, чье самолюбие, интересы и ученый авторитет были задеты, затем вытесненным им соперникам и даже кое-кому из его сторонников, которым он беспощадно говорил правду в глаза, ибо не такой он был человек, чтобы платить за похвалы любезностями, и благодарность не принадлежала к числу его добродетелей. Он принимал все одобрения как должное, другим воздавал по заслугам – и только, а это было немного! К благодетелям он относился без всякого почтения – единственным исключением была Соланж. Никому никаких льгот! Таким образом, следовало ожидать, что нападки на него будут сильные, а защитников найдется мало. Филипп мешал маневрам тех, кто спекулировал на идеалах. Всякий раз, как возникала очередная организация благородных жуликов-филантропов, можно было не сомневаться, что он выступит против нее. Он с циничным удовольствием разоблачал хитрости добродетельных лицемеров. Это уже создало ему (*sotto voce*⁵²) в почтенных кругах репутацию сумасброда анархиста, потрясающего основы. Эти шушуканья пока не дошли еще до публики, до страшного уха Пасквино – продажной прессы. Враги выжидали подходящего момента.

Esso!o!⁵³ Теперь подвернулся очень удобный случай...

Произошел взрыв патриотического негодования. Вмешались газеты. Отголоски всеобщего возмущения дошли до парламента, и там были произнесены бессмертные речи в защиту прав бедняков на многочисленное потомство.

Несколько энтузиастов внесли проект закона, строго карающего всякую пропаганду, которая прямо или косвенно ратует за уменьшение народонаселения. Свободомыслящая пресса утрировала доводы Филиппа за ограничение деторождения и в своем изложении выдвинула на первый план мотив эгоистического наслаждения, умолчав о соображениях гуманности. Это дискредитировало все выступления Филиппа. Он обрел сторонников среди врагов общества. Своим противникам он отвечал на страницах одной крупной газеты,

⁵² Под сурдинку (итал.).

⁵³ Вот оно! (итал.)

отвечал очень резко и прямо. Но в редакцию посыпались письма с протестами, и Филипп рисковал потерять эту трибуну. Он читал публичные лекции, выступал на бурных собраниях. Он атаковал своих врагов с такой же неистовой страстностью, как они – его. Они зорко следили за каждым его словом, ожидая, что какая-нибудь неосторожность Филиппа даст им в руки оружие и поможет его погубить. Но их суровый противник сдерживал свои порывы и не позволял увлечь себя ни на шаг за пределы того, что хотел сказать. Он завоевал себе громкое имя, вызвал восторги, насмешки, ненависть. В дыму сражений он дышал полной грудью.

Среди таких бурь мог ли он думать о Ноэми?

Ноэми спешила домой. Она припоминала первые встречи Филиппа и Аннеты, которые происходили у нее на глазах, и проклинала свою глупость и их коварство. Едва она очутилась в своей квартире, она дала волю бешенству.

То был настоящий смерч. В одно мгновение все было сметено им. Кто увидел бы сейчас Ноэми, в слезах, в судорогах отчаяния, тот с трудом узнал бы ее. Хорошенькое личико было искажено, она кусала и рвала носовой платок, произвела полный разгром среди бумаг на письменном столе мужа, сорвала злость на своей собачке, вздумавшей к ней ластиться, и на попугае, которого чуть не задушила... Конечно, она предусмотрительно заперлась на ключ: разыгрывать фурию можно было только при закрытых дверях, – ведь это ее не красило! Лицо приняло жесткое выражение, казалось постаревшим и измятым. Но, увидев себя в зеркале такой злющей и некрасивой, Ноэми не только не огорчилась, а испытала что-то вроде облегчения: это была своего рода месть Филиппу. Потом ей стало себя жалко, обидно за подурневшее лицо. Эта жалость растопила злобу, и Ноэми, свернувшись калачиком на ковре, громко зарыдала... Времени у нее оставалось немного – Филипп должен был скоро вернуться, и она спешила выплакаться до его прихода: захлебывалась, рыдала вдвое громче, судорожно и бурно... Она еще бушевала, но гроза шла на убыль. Незлопамятная собачонка подошла и лизнула хозяйку в ухо. Ноэми поцеловала ее, причитая, потом приподнялась, села на ковре, поглаживая ногу, и затихла. Она размышляла. Вдруг, приняв решение, она вскочила, отбросила волосы, свисающие ей на глаза, подобрала разбросанные по комнате вещи, привела в порядок бумаги на столе, затем старательно напудрила и подкрасила лицо, оправила платье и стала ждать.

Филиппа она встретила спокойно и ласково. Она сначала испробовала простейшее оружие. В разговоре с невинным видом ловко вставила несколько гадостей о ненавистной сопернице. Сладеньким голоском сделала два-три каверзных замечания об Аннете. Об ее внешности, разумеется. Ноэми считала, что нравственные качества – дело второстепенное: душа душой, а любовьто все-таки поддерживается влечением к телу! Ноэми была великая мастерица выискивать в красоте других женщин изъяны, которые, когда их тебе укажут, уже невозможно забыть. На этот раз она превзошла себя: ведь показать соперницу ее любовнику в отталкивающем виде – задача увлекательная, что и говорить!

Филипп выслушал, но и глазом не моргнул. Ноэми переменяла тактику.

Стала защищать Аннету, опровергая людские толки, восхвалять ее добродетели (такие похвалы ни к чему не обязывают). Она хотела вызвать Филиппа на разговор, заставить его выдать себя, завлечь его в расставленную ловушку. Но к похвалам ее, как и к злословию, Филипп отнесся равнодушно.

Она пустила в ход кокетство и заигрывания, пыталась разжечь в Филиппе ревность, со смехом пригрозив, что, если он ее когда-нибудь обманет, она ему отплатит с лихвой. Филипп даже не усмехнулся и, сославшись на какое-то дело, собрался уходить.

Тут Ноэми снова вышла из себя. Она крикнула, что знает все, что ей известно о его связи с Аннетой. Она грозила, бранилась, умоляла, твердила, что покончит с собой. Филипп только плечами пожал и, не говоря ни слова, шагнул к двери. Она побежала за ним, схватила его за плечи, заставила обернуться и, глядя ему в глаза, не своим голосом спросила:

– Филипп! Ты меня больше не любишь?..

Он посмотрел ей в лицо:

– Нет! И вышел.

Нозми совсем обезумела. В течение нескольких часов она была как в бреду. Она перебирала всевозможные способы мщения, один нелепее и страшнее другого. Убить Филиппа. Убить Аннету. Убить себя. Осрамить Филиппа.

Оклеветать Аннету. Изувечить ее. Облить серной кислотой... О, какое это будет наслаждение – обезобразить ее!.. Задеть ее честь. Заставить ее страдать из-за сына. Написать и разослать анонимные письма... С лихорадочной поспешностью Нозми нацарапала несколько строк, разорвала письмо, начала снова, опять разорвала... Она способна была поджечь дом...

Но ничего такого она не сделала, постепенно успокоилась, собралась с силами. И пустила в ход гениальную изобретательность влюбленной женщины.

Она поняла, что с Филиппом ей ничего не сделать... Когда-нибудь она отомстит ему за все!.. Но сейчас он неуязвим. Значит, надо приняться за Аннету. И Нозми отправилась к Аннете.

Она еще не знала, что будет делать, но была готова на все. Положила в сумочку револьвер. Дорогой придумывала всякие сцены, но потом от них отказывалась. Инстинктом предугадывала ответы Анкеты и применительно к ним исправляла свой план, а потом, в последний момент, вдруг совершенно изменила его. Ярость захлестывала ее, когда она, почти бегом, задыхаясь, поднималась по лестнице к Аннете. Сквозь ткань сумочки она судорожно сжимала револьвер. Но когда дверь открылась и она очутилась лицом к лицу с Аннетой; ей сразу стало ясно: один жест, одно резкое слово с ее стороны – и раздраженная Аннета еще неумолимее встанет на защиту своей любви.

Злость Нозми мгновенно испарилась. Красная и запыхавшаяся от быстрой ходьбы, она со смехом бросилась обнимать Аннету. Удивленная этим вторжением, смущенная ее нежностями, Аннета проявляла сдержанность. Но неожиданная гостья, войдя, сразу без Уремоний прошла в спальню. Быстрым взглядом удостоверившись, что Филиппа там нет, она уселась на ручке кресла и засыпала ласковыми словами Аннету, с натянутым видом стоявшую перед ней. Не переставая болтать, Нозми одной рукой даже обняла Аннету за талию, другой теребила ее косынку. И неожиданно залилась слезами... В первый момент Аннете показалось, что это тоже игра... Но нет! Нозми расплакалась не на шутку, это были настоящие слезы...

– Нозми! Что с вами? Та не отвечала и, припав лицом к груди Анкеты, продолжала плакать. Аннета, тронутая этим великим горем, пробовала ее успокоить. Наконец Нозми подняла голову и, всхлипывая, простионала:

– Отдайте мне его!

– Кого? – спросила захваченная врасплох Аннета.

– Вы знаете!

– Но, право...

– Да, знаете, знаете! И я знаю, что вы его любите. И что он вас любит... Зачем вы отняли его у меня?

И опять слезы. Аннета с тяжелым сердцем слушала, как Нозми жалобно напоминала ей о своем доверии и расположении к ней. Она не в силах была ничего возразить, потому что и сама себя осуждала. Эти горестные упреки, лишенные всякой запальчивости, попадали в цель. Только когда Нозми с укором сказала, что Аннета злоупотребила ее дружбой для того, чтобы ее обмануть, Аннета сделала попытку оправдаться. Она возразила, что любовь пришла помимо ее воли и завладела ею. Нозми эти признания не тронули, и она старалась придать им другой смысл: она притворилась, будто и сама оправдывает Аннету, а главным виновником считает Филиппа. Она говорила о нем оскорбительные вещи. Таким способом она не только дала выход злобе, но и хотела внушить Аннете отвращение или хотя бы недоверие к Филиппу.

Но Аннета стала защищать его. Она не могла допустить, чтобы Филиппа называли обманщиком и соблазнителем. Он хотел действовать честно. Это она виновата, она не давала

ему поговорить с Ноэми. Ноэми в пылу ненависти еще настойчивее стала его обвинять, но Аннета не сдавалась. Спор принял ожесточенный и резкий характер. Можно было подумать, что из них двух настоящая жена Филиппа – Аннета. И Ноэми вдруг это поняла. Забыв всякую осторожность, она крикнула вне себя:

– Я запрещаю вам говорить о нем! Да, запрещаю!.. Он мой.

Аннета пожала плечами.

– Он не ваш и не мой. Он сам себе господин.

Ноэми запальчиво повторила:

– Он мой! И заговорила о своих правах.

Аннета сказала сухо:

– В любви не может быть никаких прав.

Ноэми опять крикнула:

– Он мой, и я его не отдам! Аннета возразила:

– Он любит меня, и вам его не удержать.

Женщины враждебно смотрели друг на друга: Аннета – в броне эгоизма и твердой решимости, Ноэми – стгорая от желания дать ей пощечину. Она ненавидела ее всю с головы до ног. Она готова была издеваться над ее некрасивостью, исхлестать ее самыми жестокими словами, словами непоправимыми.

Какое это было бы наслаждение!.. Но она сообразила, что это обойдется ей слишком дорого – и сдержалась.

Она проворно нагнулась, подобрала упавшую на пол сумочку и выхватила револьвер... В кого его направить? Она еще сама не знала... В себя!..

Сперва это было притворно. Но когда Аннета бросилась к ней и схватила ее за руку, Ноэми увлеклась игрой. Между ними завязалась борьба. Ноэми упала на колени, Аннета стояла, нагнувшись над ней.

Нелегко было удержать эту сумасшедшую. Сейчас она уже и в самом деле хотела застрелиться... Однако, если бы револьвер коснулся груди Аннеты, с каким сладострастием она спустила бы курок!.. Но Аннета толкнула ее руку, выстрел раздался, и пуля засела в стене. И Ноэми так и не узнала, в кого же она, собственно, целилась – в себя или соперницу...

Она бросила револьвер, перестала бороться. Наступила нервная реакция.

Она сползла на пол к ногам Аннеты, обессиленная, плача навзрыд. С ней сделалась истерика. Чуткая Аннета вначале заподозрила, что Ноэми разыгрывает сцену (но разве подобных случаях узнаешь, где кончается игра и начинается истинная драма?). Этот шантаж, эта мнимая попытка самоубийства вызвали у нее в первую минуту глухое раздражение... Но сейчас уже невозможно было сомневаться в страданиях этой бедняжки, сломленной горем. Аннета старалась сохранить твердость, отвернулась, но ничего не помогало. Ей стало стыдно за свои подозрения, и она с чувством глубокой жалости опустилась на колени подле Ноэми, поддерживая ей голову. Она пробовала ее успокоить, приговаривая совсем по-матерински:

– Ну, ну, деточка... Не надо! Перестаньте!..

Она обхватила Ноэми своими сильными руками и подняла с полу. Ощувив в своих объятиях покорное молодое тело, сотрясаемое рыданиями, она подумала:

«Неужели, неужели это из-за меня так страдает человек?»

Но другой, внутренний голос возражал:

«А разве ты не согласилась бы за свою любовь заплатить какими угодно муками?»

«Да, своими, но не чужими!»

«И своими и чужими. С какой стати щадить других больше, чем себя?»

Аннета посмотрела на Ноэми, которая в полуобмороке лежала у нее на руках... Какая она легонькая!.. Точно птичка!.. Ей вдруг представилось, что это ее дочь. И она невольно крепче прижала ее к себе. Ноэми открыла глаза, и Аннета подумала:

«А будь она на моем месте, разве она пожалела бы меня?»

Ноэми смотрела на нее с убитым видом. Аннета усадила ее в кресло и, стоя подле нее,

положив ей руку на лоб (Нозми внутренне задрожала от ненавистного прикосновения, но и виду не показала), спросила таким тоном, каким говорят с плачущим ребенком:

– Значит, вы очень его любите?

– Да, его одного всю жизнь!

– Я тоже его люблю.

Нозми так и вскинулась, ужаленная ревностью, и сказала резко:

– Да, но я молода. А вы... (она запнулась) вы уже свое от жизни взяли и можете обойтись без него.

Аннета с горечью досказала мысленно слово, которого Нозми не произнесла вслух. Она думала:

«Да, мне уже недалеко до старости. Вот поэтому-то я так и цепляюсь за последний час молодости, за этот последний луч счастья. И не упущу его ни за что... Эх, если бы у меня, как у тебя, драгоценная молодость была впереди!..»

И добавила с грустью:

«Я бы, наверное, опять ее прожила не так, как надо».

Нозми, видя омраченное лицо Аннеты, испугалась, как бы не испортить дела и не потерять то небольшое, чего она уже добилась. Она торопливо заговорила:

– Я понимаю, что он вас любит... Вы хороши собой... (Аннета подумала:

«Лгунья!») Я знаю, что вы во многих отношениях выше меня... И как раз в том, что он так ценит... И даже не могу на вас сердиться, потому что все-таки очень вас люблю!..

(«Лгунья! Лгунья!» – мысленно твердила Аннета.).

– Наши силы неравны. Это несправедливо, нет, нет!.. Я несчастная женщина и могу только плакать. Я ничто. Я это знаю... Но я его люблю, люблю, я не могу жить без него! Что будет со мной, если вы его у меня отнимете? Зачем же он на мне женился, – неужели только для того, чтобы бросить? Не могу, не могу я! Вся жизнь в нем, больше у меня ничего нет дорогого на свете...

На этот раз она не лгала, и Аннете опять стало жаль ее. Аннету ничуть не трогали заявления Нозми об ее правах на мужа: она не признавала прав одного человека на другого, этих контрактов на вечное владение, которые заключают муж и жена. Но ей больно было видеть издевательства жестокой природы, которая, разлучая двух любящих, никогда не убивает любовь в обоих сердцах одновременно, а делает так, чтобы один разлюбил раньше, и тот, кто любит сильнее, всегда оказывается жертвой. Ей было противно, что она, Аннета, оказалась орудием этой великой мучительницы. Да, жизнь принадлежит сильным. И любовь не знает колебаний. Чтобы добиться цели, она попирает все. «Горе слабым!.. Но почему же я не могу этого сказать?

Хочу, а слова застревают в горле! Противно, не могу!.. Может быть, я недостаточно сильно люблю его? Или я уже стара, как сказала Нозми? Я на стороне слабых... Нет, нет! Нет! Все это ложь!.. По какому праву она становится между моим счастьем и мной? Я не уступлю ей его. Пусть плачет, что мне за дело до ее слез?.. Я перешагну через нее!»

Но когда она злобно посмотрела на распростертую Нозми, та, и сквозь слезы зорко следившая за соперницей, схватила ее за руку, лежавшую на спинке кресла, прижала эту руку к своей щеке и сказала с мольбой:

– Не отнимайте его у меня! Аннета хотела вырвать руку, но Нозми держала крепко. Приподнявшись с кресла, она уже обеими руками ухватила за Аннету и заставила ее наклониться и взглянуть на нее.

– Не отнимайте его у меня! Аннета оторвала вцепившиеся в нее пальцы и крикнула с возмущением:

– Нет! Нет... Не хочу! Я ему нужна.

Нозми сказала с горечью:

– Ему никто не нужен. Он и любит-то одного себя.

Раньше он тешился мной, теперь вами. Он и вас бросит, как меня. Он ни к кому не способен привязаться.

Она заговорила о Филиппе. Суждения ее были резки, но очень глубоки и метки. Аннета была поражена остротой ее ума. Эта маленькая женщина, казалось, такая легкомысленная и пустая, читала в душе мужа с тонкой проницательностью, рожденной злобой и страданием. И некоторые ее жестокие замечания о Филиппе очень уж совпадали с теми опасениями, которые еще раньше зародились у Аннеты. Аннета сказала Ноэми:

– И все-таки вы его любите?

– Люблю. Я ему не нужна, но он мне нужен... Думаете, это легко – так нуждаться в человеке и при этом знать, что ты для него ничто, знать, что он презирает тебя?... Да и я его презираю, презираю! Но не могу без него жить... И зачем я его встретила! Это я сама захотела его. Захотела и взяла... А теперь не он у меня – я у него в руках... Ах, если бы я могла забыть его, как будто никогда и не знала!.. Нет, не хочу!.. У меня не хватит сил. Я слишком вросла в него. Всем нутром. Ненавижу его! Ненавижу любовь! И зачем, зачем люди влюбляются?

Ноэми в изнеможении умолкла, бегая глазами по сторонам, как загнанный зверь, ищущий спасения. Обе женщины опустили головы, словно покоряясь какой-то стихийной жестокой силе.

Ноэми настойчиво и уныло опять затянула ту же песню:

– Оставьте его мне! Аннета ощущала эту чужую упорную волю, как липкие щупальца спрута, присосавшиеся к ее телу. У нее еще хватило сил вырваться и крикнуть:

– Не хочу! В глазах Ноэми сверкнул злой огонек, пальцы судорожно сжались. Но она сказала кротко и жалобно:

– Ну хорошо, любите его! И пусть он вас любит! Но не отнимайте его у меня! Сохраним его обе, вы и я!

Аннета только отмахнулась с отвращением, и это привело Ноэми в бешенство:

– Думаете, мне самой не тошно об этом думать? Вы мне противны! Я вас ненавижу! Но я не хочу его терять...

Аннета отвернулась от нее и сказала:

– А я к вам никакой ненависти не чувствую. Вам тяжело, и мне тоже. Но делиться любимым человеком – это гнусно! Это преступление против любви!

Пусть я буду жертвой или палачом, но низкой и малодушной быть не хочу. Я не уступлю половины, чтобы сохранить того, кого люблю. Я отдаю все и хочу иметь все. Или ничего.

Ноэми, стиснув зубы, крикнула мысленно:

«Так не будет же тебе ничего!»

(Впрочем, даже предлагая этот дележ, она рассчитывала снова завладеть всем.).

Вскочив с кресла, она подбежала к Аннете, упала на колени, обняла ее ноги:

– Простите!.. Я сама не знаю, что говорю, не знаю, чего хочу! Я несчастна и не могу этого вынести... Что же мне делать? Скажите, что делать? Помогите мне!..

– Помочь вам? Вы просите помощи у меня?

– Да, у вас! А к кому же мне идти, кто мне поможет?... Я одинока. У меня нет никого, кроме этого человека, который, даже когда любил, не интересовался мной. Ему я не могу открыть душу... А до него была у меня мать, занятая только собой и своими развлечениями... Мне не с кем посоветоваться... У меня нет ни одной подруги... Когда я с вами познакомилась, я думала, что нашла друга. А вы стали мне злейшим врагом... За что вы сделали мне столько зла?

– Бедная моя девочка, разве я виновата? Я этого не хотела... – сказала удрученная Аннета.

Ноэми тотчас ухватила за вырвавшееся у Аннеты ласковое слово:

– Вы сказали: «моя девочка»!.. Да, будьте мне матерью, старшей сестрой! Не губите меня! Научите, что делать! Я не хочу терять Филиппа...

Дайте мне совет, дайте мне совет!.. Я сделаю все, что вы скажете...

Ноэми лгала только наполовину. Она так привыкла вечно играть роль, настолько в эту

роль входила, что уже и чувствовала то, что изображала.

Во всяком случае, ее любовь, боль, ее надежда тронуть Аннету, от которой все зависело, были искренни. Все, вплоть до доверия, которое она выражала Аннете, – ведь это была последняя карта, которую она в отчаянии поставила! И от нее не укрылось волнение Аннеты, которого та не умела скрыть. Аннета слабела. Беспомощность и покорность Ноэми ее обезоружили.

Она не находила в себе сил возражать. Правда, Ноэми не удалось обмануть ее. В слащавых интонациях соперницы Аннета чуяла фальшь. Она не мешала ей говорить, но, слушая, читала в ее душе. Она думала: «Что же делать?»

Принести себя в жертву? Какая бессмыслица! Не хочу! Я не люблю эту женщину. Она лжет, она меня ненавидит. Да, но она мучается...» И она гладила по голове стоявшую подле нее на коленях Ноэми, а та все всхлипывала и причитала, в то же время наблюдала за Аннетой, угадывая ее колебания, подстерегая ее, как дичь, задыхаясь и трепеща то от беспокойства, то от острой радости. Время от времени она прижимала к губам руки своей соперницы, которые охотно искусила бы, и без усталости твердила свое:

– Верните мне его! Аннета, хмуря брови, попыталась ее оттолкнуть. Она видела в глазах Ноэми хитрость и боль, ложь и любовь, напряженное ожидание... Наконец, поддавшись минутной слабости, она усмехнулась (в этой усмешке были и усталость, и сострадание, и отвращение к себе, к Ноэми, ко всему) и, отвернувшись, сказала:

– Что ж, берите его себе! Едва выговорив эти слова, она уже пожалела, что сказала их. Ноэми вскочила и бросилась ее целовать, осыпая бурными ласками... (Никогда еще ее ненависть к Аннете не была так сильна! Наконец-то она сдалась!.. Но сдалась ли?..).

Аннета уже говорила:

– Нет, нет!..

Ноэми как будто не слышала. Она называла Аннету своим дорогим, верным другом, клялась ей в вечной благодарности и любви. Она смеялась и плакала.

Однако Ноэми недолго теряла время на бесплодные излияния. Она захотела узнать, что Аннета сделает, чтобы удалить от себя Филиппа, Аннета возмутилась:

– Ничего подобного я вам не обещала!

– Нет, обещали, обещали!..

– У меня просто вырвалось слово...

– Но вы же сами сказали...

– Вы у меня силой вырвали это слово...

– Нет, Аннета, вы не такой человек, чтобы взять свое обещание обратно! Вы сказали: «Возьмите его себе». Да, да, Аннета, вы так сказали! Ну подтвердите же, что вы так сказали! Вы не можете это отрицать...

– Ах, оставьте меня, оставьте! – твердила Аннета устало. – Я не могу, не хочу! Довольно вам мучить меня...

Она села, чувствуя себя совершенно разбитой. А Ноэми продолжала ее терзать. Роли переменились. Аннета не могла отказаться от Филиппа – любовь пустила в ней крепкие корни. А Ноэми знать ничего не хотела: пусть себе Аннета любит сколько ей угодно, лишь бы рассталась с Филиппом! Она хотела, чтобы Аннета порвала с ним сейчас же, не откладывая. А способов, как это сделать, она могла подсказать сколько угодно. Она наседала на Аннету, пуская в ход лести, мольбы, поцелуи, она оглушала ее потоком слез, взывала к ее великодушному сердцу, просила, заклинала, требовала, торопила, диктовала ответы...

Аннета сидела в каком-то оцепенении, не говоря ни слова. Она даже не пробовала остановить этот поток. Сжатые губы, угрюмый взгляд... Наконец Ноэми замолкла, озадаченная ее неподвижностью. Она взяла Аннету за руки – они были холодные, влажные.

– Да отвечайте же, отвечайте! Аннета, не глядя на нее, пробормотала:

– Оставьте меня!..

Это было сказано так тихо, что Ноэми скорее угадала по движению губ, чем расслышала ее слова. Она переспросила:

– Вы хотите, чтобы я ушла? Аннета кивнула головой.

– Я уйду. Но вы обещаете?

Аннета повторила устало:

– Оставьте меня, оставьте меня... Мне надо побыть одной.

Нозми быстро поправила перед зеркалом прическу и, шагнув к двери, сказала:

– Прощайте... Помните же: вы обещали!..

Аннета в последний раз попробовала протестовать:

– Нет! Ничего я не обещала...

Нозми почувствовала новый прилив ярости. После всех ее усилий!.. Но инстинкт ей подсказал, что не стоит слишком сильно натягивать струну...

Все равно дело сделано!

Она ушла.

Она узнала слабость соперницы и была уверена, что растопчет ее.

Некоторое время после ухода Нозми Аннета не двигалась с места. Она была вконец измучена этой затянувшейся сценой. Ей было бы легче сопротивляться внезапной атаке, если бы силы ее не были уже подточены двойным бременем страсти и напряженной работы, а главное – непрерывной лихорадкой, в которой она жила, лихорадкой, вызванной участием в борьбе Филиппа и близостью к этой буйной душе. При таком физическом и душевном изнеможении как ей было бороться с мучившими ее тайными угрызениями совести? А слабость Аннеты была на руку Нозми. Она застала почву подготовленной и в своей сопернице нашла союзницу.

Сама по себе Нозми не играла большой роли в тревогах Аннеты. Как человек, она ей не очень нравилась. Как соперница, была и совсем неприятна. Аннета считала Нозми лживой, коварной, недоброй. Ревность делала ее несправедливой, и она теперь даже не находила Нозми красивой, хотя прежде восхищалась ею. Все в этой женщине казалось ей поддельным – все, кроме ее горя. «Нозми или другая – все равно это страдающий человек, страдающий из-за меня...» И странная жалость щемила сердце Аннеты.

Эту отзывчивость развило в ней за последние годы зрелище человеческих страданий и нужды и две смерти – Одетты и Рут. Они оставили в душе неясную трещину. Аннета считала это слабостью, чем-то вроде болезни и, пожалуй, была права. Нельзя было бы жить, если бы мы принимали близко к сердцу все человеческие горести. Счастье всегда покупается ценой чьего-то страдания. Одна жизнь питается другой, как личинки, отложенные в теле живой добычи. И каждый пьет чужую кровь. Еще недавно пила ее и Аннета, не задумываясь над этим. И с чужой кровью вливались в нее радость и тепло. Пока она была молода, она не думала о своих жертвах. Тот день, когда она о них задумалась и сказала себе: «Надо быть жесткой», был началом слабости и душевного надлома. Теперь она это почувствовала: она уже не могла быть жесткой. Она старела. Десять лет тому назад она перешагнула бы через Нозми без малейшего колебания: «Я имею право на счастье. Горе тому, кто протянет к моему счастью руку!..» Тогда она не нуждалась в самоопределении. А сейчас, для того чтобы вырвать у жизни свою долю счастья, ей уже надо было оправдываться перед своей совестью не только потребностью в нем, а еще чем-то. Бороться во имя самой себя – этого теперь было мало. В погоне за куском хлеба она еще находила в себе силы без колебаний устранять с дороги менее удачливых конкурентов: ведь этот кусок хлеба нужен был ей для сына. Ее поддерживал животный инстинкт, заставляющий зверя защищать своих детенышей и кормить их мясом других зверей. Другой же инстинкт – чувство самосохранения, заставляющее брать и удерживать нужное для себя, – ослабел и проявлялся только вспышками.

Отчасти его вытеснило материнство, заняв его место.

Но сейчас, когда в жизни Аннеты наступил перелом, сын не был для нее поддержкой. Напротив, он был причиной новых тревог и угрызений совести.

Аннета не могла себя обманывать: страсть к Филиппу вытесняла мысли о сыне. Она чувствовала себя виноватой перед Марком и пыталась скрыть от него все. Она знала своего

мальчика, она замечала и раньше, что он из ревности всегда выпускает когти в присутствии людей, которых она любит. Она не ставила ему этого в вину, радуясь, что он не хочет ни с кем делить ее любовь. Но теперь она защищала свое счастье – от кого?.. От своего счастья! Одна любовь восстала против другой. А она не хотела жертвовать ни одной из них. И так как обе были ревнивы, властны и захватывали ее целиком, то Аннете приходилось от каждой из них скрывать другую. Но удавалось ли ей это? Марк терпеть не мог Филиппа. Он ничего не знал об их связи (в этом Аннета была уверена), но, может быть, чутьем угадывал что-то?.. Аннете стыдно было хитрить с ним, а еще стыднее было при мысли, что сын может заподозрить истину. На самом же деле Марк ни о чем не догадывался и Филиппа ненавидел совсем по другим причинам.

А Филипп не устаивал Марка вниманием. Разумеется, женись на Аннете, он взял бы в качестве бесплатного приложения не только одного, но и двух или трех ее детей: ни психологически, ни материально это не играло для него никакой роли, так что и благодарить его было бы не за что. Он не питал к Марку никакой неприязни, считал его неглупым, но ленивым и недостаточно развитым. Он, без сомнения, сумел бы живо забрать Марка в руки, но его ничто не привязывало к мальчику, и он этого вовсе не скрывал.

Говорил он о Марке и с Марком тоном добродушно-грубоватым, который больно задевал Аннету. Привыкнув к грубости жизни, Филипп понятия не имел о том, какого бережного внимания требует натура утонченная и гордая и как легко оскорбить ее целомудренную стыдливость. Не стесняясь в выражениях, он в присутствии матери давал Марку медицинские советы и грубо-прямолинейные наставления, которые заставляли краснеть и юношу и мать-мать еще больше, чем сына. Филипп был того мнения, что от детей не следует ничего скрывать. Так думала и Аннета. И Марк тоже. Но не так надо было все это говорить, как говорил Филипп! Аннета испытывала при этом почти физическую боль, а Марк чувствовал себя униженным, и в душе его накапливалась злоба. Между ним и Филиппом не могло быть никакого взаимного согласия – слишком уж различные были у них темпераменты. Легко было предвидеть в будущем столкновения и постоянные нелады. Для Аннеты, страстной любовницы и нежной матери, эта мысль была ужасна.

Ей не от кого было ждать поддержки и совета, надо было решать самой.

И она приняла решение эгоистическое. Что же, разве она не вправе подумать и о себе? Но иметь право еще мало, если не можешь за него постоять.

А она боролась ли за него? Да, иногда боролась, как львица, когда видела, что молодость, счастье, жизнь уходят безвозвратно... Счастье?.. О счастье с таким человеком, как Филипп, нечего было и думать. Но он мог дать ей нечто большее, неизмеримо больше, чем счастье: жизнь полную, богатую умственными интересами и дерзаниями, не праздный покой, не дремотное благополучие, а мир буйных вихрей и гроз, мир деятельности, борьбы и с обществом и с ним, Филиппом, жизнь трудную и утомительную, но вдвоем с ним, жизнь настоящую, которую стоит прожить. А когда истощатся силы, она умрет счастливой от сознания, что ей дано было прожить эти суровые и плодотворные годы, умрет, не жалея, что расстанется с ними... Это было чудесно! Но для этого нужны были силы... У Аннеты их хватило бы на то, чтобы до конца, не вешая головы, нести взятую на себя ношу. Но как эту ношу поднять? Нужно было, чтобы кто-нибудь помог и даже немного подтолкнул ее. Вот если бы Филипп, взвалив ей эту ношу на плечи, внушил ей, что так нужно! Если бы он сказал: «Неси! Ради меня! Ты мне необходима...»

Это слово дало бы ей силы побороть угрызения совести... А нужна ли она Филиппу? Он сказал ей это в первые дни, когда хотел ею обладать. Но больше не повторял. А ей хотелось бы слышать это снова и снова, чтобы поверить накрепко. Она видела, что Филипп полон собой, привык работать один, бороться один, преодолевать препятствия один и что он этим гордится. Он счел бы для себя унижением прибегнуть к чужой помощи. И Аннета спрашивала себя: «Так на что же я ему?» Благодеяние любви не только в том, что она внушает нам веру в другого человека, но и в том, что мы обретаем веру в себя. Да не лишит же нас любовь этой малости! Но Филипп плохо разбирался в психологических тонкостях.

Этот великий врачеватель тела, как большинство ему подобных, не интересовался недугами души. Он не догадывался о сомнениях, которые грызли женщину, лежавшую рядом с ним. А между тем ему не следовало бы наводить ее на такие тревожные мысли. Надо было положить им конец, женившись на ней! Аннета шептала ему чуть слышно:

– Уедем вместе! Чтобы мне не было пути назад! Но Филиппу теперь было уже не к спеху. Он был увлечен, да, но не только страстью к Аннете, а и всякими другими страстями, которые были для него куда важнее: своими идеями, борьбой за них, полемикой, которая занимала все его мысли даже в те часы, когда Аннете хотелось, чтобы он думал только о ней. Он вовсе не желал вызвать семейный скандал и связать себе руки громким бракоразводным процессом, пока он не выйдет из боя. Он был твердо намерен выполнить свой долг перед Аннетой, но только не сейчас, а позднее. Пусть она потерпит! Ведь он же терпел! Теперь, когда он обладал Аннетой, он был доволен положением вещей и не склонен скоро менять его. Он воображал, что приучит и Нозми к кротости и долготерпению. Он был очень уверен в себе.

И он не хотел видеть, что такое ожидание невыносимо для обеих женщин.

«Что ж, это естественно! – думала Аннета. – В жизни мужчины, – и притом мужчины, достойного любви, – мы, женщины, никогда не занимаем такого места, как его идеи и его дело: наука, искусство, политика. Свой простодушный эгоизм он считает бескорыстием, потому что эгоизм этот порожден преданностью идеям. Такой рассудочный эгоизм убийственнее, чем эгоизм сердца. Сколько он разбил жизней!..»

Аннету не удивляло поведение Филиппа, потому что она знала жизнь. Но ей было больно. С этой болью она бы примирилась, даже, быть может, терпела бы ее с тайным сладострастием самоотречения, к которому женщины так склонны, считая это расплатой за любовь. Однако тут дело шло о другом: об ее самоуважении, о чести ее сына, положение которого было унижительно. То, что Филипп этого не понимал, сильно огорчало Аннету. Да, чуткостью он не отличался! Аннете было известно, что он думал о женщинах и о любви. Думать иначе он не мог. Полученное им воспитание и суровый жизненный опыт сделали его таким, и таким она его полюбила. Но она тогда надеялась, что переделает его. А теперь видела, что с каждым днем теряет власть над ним.

Хуже всего было то, что она теряла власть и над собой. Она чувствовала, что в нее вселился демон страсти и отнимает у нее волю, поработачивает ее. Поединок влюбленных ведется честно только до тех пор, пока существует равенство между противниками. Когда же один сдается, другой всегда злоупотребляет своей победой, и побежденного ждут унижения. Аннета переживала этот мучительный момент борьбы, который предшествует поражению и предрекает его: она знала, что сил у нее хватит ненадолго. Поведение Филиппа показывало, что и он это понимает. Он все так же (а может, еще больше) дорожил Аннетой, но был к ней теперь менее внимателен, грубо пользовался плодами своей победы и вел себя, как завоеватель в покоренной области. Все его дни поглощала энергичная и размеренная работа, а ночи он проводил с Нозми, желая соблюдать приличия. Таким образом, свидания с Аннетой бывали коротки. Никакой душевной близости – только бурные ласки и объятия. Филипп цинично уверял, будто Аннете досталось самое лучшее из того, что он может дать.

Аннета стремилась освободиться от унижительного рабства, на которое ее обрекла любовь. Но любовь эта с каждым днем все сильнее завладевала ею. И когда Аннета захотела избавиться от ее тирании, она встала на дыбы так бурно, что Аннета пришла в ужас. Когда женщина с таким пылким темпераментом десять долгих лет держит в узде свои страсти, укрощая их суровым воздержанием, и вдруг в самый знойный час грозового лета дает им волю, они могут погубить ее.

Аннета видела спасение в том, чтобы заставить Филиппа уважать ее как будущую жену, как подругу «*rei humanae atque divinae*»,⁵⁴ как равную.

⁵⁴ В делах человеческих и божеских (лат.).

Она просила, она в тоске умоляла его оставить ее до тех пор, пока они не смогут любить друг друга открыто, стать мужем и женой. Филипп и слышать об этом не хотел. Он был так же неукротим в любви, как и в своей общественной деятельности. Он не хотел отказаться от любовных свиданий и не хотел жениться на ней раньше, чем ему это будет удобно. Он делал вид, будто считает сопротивление Аннеты недостойной хитростью, которой она хочет крепче привязать его к себе. А между тем он знал, как самозабвенно и бескорыстно она любит его. На Аннету его оскорбительное подозрение подействовало, как пощечина, и она покорилась Филиппу, отдаваясь ему с отчаянием страсти и с отвращением. А Филипп ничего не хотел видеть: приходил, эгоистически предъявлял свои права любовника, не задумываясь над тем, что каждая такая плотская победа оставляет в душе покорной ему женщины словно позорное клеймо.

Аннета чувствовала себя обесчещенной. Ей казалось, что она отдала на поругание свою любовь и что, если она не спрыгнет с наклонной плоскости, по которой катилось вниз ее одержимое страстью тело, она погибла...

И в один прекрасный день она бежала. Пошла к Сильвии и попросила ее на несколько дней взять к себе Марка, так как ей необходимо уехать из Парижа. Сильвия ни о чем не расспрашивала; ей достаточно было одного взгляда на Аннету. Эта женщина, любопытная часто до нескромности и так мало понимавшая душевную жизнь сестры, проявляла тонкое чутье, когда дело касалось любви и ее трагических шуток. В дни близости с Аннетой она никогда не поверяла ей своих любовных тайн (она рассказывала только о мимолетных увлечениях) и не ждала, что Аннета будет ей поверять свои.

Сильвия понимала, что у каждой женщины бывают свои великие часы, о которых она вправе молчать. И никто не может помочь ей их пережить – она должна сама себя спасти или погибнуть. И Сильвия предложила сестре пожить у нее на даче в окрестностях Парижа, недалеко от Жун-ан-Жоза. Аннета была тронута, она поцеловала Сильвию и согласилась.

Две недели укрывалась Аннета в этом деревенском домике на опушке леса. Она даже Марку не сказала, куда едет. Только Сильвии было известно, где она.

Как только Аннета покинула Париж, этот заколдованный круг, она ясно увидела, какое безумие владело ею последние недели, и пришла в ужас. Неужели эта одержимая, эта жалкая раба, опьяненная своим рабством, – она, Аннета? Ведь такая страсть убивает душу!.. Цепь разомкнулась. В этот вечер Аннета дышала свободно, она словно в первый раз увидела луга, леса, ощутила тишину земли. Два месяца густой красный туман застилал от нее живой мир. Даже самое близкое – сын – стал каким-то далеким... Но стоило ей очутиться в этом домике среди полей, как туман рассеялся в лучах заходящего солнца. Она услышала колокольный звон, пение птиц, голоса крестьян и заплакала от облегчения... Вечером она уснула, разбитая усталостью, но среди ночи вдруг проснулась. Тоска душила ее. Ей казалось, что вокруг шеи сжимаются кольца змеи.

Дни проходили в унижительных муках, слепых порывах, сменявшихся часами внезапного прозрения, полнейшей ясности мысли, рассеивавшей дурман.

Аннету постоянно томило предчувствие опасности. И хотя она была настороже и вооружена решимостью, достаточно было пустяка, чтобы снова сбить ее с ног.

Она решила пожить здесь еще некоторое время. Это было рискованно: из-за своего внезапного отъезда она уже и так потеряла несколько уроков.

Небольшая клиентура, которую она себе с таким трудом завоевала, могла перейти к другим. Сильвия пересылала ей письма и всякие извещения, но от себя ничего не прибавляла, кроме добрых вестей о здоровье Марка. Она воздерживалась от советов, считая, что Аннета сама знает, что ей делать.

Аннета отлично понимала, что пора вернуться в Париж, но все откладывала день отъезда... Сколько бы она ни оставалась здесь, она не могла запретить своим мыслям лететь к Филиппу. Что он делает? Ищет ли ее? От него не было никаких вестей. Аннета и боялась и жаждала их. Она изгнала его из своих мыслей и думала, что освободилась. Но он ее не оставлял. И вдруг он появился.

Раз вечером, когда Аннета, поглощенная своими неотвязными мыслями, бродила без дела по грабовой аллее сада, которая тянулась вдоль невысокого забора, она увидела сквозь ветви на белой дороге приближавшийся автомобиль. Она тотчас подумала: «Это он!..» – и спряталась за деревья.

Автомобиль проехал вдоль забора до конца сада. Аннета с бьющимся сердцем прислушивалась к его гудению и поняла, что он замедлил ход. В тридцати шагах от сада дорога разветвлялась, и там автомобиль остановился. Аннета решилась выглянуть из-за ветвей и увидела спину человека, который, видимо, в нерешимости, смотрел по сторонам и вдаль. Она его узнала. Ужас охватил ее; она бросилась на буксовую изгородь, упала на землю, впилая в нее ногтями. Она подумала: «Он опять возьмет меня», – и кровь бросилась ей в голову. Хотела крикнуть: «Нет!», а кровь кричала: «Да!» Под ее пальцами крошились комья сухой земли, и, зарываясь лицом в кусты, она вдыхала горьковатый запах разогретого солнцем букса. Тщетно пыталась она сквозь шум в ушах расслышать шаги по ту сторону забора. Наконец загудел, отъезжая, автомобиль. Аннета помчалась в другой конец сада, выбежала на дорогу и крикнула:

– Филипп!..

Автомобиль скрылся за поворотом...

На другой день Аннета уехала в Париж. Знала ли она, чего хочет, что станет делать? Сильвия сочувственно всмотрелась в нее, сказала только:

– Не полегчало, видно?..

И больше ничего не спросила. Аннета была ей за это благодарна.

Чувствуя себя разбитой, она молча сидела в углу, согреваясь близостью сестры. А Сильвия ходила по комнате, не заговаривая с ней, чтобы дать ей успокоиться. Наконец Аннета встала, собираясь идти домой. Когда они прощались, Сильвия сжала руками ее щеки, посмотрела на нее долгим взглядом и, потрянув головой, сказала:

– Если не можешь иначе, сдайся, не насилуй себя! Это пройдет. Все проходит – и хорошее, и дурное, и мы сами... Так стоит ли мучиться из-за пустяков?..

Но для Аннеты это был совсем не пустяк. Дело шло не только об ее отношениях с Филиппом, но и об ее отношении к самой себе. Мысль вернуться к Филиппу, признать себя побежденной втайне доставляла ей горькое наслаждение. Но ее страшило другое поражение, более глубокое, – внутреннее, о котором знала только она. Она носила в себе самой смертельного врага.

В течение многих лет она никогда не забывала о нем и только из гордости или, быть может, из осторожности не хотела думать об этом омуте вожделений, унаследованных от людей, живших до нее (быть может, от отца?..).

Все, что составляло ее силу и гордость, ее волю, ее здоровую душу, свободное и чистое дыхание, омывавшее ее легкие, – все всасывал в себя этот омут. *Mors animae*...⁵⁵ Аннета умом, быть может, и не верила в существование души, но не хотела, чтобы душа ее умерла.

Страсть привела ее обратно в Париж, к Филиппу, словно пленницу на веревке, – таких пленников она видела на ассирийских барельефах. Но она не встретилась с Филиппом: она его избегала.

Филипп, так же одержимый страстью, как и она, в ее отсутствие приходил и стучался в дверь. Он был возмущен внезапным отъездом Аннеты. Он не допускал мысли, что она может уйти от него. Чтобы узнать ее адрес, справился, где живет Сильвия, и пошел к ней. Сильвия с первого взгляда поняла все и объявила Филиппу войну. Закованная в броню злобного недоверия, она смотрела на Филиппа не глазами Аннеты, а своими собственными: это человек опасный как враг и еще более опасный как любовник, ибо он терзает то, что любит. Сильвия знала эту породу мужчин и никогда с такими не связывалась. На настойчивые вопросы Филиппа, куда девалась Аннета, она отвечала сухо, что ничего не знает, но при этом

⁵⁵ Смерть души (лат.).

намекami дала ему понять, что ей отлично это известно. Филипп делал усилия скрыть раздражение, пробовал ее умяснить. Сильвия оставалась каменной. И он ушел в бешенстве.

Филипп не собирался гоняться за Аннетой, ему и в голову не пришло бы мчаться в автомобиле в Жуиан-Жоза и глотать дорожную пыль. Он не разыскивал Аннету, не намерен был тратить дни на бесплодные поиски. Он был уверен, что Аннета вернется. Но ему не доставало ее, и он не прощал ей того, что она позволила себе его встревожить в такое трудное для него время. Досада на Аннету и в такой же мере сильная потребность рассеяться толкнули его к жене. Это было сближение временное и довольно-таки унижительное для заместительницы. Филипп брал ее за неимением лучшего и ожидал другую.

Однако Нозми умела прятать свое самолюбие в карман, когда ей это было выгодно. Она не теряла времени. Наученная горьким опытом, она теперь знала, какую ошибку сделала в прошлом. Она поняла: чтобы удержать мужчину, мало одних любовных сетей. Нужно тешить его тщеславие и принаравливаясь к его пунктикам. И Нозми удивила Филиппа, проявив неожиданный интерес к затеянной им кампании, и даже не поленилась вникнуть во все подробности. Филипп догадывался об ее тайных целях. Но участие Нозми, искреннее или притворное, было ему приятно. Он с удовольствием убеждался, что она умна: Теперь Нозми больше не прятала свой ум, помня, что именно этим оружием победила ее Аннета. Она пустила его в ход и еще отточила. Она не стремилась, как Аннета, понять сущность этой борьбы, иметь суждение о ней. Это было дело ее супруга и господина. Она ограничила свою роль тем, что подсказывала Филиппу ловкие ходы, которые могли обеспечить ему успех. Филипп восхищался ее изобретательностью.

К этому времени полемика в газетах приняла крайне ожесточенный характер. Нозми поборолa скуку и отвращение, которые в ней вызывали эти мужские споры, – она поняла, что ей следует решительно вмешаться. Она принялась с дерзким остроумием защищать в светских гостиных смелые идеи мужа.

Ее грация, юмор, веселая пылкость, сочетание мальчишеского задора с напускной серьезностью немного шокировали, но и очень забавляли светское общество. Она привлекла на свою сторону несколько молодых дам, которым очень хотелось доказать, что они лишены предрассудков. А хитрая Нозми остерегалась рвать с предрассудками. Щедро угощая их непочтительными щелчками, она в то же время запасалась индальгенциями в лагере блюстителей нравственности и почтенных людей. Она с важным видом проповедовала, что бедняки вправе не иметь детей, но зато долг богатых снабжать ими государство и общество. Нужно было иметь немало апломба, чтобы заявлять такие вещи, ибо сама Нозми за семь лет брака не удосужилась выполнить этот долг. Но сейчас она пришла к выводу, что пора проявить такой героизм.

Филиппу очень скоро стало известно о возвращении Аннеты. Он пытался застать ее дома в те часы, когда она обычно бывала одна. Но Аннета приняла необходимые предосторожности: он всякий раз находил дверь запертой.

Ни обида, ни развлечения не ослабили страсти Филиппа к Аннете. Ее сопротивление только ожесточило его. Не такой он был человек, чтобы ему можно было легко дать отставку...

Они случайно встретились на улице. Увидев его за несколько шагов, Аннета побледнела, но не уклонилась от встречи. Подойдя, Филипп сказал решительно:

– Ты идешь домой? Пойдем вместе.

– Нет, – сказала Аннета.

Они зашли в садик у церкви. Запыленное деревцо едва заслонило их от глаз многочисленных прохожих. Приходилось сдерживаться. Филипп сказал резко:

– Ты боишься меня.

– Нет, не тебя, а себя.

В душе Филиппа боролись гнев и любовь. Но когда его суровый взгляд встретился со взглядом Аннеты, не избегавшим его, он прочел в нем такую стойко подавленную муку, что гнев его растаял. Он спросил уже мягче:

- Почему ты от меня сбежала?
- Потому что ты меня убиваешь.
- Что же, ты совсем не умеешь любить?
- Умею. Потому-то я и убежала. Я боюсь, что возненавижу тебя.
- Ненавидь сколько твоей душе угодно! Ненависть-та же любовь.
- Это не для меня, – возразила Аннета. – Не могу я этого вынести.
- Ты не такая слабая, чтобы не могла снести все то хорошее и дурное, что дает любовь.
- Я не слабая, Филипп. Но я хочу, чтобы меня любили по-настоящему: душой и телом.

Не хочу половинчатой любви.

- Душа – это вздор! – сказал Филипп.
- Вот как? А чему же ты отдаешь все силы? Чему ты посвятил себя чуть не с колыбели
- разве не своей идее?

Он пожал плечами:

- Самообман!
- Но ты же этим живешь! У меня тоже есть свой идеал, не убивай его!
- Чего ты, собственно, от меня хочешь?
- Хочу, чтобы до того дня, когда мы решим, быть нам мужем и женой или нет, мы не встречались.

- Да почему же?
- Потому что я не хочу, не хочу больше прятаться, не хочу никакого дележа, не хочу, не хочу!..

Аннета утаила от него главную причину. Себе она говорила:

«Если я опять сдамся, меня скоро не хватит даже на то, чтобы хотеть чего-то иного. Я перестану себе принадлежать, я стану игрушкой, которую загрязнят, а затем сломают».

Неспособный понять этот инстинктивный бунт души против губительных плотских страстей, Филипп все еще хотел видеть в упорстве Аннеты только недоверие и хитрость женщины, которая навязывает ему свою волю. Он, правда, не говорил этого прямо, но и не скрывал, что так думает. Прочтя это в его лице, Аннета порывисто встала и хотела уйти. Но Филипп, дрожа от нетерпения и усилий, которые он делал над собой, чтобы не привлечь внимания прохожих, сильно сжал ее руку и сказал, стараясь смягчить гневные ноты в голосе:

– А я не соглашусь, ни за что не соглашусь с тобой расстаться! Хочу с тобой видаться... Молчи, не спорь!.. Здесь невозможно разговаривать... Я приду к тебе вечером.

– Нет! Нет! Филипп повторил:

– Да! Приду. Я не могу жить без тебя. Да и ты без меня тоже.

Аннета возмутилась:

- Я могу.
- Лжешь! Они спорили без жестов, тихим, но резким шепотом, в котором звучали вопли души. Они скрестили взгляды. Филипп первый сдался и сказал с мольбой:

– Аннета!..

Но у Аннеты еще горели щеки от стыда, что ее так грубо изобличили во лжи, от стыда за себя, потому что она действительно солгала. Она вырвала у Филиппа руку и ушла.

Вечером Филипп пришел к ней. Весь день она с ужасом ждала этой минуты, боялась, что у нее не хватит твердости запереться от него. Она не хотела больше столкновений с этой безжалостной страстью. Она убедилась, что невозможно жить с горящим факелом в груди. Надо было оторвать его, отшвырнуть, пока еще не изменила сила воли. А сможет ли она? Ведь она любит Филиппа. Она любит этот огонь, который ее сжигает. Завтра она полюбит и свой позор и тяжкие оскорбления. Краснея от стыда, она признавалась себе, что и сегодня утром в ее бунте против Филиппа была какая-то доля сладострастия...

Она узнала его шаги на лестнице. Услышала звонок у двери, но не двинулась с места. Филипп позвонил вторично, потом стал стучать. Аннета, уронив руки, откинувшись на спинку стула, твердила себе:

– Нет, нет...

Да если бы она и решила встать и отпереть ему, – она не могла бы: у нее захватило дух...

За дверью тишина. Ушел?

Аннета невольно встала, еще не успев принять решение. Пошатываясь, на цыпочках подкралась к двери. Скрипнул паркет под ногой. Аннета остановилась. Прошло несколько секунд, ничто не шелохнулось. Но она чувствовала, что Филипп притаился за дверью и ждет. И Филипп тоже знал, что Аннета стоит по другую сторону двери и вслушивается... Нависло тяжелое молчание. Оба следили друг за другом... Наконец голос Филиппа вплотную у двери произнес:

– Аннета, ты дома. Открой!

Аннета стояла, прижавшись к стене, чувствуя, как у нее замирает сердце, и не отзывалась.

– Я знаю, что ты дома. Нечего прятаться... Аннета, отопри! Мне надо с тобой поговорить!..

Филипп понижал голос, чтобы его не услышали на лестнице. Но бурная волна смешанных чувств поднималась в нем, он сейчас способен был взломать дверь.

– Мне непременно нужно тебя видеть... Как хочешь, я все равно войду...

Молчание.

– Аннета, я тебя обидел сегодня утром. Прости!.. Ты мне нужна. Чего ты хочешь? Скажи – я все сделаю...

Молчание. Молчание.

Филипп сжимает кулаки. Он готов задушить ее.

Прильнув губами к замочной скважине, он рычит:

– Ты моя... Ты не имеешь права уйти...

Потом:

– Подумай хорошенько! Если ты сейчас не откроешь, – между нами все кончено!

Потом:

– Аннета! Дорогая! Он опять выходит из себя:

– Трусиха! Боишься посмотреть мне в глаза! Ты сильна только за закрытой дверью!

Голос из-за двери отвечает:

– За что вы меня мучаете? Филипп растерянно умолк.

Голос устало повторяет:

– Мой друг, вы меня измучили.

Филипп взволнован, но уязвленное самолюбие мешает ему это показать.

Он спрашивает:

– Чего вы хотите? Аннета отвечает:

– Жалости.

Тон, которым это сказано, тронул Филиппа. Но он все еще не понимает:

– Ах, боже мой, к чему вам она? Аннета говорит:

– Оставьте меня! Филипп снова вскипает:

– Вы меня гоните?

– Я умоляю дать мне покой... Покой!.. Дайте мне побыть одной некоторое время!..

– Значит, вы меня разлюбили?

– Я защищаю свою любовь.

– От чего? От кого?

– От вас.

– Сумасбродство!.. Отопри!..

– Нет.

– Я так хочу! Ты мне нужна.

– Я не твоя собственность! Она стояла, дрожа, но гордо выпрямившись, и взглядом бросала ему вызов сквозь дверь. Филипп, хоть и не мог ее видеть, словно почувствовал этот взгляд. Он крикнул:

– Прощай!

Аннета слышала, как он уходит, и кровь стыла у нее в жилах. Она знала, что он не простит. И Филипп не простил. Он не приходил больше. Аннета твердила себе: «Так нужно было. Так нужно было...»

Но не могла примириться. Хотелось еще раз увидеть Филиппа и объяснить ему на этот раз мягко (и зачем она тогда так горячилась?), – что она не бросить его хочет, а только ревниво защищает свою любовь, их любовь и гордость, которую он, сам того не сознавая, грубо топчет. Она хотела, чтобы они оба имели возможность собраться с мыслями, опомниться среди потока страсти, который уносил их вместе с пеной и грязью, обсудить и решить все свободно, трезво, с ясной головой. И если Филипп сделает выбор, он должен уважать и свою будущую жену и себя самого...

Филипп не прощал женщинам, сопротивлявшимся его желаниям. Будь Аннета женщина другого круга, он взял бы ее насильно. Но в том кругу, к которому они оба принадлежали, у него были связаны руки, он был вынужден ладить с обществом, в котором хотел господствовать. И его оскорбленная страсть перешла в яростное отрицание этой страсти: если женщина для него потеряна – с корнем вырвать из сердца любовь к ней! Он знал, что это будет для Аннеты ударом. Инстинкт ему подсказывал, что она, несмотря ни на что, любит его...

После трехмесячного иссушающего душу одиночества, после горьких и мучительных споров с собой, после борьбы отречения с надеждой, гордости с раскаянием, после трехмесячного упорного и бесплодного ожидания Аннета однажды встретила Соланж, и та, сияя, сообщила ей о счастье, которое посетило наконец чету Вилларов: Нозми забеременела.

Аннета искала прибежища наболевшему сердцу в сыне, в сыновней любви, которая, как говорят, никогда не изменяет. Увы! И она изменяет, как всякая другая. От Марка нечего было ждать каких-либо проявлений нежности, даже простого интереса к матери. Никогда еще он не казался Аннете таким холодным, черствым, равнодушным. Он не замечал ее страданий. Правда, она старалась их от него скрывать. Но ей это так плохо удавалось! Марк мог бы прочесть их в глазах, запавших от бессонницы, в ее побледневшем лице. О них говорили исхудавшие руки, все ее тело, снедаемое жестокой страстью. Но Марк не видел ничего. Он и не глядел на мать. Он был занят собой. И все, что с ним происходило, таил от нее. Мать встречалась с ним лишь за столом во время еды, да и тогда он молчал, как немой. Попытки Аннеты завести разговор приводили к тому, что Марк еще упорнее замыкался в своем молчании. Она с трудом добилась, чтобы он по утрам здоровался, а приходя из лицея, говорил: «Добрый вечер»; Марк считал это кривляньем и делал уступку матери (да и то не каждый день!), только чтобы его оставили в покое. Он торопливо, со скучающим видом подставлял матери лоб для поцелуя, а когда не уходил в лицей или по своим делам (добиться от него, что это за дела, было нелегко), запирался у себя в комнате-чуланчике, не больше шкафа, между столовой и спальней, и тут уж его лучше было не трогать! За столом или у камина он сидел подле матери, как чужой. Аннета с горечью говорила себе:

«Умри я – он и не заплачет!»

И вспоминала, как она когда-то мечтала о родном человеке, о сыне-товарище, созданном из ее плоти и крови, который, живя подле нее, без слов угадывал бы и делил все тайны ее сердца. Как мало в этом мальчике нежности! И почему он такой черствый! Иногда можно было подумать, что он за что-то на нее сердится. Но за что же? За то, что она слишком сильно его любит?

«Да, это моя болезнь – в любви я не знаю меры!

А любить слишком сильно не следует. Людям это не нужно. Это их только стесняет... Родной сын меня не любит! Он жаждет уйти от меня... Я его родила, но в нем так мало от меня! Он чувствует не так, как я... Он ничего не чувствует!..»

А в это время сердце Марка было озарено поэзией первой любви. Он безумно влюбился в Нозми. Это была детская любовь, безрассудная и всепоглощающая. Мальчик вряд ли отдает себе отчет, чего ему надо от любимой женщины: видеть ее, ощущать ее присутствие,

прикасаться к ней или насладиться ею. Он, конечно, не думает об обладании любимой – он просто одержим ею. Марк почти лишился чувств, когда Ноэми протягивала ему маленькую ручку и он прикивал к ней губами, вдыхая жадным носом щенка вместе с ароматом этой ручки, нежной, как цветок, пьянящую тайну сладостного женского тела. Ноэми вся была для него живым цветком или плодом. Он умирал от желания надкусить зубами этот плод – осторожно, чуть-чуть – и от страха, что не выдержит, поддастся этому желанию. И вот однажды (о позор!) он ему поддался... Что-то теперь будет? Красный, весь дрожа, он ждал самого худшего: что его при всех пристыдят, разбранят и выгонят вон. Но Ноэми только звонко расхохоталась, крикнула:

– Ах ты щенок! И, дернув Марка за ухо, ткнула его раз, другой и третий носом в укушенное место, приговаривая:

– Проси прощения, дрянной мальчишка!..

С этого дня Ноэми затеяла игру с молодым зверьком. У нее не было дурных намерений. Ей просто нравилось дразнить влюбленного мальчика, и она не придавала этому никакого значения. Ей и в голову не приходило, что мальчик примет это всерьез. А Марк (до какой же степени он все-таки был истинным сыном Аннеты!) – Марк воспринимал это не только серьезно, но и трагически.

С того самого вечера, когда он в первый раз увидел Ноэми, она стала для него запретным раем, тем чудным видением, каким предстает женщина перед пробуждающимся взором невинного юнца. Чарующий образ ее создан им из того, что есть, и того, чего нет в действительности, из того, что он видит, и того, чего он не видит, не знает, чего он желает и боится, и хочет и не хочет. Мечта рождена тем пугающим его влечением, которое заставляет юное тело подростка отзываться на победный и грубый зов природы.

Быть может, Марк и не разглядел как следует ни единой черты Ноэми. Но все, из чего слагался ее облик, каждое движение, складки платья, локоны, голос, аромат ее духов и блеск глаз, – все вызывало в его жаждущем теле и сердце бурные волны радости и надежды, безмолвные крики счастья, и от счастья хотелось плакать.

В тот самый день, когда глубоко расстроенная Аннета почувствовала в нем особенно черствую и холодную враждебность и с неуклюжей настойчивостью пыталась узнать причину, вырвать у него хоть слово, одно ласковое слово, а вызвала только обидный отпор, – в тот день ее сын пережил самое волнующее откровение своей волшебной мечты. Целую неделю он жил словно в чад. Он без ведома матери продолжал видеться с Ноэми, а она пользовалась им, как шпионом: мальчик в простоте души осведомлял ее о всех передвижениях в неприятельском лагере. Раз он застал ее в гостиной, и она, болтая и глядясь в зеркальце, спрятанное в носовом платке, в шутку мазнула его по бледным губам палочкой губной помады. Марк ощутил вкус любимых губ. С этих пор он не переставал ощущать его на языке, он словно весь пропитался их запахом. Этот алый гранат, всегда полуоткрытый, с вздернутой верхней губкой, слишком короткой или слишком подвижной и потому не сходящейся с нижней, сочной, как вишня, мерещился ему всюду. И в то утро, когда, выйдя от матери и грубо хлопнув дверью, Марк решил улизнуть из лица и пойти гулять, этот рот носился перед ним, расцветал в саду облаков на дивном июльском небе, мелькал в резвых струйках фонтана, в рассеянной улыбке проходивших мимо женщин. Этот полуоткрытый рот вбирал в себя всю его душу, все его мысли.

Он шел куда глаза глядят, подставляя белокурую голову летнему ветру.

Но, как ни был он рассеян и поглощен своими безумными фантазиями, его зоркие, как у рыси, глаза заметили на другом тротуаре тетушку Сильвию.

Марк поспешно завернул за угол. Ему вовсе не хотелось с ней встречаться.

Он не боялся, что она будет его журить за отлынивание от занятий:

Сильвия только посмеялась бы над этим. Но у Марка сейчас была своя тайна, а в таких случаях он при тетушке никогда не чувствовал себя в безопасности. Она не то, что мать: инстинкт подсказывал ему, что Сильвия мастерица угадывать такого рода секреты.

Она его не заметила. Марк вздохнул с облегчением.

Теперь можно будет все утро бродить и упиваться мыслями о своей любви. Слоняясь без дела по улицам (любовь не мешала ему останавливаться у витрин, чтобы полюбоваться тут галстуком, там тросточкой или посмотреть иллюстрированный журнал), он незаметно для себя шел прямо к цели – как парижские голуби, которые каждое утро пролетают над кварталами пыльных домов, ища свежести тенистых парков. Мальчик искал того же, его тянуло под своды старых деревьев, где так хорошо мечтать под голубиное воркованье.

Он спустился с холма св. Женевьевы и, выбравшись из лабиринта старинных и людных улиц, очутился среди светлых просторов тихого Ботанического сада раньше, чем сообразил, что он именно сюда и хотел прийти.

Здесь, как всегда в эти часы, было мало народу. Только изредка попадались навстречу гуляющие. Париж гудел вдали, как шершень. Вокруг разливалась лазурь ясного летнего утра. Марк отыскал уединенную скамейку среди группы деревьев; сел, закрыл глаза, наслаждаясь своей драгоценной тайной. Длинные нервные руки юноши были прижаты к груди, словно он хотел закрыть свое сердце от нескромных глаз. Что же это было за сокровище, которое он хранил так бережно, о котором едва осмеливался думать? Слова Нозми – она их сказала, не думая, а он жадно подхватил и создал из них целый мир... Когда он был у нее в прошлый раз, Нозми почти не замечала присутствия мальчика и только время от времени машинально улыбалась ему: она была всецело занята мыслями о великих событиях. (Филипп отвоеван, Аннета унижена – полная победа!.. Но никогда ни за что нельзя ручаться.

Завтра все может измениться. Что же, хоть день, да мой!..) При этой мысли Нозми вздохнула удовлетворенно и устало. Марк спросил, отчего она вздыхает. Ее позабавила искренняя тревога мальчика, и, чтобы заинтриговать его, она, вздохнув еще раз, проговорила:

– Это секрет...

– Какой секрет? В голове Нозми мелькнула коварная мысль. Она ответила:

– Не могу сказать. Догадайся сам!

Дрожа от волнения, Марк попросил:

– Скажите! Я не знаю.

Полуопустив веки, Нозми метнула на него томный взгляд:

– Нет, нет, нет!..

Марк, краснея, бормотал что-то – он уже боялся узнать эту тайну. Чтобы продлить забаву, Нозми сделала таинственную мину и сказала:

– Хочешь знать? Волнение Марка было так велико, что он готов был крикнуть:

«Нет, не хочу!»

– Ну хорошо, но только не сегодня!.. Я тебе все расскажу в другой раз.

– Когда?

– Скоро.

– Ну когда же?

– Скоро... На будущей неделе, когда ты придешь к нам обедать.

Неделя прошла. И вот сегодня вечером Марк надеялся увидеть Нозми. Он жил ожиданием этой минуты. Он переживал ее в своем воображении. Но никак не решался дойти до конца: это слишком сильно волновало его... А угадывать наполовину было так сладостно! И, сидя на скамейке в парке, мальчик изнемогал от блаженного томления. Где-то колокол прозвонил полдень. За деревьями, на залитой солнцем аллее, хрустел песок под ножками маленькой девочки. Девочка напевала. Дальше какие-то экзотические птицы в вольере щебетали на своем странном и трогательном языке. А совсем далеко, на Сене, протяжно выла сирена буксирного парохода. Не замечая Марка, бесшумно и медленно прошли мимо него, обнявшись, влюбленные-высокая темноволосая девушка и молодой бледный рабочий. Они на ходу целовались и жадно глядели в глаза друг другу. Мальчик, затаив дыхание, проводил их взглядом до поворота аллеи, а когда они скрылись из виду, всхлипнул от счастья, того счастья, которое только что прошло рядом, и того, которое придет для него, – от счастья, которое было воплощено в этой молодой паре, которым дышал июльский

полдень и все вокруг, которое переполняло его сердце, сгоравшее от любви и открытое для всего.

Марк вернулся домой, окрыленный этими минутами экстаза, бесконечно более прекрасного, чем породивший его женский образ. Тень Ноэми растворилась в золотом потоке, и снова вызвать ее можно было лишь усилием воли. Марк хотел этого, но тень от него ускользала; он хитрил с собой, воображая, будто узнает ее в облике счастья острого до боли, во всем, что наполняло его душу, – в безбрежных надеждах, в героических решениях, в том сознании своей силы и доброты, которое несло его, как на крыльях, когда он мчался по лестнице, перескакивая через четыре ступеньки. Но едва он встретил суровый взгляд матери (он на три четверти часа опоздал к завтраку), как золотое сияние погасло, и он снова укрылся в тучу хмурого молчания.

Аннета и не пыталась с ним заговаривать. У нее было свое бремя печали, которым она ни с кем не могла поделиться. Сын, сидевший против нее за столом, казался ей холодным эгоистом. Он жадно ел, потому что очень проголодался и еще потому, что ему хотелось поскорее уйти в свои мечты.

Аннета смотрела на него и думала:

«Я для него только человек, который его кормит, – и больше ничего».

У нее уже не хватало мужества протестовать. Она чувствовала себя брошенной всеми. К концу завтрака Марк спохватился, что не сказал матери ни одного слова. Ему стало неловко, совестно, но заговорить он боялся, чтобы не вызвать расспросов. Кое-как сложив салфетку и сунув ее в кольцо, он торопливо встал, избегая глаз матери, и пошел к двери... Хотел уже выйти, но вдруг его остановила мысль... Он спросил:

– Мы сегодня идем к Вилларам? Он был в этом уверен – ведь так сказала Ноэми, но ему хотелось еще раз убедиться.

Аннета все еще сидела за столом в унылом оцепенении. Не глядя на сына, она ответила:

– Никуда мы не пойдем.

Ошеломленный Марк застыл на пороге.

– Как! А мне сказали...

– Кто тебе сказал? Мальчик в замешательстве молчал: мать не знала, что он бывает у Ноэми. Не ответив, он поспешил отвлечь ее внимание другим вопросом.

– А когда же мы к ним пойдем? – спросил он разочарованно.

Аннета пожала плечами. Теперь не могло быть и речи об обедах у Вилларов. Ноэми сказала Марку в шутку: «на будущей неделе», как могла бы сказать: «через сто лет»...

Марк выпустил ручку двери и с беспокойством шагнул к столу. Аннета посмотрела на него и, заметив, что он огорчен, ответила:

– Не знаю.

– Как не знаешь?

– Виллары уехали, – пояснила она.

Марк крикнул:

– Не правда! Аннета, казалось, не слышала. Марк нетерпеливо дотронулся до ее рук, лежавших на столе, и взмолился:

– Ведь это же не правда! Аннета, выйдя из оцепенения, встала и принялась убирать со стола.

– Да куда же? Куда они уехали? – допытывался потрясенный Марк.

– Не знаю, – повторила Аннета.

Она собрала посуду и вышла.

Марк стоял в полной растерянности. Рушилась его мечта! Он ничего не понимал... Этот внезапный отъезд без предупреждения... Не может быть! Он чуть было не побежал за матерью, чтобы вырвать у нее объяснение... Но вдруг остановился... Нет, это не правда! Сейчас только он сообразил: мать заметила, что он влюблен, и хочет их разлучить. Она лжет, лжет! Ноэми никуда не уезжала... В эту минуту Марк ненавидел мать.

Он выбежал из комнаты, кубарем скатился с лестницы и с бьющимся сердцем не пошел, а побежал к Вилларам: хотел убедиться, что они не уехали.

Они действительно были в Париже. Лакей сказал, что г-н Виллар только что уехал, а г-жа Виллар устала и никого не принимает. Марк попросил все-таки узнать, не уделит ли ему Ноэми одну минутку. Слуга ушел и вернулся:

«Мадам, к сожалению, никак не может принять». Мальчик настаивал: ему необходимо ее увидеть хотя бы на минутку, он должен ей сообщить кое-что очень важное... Не теряя еще надежды, он бормотал бессвязные слова своим ломающимся, сдавленным голосом, краснея и неловко жестикулируя, готовый расплакаться. Под любопытным и насмешливым взглядом лакея он терял нить мыслей. Его подталкивали к двери, но он глупо упирался, крича, что лакей не смеет его трогать. Наконец лакей велел ему убираться вон и пригрозил, если он не замолчит, вызвать швейцара, чтобы тот спустил его с лестницы... Дверь захлопнулась. Терзаемый стыдом, взбешенный, Марк все стоял на площадке, не решаясь уйти. И вдруг машинально прислонившись к створке двери, почувствовал, что она плохо закрыта и подается под его тяжестью. Он толкнул ее и снова очутился в прихожей. Он хотел во что бы то ни стало пробраться к Ноэми. В прихожей не было никого. Марк знал, где комната Ноэми, и шмыгнул в коридор. Откуда-то из глубины его донесся голос Ноэми. Она говорила слуге:

– Как этот мальчишка мне надоел!.. Ну его к черту! Очень хорошо, что вы ему утерли нос...

Марк опомнился только на площадке лестницы. Он бежал. Он плакал, скрежетал зубами, у него мутилось в голове. Задышавшись, он присел на ступеньке. Он не хотел, чтобы его на улице увидели плачущим. Отерев глаза и успокоившись (под этим внешним спокойствием скрывались ярость и боль), он машинально зашагал домой. Он был в полном отчаянии... Умереть! Да, надо умереть! Жить больше нельзя! В жизни все так пошло и мерзко, все-ложь, все, все лгут!.. Человеку нечем дышать... Переходя через Сену, Марк подумал, не броситься ли ему в воду. Но его уже предупредил другой несчастный. Набережные чернели, словно усеянные мухами: мужчины, женщины, дети, перегнувшись через перила, жадно глядели, как тащат из воды утопленника. Какие чувства привлекли их сюда? Очень немногих – садизм, кое-кого – жалость, громадное большинство – интерес к происшествиям, праздное любопытство. А немало, вероятно, было здесь и таких, которые смотрят на чужие страдания и смерть, чтобы вообразить себя в таком же положении: «Вот так и я мучился бы», «Вот так и я буду умирать». Марк видел только низменное любопытство зевак, и оно приводило его в ужас.

Убить себя? Да, но только не на людях! Сын Аннеты был похож на нее: та же дикая стыдливость и гордость. Он не хотел, чтобы на него глазел этот сброд, чтобы его, мертвого, тормошили чужие руки, чтобы липкие взгляды оскверняли его наготу. Стиснув зубы, он быстро-быстро зашагал домой, решив покончить с собою там.

Во время одной из тех тщательных разведок, которые Марк производил в квартире, когда матери не бывало дома, он нашел револьвер. Это был револьвер Ноэми, который Аннета после ее ухода подобрала с пола и с непростительной беспечностью сунула в открытый ящик стола. Марк взял его себе и спрятал подальше. Решение было принято. А так как дети всегда что задумают, то сразу и сделают, Марк решил тотчас осуществить свое намерение. Войдя в квартиру так же бесшумно, как и вышел, он заперся у себя в комнате и зарядил револьвер – он видел, как это делал один его лицейский товарищ, немногим его старше, который таскал в кармане эту опасную игрушку и на уроке греческого языка, держа револьвер под партой в зажатом между колен портфеле, украдкой показывал заинтересованным соседям, как с ним надо обращаться. Итак, оружие было заряжено. Марк был готов выстрелить... Но где? Надо так, чтобы не промахнуться. Самое лучшее – стрелять стоя перед зеркалом... Но куда же он тогда упадет?.. Нет, лучше сесть за стол, а зеркало поставить перед собой... Он снял зеркало с крюка и поставил на стол, подперев словарем. Вот так будет хорошо видно, куда стрелять. Он взял револьвер... Но в какое место целиться? В висок, – говорят, это самое верное... Знать бы, очень ли будет больно...

Марк и не вспомнил о матери. Он был весь поглощен своей обманутой любовью, душевной мукой, приготовлениями. Он посмотрел на себя в зеркало и расчувствовался: бедный Марк!.. Ему захотелось, раньше чем исчезнуть, поведать людям, сколько он выстрадал из-за них и как он их презирает...

Хотелось отомстить за себя, вызвать сожаления, восхищение... Он вырвал страницу из ученической тетради, сложил ее криво (он торопился) и своим нетвердым, детским почерком начал старательно выводить:

«Не могу больше жить, потому что она меня обманула. Все люди злы. Я ничего больше не люблю, и лучше мне умереть. Все женщины лгуны. Они подлые. Они не умеют любить. Я ее презираю. Когда будете меня хоронить, положите мне на грудь бумагу и напишите на ней: „Я умираю из-за Нозми“».

Написав это дорогое имя, Марк расплакался и зажал рот платком, чтобы заглушить всхлипывания. Потом вытер слезы, перечел написанное и серьезно сказал себе:

– Я не должен ее компрометировать.

Он разорвал листок и стал писать другую записку. Как он ни старался писать ровно, полные отчаяния строчки ракетами взлетали вверх. Дойдя до фразы: «Они не умеют любить», он добавил: «А я умели потому умираю».

Несмотря на все свое горе, он был очень доволен этой фразой, она его почти утешила. Он стал добрее к тем, кого оставлял на земле, и закончил письмо великодушными словами:

«Я прощаю всем вам».

Потом подписался. Через несколько секунд все будет кончено, он избавится от всего! Марк заранее представлял себе, какое сильное впечатление произведет его смерть.

Но в то время, как он старательно выводил пером росчерк своей подписи, который в первый раз вышел плохо, за его спиной внезапно распахнулась дверь. Он едва успел прикрыть руками револьвер и бумагу. Аннета увидела только зеркало, прислоненное к словарю, и подумала, что Марк любит себя. Она не сделала ему никакого замечания. Видимо, страшно усталая, она слабым голосом сказала Марку, что забыла купить молока к обеду и было бы очень хорошо, если бы он за ним сбегал, чтобы ей не пришлось спускаться и опять подниматься на шестой этаж. А у Марка была только одна мысль: как бы мать не увидела того, что он закрывал руками.

И, боясь двинуться с места, он ответил резко, что ему некогда, он занят.

Аннета, грустно усмехнувшись, вышла и закрыла за собой дверь.

Марк слышал, как она медленно шла вниз по лестнице. Он вспомнил, какой у нее был убитый вид, и почувствовал угрызения совести. Ее усталое лицо и голос хватали за сердце. Марк торопливо бросил револьвер в ящик стола, спрятал под грудой книг свое «прощание с жизнью» и выбежал на лестницу. Он догнал мать и сердито крикнул ей, что сам пойдет за молоком. Аннета вернулась. Она подумала, что мальчик не такой уж бессердечный, как ей кажется, и на душе у нее стало легче. Но ее очень огорчала грубость и резкость Марка. Боже, как мало в нем нежности! Что ж, тем лучше для него! Он меньше будет страдать в жизни.

К тому времени, когда Марк вернулся, он уже совсем забыл о своем решении покончить жизнь самоубийством. Он без всякого удовольствия увидел на столе плохо прикрытое знаменитое «завещание» и поспешно сунул его на дно какой-то коробки. Теперь он гнал от себя гнетущую мысль о самоубийстве. Он чувствовал, какой низостью и жестокостью это было бы по отношению к матери, состояние которой его тревожило. Но свою заботливость он проявлял в довольно неуклюжей форме. Он не сумел спросить так, как следовало бы, Аннета не сумела ответить. Из ложного самолюбия Марк скрывал свои истинные чувства, и могло показаться, что вопросы о ее здоровье он задает, неохотно выполняя долг вежливости. Аннета, такая же гордая, как и он, не хотела его тревожить и уклонилась от разговора.

Снова оба замкнулись в молчании. Успокоившись, Марк уже считал себя вправе сердиться на мать за то, что ради нее отказался от самоубийства.

В глубине души он отлично знал, что у него нет больше ни малейшего желания

стреляться, но надо же было выместить на ком-нибудь пережитую обиду и боль! А срывать злость удобнее всего на матери: она ведь всегда тут, под рукой, и она все стерпит.

Так мать и сын оставались замурованными каждый в своем горе. И Марк, которого собственное горе уже начинало тяготить, чувствовал, как в нем растет досада на мать за ее печальный вид. Он очень обрадовался, услышав в прихожей звонок Сильвии (ему хорошо знакома была ее манера звонить).

Сильвия пришла, чтобы взять его с собой на вечер Айседоры Дункан: она теперь увлекалась балетом. Хотя Марк считал своим долгом отныне хранить и в душе и на лице (прежде всего на лице) роковую печать пережитого страдания, он не мог скрыть удовольствие, когда представилась возможность вырваться из дому. Он побежал одеваться, оставив дверь открытой, чтобы не пропустить ничего из веселой болтовни тетки, которая, как только вошла, принялась рассказывать какую-то скабрёзную историю. Аннета слушала и, как ни тяжело было у нее на душе, заставляла себя улыбаться, а про себя думала:

«И эта самая женщина только год назад рыдала над трупом своего ребенка! Неужели она все забыла?»

Аннета не завидовала этой душевной гибкости. А смех ее сына, из другой комнаты вторивший островам Сильвии, свидетельствовал, что Марк способен так же легко забывать. Огорченная таким бездушием, Аннета не знала, что она тоже обладает этим чудесным и жестоким даром. Когда Марк появился из своей комнаты, сияющий, совсем одетый, она не могла скрыть суровое неодобрение. Марка выражение ее лица задело больше, чем самый резкий выговор. Мстя матери преувеличенной веселостью, он вел себя очень шумно и так торопился уйти, что забыл даже попрощаться с ней. Он вспомнил об этом уже на лестнице. Не вернуться ли? Нет, поделом ей! Он был на нее сердит. Какое облегчение весь вечер не встречать ее укоризненных взглядов, а главное – оставить позади гнетущую атмосферу их дома и все тягостные тревожения сегодняшнего дня!.. Какой это был бесконечный день!.. За несколько часов Марк прожил целую жизнь, нет, несколько жизней, познал верх блаженства и бездну отчаяния... Такое бремя могло хоть кого раздавить! Но для гибкой натуры этого юнца оно было не тяжелее, чем птица для ветки. Вспорхнет птица – и вот уже ветка распрямилась и весело качается на ветру. Отлетели и радости и горести минувшего дня. Остается лишь воспоминание. Мальчик спешит отогнать и его, открывая сердце новым радостям и печалям.

Но Аннета не могла знать, что происходит в душе Марка, и так как она тоже была человеком с сильными страстями и поэтому все преувеличивала, то поведение Марка целиком отнесла на свой счет. Радость, с какой он убежал от нее, поразила ее в самое сердце. Прислушиваясь к его смеху на лестнице, она решила, что сын ее ненавидит, что он ею тяготится. Да, да, это по всему видно! Он жаждет от нее избавиться. Если бы она умерла, он был бы счастливее, чем теперь... Счастливее!.. Да и для нее смерть была бы счастьем. Нелепая мысль, что ее сын, ее мальчик, мог желать ее смерти, больно резнула Аннету по сердцу. (Нелепая ли? Как знать? Какой ребенок в минуту исступления не желал смерти своей матери?..) Эта страшная мысль пришла в час, когда Аннета держалась за жизнь уже слабеющей рукой, и была для нее смертельным ударом.

Она и без того была сегодня истерзана любовной горячкой. Сейчас, когда решение было принято и осуществлено, когда она выполнила долг перед собой и непоправимое свершилось, у нее не хватало сил выдерживать натиск внутреннего врага. И вражеские полчища ринулись на нее.

Она была их сообщницей. Она открыла им ворота. Когда все потеряно, человек имеет право хотя бы упиваться своим отчаянием! «Мое страдание никого не касается, оно только мое, так отдам же я ему целиком! Сердце, истекай кровью! Я вонзаю в тебя нож, заставляю снова увидеть все, что ты утратило!» Воображение Аннеты лихорадочно работало, рисуя ей Филиппа как живого. Он был тут, перед ней, она говорила с ним, касалась его. Видела снова все то, что любила в нем, что привлекало ее сходством с ней и противоположностью. Вспоминала их встречи, этот союз противников, двойной пыл страсти и борьбы. Разве

объятия и борьба не одно и то же? И в этих воображаемых объятиях была такая чувственная сила, что обезумевшая от любви Аннета изнемогала, как Леда, настигнутая лебедем. Бурный поток страсти снова уносил ее, но теперь в нем крылось отчаяние. Она переживала тот страх, который каждая женщина, созданная для любви, но обделенная ею в жизни, познает на переломе лет: разрыв с любимым человеком кажется ей прощанием с любовью навеки. В этот вечер Аннета, оставшись после ухода сына наедине со своей искалеченной любовью, металась в муках душевной опустошенности. Неотступные думы об умершей навсегда любви, о напрасно прожитой жизни душили ее. Упорно возвращаясь, они не давали ни минуты покоя. Напрасно Аннета пыталась чем-нибудь заняться: она бралась за работу, бросала ее, вставала, садилась. Упав головой на стол, она ломала руки. Навязчивая мысль сводила ее с ума. Она дошла до того предела страданий, когда женщина готова на любые безумства, только бы убежать от себя. Чувствуя, что теряет рассудок, Аннета в этом бреду ощутила вдруг дикий порыв, страшное желание выбежать на улицу и, в ярости самоунижения, надругаться над своей измученной душой и телом, отдавшись первому встречному. Когда до ее сознания дошла эта чудовищная мысль, она вскрикнула от ужаса. Но ужас как будто еще подстегнул постыдную мысль, она не хотела отступать. Тогда Аннета так же, как ее сын, подумала о самоубийстве. Она знала, что уже не в силах будет отделаться от этого наваждения...

Она встала и пошла к двери. Но, проходя мимо открытого окна, вдруг решила выброситься из него. В ней заговорил инстинкт целомудрия, стремившийся спасти душу от осквернения. Ах эта мечтательная душа! Ум Аннеты не был отуманен общепринятой моралью. Но инстинкт оказывался сильнее ума, он судил вернее... Вся во власти противоречивых стремлений – к окну или к двери, – она не смотрела по сторонам. Метнувшись к окну, она сильно ударилась животом об угол буфета. Боль была так сильна, что у нее захватило дух. Согнувшись, она схватилась обеими руками за ушибленное место, испытывая какое-то острое злорадство от того, что удар пришелся именно по животу, словно она хотела раздавить в своем теле распорывавшуюся ею слепую и пьяную силу, бога-тигра... Затем наступила реакция. Без сил упала Аннета в низенькое кресло между буфетом и окном. Руки у нее были ледяные, лицо в поту. Сердце билось неровными толчками, все слабее и слабее. Ей чудилось, что она летит куда-то в пропасть, в голове стучала одна мысль:

«Скорее! Скорее!..»

Она потеряла сознание.

Когда Аннета открыла глаза (сколько времени прошло? Несколько секунд?... Вечность?..), она лежала, запрокинув голову, как на плахе, упиравшись затылком в подоконник. Тело было втиснуто в угол между буфетом и окном. И первое, что она увидела, были июльские звезды над темными крышами... Божественный свет одной из них проник к ней в сердце...

Молчание ночи, непостижимое, бескрайнее, как убегающая вдаль равнина... Внизу на улице проезжали экипажи, в буфете дребезжали стаканы...

Аннета ничего не слышала... Она висела между небом и землей... «Бесшумный полет»... «Она все не могла окончательно проснуться»...

Аннета медлила. Ей страшно было вернуться к тому, что она на миг оставила, – к безмерной усталости, мукам в тисках любви... «Любовь, материнство. Ожесточенный эгоизм, эгоизм природы, которой мало дела до моих страданий, которая подстерегает мое пробуждение, чтобы терзать мне сердце... Ах, не просыпаться бы больше!..»

Но она все-таки очнулась. И увидела, что враг исчез. Отчаяния больше не было... Нет, было, но уже не в ней, а вне ее, она словно слышала его... О волшебство!.. О грозная музыка, открывающая неведомые просторы!.. Аннета, как зачарованная, слушала звучавшие в воздухе рыдания, – казалось, невидимые руки играют прелюдию Шопена «Судьба». Сердце ее переполнилось еще не изведанной радостью. Ничего общего не было между жалкой радостью нашей повседневной жизни, радостью, которая боится страданий и держится только тем, что отвергает их, – и этой новой огромной радостью, которая рождена

страданием... Аннета слушала, закрыв глаза. Голос смолк. Наступила тишина ожидания. И вдруг из глубины замученного сердца вырвался дикий крик освобождения... Подобно алмазу, режущему стекло, прочертил он светлой бороздой свод ночи. Аннета разбитая, изнемогающая, на исходе ночи мук родила в себе новую душу...

Безмолвный крик улетел, кружась и исчез в бездне мысли. Аннета лежала неподвижная и немая. Лежала долго. Наконец она поднялась. Шея болела от твердого изголовья, ломило все кости. Но душа была освобождена.

Непреодолимая сила толкнула ее к столу. Она и сама еще не знала, что будет делать. Сердце ширилось в груди. Она не могла хранить в себе то, чем оно было полно. Она схватила перо и в неудержимом порыве стала изливать свою скорбь в нескладных стихах:

*Ты пришла, ты схватила меня – целую руку твою.
С любовью, с содроганием – целую руку твою.
Ты пришла меня уничтожить,
Любовь, я это сознаю.
Мои колени дрожат! Приди! Уничтожь! – Целую руку твою.
Ты надкусишь плод и бросишь его: я сердце тебе отдаю!
Благословенны язвы укусов твоих! – Целую руку твою.
Ты хочешь всю меня: все взяв, все разгромив в бою.
Ты оставляешь одни обломки. – Целую руку твою.
В твоей руке, меня ласкающей, я гибель мою узнаю,
И я целую в предсмертный миг смертоносную руку твою.
Рази меня! Убей меня! Я в страданье отраду пью,
Я в разрушение пью свободу. – Целую руку твою.
Ты каждым взмахом рассекаешь старинных пут змею,
Ты мясо рвешь, ты цепи рвешь. – Целую руку твою.
О мой убийца, сквозь раны тела я жизнь мою струю,
Она вырывается из темницы. – Целую руку твою.
Я нива, взрытая тобой, я новую жизнь даю
Тобой посеянными зернами муки. – Целую руку твою.
О, сей щедрее святую муку!
Я семя в груди затаю,
Чтоб в ней созрела вся мука мира. – Целую руку твою.
Целую руку твою.*

Перевод М. Лозинского.

Буря. Волны морские разбиваются о скалы, душа полнится брызгами и огнями, взлетает к небу пенной пылью страстей и слез...

Последний крик диких птиц – и душа снова на земле. Измученная Аннета падает на кровать и засыпает.

Наутро от вчерашних горестей почти не осталось следа – они растаяли, как снег на солнце...

*Così la neve al sol si disigilla.*⁵⁶

О них напоминала только блаженная боль во всем теле – усталость человека, который боролся и знает, что победил!

Аннета чувствовала, что пресытилась страданиями. Горе – как страсть: чтобы оно прошло, нужно им упиться, пережить его до конца. Но мало у кого хватает на это мужества. Этот пес всегда голоден и зол, потому что люди кормят его только крошками со своего стола. Побеждают страдание те, кто дерзнул отдаться ему целиком, дерзнул сказать ему:

«Я принимаю тебя. И оплодотворю тебя».

⁵⁶ Так топят снег лучами синева (итал.). – Данте «Божественная комедия», «Рай», песнь XXXIII. Перевод М. Лозинского.

Это мощное объятие творящей души грубо и плодотворно, как физическое обладание...

Аннета увидела на столе написанные вчера строки и разорвала бумагу в клочки. Эти бессвязные слова были ей сейчас так же нестерпимы, как и чувства, в них выраженные. Ей не хотелось нарушать охватившее ее блаженство. Она испытывала такое облегчение, как будто путы ее ослабели, как будто цепь только что разомкнулась... И, словно в блеске молнии, встала в ее воображении эта цепь тягот, которые душа сбрасывает медленно, одну за другой, проходя через ряд существования, своих, чужих (это одно и то же)... Аннета спрашивала себя:

«К чему, к чему это вечное влечение, привязанности, которые всегда рвутся? К какому освобождению ведет меня путь желаний, обогранный кровью?..»

Но это длилось мгновение. Зачем тревожиться о том, что будет? Оно пройдет, как и все то, что было. Мы хорошо знаем: что бы ни случилось, мы переживем! Есть народная поговорка, старые, полные героизма слова, в которых звучат и мольба и вызов: «Да не взвалит нам господь на плечи столько, сколько мы можем вынести!»

Она, Аннета, прошла через испытание, пережив его в один день!.. Теперь она отдыхала душой и телом...

To strive, to seek, not to lind, and not to yield.

«Это хорошо. Хорошо... Дни мои не прошли бесследно... А продолжение – завтра!..»

Аннета встала с постели голая. Утреннее солнце над крышами, яркое августовское солнце заливало ее тело и всю комнату... Она чувствовала себя счастливой... Да, счастливой, несмотря ни на что!

Все было такое же, как вчера: земля и небо, прошлое и будущее. Но то, что вчера угнетало, сегодня излучало радость.

Марк вернулся поздно, была уже ночь. Повеселившись без матери, он теперь чувствовал себя виноватым в том, что оставил ее одну и что она из-за него, должно быть, не спит до сих пор. Он знал, что Аннета не ляжет, пока он не вернется, и ждал ледяной встречи. Хотя ему было совестно – или, вернее, именно поэтому – он уже на лестнице приготовился к обороне. С вызывающим видом, с дерзкой усмешкой, но в глубине души далеко не уверенный в себе, он достал из-под циновки ключ и отпер дверь. В квартире ничто не шелохнулось. Повесив в прихожей пальто, Марк подождал минуту. Тишина. На цыпочках прошел он к себе в комнату и стал бесшумно раздеваться. У него отлегло от сердца. Утро вечера мудренее! Но, не успев еще совсем раздеться, он вдруг встревожился. Тишина в комнате матери показалась ему неестественной... (У него, как и у Аннеты, было живое воображение, и он легко поддавался тревоге.) Что случилось?.. Он, конечно, был за тысячу миль от каких бы то ни было подозрений о той сокрушительной буре, которая разразилась в соседней комнате. Но он не понимал мать, и она всегда вызывала в нем некоторое беспокойство: он никогда не знал, что она думает. В страхе он, как был, босиком и в одной рубашке, подошел к двери в комнату Аннеты, но, приложив ухо к скважине, сразу успокоился. Мать была там и спала, тяжело и неровно дыша. Боясь, не заболела ли она, Марк приоткрыл дверь и подошел к кровати. При свете уличных фонарей он увидел, что Аннета лежит на спине. Распущенные волосы закрывали ей щеки, а лицо приняло то трагическое выражение, которое когда-то по ночам так удивляло ночевавшую у нее Сильвию. Грудь бурно поднималась и опускалась от тяжелого и шумного дыхания. Марк испытывал и страх и жалость, глядя на это тело и смутно угадывая его страдания и усталость.

Нагнувшись к подушке, он позвал дрожащим шепотом:

– Мама!..

Услышав в глубоком сне этот зов, шедший словно издалека, Аннета на миг очнулась и застонала. Мальчик испугался, отошел. Она снова затихла.

Марк вернулся к себе и лег. Усталость от тревожений этого дня и свойственная его возрасту беззаботность взяли свое, и он проспал крепким сном до утра.

Но, как только он открыл глаза, вернулись вчерашние мысли и тревога.

Его удивило, что так поздно, а матери не видно. Обычно она по утрам, когда он был

еще в постели, входила к нему в комнату (что его всегда раздражало) – поздороваться и поцеловать его. Сегодня она не пришла, но он услышал ее шаги в соседней комнате. И открыл дверь. Стоя на коленях, Аннета вытирала пыль с мебели и не обернулась. Марк поздоровался; она весело взглянула на него и сказала:

– Доброе утро, мой мальчик! И опять занялась своим делом, не обращая на него внимания. Марк ожидал расспросов о вчерашнем вечере. Он терпеть не мог этих расспросов. Но сегодня то, что Аннета ни о чем не спросила, злило его. Она ходила по комнате, наводя порядок и одновременно одеваясь: ей пора было идти на уроки. Марк наблюдал мать в зеркале, перед которым она остановилась: под глазами круги, лицо еще утомленное, но глаза блестят, губы улыбаются. Марк был поражен: он ожидал, что увидит ее печальной, и даже готов был в душе пожалеть ее, а неожиданная веселость Аннеты сбила его с толку и даже рассердила, – такова была логика этого юного мужчины!..

У Аннеты же была своя логика. «У сердца есть свои законы», и познаются они тем чутьем, которое выше разума. Аннете было уже все равно, что подумают другие. Она теперь знала, что не надо требовать от людей понимания. Если они тебя любят, то любят с закрытыми глазами. И не часто они их закрывают! «Пусть себе будут, какими хотят. Я их все равно люблю. Я не могу жить без любви. А если меня не любят, я буду любить и за себя и за них – в моем сердце достаточно любви».

Заглядевшись в зеркало, словно она видела в нем что-то далекое, она улыбалась, и глаза ее сияли, как две капли огня – огня вечной любви.

Причесавшись, она опустила руки, обернулась и, увидев хмурое лицо Марка, вспомнив о вечере, на который он ходил с Сильвией, взяла его за подбородок и сказала весело, скандируя слоги:

– «Вы плясали? Очень рада! Ну так спойте же теперь!»

Засмеялась, глядя в его ошеломленное лицо, приласкала его взглядом, поцеловала и, взяв со стола сумочку, вышла, говоря на ходу:

– До свиданья, мой кузнечик! Марк слышал, как она в передней насвистывала веселую песенку (презирая ее за это, он в то же время невольно ей завидовал, так как она свистела гораздо лучше его).

Он был возмущен. После вчерашних тревог – такая неприличная веселость! Мать была для него загадкой. И, подражая взрослым мужчинам, он все приписал вечным женским причудам: «*La donna mobile...*».⁵⁷

Он уже собирался уходить, как вдруг ему бросился в глаза клочок бумаги в корзинке. Взгляд его, острый и жадный, как у хищного зверька, остановился на этой разорванной бумажке сперва бессознательно. Но, разобрав несколько слов, Марк застыл на месте... Эти слова... Почерк матери... Он с лихорадочной торопливостью собрал клочки и стал читать... Сначала хватал то один клочок, то другой, как попало... Какие пламенные стихи!..

Разорванные на части, они, как оборвавшаяся песня, еще больше волновали и зачаровывали... Марк перерыл корзинку и собрал все клочки до единого.

Он терпеливо сложил их, чтобы можно было прочесть. У него дрожали руки – так взволновала его эта случайно открытая тайна. Прочитанные стихи потрясли его. Он не все в них понимал, но дикая страстность этой одинокой песни раскрывала перед ним неведомые источники любви и скорби, восхищала и ошеломляла его. Неужели эта буря вырвалась из груди его матери? Нет, нет, не может быть! Ему не хотелось верить. Он убеждал себя, что она списала стихи из какой-нибудь книги. Но из какой? И спросить ведь у нее нельзя... А что, если это все-таки не из книги?.. Слезы подступили к его глазам, хотелось крикнуть о своем волнении и нежности, броситься к матери на шею или упасть к ее ногам, открыть ей душу, читать в ее душе... Но он не мог этого сделать.

А когда в полдень мать пришла завтракать, мальчик, все утро читавший и

⁵⁷ Непостоянная женщина (итал.).

переписывавший ее стихи и спрятавший их в конверте у себя на груди, не сказал ей ничего. Он сидел за столом и даже не встал, головы не повернул, когда она вошла. Он горел желанием все узнать, но его сковывала застенчивость, и он старался скрыть волнение под маской бесстрастия... А вдруг эти трагические стихи сочинила не она! Его снова одолели сомнения, когда он увидел спокойное лицо Аннеты... Однако то, другое, ошеломляющее подозрение не уходило: «А что, если это все-таки она?... Вот эта самая женщина, моя мать, что сидит против меня за столом?..» Он не смел взглянуть на нее... Но, когда Аннета спиной к нему ходила по комнате, унося и принося блюда, он следил за ней инквизиторским взглядом, словно спрашивая:

«Кто же ты?»

Он не мог разобраться в этих смутных и тревожных впечатлениях. А мать, всецело поглощенная своей новой жизнью, ничего не замечала.

После завтрака оба вышли из дому и разошлись в разные стороны. Марк смотрел матери вслед. Его раздирали противоположные чувства: он и восторгался ею, и злился на нее... Женщина, настоящая женщина! Иногда она бывает такая близкая, а иногда совсем далекая, как будто существо другой породы... Ничем они не похожи на нас, мужчин! Непонятно, что у нее в душе творится, отчего она смеется, отчего плачет. Он ее презирает, ненавидит – и тянется к ней, она нужна ему. Он зол на все за ее власть над ним. Он охотно укусил бы ее в мальчишеский затылок, еще мелькавший впереди, как укусил руку Ноэми (ах, как тогда хотелось кусать ее руку до крови!) При этом неожиданном воспоминании у Марка дрогнуло сердце. Он остановился, сильно побледнев, и плюнул от омерзения.

Марк проходил через Люксембургский сад, где молодые люди играли в спортивные игры. Он смотрел на них с завистью. Все лучшее в нем, все его тайные желания влекли его к делам, подобающим мужчине, – не к любви, не к женщинам, а к спорту, к подвигам, которые требуют героической смелости и силы. Но он был мальчик хилый; жестокая судьба, болезнь в раннем детстве были причиной того, что физически он был менее развит, чем его сверстники. А сидячий образ жизни, книги, мечтательность, то, что он рос в обществе женщин, – все это отравило его любовным ядом, перешедшим к нему от матери, тетки, деда: из крови Ривьеров. Он был бы рад вскрыть себе вены и выпустить из них всю эту кровь! Ах как он завидовал прекрасно сложенным юношам без мыслей в голове, но с радостью в сердце!

Он презирал те дары, что послала ему судьба, и думал только о тех, в которых она ему отказала. Он видел игры и борьбу сильных и стройных тел.

И в своем эгоизме не замечал подле себя иной борьбы – той, которую вела его мать...

Аннета шла по улицам Парижа. Лето заливало город потоками света. Небо гляделось в крыши домов, омывая их лучистой синевою своих взоров... Как хорошо в такое утро очутиться среди полей, далеко от города!.. Но об этом нечего было и мечтать. У Аннеты не было денег, она не могла уехать из Парижа. Предполагалось, что Марк проведет несколько недель с теткой на нормандском побережье, а она останется в городе. Гордость не позволяла ей жить в Нормандии на средства сестры, а, кроме того, она еще с тех времен, когда ездила туда с отцом, питала отвращение к этим ярмаркам, кишевшим скучающими и флиртующими бездельниками. Да, ей предстояло остаться одной в городе, и это ее вовсе не огорчало. Она носила в себе и море, и небо, и солнечные закаты за холмами, и молочные туманы, и поля, одетые саваном лунного света, и тихо тающие летние ночи. Дыша раскаленным воздухом августовского дня, среди оглушительного уличного шума и потоков людей, Аннета шла по Парижу уверенным и быстрым шагом, той же легкой, плавной походкой, что и в былые годы, все замечая на ходу, – и в то же время такая далекая от всего окружающего... На пыльной мостовой, по которой грохотали колеса тяжелых автобусов, она мысленно бродила под сводами бургундских лесов, в тех местах, где прошло ее счастливое детство, вдыхала запах мха и древесной коры. Она шла по ковру осенних листьев; меж обнаженных ветвей зашумел ветер с дождем и, пролетая, мокрым крылом коснулся ее щеки; звенела где-то песня птицы, волшебная в этой тишине. Ветер и дождь пронеслись... В этих самых лесах бродили

когда-то молодая Аннета и ее плачущий возлюбленный, и была там живая изгородь из боярышника, и жужжали пчелы вокруг заброшенного дома... Радости, страдания... Как это все далеко!.. Аннета улыбалась той юной девушке, для которой страдания были внове... «Подожди, бедняжка! Это еще только начало!..»

«Ты ни о чем не жалеешь?»

«Нет».

«Ни о том, что сделал, ни о том, что не сделано?»

«Ни о чем. О коварный ум, ты хочешь уличить меня в сожалениях? Напрасный труд! Я принимаю все, все, что было в моей жизни, и все, чего не было. Принимаю целиком свою судьбу, ее мудрость и безумие. Все было в ней подлинным – мудрое и безумное. Человеку свойственно заблуждаться, такова жизнь... Но любовь никогда не бывает заблуждением. Пусть старость близка, – сердце мое не тронули морщины... И сколько бы оно ни страдало, оно счастливо тем, что любило...»

Аннета улыбалась, с благодарностью думая о тех, кого она в жизни любила.

В этой улыбке было много нежности, но немало и чисто французской беззлобной иронии. Аннета с интересом подмечала не только трогательное, но и смешное во всех этих мучениях, своих и чужих, в этой горячке желаний и ожидания. «Чего я еще жду?.. С любовью кончено! Теперь ваша очередь!..»

Она думала о других – о сыне своем, который весь горел и трепетал, протягивая руки к неизвестному будущему. О Филиппе, не удовлетворенном той жалкой пищей, которой общество пыталось утолить его ненасытный голод. О Сильвии, ищущей забвения и ждущей события, которое заполнило бы зияющую пустоту в ее сердце. Она думала о целой армии людишек, всю жизнь зевающих от скуки. И о беспокойной молодости, которая мечется и ждет...

Чего? К чему она протягивает руки?

Отрешаясь от себя, Аннета наблюдает уличную толпу, всю эту массу людей, которые тянут лямку... Стадо, которое бежит, спешит, словно его гонят овчарки. В этом стаде никто не замечает других. Все воображают, что движутся по своей воле, а на самом деле ими движет посторонняя сила, и в этом кажущемся беспорядке есть предначертанный ритм... Но куда их ведет невидимый пастырь? И добрый ли это пастырь? Нет! Он по ту сторону добра и зла...

Аннета занималась с ученицами, как всегда, терпеливая и ласковая, внимательно выслушивала их, объясняла толково, не сбиваясь. Но в то же время продолжала думать о своем. Тому, у кого это вошло в привычку, нетрудно жить двойной жизнью: одна – внешняя, среди людей, другая – в глубинах души, озаренных мечтой. Одна не мешает другой. Человек видит обе одновременно, как музыкант, читающий глазами партитуру. Жизнь-та же симфония: каждое ее мгновение поет на разные голоса. Отраженный жар этой страстной гармонии окрасил нежным румянцем лицо Аннеты. В этот день ее ученицы, удивляясь, что она так молодо выглядит, чувствовали к ней то сильное влечение, которое подростки, не смея в этом признаться, испытывают к старшим подругам, к Провозвестницам. Аннета и не подозревала, какой след оставляет она сегодня в сердцах всех, к кому приближается.

Она вернулась домой под вечер, все такая же окрыленная, не чуя земли под собой... Она не могла бы объяснить, отчего у нее сегодня так легко на душе. Великая тайна женщины, излучающей сияние радости без всякой видимой причины и даже вопреки всему! Все окружающее, весь внешний мир в эти минуты для нее лишь тема для свободного творчества мечты и пылкой фантазии.

На улицах мимо нее проходило множество озабоченных людей. Мчались мальчишки-газетчики, выкрикивая новости, которые тут же обсуждались прохожими. Она не обращала на них внимания. Из встречного трамвая кто-то окликнул ее. Она не сразу сообразила, что это муж Сильвии. Не разобрав слов, она весело помахала ему рукой... Как все вокруг суетятся!.. Снова на короткий миг предстало ей видение головокружительного потока, который с силой вырывается из трещины небосвода, подобный текучей звездной массе, и

низвергается в зовущую его бездну... В какую?..

Она поднялась по лестнице в свою квартиру. В дверях ее ждал Марк, у которого глаза так и сверкали, а за ним стояла Сильвия, тоже сильно возбужденная. Им, видно, не терпелось сообщить ей какую-то новость... Что случилось?.. Оба заговорили разом – каждому хотелось быть первым...

– Да о чем вы шумите? – спросила Аннета со смехом.

Она разобрала только одно слово:

– Война...

– Война? Какая война? Впрочем, она не удивилась... Вот она, бездна!..

«Так это ты? Давно я чувствовала твое губительное дыхание».

Марк и Сильвия все еще кричали что-то наперебой.

Чтобы доставить им удовольствие, Аннета усилием воли стряхнула с себя на минуту оцепенение...

«Война? Ну что же! Война, мир-все это жизнь, все это ее игра... И я приму в ней участие!..»

Она была азартным игроком, эта очарованная душа! «Я бросаю вызов богу!»

КНИГА ТРЕТЬЯ МАТЬ И СЫН

*Ибо мир – не есть отсутствие войны, а добродетель,
родившаяся из душевной силы.*

Спиноза, «Трактат о политике», V, 4.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Войной нельзя было испугать Аннету.

Она думала:

«Все – война».

Война под маской...

«... Мне нисколько не страшно взглянуть тебе прямо в лицо».

Все близкие Аннеты, как и она, как и многие, приняли это событие без особого протеста. Аннета – с той покорностью судьбе, которую она вынесла из своего последнего испытания.

«Я готова. Будь что будет!..»

Ее сестра Сильвия – с тайным ожиданием, едва сдерживая крик нетерпения:

«Наконец-то!..»

Наконец! Однообразная река дней разольется шире. Шире раздвинется круг любви и ненависти...

Сын Аннеты Марк – с мрачным восторгом; он не говорит ни слова, но за него говорят глаза, лихорадочные движения рук... Так вот он, этот трагический идеал, которого Марк в своей слабости страшился, но к которому тянулся всеми своими темными инстинктами, обычно отрицаемыми молодостью!.. Сигнал к пробуждению скованных сил, дремлющих под спудом в эту скучную, лишенную смысла жизни эпоху! Марк видел, как уходят на фронт старшие, опьяняясь жадой действия и жертвенным порывом, – этот поток очень скоро загрязнится, но теперь, вначале, источник его еще чист, насколько он может быть чистым в душе юношей, где осело много муты. Наклонившись над ним, Марк словно пробует кончиком языка и то и другое: пылкую чистоту самоотречения и грязную тину со дна. Завтрашний день, которым упьются старшие, вызывает в нем и зависть и страх... Подняв глаза, он встречается взглядом с матерью. Они отворачиваются друг от друга. Они друг

друга поняли, но не позволяют заглянуть в себя еще глубже. И оба знают, что они окутаны одним и тем же облаком.

Один только Леопольд, муж Сильвии, не захвачен этой волной воодушевления: из всей семьи он один отправляется на фронт. А он-то думал, что его год, почти последний год призыва, возьмут не скоро, – ведь запас будет призываться постепенно. Леопольд не торопился. Но он предчувствовал, что за него поторопится война, что она не минет его. И война вспомнила о нем скорее, чем он ожидал. Леопольд был из Камбре. Он очутился на передовых позициях. В его годы это была честь, без которой он вполне мог бы обойтись. Однако, уезжая, Леопольд бодрился. Что поделаешь! Сильвия настроена героически, да и от других женщин вряд ли можно ждать участливого взгляда. Каждая из них провожает на фронт мужчину-мужа, возлюбленного, сына или брата. То, что они уезжают скопом, придает этому противоестественному явлению оттенок закономерности. Как переполошились бы женщины, вздумай кто-нибудь из отъезжающих протестовать! Но никто не осмелился. Леопольду это в голову не пришло. В настроении близких было не меньше решимости, чем в приказе о мобилизации. А волчонок Марк, недоверчиво и ревниво следивший за ним, подстерегая минуту слабости!.. Леопольд хорохорился. За прощальным ужином добродушный толстяк чокался со всей мастерской. Однако ему тяжело было расставаться с ней. За свои деловые интересы он спокоен – Сильвия сумеет их блюсти. Остальное?.. Лучше, пожалуй, об этом не раздумывать... Сейчас Сильвия – настоящая Лукреция...

Вот женщина!.. В минуту расставания он облил слезами ее щеки. Она сказала:

– Это будет прогулка. Какое чудесное лето! Смотри не простудись!

Аннета поцеловала его. (И то пожива!) В душе она жалела зятя, но не показывала виду, чтобы не расстраивать его... «Что ж! Раз это неизбежно!..» И его неуверенный взгляд прочел в дружеском взгляде старшей сестры лишь непреклонное:

«Так надо».

Стена. И один только путь – вперед.

Он уехал.

Дом, сверху донизу, подобно улью, выбрасывал свой рой. Дань принесли все соты. Каждой семье пришлось расстаться со своими мужчинами.

Наверху, в мансардах, – двое рабочих, отцы семейств. На шестом – сын вдовы, тридцатипятилетний холостяк. Против квартиры Аннеты – молодой, недавно женившийся банковский служащий. Этажом ниже – двое сыновей судьи. Еще ниже – единственный сын профессора-правоведа. В самом низу – сын угольщика, он же владелец винного погребка. Всего восемь воинов, не по собственной воле вступивших на этот путь; но их не спрашивали; в наше время государство избавляет свободных граждан от труда действовать по собственной воле. А они и рады; еще одну заботу с плеч долой.

Весь дом, сверху донизу, приемлет совершившееся. За одним никем не замеченным исключением: это юная г-жа Шардонне, соседка Аннеты, только-только вышедшая замуж, особа слишком незначительная, – ей не пристало выражать возмущение. Из остальных очень немногие уясняют себе, по какой причине вся их свобода, их право на жизнь отданы таинственному властелину, который обрекает их на заклятие. За исключением одного двух никто и не пытается разобраться в этом: чтобы покориться, нет необходимости понимать; всем своим воспитанием они приучены заранее соглашаться на все. А уж если тысячи людей согласны подчиниться, то рассуждать не имеет смысла. Остается лишь поглядывать на других и поступать, как другие. Весь механизм души и тела заводится сам собой, без всякого труда...

Боже мой, как легко вести гурт скота на рынок! Приставьте к нему скудоумного пастуха да двух-трех собак. Чем больше животных в стаде, тем легче им управлять: они составляют массу, и отдельные единицы теряются в целом. Народ-тесто, замешанное на крови, которая свертывается. И таковым остается до роковых мгновений великого взрыва, время от времени обновляющего народы и эпохи; тогда замерзшая река разбивает сковывающий ее лед и опустошает страну, ринувшись на нее всей своей расплавленной

плотью...

Жильцы дома ничуть не похожи друг на друга. У них все разное: верования, привычки, характер. Эти духовные клеточки, эти семьи, отличаются друг от друга своей химической формулой. Но все одинаково преисполнены покорности.

Они любят своих сыновей, на которых основаны все их чаяния, как в девяти десятых французских семей. Едва войдя в жизнь, в возрасте двадцати пяти или тридцати лет, они переносят на детей, изо дня в день незаметно жертвуя собой, ожидание радостей, которых сами не изведали, честолюбивые замыслы, от которых сами отступились. И они же по первому требованию без единого слова протеста отдают этих сыновей.

На шестом этаже – вдова, г-жа Кайе. Ей уже под шестьдесят. Когда она овдовела, ей было тридцать три, а ее мальчику шел десятый год. С тех пор мать и сын не разлучались. Вряд ли им за десять лет случилось провести хоть один день под разными кровлями. Их можно принять за старую супружескую чету. Кайе – сын, Гектор, которому еще не минуло сорока, уже похож на отставного чиновника; жизнь его увяла, не успев расцвести. На судьбу он не сетует. Да он и не желал бы другой.

Отец его был почтовым чиновником. Сын пошел по его стопам. Из поколения в поколение – ни шага вперед, все тот же бег на месте. Но известно ли вам, сколько труда надо положить, чтобы не упасть ниже? При скудных средствах и слабых силах выигрывает тот, кто ничего не теряет. Матери, оставшейся без средств, пришлось идти в поденщицы, чтобы вырастить сына.

Тяжелый крест для женщины, привыкшей к мелкобуржуазному уюту. Она не жаловалась. Теперь они снова стали на ноги – вернулись в свой скромный потерянный рай. Работая на себя и на сына, вдова отдыхает: его дом-это ее дом. К ее добродушному, беррийского типа, лицу, в котором есть что-то коровье, больше идет белый чепец в оборках, чем дамская шляпка, которую она в праздники натягивает на свою седую голову с жидким узелком волос.

Она никогда не говорит громко; ее крупный беззубый рот улыбается сыну и знакомым нежной и усталой улыбкой. Старушка чуть-чуть сутулится. Утром она поднимается первая и подает сыну в постель кофе с молоком. Пока сын работает в конторе, мать тщательно убирает квартиру. Потом готовит обед; она искусная повариха, а он любит хорошо поесть. По вечерам он пересказывает ей все, что узнал в течение дня. Она не очень-то вникает в его слова, но ей приятно слышать голос сына. В воскресные дни она бывает у обедни, он не ходит в церковь. По взаимному уговору. Бога он не отрицает, но и к верующим не принадлежит. Религия – это для женщин. И старушка усердствует за двоих. После обеда они вместе прогуливаются, но редко выходят за пределы своего квартала. Сын преждевременно состарился. Они довольствуются маленькими радостями, которые чередуются в привычном порядке и не требуют затрат. Мать и сын так крепко привязаны друг к другу, что сын не женился, да никогда и не женится: он не ощущает в этом надобности. Нету у него ни друзей, ни возлюбленных; он почти ничего не читает, ему никогда не бывает скучно. Он выписывает ту же газету, которую некогда выписывал его отец. Ее направление не раз менялось. Но он-то не менялся, он всегда был тех же взглядов, что его газета. Не любопытен он.

Живет автоматически. Для матери и сына вся отрада – в однообразных беседах или безмолвном чередовании, по заведенному порядку, изо дня в день, одних и тех же малозначительных действий и обрядов. Страстей у них нет, кроме их близости, превратившейся в милую сердцу привычку. Пусть ничто не нарушает ее! Поменьше перемен. Поменьше раздумий. Жить вместе, в мире и покое...

Но это скромное желание не услышано. Война, призыв несут с собой разлуку. Старушка вздыхает, она спешит уложить вещи сына. Ни мать, ни сын не выражают возмущения. Право на стороне сильного. Великая сила сказала свое слово.

Кайе живут этажом выше Аннеты, а под нею – семья Бернарденов. Родители, два сына, две дочери. Это католики и роялисты. В Париж они переселились с юга, из Аквитании.

Отец-судья; низенький дородный, плотно сбитый, обросший щетиной, как кабан, с

густой бородой, покрывшей почти все лицо; этот горячий, полнокровный человек вечно кипит. Ведь по натуре это весельчак, рожденный для деревенского приволья; в городе он задыхается, ему тесно. Он большой чревоугодник и любит «галльские» шуточки. Малейшее противоречие выводит из себя эту «старую каракатицу»: пригнув по-кабаньи голову, судья топает ногами в порыве ярости, столь же бурном, сколь и кратковременном; внезапно он берет себя в руки, вспомнив о своем звании, об исповеди, перестает браниться и сразу переходит на приторно-гладкий тон.

Младший из двух его сыновей, двадцатидвухлетний юноша, только что поступил в Школу хартий. Он носит клинообразную бородку, он выработал себе острую, лукавую улыбочку, томный и двусмысленный взгляд в стиле конца XVI века. Это добродушнейший молодой человек, но ему нравится разыгрывать из себя такого порочного фаворита из компании д'Эпернона.

Второй сын двадцати восьми лет, полнолицый, бритый с копной волнистых, живописно откинутых назад волос, как у Берье, – адвокат, выдвинувшийся на процессах «королевских молодчиков». Стоит только королю вернуться на трон Франции, и молодой адвокат получит пост министра юстиции.

Три женщины, мать и две дочери, держатся в тени. (Впоследствии Аннета познакомится с ними.) Своего лица у них нет; они мало читают, редко навещают знакомых, совсем не бывают в театре, зато часто ходят в церковь, все свое время посвящают благотворительности.

Мужчины, все трое, получили основательное и строго классическое образование. «Рим, единственный»... Говорить по-латыни им легче, чем во время поездки за границу спросить дорогу по-немецки или по-английски. Это ниже их достоинства. Пусть северные варвары учатся нашему языку. Все трое живут идеалами прошлого. Эти добрые христиане без всяких оговорок восхищаются язычеством Морраса. Вот это подлинный римлянин! Все они веселы, умеют пожить в свое удовольствие и не прочь развлечься в мужской компании вольными анекдотами. К обеду они ходят вшестером, всем семейством – крайне умильная картина. Кругозор их узок, но обрисован четко, как французские пейзажи с чистыми, гармоническими линиями, где холмы охватывают кольцом древний, но не меняющийся городок. Парижский приход ничем не отличается от такого захолустного городка. То, что находится за его чертой, не вызывает у парижан вражды, а только легкую насмешку, предубеждение, ни на чем не основанное, но прочно засевшее; живут маленьким тесным мирком – остального не знают и не замечают. А наверху – бог, клочок неба и белые колокольни церкви Сен-Сюльпис, где поют колокола.

Но когда правительство Республики призвало обоих сыновей, чтобы скормить их вражеским пулеметам, никто из семьи даже не пикнул: «Негодяйка» стала священной. Все шестеро горюют, но они затаили свою боль. Они хорошо усвоили, что кесарю – кесарево. Бог не взыскателен. С него довольно души. Тела ему не нужно. Он даже отказывается от права судить поступки.

Он судит только намерения. Кесарю это на руку. Он завладевает всем.

На третьем этаже живет вместе с сыном г-н Жирер, профессор-правовед, уже несколько лет как овдовевший. Жирер тоже с Юга, но совсем другого Юга – это севенский протестант. Он мнит себя свободомыслящим (этим самообманом тешит себя не один ученый колпак в нашем университете). Но в глубине души это «парпальют», как выражаются молодые Бернардены, потешаясь в своем кругу над его деревянной фигурой и миной проповедника времен Адмирала. Человек он очень порядочный. До крайности суровый в вопросах долга и начиненный моральными предрассудками (самыми худшими из всех, так как они беспощадны). При всем своем почтении к верхним жилам и несколько натянутой, но изысканной вежливости, никогда ему не изменяющей, он воздает им, что называется, той же мерой. Он искренне стремится быть беспристрастным, но в его глазах католицизм – это своего рода порок, органический изъян, который накладывает свой отпечаток даже на самых честных людей, что бы они ни делали. И он нисколько не сомневается, что именно

католицизм-причина заката латинских наций. А между тем Жирер – добросовестный историк, он старается вытравить всякий намек на страсть из всего, что он говорит и пишет, рискуя показаться скучным и пресным. И Жирер действительно скучен в своих лекциях, подкрепленных документами, уснащенных цитатами, окаймленных сносками и к тому же произносимых монотонным гнусавым голосом. Свою историческую критику он незаметно для себя обесценил предупреждениями, в которых даже не отдает себе отчета, – до такой степени они кажутся ему непреложными, – и полным отсутствием гибкости, неумением правильно ориентироваться среди разнообразных взглядов.

Этот начетчик, все перевидавший в книгах и многое видевший в жизни, сохранил под своими седидами комическую, трогательную, ужасающую наивность, а она является благоприятной почвой для всех разновидностей фанатизма.

Нравственное чутье у него высоко развито. Но психологическое отмерло.

Тех, кто на него не походит, он понять не в состоянии.

Его сын – в том же роде. Это историк, молодой доктор с дипломом Сорбонны; недавно, в тридцать лет, он превосходно защитил диссертацию и теперь смотрит на мир сквозь очки теорий. Своих собственных, разумеется. А не мешало бы проверить стекла у оптика. Но он далек от такой мысли. Он, как и отец его, не согласен, что «вначале было дело». «Вначале – принцип». Республика – это принцип. Завоевания первой Революции непреложны, как теорема. Начавшаяся война есть следствие, неизбежно из нее вытекающее. Цель войны – установить демократию и мир во всем мире. Им не приходит в голову, что было бы, пожалуй, умнее начать с сохранения этого мира. Но они не сомневаются, что нарушители мира – те отсталые народы, которые не желают понять и принять истину. И, стало быть, для всеобщего блага – и их собственного – надо навязать им эту истину силой.

Можно подумать, что эти два человека, отец и сын, – братья, старший и младший; во всем похожие, любящие друг друга, высокие и прямые, сухопарые и гордые, они замуровали себя в своей идеологии: в ней нет ни единой бреши, куда могло бы проникнуть сомнение. Наука – лишь преданная служанка их демократических верований. Они не сознают этого. Их сознание-это их вера. Они верят. Они верят. И верили бы даже на костре. (Сын и будет на этом костре – в окопах! И отец будет там же – своим истекающим кровью сердцем...) Они верят... И эти люди именуют себя свободомыслящими!..

Молодой Жирер – жених Лидии Мюриэ, обаятельной и смелой девушки из богатой женеvской семьи; она влюбилась в него, да и он любит ее религиозной любовью. Любовь Лидии нельзя назвать религиозной – это глубоко мирское чувство, но, стремясь походить на любимого, Лидия подражает ему и в любви: она силится придать серьезное выражение своим улыбчивым синим глазам. А по натуре своей она чужда религии и ничего не требовала бы от жизни, кроме естественных радостей: земли, воздуха, воды и во все времена года – здоровья, солнца и любви своего возлюбленного, если бы только сам он не искал счастья жизни вне жизни, в идеях. И вот она старается вместе с ним искать его в том же. Эта скромная дочь Гельвеции, у которой нет причин участвовать в распрях народов, послушно затверживает наизусть республиканский катехизис французов (Революция I года и Права вооруженного человека) – символ веры своего жениха... Ах, будь на то ее воля, она унесла бы его на руках подальше от этой схватки! Как удручает ее война! Как далека эта война от всего строя ее мыслей! Но Лидия совестится этого – ведь ее любимый смотрит и судит иначе: она малодушна, она ошибается. Надо закрыть глаза и смотреть на мир его глазами, чтобы стать достойной его. О любовь моя, я хочу верить, оттого что веришь ты!.. Я верю...

Не желает верить одна во всем доме – Кларисса Шардонне, соседка Аннеты, живущая с ней дверь в дверь. Нет, нет, она любит не той любовью, когда приносишь в жертву и себя и возлюбленного во имя призрачной веры возлюбленного!.. Да и вздор это! Какая там вера! Есть лишь робость перед людьми, страх перед общественным мнением. Ее избранник – банковский служащий, заурядный молодой человек, славный, миловидный, с тонкими белокурыми усиками и тусклыми глазами, довольно бесцветный. Мировые события, банк, политики и, откровенно говоря, родина – ко всему этому он вполне и безгранично

равнодушен. Во всем мире для него существует только милая маленькая женщина, которой он овладел (или это она овладела им?) три месяца назад. Какие это были месяцы!.. Но они не пресытились. У них вздрагивают пальцы, когда они вспоминают, прильнув друг к другу, проведенные вместе ночи. Как она властвует над ним, эта упоенная страстью женщина!..

Обыкновенная парижская работница, поклоняющаяся ему, как богу, своему собственному богу, боготворящая его, как свое добро, свою игрушку, свою кошку, своего ручного зверька, свою душу, если только у нее есть душа, свои внутренности, свое все, свою собственность!.. Она худенькая, хрупкая, порывистая брюнетка; глаза у нее с поволокой. На бескровном лице, которое она тщательно поддурманивает, красной нитью прочерчены губы.

Страсть высосала из нее всю кровь. А он милостиво разрешает боготворить себя и не удивляется: он отдается той, которая пожирает его; и каждый из них в свой черед становится добычей другого. Ни он, ни она не думают о том, что этой игре должен прийти конец. Иного смысла они в жизни не видят...

Но когда война стучится к нему, он поднимается не споря. Невесело это – ведь удалю он не отличается. Чуть не со слезами думает он о том, что покидает и что найдет взамен. Но боится показаться смешным, боится заслужить презрение, если выкажет слабость. Мужчине не пристало любить слишком сильно. Кларисса видит его насквозь. Она кричит:

– Трус! Трус! И всхлипывает.

Задетый, он сердито отшучивается:

– Трус... Вот уж невпопад! Обозвать трусом человека, который собирается стать героем! «Умереть за родину!»

Она умоляет его замолчать. От одного слова «смерть» ее прохватывает дрожь. И она просит у него прощения. Пусть себе щеголяет своим патриотизмом – ведь это он для храбрости. И она не смеет продолжать спор; она слишком одинока и не может высказать вслух свои мысли: весь свет (это – ничто!) и он сам (это-все!) назовут их ересью. Но она знает, что втихомолку, в глубине души, он, несчастный, думает то же, что и она!.. «Умереть за родину!..» Нет, нет, это говорится для галерки!.. Люди малодушны. Постоять за свое счастье – на это у них нет мужества. Жалки они!

Жалки!.. Кларисса вытирает глаза. Ведь жизнь – сцена. Надо улыбаться, раз он этого хочет. Уж она поплачет за кулисами... «Да и ты тоже! Меня не проведешь. Ведь и у тебя в душе – смерть. О трус, трус, зачем ты уезжаешь?»

А он читает ее мысли и думает вслух:

– Что же делать?

Но она женщина, и страстная женщина. Она не может примириться. Примириться с тем, что мешает ей жить...

– Что делать? Остаться.

Он устало пожимает плечами.

Ах! На нее ополчился весь свет!.. И на него тоже. Но она злится на своего возлюбленного! Он вместе со «всем светом». Он смиряется. Зачем?

Двое рабочих, живущих в мансардах, тоже смирились: это Перрэ (седла и сафьяновые изделия) и Пельтье (электромонтер). Они готовы были бороться против войны. Но раз никто против нее не борется, приходится идти в ногу с ней. Иного выбора нет... Оба они социалисты, и точка отправления у них одна и та же. Но люди отправляются вместе, а потом расходятся в разные стороны. И вот их пути разошлись.

Еще неделю назад Перрэ твердо решил, что войны не будет:

– Все это газетная труха, досужий вымысел игроков в покер, министров и дипломатов, заседающих за зеленым столом. А если бы даже эти международные маклеры и напакостили нам, их поставили бы на место. Мы еще свое слово скажем! Мы – Интернационал, Жорес, Вайян, Гед, Ренодель, Вивиани и профсоюзы. Железная дивизия. И все товарищи за границей, особенно в Германии... Слушай, Пельтье! На днях мы (наши) встретились с ними, все уже организовано, лозунг дан. Пусть только эти негодяи посмеют объявить мобилизацию... Мы им покажем мобилизацию: никто с места не тронется!..

Но Пельтье посмеивается и посвистывает себе в бороду; он говорит Перрэ:

– Молодо-зелено, товарищ! Перрэ запальчиво возражает. Ему минуло тридцать семь, а тридцать семь лет тяжелого труда сойдут за пятьдесят лет жизни какого-нибудь лежебоки. Но Пельтье спокойно отзывается:

– Вот именно! Ты тянул свою лямку, а думать было некогда.

Перрэ вступает в спор, подавая приятелю «с пылу, с жару» статью, прочитанную в последнем номере газеты, – единственной газеты, которая лжет в тон его мнениям. Пельтье пожимает плечами и устало отвечает:

– Да, говорить-то легко!.. А вот делать!.. Все улечутся.

И они «улечутились». Когда подлый матадор, прячась за ставень, свалил Жореса одним ударом, точно быка, в замершем от ужаса Париже было великое шествие, зловещее торжество похорон – и речи, речи, ливень речей над тем, кто навсегда умолк. Все были тут – и те, кто оплакивал сраженного, и те, кто думал:

«Ему куда лучше в гробу».

Народ ожидал призыва к отмщению, сигнала, который рассеял бы тревогу, молнии во мраке. А погребальное красноречие, которое изливали все эти уста, дышало лишь смертью и предательством. Ораторы говорили:

– Поклянемся отметить за Жореса! Но еще не отзвучали эти клятвы, как они сами же нарушили их. Они стали подрядчиками той войны, которая сразила Жореса. Они внушали народу:

– Идите убивать! Сплотимся же в священном единении над телами наших братьев!

И то же твердили их единомышленники в Германии.

Народ в замешательстве молчал. Но потом зашумел и пошел следом. Не его забота думать. Раз те, кого он поставил думать за себя, его вожаки, повели его на войну, остается только идти. И Перрэ уже уверил себя, что это и есть служение делу народа и Интернационала. Вот кончится война – и настанет золотой век!.. Надо же позолотить себе пиллюлю!

Но Пельтье, уже утративший свои иллюзии, сказал:

– Как же, пойдут они на войну! Дело народа... Осточертели мне эти слова. Устрою-ка я лучше свои дела. Возьму пример с них (они – это акулы, предавшие социализм): устроюсь...

И Пельтье устроился...

Во всем доме, сверху донизу, не чувствуется вражды. Немцами возмущаются – ведь они нападающая сторона (конечно, они! Тут и спорить нечего).

Воевать не хотят, но идут на войну, чтобы проучить немцев. Из глубины страдания, затаенного, немного, сосредоточенного, из сознания необходимости жертв рождается энтузиазм. Но ненависть не родилась.

Выказывает ее разве только Равусса (Нюма) – хозяин «дровяного склада и винного погребка», живущий в нижнем этаже. Тучный, растрепанный старик, еле-еле таскающий свои подагрические ноги, обутые в грязные туфли, болтает о бошах, изливая на них потоки брани; он завидует своему сыну Кловису, который отправляется потрошить колбасников. А сын ликует: это будет приятная прогулка! У бошей он вдосталь побалуется пивом и ихними Гретхен... Хохочут... Галдят... Но на лице твоём, толстяк, я читаю тревогу, заглушаемую громкой болтовней, и гнев при мысли об опасностях, на которые ты волей-неволей посылаешь своего сына, своего единственного сына...

– Если он!.. Если они его!.. А, черт!.. Если они его искалечат, убьют!..

Как бы то ни было, на всем доме – печать спокойного достоинства, без ярости, без малодушия, печать благоговейной и мужественной покорности.

Каждый выставляет, точно натянутый лук, свое доверие, обращенное к неведомому богу. А тревоги прячет поглубже.

Всех ли я обошел? Не пропустил ли кого-нибудь?

Ах да! В маленькой квартирке напротив Кайе, на шестом этаже, живет молодой писатель Жозефен Клапье. Ему двадцать девять лет, у него больное сердце, и он освобожден

от военной службы. Он прячется в своей норе.

Инстинктивно старается не быть на виду. Пока что его жалеют. Но жалость – даяние, которым было бы неосторожно злоупотреблять. А Клапье осторожен. На душе у него кошки скребут... Внизу есть недреманное око: Брошон, о котором я забыл упомянуть... А его неудобно обойти: это муж привратницы, полицейский агент. Онто не уезжает – его глаза, его кулаки пригодятся здесь; долг его – остаться на этом берегу. Но задору у него не меньше, чем у завязного вояки; он зорко следит за подозрительными личностями, за врагами в тылу. Брошон обнимает свой дом отеческим взором; это дом благонадежный, он делает ему честь. К обитателям его Брошон очень благоволит. Но ведь долг на первом месте! А Клапье у него на примете. Клапье – пацифист.

На этот раз довольно – этим дворнягой я заканчиваю свой смотр. Я обошел все этажи, кроме второго. Второй этаж закрыт. Второй этаж неприкосновенен. Его занимает домовладелец. Г-н и г-жа Поньон, богатые, пожилые, скучающие люди, уехали отдыхать. Квартирную плату они собрали с жильцов в июле. В октябре они вернутся... Канет в вечность целый триместр...

И миллион жизней.

Они уехали, все восемь воинов. А оставшиеся затаивают дыхание, чтобы уловить звук их удаляющихся шагов. На улицах шумно. Но по ночам на человеческие сердца, на дом ложится трагическая тишина.

Аннета спокойна. Невелика, впрочем, заслуга – ведь ей ничто не угрожает. И это кажется ей унижительным. Будь она мужчиной, она, разумеется, не задумываясь, отправилась бы на войну. Но что случилось бы с ее решимостью, если бы ее сын был пятью годами старше? Кто знает? Она сказала бы, что уже одна эта мысль обидна для нее. Ведь такие, как Аннета, способны, рассердившись на себя, пылая румянцем, поставить на карту и самое себя и своих любимых... Способна? Может быть, и так... Но поставит ли?..

Она в этом убеждена... Сделаем вид, что верим ей! Если мы не согласимся, она насупится, как разгневанная Юнона. Но когда ее мальчик подходит к ней, она с трудом удерживается, чтобы не задушить его в своих пылких объятиях. Он принадлежит ей. Она его крепко держит...

Несмотря на дремлющую в ней жажду деятельности, Аннета волей-неволей бездействует. Она (вместе с сыном) на время защищена от опасностей.

Судьба даровала ей отсрочку, и у нее есть время наблюдать. Она пользуется этим. Она смотрит на мир свободным взглядом, не застланным никакой теорией. Над вопросами войны и мира она никогда еще не задумывалась. Вот уже пятнадцать лет как ее целиком захватывает более знакомый ей конфликт – борьба за хлеб и еще более жгучий – борьба с самой собой. Это и есть настоящая война; каждый день она начинается сызнова; перемирие на этом фронте – жалкий клочок бумаги. Что касается войны внешней и международной политики вообще, то Аннета от них далека. Целых сорок лет (сорок лет, прожитых Аннетой) Третьей республике удавалось поддерживать безоблачный мир – скорее благодаря тому, что Европе везло, хотя она этого и не заслуживала, чем благодаря стараниям самой республики (ибо этот дряблый режим, как и его противник – болтливый император никогда не произносил «да», но не говорил «нет», и козырял то сухим порохом, то сухой оливковой ветвью). Для целого поколения война была чем-то далеким и смутным, декорацией или отвлеченной идеей, романтическим зрелищем или вопросом морали и метафизики.

Аннета спокойно впитавшая в себя официальное мировоззрение в те времена, когда теория относительности еще не расшатала всех устоев науки, привыкла воспринимать бытие как навеки данную действительность, которой управляют законы природы. И тем же законам, казалось ей, подчинена война. Отрицать законы природы или восставать против них ей даже не приходило на ум. Они не подвластны сердцу, они не подвластны даже разуму; они сами властвуют и над тем и над другим: надо им покориться. И Аннета приемлет войну, как она приемлет смерть и жизнь. Из всех необходимостей, навязанных нам природой вместе с таинственным и жестоким даром жизни, война еще не самая бессмысленная и, пожалуй, не

самая свирепая.

В чувстве, которое Аннета питает к родине, нет ничего из ряда вон выходящего; в нем нет особой страстности, но и сомнений оно не вызывает. В обыкновенное время она никогда не размышляла об этом чувстве, не имея желания щеголять им или вникать в его природу. Она и его принимала как факт.

И в первый же час, который пробила, словно молоточек башенных часов, война, Аннета чувствует, что это встрепенулась часть ее самой, целый обширный край, погруженный в спячку. У Аннеты появляется ощущение роста.

Она была втиснута в клетку своего индивидуализма. И вот она вырвалась на простор и разминает онемевшие члены. Пробуждается от сна, на который ее обрекло одиночество. Теперь она – весь народ...

И каждое движение народа находит в ней отзыв. С первой же минуты ей чудится, что распахнулась широкая дверь Души, обычно запертая, как храм Януса... Природа без покровов, оголенные, без всяких прикрас, силы...

Что она увидит? Что явится ей? Что бы то ни было, она готова, она ждет, она в своей стихии.

Большинство окружающих ее людей плохо переносит этот зной. В их душах происходит брожение. Еще не минула первая неделя августа, а их уже треплет лихорадка. Она разрушает эти незащищенные организмы. От прилива крови, отравленной внезапным нашествием ядовитых и тлетворных зародышей, кожа испещряется. Больные замыкаются в себе, безмолвствуют. Каждый уединяется в своей комнате. Сыпь еще не выступила.

Аннета спокойна. Она одна из всех окружающих не потеряла равновесия – напротив, вошла в «нормальную» колею. Страшно выговорить: ей дышится легко. Она походит на женщин – своих праматерей – времен великих нашествий. Когда воины неприятельских орд ломились в ограды их временных поселений, они взбирались на повозки, чтобы обороняться вместе со всеми. На просторах равнин их нагие груди дышали глубже. Сердца, бывшие спокойно и сильно, вбирали в себя воздух войны и брызги от вала нахлынувших полчищ; они обнимали взглядом пустые поля, изборожденные колесами их телег, темное полукружие леса, горизонт, извилистую линию холмов и купол вольного неба, которое ждет освобожденные души.

Аннета со своей повозки озирает горизонт и узнает:

«Да; вот оно...»

Как говорят в Индии:

«То, что ты видишь, – это и есть ты, мое дитя».

На мировую сцену выступила завоевательница Душа. Она узнает во всем этом себя. Эти лихорадочные души – я... Эти притаившиеся силы, распоясавшиеся? демоны, жертвы, жестокости, восторг, насилие – это я... Поднимающиеся со дна могучие порывы, проклятые и священные, – это я...

Что в других, то и во мне. Я пряталась. А теперь сбрасываю с себя покровы. До сих пор я была лишь тенью самой себя. До сих пор дни мои были наполнены мечтой, и мечта, которую я глушила, была моей действительностью. А действительность – вот она! Мир, в котором властвует война... Я...

Какими словами описать то неуловимое, что всходит, как сусло в виноградном чане: тишину и мечту в этой душе вакханки? Это кипение, которое она наблюдает, чувствует, и это тихое головокружение?

Разыгрывается страшная драма; она одно из действующих лиц. Однако выйти на сцену еще не пора: она готова, но ее черед не пришел; в ожидании можно взглядеться в стремительный поток действия. Она впитывает в себя все, что происходит в это единственное мгновение. Наклонившись над потолком, она смотрит, и у нее рябит в глазах, но она будет удерживаться на краю, пока не прозвучит возглас:

– Теперь пора! Бросайся! Поток бурлит и пенится. Плотины прорвана.

Наводнение... Бегство, бойня, пылающие города... За какихнибудь пятнадцать дней

человечество Запада нырнуло на дно истории – пятнадцати столетий как не бывало. И вот, как в глубокой древности, закружило вихрем народы, и, вырванные из родной почвы, они отступают перед нашествием...

Нескончаемый прилив беженцев с севера хлынул на Париж, как дождь пепла, предвещающий лаву. Северный вокзал, словно водосток, извергал день за днем целые потоки этого жалкого люда. Большими неопрятными толпами скоплялись грязные, измученные беженцы по краям Страсбургской площади.

Аннета, не имевшая в то время работы, снедаемая жаждой расходовать свои неистраченные силы, бродила среди этого человеческого стада, этих грудившихся усталых людей, которые вдруг, точно в припадке, разражались бурей криков и беспорядочных телодвижений. От возмущения и жалости у нее сжималось сердце. В этом море безымянных бедствий, где она терялась, ей хотелось отыскать кого-нибудь, на ком она могла бы задержать взгляд своих близоруких глаз, кому она могла бы с присущей ей страстностью прийти на помощь.

Войдя в помещение вокзала, Аннета сразу увидела, или, вернее, инстинктивно выбрала двух человек, расположившихся в нише между двумя колоннами: возле распростертого на полу мужчины тут же на земле сидела женщина, державшая его голову у себя на коленях. Тотчас по приезде они свалились у входа в полном изнеможении. Поток пассажиров катился на женщину, которая заслоняла собой мужчину. Она не обращала внимания на то, что ее топчут. Она неотрывно глядела на лицо с сомкнутыми веками. Остановившись и загородив женщину своим телом, Аннета нагнулась, чтобы всмотреться в нее. Она увидела затылок, сильную молочно-белую шею, жесткую рыжую гриву волос, всю в грязных разводах, точно в подтеках сажи, и руки, впившиеся в восковые щеки распростертого мужчины. Мужчины? Чуть ли не мальчика восемнадцати – двадцати лет, почти не дышавшего. Аннете показалось, что он уже кончился. Она услышала низкий и страстный голос женщины, растерянно твердившей:

– Не умирай! Я не хочу!..

Руки ее, испещренные грязными пятнами и синяками, ощупывали глаза, щеки, рот на застывшем лице. Аннета коснулась ее плеча. Женщина не отозвалась. Аннета, став на колени, отвела ее пальцы и положила руку на лицо юноши. Женщина как будто не замечала ее. Аннета сказала:

– Да он еще жив! Его надо спасти! Тогда женщина вцепилась в нее и крикнула:

– Спаси его! Теперь Аннета увидела веснушчатое лицо с крупными и резкими чертами; особенно поражали толстые губы и короткий нос, линия которого, продолженная оттопыренными губами, напоминала очерк звериной морды. Некрасивое лицо: низкий лоб, выдающиеся скулы и челюсти. Жадный рот, копна рыжих волос, придававшая черепу сходство с башней, поставленной на узкий лоб... Обращали на себя внимание и глаза, большие голубые, чисто фламандские глаза, в которых кричала плоть.

Аннета спросила:

– Но он не ранен? Женщина еле слышно произнесла:

– Мы шли, шли без конца. Он выбился из сил.

– Откуда вы?

– Из С... Это на самом севере. Они пришли, все пожгли. Я убила...

Сорвала со стены ружье. И пальнула из-за забора в первого попавшегося. Мы бросились бежать. Когда мы останавливались перевести дух, мы слышали топот их ног. Они катятся, катятся... Все небо черным-черно... Это как град... И мы бежали, бежали... Он упал... Я его понесла.

– Кто он?

– Мой брат.

– Нельзя же тут валяться в пыли. Вас топчут. Встаньте. Есть у вас в Париже знакомые?

– Никого нет. И ничего у меня нет. Все разорено. Мы бежали без гроша, в чем были.

Аннета решительно сказала:

– Идемте.

– Куда?

– Ко мне.

Они подняли лежавшего: сестра за плечи, Аннета за ноги.

Обе были сильные, а исхудавшее тело весило немного. На площади нашлись носилки; старик рабочий и какой-то мальчуган вызвались нести их.

Сестра упрямо цеплялась за руку брата, путалась в ногах у носильщиков, натыкалась на прохожих. Аннета взяла ее под руку и крепко прижала ее локоть к себе. Когда носилки подсакивали, пальцы женщины судорожно сжимались, а когда носильщики на минуту поставили на землю свою ношу, она опустилась на колени тут же, на тротуаре; она гладила брата по лицу, и с губ ее лился поток слов, суровых и нежных, то французских, то фламандских.

Добрались до дома. Аннета поместила своих новых жильцов в столовой.

Бернардены одолжили ей кровать одного из своих сыновей. Второе ложе устроили на полу, постелив матрац Аннеты. Больной не приходил в себя; его раздели; послали за врачом. Еще до его появления сестра, и слышать не хотевшая об отдыхе, свалилась как подкошенная на постель, и сон поглотил ее на целых пятнадцать часов.

У постели больного осталась Аннета.

Она переводила взгляд с одного лица на другое: с лица брата, воскового, опавшего, будто жизнь понемногу покидала его, на лицо сестры, грубое, распухшее, с широко раскрытым ртом, откуда вместе с дыханием выталкивались, точно порывом ветра, невнятные слова. Аннета, оберегая в ночной тишине сон этих двух существ – сон смерти и сон безумия, впадала в дремоту. И, содрогаясь, спрашивала себя, ради чего впустила она в свой дом это бредовое видение.

До войны между квартирами не было ни малейшего соприкосновения. Ближайших соседей, в лучшем случае, знали по фамилии. В первые же недели войны это расстояние сократилось. Отбросив таможенные рогатки, маленькие провинции соединились в одну нацию. Их чаяния, их страхи перемешались.

Встречаясь на лестнице, жильцы уже не отворачивались друг от друга. Они научились прямо смотреть в лицо один другому и раскланиваться. Перекидывались двумя-тремя словами. Отрешились от своего пугливого индивидуализма, от своей самолюбивой замкнутости и перестали уклоняться от ответа на участливые вопросы. Обменивались новостями об ушедших на фронт родных и о великой родственнице – родине, над которой нависла угроза. У лестницы в ожидании почты собиралась кучка людей; делясь своими тревогами, они согревались теплом взаимного доверия. Они научились быть снисходительными – при случае забывать свои предубеждения с такой же легкостью, с какой эти предубеждения создавались, и молчаливо отбрасывали на время те из них, которые стеной вставали, отделяя их от соседей. Теперь Жирер вступал в разговор с Бернарден. А благочестивые дамы Бернарден, приветливые, но робкие, мило улыбались Аннете, когда она заговаривала с ними: они решили забыть – до нового поворота событий – свои подозрения насчет таинственной соседки и ее материнства, быть может незаконного...

Жильцы не сблизились между собой, не сделались более терпимыми: то, что они считали недопустимым вчера, не стало допустимым сегодня. Но они старались не видеть того, чего не хотели принять.

Одна лишь маленькая г-жа Шардонне вся ушла в свое горе; она упорно не замечала ласкового взгляда Лидии Мюризье, которая чувствовала, как она страдает, и безмолвно предлагала ей страдать и надеяться вместе.

Все жильцы сверху донизу были пассажирами одного и того же корабля; надвигался тайфун. Опасность сравнила всех... Почему не весь мир в опасности? (Будет еще и это...) Тогда все народы, наперекор своему естеству, слились бы в единое человечество! Но при двух условиях: первое – чтобы никто не рассчитывал уйти от опасности в одиночку; второе – чтобы надежда на спасение оставалась у всех; если она окончательно исчезнет, человек

перестанет быть человеком. Эти два условия никогда не сочетаются надолго. Но в то время оба эти условия были налицо.

Мощный вал немецких орд ударился почти о самые стены Парижа. Правительство удрало. Весь дом говорил о его бегстве в Бордо с негодованием и презрением. Сильвия была вне себя от злости. Ей пришли на память прадедовские времена, когда король Людовик дал тягу. Несдобровать бы героям Шато-Марго, подвернись они только ей под ножницы! Но уж с ними сочтутся потом. Теперь есть дела поважнее. Тетушка и племянник, Марк и Сильвия рыли землю, возили ее в тачках, возводили насыпи по распоряжению Галлиени, который старался чем-нибудь занять лихорадочно возбужденных парижан.

Паники не было. Выжидали, надеялись на лучшее, готовились к худшему.

Марк с нежностью ощупывал в кармане свой знаменитый револьвер; он чуть ли не желал вторжения немцев в Париж – только чтобы испытать свое оружие. Аннета, у которой от волнения горели руки, была внешне спокойна и чувствовала себя как нельзя лучше: наконец-то и ей с сыном угрожает опасность! Это уже облегчение... Другие испытывали то же самое. Терзаемым тревогой родителям становилось легче при мысли, что они хоть отчасти разделяют опасность, нависшую над их сыновьями.

Лидия Мюризье бывает у Аннеты, читает ей письма своего жениха. Эти две женщины потянулись друг к другу еще раньше, чем познакомились. Аннета подслушала тайную песню ручья, бегущего по лугу. А Лидия прочла в нежной улыбке старшей сестры, что у нее есть ключ к этой музыке, – у нее одной во всем доме. И Лидии приятно быть понятой. Но они ни слова не говорят друг другу об этой песне сердца. Среди грохота орудий запрещено вслушиваться в музыку мирных дней, в мелодию флейты, оплакивающей прошлое счастье. Лидия читает письма возлюбленного, славящего высокий долг солдат Цивилизации. Молодой стоик изливает на нее холодный свет своих идей. Влюбленная Лидия купается в нем с трепетной радостью. От ее душевного тепла снег этих идей тает. Лидия еще дитя; мрачную жертву она скрашивает иллюзией, для нее героизм – наполовину игра. Она знает, что он чреват опасностями, но верит, хочет верить в покровительство бога – ее бога, оберегающего ее любовь. (Ведь ее бог и ее любовь – на одно лицо!).

Лидия кажется жизнерадостной, счастливой, она смеется приятным горловым смехом, как смеются дети. И неожиданно разражается плачем: тогда уж от нее не добьешься ни слова. Аннета жалеет ее. Она видит, что Лидия опьяняет себя мыслями, которые выпаливает горячо, одним духом, пока не сообразит и не остановится... (Не напутала ли она чего-нибудь? Мило и застенчиво улыбаясь, она просит извинения взглядом.) Аннета с удовольствием взяла бы ее на руки и сказала бы:

«Все это, детка, с чужого голоса. Прижми свой лоб к моим губам! Когда ты молчишь, я слышу биение твоего сердца...»

Но не надо говорить ей об этом. Она поступает правильно. Пусть декламирует затверженные слова, лишь бы найти в них забвение! Мысли убаюкивают сердце.

Весь дом упивается ими. И это упоение совсем уже не знает границ в те дни, в те пять дней, когда разворачивается битва народов. Обостряются врожденные инстинкты обороны, взаимопомощи, славы, жертвы... Приходит день, когда на площади Нотр-Дам толпа молит о заступничестве Девственницу. С одной из галерей базилики кардинал бросает слово:

– Победа! И все замирает. Взлет прервался. Душа снова опускается на землю.

С октября война топчется на месте. Самая страшная угроза миновала.

Заноза впилась в тело надолго, и в него проникает яд. Надо устраиваться так, чтобы продержаться годы. Но у кого хватит твердости взглянуть в лицо этим годам? И мы обманываем себя. Нас обманывают. Для поддержания энтузиазма прибегают к искусственным возбудителям: к «шумихе» в печати – к ее «уткам» и страшным сказкам. (Уж это неотъемлемая привилегия печати: она подбирает то, что есть, да еще с радостью людоеда измышляет сама.) И публика пробуждается от своего оцепенения, сотрясаемая, точно пьяница, порывами бешеной ненависти.

Дом варится в собственном соку-скорби, гнева нетерпения, тоски. Зима ползет

медленно. В ее сумеречном свете мечутся люди, охваченные лихорадочным брожением.

Беженцы с севера, Аполлина и Алексис Кьерси, так и остались у Аннеты.

Она взяла их к себе на несколько недель, до выздоровления брата Аполлины, до приискания квартиры и работы. А они и не собираются заняться поисками. Они находили вполне естественным, что Аннета приютила их. К чему церемониться? Не их забота, сколько она тратит на своих жильцов. Они считают себя жертвами, перед которыми в долгу вся Франция. Аполлина пеняет на неудобства: в столовой, мол, тесно. Она не заявляет претензий на комнату Аннеты, но если бы ей предложили занять ее, она без околичностей сказала бы: «Спасибо». Марк был вне себя. Он чувствовал непреодолимое отвращение к этой женщине.

Странные это были гости. Алексис по целым дням валялся в постели.

Аполлина не выходила за порог, заставить их проветрить комнату было нелегким делом. Они сидели в четырех стенах без движения. Алексис был от природы увальнем, а сейчас он все еще чувствовал себя разбитым после августовского бегства. У него были курчавые русые волосы, низко спускавшиеся на узкий выпуклый лоб, маленькие блеклоголубые глаза, толстые, всегда полуоткрытые губы. Алексис дышал ртом. Он был похож на сестру, но роль мужчины играла она. Алексис мало говорил и всегда был погружен в какие-то смутные мечты или бормотал молитвы, перебирая четки. Молитвы – это как люлька, в которой дремлет убаюканная душа. Брат и сестра были набожны на свой лад. Бог был их собственностью; они расположились в нем, как в доме Аннеты: пусть другие кочуют с квартиры на квартиру. Вялый, но упорный Алексис, казалось, прирастал к месту. Двигаться он предоставлял Аполлине.

В этой девушке таилась звериная энергия, но она ее душила в себе. Целыми часами сидела – она, вся скрючившись за шитьем, по которому ловко двигались ее нетерпеливые пальцы. Внезапно она бросала работу куда попало, вскакивала и, потоптавшись на месте, принималась ходить: шагала и шагала по кругу, на тесном пространстве между кроватью и окном; останавливалась, чтобы показать кулак невидимому врагу; грозилась выцарапать ему глаза – и говорила, говорила, то стена, то рыча, то угрожая, без конца пережевывая одно и то же. Потом неожиданно бросалась в постель брата и начинала душить его в объятиях; изливала на него поток страстных слов, в котором тонули плаксивые и монотонные возгласы Алексиса. И, наконец, – наконец, наступала тишина! Казалось, в комнате была смерть.

Довольно беспокойное соседство. Но Аннета не смела высказывать неудовольствие. Она жалела своих жильцов: надо терпеливо относиться друг к другу. Страдали, правда, все, но на их долю выпало особенно много страданий. У них на глазах сгорел дом вместе с дряхлой матерью, у них на глазах расстреляли старого слугу; неудивительно, что их ум все еще потрясен. Аннета считала себя обязанной, раз ее миновали подобные напасти, сносить тягостное присутствие жильцов. С ней одной Аполлина еще готова была общаться. Впрочем, тесной близости между ними не возникло. Необузданная Аполлина внезапно переходила от мрачной злобы к проблескам симпатии, а затем опять отшатывалась от Аннеты. В редкие минуты общения казалось, что она угадывает в характере своей хозяйки некоторые родственные черты. И как раз не те, которые Аннете приятно было бы в себе видеть, – это ее раздражало. Когда между ними снова вставала стена, Аннета чувствовала облегчение. Но попытки сблизиться были редки. Чаше эгоистка Аполлина погружалась в мутное и бурливое болото своей души. От него исходили испарения, вызывающие лихорадку. Марк втягивал их в себя, как молодой пес, делающий стойку, – в нем боролись влечение и брезгливость. Он ненавидел Аполлину и отслеживал ее. В бессонные ночи Аннету угнетала эта атмосфера удушливой страсти.

Можно было подумать, что миазмы болотной лихорадки, распространяясь по всей лестнице, просачиваются из-под дверей. На той же площадке, против Аннеты, билась в лихорадочном ознобе Кларисса. Запершись в четырех стенах, она никого не хотела видеть и злилась на весь свет. В душе ее был холод, была ночь. Клариссе казалось, что вся кровь в ней застыла, что она постепенно каменеет, как кора замерзшего дерева. Только письма ушедшего изредка обдавали ее волной тепла. Она читала их с сухими глазами, с оледеневшим сердцем:

расставшись с Клариссой, он украл у нее солнце ее ночей. Сняв прочитанное письмо, она зажимала его, как шарик, в кулаке. И, однако, Кларисса отвечала коротким и пустым письмом, не отражавшим того, что она выстрадала, что она хотела и его заставить выстрадать. Она ничего не скрывала; она была из тех, для кого писать значит говорить обо всем, что происходит вокруг, но только не внутри них: о делах, но не о мыслях. О своем заветном Кларисса не вела беседы даже с самой собой. Чтобы говорить со своим сердцем, надо чувствовать его биение.

Ее же сердце застыло. Она, как стеной, отгородилась от мира злобой.

Но весна растопила лед. Однажды до Марка донесся ее смех. Она двигалась по комнате, смотрелась в зеркало. Ее стали встречать на лестнице.

Выходила она из дому поздно. Кларисса всегда была одета со вкусом: эта дочь Парижа инстинктивно понимала, что ей к лицу; линии ее хрупкого тела, все ее движения отличались кошачьей гибкостью, и в глазах у нее мерцал тот холодный тлеющий огонек, какой бывает у кошек. Двигалась она бесшумно, старалась не останавливаться; в виде приветствия только наклоняла голову, а если к ней обращались, ограничивалась двумя-тремя учтивыми словами и проходила мимо. У нее не было охоты говорить о себе или выслушивать других.

«Я иду своим путем, а вы идите своим!»

Она держала себя как чужая. А люди простят вам все, но не простят отказа есть из одной тарелки с ними. Вокруг молодой женщины ткалась паутина недоброжелательства. Ей это было безразлично. Впрочем, все были заняты и не следили за ней. Лишь один человек ждал ее возвращения по ночам, и воображение его кипело, – Марк. Все тот же Марк... Нечего сказать, приятное у него окружение! Справа и слева от его постели – обезумевшие девы. Их распаленные тела... Над Парижем носится ветер сладострастия. А сладострастие сродни ненависти.

Ненависть тоже может быть целомудренной. В семье Бернарденов она переплелась с мыслью о том, кто претерпел все муки. Когда святейший владыка разослал во все христианские страны «Молитву о мире», государство и духовенство распорядились ею по-своему. Оба этих куманька спелись друг с другом: голос всевышнего они решили пропустить через фильтр. Верующие возмутились. В них закипела галликанская кровь. Бернарденотец, человек набожный, но вспыльчивый, метал громы и молнии против иноземца-папы. К счастью, во Франции есть святые люди, которые умеют подать слово божие под любым соусом.

«Ваше святейшество, вы призываете нас молиться о мире... Очень хорошо! Сейчас мы все это объясним... Да будет воля твоя, если только она совпадает с нашей!.. Мир, мир, братья мои...»

«Мир-это победа», – послушно вторят кардиналуархиепископу своды Собора Богоматери.

А золоченые часы церкви св. Магдалины откликаются:

«Да будет мир, о боже, истинный мир, твой мир, то есть наш, но не мир врага, которого мы хотим сокрушить!..»

Вся суть – только в определении...

И христианская совесть уже чиста. Бернардены, говоря о папе и его пастырях, выражают полнейшее удовлетворение. У старого судьи поучительный тон забавно окрашивается ноткой коварной радости, которую доставляет ему выворачивание наизнанку текста закона. Когда он склоняется перед алтарем, его взгляд выражает и благочестие и упрямство; он украдкой улыбается в свою жесткую бороду:

«Чистая работа... Fiat voluntas tua!..⁵⁸ Святейший владыка, с вами сыграли шуточку...»

А отец Сертильянж исторгает слезы иступленного восторга у бедных женщин, которым видится Христос в солдатской шинели среди их сыновей в траншее Гефсиманской.

⁵⁸ Да будет воля твоя (лат.).

Произошло ужасное перевоплощение, и воспаленным от слез глазам, отчаявшимся душам поле бойни явилось алтарем, где в чаше из грязи и золота, из страдания и славы приносится в жертву божественная кровь.

И первым испил ее – до упоения отчаянием – юный, созданный для поцелуев рот Лидии Мюризе.

Ее любимый пал. В первые же дни сентября. Это стало известно не сразу. В сумятице, среди сшибавшихся полчищ, которые нападали, отступали и снова, опустив голову и топчя тела мертвых, шли на стену живой плоти, не было времени подсчитывать потери. Лидия еще читала, полная надежды, письма живого, а он уже две недели как бесследно исчез с лица земли. Родина была спасена; невозможно было вообразить себе, что спасители не спаслись... В октябре на дом обрушился смертный приговор. Он был тем более жесток, что не оставлял никаких сомнений. Товарищ умершего указал день, час, место. Приговор обрушился. А дом продолжал стоять, как прежде. Жирер заперся у себя. Если бы не привратник, которому было известно все, никто не узнал бы о свершившемся. Лидия проскользнула по лестнице, как тень; она пришла к своему свекру; она теперь жила у него. Но квартира, казалось, вымерла. Оттуда не доносилось ни звука. Аннета, спускаясь по лестнице, проходила мимо этой квартиры. Молчание душило ее, но она не смела его прервать...

Наконец она постучалась; спустя некоторое время Лидия отворила дверь.

В полутемном коридоре нельзя было разглядеть ее лицо. Женщины безмолвно обнялись. Лидия молча плакала. Аннета чувствовала на своей щеке влагу, струившуюся из-под воспаленных век. Лидия взяла ее за руку и повела к себе. Было шесть часов вечера; свет проникал сюда только из соседней комнаты. Там, вероятно, находился Жирер, но его не было слышно. Аннета и Лидия сели; они держались за руки и говорили вполголоса; Лидия сказала:

– Сегодня вечером я уезжаю.

– Куда?

– На поиски.

Аннета не смела подробно расспрашивать.

– Куда же?

– Туда, где спит мой любимый.

– Куда же именно?

– Ведь место боя сегодня отбито.

– Но как же вы сумеете среди стольких тысяч...

– Он укажет мне путь. Я знаю, что найду его.

Аннете хотелось крикнуть:

«Не надо вам ехать! Не надо!.. Он живет в вас. Зачем искать его в смраде бойни?»

Но она сознавала, что Лидия уже не свободна; Аннета касалась ее рук, но эти руки держал покойник.

– Бедная моя детка, не проводить ли мне вас? – спросила Аннета.

Лидия ответила:

– Спасибо.

И, указывая на освещенную дверь, прибавила:

– Со мной едет отец.

Они простились.

Вечером Аннета расслышала на лестнице легкие, усталые шаги уезжающих.

Через десять дней они вернулись к себе так же бесшумно, как уехали.

Аннета об этом не знала. Услышав звонок, она отворила дверь и на пороге увидела Лидию в трауре, ее скорбную улыбку. Ей показалось, что это Эвридика, возвращающаяся без Орфея. Аннета обняла ее и почти унесла в свою комнату. Потом заперла дверь. Маленькая невеста торопливо рассказала ей о своем путешествии в страну мертвых. Она не плакала; в ее глазах была восторженная радость, но это еще больше надрывало душу. Она тихо сказала:

– Я его нашла... Он вел меня... Мы блуждали по развороченным полям, среди могил.

Устали, отчаялись... Когда мы вошли в небольшую рощицу, мне показалось, что я услышала его голос: «Иди!..» Рощица карликовых дубов... Повсюду валялось окровавленное белье, письма, лоскутья... Здесь был окружен целый полк. Я вошла. Он вел меня. Отец сказал мне: «Зачем?

Довольно. Пойдемте назад». У подножия дуба, стоявшего в стороне от других, я нагнулась и подобрала во мху клочок бумаги... Я взглянула... Мое письмо! Последнее, которое он вскрыл!.. И на нем его кровь. Я целовала траву, я легла на том месте, где он лежал, распростертый; это была наша постель; я почувствовала себя счастливой, – хорошо бы уснуть так навеки!

Все, даже самый воздух насыщен там героизмом...

В ее улыбке были экстаз и отчаяние. Аннета не смела на нее взглянуть...

А Жирер словно окаменел. Этот негибимый человек вернулся к работе.

Он не разговаривал ни с кем. Но в своих лекциях, речах, пылких статьях Жирер призывал к беспощадному крестовому походу, он ожесточенно нападал, убивал душу врага, хлестал ее, отсекал от человечества. В доме все кланялись ему, но старались не попадаться на глаза; когда он проходил по лестнице, его взгляд, казалось, порицал тех, кто еще остался жив. И живые чувствовали себя в чем-то виноватыми перед ним. Чтобы найти козла отпущения, они инстинктивно накапливали какие-то неопределенные обвинения, – по молчаливому уговору они собирались нанести удар человеку, жившему наверху, – тому, который не ушел на фронт.

Клапье (Жозефену), человеку с больным сердцем... Очень удобная болезнь, чтобы увильнуть от призыва. У истинного француза сердце всегда должно быть достаточно крепким, чтобы умереть в бою... Но он из тех, кто накликал на нас войну и нашествие врага, – пацифист!..

Это был благовоспитанный, застенчивый юноша, хороший писатель, которому хотелось одного: мирно жить наедине со своим пером и старыми книгами. Стоило Клапье наклониться над пролетом лестницы, как ему начинало казаться, что он вдыхает поднимающиеся снизу миазмы подозрения. Все двери на его пути приотворялись: за ним следили. Когда же он раскланивался, люди делали вид, что не замечают его. Брошон, забившись в свою будку, отворачивался, но на улице Клапье чувствовал, что Брошон идет за ним следом, шагах в тридцати. Встречаясь с соседками, женами рабочих, на площадке своего этажа, он читал в их глазах обидные мысли, издевку...

Все это Клапье сочинял больше чем наполовину сам. Ведь сочинять было его ремеслом. Он был одарен воображением, которое жужжало, как стекло горелки Ауэра. И Клапье впал в отчаяние. Он жил в одиночестве, а ведь одного эстетизма недостаточно, чтобы долго выносить одиночество мысли.

Нужен еще и характер, но этот товар не сыщешь на дне чернильницы. Правда, красивые слова обязывают держаться стойко. Когда же не хватает стойкости, красивые слова обязывают лгать. Клапье нетрудно было с их помощью приспособить себя и свой пацифизм к мужественной задаче, которой требовал свирепый дух дома. Он поступил в цензуру. Он перлюстрировал письма.

Клапье не был негодяем. Он никому не желал зла. Но так как слабые люди, сойдя с пути, заходят всегда дальше, чем сильные, он переусердствовал, перегнул палку. Клапье стал разоблачать козни пацифистов. Он решил не складывать рук до тех пор, пока не заставит своих старых соратников, по его примеру, отправиться в Каноссу. Ренегат жаждет каяться вкупе с другими. Горе тем, кто сопротивляется ему! Этот добродушный человек с нежными руками чувствовал, как у него отрастают на кончиках пальцев когти Государства. Его дряблое сердце забилося так бурно, что он возомнил себя Корнелем. Он сделался римлянином. Он готов был, поскольку это от него зависело, повести на заклание всех своих.

Этой ценой он снискал благоволение Брошона. Но он никак не мог понять, почему добрые патриоты вроде Аннеты, теперь, завидя его, поворачиваются к нему спиной.

Аннета была смущена. Она утратила уверенность, которую ощущала в начале войны.

Шли дни, месяцы – тревога росла. Работы у нее было мало – и слишком много досуга для раздумья. И она почуяла тот чудовищный Дух, который завладевал всеми окружающими ее людьми – самыми грубыми и самыми обаятельными. Все было неестественно: и пороки и добродетели. Все – торжественная любовь, геройство и страх, вера в себялюбие, самоотверженная жертва – на всем была печать болезни. И болезнь развивалась, она не обходила никого.

Это тем больше удручало Аннету, что она не сводила болезнь к случайности: она и не думала винить в ней чью-то злую волю, чьи-то козни, ни на кого не возлагала ответственности; она не знала, что такое эта война; она знала, что такое война вообще. Бои, совещания протекали вдали от нее, она не могла разглядеть морду Зверя, но ощущала на своем лице его отравленное дыхание. Более чем когда-либо война представляла перед ней как явление природы (разложение не менее естественно, чем органическое соединение), но явление патологическое, вроде духовной заразы. Обычно никто не выставляет напоказ свою болезнь, а эту выставляют, точно святые дары; ее украшают фразами об идеале и боге, как мясник украшает говяжьи туши позолоченными бумажными цветами. Любая из этих идей, даже самых искренних, была не свободна от фальши, от низкопоклонства перед чудовищем, заражавшим их проказой. Аннета узнавала ее симптомы в себе самой.

Она горела той же страстью к убийству и жертвоприношению, – всем тем, что не признает сердце и чувство, но что окружает ореолом лицемерный разум. Ее ночи были заполнены тяжелой и преступной жизнью сновидений.

Но, быть может, Аннета, если бы дело шло только о ней, и не боролась бы с этим ядом. Ведь он отравлял ее наравне со всеми другими. Ей причиталась некая доля его, как и доля опасностей. Зачем же ей устраняться?

Она переносила бы его высокомерно, с отвращением, запрещая себе лишь одно: прибегать к румянам. Она уступила бы, если б не видела его ужасающего действия на того, кто был ей дороже света очей.

Болезнь захватила и Марка. Гораздо сильнее, чем взрослых, так как его организм был менее защищен. Ничто из того, что совершалось в доме и за его стенами, не укрывалось от Марка. Его глаза и уши, его обоняние, все его тело, как резонатор, ловило нервные токи, исходившие от этих насыщенных электричеством душ. Он был одарен беспокойным, более зрелым, чем его ум, инстинктом, помогавшим ему угадывать таинственные драмы совести.

Раньше других он прозрел судьбу своих соседей, брата и сестры, сквозь обволакивавшую их черную тучу, – прозрел до конца, хотя и не все понимая. Он почуял перемену в Клариссе Шардонне задолго до того, как о ней узнала мать. Аннета все еще думала, что Кларисса в отчаянии от разлуки с мужем, а Марк уже заметил, что птица линяет и облекается в новые перья.

Он следил за ней через стену. Стоило ей выйти за дверь, и он уже спешил на лестницу, чтобы вдохнуть струившийся от нее запах мускуса. Он подмечал малейшие перемены в ее одежде, во всей ее повадке. Будь он ее мужем или любовником, он не уделял бы ей больше внимания. Не то чтобы он любил ее. Но Марка мучило любопытство, далеко не невинное. Эти души, эти тела женщин... Подсмотреть бы, что делается внутри!.. Он угадал ее виновность еще раньше, чем она провинилась. От этого влечение к ней стало еще сильнее. Ему хотелось всюду следовать за ней – нет! проникнуть в ее душу!.. Что происходит под этой грудью?.. Узнать ее желания, ее тайный трепет, ее запретные мысли... Его чувства только еще формировались. Юноша он или девушка?.. И он еще не постигал смысла своего влечения к девушке – хочет ли он быть таким, как она, или хочет обладать ею.

Как-то вечером – было уже довольно поздно – Марк возвращался с матерью домой. На скудно освещенной улице он заметил два блестящих зрачка – или они померещились ему?.. Это Кларисса прошла с мужчиной. У Марка вырвался возглас удивления:

– А!

И он опустил глаза из непонятного ему самому чувства стыдливости – пусть Кларисса не знает, что он видел ее. Аннета, расслышавшая его возглас, осведомилась, чем он вызван.

Марк поспешил отвлечь ее внимание. Ему казалось в ту минуту, что его долг – охранять Клариссу. Но после он упрекал себя за то, что не разглядел как следует, она ли это. Теперь он уже был не уверен. Он пожирал ее глазами... Ее? Нет, неведомую.

Это наваждение преследовало его по ночам. Оно сочилось из всех пор этого дома, из атмосферы этого города, отравленного войной, из горячей земли, накрытой добела раскаленным грозovým небом. Ожидание, тревога, скука, траур, смерть разжигали сладострастные желания. Кларисса была не единственной среди этих душ, оказавшихся во власти наваждения.

Дочь Перрэ не бывает дома: нет отца, который берег бы ее от браконьеров, а мать, поймав дочь, не нашла ничего лучшего, как раскричаться и выставить ее за дверь. Все это тоже не ускользнуло от внимания Марка.

Ее зовут Марселина. Почти так же, как и его... Эта дерзкая девчонка глядит на него исподлобья своими смеющимися глазами с припухшими веками; у нее вздернутый носик, маленький, полный подбородок и губы козлоногого Пана, выпяченные наподобие мундштука духовых инструментов... Он не прочь поиграть на них, но от одной мысли, что он к ним прикоснется, дрожь пробегает по всему его телу – от колен до плеч. Когда они встречаются на лестнице, она называет Марка по имени и бесцеремонно разглядывает его, чтобы вогнать в краску. А он хорохорится и, пряча смущение, называет ее Перрэттой. Она смеется. Они обмениваются взглядами, как заговорщики.

У Пельтье нет дочери. Но и он не менее обещен, – если только считает это бесчестьем. Его жена, хорошенькая болтушка, ловкая, разбитная, носит шелковые чулки и высокие ботинки, зашнурованные на двадцать петель. Она их купила на свои трудовые деньги. Она работает на заводе, но – «сегодня нажил – завтра по ветру пустил...» Вот пословица, как будто созданная для военного времени! Г-н Пельтье – истинный патриот. Г-жа Пельтье – тоже. Она обманывает мужа только с союзниками. Разве он от этого в убытке? Это значит сражаться вместе с ним. Говоря это, она хохочет. Эта задорная галльская женщина лжет себе только наполовину. Боже мой, ведь бедняга муж не в проигрыше от того, что в выигрыше она!.. И не вечно же думать об отсутствующих! Или о прошлом и будущем. У настоящего – большая пасть. Оно все заглатывает, на все зарится. Оно – все. Оно – ничто. Это бездна.

Марк катится в нее. Безумен тот, кого гложет забота о будущем! Еще будет ли оно, это будущее! Кто на него надеется, тот окажется обокраденным. Бери! Угощайся скорей, не дожидаясь, пока тебя станут угощать! Тебе даны зубы, руки, глаза, чудесное тело, усеянное глазками, как павлиний хвост, вбирающее в себя жизнь всеми порами. Бери и бери!.. Люби и познавай, упивайся и ненавидь!..

Марк слонялся по Парижу, забросив школу, взбудораженный, любопытный, выбитый из колеи. Война, женщина, враг, желание – огненный тысячелик Протей – сколько хмельных напитков, которые можно лакать до тошноты!

Сколько вещей, приводящих в восторг, – до того мгновения, когда падаешь, изнуренный, измученный, во славу жизни!.. Уследить за сорвавшимся с привязи жеребенком было очень трудно. Все были поглощены своими мыслями.

Аннета не скоро заподозрила, что не все благополучно. В своем смятении, которое все усиливалось, она не могла оставаться праздною. Уроки, заполнявшие ее досуг, прекратились. Буржуазные семьи сжимались, экономничали, лишая куска хлеба учительниц, – какой от них толк? Аннета пошла месяца на два сменной сестрой в один из парижских госпиталей, на ночные дежурства.

Марк воспользовался этим. Он стал пропадать из дому и блуждал по городу с бьющимся сердцем, принимаясь ко всему, стремясь не столько пережить, сколько увидеть, слишком неопытный, чтобы посметь, слишком самолюбивый, чтобы навлечь на себя насмешки, выдав свое неведение. Он шел, не останавливаясь, не чувствуя под собою ног от усталости, с сухими губами и горячими ладонями, шел наугад, возвращаясь и кружа на одном месте... И очень скоро угодил бы в ловушку, если бы, к счастью, на второй же вечер

этих скитаний, когда он сидел в каком-то подозрительном баре в самом неподобающем обществе, в плечо ему не вцепилась маленькая крепкая рука. Чей-то голос не то сердито, не то смеясь сказал ему:

– Ты что тут делаешь? Сильвия, его тетка... А она-то что здесь делает? И так как Марк за словом в карман не лез, он спросил:

– А ты? Она расхохоталась, обозвала его шалопаем и, зажав его локоть у себя под мышкой, сказала:

– По твоей милости у меня пропадает вечер. Но долг превыше всего! Ты пойман, я доставлю тебя домой.

Он возражал, но тщетно. Она все же согласилась погулять с ним, прежде чем отправиться домой. Тетушка и племянник, очутившись наедине, стали перебрасываться колкостями. Сильвия хорошо понимала, что зверенышу охота побегать, но она была не лишена здравого смысла и знала, как чревата опасностями преждевременная свобода.

– Ты что думаешь, теленок? Я, мол, сам по себе, что хочу, то и делаю?

Нет, погоди! Ты наш. Ты мамин. Музейное сокровище. Хранится под замком.

Сильвия шутила и бранилась. А Марк сердито брыкался. Он не свободен?

А она почему свободна?

– Да ведь я замужняя женщина, друг мой сердечный! Дерзость Сильвии поставила его в тупик. Она лукаво взглянула на него. Он хотел рассердиться, но засмеялся.

– Ладно, я пойман! Но и тебя поймал! Она расхохоталась. Придется им разделить вину пополам. Они погрозили друг другу пальцем, глазами. Она отвела его домой. Но Аннете не выдала. Сильвию отпугивала суровость старшей сестры, ее серьезное отношение к жизни. Она думала:

«Ручью ведь не помешаешь течь. Перегороди его камнем – он заиграет еще веселее».

И вдруг у Аннеты открылись глаза. Она поняла, что неразумно покидать птенца одного в гнезде. Она бросила работу. Да и тошно ей становилось от этого влечения женщин к раненому мужчине, от любви, которая примешивалась к жалости, любви на крови, любви к крови!..

«Не будь гордячкой! И ты это пережила...»

Самый дикий из всех видов лицемерия. Цивилизованный человек-зверь приправляет свои свирепые инстинкты запахом лжи. И этот запах она почуяла в своем сыне. Его, казалось, источала даже одежда, волосы, нежный пушок на теле мальчика... Лишь бы этот запах смерти не успел подобраться к самому его сердцу.

Она страшилась не только смутного пробуждения мужской зрелости, натиска чувств, опьянения маленького фавна, которого Марк не умел скрывать.

Мать, знающая жизнь, ждет этого часа; и если не без трепета сторожит его приход, то и не удивляется: она молча бодрствует и ждет-с грустью, с гордостью, с жалостью – ждет, когда юный мужчина пройдет через неотвратимый искус, когда разорвутся обволакивающие его покровы и он окончательно отделится от материнского организма. Но этот час, который в мирное время мог бы прозвонить, как в тишине полей в нежный апрельский полдень звонят колокола, теперь хрипло бил среди воя бури, закружившей исступленные народы.

Однажды вечером Аннета, уставшая за день от работы и беготни, сидела в Люксембургском саду. Мимо проходил вместе с товарищами по лицу ее сын. Увлеченные спором, они задержались посреди аллеи. Стена деревьев отделяла их от скамьи, на которой сидела невидимая Аннета. Она услышала страстный и насмешливый голос сына, с восторгом говорившего о том близком будущем, когда у «бошей» потребуют за одно око целых два, за один зуб – всю пасть. Мальчуганы уже сейчас втягивали в себя запах добычи, запах пота и крови растерзанного зверя: они корчили из себя сильных людей, не знающих излишней щепетильности, не знающих слабостей. Марк, хвастаясь своей кровожадностью, говорил:

– Боши насильничали, душили, жгли – и правильно! А мы будем вести себя еще почище их. Война есть война. Это будет пиршество. В газетах, само собой, мы будем писать, на утешение дурачкам, о цивилизации. Мы понесем немцам свою цивилизацию.

Ему поддакивали. Он гордился своим успехом. Мальчики без конца облизывались, предвкушая свои будущие деяния, говоря о женщинах, девушках, которых они «оплодотворят (вот это, впрочем, жалко!) благородным французским семенем!..» Эти повесы сами не знали, что болтают. Это были мужчины. А мужчины не знают, какое зло они творят. Но они его творят.

Аннете казалось, что ее оглушили пощечиной. Оскорбление, вылетевшее из улыбающихся уст ее мальчика, ударило ее прямо в сердце, в живот...

Feré ventrem!.. Вот кого она произвела на свет! Волчонка! «Он еще не понимает...» Но не станет ли он еще хуже, когда поймет? Как спасти его от гнусного зова Джунглей?

В другой раз она слышала, как он бесстыдно потешался, уже в ее присутствии, над лакировщиками войны и мира, жрецами бога и права. Своими зоркими глазами он хорошо разглядел героическое лицемерие Жиреров, Бернарденов, плутовавших в своей игре с Крестом и Идеей, лишь бы выиграть начатую партию. Он-то в них никогда не верил; он ни во что не верил (в ту минуту!). Этим детям претили слова, которые без конца мололи своими большими ртами и нечистыми языками старшие: «Справедливость, Республика, Господь Бог...» Слова, слова, духовные, мирские, замешанные на одних и тех же дрожжах...

– О, это фальшивые векселя!.. Меня на них не подденешь!..

Вместо того чтобы возмущаться, Марк громко хохотал. Он находил этот маскарад остроумным, он участвовал в игре. Идеализм и религия вполне пригодны, чтобы застлать глаза пылью или отравить удушливым газом. Самый сильный – это самый коварный...

– Да здравствуем мы! У нас есть все: проповедники и профессора, шарлатаны от религии, печати, парламента!.. Очень полезно лгать «во имя бога, царя и отечества!» («Михаил Строгов»). Из всех человеческих изобретений самое остроумное – это господь бог во всех его разновидностях!..

Этот желторотый Макиавелли щеголял своим веселым цинизмом. Аннета вышла из себя. А разумнее было бы сохранить самообладание. Но Марк затронул ее самое чувствительное место. Вспылив, она крикнула:

– Довольно! Марк удивился.

– Почему?

– Такими вещами не шутят! Он насмешливо уронил:

– Только это и делают!

– За них умирают!

– Ах, я и забыл, что в твоё время они были в моде! Извини.

– Нет, я тебя не извиняю, – придя в ярость, сказала Аннета. – Довольно глумиться!

– Это мой способ быть серьезным, – сказал Марк.

У него был недобрый взгляд, натянутая полуулыбка. Он продолжал:

– И прошу тебя заметить, что я отношусь с уважением к этим вещам.

(Он сделал ударение на последнем слове.).

– Вот этого я тебе и не прощаю, – сказала Аннета. – Все эти вещи: бог, религия – я в них не верю. Это мое несчастье. Но я уважаю тех, кто верует в них. И при виде лукавых людей, которые плутуют со своей верой, – верой, которой у меня нет, – я готова чуть ли не отстаивать ее, я за нее страдаю.

– От нечего делать, – заметил Марк. – А не лучше ли было бы найти ей применение? Это-сила, такая же, как человеческая глупость. Используем ее! Используем обе эти силы! Пусть все служит победе. Я имею право извлекать пользу из веры, раз я не верю сам!

Аннета, пригнув голову, взглянула ему в глаза и сказала:

– Не заставляй меня презирать тебя! Марк отступил на шаг.

Она продолжала смотреть на него блестящими от гнева глазами, пригнув голову: это все еще была телка Юнона, готовая ринуться в бой, Аннета прежних дней. Ноздри ее трепетали. Она отчеканила:

– Я могу стерпеть многое: семь смертных грехов, всевозможные пороки, даже жестокость. Но единственно, чего я не прощаю, это лицемерия. Играть верой, не веря,

плутовать с самим собой и со своими идеями, быть Тартюфом – нет, лучше уж не родиться на свет! В тот день, когда я увижу, что ты так опустился, я стряхну тебя как пыль с моих туфель. Даже если ты безобразен, низок – будь правдив! Уж лучше ненавидеть тебя, чем презирать.

Марк молчал; он задыхался. Оба дрожали от гнева. Гневные слова хлестнули его по щекам; он хотел ответить тем же, больно хлестнуть ее в свою очередь, но у него захватило дыхание. Эта буря застала его врасплох.

Мать и сын впились друг в друга взглядом, как два врага. Но сын, помимо своей воли, сдался первый: он опустил глаза, пряча слезы затаенной ярости; он заставил себя ухмыльнуться; он собрал все силы, чтобы не дать ей заметить свою слабость... Аннета повернулась и ушла. Он скрипнул зубами.

Он готов был убить ее!..

Слова, как раскаленное железо, оставили ожог. Аннета, едва очутившись за дверью, уже раскаялась в своей резкой выходке. А она-то думала, что преодолела свою вспыльчивость! Но буря собиралась уже несколько месяцев;

Аннета чувствовала, что вспышка эта не последняя. Теперь ее слова показались ей ужасными. От их резкости ей стало почти так же стыдно, как ее сыну. Она попыталась получить прощение и при следующей встрече заговорила с ним ласково и нежно, как будто все уже было забыто.

Но Марк не забыл. Он держал ее на расстоянии. Он счел себя оскорбленным. В отместку он старался – раз ее так прельщала искренность – говорить и делать все, что могло ее ранить...

(«А! Ты предпочитаешь жестокость!..»).

Он умышленно оставлял на столе письма и заметки для своей газеты, где говорил ужасные вещи о войне и неприятеле, иногда даже непристойности.

Марк старался подметить, какое впечатление это произведет на мать. Аннета мучилась; она понимала его игру и сдерживалась, но вдруг теряла самообладание. Марк с торжеством объявлял:

– Я говорю правду.

Однажды вечером, когда мать заснула, Марк ушел. Он вернулся утром, ровно в двенадцать, к завтраку. Аннета за это время прошла через все стадии тревоги, гнева, боли. Когда он явился, она не сказала ему ни слова. Они позавтракали. Марк с удивлением и облегчением подумал:

«Она смирилась».

Молчание нарушила Аннета:

– Сегодня ночью ты удрал, как вор. Я тебе доверяла. Теперь я это доверие утратила. Ты обманул его не впервые, я знаю. Унижаться, унижать тебя, днем и ночью заниматься слежкой – этого я делать не стану. Ты пустишься на хитрости и вконец изолжешься. Я увезу тебя отсюда. Здесь мне тебя не уберечь. Здесь зараза носится в воздухе. Ты недостаточно крепок, у тебя нет сопротивляемости. Все твои слова и поступки за последние месяцы показывают, что ты восприимчив ко всяким микробам. Ты уедешь со мной.

– Куда?

– В провинцию. Я хочу поступить учительницей в коллеж.

Марк крикнул:

– Нет! Самонадеянность сразу соскочила с него. У него не было охоты расставаться с Парижем. Пришлось перейти на просительный тон. Положив свою руку на руку матери, он сказал нежно и настойчиво:

– Не уезжай!

– Я уже получила назначение.

Он отдернул руку, взбешенный тем, что даром унижался. А между тем Аннета уже начала сдаваться. Лаской из нее можно было веревки вить.

Она сказала:

– Если бы ты пообещал мне...

Он сухо прервал ее:

– Никаких обещаний. Прежде всего ты мне не веришь; ты сама сказала, что я буду лгать... Очень мне нужно лгать! Говорю тебе прямо: это будет повторяться и впредь. Ты не имеешь права насиловать мою волю.

– Вот как! – сказала Аннета. – Я не имею права знать, где ты проводишь ночь?

– Ты меньше, чем кто-либо!.. Мои ночи, моя жизнь – это мое!

С языка сорвалось страшное слово. Понял ли он это? Аннета побледнела.

Марк тоже. У обоих слова были беспощаднее, чем мысли, но, быть может, не так беспощадны, как мрачная и дикая злоба инстинкта, который знает, какие наносит удары, и бьет уверенно. Это молниеносные, немые ошибки; рука разит прежде, чем мозг успеет рассчитать, и по безмолвному уговору никто не говорит:

«Я ранен!»

Но удар нанесен, и душа отравлена.

Теперь при каждом слове, которое они бросали друг другу, расстояние все увеличивалось. Аннета слишком ясно видела недостатки мальчика и унижала его, указывая на них. И тогда он начинал кичиться ими. Он не признавал за ней ни малейшего авторитета. Этот высокомерный тон, эта обидная строгость могли толкнуть его на самые нелепые слова и действия. Нет, он не покорится... Аннета предложила ему одно из двух: либо он поедет с ней в провинцию, либо она отдаст его в закрытый парижский лицей. У него вырвался крик гнева. Неограниченная власть, которой мать воспользовалась в борьбе против него, казалась ему ужасной. И, взбешенный, он выбрал, наперекор ей, затворничество.

– Что же ты предпочитаешь?

– Все, что угодно, только не быть с тобой! Простились холодно. Между ними стояла ненависть... Где-то в глубине притаилась любовь. Любовь, опьяненная злобой. Любовь раненая: она страдает, истекает кровью и мечтает о мести...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Ведомство народного образования, растеряв учителей-мужчин, обратилось за помощью к женщинам. Аннета, с ее двумя дипломами, была направлена в мужской коллеж, в один из городов Центральной Франции.

Она уехала в начале октября 1915 года.

Как хороша была осень! Поезд подолгу стоял среди полей, и тогда слышно было, как заливались в виноградниках дрозды; тихие реки плавно катились по лугам и словно волочили за собой длинный шлейф, обшитый золотыми листьями. Аннете были знакомы этот край и его обитатели, их медлительная, чуть-чуть насмешливая речь. Ей казалось, что отравленная Душа, от которой она бежала, уже невластна над ней. Она корила себя за то, что не вырвала у нее сына.

Но Аннета очень скоро опять встретилась с ней. И до этих плодородных сонных провинций дотянулась грозная туча. В Артуа и в Шампани шли в то время ожесточенные бои. В тыл отводили партии пленных.

На одной из остановок Аннета увидела возле станции толпу, которая сгрудилась, галдя, вокруг частокола, огораживавшего строительную площадку. Туда загнали, как скот, на несколько часов или несколько дней целый гурт немцев, которых уже около недели возили с места на место, не зная точно, куда и когда их доставить: у всех были заботы поважнее. Все население городка – от мала до велика – устремилось на вокзал, чтобы поглазеть на загнанных в клетку зверей. Это был своего рода бродячий цирк.

Бесплатное зрелище. Пленные в полном изнеможении валялись на песке. Немые, ко всему равнодушные, они обводили тусклым взглядом круг насмешливых глаз, которые смотрели на них сквозь щели ограды. Весело оскаленные рты стреляли в них плевками. Некоторые из пленных были в жару. Они дрожали, как побитые собаки, измученные стыдом,

злостью, страхом. Холодные, ненастные ночи вызвали среди них эпидемию дизентерии. Пленные облегчались на куче навоза, в уголке загона, на самом виду. И каждый раз зрители разражались оглушительным хохотом. Отчетливо были слышны взвизгивания женщин и звонкие голоса детей. Хлопая себя по ляжкам, виляя бедрами, корчась, женщины широко разевали рот в приступе смеха. Это была не злоба. Полное отсутствие человечности. Животное забавлялось... Смех торжествующей толпы всегда напоминает рев зверя. На этот раз сходство было до ужаса полное. По обе стороны ограды осталась только горилла. Человек исчез.

Вернувшись в вагон, Аннета, точно во власти галлюцинации, стала безразлично рассматривать бородатые лица соседей и золотистый пушок на своих руках.

Эта картина первое время неотвязно преследовала ее и в старом коллеже, где ей предстояло преподавать. Он был расположен в низине. Раньше там помещался Ботанический сад... Ботанический сад! Какая ирония! Из шершавой и желтой, как Толедская пустыня, земли была вырвана вся растительность до последней травинки. Среди длинного двора, куда вела узкая, как отверстие гильотины, калитка, на клочке пространства, сдавленном со всех сторон тюремными стенами, с которых глядели гнойные глаза окон, росло единственное, упорно цеплявшееся за жизнь дерево – старый платан, захиревший, немощный и кривой. Маленькие звереныши ногтями сцарапали с него всю кору: куда только доставали их лапки, там не росло ни листка, а ствол был весь в рубцах от ударов ногами. Казалось, все – и стар и млад – сговорились укорачивать жизнь. Государство укорачивает жизнь человеческих детенышей, а они вымещают это на природе. Разрушать! Разрушать!..

Вот задача, которую берут на себя и мир и война. Это составляет половину воспитания.

За одной из четырех стен струился ручеек, загрязненный кожевенными заводами. Тошнотворный запах просачивался в сырые классы, где, в свою очередь, распространяло зловоние загнанное туда стадо малышей. Их ноздри были, казалось, закупорены. Всего их было человек двенадцать, самое большее – двадцать; они корчились на жестких партах в желтом от копоти воздухе, проникавшем в комнату через зеленоватые оконные стекла со двора, где дымился туман поздней осени. Хрипела раскаленная добела чугунная печка (дрова имелись в изобилии); когда духота становилась нестерпимой, открывали дверь (окон не открывали никогда): в комнату врывался туман вместе с запахом кожи – кожи, которую дубят. После запаха живой кожи его находили освежающим.

Но женщина, как бы она ни привыкла к изысканной обстановке, к здоровому аромату чистоты, легче мужчины умеет притерпеться к самым ужасным условиям. Это особенно заметно у постели больного: ее глазам, ее пальцам неведомо отвращение. Обоняние Аннеты покорило необходимости. Она, как и другие, вдыхала, не морщась, запахи этой норы. Притерпеться к запаху душ было труднее. Ее ум был не так уступчив, как чувства.

Но зато здесь не было Души, охваченной лихорадкой страстей – борьбы, ненависти, скорби. Аннета скрылась от нее... Чего же ей еще! Казалось бы, надо радоваться. Она нашла покой бесстрастия.

Мягкая земля не знает здесь горя. Тучная, плодородная, она дремлет в долине, словно зарывшись в пуховик и положив голову на подушку холмов, чтобы слаще храпеть; она не грезит о мире, который раскинулся за ее изголовьем. Спокойная земля, воздержанный народ, трезвые, уравновешенные умы. Не на этой земле бог умер за всех людей. Не за эту землю страдает распятое человечество.

Аннете она знакома с детства: отсюда родом ее отец. Некогда она наслаждалась этим покоем, этой неподвижностью. А теперь? Она завидовала этому здоровью. А теперь?..

Ей вспоминаются слова Толстого, но они применимы не только к женщинам: «Существо, не знавшее страданий и болезней, здоровый, слишком здоровый, всегда здоровый народ – да ведь это чудовище!..» Жить – значит умирать каждый день и каждый день сражаться. Провинция умирает, но она не сражается. Она трезва, себялюбива, насмешлива, и дни ее блаженно и плавно текут – так же как ее безмятежные реки, не выходя из берегов.

Были, однако, времена, когда эта земля была охвачена пламенем. Древний бургундский город... Три горделивые церкви с остроконечными готическими башнями из белого камня, покрытого бронзовым налетом и источенного временем, как ржавый панцирь, – церкви, чьи силуэты воинов Христовых высятся над змеящейся рекой; их безголовые, выстроившиеся в ряд статуи святых; их разбитые, как бы в сгустках запекшейся крови, окна; сокровища собора, ковры Гаруна и тяжелые драгоценности императоров Карла, сына Карла, отцов и дедов Карла; развалины стрельчатых башен и крепостных стен времен английского владычества-все говорит о былой могучей жизни, об алой крови, о золотом посохе знаменитых епископов, об эпических сражениях, о Герцоге, о Короле – о королях (который из них настоящий?), о том, что здесь побывали войска Орлеанской девственницы.

Теперь улицы пустынные. Среди стен городских домов с узкими проемами дверей, поднятых на одну ступеньку и запертых на крепкие запоры, можно издали услышать гулкий шаг прохожего, неторопливо идущего по старой мостовой, а в небе – крики грачей, в своем тяжелом лете обводящих черным ореолом церковные башни.

Раса вымирает. И блаженствует. Места у нее достаточно. Земля богата соками, потребности удовлетворены, стремления ограничены. Беспокойные искатели счастья из поколения в поколение отправлялись на завоевание Парижа. Оставшиеся находят, что им стало просторнее. Постель свободна: ворочайся сколько хочешь. После войны простору будет еще больше. Она берет сыновей. Но не всех. А беспокоиться заранее – для этого не хватает воображения. Между тем трезвый рассудок уже прикидывает, велики ли выгоды.

Легкая жизнь, вкусная еда, кинематограф и кафе; в виде идеала – казарменный рожок, а для будничного обихода – конный базар. Люди веселы, никого не волнует чехарда новостей, наступлений, отступлений: здесь знают этому цену. О русских, отступающих перед немцами, говорят:

«Ну, если эти парни будут продолжать в том же духе, они соединятся с нами кружным путем, через Сибирь и Америку!...»

Благоденствие сгладило острые углы, смягчило твердость, жестокость...

(Стой! Берегись, брат! Не очень-то доверяйся!...).

Спокойствие... Сонная истома... Аннета, ты недовольна? Ведь ты искала мира?

«Мира?.. Не знаю. Мира?.. Пожалуй. Но не мой это мир. И не в этом мир...»

«Ибо мир не есть отсутствие войны. Это добродетель, родившаяся из душевной силы».

От сонного царства старой провинции, замыкаемой кольцом холмов с их виноградниками и пашнями, удобно расположившейся в самом центре Франции, куда гул военных орудий доносится глухо, куда не докатился поток войск, сделав петлю, как река, огибающая незыблемый горный массив (два года спустя здесь раскинут лагерь американцы и внесут оживление в сонный городок, но скоро прискучат ему), – от этого сонного царства несет тем же душком, что и от школьных классов, где за плотно запертыми дверями и окнами, под гудением печки, души и тела маленьких людей варятся в собственном соку.

На три четверти это сыновья мелких буржуа или зажиточных крестьян, владельцев пригородных усадеб; некоторые (двое-трое на класс) – сыновья знатных горожан, принадлежащих к «сливкам» местного общества: старой судейской буржуазии или чиновничеству. Их нетрудно отличить, хотя на всех лежит отпечаток замкнутости, накладываемой на лица малышей школьным воспитанием и молчаливым сговором против учителей, и хотя эти мордочки при всем их разнообразии носят на себе следы пальцев скульптора, создавшего эту породу людей из местной глины. Того же скульптора, который изваял каменные статуи в их церквях. Сходство бросается в глаза. Эти кабаньи головы можно было бы без особого ущерба насадить на статуи безголовых святых (ну и святые!), приютившихся в нишах. Малыши – самые доподлинные правнуки своего собора. Это отраднo: «Жив курилка!» Но не очень успокоительно. По совести говоря, наши святые из собора порой бывают порядочные жулики. Или ханжи... У Аннеты в ее загоне можно было найти оба сорта, но в разжиженном виде. Когда старое вино разливают по бутылкам, букет уже не тот.

В лицах мальчиков самого неблагодарного возраста – лицах костлявых или пухлых, не правильных, нескладных, перекошенных, Аннету особенно поражали две черты: грубость и хитрость. Внешность – типичная для местных уроженцев: длинный, кривой нос – характерный нос Валуа, маленькие блестящие настороженные глазки, при смехе – преждевременные морщинки на висках, мордочка лисенка с желтыми клыками, склоненная набок и вытянутая, чтобы посмеяться или погрызть – резинку, ногти, бумажный шарик... Аннета на своей кафедре чувствует себя охотником, стоящим у самого логова зверя. Охотником или добычей? Кто окажется дичью – она или они? И она и они подкарауливают друг друга. Надо держать палец на курке. Кто первый опустит глаза – берегись!

Сдаться пришлось им... После первого осмотра, бесцеремонного разглядыванья, хихиканья, шушуканья и жестоких тычков в бок соседу веки опустились. Но из-под них – притаившийся, коварный взгляд. И это еще опаснее!

Вы не можете поймать взгляд, а сами пойманы. Малейшее ваше движение будет подмечено и подчеркнуто гримасой, которую мигом состроят все как один. Настоящий беспроволочный телеграф! Все кажутся неподвижными, невинными (в буквальном и в переносном смысле слова), но под партой ерзают ноги, башмаки царапают пол, руки шарят в глубине кармана или щиплют соседа за ногу, глаза подмигивают, а язык упирается в щеку, образуя на ней бугор. Они ничего не видят – и видят все. Минутная рассеянность учителя – и по всему классу проходит зыбь.

Все это хорошо знакомо учителям, и хотя Аннета впервые подвизается на этом поприще (до сих пор она давала только частные уроки), она с первых же шагов чувствует себя уверенно: у нее прирожденное педагогическое чутье. Даже замечтавшись, она при первом же сигнале опасности берется за оружие, и эти волчата, эти лисята, готовые воспользоваться рассеянностью и с перекошенной пастью подкрасться к добыче, останавливаются перед огнем ее властного взгляда... А они-то надеялись вдоволь потешиться над этой женщиной, назначенной им в пастыри!..

По мнению этих маленьких мужчин, место женщины – дома или за конторкой. Там – ее царство; там они замечают и голову ее (она у нее неплохая). и порой ее ладони (она скоро на руку!). Но когда женщина выходит на улицу, их интересуют другие ее стати. Как они рассматривают ее!..

Большинство ничего не знает – или почти ничего. Немногие получили боевое крещение. Но никто не хочет сознаться в своем неведении. А как они говорят об этом, как они грубы, эти малыши! Если бы женщины подозревали, что о них можно услышать среди табуна подростков – о них, обо всех тех, кого может поймать и ощупать взбаламученное воображение подростков в узком кругу повседневной жизни – о сестрах, замужних и незамужних женщинах, о госпожах и служанках, обо всех, кто носит юбку, будто то юбка господ бога! Щадят по безмолвному соглашению мать, да и то не всегда. И если является женщина, которая не связана ни с кем, которую никто не охраняет (которой никто не обладает: ведь ничто не делается даром), у которой нет ни мужа, ни сына, ни брата, то эта женщина, всем чужая, – добыча. Тут уж полный простор и умам и речам!

Да, но такую добычу, как Аннета, голыми руками не возьмешь. Кто начнет? И с чего начать?

Странная женщина! Вот они украдкой зубоскалят, шаря по ней глазами, а она смотрит на них своим уверенным, жестким или насмешливым взглядом, от которого соленое словцо застрекает в глотке; она ставит их в тупик своей дьявольской догадливостью.

– А ну, Пилуа, – говорит она, – вытри рот. Запашок, знаешь ли, не из приятных!

Он спрашивает, от чего запашок.

– От того, что ты сказал.

Он уверяет, что ничего не говорил, а если что и сказал, то тихонько, – она не могла расслышать.

– Не слышала, так угадала... Уходите из класса, когда вам надо облегчиться! Я не могу почистить ваши мозги, но пусть по крайней мере рот остается чистым.

Они озадачены. На минуту. Откуда у нее эта смелость тона и взгляда, эти замечания, падающие на них как шлепки? Она раздает их без запальчивости, уверенной рукой, которой она сейчас так спокойно проводит по своим золотистым бровям... Кольцо снова смыкается вокруг нее – глаза, смотрящие украдкой, исподлобья. Аннета чувствует, что ее исследуют всю, от головы до пят. Она не опускает взора и, не давая мальчуганам передышки, сыплет неожиданными вопросами направо и налево, держа их мысль в постоянном напряжении. Она хорошо знает, что жужжит внутри этих маленьких, ничем не занятых мозгов, жужжит, как рой мух, вылетающих весной из густо разросшихся глициний. Знает... А если не знает, то уж они постараются открыть ей глаза.

Вот сын торговца лошадьми, пятнадцатилетний толстяк Шануа, – хотя ему можно дать все семнадцать, – приземистый, плотный, веснушчатый, с квадратным черепом, белесыми и короткими, как у свиньи, волосами, огромными лапищами и обгрызенными до мяса ногтями, грубый и лукавый, зубоскал и задира. Когда он шепчется, внутри у него что-то гудит, точно большая муха на дне горшка. Он впивается взглядом в Аннету, оценивает все ее стати и прелести, причмокивает языком, как знаток: он бьется об заклад (увидишь, старина!), что объяснится ей в любви. Когда она обращается к Шануа, он таращит на нее свои рыбы гляделки. Она высмеивает его. Раздосадованный Шануа клянется, что еще поиздевается над этой красоткой. Он подстраивает так, что она застает его как раз когда он занимается рисованием непристойных сценок. И ждет: что будет? Он делает бесстрастное лицо, но жилет у него трясется от смеха, ушедшего куда-то в живот. А другие щенята с ним в заговоре и заранее твякают от удовольствия, устремив взгляд на жертву, на ее лоб, на ее глаза, на ее длинные пальцы, сжимающие листок бумаги. Аннета, однако, и глазом не моргнула. Она сложила листок и продолжает диктовать. Шануа, хихикая, пишет вместе со всеми.

Кончив, Аннета говорит:

– Шануа, вы вернетесь на несколько недель на ферму, к отцу. Здешний воздух вам не впрок. Ваше место – в поле, среди лошадей.

Шануа уже не смеется. Его зад не стремится возобновить знакомство с сапогами отца. Мальчик протестует, спорит. Но Аннета неумолима:

– Ну же, собирайтесь, да попроворней, молодой человек! Здесь у вас слишком тесное стойло. А там – приволье. Да и скребницей по вас пройдутся. Вот пропуск для инспектора.

Она пишет на листке бумаги:

«Временно исключается. Отправить домой».

Она говорит ученикам (а те слушают, разинув рот):

– Дети мои, не трудитесь понапрасну. Вы хотите запугать меня, потому что я женщина. Вы отстали на несколько столетий. В наше время женщина выполняет тот же труд, что и мужчина. Она заменяет его на тяжелой работе. Она живет той же жизнью. Она не опускает глаз перед... Вы корчите из себя мужчин? Не торопитесь! Этого достигнуто все, даже самые недалекие.

Весь вопрос в том, будете ли вы разумными людьми, мастерами в ремесле, которое себе выберете. Наша задача – помочь вам в этом. Но мы вам не навязываемся. Давайте говорить начистоту! Мы работаем для вас. Хотите вы или не хотите понять это? Да или нет? Если да, значит, так себя и ведите!

После нескольких неудачных попыток они убеждаются, что перевес не на их стороне. И вот молчаливый договор заключен. Границы, разумеется, надо зорко охранять. Иначе договор превратится в клочок бумаги. И они охраняются. Но при этом складываются нормальные отношения. Мальчики перестают спорить с поставленной над ними силой. И так как их союз становится бесцельным, они, естественно, распадаются на отдельные единицы. Среди племени Аннета начинает различать индивидуальности. Немногие из них – трое или четверо на все шесть классов – вызывают в ней симпатию, но показывать ее нельзя. Это мальчики с более тонкой душой и более развитым умом; чувствуется, что в них, где-то глубоко, начинают вызревать более сложные мысли; они отзываются на слово, на проблеск

внимания, на взгляд; другие почти всегда относятся к ним подозрительно или преследуют их. Эта известная аристократичность, естественно, навлекает на них вражду всего племени: раз они чувствительны, значит, надо заставить их страдать. Нет смысла выказывать им предпочтение – они за это отплатят. И, что еще хуже, они постараются извлечь из него выгоду; эти маленькие актеры, как только почувствуют интерес к своей особе, начинают и сами считать себя интересными, хотят производить впечатление, и в душу их прокрадывается фальшь: ведь все они из той же породы – наивных и бесстыдных циников. И Аннета принуждает себя казаться бесстрастной. Как хотелось бы ей взять кого-нибудь из них на руки – за отсутствием того, кого ей так не хватает!.. Далекий Марк всегда с нею. Она ищет его в каждом из своих учеников. Она сравнивает его с ними. И хотя Аннета – на то она и мать – не находит никого, кто мог бы сравниться с Марком, она силится обмануть себя, живо воображает его на их месте, перед собой, видит его; хочет разгадать их, чтобы разгадать его. За неимением лучшего – это зеркала, не слишком сильно искажающие образ потерянного сына, блудного сына, который вернется. Что же они отражают?..

Увы, они отражают взрослых! Их идеал ограничен: быть тем же, чем были их предшественники, люди предыдущего поколения (и эту силу прошлого, которая пятится назад, определяют словом «пред-шествовать»!). Рождаются они каждый со своими чертами, но еще до поступления в школу эти особые черты становятся едва уловимыми: дети отмечены печатью, наложенной их владельцами-отцами, которые, в свою очередь, носят на себе штамп родства со своими предками, общности породы. Они уже не принадлежат себе. Они принадлежат безыменной Силе, которая целые века собирала в городах этих степных собак, повторявших все одни и те же движения, лаявших одинаково, наново строивших одни и те же конуры мысли. Коллеж – это мастерская, где обучают технике обращения с машиной мысли. Что могут сделать одиночки, стремящиеся освободить этих детей? Прежде всего их следовало бы отучить от привычки напирать на себя мысли взрослых. А между тем вся их гордость и состоит в том, чтобы разыгрывать из себя «больших». Чем меньше у них собственных мыслей, тем больше они гордятся и радуются... Ах, боже мой! Ведь так же ведут себя и взрослые. Они приходят в восторг, если могут освободиться от личного мнения (какая обуза!), утопить его в мышлении оптом, в мнении массы, именуется ли она Школой, Академией, Церковью, Государством, Родиной, или никак не называется, а является Видом, этим подслеповатым чудовищем, которому приписывают божественную мудрость... А оно ползет наудачу, шаря прожорливым хоботом в илистом болоте, откуда оно некогда вышло и где оно потонет... (Сколько тысяч видов уже бесследно кануло в него! Но неужели и мы не в силах будем отстоять наш вид?).

Над болотом светятся блуждающие огни. И кажется, что отсвет их мерцает в глазах некоторых из этих малышей... Аннета старается его уловить...

Что они думают о жизни? Что они думают о смерти? Эта война, этот шквал, бушующий у подножия холмов, там, вдали, на горизонте, – как отзываются они под этими маленькими непроницаемыми лбами?

Отзыв находит у них только тра-та-та, звон литавров, грохот взрывов, картинки из «Иллюстрасьон» – далекое зрелище, которое становится скучным, если оно затягивается: уж очень все это приедается!.. Гораздо сильнее захватывают школьников бильярд или пари, которые они заключают. Или их классные интриги. А когда они вырастут, их увлекут домашние дела, барыши, потери.

Однако там, в окопах, у них есть родственники. Многие уже пострадали.

Разве дети не вспоминают о них?

Если и вспоминают, то без волнения. Зато они не прочь хвастнуть ими.

Они тогда и сами чувствуют себя героями, так сказать, по доверенности.

Известия, приходящие с фронта, предварительно фильтруются. Ужасы войны рассматриваются с комической точки зрения. Будэн говорит, громко смеясь:

– Да, друг ты мой! Брат пишет, что они там сидят по самую шею в дерьме.

Корво говорит, что бошей закалывают ножами. Он показывает, как это делается. Он

видел, как бьют свиней.

Когда они описывают друг другу, как рвутся снаряды, у них весело блестят глаза. Колокольни, деревья, кишки и головы летают в их воображении, словно какие-то варварские игрушки. Их занимает только декоративная сторона событий. Да, раненая плоть, кровь, – они все это представляют себе, и даже с некоторым удовольствием, порой испытываемым мальчиками, когда они шлепают по грязи. Но крик души, который в этом слышится, не достигает их ушей.

Вернувшиеся с фронта ничего не делают для того, чтобы они услышали этот крик. Старший брат Корво приехал на побывку. Он рассказывает мальчуганам:

– Был у меня приятель, он загребал деньги – продавал трубки невзорвавшихся снарядов. Он ловко отвинчивал их своими десятью пальцами, – проворен был, как обезьяна, – и подбирал их еще не совсем остывшими. Я говорил ему: «Осторожнее!» А он мне: «Что там! Дело привычное!» Однажды я был в двадцати шагах от него, за деревом. «Брось! – кричу. – Добром это не кончится...» А он: «Всего бояться!..» Бац! Снаряд разрывается прямо ему в лицо... Пропал бедняга!.. Гляжу – и звания не осталось...

Он смеялся до упаду. И мальчуганы вместе с ним. Аннета, ошеломленная, слушала. Что крылось под этим смехом? Воспоминание об уморительной шутке? Нервное возбуждение? Или ровно ничего?

Она отозвала смешливого рассказчика в сторону и спросила:

– Скажите, Корво: что, там и в самом деле так весело?

Он посмотрел на нее и стал опять балаганить. Но она не смеялась.

– По правде говоря, хорошего там мало, – сказал он и разразился потоком горьких признаний.

Аннета спросила:

– Но почему же вы не говорите им все как есть? Он махнул рукой:

– Нельзя. Не поймут... Да и слушать не захотят... И потом – к чему?

Ведь сделать мы ничего не можем.

– Потому что не хотим.

– Не наше дело – хотеть.

– Если не ваше, то чье же? Озадаченный Корво ответил:

– Да вот... Начальства...

Не было смысла продолжать этот разговор, не было смысла напоминать ему:

«Начальство существует благодаря вам. Вы и создаете его».

Корво продолжал врать и бахвалиться, как в тот же вечер убедилась Аннета. Это было для него потребностью. Одурачить он стремился не других, а себя.

Если люди, побывавшие на фронте, не способны видеть правду, желать ее, так чего же ждать от тех, кого это испытание пока миновало, – от детей?

Они не знают жизни. Они зачарованы словами. В звонком слове они не ищут смысла. Аннета задала им сочинение на тему: кто кем хочет быть.

Бран мечтает стать офицером – один из его дедушек был военным. Мальчик с гордостью пишет:

«Разве река не возвращается всегда к своим истокам?»

Война служит им поводом для зубоскальства. Старшие-те, кто будет призван, если она затянется на годдругой, – повторяют пустые речи, которые они слышали от каких-нибудь старых шутов:

– Если вас пронзит пуля, вы и не почувствуете боли? Вставайте, мертвецы!..

Будущий героизм освобождает их от всяких усилий в настоящем. Они не желают «пальцем шевельнуть». Они говорят:

– После войны не придется тянуть из себя жилы. За все заплатят боши... О, их уж запрягут!.. Но-но, лошадка!.. Мой отец сказал, что купит с полдюжины этих стервецов и подкует их... Но-но, живей!..

Кто пограмотнее – сын председателя суда, сын адвоката – наслаждается напыщенным

красноречием газет. Лаведан – это их Корнель. Капюс – Гюго.

Остальные пробавляются поддельными снимками в иллюстрированных листках.

Аннета делает опыт. Она забрасывает удочку. Читает своим ученикам главу из «Войны и мира» – о смерти юного Пети – чудесные страницы, насыщенные октябрьским туманом и мечтами деревца, которому не расцвести...

«Был осенний, теплый, дождливый день. Небо и горизонт были одного и того же цвета мутной воды. То падал как будто туман, то вдруг припускал косой, крупный дождь».

Сначала они слушают плохо. Русские имена их смешат, а имя юного героя вызывает бурю веселья. Наконец они стихают, как рой мух, спокойно усевшихся на край чашки. Умолкают и шикают на болтунов, и только у одного надуваются щеки каждый раз, когда Аннета произносит имя юноши, – так до конца и не удается пробить броню его тупоумия. Остальные не спускают глаз с Аннеты... Когда она дочла, послышались зевки. Некоторые вознаграждают себя за продолжительную неподвижность шумной возней. Есть и такие, которым не по себе, они чем-то недовольны, они глубокомысленно бормочут:

– У русских не все дома!..

А некоторые, не умея выразить свои чувства, говорят:

– Здорово!..

Остальные не говорят ничего. Это те, которых проняло. Но в какой мере и чем? Трудно сказать. Ведь из них нельзя извлечь ни одного звука, идущего от сердца.

Аннета приглядывается к одному из своих слушателей – щуплому блондину с длинным носом, тонкими чертами лица и старательно приглаженными волосами; у него впалая грудь, он покашливает и смотрит искоса. Это умный, робкий мальчик, довольно замкнутый, как все дети, которые чувствуют свою слабость и боятся открыть свою душу. Аннете показалось, что чтение задело его за живое. Поднимая глаза от книги, она замечала взгляд взволнованного мальчика, который спешил снова уткнуться носом в тетради. Этот ребенок способен думать о страдании, потому что сам он – хилое, нервное существо, – часто ведь ключом к жалости является эгоизм. Кто страдает сам, тот скорее откликается на страдания других.

По окончании занятий Аннета подзывает его к себе. Она спрашивает, понравился ли ему Петя, его юный брат. Мальчик заливается краской, он смущен. Аннета напоминает ему о сне, который приснился в последнюю ночь чуткому к поэзии ребенку. Как прекрасна была эта жизнь! Могучая и хрупкая жизнь! Жизнь, которая могла бы быть! Жизнь, которой не будет!.. Понял ли он?.. Мальчик отвечает кивком, опускает глаза. Но она уловила в них засиявший луч...

– А тебе не приходило в голову, что и ты мог бы быть на месте Пети?

Он возражает:

– О, я не буду воевать! Я слабого здоровья. Мне сказали, что я останусь в тылу.

Он утешается и как будто хвастает своим слабым здоровьем.

– А остальные? Твои товарищи? Это ему безразлично! Он торопливо отыскивает в своей памяти фразы, которые полагается приводить в таких случаях: «Умереть за родину...» Другие могут идти на смерть. К нему возвратилась самоуверенность. Казалось, кто-то задул свет...

Впрочем, кто знает?

Аннета несправедлива. Она не видит оснований для надежды. А их немало.

Это племя славных людей, эти эгоисты, спокойно жующие свою жвачку, имеют право поспать. Они проделали долгий путь. За плечами у них Крестовые походы и Столетняя война. Это не молодит их, но говорит о крепости породы. Они так много видели, так много действовали, вынесли, выстрадали!.. И они смеются! Не чудо ли это? Кто смеется – тот живет и не склонен отречься от жизни...

В мире, который недоволен существующим, это племя приемлет существующее. Оно не знает ненависти и зависти к соседу: для него нет ничего лучше собственного дома, ничего заманчивее, как оставаться у себя; привыкнув к удобной жизни за сорок пять лет мира и спокойствия, оно испытывает отвращение к войне... Но если надо, оно без промедления и

без ропота облачается в военные доспехи... Как они послушны, эти забияки! Они готовы пожертвовать всем – без особого, правда, пыла, – потому что «так полагается», «так повелось спокон веку»... В зависимости от точки зрения они кажутся то нелепыми, то трогательными. Это добродушное и равнодушное приятие действительности – черта, присущая мелким людям, но есть в ней и некоторое величие.

А дети – что мы о них знаем? То, что вырывается наружу, это только игра. Настоящая работа происходит внутри. Учителям и родителям видна лишь молодая кора. О ребенке вам известно только то, что делает его ребенком. Вы не видите вечной Сущности, у которой нет возраста и огонь которой тлеет в сокровенных глубинах души, будь то душа взрослого или ребенка. Вы не можете знать, не вырвется ли оттуда этот огонь... Побольше веры!.. Побольше терпения!..

Но у Аннеты их не было.

Она напоминала сильного пловца, который хочет перебраться через реку и бросается вплавь против течения. Или перелетных птиц, летящих против ветра.

В Париже она чувствовала вокруг себя миазмы лихорадки и искала свежего воздуха, а пока выставляла заслон: волю и спокойствие... Здесь же, натолкнувшись на стену равнодушия, она услышала зов страдания.

Аннету снедает тревога. Она недовольна другими, но лишь потому, что недовольна собой. Они именно то, чем должны быть, они в ладу со своей природой. А она? В ладу ли она со своей? Что она делает здесь? Вот уже год, как она покорно отдается на волю судеб, куда-то влекущих ее народ.

Сначала она находила в этом острое наслаждение; потом это стало привычкой. Теперь появилась усталость. Какая-то внутренняя сила в ней – притаившаяся, далекая – возмущается. Аннета не совсем ясно понимает эту силу и бессознательно мучается своей виной перед ней. И это неопределенное чувство вины окрашивает все, что она видит, – маленький мирок, замыкающим ее горизонт, человечество в миниатюре. На лицах детей она улавливает печать пороков, которыми наделены взрослые. Видит их судьбу, их бесцветное будущее, задворки, куда загонит их жизнь. Видит собственного сына, затерявшегося в толпе безвестных людей, в этом муравейнике, этом потоке, который движется неизвестно куда. Видит самое себя, бездетного муравья-рабочего, уныло выполняющего свою механическую работу. Ей кажется, что все эти дети – даже ее сын – родились от чудовищной и бездарной матки-Природы... Душа Аннеты иссушена, во рту у нее горечь.

Все ускользает от нее. Не только сын, отсутствие которого причиняет ей жестокую боль... Она сама от себя ускользает.

И сын страдает от ее отсутствия... Но он никогда не признается в этом.

Он расстался с ней, взбешенный тем, что она отреклась от него, бросила его в тюрьму, сковала... Сковала?.. Но мы еще посмотрим!..

Целый месяц он не писал ей. Она написала ему одно, второе, третье письмо, сначала в матерински-нежном, но строгом тоне, намекая, что, если он исправится, она его простит (простить! Простить его!.. Этого он никогда не простит!), потом сердито выговаривая ему за продолжительное молчание, наконец, в тревоге, измученная страхом... Он стискивал зубы.

Он собрался ответить ей только после того, как Сильвия, которую Аннета просила написать, что случилось с мальчиком, явилась в приемную лица и разбранила Марка. Но уж он постарался состряпать произведение, которое могло бы служить образцом сухости. Ни намек на упрек или жалобу. Ни одного горького слова. (Это значило бы хоть скольконибудь излить свою душу!) Холодная вежливость. Словом, сочинение на заданную тему: он делал вид, что лишь против воли принуждает себя с этих пор писать аккуратно, два раза в месяц, повествуя только о внешней стороне жизни и вытравляя из своих писем всякий личный оттенок, вкус, цвет. Напрасно Аннета повторяла просьбу писать подробнее. Она отлично сознавала, что он хочет, чтобы она почувствовала его враждебность. Она то пыталась смягчить его, то силилась выказать такую же неумолимую суровость. Но затем наступала минута, когда заглушенная любовь бурно прорывалась наружу. Мальчик ждал этих

мгновений и торжествовал. Аннета потом жалела о своей несдержанности. Ведь после этого тон его писем становился еще более безразличным и сухим. Теперь она распечатывала эти письма с мучительным чувством: что-то она прочтет в них? И все же ее не оставляла надежда. И всегда постигало разочарование. Она устала страдать и ждать. Когда приходило время писать сыну (сам он писал только в ответ на письма матери), Аннета пропускала день, два, три... И вдруг – взрыв, один из тех взрывов, с которыми она не могла совладать: и упреки и слова любви!.. Потом она опять молчала целый месяц. Раз его это не трогает!..

А он чуть не заболел от этого месяца молчания. Напрасно он корчил из себя непреклонного мужчину и прикидывался, что ему нет дела до ее писем.

Как он их ждал! Теперь в нем говорили не только гордость, не только злорадство: «Она не может обойтись без меня!..»

Теперь он уже не мог обходиться без этих излучений любви, приносимых ветром из далекого края. Пока они аккуратно приходили в положенные дни, он делал вид, что принимает их безучастно, как должное. Когда они стали запаздывать, Марк почувствовал, что ему не хватает их. Ему уже не терпелось, он желал их... Когда же, наконец, приходило долгожданное письмо, он наслаждался им... Марк, разумеется, не признавался себе в этом...

(Плут!..) Он старался объяснить это удовольствие гордостью, дерзко заявлявшей:

«И на этот раз моя взяла!..»

Но когда Аннета совсем замолчала, Марк волей-неволей понял обидную истину: он нуждался в ней! Признаться себе в этом? Нет! Нет!.. «Я ничего не знаю, и признаваться мне не в чем...»

Ночами она ему снилась. В этих снах она приходила к нему вновь и вновь, – не с любовью, не с лаской, а высокомерная, жесткая, насмешливая; она оскорбляла, она унижала его... Он просыпался, охваченный ненавистью, в лихорадке злых желаний... Чего он хотел? Говорить ей жестокие вещи, схватить ее, причинить боль, отомстить... Но от прикосновения ее руки он трепетал. Гнал от себя ее образ... Но образ возникал снова...

Эти красивые, презрительно сжатые губы... В своих воспоминаниях Марк старался оскорбить его. Он рисовал себе привольную жизнь, которой она, быть может, живет, а ему запрещает... Он видел в этих сновидениях и других женщин, которые несколько не походили на нее ни лицом, ни поведением, ни возрастом, – и, однако, он слепо отождествлял их с ней: это позволяло ему утолять в черной бездне свои подавленные чувства – стоглавую гидру...

Какие страшные месяцы! Снедаемый лихорадкой, связанный, в этом загоне для скота!.. На цепи!

Они на цепи – эти мысли и эти юные распаленные тела! Тюрьма-пансион для них еще опаснее улицы. Скука развращает ум. Этих зверьков мучают беспокойство, ожидание, похоть, страх, жестокость. Серная туча, тяжело нависшая над осажденным Городом, сковывает их мысль, отравляет тела. Она навалилась на дортуары, на обливающихся потом детей. Надзор здесь ослаблен. Пример подал один из воспитателей. Он уходит каждую третью ночь с ведома сторожа. В соседней комнате храпит старший надзиратель. До утренней зари на галере сняты цепи; только бы не было шума. Марк, задышавшись, слушает и в порыве отвращения убегает. Выскакивает в окно, в сад пансиона-тюрьмы...

Черная ночь. Четыре стены. В вышине мутное небо.

Луч прожектора скользит, шарит во тьме... Из одной тюрьмы – в другую.

Марк бежит к стене, которая тянется вдоль пустынной улицы. Погруженные во мрак дома. В этом буржуазном квартале, далеком от центра, от шума, все спит. Часть жителей покинула Париж. Марк пригибается, чтобы прыгнуть... Слишком высоко! Как бы не сломать себе ноги. Но его гонит ярость... Бежать наперекор всему!.. И вот он уже сидит верхом на гребне стены! Повиснув на руках, он ищет ногами щель, чтобы можно было бы зацепиться... Со стороны улицы слышатся приближающиеся шаги; он пытается вновь подняться... Слишком поздно! Его увидели. Внизу, в темноте, раздается голос:

– Хочешь прыгнуть? Марк спрашивает:

– Кто вы? Но две поднятые руки схватили его за ногу, и голос произносит:

– Ну же! Я держу!..

И вот Марк на улице, на тротуаре. Вокруг – унылые стены домов. А над ними – ночь... Третья тюрьма. Словно в кошмаре. Коробка с отделениями.

Входишь, выходишь, перебираешься из одного в другое, но все вместе придавлено одной большой крышкой...

Незнакомец стал рядом, он ощупывает Марка. Они почти одного роста.

Чиркнула спичка, и на мгновение огонек осветил обоих. Это молодой рабочий, едва ли не старше Марка. Безбородое землистое лицо, тонко очерченное, умное, из-под усталых век смотрят подвижные зрачки; любопытный взгляд скользит, шарит, но не останавливается; в уголках бескровных губ – что-то вроде улыбки... Снова упала между ними завеса тьмы. Но они хорошо рассмотрели друг друга. Незнакомец, взяв Марка под руку, спрашивает:

– Ты куда? Марк говорит:

– Не знаю.

– Ну так идем вместе! Марк отвечает не сразу. Он инстинктивно настораживается. Ему известно, что джунгли полны опасностей. О знакомце он ничего не знает, но чутьем угадывает, что он из джунглей. У Марка бьется сердце. Однако любопытство берет верх над страхом. Кроме того, в нем говорит если не храбрость, то удаливость. (Храбрость приходит позже, когда человек уже взвесил свои силы или слабость, а Марк пока еще не знает, силен он или слаб). Опасность манит его... Он высвобождает локоть из охвативших его пальцев и, взяв незнакомца обеими руками за руку, но держа ее на расстоянии, говорит:

– Идем! Куда – он не спрашивает.

Они пробегали всю ночь. Ощупывали друг друга умом, как раньше – руками. Неловко, угловато. Они побаиваются друг друга, но ни один из них не знает, что другой тоже боится... Это не физический страх. Он почти рассеялся у Марка от первого же прикосновения. Он возвращается порывами, когда они молча шагают плечо к плечу. Марк ощупывает в кармане ножик – безвредное оружие, с которым он, однако, не умеет обращаться. Им хочется поскорее завязать разговор. Когда они разговаривают, страх проходит.

При свете дня они сблизилась бы не скоро. А ночью, на этих печальных улицах, где фонари затемнены, как на катафалках, различия стираются: оба они из одного стада. Их гонят те же стремления. Им угрожают те же опасности. Усталость ли их одолела, или, может быть, захотелось присмотреться друг к другу, прежде чем снова пуститься в путь, но они усаживаются на скамье, на одной из темных площадей.

Его зовут Казимир. Скрутив папиросу, он подает ее Марку. Марк не любит курить, табак ему претит, но он закуривает... О стыд! В кармане у него пустота – ни табаку, ни денег. Что же делать?.. Он озабочен и плохо слушает. Но все-таки слышит, и любопытство просыпается снова. Доверие за доверие! Они рассказывают о себе друг другу...

Он – электротехник. Работает на военном заводе.

Маленький буржуа, у которого ничего нет, который ничего не зарабатывает и способен лишь тратить, ошарашен цифрой его дневного заработка.

Казимир не очень козыряет своим превосходством; он уже давно осознал его; он бы, пожалуй, не прочь променять его на эту неполноценность буржуа, – предмет его презрения и зависти с самого рождения. Но в этот вечер он не презирает и не завидует. Сильнее говорит в нем влечение. Это лицо, только что промелькнувшее перед ним... Этот неизведанный человеческий мир... И те же чувства волнуют Марка. Им хочется узнать друг друга. Препрады снесены. Разве Марк не бежал от своего класса? (Да и к какому он принадлежит классу, этот ребенок без отца?) Они равны.

Но Казимир старше Марка. Не годами. Каких-нибудь два-три месяца – пустяк, о котором не стоит говорить. Он старше жизненным опытом, накопленным в перенаселенных парижских предместьях.

Оробевший Марк слушает молча и жадно. И от этого молчания только выигрывает. Он словно бы знает нечто неведомое его спутнику. Заговорив наконец, Марк бросает несколько

сжатых, отрывистых, полных иронии фраз, создающих у Казимира обманчивое впечатление.

Но впечатление это удерживается ненадолго. Достаточно приглядеться к девичьему лицу Марка при свете лампы в кафе, куда его привел Казимир!

Тут он сразу улавливает робость и наивность Марка своим беглым и острым, как ус виноградной лозы, взглядом, который подбирается сбоку, следит, выпытывает, который раздражает Марка, и стесняя и притягивая его... Он хочет бежать от этого взгляда или ответить ему вызовом, но колеблется, – у него не выходит ни то, ни другое; он выдает себя; он выдан с головой.

С этой ночи начались скитания Марка по джунглям вместе с Казимиром.

Если бы Аннета подозревала!.. Чего только не коснулись глаза, руки, тело ее ребенка! Но судьба милостива к этим юным твердым душам, и скрытое в их глубине ядро остается нетронутым. Спасает их то, что, казалось бы, должно действовать на них пагубно: любопытство. Они жаждут видеть и знать, они жаждут дотронуться. Да. Но *poli me tangere!*..⁵⁹ Они не позволяют прикоснуться к себе...

«Я коснулся тебя. И прохожу мимо. Я остаюсь чужим тебе. Я был чужим до того, как узнал тебя. А узнав, стал еще более чужим. Какое отворачивание! К тебе. К себе. Особенно к себе. Я загрязнил тело, руки, глаза. И яростно смываю с них грязь. Но сердце мое осталось нетронутым. Грязь не пристала к нему...»

«... И какие крупинки драгоценного металла я подобрал в парижской грязи!..»

У этого сына улицы и фабрики, у его товарищей, в этом сплетении душ, образующем население городов, добродетели и пороки слились друг с другом. Зловоние – и соляной воздух.

Половой инстинкт, обостренный лихорадочным возбуждением стада, преждевременно взвинченные, изношенные, пресыщенные чувства, неистовое любопытство, которое обгоняет желания, возбуждает и гасит их, иступленная страсть, которая потухает, не успев оплодотворить, – все это испробовано, все изжито; увядающая в самом цвету плоть, грубо стертый пушок души, вытоптанная трава; и на всем теле – печать оскверненного и безрадостного наслаждения; картина, напоминающая пригородный лес, весной, после воскресных гуляний... Картина опустошения!.. Демон плоти, иссушающий, выдаивающий вымя нации. Язва, поражающая ее лоно, ее действительную силу и плодородие...

Но усталую землю обдувают ветры; после опаляющих – те, что воскрешают. Достаточно одного ливня, чтобы увядающая трава поднялась волнами, чтобы снова зазеленели колосья и чертополох. Свобода – это копье Ахиллеса.

Она и убивает и живит.

Преждевременно обожженный жарким дыханием социальной кузницы, куда он брошен с самого рождения, в зловонии этого хаотического сплава наслаждений и мук, одинаково грубых, одинаково разрушительных, среди пагубного уклада жизни с дикарскими представлениями о чистоте, грязным жильем, физической и нравственной распущенностью, нездоровой пищей, пьянством, непосильным трудом и блужданиями. Казимир горел с обоих концов.

Болезненное возбуждение ума было не менее опасно, чем телесное. Но более живительно. Вместе они создавали чудовищное равновесие, которое изнуряло человека еще до наступления зрелости и делало его бессильным в тот час, когда он нуждался в силе, чтобы действовать. Зато оно не давало ему погрязнуть в болоте низменных страстей. Этот яростный накал всех желаний, эта бесшабашная свобода без нравственной узды, но и без предрассудков, которыми приходится расплачиваться за обывательскую нравственность, заставляли работать живой ум, заставляли добираться внезапными скачками до зеленевших на свету кустов, где набухали почки зреющей мысли. Коза паслась здесь недолго; она спускалась вниз одним прыжком, но на ее языке оставался возбуждающий горький привкус

⁵⁹ Не прикасайся ко мне! (лат.)

здоровой пищи.

Казимир был анархистом. Гордость самоучки, начиненного плохо отобранными и еще хуже усвоенными знаниями, возведенный в теорию эгоизм, позерство, пустословие, половые извращения, маниакальное уничтожение всех установленных ценностей, рисовка безнравственностью, грызня между соперничающими кружками и отдельными личностями – все это разрушало горделивое здание, для сооружения которого нужны люди с чистыми руками и с чистым сердцем, подобные Реклю и Кропоткину. Обитать в нем могут только избранные, только подвижники. Толпа, ринувшись сюда, заплевывает здание, как она заплевала храмы Христа, водворив здесь отвратительных божков, посредников бога.

Но самое слово «Свобода» оказывает волшебное действие даже на души, которые засасывает омут вожделений. Оно – как дуновение героизма. (Иллюзия... Не все ли равно!); в нем отрицание рабства, всех форм рабства, сковывающего эти души... Бледные копии Титана, возмущившегося против тиранического «*Sic volo, sic jubeo!*...»⁶⁰ И все же в этих обломках снова находишь священный огонь Прометеев.

Марк увидел искру этого огня, вылетевшего из-под его ног.

Это было в ту недолгую и необыкновенную пору, когда братья – враги-анархисты, социалисты, синдикалисты – восстали против войны и, забыв свои распри, сплотились. Их было так мало! Едва набралась горстка! Прочие перебежали в лагерь врага – из боязни общественного мнения, из страха перед репрессиями, повинувшись древним, вновь разожженным инстинктам национальной гордости или кровожадности, а главным образом под влиянием путаницы, ужасающей путаницы идей и слов, которыми «демократии» начинены, как индейки. Никогда иезуиты во времена расцвета казуистики не позволяли себе так чудовищно злоупотреблять понятием «*distinguo*»,⁶¹ а ведь когда его применяют ко всему, оно запутывает все: мир и войну, право и не правду, свободу и отречение от всех свобод. Естественно, что меньшинство, страстно стремившееся вырваться на волю, вновь занимало места на скамьях своей галеры и, согнув спину, гребло под бичом. К концу 1914 года в Париже едва ли можно было насчитать десятков непримиримых – тех, кто отказался впрячься в ярмо. С тех пор их численность постепенно возрастала; они создали две-три группы. Наиболее прозорливой из них оказалась та, что была связана с журналом «Ви увриер».

Марк по воскресеньям иногда бывал на их собраниях. Услышанное ошеломило его.

До сих пор он еще ни разу не усомнился в необходимости войны. Он был слишком зорек, чтобы не понижать ее жестокости, несправедливости и, пожалуй, даже бессмысленности. Но тем более мужественным казалось ему решение принять войну. В его возрасте высшую добродетель видишь в одном слове: «мужество», и сила не правая втайне влечет к себе еще больше, чем правая, – жестокая, оголенная, она вся насквозь сила, и она связана с большей опасностью. Марк только из гордости восторгался беспощадным законом борьбы за существование, обрекающей людей на вечную ошибку, словно раков в запертой корзине. Только не хныкать! Надо быть самым сильным!..

Именно потому, что Марк был слаб он рисовался насмешливым цинизмом, вызвавшим негодование у Аннеты:

– Может быть, несладко будет мне и другим! Несладко будет упавшим!

Что ж, мое дело устроиться так, чтобы силой или хитростью очутиться наверху!..

Ему доставляло удовольствие отвечать презрительной улыбкой на возмущение и протест Аннеты против этого хвастовства бесчеловечностью. Он свысока ставил на чувствительности клеймо «сентиментальность», и этим для него было сказано все!

– Безвкусица и пошлость! Товар для дам! Подкрашивай свою рожицу! А я буду

⁶⁰ Так хочу, так повелеваю (лат.).

⁶¹ Разливаю (лат.).

оттачивать зубы...

Правда, что и Аннета в то время совсем запуталась.

Она еще принимала войну, но отказывалась принимать ее отвратительные жестокости, тлетворный запах бойни. В своих мыслях она застревала на полпути, а вглубь смотреть не смела. Да она и не могла обосновать свое негодование логическими доводами. Ею руководило только внутреннее чутье.

Для Марка этого было недостаточно. Мужчине нужны точные идеи, – верные или неверные, – чтобы дать определение своим страстям.

Эти точные идеи Марк мог черпать пригоршнями у теоретиков рабочего класса. Их возмущение строго выводилось из множества цифр и фактов, оно строилось на них. Безыскусственная, медлительная, однообразная, ощупью бредущая речь Мергейма, который ищет точных выражений, эта гордая фокионовская честность-острая секира красноречия; спокойное добродушие Монатта, которому важны не он сам, не вы, а изучаемые факты в их последовательном развитии; железная точность, подавленная страстность Росмера, который остерегается увлечений, чтобы остаться верным идее, – это ледяное пламя приводило в трепет, потрясало недоверчивого, страстного, лихорадочно возбужденного юношу. Обстановка подполья, в которой происходили собрания, опасность, непрестанно угрожавшая этим маленьким катакомбам, постоянное ощущение того, что огромные массы народов давят всей своей тяжестью на этих искателей правды, этих глашатаев справедливости, держащих в руках фонарь с затененным светом, – все придавало их «бунту», вопреки холодности вожаков, дух религиозного культа. Он, как мерцающий огонь маяка, преображал эти серые лица и утомленные глаза.

И гордый маленький буржуа чувствовал, что он ниже иных из этих рабочих, что они превосходят его своей смелостью.

Питан-папаша Питан, как его прозвали, хотя ему не было еще и сорока лет, – был тщедушный, проворный человечек с большой, не по туловищу, головой. Бросалась в глаза его черная борода, покрывавшая почти все лицо и полные губы, окаймленные густой растительностью. Цвет лица у него был желтоватый, нос приплюснутый, а глаза, в которых зрачок сливался с радужной оболочкой, как у пуделя, были карие, бархатные.

Когда Марк, сидя на собрании, всматривался в зал, он встречался взглядом с этими глазами, освещенными серьезной улыбкой. Питан – один из немногих в этой среде – интересовался людьми не только потому, что они разделяли его идеи (или интересовали его лично), а потому, что это люди, из любви к людям, – как льнувший к человеку пес. Его потянуло к юному буржуа: он угадал, в каком смятении находится Марк. А Марк инстинктивно почуял, что этот ньюфаундленд плывет к нему на помощь через поток. И они встретились.

Питан чинил на дому фаянсовую и фарфоровую посуду. В одном из пригородов Парижа он снимал лавчонку – там он исполнял более тонкую работу; он был на все руки мастер; помимо своего основного ремесла, он занимался починкой предметов из любого материала, дерева или камня, даже хрупких безделушек. Как самостоятельный ремесленник, он распоряжался своим временем свободнее, чем его товарищи, работавшие на заводах и в мастерских, и щедро отдавал его «делу». Питан брался разносить во все концы Парижа воззвания и брошюры, встряхивать забывчивых, будить уснувших, трубить сбор. Марк отправлялся вместе с ним, пользуясь отпусками, которые иногда можно было получить в лицее после занятий. Но это скоро утомило его. Питан не считался ни с расстоянием, ни с погодой. Он шел и шел, чуть-чуть прихрамывая, – твердым, звонким шагом старого солдата. Он не останавливался до тех пор, пока не выполнял задания, и ничего не пил. Над ним подтрунивали: уж не дал ли он обет трезвости и целомудрия? Что-то не слышать о его связях с женщинами, и не женат он. Питан жил вместе со старухой матерью, которую старательно прятал от товарищей и которая его тиранила. Сын алкоголика, он с детства знал, какие опустошения производит этот недуг; он испытал его последствия на себе – организм его был подточен. Это избавило Питана от военной службы. И это же заставило его отказаться от

женитьбы. Не слишком веселая жизнь, но Питан казался счастливым. Иногда, впрочем, его взгляд затуманивался грустью. Бывали периоды, когда он чувствовал себя бесконечно усталым, прятался от людей и, впадая в оцепенение, не имея сил ни говорить, ни думать, зарывался в свою нору. Проходило несколько недель, и он появлялся снова – улыбающийся, преданный, неустойчивый. И тогда те самые товарищи, которые ничуть не беспокоились о нем во время его отсутствия, не задумываясь, нагружали его всевозможными заданиями, от которых сами уваливались. И Питан снова пускался в странствия и возвращался домой с наступлением темноты, а то и поздно ночью, раздав все до последнего листка, – разбитый усталостью, изможденный, но довольный.

Марк был недостаточно силен для такой работы. Питан жалел его: он как будто ничего не замечал, но находил предлоги, чтобы остановиться, перевести дух.

Речь у Питана была медлительная, спокойная, плавная; она разливалась, как тихая вода канала между двумя шлюзами-периодами молчания; нетерпеливый Марк тщетно пытался перебить его; Питан, улыбаясь, давал ему выговориться, а затем все же досказывал до конца свою мысль. К иронии он был нечувствителен. Он не приписывал особого значения своим словам. Они вытекали из потребности уяснить свою мысль. Для этого надо было извлечь ее из глины молчания, где увязал его ум. Надо было впустить струю свежего воздуха в застоявшуюся душевную жизнь, которая как бы затягивалась илом в периоды душевного отупения, повторявшиеся каждые два года. Для Питана мыслить означало мыслить вслух. И, чтобы выразить себя, ему нужен был слушатель. Этот отшельник родился со стремлением к братству.

Когда Питан говорил, это не мешало ему наблюдать и слушать. Марк много спустя убедился, что Питан удержал в памяти все сказанное им и обо всем поразмыслил, и так и сяк, точно лопатой, переворачивая каждое слово.

Марк думал, что произведет на Питана выгодное впечатление, если щегольнет перед ним и перед другими своими огорчениями маленького буржуа, бунтом школьника, который освобождается от предрассудков и обязательств своего класса. Казимир и его товарищи вменяли ему это в заслугу, сохраняя, впрочем, тон превосходства. Они как будто выставляли ему хорошую отметку: это было лестно и в то же время уязвляло самолюбие. Питан не выражал ни одобрения, ни презрения. Он качал головой, слушая излияния Марка, а затем возвращался к своему монологу. Но несколько дней спустя, ожидая конца смены неподалеку от одного завода, между высоких и длинных стен, из-за которых высывались красные шеи гигантских труб, выпускавших тяжелые кольца дыма. Питан вдруг, без всяких предисловий, сказал:

– Все-таки было бы гораздо лучше, если оставались у себя, господин Ривьер.

(Только он не был с Марком на «ты».).

Эти слова огорошили Марка.

– У себя! Где это?

– В своей школе.

Марк возразил:

– Что вы, Питан! Выходит, что я зря к вам прихожу, что мне незачем узнавать вашу жизнь, ваши мысли?

– Да нет же! Конечно, вам не мешает узнать, чем дышит наш брат... Но только, господин Ривьер, ведь вот какая вещь: вы никогда этого не узнаете.

– Почему?

– Потому что вы – не наш.

– И это говорите вы, Питан? Я иду к вам, а вы меня отталкиваете!

– Нет, нет, господин Ривьер, вы пришли, и я рад вас видеть. Мы признательны вам за сочувствие... Но это не меняет того, что в нашей среде вы чужак и чужаком останетесь.

– А вы для меня не чужие.

– Разве? Вот за этими стенами – рабочие. Что вам известно об их жизни? Можно рассказать вам, что они делают, описать их мысли, даже их страдания. Но разве вы их

почувствуете? Когда меня мучает зубная боль, вам меня жалко, но если у вас зубы не болят, вы моей боли не почувствуете.

– Но ведь у меня своя боль...

– Конечно. Я над этим не смеюсь, как другие, – те, кто говорит, что настоящие муки – это муки нищеты, а буржуа только с жиру бесится, его страдания – роскошь. Может быть, это и роскошь – за исключением болезни и смерти, разумеется, – хотя даже болезнь и смерть не у всех одинаковы...

– Не одинаковы?

– Нет, дружок. Болеть и умирать спокойно, на своей постели, не тревожась о судьбе близких, – это тоже роскошь. Но кто живет в роскоши, тот уж не замечает ее, и по какой бы причине он ни страдал, настоящей или выдуманной, это несладко. И мне жалко всех – и ваших и наших. У каждого человека свои горести, скроенные по его мерке... Но не похожие друг на друга.

– Люди одинаковы. Питан.

– Да жизнь не одинакова... Вот, например, труд – что он для вас? Вы уверяете (вы и ваши, и лучшие и худшие из вас, да, даже пиявки, живущие чужим трудом) – вы уверяете, что труд прекрасен, труд свят и кто не знает труда, тот не имеет права существовать... Отлично. Но разве вы можете представить себе, что такое труд по нужде, без просвета, без мысли, без надежды когда-нибудь избавиться от него, труд, берущий за глотку, ослепляющий, отравляющий, когда человек привязан к жернову, как скотина, которая ходит по кругу, пока не освободится, то есть не околеет? И вот этот труд прекрасен? Он свят? А те, кто живет плодами этого труда, который они обесчестили, – разве они не останутся для нас навсегда чужими?

– Но я-то не живу плодами этого труда!

– Живете. Ваша молодость, не ведающая ни забот, ни голода, ваша школа, досуг... Учись себе спокойно, годами не заботясь о хлебе насущном...

Вдруг Марка, искавшего, чем бы защититься, осенила мысль, которая прежде никогда не приходила ему в голову.

– Все это добыто не вашим трудом, а трудом моей матери.

Питан заинтересовался, и Марк рассказал ему о жизни матери и ее мужестве. Повествуя об этой жизни, Марк впервые открыл ее для себя: он чувствовал и гордость и какое-то смущение, причину которого он понял после одного оброненного Питаном замечания.

– Что ж, мой друг, – спокойно сказал Питан, когда Марк кончил свой рассказ, – значит, эксплуатируемая – это она.

Но Марку пришлось не по вкусу, что ему указали на его долг.

– Это мое дело, Питан. Это вас не касается.

Питан не возражал. Он усмехался.

Рабочие высыпали с завода. Он встал и подошел к ним. У него были среди них знакомые; раздавая листовки, он перебрасывался с ними замечаниями. Но они поспешно садились на велосипеды, – пора было ужинать. Они небрежно развертывали листовки. Некоторые, засунув руки в карманы, отказывались брать их.

– Да ну их, – говорили они.

Трое или четверо остановились перемолвиться словечком с Питаном. Марк остался поодаль, – сейчас он отчетливо сознавал: «Я – чужой».

Когда Питан вернулся. Марк, шагая с ним рядом, после короткого молчания сказал:

– Вы не открыли мне ничего нового. Питан. Все это мне и самому было видно. Казимир и другие никогда не обращаются со мной как с товарищем.

Они то льстят мне, то унижают меня. Они как будто гордятся и мною и передо мною. Гордятся, что могут презирать меня как заложника буржуазии.

– Хе-хе! – Питан тихонько засмеялся. – Теперь выхватили через край-с другого конца. Но крупица правды тут есть. Я потому и сказал вам, что сам это чувствовал.

Марк остановился, топнул ногой и крикнул:

– Это несправедливо! Он отвернулся, чтобы не выдать своей слабости; у него чуть не полились слезы из глаз. Питан взял его под руку; они продолжали идти.

– Да, – задумчиво проговорил Питан, – на свете много несправедливого.

В нашем обществе почти все несправедливо. Вот почему и надо его перестроить.

– Разве не могу и я внести свою лепту?

– Можете и должны. Как и мы. Каждый в меру своих сил, каждый на своем месте. Но новое общество, пролетарский строй (извините, господин Ривьер). вас не примет. Мне очень за вас больно, но это так!.. Да и меня, впрочем, не примет, так как меня уже не будет в живых.

– А ваших, людей вашего класса?..

– Людей моего класса – да. Их примут.

Марк высвободил свою руку и промолвил:

– Питан, вы и ваши – те же националисты. Вы сражаетесь с отечеством.

Но сражаетесь во имя другого отечества. А оно так же нетерпимо, как старое.

Питан добродушно ответил:

– У меня нетерпимости нет, мальчик. Один человек блондин, другой брюнет, один высок ростом, другой мал, один белого, другой желтого цвета, – для меня это все едино, все они одинаково любят, одинаково исходят кровью, умирают. Я – за все отечества. Ни одно из них мне не мешает...

Только вот за нашим пролетарским отечеством не признают права на жизнь.

Придется ему силой взять это право у ваших.

– И заодно – жизнь?

– Мы не питаем к вам злобы. Но ваш класс лишает нас солнца.

– Не много я вижу солнца, – грустно сказал Марк.

– Вы можете искать его. В ваших книгах, в занятиях, в свободной и спокойной работе ума. Что ж, ищите его, а затем дайте нам, нам, которые не могут позволить себе таких дорогостоящих экскурсий! Это самое лучшее, что вы можете сделать. Возвращайтесь к себе и работайте для нас!

– Невесело это! – сказал Марк. – Жить без товарищей!

– Будьте товарищем всех, а не товарищем одного!

– Значит, опять одиночество! – воскликнул Марк.

Питан остановился и посмотрел, сочувственно улыбаясь, в лицо юноши, но Марк отвел глаза. Питан распрямил спину, набрал в легкие воздуха, испорченного фабричными запахами, и сказал:

– Да, это хорошо. Это закаляет.

Марк насупился. Питан хлопнул его по плечу:

– Взгляни!..

(Он впервые обратился к нему на «ты».).

С высоты укреплений они увидели широкую голую равнину, столбы фабричного дыма – ледяной зимний ветер тяжело выкручивал их, как белье, в грязной лохани неба, – а позади – муравейник, дома и дома, миллионы жизней, город – эту мрачную трагедию. Питан, счастливый и серьезный, дышал полной грудью. Он сказал:

– Одиночество со всеми – это когда все братья всех.

– И все поедом едят друг друга, – горько вымолвил Марк.

– Им нужно есть! – просто сказал Питан. – Это закон... И, значит, надо накормить их! Для этого мы родились – чтобы кормить собой других. И из всех хороших вещей это наилучшая!

Марк смотрел на землистое лицо тщедушного ремесленника, как бы освещенное огнем изнутри, и ему передалась безмолвная радость человека, который мечтал послужить пищей для других. Он подумал о том, что и христианский бог пришел, чтобы дать себя съесть... О, какая варварская человечность!.. Он хорошо понимал ее величие, но еще был слишком юн,

чтобы стремиться к нему...

«Нет! Не быть съеденным!.. Уж лучше есть самому!»

Марка всколыхнули, но разочаровали эти люди с другого берега, где он не мог высадиться, но он был теперь как птица, которая висит между небом и землей, не зная, где найти прибежище. Из родного гнезда он вырвался, возвращаться в него не желает, но он еще слишком молод, чтобы построить собственное гнездо, да и где? Где найти приют до той поры, когда настанет время заложить собственный очаг? На какой сук опереться? Предрассудки, еще накануне владевшие им, разъедены сомнением; все еще цепляясь за них и не зная, чем их заменить, он чувствует, что они уже рассыпаются в прах. В мире идей, который так много значит для распаленного мозга, городского подростка, этот пятнадцатилетний мальчуган одинок и затерян, ему не за что ухватиться.

Марк снова столкнулся с Перреттой-Марселиной, такой же, как и он, беглянкой, девушкой с губами козлоногого Пана. На сей раз он их вкусил.

Их бывшие встречи на лестнице возобновились, но на более близком расстоянии. Он искал ее объятий, чтобы укрыться в них. Как ни далеко она отошла от всего, что покинула, Марк был для нее вестником из родного края. Ведь они из-под одной кровли. Они чирикали на краешке одного я того же желоба.

Затерянные в беспредельности города, беглецы прильнули друг к другу, чтобы отогреть свои перышки. Марселина клюет вздрагивающие губы своего юного возлюбленного. И горяч же этот мальчуган! Он может вспыхнуть, как спичка. Он с каким-то неистовством отдается миру наслаждений – миру мучений, только что им открытому. Марселину это забавляет, но эта далеко не совестливая девушка питает к застенчивому и бесстыдному Керубино, который пожирает ее, какое-то непонятное, почти материнское чувство: ей и чудно и тревожно. Как ни мало дорожит она семейными привязанностями, но за этого мальчугана считает себя ответственной. Марселина прижимает его к груди, впивается взглядом в его бледные щеки, в его воспаленные глаза; ее сначала смешат, а потом пугают его исчезновения по ночам; он возвращается в холодные предрабачные часы мокрый, окоченевший. Он легко одет, он неосторожен; у него появился сухой кашель. Он порывист, он весь горит; первый же ветер сможет его унести. Марселина беспокоится и в то же время раздувает огонь; она играет им. Марк ревнив. Марселина его изводит, она не признает никаких стеснений. Ее мучит совесть, но она доканчивает начатое – она попросту убивает его.

Тут на сцене появляется Питан, и как раз вовремя.

Он знает всех, все знают его; его доброта и прямота, над которыми потешаются, дают старому чудаку право высказывать неприятные истины; их выслушивают; считаются с ними или нет, но никому не приходит в голову на них обижаться. Питан сказал девушке:

– Марселина, если вы оставите вашего братишку у себя, он пробудет с вами недолго: ему приходит конец.

– Я знаю, и мне его очень жаль, папаша Питан, – отвечает Марселина. – Он себя доконает! Но что делать? Этот мальчуган ничего не слушает. Он слеп и глух, у него голодный, жадный рот, у этого сосунка. И разве его насытишь? Он несчастен. Мечется как безумный. Страдает, а как его утешить – не знаешь.

– Здесь он не на своем месте. Ему нужно быть у себя дома.

– Не хочет он.

– Знаю, знаю, это же бунтарский возраст.

– Все мы в этом возрасте.

– Не обманывайте себя, Марселина! В глубине души вы мечтаете о том возрасте, когда сами будете раздавать шлепки выводку маленьких бунтарей.

Марселина рассмеялась и сказала:

– Что ж, я только возвращу долг.

– Вернемся к мальчику!

– О, его нельзя гладить против шерсти! При малейшем выговоре он брыкается, как лошадка.

– Ведь вы с ним давно знакомы, – нет ли кого-нибудь, кто взял бы его на свое попечение?

– Его мать далеко.

– Я знаю. Это храбрая женщина, она кормит своим трудом сына. Она ведь ни о чем даже не подозревает. Я думал написать ей. Но, насколько я понимаю, отношения у них плохие, они в ссоре. Мне это знакомо: вероятно, они слишком близки, чтобы понять друг друга. У нее тяжелая работа и свои неприятности. Не стоило бы ее пугать, если бы можно было придумать что-нибудь другое. Нет ли у нашего паренька здесь, на месте, какой-нибудь родственницы, которая могла бы взять его к себе и присмотреть за ним?

– Есть, верно!.. Подожди, Питан! У него есть тетка, я ее знаю, она не строит из себя святошу, она может понять...

– Что ж, – сказал Питан, – надо с ней поговорить.

Марселина скорчила гримасу. Ей не хотелось расставаться со своим голубком. Но это была славная девушка, она сказала себе:

«Ведь матери его здесь нет, и я как бы замещаю ее. Что бы я сделала на месте матери? Нет, я не могу оставить его здесь! Милый мой мальчик!..»

Есть одно только средство спасти его, и надо на него решиться...»

Еще на одну ночь она оставила его у себя, в своих объятиях. Потом отправилась к Сильвии и отдала его ей.

Сильвия переживала кризис, самый мучительный в ее жизни со времени трагической смерти ее дочурки. На эту женщину, которая делала отчаянные усилия забыться и в которой война пробудила жажду развлечений и наслаждений, обрушился удар, вернувший ее к действительности. Она, пожалуй, предвидела его – и без особой тревоги, но никогда не думала, что он отзовется в ней с такой силой... Ее муж Леопольд скончался в плену, в немецком госпитале. Бедняга заранее известил ее об этом письмом:

«Дорогая моя! Прости меня, если я причиняю тебе боль. Я чувствую себя не очень хорошо. Меня положили в госпиталь, и я тебя уверяю, что немцы хорошо ухаживают за мной. Грех жаловаться. Палату отапливают. Ведь еще стоят холода. Говорят, что вас там плохо снабжают топливом, угля не хватает. Как хотелось бы вам помочь! Вижу отсюда, как вы сидите в мастерской; стекла покрыты инеем. У Селестины зябнут руки, она трет пальцы о спину кота. Тебе-то никогда не бывает холодно и ты ходишь по мастерской, постукиваешь каблучками и тормошишь мастериц, чтобы разогнать в них кровь. Но приходит время ложиться: простыни в нашей большой кровати отсырели. Что ж делать? Зато днем вы можете гулять, двигаться, а когда можно двигаться – это уже много. Если бы я мог хотя бы пошевелиться! Я вынужден сказать тебе, что врачи сочли нужным отрезать мне ногу. И вот – что ж поделаешь! – ведь я ничего в этом не смыслю, пришлось покориться.

Но так как я очень слаб и боюсь, что не выживу, я и решил написать письмо, чтобы перед смертью поцеловать вас. Впрочем, никогда не надо терять надежды на спасение. Может быть, я еще вернусь к вам. А может быть, и не вернусь. Прошу тебя, моя дорогая, не сердись – ведь я не виноват – и знай, что я всеми силами постараюсь справиться. Но если беда случится, – ну что же, ты еще молода, ты можешь снова выйти замуж, я не такая уж редкая птица – таким людям, как я, легко найти замену. Лишь бы он был честен, трудолюбив и уважал тебя. Не очень-то меня радует мысль, что ты будешь с другим, но я хочу, чтобы ты была счастлива. Как это уже все равно, я наперед этому радуюсь. Милая моя Сильвия, было у нас с тобой много плохого и много хорошего; мм без устали работали, случалось, и ссорились, но мы всегда были добрыми товарищами. Я тебя часто раздражала я не был – это я хорошо понимаю – тем мужем, какого тебе надо, ну да уж какой есть; я изо всех сил старался не досаждать тебе. Не сердись на меня, если это мне не всегда удавалось. Поцелуй Аннету и Марка. Мы не всегда были для них, чем должны были быть. Хотелось бы, чтобы ты больше занималась малышом, – ведь у нас нет детей. Следовало бы впоследствии привлечь его к участию в нашем деле... Писать больше не могу. Не очень-то много у меня сил. Да и что можно сказать на бумаге?.. Целую тебя. Ах, Сильвия, как хотелось бы мне

поддержать тебя за руку! Прощай – или до свидания. Твой верный муж, который думает о тебе, о вас, и будет в мыслях своих стремиться к вам из самого дальнего далека – из-под земли.

Вблизи или вдали от тебя, я говорю себе, что это та же земля, по которой ступают твои ножки. Прощай, моя женка, моя дорогая старушка, моя маленькая красавица, моя любовь. Благодарю тебя за все. Мужайся. Мне тяжело уходить. Ах, боже мой!

Леопольд.

У меня есть расписка Гриблена на сто пятнадцать франков от 11 июня 14 года; она не погашена».

Последние строки были смазаны. На них упала слеза, стертая пальцем.

Вместе с письмом пришло извещение о смерти Леопольда.

Тут только Сильвия открыла, что она любила того, с кем прожила двенадцать лет. До сих пор она видела в нем славного человека, надежного компаньона, и больше ничего. Смерть открыла ей, что их союз был далеко не чисто деловым. Совместная жизнь связала их друг с другом в такой крепкий узел, что пальцы искусной портнихи не могли бы распутать его; когда нить порвалась. Сильвия уже не могла отличить, чья же это – его или ее. Весь моток размотался.

И теперь она спохватилась: как она была несправедлива к тому, кто был частью ее самой!.. Как она скупилась, отмеряя любовь этому преданному сердцу! Измены, о которых он, может быть, не знал, хотя и догадывался...

Но если бы даже они остались от него скрытыми, это не избавило бы ее от угрызений совести: она-то ведь об этих изменах знала, а теперь она была он. Ее мучило суеверное ощущение, что, умирая, он повернул ключ и, проникнув в ее душу, прочел в ней все. Но когда она вспомнила, сопоставив числа, чем была наполнена для нее та ночь, когда он в смертельной тоске искал ее руку, это доконало ее. Напрасно она говорила себе:

«Могла ли я знать...»

Напрасно она говорила себе:

«Он от этого не страдал...».

Напрасно она говорила себе:

«Что толку думать об этом! Ведь прошлого не изменишь...»

Вот в этом-то и беда! Зло, причиненное живому, можно загладить...

«Мой бедный друг, если бы ты вернулся, я бы не укоряла себя! Меня мучает не то, что я сделала! Это не так уж важно! Если бы ты вернулся, я искупила бы свою вину любовью. Но ты умер, и долг мой не оплачен. Я не могу возвратить его тебе. Что бы я ни делала, вина моя останется со мной. Я кажусь себе воровкой...»

Сильвия, как это свойственно парижскому простолюдину, была очень чутка к несправедливости. В особенности, разумеется, к той, которую совершали по отношению к ней. Но так же искренне – к той, которую она совершала по отношению к другим. Мучительно было сознавать, что на ней так и останется вина перед ее лучшим другом.

Будь Сильвия помоложе, она легче и скорее справилась бы и примирилась с тем, чего не могла уже изменить. Когда перед тобой еще долгая жизнь, то, сделав неверный шаг, утешаешь себя тем, что все еще можно наверстать: сознав свою вину перед одним, будешь справедливее к другому. Но теперь, когда большая часть дороги позади, ты никуда не уйдешь от своих ошибок. Ты вступила на неверный путь, но искать другой слишком поздно, тебе его не пройти...

Она оглянулась в суровом раздумье на свое прошлое. Перед ней промелькнуло все, что было, начиная с первых дней замужества: рождение ребенка, ссора с Аннетой, Одетта, катастрофа, возвращение к жизни, доброта Леопольда, такая простая и естественная, что даже не приходило на ум замечать ее, война, любовники, – и бедняга, который умирал там, вдали, одинокий, преданный ею... Невесело... Чтобы согреться, она инстинктивно остановила свой мысленный взор на двоих оставшихся у нее: Аннете и Марке...

Не успела она подойти в своих мыслях к ним, как явилась Марселина и рассказала ей

все начистоту и без прикрас.

А вечером того дня, когда Сильвия, испуганная рассказом Марселины, собиралась поехать за мальчиком в лицей, он явился сам: его исключили.

События шли своим чередом. Однажды ночью, когда Марк украдкой пробирался в пансион, он столкнулся нос к носу с нарушавшим правила надзирателем, который тоже откуда-то возвращался. На его резкий выговор Марк ответил как равный равному, холодно и вызывающе. Надзиратель колебался между долгом покарать виновного и опасением, как бы мальчик, готовый на все и смотревший на него с угрозой, в случае доноса не потянул за собой и его. У надзирателя совесть была нечиста. Но чувство долга и самолюбие взяли верх. Марка вызвали к директору и исключили. Он даже рта не раскрыл. Не соблаговолит хотя бы слово проронить – не оправдывался, не обвинял. В душе он стал больше уважать надзирателя за то, что тот не струсил.

Появление Марка ошеломило Сильвию. Ведь и за него она была в ответе.

Аннета доверила ей мальчика. Она просила следить за ним, сообщать о его здоровье, о его поведении в лицее, брать его к себе на свободные дни, держать в узде. Сильвия, порицавшая сестру за ее пуританскую суровость и молча ставшая на сторону ребенка против матери, отпустила поводья. Она говорила, что молодости надо самой накапливать опыт, что лучший способ поумнеть – это наделать глупостей, что это только полезно – оставлять ключья своей шерсти в колючем кустарнике и что молодость не так уж глупа – покувыркается и станет на ноги. Она даже имела неосторожность сказать об этом Марку:

– Я выбилась на дорогу без посторонней помощи. У тебя тоже есть клюв и когти, и ты не глупее меня. Ты за себя постоишь. У тебя есть глаза, чтобы видеть, а в своем зверинце ты созерцаешь только обезьян, которые сидят на кафедрах, уставившись в черную доску. У тебя есть ноги, чтобы бегать, но шесть дней из семи они привязаны к скамье: сиди и глотай свою порцию греческого и латыни. Ну так хоть на седьмой-то день дай волю своим глазам, своим ногам! Побегай, мой друг, и гляди на все, что тебе нравится! Познакомься с жизнью! А если получишь легкий ожог, подувай на пальцы – и все. По крайней мере узнаешь, что такое огонь. И застрахуешься от пожара.

Сильвия упускала из виду, что страховать свое имущество, когда дом уже горит, – способ довольно странный. Она повторяла то, что говорили вокруг нее в народе: «Не спорь с природой».

И она не без удовольствия сбросила с себя заботы о племяннике, чтобы отдаться собственным делам. А в делах у нее недостатка не было, и Марк знал, какого они свойства. Она ничего о них не говорила, но и не скрывала. Случалось, что Марк, явившись к тетке в воскресенье утром, не заставал ее, – она не ночевала дома. Если они не видались, Сильвия оставляла ему письмо и считала, что этого достаточно. Она снабжала его деньгами: пусть развлекается. Иногда они не встречались по три недели.

Сильвия не корчила из себя святую, она вообще не отличалась лицемерием – в этом ее меньше всего можно было упрекнуть. Сегодня, думая о том, как она выполняла наказ сестры, она не тешила себя доводами, которые прежде преподносила племяннику, вроде только что упомянутых: она говорила себе, что за последние полгода потеряла голову, что она была занята собой и в водовороте развлечений забыла о том, кто был ей доверен.

Увидев Марка, его мертвенно-бледное лицо, его нервные движения, услышав наигранный смех, с каким он поведал ей, чем кончились его похождения, она сказала себе: «*Mea culpa*»,⁶² Марк ждал выговора, насмешек, того и другого одновременно. Ее молчание удивило его:

– Что же ты на это скажешь? Она ответила:

– Сейчас я ничего не могу тебе сказать. Слишком много надо сказать самой себе.

Марк не привык, чтобы Сильвия тратила время на раздумье.

⁶² Моя вина (лат.).

- Что это с тобой?
- Со мной то, что я исковеркала свою жизнь. Исковеркала жизнь своего мужа. И боюсь, испорчу твою.
- Но при чем тут ты? Моя жизнь принадлежит мне. Что хочу, то и сделаю из нее. И потом, знаешь, не многого она стоит!
- Твоя жизнь стоит того, чего стоишь ты сам... Ах не то я говорю!..
Даже для самого нестоящего это громадная ценность.
- А ты посмотри, что делают с жизнью на фронте! Побывала бы ты в окопах! Недорого она там стоит.
- Знаю. Ничего не стоит! Вот они и взяли у меня жизнь Леопольда.
- Леопольда!..
- Марк еще ничего не знал. Это известие ошеломило его. Так вот почему Сильвия так серьезна! Но ему казалось, что умерший никогда не занимал в ее сердце много места. Его удивили слова Сильвии:
- Потому я и говорю, что знаю теперь цену этой жизни, знаю, что они совершили убийство, – и я тоже.
- Ты?
- Да. Что я сделала из нее – из этой жизни, из этой привязанности?..
- Какой позор!.. Ну, будет! Теперь уж не стоит говорить о том, чего не изменишь. Но что можно исправить, надо исправить. Ты еще здесь. И мой долг – искупить свою вину.
- Какую?
- Зло, которое я сделала тебе – которое ты сделал себе с моего позволения (это одно и то же: не перебивай меня!). И потом знаешь, мальчик, будет тебе ломаться передо мной! Я ведь не Аннета. Все эти дурачества, которыми ты щеголяешь, – я им цену знаю. Хвастать нечем.
- И краснеть не от чего.
- Может быть. Я не хочу тебя обижать. Да и права не имею. Ведь я поступила хуже тебя. Я знаю, что не всегда можно устоять перед соблазном; на то мы и люди. Но я не закрываю глаза на опасности, я всегда умела вовремя остановиться. А ты вот не сумеешь; ты – другого чекана, точь-в-точь как твоя мать, у тебя все всерьез.
- Я? Я ни во что не верю, – сказал Марк, выпятив грудь.
- Это и есть серьезное отношение к жизни, донельзя серьезное! Я, например, решительно ни над чем не задумываюсь; я вся в настоящем, мне его вполне достаточно, и поэтому я всегда смотрю себе под ноги. И если случается, падаю, то не с большой высоты. А ты – нет: ты ничего не делаешь наполовину; и если уж губишь себя, то загубишь вконец.
- Если я таков, то не могу этому помешать. И мне, знаешь, все равно!
- Но мне-то не все равно! И я этому помешаю.
- По какому праву?
- А по такому, что ты мой. Да, мой! Твоей матери и мой. Она тебе не скажет этого, она, которая жертвует собой для тебя, а я скажу: не для того мы тебя пестовали, не для того работали на тебя шестнадцать лет, чтобы ты, как глупец, разрушил в один день сотворенное нами. Когда будешь мужчиной, когда уплатишь сполна свой долг, вот тогда ты волен делать с собой все что угодно. А до тех пор, мой друг, помни, что ты в долгу. Знаешь, как свистит перепел? «Плати долги!»
- Марк вышел из себя; он кричал, что не просил давать ему в долг, не просил давать ему жизнь...
- Ты живешь, мой друг. Бесись! Но шагай прямо!
- Я здесь, чтобы за тобой последить.
- И, подводя черту, она отрезала:
- Довольно об этом! Точка...
- И начала деловито обсуждать в присутствии юноши, содрогавшегося от бессильной злобы, что с ним делать.

– Лучше всего, конечно, было бы поехать к матери.

Марк крикнул:

– Нет! Ни за что! Я ее ненавижу.

Сильвия с любопытством взглянула на него, пожала плечами и даже не ответила. Она думала:

«Сумасшедший!.. Все они сумасшедшие!.. Что она ему сделала, что он так любит ее?»

Она холодно сказала:

– Значит, остается одно: будешь жить у меня. Поступишь в другой лицей, но приходящим... А насчет прошлого – ты, я думаю, не жаждешь, чтобы я обо всем написала твоей матери? Хорошо, я что-нибудь придумаю... На будущее время запомни, что теперь правительство – это я! Я знаю наперечет все твои уловки. Не пытайся провести меня! У тебя будут свободные часы, то есть те, которые я сочту возможным предоставить тебе. Я не собираюсь тебя угнетать. Я знаю твои нужды, твои права. Больше того, что ты можешь дать, с тебя и не спросится. Но то, что ты можешь, – все, что ты можешь, ты мне дашь, мой друг, за это я ручаюсь! Я – твой кредитор.

Аннете она написала, что лицеистов распустили из-за эпидемии и она взяла племянника к себе. То, что Марк находится под кровом тетки, лишь наполовину успокоило Аннету, и она вырвалась из своего захолустья на воскресный день, чтобы посмотреть своими глазами на их житье-бытье.

Сильвия хорошо понимала причину ее приезда. Она вполне допускала, что Аннета может сомневаться в ее педагогических талантах, в ее умении руководить подростком. Но она так искренне покаялась в своих ошибках, выказала такое жгучее чувство ответственности, что Аннета успокоилась. Они долго говорили о Леопольде; и, перебирая грустные воспоминания, сестры почувствовали, что они ближе друг другу, чем когда-либо за многие годы.

В сыне Аннета не обнаружила таких же причин для успокоения. Его болезненный вид ужаснул ее. Но Сильвия взялась поправить его здоровье в какие-нибудь три месяца. Добиться от мальчика хотя бы проблеска нежности нечего было и думать. В его тоне слышался все тот же холодный отпор.

Сильвия посоветовала Аннете ничего не добиваться от него. Ей стоило немало труда уговорить Марка остаться дома в воскресенье – он хотел уйти, чтобы ему не пришлось разговаривать с матерью; она чуть не силой заставила его дать слово, что по крайней мере внешние приличия будут соблюдены. Остальное... Там видно будет! Инстинкт подсказывал ей, что к некоторым проявлениям детского упорства нужен осторожный подход. Ведь у Марка это своего рода болезнь. Сильвия рассчитывала побороть ее, но в таких случаях первое условие успеха – не проявлять к ней ни малейшего интереса. Аннета, слишком горячая, не могла понять благоразумную политику сестры. Сильвия и не делилась с ней своими выводами; она считала ее тоже раненой и не менее Марка нуждающейся в уходе, но лечить ее она не могла. Аннета должна была сама исцелить себя. Все, что могла сделать Сильвия в ту минуту, это добиться, чтобы неприязнь между сыном и матерью не разгорелась еще сильнее.

Аннета покорила необходимости – она решила не выведывать у сына тайну его враждебности. В воскресенье вечером она уехала из Парижа. Как ей ни было горько, она все же успокоилась, увидев, что мальчик, за которого она так боялась, находится в надежных руках.

Сильвии пришлось вооружиться всем своим опытом, чутьем, коварной дипломатией, цепкой хваткой энергичной и выдавшей виды парижанки, чтобы в последующие три месяца, удержав на привязи тигренка, которого она поклялась выдрессировать.

Она выбрала ему комнату по соседству со своей, в глубине квартиры.

Одна из дверей этой комнаты вела в переднюю, к выходу, но ключ был у Сильвии, отпиравшей эту дверь только в те дни и часы, когда племяннику разрешалось принимать у себя товарищей. И тогда Марк мог быть уверен, что ничей нескромный глаз не будет

подглядывать за его гостями: это был «мир божий» или, быть может, мир сатанинский, – Сильвия никогда не нарушала его. И она не допытывалась, что он делает, читает, пишет в своей комнате: здесь он был на своей территории, и она уважала ее неприкосновенность. Но, за исключением часов «мира», он мог выходить из своей комнаты лишь через спальню Сильвии. Все прочие выходы были заперты... Правда, вырвавшись, он мог бы и не вернуться. Он даже как-то пригрозил этим своему церберу полушутя, полусерьезно, чтобы позондировать почву. Она ответила ему таким же насмешливым тоном, вздернув верхнюю губку:

– Милый мой друг, тебе бы за это попало.

– Э! Что бы ты сделала?

– Дала бы о тебе объявление, вроде тех, что печатают о пропавших собаках. И можешь быть спокоен: где бы ты ни был, у меня везде свои люди, я тебя сыщу и велю задержать.

– У тебя, значит, есть связи с полицией?

– Если бы понадобилось, обратилась бы и в полицию. Не погнушалась бы ничем... Но она мне не нужна. У меня есть собственная полиция. Твои подружки, милый мой, ни в чем мне не откажут.

Марк, негодуя, вскочил:

– Кто? Кто? Не правда!.. Значит, меня предают? Значит, нельзя иметь друга – он выдаст! Никого, ни одного человека, которому можно было бы довериться!..

– Есть, дружок. У тебя под рукой.

– Кто же это?

– Я.

Марк сделал гневное движение, как бы отталкивая кого-то.

– Маловато?.. Понимаю, маленький паша!.. Что ж делать! Надо попоститься... Видишь ли, я не отнимаю у тебя права любить и быть любимым.

Это хлеб насущный для всякой живой души. Но этот хлеб надо еще заработать. Трудись! Будь человеком!.. Не хочешь же ты быть из трех Ривьеров единственным ничемным созданием, паразитом? Видишь мои пальцы? Они исколоты иглой. Как я ни люблю свои руки, как я ни люблю, чтобы их любили, но я не пожалела их. Я не святоша. Жизнью я пользовалась, но никто не давал мне ее даром. Я покупала ее день за днем. Я здорово поработала.

Поработай и ты!.. Не надо мне этих надутых физиономий! Этой головомойкой я делаю тебе честь! Я обращаюсь с тобой, как с равным! Поблагодари!.. И будет! Шалопай!..

Марк весь кипел от такого развязного обращения. Он с удовольствием укусил бы руку, которая так бесцеремонно натягивала вожжи, напоминая ему, что он в долгу у этих двух женщин, ест их хлеб и не имеет никакого права сбросить с себя унижительное ярмо, пока не сквитается с ними. Но больше всего Марка бесило то, что и в нем было развито чувство справедливости – это нелепое чувство, крепко сидевшее в Ривьерах: он считал, что Сильвия права. Что сказать в ответ на ее дерзости? Надо спасти свою мужскую честь...

Была и другая причина, которую он сознавал не так отчетливо: в этой руке, которую ему хотелось укусить, была своя прелесть. Сильвия раздражала его и в то же время очаровывала.

Она это знала. Это был один из видов ее оружия. И она им не брезгала.

У парижанок бывают две или три молодости. И было бы еще больше, если б эти истые француженки не умели себя ограничивать. Сильвия переживала вторую молодость. Вторая была не менее привлекательна, чем первая.

Сильвия вскружила бы голову кому угодно. Марка ей было угодно пленить ровно настолько, насколько это было необходимо, чтобы утвердить свою власть над ним. Мера была честная. Еще капля – и она уже была бы нечестной. Надо было быть Сильвией, чтобы удержаться на этой грани.

Она знала, как томится душа подростка, накаленная вожделениями, гордостью и всем тем умственным хламом, которым ее набивают в школе; как она жаждет ласки, тени,

родника, который раздражает и утишает; как хочется подростку хотя бы в мечтах прикинуть пылающим лбом к сладостной округлой груди, от которой веет и теплом, и прохладой, и ароматами вешнего сада, ароматом царицы цветов – прекрасного женского тела! Ей было известно, какое ненасытное любопытство к жизни мучает этих волчат. Наслаждаться – для них на три четверти значит познавать. И часто знание заменяет им наслаждение. Знать!.. Охотиться!.. Дичь-это жизнь!..

«Так и быть, побегай, дружок! Я тебя погоняю. Носись, пока не позабудешь о дичи...»

Они сидят в комнате Сильвии, за столом. Вечер. Уроки уже сделаны.

Спать еще не хочется. Сильвия своими неустойчивыми пальцами формует круглую поверхность воинственной и кокетливой каски. Она не смотрит на Марка, но знает, что он на нее смотрит.

«Ну и гляди на здоровье! На меня поглядеть приятно... А еще лучше послушать меня...»

Мальчик пожирал ее взглядом от кончика туфель до кончика уха (оно было у нее чуть-чуть удлиненное и заостренное, как у козочки). Но Сильвия не давала его мыслям времени вынашивать в тишине запретные плоды. Язык ее не умолкал; она держала и вела Марка на золотой цепочке. Она решила не допрашивать юношу, не выпытывать его секретов: не приставать с расспросами было лучшим средством добиться от него откровенности.

Сильвия сама принималась перебирать свои былые увлечения, рассказывала ему в юмористическом тоне о какой-нибудь из своих безрассудных и вместе с тем осторожных шалостей, в которых она иногда теряла свою добродетель, но никогда не теряла компас. Смачивая нитку своим коварным язычком и перекусывая ее зубами, она схватывала на лету силуэты людей, их жесты, их смешные черточки, не щадя и себя. Сильвия делала вид, что посвящает Марка в свои тайны. Она рисовала перед ним довольно рискованные картины. Но все спасали ее жизнерадостность и ее веселый ум, знавший цену этим дурачествам, этому смятению чувств. Тон у нее был неповторимо естественный, и слушатель забывал прилагать к ее рассказам мерку нравственности; перед ним развешалось увлекательное зрелище: ум оказывался сильнее, чем сердце и чувства. Марк, захваченный ее рассказом, негодуя, смеясь, смущаясь, поддаваясь, обольщаясь, следил за комическим романом жизни, набросанным этой неподражаемой наблюдательницей. Казалось, она была одинаково равнодушна и к своим приключениям и к злоключениям – все было для нее предметом для повествования... До чего же славный у него появился товарищ!.. В такие вечера ему иногда отчаянно хотелось расцеловать Сильвию! Но эта фантазия исчезала прежде, чем он успевал осознать ее. Порыв остывал от быстрого и иронического взгляда, которым она просверливала его, убивая в нем всякую иллюзию. Его бесило, что под этим взглядом он не мог серьезно относиться к самому себе. И, бесясь, он смеялся. Смеяться вместе и понимать друг друга-какое это наслаждение!.. Смехсредство от болезненной гордости, от болезненной подавленности подростков, которые то наделяют свое «я» всеми правами, то отрицают самое его существование... Преувеличенные страсти Марка, слишком рано созревшие вместе с его телом, в котором ребенок и мужчина, нарушая должные пропорции, вытесняли друг друга; трагическая складка, прочерченная на его лице природой и еще развитая упражнениями перед зеркалом, – все сглаживалось, как изгиб бархатной шляпы под пальцами умелой модельщицы, по собственному опыту знавшей, как освежает умный смех... Рекомендовать ее метод другим мы не решаемся!

Всякий метод хорош или плох, смотря по тому, кто применяет его. А подражать приемам Сильвии, не обладая ее сноровкой, – как бы не уколоться!

Это парижский товар... «Без ручательства».

И тетка и племянник были парижане. Они хорошо спелись друг с другом.

Спокойная непринужденность и здоровая ирония, составлявшие основу ее откровенности, ничем не омрачаемой, – а ведь свет всегда здоровее мрака, – мало-помалу вызвали на откровенность и юношу. У него развязался язык, и он стал рассказывать о своих похождениях и даже изображать их в не особенно выгодном для себя свете. И щепетильный

юноша не обижался, когда Сильвия смеялась над ним. Вскоре он стал верить ей не только прошлое, но и настоящее, он спрашивал совета, когда собирался сделать глупость.

Это не значило, что он удерживался от нее, но по крайней мере он уже не сомневался, что поступает глупо. Видя, что Марка не отговоришь, Сильвия напутствовала его:

– Что ж, пусть будет так! Но смотри в оба, дуралей!

И после, когда все уже было позади, спрашивала:

– Ну что, видел дурака? Он отвечал:

– Видел – это я. Ты была права.

Они много гуляли вдвоем по Парижу. Сильвия здесь все знала и ничего не скрывала от Марка.

Кота зову котом...

Она не знала ложной стыдливости. Ее смелый язык, трудолюбие и безусловная честность создали равновесие между порядком и свободой, и оно действовало оздоравливающе на беспорядочный ум мальчика, помогало ему укрепить свою власть над собой. Так из этой постоянной близости, в которой боязливый взгляд мог бы усмотреть опасность, выросла искренняя дружба, свободная от всякой двусмысленности, дружба между старшей и младшим, новичком.

Эта привязанность не наполняла жизни мальчика. Но она отвлекала его от других мыслей.

Сильвия не говорила с Марком об Аннете. Сестры переписывались. Подозрительному Марку мерещилось, что Сильвия еженедельно посылает Аннете подробные донесения о нем. Но лукавая Сильвия, зная, как любопытен Марк, сыграла с ним шутку: она нарочно оставила на столе незапечатанное письмо к Аннете, нисколько не сомневаясь, что оно будет прочтено. И Марк убедился, что в письме не было ни слова о нем. Ему следовало бы порадоваться, а он огорчился. Совсем не идти в счет – это было больше, чем он требовал. Он с досадой спросил у Сильвии:

– Да о чем же вы вечно пишете друг другу?

– Мы любим друг друга, – ответила Сильвия.

– Ну и вкус! Сильвия расхохоталась.

– У кого?

– У обеих.

Сильвия дернула его за ухо:

– Ты ревнуешь?

Он бурно протестовал.

– Нет? Вот и отлично. А ведь твоему горю и пособить было бы трудно.

Марк пожал плечами. Он лишь наполовину поверил словам Сильвии, но они возбудили его любопытство. Как это две такие разные женщины могут быть сестрами и любить друг друга?.. Да, мать была для него загадкой, и эта загадка снова стала занимать его.

Аннета смиренно решила не допытывать Марка своей беспокойной любовью.

По совету Сильвии она всецело доверила мальчика ей. А когда мать перестала «приставать» к Марку, он смутно почувствовал, что этих приставаний ему не хватает. Благоклонно уступив настояниям Сильвии, он поехал к Аннете на летние каникулы.

Но это испытание оказалось преждевременным для обоих. Аннета еще могла обуздывать свою любовь издали. Но не умела сдерживать себя, когда Марк был возле нее. Слишком безрадостную жизнь она вела. Целые месяцы умирала от жажды. Душа ее тянулась к единой капле – нет! – к целому потоку любви. Напрасно она вспоминала мудрые назидания Сильвии:

«Если хочешь, чтобы тебя любили, не слишком показывай свою любовь!»

Скрывать любовь! Ведь это значит – любить наполовину! Нет, только не наполовину! Обоим, и матери и сыну, нужно было все или ничего.

А так как Аннета отдавала все, то Марк не давал ничего.

Как бы то ни было, он приехал, полный противоречивых чувств, отталкивания и

притяжения, одинаково жгучих и ждавших разряда, будто насыщенная электричеством туча. Но едва он встретился с этой женщиной, почувствовал ее душу, беспокойную, как мощное дыхание бури, – пламя снова ушло в тучу, небо очистилось. Стоило им соприкоснуться руками, словами, взглядами – и эта требовательная любовь, это стремление взять его в плен заставили его отшатнуться... Нет, нет!.. Казалось, еще раз прозвучали слова из Евангелия: «Не прикасайся ко мне!»

– Как! И ты говоришь это даже тем, кто любит тебя?

– Им особенно!..

Он не сумел бы этого объяснить. Но за него действовала природа. Ему еще рано сдаваться. Еще не время.

Аннета пила жадно...

«Ищи! Вода ушла. Твои пальцы, твои уста роют только песок...»

Она слишком внимательно приглядывалась к сыну; он чувствовал на себе этот беспокойный взгляд, изучавший каждую черточку его лица; как все матери, она прежде всего боялась за его здоровье. Бесконечные вопросы выводили Марка из терпения. Он отмалчивался, презрительно улыбаясь, – и в самом деле, при всей внешней хрупкости Марка его здоровье устояло. Он вытянулся, похудел, у него было бледное, голодное, измученное лицо; над верхней, беспокойно двигавшейся губой уже начинали проступать усики, напоминавшие травинки лишая. Его болезненный вид объяснялся смятенным состоянием духа. Мать разучилась читать в его душе: связь между ними порвалась. Она видела на этих губах, на этом лице подростка следы ранней изношенности, ранней усталости, следы черствости, иронии; сердце ее сжималось, и она спрашивала себя:

«Что он делал? Что видел?»

Аннету бросало в дрожь при одной мысли, что это священное для нее юное тело осквернено. Она чувствовала себя виноватой. Как она могла расстаться с сыном? Но он не хотел жить с ней. Можно ли оберегать того, у кого душа на запоре? Ворваться насильно? Она уже ломилась, но потерпела неудачу. Замок выдержал! Твердый металл, тот самый, из которого сделана она сама... А войди она – какое зрелище представилось бы ей? Она боялась об этом и думать.

Марк, чувствуя, что за ним наблюдают, снова отгородился от нее. Да, то, что подметили глаза матери, было правдой. Пятна грязи. Тень на девственно-чистой коже – от древа познания. Да, он слишком рано увидел, изведal... Но она не знала, как сопротивлялась душа ее сына упавшим в нее семенам, не замечала здоровой брезгливости, честной скорби, – бунта, слитого с порывом страсти, который прячется в стыдливом сердце, мужественного инстинкта, повелевающего, чтобы детеныш человека сражался сам, без посторонней помощи.

Итак, раз он отказывался впустить ее в свою жизнь, приходилось подчиняться необходимости и жить рядом, дверь в дверь, не домогаясь близости.

И это было невесело. Аннета уже не замечала, какую суровую жизнь она ведет, но у Марка от этой жизни натирало кожу, как от шершавого белья. Ее трагическая серьезность, которой сама Аннета не чувствовала, раздражала Марка. Он не сознавал, что отнимает у Аннеты единственный луч, который мог бы озарить эту жизнь, что он заморозил распускающийся цветок материнской любви. Отброшенная назад, к той внутренней драме, от которой она пыталась уйти, Аннета, помимо своей воли, выдала всколыхнувшее ее смятение мысли, и Марк, почуяв в нем, быть может, слишком много общего с собственным настроением, бежал от него.

В затхлой атмосфере, в сереньком существовании маленького городка Марк не мог найти ничего такого, что отвлекло бы его от мрачной домашней обстановки. Поля, тучные и яркие, дремали во всей своей золотой зрелости на августовском солнце. Хорошо бы обнять мать-природу пылким, юношеским объятием! Но юный парижанин был нечувствителен к природе. Слишком много других вещей посягали на его ум и чувства! Еще не пробил час, когда глаза открываются, чтобы читать немую музыку, написанную в книге полей.

Только в более зрелом возрасте начинаешь понимать прелесть безыскусственного пейзажа с ароматом фиалок. Этот аромат не замечаешь и тогда, когда он насквозь пропитывает тебя: очарование его сказывается позже...

Аннета тащила сына с собой на прогулки. Но от близости другого человека общение с природой нарушалось. Аннета думала вслух; она наслаждалась землей и воздухом. Она становилась между ними и мальчиком.

«Не застилай же солнца!..»

Аннета любила ходить пешком. Марк видел, как от быстрого ритма шагов и пульсирующей крови в ней пробуждаются сила и молодость. Он видел, как она бежит, кричит, радуется цветку, насекомому... Когда он вернется в Париж, все эти образы понесутся за ним вдогонку: эта радость, этот поток жизни, этот рот, эти глаза, эта влажная шея (однажды Аннета, развеселившись, крепко обхватила его руками; он отшатнулся, показывая, что его, мужчину, коробит подобная фамиллярность)... Сейчас все ему не по вкусу.

Эта женщина его утомляет. Он скоро начинает задыхаться. И чувствует себя униженным. А если она замедляет шаг, чтобы он мог догнать ее, это уж и вовсе несносно... Марк положил конец прогулкам: он решительно отказался от них.

Ему осталось одно: скучать. И он не стеснялся показывать матери, что он скучает. Не жалобами, нет! Марк не промолвил ни слова. Он приносил себя в жертву...

С таким положением Аннета примириться не могла...

«Жертва, дружок? Жертвы мне не надо. Уж как-нибудь обойдусь без тебя!..»

Она сделала последнюю попытку...

«Ему не хватает Парижа? Значит, едем в Париж!»

Как ни противна была ей парижская жизнь, она прожила с ним дома последние три недели каникул.

Уже около года Аннета из всех своих парижских знакомых, если не считать Сильвии, поддерживала связь только с овдовевшей Лидией Мюриэзе, но письма Лидии становились все более редкими и скудными. Обе женщины полюбили друг друга, и, однако обмениваясь мыслями, они как бы спотыкались о слова – барьеры сердца; им не хотелось еще углублять появившуюся в их отношениях принужденность. Обе хранили друг о друге нежное воспоминание; с удовольствием обняли бы друг друга; и все-таки не желали встречи, которая волейневолей заставила бы их объясниться. Когда Аннета, по приезде в Париж, узнала, что Лидия отлучилась на две недели из города, она и огорчилась и обрадовалась.

И все же это была наименьшая из забот, обступивших ее при мысли о возвращении в Париж. Было еще столько других! Она предпочитала не думать о них заранее... Но то, что она нашла в Париже, оказалось хуже, чем она предполагала...

Какую картину она застала у себя в квартире!.. На время своего отъезда она отдала ее двум беженцам, Алексису и Аполлине, оставив за собой только спальню и комнату сына. Но жильцы захватили все. Владельцами квартиры они считали теперь себя. Аннета показалась им самозванкой. Они как будто делали ей милость, разрешая поселиться под их кровом... Впрочем, слово «милость» не вязалось с угрюмым лицом Аполлины, проявившимся лишь тогда, когда она узнала, что Аннета пробудет здесь недели три, не больше. И все же она имела дерзость заявить, что может уступить хозяйке квартиры только одну комнату. Она находила, что на три недели сын и мать могут отлично устроиться вместе. Возмущенный Марк отстаивал свои права *manu militari*,⁶³ вышвырнув из своей комнаты тряпье Алексиса. Но больше всего Аннета была огорчена тем, что застала квартиру в ужасном состоянии. Беспорядок, грязь, разворованная посуда, полусгоревшая, закопченная кухонная утварь, стены в пятнах и разводах от воды, кое-где натекавшей лужами, так что прогнил паркет, замызганные, порванные занавеси, испорченная обивка мебели... Жильцы не пощадили

⁶³ С оружием в руках (лат.).

ничего. Лучшие одеяла, постельное белье были без всякого стеснения взяты из комнаты Аннеты и использованы захватчиками. Портреты, гравюры, которые сделались для Аннеты как бы горизонтом ее домашнего мира, были сняты со стен, заменены другими; одни составлены на пол, лицом к стене, Другие свалены как попало в чулан. Аполлина повесила на их месте семейные фотографии каких-то невероятных уродов и изображения святых. Даже книги и бумаги, кроме спрятанных в немногие запертые ящики, жильцы перерыли не столько из любопытства (Аполлина не умела читать), сколько от нечего делать, от того, что руки чесались. Следы мокрых пальцев оставались на листках писем, на загнутых страницах книг. Всюду чувствовался запах звериной норы.

Марк, задыхаясь от негодования и отвращения, говорил, что надо выставить этих разбойников за дверь. Аннета старалась его успокоить. Она сердито выговаривала Аполлине, но ее замечания плохо принимались, да и сама она с первых же слов запнулась, удрученная мыслью, что свалилась на своих жильцов как раз в ту минуту, когда они переживали особенно сильное душевное смятение, трагический кризис.

Брат и сестра избегали друг друга. Между ними, казалось, выросла стена вражды, отвращения, гнева, страха. После неожиданного приезда Аннеты им снова пришлось поселиться в одной комнате. По ночам они грубо ссорились, приглушая голоса; слышалось однообразное, но запальчивое бормотание – и вдруг раздавался крик Аполлины, ясно доносилось ее прерывистое дыхание. Затем – тяжелая тишина. Так прошла неделя... Однажды ночью Аполлина с воплем выбежала из комнаты. Аннета встала, чтобы унять жильцов. В коридоре она застала Аполлину, почти голую; та раздирала себе кожу ногтями и стонала, как помешанная. Аннета позвала ее к себе и попыталась успокоить. Потом снова улеглась. Обезумевшая Аполлина, стоя у ее постели, разразилась потоком дикой брани. Аннета зажала ей рот рукой, чтобы не проснулся Марк, спавший в соседней комнате (он давно уже прислушивался!..), и из этих бессвязных речей оледеневшая Аннета узнала правду...

Ночь проходила. Аполлина, присев на ковре у изголовья постели, выкрикивала проклятья, умолкала, с какой-то яростью молилась. Наконец она уснула, открыв рот и всхрапывая. Аннета так и не сомкнула глаз. Когда забрезжил свет, она свесилась с кровати и стала рассматривать Аполлину, которая спала, приткнувшись тут же, – ее запрокинутую голову, ее испуганную морду травимого зверя. Античная маска с крупными чертами, страшными и комическими, безглазая маска Горгоны, со ртом, как бы застывшим в немом крике. Под взглядом Аннеты Горгона проснулась. Увидев глаза, смотревшие на нее сверху и изучавшие ее, она угрюмо поднялась и хотела уйти.

Аннета удержала ее за руку. Аполлина пробормотала:

– Что вам от меня надо?.. Пустите!.. Вы вырвали у меня изо рта мой вонючий хлеб, мое бесчестье, мое добро... Что вам еще нужно? Вы меня ненавидите, презираете. А я – вас. Я – негодяйка. Но я все же лучше вас!

– Ненависть, презрение – у меня их нет... – сказала Аннета. – Мне жаль вас.

– Плюньте на меня!

– Судить вас – не мое дело. Это дело вашего бога.

Вы сошли с ума, и мне вас жаль. Безумие теперь носится в воздухе. Может быть, завтра оно поразит и меня... Но вы не можете больше оставаться в этом доме.

– Вы гоните меня?

– Мой долг – охранять сына.

– Куда же мне податься?

– Работайте! Подыщите себе место! Как вы можете сидеть сложа руки, без дела, когда страна в беде?

– А наша беда разве мала? Пусть платят и другие!

– Кто вам поможет, если вы сами себе не поможете? Ваше несчастье, опухоль, которая вас подтачивает, – все это от безделья. Только труд может вас спасти.

– Я не могу работать.

– Как, вы, здоровая, приученная к тяжелой деревенской работе, вы, которой некуда девать свою силу, вы упрятываете ее, как волка в клетку, и томитесь от безделья?.. И за прутьями этой клетки воете на бога!.. Бог – это труд.

– Я уже не могу работать. Мне нужно мое добро, Мне нужна моя земля.

Они все взяли у меня. Все прахом пошло, мое имущество, земля, родные. У меня ничего не осталось. Ничего, кроме него. (Она показала на комнату Алексиса.) А я ненавижу его! И ненавижу себя! И ненавижу бога за то, что все это – по его воле.

– А я жалею бога, – я, неверующая. Да, мне его жаль. Вы его предаете.

Ненавидеть, ненавидеть – только это слово у вас и осталось. Ничего другого вы не знаете. Если есть бог, он дал вам волю. Что вы с ней делаете?

– Я душу ее в этой норе, в этой плоти, которую он мне дал. Я мщу ему.

Он во мне? Ну так я его уничтожу!

– Ваш бог-это какой-то скорпион. Если он не может уничтожить других, он сам себя уничтожает.

– Это верденский бог – нынешний.

– Мне больно от ваших слов. Оставьте меня! Вы хотите и меня уничтожить?

– Я недолго буду вам досаждать! И она убежала.

В тот же день они покинули квартиру Аннеты. Весь дом с облегчением вздохнул. Жильцы вечно жаловались на это семейство. Аннету, мечтавшую избавиться от них, этот отъезд встревожил. Она попыталась узнать их новый адрес. Аполлина наотрез отказалась сообщить его, а когда Аннета предложила ей денег, бросила ей такое же грубое «нет».

На той же неделе их сосед по площадке, молодой Шардонне, приехал на два дня в отпуск. Эти два дня он провел в своей квартире, взаперти. Никто не видел его. Но до Марка доносились шаги, раздававшиеся за стеной, и он прослеживал острым взглядом немую драму возвращения.

Кларисса была уже не той Клариссой, что в прошлом году. Вихрь безумия, закруживший ее, умчался... Тихая, молчаливая, она вернулась в свою овчарню и замуровала себя в четырех стенах своей квартиры и в еще более непроницаемых стенах своей мысли. Она ходила взад и вперед, из комнаты в комнату, так бесшумно, что не слышно было ни стука мебели, ни скрипа половиц... Как кошка... Ни в ее глазах, без зрачков, как бы сплошь бархатных, блестящих, но без внутреннего света, ни под слоем румян, наложенных на бледные щеки, никто не мог бы прочесть ее воспоминания, мечты. Но алчущий муж, который вернулся, чтобы вкушать от плода своего сада, не узнавал вкуса этого плода – не узнавал душу своей жены; вообще не одаренный наблюдательностью, он, однако, с первой же минуты заметил, что за фасадом дом уже не тот. Что-то случилось... Но что? И как узнать? Улыбающийся фасад не выдает своих тайн. Напрасно муж сжимает в объятиях жену.

Он держит не мысль. Он держит только тело. Но что оно сделало, это тело?

А мысль, немой свидетель – что она видела, чего хотела? Что она знает?

Что скрывает от всех?.. Она никогда ничего не скажет. Он никогда ничего не узнает.

Они спокойно говорят о самых обыденных вещах. И вдруг голос мужчины начинает звенеть гневной ноткой. Без видимого повода. Он сам это сознает. И голос снова падает. Они молчат. Ему стыдно, что он выдал себя; при мысли, что он никакими силами не сможет вырвать у жены ее тайну, в нем закипает гнев. Они как склеенные, они замурованы вместе. Он молча поднимается и выходит, хлопнув дверью. Кларисса сидит неподвижно, но Марк слышит немного спустя, как она сморкается: значит, плакала.

Когда муж, по окончании отпуска, уезжает, им нечего сказать друг другу; то, что они могли бы сказать, взорвало бы фасад жизни, который они так боятся расшатать. Как жить среди развалин, на разрытой снарядами равнине, которой уподобилась теперь их жизнь, если у них не останется даже фасада прошлого, к которому они могли бы прислониться и прилепить свое гнездо, – этого обманчивого воспоминания о том, чем они были?.. Они прощаются. Целуют друг друга сухими губами. Они любят друг друга. Они чужие.

И на той же неделе, последней неделе отпуска Аннеты, вернулась Лидия Мюризье.

Обе женщины, встретившись, снова почувствовали волнение и нежность.

Они приникли друг к другу губами, раньше чем успели обменяться хоть словом. Но когда слово прозвучало, им показалось, что оно доносится из-за стены. И обе поняли, что, владей они даже ключом от единственной двери, разделявшей их, они не отперли бы ее. Это было самое тягостное: между ними – барьер, они рвутся друг к другу, но ничего не хотят сделать, чтобы сломать этот барьер.

Лидия утратила аромат искренности, естественности, придававший поэтическую грацию ее движениям. Она сурово глушила его, прикрывала траурным вуалем. Свою натуру она принесла в жертву покойному другу. Хмель горестного мистицизма первых дней был непрочен. Его печальное и болезненное очарование рассеялось. Такие переживания можно подогревать лишь искусственно. Сердце просит пощады, сердце хочет забыть. Чтобы приневолить его, надо посадить его на цепь и мучить. Теперь это раб, привязанный к жернову, подстегиваемый волей. Лидия судорожно старалась думать о мертвом:

«Думай о нем! Думай о нем!..»

Но и этого было недостаточно:

«Думай, как он!..»

И она отреклась от собственной мысли, чтобы до конца усвоить мысль существа, которое она хотела спасти от забвения – своего забвения...

(Трагическая борьба души в безмолвии ночи – борьба со смертью, уносящей сокровище ее любви!..) Она заковала себя в панцирь того идеализма, тех сухих и палящих идей, с которыми срослась душа Жиреров: теперь они говорили ее устами, юными ее устами, дрожавшими от мучительной нежности.

Это было так странно, так тягостно слушать!.. Но Аннета слушала, ежась от холода и не находя слов для ответа. Она чувствовала напряженную неискренность, героические и фальшивые потуги милой девушки уверовать в то, во что ей не верилось, мыслить так, как не мыслилось. Нет, Аннета не могла отвечать ей! Она знала, что разубедить ее было бы слишком жестоко.

Нежный, надломленный цветок... Ведь только этот панцирь не давал ему упасть!.. Но хотя Аннета ни словом не обмолвилась о том, что думала, Лидия читала ее мысли на сомкнутых губах. И она закрыла уже запертую дверь в выросшей между ними стене еще на засов.

О войне, взявшей у нее счастье и жизнь, Лидия говорила с восторгом; она судорожно славila сомнительное будущее, которое подготавливали сражения: сумбурный мессианизм, сулящий справедливость и мир, но строящий их на сегодняшней несправедливости, на бойне, на миллионах утрат, на ее утрате, на трупе ее возлюбленного, освятившего своей кровью (единственной, которая шла в счет!) смехотворное наступление царства бога – бесформенного бога тех, которые лишились его, бога людей Запада, потерявших бога и во что бы то ни стало стремящихся обзавестись им, – бога всеобщей Демократии...

О, как фальшиво звучат эти слова в твоих нежных и печальных устах!

Лихорадочная улыбка твоя – точно рана...

Лидия поднимала, как знамя, свою веру, выставляла ее напоказ; она чувствовала, что Аннета потеряла эту веру (да и была ли она у нее когда-нибудь?), чувствовала, что Аннета разочаровалась во всех этих идеях, отреклась от страстей, волновавших в те дни всевозможные отечества. Если самой Аннете это было еще не совсем ясно, то ей помог разобраться взбунтовавшийся инстинкт, который отдалял друг от друга двух женщин, говоря обeim:

«Увы! На этой земле мы уже не встретимся!..»

Но куда бежать на этой земле? Что сделали с этой землей?..

Нестерпимо удушлива была атмосфера Парижа – атмосфера всего мира – в эти последние дни лета 1916 года. Земля была как разверстая пасть, требующая жертв. От ее яростного дыхания несло трупом – трупом человечества. Горы растерзанного мяса с Соммы и Вердена не могли утолить ее алчности. Со времен принесения в жертву ацтеками целых

народов к небу еще не возносились запахи подобных гекатомб. Еще две страны-соседки весело вошли в хоровод смерти. За два года это было тридцать второе объявление войны. Плясуны топали и притапывали. Пресса, присев на корточки вокруг танцующих, щелкала пальцами, ударяла костями о котлы, улюлюкала. В Германии она горланила новый псалом святого Франциска, псалом в честь нашей сестры – Ненависти:

«Нам были дарованы Вера, Надежда и Ненависть. Но Ненависть – самая великая из трех...»

Во Франции наука, завидуя «девяноста трем», пожелала выставить собственный список и опубликовала памятник бесчестия: «Немцы и наука»; в этом документе самые видные представители мысли, за исключением двух имен, не только отлучали немцев от европейской семьи, но, исходя из научного (настоящие Марфуриус и Панкрас) анализа их мозга, их костей, их испражнений, отлучили немцев от человеческого рода. Один из столпов учености пожелал, чтобы Берлин был сровнен с землей, «дабы оставить в центре этой чванливой страны остров мести,⁶⁴ покрытый развалинами». Один ученый-юрист доказывал право вести войну любыми средствами. Один из глашатаев французского либерального католицизма, человек честный и почтенный, поздравил французских католиков с тем, что они «во имя Христа без всяких колебаний отказались простить немецких католиков». Другой заседала в этом хоре требовал, чтобы ему выдали кайзера как часть причитающейся ему добычи – он собирался посадить его в медвежий ров Зоологического сада. Смешное переплеталось с ужасным. Тартюф и король Юбю. У главных певцов и плясунов этого хоровода наглость и лицемерие достигли гималайских вершин. Ханжа министр на заседании парламента, под аплодисменты восхищенных дурачков, со слезами умиления славил священное бескорыстие подкупленной им печати. А уэльский враль Ллойд-Джордж, эта помесь маленького, малюсенького Кромвеля с Сирано, держа в одной руке. Библию, а в другой шпагу (чужую шпагу), проповедовал братьям-баптистам новое Бытие.

Сравнивая творение первых дней с тем, что сотворила война, – тут господом богом был он, – Ллойд-Джордж обрушивал громы и молнии на сынов греха – пацифистов: «Никакая бесчеловечность, никакая безжалостность не могут идти о сравнение с их жестокостью, то есть стремлением прекратить войну» на полпути. А в это время Америка спокойно округляла свой счет и наводняла Старый Свет орудиями смерти. Правой руке ведь не полагается знать, что делает левая. И если начертано: «Не убий», то нигде не начертано, что ты не должен заниматься столь почтенным делом, как производство орудий убийства, лишь бы они были доброкачественными и лишь бы за них хорошо платили.

Аннета, затыкая себе уши, полная презрения и гадливости, прибегала отогреться к сестре. Но Сильвии было мало дела до счастья и несчастья ближних – вне тесного круга родных, тех, кого она любила, кто был ее добром. Эта милая женщина говорила:

– Дорогая, не расстраивайся! Надо заластить терпением. Бери пример с меня! Я жду. Ведь это когда-нибудь да кончится. Так не будем же торопиться! Нужно еще время... Видишь ли, один мой знакомый, красивый мужчина, три нашивки, орден (его недавно убили), сказал мне: «Нам надо истребить еще миллион немцев».

Аннета во все глаза смотрела на Сильвию. Уж не шутит ли она? Да нет, она серьезна... О! Не слишком глубоко! Без горячности. Она не питала злобы к тем, кого уже заранее обрекала... Но раз так надо!..

– А ты знаешь, – возразила Аннета, – что на этот миллион придется по крайней мере полмиллиона наших...

– Ах! Что же делать, дружок! Если на это есть причина!

Причина! Уж за этим-то дело не стало! Они могли бы набрать их с десяток...

Светская жизнь возобновилась. Tea rooms⁶⁵ были битком набиты, и прекрасные

⁶⁴ Sic! – Р. Р.

⁶⁵ Кафе-кондитерские (англ.).

заказчицы снова хлынули к Сильвии. Напряжение первых лет войны, мужественная сдержанность первоначальной поры испытаний, припадки ненависти и жажды наслаждений, – своего рода перемежающаяся лихорадка, подхлестывавшая чувства, – все это миновало. На смену пришло нечто гораздо более страшное. Человеческая природа стала привыкать. В новых обстоятельствах она проявила ту приспособляемость, ту невероятную и гнусную гибкость, которая тысячелетиями позволяла человеку, подобно червяку, забираться в малейшие щели, где можно было спастись во времена родовых схваток земли, между тем как виды, менее способные стлаться и изгибаться, а потому не сумевшие проползти, вымирали. Если искусство восстанавливать нормальный быт в самых противоестественных условиях заслуживает восхищения, то Париж в ту пору был восхитителен.

Но Аннета отнюдь не была склонна петь хвалу Парижу. Она улавливала его отражение на лице своего сына, и это зеркало приводило ее в ужас.

Марк не выказывал прежнего возбуждения; не было у него больше судорожных порывов, не было прежней резкости, смеха, похожего на гримасу, – всего того, что беспокоило его мать в прошлом году. Он вообще ничего не выказывал. Он был ко всему безразличен. Казалось, лихорадку, прежде отражавшуюся на его бледном лице, теперь загнало внутрь, и это лицо походило на спящий пруд. Мутная, но без единой рябинки, вода. Недвижная поверхность.

Не видно глубины. Нет отражений, Марк спит...

Да, Марк, казалось, спал. Он как будто не видел, не чувствовал, не слышал того, что происходит вокруг, – урагана, сокрушавшего лес, треска валившихся деревьев, дыхания смерти, зловония, грохота – и матери, с тревогой склонившейся над ним. Но кто знает? Под маслянистой глазурью пруда работает жизнь... Еще не время показывать ее при свете дня. А если бы он и показал ее, то уж, во всяком случае, не умоляющим глазам матери.

Только в разговорах с Сильвией Марк проявлял некоторую откровенность.

С теткой ему было легко, он спокойно болтал с ней. Оставаясь с Аннетой, он следил за собой и за ней. Впрочем, прежней заносчивости и раздражительности уже не было. Марк был вежлив. Он, слушал без возражений. Он ждал без нетерпения. Ждал без нетерпения, чтобы она уехала.

Она уехала, удрученная и растерянная. Теперь Марк был ей еще более чужим, чем в ту пору, когда у них происходили столкновения. С противником тебя еще может соединять какая-то нить, но только не с человеком равнодушным. Аннета стала не нужна Марку. Ему достаточно других, например, Сильвии. С глаз долой, из сердца вон. Для Аннеты уже не осталось места в сердце сына.

Ни в сердце сына, ни в мире. Всюду видела она далеких и чужих людей.

И нигде не видела людей, которым она была бы близка. Все, что побуждало окружающих жить и хотеть жить, верить и хотеть верить, сражаться и стремиться к победе, – все это с нее уже спало, как истлевшая одежда, как опадают с дерева прошлогодние листья. И, однако, стремления у нее оставались. Ей были неведомы те неврастенические состояния, когда энергия куда-то уходит, боязливо прячется. Энергией она была заряжена вся. Угнетенное состояние Аннеты происходило оттого, что ей не к чему было приложить свои силы. На что обратить эту жажду дела, жажду борьбы, жажду любви, жажду («Да, и она есть у меня!..») ненависти? Любить то, что любят все окружающие? Нет! Ненавидеть то, что ненавистно им? Никогда! Сражаться? Но за что? Совсем одна, посреди этой схватки, – к кому, к чему она пристанет?

Вот уже неделя, как Аннета опять начала работать в коллеже. В один октябрьский вечер, ненастный и холодный, она возвращалась домой, усталая, углубившись в свои мысли. Подходя к дому, она заметила какое-то непривычное оживление на улицах.

Недалеко от ее дома был оборудован временный (ох, и злосчастное же это было время!) госпиталь. Верденская бойня извергала раненых. Тела мучеников уже некуда было

сваливать. Впервые маленький забытый городок получал свою долю этого груза. И в первый же раз ему прислали немцев!

В городе до войны не было порядочной больницы даже для старых инвалидов труда или безделья (в конечном счете все они идут в одну и ту же кучу хлама!). Их запикивали в тесные, душные, полусгнившие здания, где столетиями насаивались грязь и зараза. Ни больные, ни врачи этим не смущались. Дело привычное... Но вот с началом «прогресса» (то есть войны) в воздухе стали носиться новые идеи (или, вернее, слова): гигиена, антисептика... Решили, плодя смерть, все-таки поставить ее в гигиенические условия. В новом госпитале – бывшем пансионе – навели лоск на грязь, к запаху плесени прибавили запах фенола, классные комнаты оборудовали по рецепту Амбруаза Парэ и снабдили новое учреждение ванной – большая редкость!..

Слишком роскошная обновка для немцев!.. Городок зашумел. Он перенес тяжелые испытания. За последние месяцы в боях погибло много молодежи из этого края. Почти не было семьи, где не носили бы траур по близким. Горе всколыхнуло жителей городка, их привычное равнодушие сменилось ожесточением. Даже среди больничного персонала произошел раскол, и часть его хотела отказаться от ухода за врагом. По рукам ходила написанная в соответствующем духе петиция. Но эшелон раненых прибыл раньше, чем вышло решение. О его прибытии госпиталь уведомили, только когда эшелон был уже на месте. Весь городок высыпал на улицы при этом известии...

Несчастное стадо вытолкали с перрона. В несколько минут оно затопило привокзальную улицу – так заливают ливень сточную канаву. В обычное время это были безобидные, приветливые, равнодушные, грубоватые, незлобивые люди. Но в них тотчас же заговорили самые низменные инстинкты. О приближении процессии раненых можно было узнать издали по рычанию толпы. Вот они: две телеги, нагруженные живыми обломками; на носилках – прикрытые тряпьем тела, запрокинутые головы; у одного свешивалась рука, ногти царапали дорожную пыль. Впереди шла небольшая группа легкораненых, с забинтованными лицами или руками. В первом ряду – высокая и тощая фигура немецкого офицера. Затем немногочисленный конвой. Толпа кинулась наперерез с поднятыми кулаками – женщины со скрюченными, как когти, пальцами... Священное единение! Вместе с простонародьем бежали лавочники, буржуа и даже – в нескольких шагах – дамы из общества. Несчастные на мгновение остановились, но задние ряды напирали, подгоняли. Раненые приближались с выражением ужаса на лицах: они ждали, что их перебьют. В них полетели камни. Толпа ошетилилась палками, зонтиками. Раздались призывы к убийству, свистки. Разумеется, прежде всего обрушились на офицера.

Кто-то ударил его кулаком, чья-то рука, сорвав с него каску, швырнула ее наземь, какая-то женщина с визгом плюнула ему в лицо. Под ударами он зашатался.

Аннета ринулась вперед.

Она была уже в толпе, стоявшей в три ряда. Смотрела, ошеломленная.

Ничего не замышляла, ничего не желала. Да и не имела времени понять, что происходит в ней... Нагнув голову, расталкивая исступленных людей, которые мешали ей пройти, Аннета расчищала себе дорогу и протискивалась вперед. Они узнали, чего стоит кулак той, что носит фамилию Ривьер! И ее рык!.. Она подбежала к немецкому офицеру и, вскинув руки, обернувшись к толпе, завопила:

– Негодяи! И это французы! Эти два возгласа стегнули толпу, как два удара хлыста.

Не переводя дыхания, Аннета, продолжала:

– И это люди? Всякий раненый священен. Все, кто страдает, – это наши братья.

Ее голос, ее руки приковали к себе внимание толпы. Она обводила всех неистовым взглядом, который был точно удар в лоб. Толпа отхлынула, рыча.

Аннета нагнулась поднять каску офицера. Этого мгновения было достаточно, чтобы порвать ее связь с окружающими. Поостывшая было злоба опять накалилась: казалось, вот-вот толпа вцепится в горло Аннете... В это время молодая женщина в костюме сестры милосердия подошла к ней и произнесла тихим, но твердым голосом:

– Эта женщина говорит, как подобает всякому порядочному человеку. Раненые враги находятся под защитой Франции. Неуважение к ним – это неуважение к Франции.

Ее знали все. Она принадлежала к одному из самых влиятельных в том краю аристократических семейств Муж ее, офицер, недавно пал под Верденом. Ее вмешательство решило дело. К ней подошли еще две дамы, тоже сестры милосердия. Два-три человека из местных буржуа поспешили призвать толпу к спокойствию. Та самая женщина, которая только что плевала в лицо пленным, стала громко причитать над раненым солдатом. Ворчавшая толпа раздалась и пропустила весь эшелон во главе с молодой вдовой и Аннетой, взявшей за локоть едва державшегося на ногах офицера.

До госпиталя дошли благополучно. А там уже заговорили профессиональный долг и человечность. Но из-за кутерьмы, которая поднялась в первые часы по прибытии раненых и еще усилилась потому, что не хватало санитаров (колеблющиеся вернулись один за другим в течение ночи), оставшиеся на месте оказались перегруженными работой, и Аннета, на которую никто не обращал внимания, пробыла в госпитале до полуночи. С помощью только что бесновавшейся фурии, буйной особы, которая оказалась предобродушной кумушкой, устыдившейся своей свирепой выходки и старавшейся загладить ее, Аннета раздела и обмыла раненых. Один из этих несчастных был признан безнадежным, оперировать его уже не имело смысла, и Аннета провела с ним последние часы.

Это был смуглый юноша, тщедушный и нервный: полусемитского, полулатинского типа, характерного для побережья Рейна. Рана – страшная. Открытый живот... «Jam foetebat».⁶⁶ В ране уже копошились черви. Все его тело содрогалось, он стискивал зубы, но по временам протяжно стонал.

Глаза его то смыкались, то снова открывались, ища какой-нибудь предмет, какое-нибудь существо, что-нибудь живое, точку опоры, за которую он мог бы ухватиться на краю бездны. Они встретились с глазами Аннеты и впились в них... В эти глаза, горевшие состраданием... О, какой неожиданный свет среди мучений! Захлебнувшаяся надежда поднялась со дна. Он крикнул:

– Hilfe!⁶⁷ Аннета наклонилась и подсунула руку под приподнявшуюся голову. Она зашептала ему на ухо по-немецки нежные слова. На его сухую горячую кожу они упали как дождевые капли. Он ухватился за другую ее руку и вдавил в нее пальцы. В ее теле отдавалось каждое содрогание умирающего. Она вливала в него терпение. Мужественный юноша затаивал дыхание, стараясь подавить крик. Он все стискивал руку, державшую его над пропастью. В эту пропасть он погружался все глубже, а глаза Аннеты все ярче сияли нежностью. Она говорила:

– Sonchen! Knabelein! Mein armer lieber Kleine!...⁶⁸

Тело его содрогнулось в последний раз. Юноша открыл рот, чтобы позвать ее. Аннета поцеловала его. И не отняла руки, которая сжимала его вздрагивающие пальцы, пока не увидела, что он отмучился.

Аннета ушла. Было три часа ночи. Ледяной туман. Угасшее небо. Безлюдные улицы. Нетопленая комната. Она не ложилась до света. Весь ужас мира был теперь сосредоточен в ней. Сердце было полно скорби. И все-таки Аннете дышалось легче. Она снова обрела свое место в трагедии человечества.

Все, что душило Аннету, отошло. Она сбросила тяжелую ношу движением плеча. И только теперь, видя ее у своих ног, поняла, что ее душило...

Она лгала. Лгала себе. Пряталась от собственного взгляда. Не смела смотреть в лицо

⁶⁶ Уже смердел (лет.).

⁶⁷ Помогите! (нем.)

⁶⁸ Сыночек! Мальчик! Бедное, милое дитя! (нем.)

чудовищным идеям, давившим ее. Безвольно соглашалась, что война неизбежна и нужно защищать отечество. Боязливо мирилась с оправданием войны как явления природы. И вдруг против этой дикой природы восстала ее собственная природа, отвергнутая и скованная, преданная и неутоленная природа, которая мстит за себя и вырывается на волю. Грудь Аннеты, сжатая жестокими тисками, сбрасывает их, дышит. И Аннета взывает к своему праву, к своему закону, к своей радости – а также к своему страданию, но к собственному страданию, к материнству.

Материнству всеобъемлющему. Она чувствует себя матерью не только своего сына!.. «Вы все – мои сыновья. Сыновья счастливые, несчастные, вы раздражаете друг друга, но я обнимаю вас всех. Ваш первый сон, ваш последний сон я баюкаю в своих объятиях. Спите! Я ваша общая мать...»

Когда рассвело, она написала другой матери, матери умершего ребенка, которому она закрыла глаза. Ей Аннета передала последний поцелуй сына.

А затем вернулась к учебникам и тетрадям. И, не отдохнув, но со свежими силами и миром в сердце начала трудовой день.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Поступок Аннеты вызвал много толков. О нем заговорили в каждом доме.

Не будь он во всеуслышанье одобрен молодой г-жой де Марей, его решительно осудили бы. Но под влиянием ее заступничества кое-кто сменил гнев на милость. Многие были возмущены. И все затаили раздражение. Пусть даже правда на стороне этой женщины, все же трудно стерпеть, чтобы чужачка дала вам урок чести – и каким тоном!

Однако все споры умолкли, как только разнесся слух (в маленьком городе все узнается в какие-нибудь два-три часа), что г-жа де Марей на следующий день побывала у Аннеты и, не застав ее дома, пригласила к себе запиской. Аннета находилась под защитой. Обыватели заглушили в себе злобу до первого случая. Директор коллежа, вызвав г-жу Ривьер, удовольствовался скромным увещанием: никто, мол, не сомневается в ее патриотизме, но пусть она воздержится выказывать его *extra muros*.⁶⁹ Следует исполнять свой долг в должное время и в должной форме. *Ne quid nimis!*...⁷⁰

Не успела Аннета открыть рот для отповеди директору, как он поклонился и остановил ее приветливым жестом: «Это не выговор: это только совет!..»

Но Аннета знала, что совет начальника – это первый сигнал.

В данную минуту ей оставалось только снова надеть на себя ошейник и вернуться в свою конуру. То, что она обязана была сделать, было сделано.

Завтрашний день подскажет ей завтрашний долг. Но сегодняшний день избавил ее от необходимости выбора между двумя велениями долга. Когда она снова явилась в госпиталь, дверь перед ней оказалась закрытой. Вышел приказ не пускать в палаты посторонних, то есть тех, кто не состоял в двух местных организациях – Красного Креста и Союза французских женщин (кстати сказать, враждовавших как кошка с собакой). Впоследствии Аннета узнала, что новый приказ был направлен против нее.

Хотя Аннета со своей жаждой служения людям и очутилась перед запертой дверью, но перед ней тут же открылась другая: за ее порогом она нашла возможность утолить свою новую потребность – в материнстве. И никто не мог предвидеть опасные пути, на которые толкнули Аннету обязательства, наложенные на нее обновленной совестью.

При первом же свидании Аннеты с г-жой де Марей молодая вдова засвидетельствовала ей свое глубокое уважение – не меняя, впрочем, своего сдержанного, с холодком, тона, – и

⁶⁹ Здесь – публично (лат.).

⁷⁰ Не нарушай меры (лат.).

сказала, что один из ее зятьев, тяжело раненный и лечащийся дома, выразил желание встретиться с г-жой Ривьер.

Аннета тотчас же приняла это приглашение.

Жермен Шаванн состоял в родстве с г-жой де Марей, урожденной Сейжи; его сестра вышла замуж за одного из братьев Сейжи. Обе семьи поддерживали тесную связь, основанную на общих деловых интересах и взаимной симпатии. Обе очень давно пустили корни в том краю. Их земли соприкасались.

Взгляды же расходились скорее по форме, чем по содержанию. Шаванны держались республиканских взглядов довольно неопределенного оттенка: их красный цвет – и в самом-то начале весьма умеренных тонов – постепенно вылинял; остался розовый тон, и если он еще не перешел в белый, то, во всяком случае, приятно оттенял его. Богатство, честно нажитое и прочное, немало способствовало тому, что межи, скорее отграничивавшие, чем разделявшие владения двух семейств, почти стерлись. (Во все времена и в любом месте собственность всегда тяготеет к собственности.) Любовь к земле, которой они сами управляли, – им принадлежало десятка два ферм, рассыпавшихся по округе, точно выводок цыплят, – привязанность к своему краю и культ порядка, наполовину, если не целиком, заменяющий религию (конечно, мы имеем в виду религию Рима, единственную, которая является на Западе мощной силой порядка), – все эти характерные черты были у Шаваннов общим с де Марей, де Тезэ, де Сейжи и с мелкопоместными дворянами; различий же осталось ровно столько, сколько необходимо, чтобы льстить самолюбие каждого; именно в этом видели они знак своего превосходства над соседом. Слабость, присущая всем людям... Де Сейжи и Шаванны были слишком хорошо воспитаны, чтобы обнаруживать сознание своего превосходства.

Надо хранить его в себе и тешиться им втайне.

То, что Аннета Ривьер была допущена в этот круг, могло вызвать вполне понятное удивление. Не у самой Аннеты – она не замечала социальных перегородок. Но у провинциального городка. Правда, пригласили ее только два члена семей Шаваннов и де Сейжи, волей обстоятельств наделенные у себя дома неоспоримыми правами: Луиза де Марей и Жермен Шаванн. Оба они с лихвой выплатили долг своему имени и отечеству. И оба были в своей среде исключением. Аннета очень скоро в этом убедилась.

Дом Шаваннов, старинное серое здание, стоял на извилистой улице, у подножия собора. Он был окутан тишиной, нарушаемой лишь печальным перезвоном колоколов да криками грачей. Войдя в узкие ворота из полированного дуба с ярко начищенной оковкой, – на фоне пыльного фасада она одна сверкала холодным блеском, – надо было пересечь на пути к главному зданию выложенный плитami двор. Комнаты выходили окнами на этот обнесенный четырьмя серыми стенами двор – двор без сада, без единого стебелька травы.

Можно подумать, что провинциальные буржуа, вернувшись в город после долгого пребывания на деревенском приволье, стараются так закупорить себя, чтобы природа не нашла к ним доступа. Обычно Шаванны приезжали сюда только на зимние месяцы, но события, война, обязанность участвовать во всех общественных начинаниях, болезнь сына вынуждали их жить в городе, пока будущее не примет более ясных очертаний...

В то время семья состояла почти исключительно из женщин. Отец умер.

Все здоровые мужчины, сыновья и зятья, находились на фронте. Дома был лишь семилетний мальчик, сын молодой г-жи Шаванн де Сейжи; сплющив нос об оконное стекло, изнывая от скуки, он следил, не откроется ли входная дверь, не войдет ли какой-нибудь редкий посетитель, или дремал под колокольный звон, под крики грачей. Ему виделись знамена, траншеи, могилы...

Он первый встретился Аннете, когда она вошла в дом. И впоследствии, приходя сюда, она каждый раз встречала ребенка с жадными, скучающими глазами; дотронувшись до нее, он исчезал.

Полумрак окутывал комнату второго этажа с высоким потолком и вместительным альковом. Молодой человек, расположившийся у единственного окна, через которое

проникал свет серенького ноябрьского дня, встал с кресла, чтобы поздороваться с г-жой де Марей и гостьей, которую она представила ему. Но хотя при входе сразу рождалось ощущение, что здесь плетет свою паутину смерть, сумрак не затенял лица раненого. Это было одно из тех лиц, часто встречающихся в средней Франции, которые словно сотканы из света. Приятное лицо с правильными чертами, орлиным носом, красиво очерченным ртом, синими глазами и белокурой бородкой. Он улыбнулся Аннете, а невестку ласково поблагодарил взглядом.

Обменялись ничего не значащими фразами о здоровье и погоде, не переступая за рамки осторожного светского разговора. Но вскоре г-жа де Марей незаметно вышла.

Тогда Жермен Шаванн, быстро скользивший по лицу Аннеты своим пронизательным взглядом и изучавший его, протянул ей руку и сказал:

– Милая Луиза рассказала мне о вашем героическом поступке. Вы, значит, не из тех, кто после сражения продолжает бить поверженного врага. И имеете слабость щадить побежденного. Смею надеяться, что вы распространите ее и на того побежденного, который сейчас перед вами.

– Вы имеете в виду себя? – спросила Аннета.

– Да. Тяжелое ранение. Крушение всех надежд. Есть чем потешить свое тщеславие.

– Вы поправитесь.

– Нет. Оставьте иллюзии другим, – хотя бы и мне! На это мы все мастера. Вы мне нужны для другого. Поражение, к которому я прошу вас быть снисходительной, нанесено не телу моему, а душе. Быть побежденным – это еще полгоря, когда веришь в победителя.

– Какого победителя?

– В судьбу, которая обрекла нас... Вернее сказать, в судьбу, которой мы сами обрели себя...

– Вы хотите сказать – отечество?

– Это лишь одно из ее облиций. Маска сегодняшнего дня.

– Я тоже побежденная и тоже не верю в победителя. Но не сдаюсь. Последнее слово еще не сказано.

– Вы женщина. Вы игрок. Женщина, даже проигрывая, верит, что в конечном счете выиграет.

– Нет, я в это не верю. Но буду ли я в выигрыше или в проигрыше, пока у меня останется в игре жизни хоть фунт мяса для ставки, я его поставлю.

Жермен с улыбкой взглянул на Аннету.

– Вы не из наших мест.

– Из Франции. Откуда же еще?

– Из какой провинции?

– Бургундка.

– В вашей крови вино.

– В нашем вине – кровь.

– Ну что ж. Время от времени я с радостью буду утолять жажду бокалом такого вина. Не можете ли вы иной раз – когда почувствуете в себе избыток энергии и немножко терпения, – уделять мне четверть часа для беседы?

Аннета обещала и стала бывать у Жермена. Между ними возникла дружба.

Они говорили обо всем, кроме войны. После первого же вопроса раненый жестом прервал Аннету. Вход – воспрещен. Путь закрыт!..

– Нет, не будем о ней говорить! Вы все равно не поймете... Я не говорю, что только вы... Все вы, находящиеся здесь... Здесь... Там... Два мира – этот свет, тот свет... Два разных языка.

– Не могу ли я научиться этому новому языку? – спросила Аннета.

– Нет. Даже вы, несмотря на весь пыл вашей симпатии. Любовь не может восполнить отсутствие опыта. Написанное в книге тела не поддается переводу.

– Почему не попытаться? Я так жажду понять! Это же не любопытство...

Хотелось бы помочь! Хотелось бы смиренно приблизиться к пережитому вами.

– Благодарю вас. Помогите нам забыть его – это и будет наилучшая помощь. Даже с товарищами «оттуда» мы уговариваемся не поминать о том, что было «там». Рассказы о войне – а книгах, в газетах – нам претят. Война – не литература.

– Да ведь и жизнь тоже.

– Верно. Но у человека есть потребность петь. А жизнь-это тема, богатая вариациями. Так давайте петь!

Он вдруг замолчал: перехватило дыхание. Аннета поддержала ему голову.

Отдышавшись, Жермен извинился, поблагодарил. На его осунувшемся лице снова появилась улыбка. На лбу блестела капля пота. Они молча ждали. И ласково смотрели друг на друга...

Жермену Шаванну было под тридцать. Он вырос в кругу провинциальной буржуазии, благонамеренной, либеральной, но насквозь пропитанной умственными предрассудками, впрочем, здоровыми и крепкими; вместе с Трудом и любовью к земле они дают твердую опору этим слоям в центральных провинциях. (Не будь у здешних буржуа этих предрассудков, их засосала бы слишком беспечальная жизнь.) Жермен хорошо знал их свойства – и плохие и хорошие. Он сам был из того же теста. Но неведомый пекарь положил в это тесто иные дрожжи.

Молодой богатый буржуа, будущность которого, казалось, была начертана уже при его рождении, жизнерадостный и беспечный, пасшийся на тучных лугах своих поместий, уехал в Париж и поступил в Школу востоковедения и дипломатии. Его привлекала не столько карьера консула, сколько перспектива путешествий. Родину свою он любил, как лакомка: небо и воздух, говор и стол, добрую землю и милых людей... А мечтал об одном – уехать!

Дожидаясь назначения в далекие страны, он изъездил Европу из конца в конец. Странное влечение – на взгляд его земляков, больших домоседов! Но что толку спорить о вкусах и цветах (с богатыми людьми в особенности!).

Война сорвала план путешествия. А теперь – болезнь. Жермен был отравлен газами; организм его постепенно разлагался. Теперь ему осталось одно: путешествие вокруг своей комнаты (да и то нет! Уже несколько дней он не мог подняться с постели), путешествие внутри себя. Не менее далекое, не менее таинственное... Неизведанный край... Он добросовестно изучал его... Но откуда у него это призвание, это стремление бежать?..

Он объяснил это Аннете тем шутливым, насмешливым тоном, каким обычно излагал свои мысли:

– Я жил в деревне. И пристрастился к охоте – не столько ради самой охоты, сколько ради общения с землей и живыми существами, животными и растениями. При всей моей любви к животным я убивал их. Но то, что я убивал животных, не мешало мне их любить. Держа в руках еще не остывшую куропатку, нажимая на брюшко белозадого кролика, чтобы выжать из него его завтрак, я чувствовал, что, пожалуй, стою ближе к ним, чем к себе – к человеку. Но это еще не значит разжалобиться. Меткий выстрел всегда радует. И думаю, что, поменяйся мы местами, они не промахнулись бы. Но я старался познать их и себя. А затем съедал их... Зачем вы сморщили нос?

Чтобы сильнее втянуть их запах? Куропатка с капустой и ломтиками золотистого сала – пища богов. От такого блюда и вы бы не отказались... Но боги, надо признаться, весьма странные животные.

– Ужасные.

– Не будем их судить! Будем есть! Ведь съедят и нас! (Теперь очередь моя.) И будем познавать!.. Богов? До них не дотянешься. Тех, кто у нас под рукой. Животных и людей... Первое мое открытие состояло в том, что люди и животные, тысячелетиями живя в непосредственной близости, не старались узнать друг друга... Да, шерсть, мясо – в этом мы разбираемся...

Но что они думают, что чувствуют, чем являются – до этого людям нет дела. Нелюбопытны они! Не любят, чтобы нарушали их покой. Не желая утруждать свою мысль,

они не допускают ее присутствия в животных... Но вот, открыв глаза, я с удивлением убеждаюсь, что и друг друга люди знают не лучше. Как ни тесно связаны они, каждый полон собой и не заботится о другом. Сосед мой! Если ритм твоей жизни согласуется с моим, – превосходно, ты мой ближний. Если он не соответствует моему, ты чужой. Если же он сталкивается с моим, ты враг. Первому я великодушно приписываю свою собственную мысль. Второй имеет право только на мысль второго разряда.

Что касается третьего, то, как поется в «Мальбрук» – «третий не принес ничего» и никаких прав не имеет: я начисто отрицаю за ним способность мыслить, как и за животными. (Разве боши-люди?) Впрочем, к какому бы разряду я ни отнес «другого» – к первому, второму или третьему, во всех трех случаях он для меня незнакомец, и я даже не пытаюсь узнать его.

Только себя я вижу, себя слышу и с собой разговариваю. Я – лягушка: ква-а!.. Когда я надуваюсь под влиянием страсти или от сознания собственного величия, лягушка превращается в вола, и я нарекаюсь Нацией, Отечеством, Разумом или Богом. Но такое состояние опасно. Вернемся-ка лучше в свою лужу!.. Увы! Я никогда не обладал способностью мирно квакать в луже, защищаясь своим наглухо закрытым непромокаемым плащом, – своей кожей. С того мгновения, когда меня коснулся демон любопытства (или симпатии?), я захотел изучать людей (я не говорю – понять: кто имеет право похвастаться этим?), но по крайней мере потрогать их, почувствовать живое тепло их души, как я чувствовал под своими пальцами теплое и нежное тело куропатки. И я ощутил эту теплоту. Я наслаждался ею.

Любя их. Убивая их. Я ведь и убивал.

– Вы убивали? – отшатнувшись, спросила Аннета.

– Надо было. Не вините меня! Они воздали мне тем же!

Так он повествовал о себе, облекая галльской иронией трагическую сущность своей мысли. Казалось, эта мысль не знала ни надежды, ни жалости.

Она была подобна стране теней. Но над землей сияло радостное солнце живых. От этого контраста его видение мира становилось еще более мрачным.

Он видел первородный грех творения, но не допускал, что его можно искупить. Страстный инстинкт Аннеты взбунтовался. Она верила в добро и зло, она пылко переносила их из своего сердца на экран звездных пространств жизни. И она заняла место в великой схватке. Она не ждала победы и не победу считала своей целью – цель она видела в борьбе. То, что она считала злом, было для нее злом, было врагом. А с врагом она не шла на мировую.

Но сражаться легко, когда все зло помещаешь на стороне врага, а все добро – на своей. Синие глаза Жермена, ласково смотревшие как бы в самую душу Аннеты, эту цельную и страстную душу, видели перед собой иное поле сражения! Кришна сражается с Кришной, и неизвестно, чем увенчается битва – жизнью или смертью, всеобщим разрушением. Жермен видел взаимное непонимание, он видел его во всем мире, он видел его в веках. И, на свою беду, он не мог приобщиться к нему. У него был опасный дар признавать не только свою мысль, но и мысль других, ибо он и не понимал. Ему больше нравилось проникать в нее, чем изменять ее.

Жермен не всегда был таким. Он вошел в жизнь со своим цельным «я», которое тоже стремилось не понимать, а брать. Его глаза открылись, когда на него посыпались удары судьбы. Он спокойно рассказал Аннете об одном из них. (С ней он говорил без всякого стеснения, как с умным товарищем, который знает жизнь и, по-видимому, прошел через такие же испытания.)

Он любил женщину и любил тиранически. Он хотел любить ее по законам своего, а не ее сердца. То, что он признавал хорошим для себя, было, по его мнению, хорошо и для нее. Любя друг друга, разве не были они единым существом? Она любила, но устала от этой любви. Однажды, вернувшись к себе, Жермен нашел клетку опустевшей. Его подруга ушла. Несколько прощальных строк объяснили ему – почему. Жестокое испытание, но оно не

прошло даром. Теперь Жермен понял: люди хотят, чтобы вы любили в них не себя, а их самих...

– Преувеличенные требования, не правда ли? Но надо их принять... И с тех пор я старался, как мог...

Он рассказывал о пережитом своим обычным шутливым тоном.

– Принимать все от тех, кого любишь, – сказала Аннета, – нетрудно, если несешь издержки один. Но, если расплачиваются они или соседи, можно ли с этим примириться?

– Вы говорите о войне?

– Война, мир, не все ли равно? Дремучий лес, где сильные пожирают слабых, пока еще более сильные не съедят их!

– Есть только слабые, вы сами это сказали. В конечном счете все будут съедены.

– Я с теми, которых едят!

– Э! Вы живете, и зубы у вас превосходные?

– Хотелось бы мне иметь только губы, чтобы целовать все живое. Но раз Неназываемое вложило мне в рот эти ножи, пусть у них будет одно лишь назначение: защищать моих детей!

– И вот вы уже воплощение войны!

– Да нет же, от войны я их и защищаю.

– Все они такие, как вы... Скажем: девять из десяти! И десятый, без девяти остальных, будет бессилён.

– Да, война во имя мира... Ах, не то я говорю!..

Не верите же вы в этот мрачный маскарад?

– Не верю. Нет. Но они-то верят. Я уважаю их веру.

– Их веру? Личина, под которой прячутся инстинкты злобы, зависти, гордости, жадности, разбоя, похоти...

– Не продолжайте!

– Список еще не исчерпан.

– А вы что знаете обо всех этих товарах?

– Знаю все сорта. Они у меня есть. Полный короб.

Жермен умолк; взглядом знатока он окинул сидевшую у его постели женщину, которая говорила о мире и раздувала огонь. Затем он сказал (не со всем то, что думал):

– В вас есть порода. И все, что полагается этой породе!.. Но знаете ли, госпожа Юдифь, раз вы приписываете филистимлянину часть ваших добродетелей, не останавливайтесь на полпути, наделите его столь же щедро и другими, лучшими!..

– Что вы хотите сказать?

– Ну да, – вашей любовью, верой, искренностью... Вы отвергаете всех этих людей, вы отвергаете их сплошь, как злодеев и лжецов. Легко сказать! Если б это было так, жизнь была бы слишком проста, а они не забрали бы такую силу! Присмотритесь к ним поближе!

– Я не хочу их видеть.

– Почему?

– Потому что не хочу.

– Потому что вы видели.

– Да, видела.

– Но видели пристрастными глазами... Я вас понимаю: видеть правду-это связывает руки, когда действуешь... Но действовать ли, нет ли... Прежде всего надо видеть! Я уступаю вам свои очки. Смотрите! А после – живите как знаете...

Она видела – волей-неволей. Жермен не говорил громких слов о человечестве. Этот стиль был ему чужд, и Человек, человек вообще, в его глазах не стоил ломаного гроша. Его занимало только преходящее, будь то живое существо или мгновение. Непреходящее, неумирающее, по его мнению, и не живет: оно мертво.

Говорил он с ней о своем родном городе, родном крае. С детских лет он собирал в своих папках вороха карандашных эскизов в старинном французском стиле: портреты,

беглые зарисовки, к которым художник возвращается снова и снова, пока в них не проглянет душа. Городские, деревенские жители, так хорошо ему знакомые... Ах, он знал их вдоль и поперек, с лица и с изнанки! Было из чего выбирать. Жермен извлек из этой коллекции несколько портретов: тип людей, как будто известных Аннете, выводивших ее из себя своей узостью и эгоизмом. Вот такие – и мужчины и женщины – в день прибытия пленных вели себя, как бешеные волки. Они по-своему добры, у них есть свои домашние добродетели. Эти неуклюжие души под своей непроницаемой броней не были неспособны к самоотверженным поступкам. И каждый из этих мешков с костями – кто поверит, что за них умирал бог? – нес свой крест. Аннета это хорошо знала. Но она несла свой крест и, подобно им, склонялась к мысли, что только ее крест и есть настоящий. Она видела на одной стороне палачей, на другой – жертвы. Жермен заставил ее разглядеть в каждом и жертву и палача. Этот неверующий галл развернул перед ней картину удивительного восхождения на Голгофу целого народа: все несут крест, и все бросают проклятия и камни в человека на кресте!..

– Но ведь это ужасно! – говорила она. – Неужели они не возьмутся за ум? Вместо того чтобы побивать камнями друг друга, пусть сплотятся и вместе нападают...

– На кого?

– На великого палача!

– Как он называется?

– Природа!

– Не понимаю, что это значит...

Жермен пожал плечами.

– Природа?.. – переспросил он. – Уж лучше бог!

От бога еще можно ожидать чего-то разумного... (по крайней мере приятно лелеять такую надежду!) Но природа – что это? Кто ее видел? Где у нее голова? Где у нее сердце? Где у нее глаза?

– Вот они. Это мои глаза. Мое тело. Мое сердце.

Это я и мой ближний.

– Ваш ближний? Будет вам!.. Вглядитесь-ка в него повнимательней!..

Нет, не уходите! Подождите!..

Вошел гость. Молодой человек – толстый, румяный, в синей солдатской шинели. Кукольное, наивное лицо полнощекого ангела с портала буржского собора. Это был приятель Жермена, сын богатого помещика, жившего неподалеку от главного города смежного кантона. Он приехал, в отпуск и прошел пять миль, чтобы навестить Жермена. Молодой человек расцеловался с больным, учтиво поклонился Аннете. И затараторил. Здоровье и жизнерадостность били в нем через край. Он рассказывал об общих знакомых, называя фамилии, звучавшие весело и добродушно, как имена слуг в комедиях.

Товарищи «оттуда». Некоторые из них погибли. Другие были еще живы. Певучий местный говор, с носовым произношением, придавал его рассказам веселый колорит. Гость старался причесать свою чересчур вольную речь ради Аннеты (из уважения к дамам!). Он следил за собой. Разговаривая с ней, он впадал в изысканно любезный тон, елейный и старомодный. Зато, рассказывая пространно и со вкусом о своих – о матери, о сестренке, которую обожал, он опять становился искренним. В общем, он производил впечатление большого ребенка, ласкового, послушного; душа нараспашку.

Когда гость ушел, Жермен спросил у Аннеты:

– Что вы о нем скажете? Мягко, как масло, не так ли? Хоть мажь его на хлеб.

– В нем все без обмана, – ответила Аннета. – Цельное, неснятое молоко. От него пахнет травой ваших тучных пастбищ.

– Что сказали бы вы, увидев этого пухлого ангелочка, доброго малого, хорошего сына, брата и товарища (если бы ему предложили причаститься без исповеди, он согласился бы без околичностей; он никогда не лжет: весь как на ладони), что бы вы сказали, увидев его таким, каким я видел его в окопах, в рукопашном бою, когда он орудовал, как мясник ножом, да еще и пошучивал?

У Аннеты вырвался жест отвращения.

– Не волнуйтесь! Вы ничего не увидите, я вас щажу, я закрыл ставни.

Все заперто. На улице тьма. А в комнате только мы двое.

Аннета, все еще озадаченная, сказала.

– И этот человек может смеяться! Он спокоен!

– Да он уже ничего и не помнит.

– Быть не может!

– Я видел других таких же: после своих дневных трудов – а труды эти не поддаются описанию – они спали ночью, как дети. Со спокойной совестью. И заметьте, что часом позже они были бы готовы обнять врага, которому перерезали горло! Приступ доброты у них проходит также скоро, как приступ злобы. Согласовать эти противоречия было бы трудно, да у них и времени нет. Надо беречь силы для настоящей минуты, жить по мере того, как живешь, случайно выхваченными кусками, наугад и без связи... так бывает в причудливой головоломке...

– Несчастные!

– Не жалеете их! Им хорошо живется.

– Я жалею в них себя.

– Все тот же старый эгоизм! Ваше «я» оставьте себе, а им – их собственное!

– Не верится мне, что это и есть их подлинная природа...

– Homo additus naturae...⁷¹ Природа, но издание пересмотренное и исправленное обществом. По-видимому, война – это естественное проявление врожденного инстинкта, освященное обычаем. И – кто знает? – может быть, это выход для разрушительных сил, заложенных в человеке, разряд, приносящий ему облегчение.

– И вам?

– Обо мне что говорить! Я вычеркнут из списка.

– Нет! О вас-то я и хочу услышать.

– Еще не время! Погодите! Очередь Жермена Шавакна придет... И потом ведь, для того, чтобы его знать, надо смотреть его глазами.

– Хотелось бы заглянуть в серединку.

– Терпение! Я же был терпелив!.. Вообразите, сколько надо терпения пойманному в западню, чтобы не дать обмануть себя тому, кто поймал его!

– Как же тогда вы могли ввязаться в эту схватку?

– Я мог бы сказать: «Мне не оставили выбора...» Но если бы и оставили, было бы то же самое: я выбрал бы западню. Не хочу хвастать: того, что я думаю сегодня, я не думал тогда. В моем характере есть одна печальная особенность: я весь в порых, через которые в меня вливаются извне чужие души, и поэтому я слишком часто забываю о своей. Ведь я чувствую себя французом, живу одной жизнью с другими французами; мы с любопытством вглядываемся друг в друга, слушаем, как другие размышляют вслух, думаем вдвоем, вместе с двадцатью, с тысячей других, и в конце концов становимся каким-то резонатором для любого эха. Ни вы, да и никто другой не может даже вообразить себе чудесный подъем первых дней...

Песнь уходящих... Не мы ее создали. Она создала нас. Этот горластый ангел парил над нами, как ангел Рюда парит над площадью Звезды. Но он был в тысячу раз прекраснее. И мы готовы были отдать свою шкуру, лишь бы коснуться его. Он осенил нас своими крылами. Мы не шли, нас несло, мы реяли над миром, отправляясь в поход во имя свободы всего мира. Это был хмель, как в любви, перед объятием... Какое объятие! Ужасный обман!..

Все обман. И любовь тоже. Она приносит нас в жертву. Тем, которые придут: будущему. Что же означает эта опьяняющая вера в войну? Где ее цель?

Кому, чему она приносит нас в жертву? Когда хмель рассеялся и мы задаем себе этот

⁷¹ Человек плюс природа (лат.).

вопрос, жертвоприношение уже совершилось. Тело уже втянуто в машину. Остается только душа. Измученная душа. А что можно сделать с душой без тела, с душой, идущей против тела? Терзать ее? Довольно и так палачей! Остается только смотреть, знать, подчиняться. Ты сделал прыжок.

Ты свалил дурака. Раз, два... Иди же! До конца! Жизнь не дает обратных билетов. Раз ты уезжаешь, то возврата нет... Но я не захотел вернуться один, если бы даже и мог! Мы шли вместе, вместе и умирали... Я знаю, что это нелепо, что это смерть – ради ничего. Но спастись одному – нет! Так нельзя! Я – из стада. Я – стадо.

– И за вами – стадо.

– Панурговы бараны.

– Когда же найдется среди вас хоть один, который откажется прыгать?

– Он будет не с наших лугов.

– Кто знает?

– Может быть, с вашего, Аннета? Ваш барашек?

– Мой сын!.. О боже!.. Не напоминайте мне о нем!

– Видите? Вы не смели бы дать ему такой совет.

– Да минет его – и меня – война!

– Аминь! Но обедню служим не мы. Наше дело маленькое. Кровавый обряд совершается. И мы оказываемся пойманными.

– Пусть пойманной буду я, но не он!

– Вы научитесь смиренномудрию добрых матерей Франции, Германии, вечного человечества. Они покоряются, склонившись к ногам другой матери, Скорбящей...

– Никогда! У меня – мое дитя. Я не отпущу его.

– Вопреки всем?

– Вопреки всем.

– И вопреки ему? Аннета опустила голову, у нее перехватило дыхание.

Жермен задел ее за живое. Разбередил ее тревоги, страхи, тайные сомнения, в которых она не решалась сознаться себе, которых никому ничем не выдавала. Жермену Аннета никогда не рассказывала о сыне; он знал только, что этот сын существует. Но ее молчание было красноречиво. Жермен прикинулся, что не понимает его.

– Знаю я нашу молодежь! Набор восемнадцатого года... А что еще будет в двадцатом?.. Они не связывают себя иллюзиями, как связывали себя старшие, эти комнатные растения! От разочарований они застрахованы. Война для них – дело. На что им такая чепуха, как право, справедливость, свобода и прочий вздор! Цель – выиграть. Каждый за себя. За свое «я» – целиком, как оно есть. Плотоядное «я». Life for struggle, struggle for life.⁷² Запах женщины, запах славы, запах крови. И презрение ко всему.

Мечта пробужденного тигра.

– Вы – дьявол! – сказала Аннета.

– Несчастный дьявол, – сказал Жермен. – Я ухожу из-за стола голодный.

– Вы сожалеете об этом?

– Нет. Я принадлежу к поколению, которое отжило свой век. Я не ропщу.

Надо понимать. Понимать все.

– Это тяжело! Все понять – значит отказаться от действия. Мое сердце просит действия. Я женщина. Что же мне остается?

– Снисхождение.

– Этого мне мало! Я хочу оказывать помощь, спасать.

– Кого же? Если они не хотят, чтобы их спасали?

– Пусть не хотят! Зато я хочу. Мне хорошо известно, что я ничто, что я ничего не достигну. Но я хочу всего. Надо хотеть. Если даже все боги, и все черти, и наихудшие из

⁷² Жить, чтобы бороться, бороться, чтобы жить (англ.).

всех чертей – люди, если целый мир скажет:

«Нет!» – я скажу: «Да!»

– Вы – Мартина, которой нравится быть побитой!..

– Не очень доверяйтесь своему впечатлению! Я даю сдачи.

– Как бы вы ни тужились, вы не сдвинете пылинки с твердой скалы рока.

– Может быть, и не сдвину... Но мне так легче.

– Я уже сказал вам: вы – Беллона. Ваше имя Анна – вымышленное.

– Так звали бабку того, кто победил смерть.

– И умер.

– Но восстал из мертвых на третий день.

– Вы в это верите? Аннета оторопела и замялась.

– Я не верила – раньше...

– А теперь?

– Не знаю... Эта мысль вдруг пронзила меня.

Жермен всматривался в странную женщину, которую посещали неожиданные и таинственные гости. Сидя возле кровати, на низком стуле, она приникла склоненной головой к одеялу, как бы простершись на нем. Он тихо положил руку на золотистую каску ее волос. Она подняла голову. Во взгляде ее было удивление, но и спокойствие. Жермен вполголоса спросил:

– Значит, верите?

– Во что? Ее недоумение было искренним. Она не знала, что ответить.

– Я верю, что должна действовать, оказывать помощь, любить.

– Хорошо, – сказал Жермен. – Для того я вас и позвал. Я не хотел до времени об этом с вами говорить. Хотел видеть вас, заглянуть в вас. И заглянул. Довольно говорить о том, что не я! За иронию прошу прощения – это мой защитный покров! Я отворяю дверь. Сестра Анна, войдите!

– Если пламя бушует, угрожая целому кварталу, и люди бессильны спасти все, огню уступают часть добычи, оставляют то, что обречено, рубят мосты и укрываются в каменной башне, где спрятано все самое ценное. Спасают свою жизнь, именно жизнь, и ждут, пока огонь уничтожит дом, оставив одно пепелище... Я отстоял свой дом, но огонь подбирается и к нему. Анна, на помощь!

Он не мог сразу отбросить насмешливый тон, но в голосе его слышалось волнение. Аннета сжала его руку.

– Вот мои руки! Что нужно спасти? Они не побоятся огня.

– Мою радость, мою веру, мое «я». Того, кого я люблю.

– Ту?

– Того... Моего друга.

– Где он? Почему его здесь нет?

– Он – пленный.

– В Германии?

– Во Франции.

– Он – враг?

– Так выходит. Мой брат, мой друг, мой лучший друг. Они взяли его у меня и сказали: «Забудь, убей! Это враг».

– И вы дрались?

– Никогда не дрался против него. Когда я шел к границе, я знал, что по ту сторону его нет. Прежде чем уйти на фронт, я обнял его – здесь, во Франции. Он остался здесь.

– Его арестовали?

– Он на западе, в лагере для военнопленных. Целых три года! Так близко и так далеко! Я не получаю вестей, не знаю о нем ничего. Жив ли он? А я, я умираю...

– Как? Разве нельзя навести справки?

– Могу ли я спрашивать о нем здесь!

– Ваши любят вас. Разве они решились бы в чем-нибудь отказать вам?

– Нет, с ними я не могу говорить об этом.

– Не понимаю.

– После поймете... Теперь я нашел вас. Мне дарована радость говорить с вами о нем. Говорить о нем с человеком, который может его полюбить, – это почти все равное что говорить с ним. Вы полюбите его?

– Я люблю его в вас. Покажите мне его! Расскажите о нем!..

– Его зовут Франц, а меня Жермен... Жермен – француз, а Франц-немец!.. Познакомились мы года за два до войны. Франц уже несколько лет как поселился в Париже. Занимался живописью. Мы жили близко друг от друга: наши комнаты выходили окнами в один и тот же сад. Много месяцев мы прожили почти рядом, ни разу не заговорив друг с другом. Как-то вечером, задумавшись, мы столкнулись на перекрестке. Но вспомнилось это позднее... В вихре парижской жизни, который кружит мужчин и женщин, как листья, можно встречаться, соприкасаться задолго до того, как по-настоящему заметишь друг друга. Но какой-нибудь случайный толчок – и вдруг вспоминаешь: мы уже виделись... Однажды его привел ко мне общий знакомый. И я узнал его...

Ему уже минуло тогда двадцать три года, но он казался совсем юнцом.

На нем еще лежал отпечаток женщины, матери, которую он потерял ребенком.

Тонко очерченное лицо, взволнованное, беспокойное, открытое всем ветрам надежд и подозрений. Свет и тени скользят по нему без перехода. От беспечной доверчивости сразу к разочарованию и подавленности. То он весь нараспашку, то замыкается в себе, враждебный, неприступный. Но я один это замечал и старался объяснить себе. Никто из приятелей Франца не интересовался этим. Люди любят или не любят, но им некогда приглядываться к тем, кого они любят. Да и я тоже долго не обращал на это внимания. Но жизнь заставила меня дорого заплатить за это (я вам уже рассказывал). И я узнал на горьком опыте, что никогда не следует любить ближнего, как самого себя, – люби в нем того, кого он собой представляет, кем он хочет быть, кого ты должен открыть...

Нет, между мной и этим юным иностранцем не было сходства... И именно поэтому... я нуждался в нем! А он нуждался во мне...

Свое детство и годы учения он провел в среде, жестоко угнетавшей его: среде дворянчиков, военных, клерикалов с их узкими нравственными правилами и всеми ненормальностями замкнутой касты. Для его женственной натуры эта среда была чрезмерно груба. Слишком слабый, слишком одинокий, чтобы давать отпор, он волей-неволей подчинился этим правам и мировоззрению. Но на всю жизнь у него осталась от этого рана, как у изнасилованной девушки. Он навсегда остался застенчивым, подозрительным, неуверенным, безвольным, плохо приспособленным к жизни, нелюдимым, с неутоленной потребностью любить, быть любимым, отдавать себя – с вечной болью разочарования. Ведь люди этого склада как будто для того и созданы, чтобы ими злоупотребляли. Они слишком легко обнаруживают свое наиболее уязвимое место. Люди не могут устоять перед соблазном вонзить в такого человека острие ножа, чтобы исторгнуть у него крик боли. Лучше не вооружаться вовсе, чем вооружаться наполовину...

После смерти отца Франц уехал за границу. Он поселился в Париже и попытался забыть дурной сон своего детства. Но мучительное прошлое-все равно что шагреневая кожа, которая стягивается от времени. И причиняет все более острую боль. Однако Париж очаровал юношу, утолил его жажду пластической красоты. Ведь пластическая красота – стихия этого города, ее вдыхаешь там в чистом виде; даже аморальность там ощущается как новое очарование. Но Франц привык жить внутренней жизнью и не мог не почувствовать, как мало дорожат ею окружающие; он страдал от их насмешек, черствости. У него были свои верования; в них завелась червоточина. Он был неспособен в одиночку обороняться от неверия, от притягательной силы наслаждений. А друзья не видели в них ничего опасного, им доставляло удовольствие учить уму-разуму этого варвара. Да и что может быть опасно для тех, которые никого и ничего не принимают всерьез, коль скоро их самих никто и ничто

всерьез не принимает! Но Франц, как ни боролся с этим, ко всему относился серьезно... Он шел ко дну, ненавидя свою беззащитность.

В это-то время я и повстречался с ним. Приятели, познакомившие нас, люди милые, но далеко не чуткие, любили его, а такого сорта народ считает это достаточной причиной для бесцеремонного обращения. Их потешали признания, которые они вырывали у него и по доброте душевной передавали другим: это была пожива для всею их кружка. В обществе они показывали Франца, как милую и забавную редкость. Разумеется, его «покровители» (такowymi они считали себя) злоупотребляли услужливостью и застенчивостью Франца. Мадам давала ему поручения, как мальчику на побегушках, или же таскала с собой по большим магазинам, чтобы советоваться и навьючивать на него свои покупки. Хозяин дома читал ему свои литературные упражнения и возлагал на него неприятную обязанность ходить по редакциям. Франц был слуга, которого можно нагрузить до отказа. Зато его шлифовали, муштровали, давали кучу советов, которых он не просил, крали его мысли, выпытывали целомудренно скрытые чувства и выставляли их на всеобщее обозрение, смешные, оголенные, – для его же блага. Сетовать на это было бы черной неблагодарностью.

Он и не сетовал, но, слава богу, он был, на свое счастье, неблагодарным... Это мне стало ясно тотчас же. В натянутой улыбке, которую он вымучивал из себя в ответ на лестные и иронические слова представивших его приятелей, я подметил боль, досаду, мрачную подавленность. Мне не понадобилось объяснений, чтобы почуять это. Одним взглядом я обнял расстояние между ним и его «покровителем». И когда «покровитель» заговорил, я, не отвечая, обратился к тому, кто молчал, – с сочувствием и уважением, которые я испытывал бы к юному Оресту, попавшему в руки варваров Тавриды. Жаль, что вы не видели, как ярко засветились его глаза при первых же моих словах. Он узнал язык своей родины. Родины, которая переживет все Трои, – Дружбы... И уважение, которое душа человека должна выказывать такой же человеческой душе, но которое отпускается столь скупой мерой, взволновало его до слез. Я не подал виду, что замечаю их, и продолжал говорить, чтобы дать ему время совладать со своим смятением. Франц угадал мой умысел, и, как только он пересилил себя, между нами завязалась беседа, вдумчивая и нежная, на глазах у недоумевающего Фоанта. Мы говорили о всяких пустяках. Но все выражал голос, Взгляд спрашивал:

«Ты ли это?»

Голос отвечал:

«Это я, брат мой».

Вернувшись к себе, Франц тотчас же написал мне теплое письмо. На следующий день мы увиделись наедине... Да, я не мог себе даже представить, какой отклик вызовет в этом изголодавшемся сердце порыв выказанной ему симпатии. И уж совсем не мог вообразить, какое место этот прищелец займет в моей жизни. У меня, как у всех, было два-три друга. Я не ждал от них многого, не давал им много и сам. Мы с искренней радостью встречались, оказывали услуги друг другу, но молча соблюдали границы, которые было бы неосторожно переступить. Молодежь, в своем эгоизме, считает их естественными. От других не ждешь того, чего они не ждут от тебя. Француз мерит жизнь и людей собственной мерой. И ничего – сверх меры! Надо уметь вовремя сдержать себя...

Но юный Орест, раскованный мною, не сдерживайся! Он никогда не мерил своих чувств мерой, которой требовала жизнь. Он принес мне дружбу, которая пришлась бы по плечу уже исчезнувшей породе людей. И мне надо было вырасти, чтобы стать достойной ее. Я не очень в этом успел, но делал все, что было в моих силах, потому что этого хотел Франц. Ведь он отдавал мне все. И требовал всего... И, боже мой, думается мне, что – много ли это, мало ли, – он взял все...

После этого длинного повествования – Жермен говорил не спеша, больше для себя, чем для Аннеты, временами замедляя речь, чтобы еще раз пережить некоторые мгновения, – Жермен умолк и впал в раздумье.

Аннета, нагнувшись к нему, старалась не шевелиться, чтобы не спугнуть очарования.

Ее глаза, в которых мелькали тени проходивших перед ней картин, продолжали слушать и после того, как он замолчал. Жермен смотрел в них. Минуты текли в немой беседе. Аннета отлично понимала его. Жермен сказал несколько смущенно, как бы в ответ на мысль Аннеты (он словно извинялся):

– Не занятно ли это? С рождения живешь в собственном обществе, знаешь себя или думаешь, что знаешь... Человек на вид совсем прост, вытесан из одного куска. Все люди как будто на один фасон, как будто вышли готовыми, законченными из магазина... Но стоит столкнуться с любым – и сколько различных существ откроешь под его оболочкой! Кто бы мог подумать, что я обнаружу в себе тоскующую душу любящей матери или сестры?.. Вы смеетесь?..

– Смеюсь над собой, – сказала Аннета. – У меня тоже немало этих тоскующих душ.

– Да, я вижу некоторые из них. Вы – пастушка целого маленького стада.

– И хорошо еще, – сказала Аннета, – если я веду своих баранов, а не они меня!

– Все хотят жить, – сказал Жермен. – Пусть их пасутся!

– А полевой сторож? Они рассмеялись.

– Черт бы побрал наше общество! – сказал Жермен. – Оно признает лишь одно: свод законов.

Подумав, он продолжал:

– Так я, значит, говорил о нашей бедной дружбе. Когда видишь живое существо, которое тонет, что может быть человечнее, чем протянуть ему руку и, как только оно уцепилось за нее, унести его в своих объятиях и печься о нем! Франц с детских лет не знал настоящей привязанности, и за оградой страдания у него накопилось много неизжитой любви. Когда он встретился со мной, шлюзы открылись: поток рванулся наружу. Я попытался оказать сопротивление. Но кто откажется принять дар благородного и живого сердца, которое верит в тебя? Благодарить его за эту веру, которой у тебя не было. Стараешься заслужить ее. И вот, столкнувшись с этой великой привязанностью, я почувствовал, насколько и мне не хватало ее!.. Если она не была тебе дана, приучаешься жить впроголодь; нужда умудряет, и ничего уже не ждешь от жизни. Но когда возникает такая привязанность, сливая два ума в единое гармоническое целое, начинаешь понимать, как ты тосковал по ней; не постигаешь, как это ты жил без нее – без Дружбы!..

Но о таком открытии можно поведать только тому, кто и сам сделал его.

Никто из моих не мог уяснить себе причины нашей близости... Причины? Их нет! Друг нужен для того, чтобы ты мог быть самим собой. Только вдвоем составляешь полное существо... И вот этого не могут простить окружающие!

Если ты составляешь полного человека вместе с другим, остальные считают себя оскорбленными.

– Мне это чуждо, – сказала Аннета. – За отсутствием любви, которой мне всегда не хватало, я усыновляю любовь других. Кто любит своего друга, любит меня.

– Жадная же вы! – сказал Жермен.

– Мне нечего есть, – возразила Аннета.

– Отсюда и жадность. Блаженны неимущие, ибо все дается им!

Аннета разочарованно покачала головой:

– Так всегда говорят богачи. Они уверяют бедняка, что ему-то и дано больше, чем всем. Жермен коснулся ее руки.

– Не так уж вы бедны! В вашей риге много добра.

– Какого?

– Любви, которую вы можете дать.

– Она никому не нужна.

– Подарите мне хоть сноп! Уж я сумею распорядиться им.

– Берите. Чем я могу вам помочь?

Семья Шаваннов никогда не одобряла этой неестественной дружбы, не основанной на слитности социальных интересов – родины, среды, карьеры – и дерзко показывавшей, что

она обойдется без них. Провинциальное общество еще до войны считало, что такая тесная близость с немцем есть проявление дурного вкуса. Ее приписывали, как и многое в характере Жермена, стремлению пооригинальничать. В этом краю обыватели с их непреодолимой ленью и привычкой к зубоскальству склонны объяснять рисовкой всякое отступление от шаблона у своих земляков, лишь бы не утруждать себя, не стараться понять. Впрочем, до войны было принято, посмеявшись, проявлять терпимость ко всему непонятному: кому какое дело! А с 1914 года – прощай прекрасное безразличие, облегчавшее жизнь в обществе! Все присвоили себе право надзора над другими, даже чувства подвергались проверке. На любовь без паспорта был наложен запрет! Открыто дружить с немцем считалось непозволительным. На взгляд зятя и сестры Жермена, любовная связь с атаманом какой-нибудь разбойничьей шайки была бы менее противостественна.

Это были премилые люди, почтенные и ограниченные.

Госпожа де Сейжи, урожденная Шаванн, была старше брата лет на семь, на восемь; она обладала той решительностью мысли, которой не хватало Жермену. Ей незачем было утруждать себя выбором: на каждый случай у нее имелась в запасе одна-единственная мысль, ясная и точно отграниченная, и она сразу читалась на лице г-жи де Сейжи, очерченном твердо и правильно, но в один прием, без доработки: длинный и тонкий нос идет совершенно прямо, без малейшего изгиба, а когда останавливается, то уж ни шагу дальше, даже ноздри поджал. Лоб выпуклый, без единой морщинки. Волосы стянуты, ни одной выбившейся пряди, уши и виски открыты. Брови тонкие, дугой, глаз зоркий. Крошечным рот: узкая дверь, будто для того и созданная, чтобы оставаться на запоре. Жирный подбородок, но кожа туго натянута; ничто не дрогнет, не шевельнется на этом лице; ни единой бороздки нет на нем, кроме прямых волевых линий. Будто написано сверху вниз:

«Спорить бесполезно!» Впрочем, г-жа де Сейжи очень сдержанна и учтива.

Вам не удастся вывести ее из себя! Это воплощенная самоуверенность. Стена. Со стеной не вступают в пререкания, ее обходят; стена отрезывает и замыкает: это ее назначение. И то, что ею отрезано, – не про вас: это частное владение, частная собственность. Каждый – у себя дома, а вы – за порогом!..

Под этим «своим» домом подразумевались первым делом Сейжи-Шаванны, затем город, затем провинция и, наконец, вся Франция. Война все это сплавила в единое целое: в отечество. Но г-жа Сейжи была в центре. Как председательница местной организации Союза французских женщин, она считала себя правомочной говорить от имени всех женщин. А во Франции женщина – значит весь дом. Г-жа де Сейжи не была феминисткой, как и большинство французов, – ведь фактическая власть в их руках; права им ни к чему – это, по их мнению, костыль для хромых. Г-жа де Сейжи-Шаванн считала, что она отвечает за всех мужчин, принадлежащих к ее дому. И они ее не посрамили: один дал себя убить (г-н де Марей), другой получил тяжелое ранение (ее брат), а что касается ее мужа, артиллерийского капитана, то он вот уже полгода как находился под верденским ураганом. Это не значит, что она была героиней в духе Корнея. Она любила своих Горациев.

Она не стремилась к тому, чтобы они умирали. Она ходила за ними, не щадя сил. Будь на то ее воля, она разделила бы их судьбу. Но перенесенных испытаний она бы от них не отвратила. Франция, родной край, родной город, Сейжи – они всегда правы. И эту правоту надо доказать делом. Без дела – правота ничто. Мое право (справедливо или несправедливо) и есть настоящее право. Пусть погибнут все Сейжи и Франция, но от своего права я не отступлюсь... Г-жа де Сейжи была потомком героических сутяг прошлого.

Война, жизнь, смерть – это тяжба. Лучше просудить последнее, но не идти на мировую...

Понятно, что такого сорта женщине не стоит и говорить о правах противной стороны!.. Она гордится своим братом: он оборонял Францию, а она энергично обороняет его от приближающейся смерти. Но она предпочла бы дать ему умереть, чем потворствовать его позорной слабости – дружбе с немцем. Она знает об этой дружбе, но ей не угодно знать. И Жермен подписывается под этим. Между ними – безмолвный уговор. Кто любит, тот не

хочет оскорблять – не только словами (г-жа де Сейжи – воплощенное самообладание), но и мысленно (это еще хуже) – дорогое ему имя.

Одной лишь г-же де Шаванн-матери известно, как живуча привязанность сына, и, любя его, она закрывает на это глаза, но отнюдь не одобряет.

Своим молчанием она показывает, что не хочет признаний, да Жермен не стремится к ним. Г-жа де Шаванн прожила долгую жизнь и всегда держалась благоразумного закона осторожности: не спорь с господствующими взглядами, обычаями, предубеждениями. Быть может, сердце ее свободно, или было, или могло быть свободным. Но она так давно заглушает его голос! После деятельной жизни, в которой сердцу было мало простора, нравственная усталость располагает к покою, уводит от всего, что может смутить этот покой. Сердце не потеряло своей глубокой нежности, но громче заявляет о себе властная потребность в спокойствии. И она сжимает руку своего взрослого больного сына, показывая, что знает его мысли и просит не говорить о них.

Аннета – первая, кому Жермен может открыться, рассказать о своей дружбе с Францем, о своих волнениях, о том, что занимает его гораздо больше, чем исход сражений. Аннета удивленно спрашивает:

– А как же госпожа де Марей?

(Ей нравится эта молодая женщина, такая далекая и замкнутая, нравится ее грустная улыбка.).

Жермен слабо, безнадежно машет рукой.

– К ней и вовсе не подступишься.

Она добра. Она чиста. Жермен связан со своей молодой свояченицей целомудренным чувством, которое не ищет словесного выражения. Но их разделяет целый мир...

– Вглядитесь-ка в нее повнимательней! – говорит он.

– Я гляжу, – говорит Аннета. – Она напоминает мне кроткую мадонну Мартюре.

Жермен улыбается.

– Эту нежную птичку с изогнутой шеей, которая ласкает младенца взглядом своих мягких, чуть-чуть прищуренных, близоруких глаз, гладит его ножку? Да, у госпожи де Марей тот же выпуклый лоб, изящный нос, удлинённый подбородок, умная улыбка юных глаз, тонкие губы. Но вся она окутана печалью. Где младенец? Она его ищет. Она его ждет. Но он на небесах, и вся ее любовь – там. Что остается для нас, земных созданий? Она терпелива, не ропщет, верна своему земному долгу. Но против воли показывает (ей было бы грустно расстроить нас), что сия юдоль для нее лишь переход. Да, и мы для нее прохожие.

– Ну и что ж? Ведь она подает этим прохожим милостыню своей улыбкой!

– Она подает эту милостыню. И я знаю ей цену. Но пусть она не вводит, вас в заблуждение! Аннета, эта улыбка означает: «Примиритесь!»

– Это мудрость.

– Но не ваша.

– Я не мудра.

– Эта улыбка говорит: «Примите все: любой удел, смерть, разлуку с милыми и любимыми!» Ненависть ей чужда, но она верит, что, раз война существует, значит она от бога, и почитает ее. Она не позволит (вы сами в этом убедились), чтобы войну запятнали свирепостью, вероломством, насилием над побежденным. В ней есть подлинное благородство. Но благородство в старинном понимании этого слова. То, что было, должно быть. И всегда будет. Ибо все, что было «зло» или «добро», облагорожено временем. Освящено родом. Освящено богом. Она пальцем не шевельнет, чтобы это изменить. Она понимает честь как примирение.

– Я не примирюсь. И не думаю о роде. Я отвергаю или принимаю.

– Возьмитесь за мое дело! Оно безнадежно.

– Я люблю безнадежные дела.

– Значит – пораженка!

– Ничуть не бывало! Выиграть наперекор судьбе – как это согревает!

– А если проигрыш?
– Начну сначала.
– Но я, Аннета, спешу, я не могу ждать, пока вы начнете сначала. Впереди у меня нет, как у вас, неограниченных сроков жизни.
– Кто может это знать?
– Нет. Не хочу самообмана. Я живу на земле. Но не долго останусь на ней. Получить свое мне нужно сегодня или никогда.
– Что же, ставим все на сегодня. И ставкой буду я.

Показывайте игру!

Аннета связала себя неосторожным обязательством.

Эта женщина, которая рвалась к деятельности, не довольствуясь одними мыслями и намерениями, с начала войны не находила себе дела – и, наконец, открыла его здесь: от нее требовали, чтобы она всю себя отдала делу самой священной и бескорыстной любви-дружбы между двумя молодыми людьми разных национальностей. Кипевшие в ней силы она отдала им с обычной своей страстностью, которая граничила, не будем этого скрывать, с безрассудством. Она это понимала, разум говорил ей:

«Ты за это заплатишь!»

«Заплачу позже. Теперь я покупаю...»

«Не по средствам...»

«Там видно будет!...»

Безумие! Но что поделаешь? У нее была потребность отдавать себя; она ничего не требовала, не ждала награды. Чтобы быть счастливой, ей достаточно было дарить счастье – и рисковать... Рисковать!.. Аннета была игрок... (Жермен отлично понял это.) В другие времена она с восторгом рисковала бы жизнью.

И скажем правду: Жермен, почуввав это, стал этим злоупотреблять. Он уже не щадил ее. Он забыл об опасностях, которым подвергал ее. Больные безжалостны.

Аннета начала действовать; ей удалось отыскать след юноши военнопленного. Он находился в концентрационном лагере под Анжером. Она послала ему письмо через Международное бюро по делам военнопленных, правление которого находилось в Женеве. И между друзьями снова протянулась нить, связывавшая их жизнь. Аннета отсылала и получала на свое имя их письма.

Она приходила к Жермену, чтобы тайком брать или передавать их.

Скользнув взглядом по первым строчкам первого письма Франца, она уже не могла оторваться от них: этот крик любви обвился вокруг нее, как объятие. Высвободиться из этого объятия у нее не хватило сил; она прочла письмо до конца. И, прочитав, сидела с письмом на коленях, задыхаясь, словно после шквала. Немало усилий понадобилось ей, чтобы скрыть от Шаваннов сияние, которое она излучала. Но, оставшись с глазу на глаз с Жерменом, она вся засветилась такой непритворной радостью, что он тотчас все понял. И, протянув руку, срывающимся от нетерпения голосом повелительно сказал:

– Дайте! Пока он читал, Аннета держалась поодаль. Комната была объята тишиной. Аннета стояла и смотрела, ничего не видя; в окно, на двор, куда не проникало солнце. Она прислушивалась к шороху бумаги и прерывистому дыханию. Вдруг все замерло. По улице, за оградой, медленно проезжала запряженная волами телега. Казалось, она катилась, не двигаясь, – воплощенная неподвижность равнин центральной Франции; время словно остановилось. Впереди неся крик возницы – птичий крик. Медленно затихал шум колес. Дрогнувшие старые стены теперь стояли недвижно. И вот уже вновь ощущается полет времени. Голос Жермена окликнул ее:

– Аннета! Она обернулась, подошла. Жермен лежал против окна, лицом к стене. На постели – развернутое письмо.

– Прочтите! – сказал он.

Она созналась:

– Извините меня! Я уже прочла.

Жермен, не глядя, протянул ей руку.

– Это ваше право. Письмо принадлежит вам. Если бы не вы... – Ни словом не выдав своего волнения, он взял край платья Аннеты и поцеловал его.

С этого дня она стала читать по его просьбе письма друзей. Через нее проходил этот поток нежности. Она подбавляла в него краски и пламя своей души. Каждый из друзей любил только за себя. Аннета любила за себя и за них. Как дерево, на которое слетались две птицы, она слушала песнь горячей дружбы, звеневшую в листве. Ветви оживали, омываемые струями свежего воздуха, светом помолодевшего неба. Возраст, война – все изгладилось из памяти.

Удивительный и чудесный дуэт! Когда Аннета закрывала глаза, стараясь лучше расслышать, ей чудилось, что один голос принадлежит молодой девушке, а другой – женщине-матери. Женщина простирала руки. Девушка бросалась в ее объятия.

Первая песнь Франца была самозабвенной песнью освобождения. Наконец – пристанище! Три года он задыхался от омерзительной близости сбитых в одну кучу тел и душ. Никто так не страдал от этой аристократической брезгливости, как он... Никогда не быть наедине с собой! Наихудшее одиночество!.. Теряешь самого себя!.. Он был чужд быющей ключом человечности слишком богатых сердец, которые изливают на окружающих этот свой преизбыток... Пусть даже будут потери... «Пейте вволю, стада, шлепайте по лужам... Не вы, так земля все вберет в себя!..» Франц боялся показать свое видение жизни чужим глазам, бессильным воспринять его. Но ему не хватало и великолепной полноты сил, присущей великим одиноким художникам, которым достаточно самих себя: они сами – мир. Это был хрупкий юноша, в двадцать семь лет все еще остававшийся девочкой-подростком, скупаемый потребностью излить в душу другого, ласковую и сильную, родник своих подавленных душевных сил. Ручей слишком мелководен, он затеняется в пути, если только не встретит реку любви, которая унесет его. Он отдает себя из эгоизма. Быть взятым – это значит взять. Обогащать своей струей душу, которая прорвет для тебя ложе в долине... Он вновь обрел эту душу. Он был счастлив.

Но недолго... В течение нескольких дней эта первая радость была изжита, и нетерпеливое сердце чувствовало лишь одно: друг далек. Франц кричал от тоски и неутоленной жажды. В его письмах не было подробностей, они мало описывали, они звали. Да к тому же цензура выбросила бы любую подробность о жизни лагеря. Но из всех видов насилия молодого военнопленного меньше всего тяготила цензура. Он был слишком поглощен собственным «я», чтобы думать о других. Он рассказывал о себе с наивной, трогательной, беспредельной доверчивостью. В нем проглядывала порывистая чувствительность, ленивая и жалобная, нередко присущая австрийцам и впадающая в жеманность и нытье, – эти черты искупались в нем очарованием молодости. Песня Франца была типичной Lied, бесконечным рондо, проникнутым элегической нежностью. Соловей пел до потери сил. Но он слушал себя.

Его сердце кровоточило. Он оплакивал свое сердце. Любя другого больше себя, он любил в нем самого себя – живое эхо, отклик, который поглощает и продолжает его хрупкую песнь.

Песня Жермена звучала мужественнее. Мелодия текла непрерывной струей.

Чистая линия не была украшена трелями, вокализациями. Жермен был сдержан.

Он мало говорил о себе. О своем самочувствии умалчивал или почти умалчивал; заботился о друге и боялся всполошить его. Но его письма пестрели вопросами о здоровье Франца, о том, какой у него режим, какие отношения с начальством и товарищами. Он утешал, давал советы, успокаивал, он без устали повторял свои мягкие, терпеливые и настойчивые наказы большому ребенку, который слушал его краем уха. Эта мелочная настойчивость могла показаться смешной. Но этому насмешнику не было дела до того, будут ли над ним насмехаться. И если Аннета посмеивалась над его письмами, то лишь потому, что находила в этом мужчине чувства, которыми жила сама, материнское сердце, не знающее удержу в своем беспокойном стремлении защищать. Она открыла в этих двух мужчинах то

вечно женственное, что живет в каждом человеке; в мужчине оно задушено всем строем воспитания, и ему было бы стыдно в нем сознаться. Аннети волновало чувство Жермена, она понимала его чистоту.

Ни малейшей двусмысленности. Прозрачность кристалла. Страсть, такая же естественная и неизбежная, как закон тяготения. Две души, два мира, орбиты которых сплелись вокруг солнца, как сплетаются нити в руках вязальщика сетей. Два одиночества, которые сливаются, чтобы найти единый ритм и вместе дышать. Одиночество того, кому все непонятно в человеческом стаде, кто заблудился в лесу, полном обезьян и тигров, кто зовет на помощь; одиночество того, кто понимает все, понимает слишком много: он ничем не дорожит, ничем не скован, и то, что его жизнь нужна хотя бы одному-единственному человеку, по его мнению, искупает ее. Спасая другого, он спасается сам.

Но почему же они не искали пристанища в объятиях той, кого дала нам природа, чтобы излить на нее жгучую волну настиг желаний и скорбей или слить их с ее желаниями и скорбями? В объятиях женщины?.. Это их тайна.

Аннета поняла ее лишь отчасти. У Франца это происходит от застенчивости, робости. У Жермена, быть может, раннее разочарование, затаенная обида (это чувство, должно быть, не редкость у его товарищей, в окопах!). У обоих – могучий инстинкт, верный или ложный, но предупреждающий, что женщина – это другой, чуждый мир. Жермен привязан к Аннете, уважает ее, доверяется ей. Но Аннета не строит себе иллюзий: он доверяется ей потому, что она единственный человек, к помощи которого он может прибегнуть; он уверен в ее искреннем желании помочь ему, но у него нет уверенности, что она понимает его. Аннета угадывает, что иной раз его слова – не для нее, что они через ее голову идут к невидимому другу. И, читая их письма, она измеряет разницу между гармоническим строем своих бесед с Жерменом, этим контрапунктом различных мотивов, ласково сплетающихся друг с другом, и мелодичным дуэтом дружбы, где каждая нота с ее созвучиями создает братский аккорд. Аннета не ревнует. Это облегчение для нее.

В иные часы больше наслаждаешься, слушая прекрасный концерт, чем участвуя в нем.

И, однако, она в нем участвует – сама того не зная: ведь оба голоса соединяются в ней. Она – душа скрипки.

Семья Шаваннов не желала знать об этом тайном обмене мыслями. Они проскальзывали украдкой, через вестницу, которая являлась и исчезала.

Острые глазки скушающего семилетнего мальчугана, который наблюдал и мечтал, выследили тайную передачу писем. Он никому не сказал об этом ни слова. Ребенок жил своей особой жизнью, которую скрывал от взрослых. Он складывал в своей душе, не понимая, все, что видел, строя на этом занимательные истории. Ему казалось, что Аннета и Жермен тайно любят друг друга; от этой мысли у него оставалась какая-то странная боль в сердце; золотоволосая женщина, вносившая свет в этот дом, притягивала его к себе; он ее ненавидел, он яростно любил ее.

Высокомерная г-жа де Сейжи-Шаванн отводила глаза. Она ничего не желала замечать.

Госпожа де Марей действительно ничего не знала.

Эта честная душа не могла бы даже заподозрить то, что ей пришлось бы осудить как нарушение долга. Она ставила Жермена слишком высоко и не сомневалась, что он, как и она, всегда готов отречься от жизни сердца в угоду исключительным требованиям родины. А между тем из всех его родных она была наиболее способна понять властные и сладостные узы дружбы. Но разве Жермен дерзнул бы говорить с ней о своем праве на эту дружбу – с ней, потерявшей все, что было ей дорого, и спокойно, безропотно приносившей своему богу печаль и самоотвержение?

Госпожа де Шаванн-мать одна только знала тайну Жермена. Прятаться от нее было невозможно. Она видела, что сын пишет и читает письма; она сделала их безмолвной хранительницей. У нее не было сил ни оправдывать, ни осуждать. Матери было ясно, что болезнь разрушает ее взрослого сына.

Она уже не судила. Пусть ему будет дана хоть эта единственная радость!

Она боялась, что тайна будет отгадана, что между Жерменом и семьей возникнет разлад и обе стороны будет топтать ее сердце. Ведь она думала, что правда на стороне семьи, что не прав ее сын. Но, с другой стороны, ее сын – это ее сын. Есть закон. И есть то, что выше закона.

Госпожа де Сейжи-Шаванн при всей своей непреклонности тоже знала, не признаваясь себе в этом, что есть права особые, противоречащие обычным.

Она была сестрой Жермена. Она видела смерть в каждой черточке его лица.

И немела перед той, шаги которой приближались. Сестра не могла не замечать, что от нее таятся. Но она принимала меры, чтобы тайное осталось тайным. Она старалась, входя в комнату больного, предупредить о своем приходе громким возгласом: пусть вовремя уберут то, чего ей не следует видеть.

Свое недовольство она перенесла на Аннету, которая стала чаще бывать у Жермена. Она выказывала гостю ледяную холодность, ни на минуту не меняя сдержанно-утихомирившего тона. Этого было достаточно – обе женщины отлично понимали, что именно хотят сказать, когда ничего не говорят. Эту чужачку считали ответственной за сомнительную затею, в которой она была только орудием. И Аннета, принимая на себя эту ответственность, даже бровью не повела. Она приходила исключительно ради Жермена. Все прочее не трогало ее.

Но когда она убедилась в своем бессилии помочь друзьям, это затронуло ее чувствительно.

Жермен вдруг перестал получать письма от Франца. Переписка была на несколько дней запрещена ввиду эпидемии в лагере, а также в карательных целях. Жермен, как путник в безводной пустыне, стал жаждать еще мучительнее, после того как вновь найденный источник внезапно иссяк. Душа его горела. Аннету он встречал требовательным и неприязненным взглядом.

Он досадовал на нее за то, что она обманула его ожидания. Эти волнения подстегнули болезнь, а болезнь разжигала волнения. После мнимого перелома, когда разложение организма как будто приостановилось, болезнь заявила о себе с новой силой, поразив внутренние органы. Всего лишь несколько дней обманчивого покоя – и вдруг резкая вспышка: неизвестно было, откуда ждать новых разрушений, принимавших всевозможные формы. Не успевали задержать процесс в одном месте, как он начинался в другом. Пламя пожирает самое сердце дома. Принимаются тушить выбивающиеся наружу языки огня. А к очагу проникают лишь после того, как рухнул весь дом. Всем было ясно, что болезнь уже не осилить.

Жермен знал это лучше, чем кто-либо. Он изо всех сил боролся с притаившимся врагом и чувствовал себя побежденным. От этой бесплодной битвы его характер испортился. Больной, все мысли которого сосредоточены на самом себе, который вынужден постоянно обороняться, уже не думает об окружающих; эгоизм – его единственное оружие. Он уже не думает ни о чем, кроме себя, своего недуга, своих желаний. По ночам, когда Жермен на своем костре бессильно следил, как подбирается к нему пламя, его томило страстное желание: еще раз свидеться, прежде чем он сгорит, со своим другом.

Его мать скрепя сердце впускала Аннету в комнату больного – ведь он этого требовал, только теперь беседа уже не завязывалась, время проходило в молчании. Не успевала Аннета войти, как Жермен устремлял на нее жадный взгляд, но глаза его вскоре потухали, выражая лишь разочарование, и все его силы сосредоточивались на терзавших его муках. Аннета пыталась рассеять больного, но безуспешно. Он был ко всему безучастен. Она сбивалась и умолкала посреди фразы. Но когда Аннета, сознавая свою беспомощность, хотела уйти, он с горьким упреком останавливал ее движением руки.

И на этот упрек Аннете нечего было ответить. Она корила себя: зачем было пробуждать в нем надежду, раз она бессильна сделать так, чтобы она сбылась?

Однажды они остались в комнате одни: мать провожала врача, который попробовал еще раз обмануть больного; Жермен взял руку Аннеты и оказал:

– Мне конец.

Она пыталась возразить. Он повторил:

– Мне конец. Я знаю. Я хочу, хочу свидеться с ним.

Она безнадежно махнула рукой. Он не дал ей времени заговорить.

– Я хочу, – сказал он жестко.

– Что толку хотеть? – спросила она.

– И это говорите вы? Вы? Аннета беспомощно склонила голову. Жермен резко и зло продолжал:

– А все ваши уверения! Женская болтовня! Вы лгали?

Она не оправдывалась.

– Мой бедный друг, скажите, что делать, – я сделаю все. Но что? Какими средствами?

– Найдите их! Вы не дадите мне умереть раньше, чем я не увижусь с ним.

– Вы не умрете.

– Я умираю. И не смерть меня возмущает. Тут человек бессилён. Это закон... Но людская глупость – нет, с ней я примириться не могу!.. Он здесь, совсем близко, он, единственный мой друг, и мне не дано его увидеть, притронуться к его руке, в последний раз обнять его!.. Это уже было бы чудовищно!

Аннета молчала. Ее мысленный взор видел в окопах тысячи несчастных, из которых по капле уходила жизнь, они протягивали руки к далекому дому, где на одинокой постели ворочались без сна, в тоске и отчаянии, их любимые... Жермен читал в ее душе. Он сказал:

– Другие пусть покоряются. Я – нет! У меня есть только одна жизнь, а теперь остался один краткий миг. Я не могу ждать. Я хочу того, что принадлежит мне по праву.

У Аннеты больно сжималось сердце; она молчала и – только старалась утишить его боль ласковым прикосновением руки. Он сердито оттолкнул ее и повернулся к ней спиной. Она вышла.

На следующий день Аннета, всю ночь судорожно проискав выход, застала больного в состоянии полной неподвижности; он сказал ей хмуро и спокойно (это спокойствие угнетало ее сильнее, чем вчерашний гнев):

– Извините меня. Я сошел с ума. Говорил о справедливости, о своем праве. Справедливость – пустой звук, и никаких прав у меня нет. Горе тем, кто падает! Им ничего не остается, как зарыться лицом в землю и набить себе рот, чтобы не слышно было крика. Червяк извивается под ногой, которая давит его. Глупо! Я умолкаю и складываю оружие.

Аннета, положив руку на его потный лоб, сказала:

– Нет! Надо драться. Еще ничто не упущено. Я только что встретила доктора. Он советует вашей матери поместить вас в какой-нибудь швейцарский санаторий. Здесь слишком изнеживающий, теплый, влажный воздух, здесь можно захиреть, да и нравственная атмосфера давит не меньше: что ни делай, война отравляет своим ядом. Там – горный ветер, от вершин исходит забвение, там вы, конечно, поправитесь. Так сказал мне доктор.

– Ложь! Да, он и мне это говорил. Знает, что я безнадежен, и посылает меня околевать подальше отсюда. Чтобы сбыть с рук... А я говорю: «Нет!»

Я умру здесь!

Аннета пыталась его уговорить. Но он твердил свое:

– Нет! И стискивал зубы, отказываясь говорить, упрямо уходя в свое озлобление.

Аннета, нагнувшись над кроватью, спросила с грустной улыбкой:

– Из-за него?

– Да. Вне Франции я буду от него еще дальше.

– Как знать! – сказала Аннета.

– Что? Она нагнулась еще ниже:

– А если это, напротив, приблизит вас к нему? Он схватил ее за руку, так что она не могла распрямиться.

– Что это значит? Она хотела высвободить руку, но он не отпускал ее.

Их лица почти соприкасались.

– Надо ехать в Швейцарию. Друг мой, соглашайтесь!

– Говорите! Что вы хотите сказать?

– Мне больно. Пустите меня!

– Нет. Сначала объясните!

Склонившись над подушкой, в неудобной позе, упершись ладонями в тело больного, чтобы не упасть, она тихо и быстро заговорила:

– Слушайте!.. Я еще не уверена... Это только возможность... Быть может, я зря это говорю вам... Но я хочу попытаться. Я готова рискнуть всем...

Он сжимал ей кисти рук:

– Говорите, говорите!

– Я думала, думала ночью... И, входя сюда, когда я слышала о предполагаемой поездке в Швейцарию... Что, если устроить ему побег?..

Жермен крепко обнял Аннету. Она упала на кровать, коснувшись лицом его лица. Он начал яростно целовать ее в глаза, в нос, в шею, куда попало. Пораженная Аннета несколько секунд не в силах была шевельнуться.

Соскользнув с кровати, она очутилась на коленях. И, наконец, встала. Он был вне себя. Сидя на постели, среди беспорядочно сбившихся простынь, он кричал:

– Вы поможете ему бежать! Вы привезете его в Швейцарию!

– Молчите! Он умолк. Оба, потрясенные, перевели дух.

Когда к Аннете вернулась способность двигаться и говорить, она сделала ему знак лечь. Он покорился. Она привела в порядок смятые простыни и подушку. Он лежал, не шевелясь, как послушный ребенок. Она села на кровать, в ногах у Жермена, и оба, не думая о том, что произошло (стоило ли толковать о ней, о нем!), принялись тихонько обсуждать только что родившийся замысел.

Аннета отправилась в Париж. Она пошла к своему старому приятелю Марселю Франку, который теперь облачился в блестящую военную форму. Этот высокопоставленный чиновник министерства изящных искусств недавно вернулся из Рима, куда он ездил с каким-то таинственным поручением, – оно сулило ему славу, не подвергая опасностям; сейчас он состоял при каком-то удобном комитете, который занимался в тылу и не спеша спасением художественных богатств страны. Франк служил, но без чрезмерного усердия, войне, которую считал глупой, то есть естественной, ибо глупость казалась ему нормальной меркой человечества. К просьбе Аннеты он выказал интерес, опять-таки в границах умеренности.

Марсель принял ее немедленно с улыбкой тайного понимания, сохранившейся с былых времен. Он обзавелся великолепной лысиной – она подчеркивала его щегольскую внешность. У него было молоджавое лицо, живой взгляд, прекрасные зубы; он отлично чувствовал себя в бледно-голубой военной форме, обтягивавшей его, как перчатка.

Они были одни. После обмена приветствиями Аннета начала излагать, несколько издали, свою просьбу. Она смотрела на зубы Марселя, на его смеющийся рот. Он слушал дружелюбно и рассеянно, скользя взглядом по всей ее фигуре, сверху донизу. Она остановилась:

– Вы же меня не слушаете!

– Конечно, нет, – сказал он. – До того ли, когда вас, наконец, увидишь! Извините! Все же я слушаю. Я хорошо понимаю, что если вы пришли, то не потому, что жаждете лицезреть мою особу. У вас какая-то просьба ко мне, и я буду счастлив, если смогу ее исполнить. И раз это заранее известно, я смотрю на вас, я авансом беру с вас плату.

– Не очень присматривайтесь! Я уже старушка.

– «О полдень, лета царь...»

– Вернее сказать – осени.

– Что может быть богаче гаммы осенней листвы!

– Мне цветы нравятся больше.

– А я люблю и цветы и плоды.

– Да, да, вы любите все. Будете вы меня слушать?

– Говорите! Я буду слушать глазами.

– Вы угадали, что я явилась к вам просительницей. Мы не видались целый век, и я постеснялась бы прийти к вам сразу же с просьбой. Но я прошу не за себя.

– Тогда это непростительно.

– Пусть! – сказала она. – Когда дело идет о лице, которым я интересуюсь, я готова испытать чашу стыда.

– Лицо, которым вы интересуетесь, это почти что вы.

– Может быть. Неизвестно, где начинается «я» и где оно кончается.

– Коммунизм, распространенный на свое «я»! Значит, то, что принадлежит вам, принадлежит и мне. Поделится! Выкладывайте вашу историю.

Аннета рассказала ему о юноше-военнопленном. Марселю была известна его фамилия. Ему даже попадались на какой-то выставке две или три его «вещицы», оставившие в нем довольно смутное воспоминание. Но художник, кто бы он ни был, это уж по его ведомству. Ему приятно было блеснуть перед Аннетой не только своим влиянием, но и широтой ума. Он добыл ей пропуск в лагерь военнопленных для свидания с Францем.

Аннета воспользовалась пасхальными каникулами и побывала в лагере.

Вместо того чтобы посвятить их сыну, как он ожидал, она съездила в Анжер. Надо было для начала изучить обстановку и прежде всего Франца: ведь в своих планах ей придется исходить из того, что он собой представляет.

Аннета так давно видела Франца сквозь любовь друга, что не без смущения думала о встрече с ним. Разделяя мысли Жермена, она впитала в себя и его чувства; она приехала, заряженная ими; ее глаза были несвободны: Аннета смотрела глазами Жермена. Мягкость и податливость женского ума – свойство, которое женщина сознает в себе, которое она стремится преодолеть и вместе с тем лелеет, зная, как оно опасно и как сладостно; стоит ослабеть нажиму воли, и она уступает, отдается влекущей ее под уклон силе...

Усевшись в купе поезда, который мчал ее в Анжер, Аннета старалась утишить биение сердца – нетерпеливого сердца Жермена.

Жизнь в плену была для Франца не так уж мучительна. Его лагерь пользовался некоторыми льготами. Немало пленных работало в городе, и все, что от них требовалось, это аккуратно являться утром и вечером на переключку. Наблюдение было поверхностное: пленных не считали опасными, а побег, если бы им взбрела на ум такая мысль, за дальностью расстояния от границы казался невозможным. И в самом деле, никто не помышлял о бегстве. В большинстве своем эти честные люди, поселившиеся во Франции до 1914 года, хоть и тосковали по родным, оставшимся в Гещиании, не стремились делить с ними опасности и участвовать в боях. Местные мелкие буржуа, сыны этого обильного и сонного западного края, прекрасно их понимали. И говорили им об этом без обиняков.

Франца поставили на малярную работу. Он был на побегушках у комендантши. Он белил простенки в ее гостиной и освежал выцветшие розовые зады пастушек, игравших с амурами, которых разбросал по потолку один из старых учеников Буше. Работа эта не была бы ему неприятна, если бы комендантша не помыкала им, как лакеем, считая это одним из своих неотъемлемых преимуществ перед подневольным «бошем». Гордый и робкий юноша, наделенный обостренной аристократической чувствительностью, страдал от таких обид, которые ничуть не задели бы его товарищей. Может быть, именно поэтому милая дама все более входила во вкус. У самки, даже самой грубой, когда в ней разгораются жестокие инстинкты, всегда хватит тонкости, чтобы разобраться в чувствах своей жертвы.

Франц по окончании работы вышел на улицу в таком состоянии, точно с него содрали кожу. Ему бы насладиться добрым глотком воздуха и трубкой, произнести «уф» и вместе с дымом выдохнуть все свои заботы в мягкий сумерки (небо в этот вечер было нежным и теплым, как щечка абрикоса), а он плелся подавленный и удрученный. В это время к нему подошла Аннета.

– Франц шарахнулся. Женщин он боялся до дикости, хотя и тянулся к ним. Аннета окликнула его. Не останавливаясь, встревоженный и раздраженный, он бросил на нее искоса хмурый взгляд и сдвинул брови, как будто она посягала на его невинность. Аннета с

улыбкой смотрела на юного Иосифа, защищавшего свою одежду. Она сказала:

– Меня послал Жермен.

Франц, растерявшись, остановился.

– Жермен Шаванн... – прошептал он.

Он искал ответа в ее глазах. Аннета движением век подтвердила:

«Да».

Франц схватил ее за руку и потащил за собой.

Он шел впереди и волочил ее, как нетерпеливый ребенок, озадаченная Аннета не пыталась высвободить руку, хотя и боялась, как бы их не заметили. Но час был поздний; никто не попался им навстречу, кроме маленькой крестьянки, которая, увидев их, рассмеялась, Франц вышел по какой-то глухой улочке в поле. Вокруг фруктового сада шла полуразрушенная стена. Они уселись рядом, касаясь друг друга коленями, в проломе, защищенном от глаз прохожих выступом стены. Наклонившись к Аннете и не выпуская ее рук, Франц спросил с мольбой в голосе:

– Жермен? В сумеречном свете Аннета видела пронзавшие ее глаза, глаза требовательного нищего. Они торопили ее и мешали заговорить. Она смотрела в эти изменчивые глаза: они то недоверчиво ускользали от нее, то порывисто отдавались и вдруг меркли, как бы погруженные в дремоту. У него были светло-каштановые волосы, выпуклый лоб, тонко очерченный нос, пухлые губы и ребяческое выражение лица: постоянное смутное ожидание радости или боли. Ребенок. Ставя его рядом с тем образом, который нарисовал ей Жермен, Аннета не могла понять, чем этот юноша мог внушить ему такое чувство...

Франц нетерпеливо стискивал ей пальцы, напоминая, что он ждет ответа.

Она заговорила о далеком друге, но Франц то и дело перебивал ее вопросами, а когда Аннета стала рассказывать о болезни Жермена, ей самой пришлось прервать свой рассказ: она увидела, что Франц взволнован, и постаралась успокоить его, – скрыть тревогу об отсутствующем, щадя того, кто был здесь...

Из лагеря донесся звук рожка, и тут оба вспомнили, что он уже однажды протрубил. Пришлось расстаться. Аннета не без труда уговорила Франца вернуться, посулив ему завтра продолжительную встречу. Они уже собирались разойтись, как вдруг Франц увидел руки Аннеты, за которые все еще крепко держался. И посмотрел на них. Посмотрел на свои.

– Эти руки касались его... – сказал он и, прильнув лицом к ее ладоням, стал вбирать в себя их запах.

Аннета очень скоро поняла, что Франц не способен составить план действий и выполнить его. Не то чтобы ему не хватало мужества: он был готов поставить на карту все; скорее приходилось опасаться, как бы он не принял очертя голову какое-нибудь (нечаянное решение, Едва Аннета намекнула на возможность побега, он сразу так загорелся, выказал такое безрассудство, что Аннета осеклась и решила таить в себе задуманное: ведь один опрометчивый шаг – и дело может сорваться. Надо все подготовить помимо него, а ему открыться лишь тогда, когда придет пора действовать. И то еще ее брало сомнение, способен ли он действовать самостоятельно.

Придется водить его за руку, шаг за шагом. Надежда на успех, и без того шаткая, при таких условиях почти равнялась нулю. Однако Аннета не думала отступать. Она была верна своему обещанию, она была захвачена этой страстью, этой удивительной дружбой, двойным потоком, который бил в нее, как в островок, лежащий на слиянии двух рек. Островок недвижим, но в водовороте именно он кажется движущимся. Во всей этой буре чувств она как будто была посторонним лицом, но испытывала от нее головокружение.

Два друга, казалось, охмелели и утратили всякое ощущение действительности; их соединяли узы рыцарства, созданного страстной душой как оружие против мира, который их отрицает, как своеобразный мятеж против своеобразной формы гнета. Это рыцарство доходило до героизма у старшего и более сильного, у Жермена, который заслонял собой в битве более слабого и на пороге смерти переносил на своего молодого товарища всю оставшуюся у него любовь к жизни. У младшего, запертого во враждебном ему мире, дружба

переходила – в мистическое обоготворение друга-покровителя, который на расстоянии рисовался ему почти сверхъестественным существом, как святые в храмах. Нужна была война, чтобы так раздвинуть естественные границы чувств и придать им необыкновенное величие. В обычное время они удержались бы на средней высоте, в рамках повседневной жизни. Опасность и лихорадочное напряжение подняли их на вершины, куда можно вознестись лишь на крыльях молитвы. Для цельных душ, уже наполовину отрешившихся от жизни, дружба, как и молитва, один из путей к божеству. Из трех друзей ни один – ни Жермен, ни Франц, ни Аннета – не верили в бога. И никто из них не видел, что бог, как Юпитер в своих превращениях, принял в них форму дружбы. Они были полны им. Они сгорали от нетерпения пожертвовать ему собой.

Из всех троих в самом странном положении находилась Аннета. Она не испытывала пока ни к тому, ни к другому ничего похожего на любовь. Она не переходила границ братского сочувствия, этого влечения настоящей женщины ко всякому обездоленному существу, если оно страдает, если оно нуждается в ней; в особенности когда это существо – мужчина, ибо его сокрушенная мощь еще больше волнует и притягивает. Но так как – Жермен и Франц не могли встретиться и действовать, она испытывала те чувства, которыми они обменивались через нее. Они любили друг друга в ней, своей поверенной, а действовать предоставили ей одной.

Опасная затея! Не безумие ли браться за ее осуществление? Да, безумие, думала Аннета, оставшись наедине с собой, и ей хотелось затормозить. Но машина двинулась, и с каждым оборотом колеса Аннета увязала все глубже.

Очутившись в поезде, снова уносившем ее в Париж, Аннета содрогнулась от ужаса. Она вдруг увидела все неодолимые препятствия и опасности. Она не находила способа выполнить молчаливый договор, который заключила с двумя друзьями. Аннета казалась самой себе муравьем, который силится вытащить соломинку из-под каменной громады. Если даже он ухитрится высвободить соломинку, не расплющит ли его вместе с его добычей нависшая над ним глыба? Но подобная опасность не останавливает муравья. А для Аннеты она, пожалуй, была еще одним двигателем. Для той частицы ее души, которая не выносит грубой угрозы. Но на ее другое «я», более слабое, минутами нападал страх.

«Боже мой, во что это я ввязалась? Нельзя ли отказаться, отступить, убежать? Кто меня толкает на это?»

«Я сама».

Аннета одиноко стояла перед громадой, которая называлась Государством. Она смотрела в грозное лицо отечества. Она очутилась под пятой разгневанных великих Богинь. Они могли ее уничтожить, но не могли покорить. Она утратила веру в них. Как только она вновь обрела первичные и священные чувства, попранные бесчеловечными колоссами, – любовь и дружбу, – все прочее для нее померкло, ото прочее – сила. А против силы – душа!

Безумие? Пусть. Но, значит, безумие-это тоже душа. Благодаря этому безумию я живу, я иду вперед над пропастью, как апостол шел по волнам.

Она приехала во вторник на Пасхе; в Париже она могла пробыть только последние пять дней своего отпуска. У равнодушного Марка это вызвало горькое разочарование. Полгода назад можно было бы подумать, что ему нужна жертва, – нужно причинять страдания. (Вполне человеческая слабость! Любящее сердце для того и создано, чтобы им злоупотребляли...).

Но Марк потерял охоту злоупотреблять им. Да Аннета теперь и не допустила бы этого. Положение изменилось. За последние полгода Марк основательно провеял свои привязанности – и любовные и дружеские. Осталось больше трухи, чем зерна. У него был жесткий, до странности острый взгляд, безжалостный к тому, на ком он останавливался, – к себе самому или другим, не все ли равно! Это были не глаза его матери, немного близорукие, горячие, блестящие. И не глаза его тетки, напоминавшие озорного воробышка, который на лету подбирает все смешное, которому все без разбора годится для смеха и еды. Марк не был так неприхотлив, все найденное он разрубал на части; после этой операции от его случайных

приятелей редко оставалось что-нибудь ценное и полновесное. Марк упорно добирался до самой середины и находил в ней червяка, пустоту или грязь. И среди всей этой трухи устояло лишь одно-единственное зерно: сердце его матери.

Как он ни изощрялся, оно оставалось нетронутым. Он еще не знал, что внутри этого зерна. Но то, что оно осталось цельным, без следа какой-либо порчи, внушало ему уважение, и тайное желание проникнуть туда... Он очень любил Сильвию, но в этом чувстве была примесь ласкового презрения.

Впрочем, Сильвия платила ему той же монетой. Марк мог полагаться на нее, как на сообщницу, и был ей за это признателен: когда справедливость нарушали ради него, он не возражал. (только чтобы из него не строили дурачка – к дуракам он был безжалостен). Но Марк по-разному относился к Сильвии и Аннете. Чтобы завоевать душу Аннеты, стоило потрудиться. Ведь за последние полгода ему стало ясно еще кое-что: мать любит его, но власти над ней у него нет. Материнская любовь – сильный и надежный инстинкт, однако Марк хочет большего: не только любить, но узнать и быть известным, владеть самым потаенным, лучшим, не матерью, а человеком. Мать – она и есть мать: безыменная насадка. Но у каждого человека своя скрытая сущность, неповторимая, источающая свой особый аромат. Марк почуял этот аромат. Он хотел добраться сквозь скорлупу до душистого ядра: «Ты, которая есть, ты, существующая один только раз! Я хочу вырвать у тебя твою тайну...»

Зачем? Чтобы отбросить ее, насытившись? Души подростков, этих маленьких грызунов, жаждут обладать, но ничего не умеют хранить. Хорошо, если сокровище, на которое они зарятся, защищено от их зубов.

У Аннеты оно было под надежной охраной. Пусть в улыбке ее прекрасных губ читалась готовность отдать себя всю, о она сама не владела ключом от шкатулки, где хранилась тайна ее существа, и не могла принести ее в дар. К счастью для нее. Сколько было случаев расточить этот клад! Это неприкосновенное убежище влекло к себе Марка; маленькому норманну хотелось силой ворваться в святилище.

Он возлагал надежды на пасхальные каникулы. Но мать не приезжала, и он с досады грыз себе ногти. Когда, наконец, она явилась, больше недели было потеряно зря! Надо было поскорее восстановить близость, которую она столько раз предлагала ему и от которой он отрекался. Он ждал, что она снова, как в прошлые каникулы, даст ему для этого повод, и если его хорошенько попросят, он на сей раз сообразит откликнуться...

Но на сей раз у Аннеты голова была занята Другим. Мать не делала первого шага к сближению. У него свои тайны? Превосходно! Пусть хранит их.

У нее свои, и она тоже хранит их.

Марку ничего не оставалось, как наблюдать эту «чужую» женщину, самую близкую – и такую далекую – свою мать. Разве попытаться подсмотреть снаружи, сквозь ставни? Еще так недавно подсмотреть хотелось ей, а он отгораживался от нее. Унизительная перемена ролей!

Она нисколько не отгораживалась...

«Смотри, если хочешь!»

Она не обращала на него внимания. И это было всего оскорбительнее!

Волей-неволей он проглотил эту бессознательно нанесенную ему обиду: любопытство и сила притяжения перевешивали самолюбие.

В этой женщине его теперь изумляли покой и равновесие, которые она сумела сохранить среди пыльного вихря душ, кружившихся по воле ветра.

Дом походил на разбитый корабль. Сломанные машины, изнемогающий экипаж, в душах – тайфун. На дверях снова был отпечатан – красным и черным – знак смерти. Аполлина покончила с собой спустя некоторое время после отъезда Аннеты, но Аннете это стало известно только сейчас: Сильвия умышленно молчала. В конце ноября в Сене было найдено тело этой обезумевшей женщины. Никто не знал, куда девался Алексис: он канул в бездну забвения... Братья Бернарден канули в другую бездну, именуемую доблестью, – подобную тем эпическим рвам, куда сваливают в Андалусии туши растерзанных быками лошадей. Они остались на глинистом дне Соммы, которое так долго месили адские пальцы

своей и вражеской артиллерии: на поверхность не всплыло ничего. Горе, как смерч, обрушилось на семью Бернарденов. Несколько секунд – и род их уничтожен. Свежая рана еще горела – ведь с тех пор прошло всего каких-нибудь две недели. Бернарден-отец походил на раненого быка, глаза его налились кровью, его ярость и его вера вступили друг с другом в жестокий бой; были минуты, когда он схватывался с богом. Но бог был могущественнее, и раздавленный человек, понуриив голову, сдался.

В первую же ночь после своего приезда Аннета оказалась вместе со всем поредевшим стадом в подвале дома, где их собрала воздушная тревога.

Здесь не было и следа любезности и оживления первой поры, когда люди жались друг к другу, стремясь слить воедино свою веру и свои надежды и тем еще укрепить их. Правда, все старались соблюдать внешние приличия и видимость взаимного участия, но чувствовалось, что каждая семья – а в семье каждый человек – замыкается в своей, высохшей ячейке. Все казались утомленными, раздраженными. Нотки гнева, страдания прорывались при самом невинном обмене учтивостями. Почти у всех этих бедных людей было на счету немало обид, разочарований, утрат, горечи... Но кому предъявите этот счет? Где прячется Должник?... Не находя его, каждый срывал свое горе на ближнем.

В апреле 1917 года по всей Франции шло глухое брожение. Грянула Русская Революция. От северного сияния окрасилось кровью небо. Первые вести о Революции получились в Париже три недели назад, а на прошлой неделе, в Вербное воскресенье, ее бурно приветствовал на митинге народ Парижа. Но у него не было вождей, никто им не руководил, ни малейшего единства действий; множество противоречивых откликов, множество одиночек, которые страдали, но не знали, как им сплотиться; разбить их не представляло бы никакого труда. Дух революции расплылся на отдельные вспышки возмущения. Они разъедали армию. Эти полки, эти бунтари сами не знали, чего хотят, как и несчастные обитатели дома, и их палачам это было на руку. Все хорошо знали одно: они страдают – и искали, на ком выместить это страдание.

Озлобление сквозило в жестах, в голосах (больше, чем в словах). жильцов, когда они «отсиживались» в подвале. Им не приходило в голову сложить вместе свои ноши; каждый как будто сравнивал свою ношу с чужой, как будто упрекал соседей в том, что ему досталось владеть самую тяжелую. Бернарден и Жирер несли бремя своей утраты, сторонясь друг друга.

Они не разговаривали, только холодно раскланивались. Горе имело свои пределы. Они их не переступали.

Аннета выразила горячее сочувствие Урсуле и Жюстине Бернарден. Робких девушек, которые никогда ни словом не перекидывались с ней, поразил этот порыв симпатии; они покраснели от волнения, но застенчивость и недоверие взяли свое, и, отойдя от Аннеты, они спрятались за своей траурной вуалью – ушли в свою раковину. Аннета не настаивала. Если другие нуждались в ней, она была готова протянуть им руку, но сама в других не нуждалась. У нее не было желания навязывать себя или свои идеи.

В подвале шел разговор, в котором проглядывал холодный фанатизм.

Клапье излагал содержание нового фильма: «Восстаньте, мертвые!», где разоблачались преступления немцев. Одна из надписей гласила:

«Кто бы ни был твой враг – брат, родственник, друг, – убей его! Знай, что, если ты убил немца, у человечества стало одним бичом меньше!».

Госпожа Бернарден с доброй улыбкой рассказывала одной соседке об основании лиги «Помните!», благочестиво стремившейся навеки внедрить ненависть к врагу. Аннета молча слушала. Марк следил за выражением ее лица. Она и бровью не повела. Она молчала и тогда, когда Сильвия по своей привычке преподносила ей, вперемежку со скандальной хроникой квартала, какие-нибудь шовинистические бредни. Аннета слушала, улыбалась, но не отвечала и заговаривала о другом. Она ни с кем не делилась тем, что происходило в ней. Даже известие о смерти Аполлины, которое, казалось бы, своею жесткостью не могло не вызвать у нее невольного трепета, отразилось в ее глазах только лучом сострадания.

Марк, которого эта трагедия потрясла, был раздражен сдержанностью матери и решил прорваться; он взволнованно и без обиняков начал рассказывать обо всем, что видел и слышал. Аннета остановила его жестом. В разговор она вступала только тогда, когда ей хотелось этого. Все старания вовлечь ее в спор ни к чему не приводили. Однако у нее были свои определенные взгляды, – Марк в этом нисколько не сомневался. Двух-трех слов, спокойно произнесенных ею, было достаточно: он понял, как чужда она тому, что захватывает других, – войне, отечеству. Ему хотелось знать об этом побольше... Почему она не высказывается?

Русская Революция всколыхнула Марка. Он был на митинге первого апреля. Пришел он из любопытства, но его захватило настроение толпы; он аплодировал Северину и освистал Жуо. Марк видел русских, которые заплакали, услышав гимн своей Революции, и хотя он презирал слезы, однако нашел, что на этот раз они не лишены мужественного величия. Но как разобраться во всем, что он слышит? Попытки вступить в разговор с русскими кончились тем, что он почувствовал себя возмущенным, раздраженным, сбитым с толку; эта геометрическая прямолинейность, это национальное тщеславие, выпиравшее из-под красного колпака, обидно ироническое отношение к Франции и французам...

«Э, нет! С меня довольно!»

Марк, охотно смеявшийся над своими соотечественниками, не любил, когда этим занимались другие и когда он сам становился мишенью для насмешек. А эта оскорбительная фамильярность, эта бесцеремонность!.. Марк был по духу аристократом: его нисколько не прельщало смешение со стадами «иудео-азиатов» (так он их называл, осел этакий). После первого увлечения он отступает; его обуревают противоречивые чувства, – среди них есть, пожалуй, и вполне естественные, есть и определенно ложные, но он над ними не задумывается: уж таковы его чувства и таков он сам. Диктатура отечества или диктатура пролетариата – он видит и тут и там лишь тиранию: можно ли выбирать между двумя видами безумия, двумя крайними решениями? И в сердце его еще нет той человечности, той щедрости, когда принимаешь решение в пользу народа – даже во вред себе. Чтобы сделать выбор, ему нужно прежде всего разобраться. И уж, конечно, не Питан и его товарищи помогут ему в этом! Питан, разумеется, без всяких колебаний расположился на новом плоту, но его доводы так туманны, что они скорее отталкивают юного Ривьера, чем привлекают его; это какой-то мистический восторг перед катастрофой и разрушением, ликующий пессимизм, упоение жертвой...

«Ну ее, эту жертву! Жертвует собой, ни в чем не разбираясь, только тот, кому нечего терять! Мне же надо отстоять великие ценности: свое я, свой ум, свою будущность, свою добычу... Когда я завладею всем, что мне причитается, когда я все увижу и все изживу, тогда!.. Пожертвовать собою при свете дня... Да, может быть... Но во мраке, с завязанными глазами?..»

Спасибо, друг! Жертва кротов – это не для меня. „Царство пролетариата“... Нашел светоч!..»

Есть ли у Аннеты другой источник света? Марк напрасно пытается увидеть ее без маски. Чтобы подзадорить ее, он говорит в ее присутствии чудовищные глупости... Она будто не слышит, и камень падает в пустоту. А Марку становится стыдно от того, что он наговорил. Значит, эта женщина ни о чем не размышляет?.. Мыслить – это всегда было для Марка чем-то вроде приступа крапивной лихорадки, раздражения кожи. Облегчение получаешь, только почесавшись, потершись о других. Мышление всегда было для него равносильно атаке. Мыслить – значит метнуть своей мыслью в другого, обрушиться на него. Пусть она войдет в него – все равно как: с его согласия или силой?.. Аннета же, казалось, была равнодушна к тому, что и как думают другие...

Нет, она далеко не равнодушна, но она инстинктивно понимает, что мысли – это своего рода ростки. Пусть спокойно набираются сил! Если они вырастут до времени, первые же заморозки убьют их. Вокруг нее – в этих душах – еще царит зима. Не время еще им пробудиться от спячки. Она заглушает муки, боль сомнений. Преждевременное пробуждение

будет пагубным для таких душ.

Аннета слышит, как этажом выше кричит на пороге своей двери рабочий Перрэ. Он увлечен спором с товарищем. Он получил на несколько дней отпуск и приехал домой, измученный, озлобленный. Все, чего он насмотрелся на фронте, все, что он застал в тылу, – расточение жизней, расточение ценностей, развеянные иллюзии, разложившийся семейный очаг, его дочь, ставшая проституткой, женщины, которые кутят на деньги, заработанные на фабриках смерти и тотчас пущенные на ветер, – все это наполняет его злобой и гневом на товарищей и начальников, на весь мир. Но он с каким-то бешеным упрямством продолжает твердить: «До конца!» В ответ на доводы своего товарища-анархиста, который смеется над ним и старается переубедить его, он кричит:

– Замолчи! Не то я спущу тебя с лестницы! Чего ты от меня хочешь? Мало, что ли, у меня горя? Какой будет толк, если ты, дурень, даже докажешь мне, что нас всех околпачили, что отечество, как и все остальное, отвратительная ложь, что нас убивали зря? Во что же мне верить? Я уже не верю в революцию. Я не верю в религию. Я не верю в человечество (это еще глупее и еще более плоско, чем все остальное!). Но если у меня отнимут и отечество, за что же мне ухватиться, скажи? Остается только одно: пуля в лоб!

Аннета понимает Перрэ. Марк не понял бы его:

«Ну и пустил бы себе пулю в лоб!...»

Юность не ведает сострадания к мукам слабых, которым приходится плутовать с жизнью, чтобы жить. Марк не плутует. Но юность жаждет жить наперекор всему, и вот он вкупе со своими товарищами – анархистами, дадаистами – мстит безудержной, бесшабашной насмешкой над всем существующим, доводит смешное до бредового, до последних границ нелепости; он мстит за убийственное бессилие ума, предпочитая ему заумь...

Но вот что ему уж совсем непонятно: его мать, не поддающаяся чужим влияниям (в этом-то он готов поклясться!), не испытывает ни малейшей потребности ни нападать, ни защищаться. Она ничего не критикует. Не затевает тяжбы с чужими мыслями. У нее есть собственные мысли, есть разум, есть дом, и она держится за них. Она выстроила для себя фундамент... На чем?

Аннета – женщина. Ее душа живет одной страстной мыслью. Она и не помышляет распространить ее на весь мир. Поле ее зрения заполнено одним делом, трудным, точно отграниченным. Она не занимается решением трагической загадки, над которой бьется мир. Эта загадка и эта трагедия сводятся для нее к задаче, которая стоит перед ней, которую она сама себе поставила: спасти завладевшее ею священное чувство Дружбу... Нет, не то!.. Спасти двух друзей, с судьбой которых сплелась ее судьба. Она не смешивает ее с судьбой других людей. У нее свой удел, данный ей роком, и она довольствуется им. Она всецело отдается ему. Чтобы ответить на обращенный к ней зов, она готова преступить все чтимое людьми, любой человеческий закон: в ней говорит закон высший...

Если бы каждый в своей области действовал так же, это была бы величайшая Революция человечества.

Она уехала из Парижа, никого не посвятив в свою тайну, – сына меньше, чем кого бы то ни было. Ведь Марк, несмотря на свое желание сблизиться с ней, по своей привычке к самообороне всегда старался задеть чувства, которые предполагал в Аннете: он подчеркнуто и оскорбительно глумился над пацифизмом, который приписывал ей.

У Аннеты не было ни малейшего желания спорить с ним. Мир, война – не этим она занята. Это слишком далеко! Она держит в своих руках руки двух людей, которые положились на нее и которых ей предстоит соединить. Это не идеи. Это жизнь – их и ее жизнь. Да, на карту поставлена и ее жизнь.

Безрассудная игра! Если слушаться ума – да. Но у сердца есть свой ум. И сердце сказало свое слово.

Побывав в Париже, Аннета уловила там лишь одно слово, полезное для ее дела. Марк случайно заговорил при ней о русских революционерах, живших во Франции, о том, что союзники отказывают им в паспортах, лишая их возможности вернуться на родину и занять

свое место в борьбе. И тем не менее они уезжают. Говорят также, что французские противники войны, живущие в Швейцарии, поддерживают разными обходными путями тайные сношения со своими товарищами во Франции. В сети проволочных заграждений, которые зажимают и душат французскую мысль, некоторые узлы подались, и через них еще каплями просачивается жизнь: письма и газеты уходят и приходят через эти мышинные лазейки на границе. В руках Питана сосредоточились нити этой рискованной игры, которая ничем не угрожает только хозяевам жизни: ведь не этими вольными речами можно пробить забетонированные уши и толстый панцирь великого ящера – вооруженной нации. Они лишь подогревают иллюзии у тех, кто, влача цепи, все еще пытается уверить, что они свободны. Аннета запомнила фамилию Питана. Надо будет с ним поговорить. Но не Марка она попросит устроить эту встречу.

Аннета вернулась в провинцию, к своей работе. Начались продолжительные и тайные совещания с Жерменом. Она принесла ему живую весточку от друга, его невидимое присутствие. Они вместе изучали смелый план. Аннета не делится с Жерменом своими сомнениями. Пока она еще не видит ничего реального. Но пусть Жермен остается в неведении. В данную минуту важно подстегнуть в нем волю к жизни, вырвать у него согласие на отъезд: как ни мало сулит перемена климата, это последний шанс, и его необходимо использовать. Жермен тянет; он хотел бы уехать накануне решительного шага, когда успех будет обеспечен. Пока их план все еще неясен. Нужен весь эгоизм страсти, чтобы не замечать смертельной опасности, которую Жермен навлекает на Аннету и своего друга. А если бы он и видел ее, то не глазами живого человека: ведь он уже наполовину мертвец. Ради успокоения Жермена Аннета старается создать видимость подготовки к осуществлению сомнительной затеи. Через Марселя Франка она добивается некоторых льгот для молодого австрийца. Францу по болезни разрешают жить вне лагеря. Ему даже разрешают поселиться в городе, где надзор не так строг, якобы для занятий, представляющих интерес для французского искусства. Некоторым военнопленным давались льготы во время войны, и это было не таким уж редким исключением. Какой-нибудь берлинский приват-доцент живет же себе на воле, без всякого надзора, в одном из городов Центральной Франции. А шестьдесят интернированных немцев, до войны занимавших видное положение, живут в Карнаке, в приличном пансионе, вместе с женами или любовницами, и пользуются полной свободой на территории в сто гектаров. После первых лет войны, когда озлобление к врагу притупилось, с военнопленными в некоторых местах свыклись: они понемногу вошли в нормальную колею провинциальной жизни; по молчаливому соглашению устанавливается новый порядок, и надзор за пленными почти уже не ощущим. Для Франца такое положение очень выгодно. Жермен считает, что это первые вехи на пути к освобождению.

По настоянию врача, семьи, Аннеты, Жермен дает согласие на отъезд.

Аннета уверяет его, что медлить больше нельзя, что надо поселиться в Швейцарии: ведь ему придется приютить Франца после побега. Жермен слушает ее недоверчиво:

– Аннета, только не лгите мне! Уж лучше дайте мне умереть здесь. Было бы непростительно втереть очки умирающему, сплавить его отсюда, усыпить несбыточными надеждами.

– Кто может отвечать за успех? – говорит Аннета. – Но я иду на все ради вас. Вы мне верите?

Он верит.

Накануне отъезда Жермен понял, что она рискует погубить себя ради него. У него чуть было не вырвалось:

«Аннета, я вас освобождаю... Я отступаюсь...»

Но страсть побеждает... Нет! Он не отступится! Пока остается хоть проблеск надежды!..

Расставаясь с ней, он говорит только одно слово:

– Простите!..

Но не объясняет – за что.

Пусть она погибнет за него! Ведь еще час-другой – и день окончательно померкнет...

Жермен уехал в начале августа в сопровождении матери и г-жи де Марей.

Аннета осталась одна со своим дерзким замыслом, который она обязалась осуществить.

Время для тайных планов было самое неподходящее. Опасность усилилась.

Правда, в первые месяцы 1917 года французское правительство вынуждено было отпустить вожжи, но за этим последовали крутые меры, волна доносов.

Власти, трусливо спасовавшие перед революционными стачками и весенними беспорядками, мстят после их подавления за свой страх, за свою трусость.

Начинается период борьбы с мнимыми заговорами «пораженцев» – период провокаций, применявшихся во всех союзных странах. Огромная фабрика клеветы заволакивает своим зловонным чадом небеса Европы и Америки. Немаловажная отрасль военной промышленности! «Сговор с врагом» – вот готовый лживый трафарет, оправдание любого гнусного доноса! «Священное единение против измены» – так именовалась новая лига, основанная в сентябре; она позорно насаждала бациллы взаимной ненависти, подозрений. Каждый вооружается для борьбы против своего соседа; люди боятся собственной тени.

Все лето Аннета нащупывает почву, не подвигаясь вперед ни на шаг. Все у нее срывается. Еще раз поехать к Францу – значит обратить на себя внимание. А письма читают. Как же сговориться с ним насчет плана бегства? И какого плана? Нечего и думать о том, чтобы пешком пройти через всю Францию: он будет арестован завтра же. Надо двигаться быстро, надо брать хитростью. По пути Францу придется сесть в один из поездов прямого сообщения, где состоится его встреча с Аннетой, – она проводит его до границы. Но поезда на Швейцарию проверяются при отходе и по прибытии. А кто выведет Франца из городка, где он интернирован, и доведет до поезда, сулящего ему свободу? Кто будет его проводником через границу? Одному человеку не под силу все это осуществить. А ведь Аннете некому открыться...

Ее выручает случай. На каникулы она возвращается в Париж. Она – в своей квартире и держит в руках треснувшее блюдо из китайского фарфора, одну из немногих вещей, оставшихся ей на память об изящной обстановке старого булонского дома, где две сестры провели медовый месяц дружбы.

Сейчас Сильвия как раз у Аннеты. Красивое блюдо, нарисованный на нем альпийский вид, глубокие синие тона горных вершин и горизонта – все это воскрешает в их памяти, картины прошлого. Сильвия дает сестре адрес хорошего мастера, который сумеет починить блюдо. Фамилия знакомая: Питан.

Аннета решила отыскать его. Застать его дома нелегко. Сильвия предупредила ее, что Питан постоянно в отлучке и лавка чаще бывает закрыта, чем открыта. Однако Аннета отправилась по данному ей адресу в предместье. Ей повезло: Питан дома.

Он очень удивился гостье. Предлог кажется ему не особенно правдоподобным, однако его грубые руки, как только в них попадают осколки фарфора, нежно, почти благоговейно касаются опавших лепестков этого ломкого цветка, рожденного огнем... Но кто же отправляется в такое далекое путешествие ради починки? Впустив Аннету, Питан не обнаруживает ни торопливости, ни удивления. Он вежливо усаживает ее и, стоя перед ней (стоя, он только чуть-чуть выше сидящей Аннеты), выслушивает гостью, устремив на нее мягкие, бархатные глаза. Этот человек, в жизни которого, по-видимому, женщине не было места, никогда не смущается, разговаривая с женщинами. Он без всяких затруднений находит с ними простой и естественный тон.

То детское, инстинктивное, что свойственно каждой из них, даже самой испорченной, сближает его с ними. Этот простодушный человек сразу угадывает все их уловки, их желания, как бы искусно они их ни замазывали, и ничему не удивляется. Он их не осуждает и не вступает в пререкания, даже если они ему лгут, если они говорят «да» вместо «нет». Он слушает, благожелательно кивая головой, хотя его серьезный взгляд показывает, что он слышит «нет», но, глядя на его добродушную улыбку, им не приходит в голову сердиться. Они видят в нем товарища, – на удочку его не поймашь и сообщником не сделаешь, –

сердечного и снисходительного товарища, который принимает их такими, как они есть, и уважает.

Между глазами Питана, который смотрит, как пудель на стойке, и ясными глазами Аннеты, этими ОКНА, – ми без занавесей, быстро устанавливается доверие. А имя Марка, произнесенное Аннетой, окончательно растапливает лед молчания. Желтое лицо Питана сияет, он усмехается в бороду.

– Вы госпожа Ривьер? Все, что Питан о ней слышал и что угадал сам, внушает ему уважение к матери Марка, и Питан спешит его засвидетельствовать.

– Вы меня знаете? – спрашивает Аннета.

– Знаю вашего мальчугана.

– Он на меня не похож.

– Конечно, нет. Он – как все мальчики. Он изо всех сил старается не походить на вас. Оттого-то я вас и знаю.

– Я его стесняю. Он от меня бежит.

– Не бегайте за ним! Жизнь – вроде как стежка. Она петляет. Вам надо только выждать. Чем дальше он от вас уходит, тем ближе к вам подходит.

Питан расцвел. Аннета смеется. Нашлось звено, которое сразу связало их: Марк. Они – друзья. Поговорив о Марке, Питан спрашивает Аннету:

– Чем могу вам служить, госпожа Ривьер? Вы пришли по поводу Марка?

Аннета слегка покраснела, смущенная тем, что он не поверил выдуманному ею предлогу.

– Нет, дело не в нем. Но вы угадали: я пришла к вам за советом. Простите, что я пошла окольным путем, вместо того чтобы сказать напрямик.

– О, я сразу смекнул! Не извиняйтесь. С ихним «священным единением» они добились того, что все теперь подозревают друг друга. «Поменьше говорите! Молчок! Берегитесь тех, кто вас слушает!..» Когда вы пришли (откровенность за откровенность!), я тоже решил держать язык на привязи.

– Я уже не держу его на привязи, – сказала Аннета, – делайте со мной что хотите.

Питану не свойственно самодовольство. Он добродушно говорит:

– Со мной можете не стесняться. Говорите, госпожа Ривьер! Мы с вами не того покроя, чтобы играть друг с другом в прятки.

Аннета просто, ничего не скрывая, выкладывает ему все. Питан, слушая, слегка вздрагивает, но не прерывает ее. Он дает ей досказать. Затем, покашливая, обращается к ней:

– А вы знаете, госпожа Ривьер, на что вы идете?

– Это неважно, – спокойно говорит Аннета.

Питан снова откашливается. Он мысленно спрашивает себя, что побуждает эту женщину поставить на карту свою жизнь, свою честь. У него не хватает духа спросить ее об этом. Она догадывается.

– Вы хотите, господин Питан, задать мне какой-то вопрос?

– Извините, госпожа Ривьер! Но если вас интересует судьба этого военнопленного, то не лучше ли для него оставаться в безопасности, чем идти на риск?

– Дело не в его и не в моей безопасности.

Питан без околичностей спрашивает:

– Значит, вы любите того, другого? Щеки Аннеты снова окрашиваются румянцем. (Как еще молода ее кровь!).

– Нет, любовь тут ни при чем. Питан, уверяю вас! Ведь я уже стара.

Это мне не по возрасту. У меня этого и в мыслях нет. Я думаю только об их дружбе – не о дружбе со мной: что я для них? – об их взаимной дружбе.

– И ради этого?..

Питан не договаривает. Аннета спрашивает:

– Неужели не стоит ради нее пожертвовать собой? Питан окидывает ее взглядом. Она говорит, как бы в свое оправдание:

– Один из них умирает... И, значит, – не правда ли, Питан? – спорить тут не приходится.

Питан не спорит. Он понял. Самое безумие этого великодушного замысла такого свойства, что оно убеждает его. Он смотрит на Аннету, и в этом взгляде – глубокое уважение.

– Вы не осилите этого сами, – говорит он после некоторого раздумья.

– Если надо, постараюсь, – отвечает она.

Питан продолжает раздумывать: затем нагибается, – собирает двумя пальцами щепотку пыли с полу и подносит ко лбу.

– Что вы делаете? – спрашивает Аннета.

– Записываюсь в ваш батальон... Видите ли, госпожа Ривьер (он берет табурет, садится подле нее и переходит на шепот), у вас нет физической возможности сделать все сразу, поспеть одновременно туда и сюда. Вам нужна подмога... Не говоря уже о том, что у вас есть и другие обязанности: ваш сын. Тут нельзя рисковать, если есть другой выход. Попасться – значит набросить тень на его имя, на его будущность. Он вас за это не поблагодарит. Я же рискую только собой. О таком бобыле, как я, в наше время и задумываться не стоит. Разрешите уж мне – ведь я знаю все ходы и выходы – устроить вам это дело! На свой страх и риск! Сделаем, что сможем.

– Но, Питан, – взволнованно заговорила Аннета, – вы даже не знаете тех, для кого идете на риск!

– Я знаю, что такое дружба, – отозвался Питан. – Эти двое – друзья.

Вместе с вами друзей уже трое. А со мной – четверо. Дружба – это магнит.

Надо быть крепче железа, чтобы устоять перед ним.

– Нынешнему миру не так уж трудно устоять перед ним, – заметила Аннета.

– Всем известно, – сказал Питан, – что нынешний мир – это мир гигантов.

Но мы, госпожа Ривьер, мы с вами не заносимся так высоко. Мы люди простые.

Они занялись разработкой плана бегства. Питан, не задумываясь, взял на себя львиную долю. Уговорились, что именно он будет сноситься с пленным. И, когда наступит время, будет его проводником и сдаст его на руки Аннете в женевском поезде. Через своих друзей он наладит переход через границу. Но прежде всего надо изучить обстановку. Не спеша. В ближайшее время Питан под каким-нибудь предлогом съездит на место, соберет сведения; он встретится с Францем и осторожно расставит первые вехи. Питан призывал к осторожности, но сам разгорячился. Громадный риск этого предприятия его ничуть не смущал, хотя в случае провала его судили бы за шпионаж и государственную измену. Разумеется, он понимал, что рискует, но совершенно с этим не считался. (Кто знает, может быть, в глубине души этот риск даже привлекал его... Мы уже видели, что Питан хотел быть «съеденным»...) Его раззадорила фантастическая трудность этого замысла.

Он весь загорелся; он пригнул голову, глаза у него блестели, ноздри раздувались, но вдруг он рассмеялся в бороду и сказал:

– Госпожа Ривьер, прошу прощения! Оба мы с вами помешанные. В такое время, когда все идет прахом, и города и люди, я увлекаюсь починкой разбитого фарфора, а вы стараетесь склеить осколки дружбы... Ну не потеха ли? Что ж, посмеемся вместе! Кум Кола сказал: «Чем безумнее люди, тем они мудрее...» Как знать? Пожалуй, когда-нибудь окажется, что мы-то и есть мудрецы!..

На другой же день Питан занялся предварительной подготовкой. Но его ремесло, требовавшее выдержки, приучило его размерять свои движения. Он подвигался медленным шагом. Прошло лето. Когда Аннета вернулась из Парижа в школу, еще нельзя было установить точный срок побега. Заговорщики были связаны между собой крепкими нитями. Аннета уехала в свой городок, а Питан в тот же день отправился на швейцарскую границу, чтобы подготовить осуществление второй части плана.

Жермену, который находился в санатории близ Шато д'Экс, разумеется, было невтерпех. В письмах он не мог быть вполне откровенным. И все же тревога и волнение

прорывались в них слишком явно. Аннета писала ему:

«Вы хотите все провалить?»

Он двадцать раз напоминал ей про ее обещание:

«Клянитесь! Вы поклялись!..»

«... Я поклялась. Да. Ты крепко держишь меня. Ты, умирающий, увлекаешь нас за собою!.. Не дорого ты ценишь нашу жизнь... Бедняга! Я тебя понимаю... Я не отлыниваю...»

Она преподавала в школе уже третий год. Но ее положение изменилось.

Дом Шаваннов опустел. Она лишилась не только общества друзей, которые ей полюбились. Самое их присутствие ограждало Аннету помимо ее ведома. То, что она была допущена в их круг, может быть, только еще разожгло ревнивое злопыхательство городка. Но это злопыхательство не могло проявляться. Теперь же, когда щит, прикрывавший Аннету, исчез, не было необходимости ее щадить. Стало известно, что сестра Жермена, г-жа де Сейжи-Шаванн, одна из всей семьи оставшаяся в городе, не жаловала Аннету; после отъезда ее брата они перестали встречаться. Теперь можно было дать волю временно притаившемуся злословию. Уже два года кумушки, точно муравьи, собирали по зернышку терпеливые и злые наблюдения. Каждая приносила в общественный амбар свою лепту: их складывали в общую кучу. Сопоставляли все данные об Аннете: странная личная жизнь, загадочное материнство, непонятная холодность патриотических чувств и подчеркнутая снисходительность к врагу. Не нападая на след, все же судачили о ее прошлогодних поездках, о каких-то таинственных делах. Аннете пришлось передать Питану всю активную часть операций, так как за каждым ее движением следили. Она ничего не замечала, только чувствовала, что окружающие относятся к ней все холоднее. Это несколько не мешало им встречать ее елейной улыбкой; с искривленных губ слетали приторно вежливые слова.

Но всегда найдутся друзья, готовые передать нам сплетни, распространяемые о нас. Рассказать неприятную новость человеку, который еще ничего не знает, – редкостное удовольствие. Ведь ему желают добра! Приятное сочетается с полезным, с чувством исполненного долга.

И этот долг храбро взяла на себя Тротте. Тротте (вдова Тротта, или еще точнее, Тортра) была та самая прачка, которая напала на немецкого офицера и вдруг, пораженная энергичным вмешательством Аннеты, выказала в госпитале шумливое раскаяние. Ей было под сорок; это была женщина добродушная, вспыльчивая, любившая прикладываться к бутылочке. С того памятного дня она стала выказывать воинственный пацифизм под носом у снисходительных жандармов; Аннете она выражала бурную симпатию, без которой та прекрасно обошлась бы. Но они жили дверь в дверь; у Тротте был свой круг заказчиков; приходилось терпеть прачку и ее валеки.

Аннета на многое закрывала глаза ради старой свекрови, жившей у прачки. Между этими двумя женщинами не было ни малейшего схождения. Тротте, крикливая и нескладная, широкая в кости и мясистая, с длинным бургундским носом, смахивавшим на орудие взлома, была полной противоположностью матушки Гильметт, худенькой, тихой, хлипкой. Старушке было уже за семьдесят. Она была замужем вторым браком за крестьянином из-под Арраса.

Во время войны она получила страшное крещение огнем. Ей скромное имущество, ее дом – все погибло; старый муж с горя захирел. Но она с этим горем свыклась. Две недели она прожила одна-одинешенька среди неприятельских солдат, под бомбами, которыми осыпали местность ее соотечественники. Она не проявляла ни малейшей вражды ни к тем, кто уничтожил ее добро, ни к тем, кто накликал на ее голову это несчастье. Она жалела своих постояльцев – неприятельских солдат, разделявших с ней опасность, и удивляла их своим чувством собственного достоинства. Убедившись, что никакими усилиями не отвратить ударов судьбы и что вся ее жизнь, ее трудолюбие, ее бережливость были напрасны, она показала солдатам тайник, где ей удалось спрятать остатки съестного, свой убогий клад; она сказала им:

– Бедные мои дети, вот, берите! Пользуйтесь, пока вы еще живы! А я стара стала. Мне это уже не нужно.

Аннета об этом узнала от одного из раненых немцев, лежавших в госпитале; он выздоравливал, и ему разрешалось делать маленькие прогулки по городу. Он был одним из постояльцев старой Гильметт под Аррасом и теперь очень обрадовался встрече со старушкой, которая вызывала в нем уважение и удивление. Он говорил:

– Пусть себе ваши газеты болтают все что угодно от имени Франции! И ваши пугала – Баррес, Пуанкаре. – Истинную Фракцию я знаю лучше их!

Аннета охотно разговаривала с Гильметт, насколько им давала говорить до ужаса болтливая Тротте. Старушке, обладавшей врожденным так-том и скромностью, ее болтовня доставляла не больше удовольствия, чем Аннете.

Но она помалкивала, позволяя себе лишь лукавую усмешку, придававшую этому старому лицу прелесть молодости. Она не считала себя вправе предъявлять какие-нибудь требования. Всякая птица поет на свой лад!

То, что Аннета посещает Тротте и Гильметт, тотчас же сделалось известным всему городу и вызвало пересуды. Из этих двух женщин одна была на плохом счету, другая считалась подозрительной по той причине, что, прожив три года в оккупированной местности, не питала вражды к немцам, ушедшим оттуда. Было, кроме того, известно, что иногда к Гильметт заглядывает мимоходом немецкий военнопленный и что Аннета раза два-три вступала с ним в беседу. Это тоже ставилось ей в счет. Но Аннета, перед которой Тротте разложила весь свой запас сплетен, решила, что одной сплетней больше или меньше – это не имеет значения.

Приближался день Поминовения усопших. Священный день. Во Франции это подлинный культ. Все остальное – это только наслоения, образовавшиеся позже; они будут развеяны временем. Но к этому единственному культу, связанному с утробой земли, приобщаются все, кто вышел из нее и кто уйдет в нее, люди всех вероисповеданий и все неверующие. Аннета была ему не более чужда, чем г-жа де Сейжи-Шаванн или Тротте. И в этот день она машинально присоединилась к потоку людей, которые отправлялись целыми семьями на кладбище.

Почти у самых кладбищенских ворот Аннета увидела прихрамывавшую Гильметт и взяла ее под руку. Они вошли вместе. Все могилы были убраны цветами, аллеи расчищены. Но на краю кладбища, у полуразрушенной стены, среди чертополоха, лежала куча перекопанной земли, голой, без единого венка, и на ней – деревянные кресты. Место упокоения отверженных. Это были мертвые враги, вывезенные из госпиталя. Как христиан их впустили в Иосафатову долину, но положили в сторонке от всех остальных, опережая решение страшного суда, который отделит «овец от козлищ».

Старая Гильметт не заказала себе заранее местечка в раю. Она сказала Аннете:

– Здесь похоронен один из моих парней. Такой низенький, белокурый, в очках. Очень почтительный. Когда я готовила обед, он приносил мне воду из колодца. Бывало, рассказывает о своем отце, о невесте. Пойду-ка я поговорю с ним немножко.

Аннета проводила ее. Старуха не могла прочесть имени на крестах. Аннета помогла ей. Наконец они нашли того, кого искали. Гильметт сказала:

– Вот ты где, бедняга. Горькая твоя доля!.. Но здесь ли, там ли – конец у всех один!.. Ты видишь, твоя старушка не забыла тебя... Правда, она не догадалась принести тебе цветов!.. Но зато я немножко помолюсь за тебя.

Аннета оставила старушку, опустившуюся на колени у холмика. Ее поразила холодная нагота этих могил, – казалось, здесь лежали бедные родственники, нарочно забытые семьей мертвецов на своем празднике. Она направилась к выходу, купила у кладбищенского сторожа сноп цветов и, не думая о том, что ее неожиданный порыв может показаться вызовом, вернулась к заброшенным покойникам, лежавшим под неубранной землей, и разбросала по ней цветы. Старушка тихо дочитывала молитву. Когда она кончила, Аннета опять взяла ее под руку, и они направились к выходу.

Тут только им бросилось в глаза, что на краю проклятого участка стоит, наблюдая за ними, кучка людей. Бедно одетые женщины с детьми, мелкие буржуа галдели, указывая на них. Поодаль стояли две-три дамы, молча следившие за этой сценой. Гильметт и ее спутница, волей-неволей прошедшие вдоль этой живой изгороди, почувствовали, что она не без колючек. Одна кумушка воскликнула:

– Носить наши цветы этой падали! У Аннеты закипела кровь. Но она сдержалась и прошла молча, гордо подняв голову. Ее не смели трогать. А с Гильметт церемониться не стали. Ее осыпали бранью:

– Старая подлюга! Продалась!

– Ясное дело! – сказала та же кумушка. – Кто же не знает, что она нажилась на торговле с бошами?

Старушка тихонько посмеивалась... Хороша нажива! Ведь она все потеряла... Аннета была менее мудра. Она взяла Гильметт под защиту – по своей привычке атакуя. Она сказала, что гнусно давать волю злобе перед лицом смерти, что под землей все равны: нет никакой разницы между теми, кто покоится здесь или там! В ответ посыпались возражения. Аннета, потеряв самообладание, – заявила, что она почитает немецких покойников не меньше, чем тех, кто погиб за Францию: все одинаково обречены, все – жертвы...

Она наговорила достаточно, чтобы все три местные газеты трех цветов, от красного до белого, почтили ее в следующем же номере язвительными статьями. В них были изложены возмутительные речи преподавательницы, присланной университетом и состоящей на государственной службе; правительству предлагалось воздать ей по заслугам.

Развязка наступила быстро. Аннету вызвали к директору коллежа. Ей учинили краткий и строгий допрос; она даже не пыталась оправдываться. Ее уволили. Аннета без всяких возражений стала готовиться к отъезду. Она устала.

К тому же пришла пора действовать. Ей нужна была свобода.

Питан был готов. Он тщательно продумал свой план. Проверил на месте все подробности. Он решил, что сам поедет за Францем и посадит его в поезд, а Аннета будет сопровождать его до последней станции перед французской таможней. Там за птичкой явится друг Питана – он отведет его обходным путем к границе. На самой границе стояла гостиница, которая по странной и счастливой случайности находилась на территории двух государств: одна дверь выходила во Францию, а другая в Швейцарию. Перейти в этом месте границу было легче легкого. Самую опасную часть плана Питан взял на себя. Аннету щадили. Но и ее роль была сопряжена с опасностью.

Ей предстояло купить в Париже два билета в Швейцарию; чтобы получить их, следовало представить в кассу два паспорта со штампами, на которых проставлялись место назначения и точная дата выезда. Питан взялся достать паспорт с указанием примет, совпадающих с приметами Франца. Но Аннета по каким-то причинам паспорта не получила. Время летело. Срок приближался, Аннета решила затребовать два паспорта, один на свое имя, другой на имя сына. Безрассудная затея. Другой возраст, другая внешность. Но ждать нельзя было. Смелость города берет! Аннета, впрочем, рассчитывала, что паспорт придется предъявить лишь при покупке билетов.

Паспорт она без труда получила в Париже через посредство Марселя Франка, тогда как многие другие имевшие больше прав на такую поездку, теряли недели на хлопоты и в конечном итоге получали отказ. Хороши правила! Они ударяют как раз по людям ни в чем не повинным. В оправдание Аннеты надо сказать, что она даже не понимала, как ей повезло. Если она чего-нибудь хотела, то уж хотела так страстно, что не сомневалась в успехе, и ее вера сообщалась тем, от кого зависело исполнить ее просьбу. Как на причину ходатайства она указала на слабое здоровье сына, которого она хочет повезти в Швейцарию. Марсель не углублялся в подробности и занялся хлопотами.

Аннета покинула провинциальный городок накануне назначенного Питаном дня. Она приняла все меры, чтобы за ее отъездом из провинции немедленно последовал отъезд из Парижа. В промежутке она нигде не задерживалась и жила, как птица в листве; она

ускользнула от надзора и в провинции и в Париже, так как не известила о своем проезде через Париж никого из своих. Сильвии было известно, что сестру уволили и по какой причине, но не было известно о дне ее возвращения. Аннета решила пробыть в Париже ровно столько времени, сколько необходимо для подготовки экспедиции; лишь после успешного окончания дела она подаст о себе весточку родным. (А в случае провала они узнают о нем очень скоро!).

Итак, она приехала, никого не известив, вечером девятого ноября, с наступлением темноты; остановилась в маленькой гостинице близко от вокзала железной дороги Париж – Лион – Средиземное море. И опять ее выручил счастливый случай. Швейцарская граница все время была закрыта. Закрыли ее в конце октября посла катастрофы на итальянском фронте. Еще девятого ноября в Швейцарию никого не пропускали. И вот десятого граница снова открылась – говорили, что только на один день. А это и был день, назначенный Питаном. Лихорадочно возбужденная, Аннета потратила утро и дневные часы на получение паспортов и виз, на выполнение всевозможных формальностей, ожидание в бесконечных очередях то в полицейском управлении, то в министерстве иностранных дел. Затем она купила на вокзале билеты.

После того как все было сделано (ненастный день склонялся к вечеру, моросил дождь). Аннета, в предвидении трудной ночи, вернулась в гостиницу отдохнуть. Но в номере стоял адский холод. Теперь, когда с делами было покончено, Аннета начала волноваться. Разбитая усталостью, она невольно стала подумывать о возможности провала. Не разошлют ли сразу оповещение о бегстве Франца? Не опоздает ли он к отходу поезда? А ее пропустят с двумя билетами? Ну, довольно! Там видно будет... Все хорошо в свое время! Сейчас думать воспрещается!.. Она вспомнила, что не запаслась провизией. Франц приедет истомленный. Она вышла на несколько минут.

Был пятый час. Дневной свет угасал. Казалось, над городом носится чье-то влажное и вялое дыхание. Безостановочно моросил мелкий дождик, ровный и пронизывающий, как будто сочившийся не только из невидимого неба, но даже из стен и мостовой. Париж был закутан в туман, как спящий человек в одеяло. В четырех шагах не было видно ни зги. От струящейся завесы вдруг отделялись фигуры прохожих; натываясь друг на друга, они снова ныряли в облако тумана. Для тех, кто не хочет быть замеченным, это не только укрытие, но и западня...

И вдруг стена тумана раздалась, в щель просунулось юное удивленное лицо, послышался крик, и как ни быстро сердце Аннеты узнало это лицо, чья-то рука еще быстрее схватила ее за локоть: перед ней был Марк.

– Мама!.. Ты!..

Аннета оцепенела от удивления... Уж эту встречу она никак не могла предугадать!.. Марк смотрел на нее с радостью и любопытством. И, забравшись под зонтик Аннеты, поцеловал ее. Их губы и щеки были мокры от дождя. Она с трудом пришла в себя. Марк спросил:

– Ты, значит, вернулась? Ты – домой? Она ответила:

– Нет. Я здесь только проездом.

Марк удивился:

– Как?.. Ноты заночуешь здесь?

– Нет, я опять уеду вечером.

Он ничего не понимал.

– Как?.. Вечером уедешь? Куда, почему, на сколько времени?.. Когда ты приехала?.. Ты только – проездом? И даже не известила меня!

Она взяла себя в руки.

– Извини меня, мальчик! Я сама узнала об этом в последнюю минуту.

Он снова стал осыпать ее вопросами, настойчиво и раздраженно.

– Я объясню тебе потом. На улице, под дождем – как тут разговаривать?

– Ну так идем домой! Ведь до вечера есть еще время.

– Нет, мне надо идти на вокзал.

Марк смотрел на нее нахмурившись.

– Ну что ж, я провожу тебя на вокзал.

Аннете надо было еще вернуться в гостиницу. Она хотела, чтобы сыну стало известно, где она остановилась. Посвятить его в свои планы она не могла. По тысяче причин! Нельзя впутывать его в это дело. Да и что он подумает? Она не была уверена в нем, в твердости его характера; она считала, что он не способен проникнуться ее идеями, что он относится к ним враждебно. Нет, она ничего не может ему сказать! На карте – жизнь другого... Но не говорить – значит только укрепить в нем подозрения. Они и так уже зашевелились. Что он думает о ее таинственной поездке. Она покраснела.

– Иди домой, мальчик, – сказала она. – Видишь, как припустил дождь.

Ты промокнешь.

Он пожал плечами:

– Ты же не приехала без багажа. Где ты оставила чемодан? Я сбегая за ним, понесу.

– Мне никто не нужен.

Он обиделся, но сделал вид будто не расслышал, что она сказала. Он хотел знать, куда она едет:

– Ты уже взяла билет? Аннета не ответила. Он шел за ней следом. Она чувствовала, что он наблюдает за ней. Искала благоприятного предложения, чтобы расстаться с ним, и ничего не могла придумать. На перекрестке она остановилась и заставила себя заговорить повелительным тоном:

– Расстанемся здесь! Он упрямо сказал:

– На перроне.

Аннета сухо сказала:

– Прошу тебя, оставь меня.

Он продолжал шагать с ней рядом. Аннета вспыхнула. Она взяла его за плечо:

– Довольно! Я запрещаю тебе идти за мной.

Он остановился, восприняв ее слова, как пощечину. Аннета сознавала, что этого оскорбления он не простит. Но она начала. И теперь надо идти до конца, раз это – единственное средство устранить сына. Марк, оскорбленный, заговорил оскорбительным тоном:

– Что ты намерена делать? Ты мне не доверяешь?

– Нет.

Он повернулся и ушел.

Она позвала его:

– Марк, поцелуй меня! Марк, уязвленный, не обернулся. Он засунул руки в карманы, сердито поднял плечи – и ушел. Туман скрыл его.

Аннета, стряхнув с себя минутное оцепенение, кинулась вслед за сыном.

– Марк!.. Боже мой!..

Он исчез. Она бежала, сталкиваясь в тумане с прохожими. Она хотела ему сказать:

«Прости!.. Я объясню тебе... Подожди!..»

Слишком поздно! Он был далеко. Темнота, туман поглотили его. Через несколько минут Аннета повернула обратно. Надо было позаботиться о другом. Другой ждать не мог.

Нахлынувшие заботы отвлекли ее от мысли о Марке. У входа на перрон ей предстояло закомпостировать два билета. Но контролеры пропускали входящих по одному. Ни малейшей гарантии, что они согласятся проشتهмпелевать и второй билет. Случай выручил Аннету в третий раз. Только что прошла целая семья. Отец, мать, трое детей. Один был на руках у отца, другого вела мать, третья, девочка лет двенадцати, немного отстала. Аннета, улыбаясь, взяла ее за руку и подала два билета чиновнику, – тот по рассеянности не заметил подмены. Она прошла, ласково болтая с девчуркой, а затем подвела ее к родителям.

Пассажиры толпились в вагонах. Купе были набиты битком. Аннета стояла в коридоре. Прошло много времени, прежде чем поезд наконец тронулся и умчался в ночь; огни

потушили, опасаясь неприятельской авиации: было получено предупреждение о возможности воздушного налета. Поезд остановился во мраке. Дождь стучал по крыше и оконным стеклам. А поезд все стоял.

Казалось, что они забыты, затеряны среди полей. Было сыро и холодно. Аннета заснула стоя – притулившись между стенкой и соседями, жавшими ее с двух сторон. Колени и лодыжки у нее ныли. Она умирала от усталости. Ей что-то снилось, она вздрагивала от толчков и опять погружалась в грезы.

Снились ей Марк и Франц. Она была в комнате – у себя в комнате, в провинции. Франц пришел за ней. Они собираются вместе уехать. Укладываются. Все уже готово... Вдруг распахнулась дверь... Марк... Франц скрывается в смежную комнату. Но Марк видел его. Он улыбается злой улыбкой, какая иногда бывает у него; лицо его непроницаемо. Он вызывается проводить Аннету. Но Аннета знает, что он хочет выдать пленного. Он двинулся к дверям, за которыми скрылся Франц. Аннета становится у порога. Марк говорит:

– Пусти же, мама! Мне хочется повидаться с милым Францем. Мне надо с ним побеседовать.

Аннета кричит ему:

– Я знаю, чего тебе хочется. Но ты не войдешь!

Они стоят лицом к лицу и с вызовом смотрят друг на друга. Ужас овладевает Аннетой. В насмешливом взгляде Марка вспыхивает жестокая искорка.

Он говорит, отталкивая мать, загородившую проход:

– погоди же!.. Я его накрою, твоего любовника!..

Страх, возмущение вызывают у Аннеты взрыв бешенства. В руке у нее откуда-то взявшийся кухонный нож; еще секунда – и этот нож вонзится...

Судорожно напрягая силы, чтобы вырваться из бездны преступления, она просыпается и видит, что стоит в вагоне, в полной темноте. Она тяжело дышит. Ужас и стыд... Ей перехватывает дыхание. Оскорбление, нанесенное сыном, нанесенное сыну, постыдное подозрение, запятнавшее обоих (он, она – это же одно целое!), ветер убийства-все это оледенило ее дрожащее тело. Она говорит себе:

«Может ли это быть? Может ли быть, чтобы такая мысль промелькнула у меня, пусть даже на один миг, чтобы она была во мне?..»

Аннета считала себя виновной в двойном преступлении перед своим мальчиком: в его гнусном подозрении и своем покушении на сына... И Анне га не могла вытолкнуть из своего мозга назойливой мысли:

«Если бы дело так обернулось, убила бы я его?..»

Она подумала, что со сна, быть может, разговаривала вслух и соседи могли ее услышать, – это отрезвило ее. Она стиснула зубы и подавила рыдания, от которых у нее подымалась грудь. И снова услышала грохот катящегося во мраке поезда... Нет! Никто не проник в тайну ее лихорадочных видений. У каждого были свои. И в спасительном мраке она отирала жгучие слезы. Разговор между двумя соседями вернул ее к действительности.

По их словам, поезд переменял маршрут, он свернул налево, вместо того чтобы идти на Бурбоне. Аннета вздрогнула. Она разминется с Францем!..

Припав лицом к стеклу, она смотрела, ничего не видя, на густые тени, бежавшие перед ней, и не узнавала местности. Но на первой же остановке она задрожала от радости. Та самая станция...

Аннета озиралась... Два крестьянина. Солдаты. Но тот, кого она ждала, не сел в поезд. Она уже не сомневалась, что все погибло. Снедаемая тревогой, она попыталась пройти по коридору. Но трудно было продвигаться, переступая через лежавшие впопалку тела. Поезд опять тронулся и опять застрял где-то между станциями: здесь чинили путь; вновь потушили огни.

Нагнув голову, Аннета ощупью пробиралась по застывшему людскому потоку и вдруг наткнулась на затор... Поезд дернулся, загорелись огни, и Аннета увидела в белесом свете фонаря того, кого искала!.. Лицом к лицу с ней.

От радости их глаза ярко засияли, губы встретились... Словами не скажешь! Когда ум изнемогает, говорит тело... Потерянный брат снова находит сестру свою...

Францу почудилось, что он безнадежно заблудился в каких-то дебрях. Не зная, куда идти, когда сойти, как действовать, он совсем обезумел. Аннета показалась ему ангелом, ниспосланным небесами. Он обнимал ее, точно малое дитя. А она, счастливая, прижалась к нему, как курица к цыпленку.

Придвинувшись друг к другу, они рассказывали шепотом, полусловами свои приключения. Хитрый Питан решил обойти станцию, эту мышеловку, я повел его полями к насыпи, где поезда останавливались из-за дорожных работ, и здесь, во мраке. Франц сел в поезд...

Часом позже им предстояло пересаживаться. Проверили билеты. Самая большая опасность уже миновала. Оставался рискованный прыжок через границу. Но теперь они осмелели. Франц уже не сомневался в успехе. Он бросился из одной крайности в другую. И мальчишеская веселость Франца передалась его спутнице. Аннета уже не раздумывала о своей усталости, заботах, дурных снах, о своем дорогом мальчике, о том, что в ее волосах появились белые нити. Вздурораженные, смеющиеся, говорливые, они напоминали двух школьников, которые наслаждаются удачно разыгранной шуткой. Они изображали брата и сестру. Франц потешался, разговаривая с Аннетой об их мнимой торговле часами в маленьком городке Швейцарской Юры, о соседях с уморительно нелепыми фамилиями. Если бы кто-нибудь из пассажиров знал правду, он счел бы их помешанными – так весело они смеялись. Но их нервы были слишком натянуты. Еще будет время горевать!..

Наконец они задремали. И вдруг голова Франца приникла к лицу соседки, а к его волосам – щека спящей Аннеты... Но посреди сновидения, шелковистого, мягкого, как подушка, к которой прильнула Аннета, ее разбудил долг:

«Проснись! Стучат...»

(Она сопротивлялась...).

«Проснись. Стучат...»

«Кто?»

«Тот, кого ты любишь!..»

(Аннета увидела Марка, но она называла его разными именами.).

«... Его преследуют. Вставай! Открой!..»

Она напрягла все силы, но тут ее снова одолела дрема – ей показалось, что она упала на свою кровать, – и вдруг набралась храбрости и соскочила на пол. Ее глаза открылись. Уже рассвело. Поезд остановился. Здесь Францу надо было сойти.

Аннета поспешила разбудить его. Она сошла вместе с ним. Они отправились, как было условлено, в трактир. К их столу подошел пожилой, уже с проседью в волосах крестьянин. Он был спокоен, нетороплив в словах и движениях. Он спросил, как поживает Питан. Все трое выпили черного кофе.

И теперь уже все выглядело так, будто двое мужчин пришли сюда из деревни, чтобы встретиться с проезжающей Аннетой. Они попрощались с ней и подошли к конторке. Крестьянин здесь, по-видимому, был свой человек. Он спокойно, своим певучим говором, обменялся двумя-тремя словами с буфетчиком. Затем не спеша вышел через боковую дверь. Франц нес купленный крестьянином ящик с пивом. Аннета вернулась в вагон. Поезд тронулся.

Из окна купе ей была видна белая дорога под серым небом, среди сверкающих, заснеженных полей, опоясанных стеной гор, и по ней ехала, все удаляясь, отыскивая брешь в кордоне государств – в кордоне тюрем, – телега, увозившая друга к умирающему другу.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Зимний ветер насквозь продувал большой город, раскинувшийся по берегам Женевского озера, светлый, холодный, залитый солнцем.

Аннета вошла в ближайшую к вокзалу гостиницу и заказала на ночь два номера. Она с трудом держалась на ногах, но отдыхать было не время. Тревога и волнение не позволяли ей предаваться отдыху, пока она не узнает, что Франц спасен. Хотя он никак не мог приехать раньше вечера, она поджидала его чуть не с полудня в привокзальном саду, где они уговорились встретиться. В изнеможении бросаясь на скамью и тут же вскакивая, мечась по аллеям, разбитая усталостью, продрогшая на холодном ветру, она покидала свой пост лишь потому, что боялась обратить на себя внимание, и слонялась поблизости. День прошел, наступил вечер. Аннета вернулась в свой номер. Из окна она различала угол сада и ворота. Напрягая зрение, она всматривалась при свете электричества в силуэт каждого прохожего.

Около десяти часов она опять вышла. В аллеях, громыхая, как телега, носился ледяной ветер. Звезды в небе, казалось, мигали от его дыхания, и Аннете чудилось, что эти огоньки вот-вот померкнут.

В половине одиннадцатого наконец показался Франц – да, это его неуверенная походка, его торопливый шаг. Он похож на заблудившегося взрослого ребенка, который кусает губы, чтобы не заплакать. Франц прошел мимо Аннеты, не видя ее. Когда она окликнула его, он завопил от радости. Аннета жестом заставила его прикусить язык; она сияла. Франц был весь в грязи, – казалось, он подобрал ее на всех пройденных дорогах. На повороте аллеи Аннета стала счищать ее рукой: ему не следовало обращать на себя внимание своим видом. Франц не возражал и не извинялся, – он весь отдался радостному сознанию, что он уже не одинок, что он может все рассказать ей.

Аннета просила его подождать, пока они не придут в гостиницу, – там они наговорятся. Пробыв весь день и вечер на холоде, она простудилась, но была так счастлива, что не думала об этом. С вокзала катилась волна пассажиров. Франц незаметно вошел в гостиницу. Аннета записала его как своего брата.

У них были смежные номера. Аннета накормила Франца. Он ел жадно – и говорил, говорил, не устывая рассказывать все подробности бегства. Аннета, наклонившись к нему, все подсовывала ему пирожки, чтобы он говорил не так громко. Она сидела полусонная, со слезящимися от насморка глазами, с тяжелой головой, сморкаясь, чихая. Франц ничего не замечал. Он никак не мог насытиться и наговориться. И как ми утомлена была Аннета, ей не хотелось, чтобы он замолчал. Стук в стенку напомнил им, что существуют и другие. Франц умолк. И вдруг его сморила усталость: в полном изнеможении он бросился на постель и заснул. Но лихорадочно возбужденная Аннета ворочалась с боку на бок, прислушиваясь к звукам, доносившимся из соседней комнаты. Дверь была открыта. Анна упивалась мирным дыханием своего юного спутника, радостной мыслью, что она спасла его. Горло у нее болело, грудь заложило. Она закрывала рот одеялом, чтобы Франц не слышал, как она кашляет.

Наутро она поднялась рано, почистила одежду и вышла позвонить по телефону матери Жермена:

– Едем...

Вернувшись, она обнаружила, что Франц еще спит. Она не решалась будить его. Она смотрела на него. Потом взглянула в зеркало: увидела свое красное от насморка, обветренное лицо, припухшие глаза и нос – и огорчилась. Но эта тень набежала и ушла. Пожав плечами, Аннета рассмеялась.

Поезд в Шато д'Экс уходил утром. Она разбудила заспавшегося Франца.

Он ничуть не удивился, увидев ее возле себя. Он-то, стеснявшийся женщин, как дикарь! Аннета уже не была для него женщиной; она существовала, чтобы служить ему. Она печется о нем – что же, это в порядке вещей. Доверие свое он дарил легко и так же легко мог отнять его. Когда Аннета сказала ему, что сегодня же вечером он будет у своего друга, на его подвижное лицо набежала тень: ведь он уже почти у цели, как страшно!.. Но вдруг он задрожал от нетерпения и начал одеваться на глазах у Аннеты: на нее можно было не обращать внимания.

Они ушли из гостиницы. Франц предоставил Аннете хлопотать обо всем: платить,

покупать билеты, искать поезд, выбирать места, он не помог ей даже нести вещи. Однако задержался, чтобы купить для нее букетик фиалок.

Он был совершенно лишен практического чутья и сопротивляемости; на перроне его закружила волна пассажиров; если бы Аннета не обернулась, не ободрила его жестом, не подождала его, он бы потерялся в толпе. Такие люди, как Франц, не умеют сосредоточиться на том, что они делают в данную минуту. Он весь был во власти чувств, вызванных предстоящим свиданием.

Аннета безуспешно пыталась отвлечь его. В дороге он ничего не видел и плохо слушал. У Аннеты теперь было время присмотреться к нему. Он жил ожиданием и порывом, радостью и страхом. Не Аннета была перед ним, а Жермен. Каждый оборот колеса приближал его к Жермену. Аннета видела, что губы его шепчут, – он говорил с другом, который шел ему навстречу.

Когда они сошли с поезда в Шато д'Экс, она предложила ему убавить шаг. Она пришла раньше его на дачу Шаваннов – надо было подготовить Жермена.

Больной в ожидании Франца лежал в кресле на террасе, тщательно одетый. Возле него была мать. Он хотел подняться, но у него подкашивались ноги. За четыре месяца, прошедшие с тех пор, как Аннета рассталась с ним, он изменился до неузнаваемости. Она ужаснулась силе разрушения, произведенного болезнью, и, как ни быстро сна овладела собой, первый взгляд сказал ему все.

Когда Аннета вошла, Жермен попытался подняться ей навстречу, но понял, что это невозможно, и покорился. Аннета заговорила с ним; он смотрел на нее, как смотрят на ширму, заслоняющую того, кого жаждут увидеть; он насупился, выражая этим желание удалить препятствие. Аннета отошла в сторону и, обернувшись к полураскрытой двери, позвала того, кого искали глаза Жермена. Франц, шатаясь, вошел. Он остановился, увидел, кинулся...

Друзья встретились...

На протяжении нескольких месяцев они постоянно видели в своем воображении минуту встречи, переживали ее... И все произошло не так, как они это рисовали себе...

Они не взяли друг друга за руки. Не обнялись. Не произнесли ни одного из тех слов, которые еще за минуту до того готовы были сорваться у них с языка... При первом же взгляде на Жермена Франц, скованный в своем порыве, рухнул на пол у кресел и зарылся лицом в одеяло. Он застыл от ужаса, увидев друга, которого оставил в расцвете сил и теперь не узнавал. И Жермен, уловивший эту молнию испуга, вдруг отчетливо разглядел себя в ее свете. Между ними стояла смерть, она разлучала их.

Жермен, мертвенно-бледный, окаменевший, чувствовал, что к его ногам приникла голова друга; он гладил ее, стремясь защитить Франца от невысказанного ужаса. Но этот ужас заразил и Жермена. Оба поняли, что стоят на разных берегах, принадлежат, разному времени. Маленькая разница в возрасте разрослась до бесконечности. Один принадлежал к поколению мертвых, другой – к поколению живых. Жерм без возмущения, но внутренне холодея, примирился с неизбежностью: он, старший, уже наполовину ушедший туда, должен утешать того, кто еще остается здесь... Боже! Как они были далеки друг от друга!..

Франц всхлипывал. Жермен обратился к двум женщинам, – они отошли, заметив вырвавшийся у него жест нетерпения, и держались теперь в тени, у входа на террасу:

– Вы же видите, что ему тяжело!.. Уведите его!

Аннета увела Франца в дальний угол; она усадила его, она шептала ему слова утешения, по-матерински пробирала его. Он отер слезы, ему стало стыдно, и он утих.

Упав на подушку, обессиленный Жермен всматривался безжизненным взором в зловещий лик угрюмых гор; он не слушал, что говорила ему мать.

После этого первого потрясения друзья взяли себя в руки. Применившись к новым обстоятельствам, ум опять начал строить. И сердце кое-как залечило раненую иллюзию, которая была нужна ему, чтобы жить и чтобы умереть.

Из двух друзей тот, кто больше слушался инстинкта и, значит, искуснее обманывал

себя, – Франц, – быстрее забыл то, о чем не хотел помнить. Вечером, оставшись у себя в комнате (его поместили в соседнем домике), он излился Жермену в пылком послании; он обманывал себя и пытался обмануть его, придавая другой смысл волнению, которое прорвалось у него при первой встрече. И при новом свидании ему почти удалось увидеть в Жермене тот образ, который он прежде рисовал себе. Вернулась близость, а с ней и непринужденность. У Франца даже стала преобладать нотка молодой беспечности. Но если он забыл, то Жермен не забывал. Он не мог забыть прошлое по одному тому, что впереди у него не было будущего. То, что понято – понято: никаких скидок! У него осталось жгучее воспоминание о том, что в первое мгновение, при виде его, на лице Франца отпечаталось выражение ужаса. Этот ужас Жермен еще и сейчас порой улавливал в нем – как мгновенную вспышку молнии. В разгар беседы по оживленному лицу Франца скользила тень, он чуть-чуть морщил нос или бровь. Этого было достаточно! Обостренно чуткий взгляд Жермена проникал сквозь телесную оболочку в самую душу: Франц чувствовал смерть и старался от нее уйти. Потом он брал себя в руки. Слишком поздно! Он не мог одолеть своего отвращения перед могилой.

Жермен с горечью говорил Аннете:

– Он здоров. Он прав.

Однако иллюзия постепенно заткала все дыры в своей паутине. Францу удавалось не замечать на лице больного следы пальцев, лепящих маску смерти. Он даже забыл о неминуемо надвигавшемся часе. Да и Жермен в присутствии друга оживлялся; его губы казались краснее, как будто он украдкой подкрашивал их. Как-то Аннета сказала ему об этом шутя. Он спросил:

– Это вы в шутку? Ну, так вы угадали. Я – старая кокетка... Бедный мальчик! Я боюсь его пугать...

Но когда начинался приступ болей, которых Жермен не мог осилить, он обычно просил Аннету увести Франца на прогулку, чтобы тот не видел его.

Сначала предполагалось, что Аннета останется в Шато д'Экс на день, на два. Она намеревалась сдать друга на руки другу и на следующий же день вернуться в Париж. Но, увидев, в каком тяжелом состоянии находится Жермен, она отложила отъезд. Она не могла покинуть его на пороге царства мрака. Хотя Жермен ни о чем не просил ее (ему отвратительно было думать, что он обуза), тоскливая жажда ее присутствия невольно прорывалась у него наружу. Он теперь опасался остаться наедине с Францем, Аннета чувствовала, как она нужна двум друзьям. И отложила свой отъезд, несмотря на обязанности, призывавшие ее в Париж; хоть немного облегчить муки странника, который расставался с нашим Старым Материком, было для нее долгом, который перевешивал все остальное.

Тяжелую ношу взвалила на себя Аннета: она сделалась поверенной двух друзей. Она была единственным человеком, с которым они могли делиться сокровеннейшими своими помыслами: ведь они уже не смели открывать их друг другу. Особенно нескромным был Франц. С той минуты, как он уверовал в нее, он доверил ей всего себя. Он говорил обо всем, о чем принято умалчивать.

Аннета не заблуждалась. Она знала, что Франц и Жермен откровенны с ней не потому, что она – Аннета, но потому, что она, безыменная женщина, здесь, под рукой, а им нужен благожелательный и надежный слушатель, с которым они могли бы не стесняться. Это еще не доказывало, что они привязаны к ней. Они были полны только друг другом и собой. Но, зная это, Аннета все же вбирала в себя властное дуновение этой необычной дружбы.

Незримые лучи их любви на пути друг к другу проходили сквозь ее душу.

Франц говорил Аннете (они гуляли вместе):

– Я его люблю. Я люблю только его. С ним я не могу говорить об этом – он так сурово смотрит на меня! Не разрешает. Не терпит сентиментальности, как он выражается... Но при чем тут сентиментальность? Он ведь и сам знает это. Он хорошо знает, что я думаю, но ему не нравится слушать такие вещи. По его мнению, это нездорово. Я не знаю, что такое: здорово, нездорово. Но я знаю, что люблю его и что это хорошо, – это не может быть плохо.

Я люблю только его и никого другого... Я не люблю женщин – и никогда не любил их... Да, мне приятно смотреть на них, когда они хороши, – как на искусно сделанные вещи. Но что-то в них всегда меня отталкивает. Притягивает и отталкивает. Это совсем другая порода. И меня нисколько не удивило бы, если бы они, по примеру некоторых насекомых, пожирали самца, после того как обессият его. Я не люблю касаться их... Вы смеетесь? Что я сказал?... А! Извините, забыл... (Он держал ее под руку.).

Вы, вы – не женщина.

– Что же я такое?

– Вы – это вы.

(«Ты хочешь сказать, – думала Аннета, – что я – это ты, что я принадлежу тебе, что я не в счет... Пусть так, милый мой эгоист?..»).

Франц размышлял:

– А забавно! С тех пор как мы знакомы, мне ни разу не пришло в голову, что вы – женщина.

– Сомнительный комплимент. Но после всего сказанного я все-таки благодарю вас?

– Вы на меня не сердитесь?

– Töne bene уи,⁷³ – смеясь, ответила Аннета.

– Что вы сказали?... Я не понял.

– Тем лучше! Надо было слушать.

– Повторите!

– Незачем!

– Чудная вы! Не поймешь вас. Полагалось бы вес дичиться, а я не дичусь. Я, кажется, все как есть могу вам выложить.

– Оттого, что я все могу выслушать.

– Да вы ведь самый настоящий парень.

– Значит, той же породы, что и вы? Друзья?

– И это самое лучшее. Единственное, чем хороша жизнь. И редкая это штука. У меня только один друг. А если я люблю друга, так уж люблю его всего. И хотел бы иметь его всего. Разве непонятно? А вот изволь умалчивать об этом. Даже он не хочет про это слушать. В нашем мире любить разрешается лишь наполовину.

Аннета невольно прижала к себе руку Франца.

– Вы меня понимаете? – спросил он.

– Я понимаю всех помешанных, – сказала Аннета, – я ведь из той же породы.

Лежа на террасе, Жермен говорил Аннете, запрокинув голову и глядя в холодную синеву неба:

– Что станет с ним без меня? Он меня слишком сильно любит. Он – женщина... Не такая, как вы, – суровая школа жизни сделала вас почти мужчиной. А он плывет, куда несет его изменчивое и плохо управляемое сердце. Сердце фантазера... Куда оно заведет этого человека со слабой волей и сильными страстями? Не стану вам рассказывать, от каких опасностей я его избавил. Он и не догадывался об этом, – ведь он даже не способен видеть и взвешивать их. Это человек безнравственный и чистый. В наши моральные ценности он вкладывает иное содержание, чем мы. Я часто становился в тупик. Мне следовало быть суровым, но, видя перед собой эти честные, удивленные, опечаленные глаза, я спрашивал себя: может быть, ошибаюсь-то я? Что это-извращение Природы? Или, напротив, самая доподлинная Природа, которая не желает знать наши узкие истины?... Но поскольку в конце концов эти истины правят миром, который сотворен нашим разумом, и поскольку нам приходится волей-неволей жить в этом мире, надо и Францу научиться хотя бы принимать их, если уж не понимать. Понять их он не может; я так и не сумел объяснить ему, я отступился – он будет притворяться в угоду мне, и кончится тем, что он перестанет быть

⁷³ Я к тебе благосклонен (итал.).

искренним. Уж лучше заблуждаться, чем лицемерить. Это чище... Но зачем насилловать его ум – сердцем он подчинится любой дисциплине, как бы она ни была для него тягостна, если только она продиктована любовью!.. Опора эта ненадежная. Если она исчезнет, все сразу рухнет, – и неизвестно, куда прибьет его волна. Когда меня не будет, что его ждет? Надо научить его обходиться без меня...

Он умолк и все продолжал смотреть в темную синеву неба, жесткую, почти каменную: она казалась такой же густой и насыщенной, как его мысли. А потом опять заговорил, горько улыбаясь, но тем же твердым, холодным, сдержанным тоном, как бы говоря с самим собой (ни разу он не взглянул на Аннету; он как будто забыл о ее присутствии):

– Я отлично знаю: ничего, научится. Проживет и без меня... Мнишь себя незаменимым... А ведь еще не родился тот человек, без которого нельзя было бы обойтись. Когда он потеряет меня, то подумает, что потеряно все.

Но потерянное уже не существует. А живой существует. Нельзя в одно и то же время быть и не быть. Выбор делаешь очень скоро. Живой доволен, что стеснительный узел, который связывает его с мертвым, понемногу развязывается. А если этот узел упорствует, его полоснут ножичком – так, слегка, сбоку. Он, живой, ничего не видел. Мертвый упал. А живой будет жить.

Да, Франц будет жить.

Аннета положила руку на руку человека, отвергшего все иллюзии:

– Там, где будет жить Франц, будет жить ваша мысль.

Он высвободил свою руку.

– Придет забвение. Если оно запаздывает, ему идут навстречу. Но Франц не умеет лукавить. Он и утруждать себя не будет.

Аннета хотела возразить. Жермен сказал:

– Я это знаю.

Но Аннета ясно видела, что, зная, он не верит. И ей нетрудно было доказать ему обратное. Отвечая на ее уверения иронической усмешкой, он с удовольствием их слушал. Светлый ум приходил в столкновение с жадой создать себе иллюзию, живущую в каждом человеке. Поддаться этой жадке было бы (он это сознавал) поражением. Но он был рад поражению. Разве можно допустить, что правда, которая убивает, правдивей, чем надежда?

Он сделал уступку Аннете:

– Его сердце не забудет... Может быть... Нет, не сразу. Со временем.

Но кто будет направлять это сердце, которому нужен кормчий? От горя утраты его растерянность еще усилится. Есть люди, которых горе учит. Но других оно губит. Они позорно поддаются ему или же бегут от него куда глаза глядят. Я боюсь за Франца. Кто любит его, кто сможет направлять его своими советами? Аннета, не покидайте его. Он верит вам. Руководите им! Вам придется быть снисходительной. Вы столкнетесь с неожиданностями.

Увидите в нем много такого, что, пожалуй, смутит вас. Но ведь это есть в каждом человеке.

– Это есть и во мне. Мой бедный друг, – сказала Аннета, – не так-то легко смутить женщину! Я говорю о женщине искренней, много пережившей, как я.

Жермен недоверчиво посмотрел на нее:

– Женщина, даже если проживет сто жизней, все равно ничему не научится.

– Значит, неисправима?

– С сотворения мира все та же.

– Недалеко же вы ушли от пещерного человека! Жермен усмехнулся.

– Что ж! Вы правы. Мы стоим не больше вашего. Мы – из того же выводка. Считаем себя сильными перед смертью и жизнью, однако и смерть и жизнь всегда застигают нас врасплох. Мы ничему не научились. Мне-то сейчас и горя мало – ведь я ухожу из школы. Но вы, Аннета, остаетесь, и вам еще не раз дадут линейкой по рукам. Смотрите в оба! Еще не раз жизненный опыт, которым вы так гордитесь, подшутит над вами... Но в царстве слепых

и кривой пригодится. Я вверяю вам своего мальчика. Даже при одном глазе...

– У меня их два, и притом недурные, – сказала Аннета, смеясь.

– Не затем они созданы, чтобы смотреть, а затем, чтобы на них смотрели... Но если вы не видите того, что касается вас, старайтесь видеть за него! Всегда легче быть благоразумной за другого... Руководите им! Любите его!..

– Только не слишком сильно любите! – прибавил он.

Аннета пожала плечами.

Аннета была ближе к Жермену, чем к Францу. С Жерменом они были одного склада. Она лучше понимала его. Их жизненный опыт вырос на одной и той же ниве; их мысли зрели под одним и тем же небом. И все было до прозрачности ясно в чувствах, которые она подметила в нем или сама к нему питала. Его дружба, его страхи, стойкость в испытаниях, суждения о жизни, спокойное отношение к страданию и смерти, сожаление об уходящей жизни, отрешенность – все в нем было ей понятно: была бы Аннета мужчиной, она при той же судьбе думала бы, жила бы, как он. Так по крайней мере ей казалось: ведь в Жермене ничто не было для нее неожиданным. (Но могла ли она сказать то же о себе?..) При других условиях из них вышла бы идеальная супружеская чета, связанная глубоким взаимным уважением, привязанностью, доверием. Они честно отдали бы друг другу все ключи от своих дверей, за исключением одного маленького ключика, о котором как-то и не вспоминалось. Но если найти ту забытую дверь и отпереть, то окажется, что оба остались чужими друг другу... К счастью, почти никогда не представляется случай открыть эту дверь. И при искренней, хорошей дружбе маленький ключик остается неиспользованным. Дружба Жермена и Аннеты была невзыскательна и нелюбопытна. Каждый давал другому то, чего от него ждали.

Но никто не знал, чего можно ждать от Франца. Это создавало отчуждение. И притягивало. Как его ни изучай, все равно не узнаешь; он и сам не знал себя. С виду это был совсем ребенок, совсем простой человек, – таким он и был; но кто пытался проникнуть к нему в душу, сразу терял дорогу и топтался вслепую на незнакомом месте. Аннета пыталась открыть дверь в эту душу всевозможными ключами, но они не подходили к замкам. За исключением одного: маленького, как раз того, которым не пользовался Жермен, ключа «неизвестно от чего» (как говаривали во времена великого короля, когда старались не слишком приглядываться к этому «неизвестному чему!»). У Аннеты тоже не было охоты заглядывать в глухие закоулки души. Но из этих укромных уголков, не замечаемых посторонним глазом, к ней доносился таинственный аромат, доносилось жужжание пчелиного улья, которое она одна различала, к которому прислушивалась, наводя порядок в своем душевном хозяйстве. И то, что она слышала этот шорох крыл, очаровывающий и угрожающий, как бы делало их сообщниками. Это была отдаленная родственная связь между двумя чужими друг другу людьми. (Когда речь идет о породе, отдаленные связи бывают иной раз крепче близких: ветки не так ломки, как сучья, хотя они и дальше от ствола.).

Это давало Аннете власть над Францем, и между ними возникло общение.

Без слов. Так слепые насекомые цепляются друг за друга в полумраке своими усиками. Есть целая порода существ, живущих этой подземной жизнью. Но в ярком дневном свете их способности ослабевают. Найдя случай вновь применить их, они испытывают удовольствие, в котором не желают разбираться.

И они признательны тем, кто дает им возможность проявлять их.

Разговаривая при свете дня о тысяче вещей и почти всегда превратно понимая друг друга, Аннета и Франц прислушивались к шуму вод в долине. И соприкасались друг с другом скрытыми гранями души.

Разрушение шло все быстрее и быстрее. Казалось, рассыпается фасад здания. Только слепой мог не видеть этого. Никакими румянами нельзя было освежить это истаявшее лицо. И Жермен от них отказался. Франц старался не смотреть на него...

Он входил... С ним входило дыхание жизни и полей. Он приносил подснежники, свои последние наброски мелом и углем, холодный воздух, которым пропитывалась его одежда, и

здоровые руки, бежавшие от влажного прикосновения лихорадочных рук умирающего. Он оживленно болтал, и эти токи молодой жизни гальванизировали Жермена. Друзья в беседах не касались болезни. Франц довольствовался двумя-тремя торопливыми вопросами, от которых Жермен сухо и равнодушно отмахивался. Они беседовали об искусстве и вечных, отвлеченных вопросах – о том, что никогда не существовало...

(Аннета молчала, слушала, удивлялась сумасшествию мужчин, одержимых идеями.) Или же Франц, говоря за двоих, рассказывал о своей жизни в плену, о прожитых в лагере годах, о горестях, которые стали милы на расстоянии, о встречах сегодняшнего дня, о своих планах, о том, что он Предпримет, когда кончится война (и кто еще кончится тем временем?..). Его рассеянный взгляд, скользя по лицу Жермена, бежал от его впалых, обглоданных болезнью щек, как бы прицепленных к выступам скул... Он бежал, этот боязливый взгляд, ища с неловкой торопливостью другой точки, на которой было бы отраднее задержаться. А Жермен стоически улыбался и помогал Францу вернуться на землю живых. Он почти всегда говорил первый:

– Поболтали – и довольно! Теперь, Аннета, уведите ребенка на прогулку! Нельзя упустить такой прекрасный день...

И, когда она подходила проститься, прибавлял:

– Вечером загляните на минутку одна. Вы мне нужны...

Аннета выходила с Францем. Франц спешил заметить:

– Ему сегодня гораздо лучше, не правда ли?..

Ответа он не ждал. Он шел вперед большими шагами, выпитив грудь, волосы у него развевались; всей силой легких он втягивал чистый, не отравленный гниением воздух. Крепкие ноги Аннеты, тоже помимо ее воли, радовались движению: казалось, здоровое животное вознаграждает себя за подавленность тела, онемевшего в атмосфере болезни, у изголовья больного.

Но Франц почти всегда был впереди, он впадал в какое-то ребяческое буйство, бегал, взбирался на кручи, держась за опущенные снегом ветки елей. Иногда они брали с собой лыжи и с этими крыльями на ногах мчались по белым полям. Когда они хмелели от свежего воздуха, когда ток крови смывал все следы мыслей, они усаживались на выступе скалы, на солнце, и окидывали взглядом долину. Франц, смеясь, перечислял Аннете все ноты и аккорды, составлявшие гармонию павлиньего хвоста, который развевался на небе при заходе солнца. Ни на минуту не умолкая, он рисовал размашистыми штрихами, покрывал целые страницы линиями, набросками, контурами деревьев и вершин, похожих на лица лежащих людей с крепко сжатыми губами и острыми носами, – рисовал, ни о чем не думая и без конца болтая. И Аннета смотрела, как говорили его пальцы, слушала глупости, слетающие с его языка. Она отвечала наобум. И молча думала о поверженном, которого они покинули. Внезапно взгляд ее приковался к пальцам, машинально рисовавшим голову, которую она узнала, – голову мертвеца... Аннета молчала, Франц напевал. Солнце задернулось облаком. И молчание было как черная дыра на светлой ткани. Франц замер, взглянул на свои пальцы, задохнулся, как будто увидел взвившуюся змею... Его руки сжались, рванули листок, смяли его. Альбом, который он отшвырнул, покатился вниз. Франц вскочил – и опять начался бешеный лет по снежным полям. За ним, не промолвив ни слова, понеслась Аннета...

Вечером, после ужина, когда Аннета зашла, как обещала, к Жермену, он обдал ее волной холода. У него был мучительный день. Он затаил недоброе чувство против тех, кто этим днем наслаждался. Он упрекнул Аннету за опоздание и хмуро спросил, весело ли им было; отметил, что она прекрасно выглядит, на щеках ее играет румянец – видно, под кожей здоровая кровь.

Казалось, он корил ее за это.

Она ничего не ответила. Она понимала.

– Друг мой, простите! – смиренно извинилась она.

Жермену стало стыдно. Он спросил ее, уже спокойнее, что нового. Она стала

рассказывать ему новости. А новости были невеселые. Война за четыре года не только не выдохлась, она собралась с силами. Над Францией нависла угроза ожидавшегося к весне сокрушительного наступления. Они говорили о трагическом будущем. Жермен переносил свою агонию на весь мир.

Ему казалось, что эволюция человечества была лишь временным успехом, следствием могучего толчка и исключительного стечения обстоятельств, внезапной «Вариацией», гениальной и безумной (понятия, почти равнозначные), и что эта эволюция не прочна. Все завоевания гения, все достижения человека – лишь кровавые лавры его пирровых побед. А теперь эта эпопея близится к концу; восходящая кривая обрывается, и Титан кувырком катится в бездну, обессиленный потугами превзойти самого себя. Совсем как Рольф, маннгеймская собака, которая научилась мыслить по-человечески, а через два года, мочась кровью, снова низверглась в бесформенную бездну мрака.

Ведь не только человек пускается в путь за чудесными приключениями. Вся природа делала такие попытки. Повсюду начиналось гигантское восхождение живого существа, стремившегося вырваться из ямы, где его стерегут темные силы. Оно ползет вверх, полное отчаяния, оставляя кровавый след на каждом выступе стены. Но рано или поздно настанет мгновение, когда оно, обессилив, покатится вниз, в объятия кошмара – чудища со стеклянными глазами... Кошмар на обоих порогах: там, где начинается сон, там, где он кончается...

– Кто знает? – говорила Аннета. – Быть может, когда мы низвергаемся в бездну, шумный сон жизни и не кончается?

– А он еще не приелся вам?

– Ночь долга. Я снова засыпаю. Я жду дня.

– А если день не придет?

– Я все же буду мечтать о нем.

Жермен был слишком далек от всякой веры, чтобы спорить. И он еще укреплялся в безверии и фатализме, рассматривая все происходящее во вселенной в свете своего разрушения. Он ничего не отрицал, он не был ни «за», ни «против». Все виды безумия, вдохновлявшие человеческие массы, религия, отечество, все бои, в которых люди истребляют самих себя, – во всем этом слышится мерная поступь Рока. Все Сущее завершается уничтожением. И цель человеческих усилий – Ничто...

Аннета сказала ему:

– Друг мой, не смотрите на эту зыбь, на этот головокружительный водоворот, на гроздь народов, которые цепляются за выступ, поднимаются на гору и падают! Смотрите в себя! «Я» – это целый мир. В моем «я» мне слышится вечное «да!».

– Мое «я», – сказал Жермен, – это гроб. Я вижу в нем червей.

– Вы даете – жизни сочиться из вас во вселенную. Верните ее из вселенной в себя! Соберите ее руками на своей груди!..

– Скоро я буду «собирать» свое одеяло...

– Но вы не только здесь, в этой постели. Вы повсюду, во всем живущем.

Эта ясная ночь, прикрывающая своим темным крылом тысячи спящих существ, – ведь она и в вас, она принадлежит вам; в своей нищете вы владеете богатством тех, кого вы любите, молодостью Франца, его будущим. А у меня – у меня ничего нет. И у меня есть все.

– У вас есть ваша чудесная кровь, она греет вас.

– Ах, если бы я могла отдать ее вам!

Она сказала это так страстно, что по всему ее телу, как в наполненной до краев чаше, бурно разыгралась эта кровь, о которой с такой завистью говорил умирающий! Боже, как хотелось Аннете перелить ее в него!..

Жермена это взволновало. Он хотел ответить, но с ним сделался припадок удушья. Он чуть не умер. Аннета осталась возле него на всю ночь; она поддерживала его голову на подушке. Ее присутствие придало ему силы вынести муки. Ведь ему нечего было скрывать от нее и нечего было открывать ей. Бесполезно было показывать ей свое страдание: она

чувствовала его под своими пальцами. Во время передышки его губы тронула судорожная усмешка. Он сказал:

– Тяжело это все-таки – умирать.

Она отерла ему пот со лба.

– Да, родной. К счастью, я тоже умру. Иначе трудно было бы простить себе, что живешь, когда другие умирают.

Утром он стал просить ее уйти. За эти часы, когда он не мог говорить, у него было время подумать о ней, о ее доброте, о том, что она отдавала себя всю без остатка, о том, как он этим злоупотреблял. Он просил ее простить его. Она сказала:

– Вы не представляете себе, как это хорошо, когда друг злоупотребляет нами!.. Вот если любимые отказываются от нашей помощи – это нас убивает...

Она имела в виду сына. Но до этого она ни разу не говорила о нем с Жерменом. И бармен никогда не проявлял к нему интереса. Только в последние дни, освобождаясь шаг за шагом от своих болей вместе с жизнью, он захотел наконец узнать ту боль, которую носила в себе его подруга.

Теперь она была его сиделкой почти каждую ночь. Приехала его сестра, которую вызвали телеграммой, но он не хотел никого видеть, кроме Аннеты.

Он опять злоупотреблял ею, но для своего успокоения говорил себе, что это ненадолго. И раз сама Аннета счастлива этим!.. Да, великодушное сердце – он это знал – создано для того, чтобы нести чужое бремя, и Жермен, с тревожным чувством думал о страданиях, навстречу которым она идет.

Он меньше стал говорить о себе. Да и трудно ему было говорить. Он заставлял говорить ее. Он хотел знать ее потаенную жизнь. И теперь, когда он умирал, она уже не таила ее от него. Она рассказала ему все без прикрас, стараясь не выдать своего волнения. Словно повесть о другой женщине. Он выслушал ее, не проронив ни слова. Она не смотрела на него.

Он смотрел на ее губы и читал по ним недосказанное. И понимал его яснее, чем она сама. Эта жизнь наполняла его по мере того, как утекала его жизнь. И в конце концов наполнила... Так наполнила, что, умирая, он полюбил ее впервые. Полюбил всю и в сокровенной глубине души сочетался с ней браком. Она не узнала об этом... У нее было к нему чувство сестры, и любовь не коснулась ее своим крылом. Смерть вызывает страстное сострадание. Но любовь инстинктивно отворачивается от смерти. Жермен это знал и ничего не требовал... Он поборол себя.

Эта перемена в чувствах Жермена к женщине, которая, сама того не подозревая, стала его женой, сказалась лишь в том, что он счел себя вправе в первый и последний раз дать совет Аннете, которая не знала, как строить свою семейную жизнь, как вести себя с сыном. Он своим мужским чутьем понял Марка гораздо лучше, чем она, хотя никогда не видел его. Он уяснил себе причину недоразумения, выросшего между матерью и сыном. У него уже не оставалось времени, чтобы помочь им преодолеть его, но он сделал над собой отчаянное усилие, чтобы направить их обоих на верный путь. Он сказал:

– Аннета, это хорошо, что я ухожу. Я принадлежал по своему духовному складу к породе людей, которым не будет места при будущем строе жизни. К породе людей, потерявших все иллюзии, касаются ли они будущего или прошедшего. Я понял все, я не верю ни во что. Слишком много мне отпущено понимания – это убило во мне способность к действию. А действовать необходимо! Держитесь! Инстинкт сердца, которым вы владеете, надежнее, чем мои вечные «за» и «против». Но инстинкт – это еще не все. Вам поставлены границы. Вы женщина. Но вы создали мужчину. У вас есть сын. Он упирается в эти границы, как при рождении упирался в стенки вашего чрева, ища из него выход. Не раз еще он нанесет вам раны. Пойте, как Жанна д'Альбре, гимн его освобождению. Славьте брешь, через которую он выйдет из вас!

Передайте ему от меня, что все понимать, как я, все любить, как вы, недостаточно... Пусть он выбирает!.. Хорошо быть справедливым. Но истинная справедливость не в том,

чтобы сидеть перед весами, следя за колебаниями чаш. Надо судить и приводить приговор в исполнение. Смелее!.. Довольно предаваться мечтам! Пусть настанет час пробуждения!.. Прощай, Сон!..

Уже трудно было понять, говорит ли он сам с собой, или с Аннетой.

Насмотревшись на нее в последний раз, он повернулся спиной к свету – расстался с живыми – и, уйдя в молчание, уперся взглядом в стену. Он не открыл больше рта до последнего смертного вздоха, когда тело его перестало корчиться в судорогах.

У Аннеты не было времени думать о своих страданиях. Горе Франца целиком захватило ее. Оно было беспредельно. Надо было отдаться этому горю или бежать от него. И она вся отдалась ему.

В первые часы безудержные проявления этой муки смущали присутствующих. Франц не владел собой, как подобало бы благовоспитанному человеку, которого постигла утрата. Это было отчаяние ребенка или возлюбленного.

Он не хотел отойти от тела друга. Его любовь, его скорбь выражали себя громогласно. Семейство Жермена было этим возмущено. Чтобы покончить с этими крайностями, а главное, не давать пищи злословию, надо было увести Франца. И это поручили Аннете. Прежде чем доставить тело в вагон, чтобы похоронить на родине, его перенесли в маленькую местную церковь, где было совершено отпевание.

Шаванны уехали – и живые и покойник, самый живой из них, угасший светоч их рода. Невольно вспоминалась старина, когда на похоронах несли за колесницей и гербами опрокинутый факел. С Аннетой простились коротко и чопорно. Г-жа де Сейжи-Шаванн, сестра Жермена, заставила себя выразить Аннете сердечную благодарность за ее великодушные заботы; подавив затаенную неприязнь, она сделала над собой усилие и даже поцеловала Аннету.

Этим, мнилось ей, она сполна уплатила свой долг. Одна лишь г-жа де Шаванн-мать облила слезами щеки Аннеты, назвала ее: «Дочь моя...» – но украдкой. Она могла бы полюбить ее. Как ни чужды, как ни дики ей казались мысли Аннеты, она бы к ним привыкла; чужие мысли не трогали ее, если только дело не касалось религии. Но г-жа де Шаванн была слаба... Спокойствие прежде всего! Не надо делать ничего такого, что может внести разнь в семью... Они сказали друг другу: «До свиданья!» Но и она и Аннета знали, что этого свиданья не будет.

Пока шло отпевание и пока тело везли на станцию, Аннета была с Францем. Мысленно она следила за процессией, шла по обледенелой дороге, видела по краям ее примулы, расцветавшие под сумрачным февральским небом.

Тишину нарушал очень далекий, очень медленный, приглушенный расстоянием похоронный звон. И Аннета старалась занять Франца, чтобы он не услышал звона; отвлекая его разговором, она уловила свисток отходящего поезда... Укол в сердце... Жермен тронулся в путь... И ей показалось, что мертвый друг умер вторично.

Пришлось позаботиться об оставшемся. Тот, другой, уже не нуждается в нас. До сих пор Аннета всю силу своей жалости обращала на него. Теперь жалеть его нечего. И сострадание изливается на живого. Ведь мертвый доверил ей Франца.

«Я тебе завещаю его. Замени меня! Он твой».

С Францем можно было дать волю жалости. Он непохож был на Жермена, который весь сжимался, когда его жалели, отвергал жалость. Франц ее требовал. Он не стыдился обнаруживать свою слабость. Аннета была ему благодарна за это. Ему казалось естественным, что он просит о помощи, естественным, что Аннета ее оказывает. Это была радость, от которой Аннета отвыкла. Ее сын и Жермен скупно отпускали ей эту радость!.. Ведь они из тех гордецов, что стискивают зубы, лишь бы не выдать своих чувств, стыдятся своего сердца, скрывают, как позор, ту жажду нежности, которую они всосали в себя с молоком матери!.. Франц не скрывал этой жажды. Он наивно требовал своего глотка, как должного. Он походил на новорожденного младенца, который тычется в грудь и губами и ручонками, точно слепой...

«Пусть будет так, малютка! Пей меня! Вот я кладу свой сосок тебе в рот...»

Но этот женоненавистник, не знавший вкуса материнского молока (мать он потерял вскоре после рождения), не думал о женщине, грудь которой сосал. Он любил не женщину – он любил только грудь. Ему надо было утолить свою отчаянную жажду.

Аннета это знала. Она была для него нянькой его скорби – не больше; она баюкала и усыпляла ее. И она любила его только материнской любовью, которая усиливалась с каждым днем по мере того, как росла его потребность в ней. Впрочем, материнская любовь объемлет все виды любви. Пусть она не знает их всех по имени, но нет ни одного, которого она не пригрела бы тайком.

Франц ничего не скрывал от Аннеты. Он был перед ней весь нараспашку.

Позабыв всякую стыдливость, он считал естественным, чтобы она взяла на себя заботу о его особе, о его горе, утрате, тревоге, так же как и о его теле, здоровье, питании, жилье, costume. Кормилица и нянька, наперсница и прислуга-мастерица на все руки, – больше ему ничего от нее не было нужно, и ничем больше она ему и не была; казалось, он ждет от нее забот и услуг, которые она обязана оказывать ему по долгу службы. Аннета, как и он, находила это естественным. Он благодарил ее небрежно, только из учтивости. Скорее она безмолвно благодарила его за то, что он нуждался в ней.

Его эгоизм восхищал ее. Эгоизм бывает иногда очарователен, и женщинам он нравится. Если человек любит вас ради вас, нельзя не быть ему признательным. Но как лелеет женщина того, кто любит ее ради себя! Он думает только о себе; не отдаваясь сам, он берет вас и проглатывает – вы пришлись ему по вкусу...

«Какой он добрый!» – говорит устрица.

Франц очень мило пожирал Аннету – и притом в полнейшей душевной простоте; он был приветлив, нежен, обаятелен; он позволял жалеть и холить себя; он благоволил выражать свои желания, которые она торопилась исполнить, если – только не угадывала и не выполняла их раньше; она спускалась и поднималась по лестнице раз десять в день, чтобы купить ему апельсинов, газеты, какую-нибудь понадобившуюся ему вещь или отнести на вокзал спешное письмо. Если она видела, вернувшись после недолгого отсутствия, что он полон нетерпения и выговаривает ей за опоздание, это было ей щедрой наградой. Если он садился возле нее в сумерки на балконе, печальный, подавленный, и приткался к ней так, будто хотел согреться у ее ног, и вдруг начинал плакать, Аннета, уронив работу, клала голову взрослого младенца себе на плечо... А наплакавшись всласть (как хорошо, что этот человек, не стыдясь, разрешает отирать себе слезы!), Франц начинал говорить. Он облегчал сердце, поверял Аннете свои тайные муки, начиная от пережитых в детстве – о них он не решался рассказать все даже Жермену – и кончая последней раной, кровоточившей и днем и ночью: теперь он винил себя в том, что мало бывал с другом во время его болезни, что недостаточно любил его и не сумел это скрыть... Она слушала так внимательно!.. Ему становилось легче от одного прикосновения нежной женской щеки к его голове, от ласкающих звуков ее голоса, от сладостных слов сострадания, которые она осторожно вкрапывала в его жалобу. И он исповедовался в том, чего никогда еще не смел высказать вслух. Она не удивлялась. Она принимала без возмущения, как будто сама уже все это пережила, ничем не прикрашенный рассказ о его душевной жизни, все его признания, подчас непристойные, прегрешения против нравственности, которые, быть может, оттолкнули бы ее, если бы она прочла о них в книге. Она слушала его, как на исповеди, тайна которой священна; тот, кто слушает, очищен божественной любовью – милосердием: ни загрязнить, ни разгневать его эти признания не могут; он причастен к слабостям человеческой природы; слабость того, кто исповедуется, – это его слабость; жалея его, он принимает вину на себя. И теперь, омыв ему ноги своими руками, он любит его еще сильнее.

Первые две недели Франц был весь охвачен скорбью; он то впадал в полное безразличие, то предавался внезапно нахлынувшему отчаянию, которое, казалось, хватало его за глотку и душило (по ночам, уткнувшись в подушку, он задыхался от рыданий, и Аннета не раз прибегала из соседней комнаты утешать его), а затем наступила разрядка...

Сначала болезненное изнеможение и тихие слезы – как небо на перевале между зимой и весной, неподвижное и утомленное, с задернутым пеленою солнцем и неслышными дождями... Потом стыдливое пробуждение и восстановление сил: больной стесняется выздоравливать и хотел бы утаить от посторонних глаз дерзкую радость возврата к жизни; долгие разговоры вполголоса часами, когда сердце стремится излить на кого-нибудь волну обновленной жизни, но признается в этом шепотом верному другу...

Затем начались прогулки вдвоем – в теплые серенькие дни, когда из-под мертвых листьев, под сухими кустами выглядывают первые фиалки и в горах уже робко крадется весна, между тем как озябшая долина еще дремлет в густой сини туманов и сумрака. Франц медленно шел, опираясь на руку Аннеты. Оба думали о друге. Он был с ними. Он как будто ждал, когда они встретятся, чтобы быть с каждым из них. Каждый чувствовал его в другом.

Но когда они оставались один на один с самим собой, Жермен отступал вдаль; его незримое присутствие ощущалось, как далекая тень. Франц во время этих прогулок жался поближе к Аннете, чтобы снова найти Жермена.

Из страха потерять руку ушедшего, он цеплялся за руку той, которая осталась на земле. Теперь он был щедр на тепло и ласку, а врожденное обаяние его благородной натуры придавало им особую прелесть. Он дорожил Аннетой и старался выказать ей это; он уже не мог без нее обходиться. Аннету это трогало, однако она не заблуждалась. Она была француженка и умела разбираться в людях, даже когда относилась к ним пристрастно. Но француженка – это женщина, а женщина меньше всего понимает (потому что не хочет понимать) самое себя.

Долг звал ее в Париж, к сыну. Она совсем забросила его. Все ее силы были поглощены продолжительной агонией Жермена, требовательной скорбью Франца. Три долгих месяца она была этим занята всецело; уйти от этого было бы бесчеловечно (этим по крайней мере она успокаивала свою совесть). Но теперь уже долг не удерживал ее здесь. Он призывал ее туда, на противоположный берег... Сын смотрел на нее с укоризной... Мысль о нем никогда не покидала ее. День ее был наполнен другими заботами, но не было ночи, когда бы она не думала о нем и не казнилась. Ее мучила мысль о грозивших ему опасностях. После налета авиации тридцатого января она чуть было не уехала к нему. Они почти не писали друг другу, а в редких письмах скупилась на проявления нежности. Это объяснялось и недосугом и какой-то скованностью, проистекавшей от тайной неловкости: вдали от сына Аннета чувствовала свою вину перед ним, но ей не хотелось признаться себе в этом, – свою принужденность она приписывала тому, что он виноват перед ней. А он не прощал ей последней встречи, обидных слов недоверия, прозвучавших для него, как пощечина. По ночам, перебирая еще раз подробности всей сцены, он в ярости кусал подушку. Но, уж разумеется, он скорее согласился бы умереть, чем выдать себя хотя бы намеком. В письмах к матери, холодных, гордых, сухих, он силился показать ей, что она его несколько не интересуется. И, что хуже всего, Аннета, отвлеченная более важными заботами, казалось, не обращала на это внимания! В ответ на его письма она набрасывала несколько беглых, ничего не говорящих строк. А тут еще шалости почты. Ее новогоднее поздравление пробыло в пути две недели. А резкий приступ болей у Жермена, целые сутки поглощавший все силы и чувства Аннеты, изгладил из ее памяти дату рождения сына. И Марк, как он ни щеголял своим презрением к телячьим нежностям, чуть не заплакал!

Он быстро справился с подступившими слезами, но они жгли его, и он сам не мог бы сказать, говорит ли в нем разочарование, обида или другое чувство, в котором обида-то и не позволяет ему сознаться. От Аннеты все это было скрыто. Когда она заметила свою оплошность, ей стало больно, но она не сочла нужным признаться в этом сыну... Ведь он (еще одно доказательство его равнодушия к ней!), по-видимому, не очень-то этим огорчился!.. Ах, если бы он был общительным и нежным, как Франц!.. Несмотря на разницу в возрасте, она часто сравнивала их. Франца ей хотелось считать своим сыном. Этим она оправдывала привязанность, которой отдала все силы, даже ту долю, что должна была бы принадлежать Марку. Но это оправдание было надуманным: Аннета плутовала в игре.

Повинуясь спасительному инстинкту, к несчастью, пришедшему на выручку с запозданием, она корила себя за то, что слишком много думала о горе, которое причинит ей разлука. Однако демон женского сердца умеет найти для себя лазейку. Он шептал ей на ухо, что, оставшись, она раскаивалась бы в том, что не уехала, а уехав – в том, что не осталась. Но раз она не остается, то уж она даст волю своему тайному чувству. Подавляешь в себе желание, в котором не хочешь признаться, чтобы затем без стеснения взять свое.

Для Франца всех этих сложностей не существовало. Когда Аннета заговорила об отъезде, он встал на дыбы. Он и слышать не хотел о том, что у нее есть какие-то другие обязанности. Он почувствовал себя оскорбленным.

Присутствие Аннеты сделалось для Франца привычным и необходимым. Он едва не обезумел при мысли, что лишится ее. Аннета, ничуть не рассерженная этими требованиями, вылившимися из самого сердца, втайне даже польщенная властью Франца, сопротивлялась не очень стойко. Она оттягивала со дня на день окончательное решение. Франц коварно прятал от нее газеты, и Аннета забывала их требовать. Восьмого и одиннадцатого марта Париж снова подвергся разрушительным воздушным налетам; Франц, зная о них, решил ничего не говорить Аннете. Он уверил ее, что отсутствие известий объясняется тем, что франко-швейцарскую границу закрыли на первую половину марта. Но со стороны Аннеты было непросительно, что она не искала других объяснений. И она была за это наказана. Двадцать второго марта ее как громом поразили два сообщения. В газетах она прочла о взрыве в Куртиле и налете немецкой авиации на Париж. А из письма Сильвии, бывшего в пути десять дней, узнала об аресте Питана.

Аннета была потрясена. Она нисколько не сомневалась, что Питан привлечен к ответу за нее, за бегство Франца. В то время участие в таком деле могло быть истолковано как государственная измена. Что произошло за последние десять дней – с тех пор как было отправлено письмо? В те дни жестокой диктатуры, особенно жестокой ввиду близости врага, суд карал быстро: сделавшись лишь орудием мести, он не церемонился с законом...

Аннета давно не проявляла интереса к политике. Ради двух человек она забыла обо всем на свете. Теперь это казалось ей преступлением...

Она стала лихорадочно готовиться к отъезду. Ей было ясно, что, уезжая в Париж, она сама идет навстречу той же опасности, которая грозила Питану. Но Аннета страшилась не столько этой опасности, сколько мысли, что она предала Питана, который может подумать, будто она увиливает от своей доли ответственности. Теперь уж никаких промедлений! Немцы наступают и со дня на день могут отрезать дорогу на Париж. Если над ее сыном, над ее родными нависла угроза, то место ее подле них.

Напрасно Франц протестовал. Заботы о его особе теперь отступили на задний план. Теперь он мог жить и нести свое горе один. Скорбь утраты приняла более спокойные формы: на этой ступени она уже помогает воссоздать жизненную гармонию и даже входит в нее составной частью; она уже не грозит разрушением, а дает содержание жизни, питает ее, становится товарищем, помогающим переносить одиночество.

Аннета, впрочем, не оставляла своего друга на произвол судьбы. Она сознавала, что переход от полноты дружбы, которой Франц наслаждался в течение нескольких месяцев, к полному одиночеству может сделать эту беспокойную, неустойчивую душу жертвой опасных влияний. Она стала подыскивать Францу знакомых – людей тактичных, которые, не докучая, могли бы хоть немного заботиться о нем и осведомлять ее из этого далека о состоянии его здоровья.

По соседству с ними жили две дамы. Мать и дочь. Две балтийские немки.

Они вели уединенную жизнь. Мать, высокая, полная женщина с аристократической осанкой, всегда носила траур. Дочь, двадцатилетняя девушка, почти не вставала с постели. У нее были густые, тонкие, стянутые и заплетенные в косы бледнозолотистые волосы. Эта некрасивая, болезненного вида девушка, высокая и хорошо сложенная, как ее мать, страдала костным туберкулезом, от которого теперь выздоравливала после нескольких лет строгого режима и лечения. Она слегка прихрамывала. Мать и дочь после обеда

совершали непродолжительные прогулки; далеко они не уходили. Аннета и Франц, возвращаясь из своих походов, встречали их поблизости от дома. И домой шли вместе. Хромоножка опиралась на палку и из самолюбия, а может быть, и безразличия, не старалась скрыть свой недостаток. Перебрасывались двумя-тремя незначущими фразами. Ничего не выводили друг у друга, но по-соседски оказывали друг другу кое-какие услуги, обменивались книгами.

Аннета обратилась к г-же фон Винтергрюн с просьбой наблюдать хотя бы издали за ее молодым другом, постараться отвлечь его мысли от горя, о котором она ей рассказала. Она ни словом не обмолвилась об этом Францу, – он не особенно расположен был встречаться с этими двумя женщинами. Если бы она предложила ему поддерживать знакомство с соседками, Франц встал бы на дыбы: он был зол на Аннету за ее решение уехать и не позволил бы ей искать и навязывать ему замену.

До последней минуты Франц надеялся, что она останется. Весь день прошел в сердитом молчании и настойчивых уговорах.

– Энхен, ты не уедешь?.. Скажи: ведь ты не уедешь, не правда ли?.. Я тебя прошу!.. Я так хочу...

– Милый мой! – говорила Аннета, – а как же мои? Ведь они ждут меня!

– Пусть себе ждут!.. «Синица в руках лучше, чем журавль в небе...»

Эта синица – я!

Не стоило и пытаться уговорить его! Он был как ребенок, заладивший:

«Пить хочу!» – и не желающий слушать никаких увещаний.

Убедившись, что Аннета не отменит своего решения, Франц заперся у себя в комнате. На вопросы не отвечал. Он предоставил ей одной укладываться, убирать, возиться до изнеможения. Она уже думала, что придется уехать, не простившись с ним. Но в самую последнюю минуту, когда она вошла к нему в дорожном костюме (он сидел, насупившись в углу) и нагнулась, чтобы поцеловать его в лоб, он неожиданно вскинул голову и ударил Аннету по губе – из губы пошла кровь. Она почувствовала это лишь много спустя. Франц, разумеется, ничего не заметил; он целовал ей руки и жалобным голосом твердил:

– Энхен, Энхен!.. Возвращайся скорее!..

Глядя его по голове, она обещала:

– Да... Да, я вернусь...

Наконец он поднялся, взял ее вещи и вышел вместе с ней. Говорила только она. По дороге на вокзал Аннета, чтобы отвлечь его, давала ему всевозможные хозяйственные советы. Франц слышал ее голос, но не слова.

Он помог Аннете подняться в вагон, вошел следом и сел возле нее. Она беспокоилась, что он не успеет вовремя выйти и уедет вместе с ней. Но за пять минут до отхода поезда он вдруг поднялся и ушел не простившись: боялся не совладать с волнением. Аннета смотрела в окно, как он уходит большими шагами, все дальше и дальше. Она подстерегала его последний взгляд. Но Франц не обернулся. И вот он уже исчез. Аннета осталась одна в поезде, почти пустом, неподвижном, тихом. Губа у нее горела. Она слизнула с нее кровь...

На границе ею завладело настоящее – кровавый мрак войны и опасный долг, навстречу которому она шла. Не получила ли полиция описания ее примет? Не арестуют ли ее сразу, как только она окажется на французской земле? В осторожном письме Сильвии не было никаких подробностей, но, читая его между строк, можно было понять, что опасность велика. Все же проверка паспортов прошла гладко; Аннету пропустили через границу.

Наконец она в Париже. Никто ее не ждет. Она опередила на несколько дней письмо, в котором сообщала близким о своем приезде. А ее настороженная мысль всю ночь бежала впереди поезда. Это было Вербное воскресенье; узнав в дороге, что Париж обстреляли из пушки, как будто созданной фантазией Жюль Верна, она испугалась за сына. Их квартал находился как раз в зоне обстрела. Очутиться в Париже под жерлами вражеских пушек было для нее облегчением. Но ее тревога стихла совсем лишь тогда, когда она увидела, что дом не тронут; взбежав по лестнице, она постучала в дверь и услышала – какое счастье! – шаги

своего сына, который шел открывать.

Марк остолбенел. На минуту оба потеряли самообладание, и от искусственной стены, которую они воздвигли между собой, не осталось и следа. Они крепко обнялись. И сила чувства, которое каждый вложил в это объятие, поразила обоих.

Но это длилось лишь краткий миг. Они не привыкли к откровенному выражению чувства и очень смутились: выпустив друг друга из объятий, они вернулись к прежнему тону.

Между ними была тайна. Аннета, войдя к себе, объяснила ему свое возвращение, как сочла нужным. Марк слушал, молчал и не пропускал ни одного ее движения. На сей раз наблюдениями занимался он. Аннета была смущена, но заставляла себя говорить. Ею овладело чувство неловкости – боязнь, что сын осудит ее. Она была небызупречна по отношению к нему – небызупречна во многом. Она прикидывалась менее нежной к нему и более самоуверенной, чем была на самом деле. Следя за собой, она меньше следила за сыном и не чувствовала, что перед ней уже не тот Марк, которого она оставила три месяца назад... Да, тот, кого мы знаем, всегда отличается от того, кого мы знали... Ведь нам знаком только образ, уже исчезнувший. А вот этот человек – незнакомец, и ключа к его душе у нас нет...

Накануне своего ареста Питан, заметив, что за ним установлена слежка, успел переслать письмо Сильвии. Он просил ее известить Аннету, чтобы она не тревожилась: он все берет на себя. И больше ничего. Но и этого было достаточно. Сильвия, не зная ничего точно, еще летом учуяла, что творится что-то странное. И ее охватило беспокойство. В какую историю впуталась эта сумасшедшая? Узнать невозможно! Питану были запрещены свидания.

О причинах отсутствия сестры Сильвия знала лишь по ее письмам: ей поручено отвезти в Швейцарию раненого. Сильвия намекнула о своих тревогах Марку. Остальное он угадал. В его памяти всплыла таинственная встреча у Лионского вокзала в декабре (он никому не обмолвился о ней ни единым словом). На этом он построил целый роман. Не говоря о своих предположениях тетке, он старался вместе с ней восстановить ход событий. Сильвия только теперь открыла ему все, что ей было известно о причинах увольнения Аннеты из коллежа, о сцене на кладбище, о том, что Аннета интересовалась судьбой одного военнопленного. Марк долго размышлял над тем, что ему поведала Сильвия. И образ его матери теперь рисовался ему в новом свете. Он пересмотрел свои взгляды. Пацифизм, – эта, как он презрительно называл его, пресная пища, пригодная для женщин и слабонервных людей, – стал притягивать Марка к себе, как только оказалось, что он опасен, что он захватывает. Марк создавал в уме приключение, в котором было все – и героизм и любовь, – целый роман; он почувствовал жгучую ревность, но была в этом романе и какая-то беспокойная притягательная сила. Теперь недоверие матери, которое так уязвило его, становилось понятным! И в довершение всего ему пришлось признать, что как он тогда ни бунтовал и ни бесился, а ведь недоверие это он сам пробудил в ней своим поведением.

Тяжко!.. Но не о нем теперь речь. Над его матерью нависла угроза. И, увидев Аннету, он ни на мгновение не усомнился, что она сознательно идет навстречу опасности. Эта мысль вытеснила в нем все остальные. Он не сводил глаз с Аннеты. И про себя молил ее довериться ему, рассказать обо всем, что ей угрожает. Но он был уверен, что она ничего не скажет. Он мучился этим и восхищался ею. Восхищался ее гордостью, ее спокойствием, ее молчанием. Он открыл ее! Наконец-то! И теперь он дрожал от страха потерять ее: ведь ей грозила опасность.

Аннета ничего не заметила. Она думала только о своем долге и торопилась. Еще не повидавшись с сестрой, кое-как подкрепившись и отдохнув, она оделась и ушла. Марк застенчиво пробормотал, что хотел бы пойти вместе с ней; она жестом дала понять, что не нужно, и он не настаивал.

Старая рана еще болела, и он боялся навлечь на себя новое оскорбление.

Аннета пришла к Марселю Франку. Он стал важным винтиком в механизме «дробилки». Он проник в личный секретариат премьер-министра.

Не тратя времени на околичности, Аннета рассказала ему всю историю.

Марсель упал с высоты своего величия. Его первое чувство было далеко не доброе. Аннета впервые увидела Франка без его насмешливой улыбки, этой косметической прикрасы, которая сделалась для него второй натурой. Он даже чуть было не отбросил всякую вежливость. В рассказе Аннеты он увидел одно: по милости этой сумасшедшей он попал в переплет! Ему ничуть не было веселее от того, что в этот переплет вместе с ним попадет и она. Он сердился на Аннету за то, что она впутала его в опасную историю. Но, поймав иронический взгляд Аннеты, которая читала мысли своего собеседника, следя за игрой его лица, он снова вошел в роль светского человека и принял свой обычный непринужденный вид. Он подумал о твердости этой женщины, явившейся, чтобы стать лицом к лицу с опасностью, и устыдился своей трусости. И Марсель – прежний Марсель – спросил ее:

– Но скажите, ради бога, Аннета, какой бес вас попутал? Ведь вы спокойно сидели в Швейцарии, никто о вас и не думал... Какой же черт подбил вас вернуться, чтобы угодить в пасть волку?

Аннета терпеливо объяснила, что хочет вызволить Питана, заняв его место, или же взять на себя долю вины.

Марсель воздел руки к небу.

– Вы этого не сделаете!

– Прошу вас назвать мне фамилию следователя, ведущего это дело: я подам ему заявление.

– Этого я не допущу.

– А вы допускаете, что я дам осудить вместо себя ни в чем не повинного человека?

– Какое там неповинного! Ведь он профессионал. Через него ведется нелегальная переписка, устраиваются побегі: это старый рецидивист. Ну, донесете вы на себя, а его все равно не спасете. Да ведь он и не назвал вас.

– По своему благородству. Не вижу, почему я должна уступать ему в этом.

– У вас сын.

– Вот именно! Я не хочу, чтобы он был трусом.

– Вы совсем обезумели.

– Да, совсем... А теперь, друг мой, назовите мне фамилию, которая мне нужна. И будьте спокойны. Ваше имя не будет произнесено.

Он думал:

«Рассказывай сказки! Суд по следу постепенно доберется и до меня!»

Но его самолюбие было задето. Он возразил:

– Не обо мне речь. Я тревожусь за вас. Вы не знаете «патрона». (Он разумел «Человека, делавшего войну».) Одним смертным приговором больше или меньше – ему все равно. Он не посмотрит, что вы женщина! Для острастки он готов попать все старые условности, не признает никаких поблажек, священных традиций почтения и галантности...

– Не возражаю. Равноправие так равноправие. Даже под угрозой виселицы!

Марсель больше не настаивал. Он знал Аннету.

– Пусть так!.. Но дайте мне сначала ознакомиться с делом!

– Время не терпит...

– Оно не будет потеряно даром.

– Надо мной тяготеет долг: дать показания.

– Вы достаточно крепки, чтобы нести это бремя еще день-два. Может быть, найдется возможность прекратить это дело. Зачем же зря губить и себя и Питана!

– А кто поручится мне, что дело не кончится на этих днях! И я не узнаю задним числом, что «скоропалительный» приговор уже вынесен!

– Я знаком со следователем и буду извещать вас о ходе дела. Я не собираюсь обманывать вас. На это я не решусь!.. Возьмем худший случай: представьте себе, что решение суда неожиданно состоялось без моего ведома. Что ж, у вас остается тот же выход:

отдаться в руки правосудия. Разве можно помешать женщине погубить себя?

– Я этого не боюсь. Марсель, но и не добиваюсь. Бесплезному героизму я не сочувствую и не уважаю его.

– Слава богу! Наконец-то голос трезвого рассудка!.. Уф! А насчет полезного героизма... Аннета, скажите правду – я ведь все равно буду защищать вас, как только смогу, – почему вы скрыли от меня, что он ваш возлюбленный?

– Кто?

– Юный красавец, которого вы спасли.

– Какая чепуха!

– Полноте! Неужели вы и теперь будете таиться! Что ж, я далек от упреков. Если это развлекает вас, вы правы!

– Уверяю вас, что нет!

– Да будет вам! Аннета покраснела:

– Нет, нет, нет и нет! Марсель улыбнулся.

– Ладно! Не сердитесь! Я вас ни о чем больше не спрашиваю... Но между нами, госпожа Загадка, признайтесь, что вас очень легко поставить в тупик. Вот объясните-ка: чего ради вы спасли его, если не любите?

– Ради того... – начала она порывисто.

Но тут же умолкла. Она понимала, что, если начнет объяснять ему свои подлинные побуждения, он не поверит ни одному слову: не поймет... Ну, пусть так! Пусть думает, как ему хочется.

Марсель победоносно усмехнулся. Его не проведешь!

Он был славный малый... Любовь придавала всему делу острый привкус...

Эта Аннета, однако... Такое знакомство может ему здорово повредить...

Но, по правде говоря, Марсель ею гордился!..

Он сейчас же начал хлопотать. Повидался с капитаном, который вел следствие. Это был любезный, светский человек, без малейших усилий поднявшийся на ту ступень бесчеловечности, которой требовала его роль. Национальный фанатизм по обязанности и любопытство дилетанта сливались у него в какое-то ласковое равнодушие. Для подследственных он был особенно опасен в тех случаях, когда он ими интересовался.

Питаном он заинтересовался. Почувствовал к нему расположение. У них происходили продолжительные и вежливые разговоры, из которых следователь пытался добыть пеньку для веревки, чтобы можно было повесить Питана. Но веревка была непрочна: следователь очень мило и с сожалением признавал это. Старый мастер показался ему тихим мечтателем, на вид безобидным и безусловно чуждым корысти. Он любил поговорить, с радостью излагал свои прекраснотушные утопии, выражал признательность за то, что его слушают, ожидал виселицы со сдержанным ликованием собаки, которая косится блестящими глазами на кусок сахара, но выведать у него имена сообщников или подробности о деле, за которое его привлекли к суду, не было никакой возможности. По своей болтливости или в силу наивного лукавства он всегда прерывал начатый рассказ, чтобы пуститься в рассуждения. По-видимому, он не придавал никакого значения фактам, – все его внимание было поглощено идеями.

Следователь показал Франку письма, которые Питан посылал из тюрьмы одному своему юному другу, и письма этого друга – его звали Марк Ривьер.

Франк в первую минуту всполошился: неужели этот дуралей тоже влип? С Ривьеров станет!.. Но он быстро успокоился, слушая следователя, который прочел ему своим мелодичным голосом отрывки из этих посланий, написанных в возвышенно-лирической манере-то под раннего Шиллера, то под Флобера. Жан-Жака, Рембо. А Питан сочинял в стиле не то Бернардена де Сан-Пьера, не то Эдгара Кине. Юноша восторженно изливался в любви к старику, с негодованием говорил о насилии, которое над ним учинили, и горячо желал разделить участь, уготованную праведнику, какова бы она ни была. Старик отечески старался его успокоить, описывая безмятежную радость, ощущение душевного покоя,

которым он наслаждается: можно было подумать, что тюрьма – место отдохновения для мудреца, мирская келья, предоставленная мыслителю государством. Ветер забросил в его камеру через высокое решетчатое окно цветок каштана с берегов Сены, и вместе с ним ворвалась весна: Питан впал в буколический стиль. Цветок был вложен бережной рукой между листками письма, которое следовательно держал в руках.

Два парижанина обменялись насмешливой улыбкой, как бы говоря:

«Этого старичка самого не мешает наколоть на булавку».

Но ни старичок, ни восторженный подросток не выдали главного: юноша – своего раскаяния и тревоги за судьбу матери, старик – желания рассеять эту тревогу; они понимали друг друга с полуслова, а парижане узрели во всем этом только диалог из «Эмиля».

Следовательно закрыл свое досье; Франк спросил:

– А итог?

– Итог тот, что все сводится к странному делу о побеге. Не совсем понятно, какая была в нем корысть для старого Анахарсиса. Лично он пленного не знал. Мы установили слежку за этой птицей в Швейцарии. Его пригрела там одна французская провинциальная семья...

Франк насторожился.

– Люди почтенные, безупречные: раненый сын, все остальные мужчины на фронте – кто жив, а кто уже погиб; три женщины: мать, замужняя дочь и сиделка. Есть основание предполагать роман между красивым юношей и замужней дочерью. Обыкновенная история! Муж сражается! А мораль в тылу хромает. Приходится удивляться, что такая добрая патриотка избрала боша.

Но на безрыбье, знаете!.. Возможно, впрочем, что сближение произошло до войны.

Франк, совершенно успокоившись, поднялся:

– Ночью все кошки серы.

– Вы понимаете, что мы не поощряем таких вещей: открыто наставить мужу рога в награду за его патриотический пыл. Это не в интересах общественного спасения.

– А старик?

– Старик? Его можно вздернуть, если заблагорассудится, а если нет – выпустить на волю. Доводы «за» и «против» делятся поровну. Чаши весов уравновешены. Одна ли, другая ли перетянет, это не так уж важно. Слово за Государством!

«Государство» – тут уж Франк был у себя дома. Он отправился к «патрону». Он был с ним знаком давно. Но кто мог похвастаться тем, что знает его? Этот невозможный человек всегда делал противоположное тому, чего от него ждали. Почва, усеянная терниями, капканами... Франк стал осторожно продвигаться.

Все сложилось удачно. Гневливый кабан, обыкновенно награждавший своих кабанят ударами клыков, встретил Франка ласково: «он хорошо выспался», он был весел... Этот монгол (по внешнему облику) только что вернулся из поездки по фронту: все было в порядке; умирали на месте, по приказу, не артачась. Линию обороны укрепили, напор немецких полчищ, по-видимому, еще раз сдержали. Крутой старик вернулся из поездки помолодевшим. Он так же мало поддавался усталости, как и чувствам. Он только что сбыл с рук груду срочных дел, предварительно обработанных секретарями. Теперь он разрешил себе отдохнуть с полчаса перед заседанием палаты. Старик любил сплетни, и его личная полиция, изучив его вкусы, всегда припасала для него целый букет скандальных историй, составлявших злобу дня. Он мигом учуял, что Франк, сдержанно и многозначительно улыбающийся, тоже явился не с пустыми руками.

– А, господин Франжипан (он произносил: Франк Джипан) со своим товаром!.. Ну, сынок, открой-ка свой короб!

Франк, польщенный фамильярным обращением, но задетый насмешливым прозвищем, которое очень подходило к нему, старался подделаться под шутливый тон патрона; опасливо поглядывая на людоеда, он начал набрасывать портрет Питана, симпатичный и смешной. Он недалеко ушел бы, так как нетерпеливый слушатель прервал его ироническим замечанием:

– Одним словом, чистая душа... А поинтереснее ничего нету?

Но тут рассказчик начал вышивать по этой канве причудливые узоры, угождая вкусам своей публики. И вот оказалось: что Питан нежно влюблен в одну «порядочную» даму, а она страстно влюблена в австрийца, которому Питан помог бежать...

Патрон заинтересовался.

– Кто это?.. Кто это?.. – кричал он, схватив за руку Франка. – Держу пари, это знакомая!.. Жена Х?.. (Х. был один из его министров.).

В его маленьких глазках сверкнул коварный и злой огонек.

– Нет? Нет? А жаль! Я бы засадил ее в Сен-Лазар во имя священного единения!..

Он назвал еще две-три фамилии. И не отстал от Франка до тех пор, пока тот не назвал наконец Аннету Ривьер. Он не сразу решился на это: риск был велик. Но отступить было поздно, и болтуну пришлось выложить все до конца...

Услышав имя Аннеты Ривьер, старик удивился:

– Ривьер... Ривьер...

Эта фамилия была ему знакома. Архитектор Ривьер, любитель пожить в свое удовольствие, остряк, вольнодумец, дрейфусар... Они были одного поколения, одного чекана и не раз пускали друг в друга стрелы веселой и циничной иронии. Его дочь он щипал за щечку, когда она была девчонкой.

Он потерял ее из виду. Но был к ней расположен – ведь она сбежала от Рожэ Бриссо, «этого идиота»... (Он не выносил ораторских талантов семейства Бриссо. У него было одно хорошее свойство: он острой ненавистью ненавидел лицемерие и чуял его везде, иногда даже в истине.) И он пришел в восхищение от того, что Аннета щелкнула по носу всю эту липкую ораву и спаслась от нее, оставив в дураках Рожэ, который сразу скис и шлепнулся в лужу. Патрон, подхватывавший на лету все сплетни, немало потрудился, чтобы и эта сплетня разнеслась по всему Парижу и привела в ярость семью Бриссо, которая, однако, делала вид, что ни о чем понятия не имеет. Как же, это одно из его отраднейших воспоминаний! Теперь, на расстоянии, ему казалось, что эту уморительную шутку они подстроили вдвоем с Аннетой, и он благодарен за это «бойкой барышне» (такой она представлялась ему). К ее новому приключению он отнесся благосклонно. Уж эта Ривьер!.. Вот в ком течет кровь галлов!..

– Но скажите, Франжипан, ведь она уже не первой молодости! Ей, должно быть... Погодите... Ну что ж! Тем лучше! Я люблю таких, она с изюминкой... И что же, оказывается, все дело сводится к игре в горелки?.. Что тут общего с политикой?.. Не тащить же эту добрую француженку к Футрикье-Тенвиллю? (Так он называл своего генерального прокурора.) У него, конечно, слюнки потекут... Нет, нет! Пусть себе спит со своим австрийцем! К следующей войне будет одним бойцом за правое дело больше... А что касается старика Питана (люблю эти чисто французские фамилии!), «самого счастливого из трех», пусть попытает счастье!.. Прекратите-ка, мой милый, все это следствие... за отсутствием состава преступления, черт возьми! А теперь поговорим о серьезных вещах... Мы отправляемся в палату... Что я преподнесу этим баранам?

Дело было положено под сукно.

Аннету спасли, предварительно обдав грязью.

Обдавать грязью – в джунглях это одно из проявлений симпатии.

К счастью для Аннеты, она об этом не знала. Она получила записку от Франка, который уведомлял ее, что все в порядке. На этом она не успокоилась. Не доверяя Франку, Аннета все-таки написала следователю, прося принять ее. Следователь позднее, освобождая Питана, показал ему это письмо.

Вернувшись домой, Аннета застала у себя Сильвию и рассказала ей обо всем, что предприняла. Сильвия накинулась на сестру. Безрассудство Аннеты вывело ее из себя. Аннета молча слушала. И Сильвия, поскольку дело было уже сделано и оставалось только примириться, вдруг умолкла; бросившись на шею сестре, она стала ее целовать. По правде говоря, она и не хотела бы, чтобы Аннета вела себя иначе. Зная, что она, Сильвия, никогда не поступила бы так, она гордилась старшей сестрой и ее поступками. Эта сила воли, это

спокойствие внушали ей уважение.

Марк слушал за стеной, далеко не все понимая, приглушенные голоса споривших сестер, раздраженные выкрики Сильвии, которой Аннета, должно быть, жестом напомнила, что надо говорить потише, затем бурные поцелуи и молчание; Сильвия сморкалась; она, не умевшая проливать слезы, плакала...

Тесно обнявшись, сестры глядели в глаза друг другу, и Аннета, целуя глаза Сильвии, тихонько рассказала ей всю историю – о дружбе с Жерменом, о бегстве Франца, о смерти Жермена. Сильвия теперь уже и не думала бранить сестру за ее сумасбродное великодушие. Она уже не мерила ее общей меркой; она признавала за ней, за ней одной, особое право жить и поступать по своему закону, возвышающемуся над всеми обычными законами. А за стеной ревнивый мальчик жестоко страдал от того, что его не посвятили в тайну. Вымалывать доверие он не станет. Его гордость требует, чтобы к нему сами пришли с этой тайной.

На следующий день он все еще кипел, когда явился Питан, только что вышедший из своей Фиваиды. Аннета услышала радостное восклицание сына, отворившего дверь, и уронила работу, которую держала в руках. Марк шумно выражал свое удивление, до боли стискивая руки гостя. Питан смеялся в бороду своим обычным смешком, спокойным, ласковым, похожим на кудахтанье. Увидев старика, Аннета поднялась и поцеловала его. Тут она вспомнила о присутствии сына, и это ее смутило. Марк смутился еще больше; он выскользнул из комнаты под тем предлогом, что надо запереть входную дверь, и на несколько минут оставил их наедине. Аннета и Питан, волнуясь, улыбаясь, перебросились несколькими фразами. Марк вернулся; разговор втроем уже велся намеками, полусловами. Питана просили остаться позавтракать, но ему не терпелось побегать по Парижу – он хотел обойти товарищей. Марк ушел вместе с ним. Он сказал:

– Питан! Мне известно, о чем ты писал моей тетке.

– А! – отозвался старик.

И не прибавил ни слова.

Марк глотнул слюну.

– Ты жертвовал собой ради нас. Ты великодушен.

– Не так великодушен, как твоя мать.

– А чем она рисковала?

– Она не сказала тебе?

– Нет.

– Но ведь ты же не хочешь, чтобы я сказал это за нее?

– Нет...

Марка разбирала досада, но Питан был прав. Они все шагали и шагали.

Марк с усилием выговорил:

– Я хотел бы знать по крайней мере... Ей еще угрожает опасность?

– В данную минуту – не думаю. Но в наше время, когда кругом столько трусов, столько зверья, такая женщина, как она, смелая, прямая, всегда рискует.

– И этому нельзя помешать?

– Зачем мешать? Надо, напротив, помогать ей.

– Но как?

– Рискую вместе с ней.

Марк не мог сказать ему:

«Рисковать – да. Но как это сделать, если я ровно ничего не знаю о ней, если она не посвящает меня в свои опасные тайны?»

Он еще преувеличивал горькое чувство отчуждения. Он говорил себе:

«Из всех, из всех людей она меньше всего верит мне».

Питан, не слыша ответа, не правильно истолковал его молчание. Он сказал:

– Мой мальчик! Ты вправе гордиться своей матерью.

Марк, разозлившись, кликнул:

– Ты думаешь, я дожидался твоего разрешения?

Он повернулся к нему спиной и ушел, сердито размахивая руками.

Аннета, почувствовав, что с плеч ее скатилось тяжелое бремя, опять спокойно, тихо зажила в своем доме. Казалось, ни бесконечная война, ни смятение окружающих не трогали ее. Она приобщила к их опасностям, но не считала себя обязанной приобщаться к их взглядам. Дела у нее было достаточно. Как ни зорок был взгляд Сильвии, смотревшей в ее отсутствие за Марком, есть множество мелких, но важных подробностей, которые только глаз матери подмечает во всем, что касается ее ребенка, в состоянии его здоровья, в костюме. Она осматривала его белье, одежду и лукаво улыбалась, находя непорядки, ускользнувшие от бдительного ока Сильвии. Немало труда пришлось ей затратить на уборку квартиры, где в продолжение двух лет хозяйничала только мать. Сильвия всегда заставляла сестру за шитьем или уборкой. Вечерами они подолгу беседовали. Но Марк, работавший в смежной комнате, наблюдал за ними через открытую дверь; поглядывая на них глазом цыпленка, который умеет смотреть вбок, он не находил в этих речах ни одного зернышка, которое можно было бы клонуть: обо всем личном, душевном было уже переговорено; теперь сестры толковали о самых будничных вещах, злободневных происшествиях, о всяком женском вздоре, тряпках, ценах на продукты... Выйдя из терпения, он закрывал дверь. Как они могли целыми часами пережевывать эти пустяки? Сильвия – еще куда ни шло! Но она, эта женщина, его мать – она, которая только что рисковала жизнью и, быть может, завтра снова поставит ее на карту, она, чьи опасные тайны он смутно угадывал, хотя не мог разгадать вполне, – она выказывала не меньше интереса к этим пустякам – ценам на хлеб, нехватке масла и сахара, – чем к своему тайному миру (который она утаивала от него лишь наполовину)! Он уловил своим ревнивым взглядом огонек, лучившийся внутри светильника. Сама Аннета, быть может, не видела его. Но говорила она или молчала, он безмолвно бросал на нее свет...

«Молчит, но говорит.»

Светильник бесшумно горел: среди дня его не замечали. Но соколенок неотрывно смотрел на безмолвное свечение, мерцавшее за алебастровым экраном... Откуда шли эти лучи? И для кого они сияли?..

Другая душа, ночная, тоже заметила этот огонек светлячка, сиявший в траве, и потянулась к нему...

Урсула Бернарден, столкнувшись на лестнице с рассеянной Аннетой, робко остановила ее и, коснувшись ее руки, шепнула:

– Извините... Нельзя ли мне как-нибудь прийти поговорить с вами?

Аннета очень удивилась. Она знала, как застенчивы молодые девушки, сестры Бернарден, и заметила, что они старательно уклоняются от встреч с ней. Хотя лестница была плохо освещена, она увидела краску на смущенном лице соседки; рука в перчатке, лежавшая на локте Аннеты, дрожала.

– Хоть сейчас! Идемте! – решительно сказала Аннета.

Оробевшая девушка заколебалась, предложила отложить свидание до другого раза. Но Аннета взяла ее за руку и потащила за собой.

– Мы будем одни. Входите.

В комнате Аннеты Урсула Бернарден остановилась, с трудом перевела дыхание, вся как-то съежилась.

– Мы слишком быстро бежали? Извините, я всегда забываю... Когда я поднимаюсь, то всегда бегом, я беру лестницу приступом... Садитесь!..

Нет, здесь, в этом углу, против света, здесь нам – будет лучше. Отдышитесь! Успокойтесь! Как вы запыхались!

Аннета смотрела на нее с улыбкой, пытаясь успокоить девушку, которая сидела в принужденной позе, застыв от переполнявшего ее смущения; ее грудь тяжело поднималась вместе с туго натянутой тканью платья. Аннета впервые присмотрелась к этому лицу, к этому телу, созданным для жизни на деревенском просторе, увядшим от заточения в четырех стенах городского жилища. У нее были грубоватые черты лица, тяжелые формы, но в деревне, в усадьбе ее легко можно было вообразить себе жизнерадостной и деятельной среди

детей и домашних животных; это славное, юное лицо было бы приятным, будь оно здоровым, смеющимся, озабоченным, загорелым, под теплой испариной, покрывающей лоб и щеки при свете летнего солнца... Но смех и солнце были на запоре. Кровь отлила. И потому особенно бросался в глаза курносый нос, толстые губы, неуклюжее, рыхлое, съежившееся тело, которое боялось двигаться, боялось дышать.

Видя, что Урсула не решается заговорить, Аннета, чтобы дать ей время справиться с волнением, задала ей два-три дружеских вопроса. Урсула отвечала невпопад, смущалась, не находила слов. Ее мысли были далеко. Ей хотелось поговорить о чем-то другом, но она боялась и думать об этом разговоре; она страдала, у нее было только одно желание:

«Боже мой, как бы мне убежать!»

Она поднялась:

– Умоляю вас... Позвольте мне уйти! Я не знаю, что это у не вдруг пришло в голову. Простите, я вас задерживаю!..

Аннета, рассмеявшись, взяла ее за руку:

– Да что вы! Успокойтесь! Куда вам торопиться?.. Неужели вы боитесь меня?

– Нет, извините, я лучше уйду... Я не могу говорить... Сегодня не могу.

– Ну и не говорите. Я ни о чем вас не спрашиваю... Прошу вас только остаться еще на несколько минут. Ведь вам захотелось навестить меня? Ну вот я и пользуюсь случаем. Нельзя же так: только вошли – и уже убегаете.

Мы так давно живем с вами рядышком – и ни словом не перемолвились! Надолго я здесь не останусь. Я опять уеду. Дайте хоть спокойно на вас поглядеть! Да покажите же ваши глаза! Ведь я показываю вам свои. Что в них страшного?

Урсула, сконфуженная и расстроенная, мало-помалу успокаиваясь, начала неловко извиняться за свою застенчивость и невежливость; она сказала, что не забыла искреннего участия, которое Аннета выказала им в прошлом году, когда их постигло горе, – ее это растрогало, ей захотелось написать Аннете, но она не посмела. В их семье не любят завязывать знакомства с чужими.

Аннета ласково говорила:

– Конечно... Конечно... Я понимаю...

Урсула, понемногу смелея, перестала запинаться и, сделав над собой усилие, рассказала, как она страдала все четыре года от войны, ненависти, вражды. И хотя она не знает Аннеты, ей почему-то кажется, что ее новая приятельница тоже чужда всему этому...

(Аннета, не говоря ни слова, тихонько взяла ее за руку.).

...Но вокруг себя она не находит места, где бы ей легко дышалось. Даже ее родные – это очень добрые люди-все свои помыслы сосредоточили на мести (она поправилась), – нет, на беспощадной каре! Смерть несчастных сыновей озлобила их. Слово «мир» выводит их из себя. И больше всех кипит злобой ее сестра Жюстина, с которой она с детских лет живет в одной комнате; они всегда были откровенны друг с другом. Каждый вечер перед сном она громко молится: «Боже, дева Мария, архангел Михаил, сотрите их с лица земли!..» От этого можно с ума сойти! А ей, Урсуле, еще надо прикидываться, будто она присоединяется к этим молитвам, иначе ее будут укорять за равнодушие к горю родных, к смерти двух братьев...

– Нет, я не равнодушна!.. Именно потому, что я несчастна, мне хочется, чтобы и другие не страдали...

Она неуклюже выражала трогательные мысли. Аннета, для которой они были не новы, соглашалась с ними, выражала их яснее. Каждое ее слово было отрадой для Урсулы; она молча слушала. И, наконец, доверчиво спросила:

– Вы христианка?

– Нет.

Этот ответ поразил Урсулу.

– Ах, боже мой!.. Значит, вы не можете меня понять!..

– Дитя мое, нет надобности быть христианкой, чтобы понимать и любить все человеческое.

- Человечное!.. Этого недостаточно! Разве зло не человечно? А люди?.. Я боюсь их... Посмотрите, какие жестокости, какие ужасы они творят!.. Искупить их можно только кровью Христовой.
- Или нашей. Кровью любого человека-мужчины или женщины, – если он приносит себя в жертву другим.
- Если он делает это во имя Христа.
- Какое значение может иметь имя?
- Но если это имя бога?
- А какая цена богу, если он не живет в каждом из тех, кто приносит себя в жертву? Если бы хоть один из этих людей – я говорю: хотя бы один, – был вне бога, как узки были бы пределы этого бога! Человеческое сердце было бы шире.
- Нет, ничто не может быть шире бога. Все добро – в нем.
- Значит, достаточно одного добра.
- Кто мне укажет, в чем добро, если вы отнимете у меня бога?
- Дорогая! Ни за что на свете я не хотела бы отнять его у вас. Пусть он будет с вами! Я чту его в вас. Неужели вы думаете, что у меня есть желание поколебать вашу опору?
- Тогда скажите мне, что вы тоже верите в него.
- Дитя мое! Как же я скажу, что верю в то, чего не знаю? Ведь вы не хотите, чтобы я вам солгала?
- Нет. Но верьте, верьте, умоляю вас!
- Аннета ласково улыбнулась.
- Я действую, дорогая. Мне нет надобности верить.
- Действовать – значит верить.
- Может быть. Тогда это мой способ верить.
- Действие, если оно не освещено светом Христовым, всегда может оказаться заблуждением или преступлением.
- И вы думаете, что Христос удержал верующих от заблуждений и преступлений? В эти четыре года?
- Ах, не говорите! Я знаю, знаю. Так мало истинных христиан! Это печальнее всего! Среди известных мне людей вряд ли насчитаешь и двоих. Это меня пугает, убивает! Ужас и горе обуревают меня. Ужас перед этой жизнью. Ужас перед этими людьми. Я хотела бы искупить их страдания. Я не могу больше оставаться среди них, я не умею действовать, как вы: всякое действие внушает мне страх. Я не создана для жизни в этом мире. Я хочу уйти. Я уйду, я удалюсь в монастырь кармелиток. Отец согласен, мать плачет, а сестра меня осуждает, но я не могу больше жить со своими: мне кажется, что они каждую минуту терзают Иисуса Христа!.. Боже мой, что я говорю? Не верьте мне, госпожа Ривьер!.. Они меня любят, и я их люблю, я не имею права судить их... Нет, не слушайте меня!.. Ах! Будь вы христианкой!..
- Она закрыла лицо руками.
- Аннета по-матерински утешала девушку, положив руку на ее склоненный затылок. Она говорила:
- Бедная крошка! Да, вы правы.
- Урсула подняла голову:
- Вы не браните меня?
- Нет.
- Это хорошо, что я ухожу?
- Может быть, так для вас будет лучше.
- И вы не осуждаете меня за то, что я удаляюсь, вместо того, чтобы действовать, как вы?
- Это тоже действие. Каждый действует по-своему! Я не из тех, кто не допускает, что молитва – действие. Хорошо, что в некоторых душах еще цел священный огонь божественного созерцания: он открывает шлюзы на потоке крови, отделяющем нас от всего

вечного. Вы будете молиться за нас, моя девочка, мы за вас – действовать! И, может быть, окажется, что мы с вами – слепой и паралитик!

Урсула склонилась и с благодарностью поцеловала ей руку. Аннета обняла ее. Проводила до двери. Урсула, вздохнув, сказала:

– Ах, зачем, зачем вы не христианка! Но в дверях прибавила:

– Вы христианка.

– Не думаю, – ответила Аннета улыбаясь.

Урсула, взглянув на нее засветившимися глазами, произнесла:

– Бог избирает тех, кого хочет. Он не спрашивает, чего хотите вы!

Аннета не получала писем от Франца со времени своего отъезда. Это огорчало, но не удивляло ее. Уж такой он человек, ничего не поделаешь!

Взрослый младенец дулся; дулся в отместку ей: молчание было его надежным оружием, оно накажет ее и, быть может, заставит поскорее вернуться. Аннету эта тактика смешила, и (хитрость за хитростью!) она прикидывалась, что не замечает ее. Она писала ему раз в неделю в ровном, сердечном, жизнерадостном тоне и планов своих не перестраивала. У нее было желание свидеться с ним, но она считала безрассудным уехать теперь, когда столько обязанностей удерживало ее в Париже. Она решила дожидаться лета, когда у нее будет оправдание перед самой собой: поездка в горы принесет пользу Марку, который слишком долго пробыл взаперти, в четырех стенах. Но не представляла себе, как будет тяготить ее это ожидание.

После ее возвращения пошла уже четвертая неделя, когда вдруг получилось письмо от Франца... Наконец-то! Аннета, улыбаясь, ушла в свою комнату прочесть его. Сколько упреков, какую бурю гнева придется ей выдержать!..

Нет, Франц не упрекал ее ни в чем. И не сердился на нее. Воплощенное спокойствие, учтивость, благовоспитанность. Чувствовал он себя хорошо. И советовал Аннете остаться в Париже...

Пока писем не было, Аннета была спокойна. Прочитав полученное письмо, она встревожилась.

Почему – она и сама не понимала. Ей следовало бы порадоваться, что он не проявляет нетерпения. Но теперь ей самой уже не терпелось. Она не могла удержаться, чтобы не ответить ему сейчас же. Разумеется, она не оказала ни слова о том, что ее беспокоило (да и знала ли она, что беспокоит ее?), – она шутила: раз он не так уж жаждет повидаться с ней, она не придет до конца года. Аннета ждала, что от Франца получится обратной, почтой негодующее письмо... Ни протестов, ни писем не последовало.

Аннета потеряла покой. Она считала оставшиеся до лета недели. Она написала г-же фон Винтергрюн под тем предлогом, что ей хочется убедиться, правду ли пишет ей Франц о своем здоровье. Г-жа фон Винтергрюн ответила, что милый г-н фон Ленц совершенно здоров, что скорбь по ушедшим в этом возрасте, слава богу, быстро улечивается, что он любезен и жизнерадостен, живет теперь в одном доме с ними и они считают его членом своей семьи...

Аннета успокоилась за Франца. Но это спокойствие не радовало ее. Плохо ей спалось в ту ночь, да и в последующие. Она пожимала плечами и отмахивалась от мысли, неизвестно откуда взявшейся. Но мысль, назойливая, смутная, нет-нет да и возвращалась. Чувство собственного достоинства целую неделю побеждало. Потом, проснувшись в одно прекрасное утро, она сдалась. Она решила уехать. Без всяких предлогов и оправданий. Так надо...

Как раз в эти дни Марк был полон жгучим желанием сблизиться с матерью. Первые недели он упустил – надеялся на случай, но случай все не подворачивался. Теперь он уже думал о том, как бы подтолкнуть случай. Но такие вещи легко делать вдвоем. А он участвовал в игре один: мать была к ней совершенно равнодушна. Он ходил за ней по пятам, подстерегал ее взгляд, угадывал ее желания. Неужели она не заметит его нежности, его забот? Ведь прежде он был не очень-то щедр на них. Быть может, она и видела их, быть может, она бессознательно отмечала эти впечатления, хранила их для более благоприятных

дней, когда у нее будет время... Но сейчас у нее времени не было. Ее грызла забота. Марк безуспешно пытался вернуть себе эту ускользающую от него душу. Он терял мужество. Нельзя без конца одному забегать вперед, надо, чтобы и партнер помогал вам... И вот он, устроившись в каком-нибудь уголке, смотрел оттуда, забытый, на профиль матери, которая пришивала оторванные пуговицы к его курткам. (Она заботилась о нем, думая о других. Ах, насколько было бы лучше, если бы она думала о нем и не обращала внимания на его вещи!..) Он всматривался в это лицо, омраченное заботой... Заботой о чем? От каких воспоминаний складки легли на ее щеки? Какой образ прошел перед ее глазами? В другое время зоркая Аннета уловила бы этот неотрывно следивший за ней взгляд.

Но ее чувства были уже не здесь. Она работала в каком-то полуоцепенении.

Когда молчание начинало ее тяготить, она обращалась к Марку с вопросом, какие обыкновенно задают матери, и с отсутствующим видом слушала ответ или же советовала ему погулять, не упускать погожего дня. И как раз в ту минуту, когда Марк собирался заговорить. Он вставал подавленный. Ему не в чем было упрекнуть ее. Да, нежная – и чужая. Ему хотелось обнять ее, хорошенько встряхнуть, куснуть за щеку или за кончик уха, чтобы она вскрикнула от боли.

«Я здесь! Поцелуй или ударь меня! Люби или ненавижь! Но будь здесь, со мной! Вернись!..»

Она не возвращалась.

Марк решил взять себя в руки. Он заговорит с ней в следующее воскресенье, после обеда.

И как раз в это воскресенье мать неожиданно заявила ему утром, что уезжает... Она уже укладывала чемодан. Смущенно сослалась на полученные из Швейцарии известия, приходится уехать раньше срока. Она не вдавалась в подробности, а Марк не расспрашивал ее... Он окаменел от удивления.

Всю неделю Марк ждал этого дня. Он плохо спал; ночью, проснувшись, повторял в уме то, что скажет ей. И вот... Опять разлука – и прежде, чем он заговорил с ней! Ведь в последний день, в сутолоке и спешке, это уже невозможно. Ему нужно время, целый вечер, чтобы собраться с мыслями, нужно почувствовать, что мать целиком с ним. Как она будет слушать его, следя рассеянным взглядом за стрелкой часов, приближающейся к минуте отъезда?..

Марк до того привык обуздывать свои чувства, что встретил ошеломившую его новость без внешних признаков удивления. Он молча помог матери уложиться. Лишь в последнюю минуту он почувствовал, что в силах совладать со своим голосом, и непринужденно сказал:

– А ведь ты обещала мне остаться до каникул. Ты украла у меня три месяца...

(К этой обидной мысли он так часто возвращался!).

Аннету этот тон обманул – она приняла слова сына за обычное выражение родственной вежливости; теперь, в час расставанья, уверенный, что она уедет, он говорит:

«Останься!»

Она ответила тем же дружелюбным тоном:

– Напротив, я тебе дарю их.

Эта несправедливость больно задела Марка, но он ничего не ответил.

Какой смысл возражать? Ведь она сказала то, что он и сам думал бы полгода назад. Откуда ей знать, что он уже не тот?

Позже она вспоминала, с каким серьезным выражением он смотрел на нее, стоя у окна вагона. Сильвия тоже была на вокзале и тараторила без умолку. Аннета ей отвечала. Разговаривая с сестрой, она видела неподвижного, немом сына, не спускавшего с нее глаз. Она все еще чувствовала на себе этот взгляд, когда поезд умчался в ночь, и две фигуры, из которых рукой махала только одна, растаяли во мраке.

Марк вернулся домой вместе с, теткой. Она думала вслух, не очень следя за своими словами. Она привыкла (даже чересчур привыкла!) принимать племянника за мужчину. Она говорила:

– Друг мой, мы для нее уже не существуем. Она думает о ком-то другом.

У нее неистовое сердце.

Эти слова сделали Марку больно. Он резко перебил ее:

– Это ее право.

Он уже слышал от Сильвии историю с военнопленным: ему было известно, что Сильвия, как и другие, сводила все к любовному похищению. Он, единственный из всех, думал иначе. Он один верил, что его мать повиновалась более высокой силе. И насмешливый тон Сильвии оскорбил его, как будто заподозрили жену Цезаря. Но, чем пускаться в споры, он предпочел оправдать мать, что бы она ни сделала...

«Это ее право... „Мы для нее уже не существуем...“ Это я виноват... Я потерял ее. Mea culpa...»

Но если он покался, то лишь для того, чтобы сейчас же вскинуть голову и сказать:

– Я верну себе потерянное рано или поздно, с ее согласия или насильно.

В пути Аннета была спокойна. У нее теперь выработалось инстинктивное умение стряхивать с себя мучительные мысли: она их не отметала – она их временно откладывала.

Только у самой станции она почувствовала тревогу. Она смотрела в окно мчавшегося поезда, как приближается знакомый игрушечный вокзал... Да, все было то же, все так, как запечатлелось в ее памяти. Игрушечный вокзал стоял на своем месте. Но его не было...

С границы Аннета послала Францу телеграмму о своем приезде. Но во время войны у бога-вестника были на ногах вместо крылышек тяжелые сапоги со свинцовыми подошвами... Да и можно ли полагаться на милого мальчика Франца!.. Аннета не удивлялась; тем не менее она была разочарована.

Она вышла на дорогу, ведущую к шалэ. Уже пройдя половину расстояния, она увидела приближающегося Франца. Чувство радости вспыхнуло и тотчас погасло; Франц был не один – его сопровождала барышня Винтергрюн. Франц, несколько опередив ее, поцеловал руку Аннете и галантно извинился за опоздание. Аннета хотела подтрунить над ним, но запнулась: за ней следили глаза чужой девушки. Она обернулась. Та, гордо выпрямившись, ждала.

Глаза Аннетты встретились с жесткими голубыми глазами, жадно искавшими на ее лице следов замешательства. Обе женщины, натянуто улыбаясь, обменялись изысканными любезностями. Пошли втроем. Все были милы друг с другом. Поболтали о том, о сем... Аннета после не могла вспомнить, о чем они говорили. Дома ее оставили одну, под тем весьма благовидным предлогом, что она нуждается в отдыхе, а Франц из учтивости проводил домой девушку. Уговорились собраться у г-жи фон Винтергрюн, пригласившей Аннету поужинать.

Аннета, войдя в свою комнату, остановилась перед зеркалом. В шляпе, в дорожном пальто. Она смотрела, не видя себя. Она думала... Нет, она не думала!.. Она засмеялась нервным смешком, попыталась стряхнуть с себя гипнотическое состояние, но сейчас же снова в него впадала: от зеркала она оторвалась лишь для того, чтобы замереть у окна, глядя на горы и небо, которых она еще не видела; шляпы и перчаток она так и не сняла. На нее навалилась усталость... Она прорыла в ней пустоту. Думать можно будет завтра...

Но думать пришлось уже вечером, за ужином – думать о том, как скрыть от других овладевшую ею мысль. Значит, сама-то она уже все понимала...

Как томительна была эта любезная болтовня! Аннету осыпали вопросами о поездке, о Париже, о настроениях и модах, о ценах на продукты и сроках войны. Говорили, говорили, и было так ясно, что все (за исключением, может быть, Франца) лгут! Как ни старались обе женщины не смотреть друг на друга, взгляд Аннетты то и дело встречался с невыносимо тяжелым взглядом девушки, наблюдавшей за ней. Не было ни одной складочки на лице Аннетты, которую та не отметила бы. Но она не нашла их столько, сколько ей хотелось. Усталость Аннетты, подстегнутой задором борьбы, совершенно исчезла.

Ее нежная кожа снова сияла свежестью, золотилась. Аннета улыбалась, она почувствовала уверенность, точно набралась сил, помолодела. А девушка казалась старше

своего возраста. Черты ее лица жестче. К ее горделивой уверенности примешивалась какая-то судорожная натянутость. Она старалась оттенить свои преимущества. Но, неумеренно оттеняя, свела на нет.

С Францем она подчеркнуто фамильярничала. Анвета насупилась. Это не укрылось от Эрики фон Винтергрюн. Она записала себе очко. Но этого ей было мало. Когда поднимались из-за стола, она, из-за своей самонадеянности, сделала промах: увела Франца, робкого и рассеянного, от г-жи Ривьер, которую он рассматривал, словно только что открыл ее. Уединившись с ним в маленькой смежной гостиной, Эрика взяла его в плен. Г-жа фон Винтергрюн старалась отвлечь Аннету, взгляд которой следовал за Эрикой. Нагнувшись к уху Франца с наигранным смехом, девушка, казалось, поверяла ему какие-то коварные тайны и скользила по лицу Аннеты косым блестящим взглядом. Г-жа фон Винтергрюн шептала:

– Милые дети! Они не могут оторваться друг от друга...

Она осторожно выпрашивала г-жу Ривьер о Франце, но при этом выказала полную осведомленность о его денежных делах и родственных связях.

Аннета, безмятежно спокойная во всех своих движениях, но с бурей гнева в душе, до странности ясно видела все вокруг, будучи слепа к тому, что бурлило в ней самой. Она спокойно поднялась; продолжая разговор, стала рассматривать стоявшие на пианино фотографии; машинально приподняла крышку инструмента, чтобы взглянуть на марку; машинально попробовала его, прошла пальцами по клавишам. И вдруг ударила по ним. И не только по ним. Каждый из троих принял этот удар-прямо в грудь. Чужачка бросила им в лицо:

«Я здесь...»

Властный порыв ветра... Три мощных аккорда. Три вскрика разбуженной страсти... Потом молчание, жалоба... С горных вершин, уходящих в пустынное небо, она струит, как гряды облаков, медленные потухающие арпеджио... Колдовская сеть погружается, уловляя души...

Аннета, сама попавшая в эту сеть, слушала, наклонившись над звучащей бездной, как нечаянные аккорды сплетаются в Жалобу Сигал. – начало увертюры к «Манфреду».

Франц бросился к Аннете. Музыкант по природе, как все немцы, он не устоял перед магическим призывом. Он взволнованно смотрел на Цирцею, вызывавшую духов...

Аннета уже много лет не играла. В молодости она была хорошей музыкантшей. Но ей пришлось продать свой старый рояль. Годы забот, тяжелый труд оставляли ей мало досуга для игры. А во время войны у нее даже возникло какое-то отвращение к музыке: ей казалось, что грешно играть в годину всеобщих бедствий. Когда ей случалось открыть рояль, она играла украдкой, как будто совершая преступление. Но власть звуков, оттого что разум осуждал ее, становилась еще сильнее. В такие минуты музыка, казалось, опрокидывала Аннету и, как возлюбленную, сжимала в своих объятиях, неподвижную, с пылающими губами; она чувствовала кипение потока, мчавшего ее, и только краешком сознания следила за убегающими берегами, за опасными водоворотами; тело становилось связанным, скованным. А вся сила воли сосредоточивалась во взгляде...

Этот беспокойный, этот жесткий взгляд оторвался от клавиш, с которых струилась волна звуков, и медленно обвел лица всех троих: Франца, взволнованного, покоренного, Эрики, снедаемой гневом и страхом, и изумленной матери, которая искала разгадки... Взгляд Аннеты вонзился в них, а демон души все еще говорил руками...

В том месте прелюдии, где элегическое «Bateplo» переходит в лихорадочный порыв, где ускоряется ритм, зреет страсть и набат возвещает вторжение грозной стихии в ту самую минуту, когда рушится плотина. Аннета прервала игру; ее пальцы посреди фразы вдруг застыли на клавишах, в наступившем безмолвии духи аккордов еще влачили сломанные крылья... Но крылья упали, повисли... Последние трепещущие отзвуки... Аннета встала.

Она показала себе смешной.

Франц горячо и смущенно просил ее продолжать. Г-жа фон Винтергрюн без особой горячности заставила себя учтиво поддержать эту просьбу. Эрика молчала, рот ее казался

злым, губы были сжаты Аннета посмотрела на них, потом сказала, холодно улыбнувшись:

– Пойду к себе. Я устала.

Она задержалась взглядом на Франце, у которого был вид послушного ребенка:

– Проводите меня.

Уходя, она видела во взгляде девушки тоскливый страх, ненависть...

Они шли рядом, под холодными звездами. Молчали. Бездна пространства, раскинувшегося вокруг них, была как бы продолжением бездны звуков. Ночной Эреб и огненные рыбы... Они не сказали друг другу ни слова до самого порога... Тьма... Они были частицей этой тьмы... Он пробормотал:

– Покойной ночи...

Вдруг перед ним метнулась тень – и сомкнулась вокруг него. Их губы слились...

Аннета исчезла. Он стоял один перед захлопнувшейся дверью. Он ушел в ночь...

Без единой мысли в голове она поднялась в свою комнату. Нет, нет! Не думать! Еще нельзя!..

Было холодно. Было темно. Усталость давила, как надгробная плита.

Густой мрак затопил сознание: Аннете казалось, что она погружается в плотные волны нефтяного озера... Тяжелыми руками она судорожно сорвала с себя платье и не подняла его. Опустив голову на подушку и выключив свет, она увидела в черном небе Колесницу, и в мозгу у нее сверкнула молния: это уже было, это прошлое... Как будто камень оторвался... Ах! Она упала.

Но как раз в это мгновение (было ли это мгновение?) сжавшееся сердце вздыбило сознание. Она увидела, что сидит на постели, прижав руки к груди...

– Нет! Это невозможно!.. – кричала она.

Что невозможно?.. Она ждала, когда пройдет сердцебиение. Но оно проходило и снова начиналось. И пока она ждала, Колесница, опрокинувшись, скатилась с горизонта. Одно лишь заднее колесо еще оставалось над макушкой холма... Сжатые пальцы Аннеты царапали грудь, она продолжала тихонько стонать:

– Нет, это невозможно...

Что невозможно?.. Она знала – что...

«Значит, я лгала себе? Попалась на удочку?.. Еще раз?.. Значит, я любила его!..»

Стало быть, вот что прикрывалось материнской любовью, которой она обманывала себя! Стало быть, они угадали – Марсель Франк, Сильвия, все эти безнравственные парижане, учувшие своим насмешливым умом нечистую подоплеку ее преданности!..

«Но ведь я на самом деле забывала себя, я всю себя отдавала, не ожидая награды, я считала себя бескорыстной!.. А корысть воровски пробралась в мой дом. Я была не сообщницей, я прикидывалась, что сплю, а сама слышала крадущиеся шаги страсти. Уверяла себя: „Я люблю его ради него...“ – а любила ради себя! Я хочу его взять. Хочу!.. Но ведь это же смешно!

Кто это „я“? Кто „хочет“?.. Я, мои седины, тело, покрытое дорожной пылью, я, с моим ничемным опытом и муками, я, отделенная от него расстоянием в двадцать лет. На глаз этого ребенка оно, должно быть, неизмеримо!.. Стыдно и больно!..»

Она была раздавлена своей униженностью.

Но потом вдруг возмущенно вскинула голову:

«Почему?.. Разве я этого желала? Разве я этого искала?.. Почему я сражена? Почему я вся пылаю? Откуда эта жажда любви? Эта голодная страсть? Почему мне дано нестареющее сердце в этом стареющем теле?..»

Она стискивала руками грудь. Как настигнуть природу-этого паука, который держит тебя? Если он в этом теле – Аннета его истерзает. Но разве поймашь в сеть океан?

Она вскипела!

«Я люблю... Да, люблю... Я еще стою любви!.. Достаточно вспомнить ревность, страх этой девушки... Я его взяла – и держу. Если я захочу, он будет мой. Я хочу. Я люблю. Это мое право».

Право? Ее вдруг удивило это смешное слово. Право – это выдумка, которую сфабриковал человек, когда создавал общество! Красное знамя взбунтовавшегося раба в непрерывной войне, которая еще со времен Прометея всегда кончалась поражением! Или же лицемерие более сильного, который уничтожает более слабого, повергает его во прах, пока не будет повергнут сам! Для природы право не существует. Эта равнодушная сила питается миллионами живых существ. Аннета была ее жертвой – одной из миллионов. Она могла отсрочить свое поражение на один день, на один час – за счет других. Но поражение неминуемо. И стоит ли его оттягивать ценою страданий других жертв?..

Она крикнула:

«А почему не стоит?.. Один день, один час обладания, пусть один даже миг – разве это ничто? Вечность содержится в одном мгновении, как вселенная – а одном существе... А муки одной жертвы, твоей соперницы, которой ты мстишь, – это разве ничто, разве ничто? Это ускользающее счастье, которое похищает воровка, – ничто? Похитить его в свою очередь, причинить ей боль, уничтожить ее, – это ничто?»

Хищные птицы тучей обрушились на нее с хриплым клекотом. Жгучая гордость, злая радость ревности и мести... хлопанье крыльев, вопли оглушили ее... Откуда они взялись?..

«Все это – во мне!...»

Она почувствовала и гордость и страх, – ожог, как от расплавленного свинца, наслаждение страданием почти до обморока, мучительное удовлетворение. Она ничего не делала, чтобы стряхнуть с себя эти чувства. Да и не могла. Она была неподвижна, как покойник, под натиском алчных птиц, оспаривавших друг у друга в поле ее останки. Их было две стаи, враждебные и родственные: Жажда обладания и Голодное самопожертвование. Самопожертвование тоже, как и его соперник, было наделено острыми когтями и прожорливым клювом. И добро и зло (которое же из них – добро? И которое – зло?) носили на себе клеймо свирепой бесчеловечности.

Скрестив руки, нагая, распростертая, она ждала, – издыхающее животное над стаей воронья...

Ожидая, она смотрела. Ничто – ни испуг, ни страсть – не замутило ее зрения. Она видела себя голой. И поняла, что дурила себя с первой же минуты. Она знала, что любит его, она всегда это знала. С каких пор?.. С той минуты, как Жермен предостерег ее: «Не любите его уж очень»? Задолго до этого! Со времени бегства? Задолго до этого!.. Что же значит это удивление, это добродетельное удивление, которое она только что разыграла, открыв ее в себе, «эту давно уже лелеемую любовь?..»

«Комедиантка!.. Как ты лжешь!..»

Аннета презрительно рассмеялась. Как она ни страдала, ясный ум и ирония предъявляли свои права. Диалог вели чувство, которое хитрит, и суровый, насмешливый судья – тот, что безжалостно изобличает и ясно видит.

Но оттого, что видишь свою страсть, она не умирает хотя бы на час раньше, – только горечи прибавляется.

Ночь прошла. День спугнул диких птиц. Но они сидели на деревьях вокруг, они грозили друг другу. Ни одна из стай не сдавалась. Каждая крикливо предъявляла свои права. Аннета, изнуренная, оглушенная, поднялась.

Она ни о чем не думала. В ушах стоял шум. Она сидела и ждала.

Пока не показался Франц. Она увидела его в окно, на дороге. Она знала, что он придет.

Он подошел к дверям. Он посмотрел на двери. Неуверенно потоптался на месте. Ушел... Сделал шагов тридцать, остановился, вернулся. Она видела сквозь занавески его взволнованное лицо, лихорадочную неуверенность, смятение. У дверей он помедлил и шагнул вперед, чтобы войти. Но не вошел. Он поднял глаза и взглянул на окно Аннеты – та отшатнулась. Она уже не слышала ничего, кроме гулко-го биения двух сердец. Но ее сердце стихало: несколько медленных тяжелых ударов – и дыхание стало выравниваться.

Она видела Франца из-под опущенных век: растерянного, полного страстных желаний, слабого. И почувствовала к нему признательность – сострадание – презрение...

Несколько минут спустя, когда она решила снова взглянуть на дорогу, его уже не было. Но она не сомневалась, что он занял пост на повороте и наблюдает за дверью, дожидаясь, пока она выйдет...

И тогда в небесах пронесся шум тяжелого лета. Птицы умчались. Разбойничья стая, населявшая душу Аннеты, покинула ее. И душа осталась пустой, как дом, из которого вывезли мебель. Дверь была настежь открыта. И в нее вошли чувства, образы. Вошла боль, искаженное судорогой лицо Эрики фон Винтергрюн, слепое желание Франца... Аннета знала теперь, как велика ее власть над этими слабыми детьми. И она ею воспользовалась: в ущерб себе.

В ущерб себе, но не ради них. Она рассматривала их холодно и трезво, стремясь вынести им беспристрастный приговор. Но жесток тот суд, который чужд доброты и стремится только к справедливости. Аннета судила Эрику и Франца без снисхождения. Она отметала (или думала, что отметаает) свой личный интерес и лишь взвешивала возможности счастья для тех двоих... Но есть много скважин, через которые личный интерес, как его ни гони, возвращается. Аннета не находила Эрику красивой. Да и доброты в ней не видела. Насчет ее здоровья она делала самые безотрадные предсказания. Она мысленно раздевала ее. Не та эта жена, которую она хотела бы дать Францу... (Хотела бы? Какая насмешка!) Но и к нему Аннета не была снисходительна. Она пропустила его сквозь решето. Сколько отходов! Аннета была невысокого мнения о его характере. Строго осудила его за непостоянство.

Чего ждать в будущем от такого союза?... Но только ли разум говорил в ней?

Время шло. Аннета все утро оставалась у себя. Она ничего не решила.

Решит, когда настанет черед. Довольно думать! Пусть будет пустота. Молчание...

В середине дня она встала и вышла. И направилась прямо к Эрике фон Винтергрюн.

Она застала ее одну в гостиной. У Эрики екнуло сердце, но она не показала виду. Как оно сжалось!..

Тщательно одетая, точно она ждала гостью, в шапке бледно-золотых, приглаженных, без единого завитка, волос, оставлявших открытым упрямый, выпуклый лоб, всем своим видом выражая надменность и замкнутость. Эрика не спеша поднялась и, коротко ответив на приветствие Аннеты, с холодной улыбкой указала ей на стул. Она была во всеоружии. Но опытный глаз Аннеты умел проникать в самую душу. Обмениваясь с Эрикой обычными светскими любезностями, она вкинула взглядом ее худую, вздрагивающую грудь. В левом углу рта была зажата, как задорный цветок, злая улыбка. Эрика не могла совладать с дрожью бледных губ, прерывистой и путаной речью, смущением, обидой, испугом, горечью. Аннета медленно, сознательно, без малейших угрызений упивалась ее замешательством: ей уже была ясна развязка драмы... Но эта развязка зависела от нее одной, а она не торопилась...

Они говорили о модах, о новых танцах, об особенностях местности, о погоде, и Аннета смачивала себе губы кончиком языка...

Она замолчала, она сделала долгую паузу. Эрика настороженно и напряженно ждала в этом молчании ей мерещился какой-то подвох. Аннета насладились острым привкусом последних секунд ожидания. Заранее предвидя, какое действие окажут ее слова, и упиваясь их сострадательной иронией, она сказала:

— Я уезжаю завтра утром.

Кровь бросилась в лицо Эрике Винтергрюн. Даже лоб залило краской, а кончики ушей заалели, как капли крови. Она уже не владела собой и не могла скрыть бурное волнение.

И Аннета впервые после приезда улыбнулась. Эрика, искоса следившая за ней все еще подозрительно и опасно, все еще боясь какого-нибудь коварного хода, поняла, что в этой улыбке нет вражды. Аннета рассматривала ее не без насмешки, но с жалостью. Она думала:

«Как она любит его!»

Смущенная Эрика наклонила голову — и вдруг опустила ее на плечо Аннеты. Аннета положила руку сперва на ее хрупкую шею, потом на тонкие волосы и, ласково смеясь, погладила их. Перед ней был только беззащитный ребенок. Недоверие исчезло бесследно. Эрика подняла на Аннету смиренный, благодарный, радостный взгляд. И Аннета мысленно

пожелала ей:

«Будь счастлива!»

Каждая из них до дна видела душу другой. И обе уже не стыдились того, что они разгаданы, – обоим надо было многое друг перед другом заглаживать.

Аннета спросила:

– Когда вы поженитесь? Не надо тянуть.

И она заговорила о Франце. Она судила о нем с любовью, но беспристрастно и предостерегала Эрика от ожидавших ее опасностей. Эрика не заблуждалась на этот счет, у нее тоже был зоркий глаз. Они взялись за руки и заговорили искренне, начистоту. Эрика не скрывала того, что видела в своем женихе и что пугало ее, но она приняла твердое решение взять и сберечь для себя эту обаятельную и изменчивую душу, к которой так жадно тянулась. Она заранее принимала все тайные битвы, бессонные ночи, беспокойные дни – расплату за счастье, которое ей придется снова и снова завоевывать без всякой уверенности в его прочности.

Сжимая нервную руку Эрика, Аннета ощущала яростную энергию, которую влюбленная девушка минутой раньше собиралась направить против нее, стремясь любой ценой отстоять свое ускользавшее счастье – счастье всей жизни, на которое эта раненая жизнь, эта больная уже не рассчитывала. Аннета думала:

«Это справедливо».

Она говорила себе:

«Эта рука в силах удержать и вести того, кого я вверяю ей».

Эрика, все еще дичась, украдкой устремляла взгляд зеленовато-синих, как лед, глаз, почти лишенных ресниц, с бледными бровями на щеки, рот, шею, грудь, руки Аннеты. И думала:

«Хороша она... Куда мне...»

И созревшим за годы болезни инстинктом почуяла, что для этой женщины отречься было трудно и что это даже, пожалуй, несправедливо.

Но эта мысль только промелькнула.

«Справедливо или нет – оно мое, это счастье!..»

Аннета поднялась. Она сказала:

– Пришлите мне Франца. Я поговорю с ним.

Эрика решилась не сразу. Ее снова одолели сомнения. Она испуганно взглянула на соперницу, пристально смотревшую на нее. Она видела, что Аннета требует полного доверия. Надо было поверить – или порвать. Она поверила. И кротко сказала:

– Я пошлю его к вам.

В последний раз обе женщины взглянули друг на друга, как сестры. И на пороге обменялись поцелуем мира.

Час спустя пришел Франц.

То, что Эрика послала его к Аннете, не удивило его. Он не привык раздумывать о чувствах других; его поглощали свои чувства, а, они были изменчивы. Если бы он даже попытался заглянуть в душу обоим женщинам, то признал бы вполне естественным, что его любят обе. Это не накладывало на него никаких обязательств. Так он думал – и совершенно искренне! Он был искренен в любую минуту. Ужасная искренность человека, у которого эти минуты одна за другой бесследно испаряются!.. Но он от этого не страдает.

Сейчас его занимало последнее открытие: руки волшебницы на клавишах и объятие у дверей дома, под небом... Он пришел возбужденный, разгоряченный, уверенный в победе. Он выказал и робость и простодушное тщеславие.

Но его сразу же сбила с толку холодность Аннеты.

Она не усадила его, приняла стоя; бегло взглянув на себя в зеркало, небрежно пригладила волосы и сказала:

– Идем!

Они поднимались в гору дорогой, по которой не раз уже гуляли. Оба были отличными

ходоками и шли широким шагом. Аннета молчала. Франц сперва было присмирел, но быстро оправился. Ему было легко и радостно. Он восхищался новыми игрушками сердца – этими двумя женщинами (в их любви он был уверен). Как примирить между собой две любви – это уже дело десятое; оно ничуть не занимало его. Франц так мало сознавал свой эгоизм и так был полон собой, что, нисколько не стремясь вызвать ревность в Аннете, стал перебирать прекрасные качества Эрики и простодушно восторгаться счастливым случаем, который занес его сюда, где он нашел свое счастье.

Сердце Аннеты сжалось, у нее чуть не вырвалось:

«За этот счастливый случай другой заплатил жизнью».

Но она вовсе не хотела терзать его воспоминаниями. Она только сказала:

– Жермен был бы рад.

Но и это было слишком. Франц огорчился. Ему было бы приятнее в эту минуту не думать о Жермене. Но раз уж он вспомнил о друге, тень искренней печали скользнула по его лицу. И исчезла. Его ум, так искусно помогавший ему увертываться от всего, что могло нарушить его спокойствие, подхватил последнее слово Аннеты. Франц сказал:

– Да, если бы это счастье можно было разделить с ним!

И печаль и радость были непритворны. Но не успели отзвучать эти слова, как уже осталась только радость. Имя друга не было произнесено.

Аннета вспомнила трезвые слова умершего:

«Если забвение опаздывает, ему идут навстречу».

Франц опять заговорил, как влюбленный поэт. Влюбленный в кого? Он говорил одной женщине о другой. Но присутствие Аннеты вдохновляло его гораздо больше, чем образ той, о которой он говорил. Он не спускал с Аннеты глаз, эти глаза ласкали ее, он пил воздух, струившийся вокруг нее. И вдруг останавливался, пораженный видом, приковавшим к себе жадный взгляд художника. Он восторгался линиями, оттенками, гармоническими сочетаниями. Но Аннета не останавливалась. Она шла вперед, высокомерная, рассеянная, не поворачивая головы, насупившись. В ней закипало раздражение и презрение к этим душам артистов, столь изменчивым, что каждое мгновение вытесняет у них предыдущее: жизнь и смерть проходят сквозь них, как сквозь сито...

Она стала подниматься по откосу на скалистую площадку – узкую и длинную седловину. Поднялась, не переводя духа. Там, в вышине, небо было светлое и жесткое, как зрачки Эрики Винтергрюн. Обдувавший вершины весенний ветер, свежий и сильный, струился по склону, пригибая к земле длинные стебли трав. Он обжигал лица Аннеты и ее спутника. Они уселись в ложбинке под защитой купы искривленных, низкорослых деревьев. Пастбища сбегали по круче в долину, где мчался поток. Вверху – круг белого, как металл, неба, обведенный бахромой темных скупившихся облаков, которые разбивались о горные вершины, как волны об утес.

Аннета расположилась на траве – дикой мяте, росшей среди жнивья и согретой последними лучами заходящего солнца. От бурных порывов северного ветра – и гнева, который разгорался в ее душе, – щеки ее покраснелись. Сидя рядом с Францем, она смотрела не на него, а вперед, высоко подняв голову и презрительно улыбаясь. Она вся лучилась силой и гордостью. Франц смотрел на нее во все глаза – и прекратил болтовню. Молчание жгло Аннету. Из своего презрительного далека она ощущала на своем теле огонь взгляда, скользившего по ней. Она продолжала улыбаться. Но последний порыв страсти налетел на нее, как вихрь на вершины деревьев, распростерших над ней свои крылья. Она сказала про себя этим глазам, которые видела, не глядя в них:

«Наконец-то ты открываешь меня!...»

И крикнула отсутствующей сопернице, которая ждала там внизу, под ее ногами, той, чьи больные ноги не могли бы одолеть крутого склона:

«Стоит мне только захотеть... и он мой! Попробуй отнять его!...»

Но она не захотела.

Вместе с пожаром заката перед ее глазами прошла волна крови. И немое безумие

погасло, как солнце за горами. Она повела плечами, поднялась во весь рост и, стоя на плато, на самом ветру, повернулась к Францу, который шел за ней, как собака. Глаза юноши жадно ждали ее взгляда, молили о нем. Но, встретив этот взгляд, он увидел в нем только холод, отчуждение.

Аннета заметила, что он разочарован, улыбнулась ему и, встряхнувшись, посмотрела на него с выражением спокойной материнской доброты.

– Франц, ты не злой, – сказала она, – но ты можешь причинить много зла... Ты это знаешь? Пора знать, мой друг!.. Да не ты один. Хороша и я... Все мы рожаем зло, как яблоня яблоки. Но этот плод нашего дерева надо съесть самим. Уволим от него других!..

Франц, растерявшись, попытался увернуться от смысла этих слов и от взгляда, насквозь пронзавшего его. Но взгляд упорно сверлил, а слова впивались. Сильной руке легко было наложить отпечаток на его гибкую натуру. Надолго ли? Аннета себя не обманывала. Но сейчас он был у нее в руках, и она формовала эту душу сурово и нежно. Ей доставляло удовольствие чувствовать под своими пальцами эту мягкую, трепещущую, живую глину.

– Эрика любит тебя, – сказала она, – и ты ее любишь. Это хорошо. Но берегись! Ты одарен опасным умением мучить тех, кого любишь, – о, в полной душевной простоте!.. Это и есть верх мастерства... Надо отучиться от этого. Ты знаешь, как я привязана к тебе, слишком привязана... Я не умею лгать. И зачем лгать? Ты ведь и так все знаешь... Я привязана к тебе, как к сыну, а пожалуй, что и больше... И желаю тебе счастья. Но видеть, как ты играешь любовью и по легкомыслию наносишь раны этой девочке, которая так предана тебе... Нет, я предпочитала бы видеть тебя всю жизнь несчастным. Она приносит тебе в дар много больше, чем ты можешь дать ей.

Все, чем она владеет. Всю себя целиком. Ты же можешь отдать ей только часть себя. Вы, мужчины, берете себе лучшее, львиную долю, – для вашего мозга, этого чудовища в клетке, этого людоеда, для ваших мечтаний, мыслей, искусства, честолюбия, для ваших дел. Я не корю вас и на вашем месте поступала бы так же... Но эта частица, которую вы приносите нам в дар, – пусть она будет чиста! Пусть она будет прочна! Не отбирайте ее тотчас после того, как подарили! Не плутуйте в игре! От вас требуют немногого. Но уж этим немногим хотят владеть. Способен ли ты дать ей эту малость? Спроси свое тело! Спроси свое сердце! Она твоя желанная? Она твоя любимая? Так бери же ее? Но и будь взят! Дар за дар! Научись брать и хранить навсегда, облачная душа, воплощенный ветер!..

Франц неподвижно стоял, опустив голову, под градом жестких слов, под огнем глаз, в которых теперь заискрился смех. Наконец Аннета выпустила свою добычу. Она весело рассмеялась и сказала:

– Пойдем домой.

Они молча начали спускаться с горы. Она шла впереди. Он впился глазами в ее затылок, смуглый, золотистый. Ему хотелось, чтобы этот спуск никогда не кончился.

Когда вдаль показались первые дома, Аннета остановилась. Обернувшись к Францу, она протянула ему руки. Как при первой встрече в лагере, он склонился и стал осыпать их поцелуями. Аннета высвободила руки, положила их Францу на плечи, заглянула ему в глаза и сказала:

– Прощай, дитя мое!

Она вернулась к себе одна и решила не дожидаться завтрашнего утра, как обещала: она уехала ночью.

На следующий день Эрика и Франц пришли к ней проститься. Но клетка уже опустела. Они почувствовали жалость... И облегчение.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

Аннета не доехала до Парижа. Она сошла на глухой станции, где никому не было до нее дела. В душе у нее царил смятение. Ей надо было подвести итоги. Найти потерянное направление.

Ее вдруг придавила усталость последних месяцев, непрерывное напряжение, последний удар, пробудивший в ней жгучее сознание неотвратимо надвигающейся старости и неутоленную потребность в любви, любви цельной, которой у нее никогда не было. Печаль неопределенная и опустошающая. Отдать себя всю, без остатка – к чему? Теперь, все отдав и от всего отказавшись, она почувствовала себя до ужаса свободной. Нити порваны. За что же держаться? Не за что... А хуже всего то, что она потеряла себя; она уже не верила в себя, не верила в свою веру в человечество... Наихудшая из катастроф! Насколько это хуже, чем просто потерять веру в человечество!.. Утратив веру, мужественная душа создает себе другую, она заново отстраивает свое гнездо. Но когда сама душа изменила!.. Рассыпалась, как песок... В своей пламенной честности непримиримая Аннета казнила себя за ложь. На языке у нее было слово «человечество», а жадное сердце, этот паук, подстерегало добычу, раскинув свою паутину. Оказалось, что человечество – это для нее человек, мужчина... Мужчина... Первый встречный, приветливый, незначительный!.. Ну не смешно ли это! Сколько потрачено сил на порывы веры и самоотречения, как она рисковала собой и другими – и все для того, чтобы угодить в западню! Весь восторг самопожертвования – ради этой приманки, ради этого мальчика (его или другого! Случай избрал орудием его!), и вот уже самопожертвование разубрано, точно кумир, а желание облачено для полноты удовольствия в отрепья идеализма и названо священным именем, ложным именем человечности!..

Она злобно стискивала зубы. Она возводила на себя поклеп... Съежившись, опершись подбородком на кулаки, согнув локти, она пила из чаши унижения и поражения...

Аннета уединилась в маленьком городке, затерявшемся среди полей. Она даже не знала его названия. Сойдя с поезда ночью, она пошла наугад и остановилась в первой попавшейся гостинице. В большой бернской гостинице с широкой крышей, которая нависала над маленькими, в мелких квадратах, окнами, уставленными цветущей геранью.

За этой красной ширмой, в тени широкого навеса, смятенная душа понемногу успокоилась и вошла в русло. Но впоследствии она не раз еще разобьется о берега. Напрасно ты говоришь себе:

«Довольно! Я складываю оружие, я больше не защищаюсь. Побеждена. Смирилась... Разве тебе этого не достаточно?..»

Нет, ей не довольно. Природа напоминает нежданной атакой, что договор вступает в силу лишь после того, как подписала его она. Аннете еще долго потом приходилось вести борьбу против тройной муки, которую причиняли ей нелепая страсть, вечное рабство, отлетевшая молодость – призрачный огонь, жалкий костер, остывший пепел жизни. По утрам она просыпалась усталая, немая, изнуренная после ночных бурь... И она не единственная.

Сколько их вокруг нас – спокойных лиц, днем таких как будто бесстрастных и холодных – в маске, прикрывающей следы борьбы, которая идет у них в душе по ночам!

Наконец все взвешено и подсчитано. Она признала себя банкротом. Подвела итог. Раздираемому ненавистью человечеству, уже издававшему предсмертные стенания, Аннета противопоставила свою душу – душу свободной, одинокой женщины, которая не поддается ненависти, не поддается смерти, прославляет жизнь, не желая делать выбор между братьями, врагами, простирает материнские объятия всем своим детям... Это была великая гордыня.

Аннета переоценила себя. Она была несвободна. Не по плечу ей пришлось одиночество. Она не была матерью, забывающей себя ради своих детей.

Собственного ребенка, свое дитя по крови, она забыла. Вечная раба она была, лукавая раба, которая прячется и жадно, как собака, стремится удовлетворить свое желание. Хорошо бескорыстие! Ведь ее идеализм оказался только приманкой, которой ее соблазнила природа, чтобы хлыстом загнать на псарню. Она не доросла до того, чтобы сбросить свою зависимость от пса...

«Ну что ж, пусть! Надо поучиться смирению... Я хотела... Я была не в силах... Но захотеть – это уже нечто!.. Я не могла... Может быть, когда-нибудь другой, лучше, сильнее меня, сможет...»

Потерпев поражение и смирившись – до нового мятежа, Аннета решила вернуться в Париж.

В купе она была одна с двумя мужчинами, французами: молоденьким лейтенантом, раненным в лицо, с черной повязкой на глазах и с забинтованной головой, и его провожатым, санитаром. Это был неуклюжий здоровяк, равнодушный к страданиям, которыми он пресытился (слишком много он их насмотрелся). Кое-как пристроив больного в углу купе, он перестал обращать на него внимание. Он сразу принялся за еду: уплел несколько ломтей ветчины, прихлебывая из бутылки вино, а затем снял огромные башмаки, растянулся во весь рост на скамье против больного и захрапел. Раненый сидел на той же стороне, что и Аннета. Она видела, как он сделал несколько неуверенных движений, с трудом поднялся и начал рыться в сетке над головой, но, не найдя того, что искал, снова сел и вздохнул. Она спросила:

– Вы что-то ищете? Не могу ли я вам помочь? Он поблагодарил. Он хотел найти порошки; его мучила дергающая боль в виске. Аннета растворила порошок в воде и подала ему. Обоим не спалось. И они разговорились под громохание колес. Их то и дело встряхивало. Устроившись рядом с больным, Аннета оберегала его от тряски; она набросила на его дрожащие колени одеяло. Теплота ее сочувствия оживила его. И раненый, как это бывает со всеми заброшенными людьми, когда над ними участливо склоняется женщина, не замедлил по-детски излиться ей. Он поверил ей то, чего не сказал бы мужчине, да и ей, пожалуй, не сказал бы, если бы мог ее видеть.

Пуля пробила ему навывлет оба виска. Двое суток он пролежал слепой на поле битвы. Понемногу зрение вернулось. А потом опять стало слабеть и погасло навсегда. Вместе со зрением он утратил все. Он был художник.

Свет являлся его достоянием, его хлебом. Неизвестно к тому же, не задет ли мозг. Его мучат боли...

И это было еще не самое худшее... Истерзалась душа. Она плакала без слез в объявшей ее тьме, она исходила кровавым потом... У нее не осталось ничего. У нее взяли все. Он ушел на войну, не испытывая ненависти, из любви к близким, к людям, к миру, к священным идеям. Он шел убить войну. Он шел избавить от нее человечество. Даже врагов. В мечтах своих он нес им свободу. Он отдал все... И потерял все. Мир над ним насмеялся.

Слишком поздно понял он безмерную не правду, подлую корысть тех, для кого политика была игрой, а он только пешкой на шахматной доске. Он уже не верил ни во что. Его околпачили. И он, поверженный, лежал, даже не чувствуя потребности взбунтоваться... Скорее уйти, скатиться в бездну, не быть и даже не помнить, что ты был! Опуститься на дно ямы, где тебя обнимет вечное забвение!

Он говорил ровно, усталым, приглушенным голосом, и голос этот наполнял Аннету братским сочувствием... Ах, как много общего было в их судьбе, казалось бы такой различной. Этот человек видел в войне только любовь, а она видела только ненависть – и оба принесены в жертву. Кому?

Чему? Как трагически нелепы подобные жертвы!.. И все же и все же!.. В этом избытке горечи (перед лицом такой катастрофы она едва дерзала признаться себе в этом) есть трагическая радость!.. Нет, даром мм истерзаны, растоптаны, растерты, как гроздь винограда! А если даже, и даром, то разве это мало – быть вином? Это Сила, которая пьет нас, – чем бы она была без нас? Какое устрашающее величие!..

Наклонившись над слепым, Аннета сказала жгучим шепотом:

– Да, возможно. Быть самоотверженным – значит быть обманутым... Ну что ж, пусть лучше обманутым! Меня тоже одурачили. Но я готова все начать сначала. А вы?

Эти слова поразили его:

– Я тоже! Их руки встретились в пожатии.

– По крайней мере мы с вами не извлекли выгоды из обмана. Быть обманутым – в этом есть своя красота!

Поезд остановился. Дижон. Санитар, проснувшись, отправился в буфет промочить горло. Аннета заметила, что раненый старается сдвинуть бинт.

– Что вы делаете? Не трогайте!

– Нет, оставьте!

– Что вы хотите сделать?

– Увидеть вас, пока еще для меня не наступила ночь.

Он поднял бинт. И застонал:

– Поздно!.. Я вас не вижу.

Он закрыл лицо руками, Аннета сказала:

– Бедный мой мальчик! Вы видите меня яснее, чем глазами. Мне не нужно было глаз, чтобы узнать вас. Возьмите мои руки! Мы душой почувствуем друг друга.

Он уцепился за ее руку, точно боясь заблудиться. Он сказал:

– Говорите еще! Говорите со мной! Говорите! Ее голос был для его мертвых глаз как силуэт на стене. Он жадно вслушивался в него, пока Аннета развертывала перед ним в коротких словах историю сорока лет надежд, желаний, отречений, поражений, возобновленных битв. Историю сорока лет реальной жизни и мечты (все-мечта!), отложившихся на ее лице.

«Да, они, должно быть, лепили это лицо, – думал он. – Душа ставит свою мету...»

Теперь он видел перед собой прекраснейшую из своих картин. Но никто другой ее не увидит.

Аннета умолкла. Они не говорили больше до утра. Незадолго до прибытия она высвободила свою руку, за которую он все еще держался, и сказала:

– Я только твой товарищ по несчастью. Но я благословляю твои бедные глаза, благословляю твое тело и мысль, твою жертву и доброту... А ты благослови меня! Когда отец бросает своих детей, детям ничего не остается, как быть отцами друг для друга.

Марк утром получил телеграмму о приезде матери.

От волнения его кинуло в дрожь. С тех пор как они расстались, она написала ему только одну открытку из Швейцарии. А он писал ей каждый день.

Но Аннета не прочла ни одного из этих писем. Они валялись на почте, в отделении «до востребования», в маленьком швейцарском городке, где Аннета пробыла всего один день; по рассеянности она забыла оставить адрес, куда переправлять ей письма. От этого молчания, которое Марк считал умышленным, на него повеяло ледяным холодом.

Он жил в опустевшей квартире матери. Как ни звала его Сильвия, он отказался снова перебраться к ней. Он считал себя достаточно взрослым, чтобы жить одному. Жить вместе с отсутствующей. Она была вокруг него во всем: он безуспешно пытался собрать в единый образ ее невидимые следы на вещах, мебели, книгах, постели. Безразличие, которое выказывала ему Аннета, измучило его. Но он не сердился на мать. Впервые в жизни он не сердился на другого за несправедливость, жертвой которой он был. Марк корил только себя; говорил себе, что она была его кладом, который он по собственной вине утратил. И на душе у него становилось холодно. Этот ребенок подходил к кровати матери и клал голову на подушку, чтобы лучше думалось о ней. И чем больше он о ней думал, тем яснее понимал разницу между нею и другими женщинами, которых он любил.

Он пытался возобновить связь с несколькими приятелями. Сблизился с Питаном. Ему захотелось разглядеть его до самого дна... Ах, как пусто было на этом дне! Вера, героизм, достойная пуделя преданность – все было лишено индивидуальной окраски! Все было лишь тенью, отражением! При первой попытке вызвать его на откровенную беседу, вникнуть в его недозрелую мысль, можно было убедиться, что он, как собачка, стоящая на задних лапках, заморожен звонкими словами; убейте ее на месте, она не ответит от прельстившего ее предмета глаз, похожих на бочонки лото... (Нечего и говорить, что Марк был несправедлив! Он был несправедлив от природы. Как все, для кого любить – значит предпочитать! О справедливости он думал меньше всего.) Марк не чувствовал ни малейшей симпатии к рабам слов.

Этот маленький Диоген искал человека, который был бы человеком, который был бы в каждое мгновение своей жизни самим собой, а не повторял бы, как эхо, кого-то другого. А о

женщинах не стоит говорить! Это вечные *serve-pardone*.

Их так и подмывает запутать вместе с собой мужчин в липкую паутину лжи, которой пользуется Род, это безглазое чудовище с ненасытной утробой...

И вот Марк видел лишь одну (или, может быть, это ему так показалось?), которая, с тех пор как он помнил ее, билась в этой паутине, вспарывала ее, вырывалась и, снова пойманная, возобновляла борьбу...

Свою мать... В эти дни безмолвной беседы с самим собой, в четырех стенах опустевшей квартиры, из которой она, как ему казалось, ушла навсегда, он, весь горя, проделывал обратный путь в прошлое по реке воспоминаний и старался воскресить картину жизни этой женщины за последние годы, одинокой жизни с наполнявшими ее неведомыми радостями, скорбями, страстями и битвами. Ведь теперь он достаточно хорошо узнал эту душу, и ему было ясно, что она никогда не оставалась пустой. Он обрек ее на одиночество, на замыкание в своем внутреннем мире – какие же у него теперь права на этот мир? Она привыкла одиноко сражаться, одерживать победы или терпеть поражения и одиноко идти своим путем. Куда вел ее этот путь, который отныне будет пролегать где-то вдали от него? Марк так много думал об этом, так много думал о ней, что перестал думать о себе. И хотел одного: облегчить ей этот путь, каков бы он ни был...

Вот что творилось в душе Марка, когда вдруг пришла телеграмма. Как один из тех взрывов, которыми отмечались дни в осажденном городе. Не доверяя себе, он снова и снова перечитывал телеграмму. Возвращение, на которое он уже не надеялся, вызывало в нем боязливую радость. Что ее вело сюда? Он не смел думать, что она приезжает ради него. Пережитые разочарования сделали его скромным. Он суеверно полагал, что самое надежное средство получить желаемое – это не ждать его.

Аннета не нашла сына на вокзале. Поезд опоздал на восемь часов; он прибыл на Лионский вокзал в середине дня. Марк пришел и ушел, истомившись бесконечным ожиданием. Но ему не сиделось. Когда Аннета наконец приехала домой, она не застала его: он только что опять побежал на вокзал. Она поднялась в свою квартиру и стала его дожидаться. Аннета была тронута, увидев, что Марк поставил в ее комнате цветы. Она села, откинув голову на спинку кресла. В полном изнеможении, она прислушивалась к шумам на улице и в доме. И впала в забытие... Сквозь дрему она услышала чьи-то шаги, кто-то бегом поднимался по лестнице. Вошел Марк. У него вырвался радостный крик. Аннета, улыбаясь, думала:

«Так, значит, он меня любит?»

Она сделала усилие, чтобы встать. Ноги ее не слушались. Она протянула к нему руки. Он бросился к ней.

– Ах, как я ждал тебя. Как ты доехала?

Аннета не отвечала; она нежно проводила рукой по его щекам, волосам.

Бросив взгляд на мать, он увидел на ее изнуренном лице выражение усталости и боли м инстинктивно понял ее состояние. Вопросы, замечания, готовые сорваться с языка, замерли. Обнимая мать, он поднял ее со стула...

(Какой он стал сильный! А она, как она была слаба!) Аннета встала и, опираясь на сына, сделала несколько шагов к окну. В желтом сеете сумерек ее лицо казалось особенно бледным. Марк сказал:

– Тебе надо сейчас же лечь...

Аннета воспротивилась, но голова у нее кружилась, и она позволила отвести, почти отнести себя на постель. Марк уложил ее, снял с нее ботинки, помог расстегнуть платье; она уже не сопротивлялась; хорошо было довериться кому-то, кто хотел за нее, кто любил ее...

Кто любил ее... Значит, он любит ее?... Как утомительно думать!.. Она отложила это на завтра. А Марк, быть может, обрадовался, что есть причина подождать с объяснениями. Но один неотступный вопрос мучил его, вертелся на кончике языка. Он еще не успел задать его, как мать, улегшись, извинилась за свою усталость:

– Стыдно так нежиться!.. Извини меня, мальчик!.. Ведь какая я была крепкая!.. А

сейчас просто не держусь на ногах. Не спала несколько ночей подряд... Сядь здесь. Расскажи, что ты делал сегодня, как это мы раз минулись...

Он стал сбивчиво рассказывать о своей беготне взад и вперед. Аннета не следила за нитью его рассказа. Она перестала понимать слова, но звук его голоса баюкал ее. Глаза у нее слипались. Марк замолчал, поднялся, посмотрел на нее, нехотя отошел. Невысказанный вопрос все еще жег его...

Он вернулся и нерешительно наклонился над спящей. Она открыла глаза. Неловко поправляя подушку, Марк вдруг выпалил:

– Теперь ты останешься со мной? Она не поняла и с удивлением взглянула на него. Он повторил, стараясь говорить непринужденно:

– Ты останешься? Она улыбнулась:

– Останусь...

И заснула.

Марк, облегченно вздохнув, ушел.

Дверь своей комнаты он оставил приоткрытой. Он слышал ровное дыхание матери.

Марк говорил себе:

«Она здесь... Она со мной... У меня есть время...»

В ту же ночь произошел налет вражеской авиации на Париж. Завыли сирены. И в доме началась обычная сутолока, жильцы поднимались и спускались по лестнице. Марк вскочил с постели и подошел к матери. Она спала так крепко, что он не решился разбудить ее. Он думал:

«Пусть себе бомбы падают! Мы вместе».

В те ночи, когда он был в квартире один, ему становилось страшно во время воздушных тревог, как он ни храбрился. А теперь (почему?) он испытывал почти удовольствие.

Наутро Сильвия, беспокоясь о нем, пришла его провести. Узнав о приезде Аннеты, она обозвала его поросенком (он ревниво утаил от нее телеграмму, чтобы мать в первый день по приезде принадлежала ему). Но Аннета еще спала, и Марк, как дракон, никого не пропускал в ее комнату. Шум спора разбудил Аннету, и Сильвия вошла. У нее было о чем поговорить с сестрой, но и она сразу увидела, что дождь и вихрь взбурлили Реку, и, как всегда бережная с теми, кого она любила, Сильвия стала говорить лишь о том, что могло развлечь Аннету: опыт жизни научил Сильвию, что наилучшее лекарство для смятенной души – это не трогать ее, чтобы дно постепенно покрылось песком. Она подшучивала над Аннетой, которая проспала бомбежку, и ворчала на Марка, этого осленка, за то, что он упрямо отказывался после отъезда Аннеты покинуть квартиру матери и поселиться у нее. Она шутливо намекала, что подозревает его в желании быть свободным для ночных вылазок. Марк рассердился. Он сказал, что обещал вести себя благоразумно и не допускает, чтобы его словам не верили: если бы он захотел развлекаться наперекор Сильвии, так ведь он не ребенок и не постеснялся бы сказать ей это в лицо. Потом он пожалел, что говорит такие вещи в присутствии матери, и, смутившись, скрылся в свою комнату. Когда он вышел, Сильвия с гордостью сказала Аннете:

– Что за упрямец! А? Как он похож на нас! Аннета думала:

«Разве он похож на меня?»

Она старалась снова войти в колею домашней жизни, но ощущение душевной разбитости долго не проходило. Она быстро уставала. Марк старался снять с нее часть забот. Он делал вид, что ничего не замечает, но всегда оказывался под рукой, когда надо было избавить ее от каких-нибудь утомительных усилий – переставить мебель или взобраться на лестницу, чтобы повесить портьеры. Эта бережность была в нем новой чертой – новой для него, да и для нее; как все очень правдивые люди, он боялся, чтобы Аннета не усмотрела в ней то преувеличенное усердие, от которого несет родственным лицемерием, и тогда он старался принять равнодушный вид. Аннета, растроганная и смущенная, начинала его благодарить, но сбивалась и кончала холоднее, чем хотела. Оба выжидали, внимательные,

ласковые, мало говоря, исподлобья следя друг за другом... Кто же заговорит? Каждый боялся начать разговор, боялся нового разочарования. Марк ничего не спрашивал у матери о ее поездке и неожиданном возвращении. И если она иногда, сама того не замечая, впадала в задумчивость, он отворачивался из целомудрия, из боязни нечаянно подглядеть, что творится у нее в душе; он даже удалялся в свою комнату, чтобы не стеснять Аннету. А когда Аннета расспрашивала сына о том, что он делал в ее отсутствие, ему становилось больно – она задавала вопросы, на которые он уже ответил в своих письмах. Неужели она так мало любит его, что лишь небрежно пробежала их?

Если бы не случайное замечание Сильвии, Аннета так и не узнала бы о существовании этих писем. Сильвия иногда навещала «молодую чету», как она выражалась; видя, что Аннета и Марк «открывают» друг в друге неведомые им раньше чувства, она дала себе слово не вмешиваться и всецело предоставить им самим труд и радость этих открытий. Но уж очень они тянули, и Сильвия решила подтолкнуть их. Однажды в отсутствие Марка, разговаривая с Аннетой, она назвала их «влюбленными». На возражения Аннеты Сильвия, смеясь, ответила:

– Я не говорю о тебе, жестокосердная! Ты довольна, когда по тебе сохнут, это твоя роль.

– Еще бы! – бросила Аннета.

Но Сильвия знала, куда гнет.

– Зато юный твой поклонник, который в твое отсутствие писал тебе каждый день...

Аннета уже не слушала продолжения. Он писал ей каждый день! Она не подумала оставить адрес для пересылки писем, и они валяются там!.. Да, Сильвия права, у нее жестокое сердце... Она тотчас же затребовала оставшиеся в чужом краю письма. Но не хотела, чтобы Марк знал об этом. Лишь бы пакет с письмами не был вручен ему! Аннета сторожила почтальона, но письма долго не приходили; все же ей удалось незаметно выхватить их из рук привратника под носом у Марка, которого она опередила. Она дожидалась его ухода, чтобы прочесть их.

Их было восемь. Целый клад!.. С первых же слов глаза Аннеты затуманились слезами. Ей хотелось прочесть все, единым духом, а читать она не могла. Она попыталась подобрать их по числам, чтобы потом медленно, одно за другим, прочесть. Но это было ей не под силу. Она проглатывала их как попало. Выхватив письмо наудачу, Аннета читала его залпом, перескакивая через строчки, останавливаясь жадно возвращаясь к особенно нежным словам. Только утолив свой первый голод, она смогла еще раз прочесть их по порядку, еще раз упиться ими. От переполнившей ее любви, от смущения кровь прихлынула к ее щекам. Как же велика ее вина перед сыном!..

Нельзя сказать, чтобы Марк был щедр на излияния. Он ненавидел сентиментальность (тем более что сам подозревал себя в этом грехе). И в своих письмах воздерживался от нежных слов, готовых сорваться с его губ. Но мать, которая знала малейшую складку этих губ, волновалась еще сильнее, почувствовав узду, которую он наложил на себя. В первом письме он писал:

«Мама, ты не любишь меня.

(Сердце Аннеты сжалось.)

...Я и сам не люблю себя. Я ничего не сделал для того, чтобы меня полюбили. И, значит, это справедливо. Но я же твой сын! И я ближе к тебе, чем к кому бы то ни было. Я был не в силах сказать тебе об этом. Так разреши мне написать! Мне нужен друг. У меня его нет. Мне нужно думать, что ты мой друг, даже если это не так. Не отвечай мне! Я не хочу, чтобы ты назвала себя моим другом по доброте, из жалости. Я ненавижу доброту.

Не хочу унижения. Не хочу обмана. И я люблю тебя не за то, что ты добра.

Я не знаю, добра ли ты. Я люблю тебя за твою правдивость... Не отвечай мне! Что бы ты обо мне ни думала, я не могу не писать тебе. Пусть моя мать не друг мне, я пишу моему другу, я не пишу матери. Надо же мне доверяться кому-нибудь. Слишком многое меня тяготит... Слишком я одинок.

Слишком неуклюж! Помоги мне! Я знаю, что ты помогаешь другим. Ты можешь помочь и мне! Для этого достаточно выслушать меня. Ответа я не прошу...

Мне надо много сказать тебе. Я уж не тот, таким был. За последний год я сильно, сильно изменился... Когда я взялся за перо, мне хотелось рассказать тебе обо всем, что я делал в этом году, о происшедшей во мне перемене. Но теперь у меня не хватает смелости – так много было постыдного.

Мне страшно: что, если ты отдалишься от меня еще больше? Ты и так уже далека! И, однако, придется когда-нибудь открыть тебе все, даже если ты будешь меня презирать. Я еще больше презирал бы себя, если бы не сказал.

Я скажу. После. В другой раз. На сегодня довольно. Сегодня я уже достаточно отдал тебе. Целую тебя, моя подруга».

Этот тон властной любви объял, взволновал, покорила Аннету. Другие письма были проникнуты той же страстностью. Марк не решался рассказать о том, что больше всего волновало его. В каждом письме он говорил:

«Может быть, сейчас?.. Нет, пока не могу. Не могу! Ведь надо забыть, что ты женщина. Друг мой... Хочешь ли ты им быть? Можешь ли?.. Ты ведь все-таки женщина, а женщинам я не верю. И не очень-то их уважаю. Прости!

Ты другое дело. С недавних пор! До прошлого года я считал, что ты такая же, как все. Я был привязан к тебе (не показывая этого), но доверия у меня не было. Теперь картина изменилась. Немало я за это время увидел, узнал и, вероятно, угадал. В тебе, в себе, в других... Видишь ли, многое мне открылось... Слишком даже!.. И, между прочим, много уродливого, открылись такие вещи, от которых больно. Но я решил, что лучше знать их, раз это правда. Да, непригляден мир. Женщин я не уважаю. Мужчин презираю. Презираю и себя самого. Но тебя – тебя я уважаю. Я научился понимать тебя. Я узнал о тебе кое-что, чего ты не говорила мне (не очень-то много ты мне говорила!) и о чем мне рассказывала Сильвия. Дошло до меня и другое, о чем Сильвия не говорила, о чем она даже не подозревает;

Сильвия славная, но такие вещи она не может понять... А я их понимаю...

(Так мне кажется... Нет, я уверен!) И от этого мне многое стало ясно во мне самом, чего я раньше не понимал... Ах, как это все бессвязно, все, что я пишу тебе!..

(От досады его перо вонзилось в бумагу и продырявило ее.).

...Как трудно рассказывать о себе и издалека и с глазу на глаз! Язык скован. Мне кажется, что легче было бы объясниться, если бы ты была здесь, передо мной... Нет, нет! Не знаю... Твой взгляд, когда ты смотришь на меня, ласково-покровительственный или насмешливый (и то и другое приводит меня в ярость), или же отсутствующий, далекий... Ты смотришь мимо меня... Взгляни как на сына своего, как на друга, как на мужчину!..»

Аннета видела его глаза, неотрывно смотревшие на нее, взыскательные и суровые. И робко отвернулась... Ее сын – мужчина!.. Этого она еще не представляла себе. Мать всегда видит в своем ребенке дитя. В этих письмах подростка, неровных, неуверенных, гневных, она слышала повелительную ноту. И склонилась, как в старину склонялась мать, лишившись мужа и отдавшись под покровительство старшего сына.

Но тотчас же опять выпрямилась...

«Мой сын. Человек, которого я создала. Мое творение... Мы равные».

Она все читала и читала в сумраке, не замечая, что сумрак густеет...

Марк вошел. Она быстро смела со стола письма, и они упали на пол. Нет, не надо, чтобы он застал ее за чтением. Она не могла признаться ему, что еще не читала их до сих пор.

Марк удивился, застав ее в темноте, и хотел включить свет. Аннета остановила его. Они подошли к окну и заговорили. Они смотрели на улицу: в магазинах вспыхивали огни, мимо них торопливо скользили тени. Обоих охватило смущение. Аннета старалась разобраться в новом потоке запутанных чувств. Марк был настороже, его обижало, что она ни разу не намекнула на все, в чем он открылся ей. Говорили холодно, принужденно. Часто умолкали. Марк рассказывал о том, что узнал за день: о последних известиях с фронта, о

боях, потерях... Ничего интересного! Аннета не слушала...

И вдруг она молча прижала его к себе. Марк стоял неподвижно, онемев от удивления.

Она сказала:

– Зажги свет! Он повернул выключатель. И увидел письма, разбросанные по полу. Она показала их ему. И призналась во всем, во всем, что хотела от него утаить. Попросила у него прощения. И сказала:

– Друг мой...

Но теперь это уже был не мужчина, в чьих письмах прорывались ноты гнева и гордости. Это был маленький мальчик, и он скрылся к себе в комнату, чтобы совладать со своим волнением.

Аннета не последовала за ним. Она сама не могла справиться со своим волнением. Она стояла на том самом месте, где он покинул ее, и молчала.

Приход Сильвии разрядил их напряжение. Пообедали втроем. Сильвия, всегда такая чуткая, не поняла, что с ними происходит. В них была какая-то тишина, далекость.

Но лишь только Сильвия ушла, они сели за стол и несколько часов подряд просидели рука в руке, тихонько разговаривая. И продолжали перебрасываться фразами из комнаты в комнату даже и после того, как решились наконец расстаться. Ночью Марк встал и босиком подошел к кровати Аннеты: он уселся на низкий стул у ее изголовья. Они уже не говорили. Но жаждали быть вместе, в тесной близости друг к другу.

В наступившей тишине парила измученная душа дома. Печали и страсти этого дома, охваченного пламенем... Этажом ниже семья Бернарденов, обезглавленная потерей сыновей, не *de profundis clamat*⁷⁴ к вечному молчанию... Двумя этажами ниже скорбит Жирер, осиротевший после смерти единственного сына, засохший в своем патристическом идолопоклонстве, за которое он отчаянно цепляется... Этажом выше, где живут молодые супруги Шардонне, неотвязная, позорная и невысказанная тайна выжигает, словно каленым железом, тело и душу: двух любящих людей, навек соединившихся, она сделала навек чужими... Даже в квартире Аннеты через коридор, в пустой, боязливо запертой комнате, еще носится жаркое дыхание кровосмесительницы, наложившей на себя руки... Дом – как чадный, наполовину сгоревший факел. Из тех, кто остался в живых, никто не смыкает глаз в этот глухой полночный час. Их гложут лихорадка, боль, неотвязные мысли...

Лишь они одни, сын и мать, плывут на гребне потока над этими пылающими душами. Несколько слов, которыми они обменялись, показывают, что оба подумали об этом. Им не хотелось высказать вслух свою мысль, но они взяли за руки, точно страшась потерять друг друга. Они вместе спасались от пламени, как на пожаре в Борго...

В Аннете проснулась материнская тревога, и она сказала своему маленькому Энею:

– А теперь – спать! Это неблагоприятно, мой мальчик. Ты заболеешь.

Но он упрямо тряхнул головой:

– Ты подежурила у моей постели. Теперь моя очередь.

Забрезжил рассвет. Марк заснул сидя, прикинув головой к одеялу. Аннета встала и уложила его на свою постель; он не проснулся. И, пока не наступил день, она просидела в кресле.

Проговорив весь вечер и едва ли не всю ночь, они почти ничего не сказали друг другу, кроме самого насущного: что они снова нашли друг друга и теперь пойдут рука об руку. Но подробную исповедь о том, что наполняло их ум и сердце, они отложили на будущее и продолжали откладывать потом.

Аннета исподволь узнавала, как за последний год менялись взгляды ее сына на войну и общество. И она с волнением прочла между слов (ему неловко было сказать ей это в лицо, а ей неловко слушать), как он открыл и узнал душу своей матери и как стал ее боготворить.

Но те мучительные признания, которые камнем лежали на сердце Марка, он все еще не

⁷⁴ Из глубины взывает (лат.).

решился сделать. Аннета не старалась вызвать его на откровенность. Но она поняла, что они будут неотвязно преследовать его, пока он не избавится от них, и пришла на помощь этой беспокойной душе, как опытная акушерка.

Как-то в сумерки – час доверчивых признаний, час, когда уже почти не видно друг друга, – она, стоя возле него, сзади, произнесла:

– У тебя на душе какое-то бремя. Дай мне понести его.

– Хотел бы, но не могу, – напряженным голосом ответил Марк.

Она притянула его к себе, прикрыла ему глаза рукой и сказала:

– Теперь ты наедине с собой.

И он заговорил, с трудом, почти шепотом. Рассказал обо всем пережитом за последние годы, плохом и хорошим. Он решил говорить спокойно и твердо, точно о ком-то другом. Но бывали тягостные минуты, когда рассказ обрывался и Марк не знал, найдет ли он в себе мужество продолжать. Аннета молчала. Она ощущала под своими пальцами воспаленные веки, чувствовала, как ему стыдно. Легким нажимом руки она, казалось, говорила:

«Расскажи! Стыд я беру на себя».

Аннета не удивлялась тому, что слышала. Она знала все, в чем он признавался, все, что он обходил молчанием. Таков был мир – мир, куда она бросила своего сына и сама была брошена неведомой силой... Она жалела его, жалела себя... Но что же делать! Выше голову! Такова жизнь. Примем ее!..

Когда он договорил, ему стало страшно: что она скажет? Аннета наклонилась и поцеловала понурюю голову сына. Он сказал:

– Сможешь ли ты забыть?

– Нет.

– Так ты меня презираешь?

– Ты – это я.

– Но я презираю себя.

– А ты думаешь, я себя не презираю?

– Нет. Только не ты!

– Я человек, значит, мне есть чем гордиться и есть чего стыдиться...

– Нет. Не тебе!

– Милый! Жизнь моя была безупречна. Я блуждала, я и теперь блуждаю... Ведь важны не только поступки! Для людей вроде нас с тобой внутренний суд не есть какая-то полицейская власть, карающая только за действие. То, чего мы хотели, жаждали, что мы мысленно лелеяли, не менее унижительно, чем то, что мы совершали. И как же это страшно – то, что мы пережили мысленно!

– И ты?... Впрочем, я это знал.

– Знал?

– Да, и мне кажется, что за это... за это я и люблю тебя. Я не полюбил бы человека, который не тянулся бы своими чувствами, мыслями, волей к этому запретному миру.

Аннета, стоявшая сзади сына, безмолвно обняла его. Марк, помолчав, вздохнул и сказал:

– Теперь я понимаю, что такое исповедь. У меня точно гора с плеч свалилась.

– Да, хорошо, когда можно высказаться и кто-то все выслушает. Ну, а мне кому же исповедаться? Мне говорить не позволено...

– И не надо...

В ночной тишине он прочел:

– Ты пришла, ты схватила меня, – целую руку твою...

С любовью, с содроганием, – целую руку твою...

Аннета задрожала... Этот голос прошлого!..

– Боже мой! Откуда ты узнал? Марк не ответил. Он продолжал:

– Ты пришла меня уничтожить, Любовь...

Аннета закрыла ему рот рукой:

– Молчи! Она смутилась... Но все это было такое далекое!
– Неужели это я?.. Нет, это кто-то другой... Я была этой другой... Но она умерла.
– «Я целую руки ее», – сказал Марк.
– Откуда же ты узнал? Он молчал.
– С каких пор тебе известно об этом?
– С тех пор, как она это сказала. Я выучил наизусть.
– Ты это знал наизусть? И носил в себе все эти годы?.. Живя возле меня? Это уж предательство!

– Прости!
– Ты странный мальчик.
– А как ты думаешь: ты – не странная женщина?
– Что тебе известно о женщинах? Ты их не знаешь.
Марк, задетый за живое, стал возражать. Аннета улыбнулась.
– Ах ты гадкий петух! Петушок! Не чванься своей наукой! Убогой наукой... Все твои воображаемые знания только мешают тебе понять женщин.

Мужчина видит в женщине лишь наслаждение для себя. А чтобы узнать ее до конца, надо прежде всего забыть себя. А до этого ты еще не дорос... То, что ты видишь во мне, мой друг, можно увидеть в тысячах женщин. Я не исключение. Те женщины, которые сумеют заглянуть мне в душу, увидят в ней собственный образ. Но они закрывают ставни своего дома, а мужчинам, живущим рядом с ними, нет дела до того, что происходит за этими ставнями. Ты-то, хитрец, видел, ты заглянул в щелку, и сделанное тобой открытие показалось тебе странным. Странно только то, что ты сумел это сделать! Но то, что ты видел, – это и есть женщина, дружок.

– Значит, это – сложная штука!
– Да и ты не прост. В одном человеке много существ.
– Но все они образуют единое целое.
– Не у всех.
– У тебя. У меня. И вот это единое существо я люблю в тебе и хочу, чтобы ты любила во мне.

– Посмотрим! Я ничего не обедаю.
– Ты хочешь подразнить меня. Но уж я тебя заставлю!
– Тебе известно, что деспотизм надо мной не властен.
– Но в душе ты его любишь.
– Если я люблю самого деспота.
– Ты его полюбишь.

Теперь он почуял свою силу! Пусть прикидывается, что все еще видит в нем ребенка – теперь ей не удастся обмануть его! Он утвердил свою власть над ней. Она предоставила ему главенство в их совместной жизни. И испытывала тайную радость, подчиняясь ему.

Он повел себя, как все мужчины. Не успел завоевать власть, как уже злоупотребил ею.

Марк только что вошел. Аннета сидела и шила. Он поцеловал ее. У него был озабоченный вид. Он взглянул на мать, отошел, порывшись в книжном шкафу, стал смотреть в окно; потом сел за стол рядом с Аннетой, открыл и перелистал книгу, занялся как будто чтением – и вдруг, вытянув руку, положил ее на руку матери и быстро проговорил:

– Я хочу тебя спросить...

Он уже давно хотел сказать ей это, но не смел. И потому сейчас заговорил порывисто и торопливо. С той минуты, как он вошел, Аннета чувствовала, что на губах у него горит вопрос, и ее охватил страх. Она старалась увернуться. Она поднялась, как будто для того, чтобы поискать какую-то вещь, и беззаботно сказала:

– Ну что ж, спрашивай, мальчик!..

Но он решительным движением удержал ее на месте. Волей-неволей пришлось сесть. Марк не выпускал ее руки; его глаза были опущены. Он постарался принять уверенный вид. И произнес, резко отчеканивая слова:

– Мама! Есть одна вещь, о которой мы никогда еще с тобой не говорили... Все прочее – это твое, и я не имею права допытываться... Но на это одно я имею право, оно принадлежит мне... Расскажи мне о моем отце!..

Марк был очень взволнован.

Он давно уже страдал от своего незаконного рождения. В обществе у него были на этой почве неприятности, уязвлявшие его самолюбие. Но он из гордости не сознавался в этом.

В лицее ему с первых же месяцев приходилось выслушивать обидные замечания, хотя он в долгу не оставался. Эти обиды были не очень глубоки. У парижских школьников есть дела поважнее, чем вдаваться в критику родителей, особенно во время войны, опрокинувшей вверх дном все моральные и общественные устои. Обычно мальчики утверждали, щеголяя циничным презрением к женщинам, что они годны только для любовных утех, и не вменяли им в вину слишком вольного поведения: боялись показаться отсталыми. Марку приходилось выслушивать добродушно грубые разглагольствования юных бесстыдников, которые, быть может, даже хотели польстить ему. Но он принимал это иначе. Его бросало в дрожь от всякого намека, который мог хотя бы отдаленно касаться его матери; к чести Аннеты он относился гораздо ревнивее, чем она сама. И на такие намеки у него всегда был готов молниеносный ответ: он пускал в ход кулаки.

Позже, приехав на две недели к матери, в провинцию, он подмечал взгляды кумушек, которые судачили, наблюдая за ними обоими, и подчеркнутое пренебрежение со стороны некоторых буржуазок, которые при встрече притворялись, что не видят их. Он ничего не говорил матери о своих впечатлениях. Но они еще усилили его неприязнь к провинции и укрепили в решении не приезжать туда больше.

Но это все пустяки. Можно не обращать внимания на мнение людей, которых не уважаешь. Они существуют для тебя не более, чем пыль, приставшая к твоим башмакам. Достаточно пройти по ней щеткой, поплевав на кожу, чтобы лучше отчистилась... Но те, кем дорожишь? Те, к кому жадно тянется сердце?..

Марку шел восемнадцатый год: вот уже несколько месяцев, как на дороге его легла золотая тень любви. В эту юную душу, цельную и бурную, прокралось нежное чувство. Ему казалось, что он влюбился в сестру одного из своих лицейских товарищей; он видел ее на улице с братом или одну; оба искали случая встретиться; обоих тянуло друг к другу. Марк побывал у своего товарища. Но больше он ни разу не получил приглашения. Пожалуй, обида была бы не так остра, если бы не легкомысленные уверения товарища, что его пригласят. Замешательство приятеля, его неловкие усилия уклониться от встречи с Марком подчеркивали оскорбительность этой умышленной забывчивости. Семья считала нужным держать на расстоянии нежеланного гостя. Эта жгучая обида научила Марка улавливать – а может быть, и сочинять – другие знаки пренебрежения, на которые он раньше не обращал внимания. Он заметил, что его не звали в буржуазные круги, где вращались его приятели. У него никогда не было серьезного стремления проникнуть в эту среду. Но теперь ему чудилось, что дверь захлопнулась перед самым его носом. Это было для него пощечиной. И в душе его, как судорога, поднялся протест против этого общества.

И хотя он со всей страстью стал на сторону матери против общества, в нем зрела глухая обида на ту, которая навлекла на него эти оскорбления.

Его раненая мысль билась над вопросом: кто его отец? Почему у него отняли отца? Он знал, что эти вопросы причинят боль матери. Но ведь и ему было больно. Пусть каждый получит свою долю! Он хотел знать.

Аннета предвидела вопрос Марка и все еще надеялась, что он его не задаст. Конечно, ее долг – посвятить его в эту тайну прошлого; она дала себе слово все рассказать ему прежде, чем он сам этого потребует. Но она откладывала, она боялась... И вот он опередил ее...

– Милый, – сказала она смущенно, – он не знает тебя. Видишь ли... (я как-то уже говорила тебе, что в глазах света я не безупречна)... я рассталась с ним еще до твоего рождения.

– Все равно! – сказал Марк. – Я хочу знать, кто он. Имею же я право...

Его право? И он туда же! Неужели он воспользуется этим правом против нее?.. Она сказала:

– Ты имеешь право.

– Он жив?

– Да.

– Как его фамилия? Кто он? Где он?

– Я скажу тебе все. Погоди...

Аннета была удручена. Ему стало ее жаль. Но он хотел знать. Он сдержанно сказал:

– Мама, это не так уж срочно. Можно и в другой раз.

Она видела, что он с трудом сдерживает нетерпение. И не захотела подобрать то, что он обронил из милости. Собравшись с силами, она сказала:

– Нет, сейчас. Тебе ведь не терпится узнать. А я хочу поскорей все открыть тебе. Как ты сказал, эта тайна принадлежит тебе. Я ее хранила. Я давно должна была отчитаться перед тобой. И ты напомнил мне о моем долге.

Он начал оправдываться.

– Молчи, – сказала Аннета. – Настал мой черед говорить.

Но теперь, когда она заговорила, ему почти хотелось, чтобы она молчала.

– Зажги свет, – приказала Аннета. – И запри дверь – пусть никто не мешает нам!

Только она начала говорить, как кто-то в самом деле постучал. Вероятно, Сильвия. Но ей не открыли.

Без внешних признаков волнения, останавливаясь только на самом важном, Аннета рассказала о своем прошлом, о том, как она была невестой, как расстроился ее брак. Она говорила с гордой сдержанностью, не касаясь тех подробностей, которые принадлежали ей одной, но и не утаив ничего, о чем она должна была и хотела говорить. Рассказывая, она старалась отогнать от себя неотвязную мысль о том, что думает сын. Но он ни одним жестом не выдал себя. Слушал холодно. Казалось, оба они, мать и сын, не имеют никакого отношения к тем отдаленным событиям, тени которых проходят перед ними, как на экране. Но один бог знает, с какой тревогой она старалась подметить в его взгляде искру сочувствия (ничем не стараясь вызвать ее!). Он остался непроницаемым до конца рассказа. Она лихорадочно ожидала его приговора, но он сделал лишь одно замечание:

– Ты не сказала, как его фамилия.

(Она все время называла его только по имени.).

Аннета ответила:

– Рожэ Бриссо.

(Холодность сына заморозила и ее.).

Однако фамилия, которую произнесла мать, обратила на себя его внимание. Она была ему хорошо известна. У него вырвалось:

– Депутат-социалист!

В этом возгласе сквозило не только удивление, но и плохо скрытая – даже совсем не скрытая – радость.

Бриссо завоевал себе громкую славу среди парламентских краснобаев. Он очаровывал молодежь. Отблеск этих чар Аннета увидела во взгляде сына; она задрожала от страха. Но, слишком гордая, чтобы дать это заметить, слишком честная, чтобы умалить преимущества противника, она сказала:

– Да, это известное имя. Краснеть тебе не придется.

Она не успела вымолвить эти слова, как прочла на лице у сына вопрос:

«Почему же ты отняла у меня это имя?»

Но он ничего не сказал. Он встал и молча заходил по комнате. Она следила за ним взглядом. Она читала его мысли. И потеряла охоту защищаться.

К чему – если уж он не защищает ее?.. Она двинулась прямо навстречу опасности не для того, чтобы ее побороть, а для того, чтобы ее впустить.

Она спросила:

– Ты хочешь с ним познакомиться?

– Да.

– Что ж... Я еще не все сказала тебе. Он знает, что ты существуешь.

Что ты его сын. И, конечно, готов принять тебя как сына.

Марк запальчиво крикнул:

– И ты не сказала мне этого!

Аннета, очень бледная, закрыла глаза.

Потом снова открыла их и, глядя сыну прямо в глаза, сказала:

– Я дожидалась, чтобы ты стал мужчиной. И вижу, что ты стал им.

Марк не понял гордой горечи этих слов. Он спросил:

– Где он живет?

– Не знаю, но тебе легко будет найти его адрес.

Марк продолжал мерить комнату широкими шагами. Он уже не думал о ней.

Он думал только о себе. Он считал себя ограбленным.

И безжалостно бросил:

– Завтра же пойду к нему.

Откуда у юношей эта жестокость?... В своей комнате, наедине с самим собой, Марк понял, что был жесток, но он наслаждался этим. Он знал, что ранил существо, которое его любит и которое любит он, и его мучила совесть. Но острота раскаяния еще усиливала наслаждение. Он мстил. За что?

За то, что она причинила ему зло? Или за то, что любила его? Если бы она меньше любила его, он не так жестоко мстил бы ей. Он совсем не мстил бы, если бы не любил ее вовсе. Но она была перед ним безоружна. И он этим пользовался. В таких случаях оправдание – и тайное удовольствие – видишь в том, что вот, мол, я могу, когда захочу, положить конец этой игре. Но как часто бывает, что, раз начав, уже не можешь ее прекратить!

Аннета страдала... Она слишком сильно любила Марка. Да. Слишком эгоистично... А бывает ли любовь без эгоизма?

«Этого человека я создала из себя. Он – я. Можно ли забыть себя, любя его?... А надо забыть. Я была не в силах. Я сейчас не могу... И вот – кара...»

Она давно знала, что этот день наступит. И он наступил. Она слишком долго ждала. Боялась потерять сына, которого ревниво присвоила одной себе. И потеряла его. Какой-нибудь минуты оказалось достаточно, чтобы он ушел от нее. Ее охватил ужас. Ради минуты обладания и страстной надежды юноша может забыть целую жизнь, наполненную материнским самоотречением.

Она давно предчувствовала это, страшилась этого. Но действительность была еще хуже предчувствия... У него не нашлось ни единого слова нежности, ни единого жеста, в котором отразилось бы уважение, внимание. Он сразу вышвырнул ее за борт. Что для него прошлое? Он полон только завтрашним, днем... Она старалась представить себе это завтра и следующую за ним ночь, когда все рушится. И заранее, признавала себя побежденной.

Аннета даже не делала попытки бороться. Надо дать ему полную свободу!

Как он ни решит, она будет в его распоряжении. Если не в ее власти надолго удержать его, то помогать ему она будет до последней минуты.

Увидев его поутру, Аннета уже не возвращалась к тому, что было решено. Она приготовила ему лучший костюм, проверила, все ли в порядке, ненадолго вышла, чтобы подать завтрак. За завтраком (она заставила себя есть, чтобы ему не почудилось, будто она ищет в нем сочувствия, а он ел торопливо и жадно, полный мыслью о ближайших часах, которых он ждал с таким нетерпением!) она посоветовала ему пойти к Бриссо не на квартиру, а в его адвокатскую контору. Ее доводы были разумны; она говорила спокойно. Он согласился. Он был благодарен матери за то, что она, вероятно, насилует себя ради него. Но он ничем не выразил своей признательности.

Он не намерен был поддаться в эту минуту чувствам. Прежде всего надо увидеть

собственными глазами и принять решение... А что касается той, которая будет ждать и страдать, что ж, пусть страдает! – Часом больше или меньше – не все ли равно!.. Она привыкла! Потом он будет нежен...

Да, непременно, к какому бы решению ни пришел. А она после перенесенных страданий еще глубже насладится счастьем, которое он вернет ей... Теперь он был слишком уверен в своей власти над ней. Она может ждать... У него есть время!..

Рожэ Бриссо с 1900 года сделал блестящую карьеру. Нашумевшие дела, успехи на поприще адвоката, а затем в парламенте выдвинули его в первые ряды. В Палате он стоял на рубеже между двумя партиями – радикальной и социалистической, чутко прислушиваясь, куда ветер дует, всегда готовый перебраться с одного корабля на другой. Он несколько раз был министром; ему вручались всевозможные портфели: народного просвещения, труда, юстиции и даже одно время – морского ведомства. Как и его коллеги, он чувствовал себя на месте во всех министерских креслах; любой зад хорош для любого сиденья; в том ли, в другом ли ведомстве, машина одна и та же, как и приемы управления ею. Нужна сноровка, а все прочее – те, кем управляют, – мало что значит. В конечном счете самое важное – это аппарат.

Имея дело со столь разнообразными предметами, Бриссо обогатил свой идейный кругозор, или вернее свой словесный инвентарь, ничего не изучив глубоко: он был слишком занят произнесением речей, у него не оставалось времени слушать. Но говорил он очень хорошо. Впрочем, в одной области его познания значительно расширились: по части обработки и использования избирательного стада. В этом деле некоторые из государственных деятелей Третьей республики считались мастерами; они до тонкости изучили клавиатуру инструмента, на котором им приходилось играть, – массы, – и знали тайну каждого отдельного клавиша – слабости, страстишки, чудачества своих избирателей. Но никто не достиг в этом такой виртуозности, как почтенный Бриссо, никто не заставлял звучать так нарядно и красочно великолепные аккорды демократии, этой громкоголосой идеологии, прикрывающей, вызывающей и разжигающей добродетели народа и его скрытые пороки. Это был великий пианист парламента. Его партия – точнее, его партии (ведь он заигрывал с несколькими) – то и дело пользовались его талантом, заставляя его давать концерты в Палате, то есть произносить там блестящие речи; эти музыкальные номера, значившиеся на больших белых афишах (которые выпускались по единогласному решению Палаты за счет избирателей), облетали всю Францию. Он никогда не уклонялся; он постоянно был во всеоружии; он одинаково авторитетно говорил на любую тему – с помощью, разумеется, энергичных и осведомленных секретарей (в его распоряжении был целый отряд таковых). Его преданность твоей партии – партиям – и славе могла идти в сравнение только с мощью его легких. Они были неутомимы.

Это замечательное усердие и не менее замечательная сила голоса пригодились Республике во время мировой войны. Она их мобилизовала. На Рожэ Бриссо была возложена миссия явить миру и французскому народу простейшие истины, во имя которых они обязаны умирать. И с этой миссией его отправляли в далекие поездки. В первые дни войны он для вида облачился в форму кавалерийского майора Запаса; он даже был в этом качестве прикомандирован на некоторое время к ставке главнокомандующего, прочно обосновавшейся в Компьенском замке. Но ему намекнули, что он мог бы с большим успехом служить родине в американских траншеях, и он надсаживал там свою неутомимую глотку. Впрочем, во время своих многочисленных поездок – по морю и суше, на пути в Лондон или Нью-Йорк, в Турцию или Россию, почти во все нейтральные и союзные страны – он порой подвергался серьезным опасностям. Нельзя было отказать Бриссо в храбрости; он так же усердно дрался бы в Аргонах и во Фландрии. Но он понимал, что талант возлагает на него другие обязанности. Чтобы сберечь этот талант для нации, он позволял предохранять свою особу от опасности. Зато, служа родине языком, он щедро расточал свои силы. Где только не гремели раскаты его голоса! Его слышали в Лондоне, Бордо, Чикаго, Женеве, в Риме и даже, до революции, в Санкт-Петербурге, во всех городах Франции – на фронте и в тылу, на

панихидах и юбилеях. За границей он слыл воплощением французского красноречия. Он принадлежал к великому кабинету министров, во главе которого стоял Клемансо. Они терпеть не могли друг друга. Бриссо не выносил бесстыдства и особенно беспринципности, которыми славился человек с монгольским лицом. А Клемансо глумился над «громкоговорителем»:

«Заткнись, деточка-Добродетель!...»

Но вражда умолкла, когда началось вторжение. И вчерашние соперники, объединив свои знания и поделив между собой пирог, образовали сияющее созвездие – Мильеран и Бриан, Бриссо и Клемансо – вокруг неподвижного светила, главной оси Реванша, крючокотвора Пуанкаре. О незабвенные, так быстро отошедшие времена священного единения, когда политические вожаки всех партий и даже беспартийные, подобно сынам Эймона, взобрались все вместе на круп старой боевой и выючной лошади, Франции, полные решимости держаться до тех пор, пока она не победит или не околеет!

Карьера Бриссо была без единого пятна, если не считать тех, которыми завистливые соперники старались замарать прошлое великого оратора, то есть нескольких вдохновенных и, надо сказать, опрометчивых взлетов в высь международного пацифизма. Но тому, кто постоянно говорит, неминуемо приходится говорить обо всем, и нельзя требовать, чтобы его притягивали к ответу за каждое произнесенное слово: его разорвало бы на части, это было бы хуже четвертования. Кроме того, пацифизм, как показывает само слово, есть снадобье, которое в мирное время разрешается употреблять как вполне безвредное, – оно становится запретным с той минуты, когда затрубила труба войны: ведь только тогда оно могло бы оказать свое действие.

Великому оратору, разумеется, нетрудно было доказать это всем, за исключением его бессовестных врагов, – их ничто не могло убедить, даже чисто корнелевский пафос, с каким Бриссо разоблачал своих вчерашних соратников, закоренелых пацифистов, этих переодетых немцев, имевших дерзость продолжать свою игру во время войны, рискуя взбаламутить утомленный народ и отнять у нас дорогостоящие плоды победы. Такова уж судьба великих людей – их преследует клевета; Бриссо был достаточно силен, чтобы не огорчаться наветами. Он смеялся над ними, смеялся тем громким галльским смехом, который его почитатели сравнивали со смехом Дантона (сравнение неуместное: базарный стиль и бесшабашный тон, надо сказать, были не по вкусу Бриссо). К тому же он был незлопамятен и готов был облагодетельствовать своих врагов. Вся суть для него заключалась лишь в том, чтобы предвзательно надуть их.

В земной юдоли ничто не дается даром. Бриссо расплачивался дома за успехи на политическом поприще. В семейной жизни он не был счастлив.

Женщина, на которой он женился, богатая, белолицая, дебелая, малокровная, – пулярка, начиненная солидными процентными бумагами, – была совершенно непригодной спутницей жизни для такого человека, «как Бриссо. Она не блистала ни умом, ни душевными качествами. Лишенная индивидуальности и, к несчастью, того умения держаться в тени, которое иногда выручает ничтожество, она заслоняла горизонт своим никчемным существованием. Она вечно жаловалась и ничему не радовалась, даже талантам и славе своего мужа. Она отличалась несчастной и, без сомнения, болезненной склонностью замечать только темные стороны своей жизни, столь богатой преимуществами. Эта женщина брюзжала на все и на вся. Это стало для нее чуть ли не призванием. Впрочем, она ровно ничего не делала, чтобы хоть что-нибудь изменить в этой тусклой жизни. Казалось, от нее исходит, все заволакивая, липкий серый туман или октябрьское ненастье. Достаточно было подойти к ней, чтобы схватить насморк. Ясно, что» в этом климате здоровяк Рожэ Бриссо чувствовал себя неважно. Он старался по возможности урезать сроки своего пребывания в нем и спасался бегством, громко чихая. Он отправлялся на поиски более благодатного климата, и слухи об его успехах по этой части еще усиливали тоску и мрак, воцарившиеся в его доме.

Однако эти излишества не мешали Бриссо, человеку долга, исправно выполнять свои

обязанности по отношению к супруге. Не он был повинен в том, что скупая жена принесла ему в дар только одну дочь. Бриссо ее обожал. Но девчурка – забавная, смешливая, крепкая, с пухлыми щечками, с веселыми глазками – умерла после пустячной операции, вернее от последствий анестезии: она не проснулась. Ей уже минуло тринадцать лет. И муж и жена обезумели от горя. На этот раз у г-жи Бриссо были причины пенять на судьбу. Она повергла свою скорбь к подножию алтарей, понесла ее в исповедальни. Она ударилась в ханжество. Оно плохо сочеталось с политической карьерой Бриссо: мода на клерикализм еще не вернулась! У него, бедняги, не было бога или посредников бога, которые могли бы утешить его. Он был сражен и горько плакал перед портретом своей девочки, стоявшим на его рабочем столе. Война отвлекла его. Напряженная работа была для него прибежищем, где он спасался от своих мыслей. Спасался от своего дома, от жены, от умершей малютки. Он искал забвения и в вихре удовольствий растрачивал избыток сил, которые не мог израсходовать в своей политической деятельности. Лстецы видели в этом еще одну черту сходства с Дантоном и его кутежами. Но Бриссо не находил удовлетворения в этих кутежах. Это был прирожденный семьянин, как почти все французы; он нуждался в личных привязанностях, и ничто не могло ему заменить их. Честолюбие, слава, наслаждение, на которые, по-видимому, так падки французы, для них, в сущности, только Ersatzы – Бриссо горевал о том, что у него нет сына.

Он знал, что сын Аннеты – его сын. До смерти дочери он предпочитал не останавливаться на этой мысли. Воспоминания об Аннете были не из приятных. Он старался их отгонять. Но они оставались, питаемые глухой обидой; это был рубец от незажившей раны, нанесенной самолюбию, а быть может, и любви. Эта женщина исчезла с его горизонта, но несколько раз он не мог удержаться, чтобы не узнать окольным путем о ее судьбе. Хотя он и не желал ей зла, но ему не было неприятно услышать, что ей не повезло в жизни. Обратись она к нему, он охотно пришел бы ей на помощь, но он слишком хорошо знал, что никогда не получит этого тайного удовлетворения.

За все пятнадцать лет он каких-нибудь два-три раза встретил ее на улице, вместе с сыном. Она не делала попытки уклониться от встречи. Но он притворялся, что не узнает ее. У него остался от этого мутный осадок – чувство, в котором он не хотел разбираться... Какое ему дело до этой полузабытой истории, до этой женщины, которая ему принадлежала и стала чужой, до этой безвестной, случайно промелькнувшей в его жизни личности, – какое ему дело до нее, ему, у которого было все?... О боже! Владеешь всем, думаешь, что ты богат и силен, – и не можешь уйти от своего прошлого, из глубины которого вдруг подымается тоска, жгучее сожаление о каком-нибудь потерянном пустяке! И этот пустяк становится всем. А все становится ничем. Это как царапина, незаметная трещина в сосуде жизни, но через нее все уходит, все утекает...

К счастью, эти отзвуки прошлого давали о себе знать не часто, и такому неискреннему человеку, как Бриссо, легко было уверить себя, будто он их не слышит. Когда оставляешь позади себя бесславный час, то лучше всего сказать себе, что его не было. И Бриссо окончательно выбросил бы его из пестрой панорамы своей жизни, если бы от него осталась лишь молчаливая тень этой женщины, сплетенная с его собственной тенью. Но был еще кто-то, кого нельзя было выбросить, – сын.

С тех пор как девочка умерла, живой сын преследовал Бриссо. Он беспрестанно сталкивался с ним на путях своей мысли. Он не знал его в лицо.

При встречах с Аннетой он не успел разглядеть его и не знал, насколько точен схваченный на лету образ. Однажды в автобусе ему померещилось, что мальчик, сидевший через несколько рядов от него, – тот самый, которого он встречал с Аннетой; глаза мальчика, скользящие по его лицу, усталились на красивую соседку, а Бриссо наблюдал за ним с нежностью во взгляде; да, это, должно быть, его сын... Но мог ли он быть в этом уверен?

Как ему нужен был этот сын! Ради себя и своего дома, ради утоления своей потребности в любви, ради счастья, такого естественного и законного, передать родному по крови свое имя, завоеванную славу, достояние, призвание! Ради права ответить на вопрос:

«Зачем?» – зловещий вопрос Харона, который отказывается переправлять на другой берег человека без сына, род без будущего, того, кто умрет и никогда не возродится...

Но все эти горести люди обычно хранят в себе, и никто не узнал бы о них, если бы в 1915 году Бриссо случайно не встретился с Сильвией на веселой вечеринке, в обществе очень милых особ – благопристойных, но падких на развлечения дам, из которых ни одна не являлась профессионалкой в этой игре (было это в ту довольно короткую, но бурную полосу жизни Сильвии, когда она «веселилась»). Со спутником Сильвии Бриссо был знаком. За ужином мужчины обменялись дамами. Бриссо не узнал бы Сильвии, но та взяла на себя труд освежить его воспоминания. Эта встреча неожиданно для него самого взбудоражила его, хотя в былые времена он не особенно дорожил бы знакомством со свояченицей-портнихой: оно было ему совсем не на руку. Сильвии это было понятно, но приключение забавляло ее. Собеседник Сильвии находился в таком состоянии, когда человек не вполне владеет собой и выбалтывает то, о чем следовало бы умолчать. Сильвия его расшевелила. Бриссо расчувствовался. Он с жадным любопытством расспрашивал ее об Аннете, о Марке. Не утаив своей обиды на Аннету, до того жгучей, что поддакивавшая ему Сильвия без труда уловила в его словах досаду и сожаление, он проявил живой интерес к ребенку. Он осведомился о его здоровье, учении, успехах и средствах к существованию. Сильвия гордилась своим племянником и не пожалела красок на его портрет. Это еще сильнее разбередило в Бриссо отцовскую жилку. Он по секрету сообщил Сильвии, что был бы рад повидать сына, иметь его возле себя, привязать к себе, и выразил желание обеспечить его будущность.

На следующий день Сильвия все это пересказала сестре. Аннета побледнела. Она велела Сильвии ничего не говорить Марку. У Сильвии не было ни малейшего желания посвящать его в эту тайну; она ревновала Марка не меньше, чем сестра, и боялась потерять его.

Она не обманывала себя:

– Как же, стану я ему говорить! – сказала она. – Чтобы он нас бросил!..

Аннета рассердилась. Она не допускала мысли, что «окопачивает» мальчика. (Сильвия, посмеиваясь и без околичностей, употребила это слово: «Что же тут такого? Каждый за себя!..») Аннета старалась удержать сына только для того, чтобы его спасти. Она хотела оберечь сына от всего, что могло в нем подточить идеал, к которому она стремилась, воспитывая его... Но она прекрасно понимала, что защищает и себя! Пятнадцать лет пестовать его ценою тяжелой борьбы и страданий, более драгоценных, чем радости, сделать из него человека – и увидеть, что его отнял другой, тот, кто не нес забот и пожинает лишь плоды, тот, кто никогда не думал о своем долге, а теперь предъявит свои права, права крови... Враг! Никогда!

– Я несправедлива?.. Пусть! Несправедлива, несправедлива... Да, может быть!.. Это ради моего сына, для его же блага!..

Его благо – вот о нем-то юный Марк и взялся судить сам, и только сам!

Он не прощал другим, что они навязали ему готовое решение.

В сердце у него все еще горела обида на мать, когда он холодно расстался с ней ради странной затеи – пуститься на поиски отца. Он волновался сильнее, чем это могло показаться с первого взгляда. Что ждет его?

Чем кончится для него этот день? Марк был далеко не спокоен. По мере того как он удалялся от дома, им овладевал соблазн повернуть обратно. Теперь его замысел казался ему дерзким. Но он говорил себе:

«Пойду! И если нужно, буду дерзок до бесстыдства!..

К черту стыд!.. Я хочу увидеть его. И увижу».

Он был уже недалеко от указанного в адресе места, как вдруг взгляд его упал на афишу... На ней – имя, его имя, имя того, кого он искал! Это было объявление о митинге: выступит с речью Рожэ Бриссо.

Марк отправился по указанному в афише адресу.

Это был зал манежа. До начала оставалось несколько часов. Чем возвращаться домой, он предпочел посидеть на скамье, на улице; повернувшись спиной к прохожим, он углубился в размышления. Как он подойдет к тому, голос которого сейчас услышит? В какой момент? О чем он заговорит? Не нужно никаких предисловий. Он прямо заявит:

«Я – ваш сын».

Когда он выговаривал эти слова, язык прилипал у него к гортани от ужаса. И – кто бы поверил? – несмотря на волнение, он вспомнил господина де Пурсоньяка, этого галла в миниатюре! И рассмеялся. Хитрость подавленного инстинкта, который ищет разряда... Теперь его назойливо преследовала, сплетаясь с взволнованными чувствами, мысль о комической стороне происходящего. Он отправился, насвистывая, выпить чашку черного кофе. Но с угла террасы, где он расположился, не терял из виду дверь манежа. И как только она открылась, вошел чуть ли не первый.

Он прошел в первый ряд, поближе к эстраде. Но эти места были забронированы. Его выставляли раз, другой, третий – он уходил и ушел бы еще столько раз. сколько понадобилось бы, но упорно возвращался, пока, наконец, не утвердился на облюбованном месте. Чтобы лучше видеть, он стоял, прислонившись к литой колонне, у самой трибуны, когда появился Бриссо.

Марк, гордившийся своей бесчувственностью, был так взволнован, что заметил Бриссо лишь тогда, когда тот уже поднялся на трибуну. Он ощутил толчок, как бывает, когда вдруг совершается долгожданное событие: оно совсем не такое, каким мы воображали его, оно нисколько не похоже на нашу мечту, но его реальность делает его таким отчетливым, что все воображаемое рушится, лопнув, как мыльный пузырь. Уже не приходится раскидывать умом: «Таков ли он?... Или, может быть, не таков?..» Он существует, он перед тобой, он облечен в кровь и плоть, как и ты, и изменить его уже не в твоей власти, таким он и останется на веки вечные...

«Он!.. Этот человек!.. Мой отец!..»

Какой удар!.. Сначала внутренний голос говорит тебе: «Нет!» Бунт.

Нужно время, чтобы привыкнуть... И вдруг решение принято. Что тут спорить! Факт есть факт. Я принимаю его. Ессе Ноте!...⁷⁵

«И этот человек – я... Я?..»

Марк с жадным любопытством впился в это лицо, рассматривал каждую черту в отдельности, старался найти в нем себя...

Этот высокий толстяк с широким бритым лицом, красивым лбом, прямым носом – крупным, с алчными ноздрями, готовыми вдыхать и аромат роз и запах навоза, с мясистыми щеками и подбородком, представительный – голова откинута, а жирная грудь выпячена, – помесь актера, офицера, священника и фермера-дворянина...

Он пожимает руки направо и налево, посылает приветствия в зал знакомым, попадающим в поле его зрения, когда он обзревает публику, и в то же время слушает, по-видимому, тех, кто стоит близко к нему, расточает улыбки, смеется, отвечает весело, наугад, не задумываясь, то добродушно, то льстиво, то развязно, каждому в отдельности и всем вместе... Гул, стоящий в зале, – точно вопит орава взрослых детей, – мешает расслышать его слова... Рокот, напоминающий гудение колокола... Бриссо – в своей стихии...

«Я! Я!.. Вот это! Эта гора мяса! Этот смех, эти рукопожатия!..»

Маленький, худощавый Марк, бледный и гордый, как аркольский барабанщик, сурово взирает на этого дородного, поражающего избытком сил человека. Однако он красив! От него исходит обаяние, которому Марк невольно поддается. Но он настороже – принимает. Не может определить запах.

Ждет, чтобы тот заговорил.

Бриссо начинает говорить... И Марк сдается в плен.

⁷⁵ Се человек (лат.).

Как всякий умелый оратор, Бриссо далеко не сразу показывает всю силу своего искусства. Он настраивает инструмент. И говорит спокойно, просто, *sotto voce*.⁷⁶ Он знает, что для подлинного виртуоза одно из средств успокоить бурлящий зал, – это играть *piano*. Иногда артист сразу выступает во всем блеске своего мастерства и начинает с мощных аккордов, но подыматься ему уже некуда, и внимание публики рассеивается: непрерывный блеск утомляет, ее. Бриссо подходит к вам, как славный малый, душа нараспашку, вроде вас, вроде меня, как ваш старый знакомый: вы протягиваете ему руку, и когда он вами завладел, вот тогда... тогда вы увидите!..

Марк ничего не видел. Он упивался. Сначала он не разбирал слов. Он слушал голос. Это был теплый, душевный голос, вызывавший представление о благоухающей земле Франции, о запахах родных полей. Марк узнал раскатистое бургундское «р», которое мать так настойчиво старалась искоренить у него. Это была тайная нить, протянувшаяся между ними. Печать рода, заложенная в строении тела, самая неизгладимая: язык. Простонародные интонации, мужественные и нежные, обнимали его, как отец обнимает ребенка, посадив себе на колени. Он был проникнут искренней благодарностью. Ему было хорошо. Он был счастлив. От удовольствия он улыбался тому, кто говорил...

И Бриссо приметил юношу, который пожирал его глазами.

У него была привычка во время речи отыскивать в зале одного или двух слушателей, которые служили для него зеркалом его красноречия – В них он слушал себя. Он оценивал действие своих слов, их резонанс. Быстро, на лету схватывая эти указания, он строил в соответствии с ними свою речь, которую обыкновенно импровизировал по заранее составленному плану, за исключением нескольких больших кусков, своего рода каденции, напоминающих рокот оркестра в концертах... Взволнованное лицо маленького аркольского барабанщика, не сводившего с него блестящих, смеющихся глаз, было великолепным зеркалом.

Видя себя в этом зеркале, Бриссо загорелся...

А зеркало вдруг потускнело...

Марк стал вслушиваться в слова.

Бриссо сам же и развеял колдовские чары. Следя за полетом его красноречия, юноша увидел своим зорким глазом, что крылья у оратора приставные. Восторг публики, которая слушала его, затаив дыхание, заставил Марка встряхнуться и побороть волнение. Он по природе своей склонен был обороняться от заразных настроений толпы. Ему стало досадно, что он, как эта толпа, позволил себе увлечься прекрасным голосом, он весь сжался и с этой минуты стал подвергать строгой проверке все, что излетало из уст оратора, и все движения своего сердца.

Завоевав аудиторию, Бриссо начал трубить о «бессмертных принципах».

Он воспевал героическую миссию Франции. Это была вечная наковальня, где выплавлялись миры, жертвенный алтарь, святое причастие народов. Каталлаунские поля, Пуатье, Марна и Верден, Петен, Байар, Манжен, Карл Мартелл, Жоффри и Орлеанская дева... Она, неутомимая, отдает свою жизнь ради спасения человечества. Принесенная в жертву двадцать раз, она двадцать раз возрождается. Одна во всем мире, она защищает мир, защищая себя...

Бриссо говорил о союзниках Франции, опоясавших се золотым и железным кольцом. Их любовь окружает Францию, как паладины окружали Карла Великого. Бриссо объездил союзные страны. Он мог говорить всем о высоком бескорыстии братской республики со звездным флагом: ничего не требуя для себя, она спешит на помощь, чтобы уплатить долг Лафайету и отомстить за поруганное Право... Великодушная Англия... Неподкупная Италия... Невиданное со времен крестовых походов зрелище!.. Но если в эпоху крестовых походов борьба шла за гробницу Христа, величайший крестовый поход, происходящий в

⁷⁶ Вполголоса (итал.).

наши дни, рождает образ нового Христа, ломающего надгробную плиту, которая придавила порабощенное человечество... И прочее и тому подобное...

Ужасающая мерзость, в которой повинна и за которую ответит только чудовищная империя бошей будет стерта с лица земли вместе с ней. Только от нее, на этого вертепа, исходят все политические и социальные преступления: от ее гнусных деспотов и безнравственной массы, от ее юнкеров, лжесоциалистов, рабовладельцев, Пикрохолов, Круппа, Гегеля, Бисмарка, Трейчке, Вильгельма Второго. Свирепость дикого зверя, бред Сарданапала, Ницше, который считает себя богом и лает, ползая на четвереньках. Вопли народов и дым пожарищ. Невинная Бельгия и святая Польша. Реймс, Лувен. черные коршуны, летающие над беззащитными городами и безнаказанно истребляющие женщин и детей... Но белые птицы Франции бросаются на хищников, разгоняют их стаи летят через Рейн, обрушивая кару на виновную нацию... Грядет освобождение. Народы Европы, Азии, Африки, сбросив оковы, под благодетельным руководством свободной Франции и свободной Англии припадут к роднику свободы. Рухнет последняя империя на континенте. Республика взмахивает крылами. Ангел Рюда, Гений, парящий над Триумфальной аркой на площади Звезды... Сыны отечества, вперед!..

Я только что с фронта. Какое чудо! Эти дети смеются. Умирующие смеются. Они говорят: «День мой был недолог, но богат! Он не потерян даром...» Им предлагают эвакуироваться в тыл. Они протестуют: «Нет! Привяжите меня к колючей проволоке! Я буду живой преградой...»

Марк краснел от стыда, его взгляд стал холодным... Он «понял» их, этих быков!.. Пустые слова, избитые приемы, гнусная ложь!.. Он пристально, с холодным презрением смотрел на оратора, а тот, обливаясь потом, все извергал потоки красноречия. И Бриссо бессознательно почувствовал, что в душе этого слушателя происходит драма. Он снова расставляет сети и пытается поймать ускользнувшую дичь. Его смущает этот взгляд, который судит его, он уже не смеет смотреть в эти глаза. Но продолжает вопить:

– Франция... Единодушная Франция...

И, не поддаваясь смущению, со всем искусством опытного мастера разворачивает свои арпеджио. Но он озабочен, в какой-то клетке его мозга отпечатлелся образ юноши; этот знакомый образ; он силится вспомнить, где видел его, но, увлеченный течением стройного периода, не может остановиться, чтобы идти по следам воспоминания.

Под конец – мощный аккорд, стократно повторенный рукоплещущим залом.

Все стоят, кричат, вызывают оратора, бросаются к эстраде, чтобы пожать руку великому гражданину. Все раскраснелись от возбуждения, говорят, смеются, а кое-кто и прослезился. Бриссо, счастливый, размякший, косится в сторону упрямого слушателя:

«Признал ли он себя побежденным?..»

Но Марка уж нет. Он исчез.

Он не в силах был вытерпеть до конца смрад этого красноречия. Он внезапно уходит. Но не успевает выйти за порог, как разражается буря аплодисментов. Он оборачивается, презрительно ощерив рот. Смотрит на обезумевший от восторга зал, на триумфатора. Выходит на улицу и в порыве отвращения плюет. Он размышляет вслух. – Он дает зарок:

– Клянусь, гнусная толпа, что никогда не заслужу твоих аплодисментов!

В эту минуту Бриссо, который громко смеется в зале и болтает со своими поклонниками, выхватывает, наконец. В цепи своих воспоминаний звено, связанное с преследующим его образом. Он узнает юношу, с которым встретился в автобусе.

Марк шел большими шагами. Он бежал. Он бежал от того места, где его постигло такое разочарование. Но разочарование бежало за ним по пятам...

Боже мой! Как изменился мир с утра, когда он проделывал этот самый путь!

Он не позволял себе надеяться, но какая светлая надежда окрыляла его тогда! Какая радость, какое трепетное ожидание человека, с которым он встретится! Он нес этому человеку такую потребность любить, восхищаться!

При первых звуках его голоса он готов был подбежать к нему, расцеловать его...

Расцеловать?.. Фу, какая гадость!.. Он отер губы, как будто они коснулись Бриссо!

«Омерзительный говорун, фарисей, ханжа!.. Враль, враль, враль! Дурачит Францию и самого себя... Франция-это ее дело, раз она любит вранье, раз она хочет быть одураченной!.. Но себя!.. Тут уж прощенья нет! Можно ли опуститься ниже?.. Как он мне противен, как противен я самому себе!

Ведь я – его отпрыск, сын этой лжи, эта ложь во мне!..»

Он бежал, как сумасшедший. Он подошел к Сене.

(Уклонился над парапетом набережной. Ему хотелось отмывать, отмывать свое тело-до крови, – лишь бы отскрести эту вонючую грязь. Он не мог рассуждать, он был безжалостен, как только может быть безжалостен в порыве страсти семнадцатилетний юноша. Ни на одно мгновение не пришло ему в голову, что этот человек может быть добр, может быть слаб, как все обыкновенные люди, что, узнай он своего сына, он бы души в нем не чаял.

Ведь, подобно всем обыкновенным людям, он – хранит под грудой пороков, лжи, грязи священный тайник, где живут чистые чувства, нетронутая правда. Марк не думал о том, что это поколение старых буквоедов, фразеров, пустозвонов на античный манер (подделка под античность, галло-римский хлам!) с детства привыкло к суесловию, что оно стало жертвой этой привычки, как становятся ею комедианты... Commediante... tragediante... Оно уже не в состоянии, даже если бы захотело, вернуться к правде жизни, отыскать эту правду под придушившей ее глыбой слов.

Но этого-то Марк и не мог простить! Юноша, в котором кипит здоровая кровь, выходя на дорогу жизни, предпочитает даже преступление отвратительному бессилию и его спутнику-болтовне! Если преступление убивает, то бессилие мертворожденно...

«Здоровая кровь...» А ведь в нем, Марке, кровь этого лжеца.

«Нет!..»

Он все это знает, чувствует, он узнает в себе эти уловки, он спохватывается, что воспроизводит жесты, интонации, которые подметил у отца, он вспоминает, что щеголял ими прежде, чем узнал о существовании подлинника, который он копирует... Как бы решительно ни вытравлял он из себя наследие этого человека, он все же несет его в себе...

«Нет! Нет!.. Мы ничем не связаны! Я ничего не возьму от него! Если, помимо моей воли, я окажусь его копией, если он повторится во мне, если я буду продолжать его, – я убью себя!»

Он блуждал несколько часов, усталый, голодный. Наступил вечер. Он и не думал возвращаться домой. Как показаться матери? Поведать ей о своем разочаровании?..

Прошел тяжелораненый, с изуродованным лицом с пустой глазницей и запавшей щекой, как будто опаленный расплавленным металлом. Простая женщина, седоволосая, вела его за руку, не сводя с него любящих и скорбных глаз; он прижимался к ней...

И в лихорадочно кружившихся мыслях Марка возникла она – Мать... Ее гордый образ, ее молчание, ее жизнь, богатая испытаниями и ничем не опошленными страстями, ее нетронутая, не изъеденная ложью душа, ее отвращение к словам, глубина ее одиночества на жизненном пути, который она прошла без спутника, и эта неподкупная воля, против которой он взбунтовался, которую он проклинал и которую теперь благословляет, ее нестигаемый закон правды... Как она выросла рядом с человеком, которого он сегодня узнал и отринул, человеком толпы!.. И теперь ему стала понятна и дорога ревнивая страстность, которую она проявила, оспаривая его у отца, ее несправедливость.

«Несправедлива! Несправедлива!» «Целую руку твою... Будь благословенна!»

И вдруг его хлестнуло по лицу воспоминание о том, как он был жесток с ней вчера вечером, сегодня утром... И он бросился домой. К ней. Он заставил ее страдать. Он исправит свою вину. Слава богу, время еще есть...

Он уже вбежал по ступеням. Привратница окликнула его:

– Ваша мама была на волоске!.. Она разбилась...

Он не дослушал. Помчался, как безумный, вверх по лестнице.

Открыла ему Сильвия. У нее было суровое лицо... Он спросил задыхаясь:

– Что с мамой?..

Она сказала:

– Соизволил, наконец, вернуться?.. Тебя ждали целый день.

Марк бесцеремонно оттолкнул ее и прошел.

Он открыл дверь в комнату матери. Она лежала с перевязанной головой.

Он не то пролепетал, не то крикнул что-то. Аннета, увидев, что он взволнован, быстро проговорила:

– Пустяки, мальчик... Это все по собственной глупости. Я упала.

Но встревоженный Марк ощупывал ее, трепеща.

Сильвия отстранила его:

– Да оставь же ее в покое! Так ты ее еще больше волнуешь!

И она не без злорадства стала рассказывать о происшедшем. Аннета, вглядываясь в лицо сына, поправляла ее, стараясь ослабить впечатление от ее слов, пыталась шутить, во всем винила себя. (Вот чего Сильвия не рассказала ему.).

После ухода сына Аннета совсем обезумела. Она твердила:

«Он уйдет от меня».

Она уже ни на что не надеялась. Чтобы убить время, она заставила себя работать.

«Уйдет или нет, а раскисать нельзя».

И Аннета, как ни была разбита, задала себе урок: сделать генеральную уборку. Налощила пол, навела блеск на медную посуду и взялась за окна.

Стоя на маленькой стремянке, она протирала стекла открытого окна, выходившего на улицу, потом стала прикреплять занавески... Лестница ли соскользнула, или Аннета на несколько секунд потеряла сознание? Что это было: следствие переутомления и тревоги или, быть может, один из тех странных обмороков, какие бывали у нее иногда и проходили так быстро, что она не успевала их заметить? Очнувшись, Аннета увидела, что лежит на полу.

Она чуть не выпала на улицу, но лестница скользнула, повалилась набок и закрыла окно, разбив стекло. Лоб и рука у Аннеты были в крови; когда она попыталась подняться, то поняла по боли в лодыжке, что у нее вывихнута правая нога. На звон разбитого стекла, осколки которого посыпались на улицу, прибежала привратница. Она позвала Сильвию.

Аннете было больно, но сильнее боли была в ней злость на неожиданное происшествие. Именно сегодня несчастный случай был для нее непозволительной роскошью. Сегодня ей было особенно тяжело нуждаться в помощи, а еще тяжелее производить впечатление, будто она молит Марка о жалости: она считала это гнусным, оскорбительным и для себя и для него. Аннета напрягала все силы, чтобы остаться на ногах, но боль взяла верх, силы изменили ей, она дала уложить себя. Это было для нее унижением. Она повторяла:

«Что он скажет, когда придет?»

Сильвия вырвала у измученной сестры терзавшую ее тайну. Она узнала, что Марк решил повидаться с отцом, и нашла, что глупо было со стороны Аннеты все открывать сыну, – она забыла, что сама приняла косвенное участие в этом деле. Но было бы неуместно донимать сестру упреками в такую минуту, и весь ее гнев обратился на Марка. Она, как и Аннета, нисколько не сомневалась, что мальчик расстанется с ними. Она знала, что он себялюбив, тщеславен и, не колеблясь, ради собственного удовольствия, поступится другими. От этого она любила его не меньше. Даже еще больше.

Она узнавала в нем себя. Вот почему она ему не прощала. И никогда не простит, если он расстанется с ними. Если?.. Дело уже сделано! Раз его до сих пор нет, ясно, что он остался у Бриссо, что он у него обедает.

Она не допускала никаких уважительных причин этого опоздания, никаких случайностей. Она была несправедливее, чем Аннета и Марк, вместе взятые.

Теперь, когда Марк пришел, неприязнь сквозила в каждом ее взгляде, в каждом слове. Марк, не отличавшийся терпением, весь ошетинился, отвечая враждой на вражду. Но Аннета в своем смирении перед сыном думала только о том, чтобы ее простили. Можно было подумать, что она заболела по своей вине. Тон Сильвии коробил ее больше, чем Марка. Она

перебила ее.

– Полно, полно!.. – сказала она. – Не надо говорить обо мне! Это неважно...

А что же важно?.. Марк знал. Аннета тоже. Да и Сильвия знала. Но она заупрямилась – не уходила, а Марк не хотел говорить в ее присутствии.

Аннета молила ее взглядом, Сильвия прикидывалась, что ничего не замечает... И вдруг швырнула полотенце, которое было у нее в руках, молча поднялась и ушла.

Мать и сын остались с глазу на глаз. Они ждали. Как и с чего начать?

Марк смотрел на Аннету. Она избегала его взгляда; она боялась, что ее глаза скажут все, и не хотела этого, не хотела оказывать давление на сына.

Марк шагал взад и вперед по комнате. У него перехватило дыхание, он не мог начать рассказ о пережитом за день. Он еще раз бросил взгляд на неподвижно распростертую мать, смотревшую в окно. Остановился... Подошел к ней, бросился на колени, прижался щекой к одеялу. Целуя прикрытые ноги Аннеты, он стиснул ее руки, вытянутые вдоль тела, обеими руками и сказал:

– Ты мне отец и мать. Аннета отвернулась к стене и заплакала.

ЭПИЛОГ

Ты владеешь кораблем Человечности.

Переплыви же реку Скорби!

Безумец, теперь не время спать!..

Открыты все затворы, все шлюзы. Без конца текут людские волны. Ушли уже двадцатилетние. Призваны девятнадцатилетние. Завтра будут взяты восемнадцатилетние. На очереди Марк.

Об этом думали и мать и сын. Но не говорили. Аннету пугала не только война, ее пугало молчание Марка. Она боялась узнать, о чем он думает. А если боялась – значит, знала.

Кому поведать свой страх? Если бы он касался только ее, она затаила бы его. Но дело касалось Марка. С кем посоветоваться? С Сильвией? Та сразу по своей привычке воскликнула:

– Война? Война кончится меньше чем через полгода. Боши выдыхаются.

Аннета возразила:

– Это ты говоришь каждые полгода.

– Но теперь это уж ясно как день, – уверенно сказала Сильвия.

– Твоей веры мне недостаточно, – сказала Аннета.

– Да и мне, раз на карте судьба Марка, – сказала Сильвия. – Пока решалась судьба других, можно было обманываться: это было не так уж важно.

Но когда настал черед нашего мальчика, ошибка – это преступление. Правда твоя. Что, если война затянется?.. Разберешь разве этих идиотов? Думаешь, дело подходит к концу, а оно начинается сначала. Вот уж и янки вступили в хоровод! А потом явятся Китай и папуасы! Ну и пусть бы себе плясали на здоровье! Но наш Марк не будет участвовать в этой пляске!

– Каким образом?

– Не знаю. Но они его не возьмут. Если война пожирает наших мужей, друзей, любовников, на это еще можно согласиться: они свое от жизни взяли! Но наше дитя – оно наше, для нас, оно у меня, я его держу и никому не отдам...

– Все матери отдают своих сыновей.

– А я своего не отдам.

– Своего?

– Нашего. Он принадлежит нам обоим!

– Какими же средствами ты удержишь его?

– Средств тысячи.
– Назови хоть одно.
– У нас есть друзья... Скажем, твой Филипп Виллар... ведь он теперь военный хирург, генеральный инспектор армии!.. Ему ничего не стоит найти для Марка безопасное местечко.

– И ты думаешь, я обращусь к нему с такой просьбой?

– А почему нет? Тебе совестно? Какая гордая! Я бы не постеснялась!..

Если бы это понадобилось для спасения моего мальчика, ты думаешь, я бы не отдалась первому встречному?

– Нет той гордости, истинной или ложной, – сказала Аннета, – которую я не попраля бы ради своего сына!.. Но ради сына, ради его блага.

– А это не его благо?

– Его благо не может быть в том, чтобы я себя обесчестила. Ведь я – это он. Он не простил бы мне этого. И я не простила бы себе такой унижительной для него попытки.

– Выходит, что спасти – значит унижить его?

– Если бы меня спасли такой ценой, я почувствовала бы себя униженной.

Сильвия рассердилась.

– Хороша мать!.. Плевать мне было бы на то, унижен он или нет, простит или нет. Лишь бы только его спасти!.. Ладно! Если ты этого не сделаешь, так сделаю я...

Аннета крикнула:

– Я запрещаю тебе!

– Ты ничего не можешь мне запретить.

– А ты думаешь, этого достаточно – избавить его от опасности?

– Чего же ты еще боишься? Аннета боялась, что Марк сам накличет на себя беду.

Марк запирался со своими книгами, думами. Несмотря на душевную близость, которая теперь связывала сына с матерью, Марк проводил дни у себя в комнате молча, и Аннета уважала его одиночество. Она ждала, когда он придет к ней сам. Она понимала, какой глубокий процесс совершается в нем. Процесс созревания и очищения. Кризис, тянувшийся целых четыре года, кончается.

Марк упорно стремился довершить начатую им строгую самооценку; он судил самого себя, как и других, безжалостно. Чтобы смирить жгучие потребности своей бунтовавшей природы, он подчинил ее суровой дисциплине: строгая жизнь, строгая мысль. Последние бои с самим собой были не из легких. Он вышел из них разбитый и обожженный страстным стыдом и муками совести, но под пеплом осталось твердое, здоровое, неповрежденное ядро.

Он подверг проверке все мысли, впитавшиеся в его юный, преждевременно созревший мозг: те, которые он почерпнул в книгах, у философов, у властителей дум его поколения. Устояло лишь очень немногое. Жалкие крохи.

Остальное – пустые слова, не облеченные живой плотью. Ни одно из этих слов не стало делом. Кроме одного. Оно, это слово, отлито из железа, оно – продукт века машин, оно превратило человечество тоже в безвольную машину, внутри которой один класс, слепо, как молот, крушит другой. Ни одного свободного действия. Ни одного действия, идущего из души. Ни одной свободной души, которая претворила бы в действие свои чувства. Нет воли, которая высвободилась бы, как молния, из облака мысли, из скопления движущейся материи.

Но огонь бежит под облаком, под остывшей корой, в воздухе, в земле и в воде...

Как-то вечером Марк взял Генделя (сквозь призму его мировоззрения он читал священные книги). В «Израиле» он прочел: «Er sprach das Wort».⁷⁷

И он услышал это слово.

Дом, капля за каплей, исходил кровью.

Лихорадочная погоня за барышом вот уже четыре года поддерживала Ньюма Равусса, владельца кабачка и дровяного склада, жившего в первом этаже. И он преуспевал. Этот

⁷⁷ Он изрек слово (нем.).

субъект нагулял тройной слой жира; багровый, потный, шумливый, он шаркал стоптанными башмаками и, казалось, лопался от переизбытка золота и здоровья. Теперь, набив свою мошну, он дожидался возвращения сына, чтобы сесть, как Филопомен, на землю, которой он обзавелся... Но сын не вернулся. Труп Кловиса повис где-то на колючей проволоке. В то утро, когда получилось это известие, снизу поднялся, разносясь по дому рев – рев быка, которого убивает неумелый мясник... Для чего он трудился, для чего накопил кучу денег!.. Толстяк свалился, сраженный апоплексическим ударом... Потом он, с затекшим глазом, еле ворочая языком, опять появился, на дровяном складе. Но его уже не было слышно: бочка рассыпалась.

Затем в доме узнали, что кроткая Лидия умерла во время эпидемии гриппа в Артуа, в госпитале, где она ухаживала за ранеными под перекрестным огнем двух армий. Давно уже она ждала этого часа! Она воссоединится с женихом... Увы! Если бы она верила в это так, как жаждала верить! Но это не так просто, как думают эти бедные люди: захоти – и поверишь! Воля отпирает все двери души, но останавливается у самой последней, а в ней-то и вся сила для души, которая чего-нибудь стоит!.. Боже мои! Если бы уверовать, что существует хотя бы ад, где ты будешь вечно – гореть вместе со своим возлюбленным!.. Но верила она или нет, теперь она освободилась... Или этот нежный цветок, возвращенный в землю, чтобы питать собою другие цветы, которые тоже поглотит смерть, так и не найдет свободы?

А затем вернулся сын Кайе (Гектор), изувеченный на поле славы, без носа и без челюсти (государство великодушно преподнесло ему другую, патентованную, с гарантией на два, самое большее на три года, при условии осторожного обращения). У него дрожали руки, плохо слушались ноги, как у ребенка, который учится ходить. Зато он был награжден орденом. Мать обволакивала его своим нежным, сострадательным взглядом; она все же была счастлива и гордилась сыном. Он опирался на руку старушки, когда они выходили,ковыляя, на свою обычную прогулку. Им жилось трудно. Но, запасшись терпением, можно было кое-как свести концы с концами. Мать и сын Кайе полагают, что все еще сложилось очень удачно.

Жозефен Клапье, ставший блюстителем нравов в тылу, израсходовал свое драгоценное здоровье и даже свой разум на этой благородной службе. Все отступники отличаются склонностью к преувеличению. Клапье так кичился своей новой деятельностью и так яростно преследовал своих бывших соратников-пацифистов, их веру и взгляды, которые он еще так недавно сам исповедовал, что в конце концов вообразил гонимым себя! Он считал себя невинно оскорбленным, когда те, кого он преследовал, отвечали ему презрительным молчанием и поворачивались к нему спиной. Он вопил, что в его лице поругано отечество. Это было опасно для других. И для него тоже. Он легко мог угодить в сумасшедший дом.

А Брошон, страж дома, названный, как Эвмениды, в противовес своей сущности, стражем мира, процветал.

Марк, проходя мимо швейцарской, говорил матери:

– У меня такое впечатление, что мы находимся на Пэр ла Шез. Ты видишь этого кладбищенского стража?.. Давай, мама, скорей поднимемся в наш колумбарий!

– Поднимемся, голубок! – улыбаясь, говорила Аннета.

Они иносказательно обменивались грустными мыслями, она – с оттенком жалости, он – с оттенком гадливости к этой пещере Полифема – к дому, городу, миру, где каждый из заключенных терпеливо ждет своей очереди быть съеденным.

– А теперь, – сказал Марк, – пришел и мой черед.

Аннета уцепилась за его руку:

– Нет! Не говори этого!

Но она раскаивалась, что не дала ему высказаться.

Надо, наконец, узнать, на что он решился.

Марк молча смотрел на мать. Сидя у ее ног на низком табурете, обняв руками поднятые колени, он долго не отрывал от нее полного решимости взгляда. А она впилась в него

глазами... Боже, до чего она приросла к нему!.. Но он больше не будет злоупотреблять этим. Она – его сокровище.

Марк улыбнулся Аннете и сказал:

– Странно! Оба мы до войны не были пацифистами.

– Забудь это слово! – сказала Аннета.

– Ты права. Его осквернили. Все те, у кого оно не сходило с языка, отреклись от него.

– Если бы у них хватило искренности отречься! Но, изменяя ему, они продолжают носить личину.

– Пусть! – сказал Марк. – Но мы, отрицающие войну, прежде не были против нее. Я помню, что вначале радовался ей. А ты приняла ее. Что же изменило нас?

– Ее мерзость, – сказала Аннета.

– Ее лживость, – сказал Марк.

– Когда я увидела, – продолжала Аннета, – это презрение к слабым, к разоруженным, к пленным, к людскому горю, к священным чувствам, эту игру на низменных инстинктах, насилие над совестью, страх перед общественным мнением, этих баранов, которых гримируют под героев и которые становятся героями именно потому, что они бараны, этих добрых людей, которых заставляют убивать, эту безвольную массу, которая не понимает сама себя и позволяет горсточке безумцев увести себя, – я содрогнулась от стыда и боли!

– Когда я увидел, – сказал Марк, – эту омерзительную войну, которая прячет свою звериную морду, это стадо оборотней, этих хищников, выступающих под маской Правд и под шумок залезающих в чужие карманы, это жестокое рабство, которое рассчитывает околпачить нас, козыряя выхолощенным словом «свобода», этот ханжеский героизм, я рассмеялся им в лицо!

– Не дразни их! – сказала Аннета. – Их целое сонмище.

– Конечно! Нет подлее тирана, чем миллион подлецов, собравшихся вместе.

– Они не ведают, что творят.

– А пока они этого не узнают, пусть их посадят на цепь!

– Ты слишком жесток, дорогой мой. Надо их пожалеть. Ведь они и так на цепи! Они всегда были на цепи. Это и есть чудовищная ложь демократии. Им твердят и под конец вдалбливают, что они – его величество народ, а обращаются с ними, как со скотом, который ведут на продажу.

– Я не могу жалеть ее величество глупость.

– Даже самый глупый – мой брат.

– Брат – это пустой звук! Я брат собаке, которая роется в куче мусора. Но что общего между нею и мной?

– Жизнь.

– Да, то, что умирает. Этого недостаточно.

– А что же есть помимо нее?

– И ты еще спрашиваешь, ты, которая обладаешь этим? Есть то, на что не может посягнуть ни жизнь, ни смерть: зерно вечности.

– Где оно, это зерно? Увы! Я не нахожу в себе ничего вечного.

– Но все, что ты делаешь, что ты собой представляешь, ты бы не делала, ты бы не представляла, если бы в тебе не было этого зерна.

– Это уж очень мудрено для меня, дитя мое. Я делаю то, что мне подсказывает чувство. Я это делаю добросовестно и подчас обманываюсь. Но, сознаюсь, я все еще не научилась разбираться в этом. А может быть, и не нужно мне разбираться.

– А мне нужно. Я должен понимать, куда я иду, чтобы идти туда, куда хочу.

– Чтобы хотеть идти, куда ты идешь...

– Пусть так! Я хочу видеть.

– И что же ты видишь? Чего ты хочешь? Куда идешь?

Он не отвечал.

Аннета собрала все свое мужество и срывающимся голосом спросила:

– Если война придет за тобой, что ты ей скажешь?
– Я скажу ей: «Нет!» Аннета ждала этого удара. И, получив его, она протянула руки, но слишком поздно, чтобы отвести его.

– Только не это!

– Ты хочешь, чтобы я сказал ей: «Да?» – спокойно спросил Марк.

– Нет! И этого не хочу! – ответила Аннета.

Марк смотрел на мать, охваченную смятением (а ведь пора бы ей подготовиться к ответу!), с уважением, с состраданием. Он ждал, что она разберется в своих мыслях. Но вместо логических доводов она могла ответить ему только потоком взволнованных и страстных восклицаний:

– Нет! Нет! Только ничего не решай! Ты еще не можешь знать, не можешь сам составить себе мнение об этом. Подожди! Было бы преступно поставить под угрозу всю жизнь этим «нет», этим слишком поспешным решением, решением ребенка, который еще не жил.

– Но ты ведь жила?

– Я, я женщина, я не знаю, я не уверена. Никто меня не направлял, я слушалась только своего инстинкта и сердца. Этого недостаточно.

– Да, недостаточно. Но когда же будет достаточно? Кто посмеет сказать, даже в конце жизни, что он знает, что он уже уверен, что он все продумал? Неужели человек обречен вечно откладывать свои действия на завтра? Откладываешь со дня на день, но вот приходит последний день – и ты оказываешься униженным, опустошенным, развращенным, как большинство людей. Когда же мне будет дано право существовать?

Аннета не хотела слушать. (Она слышала слишком хорошо!).

– Ты не имеешь права уничтожить себя.

– Не уничтожать я хочу. Я хочу строить.

– Строить что? И для кого?

– Прежде всего для себя. Чистое жилище, где я мог бы дышать. Я не вынес бы жизни в грязной конуре лжи, где живут многие... Я, пожалуй, был резок, говоря с тобой... Ты называешь меня жестоким. Я жесток. Но как же иначе помогать людям, которых жалеешь? Ведь дом надо строить и ради них.

– Но его же не выстроишь в один день. Чтобы строить, надо самому прочно обосноваться на земле.

– Надо создать прочный фундамент. Самое высокое здание начинается с закладки камня. Eris Petrus!⁷⁸ Я – камень.

– Ты – Марк. Ты принадлежишь мне.

– Я – от тебя. Я тот, кого ты создала.

– Но ты жертвуешь мною! Ты не имеешь права.

– Мама, тут уж вина твоя. Ты требовала от меня искренности. Ты хотела, чтобы я был настоящим человеком, человеком честным. Я не знаю, хватит ли у меня сил. Но попытаться хочу... Будем откровенны! Все зло в том, что никто не осмеливается быть честным, перейдя тот предел, где эта честность ставит под угрозу личные интересы и страсти. Тут уже ищут лазейку, хитрят с собой, как, скажем, наши пацифисты. Ты хотела бы, чтобы я был правдив, но не настолько, чтобы рисковать своим и твоим счастьем.

Хорошо ли это? Честно ли это?

Аннета упрямо сказала:

– Да!

– Что? Это честно?

– Это хорошо.

Он взял ее руки. Она попыталась вырвать их у него, но у него была крепкая хватка.

⁷⁸ Ты будешь Петр! (Петр – по-гречески – камень.)

– Взгляни на меня!.. Ты говоришь не то, что думаешь!.. Я хочу, чтобы ты на меня взглянула... Ответь мне! Я не прав?.. Кто из нас честен? Ты или я?

Она понурилась и сказала:

– Ты.

И тотчас же вскрикнула:

– Это-безумие! Я не хочу.

Она наконец собралась с мыслями. Она попыталась вступить в спор с Марком:

– Честность – это значит быть честным в каждой своей мысли, не вводить в заблуждение никого и прежде всего самого себя насчет своих верований. Но честность не требует от нас невозможного: всегда руководствоваться своими верованиями, и только ими. Волен дух наш. А тело – в цепях. Мы впаяны в это общество, в котором живем. Мы подчиняемся определенному порядку. Мы не можем разрушить его, не разрушив себя. Даже не праведный строй мы можем только осудить. Но вынуждены покориться ему.

– Мама! Ты отрекаешься от своей жизни... Разве я не знаю, как ты бунтовала, боролась? Ведь ты не способна терпеть несправедливость к себе и другим? Милая моя строптивница!.. Если бы ты не была строптивой, я бы так тебя не любил!..

– Нет, не бери с меня примера! Ах, вот и кара!..

Это несправедливо... Я сказала тебе, да ты и сам знаешь, что я жила вслепую, что меня вело внутреннее чутье, женские страсти, слишком восторженное сердце, которое трепещет ночью при малейшем прикосновении.

Мужчина – мужчина, которого я создала, – не должен брать за образец женщину. Он может и, значит, должен освободиться от смутных велений природы, он должен видеть отчетливее и дальше.

– Подожди! Мы сейчас дойдем и до этого. И, когда дойдем, ты, может быть, заставишь меня вернуться назад. А пока скажи мне: отрицаешь ли ты свою строптивость?

– Бунт у меня всегда кончался поражением.

– Но каждое поражение (признайся!) было освобождением.

– Ах! Я только меняла цепи и наносила себе раны.

Им счета нет, этим цепям... Я рвала одни, чтобы опутать себя другими.

Может быть, цепи нужны?..

– Ты сама себе противоречишь. Ты рвешь одну цепь за другой – мне ли этого не знать?

– А если это ошибка? Я слушаюсь своего недалёковидного инстинкта, но, может быть, разбивая их, рискую причинить еще больше зла себе и другим?

Что, если порядок покупается ценой отречения?

– Мама! Не пытайся подпевать гениальному эгоисту, тому, кто ставил порядок во вселенной выше счастья своего ближнего, а покой созерцания выше опасной борьбы против существующего зла! Что дозволено Гете, не дозволено нам. Вечного миропорядка нам недостаточно. Мы дышим в земной атмосфере. И если она отравлена несправедливостью, наш долг – разбить стекла, чтобы вдохнуть свежий воздух.

– Можно перерезать себе вены.

– Пусть даже я упаду в пролом, ну что ж, по крайней мере пролом будет сделан. Другим будет дышаться легче.

– Дорогой мой! Ты же не веришь в человечество (ты мне сто раз это говорил!). Почему ты теперь вознамерился принести себя в жертву ему? Разве ты не насмехался над моей верой в него, над моей бедной верой, столько раз попранной, что она уже теперь не очень горда, не очень уверена в себе?..

– Погоди!.. Над тобой я не насмехался! Во что бы ты ни верила, ты для меня выше того, во что ты веришь... Но правда твоя: я не любитель разглагольствовать о «гуманизме» и «человечестве», я ни во что не ставлю всю эту пустую шелуху идеологий, словесный фейерверк. Я вижу людей, людей, большие стада, которые плутают, сбиваются в кучу, сталкиваются друг с другом, несутся направо, налево, вперед, назад, поднимая пыль идей. В жизни – в их и в нашей жизни, в жизни вселенной – я вижу трагикомедию, развязка которой

еще не известна: сюжет складывается постепенно, его сочиняют те, чья воля руководит штурмом. В этом штурме участвую и я, я отмечен его печатью, потому что я твой сын, потому что я Марк Ривьер, и я уже не могу отступить. Против этого взбунтовалась бы моя гордость. Победит ли, нет ли отряд, к которому я принадлежу, я буду драться до конца, не сдаваясь!

– Что это за бой? К какому лагерю пристать? К новому? К старому? Кто знает? Как увериться? Может быть, прошлое приказывает будущему. Может быть, будущее приказывает прошлому. Кто нас просветит?.. Часто в своем душевном одиночестве я чувствовала, что вся проникаюсь уверенностью, и говорила себе: «Откуда же эта уверенность, если не оттого, что во мне живет победитель (бог, который грядет)?» Но затем, когда видишь, что другие люди, целые породы тоже полны веры, той же или противоположной, страстной веры в отечество или в бога, в искусство или в науку, в порядок или в свободу и даже в любовь, в которой расходует себя слепая и безумная жизнь, тут уж надо иметь большое самомнение, чтобы упрямо твердить: «Только моя вера хороша!»

– Только моя вера – моя. У меня нет двух вер.

– А у меня все веры тех, кого я люблю. И любовь к ним – это единственное, в чем я уверена.

– Многих ли ты любишь? Много ли таких, которых можно любить?

– Любить или жалеть. Это одно и то же.

– А я не хочу, чтобы меня жалели. Я хочу другой любви – той, которая выбирает, которая предпочитает.

– Я и то слишком предпочитаю тебя, жестокий сын мой! Я отдала бы весь мир, лишь бы сохранить тебя.

– Ну вот и будь со мной, будь как я: выбирай! Ты уходишь в мечты. Ты все на одном месте, как прилив и отлив, который поднимается и падает, не двигаясь вперед. Надо идти вперед во что бы то ни стало. Ломать преграды, идти прямо, своим путем!

– Но если этот путь заведет в тупик? Если ты будешь на этом пути одинок? Если весь остальной мир – по другую сторону?

– Кто вышел первым, идет один. Но если он идет один, это потому, что считает себя первооткрывателем. Каждым своим шагом вперед этот одинокий человек прокладывает путь всему миру.

– Это *credo*. Их почти столько же, сколько людей.

Я верю в людей больше, чем в *credo*. Я хотела бы обнять их, всех этих безумцев, всепрощающим материнским объятием.

– Да им этого не нужно. Они отворачиваются от груди. Они уже отняты от нее. Мы хотим верить, действовать, разрушать, шагать, сражаться, лишь бы продвинуться вперед... Тебе известно определение родины; «Лагерь в пустыне»... Двинемся дальше, взвалив на спину шесты и полотно для шатров!

– Мой лагерь уже найден. Это законы сердца.

Всякий общественный долг, который видоизменяется, отрицая все остальные, мало имеет значения в моих глазах, мало чего стоит в сравнении со священными чувствами – любовью, материнством, неизменными и вечными.

Кто бьет по ним, бьет по мне. Я готова защищать их везде, где им угрожает опасность. Но дальше этого я не иду.

– Отлично! А я иду дальше! Когда общественный долг оскорбляет естественные чувства, надо заменить его другим, более широким и человеческим.

Время пришло. Все общество вместе с моралью, опирающейся на свод законов и катехизис, надо перестроить, и оно будет перестроено. Поэтому вызывает все мое существо: разум, страсти – все протестует против возмутительной лжи Общественного Договора, который уже обветшал. Великие силы, волнующие человеческую душу и осуждаемые законами, становятся болезнью и порою преступлением только в силу бесчеловечности законов и социальной системы, которые навязывают природе рамки, превратившиеся в

тиски. И если тысячи молодых людей приняли войну как освобождение, если у меня тоже в первую минуту отчаянно забилося сердце, то лишь потому, что мы надеялись вырваться из этих тисков. Тесная петля устаревшего уклада мыслей и условностей, тусклого благополучия и смертной скуки, подслащенных тошнотворным идеализмом, то есть сплошной пошлостью и ханжеством (ваш довоенный пацифизм, ваш гуманизм!), калечила природу, убивала радость жизни, этот могучий, здоровый и священный инстинкт Sanctus... Мы верили, что проклятая петля лопнет... Несчастные! Несчастные! Нам посулили освобождение, а навязали гнусную войну, которая швырнула нас в бездну страдания и смерти, отвратительной и бесполезной!.. А петля еще затянулась, и мы, молодежь, скованные, согнутые, брошены в тесную клетку, где не можем даже распрямиться!.. Надо сломать, разрушить этот убийственный порядок смерти, который хуже, чем любой беспорядок, и создать вместо него более возвышенный и более широкий порядок, по мерке тех людей, которые придут и уже пришли, – порядок, достойный нас! Воздуха! Как можно больше воздуха! Расширим наше представление о добре и зле! Они не прежние, они выросли вместе с нами...

– Где ты видишь этих людей? Я вижу возле себя только свое взрослое дитя. И трепещу за него. Зачем я дала ему жизнь в наше жестокое время?

– Не жалею об этом! Не жалею меня! Это шквал. Да здравствует ветер! И ты, создавшая мои легкие и мои крылья!.. Помнишь «Последнего викинга», современную сагу о норвежском рыбаке, которую мы прочли вместе? Помнишь!

Он спасся от смерти, он променял бури Лофодена на недвижный воздух городов, но счастья уже не знал... Да! Я рад, что принадлежу к своему поколению, а не к твоему. Твое жило хилыми мечтами о каком-то холодном прогрессе человечества. Но это был фон, на котором двигались серые, тусклые тени, – ваше настоящее. Привилегированный класс – и тот, пользуясь благами жизни, отмеривал их скупой, по крохам. Бледные радости, бледные скорби, скучная ирония и доброта... Скука, скука... Нам же, тем, кто трудился и страдал внизу, оставалось вечно вращать во тьме колесо... А теперь ревет буря, дом рушится, но вместе с ветром в наш подвал хлынул свет. Подточенное здание вотвот развалится, – мы это знаем, но сквозь щели мы видим небо, плывущие облака, ветер. И, не обманываясь насчет жизни людей и насчет будущего, мы живем полной жизнью на краю нелепой и прекрасной бездны. На наших плечах мы воздвигаем вселенную, которая, быть может, просуществует только один день.

– «Мы»? Кто их видел этих «мы»? Где они? Кто они такие?

– Первый, кто начнет действовать. От него родятся Другие.

– Но он умрет.

– Да.

– Я не хочу, чтобы это был ты!

– Ведь ты только что говорила о материнстве, о своем стремлении распространить его на всех сынов человеческих. Вот и пища для тебя! Перенеси на других свою любовь ко мне!

– Я хвасталась... Но я не могу!.. Да и кто может? Для этого нужны нечеловеческие силы. Я люблю других в тебе. Я люблю тебя в других. Это тебя я искала в них, когда ты чуждался меня. А теперь, когда я с тобой, мне принести тебя в жертву? Теперь мне уже никто не нужен. Ты – моя вселенная.

– Но вселенная подчинена закону тяготения, и у нее своя судьба. Надо принять ее вместе со мной. Даже если она ведет на крест. Вспомни Mater dolorosa!⁷⁹

– Даже она не хотела! Она была приневолена.

– Все мы приневолены. И ты и я.

– Чем?

– Нашим законом.

– Зачем же мне принимать его, если он против меня? Я восстаю, я отбрасываю его, как

⁷⁹ Скорбящую Мать (итал.).

и другие законы.

– Ты не сможешь. Это будет нечестно.

– Ну что же, я буду лгать!

– Ты не можешь. А я не хочу.

Он посмотрел на мать, запнулся и сказал (голос его дрогнул):

– Видишь ли, мама, есть две вещи, которые я не хочу допустить в себе, – это не быть честным и не быть храбрым... Может быть...

(Он остановился.).

– ...может быть, потому, что я не храбр и что я лгу...

Аннета обхватила руками его голову.

– Ты лжешь? Он закрыл глаза и сказал вполголоса:

– Да. Потому что там, где-то глубоко во мне засел страх...

Аннета крепко обняла его. Он стоял, не шевелясь, прижавшись щекой к груди матери. Каждый из них чувствовал себя сильным слабостью другого.

Отстранившись, Марк сказал Аннете:

– Говори, что хочешь, но ты-то не лжешь!

– Я обманываю себя.

– Ты не обманываешь себя. Ты обманута.

– Разве знаешь, как хитрит с тобой твоя мысль? Разве я не лгала себе много раз?

– Если лгала, то лишь потому, что никто не может прожить без лжи.

– Но исчезли из жизни ложь, разве не исчезла бы самая жизнь? Разве не ложь поддерживает великую Иллюзию?

– Если жизнь не может обойтись без лжи, если жизнь – великая Иллюзия, значит, это не настоящая Жизнь. Настоящая Жизнь выше иллюзий. Надо ее найти.

– Где же она?

– Во мне. В тебе. В жажде правды. Откуда бы возникнуть этой самой жажде, если бы в нас не жили правда?

Голос сына вонзался глубоко в душу Аннеты. Но она вся сжалась. На карте была его жизнь!

– Умоляю тебя! Умоляю! Не рискуй собой понапрасну! К чему? Ты отлично знаешь, что людей не перестроить! Что бы ты для них ни делал, это будут все те же люди: с теми же страстями, предрассудками, слепотой, которую они называют то разумом, то верой. А ведь это только стена, раковина улитки: она нужна им, чтобы жить. С нею они не расстанутся. Тебе не под силу ее сломать. Сломлен будешь ты. Оставь свою правду в себе! Пусть не видят ее глаза, которые она слепит! Для чего? Для чего? Она убивает тех, кто несет ее.

– Для чего? А для чего твою жизнь? Разве ты не жила по закону правды?

С чем ты считалась: со своей правдой или с опасностью? Разве ты жалеешь о том, что считалась с правдой?.. Отвечай! Отвечай!.. Жалеешь?

Аннета боролась с собой. Наконец ответила:

– Нет.

Она была как в тисках. Она думала:

«Я сама убиваю его».

Сын нежно смотрел на мать. На его юном лице мелькнула серьезная улыбка. Он сказал:

– Мама, не мучайся!.. Может быть, ничего и не будет, ничего не случится, и война выдохнется прежде чем... Еще ничего не решено. Я еще не знаю, что сделаю. Я ничего не знаю. Знаю только, что, когда придет пора, я буду честен... Попытаюсь по крайней мере... Помоги мне и молись!

– Я молюсь. Но кому?

Моему источнику. Твоей душе. Я – струя, берущая в ней начало.

Прошло несколько недель одинокого ожидания и волнений (они больше не касались этой темы, но каждый думал все о том же и тайком следил за другим, и настороженное ухо Аннеты как бы ловило колебания воздуха, гудение мотора: приближался ужасный час,

который отнимет у нее сына). И вот однажды утром со стороны ратуши прогремели пушки и с улицы донесся шум, точно рокот морского прибоя. Два сердца, еще не зная, что происходит, затрепетали. Вбежала Сильвия и, задышавшись, крикнула:

– Подписано перемирие!

Они судорожно обнялись.

Но потом вдруг Аннета отстранилась, повернулась к ним спиной и закрыла лицо руками, пряча свое волнение.

Марк и Сильвия, уважая ее чувства, не сделали ни одного движения, не пытались откинуть этот покров: они молча ждали, чтобы ее волнение стихло. Затем оба, полные нежности, подошли к Аннете, и Марк, обняв мать, медленно повел ее к дверям балкона, усадил и сел рядом. А Сильвия расположилась на полу, подобрав под себя ноги, как Будда; она с улыбкой смотрела на них.

Все трое сидят над развалинами мира.

Аннета, закрыв глаза, слушает колокольный звон, крики, песни, доносящиеся с улицы, и чувствует на своей щеке щеку своего мальчика... Она погружена в раздумье... Кошмар рассеялся. Кошмар опасности, нависший над головой сына, и кошмар человеческой муки, нависший над ее сердцем; чудовищные бедствия войны остались позади... Аннета еще не вполне поверила.

Она робко наслаждается забытым вкусом воздуха. Она дышит...

И у Марка тоже гора свалилась с плеч. Невесело было идти навстречу приближающейся опасности. Из гордости он не пытался бы уклониться от нее. Но не знал, хватит ли сил, крепка ли вера. Он слушает, как ревет, смеется переменчивая толпа. Ему хорошо известно, что испытание только отсрочено... Но в его возрасте выиграть несколько лет – значит выиграть целый мир! Он упивается передышкой. Он радуется будущему. Он мечтает...

Сильвия видит, что они замечтались. Она не думает ни о прошлом, ни о будущем. Минута так хороша, и она так полно наслаждается ею! Все трое окончили опасный переход, весла брошены на борта лодки, дремлющей в стихшем море. Она мечтает. Какой чудесный вечер!..

Но дом, объятый скорбью, молчит, и это трагическое молчание еще резче оттеняется ярмарочным шумом ликующей толпы.

На третьем этаже профессор Жирер, твердый, как камень, застывший в своей печали, украшает флагами окна. Вот и достигнута неумолимая цель, а в пустыне его жизни другой цели нет: он может упасть... На четвертом этаже Бернарденны закрыли ставни; дочери и отец в церкви, в одном из ее мрачных приделов.

А мать прикована к постели: она медленно угасает. По пятам горя пришла болезнь, и Бернарден, который в эту минуту молится, не знает, что его изнуренное, потерявшее сопротивляемость тело сделалось добычей рака... В первом этаже винный погребок битком набит, но за стойкой не видно Ньюма.

Хозяин заперся в задней комнате. Он один, он пьет и смахивает слезы в вино...

Аннета слушает... В единый аккорд сливаются мука, скорбь при мысли о загубленных жизнях и слепое торжество муравейника. Все вместе с ней попались в сети Иллюзии. Опутанные ими, они бросаются, пригнувшись, на красный плащ матадора. Для одних это знамя, священная ярость любви к отечеству. Для других вера в братство, в любовь... А ее сын, воображающий, что его не проведешь, презирающий «иллюзии слов», разве он не ослеплен иллюзиями больше других – он, готовый пожертвовать собой и ею ради призрачной мечты: стоять за правду против всех? Эта жажда правды – не величайшая ли из всех иллюзий?.. Все они угорают от дыма иллюзий. Все мечтают!..

И Аннета увидела как бы во внезапно взвившемся радужном облаке тумана всемирную Мечту, в которую она ушла. На минуту она подняла голову над водой. Она стряхивает с себя сковавшую ее коварную и властную силу...

Проснется ли Аннета?.. В ее сон врывается сигнал к пробуждению. В душу через

приоткрывшуюся щель проскальзывает полоса света.

Но на своей щеке она чувствует тепло щеки, чувствует плоть от плоти своей, – сына, который держит ее в плену силой любви и скорби, силой будущих испытаний, силой судьбы, их ожидающей и связывающей...

«Я знаю, знаю...»

«Это участь Mater dolorosa...».⁸⁰

«И я не бегу. Я снова здесь!..»

И ее глаза приковываются к нему, к сыну, в возлюбленной своей мечте.

Глаза живых вновь завладевают ею. Она улыбается и снова начинает грезить...

«Warte nur...».⁸¹

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ ПРОВОЗВЕСТНИЦА

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ СЕМЕРО ПРОТИВ ФИВ

Он резко мотнул головой:

– Нет!..

Но поздно вечером, после скудного ужина, за которым они говорили о посторонних вещах, Марк вспомнил, что ему надо до завтра непременно отнести спешный ответ. Аннета прислушивалась к его шагам, когда он спускался по лестнице; ей было страшновато за него, но она подумала: «Пусть уж лучше пойдет и пожалеет, что не остался дома, чем останется дома и пожалеет, что не пошел...» Она вернулась к лампе, и в уголках ее рта залегла насмешливая тень ее мудрой улыбки... «Пожалуй, худшее зло то, которое хочешь совершить и не совершаешь...»

Не успел Марк сделать и три шага, как его подхватил водоворот. Ему вздумалось перейти улицу, чтобы попасть на другую сторону бульвара. В один миг его стиснуло, смяло в комок и стало бросать из одного потока в другой, то вперед, то назад. Он опомниться не успел, как его отнесло на пятьдесят метров. Увлекаемый течением, растираемый в порошок, прилепленный к куче ревуших тел, он чувствовал себя так, точно его раздели, раскатали и замесили вместе с этой толпой в одно человеческое тесто, и оно растянулось во всю – длину бульвара. Ожесточенно работая локтями, боками и коленями, он все же вырвался, но тотчас попал во встречный поток и был плотно прижат к группе возбужденных женщин; их грубо толкали, они сами тоже толкались и кричали, как бесноватые, от наслаждения и страха. Одну из них, белокурую и худую, с блуждающими зрачками, с широко раскрытым ртом (так, что видно было основание языка), облапил какой-то парень и точно клещами стиснул ей бедра. Она бросилась на Марка и впилась ему в рот поцелуем, полным пены. Кровь вспыхнула в мальчишке, он схватил другую самку, пронесившуюся мимо, и вытер свой рот об ее губы; и так, то обнимая сам, то попадая в чужие объятия, этот обезумевший маленький самец на охоте переходил из рук в руки, срывая дань со всех женщин, попадавших на его пути. И, находясь в таком же бреду, как и вся толпа, которая ревела «Мадлон», он думал:

«Мир. Мой мир. Это моя доля добычи».

Он был образованнее других и потому твердил себе еще более грубую ложь:

«В поцелуе слийся, свет!..»

⁸⁰ Мы скоро проснемся!

⁸¹ Подожди немного (нем.).

Однако плохо было бы, если бы мир отказался от этого поцелуя! Марк наскочил на другого петуха. Тот был большого роста и вырвал у него добычу из клюва. Сначала Марк не очень за нее цеплялся, но потом разъярился.

Удар в подбородок оглушил его и отшвырнул в людское море; от толчка оно расступилось, и Марк оказался отрезанным от человека, который оставил у него на зубах вкус своего кулака. Напрасно Марк бесился, стараясь его догнать...

Ненависть сжигала его и требовала мщения – тут же, на месте, иначе он лопнет! Случай представился мгновенно, и воспользовался им Марк наиподлейшим образом. Ухватился за него без колебаний.

Возле него отбивалась от толпы девушка. Едва взглянув на нее, он понял, что это провинциальная мешаночка: должно быть, выйдя из гостиницы, она заблудилась, попала в водоворот, и ее втянуло. У нее было округлое, наивное и растерянное лицо; она старалась выбраться на боковую улицу, но поток играл ею. Девушка была беззащитна против грязных поползновений, ее обезумевшие глаза звали на помощь. Марк бросился на нее, как ястреб. Но пока он пробивался к ней, куропатка сумела, высвободиться; она удрала по уходившей вверх темной и узкой боковой улице. Марк пустился за ней и схватил ее за бедра. Он почувствовал в своих когтях нежное трепещущее тело, обхватил ее всеми своими четырьмя лапами и прижался животом к ее спине. Девушка едва не упала, у нее подгибались колени; полумертвая от ужаса, она боязливо втянула шею в плечи и опустила голову. При свете, падавшем из чьих-то окон, Марк увидел белую хрупкую шейку и укусил ее.

Жертва застонала, закрыв лицо руками. Марк оторвал ее судорожно сведенные пальцы от лица (один палец вылез из дырявой перчатки), повернул ее голову к себе, поднял за подбородок и впился в рот. В эту секунду он увидел глаза, молившие о пощаде; этот взгляд ударил ему в сердце, как копье, но его жадный клюв уже прильнул к молодым девичьим губам и накладывал на них свою печать. Марк почувствовал на языке кровь. И в тот же миг в глаза ему вонзился ее взгляд.

Марк отскочил, выпустил добычу, и та, высвободившись из тисков, рухнула наземь. Стоя на коленях, закрыв лицо руками, утратив способность кричать, неподвижная, точно заколдованная, она сохраняла лишь столько сил, сколько было нужно, чтобы не открывать глаз. Улица была пустынна.

Изогнутая линия домов заслоняла соседний бульвар. Там ревел людской поток. Но, подобно тому, как вокруг пламенеющего сияния электрического прожектора сгущается тьма, так сгущалась тишина вокруг этого режущего потока. Было совсем тихо там, где застыли собака и ее добыча, – двое детей. Марк бросил растерянный взгляд на тело, простершееся у его ног, и не подумав поднять его, убежал...

Он блуждал в лабиринте улиц, по склону холма св. Женевьевы, внезапно, на каком-нибудь резком повороте, снова наталкивался на урчание опьяневшей Победы и удирал, как удирают крысы из канализационной трубы. Было уже поздно, когда ему, наконец, удалось добраться до дому. Лестница была погружена во мрак. В темном коридоре квартиры на шестом этаже из-под двери в комнату матери пробивалась полоска света. Марк скользнул в постель, не зажигая лампы. Лежа голый на ледяных простынях, он, наконец, вновь обрел среди ночной тишины свою поруганную душу. Она взяла его за горло, она кричала: «Что ты сделал со мной?» Ведь он все еще думал только о себе, а не о той, другой. Он лежал ничком на тюфяке, уткнувшись лицом в подушку. И вдруг увидел себя на улице, в схватке со своей жертвой: нежную шею, оскорбленное тело девушки, насилие... И наиболее оплеванный из них был он...

Итак, значит, после всех громких слов, после исполненных благородной гордости дневных бесед с матерью, после рыцарских разглагольствований, после бичевания лисиц и волков войны, которые раздражают мир на части, пользуясь силой и хитростью и прикрываясь правом, он тоже воспользовался правом сильного, чтобы урвать себе кусок, и к тому же самым подлым образом... Марк снова увидел мостовую и девушку на коленях; резким движением сбросил он с себя одеяло: мысль о том, что он бежал, как вор, обжигала его; он

готов был броситься туда, где оставил ее. Зачем? Поднять ее?

Глупо!.. Он продолжал сидеть голый на краю матраца. За перегородкой мать ворочалась на кровати. Марк задержал дыхание и снова лег... Он вспомнил вкус пересохшего рта девушки... Он снова почувствовал эту губу... И снова на него накатила жестокость. «Все равно!.. Я на тебе оставил свою метину! И если мы встретимся, я тебя узнаю, а ты меня – нет. Она жива и судит меня...» Эта мысль, жизнь с этой мыслью была ему невыносима. «Хоть бы она умерла!..» Не переставая вращаться вокруг одного и того же, его подвижной ум перескочил с него самого на мир, и в конце концов Марк понял, почему человек, одним пальцем прикоснувшийся к преступлению, погружает в него всю руку: чтобы не видеть ее... Потом – волна жалости...

«Пусть она живет, пусть она будет счастлива!..» Ему захотелось целовать ссадины на ее округлых коленях. Но тут он оказался совсем близко от нового приступа той самой животной страсти, которая заставила его схватить эту девушку, и он готов был повторить жгучий круг своего бега... Так он весь остаток ночи переходил от одного состояния к другому: жалость и жестокость, ненависть к самому себе и к ней, угрызения, сожаления о том, что он сделал, и о том, чего не сделал... Бег и бег – без остановки! А в конце – поражение. Это была единственная ясная точка среди хаоса. Побит!.. Он не выдержал первого же испытания. Он не имеет никакой власти над своими поступками и своими мыслями, первая большая волна – и его воля расплылась, как медуза. Он не знает, что сделает из него жизнь через год... И это позорное признание было пощечиной самому себе... Нет! Нет!

Уж лучше преступление! Он снова сел на кровати и начал колотить себя кулаками в грудь.

«Я хочу, я хочу!.. Чего я хочу?.. Быть тем, чем хочу!..»

Нежный голос матери прошептал из другой комнаты:

– Почему ты не спишь, мой мальчик? Он не ответил. Гнев: «Она следит за мной...» Порыв любви: «Она меня понимает...» Раздражение, благодарность, чаши весов колеблются... Ни то, ни другое! «Я одинок и одиноким хочу оставаться...»

Опустив голову на подушку, он больше не двигался.

По обе стороны стены мать и сын лежали в темноте с открытыми глазами.

Аннета тоже думала:

«Напрасно я с ним заговорила. Это его личное дело.

Он сам и должен его решать».

Но мысли их текли в одном направлении и волнами передавались от одного к другому. И мало-помалу мать и сын обрели равновесие. Когда в окнах забрезжил рассвет, он застал их обоих готовыми вступить в новый день со всеми его иллюзиями, ловушками и борьбой. Потерпев еще одно поражение, мать и сын смотрели этому новому дню прямо в лицо и горели желанием начать все сначала. Уж эти Ривьеры! Какое утро, омраченное поражением, способно заставить их повернуть вспять?

Но, стоя после бессонной ночи в тазу с ледяной водой, дрожа и снова ощущая свое тело, юноша обшарил взглядом бездну эпохи и бездну мира, в который был брошен, свою крайнюю слабость и подстерегавшие его невзгоды и падения. И он вздыхал:

«Дойти до конца!..»

«Дойти до конца» – то есть не упасть в дороге. Пусть даже упасть! Но в конце! Невзгоды и падения? Пускай! Но пройти – чего бы это ни стоило!.. Пройти? О боже! Пройти!.. Он потянулся, заранее предвкушая вечный покой. Больше не быть! Это возможно только после того, как ты был...

Он натянул скорлупу из ткани на свою молодую кожу, покрасневшую от волосной перчатки. И с окрепшим телом, стиснув зубы, молодой волчонок снова вышел на охоту за жизнью.

А ведь в другие времена как эта охота была увлекательна! Несмотря на все ловушки, расставленные природой, и на все, что придумало общество, чтобы отравить молодость,

приковывая ее к каторжным скамьям (лицей, армия), какое все-таки прекрасное смятение владеет человеком в двадцать лет!

Но в 1918 году двадцать лет не измерялись мерками нормальной жизни.

Они равнялись и четырнадцати у восьмидесяти. Их сколотили из плохо пригнанных частей и кусков разных возрастов – по мерке, которая была и слишком широкой и слишком тесной; швы лопались при первом движении; сквозь дыры просвечивали голое тело и желания.

Люди вчерашнего дня, люди, которые дали им ткань, не узнавали своей поросли. И сыновьям, которые потеряли отцов, люди вчерашнего дня казались чуждыми, почти ненавистными, презренными. Эти юноши не находили никакой возможности столкнуться даже между собой! Каждый представлял собой своего рода игру в «головоломку»... Если бы хоть и жизнь была игрой!.. Чтобы поверить в это самим, многие старались убедить других, будто оно так и есть. Но они отлично знали, что уж если жизнь – игра, то игра страшная, игра безумцев... Все было разрушено, и ветер, который бушевал среди развалин, приносил зловоние бойни. Где строить новый мир? И из какого камня, и на какой почве, и на каких основах? Они не знали ничего, они ничего не видели среди дымящегося хаоса. Единственно, в чем не было недостатка, это в рабочих руках. Но в двадцать лет трудно обречь себя, свою быстро проходящую *giovinetza*,⁸² которой отовсюду грозят опасности, на изнурительный труд землекопов, работающих без всякого руководства. Были ли они уверены, что новое землетрясение не сокрушит стены раньше, чем они успеют возвести их на зыбкой почве? Кто мог верить в устойчивость мира, воздвигнутого на основе преступных и бессмысленных договоров? Все шаталось, не было ничего прочного, жизнь не имела завтрашнего дня, завтра бездна могла разверзнуться: война, войны внешние и внутренние... Верным был только сегодняшний день. Если не вцепиться в него всеми десятью пальцами, двадцатью пальцами, руками и ногами – гибель! Но как вцепиться в него, в этот сегодняшний день? Куда вонзить ногти? Его нельзя ухватить, он лишен формы, он огромен, он расплывается и ускользает. Только подойди к этой крутящей массе – и тебя швырнет, как камень из пращи, либо втянет, и ты пойдешь ко дну.

Но если ты Марк и тебе двадцать лет (ему и двадцати не было, едва минуло девятнадцать), ты приходишь в бешенство, не хочется ни быть вышвырнутым, ни пойти на дно, хватаешь сегодняшний день за глотку и врываешься в него... Обладать! А потом хоть подохнуть, как самцы насекомых!..

И какая усталость в этой лихорадке сведенных судорогой рук! Какое чудовищное бремя на плечах мальчика! Невероятно трудная задача!

Счастливы те, у кого жизнь по крайней мере ограничена, у кого одна дорога, кому надо удовлетворить только одну потребность! Но у Марка их было четыре или пять, и они, как голодные звери, раздирали ему внутренности. Ему надо было познать, ему надо было взять, ему надо было насладиться, ему надо было действовать, ему надо было быть... И эти лисята, которых он, как спартанский мальчик, прятал у себя под одеждой, грызлились между собой и кусали его. Они не могли насыщаться вместе.

Что более неотложно: насладиться или познать? Раньше всего познать!

Маленькому Ривьеру казалось невыносимой мысль о том, что он может уйти из жизни, не увидев, не познав. Ему представлялось, что весь остаток своего вечного бытия он будет блуждать во тьме отчаяний, худшей, чем все муки ада, придуманные людьми. (Можно сколько угодно верить, что по ту сторону жизни не лежит ничто. Для сердца, которому двадцать лет, ничто – самая неумолимая вечность.).

Как узнать? И что узнать? Неизвестно. И прежде всего с чего начать?

Все под вопросом, и все осаждает тебя сразу. Образование, полученное в годы войны, оставило колоссальные пробелы, которые никогда не заполнить.

⁸² Молодость (итал.).

Разум блуждал в других местах. Тело тоже. Марк чаще бывал на улице, чем в классе. Когда же он устаивал школьную скамью чести опустить на нее свой худенький зад, то живые и жесткие глаза отощавшего волчонка загорались странным блеском; сквозь мрачные стены он искал иную добычу, а не старые костяки ученья. В редкие минуты интонации учителя или же толчок, данный каким-нибудь словом, обнажали теплые очертания незнакомого куска жизни, и он бросался туда. Но он был неспособен найти место для этого куска в огромной Действительности; чтобы постичь, ему не хватало всего предшествующего, которое он упустил по невниманию: добыча ускользала, и все последующее проваливалось в яму. Если бы начертить карту его представлений в любой отрасли зданий, получилось бы нечто похожее на старинные карты Африки, на которых белые пятна более многочисленны, чем разведанные области, а большие реки разорваны на теряющиеся в пустыне звенья, как хвост ящерицы, которая побывала во рту у кошки. Воображение дополняло карты, размещая тут и там города, горы, созданные из сказок и песка.

Были целые исторические эпохи, целые ряды теорем, почти целые области в узком царстве классицизма, где преподаватели *alma mater* боязливо запирали своих питомцев в каких-то старых, хотя и позолоченных, но выцветших, изъеденных молью квартирах. (*Alma mater* считает их лучшими в мире!) Пути ума обрывались, в мозгу у Марка не оставалось ничего. Тем не менее он сдал выпускные экзамены, как и другие недоучки, знавшие не больше, чем он; но в глазах у которых не горел, как у него, дерзкий огонь мысли.

Тогда относились снисходительно к сыновьям и братьям героев (если они и не были героями, то могли бы быть!). Но он, Марк, не допускал ни малейшей снисходительности к тем, кто был снисходителен к нему. Добрый конь не прощает глупому всаднику, который щадит его и забывает дать хлыста.

За эти годы был разрушен авторитет и людей и книг, которые властвовали над умами предыдущего поколения. То, что в них видели, то, что в них вычитывали (мало и плохо!), не было созвучно с современностью. Присяжные лжецы, обманутые обманщики старались скрыть правду о войне и мире, но и молодые люди были наделены инстинктом и еще не растраченной свежестью восприятия. Они чуяли в своих учителях пресмыкательство мысли перед государством и старческую слабость риторики. О подлинно свободных силах, которые сохранились во Франции или же за ее пределами, юноши ничего не знали; были приняты меры к тому, чтобы эти свободные силы заранее дискредитировать, и юноши не имели никакого желания пересмотреть несправедливые приговоры: их доверие было подорвано. Всю мысль предшествующего полувека (и чуть ли не всех остальных времен) они объединили под одной общей презрительной рубрикой: «Вздор! Мехи, раздувшиеся от слов...» Они и не подозревали, что их молодые мехи тоже раздуются, но только от других слов: таковы девять десятых человеческих умов, если они не хотят оставаться пустыми, а пустота приводит их в смятение; верно сказано, что природа ее не терпит; она не может примириться с «я не знаю».

Надо знать! Иначе смерть!

Но прежде всего надо есть. А если не искать, то этакому Марку Ривьеру кусок хлеба сам собой в рот не попадет. Разве только он его вырвет изо рта у матери! А гордость говорила ему: «Довольно! Отныне ты будешь есть только тот хлеб, который заработаешь сам».

Утром у него два дела. Два фонаря среди тумана, который еще стоит у него в мозгу, как и в городе. Урок разговорного языка с одним рыжим розовоглазым американцем из делегации Вильсона, живущим в районе Ла-Мюэт.

И глупейшие стихи одного желтого господина из Рио, живущего близ Сорбонны, в которых Марку пришлось яростно чистить французский язык, исковерканный на бразильский лад.

У американца дверь оказалась запертой. Сосед сказал, что человек в рубашке со звездами еще не возвращался, и, узнав, зачем именно он нужен, прибавил с усмешкой, что Марку нечего беспокоиться: его ученик как раз в эту минуту изучает французский язык по

самому лучшему методу. Марк в бешенстве бросился к клиенту номер два. Его остановила привратница: господин с кожей цвета айвы только что умер от испанки. Никакого адреса он не оставил. Стихи остались Марку в наследство.

Смерть больше никого не удивляла. Однако на другой день после орудийных залпов, возвещавших перемирие, это происшествие вызывало смутное ощущение неудачи. «Значит, ничто не изменилось?..» Но у Марка вызывал раздражение умерший, который навязал ему нелепую работу и скрылся, не заплатив.

Марк шел хмурый, взбешенный, мрачный, как туча.

Внезапно его пронзил ясный девичий взгляд. Он узнал серые глаза своей однокурсницы, брюнетки с матовой кожей. Насмешливая улыбка этих глаз разрядила его скверное настроение. Девушка была уже далеко. Ее тонкие ноги спокойным и быстрым шагом направлялись к Сорбонне. После короткого колебания Марк пошел следом за ней. Университетская библиотека являлась в то время штаб-квартирой для некоторых молодых людей: сюда они приходили делиться своими сомнениями. Марк догнал Генриетту Рюш на лестнице.

Лукавые глаза изучали его.

– Понурый взгляд. Землистый цвет лица. Мрачная физиономия... И это на другой день после торжества?

– Вас оно, по-видимому, нисколько не коснулось. У вас отдохнувший вид.

– Да, я хорошо выспалась. Благодарю вас.

– И вас не тянуло высунуть на улицу ваш остренький носик?

– Из окна. Я насмотрелась. Звери.

– Я – один из них.

– Ну еще бы!

– Благодарю, – обидевшись, сказал Марк.

Она рассмеялась.

– Вы думали, я в этом сомневалась?

– Еще того лучше! Они стояли у порога библиотеки. Девушка поправила волосы, глядясь в дверное стекло.

– Одним зверем больше, одним меньше! Не стоит принимать это близко к сердцу.

Она вошла в читальный зал.

Марк увидел кое-кого из своих друзей.

Друзья – сказано слишком сильно. Большой дружбы не было между этими мальчиками. Каждый был слишком занят собой. Да и молодой Ривьер тоже держался в стороне от своих сверстников. Его недолюбливали за мрачный, замкнутый характер, за то, что он слишком часто кривил губы в презрительную усмешку, за то, что его суждения бывали суровы, а также за явное его превосходство в ученье и на экзаменах. Но по тем же самым причинам за ним поневоле признавали известный авторитет. Сказывалось и влияние матери: раньше всех прочих влияний оно сделало его невосприимчивым к заразе коллективной глупости. Он не дожидаясь, как другие, конца войны, чтобы постичь всеобщий обман и заявить об этом во всеуслышание. Это преимущество перед ними, за которое он в свое время заплатил крайней непопулярностью, внушало к нему известное доверие теперь, когда глаза их открылись. Они оказались достаточно справедливы, чтобы признать, что этот упрямый кабан Марк был прав.

А в ту пору им больше всего нужен был не ктонибудь, – мужчина или женщина, кого можно любить (любовь, как и ненависть, стоила тогда дешево), – им был необходим человек ясного ума, которому можно верить.

Таких мальчиков было четверо или пятеро. Между ними не было ничего общего, кроме того, что все они обнаружили страшный обман и открытие это хлестнуло каждого, как пощечина. Стыд и гнев из-за того, что они дались в обман, потребность мстить и в особенности защищаться от будущих обманов поневоле заставляли их держаться в стороне от стада. Им пришлось покончить со своими разногласиями и антипатиями, чтобы объединить свои слабости и свои силы; они были не друзья, а союзники. Вместе искали они

дорогу, как слепые насекомые, которые щупальцами обшаривают темноту. И, стараясь не показывать этого, каждый ожидал, что кто-нибудь другой произнесет слово, которое даст толчок и выведет на дорогу.

Все они одинаково плохо знали, что делать. Но они происходили из разных слоев общества, поэтому каждый привносил разнообразные личные свойства и коекакой опыт, которого не хватало другим.

Адольф Шевалье, маленький, спокойный, упитанный, был молодой провинциальный буржуа. Он происходил из старинного рода, по традиции принадлежавшего к судейскому сословию и владевшего прекрасным именем в Берри.

Человек просвещенный, из породы со столь же высокой культурой, как культура их полей и виноградников, самый «порядочный» из всех пяти (в старомодном, классическом смысле этого слова). Истинный француз по уму, он складно говорил, был педантичен и положительно напихан привычками.

Они путались у него под ногами. Тем не менее он ходил, расставляя ноги пошире, не очень быстро, степенно. Остальные подтрунивали над ним, намекая на герб города Бурж: «Осел в кресле...»

Фернан Верон-Кокар подавлял его своей грузностью, громогласием и пренебрежительностью. Высокого роста, толстый и мясистый, с выпяченной грудью, с такими огромными ногами, что пол дрожал при каждом его шаге, с зычным голосом, от раскатов которого стекла дребезжали, как от колокольного звона, с широким лицом, как бы сделанным из одного мяса, – такие лица появились во время войны; точно эти люди насосались вместо молока ее крови. Не знаешь, глядя на такое лицо, кого оно больше напоминает: герцогов Наполеона, вышедших из конюхов, или Коклена, когда он трубит в роли Скапена-триумфатора. Он был сыном промышленника, разжиревшего на войне, и, нисколько не стесняясь, говорил об этом открыто, «не таясь», как он выражался. («В доме укравшего, – подчеркивал он, – не говорят о тех, кого обокрали!») Уничтожающее презрение, которое он питал к своему отцу и всей его шайке, не вытеснило в Вероне сыновней любви и в особенности не вызывало у него ни малейшего желания отказаться от жирных кусков, которые перепали на его долю. Он не колебался в выборе между укравшими и обокраденными. «Тем хуже для дураков! И тем лучше, черт подери, для меня! Были бы у них мои силы, они бы давно взорвали это общество. Быть может, они так и сделают. И я им помогу. А пока я ем. И я не стану отказываться от этого в пользу кого-то другого, кому еда не доставит такого удовольствия, как мне! Плевать мы хотели на право! Знаем мы, что это такое, посмотрелись! Для нас единственное дело чести, нашей сегодняшней чести, – это не лгать. Если я мерзавец, я это знаю, и я это говорю. Первое, с чего надо начать чистку выгребной ямы, – это выпустить кишки глупому вранью, всякому идеализму! Вильсона – на свалку!»

Адольф задыхался. Это был один из тех редких предметов разговора, который лишал его прирожденного величия. Симон Бушар брызгал слюной, глаз, а у него лезли на лоб. Ему трудно было говорить, он подыскивал слова, но когда они вырывались, точно выброшенные катапультий, они оказывались увесисты, крепки и сочны, и это заставляло прощать их непристойность.

Казалось, он был в смертельной вражде с Вероном, но их всегда можно было видеть вместе. Они были созданы, чтобы постоянно мериться силами друг с другом. Бушар, сын фермера-арендатора, стипендиат лицея, большой труженик, остававшийся и на школьной скамье трудолюбивым волом, невыхолощенным першероном, обладал телосложением циклопа и отличался умом, составленным из тщательно подобранных и хорошо заученных аргументов; он был – и внешне и внутренне – толст, тяжеловесен, груб и неотесан. У него была твердая вера в идею войны. Теперь он не менее твердо верил в неприкосновенные «Четырнадцать пунктов» американского мессии. Ему всегда, всегда нужно было, чтобы его водили за нос. Но те, кто это делал, дорого платили потом: раскрыв обман, Бушар никогда его не прощал, и неумолимая ненависть все накапливалась и накапливалась у него в суме. А

суму он не выпускал из рук, когда с обычным остервенением бросался на поиски новой истины.

Сент-Люс (Жан-Казимир) не обременял себя ни таким багажом, ни (в еще меньшей степени) такой целью. Пышное имя было его единственным *impedimentum*.⁸³ и потому казалось смешным. Сент-Люс твердо решил расстаться с ним при первом удобном случае. Он был им обязан щедротам своего отца-поляка. Но этим отец и ограничил свою щедрость после того, как посеял сына в шелковистом чреве одной французской кинозвезды. Она была креолка с Антильских островов и кичилась родством с красивой потаскушкой Жозефиной I, которую обессмертил Прюдон. Сент-Люс унаследовал от матери стройный стан, глаза с поволокой и нежные ямочки на щеках. Это был юноша живой, как ртуть, изящный и пылкий. Ему не нужно было повода, чтобы постоянно находиться в движении. Ничто не сдерживало его, никакая условность нравственного или умственного порядка. Он не тратил времени на то, чтобы ломать копья. Но он смотрел, как их ломают другие, и весело смеялся, когда удар бывал удачен. Сент-Люс родился зрителем, никогда не уставал от зрелищ, не жалел ног в погоне за зрелищами. Этаким Пэк, который прогуливается по лицу земли и щекочет ей нос. Верон пренебрежительно называл его Святой блохой⁸⁴ Пэк мог бы ему ответить десятью колкостями на одну. Но по своей веселой беспечности он считал, что это животное Верон и так хорош, его можно жарить в собственной свиной шкуре – он не нуждается в приправах...

Так они держались вместе, не самообольщаясь и не обольщаясь друг другом. Именно это и сближало их больше всего. И они с той же иронией и сердечностью приняли в свой круг бледного, худого, беспокойного ацкольского барабанщика Марка с его встревоженной мордочкой голодного щенка. У них не хватало теплоты, быть может интереса к его тревогам, к тому, что могло шевелиться под этой маской: у каждого были свои тревоги, – и каждый держал их в тайне. А то они стали бы стесняться Марка, если только что-нибудь могло их стеснять! Даже в своей неумолимой иронии Марк все принимал слишком всерьез. Им это казалось не соответствующим духу времени (слишком рано или слишком поздно? неважно! Часы все вращались). Но для общего дела, для того чтобы подкопаться под современный мир и вырваться из него, острый взгляд Марка и жесткая складка в углах его властного рта казались им полезным подкреплением. Он был свой.

И еще была вокруг них мелочь: славные мальчики, которые хотели мыслить, но мыслили не самостоятельно, а слушали их и старались вставить свое слово. Однако пятерка редко снисходила до того, чтобы отвечать им; в пятерке разговаривали только между собой. Остальные составляли окружение. Они годились только на то, чтобы передавать и распространять волю пятерки.

В другом конце зала собралась другая, столь же многочисленная группа: это были сторонники «Аксон франсез». Обе группы делали вид, что не знают друг друга; они питали одна к другой глубочайшее презрение, приперченное щепоткой ненависти. И так как на обоих концах говорили очень громко, слишком громко, несмотря на замечания возмущенного библиотекаря, на которого никто не обращал внимания, вызывающие словечки летели через зал, и кипятик в любую минуту мог выплеснуться на огонь. Этого-то они и хотели. И в случае надобности всегда находилось кому передать горячий вызов из одного лагеря в другой. К счастью, молодое веселье еще не умерло в сердцах этих бойцов. И остроумие обидного словца нередко обезоруживало противника.

А дальше, в стороне, особняком, с улыбкой превосходства на устах, разбили свой лагерь те, что были равнодушны к общественным делам, для кого война, мир и договоры были политикой, от которой лучше всего держаться подальше, чтобы заниматься торговлей, карьерой, развлечениями, своей духовной кухней: искусством, наукой, профессией. Это

⁸³ Багажом (лат.).

⁸⁴ Сент-Пюс – по-французски – Святая блоха.

были домашние хозяйки – они презирали женщин праздных и ведущих беспутную жизнь. Среди них были и подлинные величины: например, толстый, коротколапый, близорукий пудель со вздернутым носом, с обалделым видом, с узким лбом, жесткой гривой и открытым ртом, который, казалось, всегда готов был воскликнуть:

«Эврика!..» Жокрис в ванне Архимеда... Фелисьен Лерон был счастливый юноша: он чувствовал настоящее призвание к науке. Оно позволяло ему не думать о том, что происходит вокруг. Вне своей специальности он был бы круглым идиотом, если бы его не спасала хитрость французского крестьянина. Рядом с ним были и мелкие эстетствующие кретины, которые мнили себя аристократами духа на том основании, что считали унижительным заниматься социальными вопросами: вероятно, эти вопросы не слишком больно их задевали! Они любили претенциозно цитировать изречение вещего Валери:

«Нельзя заниматься политикой, не высказываясь по вопросам, о которых ни один здравомыслящий человек не может сказать, что знаком с ними. Следовательно, только круглый дурак или круглый невежда может составить себе мнение относительно большей части проблем, которые выдвигает политика...» Они гордились тем, что не имеют никакого мнения, и питали глубокое презрение к обоим враждующим лагерям, на что те отвечали таким же презрением.

Наконец, по другую сторону стола, прямо против пятерки, спокойно расположились серые глаза под длинными ресницами, большой лоб, прикрытый волосами, тонкий, острый носик и улыбка Генриетты Рюш. Девушка деловито разложила вокруг себя книги, которые намеревалась просмотреть сегодня.

Ее длинные и худые пальцы, на которых один или два ногтя обгрызены, бегали по бумаге и точно отмечали то, что она прочитала. И вместе с тем от нее не ускользала ни одна мелочь из того, что говорилось вокруг. В ее хорошо организованной голове с чересчур высоким, приоткрытым волосами лбом хватало даже места для потока пустых секретов, которые ей нашептывала, взгромоздясь на стол своим широким задом, пухленькая Элоди Бертен, – правда, Генриетта их в одно ухо впускала, в другое выпускала. Обладательница имени Элоди не открывала его никому, кроме первого встречного, и то под секретом, ибо хранить тайны она была неспособна; она перекрестила себя в Элизабет, затем в угоду моде в Бабэт и, наконец, – для краткости, в Бэт.⁸⁵ Это последнее имятут пятерка была единодушна – подходило к ней как нельзя лучше. Она говорила, говорила, говорила. Ее всегда можно было видеть с открытым ртом и поднятым подбородком. Существуют породы женщин, как, например, англичанки, которые говорят, словно не раскрывая рта: они начинают говорить, еще не успев раскрыть его. Но парижская Бэт, боясь, что не успеет все рассказать, открывала рот раньше, чем начинала говорить, держала его открытым, когда говорила, и не закрывала, когда переводила дыхание, перед тем как заговорить снова. Она была хорошенькая, нежная, кругленькая, пухлая. Она делала честь дому, который ее вскормил и наследницей которого она была, – большому продовольственному магазину на Одесском бульваре. Она делала несколько меньше чести дому Роберта Сорбонна, хотя вбила себе в голову, – бог знает на каком основании, – что получит в этом доме ученую степень. Знания манили ее, как некая далекая страна. По правде сказать, сама страна интересовала ее меньше, чем обитатели, и слово «степень» вызывало у нее представление не столько о трудных и скучных экзаменах, сколько о степени свободы, дозволенной в общении с самой свободомыслящей молодежью в мире. Молодую коммерсантку это общение ошеломяло. Она была в диком восторге от Генриетты Рюш, а Генриетта принимала ее поклонение, – при условии, чтобы оно проявлялось в свое время и в удобной для нее форме, – и ввела ее в кружок пятерки. Там не очень присматривались к уму девушек – хватило бы ума понравиться. А этого хватает даже у самой глупой, если она настоящая парижанка. Но девушкам не следовало рассчитывать на слишком большую галантность со стороны молодых людей: некогда было. В делах любви

⁸⁵ Бэт (Bette) созвучно слову bete – дура.

уже не принято было медлить. Как говорит Моран, женщине теперь надо расстегнуть всего лишь три части туалета. Значит, как угодно. Было ясно, что Бэт – угодно. А Генриетте – нет. Однако они от нее не отказывались, хотя ее худоба, худоба длинной борзой не привлекала клыки этих молодых хищников.

Верон, который, видимо, уже испробовал на ней свои зубы и один сломал, затаил жгучую злобу и прозвал девушек: Уродина и Дура. Однако ни один из пятерки не колебался в выборе. Предметом воцелений была именно Уродина (хотя они в этом не сознавались). И (в этом они тоже не сознавались). сейчас, в словесном турнире, эти мальчики, вписавшие «бабий ум» в разряд вещей презираемых, говорили громко и рисовались именно для нее. Она это прекрасно понимала. Но ничего не показывала, кроме иронии в уголках своих покрытых легким пушком губ. Она, казалось, ничего и не слышала, однако все запоминала; она молчала и лишь изредка бросала словечко рассеянного поощрения в болтливый ручеек Бэт. Следя глазами за своими пальцами, которые скользили по бумаге, она сквозь опущенные ресницы подробно изучала выражение лица каждого из пяти тореадоров. Единственным, кто сразу уловил остроту ее взгляда, прикрытого сеткой ресниц, был Пэк, чьи вечно бегавшие глазки вечно все обшаривали. Идейные споры занимали его только как возможность наблюдать за спорщиками, а пресытившись наблюдениями, он позволял себе примыкать и к зрителям. Он эмигрировал на другую сторону стола и завязал с Дурой пустую болтовню, которая, однако, относилась к Уродине. Болтливый ручеек переносил острые словечки от одного к другой.

Верон, возревновав, заметил Бушару: «Блоха бросается на деву».⁸⁶ Они прозвали Рюш Орлеанской девой. Она и была таковой. (Я имею в виду место рождения.) Утверждали, что она сохранила и другое качество. (Я имею в виду девственность.) Однако для них это обстоятельство было спорным. Они этого нисколько не скрывали, даже от нее. Она и бровью не вела. Ни да, ни нет. Обхватив подбородок рукой, холодная и насмешливая, она смотрела им прямо в глаза. Так как же обстояло дело? Как бы ни обстояло, а они восхищались ею. Она их держала в руках (держала в руках ключи от их тайн), они же никаких ее тайн не знали.

И когда разразилась буря (чтобы вызвать скандал, Верон загремел: «Долой Тигра со щита! На кол его! Я его посажу на кол!..» – а другие, из «Аксьон франсез», загалдели и повскакали с мест, готовые ринуться на врагов, после чего библиотекарь, который кричал гром всех, решил наконеч очистить зал), когда пятерка и ее свита пришли к заключению, что впредь устраивать свои заседания здесь им не удастся, и стали думать, где же собираться, то никого не удивило предложение Бушара:

– У Девы!

Она приняла это как должное.

Она была дочерью прокурора, человека большого ума и больших страстей, прямого и властного, гордого, гневливого, тирана по отношению к себе и к своим домашним, настоящего «орлеанского шмеля». «Осиный ум, – говорил о нем один из ветеранов Лиги, разбиравшийся в людях, – угрюмый, придирчивый, непокладистый». И вот его угораздило обзавестись на свою беду дочерью. Он ее обожал, и она любила его, но была такой же «осой», как он сам, и не обнаруживала ни малейшей склонности уступать ему в чем бы то ни было. Все, что она думала, было прямо противоположно тому, что думал отец. Нельзя даже сказать с уверенностью, что она не изменила бы своих взглядов, если бы он изменил свои. Однако не следует думать, будто в ней говорил бабий дух противоречия. Ей это нужно было, чтобы жить. Когда деспот лишает вас воздуха, когда он навязывает вам свою истину, то даже если вы и сами эту истину признаете, она угнетает вас, она вас душит, вы ее ненавидите, и вас тянет броситься в противоположную сторону. Прокурор был насквозь пропитан старыми, основанными на законах взглядами на воспитание, на семью, на государство, на девушек, на женщин, на брак, на мораль. А Генриетта Рюш все это отбрасывала, как вышедшие из моды

⁸⁶ Игра слов: «блоха» (pise) и «дева» (pucelle).

тряпки.

У нее было время обо всем поразмыслить. Сквозь шелуху деспотического идеализма, которой наслаждался старый ритор, она ясно видела, что ее ждет, – серенькая, скучная, жалкая жизнь бедной провинциальной девушки.

То немногое, что у них было, растаяло в течение последних лет войны.

Прокурорского жалованья едва хватало на текущие расходы. Что будет после его смерти? Об этом он как будто не думал. Главное, исполнять свой долг! Те, кто его переживет, должны делать то же самое. Найдется какой-нибудь провинциальный молодой или старый судейский, более или менее невзрачный и бедный, как он сам, чтобы жениться на его дочери. А дочь смотрела иначе. Прошло то время, когда женщина, подобно ее матери, покорно ждала, чтобы ее соблаговолили взять замуж! Когда отец изливал на дочь каждодневные потоки своих «принципов», она, стиснув зубы и храня на лице холодно-ироническое выражение, слушала его молча, хотя внутри у нее все кипело. Но в одно прекрасное утро она отчеканила спокойно, твердо и ясно:

– То, что устарело, никогда не вернется.

Он осекся.

– А что же именно устарело?

– Ты, – ответила она.

Потянулись тягостные дни и месяцы, атмосфера в доме стала невыносимой. Сильный ветер сменялся моросящим дождем. Хуже всех приходилось матери – безоружной между двух огней. Всю жизнь она сносила требовательность своего отца, братьев и мужа. Растерянная, не без боязни, но, быть может, и не без тайной радости, смотрела она на этот бунт, который вместо нее подняла дочь. Весь пыл прокурора разбивался о стену насмешливого равнодушия девушки, ее дочери, которая, слушая отца, пронизывала его ясным и холодным взглядом. Отец приходил в замешательство. Слова застревали у него в горле: он чувствовал их бесполезность; этого мало, – взгляд дочери сковывал его и говорил ему: «Ты сам себе не веришь». Он выходил из себя, только чтобы поверить. Но цели это не достигало. Она же никогда из себя не выходила. Прокурору легче было бы отвоевать пять голов у слезливого красноречия адвокатов, чем одну эту упрямую девичью башку, которую стриженные волосы облегали, точно каска. В доме разыгралась целая трагедия, когда Генриетта пришла подстриженная, подняв нос кверху, с бьющимся сердцем, освобожденная Далила, снявшая волосы, чтобы разбить цепи Самсона! Старого буржуа едва не хватил удар. Этот дон Диего почувствовал себя опозоренным, увидев тонкие, наконец освободившиеся из своей темницы ноги дочери, которые еще прикрывало куцее платьице, едва доходившее до колен... O tempora, o mores! Отец не уставал греметь, но дочь очень скоро устала слушать его.

Коль гром гремел или гроыхает, Свой рог улитка выставляет, – гласит народная мудрость. Орлеанская Рюш выставила два рога. Она спокойно заявила, что «от спора дело не спорится», что этак они только даром теряют время, а для нее самое главное – молодость, что никто не властен приковывать живое к мертвому и что она будет отстаивать свое право уехать учиться в Париж, начать независимую жизнь. Ничто не помогало: ни просьбы, ни угрозы, ни доводы. Отец не позволил. Она уехала. Однажды вечером птички не оказалось в гнезде. От нее пришло письмо из Латинского квартала. Ей уступили, чтобы избежать скандальной огласки. Она ставила условия. Прокурор выставил свои. Переговоры велись в письмах, суровых и ледяных. Отец и дочь любили и ненавидели друг друга. Отец назначил ей нищенское содержание; из гордости дочь отказалась. Потребовались мольбы матери, чтобы установить некоторый *modus vivendi*; мать доказала «шмелю», что вынуждать «осу» самой добывать себе средства к существованию в Париже опасно. Отец содрогнулся; бешеное упрямство заставило его забыть, на что могла решиться его дочь из такого же упрямства! Он поспешил подписать договор. Скучное содержание в обмен на обязательство упорно трудиться – экзамены будут проверкой. Обязательство выполнялось: Генриетта Рюш, которая считала себя свободной от предрассудков (а таковыми она признавала правила

старой морали), обладала одной добродетелью и одним пороком, заменявшим ей добродетель: это была сконцентрированная, тройной крепости, женская гордость. Между ней и отцом, между ней и маленьким провинциальным мирком, который осуждал ее и шпионил за ней, происходил скрытый поединок. Она держалась стойко. Вела себя безукоризненно. По крайней мере внешне. Она себя берегла. Что касается сущности ее жизни, это было ее личным делом: она никому не обязана была отчетом. Всякий мог видеть, что она успешно сдает экзамены, что, по отзывам преподавателей, ее замечательные способности позволяли ей опережать самых лучших своих коллег или по крайней мере не отставать, – их отвлекали другие мысли. Между тем далеко не один лишь рассудок придавал смысл ее жизни. Она оставалась загадкой для других. Быть может, и для себя самой.

Она жила недалеко от Валь-де-Грас, в одном из самых узких мест улицы Сен-Жак, протянувшейся через извилины и перекрестки холма св. Женевьевы, как скрипичная струна через кобылку. Старый дом изгибался, точно под смычком, и сотрясался, когда мимо проезжали тяжелые автобусы. Из нижнего этажа доносились лязг железа в скобяной лавке и звон бутылок у виноторговца. Узкая дверь и темная старая каменная лестница вели на антресоли, придавленные выступом второго этажа. Единственная комната без прихожей, составлявшая всю квартиру, выходила на лестницу; раньше прямо из этой комнаты можно было пройти по внутренней лестнице в лавку, помещавшуюся в нижнем этаже. Тяжелые, присланные из провинции портьеры отнимали последний свет. А между тем в этой длинной кособокой комнате, которой выемка в фасаде дома придавала форму живота беременной женщины, было три окна, причем одно из них, круглое, в углу, в выступе, приподнятом на две ступеньки, походило на узел скрипичной струны; это была единственная хорошо освещенная часть комнаты. Должно быть, раньше здесь стояло небольшое возвышение с альковом, которое можно было отгородить занавесью на металлическом пруте. Рюш устроила себе здесь уютный уголок. Она расстелила на этом лучшем месте комнаты единственный предмет роскоши – старый персидский ковер из своей орлеанской комнаты, который попал в их семью, вероятно, после разгрома какой-нибудь церкви во времена Революции. Здесь Генриетта проводила то время, когда не бегала по парижским улицам; она усаживалась, скрестив ноги, курила сигарету за сигаретой и, предаваясь мечтам, то хмурила брови, то смеялась какой-нибудь промелькнувшей мысли.

(Ее друзья ничего об этом не знали: свой резкий смех и свои мысли она таила от всех.) Или же, устав от беготни, она ложилась, но не вытягивалась во всю длину (ниша была недостаточно велика для длинного тела этой борзой), а, согнувшись в дугу, подтягивала колени к подбородку и обхватывала руками ноги, натруженные ходьбой. Работала она тоже на полу, сидя на корточках, обложившись книгами, с самопишущим пером в руке. Так она сидела, пока из круглого окна на ее неутомимые, стальные глаза еще падали последние капли света, меж тем как глубину комнаты уже затопляла темнота. Ширмы в четырех углах скрывали разные «интимности» туалета, еды и прочего. Она называла эти углы своими четырьмя странами света.

Мебель – разрозненная и в небольшом количестве.

Несколько экономно сооруженных кушеток. Длинный, заваленный бумагами стол, на котором можно было и сидеть. Два-три стула. Ящик для дров (огонь разводили не часто: из старого камина вечно дуло). Угрюмые стены были завешаны яркими тканями. Наметанный глаз Генриетты подобрал их со вкусом, в оригинальных сочетаниях; краски были ее лакомством, но, подобно венгерским женщинам из народа, которые держат свои самые великолепные вышивки в сундуке, Рюш, по-видимому, больше всего наслаждалась солнцем, когда оно попадало в плен ее полутемной комнаты. Развешанные по стенам снимки с картин Гогена, Матисса, Утрилло вызывали в памяти тех, кто знал оригиналы, тона их световой гаммы. Посетителей встречала у входа головка маленькой монахини из старинных фаблио, с узким разрезом глаз и лукавым носиком, – гипсовый слепок, снятый до войны с одной из фигур на фасаде Реймского собора. Маленькая монахиня имела что-то общее с хозяйкой дома.

Тонкая улыбка этой галльской Джоконды служила посетителям предупреждением. Чтобы окончательно расположить их (а быть может, заставить насторожиться), маленькая переносная библиотечка, помещенная в углублении, под зеркалом, у стены с круглым окном, на самом виду и хорошо освещенная, свидетельствовала, не без некоторого вызова, о французских вкусах хозяйки: Вийон, сказки Вольтера, Лафонтен. Подбор был не лишен некоторой лукавой нарочитости, но зато соответствовал подлинному, неподдельному инстинкту расы. Если бы орлеанский прокурор, который в жизни и в суде метал свои картонные молнии против неуважения к своду законов, увидел на столе дочери подлинные сокровища дерзкого галльского духа, он, пожалуй, приветливо помахал бы им своей ермолкой. Сколько ни старались Рим и Иудея заткнуть Франции рот и забить ей память, но голова-то ведь галльская и в ней водятся хорошие штучки, – добрый француз всегда узнает их и смакует.

И на полках Рюш, как и полагается, соседствовали Расин с Вольтером, а Декарт с Лафонтеном – французская семья. А так как завтрак юной, новоиспеченной школярки требует приправы в виде щепотки педантизма, то она прибавила к ним Лукреция. Но хоть она и читала по-латыни чуть-чуть лучше, чем ее товарищи, – между нами говоря, я уверен, что Лукреция она вовсе не читала и что она охотнее заглядывала в «Царевну вавилонскую». А еще больше любила она читать в сердцах своих мальчиков. Это всегда было любимой книгой девушек. Но не каждой дано читать ее правильно. Рюш приобрела в этом деле сноровку. Никто из них об этом и не догадывался, она же видела их насквозь.

Они приходили и располагались. С бесцеремонностью мальчишек. Их не смущало, что они наносили с улицы грязь, что они наполняли комнату шумом и табачным дымом (после них приходилось раскрывать настежь все три окна, и тогда врывалось ледяное дыхание ночи). Они распоряжались временем и жильем Генриетты, точно она была обязана служить им, – и все это без единого слова благодарности. Но хозяйка вознаграждала себя сама, она умела внушать к себе уважение; если это и не бросалось в глаза, то лишь потому, что она сама была в этом уверена и не требовала особых знаков внимания. Вероятно, она была даже слишком уверена – таков недостаток молодых женщин. Но она жаждала знать все, что происходило в мозгу этих молодых самцов, и она позволяла им выкладывать все, ни единым словом, ни единым жестом или взглядом не прерывая их излияний. Спокойно раскачиваясь в садовом кресле-качалке, с сигаретой между двумя пальцами, она только поглядывала, как болтуня Бэт подносит им чашки кофе (на этих вечерах Бэт ведала снабжением: она таскала кофе у своего папы). Генриетта едва приоткрывала свой насмешливый рот, когда они удостаивали ее вопросом или когда она собиралась незаметно направить споры в желательную ей сторону, либо подогреть их, либо, наконец, прекратить одним небрежным движением лапки, двумя-тремя неожиданными, но меткими словами; затем она снова замыкалась в свое внешнее равнодушие и принимала рассеянный вид, будто вовсе и не она говорила. Но из-под ее век, собранных в складки, как у гипсовой монахини, сверкал зоркий огонек: собака, делающая стойку...

Бэт была ей полезна тем, что отвлекала глаза и даже руки товарищей. Но взгляд Генриетты хотя и не мешал им, однако не позволял переходить молчаливо установленные ею границы. У самого края они останавливались. Закон Рюш!⁸⁷ За порогом все они – и Генриетта в том числе-были так же вольны нарушать десять заповедей, как известный англичанин за Суэцким каналом.

Но на словах они нарушали заповеди даже в комнате Рюш. В поисках выхода из мира, разгромленного Разумом и Правом, им необходимо было мстить за себя! Оплевать все три добродетели: веру, надежду, любовь! Но это сводилось к тому, что каждый должен был вытереть лицо самому себе. Бедные дети!

Во все времена люди сомневались. Каждое новое поколение отвергало бредни старших.

⁸⁷ Рюш (ruche) по-французски улей.

Но была существенная разница между игрою в побоище, которой во все времена занимались молодые интеллигенты, будущие профессора, прокуроры, адвокаты и охранители моральных и правовых устоев завтрашнего дня, и судорожным бунтом этого нового выводка, вышедшего из великого Обмана, из войны за Право. В прежние времена сомнение бывало покладистым; оно примирялось с жизнью и с благоразумием; оно даже приятно сочеталось с формулой: «А жизнь хорошая штука!» – которая побуждала старика Ренана облизывать свои жирные губы. Нынешнее сомнение было тайфуном из песка и огня и сносило все начисто. Но эта *tabula rasa*, которая нисколько не смутила бы бронзового Декарта или бескостного Анатоля Франса, была для этих юношей видением смертельным. Во всем, что им приходилось читать, видеть, слышать, они чувствовали яд, подмешанный в пищу цивилизации: в религию, мораль, историю, литературу, искусство, философию, в общие места публичного красноречия, в обиходный «идеализм». Они выbleвывали этот яд с гримасой яростного и шутовского презрения к глупому душевному покрову предшествующих поколений. Под всеми видами бунта – литературного, умственного, социального – скрывалось все то же отрицание ценности человеческого духа, сорока столетий цивилизации, самой жизни, смысла жизни... Но поскольку эта молодежь отнюдь не была расположена к самоубийству, инстинкт жизни подсказывал ей один выход: разрушение. В разрушение они вносили сатанинскую ярость. Они приветствовали треск и грохот с восторгом молодых дикарей: чем больше развалин, тем больше простора для их беспорядочных мыслей. А если бы они вздумали бросить эту пляску со скальпами и встать на путь борьбы, то им очень трудно было бы выбрать такой путь. Когда отрицаешь все, зачем действовать? Затем, что ноги, руки, все существо – в том числе голова – не могут без этого. Но черт возьми, как же действовать? В каком направлении? А в 1918 году нелегко было найти, кому доверить действие, – слишком много было смертей.

В спокойные эпохи всегда имеется большой выбор любимцев – писателей или ораторов, – на которых молодежь может положиться. А так как эти скаковые лошади почти не скачут и им не приходится брать препятствий, то на них можно ставить долго и без риска. Но во время войны почти все клячи свалились в грязь. А немногие уцелевшие, как только наступил мир, стали спотыкаться. Никто не оправдал надежд. В несколько недель все было кончено. Старая гвардия была ликвидирована. Оба идола из обоих враждующих лагерей – Клемансо и Вильсон – были выпотрошены: из одного вытряхнули опилки, из другого вылили кровь – чужую. Фальшивый тигр превратился в полицейского пса. От чистенького американского моралиста, проповедовавшего Четырнадцать пунктов, ничего не осталось. В силу праведной несправедливости обманутых народов именно против него и обернулось всеобщее негодование. Замороженные головы стали проясняться. Теперь они были пусты, предельно пусты... Бездна... Чем угодно, но пустоту надо заполнить снова!

«Пятеро» (кроме Верона) исчерпали свои последние способности к практическому действию в манифестации перед Сорбонной в честь Вильсона, которого они на третий день от стыда выбросили в мусорный ящик. Теперь они напрасно искали вокруг себя живые уроки и примеры деятельности, за которые можно было бы ухватиться. Единственный, к кому они еще сохранили уважение, потому что честность его высказываний выдержала суровую проверку действием на войне и подкреплялась стоицизмом его жизни, был Алэн.

Он проповедовал опасное для недостаточно закаленных натур сократовское учение о полном отделении свободы духа от долга гражданского повиновения. Он учил – и подкреплял свое учение личным примером – идти, если надо, на смерть за государство, даже когда осуждаешь его. Но эта проповедь осмысленного приложения энергии не выходила – за пределы небольшого кружка интеллигентов и подвергалась риску: слабые души, искавшие предлогов, чтобы уклониться от деятельности и сопряженных с ней опасностей, могли истолковать ее как платонический протест совести, на деле готовый идти на компромисс. Что это значит – повиноваться отказываясь? Повиноваться? Или отказываться? Действие

несовместимо с игрой между «да» и «нет». Действие топора разрубает Janus bifrons⁸⁸ надвое. Чтобы быть понятым, учение Алэна требовало по меньшей мере долгого и терпеливого напряжения воли и неограниченного времени. Но именно этого больше всего и не хватало нашим мальчикам: времени и терпения. Мир, вышедший из чрева войны, как Иона – из чрева китова, несся, несся с быстротой болида. Скорей! Скорей! Алэн уже не поспевал за ним. Подобно всем лучшим из уцелевших представителей довоенного поколения, он привык жить и мыслить в масштабе столетий. Из всей пятерки Адольф Шевалье был единственным, чей темперамент еще мог приспособиться к ритму этого дыхания, медленного и глубокого, как дыхание крестьянина. Но, к несчастью, Шевалье был сделан из недостаточно крепкого морального теста, чтобы принять Алэна и не исказить его. С помощью софизмов он пытался найти у Алэна какоенибудь оправдание для своей философии, требовавшей спокойствия и комфорта. Симон Бушар со своей нерастроченной силой был ближе к Алэну как к человеку и любил в нем человека больше, чем его идеи. Грубая, прямолинейная честность Алэна заставила Бушара очень скоро отойти от него и броситься на поиски какого-нибудь другого учения, которое дало бы ему возможность действовать. Действовать так, как он понимал, – кулаками. Его влекла к себе революция. Но в эти первые, решающие шесть месяцев, которые последовали за перемирием, здесь, на Западе, представление о революции было еще неясным, бесформенным. Партии, лишённые организующего начала, топтались на месте, как слепец, который тычет палкой в стенку. Еще ничего определенного не было известно о России, блокированной войсками Клемансо; только через эти войска и благодаря их мятежу станет доходить в апреле будущего года правда о том, что государственным деятелям, ренегатам французской революции, не удалось задушить народисполиин, разбивающий свои цепи.

Из всех разочарований молодежи в эти первые месяцы Победы-Поражения самым удручающим (этого не говорили вслух, – слишком тяжело было это признать) было возвращение армии – их старших братьев. От их опыта, единственного опыта, который молодежь не брала под сомнение, ибо за него было заплачено кровью, она ждала ответа на вопрос, как жить. Только в их присутствии она держалась скромно и молчаливо. Она с тревогой ждала, что скажут старшие. Но старшие не говорили ничего. Они тоже молчали. Они уклонялись от ответов на вопросы. Они говорили только о вновь обретенной жизни. Они торопились вернуться в сети повседневности, сплетенные из тех самых цепей, из которых эти юноши так стремились вырваться. Хуже всего было то, что через несколько дней или недель иные успевали вновь приноровиться к условностям лживого и трусливого тыла и, чтобы лучше включиться в его жизнь, начинали хвастать и врать. И разве только случайный взгляд, которым на лету обменивались два фронтовых товарища, мог выдать их тайное взаимопонимание. Но младшим братьям, которые оставались дома и теперь ждали, молили, чтобы им кто-нибудь сказал таинственное слово, они не говорили ничего. (Увы! Может быть, им и нечего было сказать! Они разучились говорить. К чему слова?) Это была великая Измена. Казалось, они мстили за предательство своих отцов и братьев, которые сами оставались в тылу, а их посылали умирать во имя лжи.

Пятерка, или вернее семерка (если включить в круг их вращения, как и в нашей солнечной системе, две планеты женские), проделала уже не один опыт, но от этих опытов у них оставалась в душе горечь. Как-то вечером они привели одного из старших к Рюш. Это был друг убитого под Эпаржем брата Бушара. Он был гордостью лица и окончил его, увенчанный шумными (и обманчивыми) надеждами, обычно возникающими в кругу учителей и товарищей как следствие успехов в занятиях. Но тут его захватила война и продержала от первого дня до последнего, если не считать трех периодов вынужденного отдыха и ремонта в госпиталях после ранений. Гектор Лассю получил все геройские нашивки, так что можно было рассчитывать, что для младших он окажется мужественным и

⁸⁸ Двудликого Януса (лат.).

верным советчиком. Бушар показывал своей компании его письма к брату и ответы брата за первые два года войны, и в этих письмах друзья громко заявляли о своем твердом намерении навести порядок в доме, когда они вернутся. Потом один замолчал: его убили. А тот, который остался в живых, больше не говорил. Он не очень изменился физически, хотя возмужал, повзрослел, кожа у него стала красная, как обожженная глина; пожалуй, он даже выглядел окрепшим (он не выставлял напоказ свои горести, трещины в организме, который расшатали тревоги и ужасы землетрясения). Он был прост и сердечен, он умел смеяться. Его манеры казались немного резкими в первые дни, пока он еще не освоился в мире живых людей, но они быстро вошли в норму. Гектор Лассю не проявлял той циничной грубости лесных жителей, которую многие привезли с фронта и в которую зачастую рядились его юные товарищи; он смотрел с ласковой иронией, как они разыгрывают свои роли. Мягкая, усталая улыбка светилась в глубине его глаз. Ничего не упуская, они дремали и грезили. Они наверстывали украденные у них часы сна, дни и ночи чистой и простой жизни – жизни без мысли, без цели, не имеющей прошлого, не знающей будущего, до краев заполненной настоящим, – рекой без берегов. На протяжении стольких лет постоянное соседство смерти с ее гнусными объятиями лишало их тени плакучих ив, свежести вод, всей огромности жизни, которая течет, постоянно изменяясь и оставаясь все той же, тишины миров, которые уходят, уходят, уходят и вечно возвращаются. Ни один из этих мальчиков, вертевшихся и рисовавшихся перед ним, этого и не подозревал; они не были лишены всего этого, они привыкли плескаться в воде и не чувствовали благотворности ее действия. Надо ли пытаться объяснить им? Слишком утомительно! Когда-нибудь поймут. Пусть каждый все испытывает на своей шкуре! Я-то ведь за свою науку сам платил... Мальчикам, которые, уставив на него глаза, – так приставляют пистолет к виску, – и спрашивали настойчиво и гневно, как он себе мыслит будущее, что он намерен делать, он отвечал насмешливо и устало:

– Уйти.

Они подскочили:

– Куда?

– Куда-нибудь! В свой угол, в свою комнату, на свое поле.

– Что же ты там будешь делать?

– Жить.

– Как? И больше ничего? Даже писать не будешь?

– У меня нет никаких других желаний.

– Но значит ли это жить?

– Вот именно! Это и есть жизнь...

– Объясни!

– Этого нельзя объяснить.

– И это все, что ты вынес оттуда?

– С меня довольно! Если вам нужно больше, идите туда сами. Я свою лепту внес.

Когда он ушел, семеро посмотрели друг на друга – бледные, раскрасневшиеся, разъяренные, подавленные. Бушар, вращая глазами, сказал:

– Мерзавцы! Война выхолостила всех наших мужчин.

Тех немногих, которые во время войны выступали против нее, которые подымали над схваткой знамя мысли, хозяева войны сумели с дьявольским бесстыдством заклеить кличкой «пораженцы». И даже самые свободомыслящие из молодых людей, те, которые знали всю нелепость этой оскорбительной клички, боялись, как бы самим не заслужить ее. В глубине души они, быть может, даже презирали тех, кого она не пугала. А надо было с вызывающим и боевым жестом, с дерзкой смелостью подхватить эту кличку, как знамя, по примеру нидерландских «гезов» или русских большевиков, поступавших тогда именно так. Но слабость этих юношей заключалась в излишнем благоразумии, они боялись насильственного воздействия мысли, ее крайностей. Между тем крайности были нормой для молодых людей послевоенного поколения. И в глазах отравленного войной Запада, пока его еще не коснулся свет индийского Христа, отказ от насилия означал отказ от смысла. Для

этих молодых людей быть мужчиной значило «насиловать», значило «насилие».

На опустошенном пастбище мира, где вновь прорастала тучная зелень, эти хлыщи, которые кичились тем, что «не были волами», эти бычки, которых тревожило начавшееся возмужание, искали телок, чтобы случиться с ними. И, черт возьми, в двуногих телках недостатка не было. Но эти в счет не шли: их было слишком много. А слишком много – это слишком мало! Им хотелось другого, им хотелось схватить за гривы идеисилы, идеи-телки, идеи-производительницы, которые могли бы возродить Францию и Европу. Но где их найти? Напрасно шарили их руки в темноте, – они с отвращением разжимали пальцы. Они часами блуждали в хаосе политических и метафизических понятий, ибо они все сваливали в одну кучу, а так как у них не было ясности ни в одном вопросе, то они постоянно впадали в общие места – настолько общие, что всякий раз неизбежно увязали по уши. Какой бы вопрос они ни пытались затронуть, они никогда не знали, откуда подойти к нему, с чего начать, они ни в чем не умели разобраться до конца: каждый знал немного больше, чем другие (немного меньше, чем ничего), о какой-нибудь частности, в которой перед остальными разверзалась бездна неведения. Они утопали. Они блуждали. Им удавалось выкарабкаться из болота только благодаря кровотокающей иронии по отношению ко всему на свете и к самим себе, благодаря отрицанию и насилию. Марк вносил в споры наибольшую серьезность и откровеннее, чем кто-либо другой, признавал, что ничего не знает. Он признавал это с горечью. За это Бэт уважала его меньше, а Рюш больше, но втайне она наблюдала за ним. Бушар презрительно пожимал плечами: «Прежде всего действовать! Узнать успеем после!» Шевалье поджимал губы и молчал. Он был слишком сознательным, чтобы не понимать своего поведения, слишком гордым, чтобы признать его. Верон бомбардировал пустоту. Сент-Люс улыбался. Он посмеивался над Марком и над остальными. Это не мешало ему, однако, сделать между ними свой выбор.

Вдоволь проблуждав в дебрях неведомого – мир, действие, завтрашний день, – молодые буржуазные интеллигенты возвращались, как мухи на патоку, к литературе. В этом для них был просвет. Здесь они копались в сахаре и объедках. Каждый имел свой любимый уголок в компотнице и, наевшись до отвала, превозносил его. Верон был сюрреалистом. Шевалье преклонялся перед Валери. Сент-Люс «открыл» Пруста, Кокто и Жироду. Бушар-Золя и Горького, Марк-Толстого и Ибсена... Марк отставал. Но те, кто подтрунивал над ним по этому поводу, были бы поставлены в большое затруднение, если бы им предложили подвергнуть критике его выбор: Толстого и Ибсена они знали только по именам. В те годы юные мореплаватели делали свои открытия легко: для них все было Америкой. Рюш только что преспокойно «открыла» Стендаля и берегла его для себя. Маленькая «оса» не любила делиться своим медом. Бэт не «открыла» ничего, но охотно все принимала из чужих уст: весь сахар и все пряности. Правда, ее иной раз поташнивало, но она была обжора, она смело глотала все.

Наступал момент, когда у них появлялся приторный вкус во рту. Они замолкали, вялые, пресыщенные, с трудом пережевывая, страдая умственной отрыжкой, глядя друг на друга тяжелым, бессмысленным взглядом. Тем не менее они готовы были провести так всю ночь, вяло сидя за столом в девичьей комнате, которую они в течение стольких часов отравляли сигарным дымом, своим дыханием, хвоей пустотой. Они сидели бы здесь всю ночь, потому что изнемогали, потому что были не способны сделать малейшее усилие. Они были привинчены к стульям вечным ожиданием того, что не приходило, и тайным опасением, что им так и придется разойтись, ничего не дождавшись. Именно такие минуты Рюш и выбирала для того, чтобы напомнить, что она здесь хозяйка. Она поднимала подбородок и твердо заявляла:

– Довольно! Я имею право жить! Вы у меня съели весь воздух. Я открываю дверь и окна... Зверь, спать!

И решительным движением руки, длинной и худой, как у женщин кваттроченто, она выпроваживала их на лестницу.

Они оказывались на ночном холоде, в тумане и грязи. И тут они снова наталкивались

на то, что их разъединяло: они начинали расслаиваться. Одни могли просто пойти домой и удобно улечься в постели, другим надо было думать о хлебе; на завтрашний день. Верон и Шевалье уходили с Бэт; если проезжало такси, Верой останавливал его, оставлял Шевалье на тротуаре и забирали Бэт, чтобы отвезти ее домой (как он уверял!). Трое шагали несколько минут вместе. Наступало молчание. Сент-Люс ласково брал Марку под руку. Марку это не доставляло никакого удовольствия; он холодно позволял взять свою безвольную руку. Сент-Люс не мог устоять перед потребностью молотить еще какой-нибудь вздор, в котором, однако, бывало больше смысла, чем казалось: ему надо было разгрузить свой колчан, и он выпускал остаток стрел в сегодняшнюю говорильню и в говорунов. Но два его спутника были хмуры, и ракеты Сент-Люса шлепались в грязь. Он чувствовал их отчужденность, но нисколько на это не сердился. Он был слишком далек от них всех и находил себе дополнительное развлечение в их страстном желании отделаться от него. Затем совершенно неожиданно покидал их, ловко щелкнув каждого по носу; они не успевали опомниться, как Пэк уже исчезал в темноте. Бушар, взбешенный, резко поворачивался и выпускал наугад, в туман, заряд жестокой ругани по адресу Казимира. Когда, облегчив себе душу, он успокаивался, они с Марком переходили, наконец, к тайному предмету, к главному предмету своих жгучих забот: «Как быть свободными, как стать свободными, если не знаешь, чем прокормиться?» Бушар редко бывал спокоен за завтрашний день и никогда – за дальнейшие. Марка кормила мать, и он знал, какая это для нее трудная задача – добывать на пропитание для двоих; он краснел при мысли, что, несмотря на решение есть только свой хлеб, продолжает жить на ее счет: того, что он зарабатывал, не хватало даже на половину обеда. Ему вечно приходилось просить поесть у этой женщины, которая изнуряла себя непосильным трудом... «Довольно!

Чего бы это ни стоило, надо броситься в воду и плыть самому...»

Ах, каким нелепым оперным представлением казались им теперь все прочие умственные заботы, все эти споры об искусстве, литературе, политике и потустороннем мире, весь этот лязг бутафорских клинков, которыми они фехтовали! Прежде красоты, прежде мысли, прежде мира, прежде войны, прежде будущности человечества – желудок! Он алчет пищи... Заставь его замолчать! Накорми его!..

Аннета уже не управлялась со своим двойным бременем; на это не хватало всей ее энергии! Найти средства к существованию в той среде, с которой она была связана, становилось все труднее. Целый класс средней трудовой интеллигенции старого типа – лучшая, наиболее честная и наиболее бескорыстная часть либеральной буржуазии сгорала на медленном огне. Ее разорили и истребили война, замаскированное банкротство, потеря с трудом накопленных сбережений, нищенские заработки и невозможность приспособиться к новым условиям, которые требовали людей иной породы, породы хищников. Как и ее сестры, интеллигенция германская и австрийская, сраженные раньше нее, она угасала тихо, стоически, без негодующих воплей.

Уже не впервые отмечала история подобные катастрофы, поражавшие наиболее благородные части старого человеческого Града. Такие крушения неизбежно наступают после больших войн и социальных потрясений. Но история не имеет привычки задерживаться на них. Историю делают живые люди, и они шагают по мертвым телам, предварительно обобрав их. Тем хуже для тех, кто пал! Пусть их могилы зарастают травой, и – молчание!

Аннета падать не собиралась. У нее были крепкие ноги и крепкие руки.

Никакая работа ее не страшила. Она была сильной и гибкой. Она умела приспособливаться... Но помимо того, что люди ее класса вообще жили в тяжелых условиях, Аннета наталкивалась на трудности чисто личные, касавшиеся ее одной. В своей собственной среде, в среде буржуазной интеллигенции, которая жила скудно, Аннета на каждом шагу встречала недоброжелательное отношение. Там были известны взгляды, которых она держалась во время войны, и их-то ей и не прощали. Подробностей не знал никто, знали только, что она была причастна к «международному пораженчеству» (когда эти два слова стоят рядом, они обозначают грех, не поддающийся искуплению). Аннета имела

неосторожность уклониться от святой темы отечества и войны. Какое бесстыдство! Но назад дороги нет! Аннета сама себе ее отрезала! Ее знакомые не сговаривались между собой, но она всюду натыкалась на запертые двери и непроницаемые лица. Нет места для нее ни в государственной школе, ни в частной. Никаких уроков в буржуазных домах, которые раньше были для нее открыты. Ей не отвечали на письма. Один профессор, которого она в свое время слушала в Сорбонне и который всегда принимал в ней участие, ответил ей визитной карточкой с буквами «Р.Р.С.».⁸⁹ Ее бойкотировали... Ах, эти твердые и упрямые лбы старой, заматерелой университетской буржуазии! Им свойственны великие добродетели; дух самоотречения роднит их с высокими образцами стойков Рима и моралистов древней Франции, которых они слишком хорошо изучили. Но они создали себе культ непреклонной нетерпимости мышления и присягают поочередно только своему Богу, своему Королю или своему Закону, своему Отечеству. Их ноздри еще вдыхают запах если не тел, то душ еретиков и отступников, которых сжигают на костре за неприятие их символа веры. Впрочем, пусть их не судят за то, что сами они верят только на словах и избегают нести бремя своей веры! Мы не смешиваем их с теми борзописцами, которые корчили из себя Тиртеев, сидя дома на печке и пряча свои зады от шрапнели, способной мгновенно обратить их в бегство, и от окопных жителей, горевших желанием приложить к ним свою печать грязными сапогами. Эти непреклонные буржуа отдавали войне свою кровь. Не было среди них ни одной семьи, которая не внесла бы своей доли. Аннете это было известно. Она не осуждала их за жестокость. Бесчеловечность скорби человечна, слишком человечна! В особенности если скорбь не уверена, что не ошиблась. что плуты-жрецы не возложили жертву на сомнительный алтарь. Но так как признать это значило бы дойти до предела отчаяния, скорбь стискивала зубы и скорей была готова пойти на смерть, чем признать свою ошибку. Горе тому, кто не поддается всеобщему увлечению, кто отказывается подчиниться, кто стоит в стороне от стада и уже одним этим подрывает его символ веры!

Аннета снова пустилась на поиски недельной или хотя бы поденной работы, как двадцать лет назад, когда Марк еще лежал в колыбели. Теперь ей перевалило за сорок, и казалось, что это будет еще труднее. Но вышло как раз наоборот. Она чувствовала себя более гибкой, чем в двадцать пять лет. Это ее странное возбуждение объяснялось, пожалуй, не одним только душевным облегчением, вызванным окончанием войны. Оно коренилось в состоянии физиологического равновесия, иной раз свойственного этапу жизни, который подобен высокому плато между двумя крутыми подъемами. Человек наслаждается восхождением, преодолением крутизны, обходом пропастей, в которые мог свалиться, здоровой усталостью хорошо поработавших мускулов, свежим воздухом вершин, который он вдыхает полной грудью. Что будет после, об этом еще будет время подумать! «Я не спешу. Что у меня есть, то мое. Этот глоток воздуха – мой. Надышимся же хорошенько! Кошмар, который душил Европу и меня, все это нагромождение страданий рассеялось на время, – на время, которое пройдет слишком быстро, – но ведь все проходит, и я тоже уйду. А этим временем надо уметь наслаждаться. И я умею...»

Она находится в той поре, когда люди наконец познают ценность текущего часа. Он хорош, этот час, если иметь крепкие зубы. Не беда, что в траве много колючек, – она густа и сочна, и от примешанной к ней горечи она даже еще вкуснее. Аннета пасется на своем лугу. Аннета знает: будут ли радости, будут ли горести, ей-то уже недолго выщипывать и выдирать их. Поэтому она не терзает себя, как ее сын, вопросом о том, что будет завтра и даже по окончании века. (Это удел молодых, она познала его!) В тайниках души сын осуждал ее; об этом иногда с горечью говорили его глаза. Он находил, что она поступает, как все нынешние – все эти эгоисты, близорукие, беспечные, все эти «после меня хоть потоп», все, кого он проклинал. Но ее-то он ведь не проклинал. За время общих испытаний она сделалась как бы частью его самого, и его озлобление отступало перед загадочной ясностью

⁸⁹ Р.Р.С. – pour prendre conge; в данном случае – разрыв знакомства.

голубых глаз, Которые смеялись над его насупившимся лицом. То, чего он в ней не понимал, он все же принимал, даже если – не принимал этого в других... Несправедливость? Слабость? Ну и что же? Хорошо быть несправедливым к тому, кого любишь! В этом и состоит справедливость. Об этом не рассуждают.

Но почему, однако, они смеялись, эти глаза, даже над муками, тень которых набегала на лицо любимого сына, даже над горестями своего времени, даже над трудностью собственной жизни? Жизнь, право же, не давала ей слишком много поводов для смеха! Когда Аннете случалось подумать об этом, она готова была укорять себя... Но один повод у нее все-таки был – тайный, страшный, из тех, в которых не признаются самой себе, ибо они похожи на оскорбление самой себе, своему сердцу, – на оскорбление, нанесенное неумолимой силой, появившейся неизвестно откуда, неизвестно из каких темных глубин... Она переживала бабье лето и чувствовала, как, сливаясь со всей ее любовью к самым дорогим существам, со всем потоком ее страстей, со всем обновлением прожитой жизни, в ней возникает странное равнодушие... Равнодушие людей, которые и в страстях своих, и в страданиях, и в радостях так часто прибегали к Иллюзии, что ее путы износились и ослабели. Если все же на теле остаются их глубокие следы, то лишь потому, что это доставляет наслаждение, и человек сам украдкой подтягивает ремни. Они держат, потому что ты это любишь, потому что ты этого хочешь, потому что ты хочешь, чтобы они держали... А если не хотеть?

Знаем, знаем! Лучше не думать об этом... Но что толку в том, чтобы не думать? Все равно знаешь! Ясные, грозные и смеющиеся глаза Освобождения...

Такие тайны не поверяют молодым людям, и лучше самому не углубляться в них, если хочешь действовать. Но когда такая сыворотка влита в кровь, она не вредит натуре сильной и уравновешенной, она не нарушает равновесия, а лишь устанавливает его на более прочных основаниях. И активность ничего от этого не теряет: она становится только более твердой, более радостной, так как освобождается и от страха и от надежды. Подобное явление трудно объяснить, и нет для него достаточно мудрого толкователя, но только с этого периода начинает человек в полной мере наслаждаться жизнью и деятельностью, ибо все его лихорадочные порывы отныне озарены этим ослепительным светом, этим открытием («Но только смотри, никому не выдавай своей тайны!»), что «все – Игра».

Такой был общий дух эпохи – знамение послевоенного времени. Деятельность была так страшна, вовлеченные в нее страсти так сильны, что продолжать можно было только ослабив высокое напряжение духа: «играли» с жизнью, «играли» с ужасом, как «играли» с радостью, как «играли» с любовью, с честолубием, с ненавистью. «Играли» инстинктивно, не признаваясь самим себе... Великая опасность эпохи, которая на время утратила ощущение ценностей жизни и для которой самыми значительными ценностями стали игрушки! Мало было людей, которые – одни больше, другие меньше – не были бы захвачены этим духом «игры»... Аннета, восприимчивая ко всем проносившимся мимо дуновениям, также подвергалась заразе, но только она приносила в игру свой стиль. Очарованная душа, она была к этому предрасположена!..

Но, играя в жизнь, она перестала интересоваться только своими картами; она лучше разбиралась в картах партнеров, – не для того, чтобы выиграть у них, а для того, чтобы играть за них. И если бы они выиграли, она бы сумела сделать так, чтобы и для нее не все оказалось потерянью; когда их поле бывало убрано и снопы связаны, она все же умела подобрать для себя несколько колосьев смеха и забавы. Она хваталась за то, что было смешного в неприятных положениях, выпадавших в лотерею на ее долю, и за то, что было смешного в выигравших счастливицах, которые эксплуатировали ее. Бургундская ее кровь победила. Куда девалось все ее пуританство, склонность к пессимизму, которая могла бы быть оправдана горестями эпохи и ее личными невзгодами! Аннета идет своей дорогой, свободная от ярма, ей никого не надо учить уму-разуму, ей ни до кого нет дела; глаза ее смеются, и она говорит себе: «Мир таков, как он есть. И я тоже такая, как есть. Пусть он меня потерпит! Ведь я-то его терплю!»

Даже этот обожаемый сын, самая дорогая Иллюзия («Мое сокровище! Ты тоже, как все остальное! Свет очей моих... Без тебя весь мир для меня померкнет!») – она уже не требовала, чтобы он стал ее подобием, чтобы он думал, как думает она, любил то, что она любила... – Она смеялась, заглядывая ему в душу свободными и любопытными глазами и находя там раскаленный мир и вихри дыма. О, не все там было прекрасно, далеко не все!

Она видела, как копошатся довольно скверные животные, жестокие и жадные: ненависть, гордость, похоть, все пороки, порожденные духом насилия, однако («Слава богу!.. Но бога ли я должна славить? Слава моему чреву, которое создало тебя!») там не было никаких пороков низменных... Много маленьких волчат... Ну что ж, в лесу молодости без них не бывает! «Удирайте! Я там посадила егеря! Пусть учится своему делу!»

Она улыбалась своему дорогому мальчику, а тот отвечал ей грозным взглядом... «Какая у тебя бессердечная мать! – весело думала Аннета. – Не так ли, бедный мой Марк? Тебя ждет еще столько трудностей и битв! А она тебя и не пожалеет! Полно, она знает (да и ты знаешь), что через это надо пройти, и пройти одному, и ты пройдешь, – избитый, измученный, быть может, израненный, но закаленный! Что толку в доблести, не знающей риска, сохраняемой в безопасном месте? Рискуй! И бросайся в огонь семижды семь раз! Когда выберешься, ты мне скажешь спасибо».

Вот почему она понимала, что он хочет покинуть ее и ее дом. Хотя она и предоставляла ему полную свободу и благоразумно воздерживалась от расспросов о том, о чем он сам не заговаривал, однако подозрительному и обидчивому Марку казалось, что мать следит за ним. Он чувствовал себя скованным, и это его раздражало, он с трудом сдерживал неукротимое желание высказать это матери. А ей и не нужно было, чтобы он сказал это; его вспышки и предгрозовое молчание говорили за него. Она предупредила события... Кстати, и материальные обстоятельства делали совместную жизнь трудной. Новая квартирная плата вынуждала менять квартиру, а жилищный кризис не позволял найти в Париже что-нибудь подходящее по доступной для них цене. К тому же не было денег, и бесплодность погони за заработком должна была, по-видимому, заставить Аннету в конце концов покинуть Париж.

Покажется, быть может, удивительным, что она не обратилась за помощью к сестре. Сильвия была в состоянии помочь ей и не отказала бы. Однако надо помнить характер обеих сестер, трения, которые не прекращались между этими двумя цельными и противоположными натурами, несмотря на их взаимную любовь. Они по-настоящему любили друг друга, и каждая признавала за другой превосходство в какой-нибудь определенной области. Но (само собой разумеется) каждая ставила свою область выше и безотчетно стремилась одержать на жизненном поприще верх над другой. Ни одна не стала бы просить у другой несколько очков вперед. Они были игроки – обе, и каждой хотелось выиграть. О, дело было не в ставке, а только в том, чтобы выиграть! И все же два-три месяца тому назад Аннете пришлось обрадовать свою самолюбивую и искренне привязанную к ней сестру и взять у нее займы несколько тысяч франков, чтобы расплатиться с просроченными долгами, чтобы внести за право учения Марка и уплатить за квартиру. Аннета блюла традиции старых буржуа, которые не могли спокойно спать, если они кому-нибудь были должны. Но на свою беду она вылезла из одного долга, чтобы тут же залезть в другой; она не только не имела возможности скоро вернуть деньги сестре, но видела, что надвигается необходимость обратиться к ней снова. Сильвия была рада. Она намеревалась использовать деятельный характер Аннеты в своем предприятии. Лет двадцать тому назад она сделала такую попытку, но безуспешно. Однако, несмотря на неудачу, она своей мысли не оставляла. Сильвия, как и Аннета, была из тех, которые могут молчать всю жизнь, если жизнь мешает осуществлению их замыслов, но не уступят ни пяди в надежде, что жизнь устанет от своего упрямства раньше, чем они.

Теперь обстоятельства ей благоприятствовали. Ловкой женщине помогал попутный ветер, и она обладала способностью быстро маневрировать. Она сумела использовать исступленную погоню за роскошью, удовольствиями, танцами, наслаждениями – всю вспышку безумных страстей, охватившую Париж. Мастерская мод принесла ей огромную

прибыль в течение последнего года войны, и теперь Сильвия решила ее расширить: она открывала салоны, в которых устраивались кабинеты красоты, выставки, литературные и музыкальные вечера. В этих салонах танцевали, пили чай и даже – в таинственных и роскошно обставленных подвалах – курили опиум. Там делали почти все, что можно было делать, – в пределах хорошего вкуса и полной свободы, ибо настоятельница этого аббатства была истинная дочь Парижа, свободолюбивая, с тонким вкусом, и она не могла бы допустить в Телеме насилие и грубость. В остальном – мудрое правило: «Делай что хочешь!» У нее было достаточно должников в высших сферах, и она была спокойна за то, что они позаботятся о ней и не допустят, чтобы к ее предприятию присматривались слишком внимательно.

Вот уже полгода, как она вела свои дела совместно с некоей личностью, которая, обладая двойным качеством – компаньона и любовника, – считала себя незаменимой. Правда, для Сильвии незаменимых не существовало, заместителя она подыскивала легко. «Когда не хватает одного монаха, аббатство без дела не стоит...» Но как раз этот любовник и компаньон был незаменим: Сильвия получала от него и выгоду и удовольствие. *Utile dulci*.⁹⁰ В области моды этот шарлатан творил чудеса. В минуту гениального прозрения он открыл, что править миром можно, только держа его за нос.

Он чрезвычайно быстро сделался фигурой в области парфюмерии, прославившись по обе стороны Атлантического океана формой своих флаконов и их содержимым. Его слава соперничала со славой Фоша. Этот господинчик был даже недалеко от мысли, что не меньше прославил Фракцию, чем Фош. Как бы то ни было, его способ прославиться обошелся Франции дешевле. Он любил называть себя Наполеоном женщин, то есть одной половины человечества; другую половину он оставлял Наполеону I. Он подписывал свои изделия: «Кокий (Ги)» (его настоящая фамилия была Кокю⁹¹). Правда, говорят, что это приносит удачу, но рекламировать подобные вещи не принято: чего доброго, Сильвия когда-нибудь позаботится оправдать такую фамилию!

Пока что они держались друг за друга. Их связывали и чувственность и рассудок, то есть выгода. Кокий шел в гору и благодаря некоторым жертвам, которые он благоразумно принес одному из заправил влиятельной прессы, без всякого труда смог украсить свою петлицу ленточкой, что сразу подняло на пятьдесят процентов цену его флаконов.

Сильвия была для него великолепной партнершей. Свежая зрелость ее сорока лет придавала ей пышное великолепие нимф Иорданса; кровь слишком бурно прилиwała ко лбу и груди, но Сильвия ничего не делала, чтобы охладить ее пыл: в этом была одна из ее прелестей. От всего ее существа, как и от платоядных глаз, исходило сладострастие, – она точно купалась в нем, блистательно обнаженная. Сильвия рассматривала себя в зеркало – и тут никакого тумана во взгляде!

Глаза с подбритыми бровями, ясные, острые, зоркие, как глаза «маленького капрала», производящего смотр солдатам, мерили ее всю с головы до ног; она не без иронии вспоминала прежнюю безгрудую Сильвию, худую двадцатилетнюю кошечку, и пыталась найти ее формы в этих пышных плечах, во фруктовом саду этой груди, – прекрасный сбор, полноватые корзины; она выставяла плоды напоказ, не стараясь прикрыть их горделивую полноту.

Создавая моду, которая требовала, чтобы женщины отказались от округлостей спереди и сзади, Сильвия была, однако, достаточно уверена в самой себе и бросала этой моде вызов. Другие как хотят! Пусть Венеры будут беззадыми! «Тебе снимут, дорогая моя, что хочешь». Только не даром! Самое скромное из дезабилье, которыми она торговала, стоило столько, что на эти деньги можно было одеть целую семью. Аннета помогала ей украшать модели

⁹⁰ Приятное с полезным (тал.).

⁹¹ Кокю (соси) – по-французски – рогоносец.

платьев знаменитыми именами, позаимствованными у красавиц Приматиччо в Фонтенбло (цена от этого повышалась). Забавы ради Аннета даже иногда по памяти рисовала их портреты. Сильвия рассыпалась в преувеличенных похвалах; она утверждала, что истинное призвание Аннеты – стоять во главе художественной мастерской или же – при ее организованности, при ее умении поддерживать порядок – замещать Сильвию в новых отделениях, которые фирма, расширяясь, предполагала открыть в разных районах Парижа.

Но Аннета вовсе не собиралась сделаться спутником звезды Сильвии. Как бы ни были пленительны ароматы созвездия, все же этот караван-сарай туалетов и сладострастия издавал запах, слишком крепкий для Аннеты. Она не осуждала Сильвию за ее способ сколачивать себе состояние. Но ей не хотелось иметь свою долю в этих деньгах; для ее гордости было достаточно чувствительно уже то, что ей все же пришлось принять кое-какие крохи: она не будет знать покоя до тех пор, пока не вернет их.

Прибавим (сестре она, конечно, об этом не сказала), что однажды вечером в коридоре магазина флаконный Наполеон позволил «себе с ней некоторые вольности». Правда, он не смог зайти далеко, потому что его сразу же заставили бить отбой. Презрение вычеркнуло этот случай из памяти Аннеты, но оскорбленное тело не прощало. У женщины, которая никогда не отдается наполовину, тело гордо и злопамятнее рассудка.

Одним словом, Аннета твердо решила ничего не принимать от сестры. Но сыну она предоставила свободу. Она считала себя не вправе мешать ему, если бы он захотел принять помощь от Сильвии. В его возрасте он сам должен отвечать за себя. Так Аннета ему и сказала, стараясь не бросать тени на сестру, чтобы не повлиять на решение Марка. Но проницательный Марк угадывал мысли матери: они были ему близки. Он понимал, он одобрял в глубине души эту спокойную непримиримость. Однако он был не расположен подражать ей. Во всяком случае, не сейчас. Марк не представлял себе, почему он должен отказаться, когда ему предлагают яблоко, почему нельзя вонзить в него зубы, почему не познать этот мир, полный приключений. Он прекрасно понимал, что разок укусить – это ни к чему не обязывает. Но недоверчивый мальчик (он не хуже матери знал хватчицу Сильвию, знал, на какие хитрости она бывает способна, когда ей надо завладеть кем-нибудь) заранее взял себе за правило принимать от нее как можно меньше: ведь его тетка никогда не забывала о деньгах, даже если давала их тем, кого любила... О, конечно, она дорожила не деньгами, а возможностью кое-что получить за них! Ей приятно было думать, что благодаря долгу ей принадлежат те, кого она любит, те, кто ей нужен. Никогда в жизни она бы им о долгах не напомнила, но она рассчитывала, что они сами помнят. Это было как бы тайным соглашением, подписанным с нею; пусть они признают долги хотя бы молча, – ничего больше она и не хотела. И в то же время она хотела слишком многого. Именно это меньше всего мог стерпеть мальчик, тяготившийся всякой уздой. В стойло он не пойдет.

Аннета ничуть не тревожилась. Она верила, что ее жеребенка никогда не покинет стремление к независимости. И ее подвижной рот заранее лукаво улыбался невидимой кинокартине, которую она развертывала перед своим мысленным взором: подобрал юбки, Сильвия ловит рыбу; она закидывает удочку, а маленькая рыбка, любопытная, но подозрительная, трется пастью о крючок, а затем с презрением уплывает прочь. Поплавок вздрагивает.

Леска натягивается. Настороженная рука резким движением подсекает. Крючок пуст. Наживка пропала. Рыбка тоже пропала. Аннета смеется, представляя себе сморщенный нос Сильвии: она знает гримасу раздражения и досады, которая появляется у сестры, когда кто-нибудь противится ее желаниям.

Марк, в течение некоторого времени наблюдавший за матерью, спрашивает:

– Мама, над чем ты смеешься? Она смотрит на него, на его лицо, озабоченное, хмурое, вечно настороженное, точно весь мир только о том и думает, как бы его проглотить, и говорит:

– И над тобой тоже!

– Тоже? А над кем еще? Она не отвечает.

Нет, совсем не об этом беспокоится она, оставляя его одного в джунглях Парижа. А ведь она уезжает, это решено. Подвернулся неожиданный случай, и она за него ухватилась. Испробовав разные способы заработать деньги – переписку, беготню по поручениям, этикетки для магазинов, выписки в библиотеках для одного писателя, который изготовлял биографические романы (она приносила ему документы, и он их искажал, чтобы развлечь публику за счет героя, распутника с расшатанными нервами, смешного шута из шекспировского цирка, ибо новый класс потребителей – невежественные и праздные сплетники – представлял себе историю именно в таком виде: как сборник бабьих сплетен), Аннета зря избегала Париж и натерла себе мозоли, – вот и весь толк. Но несколько недель назад она получила, наконец, место секретарши и кассирши в гостинице, в районе площади Звезды. Долго она бы там не продержалась: к стыду своему, она убедилась, что всего ее образования недостаточно, чтобы разобраться в путанице бухгалтерских книг. Но в конторе она познакомилась с одной румынской семьей, которая в нее влюбилась. Едва обменявшись с Аннетой несколькими словами, все три барышни воспылали к ней страстью; они тотчас поверили ей все тайны своих сердечек. Мать тоже не скрывала своих тайн, а кроме того, советовалась с ней насчет магазинов, туалетов и косметики, – это было царство Сильвии, в которое Аннета и ввела их (подобное родство прибавило немало блеска к обаянию Аннеты). И даже отец посвятил ее в свои любовные похождения и спрашивал у нее совета насчет искусства нравиться парижанкам. Довольно видный мужчина, с круглым черепом, с кожей цвета ореховой кожуры, подкрашенной охрой и желчью, с глазами, непроницаемыми, как черная топь, в которой можно увязнуть, с низким лбом, коротким подбородком и мощной шеей, он отличался жеманством манер и страшно твердо выговаривал «р». Это был крупный помещик из Валахии, принадлежавший к одному из кланов феодальной буржуазии, эксплуатировавшей страну. Он был делегирован своей бандой в Репарационную комиссию. Но произошли внезапные колебания в политике, и места у кормушки заняли другие. Фердинанд Ботилеску, изрядно подкормившись, еще с соломой на губах, возвращался с семьей в Бухарест.

Внезапно им пришлось в голову вместе с чемоданами тряпок, которые они увозили из Парижа, прихватить и Аннету. Ее ум, ее непререкаемый вкус парижанки, ее разносторонний жизненный опыт, ее прелестная, свободная манера держаться, прирожденное умение вести беседу – все это было предметом их тайного восхищения и зависти. Меньше чем за неделю они пришли к убеждению, что Аннета является для них приобретением, без которого они не могут обойтись. Однажды вечером барышни с шумом бросились ей на шею, смеясь и плача одновременно, звонко целуя ее и щебеча, что они не могут с ней расстаться. Отец предложил ей сопровождать жену и дочерей в качестве гувернантки, подруги, учительницы, компаньонки. Ее обязанности были расплывчаты, – а предложенные ей условия хотя и щедры, но тоже недостаточно определены. Однако все это было преподнесено с такой сердечностью, что Аннета, которая стремилась покинуть Париж, ухватилась за этот случай. Она не осталась равнодушной к бурным проявлениям любви трех пылких девушек, которые обнажали перед ней свои душевные мирки – и примитивные и сложные. Их неумеренная экспансивность составляла счастливый контраст со скрытым характером Марка и со сдержанностью, которую Аннета сама старалась сохранять в отношениях с сыном.

Итак, она решает оставить Марка. Она сознает весь риск. Он громаден.

Но ничего не поделаешь. Тот не человек, кто боится риска. Кто говорит «жизнь», тот говорит «смерть». Это не прекращающийся ни на миг поединок.

Аннета кладет сыну руки на плечи и внезапно заглядывает ему в глубину души, до самого дна. В ее ясных глазах он видит себя обнаженным, у него инстинктивно вырывается резкое движение, точно ему хочется прикрыть стыдные места своих мыслей. Но она их увидела... Слишком поздно! Он раздраженно втягивает ноздри и весь подбирается. Она говорит ему:

– Дорогой мой мальчик, я стала бременем на твоих плечах... Да! Я это вижу, я тебя понимаю, не оправдывайся! Ты меня любишь, но тебе нужна свобода. Это законно.

Постоянный свидетель стесняет тебя... Я тебя освобожу. Ты сможешь сам приобретать опыт в жизни. Присутствие посторонних излишне – пусть они освободят место! Ошибки лучше делать без публики...

Ну так вот, иди и делай ошибки! Ты знаешь не хуже меня, что за жизненный опыт тебе не раз придется расплачиваться... Старайся только, чтобы за него не платили другие! Да, мой мальчик, мы беседуем с тобой, как старые товарищи. Я могу тебе сказать это: я больше полагаюсь на прямоту твоего сердца, чем на прямоту твоего ума... И в конце концов я предпочитаю, чтобы так оно и было. Ты – неистовый, ты – цельный, ты не считаешься ни с чем, ты на все стремительно бросаешься и легко разрушаешь... Я не могу удержать тебя от несправедливостей и ошибок... Однако (и это единственное, о чем я тебя прошу) огради от них слабых, маленьких, тех, кто не может защищаться! Что касается остальных – это их дело и твое дело!

Пусть получают свое! И ты тоже! На то и зерно, чтоб его молотили! Пусть и тебя помолотят! По пословице: «Каждой смерти своя битва, каждому зерну своя солома». Я еще своей соломой не растеряла. Ты – мое зерно. Пройди и ты через гумно! Чтобы господь замесил хлеб свой... *Da nobis!*⁹² Не он его нам дает. Мы даем ему. Это мы с нашими горестями просеиваем его муку...

– Я не дам себя съесть раньше, чем съем свою долю, – сказал Марк.

Он прятал под внешней суровостью волнение, которое вызывали в нем слова матери. Они глубоко в него проникли. Не надо объясняться. Мать и сын понимали друг друга с полуслова.

Они все еще стояли и смотрели друг на друга, и под их нежностью таился вызов.

– Я тебя люблю. Но не скажу тебе этого.

– А мне и не нужно твоих признаний.).

Она взяла его за подбородок и рассмеялась:

– Ну что ж, ешь свою долю, волчонок! А у меня – своя.

Она поцеловала его.

Они не имели обыкновения целоваться. Они избегали излишних. От этого прощальный поцелуй матери стал только значительней. Ее уста говорили ему: «Гори, если хочешь! Но не грязни себя! Я накладываю на тебя свою печать».

Так по крайней мере понял этот трепетный юноша, проснувшись ночью после разговора с матерью. И он был слишком правдив с собой, чтобы не знать, что он этот приказ нарушит. Но он знал также, что будет изменой себе: приказ исходил от него, а не от матери. И к той, которая приказывала за него, он проникся в эту последнюю ночь, проведенную ими под одной крышей, уважением, более страстным, чем любовь. Он старался не дышать, чтобы слышать дыхание, доносившееся из соседней комнаты. Его осаждали смутные желания, тяжелые мысли; он хотел поделиться с ней своими мучениями, но он считал, что мать слишком пряма, слишком здорова, чтобы понять их, и даже доверие, которое она ему оказывала, удерживало его от желания раскрыться перед ней: он боялся разочаровать ее.

Аннета спала. Она отлично знала, что ее мальчик изменит ей, изменит себе. Кто живет, тот изменяет другим и себе всякий раз, как пропоет петух. Но достаточно быть способным всегда слышать пение петуха и говорить себе с каждой новой зарей: «Я потерпел поражение. Начну сначала...» Она знала, что ее мальчик никогда не сложит оружия. Большого она и не просила. Она спала.

Свобода не облегчила жизни Марка, она скорее стесняла его. Она всегда обходилась дорожее всех прочих благ. А в ту эпоху она была разорительна.

Надо было быть очень богатым, чтобы выдержать ее. Марк знал, что даром она ему не достанется, но он считал, что сможет завоевать ее своими силами. Перед отъездом Аннете стоило некоторого труда заставить его принять небольшую сумму, которая позволила бы ему

⁹² Дажь нам (лат.).

продержаться недели три-четыре, пока подвернется какой-нибудь заработок. Аннета нисколько не заблуждалась насчет его молодой самонадеянности, однако она была не против, чтобы за эту самонадеянность жизнь сама дала ему по рукам: в луже было неспокойно, ее утенка качало, но утята в луже не тонут. Впрочем, в одном она не сомневалась – только она отвернется, Сильвия окажется тут как тут, на берегу, и станет звать его: «Малыш, малыш!..» Малыш был предупрежден. Пусть поступают, как хотят!

Марк намеревался обойтись без посторонней помощи.

Он небрежно отклонил первое предложение Сильвии.

Та не настаивала. Она была уверена, не меньше чем сестра, что жизнь быстро проучит этого хвастунишку. Марка задело насмешливое равнодушие, с каким тетка отнеслась к его отказу. Но тут он почуял какие-то смутные основания для тревоги, какой-то заговор против его свободы. Это еще усиливало его желание защищаться.

А защищаться было трудно: враг появлялся там, где его не ждали. Марк сам был заговорщик. Но он был в заговоре только с собой.

Он решительно не знал, что делать со своей жизнью.

А между тем надо было на что-то решаться, и как можно скорей. Современная жизнь – это бешеная схватка за место. Она достанется тому, кто бросится на него первым. Но раньше чем бросаться, надо выбрать. Нет, раньше хватай! Иначе, когда ты придешь, все уже будет убрано со стола... «Но если меня не прельщает ничто из того, что стоит на столе?» «Тогда тебе достанется то, что валяется под столом. Ты будешь собакой». «Я бы предпочел быть волком, как говорила она. Но это роскошь. Это для эксплуататоров, для хозяев нынешнего дня. А для остальных, для мелкоты – каторга!»

Где же найти себе что-нибудь по плечу? У торговца платьем никакое тряпье больше не лезет на эти молодые фигуры. Интеллигентному и бедному молодому человеку, получившему высшее образование, университет предоставляет (вернее, предоставлял еще вчера) простой выход: стать, в свою очередь, преподавателем. Но сейчас университет в упадке. Он обнищал. И он принимает свою нищету безропотно. В былые времена такая безропотность называлась благородной гордостью. А сейчас молодые рты выплевывают этот заплесневевший хлеб. Они недалеко от того, чтобы называть его хлебом презренных трусов. Между тем именно такой ценой добывали наши великие бескорыстные ученые все то, чем они обогатили человечество. Да, но такой ценой они по крайней мере отстаивали свою независимость. Сегодня они защищают свое прислужничество. Годы войны показали, что наука – это лучшая прислужница власти. Быть одновременно и бедными и лакеями, и бескорыстными и раболепными – это уж чересчур в глазах таких насмешливых молодых людей. Им легко презирать «идеализм»! Наперекор ему они хвастают, что им надо быть богатыми и свободными и что они своего добьются! Посмотрим на них через десять лет!

Из семерки двое – не по призванию, а в силу необходимости – безрадостно готовились к преподаванию в университете: Бушар, который со злобой и гневом грыз удила и ржал, как першерон в период течки, и Рюш, холодная, насмешливая, полная решимости и скрывавшая свои мысли – необозримые степи своей тоски: «Шагай и молчи! Если остановишься, ты не сможешь больше тронуться с места... Но для чего все это? Где цель? Не знаю.

Есть ли какая-нибудь цель? Быть может, она обнаружится позже, уже в пути... Если нет, обойдемся и без нее!..»

Марк колеблясь, прошел вместе с ними часть пути, но твердо решил оставить их на первом повороте. Предоставляя ему свободу, мать все же советовала использовать полученную им подготовку и добиться степени лицензиата, независимо от того, что он решит насчет дальнейшей своей жизни: это была мелкая карта, но благоразумнее не отбрасывать ни одной, когда у тебя их так мало. Кроме того, ставя перед ним эту цель, Аннета видела в ней также, – правда, не очень в это веря – здоровое, сдерживающее начало, которое могло бы оказаться благотворным для его недисциплинированного характера, по крайней мере на несколько месяцев, покуда он научится делать первые шаги самостоятельно. Так Марк готовился к экзаменам, – не только не зная, выдержит ли, но и без уверенности,

что дотянет до окончания университетского курса. Его внимание отвлекало великое множество вещей. Как запереть себя среди запыленных познаний, до которых не доходит ни малейшее дуновение современности? Да еще когда так неимоверно разросся orbis terrarum⁹³ разума? Если пожелать охватить его хотя бы мимолетным взглядом, нельзя терять ни одного мгновения, ибо ничто не прочно, все колеблется, завтрашнего дня нет; завтра меня может поглотить пучина войны и революций. И я сам себя приговарю к аскетизму схоластического режима! Во имя веры – во что? У меня одна вера: в то, что я вижу и ощущаю. Остальное – потом! Это не для сегодняшнего дня! Сегодня – видеть и видеть! И чувствовать в своих руках все, что удастся схватить.

Не он один такой среди молодежи, раздражаемый зудом неверия, среди бесстыдных маленьких подобию апостола Фомы. Искатели духовных приключений мчатся вокруг него в головокружительном беге... Бедные искатели! Они носятся по всем широтам пространства и времени со своим нелепым «я» и его предрассудками. Они ничего не могут увидеть во внешнем мире без того, чтобы не скосить глаза на мир внутренний, на Казбу, на Париж, на «что скажут обо мне?» Задиры, которые на всем земном шаре, от обоих полюсов и до экватора, размалевывают себе рожи, чтобы привлечь внимание уличной толпы!.. Послевоенные книжные лавки заполнены развратом трепыхающейся писанины, от которой воняет баром и бензином, экспрессами и радио. Она подрывает мысль, переворачивает вверх ногами искусство, политику, метафизику и шлепает религию по заднице. Она под хмельком, но не дает себя одурачить. Она готова позубоскалить над всем, что сама проповедует или оплевывает; она искренна в своей потребности все переменить; ее неудовлетворенная жадность зубами впивается во все и все выплевывает после второго куска; у нее зуд в руках, зуд в ногах, жар в заднем проходе. Мир, весь земной шар мелькает у нее в болтовне об искусстве, в каблограммах корреспондентов, вззирающих на все с птичьего полета, в пестроте энциклопедии, облеченной в форму романа. Все свалено в кучу. Тащишь из этой кучи не глядя, торопливо суешь руку в рукав, ногу в штанину – слишком коротко! Слишком длинно! Отбрасываешь, хватаешься чужих мыслей и через час не помнишь, какие же глаза были у той, с которой ты провел ночь. Кто дает себе труд познать живую душу, которая бьется в глубине поруганного тела? Мир проносится перед мысленным взором, как кинокартина. Быстрей, быстрей! Образы наплывают, растворяясь один в другом.

Пальцы не в силах удержать ничего. Все выскальзывает из рук. Весь виноградник исклевали скворцы. В этом году вина не будет.

Но скворцы пьяны. Стая стрекочет без умолку.

Нужны нечеловеческие усилия, чтобы удержать какую-нибудь мысль среди этого водоворота. Бушар, с наморщенным лбом, тратит на это все свои силы; складки над глазами наливаются кровью; он с остервенением пытается втиснуть в свои тугие мозги плотную глину учебников. Он не чувствует, что в его мансарде полярный холод. У него горит мозг. Но его могучий желудок рычит. Надо заткнуть волку пасть, покуда мозги не одолеют порции глины, заданной на сегодняшний день. Когда он кончает урок, язык вываливается у него из рта. Он выскакивает на улицу как бешеный. Он ищет кого-нибудь, кто накормил бы его, находит Верона и грубо говорит:

– Я хочу помочь тебе вернуть награбленные деньги.

Именем народа я беру обратно то, что принадлежит ему.

Сначала Верон смеется. Он думает отделаться презрением.

– Ты хочешь Кость?

– Я хочу мяса, – отвечает тот. – А свой скелет можешь оставить себе!

Верон смеется, но из гордости пытается скрыть, что смех его принужденный. Когда корчишь из себя Катилину, надо подкармливать чернь. Пока еще неизвестно, не найдется ли у нее силы взобраться на развалины.

⁹³ Земной шар (лат.).

Общество расшатано. Достаточно нескольких энергичных и решительных людей, чтобы проломить брешь и ворваться раньше, чем защитники успеют опомниться. Но единственно подлинные вожди находятся в России, и они заблокированы, они не имеют связи с массами бедняков всего мира, — те даже не знают об их существовании. Клемансо устанавливает на румынско-украинской границе заграждение из союзных войск, которым его лживая пресса завязала глаза. На Западе «столпы общества» успеют собраться с силами.

И все же в эти первые месяцы 1919 года атмосфера насыщена электричеством. Верон, который вращается в деловых кругах и благодаря этому осведомлен лучше других, нюхает воздух, желая определить, насколько велика возможность взрыва. У него хватает ума, чтобы из всего того, что он узнает, рассказывать своим близким лишь то, что не может ему повредить, — то, что больше побуждает говорить, чем действовать. Он далеко не плут и не трус (как и ни один из этих молодых людей; никто из них не стал бы дорожить своей шкурой, но при условии, чтобы их не обманывали, как обманули их старших братьев, этих несчастных, этих, по их выражению, «дураков»). Но Верон не хочет быть обманутым ни революцией, ни реакцией. Он вполне согласен перевернуть общество вверх дном, если на это есть шансы; если их нет, Верон расправится со смутьянами. Тем хуже для них! Победенных — ко всем чертям! Презрение к слабым — вот мораль Воронов. Пусть слабые не попадают под ноги!

Верон выжидает; он хочет посмотреть, удастся ли московским великанам пробить себе дорогу. А пока он с помощью Бушара прикладывает ухо к чреву Революции в Париже. Ему не потребуется много времени — он быстро убедится, что плод мертв, ибо лишен самых важных органов. В бесформенной массе этой революционной, или считающей себя революционной, молодежи нет ни одного человека, который был бы подготовлен к революционному действию.

Одни представляют себе действие просто, слишком просто: для них это значит колошматить. Колошматить не глядя, кого попало. Другим действие представляется в виде теоретических споров. Одному богу известно, когда они перестанут спорить; а впрочем, они, кажется, и не хотят этого. Обязанность соблюдать чистоту доктрины избавляет самых фанатичных доктринеров от необходимости действовать; действие всегда, в большей или меньшей мере, — компромисс. Но и у тех и у других — и у людей действия и у теоретиков — одинаково грубое незнание живой действительности, организма современных гигантских государств, их дыхательного и пищеварительного аппарата, их повседневных экономических нужд, законов жизни, которым подчинены брюхо и легкие этих Гаргантюа. Где и как могли бедные мальчики — студенты, рабочие, участники войны — узнать все это? Верон хорошо знает брюхо: деньги, банки, дела, вечную сутолоку на строительных лесах эксплуатации, чудовищную машину, которая безостановочно пережевывает природу, превращая вещество природы в продукты питания, в испражнения, снова в продукты питания... Он, со щучьей своей пастью, посматривает на этих простаков и слушает их. Кривая усмешка, жестокая жалость. И все-таки он их не бросает. До поры до времени! При благоприятных обстоятельствах его бесспорное превосходство во всех этих вопросах может создать ему роль вожака... И к тому же он не уверен, что эти дураки согласятся тогда признать его превосходство. Там видно будет! Пока что он глотает Маркса и называет Бушара мелким буржуа, потому что у Бушара рот набит Пру доном, а Прудон-мужлан! Бушар лишен чувства юмора; сперва он задыхается от ярости, потом начинает орать, и, наконец, они на потеху галерке обрушиваются друг на друга, и оба вместе — на общество. Со стороны можно подумать, что они вообразили себя Дантоном и Робеспьером в Конвенте, торгуются из-за голов и каждый из них требует голову другого.

Но Верон не так глуп. Надо быть Бушаром, чтобы все принимать всерьез. И чем больше Бушар говорит и беснуется, тем глубже погружается в бездну своей серьезности. Произнесенное слово нисколько не облегчает его, как многих других, у которых огонь уходит вместе с дымом. Бушара слово обязывает. Для него оно крик, от которого напрягаются мускулы и подымается кулак, — как у всех первобытных существ. Верону

доставляет дьявольское удовольствие смотреть, как Бушар, разъярившись, натывается на копьё пикадора, и он подзадоривает Бушара; если ему заодно удастся свалить и самого пикадора, этого жука, запутавшегося в своем панцире, будет еще лучше. Прекрасное зрелище! Верон не прочь спуститься на арену посмотреть поближе. Его нельзя упрекнуть в трусости. Он с теми, кто в начале апреля яростно агитирует за манифестацию в честь Жореса и сам участвует в ней.

Бушар затащил Марка на собрание Общества студентов социалистов-революционеров. Марк не сопротивлялся. Марк ходит на эти собрания нерегулярно, больше из любопытства, чем из сочувствия (любопытность перешла у него в страсть, которую он называет долгом). Он пытается читать Маркса, но читает плохо. Перелистывает. Его недисциплинированный индивидуализм встает на дыбы перед неумолимой необходимостью исторического материализма. Тщетно пытается он, из аскетизма, укротить свое всепоглощающее «я».

«Я» не подчиняется. На лугу марксизма «я» ко всему прикасается лишь краем своих пренебрежительных ноздрей. «Я» возмущается унижительным превосходством «экономического» над «духовным». А ведь Марку следовало бы знать, – ему и его матери, – что это такое – столкнуться с «экономическим» и как с ним приходится считаться. Но и он и его мать – из тех романтиков (как их лучше назвать: старомодными? вечными?), для которых подлинный смысл жизни состоит в том, чтобы отстаивать свою независимую душу от бессмысленного сцепления обстоятельств. Им неизвестно, удавалось ли это где-нибудь и кому-нибудь. Но они этого хотят. Они не были бы самими собой, если бы у них не было к этому воли. И даже если их воля побеждена, – достаточно того, что она у них есть. Пусть Рок ее истребляет – все же он должен с ней считаться: она – реальность, которая может существовать столько же, сколько он сам... Не в таком душевном состоянии Марк, чтобы читать книги, которые не отражают его желаний. Он смотрит на них неприязненным взором. Он еще далек от той высокой степени объективности, которая появляется у зрелых, закаленных бойцов, когда они сталкиваются с врагом. Он не выслушивает противника до конца; он перебивает его, говоря ему: «Нет!»

Более того: он отказывается проследить не только мысль чуждую, хотя это помогло бы ему лучше узнать, против чего же он борется, но и всякую мысль, усвоение которой требует от него известных усилий. Он не может ничего читать вдумчиво. Его внимание мгновенно утомляется. У него лихорадка мысли. Он не способен сосредоточиться ни на чем. Он начинает читать двадцать книг сразу и не дочитывает ни одной. С первого поворота его мысль устремляется по новому следу. Этих следов так много, и они так запутаны, что кто увидел; бы его ум обнаженным, тот бы увидел бешеную собаку, которая кружит по лесу, раздирая на себе шкуру и ударяясь о деревья, пока не свалится и в глазах ее не заплывут кровавые искры. Он завидует возбужденному упорству Бушара и дисциплинированности Рюш, которая ко всему равнодушна, у которой все ровно, все разлиновано, как нотная бумага; они делают то, что делают: пусть остальное ждет своей очереди!

Но он не хочет быть похожим на них. Бушар, который трудится на своей борозде и обливается потом, внушает ему жалость. Насмешливая педантичность Рюш его раздражает. Он не представляет себе ее в любви, но если она когда-нибудь отдастся любви, то это произойдет в минуту, заранее намеченную в ее расписании, и при этом она останется такой же равнодушной. Ему хочется выбросить ее из своей постели (ведь он, думая о ней и в думах своих доходя до галлюцинаций, положил ее к себе в постель. Слава богу, ее там нет). Но кровать пуста, а воображение полно. Если девушек нет в кровати, ими заполнен мозг. Там у них начинается потасовка с мыслями. Марка они приводят в ярость. Предоставленный во время войны своим инстинктам, он узнал женщину слишком рано и слишком грубо; ничто его не останавливало, – никакая сдержанность, никакие покровы; хрупкий и горячий, он был брошен в схватку, как в чан с расплавленным свинцом. Он вышел оттуда обожженный, израненный. Раны его не затягиваются. В теле торчит копьё желания, от страха перед наслаждением кружится голова. Его натянутые нервы стонут, как скрипка, при малейшем

прикосновении. Своим рано отточенным умом, он отдает себе отчет в грозящей ему опасности, но ни с кем о ней не говорит. Он так одинок и так долго был одинок, что полагает обязанностью настоящего мужчины молчать о грозящих ему опасностях и защищаться в одиночку. Вот почему, оставшись один в Париже, морально ничем не сдерживаемый, он остерегается женщин, как огня. Он боится не женщины – самого себя. Он не знает, сумеет ли потом сохранить власть над собой.

Нет, он слишком хорошо знает, что не сумеет. И, не испытывая ни малейшей склонности к аскетизму, внутренне насмехаясь над ним, он себя к нему принуждает, приневоливает. И скрывает. Никто об этом и не догадывается (кроме глаз Рюш). И потом он горд и деспотичен, как большинство тех, кто ревниво относится к своей независимости и кто вместе с тем не допускает, чтобы окружающие зависели от их каприза. Марк хочет, чтобы то, что он любит, принадлежало ему одному. Он не так наивен, чтобы не знать, что никогда этого не будет. (Да и что бы он стал делать, если бы так было?).

Он говорит: «Все или ничего! Ничего!..» Ничего – до следующего взрыва!

Толстой утверждает, что плоть одолевает тех, кто слишком сытно ее кормит. У Марка нашлось бы что возразить ему! Редки те дни, когда он ест досыта. Однако на пустое брюхо огонь жжет еще сильнее.

Его скудные денежные средства таяли быстро, и к стыду своему, он был неспособен их пополнить. Он воображал, что сумеет выпутаться своими силами, что молодой человек, воздержанный, энергичный, неглупый, всегда заработает в Париже хоть немного на то, что ему строго необходимо. Но надо думать, это «немного» все-таки слишком много: Марк столько не зарабатывает. Впрочем, умеет ли он довольствоваться строго необходимым? Он героически отказывает себе во всем – пять дней подряд, но на шестой он устоять не в силах – кипятильник лопається: в какие-нибудь четверть часа он тратит то, что предназначалось на целую неделю. Слишком много соблазнов для юноши! Он был бы уродом, если бы не знал искушений, он был бы сверхуродом, если бы иной раз не поддавался им. Марк, конечно, не урод и не сверхурод! Он поддается. А потом неизбежно бывает удручен не столько своей слабостью, сколько нелепостью. Его всегда изумляла ненужность того, чего ему хотелось. Что нам остается, – будь то живое существо или вещь, – спустя мгновение после обладания? Ничего не остается в руках!

Ничего не остается в сердце! Все ускользнуло!.. Тогда он обрекает себя (очень плохое лекарство!) на новый период воздержания. Конечно, он только лишний раз взорвется! Но если Марк умеет попусту тратить деньги, то у него нет никакого таланта зарабатывать их. У него не хватает гибкости в позвоночнике, чтобы проложить себе дорогу к деньгам. Сын Аннеты не получил от природы этого дара. Он закоснел в устаревшем сознании социальной ценности интеллигента (пощечины, полученные от жизни, еще не успели сделать его более податливым). И ему казалось недостойным нарушать эту традицию. Он бесследно таскает свои дипломы и ищет применения для своих маленьких знаний. Кому они нужны?

Бушар сказал ему:

– Поступай, как я! Возьми у Верона! Чего жалеть телячью шкуру?

Но Марк слишком горд, чтобы поставить себя в такое положение, когда вместе с подачкой пришлось бы терпеть проявления оскорбительного превосходства, на которое стал бы претендовать кредитор.

– Его превосходство? Я бы не советовал ему тыкать мне в нос свое превосходство! Я ничем ему не обязан. Я у него просто беру! – рычит Бушар, и неизвестно, шутит он или нет.

Марк сухо возражает, что вор, воруящий у вора, тоже вор. Бушар отвечает, злобно вращая глазами:

– Жизнь-воровство. Воруй или подыхай!..

Да, жить – значит пережить тех, кто в вечной схватке оспаривает у вас право дышать и занимать место на земле. Ни одно существо не живет иначе, как за счет миллионов других, претендующих на существование. Марк это знает. Среди детей этих жестоких лет нет никого, кто бы этого не знал.

Но если все – кроме тех, на ком лежит печать смерти, – вступили в борьбу, то есть еще (слава богу!) и такие, которые в борьбе хотят сохранить дух рыцарства. Если бы они услышали это слово, они бы запротестовали: они побоялись бы показаться смешными. Но из моды вышли одни только слова. Дух же при любой моде хранит нетленные доспехи своих великих доблестей и своих великих пороков. Марк оставался бы Марком даже во времена Мервингов, и он останется Марком до скончания века.

Нет, не пойдет он просить – и даже требовать – денег у Верона, которого он в глубине души презирает. Встречаясь с ним у Рюш, он даже не решается принимать от него билеты в театр, в концерт или на выставку, которых у Верона всегда полны карманы и которые ничего ему не стоят. Между тем иные программы подвергают «неприятие» Марка испытанию, и он это тщетно пытается скрыть, – Рюш все видит; ее забавляет скрытая борьба между гордым и ревнивым чувством независимости и детской жаждой развлечений: ей самой свойственны оба чувства, и от этого Марк становится ей ближе. Однажды она доставляет себе материнское наслаждение (еще одно устаревшее слово, и она бы его отвергла!): увидев, что в глазах Марка мелькнуло желание взять у Верона билет в концерт, – желание, которое он тут же с бешенством подавил, – она просит билет для себя. Когда же они остаются одни, она якобы вспоминает, что не может воспользоваться билетом, и отдает его Марку: от нее он может принять билет, у него нет оснований отказываться. И только в концерте у Марка возникает подозрение: действительно ли Рюш взяла билет для себя? Ведь Генриетту Рюш музыка интересует не больше, чем дождь, барабанный в окна! Марк до того расстроен, что все удовольствие от концерта для него отравлено. Другой на его месте был бы благодарен Рюш, а он злится на себя за то, что не сумел утаить от Рюш свое желание.

Он начинает думать, что в конце концов, если уж нельзя иначе, менее унижительно брать деньги у Сильвии, чем у других. Но после того, как он однажды отказался, не очень красив, о прийти к ней просить. И хотя в кассе пусто со вчерашнего вечера, он держится твердо; сердце сжалось еще больше, чем желудок. На его счастье, Сильвия в этот день проезжает мимо него в автомобиле, замечает его своим глазом сороки, сидящей на ветке, и окликает... Он собирает все свои силы, чтобы удержаться и не вскочить в автомобиль... И все-таки вскакивает! Но по крайней мере он испытывает удовлетворение от того, что, сидя в автомобиле и слушая эту болтуню, он снова обрел свой обычный снисходительный вид. А та, рассказав о своих делах, спрашивает, как идут дела у племянника...

– Знаешь, у меня денег куры не клюют! Возьми! Мне их все равно девать некуда...

– А он отвечает непринужденным, немножко фатовским тоном:

– Ах ты господи! Ну, если тебе так хочется! Я-то найду, куда их девать.

– Шалопай! – говорит она. – Ты бы лучше пришел ко мне, развеялся бы немного.

И она напихивает ему карманы. Он хочет ее поцеловать – она показывает ему местечко на щеке, где не пострадает косметика. Она щиплет его за мордочку, находит, что он бледен, немного похудел, но красив, взгляд стал серьезней, интересней; он, видимо, не теряет времени с тех пор, как пасется на свободе...

– Обещай, что придешь! Ну, обещай! А он отвечает с дерзостью Керубино:

– Обещаю! Ты заплатила вперед...

Она отталкивает его мордочку, оставляя на ней отпечатки двух своих пальцев.

– Голодранец! – говорит она, смеясь. – Нет, ты приходи! Увидишь: я никогда не плачу вперед...

Он ждет, пока скроется автомобиль, и отправляется в ближайший ресторан съесть кусок мяса с кровью. Его деликатный желудок наверстывает в этот вечер два пропущенных обеда. И он думает о том, что Сильвия была нынче дьявольски хороша. Какой костер в глазах! И как от нее пахнет! Он слизывает запах со своих губ...

Тем не менее он не торопится сдержать свое обещание. Он притворяется глухим, когда через две недели получает от тетки внезапное напоминание:

«Проказник! А долг?»

Ну нет! Если требовать таким способом, от него ничего не добьешься.

Но каждый день, в особенности когда он читает в прессе короля-парфюмера, что красивая парфюмерша устроила в своих салонах пышное празднество с танцами, музыкой и самой модной пьесой для тузов финансового и политического мира, их самок и сопровождающих их шутов из мира искусства и печати, он горит желанием пойти посмотреть. Чем он рискует?

Он рискует многим, но только не признается в этом себе. Не хочет признаться. Он не может не чувствовать: ему грозит опасность. Подобно молодому Геркулесу, он стоит на распутье. И если сам Геркулес избрал дорогу прялки и подушки, то очень мало шансов, чтобы пропащее дитя Парижа стало на путь отречения, когда обольстительная Омфала постоянно зазывает его. Марк мысленно измеряет наслаждения и трудности, крутые вершины, на которые надо будет взбираться, и уже с первых шагов чувствует себя таким утомленным! Голова у него кружится, все тело ломит, предательская слабость разливается в ногах. Как и у всех окружающих его молодых людей – устремление вниз, в бездну забвения; забвение – самая сильная приманка чувственности! Удрать от самого себя... Уклониться от действия... «Кто меня заставляет? Жребий нашего бесчеловечного времени? А я не говорил, что хочу жить именно теперь! Я отвергаю такой жребий! Я не могу... Жребий – это я сам. Я сам себе приказываю преодолевать крутизну... Но какие у меня шансы достигнуть вершины? И что я там найду, когда доберусь, изнуренный, измученный, утративший свою сущность? Да и найду ли что-нибудь? А если по ту сторону перевала – небытие?»

Всюду небытие и смерть. Война, которую считают конченной (а она еще продолжается), опоясала пространство зоной удушливых газов. Она заволакивает горизонт. Она – реальность, единственная реальность, которая повелевает всеми этими молодыми людьми. Все идеологии, которые ее отвергают или, не смея отвергать, пытаются возвеличить, все эти идеологии – потаскухи, которых надо бить по щекам. Я им морду набью! Вот она – война!

Она держит меня когтями за горло, я слышу ее зловонное дыхание. Если я хочу жить, мне надо освободиться и бежать или прорваться. Прорваться – значит узнать, что находится по ту сторону... Узнать, суметь! Удастся ли?... А бегство-это тоже способ узнать, но только более низкий: узнать, что битва проиграна! Спасайся, кто может! Но такие, как Марк Ривьер, могут опасаться, только прорываясь сквозь неприятельские ряды. Удирать вперед! Он все время повторяет это, чтобы убедить самого себя... Но убежден ли он? Вокруг него полный развал, и молодежь и старики удирают во все лопатки!

Все нашли выход и ринулись к нему: дансинги, спорт, путешествия, курильни, самки, – наслаждения, игра, забвение – бегство, бегство...

Было двадцать способов бежать. Но ни у кого не хватало честности признать, что любой из этих способов – бегство. Нужно быть очень сильным, чтобы презирать себя и все же сохранить волю к жизни! Наиболее изысканные, в том числе Адольф Шевалье, предлагали уход в искусство и в природу... Первая эклога (и вторая также). Ах, какой прекрасный пример этот нежный послевоенный Вергилий, побежденный, как и они, застольный певец новых богачей, подписывающих проскрипции!.. (О, ирония! И расслабленной руке этой тени доверился суровый Дайте!) Мантуанец еще мог возглашать: «Deus nobis haec otia...».⁹⁴ Но молодым Титирам и Коридонам сегодняшнего дня никакой Deus не явился. Им потребовалась бы сильная доза самообмана, чтобы сообразить, будто грядущее потрясение старого мира пощадит тех, кто, закутавшись с головой в одеяло, старается ни о чем не думать; тех, кто, подобно курице перед меловой чертой, застыл за игорным столом искусства, где роль крупье исполняет изнеженный эстетизм с его белыми, но грязными руками, которые всегда остерегались деятельности. Не будет пощады и тем, кто надеется, что от натиска бури их защитит старый очаг, древний кров, традиции, вековой домашний деревенский уклад жизни, охранявший их отцов! Как будто хоть одна стена

⁹⁴ Бог нам спокойствие это (даровал)... (лат.)

сможет устоять перед грядущими бурями! Горе играющим на флейте, если они уйдут с поля битвы раньше, чем решится ее исход! Каков бы ни был исход, победитель растопчет их. И песни их развеются вместе с пылью... Но, быть может, они втайне надеются, что еще успеют поиграть в песочек, прежде чем их смоем Потоп? С них довольно и четверти дня, который им остался. Они обманывают свою жизнь надеждами на ее долговечность.

Хоть бы уж у них хватило откровенного цинизма признать: «Завтра я буду мертв. Завтра меня не будет. У меня есть только сегодняшний день. И я ем». Но они из всех сил стараются найти себе то или иное (безразлично какое!) идеологическое оправдание... Почему они себя обманывают? А вот почему: когда интеллигенты от чего-нибудь отрекаются, они испытывают потребность прикрыть свое отречение всякими доводами. Более того, они ищут всяких доводов, чтобы восхвалить отречение. Без доводов они не могут шагу ступить. Их инстинкт разучился действовать самостоятельно.

Пусть это будут трусы или храбрецы, им всегда нужно какоенибудь «почему». А если пожелать, то всегда найдешь. В 1919 году беглецы не знали недостатка в глубоких и мудрых доводах, чтобы дать стрекача!

Марк презирает тех, кто бежит. Он презирает их с яростью, которая защищает его самого от искушения бежать. И так как он заранее дрожит при мысли, что не сможет устоять, он уже готовит себе некую видимость оправдания, он приберегает свою непреклонность только для осуждения тех беглецов, которые лгут, которые стараются прикрыть свое дезертирство каким-нибудь флером. Закон правдивости клана семерки: «Будь кем хочешь! Делай что хочешь! Если хочешь, беги! Но скажи: „Я бегу!“»

Они этого не говорили. Даже семеро начинали влиять. Адольф Шевалье первый стал *ore rotundo*⁹⁵ уверять, что надо «приспосабливаться к действительности»: он собирался уехать к себе в имение. «Устраивайтесь, как умеете! Я устраиваюсь! Я – реалист...» (Слово это пользовалось большим успехом в те времена. Оно позволяло обдeldывать дела и утверждать, что это вливает в вены страны свежую, здоровую, мужественную кровь политического прагматизма, который сможет оказать противодействие пустопорожней идеологии предыдущих поколений... Однако идеология этих поколений никогда не мешала ловкачам набивать себе шишу!...).

Верон и Бушар разоблачали добродетельную георгиу Шевалье и уничтожали ее своим сарказмом. Но они и сами плутовали. Все их трескучие речи о Революции были игрой, которая избавляла их от необходимости действовать.

Когда они испепеляли общество, часами вопя в своем товарищеском кругу, когда они набрасывали план какой-нибудь мощной манифестации, это была игра в оловянных солдатиков.

Единственно, кто правильно оценивал положение и не старался его приукрасить, это тот, от кого Марк меньше всего ждал искренности: Сент-Люс.

Он готовился к консульской карьере и учился в двух школах: Политических наук и Восточных языков. Но он не собирался себя связывать. Он не скрывал, что его цель – бегство. Только вместо того чтобы искать выход вне машины, ремни и шестерни которой все равно скоро вас захватят, Сент-Люс намеревался найти его внутри. Устроиться в самом центре урагана и оттуда смотреть, познавать, действовать и наслаждаться, ничем себя не связывая.

Оставаться свободным, ясно все видеть и не Отдавать себя в рабство, которое стало всеобщим; цинично эксплуатировать интересы хозяев жизни и играть на них, но без честолубия и без корысти; ловить мгновение, но не позволять ему уловить тебя; всегда быть готовым расстаться и с ним и с жизнью, ибо такие люди чувствуют себя отрешенными от всего и даже от самих себя. Мотыльки-однодневки, кружившиеся в вихре мгновения!..

Сент-Люс не считал нужным объясняться с товарищами, и те подтрунивали над ним.

⁹⁵ Громогласно (лат.).

Верон говорил ему добродушно и грубо:

– Ты продаешься?

А Бушар – обращаясь к Верону:

– Девка верна своей природе.

Богач Адольф презрительно молчал. Он не представлял себе, как это можно поступить своей свободой ради государства. Марк тоже молчал, но его молчание не было оскорбительным: он отчасти угадывал побуждения тонкого, гибкого, как кошка, юноши, который не давал себе труда защищаться.

Зачем? Но, сознавая, что Марк испытывает к нему влечение (смешанное с отвращением), Люс указывал ему на трех авгуров и говорил со своей милой улыбкой, от которой у него появлялись ямочки на щеках:

– Кто из нас изменит первый?

И, мягким движением положив свою руку на руку Марка, тут же добавлял:

– А последним будешь ты.

Марк, ворча, отдергивал руку. Эта похвала оскорбляла его. Глаза Люса смотрели на него ласково. Люс знал, что Марк тоже его презирает, но презрение Марка его не обижало: в нем не чувствовалось оскорбления. Из всех товарищей Марк был единственный, за кем Люс готов был признать право оскорблять его: Люс считал, что один только Марк честен и останется честным до конца. Пожалуй, еще Бушар! Но грубая откровенность Бушара не привлекала Люса. Юноша-аристократ мог считать «равным» себе только человека с таким же ясным и тонким умом, как у него, человека, в котором бьется живая мысль. Это неважно, что Марк был его противоположностью и относился к нему неприязненно. Каждый из них был ровня другому. Марк тоже чувствовал это. Его злило, что Сент-Люс ему ближе всех, что среди его товарищей это единственный близкий ему человек. И он позволял Люсу брать его под руку и поверять ему то, чего Люс не говорил никому: весь свой юношеский и беспощадный макиавеллизм, основанный на небогатом, но не по летам остром и разочаровывающем жизненном опыте. И это не возмущало Марка. Он слишком давно и слишком хорошо знал эти искусовые инстинкты.

Кровь Аннеты смешалась в нем с кровью Бриссо. Разве это несправедливо – презирая людей, использовать их самих и их глупых идолов? Бриссо всегда мастерски играл в эту игру; это такие тонкие мастера, что, кажется, вот-вот их самих обыграют! Но нет, в том-то и дело, что они ничем не рискуют! Легионы Бриссо умеют вовремя уйти из игры, отдернуть руки, свои бесчисленные руки... О, Марк хорошо знает этих Бриссо! Они у него в крови. Его часто охватывало страстное желание разыграть этого Вольпоне...

Но он бы плохо сыграл. Он всегда впадает в крайности, он не совладал бы с настойчивой потребностью выказать им свое презрение в разгаре игры и, растоптав других, стал бы топтать себя... Сент-Люс – тот наделен разумной дозой презрения, веселого, любезного, человеческого, – такого, какое нравится людям (а ведь презрение им действительно нравится, если только оно преподносится в пристойном виде и в умеренной дозе).

Страшнее всего то, что в силу противоречия, которого Марк сам себе объяснить не может, он в глубине души приходит в бешенство при мысли, что кого-то надо спасти. Он не хочет признаться в этом, и, когда Люс ему об этом говорит, он раздражается. Но когда Люс насмешливо и учтиво прибавляет: Нет? Ну, тебе лучше знать. Если ты говоришь «нет», мы тоже скажем «нет», – Марк по своей правдивости говорит «да»... Как глупо!

Спасать, спасать других, когда так трудно спасти себя и когда другие вовсе не хотят, чтобы их спасали! Марк знает это не хуже Люса. Но он ничего с собой поделать не может: такой уж он человек. Сказываются противоречивые силы его натуры. Быть может, в той силе, которую он унаследовал от матери, и есть что-то не правильное, но мать передала ему ее вместе со своей кровью. И пусть он будет откровенным: этой силой он дорожит.

Ему неловко выставлять ее на посмеище, в тайниках души он гордится ею.

Эту не правильность он ставил выше иных истин, которые ее опровергали.

Она придает ему вкус к жизни. Она позволяет ему держать голову высоко над

пенящейся поверхностью. Без нее у него не было бы ничего, кроме себя, себя одного, интереса к себе одному... Конечно, была бы жажда познания, жажда видеть, брать, быть, но для себя одного... Один! Это страшно!.. Нужно быть покрепче, чем этот двадцатилетний мальчик, чтобы без содрогания нести бремя своего одиночества. Люс несет, потому что не думает об этом, он запрещает себе думать, он не останавливается, чтобы заглянуть вглубь; он бежит, он скользит по поверхности...

Марк не может бежать – ни от радостей, ни от печалей. Дно выступает из морской глубины, как вулканические островки, выбрасываемые подземным огнем и затем рушащиеся в вечную зыбкую бездну. Марк раскинул лагерь на минированном поле. Вот почему он ищет вокруг себя глаза, руку, руку человека, за которую можно было бы ухватиться... Чтобы она спасла его?

Нет, он отлично знает, что ему нечего ждать от людей...

Чтобы спасти их самих? Даже когда знаешь, что это иллюзия, мысль о том, что на тебе лежит забота о чужих душах, заполняет наше одиночество, она придает натурам великодушным удесятенную энергию.

– Играй свою роль! – снисходительно говорит ему Люс. – Я буду твоей публикой.

– Такая публика, как ты, провалит пьесу, – с горечью замечает Марк.

– Однако публика тебе нужна.

– Я сам буду публикой. Я буду и публикой, и актером, и пьесой. Я знаю, я знаю, что я – только мечтатель!

– Знать – это уже кое-что! – соглашается Люс, обмениваясь с ним понимающим взглядом. – Этого никогда не поймут наши приятели.

Тем не менее все решили принять участие в манифестации, которая состоялась в первое апрельское воскресенье.

В те дни умы охватило возбуждение. В марте произошло преступное оправдание убийцы Жореса – второе убийство. Молодые люди восприняли это как пощечину. Вместе с соками весны к сердцу Парижа подступали соки гнева. Даже наиболее спокойные из студентов, христианские агнцы, блея, призывали доброго пастыря Революции. Даже буколические пастушки наигрывали на своих свирелях боевые ритуранели: «Скорей ряды сомкните!..» Даже Адольф Шевалье, который не мыслил для себя действия (а злые языки уверяли, что страсть тоже ему недоступна), иначе как с пером в руке, придвинув к себе чернильницу, и тот решил смешаться с толпой, от соприкосновения с которой страдала его утонченность. Не следовало давать повод думать, что ты уклоняешься в первый же раз, когда другие действуют (или притворяются, что действуют) и когда это может быть опасным.

Итак, шестеро из семерки (одна только равнодушная Рюш, все знавшая заранее, осталась дома) встретились на авеню Анри Мартен, где ликовал народ. Странное чествование памяти великого борца, побежденного не раз, а двадцать миллионов раз, побежденного в лице миллионов, которых убила война, подло, как и он, пораженных врагами и подло преданных друзьями!..

Перед бюстом Жореса стоял в нерешимости Анатоль Франс. Ведомый безошибочным инстинктом, Шевалье, об руку с Бэт, пробрался поближе к старцу, присутствие которого на этой погребальной ярмарке помогало ему соображать и мыслить. И старец очень обрадовался, когда среди этой волнующейся массы случайных людей, лица и крики которых были ему чужды и непонятны, заметил розовую, сияющую Бэт, на чьем ротике он мог остановить взгляд.

Он видел ее такой, какой она была, – свежей и нежной, глупенькой беспредельно и действующей успокоительно. А в самых возбужденных группах, в первом ряду, Верон держал на поводке лающего Бушара и выжидал минуту, когда можно будет его опустить... В нескольких шагах Сент-Люс и Марк обменивались насмешливыми замечаниями, не пропуская ни одной подробности.

Сам того не подозревая, Марк был для Люса частью этой картины: его подхватывал каждый новый взрыв возбуждения, который потрясал толпу. Он мог сколько угодно

смеяться над толпой, смеяться горьким смехом, но он находился в ее русле, ее содрогания проходили через него. Сент-Люс подмечал на лице своего приятеля судорожные сокращения мускулов, вспышки гнева, злобные складки у ноздрей, он видел стиснутые челюсти и под подбородком поток накопившейся ярости, который Марк проглатывал вместе со слюной.

Люс по-братски насторожился, чтобы удержать Марка от какой-нибудь неосторожности; он умело ослаблял давление сжатых паров, открывая клапан то взрывом хохота, то неожиданной остротой. Он отмечал про себя, что это лицо – океанографическая карта подводных течений, проходивших в толпе.

На нем можно прочесть бурю за несколько секунд до того, как она разразится...

И вдруг Сент-Люс прочел на нем надвигающийся ураган. Не успел он оглянуться, как затрещали револьверные выстрелы. Полиция бросилась на анархистов. Те, развернув черное знамя, ринулись на агентов Гишара, избивая их палками и забрасывая кусками чугуновой решетки, Сент-Люса и Марка унесло течением; в один миг они оказались в самом центре свалки. Теснимые все дальше и дальше, они прорвали полицейское ограждение и выбрались на волю. На бегу они видели сверкающие ножи и окровавленные лица.

Впереди них Бушар бил какого-то полицейского Голиафа головой в живот.

Спустившись по Елисейским полям, сильно поредевшая толпа построилась снова. Но Шевалье здесь не было... Только его и видели! Он сумел весьма кстати взгромоздиться вместе со своей спутницей на насест Анатоля Франса, чтобы разыгрывать при нем роль телохранителя. В нижней части Елисейских полей манифестантов ждали новые бои, однако тут уже трудно было противостоять возросшим силам неприятеля. Толпа вынуждена была рассеяться. Но окольными путями она стала пробираться к центру Парижа, чтобы потом появиться снова на площади Оперы. Марк видел, как, проходя мимо канализационного люка, Верон бросил туда револьвер; перехватив взгляд Марка, Верон сказал ему со смехом:

– Он имеет право на отдых. Он поработал.

А Бушар не пожелал расстаться с длинным ножом, торчавшим у него из кармана; он держал его на виду только ради бравады – он вполне мог обойтись своими тяжелыми кулаками. Сент-Люс не выпускал руки Марка, но тот был слишком занят, чтобы ощущать эту ненавистную опеку; он был бледен и возбужден, громко говорил и не замечал, что благоразумный рулевой поворачивает ладью и ведет ее по газонам авеню к какому-то выходу. Он забавлялся, как ребенок, чувствуя под ногами запретную траву, и ему хотелось остановиться, чтобы сорвать ветку цветущего каштана. Но полиция предусмотрела обходное движение манифестантов и приняла меры к тому, чтобы ускорить их беспорядочное бегство. Общее чувство достоинства должно было поневоле отступить перед заботой каждого о собственном спасении; приходилось удирать во все лопатки. Около церкви Мадлен, в конце узкой улицы, четыре приятеля, сопровождаемые немногими уцелевшими *gan nantes*⁹⁶ из колонны, наткнулись на отряд полицейских в штатском, и те с яростью на них накинулись. Схватка была короткая, но ожесточенная. Марк не успел оглянуться, как Бушар уже бросился на кучку полицейских и катался по земле, придавив одного из них. Но другой придавил его и стал бить ногами. Обширная грудная клетка Верона гудела, как барабан, под сыпавшимися на него ударами... Кто-то потянул Марка за рукав, да так резко, что он зашатался и чуть не упал. Он увидел, как сталь – эфес шашки – сверкнула перед самым его лицом и оцарапала его, и вместе с Сент-Люсом, который все не отпускал его от себя и только что отвел от него смертельный удар, они оказались отброшенными на несколько шагов. Спасаясь от погони, они пустились бежать по лабиринту улиц, которые паутиной опутывают Большие бульвары. Витрины магазинов поспешно закрывались. Марк не видел ничего, кровь текла у него по бровям, в голове гудело. Он слышал, как позади них вопила погоня. Он доверился Сент-Люсу, и тот вел его не раздумывая, – видимо, он знал куда. Они сделали один или два крюка, а затем на углу Люс осторожно постучал в закрытые ставни мастерской

⁹⁶ Редкими пловцами (лат.).

дамских шляп.

– Ани!.. – позвал он.

Тотчас поднялся железный ставень и приоткрылся низ двери; надо было пригнуться, чтобы пройти; Люс протолкнул Марка и на четвереньках пролез сам. Женские руки схватили обоих за уши и втащили внутрь помещения. Железный ставень опустился. Кругом было темно, они стояли на коленях. За дверью орал полицейский и барабанил в ставни, Марк, пытаясь подняться, услышал возле своей щеки смеющийся шепот: «Те!» – и руки его, ища опоры, схватили две круглые ляжки, у коленного сгиба. Все застыли и онемели, только девушки давились хохотом. Властный свисток отозвал человека, который колотил в дверь; он ругался, но ему пришлось присоединиться к главным силам: сражение продолжало греметь, у полицейских были заботы поважней. Тишина вернулась на улицу. Лихорадивший мозг Марка стал успокаиваться, и он заметил, что все еще стоит в темноте на коленях перед девушкой, тоже стоявшей на коленях. Ее теплый рот, пахнувший амброй, вдруг без стеснения прильнул к его губам. «Здравствуйте!» – сказала она.

«Добрый вечер!» – ответил он. Девушка рассмеялась: «А не посмотреть ли нам теперь друг на друга?»

Они встали и зажгли свет, – не электричество, а свечу, – ее длинное, коптящее пламя прикрывала ладонь. Представились. Их было две сестры – Жинетта и Мелани, – семнадцати и двадцати лет. Старшая – брюнетка, младшая – рыжая с молочно-белой кожей; обе, конечно, накрашены; маленькие смеющиеся складочки в уголках живых, слегка выпученных глаз; вытянутые вперед мордочки хищных зверьков. Мелани была любовницей Сент-Люса. Жинетта, вероятно, тоже. Все хорошее, как и все плохое, здесь делили по-семейному. Было много смеха и болтовни. Обе рассказывали одно и то же – и обе одновременно, или повторяли одно и то же, одна за другой, в одних и тех же выражениях, и еще веселее – смеялись, как будто от повторения рассказ становился забавнее. Они хлопали в ладоши, страшно довольные всем случившимся. И какое счастье, что они стояли на скамеечке и смотрели в щелку, когда Люс, спасаясь от преследования, постучал в ставень!

Чтобы придать своей радости немного остроты, они убеждали себя, что «полицейские собаки» вернутся и сделают обыск.

– Пока нас не поволокли на эшафот, выпьем в последний раз! – сказал Сент-Люс.

И запел:

Нет жребия прекрасней, чем смерть за Мелачи...

А Жинетта, которая была бы не прочь, чтобы и за нее тоже умирали, с любопытством разглядывала Марка, но тот досадливо отворачивался. На скорую руку, в полутьме, поели. И Марк до того смягчился, что под конец позволил кормить себя с рук и даже облизал палец Жинетты, измазанный в шоколаде. Но Жинетта вскрикнула: собачонка укусила ее! Марку стало стыдно, он извинился, встал и сказал, что пойдет домой. Но все запротестовали. На улице еще беспокойно, выходить опасно. Жинетта выскользнула в приотворенную дверь и отправилась на разведку. Возвратившись, она начала уверять, что полиция заняла все выходы из квартала. Марк не был убежден, что она говорит правду, – он упорно хотел уйти. Но его не пускали. Царапина на щеке выдавала его с первого взгляда. Жинетта заметила, что у него на плече порван пиджак. Она заставила его снять пиджак и дать ей зашить. Когда он раздевался, все увидели сквозь дыры его разорванной сорочки, что плечо у него синезелено-багрового цвета, – оказалось, что его сильно ушибли. Почему же он молчал? Для Жинетты и Мелани представилась возможность показать, что они умеют ухаживать за ранеными. Они были довольны.

О том, чтобы уйти сегодня, не могло быть и речи.

Занялись размещением на ночлег. За магазином была комнатка без окон, величиной в два стальных шкафа. Там стояла кушетка, с нее сняли тюфяк и постелили на полу – стало две... На войне как на войне!..

– А теперь выбирай себе любую!..

Марк ужасно стеснялся, все его раздражало, все ему было противно, он только и думал,

как бы улизнуть. Но улизнуть было невозможно. Обе хозяйки предлагали себя совершенно просто и откровенно. Что может быть естественнее? Не мог же он обидеть этих славных девушек и разыграть Иосифа Прекрасного (эта роль была не в его духе)! Убедить их немыслимо. Люс уже сделал выбор; видя смущение Марка, он, как добрый товарищ, предложил:

– Хочешь, поменяемся? Марку хотелось дать – ему оплеуху. Сгорая от стыда и бешенства, он помогал Жинетте переворачивать тюфяк. Девчонка шепнула ему на ухо:

– Ладно! Если вы не хотите, мы только сделаем вид – будем спать каждый на своем краю.

Он был тронут. Потушили свет. Спать каждый на своем краю – легко сказать! Лечь можно только на кушетке или на полу. И достаточно протянуть руку, чтобы наткнуться на другое ложе, где двое других, не откладывая, приступили к делу. Жинетта робко извинялась:

– Я некрасивая.

– Нет! – решительно возразил он.

Нет, правда, дело было не в этом. Она старалась понять. Она предположила, что он любит другую и хочет остаться верным. Он не стал ее разубеждать. Она нашла, что это прелестно, – она не привыкла к такой щепетильности. Она болтала, лежа на подушке, ребячливая, трогательная, порочная, все еще чистая. Марк поневоле касался ртом этих болтливых губок, все время находившихся в движении, и вдыхал их сладковато-горький миндальный запах. Малейшее его движение разнуздывало духов земли. Он не смел пошевеливаться. И, разумеется, именно в тот момент, когда он решительно сказал себе: «Нет!» – духи сказали «Да!» Потом он негодовал и стал противен самому себе. А она, восхищенная, все еще уверенная, что он думает о своей обманутой возлюбленной, старалась утешить его. «Она ничего не узнает», – твердила Жинетта. Но ему стало невмочь. Он задыхался в этой конуре. Жинетта покорно встала, чтобы потихоньку приоткрыть дверь магазина, пока те спали. Ползком выбираясь на улицу, он поцеловал ее колени.

Марка охватил холод апрельской ночи, лицо его было мокро от пота, смятенный мозг пылал. Марк чувствовал, что не в силах бороться с разбуженной и зовущей плотью. Перед его умственным взором разматывалось, как кинолента, вчерашние события: утрення манифестация, натиск полиции, бегство, преследование.

Потом, на другой день, он почувствовал к этой провалившейся затее только омерзение... Глупая политическая манифестация, без плана, без руководства и без какой-либо последовательности, вылилась в грубый бунт животного, неспособного вырваться из оглоблей. Она не дала никаких результатов, если не считать синяков. Животному перешибли хребет, остается позвать живодера!..

Бушар исчез. Беспокоился о нем только Марк.

Других он нисколько не интересовал. Все ходили угрюмые, взбешенные; каждый думал о том, как бы взвалить всю ответственность на других. Бушар появился дня через три, через четыре с распухшим лицом и серьезно поврежденным глазом. В полиции его жестоко избили, бросили в дом предварительного заключения, а затем, сняв допрос, временно выпустили на свободу; дело было передано в исправительный суд. Ему грозило несколько лет тюрьмы за незаконное ношение оружия, нанесение побоев полицейским, оскорбление власти, связь с анархистами и подстрекательство к совершению преступлений. Отныне возможность стать преподавателем была для него закрыта: его внесли в черные списки университета. Наиболее осторожные товарищи сторонились его. А ему так хотелось снова взяться за подготовку к экзаменам – к провалу!

А Верону было на все наплевать! Его в полиции даже не избили. Товарищи спрашивали, как это могло случиться. Он, смеясь, хвастал, что подмазал ослам-полицейским копыта: в комиссариате упоминание о его банке охраняло лучше, чем если бы он предъявил депутатский мандат.

– А Бушар, дурак, попался! Сам виноват. Попадаться никогда не следует. Так ему и надо! Знай, чем рискуешь!..

– А ты-то чем рискуешь? – строго спрашивает его Марк.

Верон смеется ему в лицо и бросает, как бы кичась своим цинизмом:

– Твоей шкурой! Когда тебе будет угодно! Однако, почувствовав, что позволил себе лишнее, добродушно прибавляет:

– В конце концов ему только оказали услугу, вышвырнув из университета. Кто не трус и хочет нажить деньгу, тому стоит только нагнуться и подобрать.

– Нужно иметь гибкую спину, – сухо отвечает Марк.

– А у кого она негибкая, того жизнь дубиной научит нагибаться, – говорит Верон.

Они поворачиваются друг к другу спиной. «Прощай!»

Никто больше не видел Адольфа Шевалье. Но уж за этого беспокоиться нечего. Он уехал к себе в имение. Он читает Монтеня. Чего еще можно требовать от него? Глаза открыты. Рот закрыт. Ум свободен – и никакого риска. И зад в тепле... Этого чиновника никто в измене не обвинит! Пусть уж другие низводят свой свободный дух до какой-нибудь деятельности!

Зверинец Рюш опустел. Когда Марк приходит, они сидят вдвоем, и Марк не знает, о чем с ней говорить. Положив локти на стол и подперев подбородок руками, она странно улыбается и буравит его взглядом, – похоже, что ждет... Чего? Его это раздражает. Но чем он становится резче, тем острее делается ее улыбка; ему не удается смягчить напряжение этих строгих маленьких зрачков, которые обшаривают его владения. Она приводит его в замешательство. Что-то в ней переменялось или меняется. Но она не так уж его интересуется, он не станет тратить время на то, чтобы разбираться в ней. И ему не нравится, что она позволяет себе разбираться в нем. Ведь он волен сколько угодно убеждать себя: «Она ничего обо мне знать не может. Моя дверь для нее закрыта», – все-таки он не уверен, что она не подсматривает в замочную скважину. Наконец он обрывает сам себя на половине фразы, встает, бросает на нее сердитый взгляд и, не попрощавшись, уходит... Рюш не двигается с места. На улице Марк говорит себе, что если бы он вернулся и открыл дверь, – все равно когда: сегодня, ночью, через неделю, – его глаза встретили бы по ту сторону стола буравчики ее зрачков из-под полуопущенных век, насмешливый клюв и струйку голубого дыма от сигареты, которая сгорает между ее длинными пальцами. Он топает ногой. Он клянется, что не так-то скоро она снова увидит его у себя. Но, как у раззадоренного ребенка, у него вдруг является страстное желание раскрыть ее, эту нахалку, раскрыть ее наглый взгляд, как раскрывают ножом раковину, и посмотреть, что у нее там, внутри...

Еще более одинокий, чем прежде, с пожаром в крови, который зажгла горьковато-сладкая кожа той, ночной, девушки, Марк провел несколько дней в состоянии физической и моральной подавленности. Он точно сбился с дороги. Он пытался уйти с головой в работу – так бросаются в воду, – но вода выбрасывала этот обломок. Нет больше сил! Нет больше влечения к чему бы то ни было! Делать что-нибудь? Думать? Зачем? И беспрерывно, с каждым часом, этот провал воли все расширяется и всасывает его, как всасывают леденец...

В него точно впились чьи-то толстые жадные губы. Все естество его вытекало, уходила вся его энергия. Наклонная плоскость, на которой нельзя удержаться... Бегство, бегство!.. Нет! Он впивается ногтями... «Если упаду, то больше не подымусь!..» Внизу поток. Напрасно он закрывает плаза, – он слышит гул потока, а под ногтями у него скрипит осыпающийся песок, обнажается камень... Он цепляется, но за него-то никто не цепляется.

И вот однажды вечером входит Сильвия и, чуть топнув ножкой, сбрасывает и камень и повисшего на нем паука...

– Идем! Живо! Я тебя забираю!.. Довольно тебе попусту время терять!..

И не смей говорить мне, что ты работаешь!.. Ты лодырничает, да, лодырничает, я тебя поймала... Так вот: будешь лодырничать у меня! И хоть не даром. Все самые дорогие, новейшие виды скуки, все четыре искусства (да нет, не четыре, их по меньшей мере двадцать четыре!), – я ими торгую! А художники?.. Захочешь в театр (*Tutte buria!*⁹⁷), я тебе дам ключ

⁹⁷ Сплошное шутовство (итал.).

от кулис. Самые лучшие комедианты и самые худшие – не те, что на сцене. Если тебе захочется когда-нибудь сыграть свою роль в фарсе, – смотри, смотри, смотри, смотри! Кто глядит, тот и царит.

Она увезла его к себе, в особняк на проезде Антен, – в свой маленький Лувр, где восседал на троне король Кокий. Вопреки салическому закону королевы не раз держали в руках скипетр Франции. Сильвия держала скипетр, оставив своему Кокию прялку, и тот, окруженный царедворцами, покоился на ложе своей эпохи. Его окружали женщины и интриганы; люди искусства лебезили перед ним, издевались над ним и брали у него деньги, а он полагал, что снабжает их идеями, художественным вкусом и чувством красоты. Он давал советы художникам, которые развешивали перед ним свои полотна, полосатые, как зебры, и геометрические теоремы. Его можно было застать в саду погруженным в созерцание негритянских идолов. Он умел находить еще не созревших, но уже попорченных красавиц, перезрелые таланты, всевозможных неудачников, индусских танцоров, ясновидящих с Менильмонтана или «свами» из Монтобана. Он был слащав и маслянист, как его помада, и по-лакейски фамильярен с клиентурой – с важными дамами, которые не платили, и двумя-тремя коронованными и низложенными особами, которые, будучи поставлены в необходимость выбрать между головой и головным убором, предпочли сохранить головы. Он совался и в политику. Поощряемый льстецами, которые выколачивали из него деньги, он подумывал о приобретении большой газеты, где ему можно было бы сказать свое веское слово (какое?). Он оказался бы в большом затруднении, если бы ему пришлось написать это слово или хотя бы отдать себе отчет, что именно оно должно выразить. Но эту заботу взяли бы на себя его чернильные содержанки.

А королева царила в области туалетов и празднеств, сумасшедшая экстравагантность которых развлекала парижскую хронику. Сильвия охотно взяла бы к себе племянника на роль министра отдохновений и забав или, проще говоря, руководителя по части изящных искусств. Она считала их ниже высокого искусства Развлечений, ибо в изящных искусствах она смыслила меловато – у нее ведь не было ничего, кроме прирожденного вкуса и инстинкта. Это не так уж мало: этого вполне довольно, чтобы поминутно допускать забавные промахи, которые, впрочем, в атмосфере всеобщего увлечения ею сходили за остроумные шалости. Но сегодняшнее увлечение может завтра смениться издевательством, Сильвия не обольщалась – она чувствовала, что почва колеблется у нее под ногами. Она рада была опереться на Марка.

Он пришел к ней недоверчивый, но соблазненный. И, как и следовало ожидать, в этом бешеном карнавале наслаждений и распушенности, где смешались искусство, любовь, интрига и безумие, он сразу потерял голову. Он пытался играть невозможную в его возрасте роль бесстрастного наблюдателя, который хочет все видеть, ничему не поддаваясь, чтобы сделаться хозяином жизни, – такого Жюльена Сореля, который отощал от долгого недоедания и у которого кружится голова после двух глотков вина. От первых же капель у него в голове началась пляска.

Сильвия этого ожидала. Она ничего не сделала, чтобы погубить его, и еще меньше – чтобы его уберечь. Она украдкой следила за его внутренней борьбой: это ее забавляло, это ей нравилось, она узнавала в Марке свою гордую Аннету. И тайне она отыгрывалась на сыне в том, в чем не могла отыгаться на матери: «Башня, берегись!..» Славная маленькая башня! Она ошестинивается в своей броне. Сильвия насмешливо аплодирует ей. Сильвия настроена скептически. Она ждет, чем дело кончится. Она отлично знает, что броня затрещит, что когда-нибудь эти стены в мгновение ока рухнут. И она думает: «Ничего не поделаешь! Хочешь не хочешь, нравится не нравится, – все равно этого не миновать! Пусть молодежь узнает! И пусть учится на свой страх и риск! Плохо будет тем, кто погибнет. А этот крепок... Он выберется... Но важно, чтобы он через это прошел. Тот не мужчина, кто не прошел...» Это ее не тревожит. Это дело Марка. Если бы она стала делать его дела за него, это была бы

ему плохая услуга. У нее свое дело, свои дела, – свои дела и свои удовольствия. Ей терять время понапрасну нельзя, Она переживает разгар бабьего лета.

Итак, Марк должен один противостоять всему, что его осаждает: красивым девушкам, шалопаям, пройдохам, – всему винегрету, которым набита салатница. А сам он – зеленый плод и соблазняет не один накрашенный ротик.

К тому же он племянник, ближайший фаворит султанши, им пользуются, чтобы использовать ее. Он не так глуп, чтобы не понимать этого. Он подозрителен, этот мальчишка! Он склонен думать, что его хотят обработать, что женщины, которые бесстыдно преследуют – его, ведут с ним какую-то корыстную игру, чего в действительности нет: просто юный дикарь волнует их. Волнует его угловатость, его резкость, его грубости, которые вдруг озаряет смущенная обаятельная улыбка, и робкий вопрошающий взгляд из-под насупленных бровей, взгляд, который внезапно отдается, как девушка, как обезумевшая девушка, которую подпоили и у нее помутилось в голове...

Этакий маленький Люсьен де Рюампре!.. А в сущности, все тот же Марк, все тот же молодой кабан: попавшись, он сейчас же высвобождается благодаря какой-нибудь неожиданной и грубой выходке... Это делает его еще более привлекательным. Об него ушибаются. Двойное удовольствие! Охота началась. И дичи приходится остерегаться не только сетей, но и своей крови, которая вдруг начинает бушевать и заставляет кидаться очертя голову.

Марку очень трудно устоять. С каждым разом он становится слабее. И он предвидит, что произойдет. Ему надо бежать! Сколько раз говорил он себе:

«Уходи...» Но он не уходит: очень уж интересно! Слишком много может увидеть и схватить его взгляд – взгляд любопытного самца в этом заповеднике. Охота здесь запрещена, но он охотится и из своей засады наблюдает всякую дичь, и крупную и мелкую, и птиц и животных. Он захватывает мимоходом и малую птишку. Но это опасно: в эти мгновения его взгляд мутится, его самого могут схватить... Его схватят... Нет, не схватят! Он упорствует. Бежать – значит признать свое поражение... Он остается, и с каждым днем его ягдташ пополняется опытом. Но благоразумнее Марк от этого не становится. Теперь у него совсем пьяные глаза. И в голове – водоворот... Все, во что люди верили или во что не верили, но все же принимали, чтобы можно было жить, – все устои социальной жизни, – все рушится. Вся мораль позавчерашнего дня (о вчерашнем не будем говорить: вчера была война!), – что от нее осталось? Старые грехи, предрассудки, цепи, налагаемые законом, который всегда отстает от общественного развития.

Мало сказать, что их попирают ногами! Для этого уже не приходится делать усилия. Просто по ним ходят, даже не думая о них. Что это? Крушение человеческого здания? Разрывается общественный договор? И возвращение в леса?.. Нет, это истечение договорного срока. Раньше чем возобновить его, в нем вычеркивают одни пункты и прибавляют другие. Старое, тесное, нездоровое жилье разваливается. Его надо перестроить и сделать более просторным. В такие периоды возрастных кризисов больному человечеству нужно омолодить испорченную и оскудевшую кровь, и оно окунается в опасные истоки своей первобытной и грозной животной силы. Чувствительные папаши-трусы хнычут: «Все пропало!..» Все спасено или будет спасено. Но ничто не дается даром! Надо платить, и платить дорого...

Марк готов платить. Но по средствам ли это ему? Смелый, слишком смелый ум увлекает его за пределы того, что он в силах выдержать. Неважно, что он все наблюдает, все понимает, обо всем смело судит: разум – это не заоблачные выси, он всеми своими силами связан с брюхом; он беззащитен, он предан и сдается врагу...

Но пока еще Марк защищается. Его ум и сердце бунтуют; некоторые картины вызывают в нем вспышки гневного презрения. Марк позволяет себе дерзости, от которых парфюмерный король приходит в бешенство, – он задыхается в своей раковине.⁹⁸ Но

⁹⁸ Игра слов: фамилия парфюмерного «короля» Coquille – по-французски – раковина.

маленький капрал Сильвия исподтишка смеется. Она дергает племянника за ухо и лукаво, с напускной казарменной строгостью говорит:

– Невежа! Когда ты научишься прилично держать себя в обществе?

Но он брыкается. Он побивает ее суровыми истинами. Особенно его возмущает безудержное мотовство, та расточительность, которую она проявляет при устройстве своих празднеств. Он прямо говорит ей, что это позор сорить деньгами в такое время, когда тысячам людей нечего есть. Сильвию это ничуть не трогает. Позавчера ей самой нечего было есть. Сегодня она наверстывает упущенное. Она цинично отвечает:

– «Слишком много» вознаграждает за «слишком мало». Слишком много у одних, слишком мало у других – вот и получается равновесие... И затем, мой миленький, чего ты хочешь? Что легко наживается, то легко и проживается. Надо же куда-нибудь девать деньги...

Марк разносит ее в пух и прах как за ее способ наживать деньги, так и за способ спускать их: за ее торговлю предметами роскоши, дамскими панталонами и мазями, за – эксплуатацию клиентуры, за цены (настоящий грабеж!), которые так же непостоянны, как капризы сошедших с ума насекомых – этих ее безмозглых клиенток! Сильвия возражает: если бы пришлось жить за счет мудрости людей, а не за счет их идиотизма, пришлось бы подтянуть живот. И, наконец, она и ее Кокий кормят не только самих себя и племянника («получил, сопляк?»), но и целую армию служащих. Марк, обиженный, с самым глупым видом спрашивает:

– А зачем все это?

– Что?

– Все, что ты делаешь. Все, что делают они?

– Ни за чем! Просто чтобы жить. Разве живут зачем-нибудь? Человек выходит из утробы матери, рождается – неизвестно зачем. Он набивает себе брюхо, ест, любит, суетится – неизвестно зачем. Потом он умирает-возвращается неизвестно куда и неизвестно зачем. Лишь одно на свете несомненно: тоска! И все, что делается в этом мире, делается только для того, чтобы не думать о том, как нас мучает тоска...

Марк поражен горечью, которая неожиданно прозвучала в ее словах. Он внезапно замечает, как в припухлости ее век, в углах мучительно искривленных губ проступает утомление. Женщина выдала себя в минуту слабости... Но Сильвия быстро овладела собой, выпрямилась. Она сбросила весь тяжелый груз со своего обоза. И вот она снова выступает в поход, на лице у нее вызывающая усмешка, молнии гнева сверкают в ее глазах. Этот глупый племянник со своими бреднями заставил ее снова почувствовать боль! Он начинает ее злить.

«Можешь сколько угодно пыжиться, миленький! Можешь корчить из себя Катона! Первая встречная шлюха скрутит тебя, когда ей вздумается, и сделает с тобой, что ей вздумается. Тебе бы следовало поубавить спеси...»

Она возвращается к своей игре и к своей бешеной деятельности.

Марка нельзя упрекнуть в том, что он к ней несправедлив. Он прекрасно знает, что Сильвия не сидит сложа руки. Он видит, что она занята и удовольствиями и трудом. Она продолжает усердно трудиться сама и заставляет трудиться своих служащих. Она не знает ни минуты покоя. По-настоящему она уважает только труд, любой труд и презирает расфуфыренных бездельничающих самок, которых она эксплуатирует. Она им выворачивает карманы без зазрения совести. Как во многих дочерях парижского народа, в ней есть что-то от «керосинщиц» Коммуны: она была бы способна в один прекрасный день поджечь общество, мгновенно и не задумываясь! Но она не имеет ни малейшего представления об организованной социальной Революции. Такая женщина, как Сильвия, об этом; и слушать не станет. В ней мирно уживается мещанка и «керосинщица». Одним и тем же керосином можно облить Счетную палату и растопить кухонную печь. На стройность мысли Сильвия и не претендует. Она анархистка по темпераменту и будет сама решать, что в ее поступках

правильно и что не правильно, без вмешательства государства или чьего бы то ни было. Морально все, что ей нравится. При ее бесстыдстве то, что ей нравится, часто бывает справедливее самого Права. Она ненавидит ханжеские фарсы официальной или светской благотворительности. Она сама занимается благотворительностью, и очень широко, но только никому об этом ничего не говорит и ни на кого не полагается. Она держит в строгости своих работниц, потому что не любит бездельниц, но она о них печется, она заботится об их здоровье; она устроила для них под Парижем дом отдыха, она выдает их замуж; те, кого она выделяет, получают от нее крупные подарки, которые в будущем составят их приданое.

Этого мало: она завоевала их доверие, она дает им советы, руководит ими, руководит по-своему – нравственно или безнравственно, но всегда человечно, понимая их слабости, но не позволяя им поддаваться этим слабостям больше, чем нужно. Ей бы следовало и самой себе давать такие советы и сдерживать свой пыл.

Но она считает, что имеет право на особое положение. Она слишком доверяет своему инстинкту и своим силам, которыми безнаказанно злоупотребляет вот уже двадцать лет... Безнаказанность не может длиться вечно.

Сильвия должна была бы обратить внимание на предостерегающие симптомы, указывающие, что здоровье ее расшатано. Она их чувствует. Но она привыкла рисковать... И затем в этой бешеной деятельности, в этой погоне за наслаждениями кроется, – как это в одну секунду подметил Марк, – затаенная горечь равнодушия к тому, что у нее нет детей, злоба на жизнь, о бесполезности которой ей все же не хочется слышать из уст этого дурачка Марка... Так пропадай же все пропадом! Но до последнего издыхания – трудись и наслаждайся!

На одном из празднеств в особняке Сильвии – дансинг, курительня, маленькие луперкалии, – когда сама хозяйка, пышнотелая, вся в цветах, декольтированная, по ее собственному выражению, до самого зада и в конце концов обмелевшая от коктейлей – настоящий фавн в юбке, – зажигает все вокруг себя, Марк не выдерживает. При той лихорадке, которая вечно гложет его, так мало нужно, чтобы опьянеть! И ощущение приниженности, вместо того чтобы делать его более осторожным, иной раз подхлестывает его, заставляет бравировать. Он решил... Его глаза блуждают. Он больше ничего не видит, больше ничего не знает, он вовлечен в самый центр круговорота, которым управляет козлоногая богиня. Шум крови громом отдается в его ушах, желание гудит, отупевшее сознание спотыкается и падает. Он уже не различает во время фарандолы, чьи это кроваво-красные губы смеются у самого его рта. Но он впивается в них зубами. И странная, дикая ревность зажигает в нем пожар... Он теряет сознание и приходит в себя в подвале, на полу. Он один. Откуда-то до него доносится гул голосов, музыка, но он ничего не понимает, не может собраться с мыслями... Что произошло?.. Он не может вспомнить, не знает, воспоминания это или игра воображения... И в том, что он воображает, страх не менее силен, чем желание... Никаких границ между тем, что было и что могло быть... Важно, что он чувствует себя обожженным, опозоренным, заклеянным... и, уходя, удирая с этой ярмарки, которая там, наверху, неумоимо смыкает и размыкает свои круги, он замечает кроваво-красные губы и слышит грудной смех дьяволицы Иорданса. Он погружается в ночной мрак, весь дрожа, весь – лед и пламень; его разум бичует себя и кровоточит, не будучи в состоянии ни постичь, ни раскаяться. Ненависть и презрение, да что бы там ни было! Огонь, кровь!

Но только не раскаяние, он одержим... Чтобы наказать себя, он уползает назад, в свою студенческую трущобу, в свою пустыню. И не возвращается.

Сильвия не способна понять, какая буря бушует в нем. Сама-то она после ночной вакханалии не ощущает ни малейшей неловкости. О: а отчетливо помнит, какая ярость вспыхнула в глазах мальчика – шквал ревности, от которого затрещали ее кости и который оставил ей след укуса на губах...

И все! Ей и лестно и смешно... Натура самоуверенная и беспутная, но не глубоко порочная, Сильвия равнодушна к условностям – и нужным и ненужным. У нее галльский ум,

ее насмешливый взгляд всегда улавливает смешное в любых положениях, и она нечувствительна к тревогам, она проходит мимо них. Когда-то она видела старушку Сарру в «Федре» и теперь вспоминала «Ипполита»... Ах, желторотый птенец!.. Ее Ипполит со стыда сбежал. Она только прыснула ему вслед... Что за важность? Боже, до чего мы бываем глупы в двадцать лет! И всегда они делают из мухи слона, эти мечтатели, гоняющиеся за звездами! А стоит ли так волноваться из-за лепестка розы, залетевшего к вам в постель, если то, что вы сжимаете в объятиях, в самом деле вечно? Она подмигивает себе в зеркало. Роза в цвету... Она беспристрастно смеется и над собой и над ним. Милая распутница смеется также над своей дорогой сестрицей Аннетой; если бы Аннета знала!.. Никогда она не узнает! Скорее Ипполит, «едва он миновал Трезенюкие ворота», даст себя проглотить живьем... «Скатертью дорожка, Иона!» Она его отпускает. Он вернется!..

Но он не возвращается. Суровый юноша накапливает злобу. Он не прощает себе этого поражения. Не только поражения этой ночи, о которой он никогда не узнает правды (и это мучительней всего! Потому что «та» знает...

Что она знает?), но поражения всех этих дней, которые он продал враждебному миру (разве он не был на содержании?). А хуже всего то, что в этом мире он испытал наслаждение. Он смешался со всей этой сволочью, со всеми этими спекулянтами и проститутками, живущими за счет горестей мира! Он клеймит себя позором: «Проститутка!» Никаких оправданий! Слабость нисколько не оправдывает. Он знал о ней лучше, чем кто бы то ни было. Он лгал, когда убеждал себя, что окажется сильнее. Он говорил себе это в самый час предательства. Он предавал, вступив в союз с сжигавшим его темным желанием насладиться этим цветком распутной роскоши, всеми этими плодами гниющего мира. Он лицемерно создавал себе оправдание в виде прав разума все видеть и все знать, чтобы для того, чтобы закалиться для борьбы. Ну вот теперь он все видел и видел себя!.. Конечно, ничто из всего этого даром не пропадет. Он возвращался, нагруженный трофеями. Но среди них валялись обломки его собственного «я»; Марк-проститутка... Он топтал их ногами, как топтал весь этот мир, с которым спутался. Он подверг себя наказанию. В неистовом порыве аскетизма он поклялся выжечь огнем все свои предательские инстинкты, которые заставили его сдать врагу. Он присудил себя к строгой дисциплине труда, к строгому режиму и полному воздержанию от связей с женщинами. Победить свою природу, дробить ее тяжелым молотом и перековывать! Верное средство накопить внутри себя гнев насилуемого врага! Но в этом возрасте нечеловеческое часто бывает единственным средством спасения. В этом возрасте юноши подобного оклада выбирают только между крайностями. Марк избрал «железные ребра».

Он втиснул свое молодое, тщедушное тело, изнемогавшее от лихорадки и слабости, в броню неумолимого самоотречения. Он носил на себе эту броню днем и ночью. Он не снимал ее, даже ложась спать, – чтобы не спать (*per non dormire* – великий девиз!), чтобы заставить себя держать глаза всегда открытыми.

У Сильвии в Латинском квартале были свои осведомители, и она узнала, что он испытывает материальные затруднения. Она бросила ему спасательный круг. Он оттолкнул его. В течение двух-трех месяцев Сильвия повторила это несколько раз. Он не ответил ни на одну ее записку. Она послала ему чек, не приписав ни единого слова. Высшее оскорбление! Еще и деньги от нее!.. Он перечеркнул чек гневным «не принят» и вернул его обратной почтой... Ей страшно хотелось пойти надрать ему уши. Идиот! Она представляла себе, как откроет дверь его каморки и подойдет к нему, а он обернется, бледный от волнения, с бешенством в глазах и стиснув зубы... Лучше, пожалуй, не пытаться! Еще неизвестно, чьи зубы окажутся стиснутыми. Быть может, они обменялись бы такими жестокими словами, которых никогда потом не загладишь...

Но, к счастью, Сильвия была захвачена круговоротом своей жизни. Машина грохотала. Ее уже нельзя было остановить. А следовало бы! Раза три у нее бывали сильные приливы крови. Но она не привыкла возиться со своими «бобо»... Танцевать, танцевать!.. И, едва касаясь земли, она снова закружилась в фарандоле. Но теперь звуки фарандолы слышались

где-то далеко-далеко – в течение полугода Марк узнавал о г-же Кокий только из газет.

Она же его забыла окончательно.

И вот Марк снова одинок. Этого он только и желал. Если ему так уж хочется жить без посторонней помощи, выпутываться из всех трудностей самому, – что ж, пожалуйста! Теперь ему не от кого ожидать ни гроша. Мать далеко, у нее нет денег, чтобы посылать ему. Ей трудно бывает вырвать даже то, что причитается. Переписываются они редко. Мать живет в глухой деревушке; связь там плохая, и письма приходят с невероятным запозданием. Аннета переживает самое тяжелое время своего изгнания – она влопалась! Она обо всем расскажет, если вообще станет рассказывать, когда ей удастся вырваться. А до тех-пор она точно воды в рот набрала, как и ее сын, когда он попадает в историю. Они оба одинаково упрямы, и мать и сын: «Это касается только меня! Никто не имеет права совать нос в мои неприятности». Они посылают друг другу раз в две недели по несколько строк неопределенного содержания, но всегда бодрых, – как бы только для того, чтобы сказать: «Я здесь!» Это скорее письма двух товарищей, чем переписка матери с сыном. Твердая рука ясноглазой женщины сжимает быстрые, всегда горячие пальцы мальчика: «Будь здоров! Я с тобой!»

У Рюш он больше не бывал. Компания распалась. Разбрелась на все четыре стороны. Каждый за себя!

Он понял в конце концов, что умственным трудом он себе на кусок хлеба не заработает. Если он хочет жить, надо понизить требования. Все равно какая работа, лишь бы прожить!.. Прийти к такому решению-это уже много!

И в то же время это ничто. Это значит согласиться на то, чего никто вам пока еще не предлагает! Мир смеется вам в лицо: «Ты можешь оставить при себе все свое великодушие! На что ты мне нужен?..» Сотни таких, как он, ждут, когда им выбросят кость. Марк всегда приходит слишком поздно. И в этих первых столкновениях с другими его еще удерживает некоторая щепетильность: он пропускает тех, кто стоит впереди, и тех, кто лишь втерся в очередь, и тех, что кажутся слабыми и вызывают жалость или, наоборот, слишком наглыми; в этом случае следовало бы взять за шиворот, а ему противно пачкать руки о засаленные воротники. Иногда кровь бросается ему в голову от ярости: не других он боится, а себя... (Хвастунишка! «Держите меня!..» Нет, ирония совсем не идет этому пареньку! Его швыряют внутренние волны, его тревожит сознание, что в такие минуты он может оказаться бессильным, что он может быть унесен ими. Только с течением времени, только после нескольких опасных передраг он научится не то чтобы укрощать эти волны, – это грозило бы ему гибелью, – но по крайней мере направлять их, использовать их как источник энергии, как движущую силу...

Дайте ему срок! Если он выживет, это ему когда-нибудь удастся. Но вот – жить! В этом-то и весь вопрос! Сможет ли он жить? Сколько времени и как?).

Он обошел ряд издательств и книжных магазинов. После двадцати безрезультатных попыток он был принят на испытание в газетную типографию, в ночную смену. На неумелого новичка косо смотрели товарищи по работе, сразу почуявшие в нем белоручку. Вместо того чтобы помочь, ему подставляли ножку. Через три ночи он получает расчет. Раза три ему с громадным трудом удавалось находить переводы реклам и коммерческой корреспонденции. Никаких перспектив! Его знание литературы ничего не стоит, надо знать деловую терминологию. Однажды Сент-Люс встречается его, когда он, голодный, бродит по улицам, и временно устраивает билетером в кино. Но, постоянно переходя из теплого помещения в холодное и обратно, Марк на свою беду схватывает грипп, сначала переносит его на нотах и, наконец, сваливается на несколько дней. А потом место, конечно, занято, и другого он не находит. Сент-Люс потратил целый вечер на то, чтобы его устроить, но он не имеет обыкновения подолгу задерживаться на чем-нибудь. Оказав однажды помощь Марку, он о нем забывает, и неизвестно, где теперь найти Сент-Люса. Один бог знает, как он и сам-то живет! В ту ночь, которую они провели вместе (после кино Сент-Люс затащил его из дансинга, где он служит, в укромный угол одного подпольного бара и там, измученные и

лихорадочно возбужденные, они проговорили до утра), Марк был потрясен, узнав, что элегантный Люс – почти такой же нищий, как он сам. У него странные отношения с матерью, красивой кинозвездой. Он называет ее Жозе и говорит о ней с непостижимой фамильярностью. Она постоянно в разъездах; изредка встречаясь, они осыпают друг друга нежностями и вместе шатаются по ночным кабакам; она пичкает его конфетами, осыпает ненужными подарками и долларами, если у нее еще что-нибудь остается; он же тратит эти доллары на ответные подарки – на драгоценности и цветы и даже на дорогих комнатных собачек, обезьян и попугаев или на безделушки, с которыми она не знает, что делать, но которые всегда принимает охотно, и это приводит их обоих в восторг. А затем она снова исчезает на несколько месяцев, оставляя его в Париже без единого су, и оба перестают интересоваться друг другом. Внезапно она вспоминает о нем: он получает чек на крупную сумму или на какую-нибудь мелочь (обычно это бывает в такие дни, когда ему не на что пообедать). Он смеется: такие неожиданности, в сущности, его забавляют. Он не только не сердился на мать, он был ей благодарен за то, – что она такая. Ему было приятнее сознавать, что он произошел от этой красивой девушки, чем от какой-нибудь серьезной и вполне благоразумной матери. Уж он как-нибудь и сам устроится! Он родился акробатом и знал тысячу приемов, чтобы в случае падения упасть на лапы! А какой у него покладистый желудок! Дни поста нисколько его не пугали!

Этому птенцу бывало довольно поклевать несколько крошек с ладони, лишь бы ручка была красивая. В красивых ручках у него недостатка не было. Они сами его находили. И неизвестно, не принимал ли он при случае, между обедом и ночлегом, два обола из этих красивых ручек. В ту ночь он не утаил этого от Марка, когда тот высказал удивление, вспомнив, как Люс бывал элегантен даже в черные дни. Очаровательный циник сказал ему:

– Они меня раздевают, и они же меня одевают. Стоит тебе только захотеть...

У Марка захватило дух – он не нашелся, что ответить. Рассердиться?

Это было бы бессмысленно; он понимал, что с этого гуся вода сойдет, капли не останется! Нельзя было мерить его той же меркой, что и сына Аннеты. В те времена, когда еще существовала загробная жизнь и после Страшного суда души человеческие размещались в трех отдельных затонах, для Люса не нашлось бы места ни в одном из них: он попал бы туда, куда уходят души животных – в вольеры вечности... Марк был не очень уверен в превосходстве своей человеческой души. Но если желать – а он желал – держаться, не теряя почвы под ногами, лучше было верить в это превосходство.

Во всяком случае, он не мог забыть, что однажды вечером Люс, не задумываясь, предложил ему все, что у него было в кошельке, – из всех друзей он один сделал это. Набоб Верон, встретив его как-то изнуренного охотой за заработком, ограничился тем, что открыл перед ним свой портсигар. Он и не подумал спросить, как Марк живет. Ему было наплевать. И Марк, при всей своей ненависти к Верону, был ему благодарен за то, что он и не пытается скрыть свой эгоизм. А вот Марку пришлось делать большие усилия, чтобы скрыть от Верона свои чувства. Верон был в тот день в убийственном настроении; одна рука была у него на перевязи. Марк насмешливо спросил, не на войне ли он получил рану. Верон стал ругаться, пробормотал что-то насчет фурункула, кого-то, неизвестно кого, обозвал шлюхой и прекратил разговор. При расставании Марк предложил ему встретиться в ближайший вечер у Рюш. С таким же успехом он мог бы назначить ему встречу «после дождика в четверг», – он и не думал ходить на эти собрания. Верон разразился оскорбительным хохотом, плюнул со злостью и осыпал Рюш гнусной бранью. А когда Марк, которого этот порыв ярости привел в изумление, спросил, какая муха его укусила, Верон резко оборвал разговор, бросил на него злобный взгляд и повернулся спиной.

Марк продолжал бегать в поисках работы. Он был еще неопытен в борьбе за существование: гордость – плохой помощник, когда надо ужом проскальзывать в щели, чтобы пробраться в кладовую, где лежит провизия. Но зато гордость придает бешеную силу сопротивления в самые тяжелые минуты, когда телом овладевает слабость, а дух измучен сомнением. Сколько бы Марк себе ни твердил: «Я побежден и буду побежден», – вслух он

этого никогда не скажет; произнести это вслух значило бы отказаться от борьбы.

Ни на минуту не приходила ему в голову мысль о самоубийстве. Разве на поле битвы кончают с собой? Тут за смертью дело не станет! Даже и выбирать не надо. Она сама обо всем позаботится. Нет, нам действительно нужна только жизнь!.. «Ведь все, что меня окружает, все эти женщины, мужчины, весь этот водоворот, все эти драки, эти случки, – это не жизнь, а плесень. Но как добраться до настоящей жизни, где ее найти? Да и существует ли она? Не знаю! Между тем меня неодолимо влечет к северу, как стрелку компаса... Что такое север? Плавающая льдина? Провал в бездну среди вечных льдов? Я ничего не знаю. Но север – там. И я должен идти на север. Слепая сила видит за меня. Она хочет за меня. Вся моя свобода в том, чтобы хотеть того, чего хочет она. Справедливо это или несправедливо, для меня это закон».

В конечном счете вся его тогдашняя мудрость сводилась к старинному галльскому изречению:

«Пока живешь, умирать не смей!»

Днем он работал в бакалейной лавке на улице Комартен: он исполнял обязанности приказчика, торгующего на тротуаре. В серые январские дни он стоял перед дверью лавки, подняв воротник и стуча зубами от холода. По ночам он заставлял себя несколько часов читать, писать, размышлять, старался постичь, как можно глубже, загадку бытия. Но она выскальзывала из его окоченевших пальцев, и голова у него качалась от желания спать. Когда бывала возможность, он варил себе крепкий кофе, чтобы не спать. А потом он выучился не спать совсем. Он потерял ключ от озера, дающего благотворное забвение. Дни и ночи тянулись в сплошных галлюцинациях – без начала, без конца; они вытягивались и снова сворачивались, точно кольца змеи. Марк ходил с воспаленными глазами, всюду влача за собой смертельную усталость, спазмы в желудке и навязчивые мысли. Он не платил за квартиру. Ему грозило выселение. Он продал все, что мог. Немногие вещи, которыми он дорожил, он носил с собой, в своем студенческом портфеле, а затем – с портфелем тоже пришлось расстаться – в карманах: он боялся, как бы их не унесли в его отсутствие.

В один январский день, когда город был окутан влажным ледяным туманом, Марк, втянув голову в плечи, стоял, как цапля, перед лотком магазина. Бессонница доводила его теперь до полуобморочного состояния. Он смотрел на торопливое движение призраков, не видя их, замечая их, когда они уже прошли, и чувствуя, как он сам, такой же призрак, плывет и растворяется в общем движении. Внезапно ему показалось (слишком поздно!), что чье-то бледное лицо остановило на нем тревожный, настороженный взгляд, а рука быстрым движением схватила что-то и скрылась под накидкой... Он вырвался из своего оцепенения, увидел в нескольких шагах от себя женщину, и ее образ запечатлелся в его усталых глазах: она застыла перед лотком, руки у нее были спрятаны под накидкой. Марк был уверен, что она почувствовала на себе его взгляд: она стояла, как куропатка, над которой делает стойку собака, и в этот самый миг под накидкой исчезла ее добыча – несколько помидоров, которые она украла. Она ждала, что будет дальше... А что будет дальше, Марк знал не лучше, чем она. Он направился к ней. Он был уже близко, его руки, как и у этой женщины, были прижаты к туловищу. Марк и она почти касались друг друга. Оба были примерно одного роста, и рот Марка находился на уровне худой щеки, на которой судорожно подергивались мускулы. Женщина не двигалась с места. Надо было, однако, на что-то решиться. Он превозмог себя и сказал сдавленным голосом:

– Отдайте! Но в этот момент он увидел в дверях магазина старшего приказчика. Тот наблюдал за ними. Марк шепнул куропатке:

– Нет, не шевелитесь! За нами следят...

Какая неосторожность! Он прикусил губу. Ну что ж! *Alea jacta....*⁹⁹

Он прошелся взад и вперед, чтобы овладеть собой. Женщина делала вид, что

⁹⁹ Жребий брошен (лат.).

рассматривает другие товары. Старший приказчик скрылся в лавке. Марк подошел к женщине поближе и одним взглядом охватил худенькую спину, круглую головку, наспущенную мордочку – голодная кошка. Резким движением он сунул ей под поношенную шаль несколько бананов и сказал, не разжимая зубов:

– Это сытнее!.. Берите, уходите!..

Она подняла голову и бросила на него острый взгляд – благодарность была не так велика, как удивление: «Ах, значит, ты из нашей братии?...»

Объясняться не было времени. Женщина исчезла в уличном потоке... Марк подумал: «Я – собака, которая вновь становится волком. Я открываю ферму для пустых желудков... Странная игра!» Он без колебаний повторил бы то, что сейчас сделал. Поступок был хороший. Но ему было не по себе.

Он возвращался домой. По дороге он встретил Бэт. Ему показалось забавным рассказать ей эту историю. Он знал заранее, какое это произведет на нее впечатление. Бэт сразу позабыла все свои романтические идеи насчет бунта против буржуазии. Кровь бакалейщицы ударила ей в голову, и она в негодовании закричала:

– Ну нет! Ну нет!.. Это уж слишком!.. Так не поступают!..

Марк рассмеялся ей в лицо. Она ушла от него с видом оскорбленного величия.

В лавку он больше не вернулся. Ему даже не пришлось отказываться от работы. Его просто уволили. Хотя против него не могли выдвинуть никаких определенных обвинений, но он показался подозрительным. Собаки учуяли в его шерсти запах леса.

Он еще глубже ушел в братство голодных. Никакой работы, нигде. И в карманах ничего, что можно было бы продать. Однажды вечером произошло то, чего он опасался: он нашел дверь своей комнаты запертой, его выгнали. Его решили доконать.

Стояла холодная февральская ночь, порывы северного ветра подметали улицы, мокрый снег, покружившись, таял на мостовой. Марк ежился в своем пальтишке и, опустив голову, напрягался, чтобы устоять против ветра. Он промок, был измучен и думал: «Сейчас я свалюсь...» И тут он столкнулся с женщиной, проходившей мимо, но не взглянул на нее. Чья-то рука взяла его под руку. Он встрепенулся...

– Ривьер!..

Рука не отпускала его. Он поднял блуждающие глаза... Рюш! Среди шума бульвара и бешеного рева ветра он не слышал, что она говорит. Она потащила его за угол, в защищенное место. Он не понимал, о чем она спрашивает, что он ей отвечает. Но ей и так все стало ясно. И она увела его. Он не сопротивлялся. Он дал себя дотащить до самой двери, не произнеся ни слова... А, это ее дом!..

– Поднимайтесь!..

Он поднялся по лестнице.

– Входите! Он вошел... Тепло комнаты, усталость, голод... У него закружилась голова... Рюш толкнула его в единственное кресло. Он чувствовал, как она расстегивает его набухшее пальто и высвобождает его руки из рукавов. Она что-то говорила, но он не понимал, звуки ее голоса сливались с бульканьем чайника, стоявшего на спиртовке. Она ходила взад и вперед, но он не пытался следить за ее движениями... Глаза у него слипались... На минуту он открыл их: около его губ находилась рука, она вливала ему в рот что-то теплое, подкрепляющее, и ласковый голос говорил ему: «Пей, мой маленький!..» У него не было сил посмотреть выше этой руки, но рука прочно засела у него в памяти. Много времени спустя, когда он возвращался мыслью к доброй самаритянке, перед ним вставало не лицо ее, а рука. В этом полубессознательном состоянии ему казалось, что с ним разговаривает именно рука... Струйка молока влилась в него, голова его откинулась на спинку кресла и тут же свесилась, шея затекла, но он не шевелился; он чувствовал боль во всем теле, а внутри – какое тепло!..

Добрые руки приподнимали его голову, но она снова падала... Еще один проблеск сознания, и он погрузился в забытие...

Когда несколько часов спустя он всплыл на поверхность, то увидел, что лежит

вытянувшись, а кругом темно. На потолке, среди мрака, играл бледный отсвет улицы. Тихо, недоверчиво, не шевелясь, точно зверь, просыпающийся в лесу. Марк старался собраться с мыслями. Он медленно шарил вокруг себя ногами. Он лежал на матраце, раздетый, завернутый в одеяло. Под матрацем – плиты пола. Сверху – дыхание, шуршание простынь и голос Рюш:

– Ты проснулся? Тут он вспомнил все и попытался встать, но руки и ноги у него онемели, а Рюш сказала:

– Нет, лежи смирно! Он спросил:

– Но где же это я? Где ты? (Он не обратил внимания, что обращается к ней на «ты».)

– Не волнуйся! Ты в безопасности...

Он продолжал ворочаться.

– Нет, я хочу посмотреть...

– Хочешь, я зажгу свет. Одну минуточку...

Она повернула выключатель. Он увидел над своим лицом лицо Рюш. Ее глаза мигали. Оказывается, она устроила ему постель рядом со своей кроватью. Он сел, и его лоб оказался на уровне ее кровати. Его глаза забегали. Рюш в постели, стена, стол, вещи... Рюш погасила свет...

– Нет, погоди!..

– Довольно!

Он снова лег. Но все виденное, продолжало стоять у него перед глазами, и теперь он старался все осмыслить. Было тихо.

– Ой! – крикнул Марк.

– В чем дело?

– Мое платье!..

– Я его сняла с тебя.

– Ах, Рюш!..

– Оно промокло насквозь... Ничего не поделаешь! На войне как на войне!..

– Мне стыдно! Я к тебе навязался, я тебе мешаю, я беспомощен, как девчонка....

– Ну, ну! – сказал сверху смеющийся голос. – Ты мог бы, однако, не говорить гадостей про девчонок. От них тоже бывает польза иной раз.

– Да, от тебя! Но таких, как ты, поискать надо.

– Стоило только заглянуть в Валь-де-Грас.

Он почувствовал на своем лице длинную руку, свисавшую сверху; найдя его, она погладила ему лоб, веки, глаза, а потом шаловливо ущипнула за нос. Он старался поймать ее ртом, как рыбка, не вынимая рук из-под одеяла. Рюш сказала:

– Я уверена, что ты не знаешь одной нашей орлеанской поговорки.

– Какой?

– Кто не ночевал в Орлеане, тот не знает, что такое женщина.

Он заерзал.

– Я бы рад узнать...

Рука дала ему шлепок и скрылась...

– Нет, друг мой! Нет, друг мой! Сейчас не время узнавать что-либо!

Сейчас надо спать. Погасить все огни!

– Все?

– Все! И те, что горят наверху, и те, что горят внизу. Уже трубили зарю. Спи!

Он помолчал несколько минут, потом заговорил снова:

– Рюш!

– Я сплю...

– Только одно слово! Что это было? Что-то блеснуло у тебя на столе?

– Ничего!

– Револьвер?

– Да.

Она рассмеялась.

– Не против тебя, дурья голова!

– Надеюсь! Ты уверена во мне не меньше, чем в себе.

– Это еще не так много, – обращаясь как бы к себе самой, со смехом возразила она.

Но он услышал только ее приглушенный смех и снова задвигался.

– Неужели ты мне не доверяешь. Рюш?

– Отстань! Спать! Доверяю, друг мой! Настолько, насколько можно доверять мужчине...

– Или женщине.

– Или женщине... И знаешь что? Не жалуйся!

Я и так много тебе сказала... Но, вообще говоря, животным вашей породы лучше доверять, когда держишь в руке оружие.

– Para bellum!¹⁰⁰ Вот так пацифистка! Бьюсь об заклад, что ты еще никогда не играла этой игрушкой! Да и знаешь ли ты, как с ней обращаться?

– Ну вот, миленький, если ты держал пари, ты проиграл! На что ты держал пари?

– На что хочешь!

– Ладно! Запомним!

– Когда ты играла? И с кем?

– Догадайся!

– Я его знаю?

– Только ты его и знаешь!

– Кто это?

– Я вас видела вместе на днях, на углу, возле кафе Суфло...

В мозгу сверкнуло: рука на перевязи...

– Верон! Она давилась хохотом, уткнувшись в подушку.

– Верон? Верон? Этот толстый боров?¹⁰¹

– Да! Он считает, что если имеешь дело с женщиной, то наиболее убедительный аргумент – это сила. И он попытался доказать это мне в боевой схватке. Тогда я решила убедить его, что вполне разделяю его взгляды, и напиговала ему плечо свинцом. «Ну что, дружище, кто слабей?» Если бы ты его видел! Он обалдел! Он разинул рот... Но зато потом что было!..

– Он все еще ругается, – прыснув, сказал Марк.

Они оба смеялись, как дети.

– А теперь спи! – сказала Рюш, вытирая себе глаза простыней.

Марк повиновался. Они задремали... Потом Марк, выйдя из оцепенения, приподнялся и сказал приглушенным, но страстным голосом:

– Рюш! Рюш!

– Ах, ты мне надоел! – ответила сонная Рюш. – Я больше не могу, я умираю... Оставь меня в покое!

Но он терся головой об ее закутанные ноги.

– Рюш! Рюш! Я восхищаюсь тобой... Я тебя глубоко уважаю...

Рюш была растрогана.

– Глупый! Молчи и спи! – оказала она.

Они проспали до утра.

Луч солнца, заблудившийся на старой улице, пустил Марку стрелу в закрытые глаза; Марк замигал и услышал, как Рюш полощется в тазу, за ширмой. Чтобы пробраться туда, ей пришлось перешагнуть через него. Она все еще смеялась по этому поводу, выжимая губку на

¹⁰⁰ Готовь войну (лат.).

¹⁰¹ Игра слов: verrat – по-французски – боров.

свои длинные бедра, по которым стекала вода.

– Рюш!

– Мне некогда! Я занята!..

Обнаженная рука приветствовала его из-за ширмы.

– Что тебя так смешит?

– Ты!

– Смейся! Ты имеешь право! Инстинктивным движением она прижала к губам мокрую губку, посылая ему из-за ширмы воздушный поцелуй.

– Ах, я такая же глупая, как ты!..

– Почему?

– Не твое дело...

Ему не хотелось ни спорить, ни двигаться. Какая прекрасная ночь, какое хорошее пробуждение, какое блаженство! Он весь был еще во власти оцепенения... Но нет! Стыдно! Он выпрямился, как тростник...

– Я встаю...

– Нет, нет, подожди! Уткни нос в подушку! Я выхожу. Смотреть воспрещается...

Конечно, он посмотрел и увидел эту нимфу с ног до головы. Она бросила в него из глубины комнаты все, что попало ей под руку: подушки, полотенца, его брюки, которые высохли за ночь; он лежал, погребенный под грудой вещей.

– Утони и задохнись!..

Не успел он высвободиться, как она с быстротой фокусника оделась и вернула ему воздух и свет.

– А теперь одевайся! Я иду за провизией...

Оставшись один, он оделся. Рюш вернулась с молоком, хлебом и несколькими ломтиками ветчины. Они завтракали вдвоем и разговаривали. На молодое лицо, которое ночью терлось о ее ноги, Рюш смотрела своими глазами китайки, в которых снова залегла отчужденность... Дурачок! Они обменялись улыбкой, понятной только им. Не говоря этого вслух, оба, каждый про себя, пришли к одному и тому же: «Подобную ночь повторять нельзя...»

– Вот что, – сказала Рюш. – Ты никакой работы не боишься?..

– Они все бессмысленны, – ответил Марк. – Но и мы сами не лучше. Так что нечего привередничать.

– Вот это я в тебе и люблю: ты горд, ты подчиняешься необходимости, но считаешь, что делаешь ей честь. Ты не брезгаешь.

– Я уже не брезгаю.

– Да, ты переменялся за эти полгода! И к лучшему!

– Да ведь и ты тоже не из привередливых.

– Оба мы с тобой из хорошего дерева: из него делают стрелы...

– Но куда стрела метит?

– Да, в прошлом году я очень боялась, что твоя стрела попадет пониже пояса.

– Ты меня заставляешь краснеть... Что же, ты ясновидящая? Как ты догадалась?

– У тебя был такой вид, точно тебя стало засасывать.

– Я вырвался.

– Это уже немало! С тех пор я и начала тебя уважать.

– Почему ты мне не оказала?

– А зачем?

– Это могло бы мне помочь в такие дни, когда сам себя не уважаешь.

– Полгода назад это не имело бы для тебя никакого значения.

– Зато сегодня это имеет значение.

– Бедный парнишка! Тебя, должно быть, здорово выпотрошило!

– Не говори мне этого как раз в такой день, когда я начинаю наживать новый капитал!

– И я, конечно, кладу в него первую монетку... Ну что же, за твой будущий миллион! А

пока, в ожидании чего-нибудь лучшего, пошел бы ты в студенческую столовую подавальщиком?

Марк проглотил слюну и храбро ответил:

– Если ты иногда будешь приходить туда обедать.

– Зачем?

– Если бы я прислуживал и тебе, это бы мне помогло.

– Ладно, поможем...

Она представила его заведующей, с которой была знакома, и Марк в тот же день приступил к работе, ободряемый взглядом и советами Рюш. Этого мало: когда волна посетителей схлынула, она усадила Марка за стол и сама подала ему обед. После этого все стало просто. Рюш дала ему взаймы, и он смог снять себе комнату в маленькой гостинице там же, в Латинском квартале.

Казалось бы, после всего этого они должны были встречаться часто. Ничего подобного. В первое время Марк еще заходил к ней по вечерам раза два или три, но ее не было дома. А быть может, она была дома и сидела, скрючившись, в своем углу, с сигаретой в зубах, обхватив ноги руками?

Эта странная девушка жила своей жизнью, закрытой для посторонних, и прилив симпатии, который в ту ночь сблизил ее с Марком, не воздал ему привилегии. Скорее наоборот, инстинкт подсказывал Рюш:

«Ага! Он отодвинул щеколду? Так повесим замок!»

В ее глазах никакое удовольствие не стоило независимости!.. Хороша она была, ее независимость, нечего сказать! И что она с ней делала, с этой независимостью? Смеясь над собой, она щипала себе пальцы на ногах:

«Дура!.. Ну и пусть! Я дура и душой хочу быть! Мои пальцы на ногах принадлежат мне. И моя кожа – моя! И все мое – мое! Я вся, сверху донизу, принадлежу себе, и только себе! И никому больше! Ничего, подожди немного, моя милая! Хорошо смеется тот... ого! Мы еще посмеемся! Давай держать пари!..»

Это у нее была такая игра: держать пари с самой собой. Тут наверняка выиграешь! В особенности если сплутовать... А стесняться нечего!

Марк был бы способен понять ее инстинкт самозащиты. «Я берегусь. Берегись и ты!..» Но с него было довольно его собственных тайн, он не мог интересоваться тайнами Рюш. Да и потом его мужские предрассудки внушали ему, что девичьи тайны стоят не больше, чем кошачий помет. Правда, он любил кошек. Но кошка есть кошка. А мужчина – это человек.

Рюш тайком наводила о нем оправки, пока не убедилась, что он окончательно выплыл. Тогда она перестала им интересоваться. Лишь однажды она неожиданно пришла к нему. Было около полуночи. Марк выразил удивление, что она бежит по крышам так поздно. Действительно, в ее глазах сверкали какие-то кошачьи огоньки. Она была весела, держала себя непринужденно, и все же было в ее взгляде что-то чужое, неуловимое, похожее на глаза ночных птиц, бесшумно летающих по лесу. Невозможно угадать, где они будут спустя мгновение... Около часа ночи сова улетела, и он не пытался ее удержать. Они встретились снова только через несколько месяцев.

И как раз в это время – в начале апреля – вместе со стаями Перелетных птиц вернулась к нему другая птица: Аннета, упорхнувшая с дунайских болот.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

АННЕТА В ДЖУНГЛЯХ

Она там чуть-чуть не увязла!

В Париже она дала себя упаковать, как тюк, и увезти. Выбросить на время из головы все заботы – это было облегчение... На время... Но оно оказалось непродолжительным. Аннета не привыкла ничего не делать. Они путешествовали в роскошных условиях (опальные вагоны, первоклассные отели, автомобили и пр.) по Северной Италии и

Венецианской области. Но самым отчетливым впечатлением, оставшимся у Аннеты от этих прекрасных мест, знакомых ей и любимых с детства, было впечатление холода и скуки.

Сначала это удивляло ее. Затем она поняла: роскошь изолировала ее, лишила контакта с землей. Аннета вновь обретала его лишь в те редкие минуты, когда ей удавалось вырваться и пробежаться пешком по узким улочкам или по полям. Дрожь пробирала ее иной раз, когда ее нога утопала в мягких отельных коврах, однообразных, похожих один на другой, старательно прикрывавших паркет и камень полов. Ей так хотелось походить босиком по голой земле! Но ее ни на минуту не оставляли в покое. Болтовня трех попугаев, не умолкавших ни днем, ни ночью, доводила ее до оупения.

В Бухаресте в первые дни стояла суматоха и оглушительный шум громадного птичника, как в Париже, в Зоологическом саду: огромная семья, родственники, знакомые – целое племя собралось после разлуки. На много дней и много ночей хватило бы им восклицаний, излияний, объятий и поцелуев. Все двери настежь. Все нараспашку. Все секреты. Полные корзины интриг, флиртов и большего, чем флирт, и все происходило открыто, на глазах, в каждой комнате, коридорах. Мужчины редко говорили с женщинами о чем-нибудь таком, что не вертелось бы вокруг красного фонаря. Аннета считала себя обязанной наблюдать за своими воспитанницами, и у нее было довольно забот в этой накаленной атмосфере. Она и сама была не ограждена от преследований: она заметила это с досадой, но, пожалуй, не без насмешливого удовлетворения (ого! в сорок три года!). Как парижанка, она, несмотря на свой возраст, была для мужчин предметом внимания и вожделения. И Фердинанд Ботилеску, который еще во время путешествия надоел ей своей тяжеловесной галантностью, начинал ее немного беспокоить.

Однако, пока они жили в городе, опасность была невелика: участок, на котором шла охота, был достаточно богат дичью, чтобы насытить этих Немвродов. И у Фердинанда были другие кошечки, не считая политики, дел, погони за почестями и деньгами.

Но спустя два месяца они переехали в имение Ботилеску, затерянное среди прудов и лесов унылой валашской долины, обжигаемой то зноем, то морозом. Стояла осень. Густые туманы проплывали над болотами, где тараторили водяные курочки. Тяжелый автомобиль то застревал в колеях разбитых дорог, то жестоко тряс, и тогда пятерых женщин и их господина и повелителя обдавало грязью. Но только у одной Аннеты ныла разбитая тряской поясница, и она изумлялась выносливости румын: им, видимо, все было нипочем, они были сделаны из меди, в особенности глотки барышень, ни на одну минуту не перестававших болтать.

Просторный, но ветхий дом – не то замок, не то ферма – стоял на пригорке, еле заметно возвышавшемся над тоскливым однообразием равнины. Его строили по частям; не было ни одного этажа, который находился бы весь на одном уровне; извилистые коридоры поднимались и спускались на каждом повороте, истертые каменные ступеньки дрожали под ногами. В доме никто не жил в течение нескольких лет войны, и им завладела природа; дикий виноград, красный на осеннем солнце, как кровь, и облысевший плющ, прикрывавший фасад, пролезли сквозь щели в стенах, сквозь источенные червями оконные рамы в дом и привели с собой целые полчища ухверток и муравьев.

Уборка, сделанная кое-как, на скорую руку, перед самым приездом господ, мало потревожила пауков, устроившихся в темных углах и в складках портьер; ящерицы бегали и дремали в коридорах, а в нижнем этаже можно было иной раз услышать свист ужа. Ни барышень, ни их мать это не трогало. Они привыкли к роскоши Западной Европы, но дома прекрасно себя чувствовали среди грязи и запущенности, на покрытых пылью диванах и кушетках. Аннете было стыдно сознаться себе, что ей это внушает отвращение, и она решила во всем видеть смешную сторону. В первый вечер Аннета старалась не заглядывать в углы своей комнаты, – она поспешила задуть свечу, которая коптила и пахла горелым салом; сморенная усталостью, она вытянулась на жесткой и скрипучей старой деревянной кровати, размалеванной романтическими и батальными сценами и амурами. На этой кровати могли бы со всеми удобствами расположиться две пары ночлежников. За их отсутствием ее населяли другие, не менее докучливые жильцы. Первый же сон Аннеты был нарушен: у нее

горела вся кожа; ей пришлось покинуть сей исторический монумент и ютившееся в нем голодное население, – остаток ночи она провела на стуле. Это значило попасть из Харибды в Сциллу. В окна, которые она раскрыла, влетели крылатые эскадроны комаров. В пруду квакали лягушки, а с первыми лучами рассвета где-то вдалеке зазвонили надтреснутые монастырские колокола.

Следующие ночи, пока не прибыла из Бухареста новая кровать, Аннета спала на полу, на матрасе, и это никого не удивляло. Правда, барышни предлагали ей лечь с ними на одной постели. Они спали в огромной соседней комнате, спали как убитые, с открытым ртом, негромко и мерно похрапывая, согнув колени под раскиданными простынями. Их голые бедра были неуязвимы для насекомых. Утром они шутили по поводу того, что у Аннеты распухли щеки, нос, лоб, вздулись щиколотки. Аннета тоже смеялась, зверски царапая себе все тело: она платила налог на иностранцев. Как только эта нечисть взыщет его, тотчас получишь иммунитет. Нет худа без добра: пожалуй, это было благоразумно – представлять перед праздными очами хозяина в непривлекательном виде. Но она заблуждалась, если думала, что его могут остановить такие пустяки. Слишком уж он вертелся вокруг нее. Он постоянно старался услужить ей, постоянно проявлял к ней преувеличенное и назойливое внимание, подчеркнуто обращался с ней, как с гостьей. Однако под его тяжелыми веками она видела сверкание быстро угасавших, но все же зловещих молний. В иные минуты очутиться с ним наедине было бы небезопасно. Невелика оказалась бы цена всей этой его внешней почтительности. Он обошелся бы с ней, как с кобылицей. Именно так обращался он у себя в имении с крестьянскими девушками, которых заставлял в коровнике за доением или у пруда, когда, стоя в грязи, они связывали в снопы срезанный камыш. Оки потом оправлялись, бешено и удовлетворенно кудахча, как куры. По-видимому, ни для жены, ни для дочерей господина и повелителя это не составляло тайны; они этому не придавали значения; быть может, в душе они даже гордились своим султаном. Немало деревенских ребятишек являло с ним разительное сходство. Зверь всегда был голоден.

Тяжелый, почти исключительно мясной стол (у Аннеты он вызывал отвращение), дорогие вина и «цуика» (сливовая водка) не могли заполнить прорву этого желудка: чистый воздух и праздность делали его бездонным. Г-жа Ботилеску проводила целые дни в дремоте и безделье, взвалив на Аннету заботы по дому. Фердинанд растрачивал силы на ходьбу пешком, на верховую езду, на охоту; иногда он брал с собой всю компанию кататься верхом или в автомобиле. Но Аннета насторожилась после того, как однажды, собирая с барышнями цветы в болотных зарослях, она внезапно оказалась одна и на ее зов откликнулся гусак. Она добралась до дому другой дорогой; увидев невинные личики барышень, которые бросились ей на шею, крича наперебой, что всюду искали ее, Аннета раскаялась в своем подозрении. Но сколько она ни гнала его от себя, оно не уходило; оно, как собака, легло у дверей, свернувшись калачиком на подстилке. Перехваченные ею взгляды маленьких обожательниц заставляли ее быть все время начеку. В свою очередь, она с любопытством француженки пыталась установить, какие же могут быть побуждения, у этих душонок, наивных и сложных. Аннета угадывала безотчетную, быть может, затаенную, неприязнь, которую она могла возбудить у них в Бухаресте, мешая им флиртовать. В особенности старшая, которая осыпала ее самыми нежными поцелуями, должна была иметь против нее зуб, – она и точила на Аннету один из своих красивых острых клыков молодой лисицы, открывавшихся, когда в обольстительной улыбке подымалась ее полная, покрытая пушком губа. Что же, выходит, девушки лгали? Нет, если лгать – значит, говорить противоположное тому, что думаешь. Они и думали, что говорили, а говорили, что думали. Они были искренни и в то же время хитры. Они любили Аннету, и одновременно их забавляло толкать ее в сети папаши. Самая младшая не видела в этом ничего худого; для нее это была просто забава. Даже вторая, наиболее искушенная, только хотела посмотреть, какой сердитый вид будет у гувернантки, когда она попадется. Но старшая, Стефаника, знала, что делает. Она находила двойное удовольствие в том, чтобы, любя Аннету, мстить, толкая ее в объятия отца. Его похождения, быть может, пробуждали запретные чувства в ней самой. Эти чувства она скрывала и даже

себе не признавалась, какую ведет игру, но заранее облизывалась при мысли об успехе. Аннета не хотела этому верить, хотя у нее раза три мелькнули подозрения. Но она насторожилась.

Однажды вечером, собираясь лечь спать, она заметила, что ключ от ее комнаты исчез из замочной скважины. Всего каких-нибудь четверть часа назад она его видела. Девочки были у нее в комнате. Они едва не задушили ее в объятиях, желая ей спокойной ночи. У Аннеты не оставалось сомнения.

Шерсть вздыбилась на волчице. Она упрекала себя: «Я дура! Аннета, милая моя, ты фантазируешь. Ты слишком нервна. Ключ выпал. И даже если девочки унесли его, они просто хотели пошутить. Не надо обращать внимания». Она легла. Но через три минуты вскочила с кровати. Из соседней комнаты до нее донесся приглушенный смех двух старших. Она пошла к ним – босиком, в ночной рубашке. Едва она вошла, свеча погасла. Она снова ее зажгла. Девушки притворились спящими. Когда же Аннета растормошила их и заговорила сердитым тоном, они разыграли пробуждение и с невинными глазками поклялись всеми святыми, что не понимают, чего от них хотят: они ничего не знают. Аннета не стала тратить времени на пререкания. Она холодно сказала Стефанике:

– Уходи отсюда! Я остаюсь здесь. Поди ляг на мою кровать.

Девушка подскочила.

– Нет, нет, нет, нет! – в ужасе закричала она.

Аннета заглянула ей в глаза, не стала настаивать и легла с ней рядом.

Снова стало темно. Все молчали. Прошел час, и в коридоре под чьими-то шагами затрещали шаткие половицы; рядом открылась дверь, кто-то вошел в комнату Аннеты. Приподнявшись на локте, Аннета прислушивалась; Стефаника притворялась спящей, но тоже прислушивалась: ее выдавало тревожное дыхание. За стеной возбужденный мужчина (он почти каждую ночь бывал полупьян) пришел в бешенство от неудачи. Он сбрасывал простыни, подушки и ревел, как слон. Аннета тоже разозлилась; схватив Стефанику за плечи, она шепотом потребовала, чтобы та созналась; она бросала ей в лицо неприличные слова на румынском языке (на всех языках эти слова узнаются прежде всего, одновременно с теми, которые нужны, чтобы попросить поесть). Та, растерявшись, продолжала упорно отрицать, покуда во время спора не упал на пол ключ, который Стефаника спрятала под подушкой. Разочарованный волокита вышел из комнаты, хлопнув с досады дверью, и зашагал по коридору, топая ногами, как буйвол. Обе барышни, пристыженные и взволнованные (они только теперь с ужасом поняли свое предательство), рыдая, бросились перед Аннетой на колени – они целовали и обливали слезами ее руки, просили прощения. Они были искренни. Стефаника впала в шумное отчаяние, гулко била себя кулаками в крепкую грудь, заявила, что желает провести остаток ночи у ног Аннеты. Наконец, всхлипывая и шмыгая носами, как дети, которых высекали, девушки заснули. Невозможно было на них сердиться. Но доверяться им тоже было невозможно.

Аннета хотела уехать на другой же день. Но девочки с криком, бурно выражая ей свою любовь, умоляли ее остаться. А смущенный Фердинанд, ни словом не обмолвившись о своем неудавшемся ночном набеге, держался на почтительном расстоянии, проявляя внешние признаки раскаяния. Аннета отменила свое решение. Впрочем, его осуществлению мешали серьезные материальные причины: у нее не было денег. Когда она требовала то, что ей причиталось, у хозяев находились всевозможные предлоги, чтобы тянуть и не платить ей. Надвигалась зима и отрезала усадьбу от остального мира: переезды были трудны в это время года, нельзя было уехать, когда хочешь.

Аннета решила подождать до весны. Пережитые тревоги как будто заставили всех остепениться. Наступил период сонливого покоя. Снег, расстелившийся по полям, покрыл и сердца своим легким пухом. В лунные ночи сверкал брильянтами замерзший пруд. Катались в санях с бубенцами. От ветра краснели щеки, уши горели под теплыми шапками. Тело, закутанное в меха, чувствовало себя счастливым от притока освеженной крови. Грязь лачуг с камышовыми крышами и зловоние болот прикрывала незапятнанная белизна зимнего

покрова. Аннета не без успеха старалась обратить внимание своих пташек на нищету крестьян, у которых под лохмотьями была волчья шерсть. Крестьяне очаровали Аннету своими прекрасными песнями, точеными лицами, блестящими дикарскими украшениями, которые они надевали в праздники, древними обычаями и здравым смыслом. Аннета пыталась заговаривать с ними, и их недоверие таяло; ей приятно было видеть, как под суровым обликом даков, прикованных к колонне Траяна, вспыхивает веселый огонек иронии бургундского Кола Брюньона, который всему знает цену и над всем смеется. Иногда можно было услышать и раскаты грома. Они доносились издалека: слово, жест, повышение голоса. Веками накапливавшийся бунт против господина... Господин это знал, но это длилось века (со взрывами время от времени). И он считал, что таков естественный закон, которым должен пользоваться и пользовался сильнейший, то есть он. «Ты коленями сжимаешь лошади бока. Если она лягается, рви ей рот удилами!..» Аннета заметила этот молчаливый поединок и (тем, кто ее знает, говорить об этом излишне) ставила ставку на лошадь. Когда же освободит она свою спину от всадника? Аннета не жалела, что осталась. Хорошо было прикоснуться к первобытным силам, к этой древней земле. Над ней проносились зимние бури, их внезапные порывы вздымали вместе со снежными вихрями видения битв Марка Аврелия и других, грядущих, битв, которые еще пока дремали в сердцах гетов.

Суровый климат и прогулки на свежем воздухе укрепили Аннету. Во всем ее теле было разлито столько цветущего, ликующего здоровья, что оно казалось вызовом, и благоразумнее было бы его скрывать: Аннета и не подозревала, что оно стало приманкой, брошенной перед самой пастью щуки. Аннета вся была охвачена пламенем своей ранней осени; она ощущала телесную радость и душевный покой: она знала, что Марк находится под теплым крылышком Сильвии. Она с увлечением принимала участие в народных праздниках. Барышни Ботилеску рядились сами и ее наряжали в тяжелые, пышные крестьянские платья (отношения между господами и слугами хоть и отличались грубостью, но не были лишены фамильярности). Сравнение было не в пользу молодых помещиц, и парни не колебались в выборе: Аннета плясала со всеми щеголями, со всеми деревенскими петухами. Она не замечала ревнивой злости на насупленных мордочках своих кошечек; точно так же не обращала она внимания и на разгоревшиеся глаза хозяина, покуда он не вырвал ее однажды из рук какого-то деревенского танцора и сам не обхватил за талию. Тогда она сослалась на усталость и после танца ушла домой.

Несколько дней после этого она соблюдала прежнюю осторожность. Но потом тревога показалась ей напрасной. И снова все заснуло.

Это произошло в конце марта. Медленно начинал биться пульс пробуждавшейся земли. Глубокий снег покрывался морщинами, под ним пробегала скрытая лихорадка, на пруду проламывался лед. По ночам было слышно, как в молчаливом небе проносятся стаи перелетных птиц. Пост кончился, и помещики беспрерывно ездили друг к другу в гости. Барышни Ботилеску уехали с матерью на ужин и танцы в соседнее имение. Отец отсутствовал несколько дней; говорили, что он в Бухаресте. Аннета не поехала со своими воспитанницами: легкий озноб, головная боль-начало гриппа удержали ее дома.

Спускался вечер, потом наступила ночь. Аннета лежала у себя, и ей лень было зажечь свет. Она слышала, как внизу в гостиной тикали старые, заржавленные, прихрамывавшие часы, а где-то на окутанной тьмой равнине скрипели несмазанные колеса крестьянской телеги. Аннета засыпала. Ее разбудило щелканье ключа в замочной скважине. Она не обратила на это внимания. Но у нее возникло какое-то неприятное ощущение, похожее на глухое нытье в распухшей десне. Она приписала это гриппу. Потом в десне началось покалывание, и больное место определилось: опасность была не внутри, а вовне. Она вспомнила, что застала Стефанику у телефона, когда та с таинственным видом, торопясь и волнуясь, с кем-то говорила. Аннета тогда не поняла, о чем шел разговор, но теперь ей все стало ясно. Она вспомнила, что осталась в усадьбе одна с раболепной, глухонемой, покорной и на все способной челядью. И вдруг привскочила на кровати, вспомнив разбудившее ее щелканье ключа. Она встала, подошла к двери и обнаружила, что дверь заперта на ключ, но

снаружи. Как раз в эту минуту она услышала шум въезжавшего во двор автомобиля. Сомнений не оставалось. Хозяин пробирался домой, как вор. Она задвинула внутреннюю щеколду, которую в свое время велела приделать для безопасности. Он скоро придет – Аннета была в этом уверена.

И он пришел. Он толкнул дверь, но дверь не подалась. Аннета стояла молча, охваченная бешеной злобой, как крыса, попавшая в крысоловку. Она взвешивала свое положение и наконец решила, что щеколда долго не выдержит. Аннета старалась выгадать время. Холодно и отрывисто отвечала она на голос за дверью, который начал переговоры. В то же время она обходила комнату, как крыса, которая ищет щель. Щель была только одна – окно. Аннета открыла его. Комната находилась на втором этаже, в том углу, под которым высился холмик, а окно с круглым балконом нависало прямо над склоном этого холмика. Аннета перегнулась через перила и взглядом измерила высоту. Она ощупывала узловатый стебель старой, высохшей глицинии, змеиными кольцами обвивавшей перила, и обдумывала, как быть. Потом оделась, сунула ноги в деревенские валенки, натянула рукавицы, но тут же сняла их, чтобы свободнее действовать руками. Мигом сгребла она все свои самые необходимые вещи и даже в такую минуту нашла время отдать дань женскому инстинкту и посмотреть в зеркало, нахлобучивая на уши теплую каракулевую шапку. Она увидела свой искаженный злобой рот, отвечавший презрительными «да» и «нет» разъяренному животному, которое расшатывало дверь, грозя сорвать ее с петель. Наконец в последний раз обвела комнату взглядом и решила. Уже у самого окна она, видимо, вспомнила что-то, вернулась, схватила фотографию Марка, которая была приколота булавкой к стене, над изголовьем кровати, и спрятала у себя на груди. Затем перешагнула через перила балкона и стала спускаться. Хватаясь за узловатый стебель глицинии, она то тяжело скользила вниз, то задерживалась, поминутно рискуя распороть себе живот или выколоть глаза острыми ветвями, которые больно стегали ее по лицу. Внезапно она почувствовала режущую боль в предплечье и разжала пальцы. К счастью, она успела проделать две трети спуска, и снеговая подушка смягчила ее падение. Она скатилась к подножию холмика. Луна спряталась за помещичьим домом, стало совсем темно. Платье Аннеты было изодрано, руки и ноги исцарапаны, и все же она была пела и невредима. Она перевела дыхание и пустилась бежать полем, торопясь воспользоваться последним светом заходившей луны, чтобы не заблудиться. Но луна не замедлила исчезнуть. Наступила полная темнота. Аннете так легче было спастись от погони, но, с другой стороны, это мешало ей, так как она сбивалась с дороги. Она хотела идти в Бухарест, где французский консул помог бы ей выехать на родину. Но она плохо знала местность; к тому же глубокий мрак не позволял ей ориентироваться. Она шла, шла, приглядываясь к земле, как собака, ищущая след, но свет, который излучала земля, то направлял Аннету на верный путь, то сбивал. Она проваливалась в сугробы, шлепала по болотам, увязала в грязи и снова из нее выбиралась, замерзала и тряслась, как в лихорадке. Так она шла всю ночь и, обманутая несмолкавшим хором лягушек, не заметила, что все время кружит вокруг одного и того же большого пруда. При первых лучах утренней зари она обнаружила, что находится на шоссе, посреди болот; сквозь камыш, совсем близко, была видна проклятая усадьба, из которой Аннета бежала. Изнемогая от усталости, она снова тронулась в путь. Она увидела крестьянского мальчика, который срезал камыш. Мальчик повернул к ней свою мордочку, черную от присохшей тины, оглядел ее и, вместо того чтобы ответить на вопросы, пустился со всех ног наутек, бросив свою охапку камыша. Аннета решила, что за ней погоня и мальчик побежал донести на нее.

Она стала искать проселочные дороги, по которым можно было бы уйти, но их не было: бесконечное прямое шоссе лежало, как дамба, между двумя болотами – и ни единого поворота, за которым можно было бы спрятаться!

Напрасно ускоряла она шаг. Пыхтение автомобиля, показавшегося вдали, предупредило ее, что погоня приближается. Догонявший тоже увидел ее. Еще три минуты, и он будет здесь. Не колеблясь ни секунды, Аннета бросилась прямо в болото. Ледяная корка подломилась. Аннета попала в холодную цепкую тину и ухватилась за ивовые корни. С

шоссе долетел до нее охрипший голос Фердинанда. Фердинанд был встревожен и раздражен, он заклинал ее вернуться. Но она вскарабкалась на покрытый грязью пень и крикнула ему:

«Нет!» – затем снова упрямо бросилась в заросли и скрылась. С шоссе было видно, как колышутся камыши и болотные травы там, где проходит загнанная волчица. От этого дикого упрямства волна бешенства ударила в лицо охотнику. Весь багровый, он орал, что если она не вернется немедленно, он будет стрелять. Она крикнула: «Стреляй!» Она тоже вышла из себя. Она была пьяна от ярости. Она по самую грудь стояла в грязи, по ней скользили зловонные водоросли, похожие на липких черных пиявок. В мутном небе мяукал ястреб. Она подумала:

«Не дамся! Уж лучше кормить болотных крыс и пауков!»

Фердинанд пришел в ужас. Он переменял тон. Он умолял. Он клялся своей честью (плевать ей было на его честь!), что уважает ее, что весь отдает себя к ее услугам, что заранее принимает все ее условия. Она ничему не верила, теперь ее нельзя было провести!.. Она упрямо сжимала губы, – чтобы не отвечать и чтобы не наглотаться зловонной жижи, в которой она барахталась. Она бы ни за что не сдалась, если бы болото не обступило ее со всех сторон и не парализовало ее движений; пытаясь высвободиться, она еще больше запутывалась в водорослях, они душили ее. Ботилеску решил ей помочь. Он сам рисковал увязнуть, но в конце концов добрался до нее. Ему удалось схватить ее под мышки, он с трудом вытащил из изгибов и вывел на берег. Она была вся черная от грязи – с головы до пят, но все такая же бесстрашная. Она бросала Ботилеску вызов. Однако Ботилеску не хотел его принять. Он восхищался ею. Он уже говорил почтительно и жалел, что вынудил ее к бегству. Он умолял Аннету простить его и вернуться в имение. Он говорил и униженно и высокопарно, но все же искренне, и это вызвало улыбку на лице Аннеты, казавшемся особенно суровым от переполнявшей ее ненависти и от приставшей к нему грязи. Она сказала:

– Ладно, забудем! Нам это нужно обоим... Но вернуться – нет! Об этом и речи быть не может... Я уезжаю.

Ботилеску изобразил изумление, но только из приличия, – не так уж он был изумлен. Он предвидел это решение и даже захватил с собой чемодан Аннеты и все оставленные ею вещи. Он предложил довести ее до ближайшей станции, на которой останавливался международный экспресс, и просил с жалким видом напроказившего старого школьника, чтобы она великодушно избавила его от неприятностей и написала в имение письмо, в котором объясняла бы свой внезапный отъезд известиями о сыне, срочно потребовавшими ее возвращения в Париж. Она согласилась и села в автомобиль.

Они остановились в ближайшей деревушке и зашли в наименее грязную хижину, чтобы Аннета могла умыться и переодеться. Вскипятили котел воды, и Аннета вымылась с головы до ног и переменяла белье. Фердинанд, прогнав детвору и хозяев дома, целомудренно и свирепо караулил дверь, повернувшись к ней спиной. Аннета стояла голая, кожа у нее покраснела от обтираний, зубы стучали от холода, и внезапно на нее напал дикий хохот: она вспомнила рассказ Сен-Симона о герцоге, который со шпагой в руке расхаживал взад и вперед перед церковью, где в это время облегчалась дама его сердца. Грипп и пробравший ее до костей, холод болота выворачивали ей все внутренности, и она, как истинная бургундка, не колебалась сделать во дворике, под охраной своего доблестного рыцаря, то же самое.

Да будет стыдно тому, для кого это дурно пахнет! У Клеопатры – и то бывает расстройство желудка...

Они снова сели в автомобиль. До ближайшей станции было далеко, а оттепель испортила дорогу; когда же они наконец добрались, то оказалось, что произошла серьезная катастрофа и движение восточноевропейского экспресса приостановлено на несколько дней: у выхода из Карпат полотно размывлено наводнением. Ботилеску предложил Аннете отвезти ее в Бухарест, где она могла бы переждать в гостинице, пока будет восстановлено движение. Но она решительно отказалась – ей хотелось как можно скорее уехать.

Было бы, конечно, благоразумней полечиться от простуды, сидя в комнате, но

лихорадка, которая бродила у нее по всему телу, и возбуждение, вызванное бегством и погоней, гнали ее прочь из этой страны. Она была раздражена и нетерпелива, ее преследовал страх, что она может здесь умереть.

Когда Аннета билась в болоте, она о страхе не думала. А теперь ей было страшно; тина подступала к самому горлу (гнилостный запах преследовал ее по ночам, она ощущала его на пальцах); она дрожала от ужаса, что захлебнется болотной жижей, она задыхалась. По ее желанию Фердинанд отвез ее в Констанцу, и там она села на первый пароход. Это было итальянское судно, оно шло в Бриндизи по довольно длинному маршруту. Но Аннета и слушать не хотела увещаний Ботилеску. Она заперлась в каюте, и там ее свалила смертельная усталость. Она была одна со своей лихорадкой и ничего не видела в течение всего переезда. Она думала только об одном: живой или мертвой, но вернуться.

Аннета вернулась в Париж. Она приехала раньше, чем Марк получил ее телеграмму, завалявшуюся у привратницы. Марк за это время несколько раз снимался с лагеря, и Аннета не успела получить его последний адрес. Найти его оказалось не так легко. Сильвия не знала, где он живет. Аннета была недовольна равнодушием сестры и не скрывала от нее этого. Сильвия поняла, в чем дело, и ответила, что она не нянька. У нее свои заботы! Аннета тотчас ушла. Она заметила, как сильно изменилась сестра: вся расплылась, лицо опухшее, багровое, под глазами мешки. И Аннета упрекнула себя за то, что в сердцах даже не справилась о ее здоровье. Сильвия тоже чувствовала себя виноватой.

На след направил Аннету Сент-Люс. Но, как хороший товарищ, он не сказал ей, что Марк служит рассыльным в ночном кабаке. Он знал, насколько его приятель самолюбив, и предупредил его о приезде матери. Аннета прождала сына всю ночь в его комнате, в гостинице, не ложась спать. Марк пришел на рассвете и постучал. Ему так же не терпелось увидеть мать, как ей не терпелось увидеть сына. Но когда они увиделись, никаких излияний не было. Оба сразу почувствовали холодок. Они нашли друг друга не такими, как при расставании. У каждого были потрясения, и каждый перенес их по-своему. К тому же оба были взвинчены бессонной ночью. Аннета плохо скрывала несколько раздраженное нетерпение, с каким она ждала сына, и те подозрения, которые ей внушала его ночная жизнь. А Марк почувствовал это и тоже рассердился. Ведь она приехала неожиданно, как раз в такой момент, когда ему приходилось особенно туго, и он был не уверен, что Сент-Люс не рассказал, какая у него унизительная должность. Он спросил скорее сухо, чем нежно, почему она не легла спать. Она, быть может, мягче, чем хотела, ответила вопросом на вопрос:

– А ты, мой мальчик? Он смело мог бы рассказать матери, что тоже не веселился, но он был слишком горд, чтобы объясняться. Она словно спрашивала у него отчета. А он и мысли не допускал, что перед кем-то обязан отчитываться. Он не удостоил ее ответом. Аннета присматривалась к нему, к поблекшему цвету его лица, к изможденным чертам, к ранним морщинам, залегшим вокруг ноздрей и говорившим о преждевременной изношенности, об отвращении к жизни. Ее сердце сжималось, она подозревала, что он ведет беспутную жизнь, и подумала о том, какой отпечаток это налагает... Марк предоставил ей думать что угодно. Он осмотрел ее и тоже остался недоволен. Она выглядела слишком здоровой, слишком упитанной, у нее был цветущий вид, в ее глазах, во всех ее движениях сверкала, быть может, помимо ее воли, радость жизни. Никто бы не подумал, что она только что еле вырвалась из румынского болота и перенесла тяжелый грипп. Краски на ее лице были обманчивы. У нее все еще повторялись приливы крови. Но одно было бесспорно: несмотря на все свои злоключения, Аннета считала, что жизнь совсем не так плоха.

Нет, право же, с годами она начала приобретать к ней вкус! Треволнения, неожиданности, даже катастрофы и неуверенность в завтрашнем дне – от всего этого жизнь становилась только еще полнее. Это было куда аппетитнее, чем бесцветные годы ее молодости, чем жизнь французского мещанства между 1890 и 1900 годами! Аннета была сильной натурой. Более сильной, чем Марк, – она это видела ясно. Что ж делать?! Не могла же она в самом деле, для того лишь чтобы ему понравиться, начать жаловаться на несварение желудка или на бледную немочь. А он был худ и пропитан горечью, он был зол

на общество, глупые кутежи и бессильные пороки которого ему приходилось не только слишком близко наблюдать, но и обслуживать.

Вернувшись из этих пьяных клоак, он не мог есть без тошноты даже тот кусок хлеба, который он там заработал: от хлеба несло потом гулящих девок.

Ему хотелось подложить динамитную шашку под зад всему миру. И это желание еще усиливалось от общения с товарищами по ярму, с рабочими, с которыми он сблизился за последнее время...

Один из них оказывал на Марка известное влияние в той мере, в какой вообще можно было влиять на такого мрачного юношу, как Марк. Эжен Массой мало чем отличался от него в этом отношении. Они познакомились ночью в метро, потом часто вместе возвращались с работы, часа в два, в три ночи, и шагали пешком через весь Париж. Массой работал в газетной типографии и устроил туда же Марка, когда Марк был уволен из своего ночного заведения за то, что не сумел скрыть своего презрения к посетителям (с одним из них он подрался). Газета, правда, была ультрашовинистская, она пропагандировала империалистические замыслы делового мира и нападала на все идеи Марка и Массона. Но дирекцию не интересовало, какие идеи приходят в голову рабочим за пределами типографии, да и приходят ли вообще. Дирекции было неважно, что они живые люди и имеют право думать. Делай свое дело!

За это тебе платят – и аккуратно. Вот все, чего Марк и Массой могли требовать от дирекции. Восстание далеко еще не назрело. И еще меньше созрела идея отказа от сотрудничества, к которому призывал Ганди. Кого это могло интересовать в Париже? И кто стал бы взывать к героизму самоотречения, к отказу от хлеба, если хлеб должен быть заработан таким трудом, с которым не мирится совесть? Между тем в парижском народе таится гораздо больше нерастрченного героизма, чем об этом подозревают его дряблые руководители и даже он сам! Не находя себе применения, этот героизм переходит в горечь.

Горечь Массона имела то преимущество перед горечью Марка, что ее оправдывал более жестокий жизненный опыт. Молодой рабочий был отравлен газами на войне; смерть была у него в крови. И он весь был полон ненависти к отвратительному эгоизму, к апатии французов, которые прошли через такие страшные испытания и ничего не делали, чтобы предотвратить их повторение. Он был особенно враждебно настроен против касты Марка, против молодых буржуазных интеллигентов (и против старых тоже. Но о тех и говорить не стоило! Смерть сама позаботится об этих старых клыках...). Он со страстным сарказмом говорил об их умственном гедонизме (он был начитан), об их равнодушии к страданиям мира, об этих лжеизбранниках, которые оказались предателями, об этих ни на что не годных паразитах, об этой гнили, которая проедает остатки награбленного добра!.. У Марка были все основания признавать справедливость этих обвинений; он и сам (еще так недавно!) жил крохами; при этом унижительном воспоминании снова вспыхивала в нем злоба на Сильвию. Тем не менее из инстинктивного чувства солидарности – правда, уже отвергаемого его взбунтовавшимся сознанием – Марк начинал перечислять заслуги интеллигенции, отстаивал ее право на существование. Но когда в ответ на злые и ядовитые насмешки Массона он старался вытащить лучших представителей интеллигенции из их уютного нейтралитета, охраняемого укреплениями из книг, когда он пытался заставить их действовать, ему пришлось в конце концов к стыду своему признать, что по отношению к интеллигентскому племени самые суровые слова кажутся слишком мягкими. Почти все эти интеллигенты имели возможность видеть ясней и дальше, чем другие. Многие располагали и временем для этого. И народ с благодарностью последовал бы за любым несвоекорыстным вожаком. Но они больше всего боялись именно того, что за ними последует армия, готовая действовать слишком решительно, и она будет их подталкивать сзади и поставит в затруднительное положение. Они притворялись, что смотрят в другую сторону: «Я ничего не видел...» Они позорно уклонялись из боязни ответственности. Следовало бы выжечь у них на лбу каленым железом... Даже те молодые писатели из числа известных Марку, которые готовы были принять участие в политической деятельности ради того, чтобы блеснуть своим

«гуманизмом», – даже и они по-настоящему не примыкали ни к одной партии.

Они сидели на нескольких стульях сразу, будь то радикализм, социализм, интернационализм или национализм. Время от времени, под прикрытием старого французского классицизма, они перебегали в ряды литературы роялистской, ибо она была хозяйкой в прессе и на выборах в академию. Пройдя определенный стаж двусмысленного подмигивания прохожим на самых разных улицах, они приступали к делу согласно обычаям этой профессии: во всех случаях каждый находил себе подходящее местечко. Париж являл картину всех ступеней интеллектуальной проституции – от газетных домов терпимости, где шарлатаны получали жирные оклады за то, что отравляли своей гнусной ложью неразборчивую широкую публику, вплоть до дорогих кокоток из академии и литературных салонов, искусно разводивших вирусы «добровольного», но не бескорыстного рабства и общего паралича. Короче говоря, их скрытая функция заключалась в том, чтобы отвлекать, уводить от деятельности. А для достижения этой цели все средства были хороши. Даже мысль. Даже деятельность!.. Как это ни казалось парадоксальным, страсть к спорту приводила в конечном счете к бездействию. Опыление физической активностью и движением ради движения отводило самые бурные потоки энергии от их естественного русла, истощало их на стадионе или же выливалось в сточные трубы, прежде чем обрывался их бешеный бег. Этой заразе поддался и народ. Когда Массон издевался над гнусностью буржуазной интеллигенции, Марку нетрудно было отвечать ему насмешками над рабочими, которые тоже тупели от спорта. Спорт довершал разрушительную работу газет. Он создавал армию людей, отравленных и бесполезных. Большие клубы скупали, как скупают лошадей, целые конюшни профессионалов, которых они именовали любителями, и составляли из них футбольные команды. Тысячи трудящихся в расцвете сил бесстыдно продавали свои мускулы. В качестве международных футболистов они пользовались всеми благами роскошной жизни, первоклассными отелями, спальными вагонами, вплоть до той минуты, когда они преждевременно утрачивали гибкость мускулов. Тогда их рыночная стоимость падала до нуля и их выбрасывали на свалку, как это делали в древнем Риме с гладиатором, который превращался в падаль. Но гладиаторы по крайней мере были уже мертвы. А люди, загубившие жизнь на современных аренах, переживали сами себя. Толпа, ходившая на зрелища, интересовалась ими не больше, чем римская чернь интересовалась гладиаторами. Она требовала все новых и новых атлетов. И на этих зрелищах она растрачивала всю страсть, всю ярость, которые при надлежащем руководстве могли бы опрокинуть мир социального угнетения. Она вносила в международные матчи губительный шовинизм: игры превращались в бои. Бывали убитые. Нападающие в регби вели себя так, словно они ворвались в неприятельскую траншею. Вот, оказывается, во имя чего прошли под Триумфальной аркой те, кто не погиб на фронте! Вот чем кончились их клятвы взять в свои руки управление государством и перестроить общество! Они даже не получили *panem et circenses*.¹⁰² Хлеб им приходилось зарабатывать. А за *circenses* они должны были платить. Со времен Менения Агриппы эксплуатация ротозейства и глупости человеческой продвинулась далеко вперед. Нет, у Массона было так же мало оснований гордиться рабочим людом, как у Марка своими буржуа. Когда Массон начинал поучать своих товарищей по типографии, они отвечали ему солеными словцами, не давая себе труда вступать с ним в спор.

Старый фронтовой товарищ, единственный, кто еще достаивал его ответом, только пожимал плечами:

– Чего ты хочешь? Чтобы мы еще раз подставили головы? Опять за чужие права? Будет! С меня довольно! Теперь я уж не такой болван, заботиться о других не стану! Я забочусь о себе. Каждый за себя!

Им обоим, и Марку и Массону, с горечью клеймившим эгоизм своих классов, не

¹⁰² Хлеба и зрелищ (лат.).

хватало, однако, решимости самим отказаться от врожденной склонности к игре в свободу, которая представляла собой лишь особую форму эгоизма и сводила на нет все их бунтарство. Французу, даже когда он отрешился от наиболее распространенных предрассудков, нужно очень большое усилие, чтобы заключить себя в определенные рамки, подчинить себя дисциплине какой-нибудь партии. Слабость французского довоенного социализма была результатом непрочности и внутрипартийных связей, которые объединяли членов партии лишь условно и не могли спаять их в решающие минуты.

Война внушила Массону желание не подчиняться больше никогда, нигде, никому, никакому хозяину, никакой партийной дисциплине, принадлежать одному себе, только себе... А в таком случае как же рассчитывать на других?

Допустить, что другие, даже в его собственном классе, такие же угнетенные, как он, будут действовать солидарно, оставаясь каждый сам по себе, не отрекаясь от своего «я» во имя добровольного подчинения какому-нибудь приказу, диктатуре какой-нибудь партии, было самой несбыточной из всех мыслимых надежд. Самые бурные коллективные порывы кратковременны, – их обессиливает самая их бурность; если их не сдерживает твердая рука, они ослабевают на много раньше, чем достигнут цели, и тогда происходит еще более глубокое падение: брошенный камень всегда падает ниже того уровня, с которого он вылетел. Но слишком уж давно утратила революционная Франция навыки практического действия. А война внушала ей глубочайшее отвращение ко всяким правилам боя. Все, что свободным умам напоминало военную муштру, рождало в них ненависть и отвергалось. Одни только консерваторы и шовинисты извлекали отсюда полезный урок. Положение было выгодным для Реакции. Свобода выковывала себе удила, но в то же время не допускала, чтобы избранный вожь оседлал ее и повел к победе. Массон не смог удержаться ни в одной профессиональной рабочей организации: те, что существовали с довоенного времени, перестраивались с огромным трудом, а новые только тем и занимались, что ставили одна другой палки в колеса... Марк – он был воплощением принципа «сам по себе». Отсюда проистекала вся его слабость. Но и вся его сила. Казалось, он так и не сможет отрешиться от своей слабости, не отрешившись от своей силы и не утратив смысла собственного существования. Не видно было никакого выхода из тупика, в который обоих товарищей привела резкая критика общественного устройства.

Да и товарищами они были только по бессильному отрицанию. Деятельности, приносящей облегчение, они не знали. И еще неизвестно, пошли ли бы они на необходимые уступки друг другу, чтобы координировать свои действия, если бы даже они были способны действовать? Этому надо научиться. А у кого могли они научиться? Во Франции не было ни одной школы, где учили бы действовать. Были только мастера поговорить. В этой отрасли каждый француз знает достаточно для того, чтобы учить других. Марк и Массон питали отвращение к словам. Но они все-таки говорили. За отсутствием деятельности! Они все говорили и говорили о действии, которого не совершали, которого не могли совершить. После этого они чувствовали себя опустошенными, каждый испытывал отвращение и к себе и к другому... Деятельность! Деятельность! О чреве, ждущее оплодотворения!..

Общество недостаточно ясно отдает себе отчет, что эта неутоленность созревшей воли опасна не меньше, чем неутоленность созревшего пола. Здоровый народ всегда нуждается в цели, к которой он мог бы стремиться. Если ему не предоставить цели благородной, он найдет гнусную. Лучше преступление, чем тошнотворная пустота существования бесплодного и иссушающего! Сколько их, известных нам молодых людей 1914 года, бросилось очертя голову в войну только для того, чтобы спастись от унизительной скуки жизни! Эти после кровавой оргии переживают тяжелое похмелье, а после войны пришли другие, которых тоже терзает бешеная, почти физиологическая жажда деятельности. Не находя самки, они разбивают себе лбы о прутья клетки, как звери в зверинце, которых еще не совсем dokonала пытка неволи. Марк и Массон кружили в своей яме и ворчали. Сотни других были в таком же положении, и каждый ворчал в одиночку в своей яме, каждый в одиночку выл от боли и ярости.

Но тут-то сына Аннеты и поддержала его здоровая кровь. Быть может, даже не кровь его рода. Не будем забираться слишком глубоко в историю рода Ривьеров. Там были перемешаны и добро и зло. Но на протяжении своей жизни каждый обновляет свою кровь. У Марка в крови была гордая воля его матери. Пусть Марк был довольно скверным мальчишкой, как все двадцатилетние самцы в их естественном состоянии, если не очистить их от грязи, не отфильтровать их. Испытывая глубокое смятение мысли, смятение телесное и душевное, живя в такую эпоху, в таких ужасных – с моральной точки зрения – условиях (без веры в людей, без веры во что бы то ни было, без всякой опоры!), он никогда не отступал от своей инстинктивной, от своей нелепой, от своей героической воли преодолеть... «Преодолеть что? Себя! Кого это – себя? Мое „я“? Оно меньше, чем ничто. Уверен ли я, что оно действительно существует, это „я“, которое от меня ускользает, которого я не знаю... Но уверен я или не уверен, я хочу, я хочу, я хочу! Я его преодолеваю. Я не позволю себе погибнуть вместе с ним...» В такие минуты он говорил о себе, как о постороннем. Но этого постороннего он оберегал.

Даже когда этот посторонний выскальзывал у него из рук, шатался, падал, prostituировал себя, Марк сохранял в полной силе, – против него, для него, для того, чтобы его судить, осуждать и вновь подымать, – гордые чувства, которые его едкая ирония в то же время высмеивала как некую окаменелость: честь, нравственную гордость, твердое решение остаться верным... «Верным кому? Глупец! Глупец! Трусливому буржуа, который зачал меня и удрал? Или этому чреву, которое отдалось и потом обрекло меня на эту ужасную жизнь, в которую я вовсе не хотел вступать?.. Глупец! Пускай!.. Хотел вступать или не хотел, но вступил! Она бросила меня в бой.

И я не сдамся!»

«Она (это чрево) не сдалась, – продолжал он рассуждать. – А я что же, сдамся? Окажусь слабее женщины?»

Этот молодой самец считал себя бесконечно выше женщины... Но в глубоких, тщательно скрытых тайниках его души звучало неосознанное «Ave Mater... Fructus ventris...». ¹⁰³ Плод никогда не предаёт свое древо...

Но сейчас предавало древо...

Марк строгим взглядом следил за этой женщиной, за своей матерью, которая вернулась к нему с Востока и теперь странным образом менялась в атмосфере парижского брожения. Она казалась ему подозрительной. Она не так сильно возмущалась, как ему бы хотелось, этим миром, который стал для него личным врагом. Уж не принимала ли она этот мир? Он не умел читать в ее сердце. Но на губах ее, в глазах, во всем ее существе он обнаруживал какую-то беззаботность, деятельную, счастливую, безмятежную, не знающую никаких угрызений. А какие могли быть угрызения? Из-за чего? Уж не из-за этого ли мира, из-за горестей и позора этих людей, из-за того, что она сама во всем этом участвует? Это было бы к лицу ему, новичку, в этой безотрадной игре, в которой высасываешь всю горечь жизни, как будто вся эта горечь для тебя одного и приготовлена! А у нее было время привыкнуть к приятному или к неприятному вкусу: «Во всякой пище есть горечь. Но это не мешает есть! Есть-то надо! И я принимаю жизнь. Иного выбора у меня нет...»

Он тоже принимал жизнь. Но с раздражением, со злобой, с затаенным бешенством, И он не мог примириться с тем, что его мать приспособилась к ней так естественно и даже как будто находит в этом некое постыдное удовольствие. Но какое право он имел запрещать ей? Это право он сам себе тайно присвоил. Оно было выше прав сына. То было право мужчины. Женщина была его собственностью... Если бы он заявил ей об этом, она бы рассмеялась ему в лицо. Он это знал. Он знал, что она была бы права. И это бесило его еще больше.

Итак, претерпев многие испытания, Аннета снова оказалась ни при чем.

За поездку в Румынию она едва не заплатила слишком дорого, и на месте Аннеты

¹⁰³ «Богородице Дево... Плод чрева» (лат.).

всякая другая растеряла бы там добрую половину веры в себя и в жизнь. Но Аннета была женщиной иного склада. Веру она не рисковала потерять, ибо никогда не заботилась о том, чтобы создать себе какую-нибудь веру. Верить? В кого? Во что? В себя? В жизнь? Какой вздор! Что я знаю обо всем этом? И что мне надо об этом знать?.. Строить на том, что еще впереди, значит начинать постройку с верхушки... Это к лицу мужчинам! А с меня хватит и земли. Я всегда найду, куда поставить ноги. Мои крепкие, большие ноги! Они всюду испытывают одинаковое удовольствие от ходьбы...

На ее здоровом организме не оставило никаких следов воспаление легких (последствие гриппа), которое она перенесла в Италии, по дороге домой.

Сильвия, хотя и была моложе ее, уже чувствовала свой возраст и не мирилась с ним, а окружающие чувствовали его еще сильнее, ибо с годами ее характер не улучшался, — он становился все беспокойнее и несноснее. Она проводила ядовитые параллели; она как будто бы попрекала сестру ее молодостью. Аннета говорила со смехом:

— Вот что значит начать слишком рано! Добродетель всегда бывает вознаграждена.

Сильвия ворчала:

— Хороша добродетель! И какой тебе толк от нее сейчас?

— А вот этого ты и не знаешь!..

Нет, от добродетели ей не было никакого толку. И от пороков тоже. Она действительно была до странности равнодушна и к добродетели и к пороку.

Когда ей случалось думать об этом, она испытывала что-то вроде стыда.

Она даже хотела бы пережить это, но, откровенно говоря, это ей не удавалось.

«Что же со мной делается? Я даже не умею быть беспутной?.. Еще того хуже: аморальной?.. Какое падение! Красней! Красней!.. Ну нет, довольно!»

Я и так достаточно румяная... Конечно, не такая, как бедная Сильвия, с ее порывами сирокко, от которых лоб, щеки, шея становятся похожи на поле, усеянное маками... Какое у меня наглое здоровье!»

Действительно, она отнюдь не вызывала жалости. Между тем ее положение было не из блестящих. Она едва-едва сводила концы с концами, и денег у нее было ровно столько, чтобы, в случае нужды, продержаться несколько недель при самой строгой экономии; она ела раз в день, да и то в дешевых ресторанах, где пища не обильна и не изысканна. Но, бог знает почему, ей все шло впрок.

От Аннеты не укрылось, что ее здоровый вид является предметом строгого изучения со стороны сына всякий раз, как они встречаются. Он готов был потребовать у нее объяснений по поводу ее возмутительного спокойствия. Марк называл это безразличием, ибо ничто и никто не могли бы вызвать в ней прилив страсти. Ее выпуклые и чуть близорукие глаза на все смотрели и все видели, но ни на чью сторону не становились. Однако она не теряла ничего из того, что видела; она бережно хранила все в памяти.

Придет день, она подведет итог... Но только не сегодня! Она шла своей дорогой и впитывала в себя все, что видела. И продолжала наслаждаться странным, не прекращавшимся душевным подъемом, — надолго ли его хватит — которого она не искала и не старалась удержать. Самое удивительное было не то, что она наслаждалась им несколько месяцев или несколько лет — с тех пор как кончилась судорожная напряженность военного времени и пришло облегчение, — такова была эпоха, естественное торжество жизни над смертью. Но эпоха изжила это торжество в какие-нибудь два-три года, оно сгорело, как солома, и овин сгорел вместе с соломой, — от него остались четыре стенки, да и те были расшатаны, их сотрясал ветер и мочил дождь.

А вот у Аннеты овин уцелел: он был сделан крепко, из хорошей глины, и она сложила там все свое добро. Там хватало места и для урожая прошлого года и для урожая будущего года. Это-то и было удивительно: у нее подъем продолжался и тогда, когда всех охватила усталость или отвращение, как после опиума. Значит, она была из другого теста?

Да нет же! Она всем была обязана своей неистощимой энергии и поддерживала себя постоянной деятельностью. Никаких наркотиков! Действовать!..

(Но не является ли это тоже своего рода наркотиком?) Успешна была ее деятельность или неуспешна, это уже не столь существенно. И в том и в другом случае Аннета бывала в выигрыше. На каждом шагу, хотя бы и ложном, она схватывала все новые и новые частицы вселенной, бившейся в судорогах смерти – обновления, – частицы травянистого луга, удобряемого гниением мира.

Но почему же миллионы более молодых и более живых, чем она, не испытывали такого наслаждения? Почему этих молодых людей охватывало, напротив, головокружение, ужас, доходящие до галлюцинаций ярость и страх? В зелени луга они видели только зелень трупную. Но разве Аннета ее не видела?.. Видела. Она видела и то, что лежало на поверхности, и то, что было скрыто. Что тут особенного? Это в порядке вещей! Много смерти – много жизни. И одна – дочь другой... Значит, Аннета больше не осуждала войну? Она всегда была готова возобновить борьбу против нее и против презренных людей, для которых ужасы войны были игрой фанатизма, тщеславия и барыша... Но как уживалось все это в Аннете? Не требуйте у нее объяснений! Про то знает ее природа, глубокая, слепая и надежная женская природа, подчиненная тем же великим законам, что и все природы. Но рассудок Аннеты не знает этого, если не считать некоторых проблесков сознания, которые недавно ее озарили, только проблески эти были слишком кратки. И она не поняла их ясного смысла...¹⁰⁴ Да, вместе со всей природой она страстно борется против всего, что убивает. Но, как и вся природа, она пылает страстью ко всему, что живет, она пылает всем, что живет, всеми огнями новой жизни, которые поднимаются над полями смерти. И ее глаза, ее руки, ее движения, все естественное течение ее жизни просто-напросто воплощают ту гармонию жизни и смерти, законов которой она не постигает.

Она любит видеть и любит жить. И в жизни этого нового луга, расцветающего на крови мертвых («А я-то сама разве не умерла? И вот я воскресаю...»), ее интересует все, даже самое худшее. Аппетит у бургундки изрядный. И она непривередлива. Честная и прямая, она, разумеется, чувствует под собой твердую почву. Это свойственно всякому здоровому человеку с хорошей закваской. Но это не дает права требовать от других:

«Будь таким, как я хочу!» – «Эх, друг мой, уж будь таким, каким можешь!

Я сумею приноровиться... Я, конечно, не говорю, что не буду над тобой смеяться... Это одна из радостей жизни... Но пусть это стесняет тебя не больше, чем ты стесняешь меня! Ну-ка, покажись, какой ты в естественном виде, голый или одетый! Будь красив, будь некрасив, – все равно ты меня интересуешь. Не все виды пищи одинаково вкусны. Но все, что меня питает, я принимаю. Я голодна...»

Вот это и выводило Марка из себя... Выводил из себя этот непомерный аппетит, равнодушный (как можно было подумать) ко вкусу пищи... И все же он ничего не мог противопоставить этой спокойной, сильной, чисто животной радости, с какой Аннета поглощала и жизнь и все живое. Так же, как и большинство тех, кто с ней соприкасался. Даже если они бывали достаточно умны, чтобы уловить молнии проницательной иронии в ее ясных глазах, которые их ощупывали, они все-таки обижались. Для всех, не исключая и худших (иные старые дети не сумели бы этого объяснить, но они это чувствовали), в глубине ее глаз теплилось неосознанное материнство.

Она умело выбирала себе детей!

Нет, она их не выбирала. Она брала тех, которых сама судьба отдавала ей в руки... Но это только так говорится! Хотя у нее и были прекрасные, полные, мускулистые руки, я себе, однако, плохо представляю, чтобы она могла удержать этого овернского людоеда, или ассирийского быка, этого газетного пирата Тимона! Как раз наоборот: это он держал ее в руках. Она сама прыгнула в его галеру.

¹⁰⁴ Читатель найдет в следующем томе мелькавшие в сознании Аннеты воспоминания о ее возвращении из Румынии через Италию и о встречах, которые у нее там были. Сейчас не время о них рассказывать: их следы как будто бы стерлись. Образы дремлют. Но они пробудятся. – Р. Р.

Однажды, когда Аннета была без работы, она встретила свою старую подругу по пансиону, с которой не виделась лет двадцать пять. Эта женщина происходила из буржуазной семьи, до войны зажиточной и обеспеченной. Но теперь, подобно многим другим людям своего класса, она оказалась обреченной на довольно скромную жизнь, которая становилась все скромней из месяца в месяц, по мере того как из несгораемого шкафа вытекали последние струйки незначительного капитала. В свое время она холодно отвернулась от бывшей подруги, — когда «неприличная» жизнь Аннеты и ее разорение вызвали двойной скандал в добропорядочном буржуазном кругу. Но, после того как война сделала эту женщину вдовой, разорила ее и оставила у нее на руках мать и троих детей, ей пришлось спуститься с высоты своей комфортабельной добропорядочности и заняться поисками пропитания, — где придется и какого придется. Строгие правила, дипломы и доброе имя помогали ей очень мало. Она уже больше не ставила жизни никаких условий. Ей приходилось соглашаться на те, какие ей ставила жизнь. И она еще бывала счастлива, когда жизнь ставила их. Ведь жизнь не заботится об обломках!

Но бедная женщина хоть и склонила голову, а примириться со своей судьбой не могла. Она держалась с прежней чопорностью. Тугой корсет изнашивался, но все еще стягивал ее. Чопорность стала как бы наследственной чертой: с ней рождаются, с ней умирают. И она — тяжелая обуза для тех несчастных, которые пережили свое благополучие и за хлебом насущным вынуждены охотиться в послевоенных джунглях.

В тот день дама как раз лишилась места. Когда она увидела Аннету, первым ее движением было движение преследуемого животного, которое бросается в ближайшее убежище. Она, конечно, не вспомнила в ту минуту, что некогда осуждала Аннету! Было время, она сидела на бережку, а Аннета барахталась в воде.

Теперь она сама свалилась в воду, и ее уносило течением. И вот она встретила эту женщину-пловца, которая сумела продержаться на воде двадцать лет. Дама в отчаянии ухватилась за нее. Таково по крайней мере было ее первое движение... Но что могла сделать для нее Аннета? Она сразу это почувствовала. Аннета сама искала.

Аннета заметила ее растерянность и заставила разговариваться. О прошлом обе молчали. Чтобы покончить с ним, оказалось довольно нескольких слов.

Все было поглощено настоящим. Человеческий обломок еще сотрясался от недавно полученного удара и был покрыт пеной. Дама не могла ни о чем другом думать... Она рассказала прерывающимся голосом, задыхаясь от возмущения и слез, о последнем только что пережитом испытании. Она было нашла себе место машинистки в редакции большой газеты с крупным тиражом. Газета была крикливая, ее здоровенная глотка оглушала Париж. Всякий другой на месте бедной женщины сообразил бы, что в этой пасти нельзя чувствовать себя спокойно. Но наивная душа ни о чем не догадывалась. Она принадлежала к той эпохе, когда буржуазия еще питала уважение к печатному слову, когда еще не исчез окончательно миф (правда, уже изрядно потрепанный) о прессе либеральной, сотрудничество в которой представлялось священнодействием. Дама свалилась с неба и попала прямо в пещеру Сорока Разбойников, где эфриты жалили языками и кололи копьями. И всей этой шайкой верховодил царь эфритов, самый страшный из всех, минотавр, рев которого приводил в трепет миллион читателей, — Тимон (ему больше подошло бы имя Юбю), всегда готовый вылить свой горшок на кого попало. Редакция, стоявшая между хозяином и внешним миром, неукоснительно получала свою долю. Она уже привыкла к этой святой водичке... И сверху донизу, на каждой ступеньке лестницы, каждый, кого хозяин полил, отряхивался, норовя замочить того, кто стоял ниже. Несчастной женщине, сидевшей на своей табуретке в последнем ряду, доставалось больше всех. Ни одна капля не пропадала. Когда хляби разверзлись впервые, она попробовала возмутиться.

Но ничего не вышло. Жертву раскусили сразу. Она была похожа на птицу, которая, испугавшись, топорщит перья и, чтобы спастись от автомобиля, бросается прямо под колеса. Тогда это обратили в забаву. Автомобили гудели. Они появлялись со всех сторон и перебрасывали пернатый мячик друг другу.

Можно себе представить, насколько затравленная женщина была способна работать головой и руками. В суматохе она не успевала уследить за рублеными фразами, которые ей диктовали; она терялась и отставала, она больше не понимала смысла слов, она забывала даже орфографию, а это было вопросом чести *rudendum*¹⁰⁵ для буржуазной психологии! Результат нетрудно угадать. Никто не щадил ни ее возраста, ни ее переживаний. Она приходила домой больная от замечаний, которые на нее сыпались, и плакала, добравшись до постели. Грубости, которые носились над ее головой в течение целого дня, продолжали оглушать ее и по ночам. Она задыхалась от оскорблений, она обезумела, о, на чувствовала себя уничтоженной. Последний удар был нанесен сегодня. Это было гнусное шутовство. Король Юбю решил потешить редакцию за счет одного злосчастного посетителя, старого незадачливого кюре, который пришел к нему за пожертвованием... Сцена была совершенно в духе Карагеца, и мы не станем описывать ее здесь. Священник пустился наутек, точно за ним гнался сам дьявол. Птица тоже упорхнула, как только представилась возможность. Она решила больше туда не возвращаться.

Аннета слушала, просунув руку под взъерошенное крылышко, и, молча поглаживая его, старалась успокоить птицу. Когда та договорила, Аннета задала ей вопрос:

- Значит, место сейчас свободно? Та поперхнулась:
- А вы бы хотели его занять?
- Почему бы нет? Если только я не вырываю у вас кусок хлеба изо рта.
- Этот хлеб я больше есть не буду.
- А мне приходилось есть всякий! Всем известно, что лучше не присматриваться к рукам булочника.
- Я их видела. И больше не могу есть.
- А я их увижу И буду есть.

Несмотря на все свои мрачные мысли, которые изрезали ей лоб морщинами, несчастная женщина не могла удержаться от смеха; ей невольно передавалось бодрое настроение Аннеты, бросавшей ей вызов.

- У вас хороший аппетит!
 - Ничего не могу с собой поделаться, – сказала Аннета. – Я не бесплотный дух. Прежде всего – есть. Душа от этого ничего не потеряет. Ручаюсь!
- Душу я не продаю.

Она навела справки: жалованье было хорошее, работа вполне по силам; к тому же ей повезло: один из гребцов галеры, сотрудник редакции, назвался ее старинным знакомым (она танцевала с ним в те времена, когда флиртowała в салонах со своим Роже, за которого чуть-чуть не вышла замуж). Она не стала ждать до завтра и сейчас же заняла еще не остывшее место. Она думала:

«Хороша бы я была, если бы стала колебаться!

Мир – это клетка с обезьянами. В ней мы рождаемся, а убежать не можем. Все они одинаковы. Я их знаю, в их ужимках нет ничего нового, и меня они не пугают. А что касается главного орангутанга... Посмотрим! Любопытно встретиться с ним...»

Да, любопытство... Если бы Аннета была Евой, она бы не стала колебаться и сама сорвала яблоко. Она бы не стала исподтишка подбивать на это Адама. «Я, конечно, рискую. И рискую для того, чтобы лучше знать жизнь. Старая мораль предписывала избегать риска. А новая научила нас другому: кто ничем не рискует, ничего не получает, тот ничто. Если меня нет, то я буду».

Порок ли это – быть любопытной? Возможно. Но у Аннеты любопытство было пороком смелым, мужественным: оно сопровождалось вызовом, который Аннета бросала тому неведомому, на поиски которого отправлялась. Душа ее была в известной мере душой странствующего рыцаря. За неимением великанов она вступала в бой с обезьянами. И

¹⁰⁵ Постыдным (лат.).

потому у нее было оправдание перед собой (у тощего Дон Кихота этого оправдания не было). Оно заключалось в ее прекрасных зубах: нужно есть! «Обезьяны, кормите меня!»

Прежде чем впервые переступить порог редакции, она придала уверенный вид себе и своей походке. Она прекрасно понимала, что ее положение в газете зависит от того, как она себя поставит, и притом – с первой минуты.

Она отвечала на вопросы холодно, точно, с легкой улыбкой. Ни одного лишнего слова! Но в двадцати словах она перечислила свои рекомендации и свои познания (только те, которые были ей сейчас необходимы для занятия должности; об остальных лучше молчать: за них невежда вас не поблагодарит). Здесь, не обращая внимания ни на взгляды и замечания по ее адресу, ни на насмешливый тон, которым ее хотели смутить, она села за работу и быстро с ней справилась.

Они не были дураками! В Париже взгляд у людей зоркий. Парижанин рано научился шупать женские груди и то, что под ними, – женское сердце. У Аннеты были крепкие груди и такое же крепкое сердце... «Смирно!..» Не сговариваясь, молча ее приняли. Сотрудники не отказали себе в дополнительном удовольствии высыпать целый короб гнуснейших ругательств: надо было испытать ее уши, но добрые бургундские уши, мимо которых не прошло ничто, не стали от этого ни красней, ни бледней: «Валяйте, милые мои обезьяны!.. Вы не слишком изобретательны? Больше вы – мне ничего не покажете? В таком случае не морочьте мне голову!»

Аннета, смеясь про себя, и бровью не повела, а ее пальцы, хотя и без особого усердия, продолжали плясать по клавишам машинки. Она не считала нужным подчеркивать свое рвение и принимать для этого такой вид, точно ее свела судорога. Старый помощник редактора, который, как щука, искоса следил за ней, просмотрел ее работу и тоже не нашел нужным вдаваться в подробности. Он только сказал: «Ладно». Все подумали то же самое. Дело было решено.

Оставался еще сам хозяин. Несколько дней он отсутствовал. Это была одна из его таинственных поездок, во время которых он обделывал дела и обрабатывал целые народы (а иногда и женщин; когда какая-нибудь женщина завладевала им, он не знал покоя, пока не овладевал ею: он выходил на охоту; ничего нельзя было с ним поделывать, пока он не насытится!). На сей раз он отсутствовал около двух недель. Аннета уже твердо сидела в седле.

Она даже успела забыть о существовании хозяина. Наконец он вернулся, но она узнала об этом лишь после того, как он вышел из зала, где она работала. Он тяжелым шагом прошел через весь зал, не проронив ни слова, насупившись и злобно глядя по сторонам. Сотрудники вставали, когда он проходил мимо. Аннета делала свое дело, – она читала и постукивала по клавишам машинки, не отвлекаясь и не глядя ни вправо, ни влево. Внимательно следя за каждым словом, она мысленно перебирала воспоминания о прошлом.

Это ее забавляло, и она улыбалась. Она не ускользнула от глаз хозяина.

Его тяжелый взгляд прошелся по ней. Она не смутилась, но в этом не было ее заслуги, потому что она ничего не видела. И только когда он выходил, она с некоторым запозданием заметила, что в зале стоит тишина. Она подняла глаза и спросила:

– Что случилось? Все рассмеялись.

– Он прошел.

– Кто – он? Аннета была так далека от мысли о хозяине! Она даже подскочила, когда узнала. Ей шепнули, что он осмотрел ее с ног до головы.

Старый помощник редактора зашикал. Хозяин оставил дверь своего кабинета открытой. И, кажется, он сегодня не в духе. Должно быть, влип в историю и получил трепку. Как бы не вышло беды! Стало тихо. Слышно было только, как стучат машинистки. А снаружи доносился уличный шум. Потом раздались бешеные звонки, и хозяин заколотил кулаками по столу. Аннета впервые услышала рев орангутанга. Старый помощник побежал в кабинет. Едва он вошел, там поднялся грохот. На старика обрушилась буря. А в зале все опустили носы и тоже почувствовали себя неважно. Хозяин сразу, с первого взгляда, заметил

все промахи, допущенные в его отсутствие. Вскоре старый помощник вылетел из кабинета еще быстрее, чем входил, точно косточка, пущенная из зажатых пальцев. А позади него, загоразивая двери, выросла огромная фигура Тимона. Держа в руках листы рукописей, он стоял на возвышении, куда вели три ступеньки, и орал:

– Идиоты! Натё! Вот вам ваша подтирка! Он швырнул листы, и они разлетелись.

Все втянули головы в плечи. Одна Аннета смотрела спокойно. Глаза Тимона метали в нее молнии. А она смотрела на него, продолжая стучать на машинке: быстрый взгляд на работу, потом опять лицом к грозе. Он чуть было не крикнул:

«Опусти ставни!»

Но Аннета не опускала. Он слышал равномерное постукивание клавиш. Вне себя от ярости, он спустился на две ступеньки. Затем раздумал, повернулся спиной и ушел в свою берлогу.

Через некоторое время опять трезвон. Какой-то сотрудник, трясаясь от страха, пошел в кабинет и вернулся с кучей листков, испещренных каракулями: статья «самого», перепечатать!

Перепечатывать вязкую прозу Тимона пришлось Аннете. Едва взглянув, она содрогнулась и, наклонясь к помощнику редактора, спросила:

– Послушайте, начальник, надо бы почистить, а? Тот подскочил:

– Что почистить?

– Гадости! Тут их вон сколько! Он всплеснул руками, придушенным голосом сказал:

– Несчастная! Упаси тебя бог! И прибавил с горькой усмешкой:

– Вся ценность его статей именно в этом! И затем уже вполне серьезно:

– Так что, пожалуйста, без глупостей! Ты бы нам всем подложила свинью! Перепечатай все как есть.

– С орфографическими ошибками?

– А тебе-то что?.. Ладно, так и быть, исправь самые грубые. Но осторожно! Чтобы ему не бросилось в глаза! Он тебе никогда не простит...

– Но он тут барахтается в куче слов, которых явно не понимает! Пирей у него фамилия, а не название города...

– Плевать! Это его дело. А у меня одна забота – чтобы мне не морочили голову. И ты тоже не приставай ко мне!.. Не суйся, когда тебя не спрашивают!.. Ну, ну, красавица, не сердись! Но помни: перепечатывать точно.

Понятно?

Аннета была упряма. Она все понимала по-своему. Она печатала с отвращением. Слова были жирные, они прилипали к пальцам. Ей хотелось вытереть руки. От текста дурно пахло. Аннета морщила нос... И все-таки это был запах мужчины! Это было написано крепко. От некоторых ударов кое у кого должны были трещать кости... Сильное животное... Жаль, что никто не смеет не то чтобы обтесать его, – об этом и говорить нечего, – но хотя бы оградить от волчьих ям, в которые он сам сдуру падает, – из-за чудовищных ошибок в языке, в истории, в естественных науках и т. д. Какого черта он сует во все это нос? «Но почему бы мне не посметь?.. Я не намерена сидеть здесь и стучать зубами от страха, как все эти трусы... Я посмею... И я смею...»

Она посмела. Она храбро выправила не непристойности (это был его герб, трогать это было нельзя), но ошибки. Обезьяне разрешается быть обезьяной, но не ослом. «Я тебе подрезаю уши. Остальное – твое!»

Помощник редактора ничего не заметил. У него не хватило терпения сверять с рукописью Тимона. Но от самого Тимона ничто не ускользнуло. Долго ждать не пришлось. Едва перепечатанные листки были ему доставлены, снова раздался бешеный звонок. Помощник опять рысью пустился к циклопу, выгибая спину, как кошка. Он мгновенно выскочил обратно, бледный от страха и ярости, и на своих коротеньких и кривых ножках таксы бросился к Аннете, крича на ходу:

– Негодяйка! Ведь я тебя предупреждал! А теперь пожалуйста, моя дорогая!.. Он желает

на тебя посмотреть... Вот чертова кукла!.. Ну погоди, сейчас тебе достанется...

Он задыхался от злости... Аннета встала, оправив на себе платье и, стараясь сохранять спокойный вид, пошла в берлогу (сердце ее, однако, билось, как птица в клетке!). Волнения ее никто не заметил. Это было самое главное. Она подымалась по ступенькам не спеша. Только на секунду задержалась перед дверью – и вошла.

Тимон сидел за столом, подавшись всем корпусом вперед и держа два могучих кулака на рукописи. У него были глаза похожие на Антонелло или Дуче. Аннета подошла. И остановилась в трех шагах от стола.

– Так это ты? – насмешливо обратился он к ней. – Кто тебе позволил стирать мое белье?

– Оно не стало чище, уверяю вас! Я только зачiniла прорехи.

Грозные кулаки ударили по столу с такой силой, что струйка чернил выплеснулась из чернильницы и попала на платье Аннете. И, опираясь на кулаки, Тимон поднялся, точно собираясь броситься на нее.

– Ты что, издеваешься надо мной? Аннета холодно ответила:

– Простите! Дайте мне, пожалуйста, промокательную бумагу.

Он машинально протянул ей промокательную бумагу. Они стояли так близко друг от друга, что она почувствовала у себя на щеке его яростное дыхание. Она избегала смотреть на него. Пытаясь вывести чернильное пятно у себя на платье, она ледяным тоном сказала:

– Послушайте, надо же владеть собой! Он задыхался. Еще несколько секунд продолжал он раскачиваться, опираясь на кулаки, потом тяжело опустился в кресло. Аннета заканчивала чистку. Он следил за ней. Наконец она положила пресс-бювар на стол.

– В вашем белье были дыры, – сказала она.

Я подумала, что лучше заштопать их. Может быть, я поступила опрометчиво. Это чисто женская мания: когда женщина видит рваное белье, ей хочется его починить. Если я сделала не так, – что ж, очень жаль, тогда увольте меня. Но какой вам смысл показывать прислуге (она кивнула в сторону редакции), что белье у вас грязное и все в дырах?

При последних словах она взглянула ему прямо в лицо. Он уже раскрыл рот, чтобы разразиться бранью, но вдруг на нахмуренном лбу разгладились морщины, свирепый рот усмехнулся и, почти развеселившись, Тимон сказал:

– А ну-ка, прачка, садись!

– Говорят вам, я и не думала стирать! Я возвращаю вам тючок таким же... чистым...

Она села.

– Понимаю! Ты хочешь сказать, что испачкала себе руки, возясь с ним.

– Не беспокойтесь, моим рукам не раз приходилось копаться в грязном белье! Нет, я не из брезгливых.

– В таком случае сделай милость, объясни, почему ты позволила себе внести изменения в мой текст.

– Имею я право говорить начистоту?

– Мне кажется, ты уже присвоила себе это право!

– Так вот, вы написали сильную статью. Но если я вижу, что вы рискуете сами испортить весь ее эффект ученическими ошибками, разве я вам не оказываю услугу, незаметно их исправляя?

Тимон покраснел до ушей.

– Классная дама, а? – сказал он обиженным тоном. – Где ты была репетиторшей?

– В последний раз – в румынских болотах.

– Что ты мне рассказываешь? Я их знаю. Немало я там сапог износил.

– А я там чуть не погибла. И с тех пор все никак не могу отмыться.

– Ты, видно, бывала...

– Как и вы. Как все за последние десять лет. Но в отличие от вас я мхом не обросла.

– Ничего, ничего, ты тоже обросла. Вон у тебя каркая грива!

– Без этого не проживешь! В наше время у кого лысая голова или лысая душа, тот

пропал.

– Немало их еще валяется под ногами!
– Вряд ли это вас стесняет.
– Ты хочешь сказать, что я по ним шагаю? Ох, они хуже, чем дунайские топи! В них увязаешь по самое брюхо. Ты не заметила этого в моей статье?
– Заметила! Я видела следы ваших рук...
– Когда копаешься в человечине, некогда прыскать на себя духами.
– А копаетесь вы здорово!
– Первый комплимент, который я от тебя слышу.
– Мне платят не за то, чтобы я делала вам комплименты, а за то, чтобы я вам служила.
– А по-твоему, зашивать мои дырки значит служить мне?
– Разумеется! Конечно, было бы проще пустить вас щеголять по Парижу в дырявом платье. Однако раз я у вас служу, я служу – хорошо ли, плохо ли, но добросовестно. И я не хочу...

– Чтобы я показывал Парижу мой зад? Ах ты, глупышка, да я ведь только это и делаю! И я этим горжусь! Тратить на тебя красноречие – значит попусту изводить слюну, а то бы я разыграл перед тобой Дантона, который орет во всю глотку: «Я им показываю голову медузы!..» Но с тобой это лишнее! Садись, репетиторша, за этот стол и покажи мне мои ученические ошибки.

Она ему все объяснила просто, по-товарищески, не смущаясь, и он кротко слушал ее. Потом сказал:

– Благодарю. Я тебя оставляю. Будешь следить за моим бельем. А пока что получи в возмещение убытков! Я тебе забрызгал платье своими лапами.

Купи себе другое!

– Я ничего не беру из рук в руки, – возразила Аннета. – А что касается платья, то для работы оно еще достаточно хорошо. Так даже будет практичней. При случае сможете повторить!

Она осталась на работе в качестве личной секретарши и машинистки Тимона. Ей поставили стол у него в кабинете, в углу. Дверь бывала почти всегда открыта. Люди постоянно входили и выходили. Тимон ни на минуту не отрывался от своей машины. Он следил за всеми ее оборотами, все ее содрогания доходили до этого Дионисиева уха. Сутолока не мешала ему, однако, принимать по пятьдесят посетителей в день, делать двадцать дел одновременно, вести разговоры по телефону, отдавать распоряжения, диктовать статьи и болтать о чем придется с секретаршей.

Это были странные беседы, внезапные и неожиданные. Тут уж надо было держать ухо востро – подхватывать мяч на лету и сразу отсылать его обратно. Глазу и руке Аннеты можно было довериться: в свое время она была чемпионкой по теннису, и ее несколько отвердевшие суставы быстро обрели прежнюю гибкость. Тимон делал ей по этому поводу комплименты, но довольно грубо, «принимая во внимание возраст» (он знал, сколько ей лет: не такая она была женщина, чтоб это скрывать). Ему самому нужно было это фехтование, эти быстрые удары. И она не сомневалась, что, если она сдаст, он в тот же день выбросит ее, как старую клячу. Жизнь у нее была не слишком спокойная. Тимон держал ее в напряжении с утра до вечера.

Угадывать его мысли, схватывать их на лету, распутывать их, придавать благопристойный вид его выражениям, отстукивая их на машинке, и постоянно быть начеку, постоянно ожидать выпада и быть готовой отразить его...

Рука выпрямляется, как пружина, и здоровый, крепко сжатый кулак наносит ему прямой удар в подбородок. Тимон в таких случаях смеялся: «Попало!..»

Впрочем, попадало и ей. По вечерам она возвращалась домой без сил... А завтра опять то же самое? То же самое и завтра. В сущности, это было ей полезно. Непрерывное умственное напряжение было для нее гимнастикой, которая не позволяла колесикам покрываться ржавчиной и предохраняла мозг от засорения, приходящего с возрастом.

Опасность положения обостряла у нее восприятие и вкус к жизни; ее чувства становились живей и уверенней.

Она не жаловалась на трудности.

Опасный человек, которому она служила, платил ей. Не только деньгами (он платил хорошо!), но и доверием. Очень скоро дошел он до в высшей степени откровенных признаний. Впрочем, у нее он тоже вытянул кое-какие признания, на которые она обычно бывала скупа. И вот что удивительно: она не возражала и даже не обижалась, когда его требования бывали нескромны. Если иметь дело с животным этой породы, ничего не нужно скрывать (кроме, разумеется, того, что в тебе самом составляет животное начало, – кроме того, что для Аннеты как раз и являлось самым существенным). Ну, а все остальное неважно. Стыдливость для Тимона была пустым звуком. Между Аннетой и Тимоном установилась полная откровенность.

Для всякого, кто их слышал, – для всех этих газетных ушей, ловивших обрывки их разговоров, – Аннета была любовницей хозяина. И сотрудники бесились и в то же время восторгались этой пройдохой.

А для Аннеты, так же как и для Тимона, было совершенно бесспорно, что именно об этом никто из них и не помышляет. Об этом и речи не было! «И слава богу!» – думала Аннета. «К черту!..» – думал, вероятно, Тимон. Ни того, ни другого это не прельщало. Тимон гонялся за более молодой дичь-ю. Аннете ухаживания надоели... Нет, нет, их сближала молчаливая уверенность, что животного начала им друг в друге остерегаться нечего.

Сила Аннеты была в том, что Тимон не смотрел на нее как на искательницу приключений, как на одну из тех машинисток, которые постоянно гоняются за хозяином. Тимон был уверен, что в любую минуту, если только он скажет лишнее слово, она способна встать из-за стола, заправить пальцами волосы под шапочку и, вскинув голову, сказать ему: «Прощайте, хозяин!» И навсегда. Ничто ее не удерживало. Именно поэтому он хотел ее удержать. Сотрудница, достоинства которой очевидны и которая, зная себе настоящую цену (иначе он бы ее презирал), сочетает добросовестное отношение к делу с полнейшим безразличием к хозяину (это и есть верх бескорыстия), – такая сотрудница представляла собой большую редкость, и он был не настолько глуп, чтобы потерять ее. Но она, – ее-то что удерживало? Только ли место и жалованье? Сам Тимон тоже. В конце концов он ее все-таки интересовал.

Оми не питали никакого влечения друг к другу, ничто их не связывало, и все же оба чувствовали, что они люди незаурядные. Они смотрели на вещи по-разному, но смотрели не так, как все. Каждый сам создал себе «я», и оно не было взято с чужого плеча: они его выкроили из собственного материала – выкроили ножницами, которые резали грубо, но верно, – своим личным опытом. Как бы ни были у них различны и покрой и материал, Аннета и Тимон чувствовали друг в друге родственные души. Они понимали друг друга с полуслова. Но они употребляли также и целые слова.

Тимону осточертело раболепство всех тех, кто гнул перед ним спину только потому, что боялся его брани, и подставлял зад под его пинок. Наконец-то он увидел настоящего человека (и это была женщина; по-немецки оба представителя великой породы определяются одним словом), наконец-то человек смотрит вам прямо в глаза, говорит вам: «Нет!», спокойно заставляет вас выслушать его критику, его обоснованное порицание, и притом ясно, что он прав... (В этом не принято сознаваться, и этим можно воспользоваться!) Это приятно. Это твердая почва. В ней не вязнешь. На нее не страшно поставить ноги. Или прислониться головой. Большой головой, которой иногда так хочется прислониться! Но этого не показывают. Довольно и того, что можно посмотреть на эту грудь и подумать: «Она вскормила человека. У нее есть еще молоко для голодного. И на ней можно отдохнуть уставшему». С самым небрежным видом, и подчас с циничной усмешкой он рассказывал ей о своих похождениях. Он без стеснения выставлял Тимона в голем виде и показывал его «красивую душу», которая на самом деле была довольно-таки противна. Но, как все души, это была душа рожденного, и, как все души, она будет когда-нибудь душой умирающего.

Настоящая женщина всегда сумеет понять. И посочувствовать. Но гордецу она никогда этого не скажет... Мужчина не знает, что ему делать с состраданием, это известно! В сострадании есть всегда нечто обидное. Но бывают такие обиды (иногда даже оскорбления), за которые в глубине души не сердишься. Наде только причинять обиду умело и вовремя, в такой момент, когда, несмотря на все протесты воли, тело ждет ее. Тимон легко мирился с некоторыми еще уловимыми складочками, которые появлялись у Аннеты в уголках рта, когда она его слушала. В этих складочках была одна десятая жалости, столько же презрения и восемь десятых умного любопытства, свободного от предрассудков. В целом из смеси получалась симпатия. Независимая симпатия. И в этом заключалась ее ценность... Девиз Тимона был:

«Бей и получай удары! Но никогда не уступай! Другу ли, недругу никому не сдавайся!..» Аннета никогда бы не сдалась. Он был в этом уверен, он пробовал... (Это не помешало бы ему попробовать еще раз...).

Между ними установилось соглашение, наполовину молчаливое, наполовину высказанное вслух. Тимон взял Аннету в качестве своего личного секретаря. Он диктовал ей начерно письма и статьи. Она их обрабатывала. Его стилю она имела право чистить ногти, но не обрезать их. Она имела право исправлять некоторые ошибки, но не все, – нельзя было трогать те, которые он делал намеренно. Ведь в борьбе не думают об истине! Думают только о том, чтобы свалить противника. И он не давал себе труда все объяснять секретарше: пусть сама угадывает его намерения, да побыстрей! У Тимона чернила не просыхали. Из печки – прямо на стол! Обжигай себе пальцы! И берегись, если выронишь! У Аннеты руки не дрожали... Хозяин без утайки посвящал ее во все свои хитрости, в скрытый смысл этих статей, объяснял ей свои взгляды на газету и на жизнь. Он знал, что она его не одобряет.

Но она принимала его, как принимают зрелище. И он сам оплачивал ее место. Она не имела права освистывать его. Так он ей и сказал:

– Ты бы не прочь! Я вижу, как ты вытягиваешь губы... Ну, ладно! Валяй! Свистни разок! Я позволяю.

Она свистнула. Он оборвал ее сразу:

– Заткнись! А теперь отстучи то, что я сказал. В точности!

И она отстукивала. Это кулак Тимона стучал по черепу мира. Тимону надо было отыграться.

В этом у него была настоящая потребность. Этого требовали унижительные воспоминания его детства, прожитого в нищете и позоре. Мать Тимона была служанкой в харчевне, в Перигоре; отец – случайный проезжий; в темноте она даже не видела его лица. Выбываясь из сил, как загнанное животное, эта труженица долго и упорно скрывала свою беременность, покуда во время уборки не родила прямо на полу. Ее нашли вместе с ребенком в луже крови. Спровождать нежеланного пришельца обратно было уже невозможно. Неистовым криком он заявлял о своем неукротимом желании жить. Но как только мать оказалась в состоянии держаться на ногах, их прогнали обоих: и мать и сына.

Она никому не рассказывала, как жила после этого, да ее жизнь никого и не интересовала. Она ни от чего не отказывалась: пусть будет самое тяжелое, самое унижительное, – все равно, лишь бы прокормиться. Она цеплялась за жизнь с необъяснимой силой, точно животное, которому и в голову не приходит расстаться с жизнью, хотя она и доставляет ему одни мучения.

И еще была у нее привязанность самки к своему детенышу, который так мал и беспомощен. Потом – на все четыре стороны! Пусть о нем заботится природа! К тому времени, когда маленький Гельдри в первый год пошел наниматься на работу, он успел уже достаточно насмотреться в жизни и был нечувствителен к любому унижению. Мать и не подумала скрыть от него свой позор, да и могла ли она скрыть от него что-либо, когда жили они бок о бок? Всю свою душу принесла она в жертву этой животной привязанности к сыну, который был плотью от ее плоти, что, однако, не мешало ей обращаться с ним грубо. Обращаться грубо – значит сильно любить. Натурам деликатным это не по вкусу. Но Тимон ни тогда, ни после к этой породе не принадлежал. Он все понимал. Он понимал, что он

ребенок, что он стоит на самой низкой ступеньке, что он единственный, об кого мать может вытирать ноги. Это было в порядке вещей – мать сама служила ступенькой для других... Но ведь он вырастет! И тогда уж он сам будет вытирать ноги о спины тех, кто всей тяжестью наваливался на них обоих.

И пришлось же ему для этого попотеть! Очень уж воротить нос не приходилось. Он начал познавать человечество с ног. Он служил на побегушках в подозрительной маленькой гостинице и, несмотря на свой невинный вид, отлично знал все тайны девиц и их посетителей. И вот в один прекрасный день или прекрасный час ему подвернулся счастливый случай: к нему в руки попали компрометирующие бумаги, забытые только съехавшим постояльцем. В одну минуту он приблизительно определил их ценность, взвесил все шансы за и против и принял решение. Он догнал этого субъекта на вокзале, и там, с глазу на глаз, без лишних слов (никакого шантажа! Но тот, конечно, понял, что влопался и что лучше идти на мировую...), проезжий получил обратно свои бумаги, а за это обязался немедленно принять маленького сообщника к себе на службу. Мальчишка был недоверчив и потому решил не возвращаться в гостиницу за своей одежкой. Он и его новый хозяин уехали с первым поездом.

Под внешностью этакого кругленького, добродушного Годиссара прятался агент по каким-то довольно странным международным делам: он доставлял одной металлургической фирме заказы на артиллерийские орудия и постоянно сновал между арсеналами и мишенями, иначе говоря – народами, или, вернее, между арсеналами и теми, кто использует народы в своих интересах.

Ему часто приходилось ездить на Балканы и Ближний Восток, – всюду, где человеческий язык сдается желанием лакать кровь соседа. Благодетели, которые снабжают человечество игрушками для игры в смерть, обладают собачьим нюхом, – они умеют находить себе клиентуру, которая мечтает эти игрушки использовать. В случае надобности благодетели поставляют одновременно и поводы для войн. Разумеется, этот грубый, коренастый, но все же мелкий агент не заглядывал так далеко! Его дело было потихоньку, без огласки, передавать требования и предложения получать комиссионные от обеих сторон. Политика его не интересовала. Но зато у молодого перигорского поросенка рыльце было приспособлено находить трюфели. И он очень скоро сообразил, что политика и есть то самое дерево, вокруг которого растут трюфели. Он стал ухаживать за деревом. Благодаря своим разъездам, благодаря прощупыванию, размышлениям и знакомству с хорошо осведомленными авантюристами (рука руку моет) ему удалось уяснить себе строение дерева сперва *grosso modo*,¹⁰⁶ а затем и более подробно. Он научился различать, какие ветви главные, куда уходят корни, и смекнул, что гнилые зубы подчас благоразумнее сохранять, чем вырывать, и что иные язвы являются подлинными трюфелями для человека, понимающего толк в кухне. Довольно быстро сообразил он и другое: что не так уж много нужно таланта, чтобы работать, как его хозяин, на одну фирму. Почему бы не работать на две фирмы? На три? Почему не на все? Разумеется, с тем условием, чтобы надувать все до одной! Кто больше? А если даже и меньше – все равно: бери, хватай, суй в карман! Что на серебряном блюде, что на мельхиоровом – трюфели одинаково хороши. Легко догадаться, что такой любитель трюфелей не сразу овладел опасным искусством сидеть верхом на нескольких лошадях одновременно. Важно то, что он этим искусством овладел. У него был широкий зад, и, усевшись, он его привинчивал к седлу. Хозяин не успел оглянуться – тот одним махом ликвидировал его. Как именно это произошло, история умалчивает. Но факт тот, что в один прекрасный день, где-то на Балканах, старик покинул поле деятельности; никто и не подумал разыскивать его (зачем?).

Но прошло не так много времени, и нашего перигорца учуял зверь той же породы, за спиной которого стояли многие другие: ясноглазый человек с каштановыми волосами

¹⁰⁶ В общих чертах (итал.).

принадлежал к могущественной своре «Интеллидженс», чья таинственная деятельность охраняет на всем земном шаре господство Британской империи (или, пожалуй, самой этой своры, ибо те, кто держит карты в руках, начинают в конце концов думать, что хозяева игры – они).

Оба зверя долго обнюхивали друг друга и, ошетилившись, молча обдумывали, не будет ли выгоднее одному придушить другого. Но, все взвесив, более крупный и более опытный увидел, что будет полезнее, если он приблизит к себе Труфальдино такого калибра. И они прямо, без обиняков, поставили друг другу условия. Условия Труфальдино были далеко не легкими, но другой не стал тратить время на то, чтобы торговаться: свора платит настоящую цену и желает держать в руках то, что купила. А чтобы удержать в своих руках перигорца, надо было его прижать. Покупатель не строил себе на этот счет никаких иллюзий. И не оставлял иллюзий тому, кого купил.

Гельдри знал, что его купили со – всеми потрохами. Не такой он был человек, чтобы мучиться этим, – лишь бы хорошо заплатили, а там видно будет.

Он станет служить хозяину, пока это выгодно, а когда станет невыгодно, он сумеет вырваться из тисков. Опасность не могла его остановить (мы уже не говорим – мы люди серьезные! – о подписи на клочке бумаги!..).

Каждый из них понимал, чего можно ждать от Другого, и благодаря этой ясности между ними установились добрые отношения. А сделка оказалась выгодной для обеих сторон. Если не считать нескольких мелких, второстепенных и даже третьестепенных измен со стороны перигорца: время от времени он позволял себе эту роскошь, чтобы доказать самому себе свою независимость и просто для того, чтобы поупражняться. Тот не говорил ничего, но давал понять, что заметил. Это было вдвойне разумно: он не натягивал поводьев, но из рук не выпускал – держи, мол, ухо остро! Гельдри понимал, что им дорожат. И хорошо делают: он знал себе цену лучше, чем кто-либо другой. При правильном инструктировании и правильном руководстве он проявлял в области интриг мастерство, в котором смелость сочеталась с хитростью. А потом его неутомимые и искусные хозяева разматывали клубок и опутывали народы его длинными нитями. Хозяева скоро заметили его особое умение заговаривать зубы (лучший орган у сына Галлии – это тот, что во рту). И они предоставили ему возможность упражняться, купив для него в Париже большую французскую газету. Она называлась «Франция прежде всего!» Тут было без обмана: они действительно имели в виду содрать шкуру с Франции прежде всего! Тимон (он тогда только что вылупился из яйца) цинично предлагал заглавие: «Наша возьмет!»

И взяла. Много времени для этого не потребовалось. Орган, находившийся у Тимона во рту, сразу поднялся, как у Гаргантюа, выше башен Собора Парижской богородицы. Он затопил своими разглагольствованиями всех ротозеев, всех парижских зевак. Он сам выварился в их соку и отлично знал, каким соком они приправляют свое жаркое. Каждое из его кушаний обжигало глотку. На них нажились. Он воздерживался от лести. Он встречал клиентов бранью. Людям слабым льстит, когда с ними обращаются грубо: они принимают грубость как дань уважения, якобы воздаваемую их мужеству, и ею они зажигают огарок своей погасшей свечи. Все дело в том, чтобы знать меру, границу, по ту сторону которой дубинка уже не чешет спину ослу, а бесит его. Тимон отлично знал эту границу. Никогда, даже в минуты самого пылкого увлечения, он не переставал следить за манометром, или, если угодно, за стрелкой, которая подскакивает на циферблате, когда бьют кулаками по голове ярмарочного чурбана. Он оставался холоден в гневе, в угрозах, в своих необузданных нападках. Едва приступая, он уже знал: «До сих пор! Стой! Кругом!» Этому кабану предстояло опустошить еще немало полей... Объяснимся: если «до сих пор» не приносило вожделенной добычи (это случалось очень редко; преследуемый зверь всегда оставлял кусок своей шкуры в пасти преследователя; он бы даже из шкуры выскочил, если бы мог, лишь бы спастись от погони), охотник знал, что настигнет свою жертву в другой раз. Тимон никогда ничего не забывал.

В особенности он не забывал о настоящей каре – той, что идет за ширмой, вдали от

грохота водосточных труб: о крупных международных боях между фирмами, боях, в которых ему надлежало охранять интересы своей фирмы. Словесный сверхнационализм был обязательной маской интернационализма наживы. Тимону и ему подобным (они пока еще не были пэрами Англии... Терпение! Когда-нибудь они ими будут!) было в высшей степени наплевать на то, под каким флагом совершат они облаву на остальной рынок и поведет это к войне или к миру. Цвета флага не играли никакой роли в делах, и дела обдeldывались под флагами всех цветов... Да, вначале, до мировой войны, которая истребляла идеи в такой же мере, как и людей, Тимон, по примеру своих хозяев, еще взращивал в уголке своего хозяйства национальный цветок – розу с шипами, красную от крови, которая была за нее заплачена. И на этой почве между ним и его хозяевами даже возникали иногда разногласия... Война двух роз... Обе стороны надували одна другую. Но война показала им всем, что они были бы круглыми дураками, если бы ограничивались тем, что можно содрать с одного какого-нибудь народа: ведь они получили возможность наживаться на разорении всех народов. Если они иногда еще проявляли некоторую щепетильность, то авантюристы новой формации позаботились о том, чтобы со щепетильностью было покончено раз и навсегда. Выброшенные силой шторма, они вынырнули со дна морей. Это были люди без роду, без племени, подобные тем, каких изображал Шекспир: для них уже не было ничего святого, они попирали всех и вся. Они, эти выродки – левантинцы, малайцы, – произошли от смешения различных рас, из смеси помоев четырех или пяти континентов. Трудно бывало установить, из какой они страны, из какого чрева они вышли; сами они никогда об этом не думали и благодаря этому только еще искуснее плавали в любой воде. А вот хищникам аристократам, которые желали выбирать добычу для своих челюстей лишь в готовых садках, приходилось туго. Новые шуки хватали все. Или поступай, как они, или тебя проглотят! Тимон без особых усилий зашагал с ними в ногу. Его меньше всего беспокоил вопрос о происхождении; для него слово «отечество» сливалось со словом «отец», а с отцом ему надо было свести счеты. Однако разум говорил, что нельзя не принадлежать к какой-нибудь расе, к ее плоти. Благодаря женщине, которая его произвела на свет, и земле, которая произвела на свет их обоих, Тимон принадлежал к расе, начиненной трюфелями грубой, дикой, прилипчивой галльской насмешки. Поэтому Тимон обычно защищался убийственной иронией. Он рассчитывал, что силою этой иронии он оградит себя и свою шайку от попыток одурачить их, как это часто бывает, увещеваниями, благочестивыми призывами к религии, морали, ссылками на общество, которыми Тартюфы обычно прикрывают своя грабежи. Насмешка делала Тимона беспощадным к лицемерию, а временами... да, она наполняла его состраданием (впрочем, презрение неизменно брало верх) к эксплуатируемым народам, и ни бывал готов, чтобы защитить их, ринуться на эксплуататоров. Но это не шло дальше вспышек, дальше словоизвержений, особенно яростных в такие минуты, когда вино освобождало титанов, придавленных тяжестью вулкана, и кратер начинал дымиться.

Тимону было хорошо известно, что титаны побеждены: он не принадлежал к числу тех простачков, которые восклицают: *Gloria victis*..¹⁰⁷ Его больше устраивало: *Vae victoribus*¹⁰⁸ Ибо ни их знал. Все, что еще оставалось в нем честного, он вкладывал в тайную, но лютую, бездонную, безграничную ненависть к ним – к этим своим сообщникам или соперникам.

Но и побежденные были не лучше. Их он тоже знал, этих эксплуатируемых, людей, среди которых прошло его полное унижений детство; их ноги тоже были не легки для тех, кого они топтали. Пусть же их тоже топчут! Нет, Тимон не подставит свои широкие плечи, чтобы помочь свергнуть общественный порядок, хотя никто не смотрел на этот порядок – на этот беспорядок – более уничтожающим взглядом, чем он. Но этот взгляд он не мог скрыть от тех, кто, подобно ему самому, умел заглянуть в тайники души. И его хозяева, извлекая из

¹⁰⁷ Слава побежденным (лат.).

¹⁰⁸ Горе победителям (лат.).

него пользу, все же присматривали за ним. Он внушал им тревогу.

Но именно это обстоятельство успокоительно действовало на Аннету. (Не подумайте, однако, что от этого она стала менее бдительной, напротив!..) И она находила некоторое, правда, слабое, но все же хоть какое-нибудь основание для снисходительности и надежды. Покуда человек остается внутренне правдивым и свободным, то, даже если он погряз в преступлениях, не все еще для него потеряно. Какая бы, самая низкая, корысть ни руководила его поступками, у себя, в своей пещере, он еще может оставаться бескорыстным. И это тайное, обособленное и в то же время составляющее самую основу человеческого существа бескорыстие подчас сливается с полным отсутствием интереса к чему бы то ни было. Оно и было тем невидимым пробным камнем, которым Тимон и Аннета сразу, с первого взгляда, без всяких объяснений, испытали друг друга и благодаря которому они поняли и приняли друг друга. Они могли без малейшего волнения все видеть, все выслушивать о себе, о других. В глубине души они не присваивали себе никаких преимуществ. Они были не настолько лицемерны, чтобы, подобно всей этой сволочи, подходить с одной меркой к себе, а с другой – ко всем прочим. Они оценивали по достоинству всю картину и самих себя в том числе. Самое важное – глаза. Говорят, что рыба начинает гнить с глаз. У Тимона глаза были здоровые. Здоровые глаза были и у Аннеты.

Хозяин в ней не ошибался. Он ничего не скрывал от этих ушей, раковины которых бесстрастно воспринимали все содрогания моря. Он бросал в них все, что его обременяло, все, что он видел, все, что он знал о человеческой комедии, в которой сам был актером, и о короляхшутах, которые ее ставили. Эти уши были его несгораемым шкафом. Он говорил Аннете:

– Береги кассу!

– Кассир – вы, – отвечала Аннета. – Ключ у вас. Можете проверить. Все налицо.

– И ничего не пропало? Ничего не забыто?

– Ни одного сантима. Счет верен.

Да, она ничего не забывала из того, что он ей поверял. Это было опасно. Но для кого из них опаснее? Положение наперсника, если к нему утрачено доверие, если он под подозрением, становится довольно трудным. Достаточно было взглянуть на эти кулаки, кулаки палача, лежавшие на столе, чтобы понять все. Но Аннета смотрела на них безразличным взглядом, она как будто даже о них и не думала. А Тимону было стыдно, что однажды у него Мелькнула тень подозрения. Нет, ничего не пропадет из кассы. Ключ у него в кармане.

Но несгораемый шкаф был набит до отказа. Благодаря этому Аннета набралась сведений из области политики. Она проникла за кулисы. Она могла бы теперь развить остроту шведского канцлера, которую повторяют попугаи истории: канцлер говорил о том, как мало нужно ума, чтобы управлять миром. Но он имел в виду только те куклы, что находятся на сцене. Аннета же видела, кто дергает ниточки. Конечно, государи, парламенты и министры, все те, кого называют властями предержащими, – не больше чем марионетки с граммофонными пластинками: они существуют для галерки. Вся их мудрость не дала бы десяти лошадиных сил, чтобы привести в движение огромную государственную машину. Но об этом заботятся другие – те, что стоят за занавесом. Машина движется благодаря им и благодаря звонарям.

Главные звонари-Дела и Деньги. Время политики миновало. Теперь царит Экономика. И, конечно, нельзя сказать, что она уж очень умна! Ведь она далеко не всегда выступает в образе человеческого. Чаще всего это octopus'ы,¹⁰⁹ бесформенные и безыменные чудовища, которые шарят тысячами рук и в темноте все хватают своими слепыми щупальцами. И те немногие из них, обычно не склонные показываться на свет божий, которые все же всплывают на поверхность среди круговорота миллиардов, почти все они в наши дни –

¹⁰⁹ Спруты (лат.).

продукты искусственные: у них нет корней и нет семян, нет предков и нет потомков, нет сыновей, нет компаньонов, нет будущего. Они сами и деяния их обречены на исчезновение. Поэтому они только и ждут, когда же придет час их сверхмогущества – сверхмогущества безмерного. Они охвачены каким-то иступлением. Мудрое «завтра» не принимается ими в расчет, не оно обеспечивает им равновесие и длительную устойчивость, и они как бы говорят: «После меня хоть потоп!» Но король, который говорил это, – циник и провидец, – по крайней мере чувствовал приближение потопа и высчитывал с тайным сладострастием: «Когда он наступит, меня уже не будет». А эти некоронованные короли видят только свое «сегодня». И не дальше. Они открыли бы потопу все плотины, если бы рассчитывали, что, раньше чем он их унесет, им удастся пожить обломками, которые он притащит. Разве не вел нефтяной король в течение десяти лет двойную игру, поднимая мир реакции против русской революции и одновременно стараясь вступить с ней в союз против этого мира?

Тимон показывал Аннете, какие новые силы управляют народами. С безграничным презрением говорил он о старых профессиональных политиках и о том, как слепо вертятся они в узком кругу страстей, предрассудков и мертвых идей. Аннета с ним соглашалась. Новые хозяева действовали успешнее старых: они отвергали устарелый национализм, они выбрасывали за борт весь его тяжелый и глупый багаж-тщеславие, злобу, ненависть, гордость, передававшиеся по наследству, из поколения в поколение, на протяжении столетий. Они выворачивали пограничные столбы, они трудились над созданием интернационала афер и наживы.

Но с первого же взгляда становится ясно, что старый, заржавленный ошейник они заменили цепями, гораздо более тяжелыми. Они сделали тюрьму более просторной, но лишь для того, чтобы загнать туда миллионы людей, – не одни эти кучки профессионалов от политики, которые дрались из-за ролей в комедии, но и статистов, фигурантов, публику, весь зрительный зал!

И никому от них не уйти. Подобно тому как в будущих войнах достанется каждому: и гражданскому населению, и женщинам, и старикам, и немощным, и детям, так и в образцовой тюрьме международного капитализма у каждого будет свой номер, там не потерпят ни одного независимого... О, разумеется, без всякого насилия! Просто механизм будет доведен до такой степени совершенства, что каждому придется либо подчиниться, либо умереть с голоду. Свобода печати и мнений сделается чем-то вроде призраков былых времен. И не останется ни одной страны, где можно будет укрыться от притеснений. Сеть мало-помалу опутает весь земной шар.

– Я не попадусь, – сказала Аннета. – Скорей убегу с крысами. Я перегрызу петли.

– А куда ты пойдешь? – спросил Тимон. – Все опутано сетью. Уйти некуда.

– Есть смерть, – возразила Аннета.

– Это тебя устраивает?

– Нет! Она злилась.

Тимон, посмеиваясь над ней, утверждал, что сеть прочна. Прорехи ни одной. Он имел в виду некоторые моральные принципы, еще сковывавшие старый политический национализм. Эксплуатируемым народами и тем, кто еще недостаточно вырос в политическом отношении, новый интернационал, интернационал денег, оставлял старых идеалистических проституток. Этот интернационал делал дела без разбора, и с друзьями и с врагами. Он спекулировал на войне и на гибели того или другого народа – и твоего и моего...

Взять хотя бы акционерное общество по изготовлению торпед. В нем объединились князья войны, магнаты дипломатии, венгры, немцы: Бисмарк, Гойош; знатные англосаксонские бароны металлургии: Амстронг, Уайтхед; председателем правления состоит французский адмирал, а все оно принадлежит левантинцу. Несколько кондотьеров от промышленности, несколько гангстеров из мира финансов; на шее у них болтаются не веревки висельников, как подобало бы, а ленты всех почетных орденов старого Запада. Они ведут игру не без блеска, но они ведут ее без компаса, они смешиваются с английскими и американскими трестами и компаниями держателей, чья тяжелая рука давит на оба

континента. Могущество этих проконсулов, как и хитрость этих авантюристов, не мешает им быть людьми заурядными. Они не столько управляют огромными силами, объединенными или противоборствующими, сколько сами находятся в их власти и во власти действующих механизмов.

Вот почему слепая игра экономических сил становится еще тягостнее. Она подчинена неумолимой смене приливов и отливов и влечет за собой то войну, то мир, то обогащение, то разорение.

Тимон удивлял Аннету беспощадной ясностью, с какой он прощупывал внутренности этих хозяев мира и устанавливал бесплодность их случки с Деньгами. В нем главным образом говорил игрок, которого переполняло презрение к бессмысленности самой игры. Когда притязает на захват командных высот, надо ведь знать, что ты там хочешь делать. А у них ничего не было в голове, кроме желания командовать, то есть, говоря языком этих денежных тузов, наживаться. Будем надеяться, что когда-нибудь им вспорют брюхо! Хотя личные интересы Тимона были связаны с ними и вся его жизнь делала его врагом Пролетарской Революции, в глубине души он не без чувства жестокого удовлетворения смотрел, как в СССР широкие сплоченные, организованные массы объединяются, чтобы броситься на приступ. И он кричал им из глубины лесов: «Так их! Бей их в пузо!» Но это были минутные порывы ярости. Он не мог! Он был против них! Он не хотел их понять, хотя и был на это способен. Мало кто из людей его сорта был так способен оценить их по заслугам, как Тимон. Если бы он по рождению принадлежал к их среде, он мог бы стать у них вожаком. Быть может, такая мысль и забредала ему в голову. Но жизнь рассудила по-иному, неудача произошла при самом рождении. Не будем больше говорить об этом! Он вел другую игру. А уж какова бы ни была игра, надо вести ее до конца.

Но вел ли он ее до конца? В этом был весь вопрос. Со свойственной ей способностью приспособляться Аннета в своих суждениях о Тимоне приняла, как предпосылку, его точку зрения. Она пока не думала противопоставлять его взглядам какую-нибудь иную социальную концепцию: даже если допустить, что Тимон разрешил бы ей это, у нее самой еще не было в ту пору достаточно твердых, достаточно определенных взглядов на мировое хозяйство; ее индивидуализм был наделен широким размахом, но кругозор ее был ограничен, и ей еще не представлялось случая выйти за его пределы.

Она хорошо знала центр круга – самые глубины «я», и довольно плохо – окружность. Тимон расширял ее горизонт. И хотя зрелище раскраивалось перед ней малоутешительное, но ее любопытный, жадный и пылкий ум устремлялся туда, как ласточка. У нее не было старого мира, который надо было бы защищать. Не было старой колокольни с гнездом. У нее ничего не было, – только крылья и вольный воздух (и, конечно, птенец: Марк. Но он был одной с ней породы, он поступил бы так же, как ока). Поэтому в данный момент она только смотрела. А смотреть было на что! Какие столкновения!

Какие игрища зверей! А иные еще жалуются, что времена нынче скучные! Дурачье! Эпоха насыщенная!.. Правда, не очень приятная. То и дело с кого-то сдирают шкуру, и кровь льется, как вода. Но зато как интересно! О своих болячках некогда думать. Разве что о чужих! Захватывающее зрелище!.. Да, это вам не театральное представление!.. Декорации движутся, как в «Шествии священного Грааля». Но движутся не одни только декорации.

Мои глаза в движении, в движении мои ноги, все мое «я», весь мир. Я чувствую, как ветер, поднятый вращением Земли, хлещет мне в лицо. Куда несется Земля? Куда несемся мы? Не знаю... Но какая стремительность! Как хорошо жить, когда стоишь на носу корабля!..

Эта женщина сразу, с первого взгляда, и гораздо лучше, чем мужчины, охватила взором круг, по которому вращалась увлекаемая стихией человеческая масса. И, не пытаясь противостоять стихии, она инстинктивно стремилась слиться с нею. Для этого ей надо было слиться с той энергией, которая находилась тут же, рядом. И, отбросив в сторону всякие суждения о нравственных или безнравственных свойствах этой энергии, она хотела помочь ей превратиться в действие. Эта энергия – Тимон. Так пусть Тимон и будет Тимоном весь

целиком!

Но он им не был... Аннета скоро это заметила. И первая, кого это встревожило, была она. Под Тимоном ходила челядь; она была у него на привязи, но привязанности к нему не питала. А рядом с ним стояли только соперники, и они больше всего опасались, как бы он не развернулся вовсю.

Да и сам он мало об этом думал, если не считать мимолетных вспышек. Этот колосс был отравлен ядом власти. Нельзя безнаказанно быть победителем мира, который до мозга костей изъеден. Если биться с ним сорок лет подряд, поневоле наберешься от него пота, сыпнотифозных вшей. Тимон был искателем наслаждений, жадным, порывистым; он не знал удержу. Свою похоть, свои прихоти, свою ненависть ему всегда нужно было утолить немедленно.

Он не хотел и не умел себя сдерживать, как сдерживали себя некоторые знаменитые авантюристы, с которыми он соперничал или которым подражал:

Базиль, нефтяной король, король спичечный; их необычайное могущество как бы уравнивалось разумной умеренностью их домашней жизни, которую они старались укрыть от постороннего взора. Тимон называл их крысами, скупердями, протирателями штанов. И действительно, они были скорее наростом на теле буржуазии, ее злокачественной опухолью, но не новыми людьми.

А Тимон, который мог бы быть новым человеком, дал себя остановить на полпути: он был опутан водорослями по самое брюхо и увязал в зыбком болоте. И Аннета злилась, потому что она была до странности заинтересована в его судьбе, хотя, само собой разумеется, не питала к нему ни малейшей симпатии. Она не могла спокойно смотреть, как без толку пропадает стихийная сила, которая сумела схватить победу, но теперь разжимает кулак и упускает ее. А Тимон заметил это, и его забавляло, что секретарша больше интересуется его судьбой, чем он сам. Он был ей благодарен за это. Он нашел в ее лице публику, которая ценила его, его силу, и это сделалось для него стимулом, которого ему не хватало. Но все пришло слишком поздно!

Да, он знал не хуже, чем она, что он умней своих соперников; он был дальновидней их, его взгляд был острее, глубже. Он видел их слабости, тщету их усилий и открывал это Аннете в двух-трех метких словах, освещавших все.

– Ну и что же, хозяин? Он смотрел на ее нервно вздрагивавший рот.

– Говори, говори! Я вижу, ты не робкого десятка.

– Почему бы вам не тряхнуть плечом?

– Чтобы поддержать их?

– Чтобы толкнуть их и свалить. И строить самому на их месте.

– Покажи мне участок!

– Вся земля.

– Трясина!

– Да разве вы с вашими руками не способны засыпать ее, осушить болота, если нужно? И если бы даже все стояло в воде, разве не строили бы люди свои жилища и новую жизнь на сваях?

– А зачем? Плодить головастика, как болотные жители? Нет, нет, довольно головастика! Я не хочу увеличивать их число, не хочу увековечить мою породу. Довольно и одной жизни! Не хочу начинать сначала. Но уж из моей жизни я выжму все соки.

– А потом?

– А потом – в задницу! Аннета, насупившаяся, сердитая, отвернулась.

– Что? Оскорбил твой слух? – насмешливо спросил Тимон.

– Нет! Просто тошнит.

Она взглянула на него в упор:

– Стоит в самом деле судить других и презирать их за то, что они захватывают власть в свои руки, не будучи способными воспользоваться ею, и самому поступать также.

– Но я кое-что вижу, а они лопнут, да так и не увидят!

– Что же именно?
– Их пустоту. И мою. И твою. Всеобщую пустоту.
– Говорите о себе, если вам угодно, – сухо сказала Аннета. – Но не обо мне.
– Ах, вот оно что! – воскликнул Тимон, явно заинтересованный. – Ты претендуешь на особое положение?

– Это уж мое дело.
– А мне предоставляешь оставаться в моем положении?
– Вы сами этого хотите. Ну как вам не стыдно? Вам под силу схватиться со всеми опасностями жизни. А вы позорно спотыкаетесь о Пустоту! Пфф... (она подумала). Пустота такой же враг, как все остальное. Сверните ей шею!.. Вы усмехаетесь?.. Вы сдаете ей оружие?.. Вы мне противны.

Тимон, очень довольный, не сводил глаз с раздраженной кошки, которая, казалось, готова была плюнуть ему в лицо. Он обвел ее взглядом.

– Жаль, – сказал он, – ты уже не в том возрасте, чтобы принять мое семя! Если не я, то, быть может, оно дало бы тот бой, который тебя так прельщает.

– Я в вас не нуждаюсь! У меня есть свое семя. И я надеюсь, что оно доведет борьбу до конца.

– У тебя есть малыш. Верно! Приведи его ко мне.

– Нет!

Она решительно тряхнула головой.

– Я недостойн? – подтрунивал Тимон.

– Нет! – повторила она.

Тимон прыснул.

– Ты мне нравишься, – сказал он. – Ты не из боязливых. Мне бы такую жену! Нет уж, поздно! Ты пропустила поезд.

– Я еду по другой дороге, – сказала Аннета.

– В таком случае едем вместе! Вот увидишь: я еще повоюю! Пусть ускользает Пустота, безыменная трусиха! Я буду бить ее мерзких детищ!

Настало время тяжелой работы: рылись сапы, подкладывались мины, сооружались валы, – все ждало, когда горнист сыграет атаку, приступ... Тимон, все-таки задетый речами своей секретарши, снова вышел на арену и храбро дрался со своими сильными соперниками... А при чем тут Аннета?

Она сама задавала себе этот вопрос в те редкие минуты, когда хозяин давал ей передохнуть. Но в эти минуты она чувствовала такую усталость, ей надо было отоспаться за столько бессонных ночей! К черту размышления!

Дайте мне поспать! Завтра поговорим...

Но другой, тот, кем она так гордилась перед Тимоном, Марк, не хотел ждать до завтра. Он не давал ей спать. То, что его мать стала доверенным лицом, секретаршей Тимона, акулы Тимона, бандита Тимона, ошеломляло его, вызывало у него приступы бешенства. Он узнал об этом недавно – он жил отдельно от Аннеты и дулся на нее. Об ее отношениях с Тимоном он услышал ее в кругу нищих, где ему приходилось гоняться за куском хлеба. Он узнал об этом в исключительно трагическую минуту.

Покончил с собой печатник Массой, его товарищ.

Беднягу подтачивали сифилис и отравление удушливыми газами – два несчастья, которые он привез с войны. Его перегоревший организм был не в силах выдержать бешеный напор внутренней жизни. Разочарования и озлобление подливали масла в огонь. Он харкал кровью, надрываясь до хрипоты на митингах. Он тщетно пытался расшевелить равнодушных участников войны, но они сердито отворачивались от него. Они на него злились: ведь он напоминал им о том, что каждый из них предпочел бы забыть, и под руганью многие прятали смущение. Массой уходил с этих собраний измученный, задыхаясь от боли, от бессильной ярости, мозг у него пылал. В довершение всего бессонница сводила его с ума. С предельной отчетливостью, точно в галлюцинации, видел он возвращение войны, которую делали

неизбежной лицемерный и грабительский мирный договор и безучастность французского народа, поощрявшая зло. Он не мог примириться с мыслью о возрождении ада, из которого вырвался всего три года назад. Моральное предательство, на которое пошел его народ, лишало его существование всякого смысла. Он ничего не мог сделать. А если бы и мог, то за кого стал бы он бороться? За этих предателей? За тех, кто предал, свое дело, свой класс? За этих трусов?

Однажды ночью, когда его душили кашель и отчаяние, он старым солдатским ножом перерезал себе горло.

Марк нашел его лежащим на тюфяке, который набух от крови, как губка.

От Массона осталась лишь оболочка. Судорога свела его рот, все еще проклинавший предательство тех, кто остался в живых...

И именно в этот день на улице, недалеко от своего дома, Марк встретил мать. Она шла навестить его. Он не увидел печати усталости на ее лице, кругов под глазами; он увидел ее улыбку. Она принесла ему два билета на концерт и заранее радовалась, что послушает хорошую музыку вместе с сыном. Счастливая, запыхавшись от быстрой ходьбы, она сообщила ему об этом.

Он подскочил, насмешливо посмотрел на нее и, сунув руки в карманы, сказал: «Нет!» Аннета не поняла, в чем дело, – она подумала, что у него какая-нибудь связь и он не хочет ей рассказывать. Она сказала уступчиво:

– Если ты хочешь пойти с кем-нибудь из друзей, так возьми оба билета, малыш! Я пойду в другой раз.

Он вырвал у нее билеты из рук, скомкал и бросил в канаву. Сдерживаясь, чтобы не крикнуть, он прошипел:

– Я ничего не хочу от тебя! Улыбка у Аннеты застыла, сердце сжалось.

Он не дал ей говорить:

– Не хочу ничего, что идет от этого негодяя, от этого убийцы... Я знаю, чей хлеб ты ешь...

Она попыталась оправдаться:

– Мальчик мой, не суди, не выслушав!.. Я честно зарабатываю свой хлеб...

Она ласково взяла его за руку. Он резко ее отдернул.

– Не трогай меня!

Она посмотрела на него. Его била нервная дрожь.

– Мальчик мой, ты сошел с ума!

Он крикнул (он был похож на злую собаку, которая рычит, вытянув морду), крикнул ей прямо в лицо, чтобы не услышали прохожие:

– У тебя руки в крови!

Повернулся к ней спиной и большими шагами пошел прочь.

Аннета стояла как вкопанная, опустив руки, и смотрела ему вслед. Остолбенев, она старалась проникнуть своим ясным взглядом в этот взрыв ненависти и различала в нем элементы *fas atque nefas*...¹¹⁰ Скрытая ревность... Она плохо понимала этот мелодраматический выпад. Она взглянула на свои руки – руки машинистки: на них были чернила, а не кровь, она не видела крови Массона, в которой были испачканы руки ее сына...

Она грустно улыбнулась, пожала плечами и ушла...

Если бы он знал, какие у нее взаимоотношения с Тимоном! Но как ему объяснить? Были ли они достаточно ясны ей самой? Что она делала на этой галере, в чуждой ей войне корсаров, среди хищников, воевавших за то, чтобы овладеть землей, водой и воздухом, которыми жили они, ее сын и миллионы скромных тружеников? Ей хотелось видеть. Глаза ввели ее в соблазн, и хотя ей было противно, она все же оказалась втянутой в игру.

Когда она думала об этом (не днем – днем думать некогда было: очень редко по ночам:

¹¹⁰ Дозволенного и недозволенного (лат.).

от усталости она спала, как пьяная; нет, изредка, время от времени, в бессонные минуты... Ужас, страх... «Что я делаю?.. Куда, я иду?..»), когда она думала об этом, она сама себе казалась следопытом, забравшимся в джунгли. Следопыт заключил соглашение с крупным зверем и укрывается за его спиной. Он наблюдает, за схватками чудовищ; его судьба связана с судьбой страшного зверя, который прокладывает себе дорогу сквозь лес, стоящий стеной, и топчет тигров и удавов. А она кричит зверю: «Опасность справа! Опасность слева! Подними хобот! Дави! Бей!» И всякий раз она бывает на волосок от того, чтобы тяжелая лапа не раздавила ее самое... Постоянное ощущение опасности освобождает Аннету от ее обычной щепетильности. Она думает об одном: «Выбраться бы из лесу...» А в этом лесу – теперь она это понимает – запуталась не она одна, но и вся Европа, весь мир. И тогда она познает силу могучей туши и клыков Слона, позади которого она шагает. У нее нет времени судить его, как она бы его судил, выбравшись из джунглей. У нее нет времени – для морали. Ей нельзя отставать от огромных ног. Одна секунда невнимания или слабости, и она будет растерзана бродячими хищниками! Она шагает, шагает, но она видит и запоминает. Она еще сведет счеты с собой и с миром... Потом...

Она с самого начала была уверена, что рано или поздно сын потребует у нее объяснений. И она готовилась к этому. Она бы ему не сказала (таких вещей не говорят), что когда в толпе людей бессильных, которые только наполовину, только на одну тысячную люди, которые ничего собой не представляют, ничего не делают, ничего не умеют хотеть и не умеют действовать, женщине посчастливится встретить силу цельную, рожденную древом познания добра и зла, она всегда слышит Призыв, тот самый, с которого началось великое усилие, с которого началась история человечества. Даже самая целомудренная женщина, та, которая отдает не тело свое, а душу, – и она предлагает себя мужчине, который оплодотворяет, который хочет и который действует. И она надеется ввести его энергию в определенное русло, надеется направить ее... А кроме того – это уже скромнее – бывает такое чувство – чувство хорошей работницы: любое порученное ей дело должно быть сделано хорошо, она увлекается им. Иметь под руками такого Тимона, его энергию и его возможности и из какой-то немощной щепетильности отказаться от него, – нет, тогда она не была бы Аннетой! Хорошая работница работу не упустит... Всего этого она Марку не сказала. Она прекрасно знала, что такие объяснения ничего не объяснят ее сыну, ее суровому и нетерпимому мальчику. Но она могла бы ему сказать, какая будет польза для общества, если такой человек, как Тимон, захочет бороться, если такую силу хорошо направить: она могла бы ему оказать, что ее служба у Тимона, быть может, не бесполезна для трудящихся масс, для независимых умов... Она предвидела довольно жаркий спор с Марком, но она не ожидала такого взрыва. Марк сам его не предвидел. Его осаждали стихийные силы, они бродили вокруг него и в самой глубине его души. И сейчас они уже не позволяли ему пересмотреть свой приговор.

Аннета написала ему ласковую записку, без намека на его грубость, без всякого упрека; она беспокоилась о его здоровье и просила прийти. Она хотела поговорить начистоту. И если бы ее объяснения его не удовлетворили, она ради него пожертвовала бы своим положением у Тимона. Но виновной она себя не признавала, чего, вероятно, он потребовал бы при его резкости, – ей не в чем было раскаиваться. А его не интересовали ни ее раскаяние, ни справедливость, ни какие бы то ни было соображения... Никаких уловок! Он решительно требовал, чтобы она немедленно, без дальних размышлений, порвала с человеком, которого он ненавидел, – тогда он, Марк поймет, что она просит у него прощения. Он послал ей ультиматум в трех повелительных строках, без единого ласкового слова. Она прочла, вздохнула и улыбнулась – на этот раз уже строгой улыбкой. У нее тоже была своя гордость. Она не подчинялась никаким требованиям. От нее всего можно было добиться, но только если обратиться к ее уму или сердцу. Приказами же – ничего. Она заперла письмо и оставила его без ответа. И продолжала хождение по джунглям, позади мамонта, который служил ей живым щитом...

«Когда ты захочешь поговорить со мной вежливо, мой милый Марк, я тебя буду ждать.

А меня не жди!»

Он действовал так же: он ждал... Можете ждать оба! У вас у обоих одинаково упрямые головы. Ни один не скажет: «Я ошибался».

Зато Тимон не ждал. Надо было поспевать за ним.

Не хватало времени на бесплодные препирательства, на обращение к совести. Нужно было напрягать все свои чувства, чтобы не отстать... Идем!

«Куда ты ведешь меня?» – «Идем, идем! Там видно будет...» Да знает ли он сам? Даже если не знает, у него безошибочное чутье. Это не только инстинкт. Тимон накопил множество жизненных уроков; он почерпал их из личного опыта и из книг: он читал гораздо больше, чем можно было подумать.

Он глотал книги. Но с еще большей жадностью впитывал он в себя людей. Он постигал их до конца. С первого взгляда он уже знал, что каждый собой представляет, знал его слабости, его возможности и за сколько его можно купить. Он не питал ни малейшего уважения к животным, не имеющим панциря, к мягкотелым, к безоружным: в его глазах это были низшие твари; он без зазрения совести злоупотреблял ими. А что касается здоровяков, таких, как он сам, то уж тут поединок на ножах. С ними все было дозволено, любое оружие. Если бы только старая Европа созрела (а ее гноили, как кизил в соломе), они могли бы дать не одно очко вперед чикагским гангстерам.

Но Аннету он уважал – главным образом потому, что она не читала ему бесполезных нравоучений. Он чувствовал, что она несокрушима, недоступна – и все же свободна от предрассудков. Ее ничем нельзя было смутить. У нее на все была своя точка зрения, и возражений она не допускала. При этом она не ссыалась на какие бы то ни было принципы. Ей не нужно было костылей – ни нравственных, ни религиозных. У нее были женские глаза, гордые и спокойные. Они не моргали. Они не лгали – ни ей самой, ни тому, в кого проникал их взгляд. И то, что этим глазам были чужды иллюзии, ничуть не мешало ей быть жизнерадостной и твердой. Она любила жизнь, но она не согласилась бы (Тимон был в этом уверен), чтобы ей продлили жизнь хотя бы на час, если бы для этого ей пришлось поступиться своими правами. («Ее права!» Тимон смеялся: «Я бы мог раздавить их двумя пальцами!..») Но он знал, что даже если бы Аннета была раздавлена, остался бы ее гордый и вызывающий взгляд, и этот взгляд жалил бы его, как пчела.).

Крепкая баба! Она не хуже, чем он, вооружена для борьбы!.. Но она не собиралась бороться за себя, за себя одну. Она была женщина. Чтобы заинтересоваться борьбой, ей нужен был мужчина, за которого она могла бы бороться: сын, любовник или, если их нет, хозяин. Мужчина, с которым она составила бы одно целое... Так, со свойственной ему грубостью, судил о ней Тимон. Ее возмутило бы подобное оскорбление. Но Тимон не видел здесь ничего обидного. Он расценивал ее глазами самца, для которого женщина стоит того, чего она стоит лишь по сравнению с мужчиной. Она не может существовать сама по себе. Она создана для борьбы и потому нуждается в мужчине, который повел бы ее на борьбу. Так лезвие ищет рукоятку и руку, которая держит рукоятку. Размышляя об этом, Тимон начинал еще больше уважать Аннету. Он судил о лезвии как знаток.

Только поэтому он и обращался с ней бережно. Он не помыкал ею. При ней он вынужден был следить за собой. Ее присутствие было для него тормозом: оно останавливало его на самом краю опасных поступков.

Однако природа останавливается только для того, чтобы сделать скачок.

Ну, а если скачок делает природа Тимона, – тогда берегись!

В изрядной коллекции его пороков находилось и пьянство. Он был нечувствителен к утонченным отравам. Ему была присуща грубая невосдержанность грузчика, который одинаково легко переносит и вино и бочку. Никогда он не бывал совершенно трезв, и его гений, если к нему применимо это выражение, только в пьяном виде и расцветал. Но Тимон достаточно хорошо владел собой и знал, до какого градуса, до какого предела ему можно

доводить брожение в своей бочке *согат populo*,¹¹¹ чтобы это не только не повредило его демагогическим выступлениям, но даже послужило им на пользу: он извлекал выгоду из своих винных паров подобно тому, кто поставил на службу нашим прихотям пар водяной. Но время от времени ему нужно было освободить котел от излишнего давления, иначе котел мог лопнуть.

Обычно Тимон устраивал это при закрытых дверях, по возможности за пределами Парижа, в местах укромных и тайных: если и выходили какие-нибудь неприятности, их улаживали.

По своему еще не забытому, балканскому опыту Аннета представляла себе, что там происходило; к тому же во время отлучек хозяина до редакции доходило достаточно слухов – правда, трусливых и завистливых, изображавших все в преувеличенном и искаженном виде. Хозяин возвращался мрачный, отяжелевший, как только что разорвавшаяся туча, которая вновь поднимается над землей в виде густых испарений. Аннета, враждебная, холодная как лед, хмурила брови и пыталась изобразить из себя безличную машину, которая исполняет то, что велит хозяин. Тимон прекрасно знал, что она думает. Это его забавляло. Он не прочь был вызвать ее на разговор. Но она держалась начеку. Открыть дверь было бы неблагоприятно. Если бы она и вошла, то еще неизвестно, как бы она вышла. Но именно это ее и подзадоривало.

В течение нескольких месяцев оба соблюдали молчаливое соглашение, по которому дверь между ними была наглухо заперта. Он не хотел вводить Аннету с ее обостренным чутьем в эти области своей жизни, свои охотничьи заказники: она бы его стесняла; он ее щадил... А потом, мало-помалу уверившись в ней, он стал щадить ее меньше. Ему захотелось сделать именно то, чего он избегал: ткнуть ее носом в это болото и посмотреть, какую она скорчит гримасу. В сущности, это был все тот же мучительный зуд: унижить то, что втайне уважаешь и от чего ты сам отказался.

Сперва он стал провоцировать Аннету. Аннета упорно молчала. Он пытался возбудить ее любопытство, задеть ее самолюбие. Он говорил ей:

– Что боишься? Предпочитаешь не видеть? Ну конечно! Добродетель куда удобнее... Тут уж не рискуешь соблазниться...

– Чем это соблазниться? И кем? – возражала Аннета презрительно.

– Слишком уж ты самоуверенна. Грош цена такой самоуверенности! Хотел бы я посмотреть на тебя, когда ты теряешь голову.

– Бывало и такое. Но, слава богу, я уже вышла из этого возраста. Мне не хочется возвращаться.

– Но если ты действительно перелезла через забор, почему же тебе не посмотреть, что делается по ту сторону? Чего ты боишься?

Она бросила на него мрачный взгляд.

– Сами знаете.

– Возможно. Но я хотел бы услышать от тебя.

– Я боюсь почувствовать к вам презрение.

Он засмеялся грубым смехом.

– А я думал, ты давно уже меня презираешь.

– Да, но я боюсь почувствовать презрение до такой степени, что уже не смогу его вынести.

Она сидела, подперев подбородок кулаками. Она забавляла его... И все-таки ему захотелось дать ей оплеуху. Он встал и начал шагать по кабинету, чтобы побороть это желание. Он остановился перед Аннетой.

– Так вот, я хочу убедиться, до какой степени...

В следующий раз, когда я поеду кутить, я возьму тебя ее собой.

¹¹¹ При народе (лат.).

– Нет, нет, хозяин, не надо! Прошу вас... Такими вещами не шутят!.. Я сказала не подумав, я обидела вас, простите меня...

Он усмехнулся, и они принялись за работу. Аннета решила, что он забыл. Но недели две спустя Тимон сказал ей:

– Сегодня ты дома не ночуешь. Поедешь со мной в Ла-Гарен в автомобиле.

Она запротестовала. Он ничего и слышать не хотел.

– Тебя дома никто не ждет. Я приказываю. Ты мне нужна.

– Это дело серьезное, – сказала она. – Подумайте!

Оно может дорого обойтись и вам и мне.

– И мне? – насмешливо произнес он.

– Да, и вам тоже. Я думаю, вы не так глупы, чтобы из-за пустяков потерять помощницу, которой вы доверяете.

– Доверяю! Но почему же я должен ее потерять?

И затем, голубушка, если ты себя считаешь незаменимой, то ты ошибаешься.

– Хорошо! Как вам угодно!

Она поджала губы и снова принялась печатать. Она твердо решила после работы потребовать расчет. И в то же время самолюбие нашептывало ей: «Не такая уж ты, значит, смелая! Увиливаешь? Силенок не хватает?..» Лучше бы она не прислушивалась. В каждой женщине сидит бес. Тимон знал этого беса. Тимон ничего не говорил, только глаза его поддразнивали: «Боишься!.. Бедненькая ты моя, чего же ты боишься?..»

И все же она бы не уступила, если бы вечером, когда они кончили работу, не явилась молоденькая женщина. Она была очень юна, очень хрупка и очень хороша собой. По виду совсем еще девочка. Она сильно робела. Аннета поняла, что Тимон ее ждал. Она сверкала украшениями, как чудотворная икона, но казалась неискушенной и явно смущалась красотой и новизной своего наряда. Тимон сказал Аннете:

– На сегодня будет с нас! Собирайся!

Он вышел на минуту. Аннета встала и надела шляпку.

– Можете ждать меня сколько угодно, я не поеду, – довольно громко буркнула она.

Она быстро направилась к выходу, но тут маленькая посетительница, на которую она уже перестала обращать внимание, робко взяла ее за руку и прошептала:

– Разве вы не поедете?

Аннета взглянула на нее:

– А вам не все равно?

Но та, ничего не объясняя, сжала ей руку:

– Поедьте с нами!

Аннета, все еще хмурая, пристально посмотрела на эту девочку. Неожиданно оказанное ей доверие вызвало у Аннеты улыбку, она смягчилась, присмотрелась к девочке повнимательней и прочитала в ее глазах немую мольбу. И тут, вся во власти нелепого порыва, какие были ей свойственны, она мгновенно почувствовала себя наседкой и распустила крылья. Это продолжалось всего одно мгновение. Но именно в это мгновение вошел Тимон.

Он сразу все понял и шутливо-равнодушным тоном сказал Аннете:

– Будешь ее оберегать.

Аннета еще ничего не успела решить, как уже оказалась на улице, перед открытой дверцей автомобиля. Эта девочка, которая, не зная ее, доверилась ей, взывала о помощи... Аннета села в автомобиль.

Она не запомнила, о чем говорили дорогой. Тимон сидел впереди и все заслонял своей грузной фигурой. Женщины сидели в глубине. Они не разговаривали между собой. Сама того не замечая, девочка судорожно вцепилась руками в платье Аннеты. Внезапно Тимон вспомнил, что ему надо отправить телеграмму, и приказал шоферу остановиться у почтовой конторы. Аннета воспользовалась этой минутой, чтобы вырвать у своей спутницы кое-какие, хотя бы отрывочные объяснения. Девочка была итальянка, из рабочей семьи,

иммигрировавшей из центральной Италии, из Анконы. В кондитерской ее увидел агент по торговле живым товаром. Он внушил ей, что она может получить приз на конкурсе красоты, – такие конкурсы часто организуют крупные торговцы, короли живого товара. Приза она не получила, но ее компенсировали ангажементом в мюзик-холл, откуда ей захотелось удрать в первый же вечер, когда ей пришлось впервые выйти на эстраду голой и почувствовать на себе плотоядные взгляды всего зрительного зала. Но, вместо того чтобы бежать, она впала в оцепенение, похожее на паралич; ничто не действовало на нее – ни хохот, ни грубость ее manager'a.¹¹² Эта смуглянка, которая стояла, как истукан, на эстраде, свесив голову набок, прижав руки к бедрам, вызывала у зрителей веселый смех – и только, но взгляд Тимона остановился на ней. И Тимон выбрал себе жертву. В течение нескольких недель ее уговаривали, дрессировали, наряжали в специальном заведении, которое называлось мастерской мод, и в условленный день доставили покупателю. Девочке рассказывали о Тимоне с каким-то, особенно таинственным видом, и это одно приводило ее в трепет. А внешность людоеда ее просто убила. Конечно, она не могла не знать, на что шла. Да и не следует преувеличивать ее невинность. Если, предлагая себя в жертву, она не знала в точности, как именно все произойдет, то, во всяком случае она была к жертве готова. Лишь бы вырваться из нищеты! Эта новая Ифигения прекрасно знала, что платить придется. Но ее воображение, воображение крестьяночки, не подсказывало ей, кому именно придется платить. С испуга (тут же не рассуждают!) она бросилась под защиту к первой встречной. Это было нелепо – ведь она совсем не знала Аннету. Но затравленные животные чутьем улавливают малейшую крупницу жалости... Все это было легче угадать, чем понять: девочка говорила быстро и бессвязно, мешая французские слова с итальянскими. Аннета отвечала ей на ее родном итальянском языке и этим окончательно завоевала ее доверие. На нее как бы пахло родной Адриатикой. Она целовала ладони Аннеты:

– *Bella buona signorina, mi rimetto nelle sue mani, come nelle santissime della Madonna!....*¹¹³

Вернулся Тимон.

Спустя три часа, темной ночью, они приехали в замок, стоявший в лесу и обнесенный оградой, тянувшейся на несколько километров. Название местности узнать было невозможно. Во Франции и за границей у Тимона было несколько таких мест, куда он приезжал охотиться и развлекаться. Прибывших тотчас встретили и окружили молчаливые слуги. Женщин отвели в предназначенные для них отдельные апартаменты, где они смогли привести себя в порядок, потом за ними пришли и почтительно проводили в гостиную нижнего этажа, где был накрыт ужин. За круглым столом разместилось человек двадцать гостей – мужчин и женщин – разных национальностей. Никто не знакомил их между собой. Мужчины друг друга знали. А что касается женщин, то ведь не важно, знают ли они присутствующих, и знают ли присутствующие их. Каждый знал свою даму. Аннета припомнила имена трех или четырех человек со строгими лицами: она встречала их в кабинете Тимона.

Разумеется, они тоже узнали и были немало удивлены, увидев ее здесь. Они не знали, в каких именно отношениях она с Тимоном, и на всякий случай были почтительны, хотя и довольно неловки. Аннета принимала знаки внимания как должное, а неловких ставила на место. Она умела придать себе безразличное, чуть-чуть надменное выражение и делать вид, что не слышит.

А глаза ее между тем не теряли времени даром. Они изучали физиономии и старались угадать, как сложилась та или иная жизнь. Аннета вспоминала, что говорил об этих людях Тимон, как он набрасывал их портреты, и мысленно составляла каталог. Она узнала старика

¹¹² Антрепренера (англ.).

¹¹³ Прекрасная, добрая госпожа, я отдаю себя в ваши руки как в святые руки Мадонны! (итал.).

с морщинами на голом черепе. Казалось, он смеется и наблюдает за окружающими не только маленькими своими глазками с воспаленными веками, но и всеми складками кожи. Худой, сгорбленный, зябкий, он был похож на мелкого буржуа на покое. Это был один из королей американской металлургии. А вот другой: буржуа, крупный буржуа, типичный француз, натянутый, чопорный, с повадками нотариуса или майора в отставке – владелец металлургического завода, депутат...

Дальше затянутый во фрак, загорелый, широкоплечий малый с обворожительной улыбкой и стальными глазами. При первом же взгляде эти глаза обменялись с глазами Аннеты веселым товарищеским приветствием. Какой он национальности? Он говорил на всех языках с ирландским акцентом; лицо открытое, мужественное, приятное... По одному намеку Тимона Аннета узнала в нем пресловутого агента «Интеллидженс сервис», который появлялся на Востоке то в одном обличье, то в другом и либо создавал там государства, либо разрушал их... Среди этой почтенной компании не было недостатка и в других агентах. Иные носили звучные имена: например, один аристократ с узким и длинным черепом, высокомерный, учтивый, рассеянный, с прекрасными манерами; другие были менее высокого полета, но от них исходил запах доллара. На недавней конференции по разоружению в Женеве один из них обильно оросил долларами газеты, занимающиеся сеянием тревоги: американское адмиралтейство поручало им содействовать проведению программы строительства военноморского флота. Низкорослый толстячок, брызжущий южной словоохотливостью и пропахший чесноком с гвоздикой, сочетал в себе Дон Кихота и Санчо Пансу. Он рассыпался перед Аннетой в комплиментах, уверял ее в своей преданности, сжимал ей руки своими потными руками, громко чмокал ее в ладони своими толстыми губами, лебезил перед ней и высокопарно, восторженно, чуть не со слезами на глазах, отзывался о Тимоне. Эротика была у него перемешана с мистикой, Аннета знала его: шантажист, газетный жулик... Трудно было сказать, в какую именно минуту подлость уступала в нем место искренности – он и сам этого не знал. В силу какого-то неведомого божественного закона добродушие и мерзость сочетались в нем навеки, и распутать их сможет, пожалуй, лишь Страшный суд. А пока что здешним хозяевам, которые соперничали друг с другом, было выгодно использовать его таланты; во всяком случае опасно было от них отказываться... Все общество в целом не внушало особого доверия. Но развлечения, подобные сегодняшнему, были для него «миром божьим». Мужчине нужны передышки, ему нужно наслаждаться обществом других мужчин, хотя бы и врагов, делить с ними любовные похождения и подвиги. В конце концов разве смысл их существования не в соперничестве?

Им было приятно отложить на несколько часов оружие и, собравшись за столом, начать рассматривать друг друга поверх тарелок и обнаженных женских плеч, не пренебрегая, однако, содержимым платьев и тарелок (за исключением американского металлургического короля: он страдал несварением желудка – вино и женщины для него, по-видимому, не существовали: он строго придерживался диеты, посасывал яйцо всмятку и запивал минеральной водой).

Мы не описываем женщин: они составляли часть ужина, а меню нас не интересует. Между ними были красивые и некрасивые, но все до одной отличались изысканностью, не все были молоды, но каждая могла возбудить аппетит. Одни принадлежали к миру театра, другие – к миру литературы. Не все были продажны по профессии, но все имели к ней призвание. Юная послушница из Анконы была за столом свежей ягодкой. Присутствие Аннеты вызывало удивление. Да и Тимон, казалось, испытывал неловкость; он уже начинал жалеть, что привез ее.

Но она сама разрешила все трудности. Любезная, преисполненная чувства собственного достоинства, она приняла на себя за столом роль хозяйки.

Можно было подумать, что это ее дом. И Тимон не мешал ей. Она сидела против него; рядом с ней по одну сторону сидел старый морщинистый господин, поглощенный заботой о своем здоровье, рассказывал ей о внучатах, о благотворительных обществах, о детских яслях, – этаким Венсан де Поль, а по другую – тот красивый малый. Он без стеснения шептал

ей прямо в ухо, что этот добрый старик – сущий крокодил, и весело рассказывал историю с переодеванием, которая произошла с ним не то у арабов, не то в Индии; он, видимо, был тонкий знаток нарядов и косметики. Соседи не мешали Аннете наблюдать за остальными гостями; она незаметно руководила и разговором и слугами. Слуги живо смекнули, что за приказаниями надо обращаться к ней и что она будет отдавать их молча, взглядом. Но еще удивительнее было то, что гости приняли заданный ею тон, хотя никто бы не подумал, что это она его задала. Чтобы придать собранию строгую, академическую корректность, не хватало только музыки. Но Аннета была женщина хорошей галльской закваски: она признавала законные права такого вольного собрания и даже сама готова была воспользоваться этими правами, поскольку она в этом собрании участвовала. Она умела спокойно, ничего особенно не подчеркивая, рассказать своим теплым, приятным голосом какую-нибудь игривую историю. И многие из слушавших ее мужчин оказались достаточно искусственными в остроумии, чтобы оценить сдержанность выражений, которые она находила для довольно скользкого сюжета. Тимон был втайне польщен непредвиденным успехом своей «лошадки». Она предстала перед ним в новом свете, и теперь он глазом знатока приглядывался к «почтенной даме», которая так хорошо знала меру во всем и, не переступая границ, проявляла тонкий вкус и в разговоре и в еде: надо заметить, что Аннета отдавала должное и кушаньям. Она не боялась никаких состязаний и вовремя умела сохранить равновесие. Этого мало: не тратя усилий, она и других заставляла сохранять равновесие.

Но все-таки не для этого же они здесь собрались! И под конец, встав из-за стола, Тимон отвел Аннету в сторону и с почтительностью, какой никогда раньше не проявлял, не без грубых – и все же лестных, – комплиментов (какая женщина не чувствительна к комплиментам?) освободил ее от роли хозяйки, так как продолжение вечера могло стать слишком шумным, и предложил пойти отдохнуть в приготовленной для нее комнате. Аннета сразу поняла, что ее выпроваживают для того, чтобы она не мешала. Тимон уж очень подчеркивал, что после столь утомительного дня она имеет право на отдых «по возрасту». Но под этой тяжеловесной неучтивостью все же скрывалось заботливое внимание и даже известное уважение, что для Тимона было необычно. Она прочитала в его глазах, что он хочет оградить ее от того, чего ей видеть не подобает. За это она была ему благодарна. Тем более что первоначальной целью Тимона, когда он увозил ее сюда, было именно заставить ее увидеть то, что ей противно... Правда, тут была эта девочка, которую она намеревалась оберегать. Однако (не будем преувеличивать ее наивность!) она понимала, насколько смешна такая роль: сюда приезжают не для того, чтобы оберегать девиц! И Тимон, сдаваясь, как бы говорил ей: «Прости! Твое место не здесь. Ты была права». Не могла же она в такую минуту ответить ему: «Нет, я остаюсь, чтобы спасти добродетель...» Чью? Этих овец? Тогда ей была одна дорога – в Армию спасения...

Она рассмеялась и весело сказала:

– Спасибо, хозяин, что вы снимаете меня с поста! Передаю вам пароль.

– Какой?

– «Ясная голова».

– «Ясная голова»? Да, у тебя голова ясная! Иди спать.

Простились они сердечно. Прежде чем уйти из гостиной, Аннета для очистки совести поискала глазами итальяночку и наконец увидела ее в одной группе, где смеялись и курили. Она была под хмельком (от двух наперстков вина у нее кружилась голова) и даже не заметила, как Аннета ушла.

В дверях Аннета столкнулась со старым американцем; его тоже не интересовало продолжение вечера: подобно ей, он тоже добродетельно отправлялся спать. Он кивнул ей сочувственно и одобрительно. Аннета ушла к себе в комнату на втором этаже, в самом отдаленном и тихом конце дома, с окнами в парк. Она устала, и ей было приятно вытянуться на прохладных простынях. Она была скорее довольна проведенным вечером. Игра была не лишена опасностей, и для своих лет она справилась с ней неплохо... «Для своих лет!..» Именно возраст и помог ей. Но чем кончится игра для других? Говорят, кто проиграл, тот и в

выигрыше! «Вот еще! Стоит думать о таких глупостях...» Она взяла из книжного шкафчика, стоявшего возле кровати, первый попавшийся изящно переплетенный томик, полистала, улыбнулась, помечтала и так, с книгой в руках, заснула...

Прошел час, может быть, два, – она не шевельнулась.

Когда она всплывала на поверхность из глубины своего сна (еще была ночь, безлунная, но ясная летняя ночь), у нее было такое ощущение, точно она слышит чей-то отдаленный призыв и голос собственной совести. Мягкая постель нашептывала ей: «Лежи спокойно, лежи спокойно!» Но смутная тревога все же нарастала. Аннета приподнялась на локтях... Тревога шла не только изнутри. Шум доносился из ночной темноты, мелькали едва различимые огоньки. Аннета напрягла слух. Ей не понадобилось много времени, чтобы понять все... «Ясная голова! Они ее потеряли!..» Аннета пожала плечами и снова погрузилась в дремоту... Однако слишком уж они там разошлись! Из парка доносилось рычание. И дружный собачий лай... Аннета встала и открыла окно... Ее комната находилась в углу, образуемом главным зданием и левой пристройкой, так что главное здание загораживало сад. Все же сквозь деревья она могла видеть отсветы огней, быстро передвигавшихся по саду. Она слышала пронзительные звуки охотничьего рога и все более громкий лай собак... И душераздирающие крики... Аннета поспешно оделась, вышла из комнаты и стала искать в коридоре окно, из которого можно было бы все увидеть... Возле главной лестницы она нашла балконную дверь, выглянула, и ей показалось, что она видит сон.

Загонщики с факелами. Лающие собаки извиваются на поводках, точно в пляске св. Витта. И бегущие от собак по лужайке голые женщины... Охота Дианы... Но здесь охотились за самой Дианой. Под громкий смех и завывание фанфар из-за деревьев вышли четыре охотника в красном. Они несли на плечах голую нимфу, привязанную, как подстреленная лань, за руки и за ноги к жерди. Голова у нимфы свесилась, и, по правде говоря, вопли, которые она испускала, были не к лицу особе божественного происхождения.

Это была крупная девица во вкусе Иорданса; она задыхалась и плевалась от бешенства. Группа веселившихся зрителей потешалась этой картиной. Зрители держались за бока и отвечали нимфе тоже не слишком изысканными словами...

Увидев с балкона эту ночную охоту, Аннета подумала:

«Идиоты! Вот что они изобрели!.. Экая шваль! Вздумали разыгрывать Борджиа!.. Какие ничтожества! Начитались дешевых романов и вдохновились... Их поэзия – Дюма-папаша и Октав Фейе... Дураки! Последние романтики из „Нельской башни“...»

Размышления о глупости этих людей еще не успели смягчить презрение Аннеты, когда на лужайку вывели новую жертву, и вот она-то принимала «Нельскую башню» всерьез!.. Это была юная наядка с берегов Адриатики. Полумертвая от страха, закрыв лицо руками, она выставляла напоказ свою нежную и хрупкую наготу... Аннета прекрасно понимала, что жестокая игра – все-таки только игра, что рычащие псы не будут спущены и нимфы на охоте Дианы отделаются страхом (стыд и позор в расчет не принимались: за это было заплачено...). Но и это было чересчур для сжавшейся от ужаса в комок, едва стоявшей на ногах девушки, вокруг которой прыгали собаки и хохотали озверелые, пьяные мужчины. Аннета задрожала от гнева при виде, как Тимон широкой своей лапой шлепнул эту статуэтку из саксонского фарфора по округлому задку и протрубил ей в ухо:

– Беги! А не то твой зад пойдет собакам на ужин! Аннета не стала долго раздумывать. Не обращая внимания на то, что вышла из комнаты босиком, Аннета быстро спустилась по лестнице и выбежала на площадку, где стояли гости, в ту самую минуту, когда под восторженные крики очарованных зрителей перепуганная девушка вскачь понеслась по лужайке. А Тимон держал за ошейник огромную собаку и, видимо, собирался ее спустить. Аннета знала эту собаку, знала, что она не представляет никакой опасности: это был большой, но безобидный кобель, он бросался на всех, но не кусался. А лань, которая спасалась бегством, этого не знала. Аннета в ярости прокладывала себе дорогу между удивленными гостями и, внезапно представ перед Тимоном, схватила его за отворот фрака:

– Довольно! Тимон, ты пьян! Тимон выкатил на нее страшные глаза, и, спустив собаку, которая бросилась за дичью, ударил Аннету кулаком в зубы. Аннета пошатнулась, но не отступила, и среди внезапно наступившей тишины отчетливо произнесла:

– В пьяном виде ты становишься подлецом.

Изо рта у нее шла кровь. Тимон еще раз занес свой страшный кулак. Но он увидел ее рот. Кулак опустил. А сзади мгновенно подскочил красивый малый из «Интеллидженс», схватил Тимона за руку и зажал ее, как в тисках. Тимон стоял немой, окаменелый. На лужайке девочка выла и звала на помощь. Огромный пес догнал ее, толкнул передними лапами в грудь, повалил и катал по земле, как мяч. Страшно этим довольный, пес весело прыгал, высовывал язык и лаял... Аннета, бросив Тимону последний вызов, повернулась к нему спиной и побежала к итальяночке. Итальяночка лежала на земле. Освободить ее было нетрудно: собака не мешала – она прыгала в полном восторге и ждала похвал. Трудней было успокоить девочку. От испуга ей казалось, что она мертва. Аннета подняла ее, вытерла руками и своей сорочкой молодое тело, мокрое от слез, от ночной росы, от слюны победителя. Закутав в свою накидку прильнувшую к ней, дрожащую голую девочку, сама полуголая, Аннета повела ее в дом. Площадка почти опустела. Тимон отдал какие-то приказания и исчез. Оставались лишь слуги. Они торопливо прокладывали Аннете дорогу. Да еще в вестибюле гости издали, но с любопытством смотрели на необычайное возвращение Юоны, которая Проходила мимо них с окровавленным ртом и гордо поднятой головой, не удостоивая их взглядом. Она поддерживала пичужку, забившуюся к ней под крыло. Старый, вышколенный слуга, которого ничто уже, видимо, не удивляло, почтительно проводил Аннету в лифте до ее комнаты. Девочка умоляла не оставлять ее одну, и Аннета уложила ее в свою постель. И только тогда, поцеловав ее и заметив на лбу девочки красный след, Аннета догадалась, что у нее идет кровь изо рта. Она умылась и посмотрела на себя в зеркало: один из ее прекрасных зубов – клык – был сломан. Боевая рана! Еще счастье, что уцелели другие! Но неприятель бежал. Аннета легла спать. Для нее это был сон на поле битвы. Она вытянулась рядом с девочкой; девочка, вволю наплакавшись, заснула беспокойным сном. Но Аннета не сомкнула глаз. Она испытывала колющую боль во рту, огненные точки мелькали у нее перед глазами. У Аннеты было достаточно времени, чтобы обдумать план действий на завтрашний день.

Завтрашний день начался. Занималась заря. Еще не было шести, когда Аннета встала, оделась, позвонила, отдала распоряжение, затем разбудила свою спутницу, которая не могла оторвать голову от подушки:

– Вставай! Выспишься в автомобиле...

Ей надо было помочь одеться. Аннета потащила ее за собой. Внизу, у дверей, их ждал мощный автомобиль Тимона. Аннета распоряжалась и действовала, как хозяйка. И потому ли, что тон у нее был внушительный, или скорее всего потому, что Тимон сам так наказал, но ей подчинялись, как если бы она и в самом деле была хозяйкой. Девочка, еще не оправившаяся от ночных тревожений и выпитого вина, почти тотчас заснула; Аннета поудобней положила ее голову на подушки, а сама в полудремоте смотрела усталыми глазами, как пред нею, точно в кино, развевалась белая дорога, мелькали изгороди, поля, города, облака дыма – и битвы ее жизни. В Париже она доставила свою, наконец проснувшуюся подопечную к ней в дом, а затем поехала к себе отдохнуть, – она вполне заслужила этот отдых.

Сон у нее был тяжелый и часто прерывался, и тогда сквозь ноющую боль во рту проступала одна-единственная, ясно осознанная мысль: «С Тимоном кончено!..» И тем не менее она ничуть не была удивлена, когда к вечеру, уснув, наконец, спокойно, была разбужена звонком. Она не стала гадать, кто бы это мог прийти. Но, отворив дверь, сочла вполне естественным появление могучей фигуры Тимона. Они не обменялись приветствиями. Аннета показала движением руки: «Войдите», – и прошла вперед. Он последовал за ней – боком, потому что коридор был узкий. Она быстро привела в порядок постель. Но ни разу не взглянула на себя в зеркало. Она лишь запахнула халат, указала

Тимону на стул, а сама молча села в кресло у окна: она ждала. Ничто в лице Тимона не выдавало его намерений. Он был мрачен и хмур. Он знал, что ему надо сказать, что он хочет сказать. Он не собирался приносить извинения. Но когда он увидел эти строгие глаза и разбитый рот, он забыл все, с чем пришел. Он видел только этот рот. И неуклюже, просто чтобы хоть что-нибудь сказать, он спросил, как она себя чувствует. Она ответила холодно:

«Хорошо», не давая себе труда что бы то ни было прибавить. И, так как он все еще не мог оторвать взгляд от ее рта, она проговорила:

– Прекрасная работа!.. Вы довольны?

И показала сломанный зуб.

Тимон злобно стиснул кулаки и выругал себя:

– Мерзавец! Аннета продолжала измерять его взглядом.

– Ругай меня! – сказал он.

– Это лишнее. Ведь вы сами себя ругаете, – с презрением произнесла Аннета.

– Что я могу сделать?.. Заплатить тебе за твой зуб? Этого недостаточно... Если бы я мог заменить его одним из моих собачьих зубов!..

– Нет, – возразила Аннета, – не будем говорить о собаках!

Тимон растерялся, заерзал на стуле.

– Чего ты хочешь? Возмещения убытков?

– Лучше было бы для начала попросить у меня прощения.

Просить прощения Тимон не привык. Надо или давить, или быть раздавленным. Просить прощения или прощать – все это не имеет хождения на бирже, это потерянное время. Тимон считал бы более естественным, если бы Аннета, в свою очередь, выбила ему зуб. Заметив его колебания, она сказала:

– Не делайте этого, раз вам самому это в голову не пришло! Мне это не нужно! И я предпочитаю сказать вам заранее, что это ничего не изменило бы в моем решении.

– В каком решении?

– Не иметь больше дела с вами.

Тимон задвигал своими страшными бровями. По его лицу, по его судорожно сжимавшимся кулакам видно было, какая в нем происходит борьба. Наконец он сказал:

– Заставлять тебя не стану... Конечно, если бы я мог... (Его руки снова задвигались.

Аннете он на мгновение представился Ассурбанипалом, и она увидела, как он разламывает ей хребет своей тяжелой пятой...) Но все-таки, если бы я тебя спросил...

Он чуть было не сказал: «Сколько ты хочешь?» Но инстинкт предупредил его, что заговорить в такой момент о деньгах, значит наверняка привести дело к разрыву. Он сказал – и сам был удивлен, услышав эти слова:

– Если бы я тебя попросил... Если бы я...

Аннета сидела, заложив ногу за ногу, рассеянная, высокомерная. Тимон с минуту смотрел, как она покачивает босой ногой, наполовину высунувшейся из комнатной туфли. И внезапно нагнулся, схватил эту босую ногу и приник к ней своими толстыми губами.

Аннета тоже не стала раздумывать. И не стала скрывать свое отвращение. Резко, гневно отдернула она ногу от морды, которая позволила себе, пусть почтительно, но завладеть ею, и при этом сильно ударила Тимона по губе. Она была в ярости. Он тоже. Он прорычал:

– Значит, я тебе очень противен? Она прошипела:

– Да! Ах, с каким наслаждением стер бы он ее в порошок!.. Но он себя поборол. Склонив свою огромную побежденную голову, он проговорил:

– Прости! На сей раз Аннета увидела в роли Ассурбанипала себя самое.

Теперь уже она попирала бритую голову негритянского царька. Видение промелькнуло мгновенно. Однако оно было так отчетливо, точно все это произошло в действительности. По телу Аннеты пробежала дрожь удовлетворения.

Потом, успокоившись, она сказала:

– Почести вам были возданы ногой... Охота кончилась... Итак, Тимон, покончим со всей этой историей!

Тимон поднял голову (эта проклятая женщина сбивала его с толку...) и увидел рот Аннеты, увидел рану, которую озаряла строгая улыбка... Но сломанный мост был восстановлен. Он прошел по этому мосту.

– Покончим! Ловлю тебя на слове.

– А я никакого слова еще не сказала. Я еще не поставила своих условий.

– Но ты не уходишь! – сказал он уверенно.

– Я еще ничего не сказала.

– Ты говоришь, у тебя есть условия? Я их принимаю. Значит, ты не уходишь.

– Я остаюсь, – пожимая плечами, сказала Аннета, – пока не будут закончены текущие дела.

– Отлично! – сказал Тимон. – Это еще не скоро.

Аннета пожалела, что неосторожные слова сорвались у нее с языка. Тимон заметил это и проявил великодушие:

– Я не стану удерживать тебя против твоей воли. Если ты меня возненавидела после вчерашней сцены, – я это понимаю, – уходи! Ты мне нужна, ты для меня гораздо больше, чем секретарша, – ты моя узда. Правда, не очень весело обуздывать такое животное, как я. Я это признаю. Ты вправе сказать: «Довольно с меня!..» Ты свободна. Я тебя недостоин.

Аннета была тронута.

– Я остаюсь, Тимон, – сказала она. – Что ж, тем хуже для тебя! И для нас обоих! Либо узда лопнет, либо зубы поломаются.

– Пусть уж в следующий раз это будут мои! Внешне положение Аннеты в редакции не изменилось. Она по-прежнему сидела за своим столиком, рядом с большим письменным столом Тимона. Но очень скоро все заметили, что у хозяина изменился тон, что он стал к ней внимателен. Конечно, распухшие губы Аннеты привлекли всеобщее внимание, вызвали много толков о том, что произошло ночью в замке; ходили самые фантастические слухи. Слухи эти были довольно противоречивы, но безусловно установленным считалось то, что последнее слово осталось за женщиной... Ну и баба! И как же она здорово скрывала свою игру!.. Она по-прежнему знала свое место, так же внимательно и усердно исполняла все распоряжения хозяина, никогда не высказывала ему своего мнения о чем бы то ни было при посторонних, если он сам ее не спрашивал, и на людях продолжала говорить ему «вы». Но стало известно, что, как только дверь закрывалась, Аннета переходила на «ты», между ними возникали споры, и Тимон – самое трудное для такого деспота! – выслушивал ее не перебивая. Сотрудники гнусными остротами мстили Аннете за ее тайную власть, хотя должны были бы скорее радоваться, ибо она действовала на Тимона благотворно. Аннета не знала подробностей, но она хорошо знала человеческое недоброжелательство и обо всем догадывалась: она дошла до той степени добродушного презрения, когда человек становится безразличным к таким вещам. В глазах Тимона это было не последним достоинством Аннеты, ибо его презрение было не добродушным, а сокрушающим. Тайна заключалась в том, что Аннета не старалась использовать свое положение в своих интересах, – она принимала к сердцу интересы Тимона.

Интересы или «интерес»? (В век классицизма сказали бы высокопарно:

«Славу»...) Да, ей хотелось, чтобы эта сила, скопившаяся на пустом месте, по крайней мере возвела себе пирамиду, которая возвышалась бы над песками. Ей хотелось именно на это употребить свое влияние, которым она пока (надолго ли?) пользовалась. И она наметила путь, по которому старалась направить Тимона. Постоянно вращаясь в самой гуще интриг, которые плели бароны-разбойники из промышленного и делового мира, она научилась кое-как разбираться в политике. А инстинкт заставлял ее, – правда, безотчетно, – склоняться в пользу партий, которые ставили своей задачей защиту и освобождение эксплуатируемых. СССР, на который столько клеветали – и неизвестно, кто больше: невежественные туристы, заносившие на бумагу свой детский лепет, поколесив две недели по стране, или профессиональные лжецы своими отравленными перьями, – оставался для Аннеты загадкой, но загадкой манящей. Она ясно чувствовала, что именно там находится необходимый

противовес чудовищной глыбе Реакции, под бременем которой трещали кости Запада. И, еще не имея твердого и определенного намерения, она все же старалась перетянуть решающий вес Тимона именно на эту чашу.

Видел ли он это? Возможно. Он, пожалуй, лучше, чем она, понимал то, чего ощупью искала ее мысль, и знал, до каких пределов может эта мысль дойти.

Но он ее не подталкивал и делал вид, что ни о чем не догадывается. Он, смеясь, говорил Аннете:

– Ты словно погонщик, восседающий на слоне. Ты собираешься его выдрессировать. Но чему именно ты хочешь его научить? По крайней мере это-то тебе ясно? Ты хочешь водить меня по улицам, чтобы всякие болваны ходили за мной толпой и кричали от восторга? Не стоит, этим я сыт по горло. Ты хочешь сделать из меня оплот государства? Какого? У такого человека, как я, не может быть своего государства. Ты хочешь, чтобы я строил? Что? Триумфальную арку? И прошел под ней, как этот карапуз Наполеон? Мы строим одни могилы. А я не хочу ложиться в могилу! Пока я жив, мне нужно двигаться на просторе. Я брожу по лесу, я иду направо, налево, я сокрушаю все, что стоит у меня поперек дороги. Нагнись! Береги голову!

– Даже если ты создан только для того, чтобы разрушать, то по крайней мере, Тимон, разрушай с умом! Не без разбора! Проложи дорогу! Дойди до конца! Ты вот все топчешься на одном месте. А ты решишь! Пройди вперед!

– А куда это «вперед»?

– Ты знаешь лучше меня. Не прикидывайся! Ты видишь, что начался великий поединок. Ты за кого?

– За самого себя.

– Это не так много! Но по крайней мере, Тимон, пусть это твое «я» будет цельным! Пусть будет «да», пусть будет «нет», но не наполовину!

– Игра – это игра. Все зависит от удачи.

– Я играю наудачу. Будь я на твоём месте, я бы села за зеленый стол.

– Да, я воображаю тебя за зеленым столом в Монако! С раздувающимися ноздрями!.. Ты бы поставила на карту все, до последней рубашки.

– Я потому и не играю, что знаю себя. Не рубашку бы я поставила на карту, а жизнь!

– Да ты ее уже поставила, голубушка! Ты и не подумала об этом. Но раз ты связалась со мной, ты поставила на карту жизнь. Или еще поставишь. Я за тобой наблюдаю.

– Жизнью я уже рисковала не раз. Чепуха! Я всегда выигрываю...

– Все игроки так думают!

– А ты разве не игрок? Ты сам только что сказал.

– Ты рискуешь лишь своей шкурой. Это твое право. Она принадлежит одной тебе.

– А ты кому принадлежишь?

– Я играю не один. Во всякой игре надо считаться не только с противниками (это одно удовольствие!), но и с партнерами. Дело сложное...

– Это и есть то, что ты называешь быть свободным и ходить по лесу?

– Это есть то, что я называю лесом.

– Свали его!

– Ты рассуждаешь, как женщина. Я могу лишь чуть-чуть расчистить пространство вокруг себя. А лесом зарос весь мир. Лес всех нас держит...

Да мне это и не важно в конце концов.

– А мне важно! Если бы он держал меня, я бы его подожгла.

– И сгорела бы сама...

– Пускай! Лишь бы он сгорел!

– И да здравствует Революция?.. Уж не собираешься ли ты в Москву?..

Красный лес горит здорово!.. И я не говорю, что они не правильно поступают! Говорят, после пожара земля лучше родит... Но на той земле меня уже не будет. Я нахожусь на этой. И здесь я остаюсь.

Нет, нелегко было вытащить его из социальных зарослей старого мира.

Он хотел урвать побольше, и у него было много дела... И кусок он урвал большой. Но ему пришлось уступить большие куски и другим рыцарям наживы (рука руку моет). Поединок приковывал их друг к другу. Клинок к клинку.

Аннета увидела, что можно принадлежать к хозяевам мира и быть менее свободным, чем бедняк, у которого нет ничего. Если только у этого бедняка есть душа или (а это одно и то же) он думает, что она у него есть. Но такие редки.

Большинство не знает этого. Аннета находилась под властью души (как говорят иногда: под властью мужа) Не то чтобы она связывала с ней вопрос о загробной жизни, о страховке в потустороннем мире. Когда у человека действительно есть душа, он не трясется над ней, как гнусный собственник, который боится, что его обкрадут... «Не я владею моей душой. Она владеет мной». Тимон мог бы возразить Аннете: «Стало быть, и ты не свободна!..» Верно! Кто из нас свободен? Все мы фигурки на шахматной доске.

Кто же играет нами?

Не все фигуры одинаково ценны. Аннета была королевой на шахматной доске, на которой Тимон был турой. Она влияла на ход игры. Под ее влиянием этот минотавр становился человечней, он становился способным, — хотя бы время от времени, — на великодушные порывы, а это уже немало...

Конечно, он никогда не был лишен этой способности; изредка он позволял себе такую роскошь. Но на свои великодушные порывы он смотрел, как на болезнь, и лечился от нее цинизмом, как лечатся хиной. В нем смешались мерзавец и герой, и трудно сказать, кто был лицевой стороной, а кто изнанкой, ибо он мог в любую минуту повернуться и той и другой стороной. В общем, до Аннеты, до того, как она прибрала его к рукам, он охотнее выставлял напоказ свои мерзости. Аннета сумела заставить его проявлять и лучшие стороны своего «я». Без особых усилий она добилась того, что он стал оказывать широкую поддержку многим общественно полезным начинаниям, не столько благотворительным (им он не доверял), сколько профессиональным и просветительным. Что касается частной благотворительности, то он предоставил Аннете действовать по ее усмотрению; правда, она отдавала ему полный отчет, но он просматривал ее отчеты бегло, и она знала, что к нему не надо с этим приставать. Одной из первых, получивших такую помощь, была адриатическая лань: ее водворили обратно в родной городок на юге Франции и устроили там; она вышла замуж и теперь кормила детеныша, который, засыпая у нее на груди, по временам вздрагивал: быть может, он слышал, как лаяли собаки в лесной чаще.

Но самая большая услуга, какую Аннета оказала Тимону, состояла в том, что она заставила его внести порядок в свою деятельность, отучила делать что-либо только потому, что так ему заблагорассудилось. Она намечала для него цель и, когда цель была достигнута, указывала дальнейшую. При этом она научила его не терять времени по пустякам и не оставлять подстреленного зайца другим. Разумеется, она направляла его в ту сторону, к которой склонялась сама, и с каждым месяцем все более сознательно: в сторону международной социальной перестройки, происходившей вокруг СССР как центра циклона. И уже через несколько месяцев результаты стали настолько очевидны, что партнеры Тимона встревожились. Им не понадобилось слишком много времени, чтобы увидеть, откуда ветер дует. Аннете стали оказывать странное внимание люди, которые старались проникнуть в тайные замыслы Тимона и которые были заинтересованы в его беспорядочном образе жизни; они не сомневались, что, если бы только их компаньон и союзник имел возможность, он с удовольствием свернул бы шею каждому из них; им внушал страх его ум. Им было бы спокойнее, если бы он хоть половину своей энергии бросал на ветер. Они, правда, в завуалированных выражениях, но все же дали понять Аннете, что если она об этом позаботится, то они сумеют ее отблагодарить. Но эта женщина отвечала с такой ледяной иронией, что они потеряли всякую охоту настаивать. Тимон от души смеялся, когда узнал об этом. И в глазах слона загорелся огонек мстительности. Аннета воспользовалась этим озлоблением, чтобы подстегнуть его с удвоенной силой.

И с разбегу он выхватил из-под носа у своих конкурентов великолепное дело, которое они уже считали своим.

– Ты становишься опасной, – говорил Тимон Аннете. – Они тебя похитят, чтобы сломить твою верность. Придется жениться на тебе, чтобы тебя сохранить.

– Это самый верный способ меня потерять, – возразила она. – Только не это, Тимон!

– О, я за этим не гонюсь! – подтрунивал он. – Но ты можешь быть уверена, что они ни перед чем не остановятся, чтобы тебя уничтожить. Если бы это было в Чикаго (а чикагские нравы у нас привыются меньше чем через десять лет), они бы уже это сделали.

Она не стала говорить Тимону, что дело к тому идет. Недавно она получила из Сан-Франциско коробку фиников. Имя отправителя было ей незнакомо. Финики были до того хороши, что ей захотелось их съесть. Но у нее возникло сомнение... Она отнесла коробку для анализа в бактериологическую лабораторию одной польки-бактериолога, которая иногда помещала статьи в газете Тимона. Анализ обнаружил в финиках датурин. Аннета выбросила коробку, не сказав ни слова Тимону. Прибыла также банка икры из Турции, но тут Аннета даже не сочла нужным обращаться к анализу. После этого посылки прекратились. Замысел потерпел неудачу. Аннета насторожилась и все смотрела, откуда, из какого угла может снова прийти опасность. Тимон тоже насторожился, хотя ничего ей не говорил. Ни один из них не считал нужным тревожить другого. Но их бдительность была разбужена, общая опасность, тайная забота друг о друге сближали их.

Во время поездки в Вогезы, когда они после ужина выходили из ресторана, шофер Тимона, человек, ему преданный, служивший у него уже много лет, внезапно захворал какой-то странной, мучительной болезнью. Бесполезно было устанавливать причины; оставалось только поручить заботы о больном врачу. А так как Тимону необходимо было во что бы то ни стало вернуться в Париж, он нашел в указанном месте другого шофера. Но, внимательно оглядев его, Тимон почувствовал к нему недоверие и отказался от его услуг. Он тщательно осмотрел автомобиль и увидел, что треснул один очень важный винт. Тогда он нашел единственный имевшийся в деревне автомобиль, предложил за него такую цену, которая исключала всякую возможность отказа, и уехал с Аннетой, но уже другой дорогой. В пути они поделились некоторыми наблюдениями, сделанными за последние месяцы. С тех пор Тимон никому, кроме Аннеты, не доверял проверку автомобиля перед отправлением в свои таинственные поездки. Он научил ее вести машину, чтобы в случае надобности она могла заменить его за рулем.

Он видел, что угрозы скопляются над его головой, и это разжигало его плебейскую ярость. Он отвечал нападениям. Он подкапывался под своих противников. Он с диким злорадством разоблачал политические и финансовые происки короля-нефтяника, как он называл сэра Генри Батавского. (Это было еще самое ласковое название – обычно он прибегал к другим.) С каждым днем он все больше втягивался в борьбу против лагеря антисоветской коалиции. Это не исключало его неприязни к коммунизму, но он ненавидел и презирал его противников. Теперь у него уже не было иного выбора. Борьба завязалась не на жизнь, а на смерть. Он чувствовал, что противники окружили его своими шпионами, своими полицейскими, и тоже окружил их своими агентами, и нередко эти агенты служили обеим сторонам. За последние пятнадцать лет политика и аферы так тесно переплелись с государственной и частной полицией, что все эти звери в конце концов образовали единое целое. И уже нельзя было разобрать, кто кого держит в руках. Чаще всего их усилия сводит на нет взаимный шантаж. И это хорошо! Разве в наших государствах нет отважных префектов полиции, которые никого и ничего не боятся, потому что располагают секретными документами и могут скомпрометировать всех политических деятелей, из всех партий? Разве сами эти висельники не держат шантажиста в петле, которая болтается под перекладной?.. Враги вступают между собой в тайные союзы, в существование которых трудно было поверить. Но для Тимона такие союзы перестали существовать. Он разорвал эти «кочки бумаги». Он сам себя поставил вне закона джунглей. Британский трест, который его содержал, бросил на произвол судьбы его газету. Тимон немедленно передал ее враждебному

лагерю – крупному американскому тресту, и тот поднял ее на прежнюю высоту. Тимон стал вести подкоп под своих вчерашних союзников. Но затея оказалась гибельной. Новые союзники пользовались им только в своих целях. Он рисковал быть раздавленным между двумя враждующими лагерями. Он уже не чувствовал себя спокойно в Париже и сколотил новое предприятие – обширный промышленный картель, который должен был повести борьбу против гегемонии англосаксонских дельцов. Дело требовало его переселения за границу.

Это были месяцы напряженной работы. Аннета принимала в ней самое деятельное участие. У нее не хватало времени думать о выпадах газет, которые понемногу стали брать ее под обстрел. Тимон больше беспокоился за нее, чем она сама, и бушевал; у него были свои способы внушать головорезам уважение. Но Аннета не видела никаких оснований ставить наемников Тимона выше наемников его врагов: «Капулетти!.. Монтеки!..» И те и другие – бандиты!

– Доставь мне удовольствие, Тимон, избавь меня от опеки твоих разбойников!

– Ты предпочитаешь, чтобы тебя обливали помоями?

– Пусть себе болтают! И она пожимала плечами. Что ей до общественного мнения?..

Впрочем, нет, одно уязвимое место у нее было – своя ахиллесова пята; что о ней станет думать ее мальчик? И из-за него презируемое ею общественное мнение приобретало силу. Вонь могла дойти до Марка. Ей надо было соблюдать большую осторожность, чтобы не подать никаких поводов думать, будто из своей службы у Тимона она извлекает какие-то неблагоприятные выгоды. И хотя Марк больше к ней не приходил и не мог ничего знать, одна мысль о том, что она может его обмануть, приводила Аннету в ужас, и она отказывалась от всех подарков, которые ей предлагал Тимон, хотя и считала их естественными и честно заслуженными. В самом деле, что ж тут такого? Разве ее труд и опасности, с ним сопряженные, не окупали их сторицей? Нужно ли говорить, что ей больше всего было жаль нарядов, от которых она раза два отказалась? Кому был нужен ее отказ? Если бы дело касалось только ее одной, она предоставила бы волю злым языкам. Но однажды, всего лишь один раз, она приняла простое, красивое, хорошо сшитое платье, которое ей понравилось, и надо же было, чтобы именно в этот день она встретила Марка! И каким взглядом он смерил ее с головы до ног! У нее от этого взгляда все тело залилось краской. Она заторопилась домой, чтобы поскорей снять злосчастное платье, повесила его в шкаф и больше никогда не надевала. (Иногда она открывала все-таки шкаф, чтобы взглянуть на него – с нежностью и с досадой.) Но это не помогло. Ревнивый сын не забыл. Она категорически запретила Тимону делать ей какие бы то ни было подарки. Она обрекла себя на скромную жизнь, какую вела и раньше, все в той тесной квартирке. Она отчетливо представляла себе, каким инквизиторским взглядом Марк стал бы все осматривать, если бы пришел к ней.

Она не скрывала от Тимона причину своего «воздержания», которое ей самой было не по душе (она не отказалась бы от некоторого комфорта: в пятьдесят лет ценишь его лучше, чем в молодые годы). А Тимон смеялся над ним.

– Черт побери! – восклицал он. – Ты бы меньше церемонилась, если бы собиралась наставить рога своему мужу!

Она отвечала таким же тоном:

– Конечно! Само собой разумеется! Муж берет то, что ему дают. То, что бог даст, он может взять и обратно. Но чего и сам не может – это оторваться от сына. Сын вышел из его дома, и дом принадлежит сыну. Он обязан сыну отчетом. А я обязана отчетом моему сыну. Муж всего только жилец. А хозяин моего дома – сын.

– А что он для него делает? Ничего! Я управляю твоим домом, я делаю его доходным.

Аннета смерила его взглядом:

– Я не доходный дом... Не заботься о моем доме! Ключ у меня, и у меня он останется... Дружище Тимон, я тебе благодарна, но давай заниматься твоим домом! Ты мне платишь за то, чтобы я им управляла. Не будем тратить времени на болтовню!

Бывало – после нескольких дней, а иногда и ночей, напряженной работы – Тимон

принуждал ее хоть немного отдохнуть. Он говорил ей:

– Кончится тем, что ты заставишь меня уважать человечество.

Аннета возражала:

– В уважении оно не нуждается. Ему нужен воздух и хлеб. Старайся не раздавить его! Вы так тяжелы, так тяжелы, Тимон! Дышать невозможно. Зачем вам столько земли? Одной ямки достаточно – на кладбище.

Тимон решил обосноваться в Брюсселе, откуда ему предстояло часто выезжать в Германию, в Лондон и т. д. Аннета не без колебаний согласилась поехать с ним. Чтобы уломать ее, он поступился всей своей гордостью. Она уже видела его в трудные минуты (быть может, они были лучшими), когда его охватывало мрачное желание все переломать, все сокрушить, опрокинуть на себя дом, чтобы вместе с ним под развалинами погибли и люди. Усталость, отвращение, неудачи в личной жизни, о которых он не говорил...

Покончила с собой – красивая молодая парижская актриса. Он увлекся ею, решил ею овладеть, купил ее и отправился с ней в морскую прогулку на своей яхте. Но в день, когда гнет хозяина оказался слишком тяжел, она утопилась, чтобы избавиться от него... Этот несокрушимый человек был потрясен до глубины души. Он, который без тени раскаяния переступил через столько разрушений, на сей раз не мог, неизвестно почему, освободиться от укоров совести. Быть может, удар пришелся в минуту душевной слабости. Быть может, он был слишком глубоко захвачен своей страстью, а сам считал ее только эпизодом и потому не оберегал, и понял ее неповторимую ценность лишь после того, как сам все разрушил? Он открылся только Аннете; затем последовали другие признания, и они раскрыли Аннете все жалкое, все лучшее, все человеческое, что таилось в этом циклопе. Выслушивая его исповедь, она принимала на себя перед ним известные обязательства. Но одновременно она получала и права. Он молчаливо признавал их. Благоразумие не позволяло ей злоупотреблять ими. Она и не позволяла себе этого, но она пользовалась ими для того, чтобы осторожно направлять деятельность Тимона по тому пути, который считала в социальном отношении наиболее правильным. Однако, как ни мягко было давление ее руки, оно не ускользало от Тимона и даже нравилось ему, – он не мешал ей: это ничуть не противоречило его самому затаенному желанию. Ему недоставало только веры, чтобы самому хотеть того же. Аннета верила, и это не было ему неприятно. Это освежало Тимона, терзаемого горьким сознанием бесплодности своей бесцельно растрачиваемой воли; он вполне мог доставить Аннете удовольствие и поступать так, как если бы он тоже верил.

Мало-помалу он втягивался в игру. В капиталистической крепости он становился той армией, которая переходит к врагу, – так варвар вступал в римские легионы и собирался открыть ворота неприятелю. Теперь, не давая себе труда скрывать это, он противодействовал империалистической коалиции, которая – за невозможностью организовать интервенцию – старалась задуть СССР экономической блокадой. Он срывал блокаду, заключая с Россией торговые договоры, – конечно, не ради ее прекрасных глаз: он извлекал из этих договоров немалую выгоду. Своих противников он доводил до отчаяния. Не желая уступать ему, они тоже добивались соглашения с пролетарским миром, как им ни хотелось его раздавить. Их перебежки на сторону врага расшатывали коалицию. Вокруг Тимона сгушлась ненависть. Ему собирались перебить хребет. Он это знал. И уж, конечно, в такую минуту, когда Тимон намеревался ринуться в пекло, когда он сколачивал стальной картель, этот боевой механизм, при помощи которого он думал разрушить господство всемогущего англосаксонского механизма, – в такую минуту Аннета не могла оставить его. Она была единственным близким человеком, которому он мог довериться.

Ей трудно было решиться. Она больше не хотела уезжать далеко от сына.

Хотя внутренняя отчужденность внешне еще оставалась между ними, однако у обоих было достаточно времени, чтобы обо всем поразмыслить и даже сказать: «Mea culpa». Аннета готова была избавить Марка от первого шага. Но с тех пор, как произошла история с платьем, мрачный дурачок не переставал дуться в своей конуре. Неужели они так и расстанутся, не рассеяв этого глупого недоразумения? Уходило время, уходила жизнь, а

потом и сам уйдешь навсегда... Однажды утром она ему написала:

«Дорогой мой мальчик! Я уезжаю на несколько месяцев из Парижа. На сей раз я буду не так далеко. Не на много дальше, чем мы были с тобой весь этот год. Но я больше не могу ни уехать, ни оставаться, не обняв тебя.

Не покажешь ли ты ко мне свой носик? Если ты считаешь, что я в чем-нибудь виновата (думаю, что ты ошибаешься, но не настаиваю на этом), то прости меня. Но, простишь или не простишь, все равно приходи, поцелуй меня!»

Он еще не успел получить записку, как их толкнул случай. Проходя мимо церкви св. Евстафия, Марк прочитал, что там будут исполнять «Заповеди блаженства» Цезаря Франка. Он горел желанием послушать музыку. Это была жажда измученной души. У входа на дешевые места толпилась масса народа.

Воспользовавшись давкой, Марк сумел проскользнуть «зайцем»; его окликали, но он протиснулся вперед и затерялся в толпе, – теперь уже другие прорывали плотину, а о нем забыли. Вместе с сотнями слушателей он погрузился в озеро грустной музыки, чистой, как ребенок, и мудрой, как глаза старца. И бессолнечный свет потухавшего дня колыбался, подобно Христу, шествующему по водам. Марку эта музыка была почти незнакома, она была слишком далека от современной молодежи. Но сердце его было правдиво, чутье достаточно верно, и он даже еще острее мог постичь красоту чуждой ему души, почувствовать, что его душе не хватает надежд, не хватает хотя бы страданий, которые облагораживали ушедший век, увенчанный тем самым терновым венцом, каким был увенчан его бог. И он не без зависти думал:

«Блаженна скорбь, если она несет в себе обетованную радость!..» Хор пел:

«Блаженны плачущие, ибо они утешатся...»

И внезапно, как он ни удерживался, слезы брызнули у него из глаз. Он повернулся лицом к колонне, возле которой стоял, и закрыл глаза рукой.

Никому не пришло бы в голову засмеяться, увидев его в эту минуту, но гордец злился на себя; он всхлипывал, сопел и вытирал пальцами слезы – он стыдился их... И в эту минуту, выпрямившись, он в нескольких шагах от себя, по другую сторону колонны, увидел своими проясневшими после дождя глазами такую же росу, такие же слезы: они текли по скорбному лицу его матери... Она была здесь. Его она не видела... Он спрятался и из-за колонны осматривал ее, изучал, ловил каждое переживание, отражавшееся на ее лице...

А в сердце Аннеты эта музыка будила совершенно иные переживания, чем в сердце Марка. Она воскресала-она сама и вся ее прошлая жизнь. Всякое неумирающее произведение создано из самой сущности своего времени; художник был не один, когда создавал его; он вписал в него все муки, всю любовь, все мечты своих современников, целого поколения. И Аннета тоже внесла свою кровь в эту музыку. Она видела в ней самое себя, как на портрете, который сопоставляют с постаревшим лицом, несущим отпечаток долгих лет разочарования. Она различала в этой музыке вопли скорби разуберившегося в справедливости человека и утешающий голос Судии. Она вспоминала, что когда-то слышала эти звуки в Страсбурге, который тогда был городом немецким, – за девять лет до войны. В ту пору немцы, упоенные гордостью, торжествующие, еще не понимали этой песни попранной справедливости. Аннета, затерянная в толпе крупных белокурых людей, опьяненных радостью победы, думала:

– «Мы те, кого вы победили, – мы понимаем, мы вникаем в эти священные слова. И через это мы, побежденные, становимся вашими победителями. Нам достался лучший удел...»

А теперь положение изменилось. Народ, ранее страдавший от несправедливости, народ Аннеты, ныне сам совершал несправедливость. И «Заповеди блаженства», эта песнь отчаяния и утешения, уже больше к нему не относились. Христос побежденных перешел на другой берег. Увы! Люди лишь в той мере чутки к справедливости, в какой она совпадает с их интересами. Аннета выросла среди поколения, воспитанного на великодушном лозунге «Clona una». И она с болью в душе смотрела, как в глубине своего черствого эгоизма ее

народ, народ-победитель, безотчетно воспринимает лозунг галльского полководца Бренна. Невидимое колесо Судьбы вращалось, вращалось, и могли снова вернуться Мрачные дни... Аннету пронзали семь мечей: воспоминания, отступничество, стыд, угрызения совести, жестокая насмешка, страх искупления, которое все приближалось, и смиренное отречение от жизни. А ее сын прятался за колонной и ловил на лету каждую ее мысль. Он впивал их, он сливался с ними; все, что исходило от нее, казалось ему своим, кровным, – он был в этом уверен. Он испытывал ту же горечь, что и она, – и в одно и то же мгновение, и он знал, почему текут эти слезы, ибо сам скрывал слезы... Внезапно бурный порыв толкнул его к ней. Он пробрался сквозь публику и, подойдя сзади, взял мать за руку.

Она вздрогнула и, обернувшись, увидела лицо сына, который почти касался подбородком ее плеча. Она поцеловала его благодарными глазами, они обменялись братскими взглядами и, рука в руке, не двигаясь, прослушали ораторию до конца.

Их руки разъединились, только когда они вышли из церкви. Но сердца их уже не разъединялись. Не было сказано ни слова о прошлом, не последовало никаких объяснений, никаких упреков, никаких просьб о прощении: оба перечеркнули все старое и поставили на нем крест. Они говорили о том, что перечувствовали только что, – о горечи победы... Ах, если бы побежденные немцы догадывались об этом, если бы они догадывались, что Франции заткнули рот, что ее осквернили своей несправедливостью, своим лицемерием, своим хищничеством политические деятели, которые издают законы, прикрываясь ее именем! Но так обстоит дело у всех народов в послевоенную эпоху. И почти ни один из них уже не имеет сил дать отпор. Это как песок, в котором тонут благие намерения. Марк сказал:

– С каждым шагом увязаешь все глубже. Нас засасывает.

Аннета положила ему руку на плечо и сказала:

– А мы устремимся кверху и спасемся! Если увязли ноги, освободим голову и грудь! Освободиться – это дело всей жизни. Оно будет завершено только со смертью. Большинство – живые мертвецы: они позволяют могильным червям высасывать у них кровь. А мы, мы вырвемся, мы не отдадим себя на съедение болотным пиявкам!.. (Она вспомнила румынские болота.) Поступай, как я! Никогда не уставай! И помогай выбраться тем, кто увяз!

Марк чувствовал, что болотная тина ему по грудь.

Если бы это было не на улице, он бы, как ребенок, обвил руками шею Аннеты. Ее присутствие ободряло его. И он смотрел на нее с любовью, он гордился тем, что она сказала. Как мог он ее заподозрить? Он опирался на ее руку. Ему не было стыдно. Ведь это так приятно – опереться на нее всей тяжестью!

И тут Аннета сказала ему, что должна на некоторое время уехать из Парижа. Он почувствовал горечь сожаления, детский страх. Она заметила, что он вздрогнул, и спросила:

– Я тебе нужна? Ты хочешь, чтобы я осталась? Но гордость немедленно заставила его спохватиться. Он ответил:

– Я могу быть один. Была же ты одна!

Он думал о длительной борьбе, которую пришлось вести матери, о том, как она бедствовала тогда в Париже. Она улыбнулась:

– Я была не одна – ведь на руках я носила тебя.

Он тоже улыбнулся и сказал:

– Надеюсь, я тебе когда-нибудь отплачу.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ВЕТЕР ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Как раз в это время Сильвия вспомнила о своем племяннике. Ее бешеная погоня за наживой и наслаждениями кончилась. Сразу – точно ветром сдуло.

Крах в делах и надорванное здоровье решительно напоминали ей, что пора остепениться. «Что толку бегать! Нужно уметь... остановиться вовремя!..»

Она слишком вкусно ела, слишком вкусно пила. А теперь кровь прилиwała к голове.

Внезапно на нее нападал буйный гнев или буйный смех... После одного из таких приступов на званом ужине ее чуть не хватил удар. Она прекрасно все понимала, она отлично видела себя самое, без прикрас. Даже в минуты ярости, когда она переставала владеть собой, Сильвия твердила себе:

«Без глупостей! Держи себя в руках!..»

Но руки не держали. Жилы вздувались на шее и висках, и она начинала нести околесицу... Стоп!.. Однажды ночью она, наконец, решилась, и предприятие было ликвидировано, особняк продан, все было обращено в деньги. Ее дурак Ги Кокий лопнул, как пузырь, во время одного из кризисов, которые обрушивались и на банки и на правительство. Время было такое, когда парфюмеров снедало тщеславное желание играть роль в политике.

Для этого они содержали правительство, как берут на содержание девку.

Но, положив в карман то, что им причиталось, господа министры надували их самым бессовестным образом... Так им и надо! Не это тревожило сон Сильвии... А сон у нее был тревожный, машина нуждалась в отдыхе, ее надо было всю разобрать и смазать... Сильвия приняла слабительное, поставила себе горчичники, пиявки. И зажила спокойной, буржуазной семейной жизнью.

А семья у нее была. Она получила ее в готовом виде и оформила усыновление. Трое детей в возрасте от четырнадцати до семнадцати лет. Мать, Перпетю Пассеро (она украсила свой бельвилльский носик именем Кармен – именем, за которым неизменно встает образ женщины с цветком граната в волосах, и оно ей шло, как ослице соломенная шляпка), была одной из старых подруг Сильвии по работе и похождениям. С ней были связаны воспоминания молодости, первые схватки с жизнью, трудное начало. Двухдцатипятилетняя дружеская верность... Сильвия не забывала своих старых собак, даже если это была гладко причесанная, немного сумасшедшая, неуклюжая, бестолковая и надоедливая собака вроде Перпетю, которую она молотила кулаками, а та преданно лизала ей щеку. Перпетю глупейшим образом вышла замуж, но от мужа господь ее избавил, а вот от своего сумасбродного нрава она так и не избавилась. Муж, волокита и пьяница, не вернулся с войны. Кармен поспешила заменить его другим. Она не была наделена опасной рассудочностью Сильвии, но подражала ее фантазиям и ее разорительному примеру. Она стала добычей своих любовников. Один из них у игрок, обобрал ее до нитки и довел до того (довел не принуждая, а это особое искусство), что она стала торговать собой, чтобы содержать его. Во всем остальном это была женщина добрая, работающая и вечно во хмелю жизнерадостности. Даже в самую трудную пору не теряла она своего фаталистически доброго расположения духа. Когда же ей пришло время уйти из жизни, она спокойно умерла на руках у одного славного, отзывчивого священника, но не смогла искренне раскаться в своих грехах. Она так чистосердечно и сказала священнику, но тот сделал вид, что не слышал. Зато она послушно пробубнила за ним «Mea culpa», «чтобы доставить ему удовольствие», как она выразилась. Она знала, что умирает, но это ее не волновало. И, только вспомнив о детях, она пролила слезу. Ее утешало то, что она оставляла их на попечение Сильвии. И до последней минуты она беседовала с Сильвией; они говорили о том, что жизнь все-таки хороша (несмотря на все мерзости), говорили о том, как приятно трудиться, говорили и о любовниках.

Троим своим детям она дала нежные имена: Бернадетта, Коломб и Анж.

Каждый из них воспринимал по-своему ее безалаберную жизнь, которую они слишком рано увидели во всей наготе. Двое младших, Анж и Коломб, были близнецы; когда мать умерла, им было лет тринадцать-четырнадцать. Бернадетте было шестнадцать. Анж, мальчик послушный, прилежный, привязанный к семье, проявлял склонность к религии и мистике, и духовенство уловило его в свои сети, – он с ранних лет готовился принять сан священника. Он оказывал влияние на свою сестру-близнеца, умилительно глупенькую, чувственную брюнетку с прекрасными глазами осленка. Брат и сестра жили своей особой жизнью. Они любили друг друга в божестве. Благочестивый Анж любил в своей сестре Коломб именно бога. Однако инстинкт Коломб, который не покидал ее всю жизнь, уже подсказывал ей, что надо

любить мальчика, чтобы любить бога, ибо это его образ и подобие. Старшая смотрела на это целомудренное, манящее, вполне невинное таинство с насмешливым безразличием. Она была создана для одиночества. У нее была своя жизнь, и только своя. Она никого не посвящала в нее. Да и сама не очень в нее вникала.

Она не хотела знать себя слишком хорошо. И никто в мире не понял бы ее.

Она была замкнута. Такой ее сделало соприкосновение с теми кругами Парижа, которые в 1919–1920 годах праздновали окончание войны в сплошных разнузданных оргиях; она насмотрелась на этих обезумевших птичек, которые сжигали себя на огне, и инстинкт оберегал ее от огня. Она не осуждала других с моральной точки зрения. Мораль была у нее на самом последнем месте. Для нее это был вопрос порядка, благоразумия, чистоты, в особенности – чистоты внешней, телесной и чистоты всего житейского обихода...

Слишком уж она настрадалась из-за безалаберной и беспутной жизни своей матери. Поэтому, не будучи по-настоящему глубоко верующей, она все же взяла от религии ее внешнюю броню. Она видела в религии некую сдерживающую силу, необходимую ей для того, чтобы оградить себя от пагубных испытаний, через которые прошла ее мать. Не думать ни о чем таком, чему было бы неблагоразумно открыть доступ в свою жизнь, – таково было правило спасения, которое она себе выработала. Оно нисколько не мешало ей (как раз наоборот!) относиться к своему миру с холодным и горьким чувством, а мир этот был узенький, простенький и размеренный, каким только и бывает мирок скромной мещаночки, проживающей в квартале Мэн. И на ее страстях это тоже не отражалось. Эту сторону своей жизни она держала на замке, а ключи спрятала. Кошелек был крепко зажат в ее сухой руке. Она была отнюдь не лишена способности питать нежные чувства, и даже весьма пылкие.

Но и самым близким людям она уделяла внимание лишь постольку, поскольку их жизни соприкасались с ее жизнью. Остальное ее мало трогало: мистические игры младшей сестры и брата, сумасбродные капризы Сильвии, духовная жизнь Марка, которого Сильвия (мы еще к этому вернемся) нацепила на крючок, вода удочкой перед самым ее носом. Бернадетта не имела ни малейшего желания вступать с ними в какие бы то ни было споры по поводу их образа мыслей. Сюда она своего носа не совала, хотя этот маленький, остренький, крючковатый носик, похожий на клюв ястреба, мог бы, если бы только захотел, быстро все пронюхать. Но каждому свое! Она всецело была занята своим. Впрочем, у нее хватало ума понять, что гораздо приличнее не слишком выпячивать исключительный интерес к своей особе. Перед людьми надо делать вид, что тебя интересуют именно они. Даже Сильвия и та дала ввести себя в заблуждение, по крайней мере в том, что касалось ее лично. А что касается других, то Сильвия смотрела благосклонно, как ловко ее воспитанница дергает их за ниточки. (Сильвия не любила простачков, которые даются в обман, – и сама попалась.) Бернадетта смекнула, в чем ее слабость; она делилась с Сильвией язвительными замечаниями, соразмеряя, впрочем, их язвительность со скрытыми чувствами Сильвии к тому, кого эти замечания касались. А для Сильвии она приберегала свои ласки – ласки худенькой кошки, которая трется у ног хозяина, держащего в руках тарелку.

Не все было фальшиво в ее мурлыкании, в ее изогнутой спине: худая кошка любила руку, которая держала тарелку. В шестнадцать лет Бернадетта готова была сделать своим идеалом султаншу из «Тысячи и одной ночи», какой Сильвия представлялась молодым парижским портнихам. Если она Я не имела данных, чтобы подражать Сильвии в ее Прихотях и наслаждениях, она, однако, чувствовала себя вполне в силах подобрать ее мошну. И она была благодарна Сильвии за то, что та сколотила для нее такую мошну. Сильвия не скрывала, что собирается сделать ее своей главной наследницей, так как Аннета и Марк упорно отказывались получить от нее что бы ТО ни было. А Сильвия не менее упорно добивалась этого и в конце концов придумала, как заставить Марка принять деньги: положить их в постель Бернадетты.

Сильвия намеревалась поженить молодых людей. Но она имела глупость (в таких делах самые умные женщины становятся глупыми) дать им это понять.

Холодная Бернадетта загорелась, как хворост. Марк презрительно отвернулся. Быть

может (кто знает?), он бы еще оценил мускатный виноград, если бы сам его нашел. Но его возмутило, что решают за него, решают, не спросив. Этого было достаточно, чтобы лисица подняла на лозу ножку. Он стал теперь замечать лишь то, что его раздражало во внешнем и внутреннем облике Бернадетты.

А между тем она была не лишена привлекательности. Она была худа, но хорошо сложена и изящна, быть может, чересчур смугла, однако приятна.

(Худоба – это в известном смысле мать сладострастия.) А главное, она отличалась чисто парижским умением использовать свои недостатки. Чуть-чуть косметики, платье простое, но сшитое с большим вкусом, безукоризненные линии... А это было не последним достоинством в глазах Сильвии. Бернадетта была бы похожа на статуэтку из Танагры, если бы не головка, которая напоминала головку кобчика. Но даже эта круглая головка, в которой было что-то упрямое, не нарушала общего впечатления: она сама была стильной и в стиле всей вещицы. Когда Бернадетте этого хотелось (но это бывало только, когда на нее смотрел Марк), ее иссиня-черные глаза загорались, преисполнялись нежности, в них сверкал живой ум, их манящий взгляд мог бы расшевелить покойника. Но на Марка они производили обратное действие: он взвизывал на дыбы. И тем стремительнее, что против его воли они волновали его: он со злостью вырывал жало.

Сильвия не могла понять, почему племянник отвергает счастье, которое она ему предлагала, это прочное и тонкое парижское изделие (она-то знала толк в таких вещах!). Не дешевка какая-нибудь, материал добротный, и надолго: скорей человек износится, чем такой материал; девушка честная, работающая, толковая, наделенная (кроме приданого) живым, ясным, практическим умом. И, кроме всего прочего, она приносила этой жалкой обезьяне нетронутую девственность и сердце, не искушенное в любви, сердце, горевшее им одним... Вот мартышка!.. Бернадетта открылась ей во всем. И хотя Сильвия в глубине души была восхищена, однако она ворчала и стыдила девушку за то, что та загорелась страстью к такому скверному, такому некрасивому, глупому и гордому мальчишке, нищему, как Иов, и, как Иов, сварливому. (Бернадетта была того же мнения и еще больше любила его за это!) Сильвия убеждала Бернадетту, что Марк ее недостойн, что для него было бы большой честью, если бы Бернадетта вышла за него... Однако если бы Бернадетта поймала ее на слове и стала бы это повторять как свое собственное мнение, Сильвия намылила бы ей шею! Сильвия сказала бы ей, что она недостойна развязать ремень на ноге ее племянника: она чертовски им гордилась! Сильвия считала, что поносить его может только она, потому что она надела на него первые штанишки, когда он был малышом, и она же сняла их с него. Он весь принадлежал ей, с головы до ног! Но почему, черт побери, это животное отказывалось лечь в постель, которую она ему приготовила? Сначала она стыдила Бернадетту за любовь к Марку, потом стала стыдить ее за то, что она не умеет заставить себя полюбить. И для самолюбия Бернадетты этот упрек был гораздо чувствительнее. Они обсуждали, как залучить этого дуралея. И так как цель была благая, то все средства были хороши: можно даже подкрашивать себе мысли, как подкрашивают мордочку. Сильвия внушала Бернадетте, что подцепить рыбку на крючок можно, лишь проявляя интерес к умственной жизни Марка, к его политическим взглядам. (Бедняжка слегка помешался, но все мужчины более или менее таковы!..) Бернадетта добросовестно старалась извлечь пользу из этих наставлений. Но ее похвальные усилия привели к тому, что положение, и без того неважное, стало совсем плохим. Невозможно создать себе красоту умственную так, как создаешь себе внешнюю привлекательность. Мещаночка была далеко не глупа, но лишь в своих естественных границах. Едва переступив их, она становилась напыщенной и начинала бестолково повторять заученные истины: кобчик превращался в попугая. Марк был не настолько вежлив, чтобы скрывать свои впечатления. Смертельно оскорбленная, Бернадетта решила больше не отстаивать передовых позиций. Она послала к черту, про себя, конечно, Сильвию и ее поучения и отступила на прежние рубежи.

И правильно сделала. Но в борьбе не имеет значения, прав ты или нет; в борьбе нужна победа. Победы она не добилась.

Она уже больше не служила Марку обедню, она предоставила эту возможность ему (какую угодно обедню – ей это безразлично!). А она будет присматривать за церквушкой, содержать ее в порядке, вытирать пыль. Ему – кафедра и алтарь. Ей – заботы о святой воде. Разве это не могло бы все устроить к обоюдному удовольствию? Он был бы волен говорить и думать что ему заблагорассудится. Она занялась бы материальной стороной жизни. Это не так уж мало! Для нее этого было бы вполне достаточно, если бы у нее был муж. Остальное ее не интересовало.

Но единственное, что интересовало Марка, было «остальное». Конечно, при условии, чтобы была и девушка в объятиях – красивая или некрасивая, но которая нравилась бы ему. Бернадетта ему не нравилась. И материальную обеспеченность, которую она ему предлагала, он не ставил ни в грош.

Больше того, он насторожился, у него возникли подозрения. Для такого молодого человека, как Марк, добиться полной материальной обеспеченности значило все закончить, ничего не начав. Он гонялся за тем, что от него ускользало и что ловить было опасно. А благополучие такой девушки, как Бернадетта, приобреталось по очень дешевой цене. Ограниченность умственных запросов заставила ее, еще не достигнув двадцати лет, огородить свой сад, – меньше чем сад: дворик при мещанском домишке, и не думать о том, что происходит за пределами ее квартала... Так, в эпоху Коммуны мелкие буржуа с улицы Кассет не знали, что в других кварталах идут бои и что там стреляют... Марк, наоборот, вдыхал запах пороха и чуял кровь во всех уголках города. Он слышал, как под его ногами рушится вселенная мысли.

Он вынужден был жить, погруженный по горло в революции, вспыхивавшие по всему земному шару, вынужден был присутствовать при чудовищных родах, помогать им... Бернадетта, конечно, знала, какие в мире происходят потрясения; любая парижская девушка читает о них в газете после мелких городских новостей, происшествий, фельетона, отдела мод, спорта и объявлений, если у нее есть время! Прежде всего дело: мы живем не для забавы!

«Пусть уж мужчины спорят часами о том, что происходит в Китае или у этих большевиков, которые украли у нас наши русские акции!» Нам же надо заниматься своей работой, своими счетами, своей кухней, своей постелью и следить, чтобы в квартире было чисто и прибрано! А о всяких чудачествах, которые происходят в мире, и думать не стоит: как пришли они, так и уйдут... Все теории Бернадетта считала вздором. Она довольствовалась теми моральными и социальными условностями, которые выработали, проверили, спаяли своим трудом и сберегли устойчивые поколения буржуа. Религия занимала здесь свое место – нетребовательная католическая религия, с верой или без веры, но практичная и педантичная; она содействовала порядку, она его и укрепляла. Этим Бернадетта отличалась от неверующей Сильвии.

Та никак не могла воздержаться от едких шуточек по адресу кюре, особенно молодых, – она называла их «крысятами», но Бернадетте не мешала. Снисходительно над ней подшучивая, Сильвия бормотала сквозь зубы, что небольшая доза ханжества со стороны жены является, «в общем», для мужа лишним залогом семейного благополучия.

«В общем» это было не совсем так!.. С виду уравновешенная, холодная и рассудительная, Бернадетта, не таившая, казалось, в себе никаких неожиданностей, каждый месяц переживала странное смятение, длившееся целую неделю. У нее менялся характер; она все видела и все слышала другими глазами и другими ушами; она переставала владеть рулем. А ведь на дороге ямы и деревья! Казалось, машина вот-вот на что-нибудь налетит... Так как эта опасность стала хронической, Бернадетта научилась предвидеть ее приближение и устраивалась так, чтобы на это время отойти как можно дальше в сторону; в ней выработалось умение владеть собой, и это помогало ей все скрывать. Но именно в эти часы подстерегали ее и бродили в ней ненависть и любовь, желание, зависть и ревность, все порывы тела и души, все самые низкие помыслы неутоленного и необузданного темперамента. Она всегда находилась на волосок от самых непостижимых выходов. Но

догадаться об этом можно было только по розовым волнам, которые внезапно заливали ей шею и, отхлынув, оставляли на щеках зеленоватую бледность. Она трепетала, она разрывала себе рот удилами, она бывала близка к обмороку и овладевала собой лишь в последнее мгновение. В сущности, все эти опасности и страдания сводились к одному – к сладострастию. Она не делила его ни с кем.

Марк ни о чем не догадывался. И – кто знает? – быть может, если бы знал, то заинтересовался бы ею. Он был из тех, кто инстинктивно и самым нелепым образом тянется ко всему опасному, темному, к мрачной бездне: жаркая ночь сулит богатства, которые серый день обесценивает. Такие люди больше всего в жизни боятся однообразия. В этом отношении он был, на свою беду, истинным сыном Аннеты! Ей не раз приходилось за это расплачиваться, и больше всего ее мучило, что расплачиваться будет еще и ее сын... Даже если бы Марк заметил, какая бесформенная, какая рептильная жизнь копошится в Бернадетте, на дне лужи (она копошится в глубине почти каждого из нас), он и тогда оказал бы ей не больше внимания, чем оказывал плоской поверхности этой лужи – холодной жизни скучной мешаночки.

Сильвия была менее благоразумна, чем Бернадетта, которая умоляла ее не вмешиваться. Она настойчиво, но тщетно расписывала племяннику достоинства жены, которая с мудрой бережливостью управляла бы строго ограниченной областью домашней жизни и охотно предоставила бы ему полную свободу за пределами домашнего очага. Но для нашей эпохи уже не подходит семейный идеал хозяйчика, который ценности хранит в банке, а проценты и жену получает по купонам. Наша эпоха не может запирается дома, ей нужны постоянные перемещения, – вернулся век *Wanderer'a*!¹¹⁴ Способна ли жена стать спутником «странника» и делить с ним постоянную неустойчивость жизни, каждодневную физическую и моральную неустроенность? Вот в чем был вопрос... Если бы его задали Бернадетте, она бы вздохнула, но ответила твердо, что готова отказаться от домашнего очага: она любила Марка!

– Да, я так хочу, – сказала бы она. – А значит, могу.

И она бы могла, по крайней мере в течение известного времени. Она была смела. Ради того, что она хотела, что любила, она пошла бы на любой риск. Но как бы ни было искренне это «да», за ним последовало бы только тело; душа – нет. Выполнение обещания лежало бы за пределами ее возможностей. Напрасно бы она старалась: если бы она вышла из своей скорлупы, она бы погибла. И неизбежно стала бы сопротивляться (это было ее право).

Она оказалась бы камнем, привязанным к ногам мужа, и тянула бы его назад. И в конечном счете страшная сила женской инерции сломила бы порыв мужчины, если бы, поднимаясь в гору, ему пришлось волочить тяжесть, прикованную к ногам.

Инстинкт Марка оказался мудрее, чем все расчеты Сильвии, задумавшей построить его счастье наперекор ему самому. Сильвия была не прочь стреножить его, чтобы помешать ему свернуть себе где-нибудь шею. Обе женщины, из коих одна была весьма искушенная, а другая несколько не была искушена, вступили в молчаливый и тайный заговор. Своим подозрительным носом Марк это учуял. И с тех пор он совсем перестал выносить Бернадетту.

Чем больше Сильвия ее расхваливала, тем грубей Марк отвечал ей. Дело зашло так далеко с обеих сторон, что однажды, в минуту апоплексической бури, вся налившись кровью и считая, что у нее ничего не вышло, Сильвия хлопнула дверью перед самым носом Марка и, вылетая как фурия, бросила ему:

– Пошел ты ко всем чертям, оборванец! Ступай подыхай с голоду!

И молодой оборванец ушел подыхать с голоду.

А Бернадетта так и осталась на раскаленных углях, – с героически холодным лицом, но затаив в себе огонь и злобу.

¹¹⁴ Странника (нем.). Имеются в виду «Годы странствий Вильгельма Меистера» Гете.

Однажды, когда у Марка в кармане было всего несколько франков на пропитание, он зашел «пропить» их в кафе. Разумеется, как можно скромней!

Он не мог дать волю своему безрассудству: не было средств!.. Но когда он бывал утомлен, как в это утро, когда он чувствовал отвращение ко всему, когда у него не было аппетита, он не мог идти в трактир, есть там плохое мясо, да к тому же еще скверно приготовленное: это вызывало у него тошноту. Он предпочитал чашку черного кофе с рюмкой виноградной водки: это подбадривало, правда, во вред желудку. В кафе он находил еще одно возбуждающее средство: газеты. И вот на первой странице одного листка он внезапно увидел чей-то явно искаженный портрет. Но он моментально узнал этот низкий, изрытый морщинами лоб, тяжелые складки над глазами, лицо разъяренной гориллы... Симон... Симон Бушар... Это был он! Над его головой, как над стойкой мясной лавки, хозяева вывесили широковегательную рекламу:

«Убийство в экспрессе. Бандит задержан...»

Марк не заметил, как опрокинул рюмку. Он читал, не видя, что читает.

Он перечел еще раз, стараясь разжевать каждое слово. Факт не оставлял никакого сомнения. В экспрессе, шедшем из Парижа в Вентимиллю, между Дижоном и Маконом ночью был задушен во сне пассажир спального вагона.

Убийца, застигнутый в момент, когда он выходил из купе, соскочил с поезда на ходу и упал на насыпь, где его и нашли; лицо у него было разбито, бедро сломано. Убитый был известный парижский финансист, член правления многих акционерных компаний. Убийца – сбившийся с пути интеллигент, анархист, коммунист... Буржуазная печать до сих пор не отличает анархистов от коммунистов... (Она хочет казаться глупее, чем она есть на самом деле: ей выгодно путать их.) И, уж конечно, «в деле чувствовалась рука Москвы»...

Марк был потрясен. Он ушел, не допив кофе. Он не отдавал себе отчета, что делает, и на бульваре все повторял про себя: «Симон!.. Симон!..» – не замечая прохожих, на которых не наталкивался только потому, что им руководил инстинкт лунатика. Он смутно вспоминал дни, проведенные с Бушаром, и, безотчетно ища для него оправдания, как на допросе в суде, Марк вспоминал главным образом первые дни, первый период их знакомства, когда Бушар только что приехал из провинции, – неотесанный, честный, нетронутый и твердый, как камень. Марк почувствовал в нем тогда добросовестность жеребца-першерона, который никогда не подведет: могучая шея, крепкие бабки – хороший производитель. Каким беспомощным чувствовал себя Марк рядом с ним, каким рыхлым, каким открытым для всех видов гниения, которые существуют в больших городах! Если бы ведьмы из «Макбета» сказали им: «Один из вас двоих сложит голову на эшафоте» – Марк с испуга схватился бы своими нервными руками за шею. Он был так уверен в Симоне и так не уверен в себе! Что сделал Симон? Что сделали с ним? Кто сделал? Все!

Весь этот ужасный послевоенный мир. И мы первые...

Взгляд Марка наткнулся на тяжелые глаза Верон Кокара. Тот сидел на террасе кафе и усмехнулся, заметив Марка. А Марк пробрался к нему между столиками и, не садясь, сказал сдавленным голосом:

– Верой! Ты знаешь? Продолжая усмехаться, Верон ответил:

– Знаю. Этот идиот попался. Я так и думал! Ему пустят кровь...

У Марка все поплыло перед глазами. Кровь Симона застлала ему взор. Он ринулся на Верона, схватил его за толстую шею и прижал к стенке, крича:

– Убийца!.. Это ты, ты его убил!..

Верон-Кокар пришел в ярость. Он высвободился и стал колотить Марка своими здоровенными кулаками в грудь, потом швырнул на стол, и Марк уселся на блюдца и пивные кружки. Посетители шумно запротестовали, и непрошенный гость был сейчас же удален. С тротуара, где уже стал собираться народ, Марк снова увидел Верона. У того глаза вылезали на лоб, он потрясал кулаком и кричал Марку:

– Смотри, мерзавец, лучше мне не попадайся! Не то я тебя потащу в полицию...

Двое полицейских переходили Бульвар. У Марка от ярости дрожали ноги.

Он пристально посмотрел на Верона через головы тех, что стояли между ними, и сказал:

– Осел! Значит, ты тоже служишь в полиции? Дальше идти некуда!

Верон зарычал и принялся всех расталкивать, чтобы броситься на Марка.

А тот ждал его, скрестив руки на груди. Но тут в дело вмешалась женская рука. Проститутка, которая знала Марка, оттащила его.

– Ты сошел с ума, мой милый! – сказала она. – Нечего тебе тут торчать! Тебя изуродуют!

Она отпустила его, только когда они свернули за угол. Он не слышал ничего из того, что она говорила. Лишь позднее, пройдя две улицы, он вспомнил эти усталые, припухшие веки и кроваво-красную краску на тонких губах, которые на прощанье братски улыбнулись ему. Он подумал:

«Если бы эта добрая самаритянка встретила Симона, он, вероятно, был бы спасен».

Марк тщетно старался вспомнить, как ее зовут. Но жгучая мысль о трагедии Бушара затмила ее образ и ее имя. Он все продолжал повторять: «Симон... Симон...» А насмешка Верона поднимала в нем неистовую злобу. Он говорил себе:

«Этот мерзавец, вот кто сбил его с пути! Он отравлял его алкоголем.

Он привил ему жажду золота и женщин. Так библейским лисицам привязывали пылающие факелы к хвостам... Потом он бросил его, обезумевшего от мучений, отпустил на все четыре стороны – в поля, поджигать хлеб. А теперь ему, прохвосту, нет дела ни до казни, ни до пожара – он потирает руки...»

И тут его длинные руки стали чесаться от желания убить... Но он заметил, что на него смотрят, сделал над собой огромное усилие, вонзил ногти в ладони и, сразу обретя хладнокровие, стал обдумывать план действий.

Нельзя было дать Бушару погибнуть! Надо было трубить сбор товарищей... Всех товарищей! А где они? И остались ли они товарищами?..

Жан-Казимир служил в Праге, он был вторым секретарем посольства. Адольф Шевалье, личный секретарь одного министра, вечно в разъездах и на банкетах. Очень им нужен Бушар! Но надо их заставить. Где их найти? О Жан-Казимире и думать было нечего! Марк нацарапал ему в почтовой конторе бессвязную и дерзкую открытку, которая могла лишь оскорбить. Когда он опустил ее в ящик, ему захотелось вынуть ее. Поздно!.. Поздно или не поздно, на Жан-Казимира рассчитывать нельзя... Этот не потратит вечера, чтобы спасти утопающего. Марк стал охотиться за Шевалье. Правда, он не проявлял особой симпатии к Бушару, но всегда признавал, по крайней мере в принципе, чувство товарищества. Быть может, это чувство подскажет ему, что лучше затушить скандальное дело? Кроме того, через жен министров он может проникнуть всюду... Марк побежал в министерство на улице Гренель.

Там его толкнули, как бильярдный шар, и он покатился на проезд Булонского леса, к Шевалье, в его роскошную квартиру. Но не застал дома. Тогда он кинулся во Дворец правосудия и там нашел наконец Шевалье. Тот сидел на важном совещании, окруженный разглагольствующими тогами. Репортеры в надежде поживиться слушали их, вытянув свои головы, как у ржавых селедок. Шевалье, не прерывая речи, сделал Марку покровительственный знак рукой, а потом, закончив тираду, увел его; широко шагая, слушая одним ухом, со страшно деловым видом он спросил:

– В чем дело, дружище? Что ты хочешь мне рассказать?

Но едва Марк заговорил, Шевалье сказал:

– Прости! И подошел пожать руку проходившему мимо адвокату. Марк ждал. Шевалье не спешил возвращаться. Марк ждал. Шевалье пенял, что эта скотина будет ждать до вечера. Он вернулся, но как только Марк снова обратился к нему с просьбой, остановил его, сделав широкий патетический жест и как бы говоря: «Вот несчастье!» Но этот жест вполне мог означать и другое: «До чего ты мне надоел!»

– Да, да! – сказал он. – Печально! Но что мы можем сделать?.. Теперь слово

принадлежит закону...

Он торжественно вскинул подбородок, улыбнулся направо, улыбнулся налево и пробормотал:

– Я тороплюсь... Извини... Да, как твоё здоровье? Я тебе дам знать, как-нибудь на днях позавтракаем вместе... Прощай, дорогой!

И убежал.

Марк застыл на месте. Отвечать было нечего. Каждое животное остается верным своей природе. Собака – всегда собака. Кошка – кошка. Волк – волк. Я – волк. Что же я делаю здесь?..

Он пошел домой... Но он не мог оставаться один на один с самим собой, когда на душе у него была такая тяжесть. Несмотря на усталость, он искал предлога, чтобы оттянуть момент возвращения в свою комнату. Он ухватился за мысль о Рюш. Марк давно уже перестал с ней встречаться. Между ними был лед. Любопытно, что охлаждение началось сразу после той ночи, когда Рюш поддержала его и когда они, взявшись за руки, лежали каждый в своей постели. Они избегали друг друга. При случайных встречах Рюш делала вид, что не замечает его, или же у нее появлялась враждебная улыбка. Марк ничего не понимал, но не старался выяснить, в чем дело.

А сейчас ему нужна была женщина, товарищ, которому он мог бы переложить на сердце (хотя бы и враждебное) то, что его угнетало. Женщина – всегда женщина: мать, сестра. Как бы ни была холодна ее голова, но сердце у нее теплое, и оно трепещет всеми страстями мужчины, оно сочувствует; к нему всегда можно прикинуться головой, когда бывает тяжело ее носить. Женщина – это гнездо.

Он поднялся на антресоли под громадой Валь-деграс и постучал.

– Войдите!

Было поздно. Комната была погружена во мрак. Генриетта лежала, вытянувшись, в глубине, в нише, ее короткая юбчонка задралась, ноги, длинные, как у борзой, были обнажены; одна нога свешивалась на ступеньку алькова. Генриетта не сделала ни малейшего движения, чтобы ее прикрыть.

Марк медленно приближался, она смотрела на него безразличным взглядом. И прежде чем его расширившиеся зрачки успели освоиться с темнотой, он уловил своеобразный запах и услышал потрескивание: Генриетта собиралась курить опиум. Он не стал тратить время на споры по этому поводу. Ему надо было прежде всего выложить то, что у него было на душе. Он все говорил, говорил, хотя она не спрашивала. Он рассказал о Бушаре, о Вероне, о Шевалье, о пережитых за день тревогах, о своем возмущении, о своем горе, о своем ужасе. Он ждал от нее не совета (впрочем, кто знает? Как дочь прокурора, она, пожалуй, лучше других понимала, чем все может кончиться), но хотя бы простого слова, крика жалости, даже еще меньше – ее руки, которая в темноте нашла бы его руку и пожала, как бы говоря: «Дорогой ты мой!..»

Она ничего не сказала, она ничего не сделала, она слушала, она ждала.

Он тоже ждал. Ничего не вышло. Теперь он ее видел ясно: она лежала на спине, вытянувшись во весь рост, голова у нее была ниже живота, одна рука и нога свесились. Она лежала неподвижная, бесстыдная, безразличная, уставив на него холодный взгляд. И в этом взгляде он прочел то, что всегда подозревал, но чему всегда отказывался верить, в особенности перед лицом такой трагической развязки: чисто женскую антипатию к Бушару, безмолвную, глубокую, неумолимую, не знающую снисхождения. Она всегда его ненавидела.

Марк задыхался... Тонкие губы лежавшей перед ним женщины, перечеркнутые красной чертой, холодно приоткрылись и предложили ему:

– Хочешь трубку? Нет? Ну так уходи! Марк ушел, не сказав ни слова. Он услышал, как закрипел паркет под босыми ногами и в дверях дважды шелкнул ключ.

Вернувшись домой и подведя итог прожитому дню, он уже и сам не знал, кого из троих больше ненавидит: Верона, Шевалье или Рюш... Лишь позднее, совсем поздно ночью, он

увидел лицо Рюш, которое все время силился вспомнить, чтобы еще острее его возненавидеть. Оно показалось Марку измученным. Когда он был у нее, он видел только ее жесткий взгляд, ее колючую ненависть... Теперь он увидел ее лицо. Она тоже была несчастна...

Тем хуже! Тем хуже!

В последующие дни он жил в состоянии одержимости, которая не покидала его ни на минуту. Он заставлял себя работать – ничего не поделаешь, надо! И он работал, но машинально. Он переоценивал ценности, и это всецело поглощало его, как навязчивая идея. Он ничего не мог предпринять.

Единственным облегчением было бы написать матери. Но что могла она ему посоветовать? Они привыкли делиться друг с другом своими горестями. На этот счет у них был молчаливый уговор. Марк почувствовал прилив гордости и благодарности, когда Аннета первая написала ему о том, во что мать обычно сына не посвящает, – прямые, правдивые и суровые слова о своей жизни и о своих трудностях, как пишет товарищ товарищу. Марк не сказал ей, как он был взволнован. Он оплатил ей тем, что стал состязаться с ней в откровенности. С его стороны откровенность заходила очень далеко;

Аннета иной раз поражалась, но никак этого не показывала. Она понимала, что это не бесстыдство, а потребность в облегчении: он раскрывал перед ней всю душу, до дна. И нельзя было заподозрить его в нездоровом выставлении напоказ своих пороков в духе Жан-Жака. Можно было догадаться, что он краснеет, что он сам себе говорит: «Она будет меня презирать... Ну что ж, все равно!.. Я должен...» Зато теперь оба были уверены – ни один не отвергнет того, в чем исповедуетсЯ другой: «Мое – твое. Твое – мое...» Великое счастье – общность крови в хаосе жизни. Не однажды спасала она Марка и Аннету. Когда от усталости и отвращения кровь приливает к сердцу, клапаны ритмически сжимаются и разжимаются и направляют ее в артерии. Не так важно, чтобы непременно пришел совет. Достаточно обратиться, и уже слышишь ответное биение сердца. Марк почувствовал облегчение на одну ночь, после того как написал матери.

А спустя шесть дней он был немало удивлен, когда к нему пришел Жан-Казимир. Вот уж кого он никак не ожидал!

– Ты получил?.. – пробормотал Марк.

– Я получил твое письмо, – сказал Жан-Казимир. – Я должен был бы знать из газет. Но ты хорошо сделал, что написал мне. Я как-то пропустил это дело.

– Откуда же ты приехал?

– Из Праги, конечно! Я прилетел на самолете через Страсбург. Уже три дня как я здесь. Я к тебе не приходил раньше, потому что сразу занялся тем, чего нельзя откладывать. Ты не сердись?

– Жан-Казимир! Марк обнял его.

– И, кажется, не потерял времени даром, – продолжал тот. – Но скажу тебе прямо: боюсь, мы ничего сделать не сможем.

– Но мы должны сделать все, что можем.

– Я тоже так думаю. Но мы можем так мало! Ты уже знаешь, чего можно ждать от друзей.

– Кто тебе сказал?

– Я их всех обошел. И всюду находил твой след.

Марк заговорил о них с возмущением.

– Они такие, как есть, – возразил Жан-Казимир. – Ты все еще строишь себе иллюзии?

– У меня нет никаких иллюзий. Но я все надеялся, что ошибаюсь в мужчинах. Но они хуже, чем я думал. А хуже всех – женщины.

Несколько резких и горьких слов Марка показали, что он не забыл, какую беспощадную, какую страшную ненависть он увидел и ощутил в молчании Рюш.

– Да. Но, быть может, у нее есть основание для такой ненависти? – спросил Жан-Казимир.

Марк был поражен.

– Что? Какие основания? Ненавидеть Симона?

– Ненавидеть Симона или кого-нибудь другого, тебя, меня, это неважно!

Она ненавидит кого-то одного или всех мужчин вообще... Ты хорошо к ней присмотрелся? У нее на лице написано, что какие-то основания она имеет.

Марк был изумлен проницательностью этого человека, который всегда скользил по поверхности и, казалось, ни на чем не задерживался. Он мгновенно увидел измученное лицо Рюш, заглянул в самую глубину и подумал: «А ведь правда...»

– Какие же это, по-твоему основания? – спросил он.

Одним движением губ Жан-Казимир отвел разговор:

– Я ничего не знаю. У меня времени нет думать о ней. Каждый когда-нибудь попадает в сети. Должно быть, и она где-то потеряла перышки. Это ее дело. Выпутается! С перьями или без перьев женщины всегда выпутываются.

Давай лучше займемся нашим делом!

– Ты стал к ним жесток, – сказал Марк. – А ведь когда-то про тебя говорили, что ты из их породы.

– Именно поэтому. Мы надували друг дружку. Я их знаю. Они надували меня. Я надувал их. Но все мы целы и невредимы... Подумаем лучше о нашем дураке, пока ему не свернули шею!.. Вот ты говоришь я из породы женщин.

Стало быть, в порядке вещей, чтобы я интересовался мужчинами, идиотами вроде тебя или Симона... Не спорь! Ты такой же, как он, более тонкой породы, но такой же цельный и такой же ограниченный. Уж вы, когда попадаетесь, не перья теряете, а головы. Мне жаль вас! Вас презираешь, но потому, быть может, и любишь...

Марк с удовольствием дал бы ему пощечину. Про себя он прошепел: «Девка!..»

Но тут же проглотил слюну: «Нет, она права...» – Марк вспомнил, что кем бы ни был Жан-Казимир, – «она» или «он», – а все-таки, ни минуты не колеблясь, он примчался из Праги, чтобы помочь другу, попавшему в беду.

И тут Марк погасил яростный взгляд, который уставил было на двусмысленно улыбавшегося насмешливого молодого человека, и сказал:

– Довольно болтать! Перейдем к делу!

– А дело, – спокойно заявил Жан-Казимир, – заключается в том, что я видел Симона... Да, для этого мне пришлось толкаться в разные двери (и не всегда бывает полезно толкаться в самые высокие), но мне все-таки приоткрыли двери тюрьмы, верней – тюремной больницы. Его там склеивают из кусочков, чтобы он был в форме к великому дню. Я попытался поговорить с ним. Но с первых же слов он стал осыпать меня проклятиями. Из-под повязки у него видна лишь часть морды и один глаз. Глаз носорога! Маленький, жесткий, ввалившийся. И веко твердое, как рог. Но глаз все сразу увидел, и носорог набросился на меня. Он всех топтал ногами, – меня, тебя. Верона, всех друзей. Он не хочет видеть никого из нас. Мне пришлось удалиться.

У Марка сжалось сердце. Он спросил:

– Меня тоже? Он меня назвал?

– Назвал. Не огорчайся! Ты в общей куче. Среди живых. А он... у него на лбу уже лежит печать, печать смерти.

– Неужели никак нельзя его спасти?

– Вряд ли. Я видел его адвоката и еще кое-кого.

Я пытался расположить их в его пользу. Но что можно сделать, если это животное не хочет, чтобы его спасли? Даже со своим адвокатом он не желает разговаривать и предупредил, что обругает его на суде...

Следствие тянулось недолго. Дело было ясное. Отрицать было нечего, да обвиняемый ничего и не отрицал. Жан-Казимир опять приехал из Праги, чтобы присутствовать на суде. Хотя бесполезность их выступления была очевидна, однако оба товарища считали своим долгом дать на суде свидетельские показания. Для Марка это был тяжкий долг. Выступать

публично было для него невыносимо. Он знал, что всегда в таких случаях проигрывает: его сковывали нелюбимость и гордость. И страшила мысль о том, что он встретится со старым товарищем лицом к лицу в такой мрачной обстановке и тот, быть может, станет оскорблять его и упрекать. Ему хотелось удрать или по-детски зажмурить глаза и заткнуть уши, пока «все не кончится...»

Но чем страшней ему было, тем он становился смелей; он злился на себя:

«Иди, трус!..» И он пошел.

Все вокруг него было словно подернуто туманом, он ничего не видел, не помнил, как вошел в шумный Дворец правосудия, как попал в свидетельскую комнату. А Жан-Казимир чувствовал себя совершенно свободно, ведя его и на ходу обмениваясь то с тем, то с другим приветствием или шуткой. Однако встречи с Бушаром он ждал почти с таким же волнением, как Марк. Их вызвали довольно скоро. Свидетелей со стороны защиты было немного. Когда Марка ввели в улей смерти, он стиснул зубы и напряг мускулы ног, – ноги у него были точно набиты опилками. «Не смотреть! – твердил он себе. – В особенности на него! Не видеть его!..» И он сразу увидел именно его. И едва увидел – конец!

Он уже не мог отвести глаза. Раздраженный голос председателя напомнил ему, что к нему обращаются. Марк вошел в роль свидетеля, однако его смятение было так велико, что он не мог вспомнить свое имя. Сзади послышался смех. Председатель призвал смеявшихся к порядку. Он хотел приободрить Марка. И мало-помалу Марк овладел собой; ему сделалось стыдно при мысли, что его заподозрили в трусости. А ведь у него перехватило дыхание из-за рожи, которая на него уставилась, из-за этого знакомого лица, но оно до того изменялось под ударами судьбы (включая побои, нанесенные в полиции), что Марк усомнился бы, если бы не встретился со свирепым глазом носорога. (Жан-Казимир верно подметил сходство! Но у носорога был только один глаз – он окривел). Их взгляды встретились, Марк заметил, что Бушар резким движением пытается встать, но его сейчас же опять усадили жандармы, и Марк уловил поток ярости, первую струю, которая ударила из единственного глаза. Марк опустил глаза.

Он был потрясен. Ему казалось, что виноват он и сейчас голос Бушара раздавит его. Он не видел второй струи. Бешеный взгляд внезапно смягчился, и в глазу Симона уже ничего не осталось, кроме сердечного и грубоватого презрения. Но Марк каждую минуту ждал, что его показание будет прервано какой-нибудь выходкой. И ему потребовалось время, чтобы освоиться. Он по-детски путался, но мало-помалу боязнь у него прошла. Зато теперь его задевали приглушенные смешки, какими публика встречала его беспомощный лепет. А председатель скорее поддерживал слушателей своей иронией, чем осуждал. Наконец Марк встал на дыбы. И, как это бывает с людьми робкими, когда кровь ударяет им в голову, мгновенно стал изрыгать огонь. Единым махом он перескочил через все барьеры осторожности. Он произнес не только защитительную речь (которой от него не требовали), но и вызывающее и резкое похвальное слово Симону. При первых попытках остановить его он встопорщился, как молодой петух, и стал нападать на социальный строй. Сухим и хлестким вмешательством прокурор утер ему нос и осадил его. Петушок растерялся, его заставили взять свои слова обратно.

Едва взлетев, он с подрезанными крыльями упал в лужу и стал барахтаться.

И скомканное свидетельское показание прошло без всякого блеска. Марк уходил уничтоженный и снова бросил на Симона взгляд, полный стыда. Глаз Симона смотрел на него насмешливо и ласково; он как бы говорил: «Бедный мальчишка!..» Марк был смущен и взволнован; он смело кивнул Симону. Симон ответил покровительственным и фамильярным жестом – он поднял руку и послал Марку прощальный привет.

Марк был до того расстроен, что потом даже не поинтересовался, как пошло дело дальше, какой прием Полифем оказал Жан-Казимиру. Старая ненависть оружия не сложила. Едва заметив тонкую Мордочку гермафродита, Симон рванулся вперед и залаял. Он оплевал бывшего друга, бросал в него грязью. Защитник изо всех сил пытался заткнуть ему глотку. Председатель громовым голосом предупреждал, что прикажет его вывести, если он будет

оскорблять свидетелей. А тот нагло отвечал, что воспрещает защищать его; всех свидетелей он обзывал «собаками, которые ползают на брюхе», а Жан-Казимира – «сухой». Наконец удалось заставить его умолкнуть. Он стал слушать молча, но продолжал усмехаться. Жан-Казимир был бледен; он держался надменно и давал показания четко, холодно, с расстановкой. Он разыгрывал безразличную объективность, все заранее рассчитанные черточки которой могли бы послужить на пользу обвиняемому; и вместе с тем он принижал Симона, он изображал его крестьянином, который сбился с пути, рассматривал его как жертву благородной и глупой демократической иллюзии, которая отрывает огрубелого земледельца от пашни и взваливает на него в нашей школе непосильный и опасный умственный труд. Жан-Казимир сказал, что знаменитое выражение Барреса «люди без корней» устарело и должно быть заменено другим: «люди, выбитые из колеи», и что в беспорядке виновата система, а не орудия, которые она привела в негодность. Такая постановка вопроса льстила скрытому тщеславию буржуа, сидевших в зале заседаний: им было приятно считать *in petto*,¹¹⁵ что быть носителями цивилизованного разума – их привилегия. Давая показания, Жан-Казимир время от времени обводил судебный зал холодными и умными глазами, неторопливо и равнодушно скользил взглядом по набухшему злобой лицу рычавшего Симона, точно по неодушевленному предмету, и, переходя к другим предметам, разматывал клубок коротких и безупречно построенных фраз. Похвала председателя и волна молчаливой, но явной всеобщей симпатии отметили конец его выступления.

Тут произошла эффектная сцена. Попросил слова отец обвиняемого. Он был вызван в суд из Косе, но знавшие его не думали, что ради такого дела, не сулящего никакой прибыли, этот деревенщина оторвется от своих каменистых полей. Он и решил вопрос о поездке в самую последнюю минуту.

Естественно, все ждали, что он станет защищать сына. Но зал содрогнулся, прежде чем старик успел произнести хотя бы одно слово. Оба – отец и сын – стояли друг против друга с перекошенными лицами, выкатив страшные глаза. По залу пронеслось дыхание ненависти. Среди гробового молчания старик поднял руку, принес присягу и заговорил.

Сын пошел в него: это был человек коренастый и грузный, точно вырубленный топором; плотное туловище сидело на коротких, как обрубки, конечностях – с каждой стороны приделано по руке – настоящие клещи; ног не видно – они словно привинчены к полу. Никто и не думал рассматривать его лицо. Оно было такой же конечностью, как те четыре. Глыба кричала (хрипота и сдерживаемое бешенство мешали ей говорить обычным голосом):

– Господа судьи! Я не затем пришел, чтобы просить у вас пощады для этого человека. Я затем пришел, чтобы сказать вам: «Отомстите ему за меня!» С того самого дня, когда он вышел из чрева своей покойной матери, которая из-за него погибла, он у меня как бельмо в глазу. Я ничего не видел от него, кроме неприятностей. Он гордец, он не желал работать руками, он презирал труд крестьянина. Ему больше нравилось валяться на скамейках и ничего не делать, только забивать себе мозги проклятыми книжками, в которых полно всякой гнили. Это они его научили оскорблять все, достойное уважения. Я не понимаю, о чем вы думаете, господа парижане, когда так вот отравляете наших парней. Моя бы власть, я бы все эти книжонки в сортир спустил, а всю ихнюю писанину употребил на подтирку! Я себя утешал, я все думал: когда-нибудь эта дрянь будет ему приносить доход. Он похвалялся, что собирается стать каким-то там министром. А вот чем он стал: висельником! Скажут: от одного до другого рукой подать, – возможно! Но он застрял на полдороге. Держите его крепко! Нам он не нужен! Довольно он нам крови испортил! Нет ни одного человека в нашей семье, да и во всей деревне, у кого бы он не пытался выманить деньги.

Чего только он, подлец, не вытворял, чтобы выудить денежки у добрых людей! За одно

¹¹⁵ В глубине души (итал.).

это его надо было бы на каторгу. Только со мной у него ничего не вышло. Я его знаю. Меня не проведешь!

Симон раскрыл свой огромный рот и гаркнул:

– Нет, тебя провели!.. Старый рогоносец!..

Зал затрясся от взрыва нервного смеха. Смех разрядил напряжение. Мишенью был старик. Мишень отметила «попадание». Напрасно старик вопил и выходил из себя. Этим он только подтверждал, что удар был меткий. Началась перебранка, и прежде чем председателю удалось водворить тишину, приоткрылась деревенская трагикомедия – яростное столкновение вторично женившегося старого Тезея с Ипполитом. Плут испачкал его гнездо, и – что еще хуже – Федра, видимо, пустила его не только в отцовскую постель, но и в отцовский кошелек. Старик ни за что не хотел это признать. Мысль, что его обворовывали, приводила его в еще большее бешенство, чем измена жены. Но он неуклюже пытался все отрицать. А вор стоял на своем.

С этой минуты всем стало ясно, что отец отдаст плоть от плоти своей палачу. Все ждали...

Долго ждать не пришлось. Когда слово опять было предоставлено старику, он стал потрясать кулаками.

– Не стану я отвечать на его мерзости. Довольно, надоело! Я знать не хочу этого мерзавца. Он всех нас ославил. Да простит меня бог за то, что я его произвел на свет! Господа судьи! Теперь он принадлежит вам. Исполняйте свой долг! Я свой исполнил. Избавьте меня от него!

Он в последний раз повернулся резким движением к сыну, пригнул голову и злобно посмотрел на него. Затем плюнул себе под ноги и рысцой, рогами вперед, направился к выходу. Среди гула голосов слышно было, как прокурор назвал его «римлянином», потом раздался рев Симона: Симон давился хохотом. Потом началась стычка между ним и председателем. Симон хотел излить злобу на отца. Симон говорил, что, когда он бедствовал, отец скорее дал бы подохнуть ему, чем своей свинье. Этот сквалыга своим бездушием довел его до преступления. Чтобы отомстить отцу, Симон разоблачил жульничества, на которые тот пускался, чтобы платить меньше налогов, и без зазрения совести вписал одну игривую сцену, в духе старинных фавлио, которую они разыграли вдвоем с мачехой. Публика слушала охотно. Но вмешался суд: за отсутствием добродетели (здесь ее трудно было бы найти) он прикрыл своим щитом свод законов. Бесноватый все не унимался: он поднимал на смех председателя и избил бы своего адвоката, если бы ему не мешали ручные кандалы. Чтобы положить конец этой перепалке, пришлось вывести его из зала суда.

Речи прокурора и защитника уже не представляли интереса. К моменту оглашения приговора подсудимого снова ввели в зал. Никто не сомневался в том, какой приговор будет вынесен. Единогласно: «Да, виновен», «по чистой совести и убеждению». Без смягчающих вину обстоятельств. Смертная казнь.

Симон был красен, но приговор выслушал равнодушно. Он уставил свой единственный сверкающий глаз на судей, свирепо всех оглядел, а затем сказал:

– Я только об одном жалею: жаль, что во Франции нет десятка таких, как я, чтобы выпустить вам всем кишки.

Его поволокли из зала заседания, а он выл:

– Убийцы!.. Берите мою голову! Жрите ее!

Публика ревела вместе с ним. Она точно обезумела.

Никогда еще не была она так захвачена зрелищем. Вот он: подлинный Народный театр, к которому так стремятся! Тут по крайней мере убивают взаправду! Псы не ошибались: они чуяли запах крови. Они лаяли. Иных самок чуть судорога не схватила. Рухнули классовые преграды. Все братаются. Марк был мертвеннобледен. Жан-Казимир увел его. Внезапно в него вцепилась Бэт. Она была неузнаваема, она была страшно возбуждена, смеялась, плакала и извергала поток бессвязных слов. Жан-Казимир следил за ней, и, когда ей сделалось дурно, подхватил ее. Он усадил ее на лестнице. Она снова обрела то немногое, что заменяло ей

сознание. Но ее затошнило. С Марком происходило почти то же самое. Наконец им удалось свести ее с лестницы. Но внизу в углу у нее началась рвота. Жан-Казимир бережно поддерживал ей голову. Он хотел ее проводить, но не мог оставить ни ее, ни Марка. Он усадил их обоих в такси и дал шоферу адрес Бэт. Но она с неожиданной резкостью запротестовала: она настаивала, чтобы ее отвезли к Рюш. Дорогой ее опять стало рвать. Жан-Казимир помог ей подняться к Рюш.

Потом спустился и отвез Марка к себе в гостиницу. Марк был до того разбит, что не сопротивлялся; он не мог разжать зубы; у него замирало сердце. Он сам не знал, как очутился в комнате Жан-Казимира, на шезлонге.

– Вытянись! Полежи! – предложил ему Жан-Казимир.

Марку сделалось стыдно. Он сказал с напускной суровостью:

– Здорово сыграли! Было на что посмотреть! Но Жан-Казимира этим нельзя было обмануть. Он был слишком чуток, чтобы продолжать разговор на эту тему. Посмотрев, как закипает кофе, он обратил внимание Марка на изящный дорожный кофейник. И когда они вдыхали аромат, подымавшийся от чашек, Жан-Казимир спросил с улыбкой арлекина:

– Ты хорошо разглядел Бэт?

– Бедная девчонка! Что-то она неважно выглядит. Похудела!

– Только не живот! Марк ахнул... Он лишь теперь понял... Больше они в тот день о Симоне не говорили.

Спустя два дня, вечером, к Марку пришел молодой человек. Его некрасивее, невзрачное, голодное лицо показалось Марку знакомым. Марк не успел припомнить, кто это, как посетитель назвал себя: адвокат Симона. Он был небольшой мастер говорить, и в словах его не чувствовалось ничего подкупающего. Но он был глубоко взволнован. Он сообщил, что его подзащитный отказался подписать – прошение о помиловании и неизбежная развязка должна вот-вот наступить. Ему предлагали высказать последнюю волю, но тщетно; однако, когда он, адвокат, уходил от Симона, тот окликнул его и сказал, что ему хотелось бы повидать Марка.

Марку этого несколько не хотелось. Страх клубком подступил ему к горлу. Сдавленным голосом Марк сказал:

– Хорошо. Я пойду к нему, если это возможно.

Он надеялся, что это будет невозможно.

Адвокат сказал, что получил разрешение и что, если Марк согласен, можно поехать в тюрьму сейчас же: внизу ждет такси. Откладывать на завтра нельзя.

Марк встал:

– В таком случае едем! Адвокат видел, что Марк волнуется, и понимал его.

Путаясь в словах, адвокат уверял Марка, что Симон внушает ему сострадание. Он заранее знал, что дело будет проиграно. Впрочем, именно поэтому ему и подбросили такое дело, и он его принял: он понимал, как трудно приходится молодому крестьянскому парню, подавшему в развращенную атмосферу послевоенного Парижа, до какого отчаяния может его довести нужда, невозможность утолить жажду наслаждений, жестокое равнодушие близких.

Адвокат говорил с глубокой горечью, но то была горечь беспомощности. Он от рождения принадлежал к побежденным. Вверить ему свою судьбу было рискованно: Марк, рассеянно слушавший, инстинктивно от него отодвинулся.

В тюрьме было отдано соответствующее распоряжение. Их пропустили; у дверей камеры адвокат пожал Марку руку и оставил его. Марк вошел туда, как в могилу.

Сверху, через матовое стекло в окне, забранном решеткой, падал безжизненный белый свет. Никаких теней. Тенью была жизнь.

Покойник стоял в углу. Он направился к Марку.

Тот застыл на пороге и, невольно попятившись, уперся в дверь. Она уже захлопнулась. Симон увидел ужас на его лице и усмехнулся:

– Боишься? Ничего, парень, успокойся! Не с тебя ведь шкуру будут снимать... Ты –

счастливчик, твоя шкура останется при тебе.

Марк покраснел. Он сказал со стыдом и болью:

– Симон! Ты думаешь, я дорожу своей шкурой? Господи, да сколько же она стоит?

Добродушным тоном Симон ответил:

– Дорого она не стоит, а все-таки береги ее! Она тебе подходит.

Он стоял перед Марком, расставив ноги и болтая руками. Марк не отваживался взглянуть на него, наконец поднял глаза и увидел остриженную под машинку голову и огромное лицо, которое беззлобно ему улыбалось. Порыв толкнул его к Симону. Его руки, до сих пор боязливо прятавшиеся за спиной, протянулись вперед, и Симон схватил их.

– Гнусную работу я тебе задал!.. Что, малыш?.. Я знал! Я это нарочно... Я держал пари с самим собой, что ты не придешь. Я поставил об заклад свою голову... А ты пришел. Я проиграл. Что ж, это тоже выигрыш...

– Симон! – сказал Марк все еще дрожащим голосом. – Чем я могу тебе помочь?

– Ничем. Тем, что ты пришел. Ты мне доказал, что в этом борделе, который называется жизнью и который я скоро покину, есть все-таки один маленький мальчик, который не совсем еще продан, который не отрекается от себя, который не отрекается от меня... Можешь дрожать... Да, ты дрожишь... как на суде... Ты держался не очень хорошо! Тебя напугали. Тебе стало страшно, и ты поспешил попросить прощения. Ты взял свои слова обратно... Не важно, все-таки ты сказал!.. Ты вышел один против волков, горностаев и свиней... А это не так уж плохо для маленького мальчика! Я был тебе благодарен. У тебя в трухе больше честности, чем у всего стада.

Марк был более унижен, чем польщен. Он отшатнулся, готовый встать на дыбы, и с горечью заметил:

– Ты выдаешь мне патент на честность? Благодарю...

– Ты, вероятно, считаешь, что я не имею права выдавать такие патенты?

Ошибаешься, дорогой мой! В честности я толк знаю!.. Когда я говорю: «честный», я не имею в виду кастрированного барана. Пусть у тебя вся шерсть в крови и гное, – все-таки ты честен, если не бежишь, если не говоришь, как трус: «Это не я», если плюешь им в рыло: «Я! Me, me! adsum qui feci»,¹¹⁶ если ты готов отвечать за то, что совершил...

– А ты готов? – спросил Марк.

– Я готов! И если бы можно было все начать сначала, я сделал бы то же самое... Только лучше!

Марку не хотелось спорить.

– Зачем? – пробормотал он.

– А жить зачем? Жить – значит либо убивать, либо быть убитым.

– Нет! – закричал Марк и по-детски вскинул руки, как бы защищаясь.

Симон посмотрел на него с улыбкой жалости.

– Эх, ты, молочный теленок! Тебе бы все матку сосать!.. Полно! Ведь уж на лбу рожки прорезаются!

– На арене бык всегда обречен...

– Что из того? Постарайся, чтобы по крайней мере зрелище было красиво! И выпусти кишки матадору!.. Я, как идиот, запутался рогами в лошадиных внутренностях... Ты это сделаешь лучше, чем я.

– Ты затем и вызвал меня, чтобы сказать мне это?

– А что ж тут такого? – сказал циклоп, выпрямившись во весь рост. – Это мое завещание обществу!

– Ты ему завещаешь чудовище?

Единственный глаз загорелся веселым огоньком и смягчился. Симон стиснул тяжелыми руками худые руки своего молодого друга.

¹¹⁶ Я, я это сделал (лат.). – стих из «Энеиды» Вергилия.

– Бедное маленькое чудовище! Оно боится своей тени... Ну ничего, я тебя знаю, ты будешь бороться... Хочешь – не хочешь! Кто быком родился, быком умрет. У того не вырежут... Но это твоё дело! Мне этим заниматься нечего... Я тебя вот для чего вызвал, мой мальчик (в такую минуту я лгать не стану): можно иметь дубленую шкуру и сердце потверже кулаков, можно ненавидеть людей и жалеть, что не удалось взорвать всю лавочку, а все-таки, когда собираешься исчезнуть, минутами чувствуешь слабость в ногах, и язык, пересохший бычий язык, так и чешется от желания один раз, еще один-единственный раз лизнуть шерсть другого бычка...

Он взглянул на Марка, и Марку захотелось спрятаться. Симон чувствовал, как дрожат его руки. Он шепнул Марку с грубоватой нежностью:

– Тебе было бы очень трудно меня поцеловать?

Ни жив, ни мертв, Марк поцеловал его.

– Благодарю. Ступай! – сказал Симон. – Я любил тебя одного.

Марк не мог найти дверь. Симон с братской заботливостью проводил его.

У Марка не хватало сил обернуться и сказать «Прощай!» человеку, обреченному на смерть. Наутро голова свалилась.

Все эти дни Марк откровеннее, чем когда-либо, делился в письмах своими мыслями с матерью. Для душ близких разлука – самое большое благодеяние: она освобождает их от застенчивости, она ломает все лежащие между ними преграды.

Это была странная переписка. Никто бы не подумал, что это переписка матери и сына. Оба чувствовали, что стоят вне пределов общества. В глубине души они были не только свободны от его предрассудков, от его условной морали и от его законов, – к этому в наши дни пришли тысячи мужчин и женщин. Безошибочный инстинкт помог им выработать для себя свои законы, свой моральный договор о союзе и единстве, тайный договор между матерью и ее детенышем, заключенный в джунглях и продиктованный самою природой. По мере того как детеныш подрастал, их отношения менялись, мать незаметно превращалась просто в старшую и более близкую. Ведь теперь они на одном берегу, и водный поток больше их не разделяет: они пьют из него рядышком. Каждый приносит другому свою добычу – свой опыт жизни в джунглях; они им делятся – и новым и старым. И нельзя сказать, чтобы самый старый опыт казался молодому устарелым, нельзя сказать, чтобы старшая считала несущественным последний опыт младшего.

Марк написал ей все о драме, с которой жизнь столкнула его так близко, что нож гильотины, падая, казалось, просвистел над самым его ухом.

Он писал, что если нож упал не на его шею, то это простая случайность:

Симон мог быть Марком, а Марк-Симоном. Отчаяние, безумие, преступление живут в каждом из нас. Одному удастся устоять, другой сваливается, кто может сказать – почему? «Это был он, но мог бы быть я. Я не имею права никого осуждать...»

Его не удивляет ответ Аннеты:

«Нет, ни ты, ни я, – мы не имеем права осуждать этого несчастного...»

Она пишет о Симоне с жалостью человека, который все понял. Однако она прибавляет (и сердце Марка екает):

«Но это неверно, мой дорогой, что он мог быть тобой, что ты мог быть им. Ты – это только ты: мой плод... Его можно сорвать с дерева. Но червивым он быть не может... Преступление и позор живут, – да, я это знаю, – и в тебе и во мне. Но они никогда не обретут власти над нами. Как бы тебя ни тянуло... (А тебя тянуло! Ты мне об этом не говорил, но я догадываюсь... Да и почему ты знаешь: может, меня самое тянуло?..) Но, слава богу, преступление и позор сами отворачиваются от нас!»

Марку становится жарко. Он дрожит... «Тебя тянуло...» И ее, ее тоже «тянуло»... Она так прямо ему об этом и пишет... Одним движением она смела его тайный страх. Если бы она находилась у края тех же пропастей и все-таки устояла, он, мужчина, должен устоять и подавно. Однако, чтобы испытать ее, он заходит в своей откровенности дальше, чем когда бы то ни было. Он описывает ей то безумие, которое молодые люди вынашивают порой в

себе и от которого он очнулся внезапно, задыхаясь, судорожно шевеля пальцами, в минуту, когда был на грани подлости. «Что я ей написал!..» – думает он. Но она ему отвечает:

«Ты был на грани. Ты заглянул в бездну. Это хорошо. Теперь ты не будешь застигнут врасплох. Я затем и создала своего Марка, чтобы он рисковал. Но я создала его и затем, чтобы он умел сопротивляться. Рискуй! Я тоже рискую, и я рисковала. Погибнуть суждено не всем».

И прибавляет со своей непринужденной, серьезной и насмешливой улыбкой:

«Я двадцать раз пробовала. Мне это никогда не удавалось. Искуснее меня ты не будешь. Смиримся, мой мальчик, и поцелуй меня!»

Дойдя до этих строк, Марк затрепетал от радости. Пол заходил у него под ногами. Вместе с дымом сигареты он выпустил все свое затаенное, чего он всегда стыдился.

«Иди в другие легкие».

В этот день на улицах он вдыхал все тот же загрязненный воздух. Но он говорил себе с вызовом и насмешкой:

«У меня есть и свой воздух. У меня под ногами твердая земля. В жилах у меня кровь моей матери, моей Ривьер».

Но река не была золотоносной. И жизнь была трудной в ту зиму. Марку ни в чем не было удачи, да и здоровье сдавало, сказывались лишения. Он не хотел обращаться за помощью к матери, и даже когда она сама предложила ему деньги, он из глупого самолюбия отказался. Во-первых, он подозревал, что ради него мать отказывает себе в самом необходимом. Во-вторых, этот глупенький петушок не считал возможным принимать деньги от женщины... Разве мать-женщина?... Да, для него – женщина!.. Он сухо отказался:

«Не вздумай настаивать!» Она и не настаивала... Какие дураки эти мужчины... она была очень рада, что Марк – мужчина.

Денег у Аннеты он не взял, но он ухватился за ее мысли. Без них он чувствовал бы себя очень одиноко в ту суровую зиму, он бы замерз. Он грелся у этих мыслей, как у костра, которого никто не видит, которого, как он думал, не видит сама Аннета. Но мать была связана с ним тайными нитями. И она не могла не видеть, что в некоторых его суровых и сдержанных словах сверкает, точно в каменном угле, скрытый огонь. Она смутно догадывалась, что сделалась для сына предметом страстного и чистого, почти религиозного преклонения. Она считала это нелепым, но в глубине души испытывала к сыну смиренную благодарность. Бойцам бывает нужна иллюзия любви и почитания... «Non sum digna¹¹⁷ Но я все же благодарна тебе, мой маленький рыцарь...»

Эта необычайная, невысказанная душевная близость помогала молодому бойцу в нужде и одиночестве держаться на поверхности темных и холодных вод и не тонуть... Но у него мерзли ноги! Однажды поздно ночью он шел по улице, топая ногами от холода, и вдруг увидел сквозь туман на плохо освещенном углу тротуара словно бы знакомую фигуру. Он быстро отошел в сторону, чтобы незаметно рассмотреть ее. Он не ошибся: это была она – Рюш. Прислонившись к закрытому газетному киоску – так, чтобы на нее не падал свет электрического фонаря, – она, видимо, подстерегала кого-то, кто должен был выйти из дверей дома напротив. Она прижалась к киоску и лишь слегка подалась вперед из своего укрытия. Марк в изумлении остановился в нескольких шагах и спрятался. Улица была безлюдна. Часы показывали час. Рюш не двигалась. Ее взгляд был прикован к закрытой двери...

Наконец дверь приоткрылась. Рюш чуть не выскочила из засады. Правая ее рука вынырнула из темноты и вытянулась вперед, но Рюш сейчас же ее отдернула – человек, который вышел Из дому, был не тот, кого она ждала...

Она снова притаилась, прислушиваясь к удалявшимся шагам незнакомца. И Марк тоже притаился. Но он видел руку – и понял все. Он подкрался к киоску, обошел его и схватил

¹¹⁷ Я недостойна (лат.).

Рюш за руку. Она испуганно подскочила, затем пришла в ярость и стала молча отбиваться, вонзаясь в Марка ногтями. Марк крутил ей руки и в конце концов вырвал револьвер. Он прижимал ее к стене, но женщина была в бешенстве – она нагнулась и стала кусать ему руку, а он шептал ей прямо в затылок:

– Рюш! Это я, Марк! Рюш, милая, не бойся!.. Ну отдай же!

После короткой, но ожесточенной борьбы бесноватая почувствовала себя побежденной, сдалась, перестала дергаться и разразилась рыданиями. Она заливалась слезами, а Марк, прижимая к своей груди ее мокрый рот, шептал:

– Да ну же! Ну же! Он взял ее за подбородок и, не найдя носового платка, вытер ей, как нянька, щеки и нос пальцами: она была сломлена и не мешала ему. Он нахлобучил ей на лоб шляпку в форме каски, съехавшую на сторону, привел в порядок расстегнувшееся пальто и, убедившись, что она больше не сопротивляется, просунул руку ей под локоть, крепко сжал его и потащил ее за собой. Она шла, как сомнамбула... Куда они шли? Они не знали. Рюш об этом не думала. Куда шел он, туда и она. Она переходила улицы не глядя, покорно поворачивала направо, налево. Какое ей дело? Ей и на дне реки было бы не лучше и не хуже. Марк говорил машинально; ни он, ни она не слышали, что он говорит. Он все думал: «Что же мне с ней делать»?.. Отвести ее к ней домой? Оставить ее одну в таком состоянии было бы и бесчеловечно и неосторожно. Ноги сами привели его на улицу Кюжас, к гостинице, где он жил. У самых дверей он сказал:

– Поднимайся!

И подумал вслух:

– Каждому свой черед!

Теперь Рюш была доведена до отчаяния – пришел его черед дать ей приют.

Она ничего ему не сказала, ни единым движением не выразила ни отказа, ни согласия. Она поднялась по лестнице.

Они вошли в жалкую, грязную, неприбранную комнатуху, и Марку стало стыдно, что Рюш все это видит... Но она ничего не видела – она стояла, точно окаменев. Он усадил ее на кровать. Она делала все движения, какие он заставлял ее делать, но безучастно, руки ее повисли, как плети. Марк хмурил брови, кусал губы и, наконец, решился. Он снял с нее шляпку, расстегнул пальто, распустил шнурки на ботинках и уложил ее на кровать. Теперь у нее наступила реакция, нервы не выдержали, все ее тело сотрясал озноб. Марк прошептал:

– Ложись под одеяло! Дай, деточка, я тебе помогу?

Он приподнял ее, чтобы постелить постель. Она позволила себя раздеть – глаза ее были открыты, но смотрела она отсутствующим взглядом. Ее худые плечи не чувствовали прикосновения неловких пальцев, которые ее раздевали. Он прикрыл ее всем, что только нашлось у него в чемодане тяжелого и теплого из платья. И покуда на спиртовке согревалось питье, он сидел возле кровати и, сунув руки под одеяло, согревал ее окоченевшие ноги. Оба были измучены и оба неподвижны. Марк вышел из оцепенения, как только зашипела вода, выливавшаяся из чайника на огонь. Он встал, приготовил грог и приподнял Генриетте голову, чтобы заставить ее сделать несколько глотков. Сначала жидкость вылилась у нее изо рта и побежала по подбородку и вдоль шеи. Горячий грог привел ее в чувство. Она посмотрела на Марка и наконец увидела его. Она взглянула в его встревоженные глаза, заметила дымящийся стакан в его руке, – он в это время неловким движением пытался влить ей в рот ложку горячего питья. Она открыла рот и глотнула, как ребенок. Легкая краска проступила у нее на щеках. Слабым движением руки она отвела ложку. Марк с облегчением следил за тем, как она возвращается к жизни. Он крепко сжал ей виски и сказал:

– А теперь спи! Тебе тепло? Почти в тот же момент он заметил, что голова ее лежит на подушке с грязной наволочкой, и ему стало ужасно неловко. Но, вместо того, чтобы скрыть свое смущение, он сказал:

– Извини! И пошел за чистым полотенцем, чтобы положить ей под голову.

Его наивное смущение вернуло Рюш к жизни. Приподняв краешек полотенца, она улыбнулась, стащила его, сбросила на пол, прижалась щекой к подушке и закрыла глаза.

Марк подождал еще минуту, затем, увидев, что она успокоилась, кое-как устроился на двух стульях и потушил свет.

В темноте послышался голос Рюш:

– А ты? Где же ты будешь спать?

– Не беспокойся! Я отлично устроился.

– Ты не уснешь на стуле.

– Мне не впервой.

– Подвинь по крайней мере стул к кровати. Иначе ты свалишься!

Он устроился на двух стульях рядом с кроватью, ногами в головах у Рюш, почти упираясь головой в ее ноги.

– Подержи мне ноги! – сказала Рюш. – Так хорошо!

Он опять начал греть ей ноги. Спустя некоторое время она сказала:

– Ты хороший.

– Не знаю... Не думаю...

– Когда я говорю: «хороший», я тебя сравниваю...

– С кем?

– С другими кобелями...

– Да ведь и я кобель...

– А я сука.

– Да, сегодня ты была сукой.

– И все-таки не сумела прокусить ему брюхо! Она забила ногами по постели.

– Ладно, ладно, довольно! Не дрыгай ногами. Не вырвешься!

Он крепко сжал ей щиколотки.

– Послушай, Марк: я хочу, чтобы ты знал все, раз уж судьбе угодно было, чтобы ты попал в мою паутину...

– Не надо мне ничего знать... Да и что тут знать? Какая-нибудь дурацкая история обманутой любви, если только можно это назвать любовью...

– Да! Я это так и называю... А какая разница, так это называется или иначе? Он меня хотел, и я его хотела. Он меня взял, и я взяла его. А теперь он меня бросает, я ему надоела. Он хочет другую, он берет другую. Я хочу его убить...

Марк проворчал:

– Рюш! С этими глупостями кончено! Это больше не повторится!

Рюш проглотила слюну и, несколько раз глубоко вздохнув, сказала:

– Кончено. Да. Сорвалось. Таких вещей два раза не делают... Но я должна тебе все рассказать, чтобы облегчить себе душу, чтобы отомстить.

– Милая ты моя, да они мне противны, твои истории! Молчи!.. И потом я больше не могу, я хочу спать. Я умираю...

Рюш нервно рассмеялась:

– Ну и что же?.. Умирай!.. Но только выслушай!.. Меня это не трогает, что тебе противно. Мне тоже противно... И тут я тебе еще утру нос...

(Она схватила его за оба уха и стала возить носом по простыне.) Ты мой ньюфаундлендский пес! Ты вытащил меня из воды – против моей воли, но вытащил... И на свою голову! Теперь ты должен довершить спасение, ты должен вышить всю чашу моей горечи.

– Ладно! – покорно сказал Марк.

И сейчас же заснул. А Рюш, сидя в постели, склонясь над ним, с яростью выкладывала ему свою историю. Чтобы привлечь его внимание, она время от времени запускала дрожащие пальцы ему в волосы и трясла за голову. Но сон был сильнее. Марк воспринимал поток ее слов лишь как беспокойную колыбельную. Ему снилась ночь в море... И последнее, что еще задержалось в его сознании, это ноги, которые он сжимал и которые двигались, двигались и извивались, как руки, куда она говорила...

Хотя Рюш и знала, что Марк давно уже ничего не слышит, все же она досказала свою

историю до конца. И только вдоволь наговорившись и опустошив себя, она остановилась. Когда мельница внезапно умолкла, Марк задвигался во сне. Стул, на котором лежали его ноги, опрокинулся. Рюш удержала Марка за пояс и, обхватив обеими руками вокруг бедер, втащила его спящего, в кровать, рядом с собой. Он был одет, не разут. Она положила его босые ноги на подушку, рядом со своей щекой, а его голову к своим ногам. И тоже заснула. Так провели они ночь рядом, – юна под одеялом, он на одеяле. Оба изнемогали от усталости. Они спали, как умеют спать только в этом возрасте, – семь часов подряд, не пошевелившись. Около одиннадцати утра они проснулись, – оба одновременно и в том же положении, как легли.

Марк был изумлен. Одним рывком он сел на кровати и, увидев, что щека Рюш прижимается к его ногам, быстро подобрал их под себя, бормоча:

– Извини, извини!..

Рюш рассмеялась, сказала:

– Спасибо! И тоже села на пятки, как он.

Так они и сидели на кровати, точно китайские болванчики, и смотрели друг на друга.

– Мне стыдно перед тобой, – сказал Марк.

Рюш потерлась носом о нос Марка.

– Ну и стыдись, ну и стыдись, глупый мальчишка!.. Лучшей подушки у меня никогда еще не было... Как я чудесно спала! Я умылась, я освободилась от всей дряни, которая меня отравляла. Ты, конечно, ничего не слышал и не запомнил из всего того, что я тебе высыпала ночью на голову...

Марк попытался вспомнить:

– Ни единого слова.

– Неважно! Я тебе все вывалила. Как хочешь, друг мой, но когда-нибудь ты все припомнишь, по кусочкам. Ведь я говорила тебе прямо в ухо, я тебе все вдунула в мозг.

– Хорош подарок!

– А что? Только тогда и становится легче, когда переложить свое бремя на кого-нибудь другого.

– И тебе стало легче?

– Мне стало совсем легко. Желудок пуст, сердце свободно. Я чиста и свежа.

– Ну тогда ладно. Я молчу.

– И отлично делаешь! Если бы ты теперь посмел намекнуть на что-нибудь, связанное с этой ночью, я бы стала все отрицать. Я отрицаю...

Только посмей! Ничего не было, ровно ничего.

Она поддразнивала его. Он только рот раскрыл, глядя на это самоуверенное, смеющееся, отдохнувшее лицо, на котором ночные судороги не оставили никаких следов.

– Чертовы бабы! – сказал он. – У них семь душ и семь лиц.

– Это еще очень мало, – заметила Рюш.

Она сжала ему руками лицо и ущипнула за щеку:

– Славный ты мой мальчик!.. Маленький мой мальчик!.. Какой же ты худой!.. Как я тебе благодарна!.. Ты не можешь себе представить!.. Даже и не пытайся! Пусть лучше я одна буду об этом знать.

– Я тоже это отлично знаю.

– Скажите, пожалуйста!.. Каков наглец! Глупый хвастунишка!.. Теперь он станет домогаться, чтобы я признала его услуги... еще чего доброго потребует, чтобы я ему заплатила...

– Конечно, потребую! Плати!

– Ростовщик!.. Говори, сколько!

– Обещай мне никогда больше этого не делать.

– Я буду спрашивать у тебя позволения.

– А если я не позволю?

– Я подчинюсь.

Внезапно за шуткой последовал твердый, серьезный тон и открытый взгляд, говоривший:

«Довольно шуток!»

– Ладно! – сказал Марк. – Помни, что ты обещала.

Они взялись за руки.

– А теперь, – сказала Рюш, вытаскивая ноги из-под одеяла, – давай есть! Я чертовски проголодалась...

И она соскочила на пол...

Марк был в затруднении. В кошельке у него было пусто. Рюш догадалась об этом. Она нагло заявила:

– Беру тебя на содержание. Я плачу!

Марк энергично запротестовал.

– Миленький! Ты должен будешь подчиниться. Иначе наше соглашение пойдет прахом! Я снова становлюсь убийцей.

Марк стоял на своем.

– Закрой рот! Откроешь его за тарелкой.

– Рюш! Ты хочешь меня унижить.

– Ну разумеется! Это тебе очень полезно для здоровья. Ты же лопаешься от спеси. Значит, надо ее сбить. Меня-то ты отмыл? Каждому свой черед!..

А скажи, пожалуйста: правда, что за тебя никогда еще не платила женщина?

– Конечно, нет!

– Вот и отлично! А я за тебя буду платить! Она потирала руки, она кружилась, она взяла его за локоть и ущипнула, когда они спускались по лестнице; наконец они вышли на улицу.

В студенческом ресторане они ели мясо с кровью.

Кроме того, что значилось в общем меню, Рюш потребовала пирога, маслянистого сыра бри и бутылку старого бонского. В ее глазах сверкала лукавая насмешка. Сопротивляться ей было бы опасно. Марк смирился. Он предоставил ей делать все, что она захочет, и был доволен. Его сознание отяжелело; оно молчало, как сторожевая собака, которую перекормили. Хорошо было все-таки хоть раз наесться досыта!

Из ресторана Марку надо было идти на работу.

Рюш сказала ему:

– Дай-ка мне твой ключ! Вечером он застал ее у себя в комнате. Она чинила его рубашки и носки. Она вытряхнула все, что лежало в ящиках и в чемодане. Бумаги и вещи были навалены на кровати, на двух стульях, на полу. И не все было чисто, далеко не все! Марк обычно запихивал грязное белье в угол стенного шкафа. Рюш все вытащила, рассортировала, подсчитала, пересмотрела и даже кое-что выстирала в тазу. Перед окном, на веревке, сушились тельники и носовые платки.

Марк готов был сквозь землю провалиться. Он так не любил показывать кому-либо свои недуги и свое нищенское белье! Он опустил на кровать и прикрыл глаза рукой.

– Не надо, не надо, не надо! – жалостно повторял он.

Девушка произнесла добродушно:

– Оставь, пожалуйста!.. Это вполне естественно!..

– Эти отрепья... – простонал он.

– Вот именно! Они уже давно нуждались во мне.

– Нет! Нечего тебе копаться в этой грязи!

– Ты, вероятно, думаешь, что я не привыкла! Женщина еще и не такое видела!

– Это нехорошо! Нет, нет! Ты не имела права...

– Я сама беру себе права. После сегодняшней ночи мне необходимо снова взять верх над тобой... Вот я и взяла. А ведь я здорово сегодня поработала!.. Я же сказала: «Я тебя отмою»... Вот и отмыла... Грязнуля!..

Марк пустился наутек; он задыхался от стыда.

Рюш отбросила работу, догнала Марка и схватила его за руку:
– Мой милый мальчуган... За это я тебя еще больше люблю...
Марк все еще отворачивался. Рюш взяла его за подбородок:
– Дурень!.. Ведь мы же с тобой товарищи, товарищи по несчастью...
– Товарищи по свинству, – сказал Марк, ворча и смеясь. Но он был тронут.
– Что может быть лучше? Он помог ей собрать белье. День угасал. Пришлось зажечь свет.
– На сегодня довольно! – сказала Рюш, – Тут еще на день работы хватит. Я приду завтра.
– Как? Ты уходишь? – спросил он.
– Конечно. Ухожу домой.
Она заметила, что он огорчен.
– Да, друг мой! Сегодня ночью было чудесное приключение, но повторять его было бы рискованно.
У него был растерянный вид. Она рассмеялась.
– Ты не находишь? Если один раз каким-то чудом все сошло благополучно, то повторять – значило бы искушать дьявола.
– Да ведь дьявол только и мечтает, чтобы его искушали!
– Еще бы!.. И дьяволица тоже!
– Значит?..
– Значит, нет.
– Ты права. То, что было, – слишком хорошо.
Она смотрелась в зеркало, висевшее на окне, и пальцем заправляла волосы под шляпку. Позади себя она увидела Марка.
– Все-таки ты добрый малый.
– Да и ты не злая!
– Для моих любовников – больше, чем достаточно, злая, уверяю тебя.
Она задорно обернулась.
– Ну, а мы? – спросил Марк.
– А мы? Вот именно!.. Как хорошо, что мы не любовники!.. И, пожалуйста, без вежливых гримас!
– При чем тут вежливость?
– Конечно, лгунишка ты этакий!.. Повторяй за мной: «Как хорошо...»
Он протянул ей обе руки. Она взяла их.
– Как хорошо, что ты – это ты, а я – я и что мы держимся за руки!
И – лукаво:
– За ноги мы уже держали друг друга.
– Ты прошла по мне, я прошел по тебе. Если мы не друзья и не любовники, Рюш, то что же мы друг для друга?
– Мы друг для друга твердая почва. Нас засасывала трясина, но мы вытащили ноги и снова на твердой земле. Теперь можно идти дальше. Перед уходом – один раз не в счет – можно и поцеловаться.
И они по-детски чмокнули друг друга.
– Но ты еще придешь? – спросил Марк.
– А как же! Оборванец, у меня ведь все твоё тряпье!.. И потом сегодня мы ни о чем не успели поговорить. Завтра потолкуем.
Но завтра потолковать не пришлось. Марк задержался на работе. Когда он пришел домой, Рюш уже не было. Он нашел аккуратно сложенное белье, а на столе лежала пара носков с двумя выставленными напоказ дырами, в которые можно было просунуть по крайней мере шесть пальцев. Это была наглая визитная карточка; она говорила: «Увидимся завтра».
Они увиделись. Была суббота. Вся вторая половина дня была в их распоряжении для

разговоров. Она сидела на кровати. Он – верхом на стуле. Они обжигали себе пальцы сигаретами, забывая курить. Интимная обстановка создалась сама собой. Рюш освобождалась от своих тайн. Все эти ее любовники – пустая болтовня! У нее никого не было, кроме одного, которого она подстерегала в ту ночь. Она смеялась над собой и с напускным цинизмом признавалась, что хоть и вела себя в Париже очень вольно и не раз по своей вине попадала в рискованные положения, но все же не могла сделать решительный шаг; нечто похожее на физическое отвращение удерживало ее в последнюю минуту.

– Между тем, – говорила она, – я – натура цельная и здоровая, у меня есть потребности, и я не боюсь удовлетворять их: в этом я убедилась с тем идиотом!.. Но почему же надо было, чтобы это случилось именно с ним, с этим скотом, с этим жеребцом (как бы я хотела обломать хлыст об его спину!..), а не с кем-нибудь, кто мне по душе... Например, с тобой?..

Марк не прерывал ее. Потом он сказал:

– В сущности, ты честная француженка, а заставляешь себя играть роль, для которой ты не приспособлена. И все из упрямства, назло своим старикам. А твое место скорее возле них, в провинции. (Она запротестовала.).

Не для того ты создана, чтобы с револьвером в руке подстерегать по ночам любовников. Тебе надо иметь мужа – хорошего, одного на всю жизнь, и добросовестно делать с ним детей, целую ораву... Я даже представляю себе, как ты кормишь их грудью.

– А у меня нет груди. Потрогай!

– Ничего, маленькие коровы дают лучшее молоко!

– Я даже не корова! Просто худая коза носится по полю. И ты воображаешь, что она даст привязать себя к забору на всю жизнь?

– Если тебе захочется, ты мысленно сможешь оставаться все той же козой и будешь прыгать, кусаться и щипать траву у чужого забора. Мысленно ты десять раз обманешь мужа... Бог ты мой, я даже не вижу беды в том, чтобы ты действительно разок-другой наставила ему рога. Разок-другой за всю жизнь – это пустяки!..

– Хотела бы я на тебя посмотреть в роли такого мужа, разбойник!

– Нет, нет, не обо мне речь!

– Но скажи мне, Марк, скажи мне откровенно: с тех пор, как мы знаем друг друга, ты никогда не думал об этом?

– О чем?

– О том, чтобы я тебе наставила рога?

– Нет, право же, нет! А ты думаешь?

– Вот как раз сейчас пытаюсь... И не могу.

– Не созданы мы, чтобы ходить в одной упряжке.

– Однако мы так хорошо понимаем друг друга! Ты единственный человек, который видит меня насквозь, а я – тебя... В этом-то все и дело! Соединяются только такие, которые ничего друг о друге не знают.

– Нужна ночь, чтобы отдаться друг другу.

– У тебя она будет, ты сам себе создашь ночь. Я уверена, что ты попадешься в сети к такой женщине, которая сможет тебе навредить больше, чем кто бы то ни было. Ты не захочешь женщины цельной, спокойной, в которой можно быть уверенным. Для тебя это было слишком ясно!

– Пожалуй, ты права.

– Каждый из нас лучше знает судьбу другого, знает, что именно другой должен сделать для своего блага. А этот другой, конечно, ничего не сделает!

– Значит, согласишься, я не так уж плохо понял, чем ты должна была бы быть и чем ты стала?

– Чем я не стала! Да, это ты верно сказал: жизнь, которую я веду в Париже, убивает меня. Я – Рюш, я – улей, мне нужно серое небо над моей Луарой. А эти огромные муравейники, их ядовитые грибы, их отравленные мысли – все это наполняет меня отвращением и ужасом. Я бы хотела все это поджечь. Пустить бы газы – и все было бы

кончено с этой мерзостью!

– Ну так уезжай! Уезжай! Вернись в свои поля!

– Не могу.

– Почему?

– Из-за старика. Теперь это вопрос самолюбия.

– Ты думаешь, ему мало того урока, который он получил от тебя? Ты думаешь, он не поумнел?

– Я, я уже его не боюсь! Он болен. Он бы себя вел смирно. Он бы только одного боялся – как бы я не уехала!

– Тогда за чем же дело стало?

– Он должен сделать первый шаг.

– Чтобы он у тебя попросил прощения?

– Чтобы он протянул два пальца!

– А если он этого не сделает, то и ты ни с места?

– Нет, конечно, нет!

– Ослиная голова!

– Козлиная голова!..

Он снова стал ее увещевать. Она молча слушала и находила теперь, что он прав. Но она твердо решила не признавать своей ошибки.

Чтобы перевести разговор на другую тему (хотя она все еще пыталась уловить ход его мысли), она заговорила о Бэт. Ее беременность едва не кончилась трагически. Обезумевшая мешаночка тщетно пыталась все отрицать. Беременность была заметна, как нос на лице, а она так и не сумела ни примириться с нею, ни избавиться от нее. Но тут помогло несчастье: она свалилась с лестницы, и это ее освободило. Но она едва не поплатилась жизнью.

– А кто этот молодец? – спросил Марк.

– Да она и сама не знает. Она добрая, слабая, простая и глупенькая, – они помыкали ею, как хотели.

– Кто?

– Все: Верон, Симон, Шевалье, вся компания. Кроме тебя.

– Бедная ты моя Рюш! Я понимаю твою ненависть.

– Нет, ненавидеть – это ошибка. Надо знать, что в джунглях царит только один закон: быть сильнее других. Горе тому, кто даст себя провести!

– Нельзя же всегда защищаться!

– В таком случае нападай! Иного выбора нет!

– А как же мы с тобой, Рюш? Она опустилась перед ним на колени и прижалась щекой к его руке:

– Мир божий.

Он ласково погладил ее по голове:

– Что же, надо им воспользоваться. Беги, Рюш! Беги из джунглей! Не то ты сложишь здесь свои кости, свои белые косточки. А жаль! Ты стоишь гораздо больше, чем думаешь. Ты все стараешься разубедить меня. Но я тебе не верю...

Рюш поцеловала его ладони:

– Но что это делается со всеми нами? Мы точно с ума посходили...

– Все смешалось. Война, войны – дикость нашего времени! Они разорили все старые гнезда. Вот почему муравьи сошли с ума. Но ты можешь заново построить себе гнездо! Это самое правильное. Я уверен, что ты в нем не усидишь. Но гнездо тебе нужно. Чтобы строить наново, нужно начинать сначала. Построй свою ячейку, свои соты, а затем и свой улей.

Рюш встала, вздохнула, поправила волосы, свистнула, потянулась и сказала:

– Отец Марк! Тебе бы следовало быть проповедником...

Она рассмеялась, потянула его за нос и ушла...

Она так ничего и не построила, только даром время потеряла. Однажды она появилась снова. На ней были черные перчатки.

– Старик умер. Ты был прав. Я слишком долго ждала. Я уезжаю. Слишком поздно!.. Она говорила спокойно. И все же в тоне ее слышались печаль и горечь раскаяния.
– Что прошло, того не вернешь, – сказал Марк, пожимая ей руку. – Гляди вперед, милая моя Рюш!

– Да! Ну что ж, твоя Рюш построит улей. Попытается... Я беспокоюсь за тебя, мой мальчик: ведь ты остаешься... Обещай мне по крайней мере, что когда-нибудь ты его посетишь!

– Кого?

– Мой улей. Меня. Мою семью. Мой дом.

– Обещаю, Рюш. Делай мед!

Они крепко обнялись.

Марк снова оказался брошенным в чан, в котором идет непрерывное брожение. Он переживал в ту пору неистовство молодости, когда «хочет в буре слез излиться переполненное сердце, но тем оно полней грозою, и все в тебе звучит, дрожит, трепещет...» Марк приобщался к тем стихийным силам, о которых возглашал в своей «Песне странника в бурю» молодой, с развевающимися на ветру волосами, франкфуртский Прометей... Увы, Марк не был наделен его великолепным поэтическим даром! Еще меньше обладал он его преимуществами богатого молодого буржуа, который знает голод лишь духовный, но не представляет себе, что такое пустой желудок, истощение, изнуряющий труд ради куска хлеба. Марк чувствовал, что он переполнен бурлящей силой, он ощущал свое слияние с Природой, единой в доброте своей и в своей злобе:

*Кто не брошен грозным гением,
Ни дожди тому, ни гром
Страхом в сердце не дохнут.
Кто не брошен грозным гением,
Тот потоки дождя,
Тот гремучий град
Окликнет песней,
Словно жаворонок
В темном небе.
Кто не брошен грозным гением...*

118

Гений-демон не покидал его... Он неистово бил крыльями. Но (довольно лгать, поэты!) жаворонок вьется и поет в вышине только потому, что опьянел от зерен, наворованных внизу. Ты, Прометей с берегов Майна, ты никогда не знал в них недостатка! Но Марку, как парижским воробьям, приходилось искать зерна в лошадином помете, (Да и помет-то этот попадает все реже: город пропах автомобильным бензином.).

Марк безрассудно себя растрачивал, он сжигал себя, его молодой организм не получал ни достаточного питания, ни необходимого отдыха. С трудом удалось ему найти временную, плохо оплачиваемую и утомительную должность агента по продаже и установке радиоприемников (Как все молодые люди его возраста, даже наименее способные к техническим наукам, он неплохо разбирался в разных механизмах.) Итак, Марк попал в число тех, кто крутит машину, изготавливающую духовное зарево на пропитание новому человечеству. Она забивает голову смесью из шума, музыкальных звуков, шипения, скрипа, гула, электрических разрядов, свиста, от которого лопаются барабанная перепонка, – всем этим вавилонским столпотворением. Проповеди, рекламы аптекарей и трибунов, ярмарочные выкрики балаганных и политических зазывал, джаз и церковное пение, модные танцы и

118 Стихотворение Гете «Песня странника в бурю».

симфонии – все это нагромождается одно на другое, в два, в три, в пять этажей, парад корнет-а-пистонов и рожков («Ах, как я люблю военных!») рядом с Девятой симфонией Бетховена, предвыборная кампания на мотив из Дебюсси и мощная глотка коммивояжера из Тулузы, который состязается с *vociferol*¹¹⁹ какого-нибудь миланского тенора... Это всемирная абракадабра на волнах разной длины. Она обратила карту Европы в головоломку: все языки и все расы смешаны, замешаны и раскатаны в единое месиво и название ему можно найти только в Капернауме. Но надо также подумать (нет худа без добра!). о доходящем до галлюцинаций экстазе бедных, старых, заброшенных, прикованных к дому Шульцев, когда из беспредельности мира к ним в кровать залетают божественные вестники.

Марку приходилось целый день возиться с этими золотыми бурдюками.

После работы его лихорадило от переутомления, от шума в ушах. Казалось бы, его слуху – слуху молодого Зигфрида – открываются все содрогания леса. Но это были не те прекрасные свежие леса на берегах Зилия, где отдыхало вечно ухо Вагнера. Марк слышал звуки грузовика, везущего железные брусья; звуки рельсов, расшатываемых тяжелым трамваем; все, что его окружало, все, к чему он прикасался, все издавало звуки, даже листик, который он мял между пальцами. Он подскакивал, когда звенели стекла. Самый воздух наполнял шумом его уши... Он потерял покой!.. И нет такой дыры, где можно было бы погрузиться в небытие... Вот это они и есть, те звуки небес, что сулили нам так мало понимавшие в музыке великие лжецы Греции и Рима, у которых были заткнуты уши (они ничего не слышали!). Боже милостивый! Кто вернет нам тишину, смерть без шума, спокойную могилу?!

В довершение всего Марк пристрастился к эфиру – его научил один субъект – и это вконец расшатало его здоровье. У него бывали судороги и кошмары; его обостренное сознание распадалось, он терял точку опоры, он терял свое «я», снова находил его по кусочкам, и они носились перед ним в головокружительном вихре. Впрочем, это была общая болезнь европейского сознания, – последствие безмерного, безудержного и бесплодного перенапряжения военных лет, – и интеллигенты культивировали ее, как они культивируют все болезни сознания. (Да не является ли болезнью и само сознание?) Она встречалась всюду – от северных морей до морей Африки, у Джойса, у Пруста, у Пиранделло, у всех, кто умеет играть на дудке и заставляет плясать под свою дудку мещан во дворянстве, интеллигентно-выскочек.

Удивительно было не то, что они этой болезнью заболевали, а то, что профессионалы мышления, профессора и критики, ограничивались тем, что регистрировали самый факт ее появления. Чтобы показать, что и они не отстали от века, они стали курить этой болезни фимиами, в то время как обязаны были бороться с ней, обязаны были спасти здоровье европейского мышления, – в этом-то и заключался весь смысл их существования. Марка не очень привлекали ни неврастенический снобизм франко-семитского гермафродита с бархатными глазами, ни паралитическое бесстыдство ирландца. В глазах Марка гораздо больше очарования имел другой недуг: распад личности, как он показан у подверженного галлюцинациям сицилийца Пиранделло. У Пиранделло этот процесс сопровождается мощными взрывами, которые вызывают распад и сливаются с ним. Марку это было ближе по духу. Но если подобный бред не опасен для писателя, который может от него освободиться, – в особенности когда писатель достиг зрелости, – то для молодого человека, едва сформировавшегося, живущего в постоянной лихорадке, слабого здоровьем, изнуренного трудом, недоеданием и душевными муками, он таит смертельную опасность.

Мужественный юноша боролся изо всех сил, не прося пощады, не взывая о помощи. Задыхаясь, сжав кулаки, повиснув над бездной, он видел страшный распад мира, лежавшего в могиле. Он чуял запах тления, распространяемый трупом цивилизации. От священного ужаса и от удушья он едва не свалился в могилу. Его сотрясали мощные взрывы, и со слепой

¹¹⁹ Громогласностью (итал.).

и пламенной верой он ждал, когда из рта разлагающегося трупа прорастет прямой зеленый стебель, несущий в себе зерна новой жизни, нового мира, который придет. А он непременно придет! Он должен прийти!..

«Я чувствую его жжение в моем чреве. Либо я умру, либо дам ему жизнь!

Даже если я умру, я все же дам ему жизнь. Он возникнет и забьет ключом!.. Он и есть я, живой или мертвый, поток материи, поток обновленного духа, вечное Возрождение...»

Маленькая гостиница в Латинском квартале жила, как в лихорадке. По ночам ее наполняло мушиное жужжание. В доме было слышно все, сверху донизу: как хлопают двери, как скрипят полы и кровати, как глупо хохочут пьяные девки, как ссорятся и целуются на тюфяках. Точно ты сам участвуешь во всем этом, и все участвуют за тебя. Можно было утонуть в поту всех этих тел. Не было сухого места на простынях. Все стадо на них переваливалось...

Марка загнали в эту гостиницу нужда, усталость, отвращение. Бывают минуты, когда отвращение настолько остро, что всецело тебя поглощает.

Тогда уже не смотришь, что воняет больше, что меньше: все воняет... Марк снял комнату в том углу, что подальше от лестницы, предпоследнюю в конце коридора, – туда меньше проникало шума, но и меньше воздуха и света.

Стекла в окне пожелтели. Оно выходило на грязную стену в маленьком дворике, куда не заглядывал луч солнца. Чтобы преградить доступ тошнотворному запаху, окон почти никогда не открывали... Последнюю по коридору комнату, рядом с комнатой Марка, занимала молчаливая особа. Ее тоже не бывало по целым дням. Она приходила поздно, запиралась, работала, читала до поздней ночи и почти не спала, – как он. (Через перегородку, тонкую, точно листик, Марк улавливал каждое ее движение.) Особа не производила никакого шума. Он бы так и не знал ее голоса, но она говорила, стонала и даже кричала во сне. Женский голос – легкий, прерывистый, с разнообразными жалобными и гневными модуляциями. В первое время, когда его будил поток слов на непонятном языке, он думал, что она не одна, и возмущенно стучал в стенку. Тогда она умолкала, и Марк слышал, как она еще долго ворочается в постели, тоже страдая бессонницей. Он раскаивался в своей грубости, ибо отлично знал, что такое для труженика несколько часов сна, и не мог не испытывать угрызений совести оттого, что помешал другому спать. Он представлял себе (и не без оснований), как женщина, чей монолог он только что оборвал, делает судорожные усилия, чтобы не заговорить снова. И действительно: иностранку оскорбляло грубое пробуждение, в темноте у нее горели щеки. Не потому чтобы ей было неприятно беспокоить соседей, – она питала полнейшее презрение ко всему окружающему. Нет, она сердилась оттого, что выдала себя во сне. И до самого утра она нарочно не засыпала.

С течением времени они привыкли друг к другу. Он заставлял себя молча терпеть эти потоки слов по ночам, и в конце концов они даже стали ему приятны. Голос был красивый, строгий, глуховатый, то резкий, то печальный. Марк стал испытывать жалость. Еще одна душа несла непосильное бремя! Он не знал, что сам был для соседки явлением того же порядка. Она тоже слышала за стеной, как он говорил и метался во сне. Но она его не будила, а он, проснувшись, уже ничего не помнил. Многие в доме разговаривали, метались во сне и сквозь храп извергали невнятные слова. Все эти усталые тела, которые варились в котле забвения, тяжело переваривали свои развращенные, поруганные, израненные, жадные и измученные души, молили кого-то о пощаде или лаяли на приснившуюся дичь.

Организм Марка был истощен, и ночной бред принял у него хроническую форму. Бедность, недоедание, жизнь в нездоровом помещении, изнурительный труд, мучительные и неутоляемые желания, жар во всех внутренностях и огонь в мыслях. Марк делал непрерывные отчаянные усилия, чтобы совладать со своим душевным хаосом, но делал их в пустыне, вдали от какого бы то ни было человеческого существа. Это убийственное одиночество отдавало его во власть жгучей лихорадки, и она высасывала все соки из его тела и из его мозга. Он разучился спать. Он стал злоупотреблять наркотиками. И вот стоило теперь ему погрузиться в сон, как начинался бред. В минуты проблесков сознания он видел,

что катится вниз, и изо всех сил старался выбраться. Он просыпался растерянный, смертельно усталый, с ощущением тошноты, преследуемый галлюцинациями слуха. Все шумело вокруг него, шумели самые ничтожные предметы, едва он их касался, – железные прутья кровати, окно, подушка. Его лихорадочно напряженный слух улавливал еле слышные колебания воздуха и безмерно их усиливал. Марк с тревогой говорил себе: «Я схожу с ума». Он боролся несколько ночей кряду, а днем, когда лихорадка спадала, валялся на поле битвы обессиленный, в полной прострации. Он и этой ночью все не сдавался. Он вскочил и крикнул:

«Нет!» Он ногтями отрывал врага от своих висков и затылка...

Дверь отворилась. К нему прикоснулись женские руки. Сначала он был удивлен, потом сердито дернулся. Но женщина держала его руки, как в тисках. Марк пришел в бешенство. Он нагнулся и укусил ее. Зубы впились ей в руку, чуть выше большого пальца. Но другая рука освободилась и ударила его под подбородок. Он разжал зубы и, оглушенный, свалился на подушку.

Над ним склонилась молодая женщина. Упираясь коленом в край матраца, чтобы не потерять равновесия, она обвила руками его шею и певуче проговорила:

– Успокойся, мой мальчик!..

У нее были карие глаза, с рыжеватыми точками.

Марк, как загипнотизированный, уставился в эти рыжие огоньки. Потом его блуждающий взгляд упал на руку, лежавшую возле его лица. Рука была маленькая, мускулистая; на золотисто-смуглой коже, чуть выше указательного пальца, бледной полоской лежал шрам. Воспаленное обоняние Марка с жадностью и отвращением улавливало сернистый запах этой кожи. Он сделал последнее усилие, чтобы вырваться, и весь напрягся, но женщина держала его крепко. Лицо его налилось кровью, он раскрыл рот и некоторое время ловил воздух, как рыба на песке, бросая рыжим искоркам взгляд, исполненный отчаяния и мольбы; затем потерял сознание.

Он лежал голый, поперек развороченной, грязной постели, одна нога у него свесилась на пол.

Непрощенная гостья просунула ему руку под колени и под худенькую поясницу и, положив беспомощное молодое тело на грязные простыни, осмотрела его и пощупала лоб. Затем пошла к себе, принесла подушку, чтобы подложить ему под голову, и осталась возле него.

Среднего, скорее маленького роста, она на вид казалась хрупкой, однако впечатление это было обманчиво. Худое, но крепко сколоченное, сильное тело; плоская грудь, но крутые бедра и мускулистые руки. Лицо у нее было бледное, широкое, круглое и скуластое, а выражение, как у кошки, которая никогда не станет ручной. Глаза ясные, – они оставались ясными, даже когда душу охватывало смятение: в них был кремьень. Суровая складка волевого рта с чуть припухшей нижней губой, которую она имела обыкновение покусывать, и в этой складке – тень горестных воспоминаний и неумолимость. От нее веяло силой, которая захватывает, тревожит и связывает.

Особенно доверять этой силе не следовало. У нее бывали периоды упадка.

(Это была натура непостоянная...).

Она была русская эмигрантка. Два года назад, когда судьба забросила ее в Париж, ей было двадцать лет. В начале революции ей исполнилось шестнадцать. Между семнадцатью и двадцатью годами она пережила двадцать жизней, а сколько смертей? Ее носило по волнам гражданской войны. Восемнадцатилетняя девочка, она уже стала матерью. На Украине, во время налета банды Махно на Екатеринослав, ее ребенок, ее мальчик, был убит у нее на груди. В девятнадцать лет она вместе с отступавшей армией Врангеля попала в Турцию, где испытала все ужасы бегства, все жестокости и весь позор той купли-продажи, какую гостеприимная Европа предложила этим человеческим стадам: реакция сперва использовала их, толкнула в пропасть, а потом бросила. Эта женщина познала истерию ненависти, которая хочет мстить и, в свою очередь, заставить страдать. Жестокости приводили ее в содрогание,

она неистовствовала при виде их и проникалась омерзением ко всем, кто бы их ни творил, будь то враги или люди из ее лагеря. Она познала крайности, на которые женщину толкает тело, изнуренное страданиями и лихорадкой страсти. Она познала часы отвращения к себе и к миру, к своей загубленной жизни: ей казалось, что жить дальше – невозможно. И – что было уже вовсе непостижимо – познала полное забвение того, что видела и пережила, и беспощадный возврат к прежнему. Страшные годы прошли для нее как головокружительный водоворот, из которого ее сознание не сохранило почти ничего. Днем – пустота, голое место! Расплата наступала по ночам. Прошлое было всего лишь сон, галлюцинация. Она отбрасывала его от себя недоумевая: «Кто это?..» Она оставила позади себя столько своих «я», изношенных, поруганных, удушенных!.. По ним шагало ее новое «я».

Как бы ни плевала она на жизнь, но жизнь жила в ней и хотела жить...

Сейчас это была крепкая двадцатидвухлетняя женщина.

Ее отец был профессором Казанского университета, читал курс истории права. Это был крупный, почтенный представитель старой интеллигенции, которая служила Революции ступенькой, но Революция скоро перешагнула через нее, разбила и толкнула навстречу самой злобной реакции. Старая интеллигенция металась, как стрелка компаса, который сошел с ума, и в течение нескольких недель перескочила от Керенского к Деникину, от социалистов-революционеров к постыдному сговору с белой контрреволюцией. У нее не было времени передохнуть и одуматься. Ураган ослепил ее, она потеряла голову от страха и злобы и внезапно с изумлением увидела, что находится среди тех, кого всегда презирала, на кого смотрела, как на грязь, пристающую к подошвам. Она почувствовала себя обещенной, но было поздно, вырваться она уже не могла, – она была припаяна кровью, даже язык у нее был привязан. Не оставалось иного выхода, кроме как опуститься на дно, чтобы больше ничего не видеть и не слышать, чтобы умереть. Федору Волкову посчастливилось: он умер в самом начале своего крестного пути. (Распятие существует не для одних только праведников; рядом с Христом было распято двое заблудших.) Его поймали при попытке к бегству, он дал себя расстрелять, не проронив ни слова, ничего не простив ни друзьям, ни врагам, ни самому себе, стиснув зубы и проклиная мир... Наконец-то ночь!..

Был еще младший брат, мальчик лет четырнадцати-пятнадцати. Он обожал Асю, делился с ней мечтами о любви и творчестве. По первому зову трубы он ушел с компанией почти безоружных гимназистов – таких же безумцев, как он, воевать с большевиками. Все эти мальчики были перебиты.

Ася осталась одна на дорогах бегства. Каждая остановка была отмечена для нее муками и позором. Не однажды приходилось ей стрелять, и она рисковала поплатиться жизнью всякий раз, как безумный бег останавливался.

Но неистовое желание жить, свойственное каждому молодому существу, лихорадочное возбуждение, которое оно поддерживает в мозгу, застилали ей глаза красной пеленой и вонзали шпоры в бока. Она это знала. Она этого хотела. Она задыхалась от отвращения и презрения к самой себе. И так как надо было чем-то питаться, чтобы жить, она питалась презрением.

Ей удалось, наконец, добраться до прибежища на Западе, до песчаного берега среди скал – Парижа. На этом шумном берегу виновники кораблекрушения воровали у пострадавших последние обломки. Крабы, выброшенные океаном, попадали в одну корзину и пожирали друг друга. В Париже Ася отошла в сторонку. При первом же соприкосновении с эмигрантами, которые расположились здесь лагерем с самого начала Революции, Ася почувствовала холод и замкнулась: они были ей еще более чужды, чем сама чужбина. Они утратили связь с жизнью; они уже ровно ничего не понимали; они продолжали разглагольствовать, спорить, приказывать, не замечая того, что они мертвы. При встрече с ними Ася каждый раз с омерзением отшатывалась: «Они мертвецы... мертвецы... Как они этого не чувствуют?» Но они это чувствовали – и бились в судорогах безнадежного отчаяния. Они выли, они зывали к богу, к черту, к царю, к смерти. Они желали смерти

своих близких, смерти своих врагов, смерти всего человечества. Если Европа, если мир не хотят их спасти, пусть Европа и мир погибнут вместе с ними! Кровавое безумие овладело этими мозгами, погруженными в бред мистики и в бред алкоголя... Ася удирали от них, она ненавидела их болтовню, их иступление, их пустоту. Она ненавидела все, что напоминало ей прошлое, и удирали.

Она утопала в одиночестве, как в бездонной пучине, – в большом городе одиночество особенно страшно. Этот город не лучше понимал русских, которым дал приют, чем русские, – да и она сама, – понимала его. Они жили в этом городе и презирали его. Ася держалась в стороне от живых. Она чувствовала, что принадлежит к затонувшему миру.

Но погибнуть она не могла. Она была создана из материала, не поддающегося разрушению, – меняться может лишь форма. Как существа подводного царства приспосабливаются ко всякому давлению, так и она могла видеть без глаз и дышать без легких. Ничто не могло бы заставить ее уйти раньше времени, даже ее собственная воля.

Два года просуществовала она почти в полном одиночестве, без средств, на случайные и непостижимые заработки. В иные дни она съедала яблоко, которое удавалось украсть с лотка, в другие не ела ничего; или, когда ей, бывало, посчастливилось что-нибудь заработать, она в один присест с жадностью молодой волчицы поедала то, чего могло бы хватить дня на три: у нее был казацкий желудок – его стягивают или распускают в зависимости от того, есть чем его наполнить или нет. К регулярному труду она была неспособна. Рывком она могла выполнить работу, для которой требовалось несколько человек. Никакой труд не пугал ее: она мыла заплесанные полы в кафе, по четырнадцать часов кряду проводила на своих гибких стальных ногах, когда служила экономкой в одном доме или когда работала разносчицей и в рваной, промокшей обуви бегала с одного конца Парижа на другой, таская покупки, и бечевки врезались ей в пальцы. Случалось, что, придя после такой работы домой, она уже не ложилась: она до зари читала, сидя на продавленном стуле, не снимая платья, от которого пахло псиной; она сбрасывала только обувь и ставила отекавшие ноги на холодные плиты пола...

Но бывало и так, что она вдруг, без всяких объяснений, бросала работу и целый день проводила в постели, лежа на спине, скрестив ноги, подняв колени, грезилась и ни о чем не думала или думала обо всем, хмуря брови и стряхивая пепел сигареты прямо на простыню... А иногда ею овладевала жгучая потребность смешаться с другими человеческими существами. Она без цели носилась целыми ночами по городу, входила всюду, где шумно, – в кабачки, в дансинги, – но как одичавшая собака, которая все обнюхивает, появляется и снова исчезает в темноте. Кокетничать она не умела, – только к краскам питала страсть дикарки. Мужчинам это не казалось смешным. Выражение ее лица, ее движения – все было своеобразно. Ее появление никогда не оставалось незамеченным. Другие женщины дулись, находили ее некрасивой, разбирали ее по косточкам. Ничто не помогало. Они знали, что не было мужчины, который не вздрогнул бы, как только она появлялась, и выходили из себя. Если бы она захотела, она могла бы жить, продавая себя. Ведь никакие предрассудки не сдерживали это худое, горячее, изголодавшееся тело, которое жизнь, казалось, уже ничему не может научить. Но ни разу не пустила она его в продажу. Но и без денег она тоже никому его не отдавала. Немой ужас перед прошлым и дикая злоба при мысли, что этому телу пришлось вынести. Страдание и яростный бунт против своего естества.

Невысказанная жажда искупления, незаживающая рана на теле гордого и здорового существа, оскорбленного недостойной жизнью. Последствия этой раны приближают человека к религиозному самоотречению. Он сам себя наказывает за пережитые страдания и бесчестье. В течение двух лет страшного одиночества в Париже Ася принуждала себя к аскетическому целомудрию. Ничто в мире не могло бы заставить ее нарушить этот безмолвный обет. Даже судороги в желудке, который не одну ночь терзали муки голода. Напротив! Чем сильнее угнетала ее нужда, тем упрямее бронировала она себя самоотречением. Ее защищала суровая гордость побежденной, у которой ничего больше не осталось, кроме гордости, и которая бережет этот последний залог, чтобы не коснуться земли

обеими лопатками. И она поклялась не отдавать его даже в случае самой крайней нужды, хотя и не признавала за ним той ценности, которую ему приписывала старая мораль. Для нее это был символ последних остатков ее независимости. Из настороженного страха утратить его эта неверующая обрекла себя на жизнь в некоей Фиваиде, лишенной воды и любви, как на заре христианства поступали первые суровые и упорные отшельники.

Для утоления голода она находила Ersatz'ы. Она утоляла им особый вид голода – голод духовный, приступы которого терзали ее по временам не менее жестоко. И, утоляя его, заглушала голод телесный. Она проводила целые часы под аркадами «Одеона» и читала неразрезанные книги, разложенные на лотках перед книжными лавками. Дули ледяные зимние ветры, и закутанные продавцы, от холода топавшие ногами, не мешали ей: они уже знали ее, – глядя на нее, им становилось теплее. Прочитав книгу, она снова вкладывала ее в бандероль и аккуратно клала на место. Но в рукаве у нее была спрятана шпилька, которой она разрезала страницы, когда продавец отворачивался. Так она прочитала от начала много книг, в том числе научных и несколько брошюр Маркса. За три года скитаний, гонимая Революцией, она слышала о Марксе лишь от яростных клеветников и представляла его в виде одной из семи голов дракона. Теперь она проводила целые дни за чтением Маркса, жадно глотая страницу за страницей. Она боялась стащить книгу, как таскала помидоры и картофель в мелочных лавочках. Голый парень, у постели которого она сидела сейчас в гостинице, и не подозревал, что именно ее поймал он однажды за руку у лотка на улице Комартен. Она не постеснялась бы стащить и нужную книгу, если бы не боялась, что не сможет подойти к кормушке книготорговца в другой раз. Она была способна вырвать одну или две страницы из книги, которую читала. Она принадлежала к тем опасным варварам (все женщины в большей или меньшей степени варвары), которые, стремясь овладеть какой-нибудь крупницей знания, способны повредить ценную книгу, взятую в библиотеке, – повредить, не колеблясь:

«А что ж тут такого? Книги на то и существуют, чтобы я их глотала...» Но ей надо было думать о провизии и на завтра – о крошках со стола книготорговца, и осторожность подсказывала ей обращаться с книгами, которые она перелистывала, не менее бережно, чем сам книгопродавец. Они оказывали друг Другу доверие.

Затем с пустым желудком и насытившимися мозгами она шла домой переваривать пищу. Чтобы заглушить резь в желудке, она сосала сухую корку и косточки от апельсина, съеденного накануне.

За два года этого режима героического голодания, нарушенного лишь несколькими случайными удачами, когда она наедалась досыта, Ася не только не умерла – она создала себе новую жизнь. Она была наделена загадочной гибкостью, свойственной славянам, которые в течение столетий учились все сносить и не умирать. И еще была у нее чудесная способность воскресать – дар избранных душ, (Когда я говорю: «душ», я говорю «тел»; есть тела, которых ни годы, ни сама смерть как будто не касаются – никакая рана, никакое пятно не оставляют на них следа; оболочка изнашивается, ломается и спадает, и появляется новая, свежая.) Женская душа – фильм. Души, точно образы, сменяют одна другую и движутся (вернее, их движут). Души нередко бывают чужими друг другу. Даже наиболее устойчивые натуры, даже такие, как Аннета, не раз наблюдали в самих себе это мелькание кадров. Но никогда еще у такой женщины, как Аннета, смены душ не происходили столь внезапно. Они вообще редко случались у женщин Запада. У Аси полное затмение царствующей души наступало в одну секунду: она забывала все. И возникала новая душа, новая воля. Ее это нисколько не удивляло – она мгновенно отождествляла себя с ними; они принадлежали ей, она принадлежала им в течение всего периода затмения. Потом она сразу, без всяких толчков и нисколько не удивляясь, обнаруживала у себя ту, первую, душу, которую скинула. Это была постоянная опасность. Но были здесь также уверенность и покой. Ибо первая душа возвращалась! (В этом можно было не сомневаться.) И за время затмения она набиралась и сил и свежести, – она точно восставала от крепкого сна...

Так, без связей, без места в жизни, без веры в бога, без иллюзий, без всего, что дает

силу жить, Ася жила и не сдавалась. Каждое утро лук бывал туго натянут наново и готов к охоте. Жизненные испытания, как ни были они тяжки для тела и для души, не оставили у нее, однако, гноящихся ран на теле и не опустошили ее душу. Она была существом глубоко здоровым. Умом она все разрушала, все взрывала. Напрасно: инстинкт извлекал из-под развалин молодое будущее. Ее смелая до дерзости критика и дикарски здоровая натура, которая всегда шла прямо к цели, не блуждая по окольным путям, мало-помалу приблизили девушку к пониманию новой России.

Сперва она сама не отдавала себе в этом отчета. А потом подумала: «В чем дело? Я иду своей дорогой. Собаки – и те имеют право ходить по дороге!..» Когда она сталкивалась с теми, кто приезжал оттуда, – она встретила подругу по институту, вступившую в Коммунистическую партию и работавшую машинисткой в советском посольстве, – она сразу чувствовала родную землю, дух родины. Гордость побежденной не позволяла ей признать это. Но признавала она или не признавала, а факт остался фактом: эта эмигрантка видела и эмигрантов, и Запад, и весь моральный и социальный мир в целом глазами русской женщины из революционной России. Больше всего мешала ей примкнуть к революционной России ее индивидуалистическая гордыня, которая в изгнании и одиночестве разрослась еще сильнее. Сама жизнь наложила на нее этот неизгладимый отпечаток, но в глубине души ей страстно хотелось слиться со сплоченными человеческими массами России.

Отсюда приступы лихорадочной, гнетущей тоски по родине.

Отсюда и те дни, о которых я уже говорил, – дни, когда она лежала часами в полной прострации. Тут-то и начала мало-помалу просачиваться в ее сознание невидимая жизнь за перегородкой. Ася лежала в паралитической неподвижности, но сквозь щели ее обостренный слух заползал в комнату Марка, как щупальца исполинского насекомого. Ася исследовала эту комнату, обшаривала ее и постепенно воссоздавала в своем воображении и берлогу и самого зверя. А зверь, то есть Марк, обманутый нерушимой тишиной в соседней комнате, не подозревал, что прощупываются все его движения, и давал себе волю. Безглазые, но цепкие щупальца обшаривали его сверху донизу. Марк всегда находился в возбужденном состоянии и говорил вслух сам с собой не только во сне. Когда он полагал, что никто его не слышит, он не сдерживал своего кипения. В такие минуты у него вырывались обращенные к кому-то слова – слова, полные ненависти, обрывки фраз возникали из темноты, как гребни волн, сверкающие на солнце (то была беседа Иакова с ангелом). Настороженный слух нырял, как чайка, в солнечную пену слов и проникал в глубину души. Сначала Ася прислушивалась лишь к тембру голоса и представляла себе губы, как по запаху можно себе представить плод. Потом она в темноте пыталась представить себе все тело. Она обнюхивала его. Не по влечению, а в силу животного инстинкта самки и от безделья.

Наконец изучение было закончено. Существо, жившее рядом, она уже знала по запаху, вкусу и слуху. Тогда у нее появилось желание рассмотреть не спеша, *de visu*,¹²⁰ тот образ, который она себе создала. Она его не искала, но однажды вечером встретила его на лестнице и постаралась остаться незамеченной. Она его увидела и сразу узнала приказчика с улицы Комартен, который уличил ее в краже; она вспомнила волчью яму, в которую попала, и руку, которая ее выпустила. (В эту минуту, склонившись над изголовьем Марка, который горел в лихорадке, она смотрела на эту руку, красивую, молодую руку с длинными пальцами, которые тогда держали ее, как в тисках, и ласково погладила ее.) Что касается всего остального, то реальный образ не показался ей очень далеким от того, какой она себе создала. В таких случаях реальное мгновенно подменяет воображаемое и воображение не может себе представить, что когда-нибудь видело его иным.

Во всяком случае, с этого дня сосед заинтересовал ее еще больше, и она стала следить за его судьбой еще более напряженным взором, вернее слухом. Ее поражала серьезность этой юной натуры, а собственный опыт помог ей увидеть все сокровенные закоулки этого

¹²⁰ Собственными глазами (лат.).

нечеловеческого одиночества, подобного ее одиночеству, и все страдания, которым сопротивлялась стоическая гордость Марка. Теперь, когда она порой заставляла себя не спать, чтобы во сне не выдавать своих тайн, она следила за тайнами чужого сна и за приливами все усиливавшейся горячки. Она видела, что неотвратимый недуг надвигается на молодое существо, что он кружит над ним, как коршун, и круги становятся все уже. Она знала, что настанет час, когда ей надо будет вмешаться.

Час настал. Она пришла.

Она видела много болезней в жестокие времена исхода, когда ее кружило в водовороте разгромленной и бегущей армии; много приходилось ей ухаживать за ранеными, часто пользовалась она средствами, которые предоставлял счастливый случай, вернее – случай несчастный, случай самый гнусный; знала она все горести и весь стыд изувеченных тел, – никакое страдание уже не могло заставить ее врасплох. Она не сочла нужным пригласить врача.

Она решила, что справится сама. Марк с таким же успехом выздоровеет либо умрет у нее на руках, как и на руках доктора. Она судила о других по себе, и пришла к мысли, что надо прежде всего уберечь его от больницы, а больница – первое, что предписал бы врач... Нет, уж если умирать, то в одиночку. Это последняя роскошь.

Она применила сильнодействующие отвлекающие средства: горчичники к бедрам и лед на голову. Она ухаживала за Марком, кормила его, умывала.

Ничто не вызывало в ней безразличности. Комната была грязная, воздух спертый. Окно выходило во двор и упиралось в стену. Изъеденная проказой стена стояла так близко, что если высунуться из окна, можно было дотронуться до нее рукой. В угловой комнате, где жила Ася, окно выходило на улицу. Ася открыла – взломала дверь, которая соединяла обе комнаты, и перенесла больного к себе. Он был выше ростом. Его длинные, худые ноги свешивались, одна рука волочилась по земле. Он был похож на молодого Христа, тело которого полагают во гроб. Ася несла его, согнувшись, широко расставив сильные ноги, выпятив нижнюю губу, стиснув зубы, нахмутив брови и не сводя строгих глаз с доверившегося ей тела. Что-то материнское проснулось в ее пустой груди, в которой, после того как от нее оторвали ротик убитого ребенка, иссякло молоко человеческой нежности. Пересохший родник оживал. Больной был в беспамятстве; она уложила его на свою постель. Ночью, в минуту проблеска сознания, он открыл глаза и, как утопающий, позвал: «Мама!» Он увидел, что находится в чужой комнате и над ним склонились красивые уста, от которых исходило утешение. Уста сказали ему с жалостью: «Да, мой мальчик...» – и поцеловали его в сухие губы.

Она убрала оставленную комнату. В течение нескольких недель, предшествовавших болезни Марка, там набралось много грязи, по всем углам валялись клочки бумаги. Во время своих ночных дежурств она подобрала их и привела в порядок. Среди них оказалось много писем. Ася их прочла. Человек, лежавший в ее постели, был ее добычей, – пусть кратковременной, но ведь принимается во внимание только настоящая минута; что было раньше и что будет после – это не имеет значения. Все, что принадлежало пленнику, составляло часть добычи.

Много писем было от «мамы». Из твердого, четкого почерка, который летел вперед, как птица, знающая свой путь, – широкими и правильными взмахами крыльев, – возникал и запечатлевался в глубине Асиных глаз страстный образ Аннеты. С каждой страницей, которую переворачивали пальцы захватчицы, гордый и нежный образ этот становился все яснее. Вскоре обе женщины стояли лицом к лицу и мерили друг друга взглядом. Они ничего друг другу не сказали. Ася сложила письма и начала обнюхивать незнакомку. Она взвешивала силу ее любви и ее силу боевую – силу жизненную. В этом-то она разбиралась. И она не ошиблась. Человек, лежавший в комнате рядом, становился ей дороже потому, что происходил от этой женщины...

По письмам матери Ася представляла себе письма сына. Она проникала в самые укромные уголки этого мрачного, вечно боровшегося сердца, старалась уяснить себе порывы

ярости, которые вызывали в нем весь мир и он сам, его врожденную чистоту и грязь его повседневной жизни, от которой его самого тошнило, его слабости и его поражения, которые делали его более близким ей, более человеческим... И его полную откровенность с матерью, которая с чисто мужским пониманием раскрывала человеку его сущность и успокаивала его. У Аси шевельнулось ревнивое чувство к этой женщине... И это было для нее первым признаком того, что она полюбила.

Она поняла этот знак. От нее не ускользнуло ничто из того, что скрытная, замкнутая натура девушки пыталась утаить от нее самой. Она пожала плечами. Стоя перед кроватью, она смотрела на Марка. Болезнь все еще держала его в тисках. Несмотря на заботливый уход, ему становилось не лучше, а хуже. Грозила роковая развязка. Рука Аси погладила пылающий лоб, затем, под одеялом, осторожным движением сжала ноги. Подумав, Ася бросила взгляд на письма, лежавшие на столе, вышла из дома и послала матери телеграмму.

Аннета находилась с Тимоном в Англии. Когда ей подали краткую и беспощадную телеграмму без подписи, она зашаталась. Тимон взял у нее из рук листок, прочитал. (У нее не было сил говорить.) И этот суровый человек, который и бровью не повел бы, если бы на его глазах погибал целый народ, проявил неожиданную доброту. Аннета растерялась; она набросила на плечи пальто и хотела бежать на ближайший вокзал, забыв все – деньги, паспорт, вещи. Он удержал ее и заботливо усадил.

– Полно, дружок! Не теряй голову! Соберись в дорогу, но спокойно! Не пройдет и четырех часов, как ты увидишь своего мальчика.

Он позвонил на аэродром и распорядился немедленно подготовить к вылету его аэроплан. Он проводил Аннету в автомобиле. По дороге он ее успокаивал с грубым добродушием, которое не успокаивало ее, но трогало.

Расставаясь, он был взволнован, хотя и старался не показывать этого.

– Ты его спасешь! – убеждал он. – Но потом возвращайся! Продержусь ли я до тех пор?

– Тебе-то ничто не грозит... – сказала она (его слова испугали ее, но страх был отдаленный, она думала о другом).

– Я сам себе буду грозить... – возразил он, – как только останусь один. Ты это отлично знаешь. Если бы не ты, разве я бы продержался до сегодняшнего дня?

Заметив, что мысли Аннеты уже далеко, он сказал:

– Ну, спасибо тебе! Ты сделала больше, чем я мог ждать. И не вспоминай ни о чем, что пачкало меня в твоих глазах.

– Я помню только нашу дружбу. У нее всегда были чистые руки.

– Ну так дай же мне твои руки! Они обменялись рукопожатием... Загудел мотор. Она взглянула на Тимона: лицо атлета, над которым скульптор работал не резцом, а кулаками, с печатью грубых страстей (и благородных и низменных), с бычьим лбом и тяжелыми глазами, упорный взгляд которых впитывал в себя ее образ, как губка. Она приблизила к нему свое лицо и сказала:

– Давай поцелуемся! Дверь комнаты была открыта. Асю нисколько не тревожило, что кто-нибудь может войти. У нее нечего было украсть. Соседей она не ставила ни во что. Но когда вошла мать (она узнала ее с первого взгляда), Ася была удивлена: она не ждала ее так скоро. Они не обменялись ни единым словом. Аннета прошла прямо к постели, даже не сняв пальто, и бросилась к сыну. Но так, как умеет это делать только мать: она обняла его страстно и вместе с тем так нежно, что прикосновение ее было похоже на легкий ветерок, который ласкает выгоревшую траву на лугу.

Пылавшее в огне тело больного почувствовало облегчение. Губы зашевелились. Он вздохнул. Аннета приподняла его горячую голову, а затем снова бережно положила на подушку. Обернувшись, чтобы снять пальто, она увидела женщину, которая продолжала стоять, полная решимости не уступать своего места. Скрестились быстрые, прямые и суровые взгляды. Аннета спросила:

– Это вы телеграфировали мне? Ася, не шевельнувшись, ответила:

– Да, я.

Аннета протянула ей руку. Ася пожала ее. В обеих руках не было теплоты. Они заключали договор. Аннета вошла в соседнюю комнату, жестом предложив Асе следовать за ней, и попросила:

– Расскажите! Конечно, у матери свои права. Но они столкнулись с правами, которые присвоила себе Ася. И Асю возмутило то бессознательно повелительное, что было в этом голосе и жесте. Последовало несколько секунд немой схватки между двумя волевыми женщинами. Они, пожалуй, сами не отдавали себе в этом отчета, но каждая напряглась, как лошадь, у которой крепко натянули поводья. Затем одна из лошадей сдалась. Ася заговорила.

Она кратко описала ход болезни. Она не сказала, какие у нее отношения с Марком. Но ей доставило смутное удовольствие сообщить этой женщине, что ее сына она уложила в свою постель. Покуда она говорила, Аннета быстрым взглядом окинула обе комнаты. Она не сомневалась, что эта женщина-любовница Марка. Аннета была свободна от предрассудков, и Ася тотчас перестала быть для нее чужой. Аннета вдруг начала держать себя с ней менее натянуто. Ася не понимала, в чем дело. Строгие глаза, смотревшие на нее, смягчились, а она продолжала держаться холодно, замкнуто.

Обе не старались сейчас лучше понять друг друга. Надо было спасать человека. И ради этого они объединились. Каждая решила обменяться с другой своим опытом. Аннету поразила уверенность Аси. Ася все делала с холодной точностью, быстро, не задумываясь. Ни одного лишнего движения. В присутствии матери она действовала так, словно была здесь одна, нисколько не стесняясь. Она обращалась с этим жалким и беспомощным телом, точно санитар, который смотрит на больного как на свою собственность.

Аннета была шокирована и вместе с тем пленена. То, что делала Ася, казалось ей бесчеловечным, но она не могла не видеть, что это правильно и полезно. Она чувствовала ее превосходство и невольно покорялась ей, когда та кратко, отрывисто приказывала:

– Подержите ногу! Поднимите ему поясницу! Да вы что, не видите?

Аннета тоже умела ухаживать за больными (какая женщина в Европе не научилась этому за годы войны?), но руки выдавали ее волнение, когда они прикасались к сыну. Она восхищалась бесстрастной точностью всех движений Аси. Эта бесстрастность тем более удивляла ее, что она очень скоро заметила, какие страсти и какая неистовая сила наложили свой отпечаток на лицо Аси. Благодаря вспышкам молнии, которые по этому лицу пробегали, Аннета поняла лучше, чем сама Ася, и прежде, чем признала это сама Ася, что молодая женщина завладела ее сыном.

Они поделили между собой ночные дежурства. Каждая по очереди сидела у постели Марка, а затем отдыхала. Ася не спала все предшествующие ночи и сразу свалилась, как мертвая. У Аннеты было время о многом подумать, покуда она прислушивалась к лихорадочному дыханию двух существ. Одно дышало неровно и прерывисто, другое – торопливо и шумно: так ест человек, который спешит поскорее съесть свою порцию. И действительно, едва настало время смениться, Ася мгновенно проснулась. Она пришла занять место у изголовья Марка и заставила Аннету лечь в постель, еще теплую после ее сна, полного бредовых видений.

Прошло несколько тревожных дней – и к Марку вернулось сознание. Еще затуманенные глаза его просветлели и остановились на нежном лице матери.

Он улыбнулся, и для нее это была радость. Но его взгляд ошупывал все, что было вокруг, и встретил за спиной Аннеты нахмуренные брови и сверкающие глаза Аси. Взгляд застыл, удивленный, вопрошающий, и старался разобраться. Он вернулся к глазам матери, и она прочла в них недоумение.

Ася стояла за ее спиной и молчала... Стало быть, они даже не знают друг друга? Аннета молча наблюдала. Недоверчивая замкнутость Аси не допускала никаких расспросов. Ася продолжала перекладывать Марка на подушках, ворочать его, распоряжаться им, как если бы имела на него все права. А Марк молча подчинялся и не смел ни о чем спрашивать: его точно заколдовало необъяснимое присутствие чужой женщины. Он силился найти разгадку и обращался к минутам просветления, какие бывали у него в бреду. У него было

странное опасение, что если он начнет расспрашивать, видение исчезнет. После долгих бесплодных усилий он напал на след. Луч света проник во тьму. Ему, однако, надо было удостовериться. Но стесняло присутствие матери. Наконец он улучил минуту, когда мать отошла и Ася склонилась над ним. Он прошептал:

– Вы моя соседка? Вы живете рядом?

– Это вы живете рядом, – ответила она. – Сейчас вы у меня.

Он не заметил этого... Он обвел взглядом комнату. К голове прилил теплый поток, порозовел лоб. Ася погладила его своей крепкой рукой:

– Ладно! Лежи спокойно! Будет у тебя время подумать!

Все еще склонившись над ним, как бы для того, чтобы взбить подушку, она в нескольких словах, не допуская возражений, объяснила ему, что произошло:

– В этой комнате больше воздуха. Я тебя перенесла сюда. А теперь молчи! Больше ни о чем не думай.

Она говорила вполголоса и быстро. Но Аннета услышала властное обращение на «ты», которое своей пленяющей неожиданностью точно заворожило ее сына и приковало его к подушке. И когда, обернувшись, Ася встретила взглядом с глазами другой женщины, она прочла в них все. И пусть! Ей нечего было скрывать! Но объясняться она не собиралась! И Аннета, уважая ее молчание, ждала, когда незнакомка захочет разговориться.

Так они и жили все трое, не открываясь один другому и наблюдая друг друга. Марк постепенно изучал незнакомку, и постепенно его охватывало неизъяснимое влечение к ней. Каждая ее черта в отдельности была ему чужда, казалась почти враждебной. А все вместе представляло собою сеть и неумолимо, петля за петлей затягивалось над ним, над его волей. Это его сердило, он упорно старался понять, в чем дело, складывал все свои критические наблюдения, но сумма отличалась от слагаемых – Он замечал, что ему не хочется убрать ни одной подробности и не хочется что бы то ни было менять. Каждая подробность была необходимой петлей в сети. Женщина эта была не из тех, которых любят, потому что нравятся их рот, нос, грудь. Ее можно было любить или ненавидеть за то, что она такая, как есть, единственная и неповторимая, утверждающая себя, свое «я» благодаря своей жизненной силе. И каждая ее черта, красивая или некрасивая, – быть может, в особенности некрасивая, – покоряла тем сильнее, что была свойственна ей одной: «Ты – это ты... И никто больше...»

По молчаливому соглашению он редко обращался непосредственно к ней. И никогда не отваживался говорить ей «ты», как с дерзким бесстыдством (можно даже сказать, с некоторым вызовом) говорила она. Аннета помогала им узнать друг друга. У обоих был достаточно чуткий слух; из соседней комнаты нетрудно было услышать, что говорит Марк, оставшись наедине с матерью. Но Ася следила за собой. Она уклонялась от терпеливых попыток Аннеты поближе узнать ее, и уклонялась весьма искусно, без грубости: ее покоряли честные глаза и сердечность Аннеты. Ее увертки были тонки, – на миг они словно приоткрывали какую-то даль, но все тотчас же рассеивалось, прежде чем удавалось хоть что-то уловить, и она делалась только еще более загадочной. Но разочарование молодого слушателя вознаграждалось наслаждением, которое доставлял ему ровный и певучий голос. Это было прекраснее и сладостнее, чем самое прекрасное тело. Он закрывал глаза и наслаждался ее голосом, как если бы чувствовал его на губах или в руке. Голос был горячий, насыщенный сладострастием. А потом женщина, говорившая ему «ты», подходила к его изголовью и ворочала его своими нежными руками, которые зажигали в нем огонь. Он поворачивался к ней спиной, чтобы избежать соблазна открыть этот властный рот и завладеть им.

Когда он оставался наедине с матерью, притворяться ему бывало труднее. Его простодушно выдавали восстановленное здоровье и желание, пробуждавшееся в молодом теле вместе с приливом сил. Быть может, он втайне был даже доволен, что из-за спины матери в него впиваются глаза незнакомки, хотя говорил он, казалось, только с матерью. Аннета нисколько не заблуждалась. Полное доверие, которое как будто бы оказывал ей сын,

относилось к ней лишь наполовину: «Ах ты, хитрец!.. Вот я тебя сейчас поцелую за нас обоих!.. Но это тебя не устраивает...»

Марк говорил о себе, о себе, о себе... Он не хвастал. Он говорил и плохое и хорошее. Но он говорил с жадной и ненасытной страстью. А говорить со страстью о себе значит плутовать. Можно говорить «за», можно говорить «против», – все равно забираешь себе весь свет и весь воздух. Ты пожираешь другого. Либо говоришь ему: «Съешь меня!» (что одно и то же).

Не желая или не умея сознаться в этом, Марк жадно, наивно предлагал себя упрямо сомкнутым устами незнакомки: «Откройтесь! Ешьте!» А рот был голоден и не оставлял ни кусочка.

Она разрывала зубами и жевала, как только что раскрывшуюся почку, эту пламенную, яростную душу, горькую и нежную. Душа была свежая и здоровая.

С запальчивой искренностью, которая трогала обеих женщин и вызывала у них улыбку («Бедный песик!»), выставлял он напоказ и осуждал свою еще не расцветшую, беспорядочную и полную противоречий жизнь. Но в этой жизни не было ничего порочного. Грязь пристала только к шерсти («Идем, я тебя умою!..»). А тело было чистое, как у новорожденного. Выздоровление этому способствовало: ведь это второе рождение... Непроницаемая Ася молча сидела в соседней комнате и трепетала. Ей обжигало руки неодолимое желание коснуться этого бесстыдного тела. В целомудренном и смелом юноше она любила чистоту горного потока и неожиданные противоречия. Ася и сама путалась в противоречиях рассудка и, еще больше, в противоречиях инстинктов, которые оспаривают человека друг у друга и грозят толкнуть его на самые опасные поступки. Но она привыкла к этому и умела приспособливаться – такова была ее натура. А Марк яростно пытался вырваться из противоречий и только больно ушибался. Суровое безразличие Аси объяснялось презрением к себе и презрением к жизни, к безумию пережитого, которое наложило на нее свою печать. Теперь она была захвачена трагической серьезностью этого юноши. Ей хотелось баюкать его на своей груди, этого большого дурачка, неистового и правдивого до нелепости и которого можно было полюбить именно за его нелепость.

И он стал ей еще ближе, потому что им обоим была свойственна душевная обособленность, потому что каждый из них оторвался от своей среды, осознав ее непоправимые заблуждения и пустоту. Ася сожгла мосты между собой и лагерем русской эмиграции. Но она не могла перейти в другой лагерь: он убил ее близких, он преследовал ее и оскорблял, и она ненавидела его со всем пылом своей униженной гордости. Точно так же и Марк с бешенством отвергал различные движения современной французской молодежи, да и самую эту молодежь: он видел ее нелепость, легкомыслие, эгоизм, карьеризм. Все в ней казалось ему наивным, циничным или лицемерным: ее искусство лживо, думал он, мысли лживы, поступки лживы, лжива политика; ложный «интеллектуализм», ложный «реализм», ложный «европеизм». Все это маски, все это ложь сервизма («Интеллидженс сервис!»), бессилия и корысти...

Марк ошибался, жестоко ошибался, и доказывать это ему не было необходимости: он и сам это знал. Но он хотел быть несправедливым. Он слишком много страдал от всего этого, да и сам был к этому причастен. Ему хотелось мстить, хотелось соскрести с себя всю эту грязь. Аннета не пыталась с ним спорить. Она говорила:

– Это из тебя дурная кровь выходит. На здоровье!.. Точи зубы! Можешь точить их хотя бы об меня, если тебе так хочется! Ведь ты уже кусал мне грудь.

Ася не отказалась бы почувствовать его зубы и на своей груди. Ей нравились эти жестокие молодые зубы. Они умели так же ненавидеть и любить, как и ее зубы. Несправедливость Марка, которую она способна была признать справедливой, была ей ближе и родней, чем эквилибристика этих обезьян, которые в погоне за деньгами и успехом пляшут на проволоке. Не часто увидишь такого зверя, как француз, который с мстительным бесстыдством разоблачал бы лицемерие своей матери Франции («Нет! Не матери-мачехи!..») Конечно, французы (как и другие народы) всегда кичились тем, что они одни умеют

осуждать ближнего, тогда как другие народы умеют только восхвалять себя. Но когда французы (как и другие народы) приписывают себе опасную привилегию критиковать себя, этим они косвенно себя возвеличивают. И критика у них далеко не заходит. Они обволакивают ее дымом каминов. И после критики от них приятно пахнет, ибо, осуждая других, они для себя делают исключение... А Марк не делал для себя исключения. Марк из всех сил бичевал не только своих соотечественников, но и самого себя. Ася, как все славяне, с пылкой страстью предавалась самоанализу, срывающему последние покровы (исповедь, которая у наиболее одаренных представителей этого народа развивает психологическое чутье за счет нравственного чувства). Ася глазами знатока оценивала это саморазоблачение, эту обнаженную душу, это свободомыслие. У нее было ощущение, что Марк обнажает свою душу ради нее. Так оно и было. Смутный животный инстинкт побуждал Марка показывать себя той, которую он желал. «Вот я голый! А теперь ты покажи себя!..»

Она слышала этот призыв. Горячими волнами набегало на нее желание ответить, распахнуться и крикнуть ему: «На, смотри!»

Она знала Марка гораздо ближе, чем он знал ее. В нем уже не оставалось ничего такого, что было бы скрыто от ее глаз. В нем была запечатлена каждая частица его тела. И теперь, когда тело наполнялось возрождающейся жизнью, жизнь прилиwała также и к отпечатку, который она носила в себе. Отпечаток обжигал ее. Пленник забирал ее в плен. Он начинал стеснять ее...

Мужчина и женщина – двое детей – выслеживали друг друга, и каждый улавливал еле заметные движения другого. А теперь оба онемели (Марк молчал, ожидая ответа на свой призыв): они прислушивались к тому, как поднимается в них желание. И обострившийся слух выздоравливающего слышал, как оно поднимается в женщине. Но чем выше оно поднималось, тем все более суровой и замкнутой становилась Ася.

И вот наступил вечер, когда мужчина, наконец, проникся уверенностью в том, что женщина выдаст свою тайну. Она кружила вокруг него, подходила близко, потом отходила, – сумерки разливались по комнате. Аннеты не было дома, они были одни. Женщина колебалась, потом решила, быстро подошла и наклонилась, – как делала уже столько раз, – чтобы поправить одеяло.

Но на этот раз он был уверен, что ее руки обовьются вокруг него и рот обрушится на него, как ястреб. Он весь напрягся, ошетинился, он ждал, готовый укусить...

Внезапно она выпрямилась, отошла к стене, прислонилась к ней и холодно заявила:

– Вы здоровы. Пора нам разойтись по своим комнатам.

Он был убит. Он был так потрясен, что в первый момент не мог ничего сказать. Но злость вернула ему дар слова. Он спустил ноги с кровати и сдавленным голосом сказал:

– Сию минуту.

Она пожала плечами и, не двигаясь с места, сказала:

– Можно и завтра.

– Зачем же откладывать? Она не сделала ни одного движения, чтобы удержать его. Он уже топтался на полу, волоча за собой простыни и со злости путаясь в них ногами. Вошла Аннета. Она была удивлена.

– Это дело решенное, – сказал Марк.

Непроницаемое молчание Аси подтверждало его слова. Аннета не стала настаивать, – она умела читать по лицам. Она сказала:

– Хорошо! Это недолго. Только перенести постели.

– Зачем? – спросила Ася. – Какая разница. Мы отвыкли от таких тонкостей.

Марк, дошедший до белого каления, был рад такому ответу. Он уже находился в другой комнате. Затем, подумав, решил, что равнодушие Аси еще оскорбительнее. И он повернулся к обеим женщинам спиной.

Аннета смотрела на эту ссору с улыбкой; она сказала Асе, которая, все еще насупившись, стояла у стены:

– Мы бессовестно злоупотребляли вашим гостеприимством! Простите нас!

Никакой любовью не смогу я отплатить вам за то, что вы сделали для моего сына...

– Ничего я не сделала, – проворчала Ася. Ее глубоко тронули эти слова, даже самый голос Аннеты.

– Вы его спасли, – сказала Аннета.

Она раскрыла объятия. Ася бросилась к ней и прижалась лбом к груди матери. Невозможно было поднять этот упрямый лоб. Аннете оставалось целовать волосы.

– Теперь, – сказала она, – поговорим, как нам лучше устроиться. Этот взрослый мальчик уже может выходить, и, я думаю, ему надо подыскать другое, более здоровое помещение.

– Я тоже так думаю, – сказала Ася.

– Успеется! – буркнул Марк.

– Зачем откладывать? – сказала Ася, поджав губы.

Марк был взбешен: он заметил, что она возражает ему его же словами.

– Очень хорошо! – сказал он. – В таком случае завтра.

– Дай мне время поискать! – сказала Аннета.

– Даже искать не надо, – заметила Ася. – Если хотите, я могу указать вам квартиру на улице Шатильон, которую на днях освободила одна моя знакомая.

– Завтра же посмотрим, – сказала Аннета.

Она протянула Асе руку; Ася вернулась в свою комнату и заперлась. Аннета, бросив на сына жалостливый и насмешливый взгляд, пожелала ему спокойной ночи. Она сделала вид, что не замечает его скверного настроения.

Она ушла к себе в комнату, которую снимала в той же гостинице, двумя этажами ниже.

Марк остался один. У него было достаточно времени, чтобы успокоиться.

У него даже хватало времени на то, чтобы утратить всякую гордость и сохранить только горечь. Но желание не покидало его. Он метался, испытывая нестерпимую жажду. Родник был тут же, рядом, – всего лишь за стеной. А стена была из плохонькой штукатурки, из мрачного недоразумения. Но завтра между ними будет целый город. И он, уже не раздумывая, постучался в стенку. И тут же раскаялся. Ему хотелось крикнуть: «Не приходите!» Но кричать было не к чему: она не пришла. Ни малейшего движения за стеной.

Марк, растерянный, возмущенный, кусал себе руку... Он ждал... Приближалась ночь. Ночь пришла. Над крышами проносился звонкий бой часов из Сорбонны: они били одиннадцать, двенадцать. Марк мучился. Он лежал лицом к стене, съежившись под одеялом, подобрав колени, – как собака, свернувшаяся калачиком. Что ему было нужно? Грубое обладание?... Нет. Он не мог бы сказать, что он хочет... эту женщину; то, что она таит у себя в груди, то, что она прячет; то, что он чувствует в этой жизни, в этой душе, – все ее дурное, все ее хорошее. Он хочет все. Ему нужен этот поток, чтобы слить его со своим потоком. Что катит он в своих водах? Марк не знает. Ему нужны эти воды. Ему нужно все... И чтобы иметь это все, необходимо грубое обладание. Это единственный путь. Но вся кровь взбунтовалась бы в этом мальчике, если бы вы сказали ему, что он хочет именно этого. Он бы закричал: «Нет!» – и был бы совершенно искренен. Он – как ручеек, который стремится к реке. Не к реке он стремится – к морю. И ему нужно это переливание крови, этот приток крови, чтобы не заглохнуть в песках... Рот Марка жаждет впитать в себя кровь Аси... Внезапно этот пересохший рот приник к перегородке. Он прошептал:

– Ася! Самый тонкий слух не мог бы уловить этот шепот. Прошло несколько минут. Он повторил громко:

– Ася!..

Мертвая тишина. Марк ненавидит Асю. Он задыхается от ненависти. Он падает на постель, и руки его ищут на шее невидимую петлю, которая душит его... И вдруг дыхание восстанавливается, приливает воздух. Еще не услышав, он увидел...

Дверь отворилась, женщина вошла.

Уйдя из комнаты Марка, она села у себя на кровати, неподвижно и молча, в полной

темноте. Она все слышала, – начиная с первого стука в стенку, от которого в душе у нее вспыхнул гнев, и кончая первым, еле уловимым шепотом, когда она едва не лишилась чувств от прилива нежности. Резкие толчки шли один за другим, и она почти одновременно была и лед и пламень, жаркая кровь и полная бесчувственность. Она решила не двигаться... Но почему? Что стоит ей взять этого мужчину, если она его хочет? Она брала столько!.. Но этого нет! Она была увлечена им. И не хотела этого. Она не хотела больше поддаваться иллюзиям... И так как она любила по-настоящему (правда, она не хотела в этом сознаться), то беспокоилась не только за себя, – она беспокоилась и за него, она боялась причинить ему зло. Она знала (это она признавала), что не принадлежит к числу существ безобидных. Кто возьмет ее, тот возьмет и ее душу, измученную, истерзанную, голодную душу, ее натруженные, пылающие ноги, которые не перестанут шагать до последнего вздоха, – возьмет ее прошлое, возьмет ее будущее... Это было слишком много для неокрепшего и пылкого юноши, которого она все время видела и обнимала, сидя в темноте!.. Она ощупывала его слабые кости. Она чувствовала их у себя в руках и боялась, что вот-вот они хрустнут... Она отводила руку, но рука возвращалась. Она не могла оторваться...

Она говорила: «Нет!», отталкивала его и все же искала до тех пор, пока, наконец, руки и ноги не увлекли ее из комнаты. Она очутилась босая на его пороге, негодуя и возмущаясь насилием над собой, ненавидя того, кто ее ненавидел, готовая со злобой крикнуть ему:

«Что вам от меня надо?»

Она побежала к нему и натолкнулась на него...

Ослабевший узел их тел развязался. Но души оставались связанными.

Прижавшись друг к другу, они чувствовали, как переливается в них одна и та же кровь, как она разносит по всему телу свое спокойное тепло, свои золотые волны. И Марк, опьяненный добычей, обнимал ее, смеялся и говорил:

– Ты моя, ты моя!.. Теперь ты моя!..

Но Ася молча думала:

«Я не твоя. Я не моя, я ничья».

И все же она сжимала его в объятиях... Тонкий позвоночник, нежная поясница... Кажется, она могла бы их сломать... Ее переполняла нежность.

Стремительным движением она склонилась и покрыла их поцелуями.

Марк вздыхал, проводя по ее пылающему лицу своими дрожащими длинными пальцами, – она жадно ловила их ртом. А он в порыве благодарности говорил, говорил, щебетал, как птица, раскрывал всю душу в наивных и бессвязных словах, выливал все, что у него было в самой глубине, с полной откровенностью рассказывал о своем одиночестве, о заветных тайнах своего «я» и своей судьбы, – вручал их невидимой женщине, а она слушала, спрятав лицо у него на груди. Она слушала его с нежностью, горечью и насмешкой. Он отдавал себя ей, думая, что знает ее. А он ничего не знал о ней, о ее жизни, о рубцах и неизгладимых следах, которые на ней оставило прошлое, о том, какие сокровища сохранились на дне трясины, ничего не знал о ее душевной глубине... Если бы он мог услышать ее исповедь, он бы сказал:

«Твою душевную глубину я знаю лучше, чем ты... Я не могу подсчитать, сколько дней и ночей пронеслось над тобой, я не знаю твоей поверхности, но глубины я коснулся».

Как узнать, кто из них был прав? Шпора любви вонзается глубоко, она проходит дальше сознания. Но она слепа. Чего-то она касается, за что-то держится – сама не знает за что, – она ничего не видит.

И все-таки она держит... Когда в желтые окна проник дневной свет, сегодня особенно желтый (на дворе шел дождь), Ася склонилась над молодым своим другом, – под утро он, наконец, уснул. А она за всю ночь не сомкнула глаз... Она смотрела на его усталое лицо, на его счастливый рот, на его гибкое и беспомощное тело. Их ноги сплелись, и она не могла высвободиться.

«Где мое? Где его? – подумала она. – Мы теперь смешались...»

От истомы и страсти желание вспыхнуло в ней с новой силой... Но она овладела

собой... «Нет, не надо! Что ему делать со мной? И мне что делать с ним? Пусть каждый возьмет свое обратно!..»

Она вырвалась. Это было трудно. Он открыл глаза.

От этого взгляда она едва не рухнула на постель. Но осилила себя. Она закрыла ему глаза поцелуями:

– Спи... Мне надо выйти на минутку. Но я тебя не покидаю. Я тебя уношу с собой и оставляю тебя...

Он был слишком слаб и ничего не ответив ей, снова погрузился в сон...

Ася скрылась. Она говорила правду: какая-то частица Марка вросла в ее сердце, и она уносила ее с собой. Бежать было поздно.

Ася постучалась к Аннете:

– Я вам говорила насчет свободной квартиры. Я вам ее покажу. Идемте!

Аннета, уже одетая, укладывала вещи в чемодан, готовясь к переезду.

Она повернулась лицом к Асе. Одного взгляда ей было довольно, чтобы почувствовать, какие пламенные вихри бушуют в этой груди. Это уже был не вчерашний северный леденящий ветер. Буря не улеглась, но ураган переменял направление.

– Идем! – сказала Аннета.

Ася не услышала, что в груди этой женщины тоже бушует буря-буря скорби. Пылающие глаза Аси скользнули по раскрытой телеграмме:

«Timon dead». ¹²¹

Бегло прочитанные слова сейчас же изгладились из памяти. Какое ей дело?.. Они вышли.

Сначала они шли, обмениваясь короткими и пустыми замечаниями о дожде, который продолжал лить. Затем, переходя Люксембургский сад от решетчатых ворот улицы аббата Эпе до улицы Вавен, они молчали. На зеленые лужайки капал холодный дождь. Вдруг Ася остановилась, взяла стул и сказала Аннете:

– Садитесь! Я хочу с вами поговорить.

Дождь шел мелкий, упорный, пронизывающий. Ни одного прохожего. Они находились возле высеченной из камня пастушки с козочкой. Аннета не стала возражать. Она села на стул, по которому текла вода. Ася устроилась рядом. На Аннете был непромокаемый плащ, на Асе – простая красная сильно поношенная шаль, которой она даже не пыталась прикрыть себе плечи, и полушерстяное серое платье с вырезом, сразу набухшее от дождя. Аннета наклонилась, чтобы защитить ее зонтиком.

– Обо мне не беспокойтесь! – сказала Ася. – Я и не такое видела! И мое платье тоже...

Аннета все же продолжала укрывать ее от дождя. Ася рассказывала, и обе они, одинаково захваченные, все ближе придвигались друг к другу, так что под конец они уже касались одна другой головами.

Ася начала *ex abrupto*. ¹²²

– Вот уже пять лет, как меня носит по всем ручьям Европы. Я не боюсь промокнуть лишний раз. Я хорошо изучила запах тины и саж, которым пропитаны ваши дожди! Вода больших городов не оmyвает – она пачкает. Но мне уже не приходится беречь свой горноста́й. Он давно выволочился в грязи.

Он пропах запахами всех стад. Чувствуете?.. (Она поднесла ей к носу свою шаль.) Эта шаль таскалась по вязкой грязи Украины, по ее ужасным базарам, потом очутилась здесь и стала покрываться пылью вашего страшного равнодушия...

– Моего? – прошептала Аннета.

– Вашего Запада.

¹²¹ Тимон умер (англ.).

¹²² Без предисловий (лат.).

– У меня ничего своего нет, кроме себя, – возразила Аннета.

– Вы счастливая! – сказала Ася. – У меня и этого никогда не было...

Выслушайте меня! Мне надо выговориться... Если вам станет противно или скучно слушать, уйдите... Я не стану вас удерживать. Я никого не удерживаю... Но попытайтесь!..

Аннета молча разглядывала профиль молодой женщины, ее выпуклый лоб. А та, подставив голову под дождь и нахмутив брови, устремила вдаль суровый ненавидящий взгляд. Она вся ушла в себя, в темницу своих воспоминаний.

– Вы больше чем вдвое старше меня, – сказала Ася, – но я старше. Я уже все пережила.

– Я – мать, – мягко сказала Аннета.

– И я была матерью, – глухо ответила ей Ася.

Аннета вздрогнула.

– Его больше нет? – прошептала она осторожно.

– Они убили его у меня на груди.

Аннета подавила крик. Ася разглядывала пятно на своей шали:

– Вот, вот! Смотрите!.. Мяслики!.. Они зарезали его, как ягненка...

Аннета, словно утратив дар речи, инстинктивно положила руку Асе на плечо.

– Бедная вы моя!.. – наконец прошептала она.

Ася высвободила плечо и сухо сказала:

– Оставьте!.. Нам не до жалости. Быть может, я сделала бы то же самое, что они.

– Нет! – воскликнула Аннета.

– А я хотела, – продолжала Ася, – я поклялась после этого убивать всех их детей, какие только попадутся мне под руку... Но не смогла... И когда один человек, чтобы отомстить за меня... я чуть не убила его самого!

Она умолкла. Несколько минут было слышно только, как мелкий дождь льет, льет, льет. Аннета положила руку Асе на колено.

– Говорите!

– Зачем вы меня прервали? Она продолжала:

– Я не рождена для таких испытаний. Надо было приноравливаться. Время пришло. Оно сломало меня. Не меня одну. Нас там были тысячи таких, как я: мы лежали в девичьих постелях, а из нас выпустили всю кровь... Придет черед и девушек Запада... Всю кровь нашего сердца, наших иллюзий выпустили из нас. Многие не выжили. Я осталась жить. Почему? Не знаю. А вы знаете?.. Если бы кто-нибудь сказал мне, когда я была при смерти, что доживу до сегодняшнего дня, я бы выплюнула ему в лицо мою душу. Я бы крикнула ему: «Нет!..» И вот я выжила!.. И я живу!.. Я хочу жить!.. Разве это не ужасно? Чего от нас хотят? Кто нас хочет, когда мы сами, мы сами себя не хотим?

– Наша судьба, – сказала Аннета. – Судьба наших душ. Им надо совершить длинный путь. Мне это знакомо. Судьба женщин, которые не имеют права добраться до смерти, пока не пройдут через тройное таинство любви, отчаяния и позора. Говори!

Ася рассказала о своем изнеженном и безмятежном детстве в тихом домашнем гнезде. Это был рассказ о том, как иной раз неожиданно и жестоко кончается сладость жизни... Благодушие, неустойчивость, разброд... аромат болотных лилий. Потоки слащавой, хотя и искренней любви, – грош ей цена, – любви к некоему неопределенному человечеству, потоки душевного холода и тайного самолюбования. А в то же время червь сознания подтачивает зрелый плод, готовый сорваться с ветки. Сил не хватает быть злым.

Одна мысль о жестокости вызывала судороги. Люди с наслаждением вдыхали в себя тяжелый, расслабляющий, душный, тошнотворный запах красивых яблок, которые гниют в погребе... Пресыщенные гурманы называли себя толстовцами, что не мешало им смаковать Скрябина и эластичные антраша гермафродита Нижинского. Принимали они и грубые откровения Стравинского, которые нравились, как нравится пряность... Грянула война. Но она шла где-то там... и это там было так далеко! Как декорация в глубине сцены. Она тоже была своего рода пряностью... И пятнадцатилетняя девочка смотрела, как распускаются цветы ее грудей, и прислушивалась в своей рожице к неуверенной песне любви...

Эгоистическая пастораль продолжалась. Семья переехала в деревню, и жизнь протекала без печалей и без лишений. В большом запущенном саду было полно земляники, крыжовника и сорных трав.

Двое детей, брат и сестра, грызли подсолнухи и делились наблюдениями и мечтами. Они до тошноты объедались пирожками и стихами Блока и Бальмонта. В то время было модно увлекаться эстетизмом, приправляя его шепотками теософии, и на словах поклоняться народу. Народничество¹²³ – расплывчатая жалость и мягкотелая идиллическая вера в нищий, темный, немытый народ, таящий в себе сокровища непостижимой мудрости и доброты, которые дремлют в нем, как дремлет вода подо льдом. Религией Асиного отца был кабинетный идеализм – вера в благую природу, в прогресс человечества, которое неуклонно шествует своей дорогой, в мудрость событий, даже в мудрость войны и поражения, после которых сам собой наступит золотой век: «святая Русь», как ее понимала просвещенная и либеральная прослойка русской буржуазии во главе с ее добрым гением, Короленко, которого намечали в президенты идеальной Республики будущего... Даже накануне великого Октябрьского штурма в Петрограде не понимали, что положение серьезно.

Так были уверены в своих силах, что даже не приняли мер предосторожности для самозащиты. И проснулись побежденными, не успев вступить в бой...

Лицо мира преобразилось. словно подземный толчок потряс всю страну, от края до края. Все рушилось. Перемещение огромных воздушных масс разметало в клочья тысячи гнезд. Стаи обезумевших птиц носились, сами не зная куда, падали и находили друг друга в водовороте бегущих армий. С жизни были мгновенно сорваны все покровы, все до единого. И тогда люди с изумлением увидели, сколько неистовой злобы и ненависти скопилось в сердце народа, который еще вчера казался добрым и плакался на свою судьбу. Увидели зверя, увидели безумные глаза, увидели морду в крови, почувствовали его смертоносное дыхание, его похоть... Слуга, которому привыкли доверять, на глазах у которого выросли дети, который с покорной и добродушной заботливостью нянчил их, внезапно сделался опасен, как дикий зверь: он пытался изнасиловать господскую дочь... И вот началось бегство вместе со сторонниками Керенского, а они уже смешались с белыми. И среди своих, в своем собственном лагере, извержение тех же инстинктов. Пала последняя линия обороны: безумие овладело молодой девушкой. Зверь дышал людям прямо в лицо. Люди становились похожи на него...

– И я тоже была зверем! И, что страшнее всего, я стала зверем без всяких усилий. Сразу... Значит ли это, что я всегда была зверем, что маска культурности, которую на нас напялили, тяготила нас и что у нас чесались руки содрать ее с себя? Отец смотрел на меня с ужасом... Старики ведь не могут менять кожу. Пока он был жив, я еще кое-как сдерживала себя. Да и то! Он умер, когда я была уже беременна. Его счастье, что он так и не узнал... Вместе с ним я похоронила ту, которой была раньше.

Бросила ее вместе с ним на дороге и ушла. Я ее потеряла, я потеряла все, даже свое имя, даже ощущение своей личности. Целых два года я жила без имени, как сумасшедшая, которая бежит за стадом, а стадо неслось бешеным галопом... Еще и сегодня, еще и сейчас у меня в глазах полно пыли.

Чего я только не видела! Чего я только не делала! Чего я только не перенесла!

– Несчастная! Довольно! – сказала Аннета, сжимая рукой Асино колено.

– Не надо беречь...

– А я хочу! – сказала Ася. – Я себя щадить не стану. Я же сказала: если вам этот запах не нравится, – уходите!

Она не щадила Аннету. Она не щадила себя. Она рассказала о страшном бегстве, безудержном скатывании вниз, обо всех скачках и провалах. Она не пропустила ни одного

¹²³ Народничество представляло собой широкое предреволюционное движение русской интеллигенции, входившей в народ. – Р. Р.

унижения и не выказывала при этом ни сожаления, ни стыда. Рассказ ее был точен, быстр и сух. Голову она держала прямо, глядела строго, и, словно слезы, по ее щекам текли капли дождя. Аннета была захвачена. Она слушала не дыша. В это апрельское утро, которое непрерывный дождь обратил в аквариум, перед ней развевалась бредовая картина бегства, и она преклонялась перед суровой силой беспощадной, мужественной и сжатой исповеди, в которой не было ни искреннего, ни наигранного раскаяния. Аннета была так покорена волшебной силой образов, что даже не задумывалась над их нравственным смыслом. С бьющимся сердцем следила она за дьявольской охотой и уже сама не знала, принадлежит ли этот курносый профиль, с которого она не сводила глаз, скифской Диане или дичи, за которой Диана охотилась. А с зонтика, который она машинально держала, вода стекала ей на плечи.

Садовый сторож прошел мимо и посмотрел на женщин, но они его не заметили. Сделав несколько шагов, он обернулся, еще раз взглянул на них, на их застывшие позы, дернул подбородком и ушел. Мало ли на свете сумасшедших? В Париже к ним привыкли...

Ася рассказывала о жизни в изгнании, о позоре и надругательствах, о рабском, губительном труде, который разбил столько душ, еще и в эмиграции сохранявших гордость, или довел их до сумасшествия. Но ее душу испытания лишь закалили. Ее спасли дикий порыв гордости и презрения, суровое одиночество, в котором она себя замуровала, откровение, которое она познала в этот ужасный период, когда она добровольно порвала все связи с жизнью и людьми, восторженное утверждение своего одинокого и потерянного «я», непостижимая сила этого неведомого «я», которое бросало вызов миру и не намерено было сдаваться. Двухлетняя ожесточенная борьба, в которой ей удалось защититься не только от посторонних, но и от самой себя, от своих ловушек и душевных бурь. Аннета угадывала в Асе огромную силу, силу, не имевшую ни компаса, ни центра тяжести, силу, которая в одиночку билась над тем, чтобы найти этот центр, и не находила его. Она искала себе направление, искала смысл жизни в тяжком, беспросветном повседневном труде, полном самых гнусных унижений, в ужасах голода – она предпочитала его похлебке, которую могла бы получить, если бы согласилась подчиниться какой-нибудь партии или какому-нибудь человеку. Аннета узнавала тот чистый алмаз суровой гордости, то неукротимое стремление к независимости, которые спасли ее самое. Она сразу распознала их своим опытным глазом в хаосе женской души, которую опустошил катаклизм. И среди того, что было в этой душе наносного, она сумела разглядеть залежи моральной и духовной силы, погребенной под развалинами целого мира. Она видела их лучше, чем Ася, потому что Ася в своем исповедническом азарте ожесточилась на самое себя. Она говорила, говорила – Аннета слушала, слушала и думала... Как долго это продолжалось? Час? Больше?.. В промежутке между двумя фразами рассыпался, как горсть дробинки, брошенных на медную чашу, бой часов из маленького лица... Ася остановилась, потеряла нить, провела рукой по мокрому лбу... Она вышла из бездны и уже не понимала, что она там делала, зачем она все это рассказывала...

– Что вы тут сидите и слушаете меня?.. – грубо спросила она.

Аннета не успела ответить. Воспоминания продолжали всплывать.

– Я уже несколько лет к этому не прикасалась... Что сегодня со мной?

Что я наделала?..

Она вздохнула и машинально отжала волосы, намокшие от дождя, даже не заметив, что вода струями побежала у нее по спине.

– Ах, да!.. – сказала она. – Теперь вы знаете, кто я. Заберите вашего сына и уведите его!

– Хорошо, – сказала Аннета. – Ведь мы ищем комнату для него.

– Но сию же минуту! Чтобы он больше меня не видел и чтобы я его не видела!

– Это опасно?

– Я люблю его.

– А он вас любит? Ася пожала плечами:

– Раз я люблю, то и меня любят.

– Что же я могу сделать, если он вас любит?

– Вы многое можете. Вы одна имеете на него влияние. Я знаю его. Я знаю вас. Я знаю, что вас связывает. У вас более близкие и более глубокие отношения, чем обычные отношения матери и сына.

– Откуда вы знаете?

– Я читала ваши письма.

У Аннеты перехватило дыхание.

Но Ася и не подумала извиниться.

– Я слишком долго ждала. Я хотела удалить его вчера вечером. Оказалось, поздно. Теперь несчастье уже совершилось.

– Несчастье?

– Он бы, наверное, сказал – счастье... Я бы тоже так сказала, если бы послушала себя, если б не знала того, что знаю, того, что должно произойти... Так вот, уведите его, пока не поздно! Но торопитесь! Завтра я уже за себя не отвечаю... Я его заберу у вас, и он будет несчастен. Я этого не хочу. Но это неизбежно.

– А вы? – спросила Аннета.

– Я? Что – я?

– В чем ваше счастье? В чем ваше несчастье?

– Что вам до этого?

– Я прошу вас ответить.

– Это неважно.

– Вы сказали, что любите его.

– Конечно! Иначе зачем бы я с вами о нем заговорила?

– Что же это, вы всегда гоните от себя тех, кого любите?

– Я никого не любила до него... Да, конечно, после всего, что я вам наговорила, вы будете пожимать плечами. Я тоже пожимаю плечами... Ну и довольно! Это к делу не относится... Для вас это не имеет значения.

– Как сказать! – заметила Аннета.

Она взглянула на Асю. Ася промокла до костей. Платье набухло, как губка, и облепило ее. У нее был такой вид, точно она сидит в халате после купанья. Все краски сошли с ее лица. Она сидела, стиснув зубы, бледная, озябшая.

Аннета встала:

– Ладно, идем домой! Поговорим обо всем этом у меня.

Она прикрыла ей плечи своим дождевиком и повела. Ася пыталась сопротивляться, но большая трата энергий обессилила ее.

Не следует думать, что ее намерение порвать с Марком вызывалось бескорыстным, внушенным любовью, желанием спасти Марка от себя. Самая пламенная любовь такой женщины, как Ася, не может быть бескорыстной. Она действительно думала спасти его, и тут она не лгала! Она сама была поражена своим самоотречением: ведь это значило предать любовь! Но прежде всего она думала о том, чтобы спастись самой. Ей казалось непостижимым, как это она могла снова податься страсти: ведь она поклялась никогда больше не попадать под колесо, которое по ней проехало. От былых столкновений со страстью у нее остались страх и ужас, доходившие до ненависти к этому виду рабства. Но так ли уж были сильны столкновения со страстью, если они не оставили воспоминаний о головокружении? Страсть снова искушала ее. Она сознавала всю опасность бездны, чувствовала, как сильно ее притяжение. Этой бездной был Марк. Он захватил ее всю: все ее тело, пылавшее, как факел, всю ее душу, сгоравшую от нежности, от жалости к дорогому мальчику, от скрытого материнского чувства, от сознания своего превосходства, дающего власть над другим человеком, и покорности, которая молит о покровительстве. А после этой ночи Ася была уже не в силах сама оторваться от него. У нее едва хватило сил обратиться за помощью к Аннете. Но это усилие сломило ее. Аннета, схватив ее за руку, повела в гостиницу. По дороге у Аси была еще одна вспышка. На бульваре, в самой сутолоке, она

вдруг остановилась и остановила Аннету.

- Избавьте меня от вашего сына! Уведите его! – запальчиво крикнула она.
- А если вы потом придете и заберете его, что мне тогда делать? – спросила Аннета.
- Это меня не касается! Сделайте так, чтобы я не могла его забрать!

Аннета чувствовала, как судорожно подергивается у Аси плечо, как пробегает дрожь по ее бедру. Внезапно нервное напряжение ослабло, и Аннете пришлось волочить за собой мокрый, тяжелый, но покорный тюк. Они вошли в гостиницу. Аннета предложила Асе пойти переодеться. Но Асиная комната была заперта изнутри. Чтобы попасть к себе, ей надо было пройти через комнату Марка, а она не хотела показываться ему в таком виде. Аннета отвела ее к себе, а сама пошла к ней в комнату взять для нее смену белья. Ася пыталась удержать ее, и у Аннеты возникло сомнение, существует ли эта смена белья. Она прошла через комнату сына на цыпочках. Он все еще спал блаженным сном. Аннета на мгновение задержалась, чтобы взглянуть на него. Видимо, он не пошевелился с тех пор, как ушла Ася. Аннета бесшумно обследовала покрытый пятнами сырости стенной шкаф в комнате Аси. Убогие тряпки, которые она там обнаружила, вызвали у нее невольное чувство жалости. Но их относительная опрятность свидетельствовала об упорстве, с каким Ася боролась, чтобы не захлебнуться в грязи. Аннете это было знакомо!

Вернувшись, она застала Асю на том же месте: Ася стояла, прислонившись к стене. У ее ног образовалась небольшая лужица. Аннета взяла ее за плечо и стала снимать с нее прилипшее платье. Очнувшись, Ася резким движением попыталась высвободиться. Но Аннета держала ее крепко:

- Стойте спокойно!.. Подымите руку!.. Вот так! Скорей!..
- Глупости!.. – ворчала Ася. – Мне сколько раз приходилось спать под таким дождем!

Аннета заговорила о том, как спит Марк, и непокорное тело Аси замерло. В изъеденном ржавчиной зеркале Аннета увидела отражение Асиной улыбки и ответила ей улыбкой. Он был их общий ребенок. В этом обе женщины сходились...

Ловкие руки Аннеты проворно раздели Асю с головы до ног. Сильное, гибкое тело, не отвечавшее требованиям классической красоты, было создано для того, чтобы ходить, бороться, любить, рожать детей. Крепкие суставы. Кожа очень смуглая, чистая, тугая, отливавшая старым золотом. От воды она блестела... Аннета обтерла ее, Ася не сопротивлялась. Ей больше нечего было скрывать. Она уже все показала: и то, что внутри, и то, что снаружи. Между тем у Аннеты с Асей шел такой разговор:

- За что вы любите Марка?
- Люблю, потому что люблю.
- За что вы его любите? Ася поняла:

– За что люблю? Как я его люблю?.. Люблю, как вообще любят, – от голода. Но этот голод не только телесный. Такой голод можно заглушить. И я заглушала его не раз... Но есть другой голод. Его нельзя ни заглушить, ни обмануть. Я изголодалась по правде, по чистоте. А ваш сын правдив, в мыслях своих он чист. Он чист, как вы... Ну да, я знаю, что говорю! И вы тоже знаете... Разве можно ошибиться после того, как шесть лет барахтался среди современной душевной гнили? И если вдруг перед тобой всплывает чистая душа, то как можно не наброситься на нее?

– Мой сын не безгрешнее вас, вряд ли он менее испорчен, чем вы. Он наделал много ошибок. Еще и сейчас... На его беду я наделила его беспокойным характером. Я верю в его врожденную честность и в его волю, верю, что когда-нибудь он достигнет душевной гармонии, но достанется это ему нелегко, и сбудется это не завтра.

– Знаю, знаю! Но что бы я стала делать с этой гармонией? Да, ему ее не хватает! И слава богу! Я видела вашего сына голым – так, как вы меня сейчас видите, – голым телесно и голым душевно. С тех пор как я его наблюдаю, да и во время болезни, он уж, кажется, все мне раскрыл... Нет, ваш ягненок не без пятен! Я это знаю... Иначе я бы его так не любила. Я не люблю – да и вы тоже не любите – беленьких блеющих барашков, у которых капелька молочка висит на мордочке. Тот не человек (вы ли, я ли, он ли), кто не боролся с жизнью и

не оставил в ее логове ключев своей шерсти. Нужно, нужно пройти и по грязи и по терниям! Вы прошли. Марк прошел. Но он не увяз. Он натура здоровая. И правдивая. Он искренен в ненависти. Он искренен в любви. В нем много здоровой горечи, гниение его не коснется...

– Он такой же, как вы.

Ася умолкла. Она растерянно смотрела на Аннету, та смотрела на нее.

Обе женщины молча вглядывались друг в друга. Аннета, видимо, хотела что-то сказать. Ася сделала едва заметное движение, чтобы остановить ее.

– Я не стану, – взвешивая каждое слово, решительно заявила Аннета, – я не стану разъединять вас.

Ася пыталась перебить ее. Но Аннета жестом принудила ее к молчанию.

– Я знаю, чем я рискую. Я рискую вдвойне. Теперь у меня два долга вместо одного. Вы. Он. Я их беру на себя. Я доверяю вам обоим. Оставайтесь вместе!

Ася окаменела от волнения, она слушала и не понимала... Смысл того, что сказала Аннета, просачивался в ее сознание по каплям, и они застывали, как сталактиты... Ее опять начал бить озноб. Она все еще стояла голая, и Аннета матерински заботливым движением надевала на нее рубашку.

Ася опустила голову, повернулась к стене, прислонилась к ней лбом и, закрыв лицо руками, по-детски расплакалась.

Аннета уложила ее на кровать и прикрыла ей голые ноги своим пальто.

Ася никак не могла согреться.

– Вы простудились... – сказала Аннета.

– Нет, это не простуда, – возразила Ася. – Позвольте мне побыть возле вас еще немного!

– Тогда ложитесь под одеяло.

Ася держала ее руки. Аннета села рядом.

– Выслушайте меня! Сегодня я уезжаю. Скоропостижно скончался один человек, мой хозяин, мой друг, – я была его помощницей. Я возвращаюсь на свое прежнее место. Пробуду я там несколько недель. Марка я оставляю на вас. И вас оставляю на Марка. Подумайте оба!.. Вы меня понимаете, моя девочка? Не ошибаетесь ли вы? Я говорю вам: подумайте! Оставайтесь вместе, но подумайте хорошенько, прежде чем связать себя окончательно. Защищайте свою свободу! И защищайте его свободу, если он сам не сумеет! Добросовестно разберитесь в самих себе! Потребуется немало времени для того, чтобы каждый из вас смог наконец заглянуть в самую глубь души – не чужой души, а своей собственной. Не спешите! И будьте искренни!..

– Я искренна, и я буду искренна, – сказала Ася. – Я разгадала вас. Я не ошиблась: вы умеете любить. Так вот, поймите: именно потому, что я его люблю, я боюсь обмануть его, обманываясь сама. Но если он меня любит и ошибается, то хватит ли у меня сил открыть ему глаза? Быть может, благоразумнее нам было бы все же расстаться?

– А если я поймаю вас на слове? – спросила Аннета.

– Нет, нет!.. Не надо!.. Я бы уже не могла... Теперь уже поздно.

После минутного размышления она устыдилась своей слабости и прибавила:

– Но я все ему расскажу. Он будет знать все.

Аннета грустно улыбнулась:

– Нет, девочка. Не советую.

Ася вскочила, сбросила с себя одеяло, села на кровати и уставилась на Аннету:

– Как? Вы не советуете мне сказать ему всю правду?

– Да. В устах матери это звучит странно, не так ли?

– В ваших устах это звучит странно.

– Благодарю вас. Да, я думаю, что я человек правдивый, и всегда была правдива, в особенности когда это бывало мне невыгодно. Именно поэтому я считаю себя вправе подать вам такой совет. Вы хотите рассказать Марку все ваше прошлое...

– Рассказать о том, какая я, – проговорила Ася.

– Какая вы? А что, если вы прошли через все это и остались чистой, так же, как ваши ноги, которые ступали по дорожной грязи, а теперь отмылись? Но допустим! Я тоже не забыла всей грязи, по которой ступали мои ноги. Я не отрекаюсь от той, какой я была. И я не люблю тех, которые говорят: «Я не знаю этого человека!» – когда у них всплывают неприятные воспоминания о самих себе. Но вы признаете этого человека, так велит вам ваша совесть. Вы не обязаны посвящать в это других.

– Других – нет, – сказала Ася. – Но его...

– Пусть бы еще, – сказала Аннета с тонкой улыбкой, в которой была доля горькой насмешки, – пусть бы еще, раскрывая ему все это, вы шли на риск отдалить его от себя! Но если он вас любит – а вы в этом уверены, даже слишком уверены, – вы его не удалите, вы только причините ему боль.

И эта боль – конечно, очень сильная – только еще крепче привяжет его к вам и останется в нем навсегда. Он не разлюбит вас. Он скажет: «Я все забыл». И ничего не забудет. Пройдет год, два, десять лет: рана раскроется и станет гноиться. Вы тогда уже не сможете припомнить, кто была эта женщина, которая жила среди смертей и обессилела от страданий, которая, потеряв голову, отдавалась в ночной темноте, лишь бы уцепиться хоть за кого-нибудь и не упасть – лишь бы уцепиться за жизнь. Вы уже о ней забудете. Но он, Марк, он ее увидит совиными глазами. Любовь берет их напрокат у ревности. И вы его тоже увидите – в его глазах. Он на всю жизнь прикует вас к этому вашему прошлому, хотя вы его уже сбросили, как старое платье, – так, как все мы сбрасываем с себя наше прошлое. Они хотят, чтобы мы сохраняли наши старые, прогнившие души, от которых мы, слава богу, избавились, потому что мы обновлялись. Мужчины не способны понять, моя милая девочка, какая сила живет в нас, а она заставляет нас вечно омолаживаться.

Она говорила, не повышая голоса, но в самом ее спокойствии была горечь. Ася молчала, не сводя с нее удивленных глаз.

Аннета говорила, не глядя на нее, – и уже не для нее, а для себя, но вдруг вспомнила о ней и обернулась. Они обменялись многозначительной улыбкой.

– *La donna e mobile* – вот как они судят о нас. Вот что они сказали бы, если бы слышали меня. То настоящее, что есть в настоящей женщине, не меняется – вот чего они не могут понять. Ничто не пропадает из пережитого нами, если оно питало нашу жизнь. Оно стало частицей нашей крови, а мы выбрасываем из себя лишь бесполезное и нечистое...

– Я не ожидала найти в вас союзницу, – сказала Ася.

– У меня никогда не было союзницы, – заметила Аннета. – Поэтому я и сочувствую тем, у кого их нет.

– Так будьте же моей союзницей! Я этим злоупотреблять не стану. И я прошу вас помогать мне – не в ущерб Марку, но ради него. Если вы не хотите, чтобы я рассказала ему все, – а я чувствую, что вы правы, но только не ручаюсь, что смогу молчать! – я передаю вам, в ваши руки, все, что меня гнетет. Сегодня я вам передала самое тяжелое. Но кое-что еще осталось. Я вам отдам все. Вы вправе использовать это в любое время против меня и в интересах вашего сына. Я избаловать вас не стану.

В глазах Аннеты сверкнул лукавый огонек:

– Прекрасно! Но уж теперь берегитесь! Вы в моих руках.

– Вот и держите меня! Я этого и хочу. Будьте моим судьей. Ничем иным я не могу расплатиться с вами за то, что вы дали мне.

– Что же я дала вам?

– Не притворяйтесь, что не понимаете! Вы все отлично поняли... Того, что дали мне вы, еще никто мне не давал... Не любовь – любовь у меня была, есть и еще будет... Вы мне дали нечто гораздо большее: доверие. Вы поверили в меня. А вы понимаете, что это значит?... Вы мне самой вернули веру в себя, если только она у меня когда-нибудь была... Теперь я верю, я верю в себя. Благодарю вас! Я воскресаю...

Она спрыгнула с кровати и, упав на колени, начала бурно целовать колени Аннеты.

– И я даю вам слово, – говорила она, – что откажусь выйти замуж за Марка. Я заставлю

его остаться свободным, таким же свободным, как я...

Аннета взяла ее под мышки и, поставив на ноги, сказала с насмешливой улыбкой:

– Обещать легко. А вот выполнить?..

Она поцеловала ее, потрогала ей грудь и плечи и сказала:

– Теперь ты обсохла... Одевайся! Он ждет нас.

Ася твердо решила не выходить замуж за Марка. Дело было не в том, чтобы сдержать слово, данное Аннете. Такова была ее непреклонная воля; вся ее природа сопротивлялась парной упряжке: «Я люблю, я люблю тебя, сегодня я отдам тебе мою жизнь, мою смерть, но мое завтра я тебе не отдам. Связать меня нельзя!..»

У Аннеты не было Асиных оснований строить себе иллюзии, и потому она лучше ее понимала, чем все это может кончиться.

Влюбленные добросовестно твердили: «Мы любим друг друга, оставаясь свободными». И вместе с тем делали все, что могли, чтобы утратить свою свободу. Каждый упорно стремился связать и другого и самого себя.

Следствие задержало Аннету в Лондоне на три недели. Тимон погиб при загадочных обстоятельствах во время перелета из Лондона в Брюссель: он выпал из самолета. Убийство это или самоубийство? Таинственная рука похитила все бумаги, которые могли бы помочь раскрытию тайны. В течение этих трех недель Аннета была поглощена своими обязанностями по отношению к умершему, приведением в порядок того, что стало разваливаться без хозяина. Ее мучили угрызения совести: если бы она не уехала, если бы он не был одинок, быть может, он бы не погиб?.. Эти мысли терзали Аннету, но она ими ни с кем не делилась. Вернувшись в Париж, она увидела, что Марк и Ася запутались в страсти, которая изо дня в день ткала вокруг них свою паутину. Но что теперь можно было поделаться? Разлучить их? Слишком поздно! Предупредить их об опасностях? Они их видели. И то, что об этих детях знала она – и, быть может, она одна, – захватывало в сети и ее самое. В своей исповеди, неудержимой, как наводнение, Ася открыла ей все – не только самое худшее, но и хорошее, редкостное, затаенное – то, что гордая женщина раскрывает трудней всего, и всем этим она затопила сердце матери. Аннета сумела сразу, взглядом знатока, рассмотреть эту дикарку во всей ее наготе, понять ту суровую жизнь, на которую она с такой твердостью обрекла себя в изгнании, ее одиночество, нищету, которую она приняла без колебаний, ее безусловную правдивость, ее честность по отношению к самой себе. Ничто не могло бы сильнее расположить Аннету. Рядом с этой нелегко дававшейся добродетелью «чистота» в буржуазном понимании этого слова представлялась ей чем-то второстепенным. Если Ася поддавалась обманам страсти, если даже это могло случиться с ней и впредь, то все это лишь порывы ветра, который проносится по поверхности, не затрагивая сущности, не затрагивая цельности ее правдивой и верной души. Над Асиным прошлым Аннета ставила крест... (Но она знала, что ее сын креста бы не поставил. И в этом была одна из опасностей.).

Опасностей, разумеется, было много, даже слишком много, и не все они исходили от Аси. Марк тоже таил в себе опасности, хотя, впрочем, иного рода. Аннета побоялась бы доверить ему (как говорила Ася, сама тому не веря) девушку наивную и неопытную. Он не умел держать себя в руках, ему не хватало уравновешенности, осторожности, чувства справедливости, ему не хватало доброты и подлинной человечности. Все это Аннета видела. Она знала своего сына. Он был слишком молод, и на нем сказывался слишком ранний, неполноценный, но жестокий жизненный опыт. Он сможет стать лучше и будет по-настоящему хорошим позже, значительно позже – в сорок лет.

Тогда, пожалуй, он будет способен понимать молодую женщину и руководить ею. А сейчас они только сведут друг друга с ума, она замучают друг друга и даже, чего доброго, загубят... Между тем Марку нельзя было оставаться одному. Длительное одиночество в ожесточенной борьбе с отравленной средой было противоестественно, и одних его молодых и подорванных сил не хватало для такой борьбы. Ему нужна была помощница, подруга, уже закаленная в борьбе старшая сестра – отчасти мать, отчасти брат, – которая залечивала бы его раны и в случае надобности боролась рядом с ним. Способна ли Ася быть такой

женщиной? Способна. А сумеет ли? Это вызывало сомнение. Да и как можно требовать от молодой женщины бескорыстия в любви, когда мужчина не бескорыстен и когда бескорыстие может быть затуманено страстью. (Страсть прямо противоположна бескорыстию; страсть распоряжается другим, как самой собой.) Только годы и тяжкие испытания могут научить этому тех, кто способен научиться. Ну, а почему бы этим двоим не научиться? В сына своего Аннета верила. А в ту женщину? А почему, собственно, в нее не верить? Ася завоевала право на доверие. Хотя бы тем – и даже главным образом тем, – что рассказала о себе все, способное оттолкнуть от нее. Во всяком случае, она шла на риск открыто, все было обнажено, ничто не было замаскировано грошовыми добродетелями, как у стольких женщин и девушек, у которых в тихом омуте неведомо что таится.

И то, что было в ней опасного, возмещалось значительными достоинствами – тоже открытыми и обнаженными. Рисковать так рисковать; если бы Аннета была на месте Марка, она бы знала, что предпочесть. Следовательно, она могла предвидеть выбор Марка. И осуждать этот выбор было бы недобросовестно. Если бы мать и захотела оградить своего сына от мук, которые она предвидела, все равно она не могла бы оградить его от его смятенной души и от судьбы, которую она сама ему уготовила... Итак, милые мои дети, идите навстречу своей судьбе! Не стоит пытаться преграждать ей дорогу.

Благоразумнее и вернее – протянуть ей руку, воззвать к ее наиболее благородным силам, поверить в них и сказать ей: «Я в тебя верю. И моя вера тебя обязывает».

Вот почему Аннета молча улыбнулась и заглянула в самую глубь Асиных глаз, когда та пришла к ней взволнованная и от волнения резкая и, бросая ей вызов, но в то же время прося ее согласия или прощения, сообщила ей то, чего Аннета ждала уже несколько недель:

– Я беру свое слово обратно... Нет! Я не беру его обратно, я ничего не обещала... Мне нужен ваш сын. Я нужна ему. Мы женимся...

Ася ждала ответа – и говорила сама. Она не могла снести тревожное молчание Аннеты. Она сказала, что решение принято; что против него нельзя выдвинуть ничего такого, чего бы она не знала; что их союз не будет безмятежным и что она это отлично понимает; что они будут мучить друг друга и что она сделает его несчастным... Да, возможно. Даже навверное. Но она уже не может иначе! Значит, судьба... (Она всегда в последнюю минуту все валила на судьбу, когда силы к сопротивлению у нее иссякали.) И теперь она пришла сказать это Аннете и предоставляла ей помешать их решению, ибо знала, что Аннета все равно уже ничего поделать не сможет.

– Почему вы ничего не говорите? Вы все смотрите на меня и молчите!

Скажите же что-нибудь!..

– Что же вы от меня хотите после всего, что вы сейчас сказали? Вам нужен Марк. Вы нужны Марку. Чего же еще?

– Мне нужны вы! Мне нужно, чтобы вы сказали «да»!

– Если бы я сказала «нет», вы бы с этим не посчитались. Вы не потрудились скрыть это от меня. Скажи я «нет» – и крючок еще глубже вонзится вам в тело. Потому что вы проглотили крючок. Теперь уж ничего не поделаешь, бедные вы мои пескари! Вам остается только съесть наживку. Она в равной мере состоит из того, что вас разделяет, и из того, что вас притягивает: из различия ваших характеров, ваших рас (в этом своя доля приманки). И вы еще почувствуете, как крючок будет раздирать вам глотку!

Пожалуй, было бы благоразумнее не повисать на нем, не раздирать себе внутренностей. Зачем вам жениться? Без этого вы бы только еще больше любили друг друга... Но что сделано, то сделано. Переделывать – значит раздирать вам внутренности. Да и мне тоже. Скажу я вам что-нибудь или ничего не скажу – результат один. Так что, дорогие мои, любите друг друга! И по-своему, а не так, как я. Я знаю, что оба вы лучше, чем можно судить по вашим поступкам. Каждый из вас в отдельности слаб, очень слаб!.. Постарайтесь, чтобы ваши слабости стали силой! Я тебя доверяю моему мальчику. Я тебе доверяю моего мальчика, дочь моя!

Ася прильнула губами к плечу Аннеты и по-русски сказала:

– Мамочка!..

Обе застыли, прижавшись друг к другу щекой. Со всею ясностью своего ума и со всем своим умением добросовестно разбираться в себе (умением, однако, бессильным перед натиском натуры) обдумывала Ася слова Аннеты.

Она признавала, что Аннета права, что бессмысленно связывать себя узами брака, когда сама считаешь брак чем-то отжившим. Если бы даже он не стал с некоторых пор дверью без задвижки и развод не раскрывал бы эту дверь так легко; если бы, как в старину, брак оставался клеткой, из которой нет выхода, – я думаю, она и Марк все равно стремились бы попасть в эту клетку! Бывают в любви минуты, когда мечтаешь о пожизненном заключении.

Человек говорит дню: «Ты никогда не кончишься...» Насиловать природу было бы безумием...

Аннета это знала. Она слышала, как пульсирует кровь в виске прижавшейся к ней Аси, и понимала, что делается у нее в голове. Давая согласие на то, чему она не могла помешать, Аннета в известной мере – ив силу своего возраста – подчинялась судьбе. Подчинялась она также тем мощным порывам, которые уносят нас, а сами от нас ускользают, ускользая от нашего рассудка. Но, помимо всего этого, здесь было еще и таинственное проникновение в судьбу Марка. Благодаря близости к Тимону Аннета сумела понять политическую обстановку, сумела понять и неизбежность великого Столкновения. И теперь она смутно различала место своего сына в передовых рядах бойцов – по ту сторону баррикады. Она смутно предчувствовала это гораздо раньше, чем Марк и Ася смогли разобраться в этом (они были слишком поглощены своей страстью!). Аннета опережала их и ждала. Все было еще туманно, но она ждала, что благодаря их союзу судьба определится.

Она чувствовала, что этот союз, какие бы ему ни предстояли испытания и неурядицы, будет способствовать их движению вперед. Так пусть же будут и испытания и неурядицы! Вперед!

Влюбленные смотрели друг на друга, и их взгляды были как бассейн, в который падают струи фонтана. Каждый опустошил себя, чтобы принять струю другого. Каждый был затоплен радостью, каждый был заполнен другим. Чтобы вновь найти самого себя, каждый сжимал другого в объятиях. Они говорили:

– Ты принадлежишь мне! Я принадлежу тебе! Не возвращай меня мне! Я тебя не возвращу тебе... Ах, как хорошо, что мы поменялись! И как я люблю теперь жизнь, когда жизнь – это твоя жизнь! Она моя! Как я буду беречь ее!

Бедные дети! До сих пор каждому из них приходилось спасать только себя... И это было не так уж мало! Какими боями и какой ценой заплатили они за то, чтобы выбраться из-под развалин гибнущего мира!.. Но стоило ли так бороться, проходить через столько самоотречений, через столько унижений, через такой позор и каждый день начинать сначала только ради своего «я», ради этого жалкого «я», обездоленного, поруганного, пылающего, разбитого, изнемогающего от усталости, ради этого «я», которое владеет вами, преследует вас и которое вы не любите!.. А теперь! Может ли быть чувство более восторженное, более опьяняющее, может ли кровь приливать сильнее, чем теперь, когда говоришь себе: «Спасай другого!.. Он мой!..» Он ли мне принадлежит или я ему? Я ли присвоила его или он меня?

Не обманывает ли меня страсть, не желающая сознаться в своем эгоизме?

Так или иначе это эгоизм расширенный, это индивидуализм вдвоем. Открывается выход в море. Но открывается он из глубины фиорда. Надо, чтобы ладья любви покинула фиорд...

А ладью любви не тянет в открытое море. Сильный ветер внезапно улегся, в фиорде спокойно. Ладья покачивается в своей золотой лужице.

Откуда же придет спасение? От какого непредвиденного порыва ветра, от какого водоворота, центр которого будет проходить через любовь? Понадобится ли, чтобы борьба разгорелась между самими влюбленными? Понадобится ли ненависть для того, чтобы любовь опомнилась, чтобы снова надулись ее паруса и ладья унеслась в морскую даль?

Вперед, суровый всадник, оседлавший жизнь! Вонзи ей шпоры в бока! Вонзи их в бока этим детям! Мир движется вперед, только когда его пришпоришь. Надо двигаться! Если остановишься, то упадешь... Нет, ты не упадешь! Тебя поднимут страдания.

Это был страдающий мир! Целые народы погибали от угнетения и от нищеты. Страшный голод пожирал народы Поволжья. Над Римом занесены секира и прутья черных ликторов. Из тюрем Венгрии и Балкан доносятся придушенные вопли истязаемых. Старые страны свободы – Франция, Англия, Америка – позволяют насиловать свободу и поддерживают насильников. Германия убила своих «предтеч». И в березовом лесу под Москвой, угасает ясный взор Ленина, меркнет его сознание. Революция теряет своего кормчего. Кажется, будто ночь надвигается на Европу.

Что значат судьбы этих двух детей, их радости, и горести? Что значат в море судьбы двух капель воды слившихся в одну? Прислушайся к ним! Ты услышишь рокот моря. Все море заключено в каждой капле. В ней отражаются все его волнения. Если бы только каждая раз капля захотела, сумела слушать!.. Иди сюда, наклонись! Приложи ухо к влажной раковине, которую я подобрал на берегу! Целый мир в ней плачет. Целый мир в ней умирает...

Но я уже слышу в ней и первый крик новорожденного.